UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00278072 4

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

purchased from the
FORD FOUNDATION GRANT

for

EAST EUROPEAN STUDIES

This is an authorized facsimile
of the original book,
and was produced in 1975 by microfilm-xerography
by Xerox University Microfilms,
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

022873 1
X 735724

ЗАПИСКИ

Историко-Филологическаго Факультета

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

ЧАСТЬ XCIII

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дѣла „Трудъ". Фонтанка, 86.
1909.

METRIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6

Записки Историко-Филологическаго Факультета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета.

Часть I. Прокопія Кесарійскаго. Исторія войнъ Римлянъ съ Персами, Вандалами и Готѳами. Пер. съ греческ. Спиридона Дестуниса, комментарій Гавріила Дестуниса. II. К. Исторія войнъ Римлянъ съ Персами. Книга I-я. 1876.

» II. I. Ioannis Boccacii ad Maghinardum de Cavalcantibus epistolae tres. Изд. А. Веселовскій.—2. Индѣйскія сказки и легенды, собранныя въ Камаонѣ въ 1875 г. Н. Минаевымъ. 1876.

» III. О торговлѣ Руси съ Ганзой до конца XV в. М. Бережкова. 1879.

» IV. Изъ древней исторіи Болгаръ. Матвѣя Соколова. 1879.

» V. I. Аѳонскіе акты и фотографическіе снимки съ нихъ въ собраніяхъ И. И. Севастьянова Тимофея Флоринскаго.—2. Antiphontis orationes. Edidit Victor Jernstedt. 1880.

» VI. Прокопія Кесарійскаго. Исторія войнъ Римлянъ съ Персами, Вандалами и Готѳами. Переводъ съ греческаго Спиридона Дестуниса, комментарій Гавріила Дестуниса. II. К. Исторія войнъ Римлянъ съ Персами. Книга 2-я. 1880. Приложеніе: О покореніи и пленіи, произведенномъ Персами въ Аттической Аѳинѣ. Греческое стихотвореніе эпохи Турецкаго погрома. Издалъ, перевелъ и объяснилъ Г. Дестунисъ. 1881.

VII. Психологія. Изслѣдованія основныхъ явленій душевной жизни. М. Владиславова. Томы I и II. 1881.

» VIII. Крестьяне въ царствованіе Императрицы Екатерины II. В. Семевскаго. 1881.

» IX. Моравія и Мадьяры съ половины IX до начала X вѣка. К. Грота. 1881.

» X. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ его поэзіи. 1-й и 2-й періоды жизни и дѣятельности (1799—1826). А. Незеленова. 1882.

» XI. Къ исторіи аѳинскихъ драматическихъ состязаній. Н. Никитина. 1882.

» XII. Secrets d'état de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XV et au XVI siècle, par Vladimir Lamanski. 1884.

» XIII. Герберштейнъ и его историко-географическія извѣстія о Россіи Е. Замысловскаго. 1884. Приложеніе: Матеріалы для ист.-геогр. атласа Россіи XV в. 1884.

» XIV. Борьба изъ-за господства на Балтійскомъ морѣ въ XV и XVI столѣтіяхъ. Г. Форстена. 1884.

» XV. Витовтъ и его политика до Грюнвальденской битвы (1410 г.) А. Барбашева. 1885.

» XVI. Буддизмъ. Изслѣдованія и матеріалы. Н. Минаева. Томъ I. Вып. 1 и 2. 1887.

» XVII. Серапіонъ Владимірскій, русскій проповѣдникъ XIII вѣка. Евгенія Пѣтухова. 1888.

» XVIII. Опытъ построенія теоріи матеріи на принципахъ критической философіи. А. Введенскаго. Часть первая. 1888.

» XIX. Исторія нравственныхъ идей XIX вѣка. Н. Ланге. Часть первая. 1888.

» XX. Сборникъ писемъ Герберта, какъ историческій источникъ. Н. Бубнова. 1890.

» XXI. Акты и письма къ исторіи Балтійскаго вопроса въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Г. Форстена. Выпускъ 1-й. 1889.

» XXII. Города Московскаго государства въ XVI в. Н. Чечулина. 1889.

» XXIII. Организація прямого обложенія въ Московскомъ государствѣ со временъ смуты до эпохи преобразованій. Изслѣдованіе А. Лаппо-Данилевскаго. 1890.

Сиповскій

В. В. СИПОВСКІЙ

ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКАГО РОМАНА

Томъ I, вып. 1-й (XVIII-ый вѣкъ)
Приложенія при 2-омъ вып.

Мы жизнь спѣшимъ узнать заранѣ,—
И узнаемъ ее въ романѣ.

Пушкинъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1909

PG 3098
.S6
vol. 1

Напечатано по опредѣленію Историко-Филологическаго Факультета Императорскаго С.-Петербургскаго Университета.

10 марта 1909 г.

Деканъ *О. Браунъ.*

LIBRARY
MAR 25 1976
UNIVERSITY OF TORONTO

PG
3095
S55
1909a
t. 1
vyp. 1

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ". Фонтанка, 86.

390620

Посвящается

Петру и Иринѣ

Сиповскимъ.

87619

Выпуская въ свѣтъ настоящее изслѣдованье, я чувствую, прежде всего, потребность выразить свою признательность всѣмъ тѣмъ, кто приходилъ ко мнѣ на помощь своими трудами, совѣтами,—своимъ сочувствіемъ, ободрявшимъ и вдохновлявшимъ меня въ минуты усталости и даже разочарованія... За тѣ десять лѣтъ, что отданы этой работѣ, я зналъ такіе періоды времени, когда, подъ вліяніемъ обстоятельствъ жизни и тяжелыхъ душевныхъ настроеній, надолго, на нѣсколько лѣтъ, бросалъ я совсѣмъ свою работу...

Изъ моихъ ученыхъ друзей А. А. Шахматовъ и И. А. Шляпкинъ больше всѣхъ помогли мнѣ окончить мой долголѣтній трудъ,—имъ благодаренъ я, главнымъ образомъ, и за ту моральную поддержку, которую всегда оказывали они мнѣ, иногда добрымъ словомъ ободренія, иногда дружескимъ упрекомъ — и за постоянное участіе въ устройствѣ того житейскаго благополучія, отъ котораго зависитъ спокойствіе жизни и матеріальная обезпеченность,—необходимыя условія работоспособности...

Съ искреннимъ сочувствіемъ и сердечностью относился ко мнѣ покойный акад. Л. Н. Майковъ,—мой первый ученый руководитель; при немъ началъ я свою ученую дѣятельность; его совѣты и указанія опредѣлили ея направленіе... Большое вниманіе и участіе къ моимъ работамъ встрѣтилъ я со стороны покойнаго акад. М. И. Сухомлинова. Спасибо имъ обоимъ за это.

Очень благодаренъ я В. И. Саитову, нынѣ завѣдующему Русскимъ Отдѣленіемъ Императорской С.-Петербургской Публичной Библіотеки,—онъ, въ теченіе пятнадцати лѣтъ, оказывалъ мнѣ всегда большую помощь своими познаніями въ русской литературѣ XVIII-го вѣка; его библіографическія работы легли въ основу настоящаго моего изслѣдованья;

отношеніе его ко мнѣ, всегда неизмѣнно-благодушное, не
разъ ободряло меня и поощряло къ продолженію работы...

Въ разной мѣрѣ помогали мнѣ своими познаніями и
содѣйствіемъ высоко мною уважаемые И. Ѳ. Анненскій, И. М
Болдаковъ, И. Ѳ. Бычковъ, А. О. Круглый *) проф. Д. К
Петровъ, А. А. Чебышевъ, А. А. Флоридовъ, проф. И. И
Холоднякъ. Приношу имъ всѣмъ мою признательность.

Не только отдѣльныя лица, но и цѣлыя учрежденія ока
зывали мнѣ помощь,—Историко-Филологическій Факультет
Императорскаго С.-Петербургскаго Университета и Отдѣле
ніе русскаго языка и словесности Императорской Академі
Наукъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ матеріально поддержи
вали меня и дали средства на печатаніе настоящаго труда
Приношу имъ свою глубокую благодарность въ лицѣ их
представителей, — декановъ Историко-Филологическаго Фа
культета проф. Ѳ. Фр. Зѣлинскаго, проф. Ѳ. А. Брауна — и
предсѣдательствующаго въ Отд. р. яз. и слов. акад. А. А. Шах
матова.

Тяжелымъ бременемъ въ теченіе многихъ лѣтъ лежал
моя работа на плечахъ гг. служащихъ въ Русскомъ отдѣ
леніи Императорской Публичной Библіотеки,—и всегда, с
рѣдкимъ терпѣніемъ и благодушіемъ, шли они всѣ ко мн
на встрѣчу со своей помощью, копаясь для меня въ вѣ
ковой пыли, извлекая изъ тайниковъ библіотеки десятками
сотнями, старыя забытыя изданія... За такое внимательное
радушное отношеніе ко мнѣ Отдѣленія особенно благода
ренъ я покойному В. И. Ламбину, бывшему завѣдующем
этимъ Отдѣленіемъ Публичной Библіотеки, который мно
поработалъ для меня, исполняя всегда всѣ мои просьб
относительно разыскиванія и выдачи книгъ...

Спасибо еще разъ всѣмъ моимъ помощникамъ и друзьямъ
Спасибо и строгимъ критикамъ моихъ предшествующихъ ли
тературныхъ трудовъ,—думаю, ихъ уроки пригодились мн
теперь, когда я дерзнулъ выступить передъ судомъ лит
ратурнаго и ученаго міра съ этимъ новымъ отвѣтственным
трудомъ...

---

*) Предоставившій мнѣ для пользованья имъ составленную библ
графію русскихъ мемуаровъ.

...Онъ, дѣйствительно, въ полномъ смыслѣ слова, „отвѣтственный“, хотя бы потому, что въ нашей исторической литературѣ онъ представляетъ собою *первую попытку* разобраться въ полувѣковой жизни того жанра, который въ XIX-омъ вѣкѣ нашелъ у насъ блестящее развитіе въ дѣятельности Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Л. Толстого, Достоевскаго и мн. др. *Романъ*—это наша національная гордость, и нельзя правильно выяснить все его значенія, пока не будетъ раскрыта его праисторія, начиная съ того времени, когда только начало складываться и укрѣпляться у насъ его существованіе... Русскій романъ *до Пушкина*—это загадка, надъ которой потрудился я въ настоящей работѣ и надъ разрѣшеніемъ которой намѣренъ трудиться впредь...

Прежде всего, мнѣ пришлось *собрать* весь имѣющійся матеріалъ. Книга моя: „*Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти*“, (Матеріалы по библіографіи, исторіи и теоріи русскаго романа), изданная Отдѣленіемъ русск. яз. и слов. Имп. Академіи Наукъ въ 1903 г., и представляетъ собой попытку *привести въ извѣстность* русскій *печатный* романъ, переводный и оригинальный, съ 1730 по 1800 годъ*) (включ.).

Попыткой *классифицировать* собранный матеріалъ является настоящее мое изслѣдованіе. Изучивъ, прежде всего, русскій переводный и оригинальный романъ, я остановился на тѣхъ переводныхъ произведеніяхъ, которыя, судя по количеству изданій, или судя по отзывамъ критики, были у насъ въ то время самыми популярными („Телемакъ“, „Жилблазъ“, „Новая Элоиза“, „Страданія Вертера“ и др.), и которыя, можно было поэтому думать, особенно-сильное вліяніе оказали на русскій „оригинальный“ романъ... Стоило заглянуть въ исторію западнаго романа, чтобы убѣдиться, что эти же произведенія и тамъ были „epochenmachend“,—что за каждымъ изъ этихъ произведеній тянется рядъ другихъ, разработанныхъ по тѣмъ шаблонамъ, которые впервые, какъ новшество, введены были въ литературный оборотъ названными крупными произведеніями... Въ результатѣ, западно-европейскій романъ, а за нимъ и русскій, довольно явственно распался, въ моихъ

*) Моя книга: „Русскія повѣсти XVII—XVIII ст.“ 1905 г. представляетъ собою собраніе текстовъ извѣстныхъ, или вновь мною найденныхъ *рукописныхъ оригинальныхъ* русскихъ повѣстей.

глазахъ, на *три* группы:—I) *романъ псевдо-классическій*— A) съ *положительными* героями (a—„романъ придворный героически-галантный"—типъ произведеній Кальпренедъ, Скюдери и, какъ развитіе его—Лафайетъ; b—„политическій романъ"—типъ „Телемака"; c—типъ романовъ Прево)—и B) съ *отрицательными* героями—типъ „Жилблаза" *). II) *волшебно-рыцарскій романъ*, распадающійся на три подгруппы: a)—„рыцарскій романъ-поэма" (Аріоста, Боярда и др.)—b) „восточная сказка" (типъ „сказокъ 1001 ночи")—c) „сказка о феяхъ", въ своемъ развитіи, доходящая до Мармонтеля и др. III) *англійскій психологическій семейный*, распадающійся на подгруппы:—a) романъ типа произведеній Ричардсона—b) типъ „Новой Элоизы"—c) типъ „Вертера" **).

Каждая изъ трехъ указанныхъ группъ и каждая разновидность, входящая въ эти группы, объединены тожествомъ идейнаго содержанія и литературныхъ пріемовъ. Это тожество и создаетъ „литературную школу", съ опредѣленной теоріей „письма", готовыми шаблонами и „общими мѣстами"... Принципы этихъ теорій и легли въ основу той *классификаціи*, которая помогла мнѣ систематизировать явленія русской романической литературы.

---

*) Уклоняясь, по возможности отъ пользованья терминами: „идеалистическій" и „реалистическій" (см. ниже объясненіе на стр. 281—4), я вожу дѣленіе псевдо-классическаго романа по *качеству* героевъ („положительные" и „отрицательные"), какъ болѣе точное и болѣе опредѣленное. Такъ, французская псевдо-классическая драма распадается на пьесы—съ положительными героями: „трагедіи",—и съ отрицательными: „комедіи"; общее же построеніе обоихъ драматическихъ видовъ, въ общемъ, остается одно и то же. Какъ въ англійской „драмѣ" произойдетъ соединеніе „высокаго" и „низкаго",—такъ и въ англійскомъ романѣ появится сложный образъ героя, въ которомъ положительное органически соединится съ отрицательнымъ...

**) Кромѣ произведеній, болѣе или менѣе, ясно выразившихъ характерныя черты этихъ трехъ романическихъ группъ и потому мною къ нимъ отнесенныхъ, есть нѣсколько произведеній, не имѣющихъ себѣ прототипа въ западно-европейской литературѣ; любопытно, что именно эти произведенія особенно тѣсно связаны съ русской жизнью, съ русскими народно-поэтическими теченіями; въ то же время, въ отношеніи содержанія и идейной стороны, именно они особенно тѣсно примыкаютъ къ русской литературѣ XIX-го столѣтія. Въ произведеніяхъ этой группы рѣшился и усмотрѣть начало русскаго оригинальнаго романа, выросшаго лишь отчасти подъ вліяніемъ западно-европейскаго романа на русской почвѣ и съ ней органически-связаннаго.

Такимъ образомъ, въ основу этой классификаціи я положилъ *внѣшніе* признаки (построеніе романа, пріемы творчества) и *внутренніе* (идейная сторона содержанія).

Сначала я хотѣлъ, было, назвать свою работу—„*Исторіей русскаго романа*", но желаніе сконцентрировать содержаніе изслѣдованія на самыхъ крупныхъ вопросахъ заставило меня исключить изъ круга изученій произведенія, менѣе значительныя для моихъ цѣлей и своимъ характеромъ нарушающія схему классификаціи (я исключилъ романъ „пастушескій", „аллегорическій", „новеллы и анекдоты"). Такое суженіе содержанія книги заставило меня и работѣ своей дать болѣе скромное названіе: „*Очерки*"...

Попутно устанавливая „типы" русскихъ романовъ, ихъ взаимоотношеніе и связь съ западно-европейской романической литературой, я неразъ выяснялъ литературную исторію того или другого русскаго романа,—но это не было главной цѣлью моей работы. Необходимость, прежде всего, разобраться въ огромномъ литературномъ матеріалѣ, само собою разумѣется, исключала изъ моихъ цѣлей детальное изученіе этого матеріала,—и потому я стремился дать лишь *общую* картину главныхъ моментовъ исторіи русскаго романа пока только XVIII-го вѣка,—и сознательно сдерживалъ себя, когда чувствовалъ, что мое изслѣдованіе изъ намѣченныхъ широкихъ рамокъ начинаетъ уходить вглубь *)...

Вотъ почему, какъ всякій трудъ, начинающій изученіе большого и неизученнаго матеріала, и мое изслѣдованье,

*) Иногда удавалось мнѣ точно опредѣлить образецъ, которому подражалъ въ своемъ произведеніи тотъ или другой русскій романистъ,—тогда я опредѣленно и увѣренно говорилъ о *заимствованіи*, сдѣланномъ имъ. Иногда, не будучи въ состояніи, за неимѣніемъ ясныхъ данныхъ, говорить о *непосредственномъ заимствованіи* русскаго романиста *изъ какого-нибудь опредѣленнаго западно-европейскаго источника*, я лишь сопоставлялъ разбираемое русское произведеніе съ тѣмъ или другимъ *типичнымъ* западно-европейскимъ произведеніемъ (опредѣляющимъ характерныя черты одной изъ указанныхъ выше на стр. VII—VIII романическихъ группъ) въ отношеніи идейнаго содержанія, фабулы и пріемовъ творчества,—и, въ зависимости отъ этого, опредѣлялъ принадлежность разбираемаго русскаго романа къ той или другой романической группѣ и разряду. Въ послѣднемъ случаѣ я не настаивалъ на существованіи факта *заимствованія*, — и говорилъ лишь вообще о принадлежности разбираемаго произведенія къ какой-нибудь изъ трехъ указанныхъ выше романическихъ школъ.

конечно, не имѣетъ исчерпывающаго значенія,—иногда я не только не рѣшалъ интересныхъ и существенныхъ вопросовъ,—я ихъ только ставилъ, въ надеждѣ, что другіе работники детально разсмотрятъ ихъ и найдутъ удовлетворительный отвѣтъ...

Меня смущали подробность „пересказовъ“ и обиліе цитатъ въ моей книгѣ. Но, слѣдуя примѣру западно-европейскихъ историковъ романа, я удержалъ у себя эти пересказы и цитаты,—1) имѣя въ виду интересы читателей, которые не будутъ въ состояніи пользоваться сокровищами Императорской С.-Петербургской Публичной библіотеки.—2) для передачи *колорита* произведеній, исчезающаго при краткомъ пересказѣ одной фабулы безъ характерныхъ выдержекъ—2) для обоснованія тѣхъ принципіальныхъ положеній (см. послѣднюю главу во 2-омъ вып.), къ которымъ меня привело изученіе русскаго романа XVIII-го вѣка, и которыя иногда выходятъ за предѣлы вопросовъ спеціально-романической литературы...

Свое первое изслѣдованье посвятилъ я *моему прошлому*—„памяти покойнаго отца“,—настоящую работу посвящаю *моему будущему*—моимъ дѣтямъ...

I.

Изъ всѣхъ литературныхъ видовъ романъ съ начала XVIII вѣка до нашихъ дней былъ у насъ самымъ популярнымъ. Можно, безъ преувеличенія, сказать, что нѣсколько поколѣній русскаго общества воспитали на немъ свои чувства и мысли. Чуть не каждое десятилѣтіе приносило намъ новыя произведенія этого вида, съ содержаніемъ, все болѣе усложняющимся: за многотомнымъ романомъ „приключеній", въ которомъ страдаютъ и торжествуютъ добродѣтельные герои, гонимые злымъ „рокомъ", явились романы „психологическіе", въ которыхъ интересъ отъ фабулы переносится уже на душу героя, а дѣйствующія лица начинаютъ постепенно пріобрѣтать плоть и кровь. Послѣ этихъ произведеній, въ которыхъ реальность иногда еще совсѣмъ затемнялась дидактизмомъ, популярной сдѣлалась сентиментальная повѣсть,—произведеніе, проникнутое живымъ чувствомъ, сердечнымъ идеализмомъ, проповѣдью гуманности и бо̀льшимъ реализмомъ письма... Наконецъ, стали увлекать русскаго читателя произведенія „идейныя", отражающія не только общественныя, но даже „міровыя" настроенія, — романы, въ родѣ „Вертера"... Такимъ образомъ, въ теченіе XVIII-го вѣка прошелъ передъ нашими глазами длинный рядъ поколѣній романическихъ героевъ,—за призрачными, безплотными „Селимами", „Мирамондами" идутъ болѣе живые „Ловласы", „Грандисоны", „Эрасты"; за ними—уже рѣзко-очерченные „Вертеры", „Рене" и другіе, имъ подобные, герои, которые переходятъ далеко за рубежъ XVIII вѣка и лишь къ серединѣ XIX столѣтія теряются въ толпѣ правдивыхъ, живыхъ образовъ новѣйшей реалистической литературы... Совершенно то же происходитъ и съ героинями романовъ: за „Дапрой" и „Дамасиной" идутъ уже довольно вѣрно обрисованныя „Кларисса", „Памела", „Лиза". За ними, въ началѣ XIX-го вѣка, слѣдуютъ „Дельфина", „Коринна"—носительницы общественныхъ идей...

Всѣ эти герои и героини романической литературы были хорошо знакомы русской читающей публикѣ,—они были общими любимцами

не только въ XVIII в., но даже и въ XIX-омъ столѣтіи... Тогдашніе присяжные чтецы романовъ жили въ какомъ-то своеобразномъ мірѣ,—вездѣ, даже въ самой жизни, мерещились имъ „интересные“ герои, одаренные высокими качествами души, далекіе отъ жизни, окруженные какимъ-то ореоломъ... Обыкновенный „гвардіи сержантъ“ казался романически-настроенной дѣвицѣ „Грандисономъ“,—а нашъ общій знакомецъ, П. И. Чичиковъ, припугнувшій Коробочку, представился губернскимъ дамамъ, ни болѣе ни менѣе, какъ самимъ „Ринальдо-Ринальдини“...

Романическіе герои не только увлекали русскаго читателя. — они „учили“ жизни, — недаромъ самъ Пушкинъ, даже въ 20-хъ годахъ XIX в., признавался, что —

„Любви насъ не природа учитъ,
А Сталь, или Шатобріанъ:
Мы жизнь спѣшимъ узнать заранѣ,—
И узнаемъ ее въ *романѣ*... [1]

Велико историко-литературное и культурное значеніе романа у насъ въ XVIII-омъ вѣкѣ, и нѣтъ другого литературнаго жанра, который своимъ значеніемъ сравнялся бы съ нимъ; справедливость этого утвержденія можно доказать данными, извлеченными изъ цѣлаго ряда наблюденій надъ самымъ различнымъ матеріаломъ *). Изслѣдователю помогутъ въ этомъ отношеніи—1) *мемуары* русскихъ людей XVIII и начала XIX вѣка **), — 2) *тексты* самихъ *романовъ*,—3) журнальная *критика* и *публицистика* XVIII в.,—4) *статистика*—наблюденія надъ общимъ числомъ книгъ въ XVIII вѣкѣ и надъ числомъ романовъ за этотъ вѣкъ: выясненіе процентныхъ отношеній числа романа XVIII-го вѣка къ общему числу книгъ и къ числу другихъ литературныхъ жанровъ дастъ вѣрныя, объективныя основанія для того, чтобы съ увѣренностью говорить о выдающемся значеніи романа среди другихъ произведеній эпохи [2].

---

*) Такихъ наблюденій нельзя сдѣлать надъ судьбой русской журналистики и даже драмы XVIII-го в. Объ этихъ жанрахъ мы встрѣтимъ во всей литературѣ XVIII—I лишь два-три замѣчанія, — тогда какъ о *романѣ* число отзывовъ исчисляется сотнями, — ясное доказательство того, что именно романомъ, по преимуществу, интересовались люди XVIII-го, начала XIX вѣка.

**) Я воспользовался записками не только XVIII-го вѣка, но и начала XIX вѣка, потому, что въ нихъ—1) много приводится фактовъ изъ жизни XVIII-го вѣка,—2) во многихъ отношеніяхъ, бытовомъ и литературномъ, жизнь начала XIX-го вѣка тѣсно связана съ XVIII-ымъ вѣкомъ.

1.

Мемуары даютъ немало доказательствъ того, до какой степени сильно русскіе люди XVIII-го и начала XIX-го столѣтія увлекались чтеніемъ романовъ [3]. Болотовъ, напримѣръ, во время одной своей поѣздки, забывалъ за чтеніемъ „Жилблаза" весь міръ,—

„Настоящее же удовольствіе производили мнѣ въ семъ путешествіи обѣ мои новыя книги. Я изобразить не могу, съ какою жадностью и крайнимъ удовольствіемъ читалъ я дорогого моего „Жилблаза". Такого рода критическихъ и сатирическихъ веселыхъ книгъ не случалось мнѣ читать еще отъ роду, и я не могъ устать, читая сію книгу, и въ нѣсколько дней всю ее промололъ. По окончаніи оной, принялся я за свою „Аргениду". Сія производила мнѣ не меньшее удовольствіе,— піитическій и героическій слогъ, каковымъ писана была сія книга, былъ мнѣ въ особливости милъ и пріятенъ, а описываемыя приключенія крайне любопытны и увеселительны. Я читалъ также и ее, не выпуская почти изъ рукъ, и могу сказать, что чтеніе сихъ обѣихъ книгъ такъ занимало мое вниманіе, что я въ сей разъ и не видалъ почти тѣхъ мѣстъ, мимо которыхъ мы ѣхали, и все путешествіе мое дѣлалось толь пріятнымъ и веселымъ, что я не помню, чтобъ когда-нибудь въ иное время препровождалъ путешествіе съ столь многимъ удовольствіемъ, какъ тогдашнее" [4].

Другой любитель романической литературы, Второвъ, тоже во время путешествія „не разлучался съ книгою ни на палубѣ лодки, ни въ каютѣ". За чтеніемъ одного произведенія, напечатаннаго въ „Московскомъ журналѣ", онъ—

„плакалъ самъ, плакалъ, перебирая въ мысляхъ всю свою жизнь, даже до смерти" [5].

Вообще чтеніе составляло его любимое времяпрепровожденіе: иногда онъ—

„весь погруженъ былъ въ чтеніе, забывъ обо всемъ въ мірѣ: . . . былъ въ упоеніи отъ „Бѣдной Лизы" Карамзина и первыхъ „Писемъ Русскаго Путешественника" [6].

По словамъ любителей этой литературы, романы имѣли для нихъ большое образовательное значеніе — въ дѣтствѣ они будили ихъ фантазію, знакомили ихъ съ міромъ, невѣдомыхъ раньше,

чувствъ, мыслей, настроеній,—обогащали душу, расширяя и углубляя ее... Карамзинъ въ своей автобіографической повѣсти: „Рыцарь нашего времени“, такъ говоритъ о значеніи романовъ въ его жизни:

„Скоро отдали Леону ключъ отъ желтаго шкапа, въ которомъ хранилась библіотека покойной его матери, и гдѣ на двухъ полкахъ стояли романы, а на третьей нѣсколько духовныхъ книгъ,—важная эпоха въ образованіи его ума и сердца! „Даира, восточная повѣсть“, „Селимъ и Дамасина“, „Мирамондъ“, „Исторія Лорда N.“ — все было прочтено въ одно лѣто, съ такимъ любопытствомъ, съ такимъ живымъ удовольствіемъ, которое могло бы испугать иного воспитателя.

„Но чѣмъ же романы плѣняли его? Неужели картина любви имѣла столько прелестей для осьми-или десятилѣтняго мальчика, чтобы онъ могъ забывать веселыя игры своего возраста и цѣлой день просиживать на одномъ мѣстѣ, вникаясь, такъ сказать, всѣмъ дѣтскимъ вниманіемъ своимъ въ нескладицу „Мирамонда“, или „Даиры“? Нѣтъ, Леонъ занимался болѣе происшествіями, связію вещей и случаевъ, нежели чувствами любви романической. Натура бросаетъ насъ въ міръ, какъ въ темный, дремучій лѣсъ, безъ всякихъ идей и свѣдѣній, но съ большимъ запасомъ любопытства, которое весьма рано начинаетъ дѣйствовать во младенцѣ, тѣмъ ранѣе, чѣмъ природная основа души его нѣжнѣе и совершеннѣе“...

„Леону открылся новый свѣтъ въ романахъ,—онъ увидѣлъ, какъ въ магическомъ фонарѣ, множество разнообразныхъ людей на сценѣ, множество чудныхъ дѣйствій, приключеній—игру Судьбы, дотолѣ ему совсѣмъ неизвѣстную... (но тайное предчувствіе сердца говорило ему: „ахъ! и ты, и ты будешь нѣкогда ея жертвою! и тебя схватитъ, унесетъ сей вихорь... куда?..—куда?“)... Передъ глазами его безпрестанно поднимался новой занавѣсъ: ландшафтъ за ландшафтомъ, группа за группою являлись взору... Душа Леонова плавала въ книжномъ свѣтѣ, какъ Христофоръ Коломбъ на Атлантическомъ морѣ, для открытія... сокрытаго“ [7].

Впрочемъ, не только „подростки“, но и люди взрослые почерпали изъ чтенія романовъ знаніе жизни. Болотовъ романы называетъ даже „фундаментомъ своей учености“. Недостатокъ образованія, разсказываетъ онъ —

„наградилъ я, нѣкоторымъ образомъ, собственнымъ своимъ любопытствомъ и чрезвычайною охотою къ читанію книгъ, полученною около сего времени. За охоту къ тому обязанъ я книгѣ: „Похожденіе Телемака“. Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мнѣ пользу! Учитель нашъ заставливалъ меня иногда читать ее у себя въ спальнѣ для науки, но я ее мало разумѣлъ по-французски, а, по крайней мѣрѣ, узналъ, что она такое, и, доставъ, не помню отъ кого-то, русскую, не могъ довольно ей начитаться. Сладкій, піитическій слогъ плѣнилъ мое сердце и мысли и влилъ въ меня вкусъ къ сочиненіямъ сего рода и вперилъ любопытство къ чтенію и узнанію дальнѣйшаго. Я получилъ чрезъ нее понятіе о миѳологіи, о древнихъ вой-

нахъ и обыкновеніяхъ, о троянской войнѣ,—и мнѣ она такъ полюбилась, что у меня старинныя брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались безпрерывно въ головѣ, къ чему много помогали и картинки, въ книгѣ находившіяся. Словомъ, книга сія служила первымъ камнемъ, положеннымъ въ фундаментѣ всей моей будущей учености, и куда жаль, что у насъ въ Россіи было тогда еще такъ мало русскихъ книгъ, что въ домахъ нигдѣ не было не только библіотекъ, но ни малѣйшихъ собраній, а у французскихъ учителей того меньше. Литература у насъ тогда только что начиналась,—слѣдовательно, не можно было мнѣ, будучи ребенкомъ, нигдѣ получить книгъ для читанія" [8].

Другіе авторы записокъ о значеніи романовъ говорятъ приблизительно то же:

„Я читалъ все, что только могъ найти. Самымъ пріятнымъ чтеніемъ того времени былъ для меня „Жилблазъ" въ старинномъ переводѣ. Изъ этой книги почерпнулъ я многія понятія о свѣтѣ и людяхъ" [9].

Особенное значеніе имѣла эта романическая литература въ деревнѣ, куда научныя книги попадали съ трудомъ: объ этомъ свидѣтельствуетъ М. Дмитріевъ въ своихъ запискахъ:

„Я помню и деревенскія чтенія романовъ. Вся семья по вечерамъ садилась въ кружокъ: кто-нибудь читалъ, другіе слушали; особенно дамы и дѣвицы... Какой ужасъ распространяла славная г-жа Радклифъ! („Славная"—печаталось иногда при ея имени на заглавіи книги!). Какое участіе принимали въ чувствительныхъ героиняхъ г-жи Жанлисъ!.. „Страданія Ортенберговой фамиліи" и „Мальчикъ у ручья" Коцебу—рѣшительно извлекали слезы!.. Дѣло въ томъ, что при этомъ чтеніи, въ эти минуты, вся семья жила сердцемъ, или воображеніемъ, и переносилась въ другой міръ, который, на эти минуты, казался дѣйствительнымъ; а главное—чувствовалось живѣе, чѣмъ въ своей однообразной жизни" [10].

Въ тѣхъ семействахъ, которыя не довольствовались „однообразной" жизнью глухой провинціи, а искали „живыхъ чувствъ", старательно собирались книги, особенно романы,—и, въ результатѣ, нерѣдко образовывались цѣлыя библіотеки.—

„По деревнямъ, кто любилъ чтеніе и кто только могъ,—заводился небольшой, но полной библіотекой. Были нѣкоторыя книги, которыя, какъ будто, почитались необходимыми для этихъ библіотекъ и находились въ каждой. Онѣ перечитывались по нѣскольку разъ, всею семьею. Выборъ былъ недуренъ и довольно основателенъ. Напримѣръ, въ каждой деревенской библіотекѣ непремѣнно уже находились: „Телемакъ", „Жилблазъ", „Донъ-Кишотъ", „Робинзонъ-Крузо", „Древняя Вивліоѳика" Новикова, „Дѣянія Петра Великаго" и съ дополненіями, „Исторія о странствіяхъ вообще" Лагарпа, „Всемірный путешественникъ" Аббата де ла-Порта и „Маркизъ Г.", переводъ Ив. Перф. Елагина,—романъ умный и нравственный, но нынѣ осмѣянный. Ломоносовъ, Сумароковъ, Херасковъ непремѣнно были у тѣхъ, которые любили стихотворство [11].

Мемуары даютъ намъ полное основаніе утверждать, что въ жизни нѣкоторыхъ людей XVIII—XIX в. романъ игралъ роль „вождя по жизни“: читатели часто въ жизнь переносили подражаніе любимымъ своимъ литературнымъ героямъ,—старались свою жизнь мѣрить чувствами и мыслями этихъ героевъ. Въ запискахъ И. Дмитріева найдемъ мы подтвержденіе этихъ словъ:

„Однажды, ѣхавъ изъ деревни въ Симбирскъ, я сидѣлъ въ коляскѣ съ моимъ братомъ; онъ молчалъ, и я тоже, окидывая, между тѣмъ, глазами съ обѣихъ сторонъ поля, дубравы и селенія... Вдругъ пришло мнѣ на мысль, отчего я такъ долго молчу и ни о чемъ не разсуждаю? Помню изъ книгъ, что молодой маркизъ дорогою разсуждалъ въ коляскѣ съ своимъ наставникомъ; баронъ Пельницъ—съ своимъ сыномъ, и донъ-Фигеоразо, или „Уединенный Гишпанецъ“,—также со своими дѣтьми; отчего же никакіе предметы, никакой случай не возбуждаютъ во мнѣ размышленій?—Конечно, оттого, думалъ я, что они были умнѣе. При этомъ замѣчаніи мнѣ стало грустно“ [12].

Вотъ почему часто нѣсколько любимыхъ романовъ (а иногда даже какой-нибудь одинъ) опредѣляли весь кругъ идей и познаній тогдашняго русскаго человѣка. Макаровъ въ своихъ запискахъ характеризуетъ провинціальныхъ дамъ своего времени такъ:

„Нѣкоторыя изъ нихъ разговаривали о литературѣ, потому что обладали обширною начитанностью, а именно: въ продолженіе своей жизни онѣ успѣли прочитать слѣдующія знаменитыя творенія: „Ринальдо-Ринальдини“, „Лолотта и Фанъ-Фанъ“, „Мальчикъ у ручья“, „Разбойникъ по неволѣ, или ужасы лѣсовъ Шварцвальдскихъ“, „Вѣкъ рыцарства и царство духовъ“, „Мои путешествія по пропастямъ злосчастія“, „Целина, или дитя тайны“,—безконечный и глупѣйшій романъ Дюкре-Дюмениля. Но „Ринальдо-Ринальдини“ нравился имъ болѣе всего и при всякомъ съѣздѣ онѣ очень глубокомысленно разсуждали объ этомъ геніальномъ произведеніи допотопной беллетристики“ [13].

Изъ одного журнальнаго письма знакомимся мы съ какимъ-то фанатикомъ—поклонникомъ твореній Фильдинга. Въ очень характерномъ „Благодареніи г. Фельдингу“ (Фильдингу), этотъ русскій почитатель англійскаго романиста разражается по его адресу цѣлымъ рядомъ восторженныхъ восклицаній. Оказывается, онъ „преданъ“ Фильдингу, „какъ благодѣтелю, какъ другу“ [14]; одного изъ героевъ Фильдинга онъ любитъ, „какъ отца“. „Я люблю тебя болѣе всѣхъ моихъ пріятелей“ — восклицаетъ онъ, — обращаясь къ англійскому писателю. Только послѣ чтенія романовъ Фильдинга этотъ восторженный читатель „понялъ жизнь“:

„Вездѣ прибытокъ, тщеславіе, лицемѣріе, или легкомысленность вездѣ Блифили (дѣйствующее лицо въ „Томасѣ Іонесѣ“, представляющее лицемѣрный порокъ). Въ тебѣ одномъ, о Фильдингъ, мню я находить истиннаго друга!. „Правила твои,—восклицаетъ онъ—научаютъ

меня, слогъ прельщаетъ, а нѣжность трогаетъ до слезъ. Ты представляешь добродѣтель въ столь прелестномъ и нѣжномъ видѣ, внушаешь къ ней толико почтенія, что невозможно не слѣдовать ей и не вѣрить, чтобъ она не обитала въ сердцѣ твоемъ. Сила и неподражаемое искусство пера твоего и правильность твоихъ положеній склоняютъ сердце мое ко всѣмъ тѣмъ, коимъ ты благопріятствуешь... Я былъ бы холоденъ ко всѣмъ твоимъ поученіямъ, ежели бы оныя соединены были со строгостью и пустосвятствомъ. Но какъ не любить тебя, когда ты, входя въ сокровеннѣйшія мѣста моего сердца и разсматривая тончайшія пружины онаго, выводишь причину моихъ заблужденій такъ, что я, безъ помощи твоей, никогда бы объ ней и не подумалъ!.. Великій мужъ, пріими жертву благодарности и любви, кои ты возжегъ въ сердцѣ моемъ,—я почувствовалъ всю важность, силу и пріятность твоихъ сочиненій и мои пороки"! [15]...

Въ запискахъ Греча есть упоминаніе объ одномъ яромъ поклонникѣ Карамзина и его „Бѣдной Лизы"—

„Литературныя познанія моего учителя, Дмитрія Михайловича Кудлая,—франта и модника, были очень ограничены. Онъ читалъ съ восторгомъ „Бѣдную Лизу" и любилъ вездѣ ставить тире, въ подражаніе модному тогда Карамзину" [16].

Понятно, что „любимые" романы для такихъ читателей были „друзьями", — ихъ любили, какъ живыхъ людей. Вотъ почему, когда Болотову пришлось разстаться на время со своей библіотекой,—онъ прощался съ ней въ такихъ прочувствованныхъ словахъ:

„Не могу изобразить, съ какими чувствіями разставался я съ милыми и любезными моими книгами и подвергалъ ихъ всѣмъ опасностямъ морскимъ. „Простите, мои милые друзья!" говорилъ я самъ себѣ, ихъ провожая: „велитъ ли Богъ мнѣ опять васъ видѣть и вами веселиться и получать отъ васъ пользу, и гдѣ-то и когда я васъ опять увижу!" [17].

Эти „друзья" помогали переносить горе, подымали настроеніе; иногда они вызывали слезы, и этимъ помогали „выплакать печаль". Когда, напримѣръ, Второву не хватило, по его словамъ, „куражу" перенести одну обиду,—онъ не пошелъ на службу, а—

„завалился на постель съ „Вертеромъ" въ рукахъ и началъ читать этотъ романъ", выбирая изъ него самыя патетическія страницы и вымучивая „для собственнаго, вящаго страданія, изъ глазъ своихъ послушныя слезы"... „Рыдалъ, повѣствуетъ онъ, неутѣшно—и нѣсколько капель, скатившихся по лицу моему, оросили подушку, поддерживающую печальную мою голову" [18].

С. Глинка разсказываетъ про одного любителя романовъ, что онъ—

„лишась первой супруги своей, уныло бродилъ по рощамъ и дубравамъ и вырѣзывалъ на деревьяхъ имя ея. Онъ плакалъ, читая ро-

маны Ѳедора Эмина, и заливался слезами, читая и перечитывая „Маркиза Г.“, переведеннаго Елагинымъ. Теперь этихъ книгъ нѣтъ и въ поминѣ; теперь не только не плачутъ, но и не читаютъ трагедій Сумарокова; а было время, что при дворѣ императрицы Елисаветы были для нихъ и рукоплесканія, и слезы, и вздохи. На все время, и все на время!“ [19].

Нѣкоторыхъ читателей романы учили „любви“, вводя ихъ въ міръ любовныхъ волненій и пріучая тоньше чувствовать и внимательнѣе относиться къ своему и чужому сердцу. О такомъ значеніи одного любовнаго романа Болотовъ вспоминалъ въ запискахъ слѣдующее:

„Книга сія была для меня очень любопытна, и, какъ я сего рода книгъ никогда еще не читывалъ, то въ немногіе дни промололъ я ее всю, а не удовольствуясь однимъ разомъ, прочелъ и въ другой разъ и могъ . . . пересказать все по пальцамъ. Г. Лихаревъ удивился, услышавъ о томъ, что я ее въ такое короткое время прочелъ уже два раза, и былъ охотою и вниманіемъ моимъ такъ доволенъ, что подарилъ меня сею книгою. Я обрадовался тому до чрезвычайности и не зналъ, какъ возблагодарить ему за оную. Составляла она переводъ одного французскаго и, прямо можно сказать, любовнаго романа, подъ заглавіемъ: „Эпаменондъ и Целеріана“, и произвела во мнѣ то дѣйствіе, что я получилъ понятіе о любовной страсти, но со стороны весьма нѣжной и прямо-романтической, что послѣ послужило мнѣ въ немалую пользу“ [20].

Такое же вліяніе имѣлъ одинъ романъ на сердце С. Глинки,—

„... въ 1762 г., когда еще не было меня на свѣтѣ, Харламовъ, на бѣду будущей моей жизни, перевелъ „Житіе Клевеланда, побочнаго сына Кромвеля“. Переводъ нестерпимъ; но десятилѣтній ребенокъ думаетъ ли о слогѣ? Давно сказано, что первая, попавшаяся въ руки книга, въ которую закралась любовь, покажется лучшею книгою. Но въ „Клевеландѣ“ не любовь, а бѣшенство любви; и эта изступленная страсть изъ бурнаго сердца Прево, сочинителя романа, вырывалась кипящею лавою въ юное мое сердце“ [21].

То же самое случилось съ В. Панаевымъ,—

„Чтеніе тогдашнихъ чувствительныхъ романовъ Лафонтена, Жанлиса, Котенъ, безъ сомнѣнія, много содѣйствовало преждевременному пробужденію во мнѣ такого глубокаго чувства, въ высшей степени платоническаго“ [22].

Наконецъ, есть указанія, что чтеніе романовъ имѣло и въ другомъ отношеніи большое значеніе, — нѣкоторые любители этой литературы, зачитываясь иностранными романами, легко научались иностраннымъ языкамъ и получали знанія изъ исторіи иностранной литературы. Объ этомъ свидѣтельствуетъ И. И. Дмитріевъ,—

„Въ бытность мою еще въ первомъ пансіонѣ я уже прочиталъ „Тысячу Одну Ночь“, „Шутливыя повѣсти“ Скаррона, „Похожденія Робинзона Крузо“, „Жильблаза-де-Сантилана“, „Приключенія маркиза Г...“ По этой книгѣ я получилъ первое понятіе о французской литературѣ: читая, помнится мнѣ, въ третьемъ томѣ описаніе ученой вечеринки, на которую молодой маркизъ и наставникъ его приглашены были въ Мадридѣ, въ первый разъ я услышалъ имена Мольера, Буало, Лэпецъ-де-Вега, Расина и Кальдерона, критическое объ нихъ сужденіе и захотѣлъ узнать и самыя ихъ сочиненія. Этому же роману обязанъ я и тѣмъ, что началъ понимать и французскія книги. Дочитавъ четвертый томъ „Похожденій маркиза Г.“, узналъ я, что послѣднихъ двухъ томовъ еще нѣтъ въ переводѣ. Это навело на меня грусть; сколько разъ я вздыхалъ, что пришлось мнѣ оставаться въ неизвѣстности объ участи моихъ героевъ. „Не отчаявайся, сказалъ мнѣ однажды г. Рупкой, всегдашній нашъ гость и лекарь бывшаго московскаго легіона, стоявшаго тогда въ Симбирскѣ,—„я пороюсь въ моихъ французскихъ книгахъ, не найду ли въ нихъ пятаго и шестаго тома“— И что же? На другой день принесъ мнѣ ихъ въ подарокъ! Какъ я былъ доволенъ! Этотъ день былъ для меня праздникомъ! Но радость моя была минутная—въ первый же вечеръ схватилъ я пятый томъ, пробѣжалъ въ немъ первую страницу и понялъ только нѣсколько словъ,—изрѣдка легкую фразу, и не могъ еще понимать полнаго содержанія періода. Но чего не преодолѣваютъ настойчивость и терпѣливость? Я положилъ, съ помощью Вонжирова лексикона, непремѣнно прочитать отъ доски до доски оба тома. Приступая къ исполненію, я, день отъ дня, сталъ понимать болѣе; при чтеніи шестаго тома уже я почти не имѣлъ нужды въ лексиконѣ. Наконецъ, этотъ отважный подвигъ былъ для меня эпохою, съ которой началъ я читать французскія книги, уже не поневолѣ, а по охотѣ, и впослѣдствіи уже могъ переводить Лафонтена“ [23].

Иногда интересъ къ выслушанному роману у дѣтей пробуждалъ даже охоту учиться грамотѣ.—

„Мало-по-малу, мнѣ самому захотѣлось умѣть читать, а особливо съ тѣхъ поръ, какъ, при наступленіи долгихъ зимнихъ вечеровъ, сестра Татьяна учредила раза три въ недѣлю чтеніе вслухъ. Матушка и всѣ мы собирались въ гостиную, садились вокругъ стола: сестра читала— мы слушали. Большое впечатлѣніе произвелъ на меня, вышедшій тогда, романъ: „Яшенька и Жеоржетта“ [24]. Помню форматъ книги, помню заглавную картинку, изображавшую двухъ дѣтей, робко стоящихъ передъ суровымъ солдатомъ, съ надписью внизу:

„Невинны, право, мы, солдатъ,
Но мы причиною, что дворъ огнемъ объятъ!“

Я удвоилъ прилежаніе и, наконецъ, выучился понемногу читать“ [25].

Романы заставили многихъ полюбить книгу вообще [26],—этимъ облегчали впослѣдствіи переходъ къ историческимъ, научнымъ сочиненіямъ [27]; иногда любители романовъ сами брались за перо; начиная, обыкновенно, съ „переводовъ“, они переходили постепенно,

къ попыткамъ оригинальнаго творчества [28]. Объ этомъ свидѣтельствуетъ Болотовъ —

„Симъ образомъ препровождалъ я свое время, отчасти занимаясь ученіемъ солдатъ, а отчасти своими книгами, о которыхъ никакъ я не позабывалъ, но бо́льшую часть празднаго своего времени упражнялся либо въ чтеніи оныхъ, либо въ переводѣ чего-нибудь. Одинъ романъ, купленный мною въ Ревелѣ, называемый „Пикартусъ" и похожій нѣсколько на „Жилблаза", прельстилъ меня такъ, что я началъ его испытывать переводить, и упражнялся въ томъ въ праздные часы.

„...Итакъ, раздѣвшись и напившись съ трубочкою досыта своего чаю, принялся я опять за разбираніе и разсматриваніе новокупленныхъ книгъ. Тутъ попадись мнѣ опять на глаза помянутой новокупленной романъ „Генріета". И какъ мнѣ восхотѣлось пристальнѣе его поразсмотрѣть и сколько-нибудь почитаться, то ну-ка я его, бывшаго тогда еще въ тетрадяхъ, скорѣе складывать, сгибать, сшивать и разрѣзывать, и потомъ, усѣвшись подлѣ тепленькой печки, его читать. А не успѣлъ прочитать десятка два страницъ, какъ онъ, особливостію своего заманчиваго и пріятнаго слога, такъ мнѣ полюбился, что мнѣ не хотѣлось книги сей изъ рукъ выпустить; и я такъ имъ, наконецъ, прельстился, что въ тотъ же еще день воспріялъ непремѣнное намѣреніе его перевесть, и перевесть точно въ такомъ духѣ, въ какомъ онъ писанъ и поговорить съ Новиковымъ, не напечатаетъ ли онъ его" [29].

Ни одинъ изъ авторовъ записокъ не упрекнулъ романы за дурное вліяніе на его нравственность,—напротивъ, всѣ превозносятъ хорошее воспитательное значеніе романа, превозносятъ съ такою страстностью, которая, впрочемъ, указываетъ, что, въ данномъ случаѣ, поклонники романовъ, несомнѣнно, выступали „на защиту" своихъ любимыхъ книгъ противъ чьихъ-то нападеній. Какъ увидимъ ниже, было у насъ немало и „враговъ" романической литературы.—

„Чтеніе романовъ не имѣло вреднаго вліянія на мою нравственность. Смѣю даже сказать, что они были для меня антидотомъ противу всего низкаго и порочнаго. „Похожденія Клевеленда", „Приключенія маркиза Г***" возвышали душу мою. Я всегда плѣнялся добрыми примѣрами и охотно желалъ имъ слѣдовать" [30].

„Сіе чтеніе не только не повредило его юной душѣ, но было еще весьма полезно для образованія въ немъ нравственнаго чувства. Въ „Даирѣ", „Мирамондѣ", въ „Селимѣ и Дамасинѣ" (знаетъ ли ихъ читатель?), — однимъ словомъ, во всѣхъ романахъ желтаго шкапа герои и героини, несмотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными—всѣ злодѣи описываются самыми черными красками; первые, наконецъ, торжествуютъ,—послѣдніе, наконецъ, какъ прахъ, исчезаютъ. Въ нѣжной Леоновой душѣ непримѣтнымъ образомъ, но буквами неизгладимыми, начерталось слѣдствіе: „итакъ, любезность и добродѣтель одно! итакъ, зло безобразно и гнусно! итакъ, добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ!"... Сколь же такое чувство спа-

сительно въ жизни, какою твердою опорою служитъ оно для доброй нравственности, нѣтъ нужды доказывать" [31].

Увлеченіе романами вело къ тому, что любители ихъ иногда послѣднія свои деньги отдавали на покупку книгъ: у Болотова мало было денегъ въ карманѣ, однако онъ —

„...ѣдучи еще въ Петербургъ, за непремѣнное дѣло положилъ, чтобъ побывать въ Академіи и купить себѣ какихъ-нибудь книжекъ, которыя въ одной ней тогда и продавались. Въ особливости же хотѣлось мнѣ достать „Аргениду", о которой, дѣлаемая мнѣ еще въ деревнѣ старичкомъ моимъ учителемъ, превеликая похвала не выходила у меня изъ памяти. Я тотчасъ ее первую и купилъ; но, какъ въ самое то время увидѣлъ я впервые и „Жилблаза", которая книга тогда только что вышла, и мнѣ ее расхвалили, то не разстался я и съ нею. Обѣимъ симъ книгамъ былъ я такъ радъ, какъ нашедъ превеликую находку. Досадно мнѣ было только то, что обѣ онѣ были безъ переплета, и это были первыя книги, которыя купилъ я въ тетрадяхъ и кои принужденъ былъ впервые учиться складывать и сшивать въ тетрадку, дабы мнѣ ихъ читать было можно. Но работа сія была мнѣ не столько скучна, сколько увеселительна, хотя и препроводилъ я въ томъ много времени [32].

Второвъ такъ зарвался съ покупкой книгъ во время своего путешествія, что—

„на обратномъ пути въ Симбирскъ питался только хлѣбомъ, огурцами и толокномъ" [33].

Поклонники романической литературы влюблялись не только въ романы, въ романическихъ героевъ, но и въ самихъ „сочинителей":

Когда одинъ изъ гостей Второва, слушая „Бѣдную Лизу", плѣнился красотою слога и хвалилъ сочинителя, онъ—„доволенъ былъ сею похвалою",—„для того, что я больше всѣхъ почитаю любезнаго сочинителя г. Карамзина" замѣчаетъ онъ. Получивъ въ концѣ 1793 года отъ своихъ симбирскихъ пріятелей извѣстіе о Карамзинѣ такого рода, „что онъ несчастливъ и только что живъ, а больше ничего",—Второвъ по этому поводу, пишетъ: „мое сердце облилось кровію, какъ о родномъ моемъ братѣ, какъ о любезномъ моемъ другѣ,—такъ я его почитаю" [34].

Если авторы многихъ мемуаровъ характеризуютъ себя, какъ любителей романовъ, то неразъ, кромѣ самихъ себя, рисуютъ они и другихъ почитателей этого популярнаго литературнаго жанра.

Вотъ, передъ нами, напримѣръ,—мать Карамзина, молодая женщина, которая, оказывается, до того была привязана къ романамъ, что „не выпускала ихъ изъ рукъ" [35]; изъ романовъ у нея составилась даже цѣлая библіотека. Своею будничною жизнью она не

удовлетворена: какъ Татьяна Ларина, она томится, — „не нуждается въ обществѣ“ и, выработавъ въ себѣ „удивительную склонность къ меланхоліи“, цѣлые дни просиживаетъ съ книгами, иногда „въ глубокой задумчивости“...

Кромѣ этого яркаго образа, мелькаетъ много другихъ, подобныхъ же,—въ родѣ, напримѣръ, сестры Второва,—дѣвушки, принадлежавшей къ этому же новому типу мечтательныхъ русскихъ женщинъ, воспитавшихъ свое сердце чтеніемъ романовъ [36]. Вотъ—мать С. Аксакова, большая охотница до книгъ и стиховъ, женщина литературно-образованная и вліяющая, въ этомъ отношеніи, на всѣхъ окружающихъ [37]. Вотъ, напримѣръ, Е. А. Протасова, игравшая, какъ извѣстно, большую роль въ жизни Жуковскаго,—у нея, оказывается, „въ Сибири было одно чтеніе: „La Nouvelle Héloïse“, которую она знала почти наизусть, и кромѣ того, сентиментальная книга о воспитаніи: „Adèle et Théodore“ [38]. Родная сестра Пушкина также была любительницей подобнаго чтенія.

„Любезная сестра!—обращается къ ней еще въ 1814 году нашъ поэтъ:

„Чѣмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаешь?
Жанлисъ ли предъ тобой?“ [39].

Остановимъ не надолго наше вниманіе еще на С. Н. Карамзиной, дочери исторіографа: она—тоже типичный образчикъ русской любительницы романовъ,—это мы видимъ изъ записокъ Смирновой, гдѣ разсказанъ, между прочимъ, слѣдующій эпизодъ: въ обществѣ однажды шла рѣчь о какомъ-то житейскомъ случаѣ—

„Sophie, проводящая жизнь въ поглощеніи англійскихъ романовъ, сказала: „это совсѣмъ то же положеніе, когда Артуръ пришелъ къ Мэри“. Мы удивленно раскрыли глаза, а Полетика спросилъ ее: „какой Артуръ? какая Мэри?“... Лерма расхохотался: „ахъ, да это романъ въ 15-ти частяхъ! m-lle Sophie увлекается имъ въ настоящее время! Онъ длиннѣе и болѣе раздирателенъ, чѣмъ „Кларисса Гарловъ!“ Sophie такъ живетъ въ своихъ англійскихъ романахъ, что беретъ даже изъ нихъ всевозможныя прозвища своимъ знакомымъ“ [40].

Подобное отношеніе къ книгѣ создавало въ русской жизни такихъ людей, которые жили по „рецептамъ“, извлеченнымъ изъ прочтенныхъ романовъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Въ запискахъ Вигеля мы встрѣчаемъ нѣсколько такихъ образовъ. Дѣвица Ступишина, напримѣръ, совсѣмъ годится въ героини любого изъ модныхъ тогда романовъ: она—отличалась скромностью, любезностью, знала иностранные языки“, по-французски объясня-

лась прекрасно, много читала романовъ и чуждалась общества подругъ; отличалась „чувствительностью, нѣжностью“.

Но пусть самъ Вигель разскажетъ намъ дальше о ней...

„Дѣвочкѣ, восторженной отъ чтенія романовъ, довольно пріятно, въ тиши уединенія, на яву длить собственный романъ“,—началась переписка ея на французскомъ языкѣ съ какимъ-то героемъ. „Когда случилось мнѣ послѣ читать эти посланія молодой Ступишиной,—разсказываетъ Вигель: то мнѣ казалось, что страсть и искусство выражать ее далѣе идти не могутъ; но еще позднѣе, когда я болѣе начитался романовъ, я нашелъ въ нихъ цѣлыя страницы, уже мною читанныя“ [41].

Вотъ еще дѣвица Копіева—созданіе не отъ міра сего, мечтательница, которой пришлось выстрадать несчастную любовь:

„она была тиха, скромна. Чтеніе французскихъ романовъ пуще воспламенило ея воображеніе...“ Любовной страсти она „вся предалась“,—но не суждено было ей узнать радости любви,—она „прилѣпилась къ призраку“ и „...тѣшилась въ мечтахъ“ [42].

Особенно поучительны, въ этомъ отношеніи, записки Второва: самъ авторъ и женщины, его любившія, очень удачно и, повидимому, вполнѣ чистосердечно и добросовѣстно разыгрывали цѣлыя сцены изъ романовъ: тутъ встрѣтимъ мы и клятвы, въ „вѣрности навсегда“, и питье крови другъ у друга, и страстныя посланія, написанныя въ духѣ писемъ S.-Preux и Julie, и слезами размытыя строки и, въ концѣ концовъ, монастырь,—могила несчастной любви [43]...

Пошлыя, на нашъ взглядъ, угрозы, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей: „смертоносная пуля скоро просверлитъ голову несчастнаго вашего сына“,—фраза, которою отецъ С. Аксакова запугалъ родителей,—вычитывались изъ романовъ [44], но волновали, въ свое время, вполнѣ искренно и вполнѣ вѣрно передавали тѣ своеобразныя, приподнятыя чувства, которыя жили въ сердцахъ читателей тогдашнихъ романовъ. И самоубійства отъ любви, и страстныя переписки, и монастыри, были тогда въ ходу и погубили, вѣроятно, немало молодыхъ жизней,—недаромъ „романы“ даже попадаютъ въ завѣщанія: умирающая мать проситъ свою дочь не читать безъ разбору романовъ! [45]... Вѣроятно, это чтеніе считалось тогда страшной культурной силой, если несчастная женщина такъ боялась его, прощаясь съ жизнью...

2.

Если мы обратимся теперь къ *текстамъ романовъ*,—мы увидимъ тамъ полное подтвержденіе всѣмъ тѣмъ наблюденіямъ, ко-

торыя извлечены нами изъ мемуаровъ, — въ самихъ романахъ XVIII-го вѣка очень часто говорится о произведеніяхъ романической литературы, о герояхъ, которые увлекаются этой литературой, о популярности ея у насъ въ XVIII вѣкѣ... Въ герояхъ и героиняхъ романа узнаемъ мы тѣ же самыя живыя лица, съ которыми только что познакомились въ мемуарахъ.

Такъ, напримѣръ, неразъ выводятся здѣсь страстные любители и любительницы романической литературы:

„Она съ сего времени, обыкновенно, по наступленіи вечернія зари всегда гуляя по саду, читала такія книжки, которыя могли возбудить въ ея сердцѣ пріятнѣйшую въ свѣтѣ страсть. Она, читая различныя приключенія, бываемыя отъ любви, иногда сожалѣла о тѣхъ несчастныхъ особахъ; а иногда старалась онымъ подражать. Въ одно время читала она описаніе приключеній одной персіянки, странствовавшей по всему свѣту, ища своего любовника. Между прочимъ, помѣщено было и самое описаніе того предмета, для котораго сносила персіянка несчастія. Лилероза, прочитавъ нѣсколько разъ сряду, вдругъ почувствовала къ, извѣстному ей по единому только описанію, смертному неопреодолимую страсть“ [46].

Такіе любители романовъ являлись, конечно, и въ роли ярыхъ защитниковъ этого жанра—одинъ изъ нихъ заявляетъ:

„Да, Нелестъ, смѣйся: читаю часто и романы,—плачу и не стыжусь! Напрасно всѣ вы кричите, что романы портятъ нравы. Примѣть, они—пища чувствительности: примѣть, кто сострадаетъ вымышленнымъ бѣдствіямъ, тотъ первый изливаетъ на скорбь ближняго отрады. Вотъ ихъ достоинство! [47].

Какъ мемуары, отмѣтили существованіе въ жизни такихъ любителей романической литературы, которые привязывались къ одному-двумъ произведеніямъ и съ ними не разставались,—такъ и романисты неразъ выводятъ такихъ-же героевъ: одна героиня упрекаетъ другую за односторонность ея вкусовъ:

„По чести, Роза, съ тобою очень весело прогуливаться,—всегда вѣрный случай зѣвать! „Вертера“ знаешь почти наизусть, и безъ него ни на шагъ! Когда онъ тебя растрогаетъ, то ты за Юнга,—и, ну, его цаловать, ну плакать!“ [48].

Въ другомъ романѣ выведена героиня, которая читаетъ единственную книжку—„Новую Элоизу“ [49], третья увлекается—только Юнгомъ и Вертеромъ [50].

Обычное занятіе тогдашней молодой дѣвицы, или женщины:—„книги, хозяйство, другъ великодушный, музыка...“ [51],—или „клавесинъ, книга, птичка, цвѣтокъ, бабочка...“ [52]. „Наипріятнѣйшая забава“ одной героини—было чтеніе „нравоучительныхъ книгъ и шитье въ пяльцахъ“ [53]. Вообще почти всѣ романически-настроен-

ныя дамы, обыкновенно, страстно любятъ романы [54]; особенно чтеніе Вертера онѣ рекомендуютъ другу другу [55].

Иногда чтеніе увлекательнаго романа происходитъ „вдвоемъ"; обыкновенно, такое чтеніе en deux кончается объясненіемъ въ любви—одинъ герой разсказываетъ, какъ онъ съ милой ему дамой—

„оставшись дома, забавлялись чтеніемъ нѣкоторой любовной книги, и, какъ золото на камнѣ, такъ при чтеніи подобныхъ исторій, любовь собственность свою показываетъ... Пришедъ внѣ себя, бросилъ я книгу объ землю и началъ проклинать не токмо оной автора, но и всѣхъ тѣхъ, кои столь мучительныя издаютъ похожденія" [56].

„Пламиръ нашелъ ее за книгой; она читала „Вертера", который тогда только лишь вышелъ. — „Я вамъ помѣшалъ, сударыня?" — „Ни мало... напротивъ, я очень рада вашему пріѣзду". — „Однако эта книга такъ занимательна; вы изъ вѣжливости ее оставили".—„Этому можно помочь, и отъ васъ зависитъ сдѣлать мнѣ еще больше удовольствія!"—„Какимъ образомъ?"—„Вы такъ хорошо читаете!.. Я могу васъ слушать".—Пламиръ взялъ книгу и началъ читать. Пламенной слогъ автора получалъ новую душу въ устахъ Пламира. Всѣ оттѣнки чувствованій были выражены со всею точностію. Пламиръ находилъ подлинникъ сей книги въ сердцѣ своемъ... а сердце умѣетъ выражать [57].

О такомъ-же совмѣстномъ чтеніи „Новой Элоизы" встрѣчаемъ мы упоминаніе дважды [58].

Распространенность и общеизвѣстность романовъ видна изъ того, что имена наиболѣе популярныхъ героевъ употребляются часто, какъ имена нарицательныя, какъ прозвища... Особенно посчастливилось, въ этомъ отношеніи, Вертеру. Одинъ авторъ самъ называетъ себя—„вторымъ злополучнымъ Вертеромъ" [59]. Героиня романа „Роза" своего героя, въ глаза и за глаза, именуетъ „Вертеромъ"—

„Вы—совершенный Вертеръ!.. я дрожу! удалитесь отъ меня, страшныя мысли!... Играй, рокъ, долею стенящей Розы!" [60].

„Успокойся, любезная Роза! миновала буря... Вертеръ живетъ" [61].

Еще разъ прозвище „Вертеръ" встрѣчаемъ мы въ романѣ „Неонила" [62]; тамъ же встрѣчаемъ мы и наименованія одной дѣвицы „второй Памеллой" и „добродѣтельной Памеллой" [63]. Въ одномъ романѣ героиня называется „Юліей Детанжъ [64] (т. е. героиней „Новой Элоизы"). Одного порочнаго героя именуютъ въ романѣ „совершеннымъ Генслеемъ" [65]. За сентиментальность одну героиню называютъ „нѣжной англичанкой" [66],—очевидно, этимъ намекая на сходство ея съ героинями англійскихъ сентиментальныхъ романовъ. Одинъ романическій юноша, искавшій по бѣлу-свѣту „вторую Элоизу", нашелъ ее, наконецъ, во образѣ „прекрасной поселянки [67].

„Я стоялъ восхищенъ, неподвиженъ, безмолвенъ; любовался на лицѣ ея чертами красоты и чувствительности, воображалъ себѣ вторую Элоизу, и—не знаю, что бы сдѣлалъ въ безпамятствѣ и восторгѣ, ежелибъ она въ то же самое время не встала“ [68].

Наконецъ, встрѣчаемъ мы употребленіе популярныхъ романическихъ именъ, съ цѣлью высмѣять тѣхъ, къ кому они приложены: „Донъ-Кишотъ“, „Ренальдъ“, „Еруланъ“, „Бова Королевичъ“, „Роландъ“, „Ренальдъ“,—имена, наиболѣе часто встрѣчающіяся [69].

Въ большинствѣ случаевъ романы даютъ романическимъ героямъ указаніе, какъ надо поступать въ жизни, внушаютъ имъ чувства, подсказываютъ выраженія, воплощающія эти чувства... Недаромъ Чулковъ, какъ-то мимоходомъ, бросилъ такое замѣчаніе:

„Деньги имѣютъ великую силу надъ нашимъ сердцемъ, а писатель романовъ еще большую“ [70].

Какъ мемуары, такъ и романы доказываютъ, что любовныя повѣсти учили своихъ поклонниковъ искусству любви. Въ одной повѣсти мы встрѣчаемъ такое увѣщаніе:

„Полно, любезный другъ мой, романчествовать!.. Я примѣчаю, что какой-нибудь романъ прельстилъ тебя свою вѣрностью и великое желаніе воспалилъ въ тебѣ съиграть романическую роль любовника? Нынѣ уже эта любовь не въ модѣ, и она теперь признается не за иное что, какъ за сатиру на глупые старинные нравы“ [71].

Такія „романическія“ чувства, которыя людямъ „трезвымъ“ казались неестественными, внушало чтеніе романовъ.—

„Разсмотри себя и смѣйся: другъ мой влюбленъ въ портретъ Плѣвиры, которую онъ вскользь видѣлъ! Согласенъ, страсть играетъ сердцами,—надобно однакожъ время! Сходство нравовъ, красота, нѣжная душа нечувствительно лишаютъ насъ свободы, но, чтобъ сойти съ ума въ одну минуту,—даръ романическій, едва ли въ природѣ существующій!.. Подожди, я постараюсь прислать тебѣ Вертерову Шарлотту,—она написана щегольски. Надѣюсь, что знаменитая героиня сія выгонитъ изъ мыслей твоихъ графиню“ [72].

„Иныя науки страстямъ своимъ невольникомъ ребенка сдѣлать могутъ, а особливо исторія, въ которой столь много нѣжныхъ и любовныхъ приключеній написано“ [73].

Герои иногда сами сознаются, что именно чтеніе романовъ „вложило имъ счастливую мысль“ сдѣлать такой шагъ, который приблизилъ ихъ къ достиженію любви [74].

Романы учили не только чувствамъ, но и „уверткамъ“—т. е. кокетству, умѣнію завлекать, побѣждать—

„Многіе говорятъ, что дѣвушки, читая романы и любовныя басни, научаются изъ нихъ приманивать къ себѣ верхоглядовъ, то есть любовниковъ“,—острятъ одинъ изъ героевъ повѣсти Чулкова [75].

„Я тотчасъ догадался, что надобно мнѣ дѣлать, ибо я довольно

читывалъ романовъ, которые глупыхъ людей исправляютъ и дѣлаютъ дураками", — говоритъ одинъ изъ романистовъ XVIII-го в. и продолжаетъ: „Ухвативъ ее за руку, бросился предъ нею на колѣни и, принявъ на себя видъ отчаяннаго любовника, началъ говорить такимъ образомъ: „Собраніе пріятствъ! источникъ красоты! оставь мою вину, что жаркая любовь принуждаетъ меня выступить изъ границъ несноснаго терпѣнія и т. д." [76].

„Она была дѣвушка свѣтская и знала больше, нежели ей надобно было,—читала романы и изъ нихъ научилась презирать людей" [77].

„Я часто читывала книжку: „Бабьи увертки", и прилежала, чтобъ научиться имъ" [78].

Наконецъ, иногда романы подсказываютъ въ критическій моментъ особливо-краснорѣчивыя выраженія,—недаромъ, когда дѣло касается любви, герои, чувствуя безпомощность своего языка, обыкновенно, взываютъ къ Руссо [79].

Передъ „самоубійствомъ" одинъ герой перечитываетъ Вертера, питая духъ свой „радостными размышленіями" [80].

Въ припадкѣ пессимизма герои, обыкновенно, живутъ мыслями и чувствами того же Вертера [81],—въ періодъ же торжества страсти почти всегда вспоминаютъ Руссо [82]...

Когда герой чувствуетъ приливъ нѣжной сентиментальности, сердце его, повторяя Стерна, Карамзина и другихъ сентименталистовъ, —

„...часто въ веселіи духа говоритъ, съ нѣжнымъ Стерномъ: „Любезная чувствительность! [83].

Когда герой чувствуетъ приступъ меланхоліи, онъ —

„Съ авторомъ „Алексиса" говоритъ: „Ахъ! какъ жалокъ чувствительный человѣкъ [84].

Иногда самъ авторъ-романистъ, чувствуя безсиліе своего языка, вспоминаетъ болѣе счастливыхъ своихъ учителей-литераторовъ.—

„О, Мистриссъ Радклиффъ! восклицаетъ кн. Шаликовъ,—для чего не имѣю я твоего божественнаго дарованія? Какими бы ты пріятными очаровательными путями повела читателя своего къ открытію видѣннаго и слышаннаго моею героинею" [85].

Немудрено, что и герои такихъ романовъ стараются сближать свою жизнь съ жизнью любимыхъ романическихъ героевъ. Одинъ изъ нихъ разсказываетъ о своихъ мечтахъ:

„На каждомъ шагу встрѣчались мнѣ прекрасныя мѣста,—романтическія убѣжища блаженства,—цвѣтущіе берега, которые, можетъ быть, ничто въ сравненіи съ Леманскими, прославленными Жанъ-Жакомъ Руссо и молодымъ Верномъ, но на которыхъ осмѣливался я поселять новую Юлію, самъ быть вторымъ Сенъ-Пріо, и жить тамъ съ нею въ тишинѣ уединенія, посреди слабыхъ существъ, почерпнувшихъ жизнь въ источникѣ любви и удовольствія" [86].

„Сердце мое требовало рѣшительнаго выбора—желало предмета, достойнаго любви своей. Образъ новой Элоизы,—прекраснѣйшаго изъ всѣхъ существъ, когда либо воображеніемъ произведенныхъ,—обиталъ въ душѣ моей и служилъ мнѣ путеводителемъ въ моемъ исканіи. Но, сколько ни старался я ловить нѣкоторыя черты чувствъ ея между знакомыми дѣвушками, не могъ встрѣтить нигдѣ и ничего сходнаго съ этою несравненною и во всемъ совершенною женщиною! Я подумалъ, наконецъ, что никто не можетъ осуществить мечты Руссова воображенія, предмета моей чувствительности,—и отъ этой печальной мысли унывалъ духъ мой" [87].

„Сколько я, послѣ моего съ тобою свиданія, ни читалъ книгъ, все кажется, что нашу описываютъ любовь; ибо никакія, мною прочтенныя, приключенія въ моей не остаются памяти, кромѣ тѣхъ, которыя съ теперешнимъ моимъ состояніемъ сходны" [88].

„...Имя моей героини—Элиза. Я выбралъ ее предпочтительно... за то, что имя ея сдѣлалось обожаемымъ чрезъ нѣжныя письма друга чувствованій моихъ—трогательнаго Стерна. Впрочемъ, по подражанію ли то, или по модѣ, Элиза всегда останется любимое имя въ моихъ бумагахъ,—оно замѣняетъ всѣ надписи, посвященія, предисловія и заключаетъ въ себѣ столько смыслу, сколько кому угодно!" [89].

„Она взяла книжку безъ выбору—и какъ была довольна, что нашла въ ней весьма мнѣ любезныя письмы новой Элоизы!.. Сколь прекрасно, нѣжно они писаны! Столь сладостно мнѣ было ихъ читать, столь много чувствительной слогъ ихъ раждалъ во мнѣ задумчивости, очаровывающаго унынія и неизвѣстной сладостной печали, — что на всякой строкѣ, казалось мнѣ, что его не наставникъ—къ Юліи, а Милонъ ко мнѣ писалъ, впечатлѣвая каждое слово въ отзывистое мое сердце" [90].

Романисты указываютъ намъ, устами своихъ героевъ, какіе романы считались въ XVIII в. у насъ „лучшими"—

„Графъ спросилъ Милона: „какого рода романы болѣе для дѣвицъ полезны?" Взглянувъ страстно на Розу, отвѣчалъ Милонъ, что склонности душевныя назначаютъ для себя выборъ; что мнѣ кажется, что романы Фильдинговы, „Софія и Емилій", „новый Абеллярдъ", Мармонтелевы „сказки", сочиненія г-жи Рикобони, дѣвицы Штернгеймъ, Виландовы и тому подобныя наградятъ скуку красавицы, не повреждая нѣжныхъ сердецъ и не подавляя душевныхъ добротъ: что истина въ нихъ украшена, пороки представлены взору въ обнаженномъ, безобразномъ ихъ видѣ, примѣры взяты съ природы... „Многіе, примолвилъ я, пропускаютъ нравоученіе и плѣняются одною волшебною питью восхищающаго романа. Таковымъ, думаю я, наставники избирать должны повѣсти, кои не воспаляютъ воображенія..." Лучшими считаетъ онъ сочиненія Юнга, а также романы: „Вертеръ", „Грандисонъ..." На замѣчаніе героини, что трогательныя произведенія вызываютъ у нея слезы, онъ восклицаетъ: „О сколь, драгоцѣнны сіи знаки чувствительности! не стыдитесь, сударыня, проливать слезы!.. Я иду смѣло противу твердыхъ нравовъ, приписывающихъ плачъ слабости. Увидя погибающаго, кто прольетъ на скорбь его лестную сію отраду,—тотъ, имѣя способы, конечно, первый устремится облегчить его участь. Слабость ли ощущать

сожалѣніе? Слабость ли раздѣлять горесть? Слабость ли человѣку быть человѣкомъ?“ [91].

Почти всѣ романическіе герои защищаютъ великое воспитательное значеніе романовъ. Шаликовъ о романахъ Радклиффъ отзывается въ такихъ словахъ:

„Что бы ни говорили о романахъ, но волшебная кисть несравненной мистриссъ Радклиффы пишетъ живѣе, нежели циническое перо, прелестную картину добродѣтели и отвратительную каррикатуру порока.— Романы ея, въ которыхъ, противъ обыкновенія романовъ, не всегда любовь играетъ первую ролю, наставительнѣе сухихъ, моральныхъ трактатовъ. Читайте „la Fôret“ [92].

Тетка героини романа: „Неонила“ такъ воспитывала ее чтеніемъ нравоучительныхъ повѣстей.—

„Я... почитала нужнымъ расположить ученіе такимъ образомъ, чтобъ дитя само могло разсуждать о худомъ и хорошемъ. И такъ, ученіе мое состояло въ повѣствованіи и изъясненіи порока, добродѣтели, наказанія и награжденія. Я вліяла въ дитя понятіе о богатствѣ и бѣдности, о человѣкѣ счастливомъ и несчастномъ. Сіе мнѣ причинило много размышленій и труда, ибо я сама выдумывала повѣсти, которыя все то въ себѣ заключали [93].

Относительно одной порочной дѣвицы та же „воспитательница“ говорила слѣдующее:

„Описаніе ея жизни заслуживаетъ, чтобъ всѣ дѣвицы оное читали, и такую принесетъ пользу, что любострастные не будутъ откладывать свое исправленіе [94].

Одна изъ повѣстей оканчивается обращеніемъ автора къ читателю,—онъ проситъ ихъ, заглянуть въ сердце людей „униженныхъ и оскорбленныхъ“ —

„...можетъ быть, кто-либо почтетъ исторію сію ничего не значащею; но пускай прочтетъ ее внимательнѣе, предположа, что человѣкъ во всякомъ состояніи такъ, какъ человѣкъ, намъ подобенъ и что, по правамъ природы, бѣдной нищій можетъ назвать братомъ своимъ самаго знатнаго дворянина...“ [95].

Впрочемъ, въ романахъ же встрѣчаемъ мы и „благоразумныхъ“ людей, которые признаютъ чтеніе этихъ произведеній вредными. Такъ, одинъ „трезвый“ герой говоритъ другому:

„ты слишкомъ зараженъ романами; въ свѣтѣ нельзя поступать по письменному“ [96].

Другой такой же противникъ романовъ говоритъ герою, —

„что его увлеченіе безсмысленно и безнравственно, и рекомендуетъ ему бросить романы въ печь“ [97].

Особенно строги къ романамъ люди пожилые: одинъ суровый отецъ сердился на дочь за то, что та любила романы,—онъ говорилъ ей:

„... у тебя набита голова модными химерами,—романами... О, эти романы! нѣсколько лѣтъ назадъ, когда не знали дѣвушки и имени романа, родительская воля была для нихъ и умомъ, и сердцемъ“ [98].

Наконецъ, мы слышимъ осужденіе романовъ и изъ устъ одной „благоразумной“ женщины. Она жалуется на то, что русскія дамы и дѣвицы, подъ вліяніемъ романовъ —

„остались изъ разумныхъ твореній совершенными дурами—ни малѣйшей частички разума [99].

Она довольна, что ей въ дни юности было запрещено читать романы, такъ какъ—говоритъ она —

„въ противномъ случаѣ думала бы я и день, и ночь ни о чемъ больше, какъ только о томъ, какимъ бы образомъ сдѣлаться дурой: потому что въ то время (15—16 лѣтъ) не можно бы было ничѣмъ меня увѣрить, что то принадлежитъ къ достоинствамъ большого свѣта, чтобы одинъ разъ въ жизни своей сойти съ ума для мущины“ [100].

Она говоритъ, что желаніе дѣлать читателей добродѣтельными—недостижимо, такъ какъ романисты сами себѣ противорѣчатъ,

заботясь о томъ,—„чтобы нравоученіе укрѣпляло въ насъ неразвернувшееся еще сѣмя совершенства и благомысленности такъ, какъ должно“, — они, „дабы учинить насъ достойными любви въ глазахъ душъ великихъ“, стараются „юношу и дѣвицу, которыя и безъ того думаютъ о всемъ превратно, учинить волокитами и непостоянными“ [101].

По ея словамъ, мущинъ изображаютъ романисты такъ, что они недостойны и уваженія: герои романовъ представляются, обыкновенно—

„твореніемъ плачущимъ, слезливымъ, распространяющимъ около себя печаль и прискорбіе. „Не подумайте обо мнѣ, чтобы я опорочивала въ мущинѣ чувствительность. Нѣтъ! слезы мущины въ важныхъ случаяхъ... могутъ меня тронуть сердечно... Но имѣть глаза, наполненные всегда слезами,—и часто въ такихъ обстоятельствахъ, гдѣ непростительно плакать и женщинѣ, которая рождена гораздо чувствительнѣе—сіе для меня гнусно и отвратительно. Бодрость и мужество—вотъ, что нужно молодому человѣку“, а въ романахъ это „твореніе самое нѣжное, препровождающее лучшую половину своей жизни въ слезахъ“ [102].

Дѣвушка, подъ вліяніемъ романа —

„возьметъ себѣ въ мысли искать того, что почитаетъ благополучіемъ въ своей жизни и... бываетъ несчастна“. Она привыкаетъ играть воображеніемъ и идеализировать людей, что ведетъ ее къ непоправимымъ ошибкамъ [103].

Герои, сентиментально настроенные, осуждаютъ сатирическую литературу: такъ, одинъ авторъ разсказываетъ, какъ, подъ вліяніемъ словъ своей возлюбленной, придя домой,—

бросилъ „Донъ-Кишота“ въ печь и—„заклялъ въ сердцѣ... бо́льшую часть сатириковъ,—они должно быть недобрые люди“ [104].

Со своей стороны, герои съ реалистическимъ міросозерцаніемъ, неодобрительно относились къ произведеніямъ тенденціознымъ-нравоучительнымъ —

„...Глупцы, охотники до нравоученія, и не только гдѣ въ другомъ мѣстѣ, но и въ пріятельскихъ письмахъ пишутъ философскія морали, которыя они, по случаю, увидѣли гдѣ-нибудь въ книгѣ, и сіе дурацкое повѣтріе, мнѣ кажется, изъ старины ведется: кто глупѣе всѣхъ, тотъ охотнѣе принимается учить другихъ“ [105].

— говоритъ одинъ строгій „реалистъ“ о дидактической литературѣ вообще, о романѣ въ частности...

3.

Если при чтеніи „мемуаровъ“, отстаивающихъ полезность романической литературы, чувствуется, что восторженность отзывовъ объ этихъ произведеніяхъ порою сбивается на „защиту“ ихъ отъ чьихъ-то неблагопріятныхъ отзывовъ, если это суровое отношеніе къ нимъ проскальзываетъ уже въ самыхъ романахъ, — то стоитъ обратиться къ *журналистикѣ* XVIII вѣка, и сразу понятнымъ намъ сдѣлается, съ чьей стороны идутъ эти отрицательные отзывы о романахъ.

a) Прежде всего, врагами романа являются люди „стараго закала“, воспитанные на церковной литературѣ,—они безъ разбору осуждаютъ всякую свѣтскую, тѣмъ паче любовную, книжку.

Недаромъ одна читательница журнала: „Что-нибудь“ жаловалась въ письмѣ на своего „батюшку“,—человѣка „стараго и притомъ набожнаго“, который заставляетъ ее читать только „священное, какъ-то Чети-Минеи, Соломоновы премудрости и Феофановы проповѣди“, а другихъ „свѣтскихъ книгъ, напримѣръ романовъ и другихъ забавныхъ исторій не велитъ и въ руки брать“ [106]. Выручали ее, впрочемъ, пріятельницы, которыя, тайкомъ отъ суроваго батюшки, доставляли ей запрещенныя книги.

b) Затѣмъ врагами новаго печатнаго романа,—врагами, правда, менѣе суровыми, явились любители стараго рукописнаго романа. А. Н. Пыпинъ въ цѣнномъ очеркѣ своемъ: „Для любителей книжной старины“, характеризуя этотъ рукописный романъ, указалъ болѣе ста произведеній, ходившихъ въ XVIII-омъ вѣкѣ по рукамъ. Вся Петровская эпоха жила этими произведеніями; они переходятъ и въ глубь XVIII в., живутъ въ теченіе его и захватываютъ

даже наши дни, расходясь въ лубочныхъ изданіяхъ. Этотъ рукописный романъ отличается большимъ консерватизмомъ: въ то время, какъ въ теченіе двухъ вѣковъ (XVIII и XIX ст.) печатный романъ переживалъ цѣлый рядъ видоизмѣненій, мѣнялъ свою форму и содержаніе до неузнаваемости,—рукописный романъ, подобно народной сказкѣ, почти не подвергся колебаніямъ и перемѣнамъ.

Правда, „литераторы“ XVIII в. относились къ этому рукописному вульгарному роману съ бо́льшимъ, или меньшимъ презрѣніемъ, но они должны были съ нимъ считаться, такъ какъ новый печатный романъ не всегда могъ одолѣть своего предшественника, завоевавшаго вполнѣ опредѣленное положеніе въ нѣкоторыхъ группахъ русскаго читающаго общества. Въ „Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова“ встрѣчаемъ, напримѣръ, очень любопытный разсказъ объ одномъ „любителѣ чтенія“ XVIII в., который внимательно слѣдилъ за печатными книжными новинками, ихъ тщательно скупалъ и составилъ изъ нихъ библіотеку, извѣстную во всемъ городѣ,—но, оказывается, онъ, хотя и имѣлъ—

„превеликую библіотеку, никогда книгъ не читалъ, кромѣ какъ: „Шемякинъ судъ“, „Бову Королевича“, „Палкана“, „Златыхъ ключей“ и имъ подобныхъ: таковыя книги хранятся у него съ превеликимъ тщаніемъ и каждой по два экземпляра,—одинъ для украшенія библіотеки,—другой лежитъ въ Кабинетѣ, на столикѣ, для всегдашнева употребленія... Протчія же, хорошія... стоитъ у него въ шкафу, въ богатомъ переплетѣ, съ золотыми обрѣзами и съ надписаніемъ ево имяни“ [107].

Изрѣдка мы услышимъ даже и отъ литераторовъ XVIII в. нѣсколько словъ въ защиту стараго рукописнаго романа,—такъ, одинъ критикъ, нападающій на сочиненіе „господина К**“, сравниваетъ это произведеніе съ „Бовой“, называя его „двоюродной сестрой Бовы Королевича“, такъ какъ содержаніе въ обоихъ фантастическое,—разница только та, что „въ „Бовѣ Королевичѣ“ нѣтъ такихъ неблагопристойностей и, слуху противныхъ, выраженій,—какими исполненъ К**“...[108].

По журналамъ XVIII в. мы можемъ составить списокъ этихъ наиболѣе „популярныхъ романовъ, ходившихъ въ рукописи. Такъ, одинъ изъ сотрудниковъ журнала: „И то и сіо“, говоря о своемъ литературномъ образованіи, заявляетъ иронически, что—

„набрался разума, чистаго слога, изрядныхъ замысловъ и, удивительнаго къ исторіи, расположенія“ изъ книгъ: „О побѣгѣ изъ пушкарскихъ улицъ бѣлаго пѣтуха отъ курицъ“, „О Фролѣ Скобѣевѣ“ и Азіатская Баниза“ [108].

Въ томъ же журналѣ встрѣчаемъ разсказъ объ одномъ при-

казномъ, который промышлялъ только переписываньемъ романовъ:

„...по прекращеніи приказной службы кормитъ онъ голову свою переписываніемъ разныхъ исторій, которыя продаются на рынкѣ, какъ то, напримѣръ: „Бову Королевича", „Петра Златыхъ Ключей", „Еруслана Лазаревича", о „Францѣ Венеціянинѣ", о „Геріонѣ", о „Евдонѣ и Берфѣ", о „Арсасѣ и Размѣрѣ", о „Россійскомъ дворянинѣ Александрѣ", о „Фролѣ Скобѣевѣ", о „Барбосѣ-Разбойникѣ" и прочія весьма полезныя исторіи, и сказывалъ онъ мнѣ, что уже 40 разъ переписалъ „исторію Бовы Королевича", ибо на оную бываетъ больше походу, нежели на другія такія драматическія сочиненія" [109].

c) Противниками романовъ выступили и „серьезные" литераторы, въ родѣ Сумарокова, Новикова, Хераскова и др. Такъ, Сумароковъ, творецъ трагедій и комедій—этихъ „законныхъ дѣтей" поэзіи, — псевдо-классикъ „haute école", къ роману относится съ полнымъ презрѣніемъ, судитъ его съ высоты своего парнасскаго величія. Онъ заявляетъ:

„пользы отъ нихъ мало, а вреда много. Говорятъ о нихъ, что они умѣряютъ скуку и сокращаютъ время, т. е. вѣкъ нашъ, который и безъ того кратокъ"...; говорятъ, что они „служатъ къ утѣшенію неученнымъ людямъ—для того, что другія книги имъ непонятны".

Впрочемъ, онъ дѣлаетъ оговорку только въ пользу „хорошихъ" романовъ, хотя и здѣсь прибавляетъ:

„хорошіе романы, хотя и содержатъ нѣчто достойное въ себѣ, однако изъ романовъ въ пудъ вѣсомъ, спирту одного пуда не выйдетъ" [110].

Съ такой же точки зрѣнія „серьезности" осудилъ романы Новиковъ: говоря о книжной торговлѣ въ Россіи, онъ сообщаетъ—

„...Здѣсь примѣчена великая перемѣна въ продажѣ книгъ. Прежде жаловались, что на Россійскомъ языкѣ не было почти никакихъ полезныхъ, и ко украшенію разума служащихъ, книгъ, а печатались одни только Романы и Сказки, но однакожъ ихъ покупали очень много,—нынѣ многія наилутчія книги переведены съ разныхъ иностранныхъ языковъ, и напечатаны на Россійскомъ; но ихъ и въ десятую долю противъ Романовъ не покупаютъ. Прежнему, великому на Романы и Сказки, росходу причиною было, какъ нѣкоторыя сказываютъ, невѣжество; а нынѣшнему малому наилутчимъ книгамъ росходу, полагаютъ причиною великое наше просвѣщеніе. И подлинно, благодаря Бога, мы нынѣ такъ стали разумны, что не только ничему уже не хотимъ учиться, но и за стыдъ почитаемъ упражняться въ наукахъ, а еще и паче во словесныхъ. Чтожъ касается до подлинныхъ нашихъ книгъ, то они никогда не были въ модѣ, и совсѣмъ не расходятся; да и кому ихъ покупать? просвѣщеннымъ нашимъ господчикамъ онѣ не нужны, а невѣжамъ и совсѣмъ не годятся. Кто-бы во Франціи повѣрилъ, ежели-бы сказали, что „Волшебныхъ сказокъ" разошлося больше сочи-

ненiй Расиновыхъ? А у насъ это сбывается: „Тысяча одной ночи“ продано гораздо больше сочиненiй г. Сумарокова. И какой-бы Лондонской книгопродавецъ не ужаснулся, услышавъ, что у насъ двѣсти екземпляровъ напечатанной книги иногда въ десять лѣтъ насилу раскупятся? О времена, о нравы! ободряйтесь Россiйскiе писатели; сочиненiя ваши скоро и совсѣмъ покупать перестанутъ“ [111].

d) Въ рядахъ противниковъ романа оказались и тѣ многочисленные критики, „реалисты“ по вкусамъ, которые въ романической идеализацiи увидѣли фальшь,—вредную ложь, мѣшающую любителямъ этой лжи жить въ мiрѣ дѣйствительномъ. Такое стремленiе къ трезвому реализму — явленiе, очень характерное для русской литературы XVIII столѣтiя. „Чтобы любить романы“, говоритъ одинъ критикъ —

„надо быть страшнымъ охотникомъ“ до нихъ. „Вы сами не прочь отъ романовъ, когда увѣряете насъ, какъ будто китайцевъ, что въ Россiи не слыхать про бѣглаго солдата!—Или нельзя хвалить свое отечество, не сплетая чудесъ въ его славу? Скоро вы станете божиться, что въ цѣлой Россiи нѣтъ ни плутовъ и ни дураковъ, чтобы недостатки природы дополнить силой воображенiя и сплести шалашъ какому-нибудь Ивану изъ миртовыхъ и розовыхъ кустовъ!“ [112].

...въ романахъ — „грубый мужикъ“ превращается въ страстнаго пастушка, и самый послѣднѣйшiй изъ человѣковъ не менѣе другихъ чувствуетъ, трогающiй и все сердце проницающiй, гласъ любви, вдыхаемый природою“... „Тамъ странствующiе рыцари, сопутствующiе имъ служители, нѣжныя любовницы,—всѣ до единаго представляются въ ужасномъ видѣ умирающихъ въ воспаленной страсти другъ о другѣ“ [113].

Критики потѣшались надъ трогательными названiями романовъ,—надъ именами героевъ:

„Всѣ люди со вкусомъ, конечно, восчувствуютъ, сколько въ исторiи любовной, въ сказкѣ, или похожденiи, названiе важно и что оно удобно жребiй сочиненiя рѣшитъ; напримѣръ, одно имя Мононимiи и Асемониды въ изобильныя слезы нѣжную красавицу, или сладкосердаго молодца повергнетъ,—и книга, подъ названiемъ „Письма нещастнаго Маркиза К... къ прекрасной графинѣ У...“,—уже чувство однимъ названiемъ своимъ рождаетъ“...

Далѣе авторъ выдумываетъ нѣсколько грубозвучащихъ именъ: „Брандышевъ“, „Брандоусовъ“, „Клуптубасовъ“,—и доказываетъ, что романъ, съ такими именами героевъ, успѣха имѣть не можетъ.

Другой критикъ подробно разсказываетъ, какъ онъ пытался въ жизни жить по рецептамъ романовъ.—

„Я часто читывалъ, что нечаянный случай приводилъ иногда къ окошку какую-нибудь Госпожу, и она влюблялась въ мимошедшаго случайно человѣка, какъ-то весьма часто случается въ Исторiяхъ и Романахъ. Приключенiя знатнѣйшихъ Министровъ научали меня при томъ, что все ихъ щастiе дѣлалось отъ смѣлаго отвѣта, остроумной

выдумки, хорошаго вида, или отъ другаго какого-нибудь случайнаго обстоятельства. Сіе примѣчаніе выдумалъ я употребить въ пользу, ибо всегда имѣлъ передъ собою жизнеописаніе всѣхъ великихъ мужей, подобно, какъ Донъ Кишотъ—своего Амадиса. Каждый день по три часа трудился я передъ зеркаломъ, чтобъ придать себѣ важный, проницательный и, любопытство возбуждающій, видъ, и въ короткое время столько въ томъ успѣлъ, что ротъ держалъ такъ же, какъ Донъ Людвигъ де Гаро и такими же геометрическими шагами выступалъ по улицѣ, какъ сей вошелъ въ конференцъ-залу на Фазанномъ острову. Я сдѣлалъ для себя реестръ всѣмъ острымъ выдумкамъ и короткимъ отвѣтамъ, помощью коихъ иная Госпожа сдѣлалась знатною любовницею, а крестьянинъ—старостою...“ [114].

„Донъ Кихотъ“ и „Жильблазъ“ были у него настольными книгами, но, когда его постигъ въ жизни рядъ разочарованій,— онъ убѣдился, что романы для жизни оказались непригодны.

Вѣроятно, потому-то, съ точки зрѣнія „разума“, Херасковъ, самъ романистъ, правда, сочинитель серьезныхъ „философскихъ романовъ“, осудилъ любовныя повѣсти—

„О, бѣдныя сочиненія, стóите-ли вы того, чтобъ вамъ въ свѣтѣ занимать мѣсто? Обезобразили вы природу, обезславили разумъ и недостойны того, чтобъ и въ крайней погибели вашей, какой-нибудь умной человѣкъ взглянулъ на васъ! вы есть не что сами собою, но то, что отъ васъ происходитъ, есть вредъ, или лучше сказать, посмѣяніе всему роду человѣческому“ [115].

Выше было указано, что, въ глазахъ критиковъ XVIII-го вѣка, романы подѣлились на „хорошіе“ и „дурные“: послѣдніе, особенно „любовные“ вызываютъ постоянно только „нареканія“,— по словамъ одного противника ихъ, они—

„...возбуждаютъ страсть сію и рѣдко не производятъ той любви, какую описываетъ Рошефукольтъ. Знатнѣйшія изъ сихъ соблазнительныхъ книгъ суть старые романы и ихъ, еще хуждшіе, потомки, нынѣшнія повѣсти“. „Романы, говорится далѣе—„не научить, но развратить и въ разныя бѣдствія ихъ (молодыхъ людей) ввергнуть могутъ... Но, хотя романы и повѣсти трогаютъ одинакимъ образомъ, однако-жъ дѣйствія ихъ различны. Читатель романовъ дѣлается нѣжнымъ любовникомъ и бываетъ, въ самой вещи, столь влюбленнымъ пастухомъ, что онъ въ состояніи повѣситься на ближайшей осинѣ и броситься въ первой попадшійся прудъ, естьли потеряетъ предметъ своихъ желаній. Молодой читатель повѣстей дѣлается болѣе свѣтскимъ человѣкомъ и, естьли онъ выигралъ благосклонность у своей повелительницы, то располагаетъ тысячу плановъ, какбы сдѣлать обладаніе ею надежнымъ и обмануть своихъ сродственниковъ [116].

„Романы, когда они хорошо писаны, могутъ послужить къ образованію вкуса въ нѣкоторыхъ частяхъ; но они повреждаютъ сердце тѣмъ достовѣрнѣе, что плѣняютъ его увеселеніемъ: чтеніе худыхъ романовъ есть язва для ума и сердца [117].

„Чтеніе добро и полезно,—оно исправляетъ нашъ разумъ тѣмъ превосходнѣе, чѣмъ болѣе его обогащаетъ нужными познаніями; однакожъ въ книгахъ имѣть должно хорошій выборъ — избѣгайте такихъ, которыя, въ разсужденіи закона и нравоученія, писаны вольно и соблазнительно; равнымъ образомъ, и такихъ, которыя содержатъ въ себѣ любовныя и непристойныя сказки,—первыя изъ сихъ—сердце, а послѣднія, то есть романы, удобно могутъ склонить къ разнымъ слабостямъ и хорошо воспитанныхъ людей [118].

Въ XVIII в. мы имѣемъ даже оригинальную повѣсть, подъ названіемъ: „Опасность отъ чтенія романовъ", которая оканчивается восклицаніемъ:

„О, милыя, любезныя женщины! вы, коихъ природа одарила чувствительнѣйшею душою! Остерегайтесь, какъ возможно, отъ опаснаго чтенія романовъ, а особливо про тѣхъ, кои начинаютъ уже вамъ нравиться!" [119].

Авантюрные романы тоже находили во многихъ рѣшительныхъ противниковъ; мы слышимъ, напримѣръ, упрекъ тѣмъ романистамъ, которые „гораздо мучатъ" читателя, „подбирая цѣлыя кучи злополучныхъ происшествій и горестныхъ приключеній" [120]. Позднѣе, въ 1809 году, мы читаемъ слѣдующія характерныя строки:

„Многіе писатели романовъ ошибаются, думая, что всего надежнѣе могутъ они достигнуть цѣли своей, если будутъ содержать любопытство читателей въ безпрерывномъ напряженіи, перемѣняя часто сцены, представляя множество чрезвычайныхъ, чудесныхъ приключеній. Только тѣ романы производятъ подлинный, прочный интересъ, въ которыхъ внѣшнія происшествія и перемѣняющіяся приключенія суть не что иное, какъ средства, имѣющія одну общую цѣль: обнаружить, изобразить внутренняго человѣка" [121].

Такое суровое отношеніе къ романамъ „идеалистическимъ", „фантастическимъ", „исключительно-любовнымъ" и „авантюрнымъ" опиралось, очевидно, на вкусы русскихъ читателей—такъ, ко второй половинѣ XVIII-го вѣка, судя по одной журнальной замѣткѣ, вкусъ этотъ рѣшительно повернулъ къ реализму. Одинъ критикъ это подмѣчаетъ—

„Многія наши красавицы съ нѣкотораго времени, неограниченную привязанность къ земной окружности возымѣли",—тогда какъ прежде были „въ обыкновеніи рыцарскія странствованія, крестовые походы, мужественныя воительницы, царствованія Фей и Волшебницъ" [122].

Но если перемѣнялся вкусъ читателей, и одинъ „видъ" романа замѣнялся другимъ—„романъ", самъ по себѣ, всетаки оставался самымъ популярнымъ, самымъ вліятельнымъ литературнымъ жанромъ.

По отзывамъ современниковъ, по прежнему „цѣлыя библіотеки"

составлялись изъ „великаго множества книгъ, наполненныхъ любовью“ [123].

„Романы, басенки, исторійки составляютъ бо́льшую часть библіотекъ нашихъ“,—говоритъ одинъ критикъ [124].

„Романовъ столько умножилось,—говоритъ Сумароковъ,—что изъ нихъ можно составить половину библіотеки цѣлаго свѣта [125]. „Неисчетное почти число романовъ является ежедневно на европейскій Парнасъ“ [126] замѣчаетъ одинъ критикъ, — „надъ сочиненіемъ романовъ упражнялись головы почти всѣхъ нашихъ стихотворцевъ и успѣли обратить на себя вниманіе всей читающей публики [127],—замѣчаетъ другой.

Подобно авторамъ мемуаровъ и романистамъ, и журналисты указываютъ, что популярность романа создала у насъ, еще въ XVIII в., особенный типъ „чтеца романовъ“: вѣроятно, такихъ воспитанниковъ романической литературы было немало, если даже въ литературѣ эти „типы“ обрисованы довольно рельефно. Вотъ передъ нами, напримѣръ, „Простъ“—

„онъ очень печаленъ, идетъ, потупя голову и нахмуря глаза, въ превеликой задумчивости. Бѣднякъ сей въ нашемъ вѣкѣ ищетъ Лукреціи, нигдѣ не находитъ и о томъ сходитъ съ ума. Онъ чрезвычайно влюбленъ въ постоянство романическихъ Героинь“ [128].

Другой герой „въ юныхъ лѣтахъ читалъ премножество любовныхъ романовъ, набилъ ими свою голову“ [129], и—въ результатѣ, вся жизнь его представляетъ собою сплошной любовный бредъ.

Изъ романовъ люди XVIII в. заимствовали моды [130], наряжаясь любимыми героями и героинями; любовники говорили „страстныя рѣчи, вытверженныя изъ романовъ“ [131];

„... Не было такого любовнаго романическаго сочинителя, или нѣжнаго стихотворца, изъ котораго бы Ливій, назбиравъ нѣжныхъ стишковъ, не включилъ въ свое письмо и не переслалъ къ Калистѣ. Каждое, въ Авторахъ нѣжно выраженное, „ахъ“!—было у него карандашемъ замѣчено, и назначено для будущихъ писемъ. Обоихъ ихъ карманы были наполнены любовными записками, изъ которыхъ въ каждомъ одинъ другому тысячу разъ присягали“ „быть вѣчно подвластнымъ и любить не только посмертно, но и навѣки“ [132].

Оттуда, изъ романовъ, почерпали знаніе жизни:

„чтобы сдѣлаться разумными, намъ больше не надобно, какъ прочесть нѣсколько французскихъ романовъ“ [133],—

—замѣчаетъ одинъ изъ литераторовъ XVIII вѣка.

Такимъ образомъ, громадное значеніе романа, какъ культурной силы, было замѣчено и журналистикой XVIII-го вѣка; немудрено, что вопросъ о томъ, благотворно ли было вліяніе этой силы, возбуждался неразъ въ критической и публицистической

литературѣ XVIII в. И вотъ,—е) „противниками“ романа выступаютъ теперь люди, независимые отъ старыхъ церковныхъ вліяній, свободные отъ пристрастія къ рукописнымъ романамъ и чуждые точекъ зрѣнія псевдо-классицизма; эти „новые“ судьи романа ставили вопросъ только о моральномъ его значеніи и пытались опредѣлить, какія вліянія, идущія отъ чтенія романа—хорошія, или дурныя, перевѣшиваютъ. Но и при такой постановкѣ вопроса, отвѣты получились разнорѣчивые и неопредѣленные.

„Многіе между учеными людьми были споры, о пользѣ и вредѣ вымышленныхъ повѣстей, или романовъ, особливо о любовныхъ и тѣхъ, которыя, удаляясь отъ натуры, представляютъ людей, вещи и происшествія гораздо инако, какъ они на нашемъ подсолнечномъ свѣтѣ быть и случиться могутъ. Правда, что романы вообще много способствовали внушить охоту къ чтенію книгъ. Правда, что хорошіе романы, способствуя къ познанію тайностей человѣческаго сердца, вселяя въ насъ человѣколюбіе, почтеніе и любовь къ добродѣтели и отвращеніе отъ пороковъ и проч., много сдѣлали добра. Правда, что сіи сочиненія могутъ быть подобны цвѣтамъ, съ которыхъ пчела собираетъ медъ, а гнусный паукъ—ядъ,—но правда и то, что большая часть романовъ многимъ, а особливо молодымъ людямъ вредна, хотя тѣмъ только, что, напоясь они сею сладостію, чувствуютъ уже отвращеніе отъ здоровыя и больше имъ приличной пищи, равно и тѣмъ, что, представляя себѣ примѣры вымышленныхъ лицъ, счастья своего ожидаютъ отъ случайныхъ приключеній, котораго они отъ добраго поведенія и трудолюбія своего ожидать бы должны были [134].

„Чтеніе книгъ есть великая польза роду человѣческому и гораздо большая, нежели всѣ врачеванья неискусныхъ медиковъ. О семъ можно сумнѣваться тому, кто книгъ не читывалъ; однако великая разность читать и быть читателемъ... Ежели я стану читать, чтобъ пользу получить отъ выбранной мною книги, то я, прежде всего, буду думать: что за книгу я читать берусь?“ „какъ читать ее буду?“ „всякую-ли матерію толковать, или скорѣе книгу кончить?“.. Но что непохвально для книгъ хорошаго содержанія. Романы для того читаютъ, чтобъ искусѣе любиться и часто отмѣчаютъ красными знаками: нѣжныя самыя рѣчи; я слышалъ отъ одной дѣвицы, что она, читая Мольера, превзрядныя наставленія нашла въ немъ, мать свою обманывать“ [135].

„При чтеніи романовъ,—читаемъ въ „Инпокренѣ“,—наша чувствительность возбуждается до весьма высокой степени, хотя намъ и невозможно употребить ее въ пользу черезъ какое-нибудь добродѣтельное дѣло, и сіи душевныя движенія, которыхъ мы, можетъ быть, никогда не испытаемъ въ такой силѣ, истощеваются безъ всякой дѣйствительной пользы“ [136].

„Молодые люди, начитавшись романовъ, нерѣдко получаютъ нѣкоторое равнодушіе, которое бы доставили имъ опыты въ свѣтѣ, но нѣкоторые не имѣютъ хорошихъ сторонъ сей самой опытности“—оттого „часто молодая дѣвица, проводя цѣлую ночь въ чтеніи и оплакиваніи Шарлоты, или Юліи, не трогается положеніемъ ея ближней сосѣдки,

которая придетъ изобразить ей простымъ языкомъ, съ непріятнымъ тономъ, что она не имѣетъ куска хлѣба дать своимъ дѣтямъ. Мы такъ хорошо знакомимся съ большими несчастіями, что недостаетъ у насъ чувствительности для несчастій обыкновенныхъ".

Тѣмъ не менѣе, даже этотъ суровый критикъ не можетъ не признать, что нѣкоторые романы—

„пріучаютъ къ нѣкоторой изящности нравовъ, къ нѣкоторой нѣжности чувствованій, которыхъ мы, дѣйствительно, не находимъ въ настоящей бѣдности" [137].

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ отзывовъ о романѣ яснымъ дѣлается неопредѣленность рѣшенія вопроса о моральной цѣнности романа. Неопредѣленность эта усложнялась особенно тѣмъ обстоятельствомъ, что романы (да и сами читатели!) не представляли собой опредѣленной величины. Еще Сумароковъ принужденъ былъ признать, что между романами встрѣчаются „хорошіе", отъ которыхъ нѣтъ вреда,—оговорка, встрѣчающаяся неразъ въ журнальныхъ статьяхъ XVIII в.

Если мы припомнимъ сужденія авторовъ „записокъ", романовъ,—мы должны будемъ признать общимъ мнѣніемъ XVIII в., что кромѣ „худыхъ" романовъ есть и „хорошіе"—о послѣднихъ мы въ литературѣ XVIII в. не прочтемъ ни одного укоряющаго слова.

„Извѣстно, что остроумный романъ, произведенный искуснымъ перомъ господъ Прево, Мармонтеля, Фильдинга, Лесажа, или Арнода, конечно, болѣе удобенъ наставить и увеселить читателя, нежели цѣлый шкапъ огромныхъ томовъ, заключающихъ въ себѣ сухія и строгія наставленія",

—говоритъ одинъ изъ критиковъ XVIII в.,—вотъ почему онъ заканчиваетъ свою статью выраженіемъ пожеланія, чтобы побольше переводились на русскій языкъ книги, достойныя вниманія,—

„чтобы мы могли прочесть на природномъ нашемъ языкѣ „élève de la nature", „l'an deux mille quatre cent quarante", „tableau de la vie", „донъ Кишота" и „неистоваго Роланда", дабы скорѣй забыть „Совѣстдрала", „повѣсть о бѣлой кошкѣ Э*** и другихъ подобныхъ онымъ сочиненій, обременяющихъ лавки нашихъ книгопродавцевъ" [138].

„Не буду я удивляться,—замѣчаетъ другой писатель,—есть ли и одна книга, есть ли и Клариса, и Грандиссонъ примѣчательному читателю болѣе изрядныхъ и благородныхъ вольетъ чувствованій, нежели полная библіотека нравоучительныхъ сочиненій принесетъ пользы ученому,—въ томъ единственно намѣреніи читающему, чтобы только читать и говорить о томъ и блистать прочтеніемъ многихъ книгъ... Итакъ вѣрно, что короткое знакомство съ произведеніями краснорѣчія и стихотворства, а особливо для сердца писанными и показывающими добродѣтель въ любезнѣйшемъ ея видѣ, или порокъ съ гнуснѣйшей сто-

роны представляющими, не только содѣлаетъ чувствительнымъ сердце и несовершенно наукамъ посвятившееся, но и примѣчающимъ за самимъ собою и своими погрѣшностями. Итакъ, добрые и злые характеры въ героической поэмѣ, трагедіи, комедіи и романѣ и, такъ называемыя басни и сказки, не заимствуя вида учительскаго, научатъ лучше, нежели Краттиппъ и Канторъ, и оставитъ по себѣ тѣмъ яснѣйшіе и неизгладимые слѣды, чѣмъ больше они въ чтеніи восхищаютъ" [139].

„Предавшись впечатлѣніямъ, которыя производятъ въ насъ лица и приключенія какого-нибудь романа,—мы бываемъ объяты, увлечены любовію, или отвращеніемъ,—удивленіемъ, или презрѣніемъ,—радостью, или сожалѣніемъ,—страхомъ, или ожиданіемъ. Но всѣ сіи чувствованія суть ничто иное, какъ пути, по которымъ истина входитъ въ наше сердцѣ, какъ узы, укрепляющія ее въ ономъ" [140].

„Желали-бы мы, — чтобы, преимущественно, переводимы были на нашъ языкъ больше хорошіе и полезные романы,—сочиненія Ричардзона, Фильдинга, Голдсмитта и имъ подобныя—и чтобы писатели, имѣющіе знанія и дарованія.., оставляя всѣ *тысячу и одну* и проч. меньше исправнымъ переводчикамъ, взялись бы за переводы больше обществу полезныхъ сочиненій" [141].

Немудрено, что, при подобномъ отношеніи къ романамъ, чтеніе ихъ, какъ могущественное воспитательное средство, входило въ программу воспитанія юношества,—одинъ педагогъ XVIII в., составляя примѣрный планъ воспитанія, вноситъ такой параграфъ:

„Мы предложимъ чтеніе романовъ для обоихъ (обоего пола?) дѣтей, достигшихъ такихъ лѣтъ, кои назначены для слушанья нравственныхъ разговоровъ". „Польза, каковую-бъ произвело это чтеніе, извѣстна всѣмъ тѣмъ, кои знаютъ, колико сила нравственныхъ чувствованій должна имѣть вліянія надъ образованіемъ характера и на открытіе страстей" [142].

Но самымъ рѣшительнымъ защитникомъ романовъ является Карамзинъ—онъ говоритъ:

„И романы, самые посредственные,—даже безъ всякаго таланта писанные, способствуютъ, нѣкоторымъ образомъ, просвѣщенію. Кто плѣняется „Никаноромъ, злощастнымъ дворяниномъ",—тотъ на лѣстницѣ умственнаго образованія стоитъ еще ниже его Автора, и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ: ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему-нибудь научается въ мысляхъ, или въ ихъ выраженіи. Какъ скоро между авторомъ и читателемъ велико разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго, какъ бы онъ уменъ ни былъ. Подобно всякому что-нибудь поближе: одному — Жанъ-Жака, другому—Никанора. Какъ вкусъ физическій вообще увѣдомляетъ насъ о согласіи пищи съ нашею потребностью, такъ вкусъ нравственный открываетъ человѣку вѣрную аналогію предмета съ его душою; но сія душа можетъ возвыситься постепенно—и кто начинаетъ „Злосчастнымъ дворяниномъ", нерѣдко доходитъ до „Грандисона"...

„Всякое пріятное чтеніе имѣетъ вліяніе на разумъ, безъ котораго

ни сердце не чувствуетъ, ни воображеніе не представляетъ. Въ самыхъ дурныхъ романахъ есть уже нѣкоторая Логика и Реторика: кто ихъ читаетъ, будетъ говорить лучше и связнѣе совершеннаго невѣжды, который въ жизнь свою не раскрывалъ книги" [143].

„Напрасно думаютъ, что романы могутъ быть вредны для сердца,— всѣ они представляютъ, обыкновенно, славу добродѣтели, или нравоучительное слѣдствіе. Правда, что нѣкоторые характеры въ нихъ бываютъ вмѣстѣ,—и приманчивы, и порочны; но чѣмъ же они приманчивы? Нѣкоторыми добрыми свойствами, которыми Авторъ закрасилъ ихъ черноту: слѣдственно, добро и въ самомъ злѣ торжествуетъ. Нравственная природа наша такова, что не угодишь сердцу изображеніемъ дурныхъ людей и не сдѣлаешь ихъ никогда его любимцами. Какіе романы болѣе всѣхъ нравится? обыкновенно, чувствительные: слезы, проливаемыя читателями, текутъ всегда отъ любви къ добру и питаютъ ее. Нѣтъ, нѣтъ! дурные люди и романовъ не читаютъ. Жестокая душа ихъ не принимаетъ кроткихъ впечатлѣній любви и не можетъ заниматься судьбою нѣжности. Гнусный корыстолюбецъ, эгоистъ, найдетъ ли себя въ прелестномъ романическомъ героѣ? а что ему нужды до другихъ? неоспоримо то, что романы дѣлаютъ и сердце, и воображеніе... романическими: какая бѣда? тѣмъ лучше, въ нѣкоторомъ смыслѣ, для насъ,—жителей холоднаго и желѣзнаго сѣвера! Безъ сомнѣнія, не романическія сердца причиною того зла въ свѣтѣ, на которое вездѣ слышимъ жалобы, но грубыя и холодныя,—то есть совсѣмъ имъ противоположныя! Романическое сердце огорчаетъ себя болѣе, нежели другихъ; но за то оно любитъ свои огорченія и не отдаетъ ихъ за самыя удовольствія эгоистовъ. [144]

Мы видѣли уже, что огромнымъ большинствомъ голосовъ къ „дурнымъ" романамъ отнесенъ „рукописный",—по преимуществу, „любовный", кромѣ того, отчасти „авантюрный" и „фантастическій"; къ „хорошимъ"—романъ нравоучительный и, главнымъ образомъ, англійскій, „семейный".

Итакъ, общій выводъ изъ всѣхъ этихъ отзывовъ и мнѣній о романѣ тотъ, что романъ приноситъ и пользу, и вредъ, въ зависимости отъ того, „хорошъ ли" онъ, или „дуренъ", а также въ зависимости отъ того, чего ищутъ въ романахъ сами читатели,— воспитываютъ-ли они этимъ чтеніемъ добродѣтель, или раздражаютъ свою чувствительность и чувственность.

Всѣ эти образчики мнѣній XVIII вѣка о романѣ даютъ намъ понятіе о той эволюціи вкуса, которая за 100 лѣтъ привела передового читателя XVIII в. отъ рукописнаго авантюрнаго романа къ психологическому, которая свела рукописный романъ въ лубочныя народныя изданія, а изъ психологическаго, въ теченіе слѣдующаго XIX-го столѣтія, создала образцовыя произведенія, украшающія уже не одну русскую, но всю міровую литературу.

4.

Обращаюсь теперь къ помощи *статистики*. Опредѣленіе числовыхъ отношеній „романа“ къ общей суммѣ печатныхъ произведеній вообще и—беллетристическихъ, въ частности,—позволитъ мнѣ выяснить значеніе „романа“ въ литературѣ XVIII вѣка, опираясь, въ данномъ случаѣ, на факты вполнѣ „объективные“.

Въ основу этой части моей работы положены библіографическіе (рукописные) матеріалы изъ собранія В. И. Саитова, любезно предоставившаго ихъ въ мое пользованіе. Эти матеріалы нѣсколько разъ были мною провѣрены, исправлены и дополнены, какъ по трудамъ Сопикова, Анастасевича, Плавильщикова, такъ и по работамъ, болѣе позднимъ,—Геннади, Губерти, Венгерова, Березина-Ширяева, Остроглазова и др. Кромѣ того, я просмотрѣлъ почти всѣ имѣющіеся въ Публичной Библіотекѣ каталоги книжныхъ магазиновъ XVIII-го и первыхъ годовъ XIX-го вѣка—любопытные библіографическіе матеріалы, никѣмъ еще не использованные. Изъ массы этихъ „каталоговъ“, „росписей“, „реэстровъ“, укажу на болѣе любопытные: „Роспись русскихъ книгъ, продающихся въ книжной лавкѣ при Моск. У-тѣ“ (1782, 1784); „Роспись кн. лавки въ домѣ Реформ. Церкви“ (1788); „Роспись кн. лавки Миллера (за 1776 и 1777 гг.); „Роспись“ кн. лавки Полежаева (за 1791, 1792, 1793, 1798 гг.); „Роспись“ кн. лавки Клостермана (за 1787); „Роспись“ кн. лавки Акад. Наукъ (за 1794, 1800, 1814 гг.); „Роспись“ кн. лавки Ив. Глазунова (за 1791, 1792, 1793, 1794, 1798, 1799, 1800 и 1804 гг.); „Роспись“ Ступина (1811); Свѣшникова (1803); „Реэстръ книжн. лавки Моск. У-та“ (за 1768—1770); „Реэстръ“ Клеэна (за 1778 г.); Селиванова (за 1808 г.), Матвѣя Глазунова (за 1818 г.), Ивана Глазунова (за 1810 г.) и нѣк. др. Кромѣ перечисленныхъ пособій, я пользовался любопытною „Росписью книгъ, которыя разыгрывались лоттерею въ Москвѣ на Лубянкѣ“ (М. 1805) и „каталогами“ библіотеки Логинова (1837) и Академіи Наукъ (1840).

Всѣ эти „росписи“ дали мнѣ нѣсколько любопытныхъ данныхъ,—особенно въ тѣхъ сомнительныхъ случаяхъ, когда возникало сомнѣніе въ хронологической датѣ той, или иной книги, или въ существованіи того или другого изданія (повторнаго). Всѣ, имѣвшіе въ рукахъ указатели Сопикова и Анастасевича, знаютъ, какъ часто противорѣчатъ они другъ другу.

Составленный такъ списокъ былъ провѣренъ и дополненъ по карточнымъ каталогамъ Императорской Публичной Библіотеки, Императорской Академіи Наукъ и по печатному каталогу Спб. Духовной Академіи.

Въ полученномъ „спискѣ романовъ и повѣстей“ оказалось немало сочиненій такихъ, заглавіе было такъ неопредѣленно, что я сталъ колебаться, вносить ли ихъ въ мой списокъ. Это обстоятельство заставило меня, оставивъ каталоги, обратиться къ самымъ сочиненіямъ и пересмотрѣть огромное число изданій XVIII вѣка и у меня составился

списокъ, въ который вошли нѣкоторыя книги, не указанныя нашими библіографами, а также и повторныя изданія, ими не отмѣченныя. Результатомъ всѣхъ этихъ библіографическихъ изысканій явилось мое сочиненіе: „Изъ исторій русскаго романа и повѣсти" (матеріалы по библіографіи, исторіи и теоріи русскаго романа", ч I; XVIII в. Спб. 1903, изданіе Второго Отд. Имп. Ак. Наукъ.

Но, рядомъ съ этими положительными сторонами моей работы, не могу не отмѣтить и нѣкоторыхъ недостатковъ: многихъ „сомнительныхъ" книгъ, извѣстныхъ мнѣ по названію, я не нашелъ въ петербургскихъ и московскихъ книгохранилищахъ, а потому, не рѣшаясь внести ихъ въ свой списокъ, отбросилъ ихъ. Кромѣ этого, обстоятельное знакомство съ состояніемъ нашихъ библіографій и книгохранилищъ привело меня къ печальному убѣжденію, что цифры, установленныя мною, пока не могутъ считаться окончательными. Впрочемъ, утѣшаю себя надеждою, что возможныя въ моемъ спискѣ, ошибки не превысятъ разряда единицъ и не коснутся десятковъ.

Кромѣ того, ошибки эти, конечно, сводятся къ „недочету"—вслѣдствіе чего исправленіе ихъ современемъ должно, повысивъ число произведеній, только усилить рѣшительность многихъ выводовъ. Кромѣ того, если мы и допустимъ существованіе ошибокъ въ моемъ счетѣ, то онѣ, вѣроятно, повторяются во всѣхъ рядахъ, собранныхъ мною чиселъ — и, потому % отношеній, даже при исправленіи ошибокъ, останется тѣмъ же. Менѣе всего опредѣленны числа, показывающія „общее число" всѣхъ вышедшихъ въ XVIII вѣкѣ книгъ.

Съ большими надеждами относился я къ работѣ г. Рогожина, задумавшаго переиздать Сопикова, — онъ могъ бы безъ особаго труда дать сводную библіографію, исправивъ и дополнивъ Сопикова. Между тѣмъ, онъ перепечаталъ трудъ Сопикова, со всѣми его ошибками, оговаривая ихъ лишь въ примѣчаніяхъ противорѣчивыми показаніями другихъ библіографовъ. Недостатки изданія г. Рогожина указаны въ прекрасной статьѣ г. Петровскаго [146]. Неправильная постановка цѣлей этого изданія помѣшала мнѣ воспользоваться той помощью, которую я надѣялся отъ него получить.

„Изящная" литература Петровской эпохи не представляетъ для историка особеннаго интереса. Судя по работамъ академиковъ П. Пекарскаго [147] и Аѳ. Ѳ. Бычкова [148], все то, что тогда появлялось въ печати, мало должно было затрагивать эстетическое чувство читателя. Длинная цѣпь изданій анекдотовъ [149] („Апоѳеегмата"), исторія о взятіи Трои [150], Іерусалима [151], исторія объ Александрѣ Македонскомъ [152], басенъ Эзопа [153] и нѣсколько изданій „библіотеки" Аполлодора [154], метаморфозъ Овидія [155], — вотъ, тѣ книги, которыми исчерпывается тогдашняя печатная „изящная" литература. Конечно, за этой бѣдной, такъ сказать, „оффиціальной" литературой жила полною жизнью богатая рукописная [156], процвѣтала еще, полная силъ, народная поэзія,—но ни та, ни другая въ печать не проникали.

Послѣ Петра Великаго характеръ русской печатной литературы мало мѣнялся въ теченіе цѣлаго ряда годовъ: число литературныхъ произведеній за годъ [157] до 1759 года колебалось въ предѣлахъ двухъ первыхъ десятковъ, — только въ 1744 году число названій за годъ достигаетъ 24-хъ:

1725—13; 1726—5; 1727—5; 1728—11; 1729—5; 1730—7; 1731—9; 1732—6; 1733—17; 1734—21; 1735—17; 1736—14; 1737—12; 1738—9; 1739—21; 1740—14; 1741—8; 1742—22; 1743—12; 1744—24; 1745—20; 1746—10; 1747—11; 1748—16; 1749—15; 1750—11; 1751—19; 1752—10; 1753—9; 1754—11; 1755—15; 1756—20.

Самое колебаніе этихъ цифръ,—быстрые подъемы (напр., 1732—1733 гг., 1738—1739 гг., 1741—1742 гг.) и такія же паденія (напр., 1740—1741 гг., 1742—1743 гг., 1745—1746 гг.) указываютъ на случайность этихъ цифръ [158], еще не поддающихся постепенности правильной эволюціи. Подобно тому, какъ при Петрѣ, такъ и въ это время, главная часть книгъ, вышедшихъ за этотъ періодъ, падаетъ на оффиціальныя изданія (указы, инструкціи и т. п.). Изъ беллетристическихъ произведеній исключительное господство принадлежитъ „одѣ". Кромѣ того, было напечатано нѣсколько драматическихъ произведеній.

Число беллетристическихъ сочиненій за эти годы [159] составлялось не менѣе случайно:

1725—1; 1727—1; 1730—2; 1733—13; 1734—16 [160]; 1735—4; 1736—6; 1737—3; 1738—3; 1740—1; 1742—4; 1744—4; 1745—4; 1746—3; 1747—5; 1748—4; 1750—5; 1751—10; 1752—5; 1754—4; 1755—3; 1756—4.

Изъ этого подсчета мы видимъ, что цѣлый рядъ годовъ совсѣмъ не далъ ни одного произведенія (гг. 1726, 1728, 1729, 1731, 1732, 1739, 1741, 1743, 1749, 1753); рядъ другихъ годовъ далъ странное повышеніе цифръ, затѣмъ паденіе до полнаго уничтоженія.

Конецъ царствованія Елизаветы (вторая половина 50-хъ годовъ) далъ рядъ цифръ, которыя твердо повышаются [161].

1757—25; 1758—21; 1759—35; 1760—38; 1761—46.

За этотъ же періодъ времени и беллетристика высшей цифры достигаетъ сравнительно со всѣми предшествовавшими годами:

1757—12; 1758—6; 1759—14; 1760—11; 1761—19.

Можно заключить отсюда, что съ этихъ годовъ кончился подготовительный періодъ новой русской литературы, и она вступила на болѣе вѣрный путь постепеннаго роста, при которомъ колебанія зависятъ уже не отъ случайныхъ обстоятельствъ, а отъ болѣе важныхъ историческихъ причинъ.

Царствованіе Екатерины—самая блестящая эпоха въ исторіи русской литературы XVIII в.,—цифры доказываютъ это съ неопровержимою ясностью. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ вступленія ея на престолъ, съ того же 1762 года, число вышедшихъ въ свѣтъ сочиненій сразу удваивается (1761—46; 1762—95); и затѣмъ идетъ постепенный ростъ числа, причемъ мы имѣемъ дѣло уже не съ десятками, а съ сотнями названій [162]:

1762— 95; 1763—109; 1764—108; 1765—160; 1766—120; 1767— 80; 1768—105; 1769—116; 1770—111; 1771— 92; 1772— 90; 1773—135; 1774—156; 1775—160; 1776—116; 1777—132; 1778—159; 1779—209; 1780—217; 1781—208; 1782—194; 1783—198; 1784—203; 1785—183; 1786—271; 1787—387; 1788—439; 1789—339; 1790—263; 1791—321; 1792—326; 1793—315; 1794—275; 1795—257; 1796—256; 1797—165.

Въ этомъ длинномъ рядѣ цифръ можно усмотрѣть: 1) постепенное повышеніе до 1788 года,—повышеніе, прерываемое временными паденіями (годы 1767, 1771, 1772, 1776, 1782, 1785), и—2) постепенное паденіе, начиная съ 1788 г. до 1797 года. Правда, встрѣчается здѣсь и рядъ паденій, не поддающихся пока объясненію (1766 г.—120; 1767 г.—80; 1770 г.—111; 1771 г.—92; 1775 г.—160; 1776 г.—116; 1784 г.—203; 1785 г.—183), но за то мы имѣемъ, драгоцѣнный для историка, рядъ цифръ,—начиная съ 1785 г. до конца царствованія Екатерины, — цифръ, показывающихъ, какъ чуткій барометръ, тѣ настроенія, которыми жило русское общество, къ 80-ымъ годамъ настолько окрѣпшее въ своемъ духовномъ ростѣ, что инициатива общественной жизни начинаетъ переходить въ среду самого общества. Вторая половина царствованія Екатерины была, въ этомъ отношеніи, эпохой особенно интересной: императрицѣ удалось вызвать жизнь въ дремавшей душѣ русскаго народа,—и вотъ, статистика книгъ показываетъ ясно, что ея труды не остались втуне. Правда, Екатерина уже съ 80-хъ годовъ стала сдерживать проснувшуюся самодѣятельность русской жизни, но общество еще не замѣчало реакціи. Послѣ указовъ 1771, 1776 и особенно 1783 г. (Указъ о

свободномъ открытіи типографій) русская книга стала рости въ числѣ очень замѣтно:

1785—183; 1786—271; 1787—387; 1788—439.

Передъ нами—ростъ чиселъ очень энергичный, выражающійся уже въ сотняхъ, а не въ единицахъ и десяткахъ!

Надвигается гроза французской революціи. Мрачнѣе дѣлается по всей Европѣ—Екатерина тревожно смотритъ на свою Россію, еще озаренную либеральными лучами ея вѣнца,—и число книгъ вдругъ падаетъ на сотню, потомъ еще на сотню:

1788—439; 1789—339; 1790—263.

Проносится гроза революціи,—русская книга опять, какъ будто оживляется:

1791—321; 1792—326; 1793—315.

Но Екатерина уже не та: она напугана далекими раскатами грома,—и стѣсняетъ свободу мысли въ своемъ царствѣ, — рядъ оффиціальныхъ указовъ и неоффиціальныхъ повелѣній, сожженіе книгъ, разгромъ новиковскаго дѣла, исторія Радищева и Княжнина, гоненіе на разныхъ книгопродавцевъ, наконецъ, заключительная суровая мѣра—указъ 1796 года о закрытіи всѣхъ вольныхъ типографій,—все это быстро ведетъ къ постепенному паденію книги:

1794—275; 1795—257; 1796—256; 1797—165.

Вступленіе на престолъ Павла, драконовскія мѣры противъ книги, тоже, конечно, не могли создать благопріятныхъ условій для жизни литературной, но, съ другой стороны, почти полное прекращеніе привоза книгъ изъ-за границы должно было благопріятно отозваться на русскомъ книжномъ производствѣ [163]. И, дѣйствительно, число книгъ вновь поднимается:

1797—165; 1798—239; 1799—268; 1800—238.

Начало новаго вѣка застаетъ русскую книгу въ какомъ-то угнетенномъ состояніи, съ признаками жизни и силы, но значительно ослабленной тяжелыми условіями конца XVIII вѣка.

Еще поучительнѣе, въ этомъ отношеніи, тѣ цифры, которыя показываютъ погодный ростъ *беллетристическихъ* произведеній. Беллетристика, въ XVIII вѣкѣ присвоившая себѣ роль руководительницы жизни, была особенно воспріимчива къ тѣмъ вліяніямъ,

которыя тяготѣли надъ этой жизнью. Насколько велико было значеніе этой литературы для русскаго общества XVIII-го вѣка, видно, напр., изъ того, что процентное отношеніе произведеній изящной литературы къ общему числу всѣхъ сочиненій колебалось по годамъ отъ 30% до 50%,—слѣдовательно, беллетристика составляла почти половину всѣхъ выходившихъ по годамъ сочиненій. Если бы мы были въ состояніи сопоставить число печатныхъ листовъ, приходящееся на долю изящной словесности, съ общимъ числомъ листовъ всей литературы за эти годы, — мы увидѣли бы, что эти 30%—50% значительно возросли бы, такъ какъ изящная литература выставила бы многотомные романы, длинныя повѣсти, поэмы, комедіи, трагедіи и драмы — противъ разныхъ оффиціальныхъ изданій, азбукъ, грамматикъ, церковныхъ поученій, часто небольшихъ по объему и занимающихъ мѣсто въ нашемъ подсчетѣ только своимъ названіемъ.

Число беллетристическихъ сочиненій въ эпоху царствованія Екатерины выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

1762— 43; 1763— 55; 1764— 52; 1765— 48; 1766— 40; 1767— 24; 1768— 34; 1769— 50; 1770— 39; 1771— 23; 1772— 24; 1773— 48; 1774— 70; 1775— 56; 1776— 32; 1777— 54; 1778— 57; 1779— 93; 1780—105; 1781—102; 1782— 89; 1783— 79; 1784— 56; 1785— 66; 1786—112; 1787—163; 1788—248; 1789—148; 1790—125; 1791—147; 1792—141; 1793—150; 1794—122; 1795—107; 1796—100; 1797— 56.

Въ этомъ рядѣ цифръ мы видимъ полное совпаденіе съ колебаніями общаго числа произведеній за эти же года. Такъ, въ первый годъ царствованія Екатерины изящная литература удваиваетъ свое число: 1761 г.—19; 1762 г.—43. Затѣмъ мы наблюдаемъ довольно быстрыя и, пока, необъяснимыя паденія въ 1767, 1771, 1776 гг. и др. (1766—40; 1767—24; 1770—39; 1771—23; 1775—56; 1776—32).

Такими же поучительными представляются намъ цифры за 1785—1797 года:

1785— 66; 1786—112; 1787—163; 1788—248; 1789—148; 1790—125; 1791—147; 1792—141; 1793—150, 1794—122; 1795—107; 1796—100; 1797— 56.

Передъ нами, прежде всего, замѣчательный ростъ въ годы: 1785—88, въ процентномъ отношеніи выраженный даже болѣе рѣзко, чѣмъ подъемъ общаго числа произведеній; затѣмъ, съ

1789 года, начинается быстрое паденіе, выраженное, впрочемъ, еще рѣзче, — и, въ заключеніе, 1797 годъ съ числомъ 56, т. е. числомъ, приблизительно совпадающимъ съ количествомъ сочиненій 1762 года.

Царствованіе имп. Павла, болѣе тяжелое для беллетристики, чѣмъ для другихъ видовъ литературы, выразилось поэтому въ очень скудныхъ цифрахъ, ни разу не достигающихъ сотни.

1797—56; 1798—92; 1799—96; 1800—86.

Если мы къ суммѣ полученныхъ цифръ прибавимъ 553 сочиненія, хронологическая дата которыхъ точно не выяснена, то общее число сочиненій, вышедшихъ съ 1725 г. по 1800, будетъ равняться 8952 [164]. Прибавивъ къ суммѣ беллетристическихъ сочиненій 192 безъ хронологической даты, получимъ 3591 [165] — т. е. 40,11% общаго числа, процентъ очень высокій, особенно, повторяемъ, если принять во вниманіе бо́льшій по числу листовъ, объемъ беллетристическихъ сочиненій.

Колебанія въ общемъ числѣ *романовъ* [166] почти совпадаютъ со всѣми измѣненіями, которымъ подвергались указанные нами выше ряды цифръ. Такъ, совершенною случайностью отличается число романовъ вплоть до царствованія Екатерины II.

Въ 1730-мъ году мы имѣемъ — 1 романъ; въ 1741 — 1; 1747—1; 1751—1; 1752—1; 1754—1; 1756—1.

Съ начала 60-хъ годовъ начинается ростъ романа, при чемъ не наблюдается уже такихъ значительныхъ пробѣловъ въ годахъ.

1760—4; 1761—6; 1762—7.

Во второй же годъ царствованія Екатерины это число утраивается: въ 1763—20. Съ этого года число романа идетъ, колеблясь, опять до 80-годовъ.

1763—20; 1764—19; 1765—23; 1766—22; 1767—5; 1768—10; 1769—16; 1770—9; 1771—8; 1772—6; 1773—14; 1774—14; 1775—12; 1776—6; 1777—15; 1778—16; 1779—28; 1780—42; 1781—33; 1782—41; 1783—26; 1784—15.

Здѣсь мы видимъ странныя паденія цифръ, но, оказывается, эти паденія чаще всего совпадаютъ съ тѣми наблюденіями, которыя отмѣчены въ общемъ числѣ печатныхъ произведеній за тѣ же годы (1766—22; 1767—5; 1775—12; 1776—6).

Съ 1785 года повторяется то же повышеніе до 1788 года и

затѣмъ такое же паденіе, съ нѣкоторыми колебаніями, вплоть до 1797 года.

1785—28; 1786—29; 1787—48; 1788—91; 1789—75; 1790—55; 1791—58; 1792—41; 1793—73; 1794—53; 1795—41; 1796—36; 1797—21.

Затѣмъ, послѣ 1797-го года, начинается прозябаніе романа съ постепеннымъ, однако, повышеніемъ:

1798—23; 1799—26; 1800—31.

Впрочемъ, нельзя не замѣтить, что, вопреки исторіи общаго числа печатныхъ произведеній, равно какъ и вопреки исторіи числа беллетрическихъ сочиненій, передъ нами въ этихъ цифрахъ всетаки замѣчается постепенный ростъ, — ясное доказательство того, что въ ряду другихъ литературныхъ родовъ, романъ оказывается, даже въ это тяжелое время, однимъ изъ самыхъ жизнеспособныхъ.

Общее число романа [167]—1175 (17 изъ этого числа не отмѣчены хронологическими датами). Если изъ этого числа мы отбросимъ 336,—число повторныхъ изданій,—мы получимъ 839, число, показывающее, сколько романовъ и повѣстей вышедшихъ въ свѣтъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ было въ обиходѣ въ XVIII в. у русской публики '(*Приложеніе I-ое* и *III-ье* *) Къ общему числу книгъ, вышедшихъ въ XVIII-мъ в. % отношеніе числа романовъ выразится въ цифрѣ 13,12; къ числу беллетристическихъ сочиненій эта цифра выростетъ до 32,7. Но кромѣ романовъ и повѣстей, выходившихъ въ свѣтъ *отдѣльными изданіями*, много такихъ произведеній было помѣщаемо въ *журналахъ*. Сравнительная таблица, помѣщенная въ *Приложеніи II-ой* и *IV-ой* *), дастъ намъ довольно точное представленіе о числѣ этихъ журнальныхъ романовъ, и объ общемъ количествѣ всѣхъ вообще романовъ XVIII-го вѣка, а) переводныхъ и оригинальныхъ, в) выходившихъ первымъ изданіемъ и повторнымъ, и — с) помѣщенныхъ въ журналахъ и выходившихъ въ свѣтъ отдѣльными изданіями.

---

*) Приложеніе III-ье и IV-ое помѣщены въ концѣ книги.

Приложеніе I.

Статистика русской литературы XVIII столѣтія. *)

ГОДЫ.	Общее число сочиненій.	Общее число беллет. сочиненій.	Общее число романовъ.	ГОДЫ.	Общее число сочиненій.	Общее число беллет. сочиненій.	Общее число романовъ.
1725	13	1	—	1745	20	4	—
1726	5	—	—	1746	10	3	—
1727	5	1	—	1747	11	5	1
1728	11	—	—	1748	16	—	—
1729	5	—	—	1749	15	—	—
1730	7	2	1	1750	11	—	—
1731	9	—	—	1751	19	10	1
1732	6	—	—	1752	10	5	1
1733	17	13	—	1753	9	—	—
1734	21	16	—	1754	11	4	1
1735	17	4	—	1755	15	3	—
1736	14	6	—	1756	20	4	1
1737	12	3	—	1757	25	12	—
1738	9	3	—	1758	21	6	—
1739	21	—	—	1759	35	14	—
1740	14	1	—	1760	38	11	4
1741	8	—	1	1761	45	19	6
1742	22	4	—	1762	95	43	7
1743	12	—	—	1763	109	55	20
1744	24	4	—	1764	108	52	19

*) Приняты въ счетъ только произведенія, вышедшія отдѣльными изданіями.

ГОДЫ.	Общее число сочиненій.	Общее число беллет. сочиненій.	Общее число романовъ.	ГОДЫ.	Общее число сочиненій.	Общее число беллет. сочиненій.	Общее число романовъ.
1765	160	48	23	1784	203	56	15
1766	120	40	22	1785	183	66	28
1767	80	24	5	1786	271	112	29
1768	105	34	10	1787	387	163	48
1769	116	50	16	1788	439	248	91
1770	111	39	9	1789	339	148	75
1771	92	23	8	1790	263	125	55
1772	90	24	6	1791	321	147	58
1773	135	48	14	1792	326	141	41
1774	156	70	14	1793	315	150	73
1775	160	56	12	1794	275	122	53
1776	116	32	6	1795	257	107	41
1777	132	54	15	1796	256	100	36
1778	159	57	16	1797	165	56	21
1779	209	93	28	1798	239	92	23
1780	217	105	42	1799	268	96	26
1781	208	102	33	1800	238	86	31
1782	194	89	41	*б. о. г.*	553	192	17
1783	198	79	26				
					8952	3591	1175

Приложеніе II.

Статистика русскаго романа въ XVIII столѣтіи.

ГОДЫ.	Отдѣльныя изданія		Въ журналахъ		ВСЕГО.	ИТОГО.
	оригин.	перев.	оригин.	перев.		
1730-54 . . .	—	5/1	—	—	5/1	6
1755	—	—	—	4	4	4
1756	—	1	—	3	4	4
1757	—	—	—	1	1	1
1758	—	—	—	1	1	1
1759	—	—	—	20/1	21	21
1760	—	3/1	—	26	29/1	30
1761	—	6	—	4	10	10
1762	—	7	—	7	14	14
1763	2	18	—	12	32	32
1764	1	18	—	12	31	31
1765	—	21/2	—	—	21/2	23
1766	2	19/1	—	—	21/1	22
1767	—	3/2	—	—	3/2	5
1768	1	7/2	—	—	8/2	10
1769	2	11/3	—	12	23/3	28
1770	2	7	—	5	14	14
1771	—	8	—	2	10	10
1772	—	5/1	—	5	10/1	11
1773	1	9/4	—	8	18/4	22

ГОДЫ.	Отдѣльныя изданія.		Въ журналахъ.		ВСЕГО.	ИТОГО.
	оригин.	перев.	оригин.	перев.		
1774	—	11/3	—	—	11/3	14
1775	2	6/4	—	—	8/4	12
1776	—	4/2	—	—	4/2	6
1777	1	10/4	1	1	13/4	17
1778	3/1	12/1	—	19/1	33/3	36
1779	5/2	18/3	—	34/1	57/6	63
1780	3/2	33/5	2	20/2	57/9	66
1781	0/5	27/1	—	16/1	43/7	50
1782	4/1	31/5	—	47/1	82/7	89
1783	1/1	20/4	1	14	36/5	41
1784	1/1	10/3	2	18/1	31/5	36
1785	2/1	20/5	—	16	38/6	44
1786	5/2	17/5	—	27/1	49/8	57
1787	4/2	32/10	—	24	60/12	72
1788	4/8	48/31	—	18	70/39	109
1789	8/3	52/12	1	34	87/15	110
1790	12/1	31/11	—	7/1	50/13	63
1791	5/3	34/16	3	52	94/19	113
1792	2/3	22/14	6	44	74/17	91
1793	4/9	39/21	2	50/3	95/33	128
1794	3/4	38/18	7	66/2	104/24	128
1795	3/1	30/7	8	55/2	96/10	106
1796	3/2	19/12	12	20/2	54/16	70
1797	0/3	14/4	2	15/1	31/8	39
1798	4/4	8/7	12	38/2	62/13	75
1799	7	10/9	5	20	43/9	51
1800	3/4	13/11	1	31	48/15	63

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ I-ой главѣ.

---

1. *Пушкинъ*, Соч. III (Изд. Лит. Ф.); **2.** О значеніи романической литературы для культурной исторіи русскаго общества въ нашей исторической литературѣ есть нѣсколько указаній: см. *В. Сиповскій*, „Н. М. Карамзинъ", стр. 9—10; *его-же*: „Пушкинъ, жизнь и творчество", 559—585; *В. Ключевскій*, „Воспоминанія о Н. И. Новиковѣ", „Русск. Мысль", 1895, № 1, 40—1; *И. Бѣлозерская*, „Вліяніе переводнаго романа и западной цивилизаціи на русское общество XVIII в."; *ея-же*: „В. Т. Нарѣжный"; *Е. Шепкина*, „Популярная литература въ срединѣ XVIII в.", „Ж. М. Н. Пр." 1886, CCXLIV, № 4; *ея-же*: „Старинные помѣщики на службѣ и дома", стр. 177 и слѣд.; **3** *А. Болотовъ*, „Записки" I, 108, 182, 259, 321—2, 327—8, 369, 379, 391, 421, 430, 431, 610, 655, 824—7, 952, 958, 981; II, 660; III, 70, 933, 942, 1058, IV, 75, 89, 606, 806, 857—8; *И. Дмитріевъ*, „Взглядъ на мою жизнь" (Соч. II), 4—6, 29, 33, 38, *М. Дмитріевъ*, „Мелочи изъ запаса моей памяти", 18, 47—8, 48—9, 52, 74, 261; *С. Глинка*, „Записки", 12, 52—3; *Н. Гречъ*, „Записки", 135; *А. В. Мещерскій*, „Воспоминанія", М. 1901, 108, 131; *М. С. Муханова*, „Изъ Записокъ", М., 1878, 20, „Памятники новой русской исторіи", сборникъ историч. статей и матеріаловъ, изд. *В. Кашпирева*, Спб. 1871, т. II, 34; *А. Боровковъ*, „Автобіограф. записки", Спб. 1899, 37; *Ф. Мирковичъ*, „Жизнеописаніе", Спб. 1889, 78; *Г. Добрыниченъ*, „Истинное повѣствованіе", Спб. 1872, 67, 134, 302—3; *Д. Свербѣевъ*, „Записки", М. 1899, 53, 246—7, 300; *Ст. Гевскій*, „автобіографія", К. 1894, 4; *П. Свиньинъ*, „Ежедневныя записки въ Лондонѣ", 19; *его-же*: „Воспоминанія на флотѣ", I, 19; *Ѳ. Лубяновскій*, „Воспоминанія", М. 1872, 273; *гр. В. Головинъ*, „Записки", Спб. 1900, 76; 208; *Т. Толычева*, „Семейныя записки", М. 1865, 133; *А. Версиловъ*, „Краткое извѣстіе о жизни", Спб. 1895, 6; *А. Фадѣевъ*, „Воспоминанія", Од. 1897, I, 13, 33; *Кн. Вяземскій*, „Старая зап. книжка", 44, 45, 46; 91—2, 129, 136, 179; *А. Грибовскій*, „Записки объ И—цѣ Екат.", 43; *Як. Шаховской*, „Записки", 127; *Г. Гераковъ*, „Путевыя записки", Спб. 1828, 15, 16, 57, 155, 190, 213; *К. Аѳдѣевъ*, Записки, Спб. 1842, II; *П. Левшинъ*, „Домашній памятникъ", „Р. Стар.", 1873, VIII ч.; 829, *А. Денисовъ*, „Записки", „Р. Стар.", 1874, X, 23; *Г. Данилевскій*, „Разсказъ прабабушки", „Русск. В.", 1870, т. 86, 443. *Сто одинъ*, „Изъ записокъ человѣка", „Русск. В.", 1875, № 11, 63, 80, *М. Нахимовъ*, „Въ провинціи и въ Москвѣ", „Русск. Вѣстн.", 1876, № 10, 824; *Н. Щербань*, „Воспоминанія крѣпостного", „Русск. Вѣстн.", 1877, № 7, 339; *Отрощенко*, „Записки", „Русск. Вѣстн.", 1877, № 9, 127; *Я. Полонскій*, „Старина и мое дѣтство", „Русск. Вѣстн.", 1890, № 2, 126; *А. Протасовъ*, „Дневныя записки", „Истор. Вѣстн.", 1887, № 11, 41; *А. Аѳанасьевъ*, „Изъ воспоминаній", „Русск. Арх.", 1872, № 3—4, 813, 814; *Е. ф.-Брадке*, „Автобіографическ. записки", „Р. Арх.", 1875, № 1, 19, 21; *Гр. Винскій*, „Записки". Русск. Арх.", 1877, I, 98; *Бутенева*, „Записки", „Русск. Арх.", 1881, кн. 3-ья, 19; *Н. Муравьевъ*, „Записки", „Русск. Арх.", 1885, кн. 3-я, 12, 87—8; гр. *М. Бутурлинъ*, „Записки", „Русск. Арх.", 1897, № 5, 375; *П. Татлина*, „Воспоминанія", „Русск. Арх.", 1899, кн. 3, № 10, 194; 197, 205—6, 211, 212—3; *Т. Пассекъ*, „Воспоминанія", „Русск. Стар.", 1872, ч. VI, 836, ч. VII, 183, 194, 203, 204, 297, 299, 301, 303, 326—7; *А. Одинцовъ*, „Посмертныя

записки", „Русск. Стар.", 1889, т. LXIV, 296; *Ѳ. Печеринъ*, „Записки", „Русск. Стар.", LXXII, 598. **4.** *Болотовъ*, I, 327—8. **5.** *М. Де-Пуле*, „Отецъ и сынъ", Изъ „записокъ" Второва, „Русск. В.", 1875, № 4, 521. **6.** Ibid., 520; **7.** *Н. Карамзинъ*, „Рыцарь нашего времени", соч. III, 253—6; **8.** *Болотовъ*, I, 108; **9.** *Н. И. Гречъ*, „Записки о моей жизни", 135; **10.** *М. Дмитріевъ*, „Мелочи", 48—9; **11.** Ibid., 47; еще: *П. Кичеевъ*, „Изъ недавней старины", 178; „*Щукинскій сборникъ*", II, 461. *М. Бутурлинъ*, „Записки", „Русск. Арх.", 1897, № 2, 243 и др. **12.** *И. Дмитріевъ*, „Взглядъ", 4—5; **13.** *И. Макаровъ*, „Мои семидесятилѣтнія воспоминанія", I, 14; **14.** „Благодареніе г. Фельдингу", „Зеркало Свѣта", 1786, II, 229. **15.** Ibid., 229—231; **16.** *Н. И. Гречъ*, „Записки", 136; **17.** *Болотовъ*, II, 72; **18.** *Де-Пуле*, op. cit, 539; **19.** *С. Н. Глинка*, „Записки", 12; **20.** *Болотовъ*, I, 182. **21.** *С. Глинка*, op. cit, 52; **22.** *В. Панаевъ*, „Воспоминанія", „Вѣстн. Евр.", 1867, № 9, 222; **23.** *И. Дмитріевъ*, op. cit, 4—5. **24.** *В. Панаевъ*, op. cit., 213; **25.** Ibid **26.** *Болотовъ*, III, 942. **27.** *М. Де-Пуле*, op. cit., 1875, № 4, 500, 542, № 7, 102, № 8, 595, 559—60; *Болотовъ*, op. cit., I, 350; II, 354; 67—8; 72; 388, 409; III, 1020, 932; *М. Дмитріевъ*, 98—9; *И. Дмитріевъ*, 11, и др. **28.** Приводимъ слѣдующія любопытныя строки, имѣющія автобіографическое значеніе, изъ рукописи А. Т. Болотова: „Забавы живущаго въ деревнѣ", (Отч. Имп. П. Б. 1892, стр. 128). „Клеонъ, будучи еще въ младенчествѣ, не все время свое на игрушки употреблялъ. Онъ былъ охотникъ до сказокъ и съ великою радостью оныя слушивалъ. Сіе было причиною, что онъ, научившись потомъ грамотѣ, и разныя скорописныя исторійки не только читывалъ, но по временамъ и писывалъ ихъ для себя" (л. 67). Въ нансіонѣ „попался ему „Телемакъ" въ руки. Сія книга возбудила въ немъ охоту къ читанію. Онъ не могъ устать, читая оную; и хотя онъ ее и для одного удовольствія читалъ, но, между тѣмъ, вкусъ къ сему роду книгъ не примѣтно въ немъ умножался". (Въ немъ развиваются любознательность, любовь къ книгѣ). Въ Кенигсбергѣ „...цѣлый годъ, не переставая, почти читалъ онъ книги. Были онѣ все романы, ибо онъ, по обыкновенной склонности всякаго молодого человѣка къ увеселеніямъ, находилъ въ нихъ болѣе вкуса, нежели въ другихъ книгахъ и для того бралъ только одни романы. Они ему вреда не сдѣлали, но, напротивъ того, пользу принесли" (л. 71). (Далѣе разсказывается о томъ, какъ онъ пристрастился къ философскимъ и нравоучительнымъ книгамъ и отсталъ отъ романа). *Болотовъ*, I, 216, 232, 234—5, 330, 350—1: 762, 815, 818, 853, 862, 895, 972, 982, 983, 763, 866, 958, 959, 960, 977, II, 63, 159, 185, 210, 297, 339, 345, 354—5, 359, 409, 443, 555, 609, 645, 805, 824, 1081, III, 77, 101, 108—9; 139—140, 168—9, 192, 197, 354, 359, 481, 602, 675, 678, 754, 819, 929, 952, 1006, 1037; IV, 111, 290, 303, 341, 686, 709, 739, 795, 798, 799, 808, 863, 866, 873, 901, 1113, 1117, 1122, 1128, 1133; I, 984—6, II, 56, 59, 63, 66, 431, 445, 851; III, 164, 165; IV, 1195, *И. Дмитріевъ*, „Взглядъ" (соч. II), 7—8, 11, 28—9, 30—1, 47, 50, 60, 133; *Д. Фонвизинъ*, „Чистосердечное признаніе", 528, 535, 540, 542; *М. Дмитріевъ*, „Мелочи", 46—7, 99, 100—1, 184; *Винскій*, „Русск. Арх." 1877, I, 183; *Арк. Кочубей*, 21; Ср. еще статью Пекарскаго: „Любитель литературы Екат. времени" „Отеч. Зап.", 1856, № 6, 493—514 и др. **29.** *Болотовъ*, op. cit., I, 369; **30.** *И. Дмитріевъ*, op. cit, 4—5. **31.** *Н. Карамзинъ*, op. cit., III, 253—6, **32.** *Болотовъ*, op. cit., I, 321—2; **33.** *М. Де-Пуле*, op. cit., № 4, 521; **34.** Ibid., 535; **35.** *Н. Карамзинъ*, op. cit., Соч. III, 253, 254, 255, 242; **36.** *М. Де-Пуле*, op. cit., № 4, 503; **37.** *С. Аксаковъ*, соч., I, 218. **38.** *Зейдлицъ*, „В. А. Жуковскій", 13; **39.** *Пушкинъ*, Соч. I, 6; еще о ней см.: *Павлищева*: „Воспоминанія о Пушкинѣ", 18; любопытны ея стихи (Ibid., 28—9). **40.** *Смирнова*, Записки, II, 34—5: еще: I, 30, 130; **41.** *Ф. Вигель*, „Воспоминанія", II, 30; **42.** Ibid., IV, 13; **43.** *М. Де-Пуле*, op. cit., № 6, 470, 471—2, 473—4, 476, и мн. др. Второвъ „сжегъ всѣ письма К., вырѣзалъ только тѣ мѣста, которыя были залиты слезами" (Ibid., 471); „изъ этихъ вырѣзанныхъ лоскутковъ, омоченныхъ слезами бѣдной женщины, теперь ничего нельзя понять. Только изъ одной сохранившейся приписки къ какимъ-то „стихамъ на разлуку" видно желаніе ея идти въ монастырь (Ibid., 471); **44.** *С. Аксаковъ*, Соч., I, 86; **45.** *Де-Пуле*, op. cit., № 8, 590. **46.** „Дѣвушкины прогулки", 72; **47.** *И. Эмминъ*, „Игра судьбы", 6; **48.** *И. Эмминъ*, „Роза", 17—18; **49.** „Ростовское озеро", „Пр. и пол. пр. вр.", VI, 306; **50.** *И. Эмминъ*, „Роза", I, 18, 19, 20, 32; II, 106, 123, 126; **51.** *И. Эмминъ*, „Игра судьбы", 61; **52.** „Александръ и Юлія", 11; **53.** *Ѳ. Эмминъ*, „Непостоянная фортуна", II, 324; **54.** „Лина", „Пиппокрена", V, 177—9, 281; **55.** *И. Эмминъ*, „Игра судьбы", 29; **56.** *Ѳ. Эмминъ*, „Непостоянная фортуна", II, 144; **57.** *Горчаковъ*, „Пламиръ и Ранда", 25—6; **58.** *Н. Львовъ*, „Россійская Памела", 112—3; „Минутное блаженство", „Пріятное и

пол. препр. вр.", VI ч., 94; **59.** *Галинковскій*, „Часы задумчивости", 8; **60.** *Н. Эминъ*, „Роза", 69; **61.** Ibid., 94, II, 106; **62.** „Неонила", 85; **63.** Ibid., 91, 190; **64.** *Н. Эминъ*, „Игра судьбы", 62; **65.** „Россійская Памела", II, 92; **66.** Ibid., 56; **67.** „Ростовское озеро", op. cit. VI, 307; **68.** Ibid., 300; **69.** „Неонила", 147; *Н. Эминъ* „Игра судьбы", 70; *Его-же*, „Роза", II, 97; I, 98; II, 133; **70.** *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 178; **71.** „Разговоръ", „Пріятн. и полезн. препр. вр.", XVIII, 38—91; **72.** „Россійская Памела", 29; **73.** *Ѳ. Эминъ*, „Непостоянная фортуна", II, 115—6; **74.** *Н. Эминъ*, „Игра судьбы", 34; „Россійская Памела", 34; **75.** *Чулковъ*, op. cit., IV, 218; **76.** Ibid., I, 28—9; **77.** Ibid., II, 186; **78.** „Пригожая поварха", 12; **79.** *Н. Эминъ*, „Игра судьбы", 13; **80.** *Его-же*, „Роза" II, 169; **81.** *Галинковскій*, „Часы задумчивости", 73; **82.** Ibid., II, 107; **83.** Ibid., 19; **84.** Ibid., 37; **85.** *Н. Шаликовъ*, „Плоды свободныхъ чувствованій", III, 10—11; **86.** „Ростовское озеро", op. cit. V, 16—17; **87.** Ibid., VI, 297; **88.** *Ѳ. Эминъ*, „Письма Эрнеста", 92; **89.** *Галинковскій*, op. cit., 11—12; **90.** „Россійская Памела", 70; **91.** *Н. Эминъ*, „Роза", I, 30—33; **92.** *Н. Шаликовъ*, op. cit., III, 11; **93.** „Неонила", 10—1; **94.** Ibid., 110—7; **95.** „Дорога къ селу", „Пр. и пол. препр. вр.", XX, 190; **96.** *Н. Эминъ*, „Роза", I, 118; **97.** *Н. Львовъ*, „Россійская Памела", 30—31; **98.** Шаликовъ, op. cit., III, 47—9; **99.** „Не прямо въ глазъ, а въ самую бровь", 172—3; **100.** Ibid., 174; **101.** Ibid., 176; **102.** Ibid., 177—8; **103.** Ibid., 179; **104.** „Нѣсколько писемъ", „Пр. и пол. препр. вр.", IV, 179; **105.** *Чулковъ*, op. cit., IV, 246; **106.** „Что-нибудь", 1780 № 5; **107.** „Собесѣдникъ люб. росс. слова", 2-ое изд., Спб. 1809 г., XVI, стр. 61; **108.** „Адская почта", письмо 58-ое, 195; **109.** „И то и сіе", л. 46; **110.** Ibid., л. 10. Изъ показаній различныхъ романовъ и мемуаровъ можно приблизительно опредѣлить, какіе изъ рукописныхъ романовъ были наиболѣе популярны. Чулковъ указываетъ на „Бову Королевича" и „Петра Златые Ключи" („Пересмѣшникъ", V, 194), Н. Эминъ,—„Франца Венеціана („Игра судьбы", 42); Болотовъ—на „Бову" (Записки, I, 150) и на „Троянскую исторію" (Ibid., III, 246); Щербань—„Еруслана Лазаревича", „Бову Королевича", „Илью Муромца", „Емелю-Дурачка", „Семь Симеоновъ" („Р. В.", 1877, № 7, 339); Добрынинъ—„Бову Королевича" („Нѣтинное повѣствованіе", 134). О популярности Бовы узнаемъ мы также изъ комедій XVIII в: *М. Прокудинъ*, ком. „Самовалъ", 1773, 30; *В. Тредіаковскій*, ком. „Трессотиніусъ", 1751, 288; *И-на Екатерина*, ком., „Обольщенный", 1755, 126; *А-ръ Сумароковъ*, ком. „Рогоносецъ по воображенію", 1786, 241; упоминается еще „Еруслань Лазаревичъ": *Тейльсъ*, др. „Чувствованіе благотворенія", 1787, 208; упоминается еще „Петръ Златыхъ Ключей" и „Милитинская царевна"). **111.** „Трудолюбивая Пчела", 1759, № 6, 374: „Я исключаю Телемака, Донъ-Кишота и еще самое малое число достойныхъ романовъ" (Ibid.); **112.** „Живописецъ", 1772, 43—4; **113.** „Зритель", 1792 г. III, 12. **114.** „Сила любовныя страсти", „Уединенный пошехонецъ", 1786 г., I, 98; **115.** „Бредни праздного педанта", „Бесѣдующій гражданинъ", 1789 г., I, 184—5; **116.** *М. Х.* „Путешествіе разума", „Полезное увеселеніе". 1760, 52; **117.** „Покоющійся трудолюбецъ", 1784, II, стр. 154—5; **118.** „Зритель", 1792, III, 158; **119.** „Покоющійся трудолюбецъ", 1784, I, 9; **120.** „Пр. и пол. препр. вр.", 1798, XVIII, 122; **121.** „Ипподрена", 1 799, I, 369; **122.** „Аврора", 158; **123.** „Моск. ежем. соч.", 1779, I, 241—2; **124.** „Покоющійся трудолюбецъ", 1784, II, 184; **125.** (Изъ неизд. рукописи А. Болотова: „Забавы живущаго въ деревнѣ", Имп. П. Б-ки, (Отчетъ 1892, стр. 128) л. 20; **126.** „Трудолюбивая Пчела", 1759, № 6, 374; **127.** „Аврора", 1809, I, 33; **128.** Ibid., 31; **129.** „Трутень", листъ 28, 221; **130.** Ibid., 227; **131.** „Сатир. Вѣстникъ", V, 53; **132.** „Смѣсь", 1769, л. 22, 184; **133.** „Адская почта", 1769, письмо 33; **134.** „Свободные часы", 1763, № 1, 61; **135.** „Пр. и пол. препр. врем., XVIII, 318; **136.** „О чтеніи книгъ", „Полезное увеселеніе", 1760; **137.** „Ипподрена", I, 1799, 389—90; **138.** Ibid., 391—2; еще романъ въ журналахъ XVIII в. упоминается: „Трудолюбивая пчела", 1759, 374; „Собраніе лучшихъ сочиненій къ распространенію знанія", 1762, 99—103; „Свободные часы", 1763, I, 61, 178; „Адская почта", 1769, 2-е изд., 16, 79, 120; „Живописецъ", 1772, 354. „Утренній Свѣтъ", 1777, III, 183; 200, 209—210, 232—3; „С.-Петербургскій Вѣстникъ", 1778, I, 316; II, 472; „Что-нибудь", 1780, IX, 4; „Вечерняя заря", 1782, III, 71; „Модные ежемѣс. изд.", 1779, I, 242; „Утра", 1782, 58—60; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.", 1783, II, 19, 160; XIII, 41; „Покоющійся Трудолюбецъ", 1784, I, 9; II, 154—6; „Зеркало Свѣта", 1786, I, 340; III, 93; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, I, 88; 184—5; III, 118; „Полезное упражненіе", 1789, 376; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, V, 53; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, I, 19; II, 104—5; „Зритель", 1792, I, 35, 55, 58—9, 73, II, 34—5, 49, 307; „С.-Петерб.

Меркурій", 1793, I, 91, II, 41; IV, 156—72; „Аглая", I, 37, 66; „Муза", 1796, 240; „С.-Петербургскій Журналъ", 1798, III, 99—101; „Новости", 1799, 271. Въ комедіяхъ XVIII в. тоже неразъ упоминается ком. романъ, какъ самое популярное чтеніе: *В. Лукинъ*, „Награжденное постоянство", 1765, 111; *И-ца Екатерина*, ком. „О время!", 1772, 9. *М. Веревкинъ*, ком. „Такъ и должно!", 1773, 169; *Д. Волковъ*, ком. „Воспитаніе", 1774, 134, 176; *Н. Николевъ*, ком. „Пошутка не шутка", 1774, 172; *Я. Княжнинъ*, ком. „Скупой", 188; оп. „Перерожденіе", 1779, 52; *Дмитровъ*, ком. „Подражатель", 45; *О. Чернявской*, ком. „Купецкая компанія", 1780, 172; *Д. Фонвизинъ* „Бригадиръ", 1786, 11; *Я. Княжнинъ*, ком. „Хвастунъ", 1786, 160, 178; ком. „Злоумный", 1788, 109; *Кропотовъ*, ком. „Ѳомушка, бабушкинъ внучекъ", 1790, 271; *Ив. Крыловъ*, ком. „Проказники", 1793, 183; *Як. Княжнинъ*, ком. „Чудаки", 1793, 49—50; *Ив. Муравьевъ*, ком. „Ошибка, или утро вечера мудренѣе", 1794, 61; ком. „Женихъ битъ и доволенъ", 1795, 35; ком. „Поскорѣй, пока не провѣдали", 1796, 69—70; **139.** „Утра", 1782, 160; **140.** „Моск. ежем. изд.", 1781, II, 307—8; **141.** „Аврора", II, 162. **142.** „Пр. и пол. пр. вр.", 1778, XVIII, 319; **143.** „О воспитаніи военномъ относительно благороднаго юношества", Спб. журналъ", 1798, III, 96, 97, 100—1; **144.** *Н. Карамзинъ*, „О книжной торговлѣ и любви ко чтенію въ Россіи", Соч. т. III, 548—9; **145.** Ibid., 549—50. Впрочемъ, романъ англійскій конца вѣка, романъ во вкусѣ Радклифъ, тоже не одобрялся нѣкоторыми строгими литературными судьями („Ишокрена", 1799, ч. I, 378; **146.** Н. М. Петровскій, „Журн. М. Н. Пр.- 1906, № 7, 164; **147.** *Н. Пекарскій*, „Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ", II ч., Спб. 1862; **148** *Ав. Бычковъ*, „Каталогъ хранящимся въ Имп. Публичной Библіотекѣ изданіямъ, напечатаннымъ гражданскимъ шрифтомъ при Петрѣ Великомъ", Спб. 1867; **149.** „Краткихъ, нитіеватыхъ и нравоучительныхъ повѣстей книгі трі..." М. 1711 (Пек. № 206; Бычк. № 33); слѣд. изд. подъ титуломъ: „Апофегмата то есть краткихъ и нравоучительныхъ рѣчей книгі трі..." М. 1712 (Пек. № 220; Бычк. № 38; Спб. 1716 (Пек. № 310; Бычк. № 65; Соп. № 2001); М. 1716 (Пек. № 322; Бычк. № 73); Спб. 1723 (Пек. № 547; Бычк. № 168); послѣ Петра были слѣд. изданія этой книги: Спб. 1745 (Соп. № 2003; Генп. т. I, стр. 40, „Спр. слов."; Губ., III, № 53; Имп. П. Б.); Спб. 1765 (Библ. Дух. Ак. № 180. Имп. П. Б.); Спб. 1781 (Р. р. к. Ак. И. 1794 г.: Реестръ Глаз. 1807; Имп. П. Б.); **150.** „Исторіа въ неѣ же пишетъ о разореніи града Троі..." М. 1709 (Пек. № 156; Бычк. № 11; Соп. № 4835); М. 1712 (Пек. № 223; Бычк. № 40; Соп. № 4836); Спб. 1717 (Пек. № 344; Бычк. № 82; Соп. № 4837). Послѣ Петра: Спб. 1745 (Губ., I, № 53; Имп. П. Б.), Спб. 1760 (Соп. № 12917; Имп. П. Б.); Спб. 1765 (Соп. № 12918; Имп. П. Б.); Спб. 1791 (Соп. № 4839; Имп. П. Б.); М. 1791—2 (Соп. № 4840. Реестръ Селин. № 1632; Р. кн. пр. при Ак. И. 1814); М. 1799 (Соп. № 4841; Реестръ Глаз. 1807; Р. Глаз. 1802); **151.** „Исторіа о раззореніи послѣднемъ Святаго Града Іерусалима.." М. 1713 (Пек. № 232; Библ. Дух. Ак. № 11); Спб. 1716 (Пек. № 319; Бычк. № 69); Спб. 1723 (Пек. № 541; Бычк. № 164); послѣ Петра: Спб. 1765 (Библ. Дух. Ак. № 179, Имп. П. Б.); Спб. 1769 (Имп. П. Б.). Спб. 1773 (Соп. № 4845); Спб. 1775 (Соп. № 4846); Спб. 1780 (Имп. П. Б.); Спб. 1788 (Соп. № 4847—1787 г.; Р. Глаз. 1802—1788 г.); Реестръ Глаз. 1807—1788; Имп. П. Б.—1788); Спб. 1793 (Соп. № 4848); М. 1795 (Соп. № 4849; „Моск. Вѣд." 1799, № 19); **152.** „Книга Квінта Курціа о дѣлахъ содѣянныхъ Александра Великаго..." М. 1709 (Пек. № 158; Бычк. № 13); М. 1711 (Бычк. № 36); М. 1717 (Соп. № 4800); Спб. 1724 (Пек. № 580; Бычк. № 198); послѣ Петра: Спб. 1750—1 (Соп. № 4801. Имп. П. Б.); Спб. 1767—8 (Соп. № 4802; Библ. Дух. Ак. № 218; Имп. П. Б.); Спб. 1775 (Соп. № 4803); Спб. 1787—8 (Имп. П. Б. Соп. № 4804—1788); Спб. 1793—4. (См. № 3266 Имп. П. Б.); Спб. 1800—1801 (Соп. № 4805, См. 3266). Съ 1750 г. „Исторія объ Александрѣ В." въ новомъ переводѣ (Ст. Крашенинникова); **153.** „Притчи Эссоповы..." Амстердамъ. 1700 (Пек. № 28), М. 1711 (Пек. № 221); М. 1712 (Бычк. № 39); Спб. 1713 (Соп. № 9054), Спб. 1717 (Пек. № 342; Бычк. № 81); послѣ Петра: Спб. 1747 (Соп. № 2113; Имп. П. Б.); Спб. 1760 (Соп. № 2114); Спб. 1762 (Соп. № 2115); Спб. 1775 (Соп. № 2116); М. 1792 (Соп. № 2118; Имп. П. Б.); М. 1796 (Соп. № 2120); **154.** „Аполлодора... библіотеки или о богахъ..." М. 1725 (Пек. № 590; Бычк. № 205; Соп. № 1998); М. 1787 (Соп. № 1999. Имп. П. Б.); **155.** „Овідіевы фигуры..." 1721 (Пек. № 486; Бычк. № 140; Соп. № 7002); Спб. 1768 (Имп. П. Б.); Спб. 1772 (Соп. № 7005; Имп. П. Б.); Спб. 1775 (Соп. № 7004) М. 1794 (Соп. № 7006; Имп. П. Б.); **156.** На основаніи рукописей можно доказать, что эта письменная литература жила въ теченіе всего XVIII в. и захватила даже начало

XIX-го. (См. А. Н. Пыпина. „Для любителей книжной старины“ М. 1888. Доп. въ „Сб. О-ва Любит. Росс. Слов.“ на 1891 г.); **157.** См. прилож.—линію А на сравнительной и графической таблицахъ; **158.** Эти цифры могли, напримѣръ, зависѣть отъ работы типографій,—отъ ихъ числа, отъ большей, или меньшей интенсивности ихъ дѣятельности. Вотъ почему, пока мы не будемъ имѣть обстоятельной исторіи русскихъ типографій XVIII в. (о петровскихъ типографіяхъ см. работу Н. Пекарскаго: „Извѣстія о типографіяхъ XVIII столѣтія...“ въ его изслѣдованіи: „Наука и литература въ Россіи при Петрѣ В.“, т. II), мы не сможемъ точно объяснить нѣкоторыхъ цифръ. Приводимъ тѣмъ не менѣе, нѣкоторые факты, играющіе особенную роль въ исторіи русскихъ типографій, а, слѣдовательно, и русской книги. Послѣ Петра его типографіи стали закрываться одна за другою и въ 1728 г. былъ данъ указъ о существованіи въ С.-Петербургѣ только двухъ типографій (сенатской и академической). (Ф. И. Булгаковъ, „Иллюстрир. исторія книгопечат. и типографскаго искусства“, т. I); **159.** См. Приложенія—Линіи В на сравнит. и граф. таблицахъ; **160.** Этотъ подъемъ объясняется переводомъ многочисленныхъ либретто итальянскихъ оперъ и комедій (См. нашу замѣтку въ „Русск. Ст.“ 1900, № 6, 593); **161.** При Елизаветѣ число типографій увеличивается: въ 1756 году открыта типографія при Моск. Унив.; въ 1757 году—при Шляхетномъ Сухопутномъ Корпусѣ; въ 1758-мъ году открыта вторая типографія при Академіи Наукъ спеціально для печатанія беллетристики (Булгаковъ, ibid.); **162.** Исторія типографій при Екатеринѣ II очень любопытна. Въ 1763 году была открыта типографія Военной коллегіи; въ 1764 — въ Астрахани и Сенатская — въ Москвѣ; въ 1769 г.—первая вольная Гартунга въ Спб. Въ 1771 г. учреждено „Вольное россійское собраніе“ съ цѣлями распространенія книгъ. Въ 1772 г. открыта типографія Вейдрехта; въ 1773 г. Императрица учредила „Собраніе, старающееся о переводѣ иностранныхъ книгъ на росс. языкъ“ (частныя о-ва съ тѣми же цѣлями: „Общество, старающееся о печатаніи книгъ“; „Общество, состоящее изъ нѣсколькихъ лицъ“). Въ 1775 г.—открыта типографія при Берг-Коллегіи и Горномъ корпусѣ; въ 1776 г. — типографія Шнора. Въ 1783 г. указъ о вольныхъ типографіяхъ вызвалъ усиленное открытіе ихъ въ разныхъ городахъ. Въ Спб. были открыты типографіи: Брейткопфа, Вильковскаго, Гека, И. Богдановича, Крылова, Мейера, въ Москвѣ—Гиппіусъ, Попамарева, Аннепкова, Зеленникова, Лопухина, Новикова, „Типографской компаніи“, Рѣшетникова и Селивановскаго; въ с. Казинкѣ (Тамб. губ., Козловск. у.) въ имѣніи Рахманинова; въ с. Рузаевкѣ (Пензенск. губ., Инсарск. уѣзда) у Струйскаго; въ селѣ Пехлецѣ (Рязанской губерніи, Ряжск. уѣзда); въ посадѣ Клинцы (Черниговской губерніи, Суражскаго уѣзда). Дубровскій, секретарь русскаго посольства въ Парижѣ, завелъ домашнюю типографію. Казенныя типографіи были открыты при губернскихъ правленіяхъ въ Тамбовѣ, Калугѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Смоленскѣ, Воронежѣ, Тобольскѣ. За время царствованія Екатерины, конечно, самыми знаменательными являются года: 1779 — Новиковъ беретъ въ аренду типографію Моск. У-та; 1783—указъ о вольныхъ типографіяхъ—открытіе типографій Новикова и Лопухина; 1784—основаніе „Типографской Компаніи“; съ 1785 г.—рядъ стѣсненій Новикову; 1791 — паденіе Новиковскаго дѣла; 1796—указъ о закрытіи вольныхъ типографій; **163.** См. подробнѣе въ моей работѣ: „Изъ прошлаго русской цензуры“. „Р. Стар.“ 1899, № 3 — 4; также въ изслѣдованіи: „Н. М. Карамзинъ“, стр. 551—559; **164.** Итакъ, это число составилось изъ подсчета названій всѣхъ сочиненій за указанный періодъ времени,—т. е., сверхъ беллетристическихъ сочиненій, вошли сюда указы, инструкціи, законоположенія, азбуки, грамматики, уставы, житія, церковныя слова, историческія сочиненія, медицинскія, географическія, правоучительныя, лексиконы, гадательныя книги и пр.; **165.** Въ это число вошли романы, повѣсти, собранія анекдотовъ, поэмы, басни, идилліи, оды, собранія пѣсенъ, дѣтскія повѣсти, комедіи, трагедіи, драмы, оперы; **166.** См. Приложеніе—*Линія С* на сравнительной графической таблицѣ; **167.** Въ этомъ „общемъ числѣ“ за отдѣльную единицу считается каждое изданіе. Такъ, книга, вышедшая, положимъ, въ 5 изданіяхъ, считается пять разъ.

II.

Опредѣливъ въ первой главѣ значеніе романа XVIII-го вѣка— 1) съ точки зрѣнія его *современниковъ*—людей XVIII-го, начала XIX вѣка—и 2) при помощи статистическихъ наблюденій надъ отношеніемъ числа романовъ XVIII-го в. къ числу другихъ литературныхъ видовъ того-же времени, я обращаюсь теперь къ самой романической литературѣ и, основываясь—1) на текстахъ „предисловій" къ романамъ (русскимъ и переводнымъ)—и 2) на анализѣ содержанія только русскихъ (оригинальныхъ) романовъ XVIII в.,—попытаюсь опредѣлить a) ихъ *литературное* и b) *историческое* значеніе.

„Предисловія" къ переводнымъ и „оригинальнымъ" русскимъ романамъ дадутъ мнѣ рядъ любопытныхъ указаній касательно *сущности* тѣхъ романовъ, которые были знакомы русской публикѣ въ XVIII-омъ и въ началѣ XIX-го столѣтія; также изъ „предисловій", узнаемъ мы — a) о тѣхъ цѣляхъ, которыя преслѣдовались авторами при сочиненіи романовъ—b) о тѣхъ побужденіяхъ, которыя заставляли русскихъ людей переводить иностранные романы на родной языкъ — c) о тѣхъ художественныхъ тенденціяхъ, которыя направляли исторію русскаго романа; узнаемъ, наконецъ,— d) о русскихъ читателяхъ XVIII-го вѣка, объ ихъ вкусахъ и настроеніяхъ.

Анализъ содержанія русскихъ романовъ XVIII в. позволитъ сдѣлать заключеніе о значеніи романа, какъ жанра, широко и разносторонне отражающаго русскую жизнь этого вѣка; сравненіе идейнаго содержанія романовъ съ русскими *журналами* и *драмами* XVIII-го столѣтія позволитъ мнѣ утверждать, что изъ всѣхъ литературныхъ жанровъ XVIII-го вѣка романъ, во многихъ отноше-

ніяхъ, полнѣе и шире отразилъ жизнь эпохи, давъ отвѣтъ на моральныя, философскія и политическіе запросы времени, и всестороннѣе другихъ жанровъ охватилъ такія стороны русской жизни, которыя не всегда отмѣчались въ другихъ литературныхъ произведеніяхъ (въ драмахъ, мемуарахъ).

Всѣ эти наблюденія помогутъ мнѣ окончательно выяснить а) исключительно-выдающееся значеніе романа среди другихъ литературныхъ видовъ эпохи и—b) опредѣлить сущность тѣхъ его особенностей, которыя обусловили за нимъ эту первенствующую роль въ русской литературѣ XVIII-го вѣка.

1.

Яснѣе всего въ *предисловіяхъ* выразились тенденціи дать читателямъ „назидательное“ чтеніе.

Такъ, напримѣръ, переводчикъ романа: „Философъ Англинской“ начинаетъ свое предисловіе съ указанія, какое значеніе имѣетъ вообще „нравоучительная литература“, и говоритъ далѣе о романѣ, какъ объ одномъ изъ самыхъ главныхъ видовъ этой литературы.

Польза нравоученія, по его мнѣнію, неоспорима—

„...сіе есть причиною, что наиславнѣйшіе въ ученомъ свѣтѣ люди, о общемъ благополучіи усердствуя, всѣ испытывали способы для распространенія онаго. Предлагали сперва наставленія свои просто и повелительно, яко законодавцы. Потомъ, усмотрѣвъ, что таковой слогъ сухъ и не весьма приманчивъ, старалися вымыслить новые роды предложенія, дабы, украсивъ нравоученіе блистаніемъ прелестныя одежды, вящшую возбудить охоту и вниманіе въ читателяхъ...“

„...Къ сему роду принадлежатъ и, извѣстныя подъ именемъ Романовъ, сочиненія, того ради изобрѣтенныя, дабы, описывая въ нихъ разныя похожденія, сообщать къ добродѣтельному житію правила. Не новѣйшихъ временъ сіе изобрѣтеніе. Въ древнія еще времена оное извѣстно было,—имѣемъ и понынѣ нѣсколько греческихъ и латинскихъ Романовъ“.

„Сіи сочиненія такое несчастіе во дни наши постигло, что многіе не токмо никакой пользы отъ оныхъ быть не надѣются, но еще къ повреждению нравовъ служащими ихъ почитаютъ. Къ излишней таковой ревности подало случай чрезвычайно умножившееся нынѣ на французскомъ и нѣмецкомъ языкѣ число Романовъ, въ которомъ, конечно, болѣе худыхъ и нелѣпыхъ, нежели хорошихъ и съ тѣмъ намѣреніемъ, съ коимъ они выдуманы, согласныхъ. Не у однихъ у насъ есть Бовы Королевичи, Еруслаиы Лазаревичи, Петры Златые ключи,—вездѣ ихъ много; но надобно і редводимому разумомъ человѣку справедливое полагать различіе между такими враками и, связно, пріятно и остроумно выведенными, приключеніями...“

„...Признаться должно, что чтеніе такихъ никоимъ образомъ похвально быть не можетъ, кои сложены безъ всякаго намѣренія, и въ коихъ нѣтъ ничего, кромѣ роскошныхъ приключеній и соблазнительныхъ описаній, и что, ежели на нихъ положить нѣсколько вниманія своего и упражненія, то не въ долгомъ времени преизящныя качества извѣстнаго Дона-Кишота пріобрѣсть можно".

„Но чтенія разумно-писанныхъ романовъ отвергать и опорочивать нимало нѣтъ причины: изображаются въ нихъ нравы человѣческіе, добродѣтели ихъ и немощи; показываются отъ разныхъ пороковъ разныя бѣдствія въ примѣрахъ,—то причиняющихъ ужасъ, то соболѣзнованіе и слезы извлекающихъ; и между цѣлью наистройнѣйшимъ порядкомъ совокупленныхъ приключеній наставленія къ добродѣтели полагаются. На толь препохвальномъ основаніи и съ толь добрымъ намѣреніемъ расположенное сочиненіе хулыть нашей достойно?"

„...Переведенное сіе на россійской языкъ Житіе Кливеландово имѣетъ всѣ оныя свойства разумно писаннаго романа и, по справедливости, таковымъ отъ всѣхъ почитается" [2].

Переводчикъ романа: „Сирота Англинская" говоритъ слѣдующее:

„Въ чтеніи книгъ находятся два рода препровожденій времени,—полезное и пріятное. Первое состоитъ въ чтеніи математическихъ, историческихъ и философическихъ книгъ, которыя острятъ человѣческой разумъ и дѣлаютъ ихъ знающими въ сихъ наукахъ. Второе же препровожденіе времени касается до Романовъ, кои подаютъ намъ также примѣры, чтобы слѣдовать добродѣтелямъ и убѣгать пороковъ".

Въ переведенной имъ книгѣ онъ нашелъ —

„оба сіи препровожденія времени; ибо она, въ разсужденіи, хотя легкаго, но весьма вразумительнаго, ея нравоученія, полезною,—а, въ разсужденіи удивительныхъ, во оной содержащихся, случаевъ, и пріятною назваться можетъ".

Поэтому переводчикъ надѣется, что его трудъ будетъ принятъ благосклонно читателями, хотя и не сомнѣвается,—

„чтобъ не были въ свѣтѣ и такіе Василиски, кои на всякое дѣло другихъ взираютъ ядовитымъ окомъ и выискиваютъ, хотя безъ основанія, въ немъ ошибки" [3].

Появленіе въ печати романа: „Писма отъ г-жи Монтіеръ" переводчикъ этого произведенія объясняетъ такъ: какой-то любитель чтенія расхвалилъ ему эти „Писма" и просилъ его перевести эту „прекрасную" книгу на русскій языкъ.

„Какое бы зло сіе было, когда бъ толь достохвальное сочиненіе предать забвенію и потопить во множествѣ бездѣлныхъ писаній... Простота природная, и нѣжность слога довольно награждаютъ недостатокъ въ нихъ пышности госпожи де-Сивинье: о успѣхѣ сего сочиненія увѣряетъ васъ напередъ то, что женской полъ, увеселяясь онымъ, невидимо получать будетъ твердыя наставленія въ поступкахъ ихъ въ жизни".

„...Многія госпожи, читая сіи письма, признавались мнѣ искренно, какъ онѣ, читая оныя, не могли удержать теченія слезъ своихъ и радовались о семъ изданіи, равныя его съ наставленіями госпожи де-Ламбертъ, которая, наполняя письма свои твердостію, не заключаетъ въ нихъ ничего пріятнаго“...

Затѣмъ переводчикъ обращается къ читательницамъ-дѣвицамъ:

„Содержаніе его особливо, государыни мои, для васъ полезно, тѣмъ, наипаче, что оно, какъ мнѣ кажется, простотою слога придетъ на вкусъ вашъ нѣжной, ведя мысли ваши пріятнѣйшими и увеселяющими разумъ и сердце приключеніями на верхъ добродѣтели. Слѣдуйте съ неустрашимою бодростію стопамъ сей похвальной Маркизы, и увѣртесь точно, что вы за то спокойствіемъ душеннымъ награждены будете“.

„Внутреннее мое желаніе состоитъ въ томъ, чтобы любезныя мои согражданки уподобились, добродѣтелными своими поступками, представляющимся въ сихъ письмахъ матери съ дочерью, чего, и, ожидая, съ крайнимъ удовольствіемъ пребуду“... [4].

Авторъ романа: „Жизнь Олимпы“ говоритъ слѣдующее:

„Естьли бы хотѣлъ я описывать пользу, приносимую обществу чтеніемъ благоразумно-расположенныхъ романовъ, то бы надлежало мнѣ говорить тожъ самое, что почти предъ каждою изъ таковыхъ книгъ находится, ибо всѣ, справедливыя, или правдоподобныя, исторіи повѣствуются, какъ для насажденія добродѣтелей, для истребленія пороковъ и испорченныхъ нравовъ, такъ и для возбужденія удовольствія въ сердцахъ любопытныхъ читателей. Добродѣтельной человѣкъ, читая въ какомъ-нибудь мѣстѣ, что добродѣтель, по претерпѣніи различныхъ бѣдствій и напастей, наконецъ, надъ порокомъ торжествуетъ и, по мѣрѣ заслугъ своихъ, награждается,—приходитъ въ восхищеніе, что и онъ, попавъ на путь истинны, стопамъ ея послѣдуетъ, и ожидаетъ отъ Творца за то воздаянія, а отъ людей—всеобщей похвалы. Порочной, видя порокъ, рано или поздно, низверженной, приходитъ нерѣдко въ раскаяніе, проклинаетъ прошедшій образъ житія своего и дѣлается добрымъ согражданиномъ. Своенравной усматриваетъ изъ чтенія, какія несчастія послѣдовать могутъ отъ того, когда кто, отметая полезные совѣты друзей своихъ, единственно своей волѣ послѣдуетъ только для того, что онъ то учинить властенъ“.

„...Однимъ словомъ, книги исправляютъ многіе пороки“... [5].

Фильдинга переводчикъ восхваляетъ за то, что онъ, безъ боязни рисуетъ отрицательныя стороны жизни,—этимъ исправляетъ людей—

„Сочинитель ея г. Филдингъ, знаменитый Англинскій правописатель, котораго память не токмо у единоземцевъ его, но и во всей Европѣ пребываетъ въ почтеніи. Повсюду писанія его читаются съ удовольствіемъ, и Великобританцы не только не негодовали на него за то, что недостатки своего отечества, бо́льшою частью, избиралъ онъ себѣ цѣлію для упражненія своего пера,—но почитали еще его своимъ благотворителемъ и добрымъ гражданиномъ Лондонскимъ, о исправленіи погрѣшностей ихъ усердно пекущимся“ [6].

Переводчикъ романа: „Дѣянія Іоанафана Вилда“ говоритъ о разныхъ способахъ наставлять читателя при помощи романовъ—

„Многимъ, кои особливо подружилися съ дѣлами господина Рихардсона, такіе токмо романы нравятся, которые содержатъ въ себѣ непрестанно слѣды добродѣтельныхъ дѣяній и благородныхъ мыслей; неможно прекословити ни мало противъ изящества сихъ сочиненій; однако, не опровергаемо и то, что мы получаемъ отъ нихъ нѣкоторую только часть пользы. Правда, что посредствомъ оныхъ достигаемъ мы до познанія свѣта и научаемся располагать все наше поведеніе пристойно, разумно и съ предосторожностію, въ соотвѣтствіе мыслей разныхъ лицъ, кои на пути жизни нашей встрѣчатися намъ могутъ; но не столькожъ ли есть и въ томъ необходимости, дабы проникнулъ свѣтъ во глубину пороковъ и во внутренность злаго сердца, только бы представлены были оные со всею совершенною ихъ гнусностію и безопасностію отъ возбужденія страстей во душахъ скудоумныхъ. Господину Филдингу угодно было здѣсь основати любезный свой трудъ на послѣднемъ разсужденіи... Ирой романа сего есть злочинный и коварный человѣкъ, котораго естество прещедро наградило всѣми дарованіями ума, но душевными токмо обогатить весьма уже, напротивъ того, поскупилося“.

Другой герой хорошъ, но слишкомъ довѣрчивъ и слабъ... „однако господинъ Филдингъ не тѣхъ мѣръ человѣкъ, чтобы допустилъ было восторжествовати пороку надъ добродѣтелію и щастливый возымѣть конецъ“.

Оказывается, и у него злодѣй—„по краткомъ продолженіи своея роли, получаетъ, заслуженное, по строгости правосудія, возмездіе“.

„Междометныя приключенія, кои господинъ Филдингъ, по вкусу своея привычки, расточаетъ вездѣ богато, словно пріятнѣйшаго ради перемѣненія новостей, составляютъ, въ самой вещи, почти столько же удовольствія, какъ и самая повѣсть, и принадлежащія ко онымъ лица подходятъ весьма близко ко состоянію главнаго. Но, какъ писатель сей, по особливому своему искусству, предлагаетъ ихъ всегда паче посмѣянія, чѣмъ подражанія достойными, то и нельзя страшитися ни мало, дабы мнимая ихъ добродѣтель и честность могли воспричинствовати вредъ публикѣ“.

Переводчикъ не рѣшился въ своемъ переводѣ что-нибудь выпускать, хотя для многихъ, по его словамъ, читать нѣкоторыя мѣста этого романа покажется „не вкусно“ [7].

Переводчикъ романа: „Способъ быть добродѣтельнымъ“—такъ характеризуетъ нравоучительные сюжеты романовъ Фильдинга—

„...Книга сія сочинена г. Фильдингомъ, славнымъ Аглинскимъ писателемъ, которой искусство свое, въ изображеніи нравовъ человѣческихъ, показалъ уже въ „Амеліи“ и „Найденышѣ“. Онъ и въ „Кильпарѣ“ не упустилъ онаго и, кажется, употребилъ все свое раченіе представить добродѣтель въ наилучшемъ видѣ: ибо изображаетъ онъ человѣка, во младыхъ лѣтахъ пороками поколебаннаго, но природнымъ чувствомъ и угрызеніемъ совѣсти исправленнаго и возвращеннаго добродѣтели

представляетъ добраго мѣщанина, честнаго супруга, благоразумнаго совѣтника, чувствительнаго друга, чадолюбиваго отца и, словомъ сказать, такого человѣка, которой, при величайшихъ добродѣтеляхъ, подверженъ былъ малѣйшимъ слабостямъ".

„Приключенія, въ похожденіи его находящіяся, весьма важны. Онѣ въ состояніи тронуть чувствительныхъ, научить порочныхъ, утвердить добродѣтельныхъ и подкрѣпить слабыхъ... Всѣ должности людского обхожденія ограждены столь строгимъ и пріятнымъ нравоученіемъ, что въ читателяхъ сугубое удивленіе произвесть могутъ".

Заключаетъ предисловіе переводчикъ словами, что книга эта— „полезна ко исправленію нравовъ"—оттого она и переведена. [8].

Предисловіе къ „Библіотекѣ нѣмецкихъ романовъ" даетъ обстоятельную характеристику „нравоучительныхъ" романовъ.

Интересно указаніе, что разбираемый романъ: „Приключеніе графа фонъ-Ривера", соч. г. фонъ-Лоенъ,—подражаніе Ричардсону... Авторъ въ этомъ романѣ „предполагаетъ защитить честь добродѣтели и изящное нравоученіе подъ выдуманными лицами, доставить людямъ въ руки число отмѣнныхъ его писаній".

„Г. фонъ-Лоенъ нашелъ Романы, сію пріятную отрасль Исторіи, въ несчастныя руки впадшую: либо въ рукахъ явныхъ нравовредителей, или бездушныхъ головъ, кои еженедѣльную мораль наполняютъ вздоромъ и ни мало не разумѣютъ искусства учинить Романъ привлекательнымъ. Онъ читалъ славнѣйшіе Романы Англичанъ и видѣлъ, что совсѣмъ иную цѣльбу употреблить должно, нежели каковою соотчичи его до сихъ поръ пользовались. Онъ примѣтилъ вредныя слѣдствія, произведенныя въ народѣ его чтеніемъ Романовъ и заключилъ тожъ самое, что оный заразило, обратить въ спасительный противуядъ. Ричардсона взялъ онъ въ подражаніе; слѣдуетъ оному, до коль сей держится природы, но хотя мало гдѣ удаляется отъ оныя, то представляетъ вещи собственной выдумки, . . . и изображаетъ тварей, каковы оныя суть, дѣйствительно, въ поднебесной. По естественности лицъ повѣсти и слогу, по блистающимъ всюду человѣческимъ чувствованьямъ и, по удачно разсыпаннымъ, нравоучительнымъ и политическимъ разсужденіямъ, заслуживаетъ его „графъ Ривера" не послѣднее мѣсто въ нашей библіотекѣ. Человѣкъ, отъ него представленный, говоритъ вольно то, что у него на сердцѣ, сражается съ жаромъ за право человѣчества и добродѣтели, смѣло срываетъ маску съ ложноучителей и ложныхъ ревнителей вѣры, льстецовъ уязвляетъ рабскій ихъ хребетъ, дерзкихъ опозориваетъ, не имѣя попеченія о звѣздахъ и орденскихъ лентахъ" [9].

Переводчикъ романа: „Исторія дѣвицы Стернгеймъ" заявляетъ, что своей работой хотѣлъ —

„подарить всѣхъ добродѣтельныхъ матерей и, всѣхъ любви достойныхъ, молодыхъ дѣвицъ нашей націи такимъ сочиненіемъ, которое ему показалось способнымъ къ распространенію".

О пользѣ подобныхъ книгъ, по словамъ переводчика, „всѣ

разумные люди“ согласны, причемъ онъ ссылается на авторитетъ Рихардсона и Фильдинга.

По его словамъ, сочиненія, подобныя переведенному, „способны споспѣшествовать любви добродѣтелей“, такъ какъ въ такихъ сочиненіяхъ изображаются—

„чувствованія истиннаго и прекраснаго—сіе, изъ одного внутренняго источника проистекающее, исполненіе каждой добродѣтели, сіе нелицемѣрное благочестіе, которое не только не препятствуетъ красотѣ и благородству души, но еще составляетъ одну изъ наилучшихъ и прекраснѣйшихъ добродѣтелей ея,—сіе нѣжное, соболѣзновательное и благодѣтельное сердце, сіе здравое и неложное разсужденіе о предметахъ человѣческой жизни и достоинствѣ ея, о исторіи, почтеніи и удовольствіи“ [10].

Одинъ изъ популярнѣйшихъ романовъ XVIII в., дожившій въ лубочной литературѣ до нашихъ дней: „Приключенія маркиза Г.“, снабженъ такимъ предисловіемъ:

„Между добродѣтелями, которыя человѣка къ совершенству приближаютъ, конечно, превосходнѣйшими могутъ назваться терпѣніе и великодушіе“—отсюда, заключаетъ авторъ, нетерпѣливость и малодушіе—пороки.

„...Хотя сіи душевныя немощи роду человѣческому и свойственны; однако есть такіе люди, которые ихъ, естьли вовсе не познаютъ, то, конечно, столько тверды, что могутъ волненію разгнѣваннаго щастія довольно сопротивляться; или, по крайней мѣрѣ, сносить великодушно его непріязненныя нападенія. Сіи люди называются людьми великими. Они въ самомъ благополучіи помнятъ, что они люди, какъ и всѣ протчіе; а сіе напоминаніе поощряетъ ихъ къ исполненію добродѣтелей, удаляетъ отъ нихъ гордость, лихоимство и суетную на себя надежду и дѣлаетъ осторожными противъ нападковъ непостояннаго щастія. Они въ самыхъ жесточайшихъ напастяхъ не забываютъ своего великодушія; имъ утѣшаются въ бѣдахъ, имъ услаждаются въ горестномъ своемъ состояніи и съ терпѣніемъ ожидаютъ возвращенія своего благоденствія. Ничто ихъ поколебать не можетъ и ничто не сводитъ ихъ съ пути, ведущаго къ добродѣтелямъ... Такой великодушный человѣкъ въ лицѣ Маркиза Г... представляется тебѣ, благосклонный читатель!“

„...Онъ самъ, описывая свою жизнь, описалъ живыми красками великодушіе несказанное и терпѣніе непоколебимое. Въ юности своей испыталъ онъ жестокость рока въ печальномъ состояніи своихъ родителей; и, едва только милосердный лучъ щастія въ домашнемъ примиреніи показался, какъ сія радость различными уронами любезныхъ ему особъ нечаянно пресѣклась. Смерть сестры, матери, уединеніе отца, лишеніе всего имѣнія, напасти, въ путешествіяхъ случившіяся, и, наконецъ, жестокая неволя, довольно подали ему случаевъ къ употребленію его терпѣнія и великодушія. Потомъ, казалось, будто щастіе утомилось его гоненіемъ и возвело его въ объятіяхъ несравненныя Селимы, на верьхъ человѣческаго блаженства. Но надолго-ли? Умирающая Селима погубляетъ всю его радость и уноситъ во гробъ съ

собою все его благополучіе! Первыя сердца его движенія, какъ свойственно всѣмъ великимъ душамъ, прерываютъ съ начала его терпѣніе и удаляютъ великодушіе. Грызущая печаль господствуетъ надъ разумомъ, и отчаяніе къ нему приближается. Но скоро потомъ оставшія въ сердцѣ искры добродѣтели, получаютъ свою силу, возбуждаютъ его и оживляютъ, возвращаютъ разумъ и разсужденіе и вселяютъ въ него упованіе на Всевышняго, какъ на единаго утѣшителя во всѣхъ человѣческихъ злоключеніяхъ"...

„...Но не довольно того, чтобъ быть только самому добродѣтельну,— естественная должность обязуетъ насъ поощрять и другихъ къ познанію добродѣтелей; и для того, благосклонный читатель, увидишь ты въ сей книгѣ столько, смѣшеннаго съ разными приключеніями въ жизни сего Маркиза, нравоученія, сколько можетъ такъ много на свѣтѣ искусившійся разумный и ученый человѣкъ, каковъ сей Маркизъ, для наставленія другимъ дать".

„...Я могу осмѣлиться уподобить его божественному Мантору, вымышленному господиномъ Фенелономъ,—и не погрѣшу, естьли его назову „Манторомъ благородному человѣку!" [11].

Судя по предисловію переводчика романа: „Зеркало дѣвицъ", эта книга должна была послужить „въ пользу и въ утѣшеніе" читательницъ.

„Приключенія, въ сей книгѣ находящіяся, по справедливости, достойны наименованы быть *зеркаломъ дѣвицъ:* ибо они представляютъ все то, что только къ осторожности и къ соблюденію чести цѣломудренной и добродѣтельной дѣвицы послужить можетъ,—означаютъ нечаянные случаи, обстоятельства, гдѣ добродѣтель отъ различныхъ искушеній впадаетъ въ заблужденіе и иногда въ самую погибель; показываютъ слѣдствія, какія безразсудная страсть произвесть и въ совершенное поруганіе и стыдъ вовлечь можетъ; учатъ, наставляютъ и внушаютъ, что безъ добродѣтели и постоянства дѣвица не можетъ быть щастливою на свѣтѣ, ниже имѣть лучшее какое стяжаніе, какъ сіи, неоспоримо-похвальныя и ей весьма приличествующія, качества, которыя составляютъ истинную ея честь и славу" [12].

Воспитательное значеніе романа обстоятельно выяснено и въ предисловіи автора романа: „Торжество невинности"—

„Нѣтъ ни одного ученаго сочиненія, которое бы понятнѣе было для всѣхъ смертныхъ, какъ Романъ,—онъ не обязываетъ читателя знать наизусть все, имъ въ немъ читанное, такъ, какъ дѣлаетъ Исторія, и можно его предать забвенію, не укоряя себя въ недостаткѣ памяти, естьли кто не имѣетъ оной, также и въ маломъ вниманіи: поелику онъ ничего въ себѣ не заключаетъ, кромѣ нѣкоторыхъ воображенія дѣйствій и чистыхъ помысловъ..."

„Но, при всемъ томъ, дабы имѣть нѣкоторый родъ удовольствія въ употребляемое на чтеніе онаго время, какъ читатель долженъ себѣ представлять, что всѣ повѣсти справедливы, и все, имъ въ немъ читаемое, въ дѣлѣ случилось,—такъ и сочинитель долженъ въ немъ

предлагать о вещахъ, вѣроятія достойныхъ и могущихъ вмѣститься въ умъ человѣческій".

„Отмѣнныя исторіи, изъ которыхъ онъ состоитъ, составляютъ его основательность, а вымыслы дѣлаютъ его пріятнымъ.

„Романъ есть нѣкоторый родъ театра, на которомъ представляются различныя людей свойства не только для того, чтобъ возбудить страсти читателя, но еще и для того, чтобъ онъ могъ-бы себѣ отъ того получать прибыточную пользу. Нѣтъ ни одного человѣка, сколь бы онъ безразсуденъ ни былъ, которой бы не разсуждалъ о видимомъ имъ и читаемомъ и которой бы, или не охуждалъ, или не похвалялъ поступки тѣхъ лицъ, которыхъ вводятъ дѣйствующими, или говорящими въ Романѣ".

„Поносятъ жестокость, измѣны и вѣроломства; сожалѣютъ о нещастныхъ и неповинныхъ; удивляются великодушію такого-то, цѣломудрію такой-то и коварству сего-другаго; и, въ семъ то состоитъ нравственная наука, которую получать должно отъ Романа, соображая свое поведеніе съ хорошими, въ немъ замѣченными, поступками, а презирая поступки худые и предостерегаясь, чтобъ не подпасть онымъ".

„Какая-бъ ложь ни находилась въ Романѣ, однако заглавіе начинаетъ обязывать къ прочтенію оного; и какъ скоро кто увидѣлъ начало, то дѣлается уже любопытнымъ, чтобъ увидѣть и конецъ. Вымыслы въ пріятное приводятъ сомнѣніе мысли читателя, а исполненіе оныхъ совершенное доставляетъ имъ удовольствіе. Романъ есть нѣкоторый родъ игры, которой конца съ нетерпѣливостью ожидаютъ, дабы видѣть участь, каковую игроки имѣть будутъ; или онъ есть, какъ будто, нѣкоторый корабль, въ открытомъ морѣ находящійся, разбиваемый отъ бури и, какъ стремительствомъ вѣтровъ, такъ и колебаніемъ волнъ, въ безпорядокъ приводимый,—на которомъ представляются плаватели, на коихъ взираютъ со береговъ, дабы узрѣть, какимъ образомъ возмогутъ они избѣжать той опасности, гдѣ имъ принадлежитъ погибель. Каждой радуется о ихъ спасеніи, или, естьли они погибаютъ, то каждой сожалѣетъ о ихъ участіи".

„Я въ моемъ Романѣ представляю одного влюбленнаго кавалера, который, слѣдуя своей страсти, не радѣлъ о своей должности, что весьма обыкновенно. Но участь тотчасъ его за то наказала, чтобъ его научить, дабы онъ не предавался слишкомъ тѣмъ удовольствіямъ, которыя отвлекаютъ насъ отъ главныхъ должностей нашихъ. Я сдѣлалъ, что онъ почувствовалъ въ себѣ живѣйшее раскаяніе о своемъ порокѣ, заставляя его ревностно всякихъ искать средствъ къ поправленію онаго; я сдѣлалъ также, что онъ съ великою трудностью нашелъ оныя средства, дабы показать, какія происходятъ слѣдствія отъ несодѣйствія оныхъ; ибо столь то неудобно ихъ изгладить".

„Я привелъ его къ погибельной опасности гораздо скорѣе, нежели кого-нибудь другого, дабы онъ отъ оной исправился въ своихъ преступленіяхъ, доставляя ему къ сему случай такъ, что онъ ни въ чемъ не можетъ оправдаться, дабы черезъ то въ бо́льшее его привести удивленіе и заставить его торжествовать надъ окончаніемъ своего отчаянія, и дабы возвратить ему ту честь, которой онъ лишился по своему пороку, дѣлая его всегда гораздо влюбчивѣйшимъ, нежели, каковъ былъ онъ прежде. Я тотчасъ его показалъ подъ чертами вѣтреннѣйшаго изъ всѣхъ

любовниковъ; потомъ утвердилъ его сердце на одной красавицѣ, пристрастивши его къ оной даже до глупости, дабы онъ претерпѣлъ такіе же удары, какими онъ поражалъ другихъ, какъ обыкновенно случается. Я сдѣлалъ, что онъ, наконецъ, узналъ нехорошія свойства и вѣроломство своей любовницы, дабы тѣмъ показать, что время открываетъ тѣ пороки, которыхъ мы вскорѣ не примѣчаемъ въ любимыхъ нами особахъ; что оно предметы, гораздо любви достойнѣйшіе, дѣлаютъ намъ извѣстными и что, такимъ только образомъ, должно вступать въ дѣло. Я учинилъ, что произошла нѣкоторая измѣна между двумя сестрами, дабы представить, что въ любви и въ снисканіи выгодъ нѣтъ имъ болѣе разбирательства, ниже между ближайшими родственниками. Я показалъ то, что произвело въ лицѣ Софіи одну строптивную любовницу, естьли бы она не была вспомоществуема справедливостію и милосердіемъ тѣхъ, которые ее обманывали и ею смѣялись. Я сдѣлалъ, что графъ де-Г... взялъ на себя нѣкоторое, неслыханное предпріятіе, чтобы владѣть своею любовницею. Я изобразилъ общее свойство дѣвицъ одного дома, когда число ихъ велико; изобразилъ также, какимъ образомъ дѣвицы весьма рѣдко живутъ между собой согласно по причинѣ той неблагопристойной ласковости, которую матери имѣютъ къ большимъ дочерямъ своимъ и по причинѣ того преимущества, которое онѣ передъ другими имъ дѣлаютъ и которое заставляетъ ихъ всегда имѣть между собою духъ ревности и ненависти, приводя ихъ часто къ печальнымъ для фамиліи слѣдствіямъ.. Можно будетъ видѣть въ особѣ господина де-Р..., какимъ образомъ дѣти получаютъ себѣ въ наслѣдство свойство своихъ родителей, какимъ образомъ благородная душа не можетъ подвергнуться дѣламъ подлымъ, хотя она то принять и въ состояніи, и какія дѣйствія ея отчаянія, когда она онымъ подвергнется".

...Вотъ, нравственная наука, которой должно научиться изъ сего малаго сочиненія! Вотъ, образецъ, по которому должно читать всѣ вообще романы!" [13].

Очень любопытно предисловіе переводчика къ роману Ричардсона: „Памела":

„Естли соединять забавы и удовольствіе съ наставленіями и образованіемъ разума и сердца младыхъ обоего пола особъ; естли внушать начала вѣры и благонравія столь легкимъ и трогательнымъ образомъ, чтобъ онѣ были пріятны и полезны невозрастнымъ читателямъ и при томъ достойны вниманія особъ, кои и лѣтами, и разумомъ совершеннѣе другихъ; естли сблизить, какъ можно больше, взаимныя обязанности, соединяющія родителей съ ихъ дѣтьми, также и тѣ должности, кои гражданское общежитіе налагаетъ на всѣхъ вообще людей, не взирая на различіе состояній; естли написать порокъ красками, внушающими отвращеніе отъ оного—и добродѣтель начертать въ такомъ видѣ, въ которомъ бы она казалась совершенно любезною; естли выдавать естественныя чувствованія—истинными и никакой противоположности не имѣющими; естли производить случайности прискорбныя, по причинамъ близкимъ и естественнымъ, и, въ то же время, возбудить состраданіе приличнымъ образомъ; естли научить богатаго употребленію добра, имъ обладаемаго, покореннаго страстьми—

средствамъ къ побѣжденію оныхъ; и развращеннаго наставить, какъ можно ему премѣнить свои поступки на основаніи чести и благопристойности; естли представлять примѣры, коимъ могутъ подражать въ нѣжнѣйшихъ и опаснѣйшихъ обстоятельствахъ самыя скромныя дѣвицы и супруги цѣломудренныя; естли выполнять всѣ свои предначертанія такъ правдоподобно, естественно и живо, чтобы все могло трогать чувствительныхъ читателей и принуждать къ великому участію въ повѣсти представляемой; естли совершить сіе начертаніе съ такою осторожностію, чтобы самая строгая скромность не могла найти ни малѣйшихъ предметовъ, оскорбить ее могущихъ, даже въ тѣхъ нѣжнѣйшихъ обстоятельствахъ, которыя бы весьма удобными къ тому показались; естли все сіе, раскрашенное, наконецъ, многоразличіемъ пріятныхъ приключеній, заслуживаетъ похвалу и дѣлаетъ твореніе достойнымъ,—то издатель слѣдующихъ писемъ, ничего кромѣ истиннаго и естественнаго не заключающихъ, смѣетъ увѣрять, что сіе малое твореніе, во всей точности, соотвѣтствуетъ данному теперь отъ него понятію...“

(Изъ письма къ автору Памелы).

„Сіе небольшое сочиненіе написано съ тѣми ощущеніями истинны и любезныя простоты, кои, сколько ни нужны, рѣдко встрѣчаются въ твореніяхъ, опредѣленныхъ для наставленій и удовольствія“.

„Оно трогаетъ сердце и разумъ удовлетворяетъ; приключенія въ ономъ столь естественны и занимательны, что я шелъ, нога за ногой, по слѣдамъ вашея прелестныя Героини; я раздѣлялъ съ нею всѣ ея томленія; я чувствовалъ всѣ безпокойства страха, въ которомъ я находился, представляя всякую минуту ужасныя слѣдствія, долженствовавшія произойти отъ похвальнаго ея сопротивленія. Меня занимали всѣ, какія она предпринимала мѣры, чтобы уйти изъ заточенія. Я оплакивалъ повсечастно нещастія ея съ чувствительнѣйшимъ состраданіемъ, видя, что всѣ надежды ея обмануты и всѣ предпріятія опровержены“.

Предисловіе свидѣтельствуетъ далѣе, что романъ этотъ заключаетъ въ себѣ „тысячу полезныхъ наставленій, научаетъ правиламъ очищеннаго нравоученія“.

„Словомъ сказать, Г. М! общество имѣетъ великую нужду въ такомъ твореніи, каково сіе. Свѣтъ скоро, и весьма скоро, испорченъ будетъ развратительными повѣстями, изъ коихъ я не знаю ни одной, которую бы можно было похвалить для чтенія юношеству обоего пола, а еще меньше того представить имъ оныя, какъ такія творенія, въ которыхъ бы могли они найти примѣры, достойные подраженія. Всѣ повѣсти, читанныя мною до сего времени, ни къ чему не служатъ, какъ только къ поврежденію разсудка, развращенію сердца и ко внушенію юношеству волокитства и любви къ непозволительнымъ удовольствіямъ“.

Памела—героиня, „ополченная благоразуміемъ, въ прискорбныхъ ей обстоятельствахъ, и которыя добродѣтель ни искушеніемъ, ни притѣсненіями побѣждена не была. Она есть славный примѣръ, служащій красавицамъ къ подражанію.. Она будетъ образовывать нѣжное сердце юношества и научитъ оное поступать по законамъ чести и добродѣ-

тели. Она утвердитъ начала благонравія въ возрастѣ уже совершенномъ; она исправитъ предавшихся порочной жизни, преобразитъ нравы времени—и будетъ Памела предметомъ подражанія всѣхъ молодыхъ Госпожъ Великобританіи...“

„Я не боюсь сказать утвердительно, что сіе малое твореніе будетъ почитаемо образцовымъ, въ своемъ родѣ,—и такимъ образцомъ, коего еще до сего времени не видно было; ибо оно наполнено одушевленными видами и приключеніями естественными“.

„Благопристойность сохранена вездѣ съ величайшею строгостію, должности общественныя жизни сближены всевозможно; слогъ приличенъ свойствамъ дѣйствующихъ лицъ; твореніе пріятно и, вмѣстѣ, поучительно. Порокъ и добродѣтель написаны отличающими ихъ красками, и благочестіе представлено въ естественной своей красотѣ, привлекающей всеобщую къ нему приверженность. Здѣсь вѣра... не имѣетъ вида мраннаго, печальнаго и отвратительнаго...“

„...Поелику не занимаетъ онъ (романъ) пріятностей ни въ воображеніи, ни въ духѣ баснотворномъ, но основываетъ на истинѣ и на естественныхъ началахъ, утверждаяся на самыхъ опытахъ, то и будетъ онъ всегда уважаемъ отъ людей, вкусомъ и благонраніемъ отличающихся“.

Предисловіе заключается такимъ воззваніемъ къ роману:

„...Малое твореніе, прекрасная Памела! покажись свѣту съ отважностію; будь увѣрена, что ты найдешь друзей и почитателей, не только въ своемъ отечествѣ, но и въ странахъ отдаленныхъ; ты можешь быть примѣромъ писателямъ сосѣдственнаго народа, кои нынѣ будутъ имѣть случай получать чистое въ стерлингахъ серебро, вмѣсто ложной монеты, бывшей у насъ въ употребленіи долгое время, легкостію подобной вѣтренности сея націи. Не взирая на развращеніе сего вѣка, добродѣтель имѣетъ еще великое число послѣдователей. Ты въ нихъ можешь найти покровителей. Да обратятся тобою закоснѣвшія въ распутствѣ въ тѣхъ рукахъ, изъ коихъ ты освободишься! Всѣ младыя дѣвицы, которыя будутъ читать тебя, да подражаютъ Памелѣ..“ [14].

Французскій переводчикъ тоже присовокупилъ свое предисловіе къ переводу „Памелы“ на французскій языкъ:

„Небольшое сіе сочиненіе столь благосклонно въ Англіи было принято, что въ одинъ годъ онаго пять тисненій вышло. Оное доказываетъ, что издатель умѣлъ найти вкусъ общественной“.

Произведеніе встрѣтило и суровыя критики, но „Памелины порицатели столь слабы и столь несправедливы, что недостойны и вниманія“.

„Уповательно, что мысли о человѣколюбіи, добродѣтели и вѣрѣ, также какъ и о разныхъ характерахъ, искусно выведенныя въ подлинникѣ сего сочиненія, причиною, что оно столь благосклонно было принято Англичанами“.

(Письмо къ издателю „Памелы“).

„Посылаю къ вамъ рукопись „Памелы“, которую я читалъ съ несказаннымъ удовольствіемъ. Писана она въ пріятной простотѣ съ такою правдою, какой найти весьма рѣдко въ книгахъ, сотворенныхъ для

наученія и забавы. Она трогаетъ сердце и плѣняетъ разумъ; всѣ приключенія ея естественны и заставляютъ брать во всемъ участіе. Должности во общежитіи показаны со ясевозможною ясностію; слогъ соотвѣтствуетъ свойствамъ тѣхъ, кои выведены на зрѣлище сей повѣсти. Я слѣдовалъ въ стопени сей Героини повсюду и бралъ совершенное, во всѣхъ бѣдахъ, ея участіе: крайне безпокоился, боясь ужасныхъ обстоятельствъ и худыхъ слѣдствій, отъ достохвальнаго ея супротивленія; во всѣ предпріятія ея мысленно мѣшался, которыя она ко убѣжанію своему устроевала; бывалъ много ею доволенъ, а иногда и сердился на нее, а, особливо, во время ея заключенія въ домѣ Лорда Б. Доволенъ былъ намѣреніемъ ея побѣга, потомъ опять сердился за то, что отъ страха всѣ тѣ достохвальныя намѣренія ея исчезали; истинно сожалѣлъ о ея нещастіяхъ такъ, какъ о моихъ собственныхъ, види, какъ она въ своей надеждѣ обманывалась и какъ всѣ ея предпріятія въ ничто обращались. Однимъ словомъ, вся книга сія такъ чувствительна, что невозможно, читая оную, не имѣть совершеннаго участія въ ея горестяхъ".

„Она въ себѣ содержитъ тысячу изрядныхъ нравоученій и своею добродѣтелію подаетъ примѣръ многимъ. Сія страдательница слѣдовала по стезямъ добродѣтели ясюду, безъ гордости и упрямства..."

„Я не могу надивиться, для чего такъ долго размышляли напечатать сію нравоучительную книгу, которая, въ своемъ родѣ, немного подобныхъ имѣетъ и которую желаю видѣть напечатанну въ самой той простотѣ, въ какой написана. Она усладитъ читателей и понравится лутче, нежели всѣ тѣ, которыя украшены витіеватымъ слогомъ и которыя похожи бываютъ на нехорошо-написанную картину, покрытую завѣсомъ, или на прекрасную статую, одѣтую богатымъ платьемъ, изъ подъ котораго не видно искусства художника; почему-бъ и сія книга погружена была во глубину пышныхъ словъ и реченій высокопарныхъ; чрезъ что бы и самое естественное изъясненіе въ празднословіе превратилось. И для того я думаю Памелу оставить лутче такъ, какъ она сама себя представляетъ,—пускай ея реченія останутся такъ, какъ оныя есть—безо всякаго украшенія. Краснорѣчіе, хотя и пріятно для читателя, но оно никогда не можетъ восхитить и тронуть сердце. Я восхищаюсь, види Памелу въ простой крестьянской одеждѣ, въ которой она тогда была, какъ возвратиться хотѣла къ своимъ родителямъ; оное платье болѣе прилично ея непорочности и пріятной простотѣ, нежели то, которое дарила ей покойная госпожа ея. Однимъ словомъ сказать, государь мой, книга сія для многихъ будетъ полезна, ибо многіе, и очень многіе люди, испорчены вредными и развращенными твореніями,— и я еще не читывалъ ни одного, дабы молодымъ, мужескаго и женскаго пола, особамъ осмѣлился изъ оныхъ которое одобрить; и не могу обнадежить, что они найдутъ тамъ много такихъ примѣровъ, которымъ послѣдовать должно. Всѣ тѣ, которыя я читалъ, по большей части, вредятъ здравому разсудку и поселяютъ въ сердца молодыхъ людей желаніе роскоши, и любви"... Не такова „Памела"—оттого „всякая фамилія захочетъ въ своемъ домѣ имѣть „Памелу", которая можетъ подавать чести и непоколебимой добродѣтели ясные примѣры,—будетъ исправлять заблуждающихся въ безпорядочной жизни и ·.сцѣлять волнующіеся и утопающіе во страстяхъ нравы" [15].

Сочинительница романа: „Страданіе молодой Емиліи“ въ такихъ словахъ выясняетъ значеніе своего произведенія:

„Вамъ, честности исполненныя, души, приношу мое сочиненіе. „Емилія моя представитъ вамъ на каждой страницѣ собственныя ваши чувствованіи, и я ласкаюсь, что оныя побудятъ васъ вникнуть въ погрѣшности моего труда: что̀ къ намъ всего ближе, то насъ трогаетъ. Любовь къ добродѣтели сдѣлала меня писательницею. Охотно бы я желала видѣть всѣхъ людей благополучными. Представляя вамъ образъ истиннаго блаженства, вливаю я, можетъ быть, пріятный свѣтъ въ ваши сердца и веду васъ къ заключенію, что не можно найти совершеннаго благополучія безъ исполненія правилъ человѣколюбія...“

„Добронравный человѣкъ бываетъ гонимъ; похвальныя его дѣла бываютъ затмеваемы; но пускай стараются густѣйшими облаками оныя помрачить,—добродѣтель сквозь самую темноту проникаетъ!“

Быть можетъ, что „весь сей романъ весьма простыя содержитъ въ себѣ приключеніи, что онъ, можетъ быть, наполненъ слишкомъ многими нравоученіями, что онъ пространенъ, что слогъ онаго неисправенъ и перепутанъ“, но, по мнѣнію автора, несмотря на всѣ эти недостатки, цѣли, которыя преслѣдовались при сочиненіи этого романа, возвышенны—„стараніе внушить молодымъ особамъ чувствованіи къ добродѣтели, есть побудительнѣйшая причина, ободрившая меня къ изданію въ свѣтъ толь слабаго произведенія моихъ воображеній“ [16].

Предисловіе переводчика романа: „Вакефильдскій священникъ“ тоже выясняетъ сущность реалистическаго нравоучительнаго романа—

„Живѣйшія чувствованія,—дѣла, собственно изображаемыя такъ, какъ оныя производятся въ общежитіи; особенно находящіяся въ ономъ здравыя разсужденія достойны похвалъ каждаго, чувствующаго цѣну изяществъ умопроизведенія. Добродѣтель и отрасли ея, просто и удобно изъясняющія неотступленіе отъ нея ни въ какихъ превратностяхъ жизни сея, но всегдашнее послѣдованіе оной, и выводимыя изъ каждаго приключенія особь-составляющихъ семейство заключеній, научающія во укорененіи оныя въ сердца ихъ, составляютъ изящество свойствъ Вакефильдскаго Священника, Героя сего романа“.

„... всѣ отдаютъ сей книгѣ должную справедливость“.

„... всегда примѣчаемая наклонность Россіянъ къ Англичанамъ и уваженіе къ сочиненіямъ ихъ немало могутъ споспѣшествовать одобренію сей книги [17].

Въ предисловіи къ роману: „Похожденіе Родрика Рандома“ находимъ мы цѣлую исторію европейскаго романа, съ указаніемъ цѣнности отдѣльныхъ произведеній этого жанра, со стороны ихъ назидательности.

„Изъ всѣхъ критикъ нѣтъ ни полезнѣе, ни благоразумнѣе, ниже способнѣе ко впечатлѣнію, какъ тѣ, которыя умѣетъ кто-нибудь включить въ забавную повѣсть. Пускай постарается каждой Философъ соединить правила нравоученія съ пріятностію повѣствованія, опишетъ

искуснымъ образомъ различныя страсти людскія, изобразить случающіяся въ сердцахъ ихъ перемѣны и представить своего героя въ природныхъ правдоподобныхъ и поразительныхъ обстоятельствахъ, то и исполнитъ онъ непремѣнно свое намѣреніе. А буде иногда и не получитъ онъ въ предпріятіи своемъ совершеннаго успѣха, то, по крайней мѣрѣ, учинитъ надъ сердцами развращенныхъ людей такое дѣйствіе, которое обратитъ ихъ, хотя нѣсколько, на путь добродѣтели. Всякой читатель прилѣпляется противъ своей воли къ чьей-нибудь повѣсти, естьли только сочинитель оной можетъ донести его до того, чтобъ началъ онъ брать въ благополучіи описываемаго Героя участіе. Онъ сожалѣетъ о нещастіяхъ честнаго человѣка, котораго гонитъ фортуна, и досадуетъ на творцовъ его неблагополучія; тужитъ объ оскорбляемой добродѣтели и желалъ бы искренно наказать угнетающій ее порокъ; а память и сердце его питается тѣми выдумками, которыя бываютъ полезны человѣчеству. Въ нѣкоторое время сей-же самый читатель узнаетъ въ предлагаемыхъ ему лицеизображеніяхъ самого себя; да, хотя и стыдится онъ того, что они съ нимъ сходствуютъ, но какъ, кромѣ себя, нѣтъ тутъ никакого свидѣтеля, то и не слушаетъ уже онъ собственнаго своего самолюбія; и чтобъ не получить ему впредь отъ другихъ людей такого-же стыда, то и зачинаетъ онъ стараться о своемъ исправленіи,—научается удерживать свои страсти и, усмотря причиняемыя ими нещастія другимъ людямъ, предвидитъ и предупреждаетъ тѣ опасности, которыя отъ нихъ произойти могутъ. Наконецъ, занимаяся пріятными воображеніями, наполняетъ голову свою правилами нравоученія гораздо больше, нежели въ то время, когда читаетъ онъ одно только сухое, скучное и безъ всякаго украшенія нравоученіе. Извѣстно каждому, что для приведенія человѣковъ къ честности и исправленію ихъ нравовъ, бываетъ отнюдь недовольно того, дабы сдѣлать, какъ порокамъ, такъ и добродѣтелямъ, одну только роспись; ибо нелегко можно ихъ увѣрить, чтобы были они порочны, естьли ясными примѣрами не докажется имъ, что находятся они, дѣйствительно, таковы. Вслѣдствіе чего надлежитъ описывать человѣка со всѣми его пороками и добродѣтельми и предлагать происходящее отъ нихъ зло и добро, да и переводить онаго постепенно отъ бѣдности къ изобилію; а когда всякой читатель усмотритъ, отъ чего происходятъ щастіе и всякія нещастія, то и будетъ онъ убѣжденъ къ учиненію важныхъ разсужденій, какъ бы достигнуть ему до одного и убѣжать отъ другихъ" [18].

Любопытенъ отзывъ о романѣ Лесажа: „Приключенія Жилблаза", помѣщенный въ предисловіи къ этому произведенію—

„Хотя повѣсть *Жилблазова* и описана столь забавно, что, читая оную, самой печальной человѣкъ, конечно, не удержится отъ смѣху,—но, по мнѣнію моему, переводилъ его Г. *ле-Сажъ* изъ одного состоянія въ другое столь скоро, что нѣтъ времени каждому ни пожалѣть объ его нещастіи, ниже порадоваться о благополучіи онаго; а таковыя, противныя между собою, обстоятельства, естьли слѣдуютъ онѣ другъ за другомъ, безъ всякой разстановки, то и покажутся всякому несходны съ правдою,—что самое, можетъ быть, и помѣшало сему сочинителю получить желаемой отъ повѣсти его успѣхъ, то есть, что всякой читатель

имѣетъ къ разсужденію о приключеніяхъ *Жилблазовыхъ* столь мало времени, что и не можетъ онъ примѣтить, что намѣреніе творца сей книги клонилося не столько къ увеселенію, сколько къ наставленію пользующихся оною. Что́ же слѣдуетъ до меня, то вздумалъ я издать приключенія, отличнаго по достоинству своему, честнаго человѣка, испытавшаго надъ собою всѣ нещастія, соединенныя съ состояніемъ сироты, у коего нѣтъ столь великодушнаго друга, которой бы могъ его защитить отъ жадности, зависти и злости другихъ людей. Но, чтобы убѣдить каждаго благороднаго человѣка къ тому, дабы принялъ онъ въ благополучіи моего Героя бо́льшее участіе, то прописалъ я ему не беззнатную породу. А хоти и можно кому нибудь упрекнуть меня, что вмѣшивалъ я его въ самыя подлыя и простонародныя сообщества и позорища; но естьли разсудитъ онъ нѣсколько, то и почувствуетъ, что было бы совсѣмъ неестественно, естьли бы какой-нибудь человѣкъ, находяся въ крайней бѣдности, захотѣлъ имѣть дѣло съ знатными людьми. Впрочемъ же, страсти простыхъ людей, которые не закрываются личиною притворной учтивости, показалося мнѣ описывать несравненно легче, понеже нравы ихъ показываются таковыми, какими находятся они дѣйствительно, да и не знаютъ они того опаснаго искусства, чтобы скрывать отъ глазъ людскихъ и самыя природныя свои склонности. Такимъ образомъ, кажется мнѣ, что и нѣтъ уже нужды предлагать для извиненія своего еще что-нибудь, ибо оправдываютъ меня въ томъ же самомъ великіе (сего рода повѣстей) писатели".

Въ предисловіи къ роману: „Воинъ и Философъ" тоже выясняются пріемы, которыми, въ цѣляхъ назиданія, пользуются писатели-реалисты.

„... въ книгѣ, описывающей жизнь частнаго человѣка, вдругъ все найти можно,—въ ней Сочинитель смѣшиваетъ полезное съ пріятнымъ и находитъ средство увеселять читателя, научая его; безчисленное множество маленькихъ подробностей открываютъ тайныя пружины, которыя насъ движутъ и возбуждаютъ наши страсти, и каждой читатель, въ лицѣ другихъ, видитъ свои недостатки и погрѣшности. Въ ней петиметръ смѣется надъ кокеткою; она издѣвается надъ пустосвяткою,—и, наконецъ, всѣ трое оглядываются на собственныя свои глупости: мотъ называетъ дуракомъ скупаго, при возрѣніи же на расточителя, приведеннаго въ ужасную бѣдность, принужденъ бываетъ обратиться самъ на себя; паденіе горделиваго, злощастной жребій распутнаго, наказаніе злодѣя, презрѣніе и нещастное положеніе оставленной дѣвки, плачевное слѣдствіе ея легковѣрности, глупость влюбленнаго старика, которой дѣлается общимъ посмѣщищемъ,—всѣ сіи характеры, будучи съ искусствомъ раскрыты, представляютъ читателю вѣрное зеркало его заблужденій; онъ втайнѣ осуждаетъ себя; потомъ приходитъ къ нему на помощь размышленіе и старается сдѣлать его лучшимъ; и, естьли онъ совсѣмъ уже не слушаетъ своего разсудка, то, по крайней мѣрѣ, принимаетъ въ сердце свое сѣмя добродѣтели, которое напослѣдокъ, по необходимости, должно произвести въ немъ доброе дѣйствіе. Сочиненія сего рода служатъ еще къ очищенію нашихъ нравовъ и нашего разума. Но я слышу, что нѣкоторые люди уже возстаютъ про-

тивъ меня... „Какъ! ужели впредь намъ должно будетъ учиться морали изъ книгъ, наполненныхъ одними только чрезвычайными приключеніями?“—„А для чего и не такъ, государи мои? Естьли сіи книги сочинены со вкусомъ и съ разсужденіемъ, то молодые люди отъ чтенія оныхъ получатъ столько же пользы, сколько и отъ тѣхъ великихъ писателей, которымъ хотя, поистинѣ, я и удивляюсь, однако желалъ-бы, чтобъ они, не столь были жестоки къ человѣчеству. (Увы! мы и безъ того родимся съ довольно великою другъ къ другу антипатіею; а то есть еще люди, которые стараются представить намъ другихъ еще ненавистнѣе въ портретахъ, очень часто непостоянныхъ). Сіи писатели изображаютъ намъ человѣка весьма дурными красками и заставляютъ насъ ненавидѣть и даже и добродѣтели его; другіе представляютъ намъ его съ слабостями и дѣлаютъ то, что мы оплакиваемъ даже и преступленія его; ктожъ изъ нихъ заслуживаетъ преимущество? Не лестнѣе-ли для нашего самолюбія вѣрить, что нѣкоторая пагубная склонность имѣетъ половину участія въ нашихъ погрѣшностяхъ, нежели быть принуждену мыслить, что мы бываемъ порочны добровольно? По крайней мѣрѣ, намъ остается надежда быть оплакиваемыми, и сія система производитъ взаимное состраданіе, которое превращается въ цѣпь дружества между всѣми людьми“.

„Вотъ, прямое дѣйствіе, которое въ душѣ нашей должна производить исторія слабостей человѣческихъ, естьли можно такимъ образомъ сказать; наставленія, въ оной содержащіяся, тѣмъ болѣе поражаютъ читателя, что кажутся учиненными по поводу неизвѣстныхъ ему погрѣшностей. Но въ другихъ книгахъ содержащаяся мораль, когда предлагается вообще всѣмъ людямъ, слѣдовательно касается частно и меня, то и возстаю противъ такихъ правилъ: мнѣ противно, когда говорятъ мнѣ въ глаза, что я гордъ, скупъ, распутенъ, глупъ и проч. Въ семъ случаѣ я подобенъ больному, которой желаетъ излѣчиться, и, не въ состояніи будучи превозмочь своего отвращенія къ лѣкарствамъ, обманывается, наконецъ, какимъ нибудь пріятнымъ примѣсомъ, которой поправляетъ горечь его лѣкарства. Или, справедливѣе сказать, книги сіи, о которыхъ мы говоримъ, производятъ надо мною то же самое дѣйствіе, которое производится въ разумѣ молодого Государя, когда, при его глазахъ, наказываютъ дитя, однихъ лѣтъ съ нимъ, за тотъ проступокъ, которой онъ самъ учинилъ. Юный Князь, которой чувствуетъ, что онъ виноватъ, начинаетъ и объ этомъ думать, и, по натуральному побужденію, врожденному во всѣхъ мыслящихъ тварей, впредь дѣлается осторожнѣе“.

„...Таковыя мнѣнія, конечно, покажутся въ глазахъ нѣкоторыхъ читателей противными вообще-принятымъ мнѣніямъ; я и самъ выдаю ихъ тѣмъ съ бо́льшимъ страхомъ, что я ими, можетъ быть, явно оспориваю мысли почтеннѣйшихъ въ обществѣ особъ; однако, не справедливо ли то, что сочиненія сего рода, которой я защищаю, принимаются нѣсколько строго? Когда они основаны на добродѣтели, естьли она въ нихъ торжествуетъ, а порокъ бываетъ наказанъ,—то мнѣ кажется, что чтеніе таковыхъ сочиненій никогда не можетъ быть вредно“ [19].

Въ предисловіи къ „Англійскимъ письмамъ, или исторіи Грандиссона“ самъ Ричардсонъ такъ опредѣляетъ моральное значеніе своихъ произведеній:

„Первое собраніе писемъ, изданное въ свѣтъ, подъ названіемъ „Памелы", представляетъ красоту и превосходство добродѣтели въ простой и невинной душѣ, съ тѣми дарами, кои небо часто изливаетъ на добродѣтель, даже въ теченіе и сей кратковременной жизни! Молодая дѣвица, произшедшая отъ незнатной породы, повѣствуетъ добродушнымъ своимъ родителямъ о тѣхъ искушеніяхъ, коимъ честность ея подверглась со стороны такого господина, отъ коего долгъ требовалъ быть ея покровителемъ. Сія картина изображаетъ свойство распутнаго, въ коемъ заключается все то, что ни есть презрѣнія достойнѣйшаго. Однако хорошее воспитаніе, полученное имъ отъ изящной своей матери, его сильная страсть къ добродѣтельной дѣвицѣ и тотъ, любви достойной, примѣръ, которой она ему подавала съ непреодолимымъ терпѣніемъ, когда учинилась его супругою, понуждаютъ его, наконецъ, приступить къ той добродѣтели, къ коей онъ до того времени ощущалъ единую токмо склонность".

„Въ другомъ собраніи писемъ, которое издатель выдалъ въ свѣтъ, подъ названіемъ „Клариссы",—явленіе почти съ первымъ разнообразное. Хотя оно представляетъ особу одного полу съ Памелою, но весьма знатной породы и съ другими надеждами, которая видитъ себя повергнутою въ толь разныя злосчастія и скорьби, что лишается жизни преждевременной смертью,—ужасное наставленіе для такихъ родителей, кои предпринимаютъ принуждать склонности молодой дочери въ самомъ важнѣйшемъ пунктѣ ея жизни, равно какъ и всѣмъ молодымъ дѣвицамъ, которыя безразсудно полагаются даже на самыя величайшія обѣщанія распутнаго человѣка. Не взирая на то героини, подкрѣпляемая силою закона, торжествуетъ надъ всѣми искушеніями; и ея сердце, бывшее всегда изящно, непорочно, возвышаемое каждымъ нещастіемъ, восхищается, приближаясь къ вѣчной жизни".

„Злость жестокаго ея развратника толико же кажется ужасна и несильна, даже и въ тѣхъ омерзительныхъ успѣхахъ, коими онъ тщеславился; но чрезвычайно высокое и тщетное о себѣ мечтаніе искоренили въ немъ нѣкія грызенія совѣсти, коими, однако, всегда онъ былъ устрашаемъ. Онъ отвращаетъ свои взоры отъ свѣта; онъ ожесточается противъ убѣжденій; и, отвергая съ упорностію всякіе совѣты и усильныя просьбы, погибаетъ презрительнымъ образомъ въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ своей жизни, будучи обремененъ сожалѣніемъ, стыдомъ и ужасомъ, которой безполезно беретъ съ собою во гробъ. Должно ласкаться, что сіи письма могутъ принести нѣкую пользу молодымъ людямъ, дабы удержать ихъ отъ злоупотребленія разума, молодости, достоинства, богатства и всякихъ наружныхъ преимуществъ, кои часто обращаются во зло для обладающихъ оными, и коихъ слѣдствія не менѣе бываютъ обществу пагубны".

„Въ Кавалерѣ Грандиссонѣ усмотритъ примѣръ изящной души, коей поступки въ различныхъ затруднительныхъ положеніяхъ были единообразны; поелику всѣ его дѣянія постоянно проистекаютъ отъ единаго правила. Въ немъ усмотритъ человѣка, приверженнаго къ закону и добродѣтели, человѣка твердаго, чувствительнаго, просвѣщеннаго, любезнаго и драгоцѣннаго всѣмъ, по благороднымъ своимъ по-

ступкамъ и по правотѣ своего сердца, самимъ собою щастливаго и составляющаго другимъ благополучіе".

„..Какъ въ семъ сочиненіи, такъ и въ двухъ предшествующихъ, единое и главное намѣреніе издателя, не состоитъ въ томъ, чтобъ представить публикѣ забавное чтеніе... Но онъ надѣется, что разныя происшествія и особы, по необходимости введенныя въ толь великое множество писемъ, равномѣрно могутъ нравиться и научать, тѣмъ еще болѣе, что главныя переписывающіяся особы суть люди молодые, весьма пылкаго свойства, присоединяющіе къ пріятствамъ разума, всю учтивость, полученную отъ хорошаго воспитанія" [20].

Кромѣ приведенныхъ примѣровъ, о назидательности романовъ говорится въ предисловіяхъ ко многимъ другимъ произведеніямъ этого типа [21]. Опредѣленно-выраженный „дидактизмъ" этой романической литературы привелъ къ тому, что главное желаніе многихъ авторовъ и переводчиковъ было—своей работой дать назидательное чтеніе и этимъ принести *пользу* читателямъ [22].

Вотъ почему нѣкоторые переводчики смотрятъ на свой трудъ, не болѣе не менѣе, какъ на *услугу* отечеству [23].

Съ точки зрѣнія педагоговъ XVIII-го вѣка, чтеніе такихъ романовъ должно было благотворно подѣйствовать на читателей,—отсюда восхваленіе „хорошихъ" романовъ и порицаніе „дурныхъ", тѣхъ, которые отличались фривольностью [24]. Сочиненій второго рода было много на иностранныхъ языкахъ, но, что очень характерно, изъ нихъ очень немногіе переводились на русскій языкъ... Они разсчитаны были на низменные вкусы толпы; не они вели исторію романа, тѣмъ не менѣе, страхъ передъ ихъ тлетворнымъ вліяніемъ былъ въ русской критикѣ очень силенъ,—оттого было столько враговъ чтенія романовъ вообще [25].

Нравоучительный романъ развился изъ увлеченія европейскаго общества вопросами морали: духовенство упустило изъ рукъ управленіе сердцами человѣческими,—взялась за это изящная литература. Въ тотъ моментъ, когда русскій романъ органически примкнулъ къ роману европейскому, тамъ увлеченіе моралью уже ослабѣвало,—вотъ почему, рядомъ съ опредѣленными моральными тенденціями, мы встрѣчаемъ требованія, неразъ повторенныя, чтобы мораль эта, подносимая въ романахъ, не была слишкомъ „строга", слишкомъ суха и сурова [26]; даже еженедѣльныя моральныя изданія, одно время наводнившія всю Европу, встрѣчаютъ теперь осужденіе [27]; чтеніе должно было быть не только „полезно", но и „пріятно" [28]; мораль должна была преподноситься „замаскированной" [29], въ живыхъ, конкретныхъ „примѣрахъ" [30].

Факты не подгонялись подъ нравоученіе, какъ прежде,—теперь оно должно было само, свободно, не насилуя читателя, вытекать изъ фактовъ [31]. Мораль должна была быть, съ точки зрѣнія этихъ романистовъ, проста и жизненна [32]. Въ этотъ вѣкъ преклоненія передъ „естественнымъ разумомъ", „естественной религіею", [33] когда чувство завоевывало свои права [34] иначе дѣло обстоять и не могло.

Изображеніе торжества добродѣтели и наказаніе порока, вотъ, то осторожное нравоученіе, которое вытекало изъ этихъ романовъ [35].

Возбужденіе чувствительности читателя сценами трогательными и подымающими душу — считалось главнымъ средствомъ воздѣйствовать на читателя [36].

Иногда, впрочемъ, нравоученіе преподносилось и при помощи сатиры,—при помощи обличенія отвратительныхъ сторонъ жизни человѣческой [37], или чрезъ сгущеніе красокъ при изображеніи отрицательныхъ явленій жизни [38].

Естественно при этомъ было стремленіе обставить нравоученіе такъ, чтобы оно доказывалось фактами болѣе вѣроятными,—понятна была тенденція придать содержанію романа болѣе достовѣрности, правдоподобія [39],—отсюда, болѣе или менѣе, сознательное, но, замѣтно, все усиливающееся тяготѣніе къ реализму [40] а, вмѣстѣ съ этимъ, и яркой демократизаціи содержанія [41]. „Примѣръ", игравшій еще недавно только служебную роль по отношенію къ нравоученію, начиналъ теперь понемногу занимать первое мѣсто; въ нѣкоторыхъ предисловіяхъ это нравоученіе, уже словно насильно, притягивается къ роману: онъ уже отказался отъ служенія ей,—но авторъ, или переводчикъ, по старой памяти, еще пытаются доказать, что цѣли романа, по прежнему, остаются „учительными" [42]; поэтому, нетолько Лесажъ, и Филдингъ, представители „правоописательныхъ" романовъ, попали въ число „нравоучительныхъ" романистовъ,—но въ рядахъ моралистовъ оказался даже и Луветъ-де-Кувре, съ его фривольнымъ романомъ: „Приключенія Фобласа!.." [43].

Стремленіе къ реализму содержанія приводило къ реализму формы,—явилась потребность отказаться отъ вычурнаго, холоднаго и однообразнаго стиля, отъ искусственныхъ построеній псевдоклассическаго романа—отсюда простота языка (даже простонародный стиль), живость и разнообразіе содержанія выставлены, какъ непремѣнныя требованія [44].

Въ нѣкоторыхъ романахъ этотъ художественный реализмъ вступаетъ въ полныя права: въ предисловіяхъ мы встрѣтимъ ясныя требованія рисовать жизнь, какъ она есть [45].

Реалистическое міровоззрѣніе приводитъ нѣкоторыхъ романистовъ къ убѣжденію, что добро и зло равносильны въ природѣ [46]; герой новаго романа — уже не совершенство: въ его сердцѣ живетъ рядомъ и добро, и зло [47]; его душу мучатъ „противорѣчія", незнакомыя его предкамъ [48].

Подъ вліяніемъ реализма на романъ нѣкоторые авторы и переводчики смотрятъ, какъ на изображеніе жизни, и пользу, отъ нихъ происходящую, видятъ уже не въ назидательности, а въ томъ, что онъ знакомитъ насъ съ важнѣйшими явленіями дѣйствительности,—этимъ романъ сокращаетъ опыты жизни [49].

Въ этомъ отношеніи, романы Фильдинга были поставлены особенно очень высоко [50]: они были признаны образцовыми среди тѣхъ „англійскихъ" романовъ, которымъ вообще суждено было въ концѣ XVII в. стать во главѣ этого жанра въ Европѣ.

Вотъ почему, въ „предисловіяхъ" ясно сказалось это увлеченіе „новымъ" англійскимъ романомъ: Ричардсона, съ его настойчивою моралью, охотно восхваляютъ [51]. Впрочемъ, нѣкоторые критики ставятъ его ниже Фильдинга и Гольсмитта, которые умѣли, не навязывая морали, освѣщать дѣйствительную жизнь мягкимъ свѣтомъ гуманности: [52] *). Въ этихъ „новыхъ" романахъ, „англійскаго типа", герои—уже не отвлеченныя понятія, не манекены съ этикетками на лбу—это сильныя личности, которыя побѣждаютъ „рокъ" мощью своей души [55].

Немудрено, что, уводя читателя изъ пестраго міра авантюръ, сосредоточивая его вниманіе на той борьбѣ, которая начиналась и кончалась въ душѣ героя, новый романъ ставилъ передъ собою, прежде всего, психологическія проблеммы; въ ложно-классическомъ романѣ психологія имѣла внѣшній, описательный характеръ,—въ новомъ романѣ вскрывалась вся тайная жизнь души [56].

Авторъ задавался цѣлью всесторонне „узнавать" людей, ихъ сердца [57]; онъ старался детально объяснять всѣ мельчайшіе оттѣнки души [58]... Въ этомъ отношеніи, „англійскій" романъ создалъ цѣлую школу, которая и заключаетъ собою исторію интересующаго насъ жанра въ XVIII в. Въ „предисловіяхъ" къ переводнымъ романамъ ярко обрисовывается герой этого „англійскаго" типа. [59].

Предисловія даютъ намъ, кромѣ того, довольно краснорѣчивую характеристику нѣсколькихъ моментовъ въ исторіи того европей-

---

*) Встрѣчаемъ мы также восхваленія Лесажа [53] и Сервантеса [54].

скаго романа, который появился у насъ въ XVIII в. [60]. Любопытно отношеніе къ различнымъ „типамъ“ этого романа. Оказывается, „рыцарскій“ романъ въ предисловіяхъ не встрѣтилъ къ себѣ сочувствія,—онъ, равно какъ и „волшебныя сказки, вызвалъ по отношенію къ себѣ лишь нападки. [61]. И немудрено,—въ эпоху увлеченія психологическимъ англійскимъ романомъ, герой стараго волшебнаго романа, эта безпомощная игрушка въ рукахъ волшебниковъ и фей, долженъ былъ показаться жалкимъ и неинтереснымъ [62].

Старый „псевдоклассическій“ романъ, судя по предисловіямъ, интереса къ себѣ тоже вызывалъ мало, — онъ окаменѣлъ и пересталъ развиваться: по крайней мѣрѣ, до насъ дошли лишь попытки дать теорію этого романа [63]. Кромѣ того, въ предисловіяхъ сохранились характеристики героевъ этого романа, его типичныхъ чертъ, напр., аристократизма [64]...

Какъ наслѣдіе XVII-го вѣка, вѣка литературныхъ „правилъ“ и „теорій“, въ предисловіяхъ къ переводнымъ романамъ встрѣчаемъ мы неразъ попытки создать теорію романа „нравоучительнаго“ и „англійскаго“, въ частности,—опредѣлить основательно его технику, и уяснить „правила“, новаго жанра [65].

Почти всѣ приведенныя цитаты и ссылки указываютъ ясно на то, что особое вниманіе въ предисловіяхъ къ переводнымъ романамъ было направлено на романъ „англійскій“, или приближающійся къ этому виду: романы стараго типа—псевдоклассическіе, волшебно-рыцарскіе предисловіями не снабжены. Произошло это потому, что предисловія, обыкновенно, писались людьми, не только живо интересовавшимися исторіей и теоріей романа, но особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда автору, или переводчику, хотѣлось выдѣлить данное произведеніе изъ ряда другихъ, подчеркнуть въ немъ наличность того „новаго слова“, которое нужно было объяснить читателю,—шаблонные романы въ предисловіяхъ не нуждались. Слѣдовательно, и предисловія, и критическія статьи, выдѣляя существенное и „новое“ въ многообразной и многовѣковой жизни романа, должны служить изслѣдователю вѣрнымъ руководствомъ для установленія главнѣйшихъ отправныхъ пунктовъ для его будущихъ изысканій,—для опредѣленія тѣхъ коренныхъ направленій, которыя вели исторію романа и которыя совершенно теряются въ хаосѣ разнообразныхъ и безчисленныхъ произведеній, не знающихъ органической послѣдовательности, представляющихъ собою случайный конгломератъ безсвязныхъ фактовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ ненадолго обратиться къ списку романовъ XVIII-го вѣка, чтобы сразу увидѣть множество фактовъ, могущихъ поставить всякаго втупикъ: самой популярной книгою у насъ окажется жизнеописаніе Ваньки Каина (болѣе 10 изд.),— тогда, какъ одинъ изъ „царей“ новаго романа—Ричардсонъ не удостоился ни одного повторнаго изданія: насъ поразитъ обиліе „испанскихъ“ и „французскихъ“ героическихъ *повѣстей*,—мелкихъ, безымянныхъ, въ массѣ которыхъ теряются великія произведенія Руссо, Гете и др. Кромѣ того, мы поражены будемъ той хронологической непослѣдовательностью, съ которою переводились у насъ романы разныхъ школъ и направленій; на первый взглядъ, эта непослѣдовательность свидѣтельствуетъ о полной спутанности литературныхъ вкусовъ: „псевдоклассическій“, даже „классическій“, романъ доживаетъ у насъ до конца вѣка, переводится по нѣскольку разъ,— и, въ то же время, первый „англійскій“ появляется очень рано— въ 1760 г. (№ 65); онъ мирно уживается рядомъ съ тѣми видами, смѣнить которые онъ долженъ былъ, по существу своему...

Но всѣ эти факты не могутъ опровергнуть намѣченнаго направленія въ развитіи романа: я взялъ *весь* печатный русскій романъ—отъ лубочныхъ изданій до произведеній высшаго качества,— взялъ, не справляясь съ литературными вкусами и развитіемъ переводчиковъ. Конечно, между Херасковымъ и какимъ-нибудь недоучившимся самоучкой-однодворцемъ—громадное разстояніе: у нихъ не могли быть одинаковые вкусы и требованья,—отсюда пестрота и разнообразіе въ составѣ нашего списка. „Предисловія“ помогаютъ намъ разобраться въ этой пестрой, разнохарактерной литературѣ,—помогаютъ выдѣлить въ ней то существенное, „новое“, что своимъ появленіемъ ставитъ „вѣху“ въ исторіи жанра...

„Предисловія“ доказываютъ, что такимъ романическимъ типомъ, рѣшающимъ новое направленіе въ русскомъ романѣ XVIII-го вѣка, и былъ романъ „*англійскій*“.

Во всякомъ случаѣ, даже изъ одного „списка романовъ“, мы безъ труда увидимъ, что „англійскій“ романъ все растетъ въ числѣ къ концу вѣка: самая популярность романистовъ, въ родѣ Арно, Мейснера, въ сущности, доказываетъ, что русскимъ людямъ XVIII-го вѣка англійскій романъ особенно пришелся по духу послѣ того, какъ прошелъ сквозь французскія и нѣмецкія горнила. Популярность Мармонтеля говоритъ намъ, что его повѣсти, выхваченныя изъ жизни, отвѣчали проснувшимся потребностямъ въ реальной повѣсти. Увлеченіе Фенелономъ и его многочисленными учениками—этими „послѣдними псевдоклассиками“, сумѣвшими въ сво-

ихъ произведеніяхъ отозваться на политическіе и моральные запросы „просвѣщеннаго“ вѣка,—не противорѣчитъ этому заключенію, такъ какъ относится, главнымъ образомъ, къ первой половинѣ столѣтія.

„Предисловія“ къ русскимъ *оригинальнымъ* романамъ даютъ намъ не менѣе цѣнные факты: прежде всего, бросается въ глаза почти полное отсутствіе нравоучительныхъ тенденцій у русскихъ романистовъ. Правда, нѣсколько разъ говорятъ они о томъ, что книга должна быть *полезна* и пріятна [66]—что добродѣтель всегда торжествуетъ; ее наши писатели не прочь иногда и восхвалить [67]. Но за то много разъ мы встрѣчаемъ прямое указаніе, что нравоучительныхъ цѣлей авторы не преслѣдовали [68], хотя романы ихъ и вполнѣ нравственны. Встрѣчаемъ мы указаніе, что нравоученіе въ романѣ надо маскировать [69].

Все это свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ тяготѣніи русскихъ романистовъ къ *реализму*; во многихъ „предисловіяхъ“ оно выразилось вполнѣ опредѣленно [70]. Отсюда и обличеніе пафоса и лжи псевдоклассицизма [71]; отсюда критическое отношеніе къ „баснословію прошлыхъ временъ“ [72].

Изъ „предисловій“ къ оригинальнымъ русскимъ романамъ мы узнаемъ также и о тѣхъ побужденіяхъ, которыя заставили нашихъ авторовъ издавать свои труды: одни романисты желали оказать „услугу“ обществу [73]; другіе работали, по ихъ признанію, даже подъ вліяніемъ „патріотическихъ чувствъ“ [74], желая доказать, что и въ русской жизни много есть интереснаго для изученія и изображенія.

Любопытны въ этихъ предисловіяхъ свѣдѣнія о чтеніи книгъ въ русскомъ обществѣ XVIII в. Оказывается, напримѣръ, что любителями романической литературы у насъ были „не только благородные, но средняго и низкаго степени люди, а особливо купечество, весьма охотно во всякаго рода книгъ упражняются“ [75]. То же подтверждаетъ и другой авторъ: „чтеніе книгъ вошло у насъ въ великое употребленіе: ибо нынѣ не только просвѣщенное науками благородное общество, но и всякаго знанія люди съ великою охотою въ томъ упражняются“ [76]. Изъ предисловій узнаемъ мы о быстромъ развитіи у насъ книжнаго рынка [77], о большомъ числѣ у насъ охотниковъ сочинять романы [78]...

2.

Обращаясь теперь къ анализу *идейнаго* содержанія „оригинальныхъ“ русскихъ романовъ, я постараюсь опредѣлить *фило-*

софскія и *политическія* [79]) теченія въ русскомъ романѣ XVIII-го вѣка. Сравненіе произведеній этого жанра съ самыми популярными у насъ въ этомъ-же столѣтіи западно-европейскими беллетристическими сочиненіями,—философскими и политическими,—позволитъ мнѣ утверждать, что основныя истины XVIII-го вѣка довольно глубоко вошли въ плоть и кровь русскаго общественнаго самосознанія.

Когда приходится говорить о французской философіи XVIII вѣка, невольно первымъ попадается на языкъ имя Вольтера. Съ этимъ именемъ у всякаго связывается представленіе о чемъ-то громадномъ,—представленіе о цѣломъ XVIII вѣкѣ, — этой своеобразной, весьма поучительной страницѣ въ исторіи человѣческой цивилизаціи. Есть имена и болѣе великія, чѣмъ имя Вольтера, не едва ли найдется имя болѣе громкое. Локкъ, Ньютонъ, Руссо, Кантъ—все звучитъ какъ-то тусклѣе, всѣ эти имена расплываются по всѣмъ страницамъ исторіи человѣчества,—Вольтеръ-же нераздѣлимо связанъ съ однимъ XVIII вѣкомъ; онъ—яркій выразитель этой эпохи, онъ въ себѣ, словно въ фокусѣ, собралъ все характерное, все цѣнное изъ жизни вѣка, и сумѣлъ въ своихъ разнообразныхъ произведеніяхъ выразить этотъ вѣкъ, его вѣрованія и сомнѣнія, его мечты и разочарованія...

Какъ во всей Европѣ, такъ и у насъ въ XVIII вѣкѣ, онъ былъ оракуломъ для многихъ,—само собой разумѣется, что его произведеніями, особенно беллетристическими, всѣ интересовались, ими зачитывались, ихъ переводили, имъ подражали... Идеи его,—философскія, политическія, моральныя—пришлись многимъ по вкусу,—онѣ создали „настроенія“,—то „вольтерьянство“, которое имѣло у русскихъ послѣдователей Вольтера разныя степени серьезности.

Говоря о *русскомъ* философскомъ романѣ, я попытаюсь—1) указать нѣкоторыя произведенія, которыя, по манерѣ письма, по настроенію, могутъ быть названы „подраженіями“ Вольтеру, и — 2) привести длинный рядъ произведеній, которыя хотя и далеки отъ вольтеровскихъ повѣстей, въ литературномъ отношеніи, но которыя освѣщены искрящимися идеями освободительной французской философіи XVIII вѣка. Въ созданіи этихъ идей Вольтеръ повиненъ столько же, сколько и его друзья-энциклопедисты, но для популярности этихъ идей онъ сдѣлалъ гораздо больше, такъ какъ онъ проводилъ успѣшнѣе ихъ эти идеи въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ, — живыхъ, всегда интересныхъ, всегда завлекательныхъ...

По количеству переведенныхъ сочиненій въ нашей литературѣ XVIII вѣка Вольтеръ занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. По подсчету (очень неполному) г. Д. Языкова *) въ XVIII вѣкѣ до 50 сочиненій его было переведено, при чемъ нѣкоторыя выдержали по нѣскольку изданій **). Особенно любимы были его повѣсти. Изъ нихъ „Микромегасъ" появился еще въ *1756 г.* въ журналѣ: „Ежемѣсячныя сочиненія къ пользѣ и увеселенію служащія" (№ 1); тамъ же въ *1759 г.* появилась повѣсть „Задигъ" (№ 1—6). Вторично напечатанъ былъ „Микромегасъ" въ *1759 г.* („Путешествіе на нашу землю и пребываніе на ней Микромегаса") въ „Трудолюбивой пчелѣ" (№ 8); въ *1763 г.* въ „Свободныхъ часахъ" напечатана была повѣсть: „Обращеніе свѣта, или видѣніе Бабука" (№ 8, № 9); въ *1763 г.* напечатана „Индѣйская повѣсть" („Полезное съ пріятнымъ", № 12), въ томъ же году та же повѣсть напечатана въ „Смѣси" (№ 3); въ томъ же году въ журналѣ „Ни то ни сіе" напечатана повѣсть: „Разговоръ дикаго съ баккалавромъ" (л. 6—7); въ *1777*—„Жанотъ и Колинъ" („Труд. Муравей" № 9—11); въ *1772*—„Преданіе объ Индѣйскомъ Брамминѣ" („Старина и Новизна", I, № 10); въ томъ же году—„Сказка, Колинъ и Лиза" (въ „Вечерахъ", I, № 25), въ *1773 г.* „Исторія путешествій Скарментадовыхъ" („Старина и Новизна", II; въ *1780 г.* „Добрый Браминъ" („С.-Петерб. Вѣстникъ", V, № 4); въ *1786 г.*—„Жанотъ и Колинъ" (в Дѣтское Чтеніе", VIII), въ томъ же году—„Эпин, или мудрець и Атеистъ" („Городская и дер. библіотека", XII).

Отдѣльными изданіями появились повѣсти: „Задигъ", 1-е изд. 1765—6; 2-е изд.—1788; 3-е изд.—1795. „Кандидъ"—1-е изд. 1769; 2-е изд.—1779; 3-е изд.—1789; 4-е—1798. „Принцесса Вавилонская", 1-е изд.—1770; 2-е изд.—1781; 3-е изд.—1788; 4-е изд.—1789. „Вадины сказки"—въ 1771 г., „Скарментадово путешествіе"—въ 1778 г., „Оптимизмъ" ч. 2-я—1779 г., „Мемнонъ"—1782 г., „Торжество немилосердія, или повѣсть о жизни Амвросія Борели"—1782 г., „Человѣкъ съ латинью"—1782 г., „Мелкія повѣсти"—1783 г., „Повѣсти: 1) о незаконнорожденномъ и воспитанномъ сынѣ и 2) о оберъ-сталмейстерѣ Задигѣ"—1784 г., „Собраніе сочиненій г. Вольтера", 1-е изд.—1785-89 г.; 2-е изд. — 1791 г., „Микромегасъ"—1788 г., „Смѣсь"—1788 г., „Всячина"—1789 г.

Этотъ перечень ясно указываетъ, къ какимъ годамъ относится особый интересъ въ русской литературѣ къ Вольтеру,—большее число переводовъ падаетъ на 60—70 годы; 80—90 годы даютъ лишь незначительное число повторныхъ изданій.

Если сравнить число переведенныхъ „повѣстей" съ числомъ другихъ вольтеровскихъ произведеній, мы безъ труда убѣдимся, насколько преобладающимъ былъ у насъ интересъ именно къ *повѣстямъ* его,—т. е. сочиненіямъ беллетристическаго характера, а не теоретическаго.

Повѣсти Вольтера всѣ относятся къ „философскимъ"; каждая изъ нихъ является воплощеніемъ какой-нибудь отвлеченной идеи. Но всѣ онѣ, вмѣстѣ взятыя, не дадутъ намъ представленія объ еди-

номъ, стройномъ міросозерцаніи ихъ творца. Живой, воспріимчивый умъ Вольтера не въ силахъ былъ прикрѣпиться къ одной какой-нибудь системѣ,—узкій педантизмъ Панглоса всегда ему претилъ. Вотъ почему его повѣсти, нерѣдко кореннымъ образомъ, противорѣчатъ одна другой,—очевидно, онѣ создавались подъ вліяніемъ минутнаго настроенія, были художественнымъ отвѣтомъ на тѣ рѣзко-поставленные вопросы, которые предлагались ему безпощадною дѣйствительностью.

Единственно, въ чемъ Вольтеръ послѣдователенъ отъ начала до конца—это въ безграничной вѣрѣ въ непогрѣшимость „здраваго смысла"; это—его вождь по жизни; это—свѣточъ, который освѣщалъ ему лабиринтъ жизни, возбуждая его гнѣвъ въ тяжелую минуту, веселый смѣхъ—въ минуту радостнаго настроенія.

Но если этотъ здравый смыслъ вполнѣ могъ разобраться въ земныхъ отношеніяхъ, то онъ совершенно пасовалъ предъ великой загадкой цѣлей мірозданія, отношеній Творца къ своему творенію... Здѣсь, въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ,—вопросовъ, которые его мучили, философъ чувствовалъ свою немощь и отдавался на волю тѣхъ безсильныхъ противорѣчій, которыя подсказывались ему минутнымъ настроеніемъ.

Для Вольтера, человѣка „земли" по преимуществу,—человѣка, вооруженнаго безпощаднымъ критицизмомъ, участіе Творца въ земной жизни совершенно было неуловимо. Для него, Творецъ—это—что-то далекое, „непостижимое", какой-то безучастный зритель того perpetuum mobile, которое представляетъ собою вѣчно-движущаяся машина мірозданія. Вотъ почему Вольтеръ такъ энергично возстаетъ противъ всѣхъ безсильныхъ попытокъ слабаго человѣка постигнуть образъ и духъ, даже мысли и чувства Великаго Созерцателя вселенной *).

„Какое можете вы имѣть участіе, нещастные земные червячки, называющіеся *человѣками*, во славѣ Существа безконечнаго? Можетъ ли Оно любить славу, и пожелаетъ ли ее отъ васъ получать? Доколѣ двуножныя и непернатыя твари, будете вы дѣлать Бога по вашему подобію?" [81].

---

*) Я привожу необходимыя для меня выдержки изъ романовъ Вольтера и другихъ романистовъ въ старыхъ русскихъ переводахъ, чтобы лучше уяснить ту словесную форму, въ которую перевоплощались чужія идеи на русской почвѣ. Тожество, или сходство стиля въ этихъ *переводныхъ* и въ русскихъ *оригинальныхъ* романахъ поможетъ опредѣлить самые источники заимствованія.

Въ другомъ мѣстѣ Вольтеръ зло издѣвается надъ усиліями людей создать образъ Бога „по своему подобію“.

„Нѣкто пустилъ слухъ, что есть на свѣтѣ Исполинъ, семидесяти футовъ высотой; вскорѣ послѣ того всѣ ученые люди начали изслѣдовать, какого цвѣта должны быть его волосы, каковой величины большой его палецъ и какою мѣрою его ногти. Они входятъ о семъ въ большіе споры, раздѣляются на разныя партіи, ссорятся и дерутся; тѣ, которыя увѣряютъ, что мизинецъ того Исполина не болѣе, какъ въ пятнадцать линей Геометрическихъ, сожигаютъ тѣхъ, кои утверждаютъ, что сей мизинецъ въ цѣлой футъ толщиною... „Но, государи мои, вашъ Исполинъ точно ли существуетъ?“ спросилъ у нихъ съ кротостію одинъ прохожій. „Какое гнусное сомнѣніе!“ возопили вдругъ всѣ спорщики— „какое богохуліе! какая глупость и безуміе!“... Тогда на малое время прекратили они свои споры для того только, чтобъ погубить сего прохожаго, и, наконецъ, умертвивши его торжественно, въ примѣръ другимъ, по прежнему начали ссориться и драться за мнѣніе о ногтяхъ и о пальцахъ“ [52].

Въ одномъ изъ самыхъ злыхъ своихъ разсказовъ, безотрадныхъ по пессимизму: „Уши графа Честерфильда и деревенскій попъ Гудманъ“, Вольтеръ безпощадно высмѣиваетъ „опредѣленіе судьбы“, низводя перипетіи жизни къ самымъ незначительнымъ причинамъ [53].

Вспоминая жизнь Магомета, Вольтеръ восклицаетъ:

„Одинъ ударъ камнемъ нѣсколько сильнѣе того, который получилъ онъ въ первомъ своемъ сраженіи, превратилъ бы въ другой видъ всю землю!“ [54].

Вотъ почему всякій самоувѣренный педантъ-философъ, или богословъ, для котораго все легко разрѣшалось, вызываетъ на свою голову со стороны Вольтера цѣлый градъ насмѣшекъ.

Онъ вывелъ этотъ типъ самоувѣреннаго, ничтожнаго педанта въ лицѣ учителя Кандида—Панглосса.

Это—неисправимый оптимистъ, послѣ цѣлаго ряда несчастій все еще невозмутимо-философствующій на излюбленныя имъ темы о мудрости мірозданія. Мы застаемъ его послѣ ряда мытарствъ, послѣ венерической болѣзни,—кривымъ и безъ кончика носа. Но онъ утѣшаетъ себя такими соображеніями:

„...естьли бы Колумбъ не заразился на одномъ изъ Американскихъ острововъ сею болѣзнью...,—то не было бы у насъ ни шоколаду, ни кошенили“ [55].

„... Всему сему надобно было необходимо такъ быть, отвѣчалъ кривой докторъ: нещастія частныхъ людей составляютъ общее благо,— такъ что, чѣмъ больше бываетъ частныхъ нещастій, тѣмъ больше отъ того всеобщаго добра происходитъ“ [56].

Для Вольтера эта философія была неутѣшительна, — вотъ почему, чѣмъ больше разсматривалъ Вольтеръ и его герои этотъ міръ, тѣмъ больше находили они въ немъ „несогласія и противныхъ между собой дѣйствій“ [87].

Эти мысли въ моменты, болѣе спокойные, приводили его къ вѣрѣ, что есть какіе-то законы, управляющіе міромъ—

„...въ самомъ дѣлѣ, было бы весьма странно, есть ли бы тогда, когда вся природа и всѣ звѣзды повинуются вѣчнымъ законамъ, маленькое животное, величиною въ пять футовъ, презрѣвъ оные законы, дѣйствовало бы всегда по своей волѣ и прихотямъ. Тогда дѣйствовало-бы оно внезапнымъ случаемъ: а извѣстно, что внезапный случай (hazard) ничего не значитъ, и сіе слово вымышлено только для изъясненія извѣстнаго нѣкоего дѣйствія всякой неизвѣстной причины“ [88].

Но, повторяю, если нерѣшеннымъ остался для Вольтера вопросъ о цѣляхъ мірозданія, то критика порядковъ, существующихъ на землѣ, нашла въ немъ стойкаго и неумолимо-послѣдовательнаго судью. Страшно-безотрадный критицизмъ, раздѣвающій все до-нага, ясный, пронизывающій разумъ, раскрывающій тѣ наросты, что искажаютъ истину,—вотъ, силы, которыми былъ вооруженъ Вольтеръ.

Въ сущности, всѣ его повѣсти это—панорама тѣхъ несообразностей и нелѣпостей, которыя представлялись его разуму. Простодушный Гуронъ, наивный индѣецъ Амабедъ съ супругой, попадающіе въ Европу, съ недоумѣніемъ смотрятъ на „культуру“ ея, которая ихъ „естественному разуму“ представляется рядомъ условностей, неправдъ, предразсудковъ, закрывающихъ истину. Эти нелѣпости „культуры“ не только европейской, но и вообще „жизни“ человѣческой—иногда смѣшны, иногда только глупы, а часто и ужасны. Между тѣмъ, ими живетъ весь міръ, ими живетъ толпа—сила стихійная, съ которой надо считаться.

Особенно возмущало Вольтера то самомнѣніе, которое, будучи приложено къ вопросамъ религіи, вело къ фанатизму,—слѣпому и жестокому... Проявленіе этого фанатизма удивительно изображено въ длинномъ рядѣ сценъ, напримѣръ:

(Сжигаютъ двухъ индѣйцевъ) „одного за то, что почиталъ *Ксаку* неравнымъ съ *Брамою*, а другаго за то, что увѣрялъ, что, будто бы, можно угоднымъ быть вышнему Существу и безъ того, чтобъ держаться за хвостъ коровей, а одними добрыми дѣлами; „для того, какъ говорилъ онъ, что не всегда и не вездѣ можно найти корову“. Наши набожныя городскія женщины въ толикой приведены были ужасъ отъ сихъ двухъ соблазнительныхъ предложеній, что неотступно просили судей, чтобъ осудили они на сію казнь оныхъ двухъ нещастныхъ“ [89].

Еще яркій примѣръ фанатизма встрѣчаемъ мы въ „Путешествіяхъ Скарментадовыхъ“: путешественнику—

„показывали ... мѣсто, гдѣ блаженныя памяти Королева Марія, дщерь Генриха осмого, приказала сжечь болѣе пяти сотъ своихъ подданныхъ. Благочинной Ирландской Священникъ увѣрялъ меня, что сіи дѣла достойны похвалы, во-первыхъ, для того, что пожертые огнемъ были Англичане, а, во-вторыхъ, что никогда они не кропилися святою водою и въ святаго Патрика не вѣрили; наипаче дивился онъ, что Королева Марія не поставлена еще въ число святыхъ, что́, какъ онъ надѣется, неотмѣнно воспослѣдуетъ, какъ скоро кардиналъ Непотъ удосужится“ [90].

Жестокая церемонія инквизиціонной казни описана была неразъ Вольтеромъ.

Нелѣпость преслѣдованій свободной мысли особенно рѣзала глаза Вольтеру, понявшему относительность всѣхъ міросозерцаній, всѣхъ религіозныхъ убѣжденій...

Вооруженный здравымъ смысломъ, Вольтеръ зло и часто нападалъ на монаховъ [91]: похожденія миссіонеровъ Фатуто и Фамульто въ Индіи и въ Римѣ, несомнѣнно, принадлежатъ къ лучшимъ страницамъ въ его сочиненіяхъ [92]. Римскій Папа—его исконный врагъ [93]; жестокость инквизиціи [94], изувѣрство и фанатизмъ іезуитовъ [95]—постоянная мишень его прямыхъ, или косвенныхъ нападеній. Для него католическіе священнослужители ничѣмъ не отличались отъ шарлатановъ-языческихъ жрецовъ, съ ихъ вѣрой въ оракулы [96], отъ Магомета, на котораго, между прочимъ, Вольтеръ неразъ изливалъ весь ядъ своего остроумія [97].

„Предразсудки“, невѣжествомъ возведенные въ догматы, наблюдались и карались Вольтеромъ во всемъ: въ придворныхъ церемоніяхъ, въ обычаяхъ... Представляясь ко двору, одинъ изъ его героевъ справляется объ этикетѣ, принятомъ здѣсь, — онъ заботливо спрашиваетъ:

„Какимъ образомъ поступаютъ при засвидѣтельствованіи самоличнаго почтенія Его Величеству? На колѣни-ли становятся, или ложатся, на брюхо,—на голову ли руки кладутъ, или на заднюю часть тѣла?“ [98].

Особенно возставалъ Вольтеръ противъ войны: часто онъ обрушивается на это человѣческое злоупотребленіе со всѣмъ жаромъ своего негодованія. Въ своихъ повѣстяхъ онъ неразъ съ злой ироніей рисуетъ нелѣпую картину боя:

„Ничто не было столь прекрасно, столь порядочно и столь блистательно расположено, какъ обѣ арміи. Трубы, флейты, гобои, барабаны, пушки составляли такое согласіе, какого никогда и въ адѣ не бывало. Пушки повалили сначала съ каждой стороны человѣкъ тысячъ

по шести; потомъ ружья очистили найлучшій изъ всѣхъ свѣтовъ отъ девяти, или десяти тысячъ мошенниковъ, которые заражали его поверхность. Штыкъ также былъ достаточнымъ основаніемъ смерти нѣсколька тысячъ человѣкъ. Всего на все легло тутъ, можетъ быть, до 30 тысячъ душъ" [99].

Причины такихъ кровопролитій, часто ничтожныя и пустыя, возмущали Вольтера. Онъ приводитъ нѣсколько такихъ „причинъ":

Въ одномъ случаѣ—

„Полководецъ объяснилъ, что война началась изъ-за ссоры между евнухами жены царя персовъ съ приказными царя Индіи" [100].

Въ другомъ случаѣ идетъ война—

о нѣсколькихъ „кучкахъ грязи"—и, главнымъ образомъ—„дѣло идетъ только о томъ, чтобъ узнать, будутъ ли оныя кучки принадлежать нѣкоторому человѣку, котораго называютъ *Султаномъ*, или другому, котораго, не знаю почему, именуютъ *Цесаремъ*" [101].

Въ той же повѣсти выставлено безуміе царей, которые, сидя въ кабинетѣ, посылаютъ своихъ подданныхъ рѣзаться и „потомъ торжественно благодарятъ Бога" за побѣду [102].

Съ точки зрѣнія Вольтера, единственно, здравый смыслъ могъ спасти человѣчество отъ этого безумія слѣпоты. Въ героѣ одной своей повѣсти „Задигъ" онъ и воспѣлъ это торжество смысла [103].

Вотъ почему для великаго ума Вольтера порой казалось, что онъ—зрячій среди слѣпыхъ; онъ чувствовалъ себя неизмѣримо выше людей, которые, въ его глазахъ, уменьшались до размѣра „насѣкомыхъ", какъ говорилось у насъ въ XVIII вѣкѣ. Земля, съ ея безтолковой, смѣшной и жестокой суетой, казалась ему тогда „грязной кучкой".

Особенно ясно сказалось это презрѣніе къ міру въ его повѣсти: „Микромегасъ",—житель Сиріуса, взявъ къ себѣ въ спутники жителя Сатурна, отправился на землю. Она представилась имъ опять „грязной кучкой". Долго искалъ онъ живыхъ существъ, наконецъ, поймалъ кита, а потомъ корабль съ партіею ученыхъ, плывшихъ въ полярную экспедицію.

При помощи микроскопа великаны усмотрѣли на кораблѣ людей.

„Какое чувствовалъ онъ (Микромегасъ) утѣшеніе, когда увидѣлъ движеніе сихъ малыхъ червячковъ, разсматривая всѣ ихъ обороты и примѣчая всѣ ихъ дѣйствія! съ какимъ восторгомъ онъ кричалъ и съ какою радостію подавалъ свой Микроскопъ въ руки своему товарищу! „Я ихъ вижу, я ихъ вижу!", говорили они оба вмѣстѣ. „Не видишь ли ты, какъ они тащатъ на себѣ тяжелыя ноши, какъ наклоняются и опять приподнимаются?" [104].

Къ удивленію просвѣщенныхъ великановъ, и земные философы оказались мудрыми,—они даже исчислили разстояніе между всѣми звѣздами, взвѣсили воздухъ [105], но о существѣ души всѣ твердили разное [106].

Въ дебаты жителей планеты съ земными философами о душѣ впутался —

„одинъ маленькій червякъ, въ четвероугольной шапкѣ, который, прервавъ рѣчи философовъ, сказалъ, что онъ всю тайну совершенно постигаетъ, и что оная вся означалась въ доказательствахъ *св. Фомы*. Онъ разсматривалъ съ головы до ногъ небесныхъ жителей и утверждалъ, что ихъ тѣла, ихъ міры, ихъ солнцы и ихъ звѣзды, всѣ были созданы единственно для человѣка.

„При сихъ его глупыхъ рѣчахъ оба путешественники упали одинъ на другаго отъ чрезвычайнаго смѣха"..., „отъ чего корабль, который *Сиріусъ* держалъ на ногтю своемъ, упалъ въ штанный карманъ къ *Сатурніанцу*, котораго сіи добрые люди долго искали"... [107].

Послѣ бесѣдъ съ земными философами, жители планетъ „пришли къ выводу: „что сіи безконечно-малыя твари имѣли почти безконечно-великое высокомѣріе" [108].

Такимъ „микромегасомъ" былъ самъ Вольтеръ среди тѣхъ людишекъ, что копошились около него. Но почему же онъ былъ не только *мегасъ*, но еще и *микросъ*? Оказывается, Микромегасъ-Вольтеръ такъ же несчастенъ отъ сознанія своего ничтожества, какъ и крошечныя „песѣкомыя"—люди, жалующіеся на то, что ихъ вся бѣда, все зло „отъ преобладанія въ нихъ *вещества*"—матеріи.

Для Микромегаса и его спутника особенно комична была эта жалоба въ устахъ существъ, которыя видны были только въ микроскопъ. Впрочемъ, оказалось, жители Сатурна, хотя имѣютъ 72 чувства,—тоже несчастны и недовольны; жители Сиріуса имѣютъ около 1.000 чувствъ—и тоже несчастны [109]; они говорятъ, что ихъ безпокоитъ —

„какое-то колеблющееся желаніе и безпокойство, которое непрестанно намъ вѣщаетъ, что мы не что иное, какъ самомалѣйшая вещь и что суть твари гораздо насъ совершеннѣе [110].

Оказывается, и тамъ, на далекихъ планетахъ, жалуются, что жизнь коротка—всего 15.000 лѣтъ! [111].

Итакъ, счастья нѣтъ ни на землѣ, ни на другихъ планетахъ! Но люди не хотятъ успокоиться: они все суетятся, чего-то ищутъ—это смѣшило Вольтера.

Вся повѣсть „Кандидъ" есть, въ сущности, трагикомическая исторія одного искателя „счастья" на землѣ.

Кандидъ старательно допрашивалъ всѣхъ, кто казался ему счастливымъ. Но даже монахъ, отецъ-Жирофле, „цвѣтъ лица“ котораго показывалъ, повидимому, внутреннее спокойствіе, оказался недовольнымъ—онъ желалъ бы, „чтобъ всѣхъ Театинцовъ (монашескій орденъ) чортъ побралъ“. „Я больше ста разъ, говорилъ онъ, былъ въ искушеніи зажечь монастырь и пойти сдѣлаться туркомъ“ [112].

Посѣщаетъ Кандидъ вельможу, окруженнаго роскошью, прекрасными картинами и книгами—и тотъ оказывается несчастнымъ, ругаетъ искусство и поэзію.

Едва ли жалобы „Добраго Брамина“ не должно счесть за жалобы самого Вольтера. Браминъ и уменъ, и богатъ, и честенъ,—однако разочарованъ.

Старушка, сосѣдка Брамина, не умствуетъ,—и счастлива. Но такого счастья Браминъ себѣ не хочетъ [113].

Этотъ безотрадный пессимизмъ вытекалъ изъ сознанія своей безпомощности:—человѣкъ это—микромегасъ: въ немъ соединяются величіе разума и полное безсиліе, ничтожность: „будучи рабомъ всего, что меня окружаетъ, заключенъ въ одну точку и окруженъ неизмѣримостью, начинаю искать самого себя“. „Какимъ образомъ я мыслить могу? Потребно-ли что мнѣ знать? Свободенъ-ли я?“ [114]—вотъ, неразрѣшимые вопросы, мучившіе голову героевъ Вольтера, и его самого—этого великаго скептика. Но не одинъ скептицизмъ онъ зналъ,—ему вѣдомо было и „отчаяніе“! [115].

Какъ художникъ, Вольтеръ, ученикъ Рабле и Свифта, выступилъ съ такими яркими реалистическими тенденціями, которыя часто переходили у него въ натурализмъ. Правда, и этотъ реализмъ, и натурализмъ у него не обусловливались художественными принципами—они у него носили боевой характеръ,—нужно было дать конкретное доказательство истинности какой-нибудь изъ доказываемыхъ идей.

Страшно-сильное впечатлѣніе, по своему ужасающему цинизму, производитъ сцена, въ которой изображено, какъ во время лиссабонскаго землетрясенія, среди ужасовъ смерти и разрушенія, матросъ грабитъ и насилуетъ женщинъ.

Деревня, опустошенная во время войны врагами, описана удивительно ярко; эту деревню—

„Булгары выжгли по законамъ общенароднаго права. Въ одномъ мѣстѣ старики, исколотые повсюду, были свидѣтелями смерти закланныхъ своихъ женъ, державшихъ при окровавленныхъ грудяхъ дѣтей своихъ; въ другой сторонѣ, дѣвушки, коимъ, по удовольствованіи есте-

ственныхъ надобностей нѣкотораго числа героевъ, выпущены были кишки, испускали послѣднія издыханія; другія, сожженные до половины, кричали и просили, чтобъ ихъ предали поскорѣе смерти. Мозги разбросаны были по землѣ подлѣ отрубленныхъ рукъ и ногъ...“ [116].

Повѣсти Вольтера, по типу своему, почти всѣ принадлежатъ къ „пародіямъ“, главнымъ образомъ, на авантюрные романы и волшебныя сказки. Къ „волшебному“ Вольтеръ, конечно, относился съ насмѣшкой. Вотъ, что говоритъ онъ о среднихъ вѣкахъ—этой порѣ „волшебства“ по преимуществу: тогда—

„феи разъѣзжали по замкамъ и устраивали дѣла“ [117].

„въ каждой деревнѣ были тогда свой волшебникъ, или волшебница, и каждый принцъ имѣлъ собственнаго своего астролога“ [118].

Тогда о томъ только и говорили:

„кто видалъ чорта, или кто могъ бы его увидѣть: и таковыми разговорами всѣ разумные люди непрестанно занимались; нынѣ же совсѣмъ потеряли вкусъ въ хорошемъ и забавномъ провожденіи времени, а проводятъ оное только за карточною игрою [119].

Своихъ витязей Вольтеръ вооружаетъ не безъ ироніи въ разные преувеличенно-роскошные и страшные уборы, въ руки даетъ „копье въ 12 футъ“, „острый мечъ“, называемый „огненнымъ“, которымъ витязь „однимъ махомъ разсѣкалъ деревья, каменья и друидовъ пополамъ“ [120].

Зло высмѣялъ онъ и безконечныя странствованія по свѣту за возлюбленной, или возлюбленнымъ. Повѣсть его „Вавилонская принцесса“ построена какъ разъ на этомъ: сперва онъ, Задигъ [121], разыскиваетъ ее, потомъ она гонится за нимъ по пятамъ, но не можетъ изловить,—наконецъ, опять онъ пускается вслѣдъ за нею. Почти каждое отправленіе въ путь героя, или героини, изображается стереотипной фразой: „велѣлъ заложить единороговъ и поѣхалъ...“ „велѣла закладывать единороговъ и уѣхала“...[122]. Это путешествіе на „единорогахъ“—тоже насмѣшка надъ волшебными романами, въ которыхъ, обыкновенно, герои странствуютъ въ колесницахъ, запряженныхъ львами, саламандрами, драконами...

Для Вольтера безсмыслица авантюрныхъ романовъ усугублялась еще тѣмъ, что они построены были на капризахъ „судьбы“, которая представлялась въ нихъ чуть не живымъ существомъ.

Вотъ почему у Вольтера восклицанія его героевъ, обращенныя къ „властной судьбѣ“ [123], или шаблонныя слова: „опредѣлено судьбой“—всегда звучатъ ироніей [124].

Вольтеръ требовалъ, чтобы человѣкъ не успокаивался на квіетизмѣ, на спокойномъ рѣшеніи „жить безъ борьбы“ [125].

Человѣкъ долженъ былъ бороться. „Человѣкъ съ латынью“, испытавъ весь ужасъ своей, испорченной воспитаніемъ, жизни, возопилъ: „свирѣпая судьба!“, но, придя въ себя, сталъ размышлять, „что такое есть судьбина“ [126]. Не найдя отвѣта, онъ, по примѣру безчисленныхъ героевъ авантюрныхъ романовъ, „слагалъ всю винность на злую свою судьбину“ [127], но благоразумные люди ему сказали: „не иначе, какъ противоборствуючи фортунѣ, напослѣдокъ ее утверждаютъ“ [128].

Если многія повѣсти Вольтера—только шутки, болѣе или менѣе, остроумныя и злыя, то въ нѣкоторыхъ онъ затронулъ темы глубокія, родственныя литературѣ XIX столѣтія. Мы видѣли уже, что въ обрисовкѣ характеровъ онъ отошелъ далеко отъ той односторонности, которою отличались его предшественники и современники, всегда въ характерѣ героя выдѣлявшіе одну какую нибудь страсть, одну добродѣтель, или порокъ.

Насколько „сложными“ оказались въ глазахъ Вольтера люди,—настолько сложна была и жизнь: онъ понялъ, какъ съ ней надо обращаться осторожно: въ ней зло и добро были переплетены слишкомъ неразрывно. Съ такой точки зрѣнія, многія явленія этой жизни предстали Вольтеру въ новомъ освѣщеніи. Особенно характерно его сочувствіе къ падшей женщинѣ, подъ румянами и за смѣхомъ которой онъ усмотрѣлъ слезы.

Она повѣствуетъ ему безстрастно свою печальную исторію: ее соблазнилъ францисканскій монахъ; онъ же ее надѣлилъ болѣзнью. Отъ болѣзни ее вылечилъ докторъ, но удержалъ ее за то въ качествѣ любовницы. По подозрѣнію она попала въ тюрьму. Судья ее оправдалъ, но воспользовался за это ея тѣломъ. Голодная и нищая, выгнанная судьей, когда онъ нашелъ себѣ другую жертву, Пакетта принуждена была взяться за—

„сей проклятый промыселъ, который вамъ, господамъ мущинамъ, только пріятнымъ кажется и который для насъ ничто иное, какъ самая пропасть бѣдности. Я пошла промышлять въ Венецію. Ахъ! государь мой! естьлибы вы столько могли себѣ вообразить, сколь несносно быть принужденною ласкать безъ разбору старому купцу, стряпчему, монаху, Гондоліеру, Аббату и пр.; быть подверженной всякимъ ругательствамъ, всякимъ нападкамъ, находиться часто принужденною занять у кого-нибудь юпку на то только, чтобъ послѣ поднялъ ее постылый человѣкъ,—быть лишенной, однимъ словомъ, всего того, что нажито съ другимъ, быть ощипанной полицейскими офицерами и не имѣть предметомъ своего воображенія ничего инаго, кромѣ ужасной старости, убогаго дома и смерти. Вы можете изъ сего заключить, что я самая безчастнѣйшая тварь на свѣтѣ“ [129].

„Да отъ чегожъ, сказалъ Кандидъ Пакеттѣ, была ты такъ весела

такъ довольна, какъ я тебя увидѣлъ; ты пѣла и ласкала Театинца своего съ такою непринужденною благосклонностію, что ты показалась мнѣ столько щастливою?" [170].

„Ахъ! государь мой! отвѣчала Пакетта, и это еще немалое въ промыслѣ нашемъ нещастіе. Вчера я была обобрана кругомъ и прибита отъ одного офицера, а сего дня принуждена принять на себя веселый видъ, чтобъ понравиться монаху [171].

Весь этотъ эпизодъ окрашенъ совершенно не въ тѣ тоны, которыми такія картины отличаются въ романахъ „плутовскихъ",— тамъ—грубое, наивное пользованье жизнью, торжество здоровой плоти,—здѣсь трагизмъ духа, здѣсь сознаніе оскорбленнаго человѣческаго достоинства, подмѣченное въ душѣ малыхъ, „униженныхъ и оскорбленныхъ"...

Другой эпизодъ въ повѣстяхъ Вольтера, останавливающій наше вниманіе,—это мѣсто, когда дѣвушка, принесшая свою невинность въ жертву, ради освобожденія изъ тюрьмы любимаго ею человѣка—Гурона, томится радостью и горемъ въ одно время. Этотъ удивительно-тонкій психологическій моментъ, новый въ европейскомъ романѣ XVIII в., поставленъ смѣло и проведенъ удачно. Радость, повидимому, разростается, покрываетъ горе,— вдругъ отъ насильника, похитившаго ея честь, приносятъ ей подарки и вручаютъ ихъ въ присутствіи любимаго ею человѣка. Ея душа не выдерживаетъ, она заболѣваетъ и умираетъ.

Даже такой бѣглый анализъ повѣстей Вольтера даетъ нѣкоторое представленіе о тѣхъ философскихъ настроеніяхъ, которыя были воплощены въ этихъ произведеніяхъ,—даетъ представленіе объ ихъ содержаніи и литературныхъ особенностяхъ.

Мы видимъ, что отъ этихъ настроеній болѣе вѣетъ тоской, скорбью, чѣмъ смѣхомъ—въ нихъ больше исканій и стремленій, чѣмъ невѣрія и злобы...

Взявъ однѣ повѣсти Вольтера и притомъ только переведенныя на русскій языкъ, я опредѣлилъ „minimum" тѣхъ вліяній, которыя онъ могъ имѣть на русское общество. Конечно, его сочиненія не только въ русскихъ переводахъ ходили по рукамъ русскихъ людей XVIII вѣка—тогдашнее знаніе французскаго языка открывало широкую дорогу къ ознакомленію съ произведеніями философа въ оригиналѣ, но, думаю, и въ переводахъ его твореній сказалась съ достаточной полностью вся совокупность тѣхъ идей и настроеній, что оставили слѣды въ тогдашней русской литературѣ.

Мы видѣли уже, что настроенія эти и идеи глубоки, и пропитаны страданіемъ. Но все это покрывалось блестящимъ остроуміемъ, иногда переходящимъ предѣлы благопристойности...

Изъ русскихъ литераторовъ, писавшихъ подъ вліяніемъ Вольтера, назову, прежде всего, О. Дмитріева-Мамонова.

Произведеніе Дмитріева-Мамонова *„Дворянинъ-Философъ“ аллегорія*, появилось въ печати впервые въ 1769 году, въ приложеніи къ его переводу сочиненія Де-ла-Фонтеня: „Любовь Псиши и Купидона“, М. 8°. Вторымъ отдѣльнымъ изданіемъ книжка вышла въ Смоленскѣ, 1796 года.

Это любопытное произведеніе сплошь полно заимствованіями изъ Вольтера, и проникнуто настроеніемъ еще болѣе безотраднымъ, чѣмъ соотвѣтствующія творенія Вольтера.

Сообщу вкратцѣ содержаніе. „Дворянинъ-философъ“, отъ нечего дѣлать, сдѣлалъ въ своемъ помѣстьѣ подобіе мірозданія, начертилъ въ саду орбиты, подѣлалъ соотвѣтствующей величины круги-острова, населилъ ихъ живыми существами, соблюдая строго взаимоотношеніе ихъ размѣровъ къ той планетѣ, на которой они должны были жить, а размѣры планетъ также опредѣлилъ пропорціонально одна другой. На „Сиріусѣ“ у него оказались страусы (строфокамилы), на „землѣ“—муравьи. Однажды прихотливый помѣщикъ-дворянинъ показывалъ гостямъ свое твореніе и, ради курьеза, сталъ вслушиваться въ то, что говорилось на „землѣ“, населенной муравьями. Затѣмъ одного изъ муравьевъ хозяинъ съ гостями несетъ къ жителямъ всѣхъ планетъ, приноситъ и на Сиріусъ, гдѣ муравей и погибаетъ.

Такова схема повѣсти. Передъ нами, такимъ образомъ, Микромегасъ навыворотъ: не сиріусецъ путешествуетъ по планетамъ, а ничтожный обитатель земли. Но, кромѣ общей схемы, много заимствованій и въ подробностяхъ. Затѣя устроить у себя въ саду пародію на мірозданіе встрѣчается въ повѣсти Вольтера: „Вавилонская Принцесса“.

„Посреди садовъ, между двумя каскадами, возвышался великой залъ оваломъ на триста шаговъ въ діаметрѣ, котораго сводъ небесной, испещренной звѣздами золотыми, представлялъ все созвѣздіе съ планетами, каждая въ своемъ настоящемъ мѣстѣ, и сей сводъ вертѣлся такъ, какъ небо, машинами также невидимыми, какъ и тѣ, кои движеніями небесными управляютъ“ [132].

Основная идея повѣсти Дмитріева-Мамонова — ничтожество человѣка, мнящаго, что онъ—перлъ созданія и что все сотворено для него... Эта идея неразъ привлекала на себя гнѣвъ Вольтера.

Особенно она ярко выражена въ Микромегасѣ, (См. выше о „червякѣ“, который ссылался на авторитетъ Св. Ѳомы [133]).

Вольтеръ, повидимому, твердо вѣритъ въ то, что планеты обитаемы.

„Я догадываюсь и не безъ причины вѣрю, что планеты, безчисленныя солнца, наполняющія пространство міра, населены чувствующими и мыслящими существами: но вѣчная преграда насъ отъ нихъ отдѣляетъ, и ни одинъ изъ жителей тѣхъ отдаленныхъ шаровъ, никогда не имѣлъ съ нами никакого сообщенія [134].

Этому же вѣритъ и нашъ „вольтерьянецъ“—Дмитріевъ-Мамоновъ.

Обращаюсь къ его произведенію. Оно все написано въ стилѣ Вольтера, пропитано разочарованіемъ и сарказмомъ.

„Дворянинъ-Философъ, имѣя время и способность разсуждать, къ чему разумъ человѣка возноситься можетъ, получилъ нѣкогда желаніе сочинить планъ свѣта на пространномъ мѣстѣ своего селенія. Онъ всегда почиталъ систему Коперника, сходною съ дѣломъ, и для того предпріялъ тѣмъ планомъ подражать его системѣ“. [135].

Таково начало. Міръ созданъ изъ прихоти какого то сумазброда-помѣщика, однако признающаго систему Коперника.

Нѣкоторыя затрудненія обойдены были счастливо: Сатурнъ отъ его замка, по „пропорціи“, приходился на 119 в. 129 с. $^2/_3$ арш., но—

„...какъ располагалъ онъ сей планъ для единаго себѣ увеселенія, то какое было бы увеселеніе искать Сатурна въ таковой отдаленности?“ [136].

—поэтому онъ помѣстилъ Сатурна ближе. Такое же затрудненіе вышло съ народонаселеніемъ Сиріуса:

„не было у него такого животнаго, которымъ бы возможно было ему населить островъ Сиріусъ, сходно съ его пропорціею противъ прочихъ свѣтилъ“ [137].

Собрались разъ у хозяина гости: онъ освѣтилъ свой замокъ и планеты,—всѣ дивились красотѣ пейзажа и славили хозяина. Зашелъ разговоръ о томъ, что мыслятъ жители разныхъ планетъ. Въ этотъ моментъ явился къ нимъ чародѣй и предложилъ имъ путешествовать съ нимъ по планетамъ.

„Хозяинъ отрекся и сказалъ: онъ нелюбопытенъ, и всѣ его гости мужескаго рода сказали также: „на что намъ знать всякой твари разсужденія? Мы своимъ состояніемъ довольны,—намъ во вѣкъ „съ муравьями говорить не будетъ нужды, ни намъ самимъ не быть муравьями...“ [138]. „Не стоитъ труда, чтобъ до того снизходить внизъ изъ палатъ и ходить по полю, чтобъ токмо знать, что муравьи думаютъ“ [139].

Дамы, однако, не воздержались и пожелали узнать міросозерцаніе муравьевъ. Таинственный гость согласился отправиться съ

ними на землю и, между прочимъ, помогъ хозяину населить Сиріусъ: онъ произнесъ „нѣкое ужасное слово"—и вѣтромъ принесло „струкофамиловъ" [140].

Дамы отправились на землю, мужчины послѣдовали за ними „не ради ни планетъ, ни муравьевъ, но ради прекрасныхъ женъ" [141].

На землѣ оказались двѣ породы муравьевъ—сѣрыхъ и черныхъ. Послѣдняго сорта муравьевъ было только двѣнадцать.

„...всѣ дикаго цвѣта муравьи упражнены были въ своемъ трудѣ, ни о чемъ другомъ не размышляли, какъ о своемъ трудѣ домостроймомъ; часто они промежду себя и дрались, но больше все за самую такую часть землицы, которая имъ часто ни на что была потребна; однако дрались они смертельно и на оной умирали. Но прочіе двенадцать черныхъ муравьевъ, по ихъ важному виду, казались были ихъ судьями, или учителями: и подлинно не ошиблись они, ибо видятъ, что одинъ изъ оныхъ возшелъ на самый верьхъ одной хворостинки, которая выше всего была на ихъ землѣ; и всѣ прочіе муравьи, то узрѣвъ, замолкли. Но оставшіеся 11 черныхъ муравьевъ въ важнѣйшемъ видѣ преклонились лицемъ къ землѣ до того времени, какъ онъ сталъ ихъ учить слѣдующимъ образомъ: „я и въ сей разъ, говорилъ онъ къ нимъ, имѣлъ долгой разговоръ съ самымъ тѣмъ, который ни о чемъ такъ не печется, какъ объ однихъ насъ, и, словомъ сказать, съ тѣмъ, который столь далеко насъ освѣщаетъ, и который, конечно, не иное что есть, какъ муравей же, намъ подобной. Онъ говорилъ ко мнѣ такимъ образомъ: „послушай, возлюбленной мой муравей, вы, двенатцать черныхъ муравьевъ, по всемъ свѣтѣ токмо разумная тварь, а прочіе муравьи всѣ—скоты, и для того, что они скоты — вы смотрѣте за ними, чтобъ они не разпрыгали. Мое лучшее утѣшеніе есть жить на вашей планетѣ. И для того я ни на часъ не отхожу отъ васъ... Но не дразните меня, говоритъ онъ, ежели раздразните, и буду ѣсть ваше мясо и сосать вашу кровь! Великой огонь, которой васъ здѣсь освящаетъ, есть ни что иное, какъ золото, а внутри его ничего нѣтъ, и оной свѣтъ я сдѣлалъ не для себя и не въ свое удовольствіе, но токмо, чтобы вамъ свѣтло было!" Но сей муравей, который сдѣлалъ все, что вокругъ насъ свѣтится, и который сдѣлалъ самой сей великой свѣтъ, крѣпко мнѣ наказалъ, чтобъ вы отъ своего стяжанія приносили каждой годъ ко мнѣ 10-ую часть, которую я немедленно ему вручить долженъ, а онъ относитъ въ свое жилище,—ему безъ того никакъ не есть возможно обойтися. Сверьхъ того, подтвердилъ онъ мнѣ: „скажи ты всѣмъ муравьямъ-скотамъ, что все ихъ щастье состоитъ въ томъ, чтобъ они цѣловали твою и твоихъ товарищевъ з.....у" [142]. Потому, что всѣ оные 11 муравьевъ знаютъ, что единое то средство быть всегда щастливымъ, есть то. Я знаю, что вамъ потребно, чтобъ я истолковалъ вамъ все, что вокругъ васъ свѣтится и на что все оное сдѣлано: большое сіяніе есть золото, и оное есть тѣло, кипящее безпрестанно однимъ золотомъ и сдѣлано только для единыхъ муравьевъ, чтобъ было свѣтло сносить 10 долю вашего имѣнія ко мнѣ, и чтобъ

видно вамъ было цѣловать мою з.....у; какъ скоро вы просмотрите изправить оное,—все угаснетъ, и вы будете въ темнотѣ вѣчной... А прочія свѣтила суть зеркала, которыя также сдѣланы для единаго того, чтобъ вамъ виднѣе было сносить ко мнѣ 10 долю вашего имѣнія и цѣловать мою з.....у. Всѣ 11 другихъ, которые должны мнѣ наслѣдовать по очередѣ, точно то же видятъ и то же знаютъ. Но я паки слышу гласъ, призывающей паки меня къ себѣ. Се гридетъ ко мнѣ тотъ, который сильное оное сіяніе устроилъ" [143].

„Люди", слышавшіе эту рѣчь муравья-проповѣдника, смѣялись, говоря:

„ахъ, мошенникъ! ты только взираешь на свою корысть и самолюбіе, а что ты имъ ни насказалъ, ничего того не бывало. Мы видимъ отсюда, помощію перстня, что господинъ сего села, который здѣлалъ вамъ сіе жилище, не токмо сюда говорить (не) пришелъ, ниже о васъ (и не) думаетъ,—онъ упражненъ во всѣхъ родовъ забавахъ, которыя потому, что онъ несравненно больше васъ, больше у него и продолжаются. А самой сей часъ онъ упражненъ еще во умноженіи своихъ міровъ". „Что намъ здѣсь медлить у обманщиковъ!"—сказали всѣ оные зрители, „и смотрѣть презрѣнную сію тварь, одну часть оныхъ на высочайшей степени невежества,—другую на высочайшей же степени обманщиковъ!"... Но въ это самое время они увидѣли что одинъ изъ дикаго цвѣту муравьевъ взлезъ также на сучокъ, подобно черному муравью, и также прочіе муравьи всѣ замолкли, и сталъ ко всему своему свѣту говорить такимъ образомъ: „послушайте, муравьи, мои братья! все, что черный муравей вамъ ни говорилъ, онъ васъ обманывалъ. Землю нашу сдѣлалъ не муравей,—ея никто не дѣлалъ, она сдѣлалась сама собой, и весь сей свѣтъ великой также сдѣлался самъ собой. И хотя то подлинно есть правда, что сей великой свѣтъ, или сіе великое сіяніе есть ни что другое, какъ золото; токмо оно сдѣлано не ради того, чтобъ намъ сносить десятую часть къ черному муравью, а ради того, чтобъ свѣтло было всему свѣту. И вы 10-ую часть отнюдь чернымъ муравьямъ не относите,—они васъ обманываютъ. А что свѣтится вокругъ насъ, это не зеркала,—черные муравьи врутъ,—это всѣ такіе же свѣты, какъ нашъ свѣтъ, и живутъ въ нихъ точно такіе же муравьи, какъ мы. Вонъ, видите ли вы отъ насъ вдали планету Сатурна, въ ней муравьи каждый длиной въ 1000 саженъ..." (продолжаетъ перечислять, какой величины муравьи на другихъ планетахъ). Но вотъ какое было нещастіе сего мудреца, что всѣ дикаго цвѣта муравьи слушали больше черныхъ муравьевъ ученіе, нежели его. Имъ нравилось то, что черные муравьи сказывали, что они всегда говорили съ тѣмъ муравьемъ, которой сдѣлалъ большое сіяніе и всѣ зеркала, и чрезъ нихъ они думали найти у него милость. А муравей-мудрецъ лишилъ ихъ единымъ разомъ всего онаго ихъ утѣшенія, всей ихъ надежды; ибо надежда почиталась великою добродѣтелію на ихъ землѣ. И такъ, черные муравьи склонили сею лестію всѣхъ дикихъ муравьевъ, чтобъ они поймали сего еретика, и уже привели его связаннаго посреди великаго ихъ множества, уже соклали великой костеръ изъ тончайшаго хвороста, и осудили его зжечь и уже возвели его на костеръ" [144].

Люди, наблюдавшіе всю эту сцену, стали смѣяться, освободили маленькаго „мудреца“ отъ смерти, посадили въ коробку и понесли на другія планеты.

Журавли, жители Юпитера, о мірозданіи имѣли болѣе вѣрное представленье и съ презрѣніемъ говорили о муравьяхъ [145].

Лебеди, населявшіе Сатурнъ, тоже негодуютъ на самомнѣніе жителей земли. Они говорили:

„О, сколь смѣшны муравьи — они измѣряютъ наши чувства по чувствамъ своимъ. Вонъ, посмотрите, какое множество ихъ ворочаютъ соломенку и устремляютъ въ нашу сторону насъ видѣть; вмѣсто того, что мы ихъ видимъ и слышимъ безъ всякія въ томъ помощи“ [146].

Жители Сиріуса поразили гостей „благородностью“ во мнѣніяхъ и совершенствомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Увидя жителя земли, они собрались около него, остерегаясь, „чтобъ не задавить его копытомъ, чтобъ не утопить его въ пыли и чтобъ дыханьемъ и движеніемъ крыльевъ не забросить его изъ виду“ [147].

Муравей, при помощи зрительной трубки, узналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло и сейчасъ же—

„поднялся на заднія ноги, видно, въ намѣреніи сравняться съ Сіріанами и принялъ на себя толико горделивой и осанистой видъ, что струкофомилы стали хохотать“ [148].

Вихремъ, который поднялся отъ ихъ хохота, унесло муравья далеко отъ нихъ. Гости, однако, нашли его и понесли къ хозяину. По дорогѣ муравей умеръ, былъ заключенъ въ кусочекъ смолы и „тѣмъ вмѣщенъ сталъ быть внутри янтаря чистѣйшаго“ [149].

Такова эта странная русская повѣсть, появившаяся въ свѣтъ еще въ 1769-мъ году. Прибавимъ, что въ ней встрѣчаются ироническіе отзывы о русскихъ угодникахъ — объ Антоніи Римлянинѣ, который на камнѣ прибылъ въ Новгородъ („вотъ видите ли, сколь прилично здѣсь назвать сей камень истиннымъ философическимъ камнемъ, такимъ, который надъ всякою измудреною философіею превозносенъ есть!“ [150]), объ Іоаннѣ Новгородскомъ, поймавшемъ бѣса въ рукомойникѣ и летавшемъ на немъ въ Іерусалимъ,—и тогда вполнѣ опредѣлится тотъ кругъ идей и настроеній, которыми жилъ русскій писатель.

Прежде всего, бросается въ глаза еще болѣе безотрадное, чѣмъ у Вольтера, пониманіе тѣхъ отношеній, что̀ связываютъ Творца съ твореніемъ. Эти гости, возславляющіе дѣло хозяина и такъ холодно относящіеся къ жизни созданныхъ планетъ—тоже очень характерны.

Сходясь съ Вольтеромъ въ отношеніи къ униженнымъ рабамъ—

муравьямъ „дикаго“ цвѣта, нашъ писатель всетаки относится къ нимъ безстрастнѣе, холоднѣе, чѣмъ Вольтеръ: у того сквозитъ тревога сердца, сквозитъ сожалѣніе,—здѣсь только презрѣніе.

Но, что особенно характерно, это отношеніе къ муравью-философу. Здѣсь нашъ писатель и на самого Вольтера посмотрѣлъ, какъ на муравья, ничтожнаго и жалкаго... „Микромегасъ“ обратился только въ „микросъ“...

Такимъ образомъ, весь исходя изъ Вольтера, понявъ его и прочувствовавъ, Дмитріевъ-Мамоновъ ушелъ дальше его въ безотрадномъ пониманіи жизни.

Къ повѣстямъ Вольтера тѣсно примыкаетъ и произведеніе В. Левшина. „*Новый путешествіе*“ [152]. Въ литературномъ отношеніи, эта повѣсть стоитъ невысоко,—въ ней нѣтъ никакого плана, отдѣльныя части не согласованы одна съ другой; даже во взглядахъ автора не замѣчается никакой стройности: начавъ съ безпощадной критики человѣческой жизни, онъ кончаетъ безмѣрнымъ прославленіемъ Екатерины и тѣхъ благополучій, которыми осчастливила она Россію. Тѣмъ не менѣе, произведеніе это интересно несомнѣнными слѣдами вліянія Вольтера, отчасти Монтескье [153], а быть можетъ, и русскаго ученика Вольтера—Дмитріева-Мамонова.

Содержаніе этой повѣстушки слѣдующее:

Какой-то Нарсимъ, восторженный юноша, глядя на звѣздное небо, преисполнился восторгомъ и благоговѣніемъ къ Создателю. Нарсимъ возмущается, что люди, жалкіе гордецы, думаютъ, что всѣ міры созданы для нихъ:

„Безумные смертные! вопіетъ Нарсимъ, сколь мало понимаете вы благость Создателя! сіи точки, ограниченныя въ слабыхъ взорахъ суть солнцы, или тверди, противу коихъ земля наша—песчинка. Но вы мечтаете, что все сіе создано для человѣка; какая гордость! Взгляните на сіе разстояніе, равняющееся вѣчности, и поймите, что не для васъ испускаютъ лучи свои мильоны солнцевъ; есть несчетно земель, населенныхъ тварями, противу коихъ вы можете почесться кротами и мошками. Не безумно-ли чаять, чтобъ всесовершенный разумъ наполнялъ небо точками, служащими только къ забавѣ очей вашихъ? Какое униженіе!“ [154].

Нарсимъ изобрѣтаетъ летательный снарядъ и улетаетъ на луну. Разсказывая объ его путешествіи, авторъ попутно сообщаетъ свѣдѣнія изъ астрономіи и физики. Раціонализмъ его міросозерцанія сказывается, яснѣе всего, въ томъ объясненіи, которое онъ даетъ мірозданію.

„Творецъ міровъ не создалъ ничего чрезъестественнаго, ни похожаго на волшебство: всѣ дѣйствующія причины имѣютъ основаніе свое

въ природѣ; а магнитную силу тѣмъ едва-ли не можно счесть за сверхъестественность“ [155] и т. д.

Творецъ представленъ какимъ то „ученымъ физикомъ“, который, по всѣмъ правиламъ науки, создалъ міръ.

Приближаясь къ лунѣ, воздухоплаватель пришелъ въ восторгъ: онъ увидѣлъ тамъ живыя существа:

„О, небо! не сплю-ли я?“ вопіетъ Нарсимъ, обращая стремительно на всѣ стороны взоры: „Луна населенна!.. вотъ—города... деревни!.. Ахъ! я вижу и самыхъ тварей... Боже мой! Здѣсь такіе же человѣки!... Они имѣютъ свои нужды: вотъ пахарь, чредящій (?) свою землю... Се—пастухи съ стадами!.. Кажется, что златый вѣкъ здѣсь господствуетъ; по сѣхъ поръ еще не вижу я монаховъ и ратниковъ... Тутъ то истинный престолъ весны! тутъ-то истинный родъ жизни!.. Завидное состояніе! Кажется, одни радостные звуки свирѣлей провождаются къ ушамъ моимъ... Сей городъ преогромный; удивительное художество сооружало зданія — но что жъ такое! я не вижу нигдѣ молитвенныхъ храмовъ: конечно, нѣтъ здѣсь правовѣрныхъ!“ [156].

Нарсимъ, какъ истый ученикъ Вольтера, обращаетъ особое вниманіе на то, что здѣсь, на лунѣ, нѣтъ храмовъ, нѣтъ монаховъ и воиновъ! ...Стоило ему присмотрѣться къ быту жителей луны, какъ онъ сталъ удивляться еще болѣе: здѣсь, на лунѣ не только не знали войны, но были незнакомы съ „науками“,—всѣ занимались только земледѣліемъ и скотоводствомъ; у нихъ не было даже писаныхъ законовъ [157]... Удивленному жителю земли эту странность на лунѣ объяснили такъ:

„Законъ естественный довольно твердъ, когда исповѣдываетъ оный совѣсть каждаго; оный начертанъ незагладимыми буквами въ душахъ нашихъ. И зачѣмъ писать то, что каждый, по чувствамъ своимъ, разумѣетъ безъ истолкованія?“ [158].

Одинъ изъ юныхъ обитателей луны Квалбоко, подобно Нарсиму, изобрѣлъ летательный снарядъ и на немъ слеталъ на землю. При Нарсимѣ возвращается онъ на луну и разсказываетъ о тѣхъ ужасахъ, которые творятся на землѣ.

„Зависть, злоба, честолюбіе, гордость, звѣрство, суть наслѣдственныя побужденія, коими провождаются всѣ ихъ дѣянія. Я прошелъ всѣ части населенныя, видѣлъ просвѣщенныхъ и дикихъ; но различіе между ими было маловажно: дикіе производили то наглостію, что просвѣщенные совершаютъ искусствомъ“ [159].

Квалбоко разсказываетъ далѣе о томъ, какъ развращалась постепенно земля, какъ эгоистическое чувство „собственности“, развиваясь, породило насилія, создало разбойничество и войны, какъ возникла деспотическая власть, какъ, въ концѣ концовъ страсти овладѣли людьми. Въ разсказѣ этого возмущеннаго „лунатика“ жизнь

земли предстала вѣчной борьбой, пустой и глупой, хотя и безпощадной—люди земли оказались, въ его глазахъ, похожими на —

„...пѣтуховъ, безпрестанно дерущихся за кучу навоза, за глыбу черной земли, которая безъ сорванія головъ, могла бы всѣхъ ихъ прокормить, еслибъ только сумѣли они разумно оную раздѣлить между собой!“ [159].

Съ вольтеровскимъ безпощаднымъ юморомъ разсказываетъ Квалбоко о томъ, что на землѣ люди дерутся также изъ-за „чести“.

„... Тѣ, кои дрались, обыкновенно, не имѣли никакихъ выгодъ изъ сего завоеванія, кромѣ увѣчья; но какъ природа дала имъ по двѣ руки, то не могли они лучше употреблять оныхъ, какъ драться... „Человѣческій разумъ, со дня на день, становился просвѣщеннѣе, и прихоти искуснѣе. Долго смертные довольствовались рвать другъ другу головы за женъ, поля, шалаши, горы, долины, власть и господство; слѣдовало притить времени, въ которое начали драться за *ничто*,—за пустой звукъ слова: „честь“. Не отмѣнное ли изобрѣтеніе? Они могли убиваться, не имѣя другого намѣренія, кромѣ за честь!“ [161].

Никто изъ жителей луны не можетъ понять, что такое „честь“. Напрасно бѣдный Парзимъ, житель земли, пытался имъ выяснить, что на землѣ понимаютъ подъ „ложной“ и „истинной честью“,—Квалбоко сразилъ его замѣчаніемъ, что и онъ на землѣ слышалъ точныя опредѣленія, что такое „истинная честь“, только „мало видѣлъ ея послѣдователей, развѣ только по одному виду, или необходимости“ [162]. Это недоразумѣніе съ вопросомъ о „чести“ заимствовано Левшинымъ, вѣроятно, изъ „Персидскихъ писемъ“ Монтескье, гдѣ этотъ-же вопросъ вызываетъ у путешествующихъ персовъ такое же недоумѣніе, какъ у жителей луны въ разсказѣ Левшина [163]. Потомъ Квалбоко разсказываетъ о томъ, какъ стали на землѣ развиваться науки и религія [164], какъ, въ результатѣ, „просвѣщеніе умовъ“ привело къ „заблужденіямъ, безбожію и суевѣрствамъ“ [165] и „безвѣрію“, къ идолопоклонству [166] и къ плутовству жрецовъ [167]... Этотъ историческій очеркъ религіи тоже отзывается деизмомъ XVIII вѣка, который исповѣдовалъ „естественную религію“, „естественный разумъ“ и, устами Руссо, осудилъ извращеніе человѣческой цивилизаціи, а, устами Вольтера — фанатизмъ и суемудріе. Въ „Персидскихъ письмахъ“ Монтескье мы встрѣчаемъ также и разсказъ о томъ, какъ науки привели ко злу [168], какъ извратилась истинная религія [169]. Монтескье такъ же безпощадно обличаетъ дервишей, имановъ, бонзъ, католическихъ священниковъ, монаховъ и іезуитовъ [170],—ихъ алчность, лживость, фанатизмъ,—черты, приведшія христьянъ, людей просвѣщенной Европы, къ идолопоклонству, къ господству духовенства [171].

Квалбоко попадаетъ на землѣ къ туркамъ [172]; отношеніе къ нимъ жителя Луны чисто-вольтеровское,—онъ высмѣиваетъ ихъ религіозный фанатизмъ съ юморомъ, напоминающимъ вольтеровскій. Квалбоко зашелъ въ мечеть и сталъ тамъ молиться такъ, какъ молится на лунѣ.

„... вдругъ духовный схватилъ себя за волосы и закричалъ, что мечеть осквернена нѣніемъ невѣрнаго. Окружили меня, спрашивали, что я за человѣкъ? и какого закона?"—„Какого закона?" сказалъ я „никакого!"—„Но ты простиралъ руки на небо: сіе значитъ призывать Бога".—„Развѣ запрещено у насъ призывать Бога?"—„Нѣтъ! но Бога нельзя призывать, не призывая Магомета! Ну! невѣрный, исповѣдуешь ли ты его, говори рѣшительно, или..."—„Государи мои, подхватилъ я, вы не можете отъ меня требовать, чтобъ я зналъ его; я—житель луны вашей, и у насъ не слыхано о немъ никогда!"—„Никогда, мерзавецъ?"—вскричалъ духовный; сама луна покланяется великому пророку; я уличу твою ложь текстомъ изъ Алкорана!.. Но довольно! изъ Луны ли ты, или изъ ада,—ты долженъ вѣровать въ Магомета и быть обрѣзанъ!"—Сказалъ—и меня проводили въ тюрьму..." [173].

Приключеніе—чисто въ вольтеровскомъ духѣ, и развязка его тоже вполнѣ отвѣчаетъ началу:

Сидя въ тюрьмѣ, Квалбоко разсуждаетъ о томъ,—

„...какимъ образомъ могутъ люди взять въ голову странную идею заставлять вѣрить другихъ, чему сами вѣрить находятъ основаніе,—равно, какъ бы вѣрить, или невѣрить, зависѣло отъ человѣческой воли!" Печальныя мои умствованья пресѣчены были появленіемъ духовнаго, пришедшаго съ вооруженными для совершенія таинства, въ вѣру ихъ меня присоединить имѣющаго. Объяснись, въ чемъ состоитъ обрядъ сей, я отворопѣлъ. По щастію, на исподнемъ платьѣ осталось у меня нѣсколько золотыхъ пуговицъ. Я просилъ переговорить съ духовнымъ. Дозволено. И пуговицы спасли меня отъ мучительной операціи. Возглашено, что я—дѣйствительный магометанинъ. Меня привѣтствовали, дарили бездѣлками, возили на ослѣ по улицамъ, и, наконецъ, дали свободу бѣжать неоглядкою изъ столь ужаснаго города" [174].

Любопытная повѣсть Левшина, своимъ построеніемъ, напоминаетъ повѣсть Вольтера „Микромегасъ",—у Левшина, какъ у Вольтера, жители одной планеты попадаютъ на другую: Квалбоко, житель луны, попавшій на землю, напоминаетъ собою и простодушнаго Гурона, и Амабеда, которые были удивлены жизнью культурной Европы, не понимающей „естественной религіи", „естественнаго права"; напоминаетъ онъ и Персовъ Монтескье, попавшихъ въ головокружительный Парижъ.

Если въ произведеніи Дмитріева-Мамонова мы видѣли удивительно-глубокое проникновеніе въ ту безотрадную глубину вольтеровскаго пессимизма, который для массы не былъ замѣтенъ, кото-

рый прикрывался густымъ слоемъ остроумія и цинизма,—то въ другомъ произведеніи, къ которому теперь перейду, сказалось болѣе поверхностное отношеніе къ Вольтеру, но зато удивительно вѣрно схваченъ тонъ его остроумныхъ нападокъ на все, что претило его ясному, здравому смыслу. Мы видѣли уже, что монахи, іезуиты не только осуждены имъ сурово, но и осмѣяны жестоко, колко, безпощадно.

Для русскаго „здраваго смысла", вооруженнаго раціонализмомъ просвѣщеннаго вѣка, дикими и непонятными казались многія стороны старой, допетровской Руси. Между новой жизнью и старой оказалась пропасть, которая все углублялась до того, что, наконецъ, два человѣка одной страны и одного времени перестали понимать другъ друга. Для философа XVIII вѣка старый раскольникъ представлъ какимъ-то инородцемъ-дикаремъ. Всѣ эти остатки невѣжественной старины, — именно узость и нетерпимость раскола высмѣяны въ произведеніи: *„Житіе господина NN., служащее введеніемъ въ исторію его въ Царствѣ мертвыхъ"*; въ Санктпетербургѣ, 1779 г. 2-е изд. 1781 г. Подъ названіемъ: *„Жизнь нѣкоторого мужа"* это же произведеніе издавалось въ 1780, 1788, 1791 гг.

Герой этой сатиры—старый раскольникъ, попавшій на судъ въ царство мертвыхъ. Чтобы ознакомить читателя съ нимъ, авторъ разсказываетъ намъ его біографію. Родился онъ близъ рѣки Оби въ „набожномъ Аввакумовскомъ скитѣ" — тамъ онъ изучилъ и русскую грамоту. Образованіе это сдѣлало его искуснымъ начетчикомъ, такъ, что онъ —

„съ такимъ успѣхомъ читалъ самыхъ древнихъ авторовъ, что изыскалъ на послѣдокъ новыя и непреоборимыя доказательства на осмиконечный крестъ" [155].

Впослѣдствіи, выступивъ на общественное поприще, онъ отдался служенію расколу —

„разсуждалъ весьма разумно на Макарьевской ярманкѣ о святости усовъ и бороды и утверждалъ доподлинно, что голова дана намъ отъ натуры единственно для бороды, а восьмиугольная борода—всѣмъ бородамъ борода, и старался собрать осьмой вселенской соборъ, чтобъ признать ее за таинство, потому, де, что въ ней душа обитаетъ, и такой же, де, необходимой и нужной членъ, какъ и прочіе" [156].

Онъ былъ большой любитель книгъ „старинной печати" и всегда —

„улыбался съ радостію, когда находилъ такія темныя мѣста, которыхъ и самъ разумѣть не могъ" [157].

Этому ярому раскольнику „таинства натуры" —

„такъ были извѣстны, что каждаго человѣка узнавалъ по шапкѣ,—

которой на шуюю, и которой на десную сторону принадлежитъ на страшномъ второмъ пришествіи, и зналъ, въ которой шапкѣ сатана сидитъ, и отъ которой бѣгаетъ" [178]. Учениковъ своихъ онъ кормилъ только „словесами духовными", а самъ „отъ чрезъмѣрнаго поста весьма походилъ на образъ благоразумнаго разбойника" [179].

Далѣе разсказываются его похожденія въ качествѣ бургомистра, объ его корыстолюбіи, о властолюбіи его жены, которая „правительствовала и городомъ, и имъ самимъ".

Былъ онъ очень набоженъ, но въ православныхъ церквахъ не бывалъ,—обѣгалъ ихъ „на двадцать шаговъ"—

„на то имѣлъ онъ весьма важные причины" — онъ говорилъ, что „въ церквахъ образа святыхъ мученицъ очень прелестны, и лики угодниковъ недовольно темно пишутся" [180].

За то въ церковныя дѣла онъ вѣчно совалъ носъ: требовалъ поправокъ въ „церковномъ уставѣ" [181],—но ему отказали въ этомъ; „псалтирь свой перечерпилъ и переправивъ" [182]. Въ споры вступать былъ великій охотникъ, при чемъ —

„ничего не расказывалъ, не зачавши рѣчи своей со времяни царя Давида, или, по крайней мѣрѣ, отъ князя Владимера" [183].

Ужасно любилъ разсказывать о „буянномъ пожарѣ" и могъ этотъ разсказъ растянуть на 10 сутокъ [184].

Затѣмъ слѣдуетъ подробное описаніе его внѣшности и костюма. По его увѣренію, кафтанъ его былъ сдѣланъ изъ того сукна,—

„которое коню князя Владимера въ походѣ его противъ невѣрныхъ агарянъ попоною служило". „Рубахи носилъ красныя, или зеленыя и въ вороту запонку, которая древностію Кремлю-городу не уступала и въ которой вдѣлана была весьма искусно часть ногтя пророка Аввакума съ указательнаго перста" [185].

Въ обхожденіи съ друзьями-единомышленниками былъ онъ привѣтливъ, „крайне снисходителенъ"—какъ сказано въ повѣсти—

„Встрѣчая ихъ, или гдѣ увидя, при случаѣ, дѣлалъ всегда такую позитуру, какую дѣлаютъ, обыкновенно, показывая руками трѣхъаршинную мѣру какой-либо вещи, и лобызалъ ихъ, отирая прежде троекратно усы свои, потомъ сажалъ на скамейку и сказывалъ про убытки свои на буянномъ пожарѣ, да про Бориса и Глеба, про княгиню Елену, послѣ того увѣщевалъ не пить кофіи и чаю, отгребатися отъ табаку и не читать книгъ прящицы и розыска и не ходить въ церковъ" [186].

Такими рѣзкими, удивительно-выразительными чертами обрисованъ старый раскольникъ. Сквозь ѣдкій, вольтеровскій смѣхъ чувствуется однако что-то въ родѣ ненависти къ этому старому представителю „послѣдней Руси".

Смерть героя произошла очень своеобразно. У него былъ ученикъ, смиренномудрый и покорный, хотя втихомолку попивавшій

кофе и курившій трубку. Въявь дѣлать это онъ не рѣшался, такъ какъ боялся, чтобы его учитель „переплетомъ книгъ его вѣка не укороталъ“ [187].

Но однажды учитель засталъ ученика за преступнымъ развлеченіемъ. Увидя это, старикъ —

„возстоналъ и просилъ предстоящихъ, чтобъ вывели его изъ Содома и Гоморры, дабы не погибнуть съ безаконниками“ [188].

Потрясенный всѣмъ видѣннымъ, старикъ „изнемогъ“ и сталъ готовиться къ смерти —

„При послѣднемъ же издыханіи начали усы его подниматься и опускаться, перебираясь волосъ за волосомъ, подобно колосьямъ на изобильной жатвѣ“. „Чудо сіе объявлено чрезъ нарочныхъ въ Аввакумовомъ скитѣ людей, гдѣ собралось до 7000 старинныхъ бородъ разныхъ лицъ и 800 старухъ тайнаго богомольнаго совѣта...“ [189].

„Бороды утверждали“, что душу выносили ангелы — оттого усы шевелились. Старухи увѣряли, что усы прощались съ бородой. Это мнѣніе одержало верхъ [190] —

„и записано сіе чудо въ книгу чудесъ тамошнихъ угодниковъ красною прописью, сурикомъ“ [191].

Это чудо не было единственнымъ —

„отецъ Тарассій, прорицалище Брынское и кавалеръ святаго желто-краснаго и перьваго козыря“ написалъ „въ Крестецкой Ямъ, къ старухѣ Савельевнѣ, которая тамъ въ освященномъ погребѣ 28 лѣтъ отправляетъ службу“, какое онъ, Тарасій, „видѣлъ видѣніе“ — „явились, де, мнѣ два юноши, въ смурыхъ кафтанахъ, въ скобкѣ и въ порткахъ; волосы у нихъ остриженны были по-христіански—подъ гребеночку и за плечами у нихъ видны были святые козыри“ [192].

Юноши заявили ему, что ученики должны описать житіе новопредставленнаго угодника, такъ какъ онъ самъ явился одному изъ нихъ и подтвердилъ то же.

Такова первая половина этой повѣсти, напоминающая *по тону* повѣсть Вольтера: „Извѣстіе о болѣзни, о исповѣди, о смерти и о явленіи по смерти Езуита Берфіера“ [193]. Въ содержаніи можно найти сходство лишь въ основѣ сюжета: между французскимъ іезуитомъ и раскольникомъ съ береговъ р. Оби, ихъ интересами и жизнью, конечно, не могло и быть близкаго сходства. Тѣмъ не менѣе, они близки другъ къ другу своимъ фанатизмомъ, своею узостью, нетерпимостью и тупостью. Всѣ эти черты освѣщены и во французской, и въ русской повѣсти однимъ яркимъ безпощаднымъ свѣтомъ „здраваго смысла“.

Далѣе разбираемое русское произведеніе теряетъ характеръ повѣсти и переходитъ въ діалогъ,—въ жанръ, очень модный въ

XVIII вѣкѣ: „Разговоръ въ царствѣ мертвыхъ“. Но и въ этомъ разговорѣ столько характернаго, въ художественномъ отношеніи, что остановиться ненадолго на этомъ стоитъ.

„Душа“, явившись въ адъ „съ кулёчкомъ книгъ“, вступаетъ въ бесѣду съ Меркуріемъ и Харономъ. Она сыплетъ цитатами, надоѣдаетъ всѣмъ безконечными рѣчами и ужимками. Харонъ по этому поводу вспоминаетъ, какъ онъ когда-то перевозилъ Аввакума,—тотъ былъ такого же типа человѣкъ, но книгъ съ нимъ было „два четверика“ [194].

Миносу Меркурій рекомендуетъ героя и говоритъ, что на землѣ онъ жилъ только для того, чтобъ не забыли смертные—

„про осмиконечной крестъ и не отмѣняли носить портковъ и не всѣ бы сдѣлались франкмасонами“ [195] — „умеръ (онъ) для того только, что пьютъ на свѣтѣ кофей, а не квасъ, да притомъ еще изъ кофейника, а не изъ коповки (такъ называетъ онъ крушку) и курятъ табакъ“ [196].

Когда дѣло дошло до перечня „добрыхъ дѣлъ“, то велерѣчивая „душа“ раскольника ихъ насчитала немало:

„Я зналъ, просимъ не прогнѣваться, весьма богатую молитву отъ лихорадки, силою которой многихъ вылѣчилъ... Мы и отъ зубовъ знали стишокъ, просимъ не прогнѣваться... Не носилъ я иноплѣменницкаго одѣянія, не клалъ въ штаны рубашекъ, прошу не прогнѣваться, носилъ поясокъ и не ходилъ въ церьковь“ [197].

Своими длинными разговорами и безтолковостью душа героя въ аду всѣхъ разсердила. Приговоръ былъ положенъ суровый: на бѣднаго раскольника одѣли арлекинскій кафтанъ, прическу сдѣлали модную, напудрили его, на голову одѣли французскую шляпу, въ которую воткнули трубку. Затѣмъ было постановлено—

„...какъ скоро онъ скажетъ: „позвольте мнѣ вымолвить“, или будетъ просить, чтобъ на него „не прогнѣвались“,—то поить его тотчасъ кофеемъ и заставить его курить табакъ и играть въ кости“ [198].

Бѣдная душа, совершенно обезкураженная приговоромъ, рѣшилась лишь объ одномъ просить у адскаго судьи —

„прикажите мнѣ оставить портки мои,—намъ безъ нихъ, прошу не прогнѣваться, не заобычайно,—понеже и князь Владимеръ нашивалъ ихъ“ [199].

Это любопытное сатирическое произведеніе XVIII вѣка, написанное подъ несомнѣннымъ вліяніемъ Вольтера, обнаруживаетъ въ авторѣ удивительно-злое остроуміе, умѣніе прекрасно справляться съ живой русской рѣчью, умѣніе схватывать типичное и нѣсколькими штрихами рисовать человѣка всего,—и духъ его, и плоть.

Наконецъ, Вольтеръ и его друзья оставили глубокій слѣдъ

въ русской романической литературѣ, разбросавъ по ней, на пространствѣ всего вѣка, множество своихъ колкихъ идей, касательно суевѣрія, пустосвятства и ханжества; въ этой литературѣ встрѣтимъ мы на-лету схваченныя у Вольтера мысли о жизни вообще, о той роли, которую играетъ зло въ природѣ, встрѣтимся съ мотивами разочарованія, наконецъ, натолкнемся на нѣсколько художественно-очерченныхъ образовъ „русскихъ вольтерьянцевъ". Впрочемъ, нельзя не отмѣтить, что на страницахъ русскихъ романовъ XVIII-го вѣка встрѣтимъ мы и оппозицію Вольтеру и его сподвижникамъ, внесшимъ къ намъ идеи отрицанія и сомнѣнія.

Съ легкой руки Вольтера у насъ сдѣлались обычны нападки на іезуитовъ [200], на инквизицію [201], на папу [202].

Затѣмъ мы наталкиваемся на длинный рядъ обличеній, направленныхъ противъ „жрецовъ" вообще [203].

Особенно жреческое „корыстолюбіе" обращало на себя вниманіе русскихъ романистовъ XVIII-го вѣка.

„Коварства и хитрость нашихъ жрецовъ мѣръ не имѣютъ... Все у нихъ простительно, что съ ихъ прибыткомъ соединенно, — все имѣетъ видъ святости, что лукавству ихъ тьмы и подкрѣпленія придать можетъ,—и все ужасно, и богамъ ненавистно, что ихъ злымъ намѣреніямъ противится и что лжеученіе ихъ уличить можетъ [204].

Эти жрецы—пастыри „гордые и свирѣпые", а „простосердечные люди лобзаютъ руку ихъ". —

„О! слѣпота, слѣпота, въ какія бѣдствія и заблужденія умы человѣческіе ты ввергаешь!" „Уста, наполненныя сладостію и миролюбіемъ, а сердца, кипящія гнѣвомъ и любостяжаніемъ" [205].

„...ложная добродѣтель ложнымъ свѣтомъ своимъ привлекаетъ къ себѣ слабые разсудки, и, сама себѣ противорѣча, проповѣдуетъ о благочестіи, о кротости и смиреніи" [206].

„...не вѣрю чародѣйствамъ, не могу положиться на жрецовъ, всего меньше на воровъ" [207],—говоритъ одинъ изъ героевъ Чулкова.

„Корыстолюбіе" жрецовъ, которое особенно рѣзало глаза русскимъ людямъ и которое у Вольтера отнюдь не занимаетъ перваго мѣста, изображено въ русскихъ романахъ нѣсколько разъ... Оказывается, „идолы", которымъ простосердечные люди приносятъ жертвы—дѣло жреческихъ рукъ [208].

„Корыстолюбіе воздвигло сіи нелѣпые истуканы, а слѣпое суевѣріе жертвы имъ приносило" [209].

Потому „жертвоприношеніе" вообще вызываетъ къ себѣ самое отрицательное отношеніе [210].

„Такое богопротивное лицемѣрство есть образъ купли, между закономъ и грѣхомъ установленной... Суевѣріе, корысть, невѣжество, злоба и притворство есть душа сего закона" [211].

Кромѣ обиранія народа, при помощи жертвоприношеній, жрецы не гнушались наживаться и другимъ путемъ. Такъ, напримѣръ, одинъ усердно занимался сутяжничествомъ —

„упражнялся больше въ собираніи богатства, нежели въ церковныхъ обрядахъ; чинъ его не мѣшалъ ему утѣснять людей, отнимать ихъ имѣнія и проливать слезы. Онъ часто вступалъ въ приказныя дѣла и смиреннымъ образомъ отнималъ насильно у другого имѣніе, совсѣмъ ему не принадлежащее: часто доносилъ на многихъ духовныхъ особъ неправильно и тѣмъ получалъ половину ихъ имѣнія“ [212].

Энергично возстали въ русской литературѣ и противъ тѣхъ жрецовъ, что „во имя Бога“ „блуждали по торжищамъ“ и „по деревнямъ для обманыванія народа и собиранія богоговѣйныхъ сребряниковъ въ кошельки свои“ [213].

Кромѣ „корыстолюбія“ отмѣчена энергично и „злоба“ жрецовъ.

„...со жреческою злостію и ехидна сравниться не можетъ. Они не такъ, какъ мы, простолюдины, злятся до тѣхъ поръ, покамѣстъ положатъ его во гробъ и засыплютъ землею; но другіе говорятъ, что они во адѣ не забываютъ своего свирѣпства“ [214].

Встрѣчаются нападенія на „сластолюбіе“ жрецовъ, особенно „жрецовъ Ладина храма“; „сіи роскошныя животныя“, „плотскіе ангелы“ [215], повидимому, должны были означать монаховъ [216].

„...вотъ польза, отъ ложнаго благочестія происходящая. Случай, нужда, суевѣріе и гордость, почти обыкновенно, побудителями такихъ установленій бываютъ и во обществѣ общество черезъ то учреждается. Наконецъ, таковое идольскихъ капищъ учрежденіе, которому мрачное суевѣріе основателемъ было, становится почтеннымъ въ мысляхъ его изобрѣтателей. Потомъ учинится важнымъ, священнымъ и напослѣдокъ страшнымъ... Тунеядцы прибѣгнутъ подъ тѣнь обиталища праздности; обманъ и притворное смиреніе здѣлаются ихъ оградою“ [217].

Особенно много разъ изобличается лукавство, коварство, лицемѣріе, хаижество и суевѣріе жрецовъ, ихъ „благонамѣренный обманъ“ [218], благодаря которому, они стараются во тьмѣ держать народъ, мороча его ложными чудесами-фокусами, ложными предсказаніями [219]. Одинъ изъ такихъ жрецовъ говорилъ:

„Ты вѣдаешь, что нужно утверждать простолюдиновъ въ предразсудкахъ, какъ для того, чтобъ привести ихъ въ повиновеніе, такъ и за тѣмъ, чтобъ можно было, при всякомъ нужномъ случаѣ, возбудить ихъ ревность и храбрость, подъ предлогомъ защищенія вещи, кою сочтетъ онъ за святыню“ [220].

И вотъ „химія, физика и механика оказывали ему услуги“. Его чудеса были лишь удачными фокусами, но всѣ оставались довольны.—

„Храмъ прославлялся, и карманъ его возрасталъ. Жрецъ сей не былъ глупѣе прочей своей собратіи и зналъ, что боги не требуютъ,

кромѣ чистаго сердца, почему всѣ, приносимые Ладѣ, дары препровождалъ въ свои сундуки“ [221].

Люди, просвѣщенные XVIII-ымъ вѣкомъ, „не требовали ломки храмовъ“,—они домогались лишь просвѣщенія массъ—тогда, думали они—

„возникнетъ истинна, подъ сими гордыми зданіями заключенная, и возсіяетъ свѣтлѣе солнца надъ всѣй вселенной“ [222].

Сердце человѣка—вотъ храмъ для Божества. „Затвори слухъ твой отъ суевѣровъ и лжеучителей... Ты услышишь отъ нихъ поученія, не отъ истинной совѣсти произтекающія; ты увидишь слезы ихъ; не вѣрь ни тому, ни другому,—одно имѣетъ своимъ источникомъ корыстолюбіе, а другое—обманъ“ [223].

„...Бога мы чувствовать, а не понимать, можемъ; сіе существо преисполнено совершенствъ, не имѣетъ оно пристрастія, не питаетъ мщенія, не пріемлетъ во мзду тучныхъ и кровавыхъ жертвъ“ [224].

„Но ты, приходя къ сему капищу, былъ освѣщаемъ солнцемъ, надъ тобою горящимъ,—для чего не сталъ ты на колѣна и не принесъ благодарности Всевышнему, что очи твои его твореніе при солнечныхъ лучахъ видятъ? Ты шелъ по землѣ, питающей всѣхъ человѣковъ,—для чего не приникъ ты къ оной и, лобызая ее, не сказалъ ей: „тобою познаю щедроту Бога моего къ себѣ?“ Для чего, повторяю, не каждая былинка, не всякое малѣйшее бытіе напамятовало тебѣ о величествѣ Творца, ибо они суть такое же твореніе? Для чего сей безмолвный и хладный камень долженъ тебя приводить въ чувство и возвѣстить тебѣ то, чѣмъ ты богамъ обязанъ? не мракъ-ли и невѣжество сему причиною были, что ты, на всякомъ мѣстѣ встрѣтая своего Создателя, въ семъ мрачномъ капищѣ на память его приводишь“... [225].

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что на „жрецовъ“ и ихъ дѣянія у насъ довольно прочно установилась точка зрѣнія французскихъ раціоналистовъ.

Любопытно, что нападенія русскихъ романистовъ на „жреповъ“ до такой степени прозрачно намекаютъ намъ на русскую современность, что, въ этомъ отношеніи, и сомнѣнія не можетъ быть. Особенно это ясно въ мелочахъ: какъ награду за услугу, жрецы предлагаютъ благодѣтелю вписать въ духовную книгу и „всякой день поминать“ [226]; какъ самое убѣдительное доказательство справедливости словъ для простого народа, жрецъ—

„...показывалъ имъ книгу, въ которой, безъ сумнѣнія, должно быть описано объ ономъ... потому что книга сія писана красною краскою и имѣетъ золотыя застѣжки“ [227].

—явный намекъ на внѣшній видъ нашихъ богослужебныхъ книгъ.

Отношеніе къ „жрецамъ“ прекрасно выразилось, между прочимъ, въ одномъ романѣ Чулкова: былъ собранъ совѣтъ о томъ, какъ добыть похищенную у русскихъ царскую корону. Одни со-

вѣтовали силой отнять, другіе—хитростью, третьи совѣтовали послать „искуснаго вора, чтобъ стянуть оную и именовали нѣсколькихъ способныхъ къ тому жрецовъ“ [228].

Но, если рѣзко можно было говорить о „жрецахъ“ вообще, то, говоря о русскомъ духовенствѣ, приходилось быть осторожнѣе. Тѣмъ не менѣе, самое яркое отрицательное отношеніе замѣтно и здѣсь—въ длинномъ рядѣ романовъ обрисованы многія отрицательныя черты, русскаго духовенства, бѣлаго и чернаго, главнымъ образомъ, корыстолюбіе, невѣжество и чревоугодіе... Нападеніе на „нетерпимость“ встрѣтилъ я только разъ: русское духовенство XVIII в., очевидно, было слишкомъ равнодушно къ вопросамъ церкви, чтобы показывать, въ этомъ отношеніи, какую-нибудь излишнюю рьяность. О „нетерпимости“ пришлось русскому романисту говорить по поводу одного молодого священника, благолѣпнаго съ виду и краснорѣчиваго въ проповѣди, но жестокаго и нетерпимаго къ еретикамъ-староверамъ [229].

„Корыстолюбіе“ духовенства показано на цѣломъ рядѣ картинокъ, выхваченныхъ изъ дѣйствительности. Напримѣръ:

„...священники думали, что за похороны больше, нежели за соборованіе, заплачено будетъ, а къ томужъ и вкуснымъ, и изобильнымъ обѣдомъ попотчиваются, какъ то и завсегда дѣлается“ [230].

Одинъ больной, покинутый всѣми, умиралъ—всѣ расхищаютъ его имѣніе у него на глазахъ—

„духовная особа взялъ золотые часы, и сказалъ, что ето беретъ онъ для поминовенія души“ [231].

Невѣжество духовенства высмѣяно въ многочисленныхъ анекдотахъ, ему посвященныхъ: напр.—

„У нѣкотораго дворянина въ селѣ отошелъ священникъ къ братіи, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ, а простѣе умеръ“. Безъ него оказалось очень неудобно, такъ какъ праздниковъ никто въ селѣ не зналъ. Помѣщикъ рѣшилъ устроить у себя въ имѣніи священникомъ дьячка, „которой очень скуденъ былъ разумомъ, однакожъ онъ умѣлъ читать и писать по деревенски,—такъ думали, что для сельскаго попа таланта етого и довольно“. Помѣщикъ послалъ дьячка съ письмомъ къ архіерею. Архіерей рѣшилъ произвести экзаменъ дьячку. „Должно, говорилъ онъ ему, увѣриться мнѣ въ томъ, довольно ли ты читалъ духовныхъ и свѣтскихъ книгъ... Вынини мнѣ вкратцѣ, что говоритъ въ своихъ сочиненіяхъ Лукіянъ, Федоръ и Плутархъ.“. Дьячокъ явился черезъ нѣкоторое время; архіерей велѣлъ отвѣчать ему: „Дьячокъ перекрестился и началъ: „Лукьянъ говорилъ, чтобъ чужіе мужики монастырскаго лѣсу не рубили, а коли по такъ, то высѣкутъ ихъ плѣтьми; Федоръ говоритъ, что онъ мясомъ больше торговать не хочетъ, а плутъ кричитъ громче всѣхъ: „не шуми, мати зеленая дуброва“. Услышавъ такой отвѣтъ, архіерей „ужаснулся“, однакоже спросилъ, „откуда онъ ето выписалъ“.—„Ето я отъ нихъ отъ самихъ слышалъ, Ваше Преосвященство!“—отвѣчалъ дьячокъ. Оказывается, онъ собралъ свои свѣдѣнія

у мужиковъ, которые встрѣтились ему на пути, когда онъ шелъ отъ архіерея. Онъ спросилъ ихъ имена, и какъ разъ случилось, что это были Лукьянъ и Федоръ, имена которыхъ напомнили ему имена философовъ. „Подходя къ нашей деревни, увидѣлъ я нашего охотника, которой, сидя подъ деревомъ, пѣлъ пѣсню: „не шуми ты, мати зеленая дуброва",—Етого я объ имени не спрашивалъ, для того, что знаю, онъ изъ всей нашей деревни первой плутъ!"

Архіерей задалъ еще задачу: „слушай: у Ноя было три сына: Симъ, Хамъ и Афетъ,—кто имъ отецъ?". Дьячокъ попросилъ три дня сроку для рѣшенія вопроса, такъ какъ задача показалась ему весьма трудной. Вернувшись домой, онъ повыгонялъ всѣхъ изъ дому—и жену, и дѣтей, сталъ ходить по комнатѣ и твердить: „у Ноя было..". День, другой,—все то же твердитъ. Жена стала стучаться къ нему, догадавшись, что мужу загадки не разрѣшить, такъ какъ онъ „глупъ черезъ край". Онъ ее выругалъ—однако она ему помогла: „Глупой, глупой! говорила она, да у нашего кузнеца Василія три сына: Николай, Иванъ, Алексѣй; ну, такъ Василей-кузнецъ и имъ отецъ". Дьячокъ обрадовался и пошелъ къ архіерею: „Вы изволили спрашивать, сказалъ онъ архіерею: „у Ноя было"...—„Да"! отвѣчалъ ему архіерей. Дьячекъ ему говоритъ: „ну, такъ я вамъ сказываю,—нашего села Василій-кузнецъ". Архіерей и присутствующіе захохотали. Архіерей спросилъ, откуда онъ это узналъ. „Жена моя мнѣ это сказывала, отвѣчалъ онъ, а она, дѣйствительно, знаетъ етого кузнеца и всѣхъ его домашнихъ". „Потомъ спрашивалъ архіерей у стоящего тутъ священника, какъ должно поступить въ такомъ случаѣ, ежели упадетъ въ дары муха? Священникъ говорилъ: „сложивъ два перста изъяти ее, вложить по уста, обсосать и выплюнуть въ укромное мѣсто; а ежели совѣсть не заритъ, то и проглотить!"—„Ну а у тебя, ежели случится, что упадетъ быкъ въ святую воду, спрашивалъ архіерей ставленника, какъ ты съ нимъ поступишь"?—„Сложивъ два перста, отвѣчалъ дьячекъ, изъяти его, вложить по уста, обсосать и выплюнуть въ укромонное мѣсто, а ежели совѣсть не заритъ, то и проглотить"! [232].

Имѣемъ мы нѣсколько курьезныхъ сценокъ, гдѣ священники являются въ роли изгонителей дьявола [233]. Повторяю, если все это мелочи, то особенно цѣнны онѣ потому, что проведены были въ литературу русскими писателями съ ясными вольтеровскими тенденціями высмѣять и унизить духовенство.

Кромѣ этихъ примѣровъ, критическое отношеніе къ духовенству сказалось въ длинномъ рядѣ отзывовъ и разсказовъ о немъ. Напримѣръ,—

„Судя по причету, о которомъ говорили намъ на постояломъ дворѣ, церькови ихъ имѣютъ хорошихъ столповъ" (иронія) [234].

„Сыскавши гулящева попа и безъ вѣнечной памяти за два рубля обвѣнчался, а за сіи деньги та благословенная голова не отреклась бы и еще паръ пятокъ совокупить" [235].

„Вонъ, смотри на право попъ идетъ, а на лѣво ворóны летятъ, а навстрѣчу тебѣ свиней гонятъ цѣлое стадо" [236].

Одинъ благочестивый хозяинъ дома пригласилъ священника

служить на квартиру. Случайно, ходя по комнатамъ, онъ наткнулся на хозяйку дома, когда та развлекалась съ пріятелемъ мужа. Застигнутая врасплохъ, дама накинулась на супруга:

„чортъ ли видалъ, чтобы попа въ домъ призывать! — на то есть церьковь! когда бы ты захотѣлъ, такъ бы пошелъ туда — кувыркался, какъ хотѣлъ,—ты меня до смерти перепугалъ“ [237].

„Тогда былъ воскресный день. Въ девять часовъ утра ревъ большаго колокола сталъ призывать правовѣрныхъ къ литургіи; набожный мой родитель и я направили свои стопы ко храму Господню“ [238].

Неонила жалуется, что присутствіе священника отбиваетъ ей аппетитъ: „я не могу ѣсть, когда сижу возлѣ попа, который безпрерывно преподаетъ мораль... Проповѣди сіи, наполненныя сухими правоученіями, годятся для старой барышни Добродушевой, которая безпрестанно читаетъ Юнга, „Путь къ спасенію“ и подобныя симъ книги, и такая же меланхолическая головка, какъ нашъ попъ.“ [239].

Въ одномъ романѣ встрѣчаемъ мы наставленіе отца духовнаго молодой женщинѣ, которая страдаетъ безплодіемъ.

„...по множеству лежащихъ кучами книгъ догадывался я, что тутъ надлежало обитать ученому; по по толстому брюху, красному носу и по потливому запаху узналъ я, что то—учитель душъ. Въ семъ увѣрился я наиболѣе, когда увидѣлъ, что онъ бѣдную грѣшницу поражалъ жестоко въ совѣсть. Я преклонилъ съ прилѣжаніемъ мое ухо, и услышалъ, что главнѣйшее ея преступленіе состояло въ томъ, для чего она, бывъ пригожею женщиною, по сихъ поръ не имѣетъ дѣтей, и не разумѣетъ, какъ разбудить дремлющаго своего супруга. Упрекая ее за безплодіе, онъ говорилъ, что безплодіе — грѣхъ на радость дьяволу, убѣждалъ слушаться его, указывалъ на обиліе дѣтей у сосѣдки, которая его слушалась. „Я имѣлъ у себя довольно таковыхъ упрямицъ, однакожъ уговорилъ ихъ и принудилъ слѣдовать моему совѣту, который избавилъ ихъ отъ таковаго стыда. Я въ должности моей человѣкъ весьма скромный... Ты разумѣешь меня, чадо мое, продолжалъ онъ, потрепавъ ее по плечу, идя съ миромъ, ибо теперь я опасаюсь моей жены, которая всѣхъ приходящихъ ко мнѣ молодыхъ женщинъ подслушиваетъ и, по выходѣ оныхъ, великія мнѣ творитъ пакости“ [240].

По уходѣ „грѣшницы“ въ комнату врывается жена „учителя“.

„О, ты скверной брюханъ, вскричала она, простирая руки къ его бородѣ, и, какъ видно по всѣмъ обстоятельствамъ, желая оную поубавить: „ты не доволенъ мною? Въ томъ то твоя скромность, что ты разрѣшаешь неплодіе чужихъ домовъ!“ Послѣ долгой перебранки онъ схватилъ большую книгу, бросилъ оную въ голову своей супругѣ, сказавъ: „изчезни, сатана!“ Сіе имѣло дѣйствіе: обидчица побѣжала...“ Жрецъ заперъ за собою двери“ [241].

„Священникъ съ двумя людьми своими сѣлъ и сталъ опоражнивать столь прилѣжно рюмки съ водкою, что скоро сдѣлался веселымъ...“ У него даже борода была облита „изобильными источниками веселія“. Могушкинъ вступаетъ съ священникомъ въ бесѣду; потомъ затѣвается у нихъ споръ, ссора... Священникъ сталъ требовать, чтобы М. извинился на

колѣняхъ. „Требованіе сіе вселило въ голову мою, какъ молодому дворянину, и такъ уже нѣсколько разгоряченному отъ вина, такой жаръ, что посыпались изъ глазъ моихъ искры". Священникъ ударилъ М. по головѣ палкой, а М. его застрѣлилъ изъ пистолета [242].

Особенно рѣзкія нападки направлены были противъ монаховъ.

„Живутъ плотскіе Ангелы въ желанныхъ утѣхахъ, пока обуявшее суевѣріе допуститъ царствовать безплодной праздности; пока не водворится въ человѣчествѣ безпристрастный свѣтильникъ ума, снабдѣнный непреложною благодатію Всесильнаго Бога, пока, говорю, просвѣщеніемъ не раздрана будетъ завѣса невѣжества, и не сбросится постыдная для рода человѣческаго личина..." [243].

Стоитъ припомнить вольтеровскаго монаха, который мечталъ о томъ, чтобы поджечь свою обитель и поскорѣе сдѣлаться туркомъ—и мы увидимъ въ одномъ русскомъ монахѣ нѣкоторое сходство съ нимъ.

„Я—монахъ, отвѣтствовалъ онъ, обители Святаго Вавилы". Разговорившись, онъ признается, что монашескій чинъ ему не подъ силу. „Что́жъ касается до почитанія истиннаго моего Бога, то я во грѣхахъ моихъ имѣю всегда къ нему прибѣжище и прошу отъ сокрушеннаго сердца, чтобъ избавиться мнѣ отъ сего чина, котораго сносить, по совѣсти сказать, силъ моихъ не достаетъ!" „Когда онъ увидѣлъ, что мы больше ему не непріятели, тогда довольно ласковыми словами попросилъ теплаго чаю съ горячею водкою" [244].

Въ одномъ романѣ разсказана живая сценка, какъ въ монастырѣ, „послѣ келейной трапезы", монахи хвастаются своими амурными похожденіями. Настоятель, оказывается, всѣхъ превзошелъ: онъ —

„монастырскіе доходы дѣлитъ на три части — одну употребляетъ на храмъ, другую беретъ себѣ на собственныя свои нужды, третью тратитъ на содержаніе нѣкотораго числа благородныхъ дѣвицъ" [245].

Веселая жизнь въ монастырѣ изображается неразъ, правда, мимоходомъ [246].

Разсказы о похожденіяхъ монаховъ внѣ стѣнъ монастыря тоже встрѣчаются часто. Всѣ они проникнуты самымъ рѣзкимъ осужденіемъ [247]. Напримѣръ:

Едва мужъ уѣхалъ, къ женѣ явился „плотный чернецъ"; ...гость доказалъ, что противящіеся съ свѣтомъ не всегда (только) перебираютъ чотки" [248].

Приведенныхъ примѣровъ, думаю, вполнѣ достаточно, чтобы доказать, какое, скажу, ироническое отношеніе къ духовенству появилось у русскихъ людей, освѣщенныхъ свѣтомъ французскаго разума. Можно, безъ преувеличенія, сказать, что за грѣхи католическаго духовенства расплачивалось наше, по существу своему, вовсе не столь опасное для „просвѣщенія вѣка". Окунувшись въ

эту атмосферу высмѣиванья и глумленія, чувствуешь себя во власти Вольтера, съ его статьями о „фанатизмѣ“, съ его отношеніемъ къ чудесамъ и къ служителямъ алтаря. „Ecrasez l'infâme“— вотъ, его кличъ, который прозвучалъ и надъ далекой Россіей!.. Если критическое отношеніе къ духовенству созрѣло въ народѣ уже задолго до XVIII вѣка, то теперь оно нашло себѣ опору въ раціоналистической философіи интеллигентнаго общества.

Въ повѣстяхъ Вольтера встрѣчаемъ мы неразъ выраженіе сочувствія къ людямъ малымъ, которыхъ угнетаютъ сильные. Такъ, въ одной изъ своихъ статей онъ возсталъ на защиту крестьянъ, которыхъ обманомъ закрѣпостили монахи, въ другой онъ сказалъ энергичное слово за негровъ, которыхъ угнетали европейцы, эксплуатируя ихъ трудъ на своихъ американскихъ плантаціяхъ.

Конечно, Вольтеръ одинъ изъ первыхъ заговорилъ объ этомъ,— и его рѣчь имѣла большой успѣхъ,—разрослась цѣлая литература по этому поводу, которая выдвинула, между прочимъ, у насъ Новикова, Радищева... Въ русскихъ романахъ не могло не отразиться это настроеніе лучшихъ людей XVIII вѣка. И вотъ, русскіе романисты заговорили о тяжеломъ положеніи крестьянъ [249], о „желѣзныхъ звеньяхъ невольническихъ цѣпей“ [250]. При чтеніи романовъ XVIII в. встрѣтилось намъ нѣсколько отвратительныхъ образовъ, обрисованныхъ съ нескрываемымъ негодованіемъ. Одна помѣщица, „злая сатана“ —

„раздѣвъ дѣвку донага“, мучила, сколько хотѣла. Дѣвка перестала стонать“ [251].

Какой-то помѣщикъ, въ пылу гнѣва, всѣхъ „дралъ немилосердно кошками“, не разобравъ вины [252].

Другой собакъ кормилъ мясомъ, а людей — овсяной кашей, утверждая, что отъ мяса слуги „разжирѣютъ и забудутъ свою должность“ [253].

Интеллигентная и образованная N. жестока со своей дѣвкой за малую неисправность [254].

Отецъ одного молодого дворянина требуетъ, чтобы онъ пересѣкъ крѣпостныхъ слугъ за то, что не они, а посторонній человѣкъ спасъ его отъ огня [255].

Воспитаніе молодымъ людямъ давалось такое, что они съ дѣтства привыкали обижать крестьянскихъ дѣтей [256], съ дѣтства въ нихъ вселялось убѣжденіе, что съ крестьянами можно дѣйствовать „съ принужденіемъ“ [257].

И вотъ, предъ нами нѣсколько юношей, которые смотрятъ на своихъ крѣпостныхъ, какъ на животныхъ, — нѣкоторые изъ нихъ, быть можетъ, и не дерутъ крестьянъ, и не истязаютъ, но спокойно обременяютъ ихъ податями и налогами.

Такъ одинъ помѣщикъ,—

„живучи въ древней столицѣ, во всякихъ роскошахъ и великолѣпіи, пріѣзжалъ каждый годъ въ ихъ деревню; каждый годъ онъ отягощалъ ихъ участь новыми налогами".

Другой продаетъ крестьянъ въ рекруты, или на „выселеніе" [258]... Сцены разлуки рекрута съ семьей, или крестьянъ съ родной, отцовской землей—особенно нѣсколько разъ встрѣчаются въ романахъ XVIII вѣка [259]. — Какой-то баринъ продалъ всѣхъ крестьянъ „на вывозъ", и въ деревнѣ—

„всѣ говорили съ неизъяснимымъ сокрушеніемъ, что ихъ продали на вывозъ,—ихъ поведутъ на поселеніе въ дикія, пустыя степи — въ мѣста, ихъ прадѣдами неслыханныя, — куда хищный вранъ утлыхъ костей человѣческихъ никогда не запашивалъ. Старики, взрослые, жены, дѣти—всѣ обливались горькими слезами. Ахъ! можно ли изобразить тогдашнее смятеніе ихъ деревни?" [260].

Одинъ помѣщикъ такъ разсуждалъ:

„чтобъ поощрить ихъ къ трудолюбію, надобно больше нуждъ; а это тогда случится, когда будешь каждый годъ надбавлять оброкъ и отнимать у нихъ все лишнее" [261].

Другой, „по глупому высокомѣрію", почиталъ „подлостью глядѣть на бѣднаго и на мужика" [262].

Вотъ и *есть* случаи въ романахъ, изображающіе „дурныхъ помѣщиковъ". Это очень характерно, такъ какъ съ вышеперечисленными мрачными картинами можно сопоставить подавляющіе числомъ образы добродѣтельныхъ людей XVIII-го вѣка, гуманныхъ и даже восторженно относящихся къ „мужику".

„Жалко очень, прервалъ В., что ты не былъ тогда на свѣтѣ, когда Богъ творилъ міръ, а то бы ты могъ ему присовѣтовать, чтобы большихъ баръ сотворилъ онъ нѣмыми, слѣпыми и глухими, дабы они не унижали себя тѣмъ, что смотрятъ на бѣднаго мужика, говорятъ съ нимъ и слышатъ, что иной земледѣлецъ умнѣе разсуждаетъ самаго знатнѣйшаго вельможи; да, да, правду сказать, что ты тогда и присовѣтовать сего не могъ, ибо Богъ сотворилъ только добродѣтельнаго человѣка, а не знатнаго и гордящагося самимъ собою барина" [263].

„Простой крестьянинъ почтеннѣе въ глазахъ моихъ развращеннаго князя" [264].

„Крестьянинъ", „пахарь", „земледѣлецъ",—всѣ сіи три названія, по преданію древнихъ писателей, въ чемъ и новѣйшіе согласны, означа-

ютъ главнаго отечеству питателя во время мирное, а въ военное—крѣпкаго защитника, и утверждаютъ, что государство безъ земледѣльца обойтися такъ, какъ человѣкъ безъ головы жить, не можетъ [265].

Нѣкоторые были принципіально противъ крѣпостничества. Когда одному изъ героевъ даютъ невольниковъ, онъ заявляетъ:

„невольниковъ имѣти не хощу; но, пріемля отъ васъ оныхъ, разрѣшу ихъ узы и учиню ихъ сотрудниками токмо моими. Рабъ не долженъ принадлежать мудролюбцу, и права человѣчества не дозволяютъ намъ лишать свободы нашихъ ближнихъ“ [266].

Другіе признавали необходимость рабства, но смягчали его тяжесть гуманнымъ обращеніемъ.

„Гдѣ есть общежительство, тамъ (не) можетъ быть безъ рабства, но состояніе господъ и подданныхъ не можетъ быть щастливо, естьли не будутъ стараться первые не показывать, что они господа, а вторые—чувствовать, что рокъ опредѣлилъ имъ быть рабами“ [267].

Впрочемъ, судя по романамъ, большинство дворянъ пріѣзжало въ деревню съ самыми благими желаніями—устроить жизнь мужика спокойно и счастливо. Одинъ разсуждалъ,—

„Развѣ я для того только произведенъ на свѣтъ сыномъ знатнаго господина и богатымъ, что бы во зло употреблять права благороднаго человѣка; чтобы надъ достоинствами моего отца и трудами, пріобрѣтенными, я смѣлѣе бы могъ исполнять мое неистовство...“ [268].

„Я не привыкла съ радованіемъ смотрѣть на ровныхъ мнѣ, стенящихъ подъ моимъ игомъ; и—не изъ тѣхъ городскихъ госпожъ, о коихъ слыхала, что они издерживаютъ на прихоти свои всѣ тѣ подати, кои кровавымъ потомъ бѣдной пахарь достаетъ, ни мало не подумавъ о томъ, какимъ тяжкимъ трудомъ безчеловѣчной сей оброкъ пріобрѣтается“ [269].

Въ одномъ изъ романовъ изображена картина блаженства крѣпостныхъ подъ управленіемъ добраго помѣщика. Графъ милостивъ къ своимъ крестьянамъ,—и потому

„Спокойствіе изображено на ихъ лицахъ. Графъ не похожъ на тѣхъ господъ, которые истощеваютъ имѣніе на сады; пруды не стоятъ ему, какъ многимъ, нѣсколькихъ тысячъ рублей и раззоренія поселянъ. Нѣтъ богатыхъ мостовъ, на которыхъ бѣдные просятъ милостыни... Оброкъ беретъ онъ произведеніями земли, платя за оныя по справочнымъ цѣнамъ, и при томъ толь малъ, что они сами то объявляютъ. Пришедшіе въ убожество не отъ лѣности получаютъ отъ владѣтеля своего всякое вспоможеніе. Учрежденъ имъ судъ сельскій, въ которомъ отличившіеся лѣтами, прилѣжаніемъ и свойствами душевными надзираютъ строго надъ поведеніемъ другихъ. Графъ опредѣлилъ довольное количество денегъ, на которое покупается рогатый скотъ, пахотныя орудія; и симъ то награждаются трудолюбивые оратаи. Усадебный священникъ, предсѣдя въ судѣ, долженъ, по наступленіи новаго посѣва, обще съ другими судьями записать раченіе и нравы жителей де-

ревни и, положа сразмѣрныя удовлетворенія, поднесть для утвержденія господину“ [270].

Такіе добродѣтельные помѣщики—не рѣдкость въ русскихъ произведеніяхъ XVIII вѣка [271].

Романисты не скупятся на изображенія тѣхъ трогательныхъ сценъ, когда облагодѣтельствованные крестьяне выражали свою признательность помѣщикамъ-благодѣтелямъ [272].

Мнѣ думается, что такое численное преобладаніе симпатичныхъ образовъ и утѣшительныхъ картинъ доказываетъ, что зло крѣпостничества въ XVIII вѣкѣ не было такъ обострено, какъ это представлялось въ тенденціозной литературѣ „обличенія“. Повѣсть, по самому существу своему, спокойнѣе, объективнѣе сатиры,—она захватывала жизнь шире, безъ выбора, безъ тенденціи, и потому ея отношенія къ жизни безпристрастнѣе.

Какъ бы тамъ ни было, но и умѣнье негодовать на отрицательныя явленія и явная симпатія къ гуманнымъ помѣщикамъ, фигурирующимъ въ романахъ, ясно доказываютъ намъ, что благотворное вліяніе освободительной философіи сыграло у насъ въ Россіи большую роль.

Отъ Франціи перешло къ намъ и преклоненіе передъ всемогущимъ „разумомъ“, доходящее до полнаго отрицанія чудесъ [273]. Одинъ изъ „чудотворцевъ“ такъ объясняетъ свои чудесныя дѣянія:

„Правда, что отъ меня не скрыты и всѣ тайны кабалистики, но всѣ важнѣйшія оныя дѣйствія основываются на причинахъ естественныхъ. Вѣрь мнѣ, что вся сила невидимыхъ духовъ не властна ни мало нарушить теченіе и порядокъ природы. Сами Боги никогда не употребляютъ могущество свое къ преобращенію дѣйствіи ея; ибо созданное ими единожды, не должно никогда быть нарушаемо. Все, что намъ кажется чрезвычайнымъ, есть только слѣдствіе человѣческаго разума. Люди, вникающіе во испытаніе естества, доходятъ во ономъ до начальныхъ причинъ, и чрезъ сіе предузнаютъ имѣющее случиться, употребляютъ таковые случаи и слѣдствіями удивляютъ людей столько, что бываютъ отъ нихъ считаемы за волшебниковъ. Правда, что обладаніе невидимыми духами много способствуетъ къ дѣйствіямъ чудеснымъ“ [274].

Необходимо изслѣдовать „уставы естества“, ничему не вѣрить, все освѣщать свѣтомъ знанія, „упражнять хотя по немногу свои умы посильными наблюденіями и изслѣдованіями“ [275] — говоритъ одинъ изъ россійскихъ раціоналистовъ-повѣствователей, обличая и высмѣивая суевѣріе и невѣжество русскаго человѣка, испорченнаго дурнымъ воспитаніемъ.

И вотъ, руководясь „разумомъ“, русскіе люди XVIII вѣка доходили даже до соціалистическаго взгляда на имущество:

„Всякое наше излишество есть доля, у неимущаго похищенная, и всяческое имущество есть вещь, въ залогъ намъ, или за наши заслуги даемая, или по случаю намъ доставленная, которую, по строгому сужденію нашей совѣсти, ко источнику ея возвращать мы обязаны“ [276].

Появились у насъ даже курьезные разбойники—уравнители состояній. Быть можетъ, они существовали только въ фантазіи писателя—тѣмъ не менѣе, и фантазія эта любопытна.

„Два дни я разсуждалъ о семъ разбойникѣ и не зналъ, какъ бы мнѣ его наименовать; ибо мнѣ казалось, что добродѣтель его превышала его пороки. Онъ отнималъ у богатыхъ половину ихъ имѣнія и сію часть дѣлилъ на двое: одну оставлялъ себѣ, а другую отдавалъ бѣднымъ людямъ. Обиженные имъ не столько на него негодовали, сколько награжденные имъ его благодарили. Мнѣ показался онъ новымъ Философомъ“ [277].

Преклоненіе XVIII-го вѣка передъ „природой“ захватило и русскихъ людей. „Уставы природы“ для многихъ оказались выше „уставовъ человѣческимъ“, которые, въ ихъ глазахъ, были „тиранническимъ насиліемъ самой природы“. „Простота естества“—увлекала нашихъ учениковъ Руссо. Природа воспѣвалась ими, какъ зеркало Творца.

„Просвѣщая мой разумъ, возвышая мою душу къ горнему умозрѣнію, онъ предъ юное мое понятіе представлялъ зрѣлище природы, какъ сущее зерцало неисповѣдимыя силы и премудрости всемогущаго существа, описывая красоту и дѣятельность различныхъ веществъ, прославлялъ предо мною сію художественную десницу, которая все то изъ ничего привела въ существованіе,—и такими легкими стезями приводилъ онъ меня къ познанію непостижимыхъ истинъ“.

Природѣ посвящались цѣлые гимны: природа именовалась „матерью всѣхъ вещей“, „царицею стихій“, „начальницею временъ“, „образомъ величія боговъ и истины“,—

„ея вседѣйственность наполняетъ всю вселенную; но она почитаема подъ разными видами, именами и въ разныхъ обрядахъ! Фригійцы ее называютъ Пессинонтійскою матерью боговъ, аѳиняне — Секропскою Минервой, кипріяне—Пафоскою Венерою, критяне — Прорѣчивою Діяною, одни—Цицерою, другіе—Юноною, нѣкоторые—Беноною, иные—Гекатою, а египтяне—Изидою“.

„Природа“ должна была быть школой для юношества.

„Итакъ, юноша, ты повинуйся мудрымъ, но нестрогимъ законамъ сей богини, и ты познаешь цѣну совершенства твоего, будешь добродѣтеленъ, пріятенъ, богатъ, любезенъ истинѣ. Природа, если ты ей будешь повиноваться, откроетъ тебѣ сію златую чашу таинствъ, напоитъ тебя мудростію и скоро приведетъ къ истинѣ: и ты, испытуя силу ея совѣтовъ, будешь жить и на небесахъ, и на землѣ“ [278].

Видя, что человѣчество своей цивилизаціей портитъ „на-

туру“ и ея „уставы“, наши романисты неразъ тосковали, повторяя вслѣдъ за Руссо:

„О, натура! натура! любимое человѣчества отечество; сколько въ тебѣ нынѣ измѣнниковъ, маетности твои разоряющихъ, находится! права твои совсемъ опровергнуты, потеряла ты свое естество! потеряла и власть! [279].

Вмѣстѣ со многими людьми XVIII-го вѣка увѣровали они въ „естественную религію“, въ „естественное право“.

Часто твердя объ этомъ „естественномъ правѣ“ [280], наши романисты наталкивались постоянно на житейскія несправедливости—„угнетеніе сильными немощныхъ, богатыми бѣдныхъ“—на такую вражду, какой не замѣчали они даже у „свирѣпыхъ животныхъ“ [281].

И вотъ, вопросъ о происхожденіи „зла“, о смыслѣ зла въ жизни человѣка—дѣлается у насъ однимъ изъ самыхъ жгучихъ и больныхъ. Одни примирялись со „зломъ“, признавали его „необходимость въ системѣ міра“ [282] и заключали, что „все разумно“ [283]. Другіе, признавая весь ужасъ „зла“, всетаки не теряли вѣры въ величіе человѣка, — [284] величіе, проявляющееся въ борьбѣ со зломъ [284].

„Когда человѣкъ, видя кровавыя рѣки, ліющіяся на горизонтѣ человѣчества и слыша гремящія вдали оковы, орошаетъ ихъ горькими слезами, облегчаетъ жребій нещастныхъ, дѣлается ходатаемъ себѣ подобныхъ, вторымъ Рейналемъ, вторымъ Говардомъ. (См. „Histoire philosophique et politique, par l'Abbé Raynal“). Его, по справедливости, назвать можно „ходатаемъ человѣчества“. О Говардѣ сказывать не нужно; кто не слыхалъ объ немъ“ [285].

„Даровать виновному прощеніе, превратить изъ врага въ искренняго друга и, вмѣсто злобы и вражды, насадить плоды любви и согласія, есть то, что, по истинѣ, можетъ назваться дѣйствіемъ великаго духа, и не ложнымъ блистаніемъ не померцаемой славы“ [286].

Это „лавированіе“ въ мірѣ зла приводило нѣкоторыхъ къ цѣлой системѣ міросозерцанія, — одинъ изъ героевъ выработалъ такую систему „всей жизни“:

„Человѣкъ—точка въ пространствѣ творенія—думалъ я,—муравей, ползающій на этой кучкѣ, которую именуемъ мы *землей*. Человѣкъ долженъ презирать блескъ тщеславія, ничтожность свѣтскихъ предпріятій, лживость людскаго мнѣнія и стараться только объ улучшеніи нравственнаго своего бытія. Служить человѣчеству и наслаждаться жизнію—вотъ, правила, въ которыхъ, по моему мнѣнію, заключается все благополучіе! Нѣжная подруга, тихой кругъ пріятелей, сельскія удовольствія, могутъ довольно наполнить душу нашу“... [287].

Конечно, всѣ подобные „прекраснодушные“ философы рѣши-

тельно возставали противъ войны, „исчадія тартара [288], мечтали о „вѣчномъ мирѣ“ [289], возставали энергично на всѣхъ, кто войну дѣлалъ подножіемъ своей славы [290].

Но далеко не всѣ остановились на оправданіи зла—многіе узнали и разочарованіе, даже пессимизмъ... Въ результатѣ, передъ нами нѣсколько мизантроповъ, довольно рѣзко очерченныхъ [291].

Одинъ изъ нихъ, напримѣръ, рѣшилъ оставить общество—онъ говорилъ. —

„Я ненавижу людей, но жалѣю объ нихъ. Притомъ, что дѣлать въ сообществѣ съ ними? сопряжены-ль они узами дружества, узами искренности? Нѣтъ. Корысть, тщеславіе раздѣляютъ сердца ихъ... Никто не мыслитъ о пользѣ общественной, никто не подаетъ руку брату своему, упадающему въ пропасть; всякой ограничилъ существо свое собственностью своею; всякой думаетъ только о себѣ. Но всего болѣе то всегда меня огорчало, что лицемѣрство, коварство и ухищреніе являются подъ священною личиною добродѣтели и нагло присвояютъ себѣ ея блескъ. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, не вижу я сей горестной картины бощества. Здѣсь живу я съ самимъ собою и не принужденъ обезьянить“... [292].

„Ненависть ихъ къ другу, жадность къ чинамъ и богатству, разныя гоненія и притѣсненія бѣдныхъ, несогласіе цѣлыхъ народовъ, войны и моровыя язвы“, — вотъ, что увидѣлъ другой въ жизни общества“ [293].

„Змѣи въ обществѣ подобныхъ себѣ лучше живутъ, чѣмъ люди! „какой стыдъ дѣлаетъ сіе ядовитое сонмище благородному человѣческому роду, въ которомъ кромѣ мятежей, распри, вражды, ненависти, обмановъ, наглостей и кровожелательства ничего почти не видно. Рѣдко проскакиваютъ такія души, которыя горятъ истинною любовію къ человѣческому роду“ [294].

„На свѣтѣ семъ всѣ, какъ повара, суетятся и готовятъ кушанье для другихъ, между тѣмъ, какъ сами хватаютъ съ такихъ блюдъ, которыя нечаянно попадаются къ нимъ подъ носъ“ [295].

Немудрено, что, отъ холоднаго презрѣнія къ жизни, многіе переходили къ безотрадному квіетизму—

„Тѣ могутъ почесться благополучными въ свѣтѣ, которыхъ никакія движенія не возмущаютъ, никакія страсти не безпокоятъ, никакія болѣзни не устрашаютъ, и, наконецъ, никакія радости не прельщаютъ и не успокоиваютъ. Ибо сей свѣтъ есть такая вещь, которой мы должны или смѣяться, или съ досадой смотрѣть на оную. Жизнь же наша—слѣпа, сомнительна, тлѣнна и скучна“ [296].

Я не думаю, чтобы все это были только фразы, заимствованныя изъ книгъ,—это были дѣйствительно-жизненныя „настроенія“—результатъ пробудившейся мысли и чувства... Вотъ почему „уединеніе“ отъ людей въ деревню, жизнь вдали отъ суеты свѣта—тоже

для многихъ не были только красивой фразой, а дѣйствительнымъ и единственнымъ исходомъ для облегченія наболѣвшей души. Отсюда и вѣчная идеализація деревенской тишины [297].

Многіе въ уединеніи, особенно на лонѣ природы, находили успокоеніе [298].

Но многіе не нашли и тамъ спокойствія духа [299], такъ какъ и тамъ сумѣли разсмотрѣть наличность того зла, отъ котораго они бѣжали, покидая города,—для нихъ даже жизнь среди пастуховъ оказалась отнюдь не идеальной—

„Зло царствуетъ самодержавно во всей вселенной, неизъемля никакого рода и состоянія. Удары онаго всюду одинаковы!“... „Коварство, зависть, насиліе и другіе бичи человѣческаго рода свойственны обитать между бѣдными хижинами... Они тиранническую власть свою по всюду распростираютъ. И здѣсь тожъ господствуютъ лесть, обманъ и насиліе“ [300].

Эти мрачныя мысли вели русскихъ людей къ мучительному вопросу, котораго не разрѣшилъ себѣ и Вольтеръ: „что такое жизнь?“ „зачѣмъ она?“ Отвѣты нашлись, но очень безотрадные: „Суета“ — вотъ, суть земной жизни!“ [301] — говоритъ одинъ изъ русскихъ „философовъ“.

„Жизнь есть сонъ“—говоритъ другой. „Щастливъ тотъ, кому сей сонъ пріятнѣйшія мечты являетъ, но тотъ еще щастливѣе, кого и мрачныя мечтанія не смущаютъ“ [302].

Жизнь есть „только сонъ, и тотъ изъ смертныхъ щастливѣе, который можетъ равнодушно грезить“ [303] — утверждаетъ третій. Жизнь — несчастье [304]; жизнь есть „брань съ грозящими бѣдствіями; жизнь есть море, волнующееся злоключеніями... Что же остается спасеніемъ? Смерть. Смерть освобождаетъ человѣка“. Въ ожиданіи же ея человѣкъ долженъ бодрствовать, такъ какъ „страшенъ сонъ совѣсти“ [305].

Вотъ почему „всякое благополучіе человѣка не что иное, какъ „мечта и привидѣніе“ [306], — человѣческая слава ничтожна, какъ онъ самъ [307]. Да и самъ человѣкъ — „непонятное твореніе“, — „сердце его подобно бурной стихіи. Какъ одна волна поглощаетъ въ ней другую, такъ и въ сердцѣ его одно желаніе пожираетъ другое“ [308].

Извѣрившись во все, многіе русскіе люди съ тоской невѣдѣнія думали о томъ, что ждетъ ихъ за гробомъ: ужасъ смерти былъ имъ хорошо знакомъ [309]...

Если я къ этимъ идеямъ прибавлю нѣкоторыя черты деизма, пробивающіяся въ русскихъ романахъ XVIII вѣка [310], выходки противъ увлеченія титулами [311], сомнѣнія въ правильности цер-

ковнаго лѣтосчисленія[312]—я отмѣчу всѣ идеи, заимствованныя нашими романистами отъ французскихъ философовъ.

Но увлеченіе Вольтеромъ и его міровоззрѣніемъ нашло у насъ и оппозицію. Русскій „вольтерьянецъ", этотъ поверхностный, легковѣсный ученикъ Вольтера, усвоившій лишь его скептицизмъ и свободоязычіе и ничего не взявшій положительнаго — былъ осужденъ безповоротно многими литераторами. Приведу нѣсколько примѣровъ.

Евгеній выбралъ себѣ друга Развратина, это — былъ юноша „посредственныхъ дарованій, посредственныхъ знаній и испорченнаго сердца: хвасталъ, какъ педантъ, пилъ, какъ ремесленникъ, игралъ на билліардѣ, какъ маркеръ, злословилъ, какъ богомолка, и умѣлъ съ несказаннымъ искусствомъ жить на щетъ другихъ. Онъ не наблюдалъ ни естественнаго закона, ни христіанскаго; вытвердилъ противъ послѣдняго нѣсколько возраженій, которыхъ ни когда не изслѣдовалъ, нѣсколько такъ же имянъ славныхъ вольнодумцевъ—и повторялъ тѣ и безпрестанно передъ глупами своихъ лѣтъ, спорилъ, съ кѣмъ могъ, и получалъ имя *бойкаго* отъ невѣждъ, не могущихъ опровергнуть его доказательствъ" [313].

Развратинъ привыкъ „считать за смѣшные предразсудки и нелѣпыя мнѣнія"—„богопочитаніе, честность и добродѣтели, кои отмѣчаютъ человѣка отъ животнаго": они были, въ его глазахъ, „химерою—свойствами, приличными однимъ простолюдинамъ". Развратинъ указываетъ, что любовь къ родителямъ смѣшна: „естьли они дали тебѣ жизнь,—говорилъ онъ—то не съ намѣреніемъ, но посреди взаимнаго своего наслажденія" [314].

Другой „вольтерьянецъ" выведенъ въ лицѣ какого-то русскаго вольнодумца, который, оказывается, тоже имѣлъ большое вліяніе на молодежь.—

Бездѣльниковъ укоряетъ своего развратнаго руководителя, который внушилъ ему безобразное отношеніе къ людямъ: „Вождь знаменитый утопающаго въ роскоши юношества! вкуси плодъ, достойный неусыпныхъ трудовъ твоихъ!" [315]—патетически восклицаетъ онъ и продолжаетъ: „развращено тобою сколько молодыхъ людей, могущихъ быть подпорою отечества! сколько несчастныхъ дѣвицъ впали тобою въ распутство! сколь многихъ семействъ разстроилъ ты согласіе! сколько супруговъ нарушили тобою вѣрность брака"... „Нѣтъ ничего у тебя священнаго. Честь почитаешь ты мечтою, ревность къ служенію—глупостію; самая Вѣра, питательница душъ, именуется тобою политическимъ узломъ, связующимъ слабые умы"... „Обманы, происки, насмѣшки,—вотъ, твоя наука жизни" [316].

Любопытно, что осужденіе одного изъ такихъ вольнодумцевъ вложено въ уста простого русскаго человѣка. Когда этотъ „вольнодумецъ" сталъ высмѣивать своего друга, пошедшаго на похороны отца, говоря, —

„Вотъ еще заблужденіе и пустосвятство сколь много владычествуютъ надъ людьми! зачѣмъ тамъ быть Виктору? Какъ будто итти на показъ и быть умному посреди дураковъ? И что̀ его мертвому отцу въ поклонахъ его за нужда"?

— то старый слуга осудилъ эти рѣчи:

„Какой грѣховодникъ!" подхватилъ престарѣлый рабъ, ожесточась, кивнувъ головой и плюнувъ на полъ. „Ну, что̀ же ты за человѣкъ, когда ты Бога не почитаешь? стало быть ты ни куда не годенъ — ни себѣ, ни людямъ! Кто противъ Бога дуренъ,—такъ тотъ и для всѣхъ не хорошъ. Будь ты хоть чернокнижникъ, но только, пожалуй, господина Виктора не развращай, — онъ для насъ очень нуженъ. Ты подлинно та шелудивая овца, которая все стадо портитъ" [317].

Но, кромѣ такихъ обличеній „русскаго" вольтерьянства, мы встрѣтимъ нерѣдко нападенія и на то французское свободомысліе, носителями котораго были у насъ, главнымъ образомъ, французы-гувернеры.

2.

Обращаясь теперь къ выясненію вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ русскій романъ XVIII в. отразилъ на себѣ *политическіе* интересы времени, я считаю необходимымъ, прежде всего, опредѣлить, какіе изъ западно-европейскихъ политическихъ романовъ были популярными въ эту эпоху у насъ.

Вопросъ о западныхъ политическихъ романахъ имѣетъ свою исторію [318]; отчасти этой исторіи касались и въ русской исторической литературѣ [319], тѣмъ не менѣе, огромная часть *русскаго* матеріала оказывается еще нетронутой.

Не входя въ детальное изученіе этого любопытнаго матеріала, я лишь задаюсь цѣлью опредѣлить въ русскомъ романѣ наличность идей и настроеній, свидѣтельствующихъ о томъ, что—1) русское общество, несомнѣнно, сильно было затронуто политическими мечтами времени—и 2) что русскій романъ XVIII в. былъ литературнымъ жанромъ, который выразилъ и эти мечты времени.

Для выясненія источниковъ, откуда распространились эти идеи въ русскомъ обществѣ, необходимо, прежде всего, обратиться къ западно-европейской литературѣ. Такимъ источникомъ оказывается, главнымъ образомъ, очень популярный у насъ, романъ Фенелона: „Приключенія Телемака" [320], отчасти „Персидскія Письма" Монтескье" [321] и нѣкоторыя другія произведенія. Первое произведеніе, цѣликомъ и въ отрывкахъ, появлялось въ русскомъ переводѣ 9 разъ, второе—4 раза.

Затѣмъ, по степени распространенности у насъ (число изданій)

слѣдуютъ: сочиненія Мора, учениковъ Фенелона, Рамзея, Террасона, Мармонтеля („Велисарій") и, наконецъ, Гольберга и Галлера [322]. Слѣдовательно, въ разной мѣрѣ, и эти сочиненія сыграли свою роль въ дѣлѣ политическаго воспитанія русскаго общества.

Сюжетомъ и многими формальными сторонами романъ Фенелона [323] примыкаетъ къ поэмамъ Гомера и романамъ псевдоклассиковъ,—содержаніемъ же своимъ онъ былъ цѣликомъ обязанъ тому общественному настроенію, которое ярко сказалось во Франціи въ концѣ царствованія Людовика XIV. Богатое всевозможными опытами, это правленіе кончилось крахомъ. Объяснить причины этого краха пытались и проповѣдники, и писатели...[324] Между послѣдними оказался и Фенелонъ. Воспитатель принца, онъ дерзнулъ въ названномъ романѣ своему державному ученику открыть глаза на недостатки царствованія угасающаго короля.

И вотъ, въ длинномъ рядѣ правителей, дѣйствующихъ въ романѣ, выведены, прежде всего, отрицательныя стороны „самовластья".

„Государи, старающіеся токмо вселить къ себѣ ужасъ и угнетать своихъ подданныхъ для учиненія ихъ вящше покорными, суть бичи рода смертныхъ" [325].

„Кто хочетъ быть владыкою людей изъ одного самолюбія, имѣя въ виду только собственную власть, удовольствія, славу,—тотъ—злодѣй и тиранъ, тотъ—бичъ рода смертныхъ?" [326].

„Злый сей Государь всегда подверженъ плачевной смерти, даже въ самыхъ неприступныхъ чертогахъ, среди тѣлохранителей своихъ" [327].

Власть царя, подчиняющагося только своей волѣ, Фенелонъ называетъ „несправедливой и наглой" [328].

Души царей, „злоупотребляющихъ властью", Фенелонъ отправилъ въ адъ [329].

„Вокругъ тѣхъ Государей и тогда еще носились, какъ въ темнотѣ, ночныя птицы, лютыя Подозрѣнія, пустыя Безпокойства, Сомнѣнія, карающія царей за ихъ жестокость къ народамъ, ненасытимая Алчность къ богатствамъ, ложная всегда мучительствующая Слава и подлая Роскошь" [330].

Относительно помощниковъ государя-самодержца говорится въ романѣ слѣдующее:

„Помысли, что, чѣмъ болѣе гдѣ неограниченна власть Самодержца, тѣмъ меньше тамъ могущественны Государи, такъ какъ „помощники" ихъ все расхищаютъ, испровергаютъ и одни обладаютъ всѣмъ Государствомъ... Государь, не могущій безъ подвластныхъ ему людей быть Государемъ и возвеличивающійся посредствомъ единаго народа своего, самъ уничижается, мало-по-малу".

Это безсиліе царя самодержавнаго, окруженнаго дурными придворными—нераз изображается Фенелономъ:

„Увы! чему не подвержены Государи!—самые мудрые изъ нихъ часто уловляются въ сѣти обмана! Злоухищренные и корыстливые люди ихъ окружаютъ... Добродѣтельные ожидаютъ, чтобъ ихъ искали, а Государи искать ихъ не умѣютъ. Злые, напротивъ того, наглы, коварны...“ [331].

Тѣмъ сильнѣе это зло при дворѣ „порочнаго“ Государя. Такъ, напр., дурной царь Пигмаліонъ —

„былъ всегда окружаемъ людьми корыстолюбивыми, злоухищренными, готовыми исполнить всѣ неправедные и лютые уставы его“ [332].

Эти „придворные“—всегдашняя мишень для нападеній Фенелона: онъ ихъ именуетъ „льстецами“ [333], доносщиками, лицемѣрами... На нихъ полагаться нельзя,—вотъ почему, по его мнѣнію, царю необходимо, хотя и очень трудно, найти „мудраго друга-совѣтника“ [334]. Растлѣвающее значеніе придворной роскоши также отмѣчается нераз въ романѣ: роскошь портитъ народъ, такъ какъ идетъ отъ двора; она заражаетъ всѣхъ, — даже голодныхъ бѣдняковъ [335].

Между тѣмъ, всякій такой показной блескъ стоитъ очень дорого государству—

„Городъ процвѣтаетъ насчетъ деревни. Истинное благосостояніе не въ блескѣ города, а въ богатствѣ деревни [336].

Если безпощадно обличалъ Фенелонъ „дурныхъ“ правителей, то онъ не находилъ словъ для восхваленія „хорошихъ“: счастливъ—

„...народъ, мудрымъ Царемъ управляемый! Онъ живетъ въ изобиліи, живетъ щастливо и любитъ зиждущаго его благоденствіе“ [337].

Счастливъ и самъ царь,—

„зиждущій благоденствіе народовъ и свое щастіе обрѣтающій въ одной добродѣтели“ [338].

Среди счастливаго народа любимый царь въ безопасности—

„Сезострисъ былъ ограждаемъ безопасностію посреди безчисленнаго сонма народовъ, подобно чадолюбивому отцу, окруженному въ своемъ домѣ семействомъ“ [339].

„Не нужно ему предохраняться для безопасности своей жизни: онъ всегда огражденъ надежнѣйшею стражею—любовію народа“ [340].

Тѣмъ не менѣе, даже для „хорошаго“ царя, правленіе—тяжелое бремя: „царь долженъ быть рабомъ народа“ [341].—

„ежели бѣдственно рабство, то и царствованіе не менѣе-жъ бѣдственно; ибо оно есть ложно-блистательная неволя“ [342].

Поэтому искать царства — безуміе. Частная жизнь — большое счастье [343]. „Несчастнѣйшій изъ людей“ — это царь. Иногда онъ полонъ лучшихъ желаній, но не всегда онъ въ силахъ ихъ осуществить одинъ —

„Государь, мечтающій быть блаженнымъ, ввергая въ бѣдствія другихъ людей, сугубо нещастенъ ... своимъ ослѣпленіемъ: не вѣдая своего нещастія, не можетъ онъ избавиться отъ онаго и трепещетъ даже познать его. Истинна чрезъ сонмъ ласкателей проникнуть къ нему не можетъ... Не знаетъ онъ своихъ должностей; не чувствовалъ никогда веселія, обрѣтаемаго въ твореніи блага" [344].

Рядъ наставленій даетъ Фенелонъ устами Ментора принцу, котораго ждетъ корона:

„Люби народъ, какъ чадъ своихъ, обрѣтай свое удовольствіе во взаимной его любви къ себѣ" [345].

Долгъ Государя —

„быть Отцемъ и Пастыремъ... Но управлять народами въ противность ихъ желаній, есть ввергать себя въ величайшее нещастіе" [346].

„Долгъ его извнѣ быть защитникомъ своего отечества, предводительствуя войскомъ; внутри — быть Судіею народовъ и творить ихъ добрыми, мудрыми, блаженными [347]. Не для него самого Боги вручили ему державу, но для того единственно, да будетъ онъ блюстителемъ народа. Народу обязанъ онъ жертвовать всѣмъ своимъ временемъ, всѣми попеченіями, всею любовью [348]. Люби народъ свой; гнушайся лестію, знай, что ты будешь великъ, по мѣрѣ кротости и мужества въ побѣжденіи страстей своихъ" [349].

Энергично возстаетъ онъ на защиту свободы слова, особенно въ средѣ, окружающей царя [350].

Сторонникъ „сентиментальной политики", внѣшней и внутренней, одинъ изъ предшественниковъ „прекраснодушной" литературы, онъ проповѣдовалъ гуманность въ отношеніи къ врагамъ и преступникамъ.

Но, кромѣ всѣхъ этихъ стараній улучшить культурное общество, установить правильность взаимоотношеній между правителемъ и народомъ, Фенелонъ нарисовалъ намъ нѣсколько „утопій",— государствъ, въ которыхъ такъ разумно устроена политическая жизнь, что нѣтъ надобности разбираться въ жгучихъ вопросахъ правленія. Онъ восхищается счастьемъ гражданъ одного такого счастливаго государства —

„Не нужны имъ Судіи. Даетъ имъ судъ собственная совѣсть. Всѣ блага ихъ общи. Древесные плоды, земныя произрастенія, млеко отъ стадъ ихъ составляютъ обильныя богатства [350].

„Нѣтъ у нихъ имуществъ, которыя бы должно было защищать отъ своихъ ближнихъ. Они всѣ взаимно себя любятъ братскою, ничѣмъ не возмущаемою, любовію. Всѣ они свободны, всѣ равны..." [351].

Крови они не проливаютъ, ничьей власти надъ собой не признаютъ [352]. —

„Какое буйство! говорятъ они, полагать свое щастіе въ управленіи людей, коихъ правленіе наносить толь многія скорби, естьли кто вос-

хощетъ управлять ими съ благоразуміемъ и правдою! Но почто утѣшаться правленіемъ людей противъ ихъ воли? Единое мужу мудрому сродное дѣло, есть съ безропотною покорностію принять на себя иго правительствованія безмятежнымъ народомъ, которое возлагаютъ на него Боги, или самъ народъ, просящій его быть Отцемъ и Пастыремъ своимъ" [353].

Такъ же счастливы жители о. Крита. Они достигли яснаго пониманія общественныхъ и государственныхъ отношеній. —

„Здравіе, сила, мужество, тишина, союзъ дружбы между семействами, свобода всѣхъ гражданъ, избытокъ въ вещахъ нужныхъ, презрѣніе излишества, навыкъ ко трудамъ, омерзѣніе къ праздности, поревнованіе въ добродѣтели, покорность законамъ и страхъ ко праведнымъ Богамъ—суть величайшія сокровища Критянъ" [354].

„Я вопросилъ Ментора: „въ чемъ состоитъ Царская власть?" Онъ отвѣчалъ: „Государь имѣетъ безпредѣльную власть надъ народомъ, но надъ Государемъ законы имѣютъ безпредѣльную власть. Могущество его неограничено въ твореніи блага, но лишенъ онъ средствъ зло дѣлать. Законы вѣрныя ему, народъ, какъ залогъ всего драгоцѣннѣйшій, обязываютъ его быть отцемъ своихъ подданныхъ, — требуютъ, чтобъ одинъ человѣкъ созидалъ своею мудростію и кротостію блаженство многихъ людей; и не желаютъ, дабы толь многіе люди служили бѣдностію и подлымъ раболѣпствомъ къ наслажденію гордости и нѣги одного человѣка" [355].

Таковы, въ общихъ чертахъ, наиболѣе характерные мотивы политическаго міровоззрѣнія Фенелона. Отъ нихъ, конечно, далеко до страстныхъ рѣчей французскихъ философовъ и публицистовъ конца XVIII в., но, при всей умозрительности этого міросозерцанія, въ немъ уже намѣчены всѣ элементы политическихъ утопій Руссо и его продолжателей.

Въ романѣ Монтескье: „Персидскія письма" обострены нѣкоторыя изъ этихъ идей: осужденіе культурной жизни вообще, Франціи — въ частности, представляетъ собою главное содержаніе романа. По тону, произведеніе Монтескье занимаетъ среднее мѣсто между повѣстями Вольтера, колкими, злыми—и спокойнымъ твореніемъ Фенелона: съ первымъ авторомъ Монтескье связываетъ юморъ, мѣстами пронизывающій его произведеніе яркими лучами,—со вторымъ—наклонность къ теоретическому разрѣшенію вопросовъ.

Безпощадно, по вольтеровски, нападалъ Монтескье на фанатизмъ, суевѣрія своего времени, на духовныхъ лицъ [356], безъ различія вѣроисповѣданія,—на всѣ остатки средневѣковья въ новой раціоналистической Европѣ. Съ неменьшей энергіей нападаетъ онъ и на политическіе недостатки въ управленіи страной: онъ осуждаетъ французскаго короля, который пользуется обожаніемъ

толпы для своихъ личныхъ цѣлей [357], нападаетъ на вельможъ, грабящихъ народъ [358], на придворныхъ, которые толпой стоятъ у трона и закрываютъ собою народъ отъ глазъ короля [359].

Его возмущаетъ, что цари на счетъ народа содержатъ войска, пользуются ими для своихъ личныхъ выгодъ [360]; особенно энергичны его нападки на дурныхъ правителей [361]; онъ энергично стоитъ за ограниченіе власти [362], за свободу [363] и равенство [364] гражданъ, за отмѣну смертной казни [365]. Патріархальный строй жизни, утраченный культурной Европой, кажется и ему идеальнымъ. Онъ тоже не прочь рисовать политическія „утопіи" („Исторія Троглодитовъ").

Любопытенъ также его разсказъ о происхожденіи власти на землѣ: онъ разсказываетъ объ эгоизмѣ, какъ главномъ двигателѣ жизни первобытнаго человѣка, о жизни первобытнаго человѣка, о „войнѣ всѣхъ противъ всѣхъ" и, наконецъ, о постепенномъ проясненіи общественнаго сознанія и государства [366].

„Картина всевозможнаго лучшаго правленія, или Утопія" Томаса Мориса (sic) представляетъ собою, въ первой части, критику существующихъ безпорядковъ въ государственномъ европейскомъ управленіи. Устами философа Гитлоде, побывавшаго въ идеальномъ государствѣ „Утопіи", онъ рѣшительно высказывается противъ придворныхъ, играющихъ слишкомъ большую роль при европейскихъ государствахъ [367], противъ дворянъ-тунеядцевъ, которые пользуются плодами рукъ крестьянъ [368]; противъ корыстолюбія гражданъ, которые, въ цѣляхъ нажины, притѣсняютъ бѣдныхъ и слабыхъ [369], противъ бездѣльничества монаховъ [370], противъ налоговъ, отягощающихъ народонаселеніе [371]; энергично обличаетъ онъ дурныхъ государей [372], которые полагаются на министровъ, или богатѣютъ тогда, когда бѣднѣетъ народъ [373]; возстаетъ онъ противъ смертной казни [374].

Онъ проповѣдуетъ равенство всѣхъ гражданъ [375], высказывается противъ „собственности" [376]; въ „Утопіи" все недвижимое имущество принадлежитъ общинѣ [377]; управленіе, и гражданское, и церковное, основано на выборныхъ началахъ [378]; въ этомъ счастливомъ государствѣ деньги, золото и драгоцѣнности, чины и отличія не имѣютъ цѣны [379]; здѣсь царствуетъ умѣренное довольство жизнью [380]; и гражданская вольность, ограниченная патріархальнымъ складомъ общины [381], полная свобода совѣсти [382]: здѣсь нѣтъ пороковъ, проистекающихъ изъ неравенства.

Въ романѣ Терассона: „Геройская добродѣтель, или Жизнь Сифа" мы встрѣчаемъ обстоятельный разсказъ о фантастической судьбѣ египетскаго царевича Сифа. Его отецъ—дурной слабый царь: онъ живетъ только мыслями о собственномъ благополучіи; государствомъ управляетъ его жена, мудрая Нефта; она любитъ своихъ подданныхъ и служитъ имъ; воспитать сына поручаетъ она мудрецу-Амедесу, который, прежде всего, старается въ мальчикѣ воспитать „человѣка" вообще. И вотъ, просвѣтивъ его разумъ и сердце, онъ закаляетъ въ немъ духъ, подпер-

гач его таинственнымъ испытаніямъ въ „пирамидахъ". Это испытаніе сопряжено съ различными ужасами. Потомъ жрецы предписываютъ Сифу 80-дневный постъ, 18-дневное молчаніе, затѣмъ подвергаютъ строгому суду всю его прошедшую жизнь, наконецъ, задаютъ ему задачу—отвѣтить на три вопроса: 1) „Которая есть знатнѣйшая геройская добродѣтель? 2) Состоитъ-ли она въ преступленіи предѣловъ своей должности? 3) Герою посвящать славу свою,—благополучію ли отечества, или пользѣ всего человѣческаго рода?"—Сифъ выдержалъ благополучно всѣ испытанія и, по признанію египетскихъ мудрецовъ, сталъ твердой ногой на „истинномъ пути къ добродѣтели". Жажда знанія увлекаетъ его въ таинственный „подземный городъ" египетскихъ жрецовъ: здѣсь свой особый бытъ. — тутъ есть что-то въ родѣ „ада", гдѣ страдаютъ грѣшники — „Слезное поле" [353]; есть „Елизій" — что-то въ родѣ „рая" [354]. Сифъ узнаетъ о тѣхъ фокусахъ, которые примѣшиваются жрецами къ ихъ таинствамъ, въ цѣляхъ болѣе сильнаго воздѣйствія на умы непосвященныхъ [355]. Возвратившись на землю, Сифъ иными очами видитъ недостатки управленія Египта послѣ смерти его матери. Послѣ одного сраженія, въ которомъ онъ былъ раненъ, онъ скрылся и, подъ вымышленнымъ именемъ Шереза, отправился путешествовать вокругъ береговъ Африки на кораблѣ; попутно онъ улучшаетъ нравы дикихъ жителей, вездѣ смиряетъ властолюбивыхъ жрецовъ и придворныхъ, устраиваетъ лучшее правленіе и вноситъ просвѣщеніе. Наконецъ, онъ прибываетъ въ идеальное государство, основанное Атлантомъ. Потомъ Сифъ вмѣшивается въ дѣла Карѳагенянъ: наконецъ, возвращается неузнанный въ Египетъ, гдѣ царствуетъ его братъ: родина его въ опасности, такъ какъ съ нею воюетъ какой-то самозванецъ, принявшій на себя имя Сифа. Настоящій Сифъ помогаетъ брату, успокаиваетъ родину; ради брата отказывается отъ любимой женщины и трона и самъ удаляется къ египетскимъ жрецамъ.

Въ этомъ романѣ разбросано немало идей, имѣющихъ „политическое" значеніе: энергично возстаетъ авторъ противъ дурныхъ царей, которые не служатъ отечеству [356], или подчиняются постороннимъ вліяніямъ [357]; онъ возстаетъ противъ царей, ищущихъ суетной славы при помощи войнъ [358]; онъ враждебно относится къ честолюбивымъ и корыстолюбивымъ придворнымъ [359] и къ жрецамъ, коварно обманывающимъ невѣжественный народъ [360]. Онъ—противъ войнъ, особенно наступательныхъ [361], противъ обремененія подданныхъ налогами [362]. Онъ проповѣдуетъ любовь къ людямъ [363], стоитъ за равенство всѣхъ гражданъ [364], выскальзывается противъ рабства [365], требуетъ отъ царя служенія человѣчеству [366], и болѣе строгаго отношенія къ себѣ, чѣмъ къ другимъ [367]; онъ считаетъ необходимымъ, чтобы царская власть опиралась не на тиранію, а на любовь подданныхъ [368]. У дикарей отмѣняетъ онъ жестокіе законы [369], облегчаетъ участь невольниковъ; устанавливаетъ общее владѣніе имуществомъ [400]; врагъ суевѣрія [401], онъ вводитъ вездѣ истинное богопочитаніе [402]. Царство Атланта восхищаетъ его своимъ устройствомъ: здѣсь всѣ граждане пользуются полнымъ равенствомъ: рабовъ здѣсь нѣтъ [403]; государство имѣетъ видъ „единообщества и единосемейства" [404]; политикой жители не занимаются [405]; и царь, и жрецы у нихъ выборные [406]; главное за-

нятіе—земледѣліе [407], бѣдныхъ у нихъ нѣтъ, такъ какъ всѣ работаютъ [408].

Рамзей въ своемъ романѣ: „Новое Киронаставленіе“ 1765 г. дополняетъ, по его словамъ, „Киропедію“ Ксенофонта, который разсказалъ о жизни своего героя только съ сорокалѣтняго возраста. Рамзей разсказываетъ о жизни Кира съ 16 лѣтъ до сорока. Мать Кира, Мандана, мудрая и добродѣтельная женщина, строго воспитываетъ его, спасая отъ тлетворнаго вліянія придворной жизни. Она выбираетъ ему въ воспитатели мудраго Гистаспа. Въ цѣляхъ дальнѣйшаго образованія, юный царевичъ путешествуетъ по разнымъ странамъ, изучая нравы жителей, набираясь вездѣ мудрости: онъ посѣщаетъ мудрецовъ-Маговъ, живущихъ въ уединеніи и занимающихся божественными размышленіями [409]. Ихъ начальникъ Цороастръ (Зороастръ) учитъ царевича мудрости, научаетъ его восхищаться міроздаціемъ [410], внушаетъ ему отрицательное отношеніе къ безбожію, суевѣрію и вольнодумству [411], къ человѣческой гордости [412]. Потомъ Киръ попадаетъ въ Египетъ [413], знакомится съ чудесами этой страны, изучаетъ управленіе египетскихъ царей, основанное на соблюденіи законовъ, вникаетъ въ судопроизводство. У Ѳивскихъ мудрецовъ учится онъ разнымъ египетскимъ наукамъ [414]. Затѣмъ онъ ѣдетъ въ Спарту [415]; здѣсь интересуетъ его республиканское правленіе, нравы жителей и законы Ликурга: его поражаетъ равенство въ жизни спартанцевъ, умѣренность ихъ жизни,—но ему не нравится суровость ихъ быта и исключительно-военные интересы ихъ жизни [416], отклоняющіе жителей отъ „естества и справедливости“. Затѣмъ онъ попадаетъ въ Аѳины; здѣсь сближается съ Пизистратомъ и Солономъ. Пизистратъ доказываетъ ему, что хорошимъ управленіемъ можно справиться и съ „вольнымъ народомъ“, привыкшимъ къ своевольству и непостоянству [417]. Политическая жизнь Аѳинянъ его привела къ цѣлому ряду размышленій о трудностяхъ государственнаго управленія. Такъ, приходитъ онъ къ такому различію между естественнымъ и гражданскимъ правомъ: „первое, согласно всегда съ совершеннѣйшею справедливостью, а послѣднее бываетъ иногда въ слѣдствіяхъ, хотя и несправедливо, однако неизбѣжно къ предупрежденію смущенія и непорядка“ [418]. „Въ какомъ бѣдномъ мы, смертные, находимся состояніи: стараясь избѣжать ужасное зло народнаго правленія, подвергаемъ себя страху придти въ неволю, а удалившись отъ несносностей царской власти, подпадаемъ Анархіи“ [419]. Во всякомъ случаѣ „неограниченная всего гражданства власть“ кажется ему „несноснѣе самодержавства одного человѣка“ [420]. Въ общемъ, Аѳины понравились Киру своею культурностью и гуманностью своихъ узаконеній [421], но онъ покинулъ городъ, не увѣренный въ прочности политической жизни гражданъ [422]. Затѣмъ Киръ ѣдетъ на о. Критъ, гдѣ очень сближается съ Пиѳагоромъ и знакомится съ его ученіемъ объ единобожіи [423]. Пиѳагоръ доказываетъ ему безсмысленность вносить натуралиамъ въ религію, обожествлять природу [424]. Относительно государственнаго устройства Киръ приходитъ здѣсь къ убѣжденію, что всѣ формы правленія хороши, „когда токмо правительствующіе ничего не ищутъ, кромѣ народнаго блага“ [425]. Затѣмъ Киръ попадаетъ въ Финикію и въ Палестину. Въ Финикіи онъ изучаетъ постановку коммерческаго дѣла, въ Палестинѣ узнаетъ онъ, какъ евреи толкуютъ

вопросъ о происхожденіи зла, разрѣшая этотъ вопросъ на основаніи ученія о свободѣ воли [426].

Такимъ образомъ, во всѣхъ странахъ онъ съ одинаковымъ вниманіемъ относится къ жизни, и вездѣ учится той мудрости, которая понадобится ему, какъ будущему правителю. Для него выясняется идеалъ хорошаго царя, который является слугой отечества [427], владѣетъ своими страстями [428], умѣетъ выбирать хорошихъ совѣтниковъ. Нападеніе на льстивыхъ и корыстолюбивыхъ министровъ и придворныхъ [429], на коварныхъ жрецовъ [430], которые „изъ богослуженія дѣлаютъ поносную куплю" [431], часто встрѣчаются на страницахъ этого романа. Рѣшительно высказывается онъ противъ воинственности царей [432] и признаетъ допустимыми только войны „оборонительныя" [433]. Врагъ неограниченной деспотической власти [434], онъ нападаетъ и на охлократію [435] и на демагоговъ: въ лицѣ Амазія вывелъ онъ авантюриста, который коварно овладѣлъ симпатіями черни, прельстивъ ее своимъ либерализмомъ (вся власть принадлежитъ народу, всѣ люди равны, народъ воленъ въ избраніи царя и др.) [436]. Нападаетъ онъ на роскошь при дворѣ [437] и считаетъ вліяніе роскошнаго двора гибельнымъ для всего государства [438]. Онъ восхваляетъ уединеніе и жизнь вдали отъ города и двора [439]. Воспитаніе будущаго царя должно начинаться съ дѣтства [440]. Забота о сердцѣ, развитіе истины, доброты, трезвости ума и послушанія,—основаніе этого воспитанія.

Галлеръ въ своемъ сочиненіи: „Плоды трудовъ прозаическихъ" (1783 г.) въ двухъ романахъ изобразилъ идеальнаго правителя самодержавнаго, подъ именемъ Усонга, и правителя конституціоннаго, подъ именемъ Альфреда. Авторъ стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что для восточныхъ народовъ самая подходящая форма правленія—мудрый деспотизмъ, а для западно-европейцевъ—конституціонное устройство въ духѣ англійскомъ.

Усонгъ юношей путешествуетъ по свѣту: ѣдетъ въ Китай, потомъ въ Египетъ, въ Венецію, въ Турцію,—наконецъ, возвращается въ Персію и дѣлается мудрымъ монархомъ. Знакомство съ государственной жизнью восточныхъ царствъ приводитъ героя къ заключенію, что надо опасаться льстивыхъ и коварныхъ придворныхъ [441], избѣгать чрезмѣрнаго вліянія духовенства [442]; надо воздерживаться отъ проявленія крайностей деспотизма, при которомъ прихоти владыки нарушаютъ правосудіе [443] и благосостояніе подданныхъ. Рядомъ съ такой критикой недостатковъ чрезмѣрнаго деспотизма, въ романѣ вырисовывается образъ царя, политика котораго выражается въ теоріи „просвѣщеннаго абсолютизма": онъ — слуга отечества [444]; милосердъ и доступенъ подданнымъ [445]; онъ заботится о равновѣсіи власти и просвѣщеніи подданныхъ [446]; онъ покровительствуетъ торговлѣ [447] и долженъ заботится о разумной централизаціи власти [448]; онъ противъ войны [449] и смертной казни [450].

Въ романѣ, гдѣ героемъ является король саксовъ, Альфредъ, разсказана исторія тѣхъ политическихъ реформъ, которыя имъ введены на благо подданныхъ. Здѣсь говорится о судѣ присяжныхъ [451], о подчиненіи всѣхъ, даже духовныхъ, законамъ страны [452]. Мудрецъ Амундъ, совѣтникъ Альфреда, энергично возстаетъ противъ деспотизма само-

властія [453]; онъ говоритъ, что государства погибаютъ отъ деспотизма [454], что правитель-деспотъ — мучитель народа, и самъ, въ концѣ концовъ, дѣлается рабомъ своей власти и „долженъ трепетать самъ своихъ рабовъ-подданныхъ“ [455]. Амундъ требуетъ введенія демократическаго начала въ государственную жизнь: „всѣ люди, говоритъ онъ, имѣютъ равное право между собою въ блаженствѣ; чего ради государство должно непремѣнно учреждено быть такимъ образомъ, чтобъ гражданъ онаго было столько, сколько возможно“ [456]. Но мудрецъ возстаетъ противъ чрезмѣрности народовластія [457]; въ примѣръ, приводитъ республику запорожцевъ (!) въ которой видитъ воплощеніе безобразной вольности [458]. Мудрецъ совѣтуетъ Альфреду надѣлить простыхъ гражданъ землей [459], допустить ихъ, наравнѣ съ дворянами, къ участію въ судопроизводствѣ [460] и государственной жизни [461], чтобы не только дворяне, но и они могли контролировать жизнь родины.

Романъ Гольберга: „Николая Клима Подземное путешествіе“ (1762 г.) представляетъ собою сатиру на земныя увлеченія и мечты. Климъ путешествуетъ подъ землей и попадаетъ въ различныя государства; каждое изъ нихъ представляетъ воплощеніе различныхъ земныхъ мечтаній: государство Квасмо — страна полнаго покоя,—но здѣсь нѣтъ поэтому, ни горя, ни радости [462]; въ Маскаттѣ Климъ встрѣтилъ людей, незнающихъ труда—но они оказались несчастливы [463]; въ Каскомѣ онъ увидалъ жителей-философовъ, которые рѣшили, что „лучше мало учиться, нежели отъ излишней науки бѣситься“ [464]; въ „Землѣ белгрѣшныхъ“ всѣ жители оказались „дубками“, — ихъ невинность простиралась такъ далеко, что Климу показалось, что онъ въ настоящемъ „дубнякѣ, а не въ сообществѣ“ [465]; въ землѣ Ассаракъ жители надѣлены каждый семью головами,—оттого они всѣ большіе прожектеры [466]; въ странѣ Миколакъ боги были отмѣнены, а введены только законы, и отъ всевозможныхъ тяжбъ не было житья [467]; въ государствѣ Бракьематъ жители всѣ очень дальнозорки,—оттого всѣ занимаются астрономіей, но не видятъ ничего подъ ногами [468]; въ „Вольной землѣ“ никто законамъ не подчиняется, и всѣ поэтому живутъ въ вѣчной враждѣ другъ съ другомъ [469]; въ землѣ Мезендорга введено полное равенство—здѣсь и животныя, и растенія—всѣ живутъ общественной жизнью и исполняютъ различныя обязанности: здѣсь гуси — адвокаты, сороки—приказные, лисицы—послы, козлы—философы [470].

Всего обстоятельнѣе описано царство потуанцевъ [471]; здѣсь жители всѣ—деревья; государственное устройство здѣсь своеобразное: введено полное равенство гражданъ [472], и должности даются только достойнѣйшимъ,—такъ, президентомъ сената, при Климѣ, была какая-то мудрая дѣвица [473]. Судопроизводство здѣсь идеальное [474]; смертной казни и тѣлесныхъ наказаній нѣтъ [475]; земледѣліе въ почетѣ [476]; жизнь праведная и чистая [477]; о богѣ разсуждать здѣсь запрещено [478]; всѣ земныя науки здѣсь осуждены, какъ излишнія и вредныя [479]; вводить и предлагать новшества строго запрещено [480]. Богачи здѣсь меньше уважаются [481], чѣмъ бѣдняки; чины и званія не имѣютъ никакого значенія [482]. Характеристика этой „утопіи“ позволяетъ автору критически отнестись къ земной дѣйствительности: онъ нападаетъ на придворныхъ [483], на папу [484].

Краткій пересказъ всѣхъ этихъ „политическихъ“ романовъ указываетъ ясно, что, кромѣ Гольберга, — всѣ сатирическія произведенія приблизительно сходны въ идейномъ отношеніи; всѣ эти произведенія, какъ видно будетъ ниже, и опредѣлили собой весь тотъ кругъ политическихъ идей, которыя легли въ основу политическаго міросозерцанія русскихъ романистовъ.

Но въ литературномъ отношеніи изъ всѣхъ этихъ произведеній выше всѣхъ необходимо поставить произведенія Фенелона; вѣроятно, потому это произведеніе было особенно любимо у насъ въ XVIII-омъ вѣкѣ и издавалось нѣсколько разъ, — обстоятельство, заставляющее предполагать, что оно больше другихъ аналогичныхъ произведеній могло *вліять* на русское творчество.

Особенно вѣрнымъ ученикомъ Фенелона оказался нашъ Херасковъ; въ 1768-мъ году выпустилъ онъ въ свѣтъ свой романъ: „*Нума, или процвѣтающій Римъ*“, въ 1786-мъ году: „*Кадмъ и Гармонія*“, въ 1794-мъ году: „*Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи*“. Все это, въ большей, или меньшей степени — „политическіе“ романы, развернувшіеся въ предѣлахъ романа „ложноклассическаго“. Всѣ они напоминаютъ собою произведенія Фенелона, а также Терассона и Рамзея.

О первой своей повѣсти „Нума“ Херасковъ сказалъ въ предисловіи, что она „не есть точная историческая истина,—она украшена многими вымыслами, которые, не уменьшая важности Нуминыхъ дѣлъ, цвѣты (воображенія) на ней разсыпаютъ: Нума здѣсь представляется, какимъ онъ былъ и каковъ быти могъ“. Цѣль повѣсти—изобразить „благополучное состояніе общества“, подъ скипетромъ добродѣтельнаго и мудраго монарха [484]. Это произведеніе, по признанію самого автора — „утопія“: „ежели нѣтъ благополучныхъ обществъ, говоритъ онъ, на землѣ, то пусть они, хотя, въ книгахъ находятся и утѣшаютъ наши мысли тѣмъ, что и мы современемъ можемъ учиниться счастливыми“ [485]. Въ заключеніе, авторъ заявляетъ: „можно теперь сказать съ божественнымъ Платономъ, что счастливы тѣ народы, у которыхъ Философъ Государемъ бываетъ, или Государь Философомъ сдѣлается“. Въ этихъ словахъ ясный намекъ на правленіе Екатерины; очевидно, Римъ неустроенный, о которомъ говорится въ романѣ Хараскова—это Россія до Екатерины.

Содержаніе романа очень несложно: Нума живетъ въ уединеніи простымъ землепашцемъ; изъ Рима являются вельможи съ приглашеніемъ занять царскій престолъ; Нума сначала отказывается,

потомъ соглашается*), и нимфа Егера, исполняя роль фенелоновскаго Ментора, даетъ ему рядъ указаній, какъ надо управлять государствомъ. Слѣдуя ея совѣтамъ, Нума дѣлается мудрымъ правителемъ и приноситъ счастье родному городу.

Совѣты нимфы — всѣ во вкусѣ Фенелона и другихъ романистовъ, а также Вольтера: отъ первыхъ взята ихъ точка зрѣнія на правителей государствъ—отъ второго—на служителей церкви. Подобно первымъ, Херасковъ, рисуя воплощенія своихъ политическихъ идеаловъ, изображаетъ и отклоненія отъ этихъ идеаловъ— и отрицательныя явленія. Начинается повѣсть съ общеупотребительнаго въ XVIII-мъ вѣкѣ выясненія понятія, что такое „истинная слава правителя"; оказывается, она —

„не всегда оружіемъ пріобрѣтается; побѣдоносные лавры часто кровію вѣрныхъ сыновъ отечества орошенны бываютъ; торжественныя восклицанія побѣдителей не рѣдко воплемъ вдовъ и сиротъ провождаются" [47].

Авторъ стоитъ за монархію, — въ Римѣ до воцаренія Нумы было слишкомъ много безпорядковъ отъ многоначалія: владычество знати особенно было губительно —

„сенаторы римскіе, стараясь укрѣпить и возвысить общее благополучіе, непрестанно его разрушаютъ; они другъ друга ненавидятъ и боятся, а зависть ихъ народу въ язвы обращается" [48].

„...вмѣсто единаго начальника появилось двѣсти Тирановъ, другъ

*) Сцена избранія Нумы (такъ же см. ниже, на стр. 129, слова Кадма къ славянамъ) напоминаетъ избраніе Троглодитами правителя. „Когда-жъ отправленные къ нему отъ народа возвѣстили о избраніи его на царство,— „Богъ да сохранитъ меня, вѣщаетъ онъ, отъ таковаго Троглодитамъ оскорбленія, чтобъ я помыслить могъ, что нѣтъ межъ ими ни единаго, паче меня праведнаго. Вы вручаете мнѣ вѣнецъ, и ежели желаете сего непремѣнно, должно, чтобъ я принялъ его; но помыслите, что до нынѣ видѣвъ Троглодитовъ, вольныхъ отъ рожденія, и днесь игу узрѣвъ ихъ, покоренныхъ, умру отъ горести!" Проговоря сіе, ліетъ онъ источники слезъ: „О, день неблагополучный! паки вѣщаетъ, почто я только на землѣ прожилъ! ясно вижу", вопіетъ потомъ строгимъ гласомъ,—„вижу, что сіе значитъ, о Троглодиты! вижу, что добродѣтель ваша становится вамъ въ тягость. Въ настоящемъ вашемъ состояніи, не имѣя надъ собою владыки, должно, чтобъ вы, вопреки воли вашей, были добродѣтельны; а безъ сего существовать не возможете, и всемѣрно низринитесь въ прежнее предковъ вашихъ злополучіе. Но сіе иго кажется вамъ несноснымъ, и вы желаете паче покорены быть Государю и повиноваться законамъ его, не столь строгимъ, якоже нравы ваши. Вѣдомо вамъ, что тогда возможете удовл(етвор)ить своему властолюбію, стяжать богатства, въ гнусномъ утопать сладострастіи; и что не нужна уже вамъ будетъ добродѣтель, лишь только-бъ избѣгать могли, да впадете въ величайшія злодѣянія" [49].

другу послѣдующихъ. Загорѣлось несогласіе, духъ корыстолюбія и безчинства разлился по сердцамъ непостояннымъ. Вельможи, не старались о блаженствѣ всенародномъ, только собственное щастье утвердить старались. Одни влекли народъ къ войнамъ неправеднымъ и беззаконнымъ, дабы корыстію своихъ воиновъ обогатиться; другіе устанавливали постыдный миръ и въ робости своихъ подданныхъ прибытка искали; злоба, ненависть и мать пороковъ—зависть, на престолѣ утвердились" [489].

„Высокія степени для таковыхъ (вельможъ римскихъ) становились не предлогомъ заслугъ и не жертвою трудовъ своему отечеству, но единымъ игралищемъ и отдохновеніемъ людей самолюбивыхъ и нерачительныхъ" [490].

Злоупотребленія сказались вездѣ: судьи были корыстолюбивы [491], правители „грубы и несмысленны" [492], юноши знатные относятся съ презрѣніемъ къ простому народу [493]. Вездѣ „гнусныя ябеды притѣсненія, лихоимства" и самохвальство [494].

Вельможи римскіе —

„склонны къ лихоимству, къ хитростямъ, злобѣ, клеветамъ и грабительствамъ" [495].

Мудрый царь сумѣлъ ихъ обуздать — на него придворные не имѣли вліянія. Признавая, что „всѣ человѣки слабы, но не всѣ они худы" [496], Нума сумѣлъ придворныхъ забрать въ руки—и тогда—

„Клевета отъ его престола съ молчащимъ мученіемъ далеко убѣжала. Злоба, видя затворенные пути ко правосудному владѣтелю, исчезла, гордость преклонила главу свою и честность процвѣтать начала" [497].

Тѣмъ не менѣе, Нума чувствуетъ тяжесть вѣнца, такъ какъ окруженъ людьми, которымъ не вѣритъ, „ибо они только обмануть его стараются" [498].

„Нещастны государи, худыхъ вельможъ имѣющіе — восклицаетъ Нума — когда посредники между мною и народомъ толико гнуснымъ порокамъ подвержены, то какъ я одинъ общее благоденствіе основать могу?" [499].

Кромѣ того, царствованіе, само по себѣ, тяжело,—Нума говоритъ:

„безпокойство каждаго гражданина долженъ почитать своимъ безпокойствомъ; болѣзни ихъ—своими болѣзнями и до самыхъ недостатковъ принимать общія на себя... Я отвѣчаю за самыя чувствованія гражданъ моихъ, когда каждый отъ меня ихъ скрывать старается. Одни добродѣтели подданные собственному дарованію приписываютъ... [500]. Всѣ минуты жизни своей должно исчислить и, не единыя не оставляя себѣ, всѣми должно жертвовать пользѣ всенародной... Будутъ-ли благополучны подданные? Нѣтъ! желанія человѣческія безпредѣльны, а способы удовольствовать ихъ недостаточны, и роптаніе не можетъ укротиться... Лишиться друзей, спокойства, свободы, быть

выше всѣхъ человѣковъ и сдѣлаться рабомъ изъ прихотей, имѣть все и не почитать ничего собственнымъ—сіи то выгоды Монарховъ" [501]...

Царь, по убѣжденію Хераскова,—„слуга отечества": онъ будетъ отвѣчать небесамъ за свое правленіе;—Нума заявляетъ:

„не ради единой роскоши, чести и нѣги мы на престолы восходимъ" [502].

Вотъ почему общество должно само выбирать себѣ владыку—

„Щастливо то общество, которое незатворенными очами избираетъ правители своей воли, которое находитъ человѣка достойнаго быть судьею всенароднымъ и управлять нождями царства по правиламъ мудраго отца" [503].

Нума былъ такимъ „мудрымъ отцемъ". Онъ началъ свое царствованіе съ того, что устранилъ должность царскихъ тѣлохранителей:

„Призвавъ ихъ начальника, спрашивалъ онъ: „невольникомъ своимъ, или государемъ вы мени дѣлаете?.. Я не хочу отнять у народа полезныхъ гражданъ" [504]... „Сіи воины должны раздѣлять труды цѣлаго общества, а не для единаго человѣка жить во стѣнахъ римскихъ!" [505].

Нума хочетъ быть именно „отцомъ своихъ подданныхъ": стражи ему не надо —

„Я не принялъ-бы вашего вѣнца, ежели бы я опасался васъ, — и лучше хочу любовь произвесть, нежели страхъ въ сердцахъ моихъ подданныхъ... Ваше усердіе и любовь ко мнѣ будутъ мнѣ воинами и оградою моею; любите меня и удалите отъ очей моихъ все то, что̀ вамъ, или мнѣ, сумнѣніе пода̀ть можетъ" [506].

Изъ мѣръ, которыя необходимы для счастья подданныхъ — главныя—широкое просвѣщеніе народа и мудрое законодательство. Но мудрый царь признаетъ, что прежде введенія законовъ надо—

„римскія сердца" привлечь „къ любви своего отечества, къ любви своего ближняго и къ любви боговъ — главнѣйшей добродѣтели человѣческой" [507].

Такъ какъ все общество не подготовлено еще къ такой „реформѣ сердца" и можетъ даже оказать сопротивленіе,—въ такомъ случаѣ —

„надлежитъ принудить ихъ быти щастливыми, хотя они и не предвидятъ сего" [508].

Законы должны быть основаны на „естествѣ" [509].

„Истинное блаженство человѣческаго рода отъ благоразумныхъ законовъ проистекаетъ. Но законы суть одно начертаніе, на которомъ щастье и благополучіе общества утверждается; они требуютъ исполненія, а исполненіе зависитъ отъ людей просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ" [510].

Вотъ почему добродѣтельные люди важнѣе законовъ [511].

Избѣгать пышности [512], уничтожать предразсудки черни и злоупотребленія властей [513], не допускать войны [514] и покровительствовать мирнымъ промысламъ подданныхъ [515]—вотъ, обязанности мудраго царя.

„Злоупотребленія“ въ государствѣ Херасковъ усмотрѣлъ и въ церковныхъ порядкахъ. Въ этомъ пунктѣ онъ оставляетъ Фенелона и другихъ политиковъ и вдохновляется Вольтеромъ.

Когда Нума изнемогалъ подъ тяжестью борьбы со зломъ, нимфа утѣшала его, говоря:

„не должно-ли тебѣ опасаться частныхъ погрѣшностей, когда цѣлое общество къ добру привлечь намѣреваешься“ [516]. „Оставь пороки собственному ихъ мученію и злыя совѣсти внутреннему ихъ угрызенію. Когда ты дѣлаешь для всѣхъ добро, то можешь-ли о томъ сожалѣть, кто отъ своихъ дѣлъ погибаетъ?.. Что же надлежитъ до хитрыхъ и лукавыхъ сердецъ, которыя добродѣтель твою во уныніе приводятъ,— не безпокойся; такіе люди успѣхъ получаютъ, когда подобныя слабости и склонности въ своемъ государѣ примѣтятъ“ [517].

Она говорила, что царю особенно надо заботиться о своей добродѣтели—

„...украшайся ты добродѣтелями, и твой примѣръ многихъ привлечетъ ко прелестямъ сего душевнаго божества. Ты будешь свѣтильникомъ во тмѣ заблуждающагося общества,—они ко твоимъ стезямъ приложатся и достигнутъ твоего и собственнаго щастья“ [518].

Такова эта первая русская „утопія“, отразившая на себѣ надежды русскихъ людей, озаренныхъ лучами начала царствованія Екатерины. Политическіе идеалы этой утопіи не ушли дальше тѣхъ, воплощеніе которыхъ мы видѣли въ „Телемакѣ“ и другихъ произведеніяхъ этого-же типа.

Въ смыслѣ идейномъ другое произведеніе Хераскова: „*Кадмъ и Гармонія*“, еще ближе подходитъ къ этимъ произведеніямъ. Идеальный царь Хераскова—„мудрый отецъ, пекущійся о истинномъ благѣ чадъ своихъ“ [519] — „другъ своего народа“; народъ его — „единое съ нимъ семейство“ [520]. Законы Кадма были „кротки, разумны,—слѣдственно, были они естественны“ [521].

„Благоденствіе подданныхъ на мудрыхъ Кадмовыхъ законахъ основано: добродѣтели и дарованія возсіяли; ибо Кадмъ взиралъ безпристрастно на... подданныхъ,—онъ всѣхъ любилъ равно и самъ взаимно всѣми любимъ былъ [522].

Нравственное паденіе царя сейчасъ перемѣняетъ всю политическую атмосферу въ странѣ, — придворные и приближенные своими пороками возмущаютъ всѣхъ [523]. Примѣръ царя развращаетъ народъ [524]. Войны и военная служба отнимаютъ работни-

ковъ отъ земли...[525] Оттого „вѣчный миръ“ [526]—лучшее, къ чему должно стремиться человѣчество.

Въ Ѳессаліи онъ устанавливаетъ порядокъ правленія,—тамъ вельможи хотѣли олигархіи, народъ—республики, Кадмъ убѣждаетъ всѣхъ выбрать монарха [527], но монарха мудраго:

„Горе Царю! горе каждому властителю! горе каждому начальнику, страхъ, а не любовь въ сердца человѣческія впечатлѣвающему“ [528].

Царь долженъ быть самостоятеленъ,—

„владѣтель, водимый чуждыми совѣтами, подобенъ есть безчувственной пружинѣ, рукою художника непрестанно движимой“ [529].

Онъ долженъ владѣть собою, „обуздывать волненіе страстей своихъ“, „управлять по правиламъ благоразумія“ [530]. Онъ долженъ быть врагомъ „рабства“.

„...Мудрые и праведные Государи единымъ имянемъ рабства гнушаются и, яко уничижающее человѣкомъ титло, уничтожаютъ“ [531].

Когда славяне подарили Кадму невольниковъ, онъ заявилъ:

„невольниковъ имѣти не хощу; но, пріемля отъ васъ оныхъ, разрѣшу ихъ узы и учиню ихъ сотрудниками токмо моими, рабъ не долженъ принадлежать мудролюбцу, и права человѣчества не дозволяютъ намъ лишать свободы нашихъ ближнихъ“ [532].

Отправляя сына своего Полидора на царство, онъ даетъ ему рядъ совѣтовъ касательно правленія — рекомендуетъ слушаться мудраго совѣтника Эхіона (= Менторъ), осторожно взимать подати и употреблять ихъ въ пользу народа [533]—не давать воли плоти надъ духомъ [534], побѣждать себя [535]...

Но этотъ-же Кадмъ совершенно противъ царской власти у народовъ патріархальныхъ. Когда славяне выбрали его царемъ, онъ отказался и заявилъ:

„Что вы творите?... Мои други и собратія мои! Вы мени избираете вашимъ Царемъ, коихъ никогда вы не имѣли! Чувствуете-ли, какого нетукана на основаніяхъ вашей свободы возставляете?“ [536].

Примѣсью фантастики этотъ романъ напоминаетъ отчасти произведенія Терассона.

Третій романъ Хераскова, „*Полидоръ*“ совершенно въ духѣ первыхъ двухъ его романовъ, отходя, впрочемъ, еще дальше отъ тенденціозности перваго, а въ смыслѣ развитія фабулы—уходя дальше второго.

„Политическій“ элементъ въ романѣ очень слабо выразился: французская революція у многихъ отбила охоту разглагольствовать о политическихъ переворотахъ... Любопытно, что Херасковъ, такой рѣшительный и смѣлый въ первомъ своимъ произведе-

нія, — во второмъ, очевидно, подъ вліяніемъ масонства, строго отнесся къ Франціи, а въ третьемъ энергично обрушился на „республику". Полидору приходится водворять порядокъ на одномъ островѣ, на которомъ „насильники"—всѣ „прирожденные горожане" [537]; они произвели неустройства во имя „вольности" [538], „буйство", „неуваженіе къ родителямъ, друзьямъ, къ Богу", „попрали святыню, поругались престоломъ" [539]. „Вольнодумцы" [540] подрыли здѣсь основы всего священнаго [541] своими „острыми изреченіями" [542]... Въ результатѣ, идея вольности отожествилась, въ глазахъ Хераскова, съ понятіемъ: „безначаліе" [543], владычествомъ „черни" [544]—

„Сіи изверги природы, други вольности, поборники равенства—самовластія токмо жаждутъ"... [545]

„...равенство ослѣпило несмысленныхъ Терзитинъ,—всѣ возжелали быти самовластными, — всѣ учинялись Царями, царскую власть попирая" [546].

Поэтому, съ его точки зрѣнія, самая идея равенства есть безсмыслица [547], „чудовище" [548]... Царская власть и законы необходимы. „Безобразное чудовище, вольностью именуемое"—вотъ, порожденіе „свободы слова", извращенно понятой. Въ своемъ романѣ Херасковъ вывелъ даже образъ мятежника-Рувада, противника „титуловъ" [549], который пропитанъ республиканскими идеями *) [551].

Впрочемъ, нападая на республику, Херасковъ не измѣнилъ своему первоначальному политическому міровоззрѣнію: монархъ, ограниченный общественнымъ мнѣніемъ и законами, царь—

„добрый отецъ семейства есть добрый Царь въ порфирѣ [552].

— вотъ, его идеалъ, созданный подъ вліяніемъ Фенелона.

Истинное счастье государственной жизни — „равногласное правосудіе" и слабому, и сильному, подчиненіе царю, и мудрое просвѣщеніе [553]. Тогда весь народъ будетъ „единымъ семействомъ, единой мыслью и единымъ сердцемъ" [554]. Впрочемъ, авторъ оговаривается, что, даже при такомъ блаженномъ состояніи, возможны случаи, когда „невинность страждетъ, но, въ такомъ случаѣ" — утѣшаетъ своего читатателя оптимистъ Херасковъ —

„вскорѣ утѣшеніе бываетъ, ежели не на земли долу, то на небесахъ горѣ" [555].

---

*) Попадаетъ мимоходомъ и французскимъ эмигрантамъ. Одинъ изъ героевъ романа Сіянъ не можетъ понять, какъ это хорошій гражданинъ можетъ покидать отечество въ трудную минуту, — по его понятіямъ лучше „погребстись подъ развалинами разрушаемаго престола—чѣмъ, спасая себя, бѣжать изъ отечества" [550].

Если мы вспомнимъ настроеніе двухъ предыдущихъ романовъ Хераскова, — бодрое, самоувѣренно-вызывающее перваго, туманное, мистическое-аллегорическое настроеніе второго, но все еще соединенное съ вѣрой въ необходимость трудиться для людей, не жить въ уединеніи, —и если, наконецъ, мы сопоставимъ съ этими двумя настроеніями, настроеніе третьяго — грустное самочувствіе утомившагося человѣка, идущаго на покой,—передъ нами предстанетъ вся жизнь Хераскова:—увлеченіе французской философіей въ юности, затѣмъ — масонствомъ, идеями личнаго очищенія,—„совлеченія съ себя ветхаго Адама“, и обрѣтенія этимъ путемъ душевной „гармоніи“—и, наконецъ, ослабленіе интересовъ къ мистицизму, стремленіе къ отдыху, успокоенію—стремленіе человѣка, уже отставшаго отъ жизни общественной, и даже отъ литературы и находящаго теплую любовь лишь въ обществѣ престарѣлаго друга-жены!

Другое произведеніе, примыкающее отчасти къ „Телемаку“, а больше къ сочиненію Рамзея и Терассона—это романъ Ѳ. Эмина: „*Приключенія Ѳемистокла и разныя политическія, гражданскія, философическія, физическія и военныя его съ сыномъ своимъ разговоры; постоянная жестокость фортуны, его гонящей*“ (Спб. 1763 г.). Изъ самаго заглавія и предисловія видно, что цѣли автора чисто-учительныя, хотя онъ и оговаривается, что издалъ книгу не для „наставленія, но для той единственно притчины, дабы сообщить публикѣ“ свои мысли. Содержаніе вкратцѣ слѣдующее: Ѳемистоклъ, изгнанный изъ отечества, странствуетъ съ сыномъ Неокломъ по разнымъ странамъ и, по поводу всего видѣннаго, дѣлится съ нимъ мыслями. Политическая сторона романа выразилась, главнымъ образомъ, въ критикѣ разныхъ неустройствъ, съ которыми въ чужихъ странахъ встрѣтились путешественники. Ѳемистоклъ много говоритъ сыну объ обязанностяхъ царя, о тяжести короны [556], о томъ, какъ беречься надо царю отъ заблужденій и пороковъ:

„что въ простомъ человѣкѣ малой порокъ, то въ государѣ великая погрѣшность“ [557].

Въ Каріи Ѳемистоклъ осуждаетъ безобразное веденіе судебныхъ дѣлъ, безприцинность адвокатовъ, мздоимство судей, неустройства сената [558], совершенное отсутствіе правосудія [559]; много говоритъ онъ о „словесномъ судѣ“ [560], о „полиціи“ [561].

За то впечатлѣнія отъ Ораціи, гдѣ на престолѣ государыня, у него самыя отрадныя: здѣсь веденіе дѣлъ образцовое [562], полиція исправна [563], особенно въ столицѣ [564]. Обычаи и нравы

общества во Ѳракіи стоятъ очень высоко: развитая общественность (артельное начало) [565]; прекрасно положеніе финансовъ [566], правосудія [567].

Попадаютъ затѣмъ путешественники въ Эолію [568], страну однихъ земледѣльцевъ [569],—„благородныхъ“ здѣсь нѣтъ совсѣмъ. Тѣмъ не менѣе, страна процвѣтаетъ. По этому поводу Эминъ, устами своего героя, превозноситъ величіе „хлѣбопашца“, почему то сравниваетъ его съ „профессоромъ“ [570] и ставитъ его выше, такъ какъ—

„науки человѣка весьма украшаютъ, но похищаютъ у него добродѣтель и свойство природы, которое въ томъ состоитъ, чтобъ всякаго ближняго почитать такъ, какъ самого себя“ [571].

Затѣмъ слѣдуютъ разсужденія о значеніи хорошаго министра [572], причемъ особенно курьезны соображенія автора о томъ, почему изъ профессора не можетъ выйти хорошій министръ:

„Профессоръ рѣдко можетъ быть добрымъ министромъ, ибо министру должно быть справедливымъ, а профессору такимъ быть нельзя, потому что профессоръ знаніе свое продаетъ за деньги, а министръ платить долженъ, чтобъ мнѣніе его произведено было въ дѣйство... Министру надобно быть весьма благоволиту, человѣколюбному и политику, а профессору въ своемъ мнѣніи упряму, завистливу и простику, чтобъ философія своей важности не потеряла“ [573].

Такой-же „самодѣльщиной“ отзываются многія другія соображенія автора,—у него нѣтъ тенденцій, какъ у Хераскова, повторять „общія мѣста“: онъ вѣчно старается сказать „свое“. Вотъ почему его произведеніе только по формѣ (странствованія юноши съ Менторомъ-Ѳемистокломъ), и по замыслу (наставленія въ житейской и государственной мудрости) сближается съ романами Фенелона, — особенно Рамзея и Терассона.

Любопытна затѣмъ критика всѣхъ вообще философовъ, французскихъ, въ частности, для которыхъ тщеславіе выше истины [574]. Прибытіе въ Персію вызываетъ героя на длинный рядъ разсужденій о фаворитахъ при дворѣ [575], о значеніи хорошихъ министровъ [576], о поведеніи министра по отношеніи къ царю, приближеннымъ и простымъ смертнымъ...

Ксерксъ приглашаетъ Ѳемистокла сочинить уставъ для новыхъ поселеній [577]. Это обстоятельство вызываетъ Ѳемистокла на рядъ разсужденій о народонаселеніи, объ его нуждахъ [578]; онъ даетъ рядъ практическихъ указаній, какъ выбрать землю [579], какъ назначать управителей (сначала послать „корыстолюбивыхъ“, чтобы они, изъ-за личныхъ цѣлей, заставили скорѣе обработать поля и устроить хозяйство, а потомъ смѣнить ихъ, не давъ имъ воспользоваться плодами рукъ своихъ и назначить другихъ“ [580]).

„Въ поселеніе надобно посылать суевѣрныхъ жрецовъ, ибо философія для простаго мужика весьма безполезна, и ему надобно дѣлать больше, нежели разсуждать“ [581].

Отмѣна „откуповъ“ [582], устройство и покровительство торговли [583]—также необходимыя условія процвѣтанія государства [584].

Порядки Персіи вызываютъ у Ѳемистокла рядъ обличеній: мздоимство, непорядки полицейскаго управленія [585]—вотъ, главное зло; покровительство знатнымъ и богатымъ также причина многихъ бѣдъ тамъ, гдѣ „богатой кафтанъ въ чести, а не человѣкъ.“ [586].

Отношеніе государя къ министрамъ [587], необходимость царю почаще совѣтоваться съ „книгами“ [588]; разсужденія о законахъ [589], о богопочитаніи [590], о бракосочетаніи [591], о воспитаніи дѣтей [592], о значеніи педагогіи [593], о воспитаніи принца [594], объ устройствѣ идеальнаго магистрата [595], о выборѣ чиновниковъ въ этотъ магистратъ [596], о наказаніяхъ за разныя преступленія [597], о необходимости построить инвалидный домъ [598]; разсужденія о любви „къ отечеству и о подчиненіи законамъ“ [599] — вотъ, предметы бесѣдъ мудраго Ѳемистокла съ персидскимъ царемъ Ксерксомъ.

Любопытная повѣсть Левшина: „*Новѣйшее путешествіе*“ примыкаетъ. въ идейномъ отношеніи, больше къ „Персидскимъ письмамъ“ Монтескье, чѣмъ къ „Телемаку“ Фенелона, хотя и съ послѣднимъ можно найти немало точекъ соприкосновенія.

Вмѣстѣ съ другими политиками XVIII вѣка—нападаетъ Левшинъ на самовластіе государей и стоитъ за патріархальный строй жизни. Его герой попадаетъ на луну *); здѣсь оказывается „нѣтъ государей“, и всѣмъ народомъ управляютъ патріархи [600]; здѣсь нѣтъ степеней отличія — этихъ „пустыхъ титлъ, нарушающихъ равенство“: нѣтъ здѣсь даже „писанныхъ законовъ“ [601], такъ какъ любовь къ Богу и ближнимъ—основа благополучія здѣшнихъ жителей. Живутъ эти счастливцы одной „общиной“,—даже ѣдятъ всѣ въ одномъ зданіи:

„... вошли они въ преогромнѣйшій покой, который пристойнѣе бы назвать городскою площадью; ибо въ ономъ, свободно было возлежать многимъ народа тысячамъ. Въ немъ не находилось оконъ, но безчисленно дверей, ведущихъ въ отдѣленныя комнаты, и ни одной свѣчи, для освѣщенія столовъ, пріуготовляемыхъ къ ужину; одно сія-

*) По заглавію суди, возможно видѣть на этомъ произведеніи Левшина также вліяніе романа Ретифа де ля Бретонь (см. прим. [318] стр. 153). Къ сожалѣнію, этого сочиненія у меня не было въ рукахъ. О путешествіи на луну говорится также въ романѣ Сирано де-Бержерака.

ніе солнечныхъ лучей, отражаемыхъ къ нимъ нашею землею, избыточно награждало недостатокъ огня" [602].

Жители не знаютъ войны, никакихъ наукъ и занимаются только земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Немудрено, что для жителей луны земля, съ ея порядками, показалась адомъ: ихъ поразила пустая суетность людей [603], страсть къ войнамъ [604] и насилію [605], лживость придворныхъ [606], безбожіе и суевѣрія, плутовство жрецовъ [607] и, въ то же время, высокомѣріе извращеннаго разума [608].

Всѣ эти недостатки земной жизни указывались, кромѣ Монтескье, и Фенелономъ и многими „политиками", отчасти даже Вольтеромъ. Несомнѣнно, къ Монтескье примыкаетъ Левшинъ въ разсказѣ о томъ, какъ сложилась „власть" на землѣ. Приблизительно то же самое разсказываетъ Монтескье въ „Персидскихъ письмахъ" („Исторія Троглодитовъ").

Сперва на землѣ былъ „Золотой вѣкъ", —

...но вскорѣ сіе благоденствіе пресѣклось: народъ умножился. Пространство, избыточествовавшее для немногихъ, стало узко для многихъ. Началась всеобщая брань. Сильные выгоняли слабыхъ. Изгнанные досадывали на счастіе своихъ изгнателей; они по времени соединялись заговоромъ, укрѣплялись и, возвратясь, побивали хищниковъ, и занимали свои мѣста. Одни сосѣди ихъ, опасающіеся, чтобъ и съ ними того же не случилось, а другіе, завидуя, что у нихъ побольше плодовъ растетъ, соединялись вкупѣ, нападали, побивали всѣхъ до смерти и раздѣляли между собою частичку ихъ владѣнія, пашни, плодовитые лѣса и хижины. Наукъ еще не вѣдали и, почти не умѣя трехъ перечесть, производили они сіи раздѣлы глазомѣромъ... Въ послѣдствіи научились нѣкоторые считать и узнали, что другія владѣютъ излишествомъ земли и деревъ; начали другъ у друга отнимать,—дрались, убивались, и кто остался живъ, тотъ наслѣдовалъ порядочнымъ правомъ порожее стяжаніе. Но, со всѣмъ тѣмъ, народъ еще умножился; надлежало искать новыхъ мѣстъ къ населенію. Выходили, открывали страны, текущія, такъ сказать, медомъ и млекомъ; съ восхищеніемъ занимали оныя. Другіе, вышедшіе съ равнымъ намѣреніемъ, не находили уже кромѣ мѣстъ каменистыхъ, или подъ воздухомъ суровымъ. Скука бродить принуждала ихъ просить у счастливыхъ тѣхъ поселянъ о позволеніи съ ними соединиться. Сперва допускали къ тому по какъ, наконецъ, выходцы разныхъ породъ безпрестанно искали мѣстъ, то уже прежде поселившимся дѣлиться съ ними было нечѣмъ. Но тѣмъ слѣдовало умирать съ голоду, или принудить упорныхъ силою. Нападали съ оружіемъ, были прогоняемы. [Такъ образовалось разбойничество]... Начали нападать уже не отъ голода, но отъ привычки. Брали не пищу только, но женъ и мужей, чтобъ принудить оныхъ быть своими рабами. Нападаемымъ надлежало искать средствъ, ко избавленію отъ таковаго насилія; слабые народы вошли съ сими разбойниками въ договоры, и сіи благоволили даровать имъ міръ, на

условіи платежа дани; многолюдные же совѣтовали между собой, отобрали здоровыхъ молодцовъ, дали имъ въ руки дубины, и велѣли онымъ быть всегда готовыми для встрѣчи сихъ нахаловъ. Вымыслъ сей удался; не ожидавшіе сего грабители, по приходѣ были перебиты и прогнаны. Новый предлогъ войны!—Надлежало мстить! Ибо свойство сіе есть первѣйшее по зависти, и (на землѣ) во всеобщемъ употребленіи. Разбойники, залѣчивъ свои горбы и синѣва, прибѣгли къ изобрѣтеніямъ оружія: камни, металлы обратились въ остріи мечей, стрѣлъ и копій. Съ симъ дѣятельнѣйшимъ припасомъ восторжествовали они надъ дубинниками; но научили и ихъ употреблять оный въ свою оборону. Ободрившіеся отпоромъ, и привыкшіи къ дракѣ, почувствовали свербежъ мщенія; зачали развѣдывать, откуда приходятъ на нихъ сіи грабители; узнали. Опредѣлено истребить сихъ неспокойныхъ отъ лица земли. Разумнѣйшій изъ отважныхъ, снялъ на себя сіе выполненіе; успѣхъ его совѣтовъ, примѣръ ободренія къ храбрости, пріобрѣли ему отъ всѣхъ довѣренность; а счастье во истребленіи враговъ заставило прочихъ уважать его. Начали прибѣгать къ его совѣтамъ, къ защищенію въ обидахъ; онъ сталъ судья народный. Сіе родило понятіе о преимуществѣ и подало мысль къ начальству.

Такъ сіи судіи народные, начавъ оказывать власть свою, произвели во многихъ зависть. Вкусъ начальства, безъ того уже въ сердцахъ гнѣздящійся, возблисталъ еще прелестнѣе въ очахъ людей [являются честолюбивые авантюристы, которые оспариваютъ власть другъ у друга]; толпа умножается; глупцы оную укрѣпляютъ и признаютъ его начальникомъ. Новая драка!.. Иногда являлось нѣсколько претендентовъ на единовластіе — тогда — колотились въ круговую. Иногда раздѣляли между собою власть двое, но при первомъ способномъ случаѣ, одинъ изгонялъ другого, или похищалъ всю власть себѣ; одна сторона хотѣла, а другая должна была повиноваться. Учинились государи" [69].

Кромѣ указанныхъ романовъ, болѣе или менѣе, тѣсно примыкающихъ къ „Телемаку" Фенелона и другимъ вышеуказаннымъ, я могу указать на большое число такихъ, которые, по литературному типу своему, далеки отъ разобранныхъ выше романовъ, но тоже отразили на себѣ полно и ярко тѣ политическіе идеалы, самымъ популярнымъ толкователемъ которыхъ былъ у насъ Фенелонъ.

Особенно интересовались у насъ въ XVIII в. „утопіями",— почти во всѣхъ романахъ, критикующихъ несостоятельность государственныхъ порядковъ, имѣется картина такого уголка на земной поверхности, гдѣ все обстоитъ благополучно. Обыкновенно, такой счастливой страной является та, въ которой форма правленія патріархальна. Приведу нѣсколько примѣровъ. И. Львовъ рисуетъ такую картину: на одномъ островѣ—патріархальная жизнь. Дикари—добрый и нравственный народъ. Управленіе ими мудрое—большую роль играетъ народное собраніе; вмѣсто наказанія — здѣсь одно лишь „посрамленіе".

„Окружающіе его (царя) чиновники не были лукавые челопроклонцы, низкіе великодушцы, льстивые враги, многохульные ласкатели и коварные щедротохищники, а были мужи кроткіе, любомудрые, важные безъ гордости, справедливые безъ нужды, взыскательные безъ тиранства, преданные безъ трусости, любящіе его безъ корыстолюбія, добродѣтельные безъ притворства“ [610].

Царь относился къ подданнымъ, какъ чадолюбивый отецъ. Они въ немъ видѣли „друга“, „отца“. Его правленіе—„золотой вѣкъ“.

„Когда еще пріятная независимость царствовала по вселенной, когда безвинныя утѣхи непорочныхъ нравовъ цвѣли, какъ при благорастворенномъ воздухѣ и въ объятіяхъ тишины розы,—когда не зналъ родъ человѣческій имени „собственности“, не былъ свѣдомъ о ворвавшихся потомъ мучителяхъ зависти, ненависти, гордости, властолюбія и другихъ ввергшихъ, превратившихъ сіе сладостное спокойствіе въ горестное смятеніе и развращенность,—сей златый вѣкъ въ жестокій желѣзный—тогда старѣйшіе въ семействахъ были онаго владыками“ [611].

„Нѣтъ тамъ богачей и нищихъ, нѣтъ огорченныхъ и обиженныхъ. „Обычай ихъ былъ обычай простой безъ малѣйшаго предразсудка и странностей,—онъ основанъ былъ на спокойствіи, свободномысліи и доброй волѣ“ [612].

Чулковъ нарисовалъ картину жителей луны — „лунатиковъ“, у которыхъ „все было общимъ“ [613]. Въ другомъ произведеніи онъ превознесъ счастливую жизнь „дулебовъ“, — у которыхъ не было роскоши,—было одно изобиліе,—

„всѣ степени народа поставляли славою слѣдовать своему предопредѣленію; земледѣльцы и художники спорили другъ передъ другомъ отличіемъ трудовъ своихъ“; дворяне выдѣлялись „благороднымъ поведеніемъ“; судьи—„правосудіемъ“ [614].

Въ сочиненіи „нѣкоторой россіянки“ тоже есть „утопія“:

„Мы имѣемъ у себя начальника, сказалъ хозяинъ Меркату; но власть его надъ нами ограничена,—онъ не имѣетъ права нарушить законовъ; а ежели когда учинитъ сіе преступленіе, мы властны обличать и укорять его въ несправедливости, и, тѣмъ самымъ, обуздываемъ его волю“ [615].

„Зельты суть народъ вольной; законы ихъ основаны на правахъ естественныхъ; они никому не подвластны, и въ самомъ своемъ обществѣ начальника не имѣютъ; равенство, между ними наблюдаемое, содѣлываетъ ихъ щастливыми; ничего не имѣютъ они собственнаго... Зельтійскія поля, испещренныя лазоревыми цвѣтами, не обагряются кровію непріятелей“ [616].

„Зельты суть народъ добродѣтельный; нравы ихъ незлобивы, сердца человѣколюбивы, чувства нѣжны; умѣютъ они сохранить общественное согласіе, родственную привязанность, супружескую вѣрность, дружескія обязательства и, наконецъ, умѣютъ чувствовать нѣжную любовь“ [617].

Въ романѣ „*Приключенія Клеандра*“ встрѣчаемъ мы тоже

картину патріархальнаго благополучія: смертной казни здѣсь нѣтъ, „тягчайшая казнь“ — тамъ изгнаніе. „Добродѣтели и благонравіе основаны у нихъ на уставахъ самаго естества“. Оттого „почтеніе къ родителямъ и старшимъ, цѣломудріе, согласіе и страннолюбіе“ [618]—царятъ въ этой счастливой странѣ.

Когда въ одномъ государствѣ перемѣнилась форма правленія— и граждане вернулись къ патріархальному строю, то—

„Воцарилась паки между гражданами любовь и благоденствіе,—они, какъ одного отца чада, одно почти составляли семейство, мирную и безмятежную начали препровождать жизнь“ [619].

Народная любовь къ идеальному царю изображалась неразъ.—

„Какое благополучіе! о, юный царь! какая радость можетъ съ благодарностію сравниться? Когда веселой оратай, объятый внутреннимъ удовольствіемъ среди щастливой своей доли, скоплять будетъ изобильную годовую добычу; ему труды сіи покажутся забавою; тогда онъ, собравъ дѣтей своихъ, надежную подпору старости своей, тутъ же на жатвѣ воспоетъ радостныя пѣсни, благословлять будетъ Монарха своего и благодарить Боговъ“ [620].

Въ 1794-омъ году, когда результаты французской революціи подорвали у многихъ вѣру въ „утопіи“, мы встрѣчаемъ иное уже отношеніе къ миражамъ „счастливыхъ государствъ“. Одинъ авторъ съ грустью говоритъ о томъ, что власть всегда у людей соединяется „съ суровостью и жестокосердіемъ“. Поэтому авторъ, по привычкѣ, уносится воображеніемъ къ тѣмъ счастливымъ временамъ, „когда начальство соединено было со старшими и опытнѣйшими, когда царствовала между людьми братская любовь“.— Но свои мечты онъ прерываетъ горькимъ восклицаніемъ: „ахъ! щастливыя времена!.. вы, видно опредѣлены для однихъ сказокъ!“ [621].

Авторы русскихъ романовъ XVIII в. охотно рисовали образы хорошихъ, образцовыхъ царей и, въ противоположность имъ,— дурныхъ. Чаще всего этотъ идеальный царь, представленный „отцомъ“, просвѣтителемъ своихъ подданныхъ [622], „стражемъ и слугою народа“, „другомъ народа“ [623]; заботы о блаженствѣ подданныхъ [624]—вотъ, его главное занятіе.

„Народъ ввѣряетъ ему вольность свою, какъ самодражайшій изъ всѣхъ залоговъ, съ такимъ договоромъ, чтобъ онъ былъ ихъ отецъ.“ [625].

„Не для него самого Богъ дѣлаетъ его Царемъ, но чтобъ былъ онъ человѣкомъ цѣлаго общества“ [626].

„Благочестіе его было примѣромъ его подданнымъ; онъ былъ со всѣми искренеиъ, кротокъ, и привѣтливъ, но наипаче всего правосуденъ, щедръ и страннопріемливъ.“ [627].

„Мирадъ, царь великія Сибиріи, къ счастію сего народа держав-

ствовалъ долгое время весьма благополучно, сохраняя блаженную тишину въ своемъ царствѣ; его кротость и добродѣтели столь народъ Сибирскій украшали, что всѣ подданные любили его несказанно и называли сего миролюбиваго Монарха красотою человѣковъ" [628].

„...въ сіяніи вѣнца и среди могущественной власти (этотъ царь) не забываетъ, что онъ—человѣкъ" [629].

Хорошій, „умной и добродѣтельной", царь заботится о благосостояніи подданныхъ [630], старается „внушить къ себѣ общую любовь и отгонять отъ себя страхъ" [631], служитъ „прибѣжищемъ несчастныхъ, утѣшеніемъ страждущихъ и надежнымъ покровомъ гонимыхъ нещастіями человѣковъ" [632]; служитъ народу „отъ искренняго сердца" [633], истребляетъ корыстолюбіе, опровергаетъ лицемѣріе [634]; „рабство" онъ „услаждаетъ своими снисхожденіями и благодѣяніями" такъ, что подданные „считали въ (немъ) отца и мать, и предупреждали всѣ желанія (его) охотнымъ исполненіемъ" [635]. „Любить человѣчество, печься о его спокойствіи, защищать отъ бѣдъ" [636]—вотъ, ихъ назначеніе. „Не отягощать народа податями, не любить пышности" [637], „бога почитать", „любить сладкій миръ", „просвѣщать народъ, умѣло взимать подати на пользу же народа", не давать воли своей плоти надъ духомъ, побѣждать себя [638], „явить свое достоинство не вреднымъ, а полезнымъ человѣчеству дѣйствіемъ" [639]—вотъ, его обязанности.

Такой царь, который все это исполняетъ есть, конечно —

„образъ Божій на землѣ, и онъ есть великъ, когда сіяетъ величествомъ своихъ душевныхъ добротъ" [640].

Поэтому —

Быть кроткимъ и взыскательнымъ, милосердымъ и справедливымъ [641]; одной „любовью ограждать свой престолъ" и ею „вооружить" свою стражу [642]; не проливать крови, ни вражеской, ни своихъ гражданъ, т. е. воздерживаться отъ войнъ и „мечи преобратить въ серпы, воинскія колесницы—въ плуги, пренебреженныя поля—въ колосистыя нивы" [643].

— обязанность царей.

Такимъ образомъ истинная слава пріобрѣтается не войною, а мудрымъ, гуманнымъ, патріархальнымъ правленіемъ [644].

Особенно охотно нападали русскіе романисты на „придворныхъ", которые „стѣной" стояли между владыкой и народомъ, окружали правителя лестью и обманомъ.

И вотъ, передъ нами выведенъ длинный рядъ правителей, которые вѣрятъ льстецамъ-придворнымъ, и, попадая въ сѣти тонкихъ интригъ, оказываются дурными владыками. Чулковъ находитъ, что —

„державныя особы" тѣмъ „нещастливы, что не имѣютъ у себя таковыхъ вѣрныхъ друзей, кои смѣли-бы говорить имъ все то, что видятъ и чувствуютъ" [645].

Около царя все, окружающее его, покрыто личиною притворства [646]; около него торжествуютъ „лицемѣры, льстецы и ненавистники, [647] „преступные придворные“ [648].

„Они, очевидно, его обманываютъ, лицемѣрствуютъ, льстятъ, измышляютъ ежедневныя новости и, подъ сложною личиною новыхъ выгодъ, или мнимой славы, обременяютъ народъ тяжкими поборами скота, плодовъ и рукъ ихъ издѣлія, изнуряютъ общественныя силы и сами только обогащаются“. „Они явственно грабятъ ввѣренныя имъ части, — виновныхъ оправдываютъ, тяготитъ невинныхъ, налагаютъ произвольные сборы“ [649].

Рисуя ужасную картину одного государства, разстроеннаго благодаря слабости царя и силѣ придворныхъ, авторъ восклицаетъ:

„всегда должно ожидать таковыхъ страшныхъ послѣдствій правителямъ народовъ, когда они пріучаютъ свой слухъ къ гибельному ласкательству, когда они легковѣрно, и безъ строгой разборчивости предаютъ жребій общественнаго блага въ руки ненасытимыхъ корыстолюбцевъ и когда они презираютъ свободные и искренніе совѣты примыхъ друзей своихъ; нещастный народъ лихоимствомъ начальниковъ, неудобоносными налогами удручаемый и стономъ, и слезами безвинно утѣсненной... выступаетъ изъ должной обязанности, прибѣгаетъ къ естественному праву и нагло свергаетъ бремя, его утомляющее“... Возставшіе граждане „въ жару необузданнаго негодованія преломляютъ священныя узы зависимости, теряютъ должное уваженіе къ той особѣ, которую сами главою себѣ избрали“ [650], и тогда — „лютое насиліе“, „духъ ненависти, злобы, мщенія“ — водворяется въ государствѣ.

Зороастръ, явившись къ Сезострису, открываетъ ему глаза на непорядки въ его государствѣ, происшедшія отъ его попустительства и довѣрчивости. Онъ упрекнулъ царя за то, что тотъ—

„сокрылъ себя въ чертогахъ своихъ отъ подданныхъ, давъ льстецамъ надъ собою полную власть“ [651].

Благодаря этимъ указаніямъ мудреца, царь прозрѣлъ и увидалъ истинное положеніе вещей. Когда онъ увидалъ всю правду, онъ воскликнулъ:

„Боги! я не вѣрю очамъ моимъ! Жестокіе вельможи! Вы меня обманывали. Я вижу подъ наружнымъ величіемъ внутреннее государства паденіе! Ненависть и правда гонимы, коварство подъ личиною добродѣтели, сохраняя частную пользу, истребляетъ общее благо“ [652].

Прозрѣвшій царь —

„Видѣлъ надменныя чертоги тѣхъ каменосердыхъ вельможъ, коимъ повелѣлъ награждать заслуги, питать бѣдность, — они были сооружены изъ сокровищъ, ввѣренныхъ имъ... для помощи народа: основанія зданій сихъ обмыты были горькими слезами; подъ окнами ихъ рыдали вдовицы и сироты и, вмѣсто подаянія, терпѣли немилосердое ругательство“... [653].

Царь, огорченный такимъ положеніемъ вещей, восклицаетъ:

„... я, нещастный Царь, на льстивыя слова вельможей моихъ положившейся, служилъ предметомъ недостойныхъ укориванъ! Я видѣлъ безчеловѣчныхъ чиноначальниковъ, которые въ сей волшебной картинѣ, кажется, ядоточивыми устами говорить еще, въ самое то время, что Египетъ блаженствуетъ въ златомъ вѣкѣ моего царствованіи, когда народъ стонетъ подъ игомъ притѣсненія и глада, обвиняя меня за злодѣянія сихъ обольстителей, занимающихъ первыя степени моего престола“ [654].

О печальномъ положеніи государства, которымъ управляютъ придворные, говорятъ разные романисты: Чулковъ [655], императрица Екатерина [656], Захарьинъ [657]; объ этомъ говорится и въ „Историческихъ Сказкахъ“ [658], и въ книгѣ: „Цвѣтъ Пчеламъ“ [659], „Низверженный Зелулъ“ [660] и мн. др.

Положеніе честнаго человѣка при дворѣ невыносимо,—отовсюду его окружаютъ враги. —

„Строгая и непоколебимая его добродѣтель, столь опасная для придворныхъ, дышущихъ единымъ ухищреніемъ, заставила ихъ всѣми силами изрывать для него ровъ погибели“ [661].

И вотъ, романисты выводятъ нѣсколько добродѣтельнѣйшихъ лицъ, пострадавшихъ отъ придворныхъ интригъ [662].

Наконецъ, въ русскихъ романахъ XVIII вѣка встрѣтили мы и рѣзко-очерченные образы „дурныхъ правителей“. „Однодворецъ“ Захарьинъ осудилъ какого-то халдейскаго царя Асупра за то, что тотъ, присвоивъ „себѣ власть самодержавія, похитилъ право человѣческой вольности“,—тогда, какъ „свобода даетъ каждому равное право“ [663].

Авторъ романа: „Низверженный Зелулъ“ обвинилъ царя за „налоги“ и за то, что онъ отдѣлилъ себя отъ народа толпой тѣлохранитей [664].

Встрѣчаемъ мы однажды такую характеристику „дурного“ царя:

„Комиторъ былъ рожденъ въ Европѣ и съ самаго своего младенчества воспитанъ былъ при дворѣ одного Европейскаго Монарха. Порочныя склонности сего Государя, его худыя нравы, его гордость, роскошь и тщеславіе сдѣлали всю его имперію нещастною. Онъ проводилъ жизнь свою безпорядочно; всѣ его законы противны были справедливости; онъ, жертвуя страстямъ своимъ, уничтожалъ блаженство своихъ подданныхъ: и сіе самое повергало весь народъ въ уныніе и въ негодованіе противу сего Монарха“ [665].

Очень удачно изображенъ Чулковымъ одинъ придурковатый государь; къ нему является посолъ отъ сосѣдняго царя, который въ запальчивости казнилъ его посланника и теперь прислалъ своего, чтобы уладить дѣло. Посланникъ засталъ малоумнаго владыку въ то время, какъ —

„оный упражнялся въ самолучшемъ и обыкновенномъ подвигѣ своемъ, а именно—игралъ съ ручными сороками и, при входѣ моемъ, захохоталъ, ибо одна изъ сихъ сорокъ, взлетѣвъ на голову первому вельможѣ, замарала ему носъ" [666].

Посолъ сказалъ свою рѣчь, но—

„Князь плохо его слушалъ, посмѣиваясь надъ вельможей, разгнѣванномъ невѣжливостью птицы". „Естьли у твоего Князя ученыя сороки!" спросилъ онъ, перебивая мои слова.—„Очень естественно, Ваше Величество!" отвѣчалъ я съ улыбкою,—„ни одинъ Дворъ безъ таковыхъ животныхъ обойтиться не можетъ". Посолъ продолжалъ свою рѣчь, кончилъ... Но „Князь Аланскій, заигравшись съ птицами, забылъ, что даетъ мнѣ аудіенцію. Однако, наконецъ, пришелъ въ себя, и, не вслушавшись въ рѣчь мою, принужденъ былъ опять спросить меня: „за чѣмъ, бишь ты, братецъ, пріѣхалъ?" Потомъ этотъ Князь, равнодушный къ дѣламъ государственнымъ, не рѣшивъ дѣло, „велѣлъ подать себѣ лошадь и уѣхалъ на охоту съ собаками" [667].

Затѣмъ Чулковъ описываетъ засѣданіе Тайнаго Совѣта. — Вельможи ссорятся изъ-за мѣста.

Князь долго не начинаетъ совѣта; „онъ занимался разсматриваньемъ новаго чертежа птичнику, которой подалъ ему его лодчій". Долго длилось молчанье. Наконецъ, „первый вельможа пресѣкъ молчаніе, всталъ, разгладилъ бороду, подошелъ къ Государю и началъ рѣчь, къ коей, по крайней мѣрѣ, часа три готовился: „Мы уже всѣ здѣсь, Ваше Величество!" сказалъ онъ, и поклонился. Князь мѣрилъ пальцами чертежъ и не отвѣчалъ. — „Полянской посолъ здѣсь!" сказалъ опять вельможа. — „Да, братецъ, мнѣ хочется отдѣлать его по Греческому вкусу", отвѣчалъ Князь. Вельможа не понялъ, что Князь говоритъ ему о чертежѣ, и не разумѣлъ, какъ отдѣлываютъ пословъ „по Гречески"; почему сказалъ: „Да, Ваше Величество!",—и замолчалъ. Одинъ изъ совѣтниковъ, неожиданно задремалъ и всхрапнулъ, „Князю сіе очень понравилось; онъ захохоталъ и уронилъ изъ рукъ чертежъ". Увидя посла полянскаго, Князь вскричалъ: „Да, братецъ, я чуть было не забылъ: „Господа! вотъ посолъ... Онъ говоритъ, что тѣ Полянскія области не льзя отдать намъ, о которыхъ вы мнѣ докладывали, вѣдь его ему больше извѣстно, нежели намъ?".—„Такъ, В. В.!", отвѣчали вельможи. „Какъ же вы думаете?", спросилъ еще Князь. „Какъ Вашему Величеству угодно!" сказали вельможи. „Ну, хорошо! удовольствуйте во всемъ господина посла... Скажи, братецъ, что имъ написать, говорилъ Князь, оборотись ко мнѣ, „они долго будутъ сочинять грамоту,—мнѣ хочется ѣсть; смотрижъ, братецъ, поскорѣе пріѣзжай обѣдать и привези грамоту, я подпишу". Такъ какъ вельможи всѣ оказались неграмотными, то писать пришлось самому послу полянскому. Заключенъ былъ вѣчный миръ между Государствами. „За столомъ было очень весело, пили за здоровье моего Государя. И для продолженія дружества и согласія Князь спрашивалъ у меня о псовой охотѣ, о соколахъ, и тому подобныхъ нужныхъ обстоятельствахъ". О казненномъ послѣ забыли „и тѣмъ удобнѣе, что мѣсто его нужно было для другаго, котораго и произвели на оное" [668].

Императрица Екатерина набросала комическій образъ правителя-лѣнтяя, который спитъ во время засѣданій совѣта.—

„Между сихъ разговоровъ Лѣньтягъ-Мурза уткнулъ голову въ подушку и заснулъ. Какъ около стѣны сидящіе услышали, что Лѣньтягъ-Мурза храпитъ, то они полегоньку встали; иныя пошли убираться и украшаться, иныя легли спать, иныя начали всякія празднословія говорить, иныя ухватились за карты и кости, и при всѣхъ сихъ упражненіяхъ—иныя сердились, иныя радовались, и на лицахъ всѣхъ разныя ихъ внутренныя движенія оказывались“ [669].

Прекрасно, по жизненности, изображена Чулковымъ сценка, какъ умѣлый любимецъ водитъ за носъ правителя.

Любимецъ утромъ явился къ вельможѣ съ докладомъ, завелъ рѣчь объ его любовницахъ и, отвлекая этимъ вниманіе вельможи, подсовывалъ ему бумаги, которыя тотъ и подписывалъ „торопко“ [670]. „Естьли-жъ вельможа начиналъ которую бумагу просматривать, любимецъ умѣлъ препятствовать ему въ томъ, начиная разговоръ о прекрасной дѣвкѣ, которая идетъ на содержаніе, или о собакѣ, отличившейся на послѣдней садкѣ, или о бѣгунѣ, которой выдался въ прошедшую пятницу предъ славнымъ рысакомъ“ [671].

Касаются романисты и того вопроса, какую роль играетъ „самолюбіе“ въ жизни правителей. По ихъ мнѣнію, чаще всего это самолюбіе увлекало ихъ къ славѣ завоевателей. Между тѣмъ, съ точки зрѣнія XVIII в., эта слава была „ложная“ —

„Своимъ войскамъ Александръ былъ герой, а философы почитаютъ его за разбойника“ [672].

„Владѣтели поставлены отъ провидѣнія къ благоденствію вверенныхъ имъ народовъ, и къ ихъ спокойствію; слѣдственно, жизнь подданнаго должна быть весьма имъ драгоцѣнна. Но сіи, напротивъ того, слѣдовали блеску торжества, шуму завоеваній, безполезнымъ предпріятіямъ и слѣпому стремленію счастья, совсѣмъ не имѣя подлинной славы, которая слѣдуетъ за истиннымъ достоинствомъ добродѣтелей“ [673].

Наконецъ, всплылъ вопросъ и о томъ, какъ относиться къ такимъ повелителямъ, которые дѣлаютъ добро изъ славолюбія, изъ тщеславія... Въ вѣкъ Екатерины этотъ вопросъ былъ вполнѣ умѣстенъ:

„Главная пружина“ добродѣтелей одного царя было „самолюбіе“, „онъ дѣлалъ добро не для того, что оное дѣлать должно, но чтобы прославить собственное свое имя. Но какая нужда присвоять ему сіе въ порокъ? только глубокомыслящіе Философы, восходящіе до начальныхъ причинъ каждаго дѣянія, потѣли надъ заключеніемъ, дозволить-ли ему имя Государя добродѣтельнаго. Подданные его считали таковымъ“. „Пусть владѣтели дѣйствуютъ по славолюбію, или самолюбію, въ пользу своихъ народовъ,—оные не меньше чрезъ то будутъ имъ обязаны“ [674].

Произведенный анализъ указываетъ намъ на цѣлый рядъ любопытныхъ явленій. Прежде всего, несомнѣннымъ дѣлается, что политическія идеи въ освободительномъ духѣ имѣли среди русскихъ романистовъ довольно большое число поклонниковъ и пропагандистовъ. Пусть это „поклоненіе“ и „пропаганда“ у большинства носила очень смиренный характеръ, быть можетъ, не превышая суетнаго желанія щегольнуть чисто-литературной модой—ругнуть придворныхъ, дать „поученіе“ государю, нарисовать утопію,—тѣмъ не менѣе, любопытенъ самый фактъ существованія у насъ этой потребности высказаться по поводу политическаго строя государства. Очевидно, эта потребность находила почву въ какихъ-то „настроеніяхъ“,—быть можетъ, смутныхъ, не прояснившихся, но, во всякомъ случаѣ существовавшихъ... Если исторія литературы сохранила имена только двухъ писателей, произведенія которыхъ пострадали за „убѣжденія“, въ нихъ высказанныя—„Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ Радищева и „Вадимъ“ Княжнина,—произведенія, которыя для русской публики оказались почти недоступными*), -то теперь, ознакомившись съ русскимъ романомъ XVIII-го вѣка, мы можемъ сказать, что было *около двухъ десятковъ* произведеній оригинальныхъ, русскихъ (не считая переводныхъ и иностранныхъ, свободно ходившихъ по рукамъ), въ которыхъ русскій читатель могъ вычитать многое такое, что впослѣдствіи съ большею страстностью высказали Радищевъ и Княжнинъ**)... Имена Хераскова, Ѳ. Эмина, И. Эмина, Чулкова, Попова, Львова, Захарьина и мн. другихъ, болѣе мелкихъ писателей,—въ разной степени отразили на себѣ и на своихъ произведеніяхъ протестующія настроенія „предреволюціонной“ мысли въ Европѣ... Любопытно, что первые годы царствованія Екатерины отразились въ русскомъ творчествѣ созданіемъ наиболѣе смѣлыхъ по мысли произведеній Ѳ. Эмина („Приключенія Ѳемистокла“—1763) и Хераскова („Нума“ — 1768 г.). Изъ нихъ первый стоитъ болѣе на практической почвѣ, довольно прозрачно намекая на необходимость разныхъ частныхъ реформъ; второй стоитъ за смѣлое принципіальное разрѣшеніе вопроса, болѣе отвлеченное и утопическое. Я

*) Оба произведенія были, какъ извѣстно, уничтожены правительствомъ.

**) Впрочемъ, Княжнинъ не можетъ быть причисленъ къ числу „пропагандистовъ“ республиканской формы правленія: страстныя, горячія рѣчи его Вадима не были рѣчами самого автора: къ тому-же его Рюрикъ, выборный князь, представленъ въ его трагедіи съ чертами идеальнаго владыки.

говорилъ уже, что въ XVIII-омъ вѣкѣ было модою поучать царей, давать имъ совѣты, указывать пути. Этой модѣ, въ свое время, слѣдовалъ Фенелонъ, а у насъ — О. Эминъ, Херасковъ, отчасти И. Львовъ („Храмъ Истины"—1790 г.), — остальные романисты главное вниманіе обратили на обличенія „придворныхъ" и „духовенства" (Чулковъ),—или рисовали отрицательные типы царей и владыкъ,—или, наконецъ, избирали самую благую часть — изображали какого-то „идеальнаго" царя и блаженство его подданныхъ... Во всемъ этомъ, однако, чувствуется прямой, или косвенный, намекъ на недовольство настоящимъ, на желаніе чего-то лучшаго; опредѣляются настойчивыя, хотя повторяю, еще неясныя, мечты о такомъ государствѣ, въ которомъ нѣтъ владыкъ, нѣтъ гнета сильныхъ и богатыхъ —мечты, сдѣлавшіяся не только въ западной Европѣ, но и у насъ „общимъ мѣстомъ". Любопытно, что въ концѣ вѣка эти мечты окончились разочарованіемъ, которое наиболѣе смѣлаго нашего политическаго романиста—Хераскова привело къ протесту противъ французской философіи и французской революціи, а другихъ привело къ печальному сознанію, что „счастливыя государства" возможны только „въ сказкахъ". Насколько широки, однако, были эти увлеченія ходячими истинами „предреволюціоннаго" кодекса видно, хотя-бы, изъ того, что они завладѣли даже людьми низшаго сословія: „однодворецъ" Захарьинъ въ своемъ безконечномъ романѣ: „Арфаксадъ, халдейская повѣсть", разсыпалъ рѣзкіе отзывы о самодержавіи, хвалебные гимны свободѣ, не знающей гнета власти... Если кромѣ романовъ на иностранныхъ языкахъ, кромѣ переведенныхъ на русскій, мы въ однихъ только русскихъ, *оригинальныхъ*, усмотрѣли немало политическихъ идей, въ разной степени яркихъ и опредѣленныхъ, — не затрудняюсь сказать, что и русское общество, хотя-бы, въ лицѣ его лучшихъ представителей, начало интересоваться этими идеями *) еще до Екатерины,— при ней этотъ платоническій интересъ сталъ переходить въ броженіе, которое при ней же и было придавлено сверху...

Произведенный выше анализъ русскаго оригинальнаго романа XVIII в. позволяетъ утверждать, что этотъ жанръ, въ идейномъ отношеніи, представляетъ большой интересъ: многія ходячія мысли вѣка нашли въ немъ, болѣе или менѣе, яркое отраженіе. Конечно, можетъ возникнуть вопросъ, позволяетъ ли этотъ фактъ

---

*) Переводы „политическихъ романовъ" у насъ начинаются очень рано: въ 1747 году переводится впервые „Телемакъ", въ 1751—„Аргенида" Барклая.

заключать о наличности такихъ идей въ самой жизни; можетъ, даже народиться сомнѣніе въ жизненности этихъ идей; пожалуй, можетъ явиться предположеніе, что онѣ чисто-литературнаго происхожденія и явились въ русскомъ романѣ только, какъ результатъ литературнаго подражанія.

Но знакомство съ другими видами русской литературы XVIII вѣка позволяетъ съ увѣренностью утверждать, что указанныя идеи встрѣчаются не только въ „романѣ", но и въ другихъ популярныхъ жанрахъ этой же эпохи (напр., въ „журналахъ", въ „драмахъ": въ трагедіи и комедіи). Уже это одно обстоятельство, конечно, значительно расширяетъ литературный кругъ обращенія этихъ идей, свидѣтельствуетъ объ ихъ популярности и жизненности. Знакомство съ „мемуарами" XVIII вѣка даетъ возможность найти еще болѣе твердую опору этому утвержденію: факты, выхваченные изъ жизни прошлаго и сохраненные въ запискахъ, позволяютъ утверждать, что всѣ перечисленныя выше идеи вѣка проникли въ романъ не только литературнымъ путемъ,—а, въ равной мѣрѣ, *подсказаны самой жизнью.*

И въ журналахъ XVIII вѣка, и въ драмѣ (трагедіяхъ и комедіяхъ), и въ мемуарахъ найдемъ мы неразъ факты, свидѣтельствующіе о томъ, что идеи освободительной философіи—результатъ знакомства русскихъ людей со взглядами Вольтера, отчасти Руссо, Гельвеція и другихъ матеріалистовъ—нашли себѣ у насъ самое различное выраженіе; всѣ онѣ объединились въ представленіи русскаго общества подъ общимъ названіемъ „вольтерьянства"; въ этомъ понятіи мирно умѣстились всевозможныя ученія „просвѣщеннаго вѣка",—и деизмъ, и скептицизмъ, и матеріализмъ, и сенсуализмъ, и либерализмъ различныхъ оттѣнковъ [675]... Это „вольтерьянство" освобождало русскихъ людей отъ узъ старинныхъ условностей, традицій и принциповъ, но, взамѣнъ утраченной старины, не давало ничего положительнаго; вотъ почему, столкнувшись съ русской дѣйствительностью, оно сказалось, прежде всего, въ безотрадномъ отношеніи къ жизни,—въ пессимизмѣ, неизбѣжномъ спутникѣ скептицизма [676]...

„Свободомысліе" русскихъ людей выразилось прежде всего въ отрицательномъ отношеніи къ фанатизму [677], суевѣрію, пустосвятству [678]; нападки на „жрецовъ" (-духовенство бѣлое и, особенно, черное), [679] на ихъ корыстолюбіе, сластолюбіе и чревоугодничество,—встрѣчаются не только въ русскихъ романахъ,—они находятъ себѣ обильное подтвержденіе въ фактахъ, взятыхъ изъ самой жизни и изъ другихъ литературныхъ жанровъ XVIII-го вѣка. Раціона-

лизмъ эпохи выразился въ отрицательномъ отношеніи ко всякимъ чудесамъ" [680],—ко всему „таинственному", недоступному разуму (отсюда вражда къ масонству), въ преклоненіи передъ деизмомъ,— „естественной религіей", „естественнымъ правомъ" [681]; гуманность свободолюбиваго вѣка сказалась въ сочувственномъ отношеніи къ крестьянамъ, въ отвращеніи къ крѣпостному праву [682]. Это сочувствіе къ простымъ людямъ связывалось съ преклоненіемъ передъ „природой" [683], которая не испорчена культурой,— передъ „деревней" [684], которой не коснулось вліяніе города,—отсюда вѣчное восхваленіе „уединенія", гдѣ можно вдали отъ суеты міра предаваться чистой и возвышенной созерцательности [685].

Отмѣченныя выше, при анализѣ романа, политическія идеи, свидѣтельствующія объ интересѣ русскихъ романистовъ къ вопросамъ соціальной и государственной жизни, встрѣчаются и въ журналахъ XVIII в. и въ драмѣ и, опять таки, подтверждаются данными, извлеченными изъ записокъ [686]; отмѣченные выше въ романѣ типы „свободомыслящихъ" русскихъ людей—„вольтерьянцевъ" [687], неразъ фигурируютъ въ другихъ литературныхъ видахъ вѣка, и, что особенно важно, въ мемуарахъ; ихъ здѣсь выведено много, самыхъ различныхъ оттѣнковъ,—отъ пустого щеголя, отказавшагося ради освобожденія своей личности отъ „условностей" — до истаго поклонника Вольтера и его міровоззрѣнія... Интересъ къ французской революціи тоже проникъ не въ одни только романы, — онъ отразился и на самой жизни XVIII вѣка: среди русскихъ людей нашлись поклонники и враги политическаго движенія во Франціи [688].

Политическіе интересы эпохи, какъ въ романѣ, такъ и въ журналахъ, и въ драмѣ, сказались, прежде всего, въ попыткѣ выяснить, что такое „хорошій царь". Такимъ, обыкновенно, представляется миролюбивый, гуманный царь—„человѣкъ на тронѣ", патріархально относящійся къ подданнымъ [689]; авторы XVIII-го вѣка всегда его усердно восхваляютъ; наоборотъ, не щадятъ они словъ для порицанія дурныхъ правителей [690],—эгоистовъ, ради суетной военной славы проливающихъ кровь подданныхъ, — тирановъ, изъ прихоти играющихъ судьбой своихъ подданныхъ: единодушно всѣ нападаютъ на придворныхъ [691], которые стѣной окружаютъ слабаго царя, льстятъ ему, обманываютъ и притѣсняютъ народъ... Рисуя государство, плохо управляемое, стонущее отъ всевозможныхъ злоупотребленій (лихоимство, казнокрадство), писатели XVIII-го вѣка охотно рисуютъ и „утопіи" [692],—гдѣ все, въ

политическомъ отношеніи, благополучно, гдѣ нѣтъ насилія, нѣтъ тиранніи, гдѣ цвѣтетъ миръ и счастье...

Собранные мной литературные и историческіе факты позволяютъ утверждать, что умственная жизнь передового русскаго общества въ XVIII вѣкѣ была богата содержаніемъ,—и что вся популярная литература этого времени всесторонне отразила въ себѣ эту содержательную жизнь. „Романъ", въ этомъ отношеніи, не отставалъ отъ другихъ литературныхъ жанровъ и, пожалуй даже, смѣлѣе и рѣзче выразилъ то, что тусклѣе и блѣднѣе выразилось въ драмѣ и журналахъ XVIII вѣка. Если мы, съ точки зрѣнія этой идейной русской литературы попытаемся оцѣнить русскую государственную жизнь XVIII вѣка, съ авантюризмомъ ея внѣшней политики, съ властью фаворитовъ, съ той безумной борьбой самолюбій, ради которой часто забывалось благо народное,—въ нашихъ глазахъ особую жизненную цѣнность пріобрѣтутъ всѣ эти мечты объ „идеальномъ" царѣ, и обличенія „дурного",—всѣ эти нападки на придворныхъ и мечты о счастливыхъ царствахъ-утопіяхъ...

Не менѣе цѣнны для насъ окажутся и первые проблески свободной русской мысли, пытавшейся вырваться на свободный путь критицизма, чтобы стряхнуть съ себя тѣ узы, которые нѣсколько вѣковъ держали въ рабствѣ умъ русскихъ людей...

Отъ той эпохи до нашихъ дней сохранилось нѣсколько туманныхъ образовъ: Новиковъ, Радищевъ,—наиболѣе интересные изъ нихъ. Стоитъ освѣтить ихъ съ точки зрѣнія тѣхъ идей, которыми была одушевлена тогдашняя „идейная" русская литература—и смутныя очертанія обоихъ общественныхъ дѣятелей Екатерининской эпохи смѣнятся рѣзкими контурами: мы поймемъ, въ какомъ направленіи работала ихъ мысль, чѣмъ она питалась и отчего для Екатерины оба дѣятеля казались опасными. Эта литература поможетъ намъ разобраться и въ такихъ странныхъ фактахъ, какъ, напримѣръ, участіе русскихъ аристократовъ въ штурмѣ Бастиліи [693]; она объяснитъ намъ, откуда взялись у насъ, въ матушкѣ-Москвѣ, горячіе сторонники республиканскаго правленія [694]: она укажетъ намъ, почему наши кадеты въ стѣнахъ корпуса въ концѣ вѣка съ увлеченіемъ переводили „марсельезу" на русскій языкъ [695]; почему многіе изъ русскихъ людей того времени горячо интересовались французской революціей [696] и, что особенно важно, умѣли вѣрно судить о соціальныхъ и историческихъ причинахъ этого движенія [697]...

Примѣчанія и ссылки, относящіяся ко II-ой главѣ.

1. Предисловія (наиболѣе любопытныя) къ романамъ (оригинальнымъ и переводнымъ *) напечатаны въ моемъ сочиненіи: В. Сиповскій, „Изъ исторіи русскаго романа и повѣста" (Матеріалы по библіографіи, исторіи и теоріи русскаго романа). Часть I; XVIII в. Спб. 1903, 159—233; 2. № 65 **). „Философъ Англинской" (предисловіе переводчика), 162—3; 3. № 119, „Сирота Англинская" (пред. переводчика), 164—5; 4. № 168, „Письма отъ г-жи Монтіеръ" (пред. переводчика), 167; 5. № 156, „Жизнь Олимпы", 169; 6. № 269, „Приключенія Іосифа Андреева" (пред. переводчика), 174; 7. № 265, „Дѣянія Іоанфана Вилда" (пред. переводчика), 173; 8. № 327, „Способъ быть добродѣтельнымъ", (пред. переводч.), 175; 9. № 149, „Библіотека нѣмецкихъ романовъ", 176—8; 10. № 167, „Исторія дѣвицы Стернгеймъ, 178—9; 11. № 492, „Приключенія Маркиза Г**", 179—180; 12. № 666, „Зеркало дѣвицъ", 189; 13. № 1012, „Торжество невинности", 189—190; 14. № 1797, „Памела", 205—7; 15. № 874, „Памела", 183—5; № 773, 16. „Страданія молодой Емиліи", 183; 17. № 782, „Вакефильдскій священникъ", 183; 18. № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 185—8; 19. № 1136, „Воинъ-Философъ", 196—8; 20. № 1397, „Англинскія письма, или исторія Грандисона", 212—3; 21. № 1, „Ѣзда въ островъ любви", 159; № 4, „Аргенида", 160—1; № 81, „Жизнь Маріанны", 163; № 79 „Геройская добродѣтель", 163; № 91, „Честной человѣкъ и плутъ", 163; № 87, „Похожденіе Ипполитова", 164; № 125, „Геройскій духъ", 165; № 184, „Забавной Философъ", 171; № 203, „Велиоръ", 171; № 391, „Друзья-Соперники", 176; № 636, „Путешествіе добродѣтели", 181; № 1126, „Эстелла", 193—194; № 1416, „Графъ Вальмонтъ", 201; № 1593, „Новая 1001 ночь", 203; № 1719, „Плоды свободнаго времени", 204; 22. Напр., № 262, „Подлинное описаніе жизни...", 173; № 265, „Дѣянія Іоанфана Вилда", 173; № 874, „Памела", 184; № 1012, „Торжество невинности", 189; № 1397, „Англійскія письма, или исторія Грандисона", 212; 23. Напр., № 229, „Новая Элеиза", 172; № 467, „Исторія дѣвицы Стернгеймъ", 178; 24. Напр., № 65, „Философъ Англинской", 162; № 81, „Жизнь Маріанны", 163; № 650, „Театръ свѣта", 181; № 701, „Зритель міра", 182; № 149, „Библіотека нѣмецкихъ романовъ", 177;

---

*) Иногда русскій переводчикъ переводилъ не съ оригинала, а съ переводовъ (напр., англійскіе романы съ французскихъ и нѣмецкихъ переводовъ); поэтому возможны случаи, когда цитуемыя мной „предисловія" перусскаго происхожденія и представляютъ собою переводы съ тѣхъ предисловій, которые сочинены были еще иностранными переводчиками. Но разрѣшать вопросъ о степени оригинальности этихъ предисловій я не берусь, т. к. для этого 1) потребовалась бы такая работа, которая невыполнима безъ продолжительныхъ занятій въ заграничныхъ библіотекахъ и—2) хотя эти предисловія имѣли бы большую цѣнность, если-бы было доказано ихъ русское происхожденіе,—тѣмъ не менѣе, относительная цѣнность за ними остается: они прочитывались русскимъ читателемъ; они направляли его вкусъ, опредѣляли сущность и значеніе *романа*.

**) „№", предшествующій названію, указываетъ, подъ какимъ № помѣщено цитуемое произведеніе въ моемъ библіографическомъ указателѣ романовъ (*В. Сиповскій*, „Изъ исторіи романа и повѣсти"); обозначеніе *страницы* - указываетъ, на какой страницѣ моего „указателя" можно найти это предисловіе въ болѣе полномъ видѣ.

25. Напр., № 1416, „Графъ Вальмонтъ", 201; № 1797, „Памела", 206; № 65, „Философъ Англинской", 162; № 1136, „Воинъ-Философъ", 197; 26. Напр., № 281, „Клара", 174; № 1136, „Воинъ-Философъ", 198; № 1872, „Вечерніе бесѣды въ хижинѣ", 208; 27. № 419, „Библіотека нѣмецкихъ романовъ", 177; 28. Напр., № 119, „Сирота Англинская", 164; № 168, „Письма отъ г-жи Монтіеръ", 167; № 156, „Жизнь Олимпы", 169; № 196, „Тысяча и одинъ часъ", 170; № 181, „Забавной Философъ", 171; № 650, „Театръ свѣта", 181; № 666, „Зеркало дѣвицъ", 181; № 871, „Памела", 184; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 185—186; № 1054, „Картина нравовъ", 194; № 1129, „Анекдоты любопытные", 195; № 1136, „Воинъ-Философъ", 197; № 1490, „Приключенія Маркиза Г**", 200; № 1446, „Исторія Абдеритовъ", 202; № 1593, „Новая 1001 ночь", 203; № 1797, „Памела", 205, 206; № 1397, „Англинскія письма, или исторія Грандиссона", 213; 29. Напр., № 1136, „Воинъ-Философъ", 198; № 1490, „Приключеніе Маркиза Г**", 200; № 1593, „Новая 1001 ночь", 201; № 1252, „Новый Гулливеръ", 211; 30. № 704, „Зритель міра", 182; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 185; № 959, „Несчастія отъ непостоянства", 189; № 1012, „Торжество невинности", 191; № 1490, „Приключеніе Маркиза Г**, 201; 31. Напр., № 1252, „Новый Гулливеръ", 211; 32. № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 188; 33. № 770, „Сказки Духовъ", 183; № 1252, „Новый Гулливеръ", 211; 34. № 1138, „Дикій человѣкъ", 196; 35. № 322, „Юлія", 175. № 265, „Дѣвпія Іоанафапа Вилда", 173; № 1397, „Англинскія письма", 212; 36. Напр., № 189, „Повѣсть о приключеніяхъ Кавалера Г**", 171; № 287, „Повѣсть о г. де-ла Бедуаерѣ", 171; 37. Напр., № 517, „Женская уборная комната", 180; 38. № 1142, „Заблужденіе отъ любви", 195; № 1785, „Кандидо-манторъ", 207; № 1219, „Несчастный невольникъ", 211; № 81, „Жизнь Маріанны", 163; № 173, „Похожденіе Карла Орлеанскаго", 169; 40. Напр., № 115, „Похожденіе Керея и Каллирои", 164; № 111, „Повѣсть о страстяхъ", 165; № 137, „Правоучительныя сказки г. Мармонтеля", 166, 167; № 168, „Письма отъ г-жи Монтіеръ", 167; № 1136, „Воинъ-Философъ", 196; 41. Напр., № 292, „Сара Т**", 174; № 1136, „Воинъ-Философъ", 196; 42. Напр., № 262, „Подлинное описаніе жизни Картуша", 173; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 187; 43. № 1377, „Приключенія Фобласа", 199; 44. № 168, „Письма отъ г-жи Монтіеръ", 167; № 871, „Памела", 184; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 188; № 1377, „Приключенія Фобласа", 199; № 1797, „Памела", 206; 45. Напр., № 111, „Повѣсть о страстяхъ", 166; № 137, „Правоучительныя сказки г. Мармонтеля", 166; № 558, „Сизимъ", 180; № 713, „Несчастіе отъ женъ", 182—3; № 782, „Вексфильдскій священникъ", 183; № 871, „Памела", 184; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 188; № 956, „Незнакомка", 188; № 1126, „Эстелла", 194; № 1180, „Подлинныя письма несчастныхъ людей", 201—202; № 1797, „Памела", 206—207; № 189, „Повѣсть о приключеніяхъ Кавалера Р**", 171; № 292, „Сара Т**", 174; № 1299, „Целестина", 210; 46. Напр., № 141, „Повѣсть о страстяхъ", 166; № 379, „Хромой нищій", 176; 47. Напр., № 111, „Повѣсть о страстяхъ", 165—6; 48. Напр., № 1490, „Приключеніе Маркиза Г**, 200; № 1911, „Викторъ", 209; 49. Напр., № 1012, „Торжество невинности", 190; 50. Напр., № 265, „Дѣвпія Іоанафапа Вилда", 173; № 269, „Приключенія Іосифа Андревса", 174; № 327, „Способъ быть добродѣтельнымъ", 175; № 1911, „Викторъ", 209; 51. Напр., № 149, „Библіотека нѣмецкихъ романовъ", 177; № 1797, „Памела", 183—4, 205—7; № 1397, „Англинскія письма", 212—3; 52. Напр., № 265, „Дѣвпія Іоанафапа Вилда", 173; 53. Напр., № 201, „Зулима", 172; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 187; 54. Напр., № 982, „Похожденія Родрика Рандома", 187; 55. № 192, „Приключенія Маркиза Г**, 179; № 1012, „Торжество невинности", 191; 56. Напр., № 1247, „Нещастія отъ чувствительности", 210; 57. № 1490, „Приключенія Маркиза Г**, 201; № 1247, „Нещастія отъ чувствительности", 209; 58. № 137, „Правоучительныя сказки г. Мармонтеля", 167; 59. Напр., № 492, „Приключенія Маркиза Г**, 200; № 1136, „Воинъ-Философъ", 198; № 1397, „Англинскія письма", 212; 60. Напр., № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 186; 61. Напр., № 713, „Несчастіе отъ женъ", 182; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 187; № 1126, „Эстелла", 193; № 1797, „Памела", 207; 62. № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 187; 63. Напр., № 1, „Аргенида", 160; 64. Напр., № 4, „Аргенида", 160—161; № 1136, „Воинъ-Философъ", 196; № 1784, „Исторія о славномъ рыцарѣ Полиціонѣ", 205; 65. № 65, „Философъ Англинской", 162—3; № 139, „О графѣ Оксфордскомъ", 165; № 982, „Похожденіе Родрика Рандома", 186; № 1797, „Памела", 205; № 1911, „Викторъ", 209; № 149, „Библіотека

нѣмецкихъ романовъ", 177; 66. № 1952, „Евгеній", 233; № 1867, „Анекдоты древнихъ потешонцевъ", 232; 67. № 276, „Валерія", 218; 68. № 587, „Добродѣтельная Розана", 221; 69. № 187, „Пересмѣшникъ", 215; № 498, „Русскія сказки", 220; № 1225, „Зубоскалъ", 226; 70. № 188, „Письма Ерпеста и Доравры", 214; 71. № 188, „Письма Ернеста и Доравры", 215; № 1172, „Роза и Любимъ", 225; № 412, „Обстоятельныя и вѣрныя исторіи", 219; № 1098, „Россійская Памела", 224; 72. № 498, „Русскія сказки", 221; 73. Ibid., 220, 221; 74. № 253, „Славянскія древности", 217; № 1152, „Невидимка", 225; № 1477, „Повѣсть о непреоборимой любви Адаманта", 227; № 1952, „Евгеній", 233; 75. № 412, „Обстоятельныя и вѣрныя исторіи". 21, № 498, „Русскія сказки", 220, 221; № 1172, „Роза и Любимъ", 226; № 1811, „Странныя приключенія", 230; 76. № 412, „Обстоятельныя и вѣрныя исторіи", 218—9; 77. № 1152, „Невидимка", 224; 78. № 1867, „Анекдоты древнихъ потешонцевъ", 231—2; 79. № 808, „Лабиринтъ волшебства". 223; 80. Д. Языковъ, „Вольтеръ въ русской литературѣ", сборникъ: „Подъ знаменемъ науки". М. 1902. Болѣе полный перечень повѣстей Вольтера см. въ моемъ сочиненіи: *В. Сиповскій*, „Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти". Спб. 1903; 81. Вольтеръ, „Полное собраніе сочиненій". 1791. I. 5; 82. Ibid., I. 36—7; 83. Ibid., I. 143—7; 84. Ibid., III. 230; 85. Вольтеръ, „Кандидъ". 1769. 15—16. Педантизмъ нераз осмѣиваетъ и Монтескье въ „Персидскихъ письмахъ" (напр... II. 351, 486; ср. сумароковскаго Тресотиніуса): 86. Ibid., 17; 87. Вольтеръ, „Полное соб. соч.". I, 238; 88. Ibid., III. 368. 89. Ibid., II. 32; 90. Вольтеръ, „Скарментадово путешествіе". 1778. 4—5; 91. Вольтеръ, „Полное собраніе соч.". I, 73—80, 84—87. 132. II. 11. 30. 129; „Принцесса Вавилонская". 107; „Кандидъ". 113. 116; 92. „Полное собраніе сочиненій". II. 51 и слѣд.; 93. „Полное собраніе сочиненій". I. 107; II. 159; 161—2. 179. 186—3. 186—9. 300; „Принцесса Вавилонская". 163. 172; „Кандидъ", 39. *Монтескье* въ „Персидскихъ письмахъ" тоже нераз нападаетъ на папу (напр., II. 322); 94. „Полное собраніе сочиненій". I. 12. II. 75; „Принцесса Вавилонская". 196; „Скарментадово путешествіе". 5—10; 95. „Полное собраніе сочиненій". I. 216. 219—230; II. 212 и пр. 96. „Принцесса Вавилонская". 37. 67; 97. „Полное собраніе сочиненій". III. 217. Любопытенъ перечень наслѣдства, оставшагося послѣ Магомета:— „девять саблей. три коня. три лука. семь латъ. три щита. двѣнадцать женъ. одинъ бѣлой пѣтухъ. семь лошадей. два осла и четыре верблюда. не считая въ томъ числѣ кобылу-Бараклъ. на которой путешествовалъ онъ въ небо; однако, оную имѣлъ онъ только на время. а она. собственно, принадлежала Архангелу Гавріилу". (Ibid., 231—2). У Монтескье въ „Персидскихъ письмахъ" мы встрѣчаемъ остроты такого-же характера: напр., паломники преклоняются гробницѣ „дѣвы. рождшей двѣнадцать пророковъ" и др. (I, 3). Противъ фанатизма и плутовства духовныхъ говоритъ онъ въ въ своихъ „Персидскихъ письмахъ" нераз (напр., I. 42—4; II, 376, 7. 379. 402—3, 395), противъ пустой обрядности (I. 136—7). 98. „Кандидъ", 79; 99. Ibid., 91. Нѣсколько разъ противъ войны и вообще содержанія войскъ, высказывается Монтескье въ „Персидскихъ письмахъ": 100. Ibid., 6; 101. Ibid., 17; 102. „Микромегасъ", 1788, 17; 103. „Задигъ". 33; 104. „Микромегасъ". 35; 105. Ibid., 48—50; 106. Ibid., 50; 107. Ibid., 55—6; 108. Ibid., 56; 109. Ibid., 10—11; 110. Ibid., 10—1; 111. Ibid., 13; 112. „Кандидъ", 116; 113. Ibid., 9; 114. „Полное собраніе сочиненій". III. 315, 317, 365; 115. Ibid., 360; 116. „Кандидъ". 10; 117. „Полное собраніе сочиненій". I. 10; 118. Ibid., I. 40; 119. „Свѣтъ, каковъ онъ есть". 41; 120. „Принцесса Вавилонская". 199; 121. „Задигъ", 100—2; 122. „Принцесса Вавилонская". 154. 186; 123. „Принцесса Вавилонская". 157; 124. „Полное собраніе сочиненій". I. 150; 125. „Повѣсть о Задѣ". 20; 126. „Человѣкъ съ латынью", 71; 127. Ibid., 99; 128. Ibid., 106; 129. „Кандидъ", 114—5. Въ „Персидскихъ письмахъ" Монтескье есть сходный, по завязкѣ, разсказъ объ актрисѣ: 130. Ibid., 115; 131. Ibid., 116; 132. „Принцесса Вавилонская", 30—1; 133. Еще, напр., „Собр. соч.", I, 315; 134. Ibid., 374; 135. *Ѳ. Дмитріевъ-Мамоновъ*, „Дворянинъ-Философъ", I; 136. Ibid., 2; 137. Ibid., 6; 138. Ibid., 10; 139. Ibid., 11; 140. Ibid., 12; 141. Ibid., 18; 142. Это выраженіе въ русскихъ переводахъ сочиненій Вольтера встрѣчается нераз (напр., „Собр. соч.". 107, 218 и др.); 143. *Дмитріевъ-Мамоновъ*, op. cit., 23; 144. Ibid., 23—27; 145. Ibid., 30; 146. Ibid., 35; 147. Ibid., 38—9; 148. Ibid., 39; 149. Ibid., 12; 150. Ibid., 6; 151. Ibid., 16—17; 152. *В. Левшинъ*, „Новѣйшее путешествіе", сочиненно въ городѣ Бѣлевѣ. „Собесѣдникъ любителей Россійскаго Слова", 1784, XIII, 138—166; XIV, 5—33; XV, 5—33; XVI, 35—47; 153. Монтескье, „Персидскія письма". съ фр. перев. кол. сов. Ефимъ Рознотовскій. Спб., 1792; 154. *В. Левшинъ*,

op. cit., XIII, 139. Вольтеръ постоянно издѣвается надъ самомнѣніемъ людей, полагающихъ, что весь міръ созданъ для нихъ („Микромегасъ", 5—6); 155. Ibid., 146. Ср. взглядъ „Полн. собр. соч.", III, 368 и др.; 156. Ibid., XIV, 150—1. Ср. радость Микромегаса, когда онъ на землѣ увидѣлъ людей (op. cit., 35); 157. Ibid., 159; 158. Ibid., XIV, 5; 159. Ibid., XIV, 15. Сравни этотъ пессимизмъ жителя луны съ тѣмъ безотрраднымъ отношеніемъ къ Европѣ, которое испытали персы, герои „Персидскихъ писемъ" Монтескье, также „Кандидъ", герой Вольтера (94, еще „Полн. собр. соч.", I, 238, 251); 160. Ibid., 21. Вольтеръ постоянно упрекаетъ людей, что они дерутся за „кучку" земли (вздр., „Кандидъ", 17); 161. Ibid., 28. Ср. вышучиваньe этого понятія „честь" у Монтескье въ его „Персидскихъ письмахъ" (I, 289—290); 162. Ibid., 32; 163. Монтескье, op. cit., I, 289—90; 164. *В. Левшинъ*, op. cit., XV, 5—7; 165. Ibid., 18; 166. Ibid., 32; 167. Ibid., 32; 168. Монтескье, op. cit.; 169. Ibid., 170. Ibid., 171. Ibid., 172. *В. Левшинъ*, op. cit., XVI, 35; 173. Ibid., 37; 174. Ibid., 38—9; 175. „Житіе господина NN", 5, Свб., 1779; 176. Ibid., 5—6. Ср. у Монтескье въ „Персидскихъ письмахъ", гдѣ говорится объ очкахъ и усахъ, какъ предметахъ, имѣющихъ особое значеніе (I, 253); 177. Ibid., 7; 178. Ibid., 7—8; 179. Ibid., 8; 180. Ibid., 10; 181. Ibid.; 182. Ibid., 11; 183. Ibid.; 184. Ibid., 12; 185. Ibid., 14; Ср. у Монтескье въ его „Персидскихъ письмахъ" подобный имъ перечень достопримѣчательностей историческихъ, которыми гордится любитель древности (II, 170, 178 и др.); 186. Ibid., 15; 187. Ibid., 17; 188. Ibid., 18; 189. Ibid., 20; 190. Ibid., 21; 191. Ibid.; 192. Ibid., 22; 193. *Вольтеръ*, „Полное собр. соч., I, 85; 194. „Житіе г. NN.", 44; 195. Ibid., 48; 196. Ibid., 49; 197. Ibid., 61; 198. Ibid., 63; 199. Ibid., 64; 200. *Эмикъ, Ѳ.*, „Непостоянная фортуна", 1763, I, 61—3, II, 230—3, III, 341 и др. *Новиковъ*, „Похожденія Ивана гостинаго сына", 1785, II, 97—8; 201. „Ѳеатръ чрезвычайныхъ происшествій", 1793, 68; *Чулковъ*, „Русскія сказки", 1780, VI ч. 169, 265, IX ч. 72; „Странныя приключенія Димитрія Магушкина", 1796, II, 259—60; 202. *Эмикъ, Ѳ.*, „Непостоянная фортуна", ч. II, 113, 219; 203. *Поповъ, М.*, „Славенскія древности", 1770, I, 31, 86; *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", 1789, II, 30, 35, III, 208—9, 207, V, 145; *Херасковъ*, „Полидоръ", 1791, I, 30, 20—1, 132; 204. *Херасковъ*, „Нума", или пропвѣтающій Римъ", 1768, 98. Правда, слѣдуетъ „деликатное" примѣчаніе подъ строкой: „Сколько щастливымъ почитать себя намъ должно, что возсіяшая новая благодать ложныхъ боговъ истребила и, разрушa ихъ капища, отъ лютости древнихъ жрецовъ насъ избавила, а, открывъ намъ путь ко спасенію, руководству благочестивыхъ пастырей насъ вѣрила"; 205. Ibid., 89; 206. Ibid., 88—9; 207. *Чулковъ*, „Русскія сказки", 1780, IX, 7; 208. Ibid., 84; 209. *Херасковъ*, „Полидоръ", I, 30; 210. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", II, 35; 211. *Херасковъ*, „Нума", 88; 212. *Чулковъ*, op. cit., III, 207; 213. *Чулковъ*, „Русскія сказки", IX, 111; 214. *сюжетъ*, „Пересмѣшникъ", III, 211; 215. „Ѳеатръ", 19; 216. *Чулковъ*, op. cit., III, 212; IV, 223; еще: II, 27—9; „Русскія сказки", I, 190—1; 217. *Херасковъ*, „Нума", 77; 218. *Поповъ*, „Славенскія древности", II, 11—5; *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 89; „Русскія сказки", I, 59; „Ѳеатръ", I, 19; II, 20; *Херасковъ*, „Полидоръ", I, 62, 65; 219. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 223—1; „Дѣвушкины прогулки", 1791, 123; *Херасковъ*, „Полидоръ", I, 87, 72; *Чулковъ*, „Русскія сказки", II, 160, 172—3, 187—8; X, 146; IX, 41; 220. *Чулковъ*, „Русскія сказки", IX, 40; 221. Ibid. 222. *Херасковъ*, „Нума", 93—4; „Полидоръ", I, 53; 223. *Херасковъ*, „Нума", 92—3; 224. Ibid., 91; 225. Ibid., 85; 226. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 89; 227. *Чулковъ*, „Русскія сказки", I, 191—2; 228. Ibid., IX, 6; 229. „Мѣдь вѣщающая", (Пр. и пол. препр. времени", 1798, XVII, 355); 230. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана Гостинаго Сына", I, 70; 231. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", IV, 171, 186; 232. Ibid., II, 133; 233. Ibid., II, 165; „Ѳеатръ", II, 87; 234. „Филоп." („Муза", 1796, II, 222); 235. *Новиковъ*, „Похожденія Ивана", I, 128; 236. *И-ца Екатерина*, „Сказка о Горѣ-богатырѣ Косометовичѣ", 1789, 13; 237. *Друковцевъ, С.*, „Сава", 1781, 29; 238. *Измайловъ, А.*, „Евгеній", 1799, I, 91; 239. *А* Л**, „Пеонила", 1794, II, 149; 240. *Чулковъ*, „Русскія сказки", VI, 236—237; 241. Ibid., 238, 242. „Странныя приключенія Дим. Могушкина", 203—1; 243. *Г. Н. О.*, „Ѳеатръ", 19; 244. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", I, 58—9; 245. Ibid., III; 246. Ibid., 193—5; 247. Справедливость требуетъ замѣтить, что, рядомъ съ такими сужденіями, мы встрѣчаемъ нераз и сочувственные отзывы о священнослужителяхъ и монахахъ. 248. *Чулковъ*, „Русскія сказки", VI, 177; еще: „Пересмѣшникъ", III, 191—5; 249. *Эмикъ, Ѳ.*, „Непостоянная фортуна", III, 230—3; 250. *Измайловъ, В.*, „Чувство мое надъ гробомъ доброй Маріи" („Пр. и пол. препр. вр.", 1794, II, 103; 251 *Друковцевъ С.*, „Сава", 65;

252. *А* Л**, „Неонила", 18, 126; 253. „Зубоскалъ", 1791, I, 11; 254. „Мѣдь звенящая" („Пр. и пол. препр. вр.", XVII, 361—2); 255. *Измайловъ, А.*, „Евгеній", II, 103, 109; 256. „Филонъ" („Муза", IV, 149—152); 257. *Эмикъ, Ѳ.*, „Письма Ернеста", 1795, IV, 119—120; 258. „Мѣдь звенящая" („Пр. и пол. препр. вр.", XVII, 371—2; 259. *Друковцевъ*, „Сава", I, 24; 260. „Темной лѣсъ" („Пр. и пол. препр. вр.", 1796, XII, 11); 261. *Эмикъ, Н.*, „Роза", 1789, 38—9; 262. *Львовъ, Н.*, „Россійская Памела", 1789, I, 26; 263. Ibid., 26; 264. *Эмикъ, Н.*, „Роза", 117; 265. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", V, 188; 266. *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", II, 310; 267. *Чулковъ*, „Русскія сказки", V, 117; 268. *Львовъ, Н.*, „Россійская Памела", I, 22; 269. Ibid., 118; 270. *Эмикъ, Н.*, „Роза", 26—8; 271. *Эмикъ, Ѳ.*, „Письма Ернеста и Дравры", III, 10—12 (разсказчикъ); *Пракудинъ, М.*, „Валерія", 1773, 20. *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", II, 302—3; *И-ца Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Хлорѣ", 1782, 16; „Разныя повѣствованія", соч. нѣкоторою россіянкой, 1779, I—5; *Эмикъ, Н.*, „Роза", 5; *Львовъ, Н.*, „Россійская Памела", I, 10—11; *Чулковъ*, „Русскія сказки", VII, 136; „Зубоскалъ", II, 180—1; „Мѣдь звенящая" (Пр. и пол. препр. вр.", XVII, 369); *Друковцевъ*, „Сава", 25; 272. „Разныя повѣствованія", 28—9, 15, 10; *Н. Львовъ*, „Россійская Памела", I, 32; „Роза и Любимъ", 13; 273. *И-ца Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Хлорѣ", 5—6; *Чулковъ*, „Русскія сказки", V, 163; IX, 11, 7; 274. *Чулковъ*, „Русскія сказки", IX, 25—6; 275. „Театръ", 142; 276. *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", II, 213; 277. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", I, 70—1; Любопытно сопоставить разсказъ съ этимъ разсужденіемъ о масонѣ Гамалѣѣ, который вору, его обокравшему, все взятое добровольно отдалъ, руководясь тѣмъ соображеніемъ, что, если у него было, что красть, значитъ это было *лишнее*. Масонъ-Лопухинъ, говоритъ, въ цѣлахъ уравненія капиталовъ брать въ долгъ у богатыхъ для бѣдныхъ и долга не отдавалъ. (См. *В. Сиповскій*, „Н. М. Карамзинъ", приложж., 12 стр.); 278. „Совершенная любовь", 39; 279. *Эмикъ, Ѳ.*, „Непостоянная фортуна", II, 33—1; 280. Ibid., I, 255; еще: *Херасковъ*, „Пума", II, 16, 56, 81, 85, 95; „Похожденіе Ариллесово", 1788, 16; *Лазаревичъ, В.*, „Добродѣтельная Розана", 1782, 57; *Захаринъ*, „Арфаксадъ", 1793, I, 88; 281. *Захаринъ*, „Арфаксадъ", III, 250; 282. „Филонъ" („Муза", 1796, II, 225); 283. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 1798, 14; „Сокровище полезныхъ увеселеній", М., 1800, 13; *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", I, 198—9; 284. *Львовъ, Н.*, „Храмъ истины", 1790, 13—14, 20—21; 285. *Измайловъ, В.*, „Мнимое блаженство" („Пр. и пол. препр. вр.", 1795, VI, 183; 286. *Захаринъ*, „Арфаксадъ", IV, 128; 287. *Измайловъ, В.*, „Ростовское озеро" („Пр. и пол. препр. вр.", 1795, VI, 205); 288. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 1798, 9; 289. *Херасковъ*, „Пума", 59; „Нѣсколько писемъ моего друга" („Пр. и пол. препр. вр.", 1791, IV, 151; 290. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 13; *Львовъ, Н.*, „Храмъ истины", 17, 18; *Херасковъ*, „Пума", I, 59—1; *Чулковъ*, „Русскія сказки", IX, 101; 291. *Эмикъ, Н.*, „Игра судьбы", 1789, I, 3—7; „Гонимая невинность", 1786, 35—43 и др.; „Нѣсколько писемъ моего друга" („Пр. и пол. препр. вр.", 1791, IV, 127—186); „Темной лѣсъ, или чувство бѣдствій человѣческихъ и благотворенія", („Пр. и пол. препр. вр.", 1796, XII, 3—13); 292. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 38; 293. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", V, 60; 294. *Захаринъ*, „Арфаксадъ", III, 293; 295. *Крыловъ, Ив.*, „Почта" („Зритель", 1792, I, 233); 296. „Гонимая невинность", 18—9; 297. *Львовъ, Н.*, „Роза и Любимъ", 1790, I—2; *Новиковъ*, „Похожденія Ивана Гостинаго Сына", I, 39, 11; *Эмикъ, Н.*, „Игра судьбы", I, 5—6; „Повѣсть одного россійскаго дворянина", 7—8, 33—4; *Горчаковъ, К.*, „Шламиръ и Ганда", 1796, 8—10; *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 90—1; *Измайловъ, А.*, „Софья" („Муза", 1796, I, 213—4); 298. „Разныя повѣствованія", 3—1, 31—2; „Гонимая невинность", 21; *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", I, 57; *Львовъ, Н.*, „Роза и Любимъ", 2; 299. „Повѣсть одного россіянина", 1—6; 300. *Захаринъ*, „Арфаксадъ", IV, 290, 292; 301. „Гонимая невинность", 21; 302. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 71; 303. *Чулковъ*, „Русскія сказки", VI, 26; 304. *Эмикъ, Ѳ.*, „Непостоянная фортуна", III, 217; 305. *Протопоповъ*, 1789, „Къ чему можетъ служить досужное время", 13; 306. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 8; 307. *Львовъ, Н.*, „Храмъ истины", 17—18; 308. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 72—3; 309. „Повѣсть одного россіянина", 13—14; 310. *Протопоповъ, В.*, „Къ чему можетъ служить", 10—11; *Аполлосъ*, „Лишенный эрѣнія Уранія", 1779, I; 311. *Херасковъ*. „Полидоръ", I, 281; 312. *Чулковъ*, „Русскія сказки", II, 53; 313. *Измайловъ, А.*, „Евгеній", I, 12; 314. Ibid., 13—10. 315. *Эмикъ, Н.*, „Роза", 211—2; 316. Ibid., 212; 317. *Львовъ, Н.*, „Россійская Памела", I, 32—3; 318. *Mohl*. „Die Geschichte und Literatur der Staats-

wissenschaften", Erlangen, 1855 (3-я глава представляетъ собой характеристику политическихъ романовъ). *Kleinwechter*, „Die Staatsromane". Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socializmus. Wien, 1891; на рус. яз., см. Щеголовъ: „Исторія соціальныхъ системъ". Исторію политическихъ романовъ Моль связываетъ съ діалогами Платона: „Государство" и „Законы" и „Киропедіей" Ксенофонта: характеризуетъ онъ слѣдующія произведенія: *Thomas Morus*, „De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia libri duo", 1515; *Campanella*, „Civitas Solis, vel de reipublicae idea dialogus poeticus", 1620; *Andreae*, „Reipublicae Christianopolitanae descriptio", 1619; *Bacon*, „Nova Atlantis", 1621—1626; *Harrington*, „Oceana", 1656; *Gabriel Foigny*, „Les aventures de Jacques Sadeur", 1676; *Vairasse*, „Histoire de Sevarambes", 1677; Bernigton, „Memoires de Gaudence de Lucques", 1753; *Holberg*, „Nic. Klimi iter Subterraneum, novam telluris theoriam ac historiam quintae monarchiae exhibens", 1741; *Morelly*, „Naufrages des Iles flottantes, ou Basiliade de Bilpai", 1753; *Fontenelle*, „La republique des philosophes, ou histoire des Ajaoiens", 1768; *Rétif de la Bretonne*, „La découverte australe par un homme volant, ou le Dedale français"; неизвѣстнаго автора,—„L'heureuse notion, ou relations du gouvernement des Féliciens", 1792; *Cabet*, „Voyage en Icarie", 1842; *Anton le Grand*, „Hydromedia, seu sermo, quem Alphonsus de la Vita habuit coram comite de Falmouth de monarchia, 1680; „Der Wöhleingerichtete Staat des Königreiches Ophir", 1699; Fénélon, „Les aventures de Télémaque", 1700; *Ramsay*, „Les voyages de Cyrus", histoire morale, 1772; *Terrason*, „Sethos", historie ou vie, tirée de monumens anecdotes de l'ancienne Egypte". 1732; *Stan. Lescinsky*, „Entretien d'un Européen avec un insulaire du royaume de Dimocala", 1756; *Mercier*, „L'an. 2440", 1771; *Haller*, „Usong", 1771; *Haller*, „Alfred", 1774; *Haller*, „Fabius und Cato", 1774: 319. *Чечулинъ, Н. Д.*, „Русскій соціальный романъ XVIII в.". Изд. 2-е. Спб., 1900, 320. Романъ Фенелона былъ у насъ изъ политическихъ романовъ въ XVIII в. самымъ популярнымъ: онъ переводился и издавался нѣсколько разъ въ теченіе вѣка: распространялся онъ и въ рукописномъ видѣ. Впервые на русскомъ языкѣ онъ появился еще въ 1717 году, подъ названіемъ: „*Похожденія Телемака, сына Улиссова*", соч. господиномъ Фенелономъ, 2 ч., пер. на росс. яз. въ 1731 г., напеч. Спб., 1717, 8°; 2-е изд.—подъ названіемъ: „*Похожденіе Телемаковое*"—въ 1767; 3-е—въ 1782 г. Въ стихахъ переводъ сдѣланъ былъ Тредіаковскимъ, подъ названіемъ: „*Телемахида*". Другія изданія въ прозаическомъ переводѣ вышли подъ названіями: „*Странствованія Телемака*"—выходило въ 1786, 1788 г.г.; „*Приключенія Телемака*"—въ 1797, 1800 г.г.; подъ тѣмъ же названіемъ было еще другое изданіе въ 1788 г. Итакъ романъ Фенелона издавался у насъ въ XVIII в. *девять разъ* въ *пяти* переводахъ. Уже эти цифры указываютъ на популярность этого произведенія въ Россіи. 321. „Персидскія письма" Монтескье переводились и цѣликомъ, и въ отрывкахъ: „*Персидскія письма*" изъ соч. *Монтескье*, пер. Ѳ. Поспѣлова, 1789; „*Письма персидскія*", твореніе *Монтескье*, пер. Е. Рознотовскій, Спб., 1792. Изъ этого сочиненія „Исторія Троглодитовъ" переводилась неразъ: 1) „*Исторія троглодитовъ*"—въ соч. „Новая сельская библіотека", Спб., 1779; 2) „*Троглодиты, или единое токмо исполненіе добродѣтели содѣлать можетъ народъ счастливымъ*"; въ сборникѣ: „Избранное чтеніе", 1786; 322. *Морисъ Томасъ*, „Картина всевозможнаго лучшаго правленія, или Утопія", въ 2-хъ част., пер. съ фр. 1789; *Морисъ Томасъ*, „Философа Рафаила Гитлода странствованіе въ Новомъ Свѣтѣ и описаніе любопытства достойныхъ примѣчаній и благоразумныхъ установленій жизни мирольюбиваго острова Утопіи", пер. съ англ., 1790; *Рамзей*, „Новое Киропаставленіе, или путешествіе Кира, съ изложенными разговорами о богословіи и блестнорчествѣ древнихъ", съ фр., 2 ч., 1765; 2-е изд.: 1785 подъ названіемъ „Новая Киропедія"; *Террасонъ*, „Геройская добродѣтель или жизнь Сиоа, царя Египетскаго, изъ таинственныхъ свидѣтельствъ древняго Египта взятая", М. 1762—8, 4 ч.; 2-е изд., 1787—8. *Гольбергъ*: „Подземное путешествіе, представляющее исторію разнородныхъ, съ удивительными и неслыханными свойствами, животныхъ, такожъ образовъ житья и домостроительства оныхъ, которой съ чудными и разнопревратными похожденіями черезъ двѣнадцать лѣтъ отправя, наконецъ, въ Копенгагенѣ на латинскомъ языкѣ, издалъ Николай Климъ, бергенскій студентъ, подземный герой", Спб., 1762; *Галлеръ*, „Плоды трудовъ прозаическихъ сочиненій", часть I, содержащая въ себѣ изображеніе самовластнаго въ Государствѣ Единоначалія, въ образѣ Усонга, восточной повѣсти описанное: *часть вторая*, содержащая въ себѣ изображеніе Аристократическаго, или властію законовъ ограниченнаго, въ государствѣ правленія, въ образѣ Альфреда, короля Англо-Саксеновъ описанное, пер. съ нѣм. И. Полиновъ. Спб., 1783—1; 2-е изд. подъ на-

вваніемъ: „Увѣнчанные подвиги людей мудрыхъ и великихъ", 1793; 323. Пользуюсь русскимъ переводомъ XVIII ст... „*Приключенія Телемака, сына Улиссова*", сочиненіе г. Фенелона, вновь перевелъ съ подлинника Ѳ. Лубновскій, М., 1797, ч. I—II; 324. „Письма Персидскія", твореніе Монтескье, пер. Е. Рознотовскій, Спб., 1792; 325. *Фенелонъ*, I, 38—9; 326. Ibid., II, 251; 327. Ibid.; 328. II, 275; 329. I, 167 и дальше; 330. II, 173; 331. I, 46; 332. I, 98; 333. II, 357; I, 360—1, 72, 282, 17; 334. I, 281, 351, 362; 335 II, 276—7; 336. II, 273; 337. I, 38; 338 I, 41; 339. I, 80; 340. I, 242; 341. II, 337; 342. II, 169; 343. II, 175; 344. I, 155; 345. I, 38; 346. I, 257; 347. I, 37; 348. I, 38; 349. I, 49; 350. II, 21; 351. I, 255; 352. I, 255; 353. I, 257; 354. I, 136; 355. I, 137; 356. *Монтескье*, „Персидскія письма", I, 52, 92—1, 111, 256; II, 176—7, 322, 483; 357. Ibid., I, 73—4; 358. Ibid., I, 59—60; 359. Ibid., 76; 360. Ibid., II, 328; 361. Ibid., II, 333; 362. Ibid., II, 393—397; 363. Ibid., II, 392; 364. Ibid., II, 393; 365. Ibid., I, 261; 366. Ibid., I, 33 и слѣд.; еще: II, 114, 122 и др.; 367. *Томасъ Морисъ*, „Картина всѣхъ злополучнаго правленія, или Утопія", 1789, 16, 18; 368. Ibid., 21—5; 369. Ibid., 50; 370. Ibid., 52—3; 371. Ibid., 67; 372. Ibid., 73—5; 373. Ibid., 75; 374. Ibid., 22; 375. Ibid., 15, 86; 376. Ibid., 85, 87; 377. Ibid., 98—9; 378. Ibid., 99, 105, 129, 200; 379. Ibid., 139—140, 142, 169; 380. Ibid., 175; 381. Ibid., 191; 382. Ibid., 191; 383. *Терассонъ*, „Геройская добродѣтель, или жизнь Сиѳа", 1789, II, 75, 334. Ibid., II, 80—5; 385. Ibid., 83—9; 386. I, 18—19; 387. I, 16; 388. I, 12, 126; 389. I, 59; II, 111; III, 130, 112; 390. II, 91—2, 146, 161; III, 121, 130, 142, 176—7, 179, 181, 261—5; 391. I, 126; II, 22—3, 32; 392. I, 17; 393. I, 153—9; II, 26; 394. I, 53; 395. I, 151; 396. II, 28; 397. II, 143; 398. III, 29; 399. III, 63; 400. III, 68; 401. III, 184, 200; 402. III, 139, 141; 403. IV, 39, 106; 404. IV, 336; 405. IV, 44; 406. IV, 45, 46; 407. IV, 47; 408. IV, 48; 409. *Гамзей*, „Новое Киропаставленіе", 1765, I, 36—7; 410. Ibid., I, 37, 52—61; 411. I, 55, 63; 412. I, 63; 413. I, 93—9; 414. I, 105; 415. I, 117; 416. I, 135; 417. I, 152—5; 418. I, 157; 419. I, 162; 420. I, 164; 421. I, 175—6; 422. I, 208—9; 423. I, 187—8; 424. I, 203; 425. I, 207; 426. II, 57—8; 427. I, 4—5, 21; II, 10, 17; 428. I, 49; II, 10; 429. I, 4, 31, 73, 83—4; 430. I, 99, 185; 431. I, 185; 432. I, 4, 99—100, 135; 433. II, 32; 434. I, 83; 435. I, 152; 436. I, 81; 437. I, 4; 438. I, 5; 439. I, 88, 90; II, 10; 440. I, 3; 441. *Гальеръ*, „Плоды трудовъ прозаическихъ", 1783, II, 13, 68, 248, 253, 363; 442. I, 12—13, 228, 270; 443. I, 50, 253; 444. I, 107, 126; 445. I, 110, 363; 446. I, 111, 318, 230; 447. I, 308; 448. I, 356, 449. I, 150, 386; 450. I, 211, 301; 451. II, 57; 452. II, 56; 453. II, 128—9; 454. II, 138, 139—147; 455. II, 153, 155—6; 456. II, 175; 457. II, 179; 458. II, 179; 459. II, 183—4; 460. II, 186; 461. II, 202—3; 462. *Гольберъ*, „Подземное путешествіе", 1762, I, 135; 463. 138; 464. 153; 465. 174; 466. 178; 467. 183; 468. 185; 469. 201; 470. 200—1; 471. 20, 117; 472. 27, 79, 85, 117; 473. 28; 474. 29—30, 60, 117; 475. 30; 476. 44, 53; 477. 15; 478. 45—6; 479. 47—8; 480. 55; 481. 91; 482. 86; 483. 90, 97, 339—40; 484. *Херасковъ*, „Нума, или процвѣтающій Римъ", 1768, 161; 485. *Монтескье*, op. cit., I, 47—8; 486. *Херасковъ*, op. cit., I, 176; 487. Ibid., 17; 488. 36—7; 489. 153; 490. 156; 491. Ibid.; 492. 159; 493. 158; 494. 28; 495. 29; 496. 31; 497. 32; 498. 40; 499. 32; 500. 33; 501. 39; 502. 38—9; 503. 24; 504. 24; 505. 25; 506. 45; 507. 46; 508. 46; 509. 147; 510. 152; 511. 17; 512. 19; 513. 1, 49, 55, 109—111; 514. 19; 515. 41—2; 516. 42; 517. 43; 518. *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", 1789, I, 2; 519. Ibid., 3; 520. 3; 521. 2; 522. II, 25, 34, 35, 53; 523. 26; 524. II, 51; 525. 96; 526. I, 76—7; 527. 149; 528. Ibid.; 529. II, 116; 530. 233—4; 531. 310; 532. 331—2; 533. 534. 333. 535. 334; 536. 337; 537. *Херасковъ*, „Полидоръ", 1794, I, 177; 538. Ibid., 175—6; 539. 178; 540. 260; 541. 254; 542. 260; 543. 253; 544. 253; 545 254; 546. 262; 547. 267—9; 548. 272; 549. 281; 550. 300; 551. II, 30; 552. 62; 553. 99; 554. 213; 555. 219; 556. 14—15; 557. 18; 558. *Эмпи*, *Ѳ.*, „Приключенія Ѳемистокла", 1763, 23—5; 559. Ibid., 25; 560. 34; 561. 34—5; 562. 50—1; 563 53; 564. 54—5; 565. 58—60; 566. 61; 567. 92; 568. 80—81; 569. 81; 570. 85; 571. 85—6; 572. 87; 573. 88; 574. 89—90; 575. 97; 576. 100—1; 577. 113; 578. 114; 579. 114—7; 580. 118; 581. 120; 582. 120—1; 583. 122; 584. 122; 585. 222; 586. 216; 587. 239; 588. 240; 589. 241, 243; 590. 241; 591. 241; 592. 249—50; 593. 250; 594. 251—4; 595. 254—5; 596. 260; 597. 262—278; 598. 285; 599. 289—91; 600. *Левшинъ*, op. cit., XIII, 159; 601. 164; 602. 161; 603. 158; 604. 164, XIV, 19; 605. XIV, 16; 606. XIII, 153—4; 607. XIV, 32; 608. XIV, 19, 609. XIV, 16—20; 610. *Львовъ. Н.*,

„Россійская Памела", II, 128—9; 611. *Захарьинъ*, „Арфаксадъ", I, 23; 612. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела", II, 129—130; 613. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", М., 1789, V, 38, еще: 33—5; 614 *Чулковъ*, „Русскія сказки", X, 11—12; 615. „Разныя повѣствованія", 1779, 106; 616. Ibid., 35—6; 617. 37. 618. „Приключенія Клеандра", 1793, II, 96; 619. *У. Вас. Иноп.*, „Низверженный Зелулъ". 1791, I. 23; 620. *Львовъ, П.*, „Храмъ истины", 1790, 47; 621. „Нѣсколько писемъ моего друга" („Пр. и пол. препр. вр.", 1791, IV, 149); 622. *Поповъ*, „Славенскія древности", I, 4—5; „Гонимъ" („Что-нибудь", 1780. XI, 3. XV, 5); *У. Вас. Иноп.*, „Низверж. Зелулъ", 1794, I, 26; II, 153; *И-ча Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Февеѣ", 3; *Чулковъ*, „Русскія сказки", IX, 37; 623. *Чулковъ*, „Русскія сказки", IX, 37; также: *Херасковъ*, „Кадмъ", I. 4; 624. *Чулковъ*, op. cit., X, 4; 625. Ibid., VIII, 20; 626. Ibid.; 627. *Поповъ*, „Слав. древности", I, 3; 628. „Повѣсть о Гѣродѣ" („Что-нибудь", 1780, XXI, 91; 629. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 1798, 2—3; 630. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 7; 631. *Львовъ, П.*, „Храмъ истины", 41; 632. *У. Вас. Иноп.*, „Низверж. Зелулъ", М., 1791, II, 154; 633. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", III, 6; 634. *У. Вас. Иноп.*, „Низверж. Зелулъ", II, 273; 635. *Чулковъ*, „Русскія сказки", V, 116; 636. *Львовъ, П.*, „Храмъ истины", 43—48; 637. *И-ча Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Февеѣ", 3; 638. *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", II, 331—4; 639. *Поповъ*, „Слав. древности", I, 11; 640. *Львовъ, П.*, „Храмъ истины", 13; 641. Ibid., 45; 642. Ibid., 47; 643 Ibid.; 644. *Львовъ, П.*, „Храмъ истины", 12; *Поповъ*, „Слав. древности", I, 2; II, 101—2; *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 9, 18, 19—20, 20—2; 645. *Чулковъ*, „Русскія сказки", VIII, 19; 646. „Цвѣтъ пчеламъ". 1791, I; 647. *Захарьинъ*, *Ал.*, „Арфаксадъ", V, 102; 648. *У. Вас. Иноп.*, „Низверж. Зелулъ", I, 150; 649. Ibid., 153; 650. *Захарьинъ*, „Арфаксадъ", II, 231; 651. *Львовъ, П.*, „Храмъ истины", 12; 652. Ibid., 9; 653. 10; 654. 11; 655. *Чулковъ*, „Русскія сказки", III, 87; X, 216; 656. *И-ча Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Февеѣ", 6; 657. *Захарьинъ*, „Арфаксадъ", V, 102; 658. „Историческія сказки", 1793, 73; 659. „Цвѣтъ пчеламъ", 16—17; 660. *У. Вас. Иноп.*, „Низверженный Зелулъ", I, 150; 661. *Глинка, С.*, „Селимъ и Роксана", 77—8; 662. *Чулковъ*, „Русскія сказки", III, 87; „Историческія сказки", 1793, 72—3; 663. *Захарьинъ*, „Арфаксадъ", I, 77; IV, 259; 664. *У. Вас. Иноп.*, „Низверж. Зелулъ", 13; 665. „Разныя повѣствованія", 101; 666. *Чулковъ*, „Русскія сказки", V, 183—4; 667. Ibid., 186; 668. Ibid., V, 186—190; 669. *И-ча Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Хлорѣ". 15; 670. *Чулковъ*, „Русскія сказки", VI, 182; 671. *Чулковъ*, „Русскія сказки", VI, 182; 672. *Эмминъ, Ѳ.*, „Письма Эрнеста и Доравры", III, 175; 673. *Зиновьевъ, Д.*, „Торжество добродѣтели", М., 1789, 18; 674. *Чулковъ*, „Русскія сказки", X, 4—5; 675. Въ *журналахъ* встрѣчаемъ мы нерѣдко упоминаніе имени Вольтера, рѣже Руссо, Гельвеція, еще рѣже Ламеттри; во многихъ случаяхъ встрѣчаемъ мы восхваленія по адресу французскихъ мыслителей, но нерѣдки и нападки на нихъ, въ особенности за тотъ атеизмъ, который принесло съ собою въ Россію ихъ ученіе. „Ежем. соч.", 1755, № 9, 278; „Своб. часы", 1763, 57; „Всякая Всячина", 1769, 119; „Адская Почта", 1769, 180—190, 195, 201—5, 273—6; „Ни то ни сіе", 1769, 81; „И то и сіе", 1769, № 9; „Трутень", 1769, 115; „Вечера", 1772, 10, 179, 183; „Трудолюбивый Муравей", 1771, 128, 177; „Живописецъ", 1772, 19, 377—8; „Старина и Новизна", 1772, 127; „Кошелекъ", 1774, 56; „Зритель свѣта", 1775, 73; „Утренній свѣтъ", 1777, I, 290; II, 24—6; III, 201—2, 204, 203, 202; „Что-нибудь", 1780 л. XXIV; „Вечерняя Заря", 1782, I, 200, 261; III, 73, 113, 203, 208—9, 289—90; „С.-Петерб. Библіоѳика журналовъ", 1783, I, 162; „Зеркало свѣта". 1786, I, 57; III, 94, 95; „Покоящ. Трудолюбецъ", 1784, II, 52—5; „Новый С.-Петерб. Вѣстникъ", 1786, 66—70, 181; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, I, 113, 138, 322, 321; II, 27—31, 68, 47—8, 131, 228; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, II, 54—6; V, 18; „С.-Петерб. Меркурій". 1793, II, 181; „Что-нибудь отъ бездѣлья", 1798, 113—120. Въ русской *драмѣ* XVIII-го столѣтія (трагедіи и комедіи) нѣтъ прямыхъ указаній на Вольтера и другихъ французскихъ философовъ XVIII-го вѣка,—вліяніе ихъ выражено здѣсь постольку, поскольку оно растворилось въ самой жизни: выведены различные типы русскихъ „вольтерьянцевъ". охарактеризовано ихъ міросозерцаніе. Отразились слѣды вліянія французской философіи и на своеобразномъ освѣщеніи вопросовъ, связанныхъ съ государственнымъ устройствомъ (*объ этомъ ниже*). Въ *мемуарахъ* XVIII-го вѣка мы находимъ въ изобиліи факты, подтверждающіе популярность у насъ Вольтера и другихъ философовъ XVIII-го вѣка. Какъ въ романахъ и въ журналахъ, такъ и здѣсь отношеніе къ нимъ различное: ихъ превозносятъ за проповѣдь гуманности и свободы, но порицаютъ за то, что эта проповѣдь привела

къ отрицанію Бога. Болотовъ, „Записки", II, 59—60; III, 107, 161, 186, 927; „Памятникъ протекшихъ временъ", I, 117—18; М. Дмитріевъ, „Мелочи", 47, 49—50; Д. Фонвизинъ, „Добросердечное признаніе" (соч.), 535—6, 540—1, 512, 547, 519—50; И. Дмитріевъ, „Взглядъ на мою жизнь", соч., II, 25, 30—1; А. Михайловскій-Данилевскій, „Записки 1811 года", Спб., 1831, 61—2; „Воспоминанія объ адмиралѣ гр. Н. С. Мордвиновѣ", Спб., 1873, 96; „Памятники новой русск. исторіи", сборн. истор. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпирева, 3 т. Спб., 1871; т. I, 37; т. II, 9, 34; III, 82, 97; „А-ръ Дм. Боровковъ и его автобіограф. записки", Спб., 1899, 29, 35, 37; „Изъ недавней старины", Н. Гр. Кичеева, М., 1870, 161, 163, 170; „Истинное повѣствованіе, или жизнь Гавр. Добрынина", 3 ч. Спб., 1872, 28, 61, 66—7, 118, 120, 131, 169, 230, 302—3, 356—7, 359; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной", Спб., 1903, 7, 52, 77; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, 26, 105, 199, 216—7, 275, 358, 359—60; „Записки графини В. Н. Головиной", Спб., 1900, 28; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865, 39, 46—7; „Изъ разсказовъ и записокъ В. А. Сапѣлкина", II. С-па", М., 1865, 181—2; „Краткое извѣстіе о жизни А. И. Версилова", Спб., 1895, 3; „Хроника недавней старины", изъ архива кн. Оболенскаго-Нелединскаго-Мелецкаго, Спб., 1876, 2, 33, 312, 314—5, 321—2; „Свѣдѣнія о купеческомъ родѣ Вишняковыхъ", собр. П. Вишняковымъ, 2 ч. М., 1903, II, 32, 58, 60; „Архивъ адм. П. В. Чичагова", 1885, 27, 30, 52; „Записки В. А. Инсарскаго", Спб., 1891, 203; Немайловъ, „Взглядъ на собственную прошедшую жизнь", 72, 89; кн. П. Вяземскій, „Старая записная книжка", 7, 8, 9, 12, 26, 27, 30, 127, 142—4, 148—149, 161; „Записки о И-пѣ Екатеринѣ", А. М. Грабовскаго, М., 1861, 44; Г. Гераковъ, „Путевыя записки по многимъ росс. губерн. 1820 г.", Спб., 1828, I, 142; II, 16, 26, 124, 178; кн. М. М. Щербатовъ, „О поврежденіи нравовъ въ Россіи", Р. Стар. 1871, III, 676; „Записки венеціанца Казановы о Россіи", Р. Стар. 1871, IX, 510—1; К. Несельроде, „записки", Русск. В. 1865, т. 59, № 10, 519; „Изъ записокъ человѣка", Сто одинъ. Русск. Вѣстн., 1875, № 11, 66, 70—1, 71, 72, 79; „Дневникъ В. И. Аскочинскаго", Истор. В., 1882, № 2, 330; „Записки Дм. Б. Мертваго", Русск. Арх. 1867, 1337; Гр. Ст. Винскій, „Записки", Р. Арх. 1877, I, 87—8, 98, 103, 183, 195; гр. М. Д. Бутурлинъ, „Записки", Р. Арх., 1897, № 2, 218—9, 221; № 7, 375, 383; И. Н. Татлина, „Воспоминанія", Р. Арх., 1899, кн. III, № 10, 196; „Воспоминанія Т. И. Пассекъ", Р. Стар., 1872, VII, 319, 322, 334; XV, 83—6; XVI, 513, 512; XVII, 630—1; А. П. Бѣляевъ, „Воспоминанія о прежнемъ и нынѣшнемъ", Русск. Стар., 1880, XXIX, 831—5; XXX, 813; Д. П. Ростиславовъ, „Записки", Русск. Стар., 1889, XXVII, 519—50; А. А. Одинцовъ, „Посмертныя записки", Русск. Стар., 1889; LXIV, 315; Архив. В. Терлецкій, „Воспоминанія", Русск. Стар., 1889, LXIII, 63 и мн. др. Всѣ указанные мною факты свидѣтельствуютъ, что интересъ къ освободительной французской философіи захватили не только XVIII-й вѣкъ, но хватили даже 20-ые годы XIX-го,—что поклонники этой философіи были не только изъ средняго дворянства—этой интеллигенціи XVIII в., но и среди духовенства, среди купечества,—что подъ ея вліяніемъ уже въ XVIII в. намѣтился у насъ любопытный типъ русской барышни-философки. 676. Намѣченный въ романѣ образъ разочарованнаго вольтерьянца-нессимиста, представленный въ лицѣ Ушакова, Радищева, Рахманинова находитъ подтвержденіе въ нѣкоторыхъ фактахъ, извлеченныхъ изъ журналовъ и мемуаровъ. Въ *журналахъ*: „Пустое упражненіе", 1763, 176—7; „Ни то ни сіе", 1769, 63; „Живописецъ", 1772, 393; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, I, 128; II, 337; „Почта Духовъ", 1789, 29; „Муза", 1796, I, 62 и др.; въ *мемуарахъ*: „Изъ записокъ человѣка", Сто одинъ. Русск. Вѣстн., 1876, № 10, 79; Пр. Н. Татлина, „Воспоминанія", Р. Арх., 1899, кн. 3, № 10, 196; А. П. Бѣляевъ, „Воспоминанія о прежнемъ", Р. Стар., 1881, XXX, 508; Туканскій, „Воспоминанія", 1839, Спб., 85; Грязевъ, „Записки" въ „Южн. Сборн." Максимовича, 215 и др. 677. Усвоивъ при помощи французскихъ философовъ отрицательное отношеніе къ фанатизму, и всѣмъ тѣмъ поборникамъ его, каковыми были, въ глазахъ Вольтера, напр., католическіе священники, особенно монахи, іезуиты, члены инквизиціи, равно какъ и сектанты, въ родѣ квакеровъ,—русскіе враги фанатизма присоединили къ нимъ еще „раскольниковъ". Въ *журналахъ*: „Адская Почта", 1769, 4, 66, 67—8, 79, 127, 209, 256; „Вечера", 1772, 4; „Живописецъ", 1772, 162; „Старина и Новизна", 1772, 76; „Вечерняя Заря", 1782, 186, 188; „Собесѣдникъ любит. росс. слова", 1783, V, 129, 149—150; „Покоющійся Трудолюбецъ", 1784, II, 11, 49—51; IV, 57—72; „Парнасскій Щепетильникъ", 1770, 30; „Зеркало свѣта, 1786, III, 34; „Новый С.-Петерб. Вѣстникъ", 1786, II, 146; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, I, 273, 322;

II, 23, 42, 43—4, 279, 280; „Лѣкарство отъ скуки“, 1786, II, 201; „Зритель“, 1792, II, 137; III, 43; „Прохладные часы“, 1793, II, 11 и др.; въ *драмахъ*: Херасковъ, „Пламена“, 1765; „Театръ Росс.“, ч. IV, 11, 23, 30; Сумароковъ, „Дмитрій Самозванецъ“, 1771, Р. Ѳ. ч. III, 65; Херасковъ, „Идолопоклонники“, Ѳ. Р., IV, 227, 278; Сумароковъ, „Тихоимецъ“, 1768, Росс. Ѳ., XVI, 89; Николевъ, „Точильщикъ“, оп. 1780, Росс. Ѳ., XXII, 233; Николевъ, „Сорена и Замиръ“, 1787, Р. Ѳ., V, 290; въ *мемуарахъ*: „Памятники новой русской исторіи“, сборникъ истор. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ, 3 т., Спб., 1871, I, 45; 123; „Воспоминанія на флотѣ Павла Свиньина“, 2 ч., Спб., 1818, 278; Болотовъ, „Памятникъ“, I, 31, 51, 101; „Записки“, I, 149, 233, 899; II, 380—1, 411, 425—6, 427, 725, 796; III, 17—18, 34, 35; отчасти—I, 666; II, 689, 787; III, 706—7; IV, 285; недостатки быта русскаго духовенства особенно подчеркиваются авторами мемуаровъ,—повидимому, эти отрицательныя стороны жизни пастырей, особенно ясно сознавались людьми, которыхъ коснулся скептицизмъ французской философіи. **678.** Особенно часты и энергичны нападки на суевѣрія, изуверство, нетерпимость религіозную и приверженность къ одной обрядности. Вліянія просвѣтительной философіи, съ ея деистическимъ взглядомъ на жизнь, особенно способствовало развитію такого критицизма. Въ *журналахъ*: „Сочиненія и Переводы“, 1758, 539; „Трудолюбивая Пчела“, 1759, 34; „Свободные часы“, 1763, 104, 217; „Невинное упражненіе“, 1763, 116—8; „Адская Почта“, 1769, 29—30; „И то и сіе“, 1769, № 8; № 11; № 29; № 30; „Поденьщина“, 1769, 43, 45; „Трутень“, 1769, 139; „Смѣсь“, 1769, 283; „Живописецъ“, 1772, 150; „Утренній Свѣтъ“, 1777, I, 287, 290; „Собесѣдникъ любит. росс. слова“, 1783, IV, 129; „Покоющійся Трудолюбецъ“, 1784, I, 171; IV, 57—72; „Зеркало Свѣта“, 1786, III, 266; „Новый С.-Петерб. Вѣстникъ“, 1786, 146, 147, 163, 186; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, I, 367; II, 43—4; III, 178; „Почта Духовъ“, 1789, 244, 245; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1792, 39—40; „Прохладные часы“, 1793, I, 115; II, 11; въ *драмахъ*: Херасковъ, „Пламена“, 1765, Р. Ѳ., IV, 11, 30; Херасковъ, „Идолопоклонники“, 1782, Р. Ѳ., IV, 227, 277, 278; Сумароковъ, „Приданое обманомъ“, ком., 1769, Р. Ѳ., XVI, 213; И-ца Екатерина, „О, время!“ ком., 1772, Р. Ѳ., XI, 25—6, 28, 32, 49, 65—6, 67, 68, 73, 79; М. Пракудинъ, „Добродѣтель, увѣнчанная вѣрностью“, ком., 1774, Р. Ѳ., XXV, 93—4; И-ца Екатерина, „Именины г-жи Ворчалкиной“, ком., 1774, Р. Ѳ., XI, 160, 164, 211; „Игрище о свиткахъ“, ком., 1774, 3, 17 и др.; „Любовникъ-Колдунъ“, оп. ком., 1779, Р. Ѳ., XVIII; Дмитровъ, „Подражатель“, ком., 1779, Р. Ѳ., XXVII, 14, 15—6; Сумароковъ, „Вздорщица“, ком., 1781, Р. Ѳ., XVI, 168, 170, 200; „Аблесимовъ, „Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ“, оп., 1782, 4, 5, 10—12, 31—2; „Добронравъ“, ком., 1783, Р. Ѳ., XXXVIII, 31; Дм. Хвостовъ, „Русской Парижанецъ“, ком., 1783, Р. Ѳ., XV, 185, 191; М. Верескинъ, „Точь въ точь“, ком., 1785, Р. Ѳ., XXXIII, 136; И-ца Екатерина, „Шаманъ Сибирской“, 1786, Р. Ѳ., XIII; Юкинъ, „Колдунъ, ворожея, сваха“, оп.-ком., 1789, Р. Ѳ., XXXVII, 259, 285; „Пенѣста подъ фатою“, ком.-оп., 1789, Р. Ѳ., XXXVII, 106; Плавильщиковъ, „Мельникъ, обманщикъ—соперникъ“, 1793, 8; въ *мемуарахъ*: Болотовъ, „Записки“, I, 666; II, 689, 787; III, 706—7; IV, 285; „Памятникъ“, I, 51; Даниловъ, „Записки“, М., 1842, 46, 52; Кичеевъ, „Изъ недавней старины“, М., 1870, 115; Добрынинъ, „Истинное повѣствованіе“, 3 ч., Спб., 1872, 41; Фадѣевъ, „Воспоминанія“, Од., 1897, 9; Челищевъ, „Путешествіе по сѣверу“, Спб., 1886, 18, 23; Туканскій, „Воспоминанія“, 1834, 26; кн. Щербатовъ, „О поврежденіи нравовъ“, 36; „Записки венеціанца Казановы о Россіи“, Р. Стар., 1874, т. IX, 543; Аскоченскій, „Дневникъ“, Истор. В., 1882, № 2, 319, 329—30, 341 и др. **679.** Отсюда вытекаетъ то враждебное отношеніе къ жреческому сословію, вообще (въ трагедіяхъ и романахъ, изображающихъ жизнь язычества), къ духовенству бѣлому, и, особенно, черному; отсюда нападки на существованіе монастырей, даже храмовъ. Въ вѣкъ деизма—„религіи разума“, все это казалось ненужнымъ „пережиткомъ“. Въ *журналахъ*: „Невинное упражненіе“, 1763, 119, 121; „Адская Почта“, 1769, 7, 15, 23—4, 29—30, 41, 66—8, 79, 123; „Смѣсь“, 1769, 130, 131, 283; „Живописецъ“, 1772, 162; „Вечерняя Заря“, 1782, III, 186; „Покоющійся Трудолюбецъ“, 1784, II, 49—51, 77, 79; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, II, 23, 42, 44; „Сатирическій Вѣстникъ“, 1790, III, 36; „Зритель“, 1792, II, 137; въ *драмахъ*: Ключаревъ, „Владиміръ Великій“, траг., 1779, Р. Ѳ., VI, 103; Херасковъ, „Идолопоклонники“, траг., 1782, Р. Ѳ., IV, 227, 228, 286, 277; Сумароковъ, „Тихоимецъ“, 1768, Р. Ѳ., XVI, 89; Николевъ, „Точильщикъ“, 1780, Р. Ѳ., XXII, 233; въ *мемуарахъ*: Добрынинъ, „Истинное повѣствованіе“, Спб., 1872, 8, 11, 16, 40, 76, 78, 81, 207—8; Свиньинъ,

„Воспоминанія на флотѣ", Спб., 1818, 278; Вишняковъ, „Свѣдѣнія о купеч. родѣ Вишняковыхъ", М., 1903, 92; Немайловъ, „Взглядъ на собственную прошедшую жизнь", 79; Грязевъ, Записки, въ „Южномъ сборникѣ Максимовича", Од., 1859, 215; Аскоченскій, „Дневникъ", Истор. В., 1882, № 2, 319, 329—30, 321, 332, 341; Сабанѣевъ, „Воспоминанія и былое", Истор. В., 1900, № 10, 73; Аѳанасьевъ, „Изъ воспоминаній", Р. Арх., 1872, № 3,—812; Винскій, „Записки", Р. Арх., 1877, I, 82, 107—8; Муравьевъ, „Записки", Р. Арх., 1885, кн. I, 35; Татлина, „Воспоминанія", Р. Арх., 1899, III, 190; Болотовъ, „Записки", I, 149, 233, 899; II, 172, 380—1, 411, 425—6, 427, 725, 796; III, 17—18, 34, 35; IV, 897; „Памятникъ", I, 31; Ростиславовъ, „Записки", Русск. Стар., 1880, XXVIII, 37, 41, 35—6, 193, 195—8; XXXIII, 73—4; Свербеевъ, „Записки", М., 1899, 152; Руничъ, „Записки", Р. Стар., 1870, II, 110; Стоговъ, „Записки", Р. Стар., 1886, LXII, 39; 680. Въ *журналахъ*: напр., „Невинное упражненіе", 1763, 92, 115; въ *драмахъ*: „Мнимый мудрецъ", ком., 1786, Р. Ѳ., XXIX, 198; И-на Екатерина, „Обманщикъ", 1786, Р. Ѳ., XIII ч.; ея же: „Шаманъ Сибирскій", 1786, Р. Ѳ., XIII, „Обольщенный", 1785, Р. Ѳ., XIII; кн. Голицынъ, „Новые чудаки", ком., 1798, 36. Въ *мемуарахъ*: П. Кичеевъ, „Воспоминанія о пребываніи непріятеля въ Москвѣ", М., 1858, 105 (мальчика, видѣвшаго видѣніе, высѣкли по приказанію властей); Свербеевъ, „Записки", М., 1899, 33; 681. Въ *журналахъ*: много разъ упоминается,—напр.: „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, III, 1, 193; „Прохладные часы", 1793, II, 11, 143 и др.; „Иртышъ, превращ. въ Иппокрену", 1791, II, 36; „Дѣло отъ безпѣлья", 1792, II, 58. Въ *драмахъ*: Николевъ, „Сорена и Замиръ", ком., 1787, Р. Ѳ., V, 290 и др.; въ *мемуарахъ*: Мартыновъ, „Записки", 88; „Жизнь А. С. Пишчевича, имъ самимъ описанная", М., 1885, 3 ч., I, 16 и др. 682. Въ *журналахъ*: „Невинное упражненіе", 1763, 5—6; „Всякая Всячина", 1769, 163—7, 185, 221; „Трутень", 1769, 41—2, 178, 200, 202—3, 211—2, 236—7, 283; „Смѣсь", 1769, 193, 197, 212; „Вечера", 1772, I, 154; „Живописецъ", 1772, 97, 105, 99, 107, 118—9, 139, 140, 147, 179; „Зритель свѣта", 1775, 56; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ", 1781, I, 68; II, 57; „Вечерняя Заря", 1782, 60; „Утра", 1782, 5—6; „Собесѣдникъ любителей россійскаго слова", 1783, IV, 124; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, II, 234; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, I, 35—8, 59—65, 97, 118; II, 24, 36; III, 37, 40, 47; V, 61; VI, 69; „Почта Духовъ", 1789, 199, 200; „Дѣло отъ безпѣлья", 1792, III, 227, 235; „Зритель", 1792, I, 214, 218; III, 65, 66, 69—70, 78; „С.-Петербургскій Меркурій", 1793, I, 250; „С.-Петерб. Журналъ", 1798, I, 39 и др. Въ *драмахъ*: Сумароковъ, „Лихомвецъ", ком., 1768, Р. Ѳ., XVI, 141; И-на Екатерина, „О, время!", 1772, Р. Ѳ., XI, 6—7, 17; Волковъ, „Воспитаніе", ком., 1774, Р. Ѳ., IV, 165; И-на Екатерина, „Госпожа Вѣстникова съ семьей", ком., 1774, Р. Ѳ., XI, 279—81; Верешкинъ, „Именинники", ком., 1774, Р. Ѳ., XX, 209; Л. Т., „Свадьба г. Промоталова", ком., 1774, Р. Ѳ., XXVII, 86; Княжнинъ, „Несчастіе отъ кареты", оп., 1779, Р. Ѳ., XXIV, 72, 76; „Нещастныя сироты", др., 1781, 4, 100, 104—5; Аблесимовъ, „Щастье по жеребью", ком. оп., 1780, 3; Фонвизинъ, „Недоросль", ком., 1781, Р. Ѳ., XXVI, 7—8, 11, 16, 37, 50—1, 51—2, 69, 81, 140—1; Николевъ, „Розана и Любимъ", др., 1781, Р. Ѳ., XXII, 32, 78, 82; Соколовъ, „Судейскія именины", ком., 1781, Р. Ѳ., XXXV, 7—8; А. Сумароковъ, „Тресотиніусъ", ком., 1781, Р. Ѳ., XV, 55; Сумароковъ, „Рогоносецъ по воображенію", ком., 1786, Р. Ѳ., XVII, 220—36; Княжнинъ, „Хвастунъ", ком., 1786, Р. Ѳ., X, 142; Левшинъ, „Торжество любви", др., 1787, 49; Поповъ, „Анюта", ком. оп., 1789, Р. Ѳ., XXVIII, 147—8; „Перемѣна въ нравахъ", ком., 1789, Р. Ѳ., XXXVIII, 69, 77; Крыловъ, „Проказники", ком., 1793, Р. Ѳ., XV, 157; Муравьевъ, „Ошибка, или утро вечера мудренѣе", 1794, 24; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", ком., М., 1800, 24; въ *мемуарахъ*: Болотовъ, „Записки", II, 745—7; III, 474—6, 496—7, 550; IV, 1035; „Памятникъ", I, 125; „Памятники новой русской исторіи", сборникъ историческихъ статей и матеріаловъ, изд. В. Капнирвымъ, 3 т., Спб., 1871; т. I, 41; II, 25—7, 333, 334; Кочубей, Записки, „Семейная хроника", Спб., 1890, 12, 33; Н. Боровковъ, „Изъ прошлаго", Спб., 1901, 30—60; „Н. Боровковъ и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 17—18; Кичеевъ, „О пребываніи непріятеля въ Москвѣ", М., 1858, 111—4; Мирковичъ, „Его жизнеописаніе", Спб., 1889, 22; Кичеевъ, „Изъ недавней старины", М., 1870, 78, 79—80, 96; Бѣгичевъ, „Бытъ русскаго дворянина въ разныхъ эпохахъ и обстоятельствахъ его жизни", 2 в., М., 1851, 188; Свербеевъ, „Записки", I, 27—9, 59, 73, 135—6, 151, 485; II, 30—42, 106—8, 130; Толычева, „Семейная хроника", М., 1865, 109, 116; Фадѣевъ, „Воспоминанія", Од., 1897, 43 Вишняковъ, „Свѣдѣнія о купеческомъ родѣ

Вишняковыхъ", М., 1903, 33; кн. Вяземскій, „Старая записная книжка", 14, 31; Энгельгардтъ, „Записки", М., 1867, 16; Ник. Тургеневъ, „Россія и русскіе", М., 1907, I, V; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ", Р. Стар., 1873, VIII, 838; Даниленскій, „Разсказъ прабабушки", Р. В., 1870, т. 86, 445, 458; Пазимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ", Р. В., 1876, № 7, 94, 95; Щербань, „Воспоминанія крѣпостного", Р. В., 1877, № 9, 35, 39, 41—7, 56—7; Мертваго, „Записки", Р. Арх., 1867, 134; Винскій, „Записки", Р. Арх., I, 90; Муравьевъ, „Записки", Р. Арх., 1885, III, 36; Пассекъ, „Воспоминанія", Р. Стар., 1872, VI, 624—5, 640; VII, 205; Невзоровъ, „Записки"—страница изъ исторіи крѣпостного права, Р. Стар., 1883, XL, 430—441; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, XL, 698; 683. Въ *журналахъ* очень часто: напр.: „Трудолюбивая Пчела", 1759, 311; „Вечера", 1772, 73; „Собесѣдникъ любит. росс. слов.", 1783, I, 43—4; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, IV, 308; „Прохладные часы", 1793, I, 291, 294 и мн. др.; въ *мемуарахъ*: Болотовъ, „Записки", II, 397—8, 399, 407, 845; III, 399—400, 846, 847, 849—50; И. Дмитріевъ, „Взглядъ. соч., II, 32—3, 49, 51—2, 144—5; М. Дмитріевъ, 15, 35; 684. Въ *журналахъ*: „Ежем. соч.", 1757, № 7, 66; „Полезное увеселеніе", 1763, I, 22; II, 98; „Невинное упражненіе", 1763, 7—9; „Всякая Всячина", 1769, 298—9; „Трутень", 1769, 54; 1770, 64; „Пустомеля", 1770, 37; „Смѣсь", 1769, 307; „Вечера", 1772, I, 82, 146—8; II, 81—2; „Живописецъ", 1772, 13; „Кошелекъ", 1774, 73—4; „Утра", 1782, 31; „Собесѣдникъ любр. росс. слов.", 1783, I, 43; II, 118—9; „Покоющійся Трудолюбецъ", 1784, II, 219; „Уединенный пошехонецъ", 1786, I, 42; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, II, 133, 186, 205; „Полезное упражненіе", 1789, 51; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, I, 17; „Разныя письменныя матеріи", 1791, 74; „Прохладные часы", 1793, I, 294; въ *драмахъ*: Л. Т., „Свадьба г. Промоталовъ", ком., 1774, P. O., XXVII, 58, 109, 110; В. Майковъ, „Деревенскій праздникъ", пост. др., 1777, P. O., XVIII, 155, 142—3; Я. Княжнинъ, „Несчастье отъ кареты", 1779, P. O., XXIV, 67—8; „Перерожденіе", оп., 1779, P. O., XXVIII, 46; „Матросскія шутки", оп., 1780, P. O., XXIV, 173; Пракудинъ, „Судьба деревенская", ком., 1782, P. O., XXIX, 123, 126; „Побѣда невинности, или любовь хитрѣе осторожности", ком., 1788, P. O., XXV, 13; Поповъ, „Анюта", ком.-оп., 1789, P. O., XXVIII; Правильщиковъ, „Бобыль", ком., 1792, 4, 5; „Опасная шутка", ком., 1793, P. O., XXXIX, 77—8, 99; Константиновъ, „Благовременное вспоможеніе", др., 1794, P. O., XLIII, 114; Нечаевъ, „Неудачливой въ любви подъячій", М., 1795, 11, 16, 17, 18—19; В. Нарѣжный, „Димитрій Самозванецъ", траг., 1799, 113—14; 685. Въ *журналахъ*: „Сочиненія и переводы", 1758, 498; „Трудолюбивая Пчела", 1759, 311; „Полезное увеселеніе", 1761, II, 204; „Свободные часы", 1763, 583; „Невинное упражненіе", 1763, 47, 89; „Адская Почта", 1769, 141; „Вечера", 1772, I, 146—8; „Покоющійся Трудолюбецъ", 1784, I, 124; II, 164; III, 191; IV, 196; „Зеркало свѣта", 1786, I, 108; „Уединенный пошехонецъ", 1786, I, 108; II, 525; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, II, 133; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, IV, 163; „Прохладные часы", 1793, I, 76; „Муза", 1796, III, 57; въ *драмахъ*: Сумароковъ, „Пустынникъ", др., 1769, P. O., VIII и др. Въ *мемуарахъ*: Добрынинъ, „Истинное повѣствованіе", Спб., 1872, 79; Болотовъ, „Записки", II, 264, 394, 409—10 и др. 686. Въ *журналахъ*: вопросъ о формѣ правленія неразъ подымался: деспотизмъ власти всякой (свѣтской и духовной), въ большинствѣ случаевъ, порицался, хотя „безначаліе" тоже пугало русскихъ людей: въ *журналахъ*: „Зритель свѣта", 1775, 51; „С.-Петербургскій Журналъ", 1798, III, 23; „Невинное упражненіе", 1763, 5, 6; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, III, 114. Иногда слышатся и голоса въ защиту монархіи: „Прохладные часы", 1793, I, 91; „С.-Петербургскій Журналъ", 1798, II, 171. Много разъ русскіе журналисты подходили къ вопросу о „равенствѣ": „Акад. Извѣстія", 1779, XXIV, 5—6; „Утра", 1782, 5; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, III, 114; „Лѣкарство отъ скуки и заботъ", 1786, I, 250; „Зритель", 1792, III, 66; „С.-Петерб. Меркурій", 1793, III, 211, 213; „Свободные часы", 1763, I, 148; „Невинное упражненіе", 1763, 5; „Ни то ни сьо", 1769, 81; „Всеобщее человѣколюбіе и естественная равность" („Праздное время", 1759, 238; „Полезное увеселеніе", 1761, II, 119, 260), рѣчи въ честь, или противъ „вольности" („Акад. Извѣстія", 1779, ч. XXIV, 6; „Новыя Ежемѣс. сочиненія", 1787, VI, 807; „Иртышъ, превращ. въ Ипокрену", 1791, II, 36, 40, 42; „Прохладные часы", 1793, I, 91—2, „Живописецъ", 1772, 6; „Утренній свѣтъ", 1777, III, 229—30; „С.-Петерб. Вѣстникъ", 1778, I, 47),—все это неразъ встрѣчается на страницахъ русскихъ журналовъ. Духъ времени сказался въ отрицательномъ отношеніи къ „титламъ", нарушающимъ равенство людей („Невинное упражненіе", 1763, 5; „Уединенный пошехонецъ", 1786,

II, 476), въ утвержденіи, что крестьянинъ—такой же человѣкъ, какъ и всѣ („Смѣсь", 1769, 197), что цари равны всѣмъ подданнымъ („Утренній свѣтъ", 1777, I, 196); встрѣчаемъ мы и первые проблески соціализма, въ утвержденіи, хотя бы, что богатство безнравственно и вредно („Адская Почта", 1769, 222—3). Неразъ подымается вопросъ о различныхъ формахъ правленія—о республикѣ („Смѣсь", 1769, 150; „С.-Петерб. Меркурій", 1793, III, 213—4; „С.-Петерб. Журналъ", 1798, II, 171); неразъ высказывается сочувствіе англійской конституціи („С.-Петерб. Вѣстникъ", 1778, I, 27—8; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, III, 117). Въ *драмахъ* (трагедіяхъ) мы найдемъ неразъ почти тѣ же самыя идеи, иногда выраженныя еще рѣзче, чѣмъ въ журналахъ. Особенно рѣзки нападенія на самодержавіе, особенно то, которое выражалось въ деспотизмѣ и тираніи; въ большинствѣ трагедій царь-тиранъ представлялъ собой самый удобный центръ драматической завязки: Сумароковъ, „Гамлетъ", 1748, Р. Ѳ., ч. I, 286, 296; „Артистона", 1751, Р. Ѳ., II, 114; „Синавъ и Труворъ", 1751, Р. Ѳ., II, 79; „Ярополкъ и Димиза", 1768, Р. Ѳ., II, 307; „Димитрій Самозванецъ", 1771, Р. Ѳ., III, 68; „Мстиславъ", Р. Ѳ., III, 128; В. Майковъ, „Агріопа", 1775, Р. Ѳ., V, 87; П. Николевъ, „Сорена и Замиръ", 1787, Р. Ѳ., V, 241, 242, 264, 298, 302—3, 310; А. Княжнинъ, „Титово милосердіе", 1790, Р. Ѳ., XXXII, 25; „Вадимъ", 1793, Р. Ѳ., XXXIX, 158, 170, 160. Гораздо рѣже доказывается необходимость самодержавія (напр., Херасковъ, „Освобожденная Москва", М., 1795, 20, 54); въ трагедіи Николева высказана даже мысль, что истребленіе тирана есть долгъ всякаго гражданина („Сорена и Замиръ", 1787, Р. Ѳ., ч. V, 314). Много разъ повторялась въ трагедіяхъ мысль о равенствѣ всѣхъ гражданъ: Сумароковъ, „Хоревъ", 1747, Р. Ѳ., I, 200; „Гамлетъ", 1748, Р. Ѳ., I, 262; „Димитрій Самозванецъ", 1771, Р. Ѳ., III, 99; Херасковъ, „Другъ нещастныхъ", др., 1774, Р. Ѳ., VIII, 231; Николевъ, „Пальмира", 1781, Р. Ѳ., V, 162; Плавильщиковъ, „Дружество", траг., 1783, Р. Ѳ., VII, 84; И. М., „Философы по неволѣ", ком., 1787, 19; неразъ подчеркивается мысль, что царь—такой-же человѣкъ, какъ и всѣ: Сумароковъ, „Гамлетъ", 1748, Р. Ѳ., I, 262; „Синавъ и Труворъ", 1751, Р. Ѳ., II, 24; Левшинъ, „Транъ и Лида", 1780, Р. Ѳ., VII, 222; что крестьянинъ—такой-же человѣкъ, какъ дворяне: Потемкинъ, „Торжество дружбы", др., 1773, Р. Ѳ., VIII, 115; встрѣчаемъ мы указанія на „братство всѣхъ людей" (В. Майковъ, „Агріопа", 1775, Р. Ѳ., V, 244),—возможность „вольности" (Николевъ, „Сорена и Замиръ", 1787, Р. Ѳ., V, 274; Княжнинъ, „Вадимъ Новгородскій" ин. разъ); встрѣчаемъ мы въ драмѣ XVIII в. и проблески соціализма: идеи Раскольникова намѣчаются уже теперь: Херасковъ, „Другъ нещастныхъ", др., 1774, Р. Ѳ., VIII, 195; „Награжденная добродѣтель", др., 1787, Р. Ѳ., IX, 136; Плавильщиковъ, „Бобыль", ком., 1792, 19; высказываются драматурги и за свободу предстательства гражданамъ права самимъ выбирать законы: Херасковъ, „Идолопоклонники" траг., 1782, Р. Ѳ., IV, 226; говорятъ они и о томъ, что человѣкъ не долженъ [illegible] на себя труда судить другихъ людей: Плавильщиковъ, „Дружество", траг., 1783, Р. Ѳ., VII, 174. Въ *мемуарахъ* мы встрѣчаемъ тоже немало краснорѣчивыхъ фактовъ, доказывающихъ жизненность всѣхъ этихъ идей. Неразъ мысли о равенствѣ, братствѣ и свободѣ („вольности") попадаются на страницахъ этихъ старыхъ мемуаровъ: „Памятники новой русской исторіи", сборн. историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ, Спб., 1871; „Молодость А. Башилова", III, 27; „Жизнь А. С. Пишевича, имъ самимъ описанная", М., 1885, I, 7, 195; Свербеевъ, „Записки", М., 1899, II, 278, 302; „Архивъ адм. Чичагова", 1885, 42, 53, 57, 79, 118; въ этихъ запискахъ много разъ мелькаютъ, болѣе или менѣе, ясно освѣщенные образы русскихъ либераловъ далекаго прошлаго: „Семейная хроника", записки Арк. И. Кочубея, Спб., 1890, 33, 145, 211; „Записки о жизни и службѣ А. Н. Бегичева", М., 1865, 42, 21—8, „Жизнь А. С. Пишевича, имъ самимъ описанная", М., 1885, I, 7, 158; Свербеевъ, „Записки", М., 1899, 25, 26, 73, 107, 107—8, 180, 200, 246, 247—8, 249, 251, 305, 306, 475—6, 278, 302; „Воспоминанія Ѳ. И. Дубановскаго", М., 1872, 210; „Архивъ адм. И. Чичагова", 1885, 42, 53, 79, 118; кн. П. Вяземскій, „Старая записная книжка", 45, 87—8; П. Тургеневъ, „Россія и русскіе", М., 1907, VI, 49, 51; „XIX вѣкъ", кн. I, „Записки Н. В. Басаргина", 70—1; О. А. Пржецлавскій, „Воспоминанія", Р. Стар., 1890, т. LXVI, 396; Р. Стар., 1876, т. XV, № 3, 554, 566; Винскій, „Записки", Р. Арх., 1877, I, 98—9, 184; „Воспоминанія Т. Н. Пассекъ", Р. Стар., 1872, XVI, 535, 651; А. Бѣлаевъ, „Воспоминанія о пережитомъ и перечувствованномъ", Р. Стар., 1889, XXX, 23, 485, 505; адм. И. Чичаговъ, „Записки", Р. Стар., 1886, I, 481; Д. П. Руничъ, „Записки", 222—3, 230; встрѣчаются и поклонники республиканскаго строя: Свербеевъ, „Записки", М., 1899, 107, 107—8, 275,

276; кн. Вяземскій, „Старая записная книжка", 1813 г., 20; Н. И. Муравьевъ, „Записки", Р. Арх., 1885, III, 25, 26; Пассекъ, „Воспоминанія", Р. Стар., 1872, XVI, 651; „Архивъ Чичагова", 118; Чичаговъ, „Записки", Р. Стар., 1886, I, 481—2; попадаются и противники монархическаго строя вообще (Свербеевъ, „Записки", 107—8), и враги деспотизма („Архивъ П. В. Чичагова", 1885, 79, 118); интересующіеся вопросомъ о свободѣ печати („Записки 1814 и 1815 г.", А. Михайловскаго-Данилевскаго, 1841, 148); конституціей (его-же: „Записки 1814 г., Спб., 1831, 125; „Архивъ адм. П. Чичагова", 1885, 53; И. Тургеневъ, „Россія и русскіе", VI, 47; И. А. Саблуковъ, „Воспоминанія", Р. Арх., 1865, стр. 1869—70); сторонники свободы мысли (кн. Вяземскій, „Старая записная книжка", 1813, 20); высказываются мысли, что всѣ равны и мужики не должны платить налоговъ („Памятники новой русской исторіи", сборн. истор. статей и матер., изд. Кашперовымъ, Спб., 1871, 41); встрѣчаются и въ мемуарахъ проблески соціализма (И. Р. Тимченко-Рубанъ, „Изъ восп. о пережитомъ", Истор. В., 1890, № 5, 542—3; Пассекъ, „Воспоминанія", Р. Стар., 1872, XVI, 525). Правда, большинство фактовъ, извлеченныхъ мною изъ мемуаровъ, относится къ началу XIX вѣка, но многія изъ нихъ свидѣтельствуютъ о томъ, что либеральныя идеи, бытовавшія въ русской жизни начала XIX ст., органически сливаются съ умственной жизнью XVIII в.,—являются прямымъ и непосредственнымъ наслѣдіемъ тѣхъ мыслей и міросозерцаній, которыя развились уже на русской почвѣ въ XVIII в. 687. Въ *журналахъ*: „Вечера", 1772, 12—13, 105—6, 124; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, IX, 9—10; ярче этотъ образъ представленъ въ *драмѣ* XVIII-го вѣка: Херасковъ, „Безбожникъ", ком., 1761, Р. Ѳ., ч. X; В. Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленный", ком., 1765, Р. Ѳ., XIX, 21—2, 52, 61, 101; И-ца Екатерина, „О, время!" ком., 1772, Р. Ѳ., XI, 26, 50; „Имянины г-жи Ворчалкиной", 1774, Р. Ѳ., XI, 121; Д. Хвостовъ, „Русской Парижанецъ", 1783, Р. Ѳ., XV, 194—5; Ключаревъ, „Владиміръ Великій", траг., 1779, Р. Ѳ., VI, 101; „Злоумный", ком., 1788, Р. Ѳ., XXIII, 134; Фонвизинъ, „Бригадиръ" (Ивапшка). Въ комедіи русской XVIII-го вѣка, какъ и въ повѣсти, этотъ образъ „вольтерьянца" неизсегда вырисовывается ясно въ видѣ убѣжденнаго вольнодумца-атеиста,—чаще всего, это—пустой болтунъ, который отличается распущенностью языка и совѣсти: человѣкъ, освободившійся отъ всякихъ принциповъ, мелкій эгоистъ. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія объ адмиралѣ гр. П. С. Мордвиновѣ", Спб., 1873, 96; „Памятники новой русской исторіи", сборникъ истор. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашперовымъ, Спб., 1871, I, 37, 38; II, 9; „Изъ недавней старины", П. Гр. Качеева, М., 1870, 161, 163, 170; Г. Добрынинъ, „Истинное повѣствованіе", Спб., 1872, 134, 169, 190; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной", Спб., 1903, 7, 52, 77; „Изъ разсказовъ и записокъ В. А. Сапѣлкина", II. С-на, М., 1865, 181—2; Свербеевъ, „Записки", М., 1899, 105, 199, 275, 358, 359—60; „Записки граф. В. И. Головиной", Спб., 1900, 28; „Семейныя записки", Т. Толычевой, М., 1865, 22—3, 39, 46, 46—7; „Краткое извѣстіе о жизни А. И. Версилова", Спб., 1895, 3, 33, 312, 314—5; „Свѣдѣнія о купеч. родѣ Вишняковыхъ", собр. П. Вишняковымъ, М., 1903, II, 32, 58; „Архивъ адм. П. Чичагова", 1885, 27—42, 57 и др.; „Записки В. А. Инсарскаго", Спб., 1894, 203; Немайловъ, „Взглядъ на собственную прошедшую жизнь", 72, 89; кн. Вяземскій, „Старая записная книжка", 1813, 126—7, 142—4, 148, 161 и др. „Сборн. отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Н.", т. IX, Спб., 1872, 409—6, 413; Г. Гераковъ, „Путевыя записки по многимъ россійскимъ губерніямъ", Спб., 1828, II, 16, 26, 124, 178; І. Туманскій, „Воспоминанія", Спб., 1834, 85; кн. М. Щербатовъ, „О поврежденіи нравовъ", Р. Стар., 1871, т. III, 686; И. Ч—инъ, „Мановины", Р. В., 1873, № 6, 591, 611; „Время школьнаго ученія", изъ записокъ человѣка. Сто одинъ, Р. Вѣсти., 1875, № 11, 66, 70—1, 71, 73, 74, 79; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ", Р. Вѣстн., 1876, № 7, 137; Л. Полонскій, „Старина и мое дѣтство", Р. Вѣстн., 1890, № 2, 49; „Южный сборникъ, изд. Максимовичемъ", Од., 1859; „Записки Грязева", 215; А. Я. Протасовъ, „Дневныя записки", Истор. Вѣстн.", 1887, № 11, 71; Болотовъ, „Записки", III, 164—5, 186; „Памятникъ", I, 117, 118; И. Дмитріевъ, „Взглядъ", соч., II, 25, 30—1; Д. Фонвизинъ, „Чистосердечное признаніе", 535—6, 540—1, 542, 547, 549—50; гр. М. Бутурлинъ, „Записки", Р. Арх., 1897, № 9, 218—9, 221; № 3, 375, 383; Праск. П. Татлина, „Воспоминанія", Р. Арх., 1899, III, № 10, 196; А. И. Бѣляевъ, „Воспоминанія", Р. Стар., 1889, XXIX, 834—5; А. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., 1880, т. XXVII, 549—50 и др. Всѣ эти факты, извлеченные изъ мемуаровъ, позволяютъ утверждать, что „вольтерьянство" перешло за грани XVIII-го вѣка и захватило начало XIX ст.,—что оно захватило людей различнаго рода, —русскихъ не только дворянъ, но и духов-

выхъ лицъ (семинаристы, архіереи), купцовъ, простонародье, ученыхъ провинціальныхъ русскихъ барышень. 688. Въ *журналахъ* интересъ къ революціи почти не выразился (вообще о революціи встрѣчаемъ разсужденіе: „Полезное увеселеніе", 1761, 119); въ *драмѣ* прямо о французской революціи тоже упоминаній нѣтъ, но вообще картина народнаго возстанія противъ царя-деспота—обыкновенный пріемъ, которымъ пользовались наши драматурги, какъ „развязкой" своихъ „трагедій"; за то въ *мемуарахъ* мы находимъ слѣды интереса къ великому освободительному движенію и его дѣятелямъ, крупнымъ и мелкимъ („Записки 1814 года", А. Михайловскаго-Данилевскаго, Спб., 1831, 37, 76; его-же: „Записки 1814 года", Спб., 1841, 145; „Изъ записокъ М. С. Мухановой", М., 1873, XI—XII, 32; „Памятники новой русской исторіи", сборн. истор. статей и матеріаловъ, изд. В. Каширевымъ, Спб., 1871, I, 105; III, 23, 26—7; Ф. Як. Мирковичъ, „Его жизнеописаніе", Спб., 1889, 14; Г. Добрынинъ, „Истинное повѣствованіе", 66—7; Д. Свербеевъ, „Записки", М., 1899, 164; Андѣй Востоковъ, „Сказрческія воспоминанія", 28—9; А. М. Грибовскій, „Записки объ И-цѣ Екатеринѣ Вел.", М., 1864, 17; „Записки новоскольскаго дворянина П. О. Остроженко-Лохвицкаго", К., 1881, 85; гр. М. Бутурлинъ, „Записки", Р. Арх., 1897, № 9, 218—9; Т. Пассекъ, „Воспоминанія", Р. Стар., 1872, VII, 195; „Записки Д. П. Рунича", 222—3. 689. Въ *журналахъ* очень часто въ апоѳеозѣ представлялся царь—„человѣкъ", гуманный и миролюбивый, царь-отецъ, любящій своихъ подданныхъ, видящій „истинную славу" въ счастьѣ подданныхъ, а не въ громкихъ военныхъ подвигахъ: Титъ, Маркъ Аврелій,—вотъ имена, которыя часто упоминаются русскими писателями, когда имъ надо охарактеризовать „идеальнаго царя", напр.: „Адская почта", 1769, 47; „Пустомеля", 1770, 72; „Зритель свѣта", 1775, 51; „Утренній свѣтъ", 1777, II, 77; III, 214; „Вечерняя заря", 1782, II, 201, 293—4; „Покоющійся Трудолюбецъ", 1784, I, 117—121; „Полезное упражненіе", 1789, 308; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, I, 39 и др. Въ *драмахъ* образъ „идеальнаго царя" повторяется очень часто: царь долженъ быть „человѣкомъ" на тронѣ (Сумароковъ, „Гамлетъ", 1748, Р. О., I, 262; „Синавъ и Труворъ", 1751, Р. О., II, 24; Херасковъ, „Мартезія и Ѳалестра", 1767, Р. О., IV, 88; Сумароковъ, „Семира", 1768, Р. О., II, 227; „Ярополкъ и Димиза", 1768, Р. О., II, 312; Княжнинъ, „Владиміръ и Ярополкъ", 1772, Р. О., XXXIV, 63 и др.; онъ долженъ быть „отцомъ" подданныхъ: Сумароковъ, „Вышеславъ", 1768, Р. О., 37, 55; „Семира", 1768, Р. О., II, 164; „Димитрій Самозванецъ", 1771, Р. О., III, 64, 98; „Мстиславъ", 1774, Р. О., III, 141, 173; В. Майковъ, „Агріопа", 1775, Р. О., V, 50; О. Ключаревъ, „Владиміръ Великій", 1779, Р. О., VI, 113; онъ долженъ гуманно относиться къ подданнымъ: Сумароковъ, „Артистона", 1751, Р. О., II, 121—2; Ломоносовъ, „Демофонтъ", 1752, Р. О., I, 102; Херасковъ, „Пламена", 1765, Р. О., IV, 17, 24, 34; Сумароковъ, „Вышеславъ", 1768, Р. О., III, 29; „Ярополкъ и Димиза", 1768, Р. О., II, 259, 306—9; О. Ключаревъ, „Владиміръ Великій", 1779, Р. О., VI, 131; онъ обязанъ избѣгать войны, и не искать путемъ кровопролитія „славы": Сумароковъ, „Хоревъ", 1747, Р. О., I, 181, 197; Ломоносовъ, „Тамира и Селимъ", 1750, Р. О., 33, 55; Херасковъ, „Пламена", 1765, Р. О., IV, 41; О. Козельскій, „Пантея", 1769, Р. О., VI, 66; О. Ключаревъ, „Владиміръ Великій", 1779, Р. О., VI, 116; Ип. Богдановичъ, „Славяне", др., 1788, Р. О., IX, 222; царь долженъ свято соблюдать законы: онъ—рабъ законовъ: Сумароковъ, „Хоревъ", 1747, Р. О., I, 200; „Гамлетъ", 1748, Р. О., I, 262; „Артистона", 1751, Р. О., II, 130; Херасковъ, „Мартезія и Ѳалестра", 1767, Р. О., IV, 106; В. Майковъ, „Агріопа", 1775, Р. О., V, 48—9; Княжнинъ, „Росславъ", 1784, Р. О., VI, 183; онъ долженъ побѣждать въ себѣ всѣ страсти (Сумароковъ, „Вышеславъ", 1768, Р. О., III, 53; „Ярополкъ и Димиза", 1768, Р. О., II, 259, 263),—особенно нападаютъ всѣ на эгоизмъ царей: для него долгъ выше личнаго счастья (Сумароковъ, „Хоревъ", 1747, Р. О., I, 202; „Вышеславъ", 1768, Р. О., III, 11; „Ярополкъ и Димиза", 1768, Р. О., II, 300); онъ долженъ быть добродѣтеленъ и справедливъ: корона безъ добродѣтели—преступленіе: (Княжнинъ, „Росславъ", 1784, Р. О., VI, 170; Ключаревъ, „Владиміръ Великій", 1779, Р. О., VI, 112; Николевъ, „Сорена и Замиръ", 1787, Р. О., V, 293); „добродѣтель выше сана" (Сумароковъ, „Вышеславъ", 1768, Р. О., III, 52); онъ долженъ служить примѣромъ подданнымъ (Левшинъ, „Траянъ и Лида", 1780, Р. О., VII, 237); онъ долженъ дать побольше политической свободы своимъ подданнымъ: (Сумароковъ, „Дмитрій Самозванецъ", 1771, Р. О., III, 77; Херасковъ, „Идолопоклонники", 1782, Р. О., IV, 226); не на личномъ блаженствѣ счастьѣ, а на благополучіи подданныхъ долженъ онъ строить свое счастье („Дмитрій Самозванецъ", 78—91. Тяжелы обязан-

поеты „хорошаго“ царя,—онъ долженъ быть „слугою“ своего народа (Ключаревъ, „Владиміръ Великій“, 1779, Р. Ѳ., VI, 115; Левшинъ, „Траянъ и Лида“, 1780, Р. Ѳ., VII, 201; „Росславъ“, 1784, Р. Ѳ., VI, 198; 690. Въ *журналахъ* „дурными“ правителями именуются тѣ, которые, слѣдуя примѣру Юлія Цезаря и Александра Македонскаго, ищутъ „славы“ цѣною крови своихъ подданныхъ, которые обнаруживаютъ самовластіе и деспотизмъ, или, наоборотъ, слабость, приводящую къ тому, что они попадаютъ въ руки придворныхъ льстецовъ, или больше заботятся о своихъ развлеченіяхъ, чѣмъ о счастіи подданныхъ: „Полезное увеселеніе“, 1761, II, 206—7; „Адская почта“, 1769, 42; „Почта духовъ“, 1789, 240; „Трутень“, 1770, 58; „Утра“, 1782, 20; „Дѣтское чтеніе“, 1786, I, 18; „Почта духовъ“, 1789, 13; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, II, 131; „Прогладные часы“, 1793, II, 149; „С.-Петерб. Журналъ“, 1798, III, 23; въ *драмахъ* энергично обличаются тираны, которые деспотически управляютъ народомъ: Сумароковъ, „Гамлетъ“, 1748, Р. Ѳ., I, 286, 296: Ломоносовъ, „Тамира и Селимъ“, Р. Ѳ., I, 35; Сумароковъ, „Артистона“, Р. Ѳ., II, 114; „Синавъ и Труворъ“, Р. Ѳ., II, 79; „Вышеславъ“, 1768, Р. Ѳ., III, 275—6; „Ярополкъ и Дмитрій“, 1768, Р. Ѳ., II, 301, 302, 306; „Дмитрій Самозванецъ“, 1771, Р. Ѳ., III, 66, 68; „Мстиславъ“, 1774, Р. Ѳ., III, 128, 159; Херасковъ, „Гонимыя“, др., 1775, Р. Ѳ., VIII, 87; Княжнинъ, „Росславъ“, 1784, Р. Ѳ., VI, 234; „Владисанъ“, 1786, Р. Ѳ., XXXII, 216, 241; К. Д. Горчаковъ, „Кальфъ на часъ“, 1786, Р. Ѳ., XXVI, 95; П. Николевъ, „Сорена и Замиръ“, 1787, Р. Ѳ., V, 241, 242, 264, 302, 303, 310, 314; Княжнинъ, „Титово малосердіе“, 1790, Р. Ѳ., XXXII, 25; подданные не любятъ царей-тирановъ—Херасковъ, „Бориславъ“, Р. Ѳ., IV, 185; оттого ихъ троны не прочны (Ломоносовъ, „Тамира и Селимъ“, 1750, Р. Ѳ., I, 35); царь-тираннъ—это злодѣй на тронѣ (Херасковъ, „Бореславъ“, 1774, Р. Ѳ., IV, 201); истребить тиранна—долгъ гражданина (Николевъ, „Сорена и Замиръ“, 1787, Р. Ѳ., V, 314); дурные цари не терпятъ истины и любятъ лесть и ложь (Княжнинъ, „Владиміръ и Ярополкъ“, 1772, Р. Ѳ., XXXIV, 77); ради удовлетворенія своей гордости всѣмъ жертвуютъ (Херасковъ, „Бориславъ“, 1774, Р. Ѳ., IV, 175); ради славы любятъ войны (Ломоносовъ, „Тамира и Селимъ“, 1750, Р. Ѳ., I, 33, 55; Херасковъ, „Пламена“, 1765, Р. Ѳ., IV, 41; Ѳ. Козельскій, „Пантея“, Р. Ѳ., VI, 66; В. Майковъ, „Агріопа“, 1775, Р. Ѳ., V, 55; Ип. Богдановичъ, „Славяне“, др., 1788, Р. Ѳ., IX, 222). 691. Въ *журналахъ*: „Невинное упражненіе“, 1763, 5, 6, 9; „Доброе намѣреніе“, 1764, 257; „Адская почта“, 1769, 116—7, 118; „Трутень“, 1770, 22, 58—60; „Смѣсь“, 1769, 135; „Живописецъ“, 1772, 284; „Утренній свѣтъ“, 1777, III, 215; „Дѣтское чтеніе“, 1786, I, 29; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, I, 23, 296; II, 51; „Почта духовъ“, 1789, 2—4, 15, 115, 271, 295; „С.-Петерб. Журналъ“, 1798, III, 23, 27 и др. Въ *драмахъ*: Сумароковъ, „Гамлетъ“, 1748, Р. Ѳ., I, 282; „Синавъ и Труворъ“, 1751, Р. Ѳ., II, 56; „Вышеславъ“, 1768, Р. Ѳ., III, 37; „Дмитрій Самозванецъ“, 1771, Р. Ѳ., III, 96; „Мстиславъ“, 1774, Р. Ѳ., III, 128, 161, 167; Ѳ. Ключаревъ, „Владиміръ Великій“, 1779, Р. Ѳ., VI, 144; Плавильщиковъ, „Дружество“, 1783, Р. Ѳ., VII, 87; Княжнинъ, „Софонисба“, 1790, Р. Ѳ., XXXIV, 159; „Вадимъ“, 1793, Р. Ѳ., XXXIX, 160 и др. Въ *мемуарахъ*: Вяземскій, „Старая записная книжка“, 1813, 53; „Записки Л. И. Энгельгардта“, М., 1867, 44—5; „Записки кн. Ник. П. Шаховскаго“, М., 1810, 2—3; кн. Щербатовъ, „О поврежденіи нравовъ“, Р. Стар., 1870, II, 32, 181, 682; „Записки Винскаго“, Р. Арх., 1877, 99 и др. 692 Въ *журналахъ*: „Утренній свѣтъ“, 1777, I, 214; II, 239, 339; III, 97—107 и др.; „С.-Петерб. Вѣстникъ“, 1778, I, 373; II, 179; „Новыя ежемѣсячныя сочиненія“, 1787, III, 65—7; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, II, 247—254 и др. Въ *драмахъ*: „Злоумный“, ком., 1788, Р. Ѳ., XXIII, 109; въ *мемуарахъ*: „Записки“, П. И. Муравьева, Р. Арх., 1885, кн. III, 26; Н. Р. Тамченко-Рубанъ, „Изъ воспоминаній о прожитомъ“, Истор. Вѣ., 1890, № 5, 542—3 и др. 693. *Pingaud*, „Les Français en Russie et les Russes en France“, 118, 119, 159—167; 694. В. Сиповскій, „Н. М. Карамзинъ“, 104—110, 146; прилож. I, 9—10 и др. 695. С. Глинка, „Записки“, 115, 132; 696. Болотовъ, IV, 1077, 1110; В. Панаевъ, В. Евр., 1867, т. III, № 9, 248; Вигель, „Записки“, III, 59—60; С. Глинка, 76, 80; 697. Лопухинъ, Ив., „Записки“, Р. Арх., 1884, I, 22.

III.

Выяснивъ въ предыдущихъ главахъ значеніе романа, какъ показателя *идейнаго* содержанія русской жизни XVIII-го вѣка, я обращаюсь теперь къ вопросу о томъ, какую цѣнность представляетъ этотъ романъ, какъ показатель *бытовой, жанровой* стороны этой жизни.

Неразъ указывалось нашей критикой, что для характеристики быта, той или другой, эпохи опасно пользоваться матеріаломъ, извлеченнымъ изъ произведеній изящной литературы; мнѣ самому пришлось однажды высказаться по этому вопросу въ такомъ же смыслѣ[1],—но такое подозрительное отношеніе къ изящной литературѣ отнюдь не должно распространяться на всѣ ея виды: опасно увлекаться обобщеніемъ фактовъ, извлеченныхъ изъ сатирическихъ, или публицистическихъ произведеній — словомъ, изъ твореній тенденціозныхъ, въ которыхъ авторъ намѣренно подчеркиваетъ, тѣ или другія, стороны жизни, освѣщая ихъ со своей точки зрѣнія. Но есть цѣлый рядъ произведеній, въ которыхъ нѣтъ этой тенденціозности, въ которыхъ дѣйствительность служитъ только фономъ, на которомъ развертывается жизнь героевъ; часто въ такихъ произведеніяхъ эта дѣйствительность вторгается въ произведеніе, словно незамѣченная самимъ авторомъ, все вниманіе котораго устремлено на героя, или героиню. Съ подобнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности встрѣчаемся мы въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ и романахъ XVIII-го вѣка. Среди нихъ встрѣчаемъ мы часто произведенія, даже мало чѣмъ отличающіяся отъ „мемуаровъ“ *).

---

*) Гете назвалъ автобіографіи, переходящія изъ записокъ въ романъ: „Wahrheit und Dichtung“. Приблизительно, нѣчто подобное представляютъ собой и эти повѣствовательныя произведенія; на мой взглядъ,

Въ такихъ произведеніяхъ историкъ не найдетъ даже художественной переработки дѣйствительности,—въ нихъ эта дѣйствительность часто представлена еще въ видѣ „сырья", — въ видѣ анекдотовъ, выхваченныхъ изъ жизни, въ видѣ бытовыхъ сценъ, простого пересказа несомнѣнно-видѣннаго и слышаннаго... Матеріалъ этотъ очень богатъ, иногда представляетъ большую цѣнность своею колоритностью и изумительной всесторонностью, равно захватывающей жизнь города и деревни, жизнь вельможи, дворянина, чиновника, купца, церковника, солдата, офицера и простаго мужика... Цѣль настоящей главы и сводится къ выясненію и группировкѣ всего того пестраго бытоваго матеріала, который можно извлечь изъ русскаго романа и повѣсти XVIII-го вѣка. Взятый изъ разныхъ произведеній, въ отрывкахъ разной величины, этотъ матеріалъ, само собою разумѣется, въ общемъ, будетъ отличаться и пестротой, и безсистемностью, и разноцѣнностью. Тѣмъ не менѣе, историкъ русской жизни XVIII вѣка найдетъ здѣсь немало живыхъ, правдивыхъ картинъ, немало яркихъ образовъ, въ большинствѣ случаевъ, набросанныхъ безъ того субъективизма, которымъ отличаются тенденціозныя произведенія сатириковъ и моралистовъ.

Полнѣе всего, какъ и слѣдовало ожидать, представлена жизнь дворянства. Матеріалъ по этому вопросу романами дается самый пестрый: несомнѣнно, такова была и сама жизнь: слишкомъ много въ ней было противорѣчій, — грубая старина на каждомъ шагу сталкивалась съ той легкомысленной новизной, которая, въ лицѣ щеголей и вольтерьянцевъ, была результатомъ цивилизаціи, схваченной налету. Кромѣ того, въ жизни тогдашняго дворянства, очевидно, встрѣтились вліянія городской жизни съ традиціями деревенской, сталкивалась аристократія съ мелкимъ дворянствомъ. Всѣ эти явленія въ жизни русскаго дворянства XVIII-го в. въ разной степени отразились въ романѣ, и изъ этихъ отраженій создается, въ общемъ, живая и назидательная картина.

Немало говорится въ романахъ о „воспитаніи юношества". Конечно, воспитаніе это тоже оказалось самымъ разнообразнымъ— въ зависимости отъ условій домашней жизни и принадлежности ребенка къ тому, или другому, сословію и рангу.

ими можно пользоваться, какъ обыкновенными записками, но, разумѣется, необходимо точно разобрать, гдѣ кончается Wahrheit, гдѣ начинается Dichtung... Впрочемъ, подобную же работу приходится продѣлывать и тогда, когда имѣешь дѣло съ обыкновенными „записками".

Во многихъ домахъ, по старинному русскому обычаю, отдавали ребенка на руки „мамѣ“,—„вдовѣ разумной“, которая „умѣла различать, кричитъ ли дитя отъ нужды, болѣзни, или своеволія“ [2]; затѣмъ онъ переходилъ въ руки „дядьки“ [3]. Это считалось нормальнымъ порядкомъ, и, вообще, нареканій со стороны русскихъ литераторовъ не вызываетъ. Но то, что давало хорошіе результаты въ однѣхъ семьяхъ, то приводило къ дурнымъ результатамъ въ другихъ, гдѣ — или слишкомъ баловали дѣтей [4], или совершенно ими пренебрегали. Какъ примѣръ неудачнаго выбора „мамы“ и нерадивости родителей, можно привести разсказъ о первыхъ годахъ жизни одного изъ героевъ.

„Самая толстая и самая глупая была выбрана изъ всѣхъ крестьянокъ для вскормленія господскаго сына грубыми своими сосцами, отъ которыхъ былъ для сего отнятъ недѣльный еще ея сынъ“.

„... часто она ниспускала на его лядвія тяжелые удары своей десницы“, когда онъ кричалъ. Но онъ ее болѣе любилъ, чѣмъ мать, отъ которой „отворачивался“, даже когда она его цѣловала [5].

Во многихъ богатыхъ домахъ дѣтей въ раннемъ возрастѣ баловали, — и оттого тамъ воспитаніе было самое безалаберное. Такъ, у одного героя было всегда много игрушекъ, сластей—

„... болѣе десяти няпюшекъ, мамушекъ и ихъ дѣтей. Иныя его одѣвали, иныя раздѣвали, однѣ разсказывали ему любопытныя повѣсти объ чертяхъ и прекрасныхъ царевнахъ, другія забавляли его разными играми; тѣ крали у него конфекты, тѣ—игрушки. Онъ часто улыбался и выучивался отъ нихъ бранить, какъ ихъ самихъ, такъ и всѣхъ тѣхъ, кто его, хоть мало, разсердитъ. Г. Негодяева хохотала съ радости по цѣлой четверти часа, когда онъ, нахмуря брови и топая объ полъ ногою, называлъ ее въ глаза „дурою“ и „свиньею!“ [6].

Въ результатѣ такого воспитанія у ребенка рано опредѣлились дурные инстинкты:

„Евгенію исполнилось шесть лѣтъ. Онъ выучился, самъ собою, изрядно рѣзвиться, недурно играть въ дурачки и въ жмурки со своими подчиненными, жаловаться на нихъ и плакать, когда хотѣлъ“ [7].

„Когда онъ началъ уже ходить и говорить, то ему сшили на его ростъ гвардейскій мундиръ, украшенный на обшлагахъ тремя блестящими золотыми галунами, и прежде, нежели еще его выучили молиться Богу, твердили ему безпрестанно, что онъ—дворянинъ и сержантъ гвардіи.. „Ты — сержантъ, душинька!“ — говорила ему мать съ нѣжною улыбкою, когда онъ бывалъ въ мундирѣ.—„И сер-жан-тъ,— повторялъ онъ запинающимся языкомъ и, казалось, столько же тщеславился симъ титломъ, какъ и его родительница“ [8].

Хлопоты о зачисленіи въ воинскую службу ради чиновъ начинались рано.

„Г. Негодяевъ на другой день родинъ, сѣвши возлѣ постели своей

жены, сталъ говорить ей такъ: „когда же, матушка, окрестить новорожденнаго, и кто у насъ будетъ кумою и кумомъ!...“

„Постой, папинька, — отвѣчала она, — надобно намъ съ тобою прежде еще подумать о томъ, какъ бы его записать въ гвардію... Послушай-ка, отпиши къ кому-нибудь въ Петербургъ, чтобы его поскорѣе сдѣлали сержантомъ!“

„Хорошо, матушка, хорошо; я напишу къ одному гвардейскому капитану, котораго деревня у меня въ закладѣ, что бы онъ выхлопоталъ ему сержантской чинъ, и прислалъ бы къ намъ на оный паспортъ!“ [9].

Когда родильница принимала поздравленія съ разрѣшеніемъ отъ бремени, она „говорила всѣмъ съ улыбкою восхищенія: „у меня ужъ сынокъ сержантомъ гвардіи“ [10].

Большинство, слѣдуя модѣ, отдавали своихъ дѣтей на руки чужестранцевъ-наемниковъ, не разбирая ихъ душевныхъ качествъ. Въ нѣсколькихъ повѣстяхъ приведены ихъ подробныя біографіи. Такъ, напримѣръ, одинъ дядька-французъ—

„за неуплату нѣкоторыхъ долговъ по забору алмазныхъ вещей для украшенія преданныхъ и искреннихъ ему особъ изъ прекраснаго женскаго пола, принужденъ претерпѣть такія грубости, коимъ онъ довольно надивиться не могъ, въ разсужденіи той вѣжливости, которою французскій народъ отличается отъ всѣхъ народовъ“ [11].

Въ другой семьѣ выборъ гувернера оказался тоже случайнымъ.

„Мать“, будучи однажды у Розетты, „модной торговки“, по ея рекомендаціи, взяла въ гувернеры къ дѣтямъ ея земляка, monsieur le Pendard: жалованья было положено — 500 руб. въ годъ, готовый столъ, карета и услуга. Онъ хорошо говорилъ пофранцузски, одѣвался щеголевато, „кланялся съ пріятностью; отецъ его былъ честный типографщикъ, скончавшій нещастно свою жизнь въ тюрьмѣ за печатаніе пасквилей. По смерти его, оставшись онъ лѣтъ четырнадцати, былъ взятъ изъ человѣколюбія въ услуги содержателемъ одного вольнаго дома и выгнатъ имъ изъ онаго чрезъ нѣсколько времени за дѣтскую шалость“. — Тогда онъ поступилъ въ военную службу—„записался въ солдаты“. „Въ семъ новомъ званіи бывалъ на многихъ сраженіяхъ въ различныхъ шинкахъ—и въ самыхъ верхнихъ етажахъ, гдѣ жили не стихотворцы, и гдѣ онъ свелъ знакомство съ г. Розеттою. Проходилъ неоднократно сквозь длинные ряды своихъ собратій, вооруженныхъ длинными прутьями, и, въ знакъ геройскихъ своихъ подвиговъ, имѣлъ у себя на плечѣ литеру V. Бывши въ ротѣ строгаго капитана и пожелавъ путешествовать, оставилъ онъ, наконецъ, никогдашто военную службу, вмѣстѣ со своимъ отечествомъ и пріѣхалъ въ Россію, гдѣ немалая часть большаго дворянства давала у себя въ домахъ убѣжище ему подобнымъ, и въ которой нашелъ онъ, по щастливому случаю, прежнюю свою пріятельницу г. Розетту“ [12].

Одного юношу воспитывалъ французъ Шевальде-де-Жуа, и кончилось воспитаніе очень плачевно. Богатый юноша былъ

окруженъ льстецами. Началось мотовство: бѣднымъ онъ не помогалъ, зло относился къ людямъ гонимымъ, сдѣлался извергомъ [13]. Другого россійскаго юношу въ такомъ же духѣ воспиталъ французъ Ля-Куръ [14].

Третьяго, иностранецъ-гувернеръ воспитывалъ такъ:

„весьма рачилъ о образованіи его вкуса и наставленіи во всемъ томъ, что только могло приличествовать знаменитости его рода и состоянія, какъ-то: „пренебреженіе отечественнаго языка, искусное шарканье, шитье по дюжинѣ паръ платья въ мѣсяцъ, чрезъ портныхъ, выписывающихъ прямо изъ Парижа и Лондона товары... неуваженіе гражданскихъ и священныхъ законовъ, обращеніе въ смѣхъ всего, что почитается народомъ, припорвленіе ласкательства къ мѣсту, лицамъ обстоятельствамъ; свѣденіе игръ, служащихъ провожденіемъ времени благородныхъ особъ, забвеніе и имени хозяйства, и домоводства, замѣчаніе всѣхъ происшествій въ тѣхъ домахъ, гдѣ водятся красноперыя птички, и страсть къ путешествію во Францію для наслажденія пріятною жизнью и истощенія тѣлесныхъ силъ“ [15].

На-ряду съ такимъ „утонченнымъ“ воспитаніемъ дѣтей, встрѣчаемъ мы и факты стариннаго, грубаго съ ними обращенія.

„Родитель мой былъ нраву жестокаго и грубаго: сперьва меня словесно побранивалъ, а опослѣ наказывалъ, ставилъ на колѣни на насыпанный горохъ, крупной песокъ и очень сѣкалъ розгами“. [16].

Не лучше дѣло обстояло и въ тѣхъ домахъ, гдѣ отдавали дѣтей на руки россійскихъ педагоговъ, такъ какъ и на нихъ останавливались безъ строгаго выбора. Такъ, одинъ папаша, желая хорошо воспитать дѣтей, по ошибкѣ, нанялъ изъ перваго трактира лучшаго маркера [17]. Другой поручилъ воспитаніе сына слугѣ, „знающему свѣтъ“.

„Слуга, разумѣющій свѣтъ, представилъ юношѣ, что жить въ школѣ подло для денежнаго человѣка и что сидѣть за науками свойственно однимъ только неблагороднымъ людямъ; совѣтовалъ ему занесть общество съ таковыми людьми „кои бы сдѣлали ему наставленіе о всемъ, что лежитъ до знанія дворянскаго, то есть не о любви къ отечеству и добродѣтели, а обращаться смѣло, говорить живо, напримѣръ, начинать рѣчь и не оканчивать, перебивать слова другихъ, всѣхъ пересмѣхать, одѣваться по модѣ и играть въ карты“ [18].

Одинъ мальчикъ воспитывался у дьячка, который, оказывается, содержалъ цѣлый пансіонъ, гдѣ нравы были довольно дикіе. Однажды онъ поругался съ товарищемъ:

„онъ меня выбранилъ; я почелъ сіе за невозможное снести отъ такого щенка, хотя и самъ какъ разумомъ, такъ и лѣтами ево не превосходилъ; осердясь на то, стиснувъ зубы, ухватилъ обѣими руками ево за ухо такъ плотно, что, когда онъ думалъ отъ меня избавиться и рванулся, то его ухо осталось въ моихъ рукахъ“ [19].

Другой герой выросъ —

„въ конопляникѣ; о хорошемъ понятіе имѣть было не отъ чего. Учитель его былъ деревенскій дьячокъ, которой упражнялся больше въ кражѣ лошадей, нежели въ познаніи самого себя“ [20].

Въ одной семьѣ начало образованію положилъ священникъ; потомъ ребенокъ перешелъ къ какой-то „благоразумной“ женщинѣ и, наконецъ, къ писарю [21].

Русскому языку училъ его священникъ „приходскій священникъ, человѣкъ недостаточный, но хорошаго поведенія и хорошихъ свѣдѣній; приходилъ, по желанію г. Негодяева, каждую недѣлю два часа, для наставленія его сына въ познаніи буквъ и катихизиса, получая за свои труды, время отъ времени, попорченный деревенскій запасъ въ маломъ количествѣ“.

Наука не пошла впрокъ, такъ какъ —

„Евгеній не могъ терпѣть церковной почати и густой бороды своего учителя“ [22].

Въ провинціальной глуши были, впрочемъ, еще семьи, которыя даже такихъ педагоговъ дѣтямъ своимъ не давали. Въ результатѣ, изъ дѣтей иногда выходили совершенные Митрофаны. Такъ, напримѣръ, одинъ дворянчикъ —

Не учась никогда, „имѣя короткое обхожденіе съ лакеями, сдѣлался сущимъ невѣждою и подражателемъ всѣхъ ихъ обыкновенныхъ поступковъ“ [23].

Другой россійскій юноша-дворянинъ —

„ходилъ всегда неряхою, въ замаранномъ овчинномъ тулупѣ, и, шатаясь по двору, часто игралъ съ робятами въ бабки, кричалъ ночью филиномъ и пугалъ старухъ, которыя летали отъ него часто съ высокой нашей лѣсницы. Возглашалъ пѣтухомъ, которымъ искуствомъ разбуживалъ сосѣднихъ куръ; перенималъ, какъ кричатъ утки, и, словомъ, дѣлалъ всякія шалости, какія только начальный изъ дураковъ выдумывать можетъ“ [24].

Онъ же „надѣвалъ не рѣдко крестьянское платье и расхаживалъ въ немъ по рынку. Ходилъ также въ харчевни, гдѣ заводилъ непосредственно малыя драки и таскалъ нарочито своего брата для того что храбрость его надъ однимъ только имъ оказывалась“ [25].

Изъ кушаній этотъ молодой дворянинъ —

„радовался“ ржаному хлѣбу, такъ какъ „дядино кушанье ему не казалось, потому что онъ не зналъ въ немъ вкусу и всегда говорилъ, что сдѣлано оно „по нѣмецки“ и казалось ему приторно“ [26].

Очень живо въ одномъ романѣ изображается французскій пансіонъ XVIII-го вѣка, его нравы и обычаи.

За 400 рублей въ годъ мальчикъ былъ отданъ въ пансіонъ г. Эзельмана. Содержатель былъ —

„человѣкъ умной и пожилой, который безпрестанно занимался куреніемъ табака и своими выгодами". У него было до 100 воспитанниковъ и воспитанницъ. „Г. Езельманъ зналъ ихъ всѣхъ поимянно, ласкалъ изъ нихъ тѣхъ, которые ему платили болѣе прочихъ и, глядя на нихъ, всегда улыбался" [27].

„Географія, исторія, ариѳметика, рисованіе, танцованіе и языки составляютъ единственные предметы ученія во всѣхъ пенсіонахъ. Безмѣстный студентъ, оставшій семинарію, ходилъ въ вывороченномъ байковомъ сертукѣ къ г. Езельману каждую субботу показывать русскую грамматику. Французскій языкъ преподавался г. Жасминомъ, получавшимъ „передъ симъ года за два себѣ пропитаніе и славу отъ одной гребенки". Нѣмецкій языкъ преподавался г. Езельманомъ, который въ своемъ отечествѣ, Германіи, „содержалъ болѣе пятнадцати лѣтъ шинокъ въ одной небольшой деревнѣ". Другіе учителя тоже никуда не были годны. „Нельзя не упомянуть съ похвалою о господинѣ Коверкинѣ. Сей великій мужъ, обучавшій танцованію воспитанниковъ г. Езельмана, имѣлъ камергерскую осанку, произшелъ на свѣтъ отъ легкой театральной танцорки и одного князя, прославившагося своими ногами" [28].

Въ одномъ пансіонѣ героя, который былъ прилеженъ, ученики, дворянскіе сынки-митрофаны, ругали и обижали, такъ какъ „мода", ими здѣсь заведенная, требовала, чтобъ никто ничего не дѣлалъ и всѣ бы безобразничали [29]. Конечно, результаты такого образованія не могли быть велики, — ученики научались только танцовать, да болтать кое-что по-французски.

„Въ теченіе двухъ лѣтъ Евгеній выучился нѣсколько лепетать на французскомъ языкѣ, и уже могъ на немъ называть въ глаза „дураками" тѣхъ, которые онаго не разумѣли" [30].

Нравы въ такихъ пансіонахъ были веселые:

„Свободное время отъ трудовъ Евгеній употреблялъ, вмѣстѣ со своими товарищами, на разныя невинныя, дѣтскія игры" (игра въ бабки, пуншъ); „въ пенсіонѣ читали только на французскомъ языкѣ „Тысячу и одну ночь", а на рускомъ—письменныя сочиненія того поета, который въ храмахъ Бахуса составлялъ стихи въ честь Пріапу" [31].

„Каждую середу и субботу всѣ пансіонеры и пансіонерки, подъ предводительствомъ г. Коверкина, собирались въ вечеру въ большую залу,—первые, будучи причесаны къ лицу искуснымъ парикмахеромъ, надѣвши на себя новомодные фраки и легкіе англійскія башмачки;—послѣднія же, имѣя нерадиво завитые, разпущенные по плечамъ локоны и, подобные бѣлизною снѣгу, на себѣ шемизы, препоясанныя лентою любимаго цвѣта".

„Едва г. Коверкинъ давалъ знакъ рукою, то сидѣвшіе въ углу зала два краснoносые музыканты начинали соглашать свои инструменты, а ученики его, большіе и маленькіе, подходили съ нетиметрскою осанкою и поклонами къ дѣвицамъ, прося ихъ съ собою танцовать и представляя имъ въ лайковой перчаткѣ свою руку; тѣ же подавали имъ свою, съ пріятною улыбкою и жеманствомъ, и становились

на свои мѣста. Г. Коверкинъ, обращая по всюду глаза и видя всѣхъ въ готовности, давалъ вторичный знакъ рукою, ударяя при томъ крѣпко ногою объ полъ. Въ одно мгновеніе ока скрыпки издавали громкіе звуки; танцующіе, держа другъ друга за руки, двигались попарно со своего мѣста въ надлежащемъ порядкѣ, раздѣлялись, нагибались съ пріятностію и присѣдали, опустя въ низъ руки, подавали обратно оныя другъ другу со сладострастною нерадиностію, соединялись опять и составляли чрезъ нѣсколько времени круглую цѣпь. Г. Коверкинъ ободрялъ ихъ голосомъ, и тѣлодвиженіемъ, поправлялъ бранилъ и наставлялъ совокупно" [32].

Иногда приглашались на это зрѣлище и родители, которые и любовались успѣхами дѣтей своихъ. „Г. Негодяева смотрѣла съ материнскимъ восторгомъ на торжество своего сына; расточаемыя ему отвсюда похвалы касались ея ушей и сердца; супругъ же ея взиралъ на него съ разверстыми устами [33].

Въ результатѣ такого воспитанія, юноша въ пансіонѣ-же сошелся съ дѣвочкой, воспитывавшейся тамъ же.

Г. Елельмантъ узналъ о случившемся и наказалъ виновниковъ; во время ужина и Евгеній, и Марія стояли въ углахъ въ столовой, въ то время, когда другіе ужинали,—Евгеній на колѣняхъ, а Марія—„на подобіе статуйки, потупя смиренно голову и прижавъ руки къ сердцу. Преступница со стыда краснѣла, плакала и рыдала; преступникъ же съ досады не глядѣлъ на свѣтъ" [34].

Самостоятельную жизнь начиналъ молодой русскій дворянинъ, отправляясь на службу. Описаніе самыхъ сборовъ въ дорогу очень любопытны въ бытовомъ отношеніи.

„Сбираютъ Несмысла въ дорогу. Даютъ ему дядьку, который, хотя и назывался добрымъ человѣкомъ, но, въ самомъ дѣлѣ, госпожа совѣсть, въ разсужденіи его, вдовствовала. Отъѣздъ настаетъ. Чистое родительское благословеніе дано ему вмѣсто всѣхъ нужныхъ вещей. Проговорено поученіе: не знаться съ мотами и картошною игрою". Денегъ далъ ему отецъ—„40 алтынъ мѣдныхъ денегъ". „Возьми сіи деньги, говорилъ онъ, держи оныя съ бережью, не мотай и не лакомься. Батюшка мой, отправляя меня на Сухореву башню учиться ариѳметикѣ, далъ хотя не столько много, однакожъ, алтынъ съ десять, въ сей же мошнѣ. Я жилъ въ довольствѣ и назадъ еще привезъ цѣлый пятакъ" [35].

Другой герой жилъ —

„до 16 лѣтъ подъ кровомъ отца. Отправляя его на военную службу, отецъ сказалъ: „сынъ мой, я даю тебѣ свободу владѣть твоими желаніями; но всегда помни, что ты—дворянинъ; люби свое отечество, повѣрившее сіе преимущество! Будь онаго достоинъ, не желай никому того, чего себѣ не желаешь [36].

„Набожный родитель благословилъ его образомъ старинной работы, на которомъ была положена кованая серебреная риза и который удержалъ онъ у себя вмѣсто залога отъ одной бѣдной вдовы". Далъ сыну 5.000 рублей и совѣтовалъ ухаживать за командирами.

Мать совѣтовала обратить вниманіе на дамъ, сказавъ: „чрезъ это можешь получить себѣ щастіе“ [37].

При этомъ папаша, давши деньги, счелъ долгомъ прибавить:

„Я, вить, не таковъ, какъ покойной мой батюшка, а твой дѣдушка. Бывало, у того, когда еще былъ не великъ, попросишь въ праздникъ: „батюшка, сударь, дай денежку на пряничекъ!“ Ино таки умилостивится,—дастъ денежку, а ино такъ дастъ оплеуху. „Собачей сынъ! такой, секой! лакомка! гдѣ у меня деньги?“ [38].

Другой давалъ сыну совѣты въ духѣ тѣхъ, которые слышалъ Чичиковъ отъ отца —

„Деньги накопить безъ обиды ближняго почитаю я за первую на свѣтѣ премудрость: *денежка рубля бережотъ, а рубль голову стережотъ;* деньги—великое дѣло въ жизни нашей: и самыхъ злодѣевъ и воровъ тогда только вѣшаютъ, когда у нихъ рубля уже въ карманѣ нѣтъ“ [39].

Иногда родители давали дѣтямъ совѣтъ держаться во всемъ „золотой середины“:

„Роскошь и скупость по одной дудкѣ пляшутъ, а середина есть бережливость,—безгрѣшна Богу и людямъ не противна! а ты, мой другъ, по одежкѣ протягивай ножки, такъ всегда будешь счастливъ. Я до старости дожила и никому не была должна“ [40].

„Всѣмъ быть одинаковымъ не можно,—въ свѣтѣ есть бѣлое и черное, умное и глупое. Богъ сотворилъ человѣка самовластна, далъ ему двѣ дороги—на право и на лѣво, а я до старости брелъ серединою, чего и тебѣ желаю,—пожалуй никому не завидуй!“ [41].

Отецъ одного юноши убѣждалъ его не очень усердствовать на службѣ.

„Когда достанется ити въ караулъ въ сырую, или холодную погоду, такъ можно за себя и нанять кого-нибудь другаго. Ружьемъ учиться тебѣ не совѣтую: ты—малой молодой, нѣжнаго воспитанія, гдѣ тебѣ вертѣть эдакимъ чортомъ, фунтовъ въ пятнадцать!“ [42].

Путешествіе молодого дворянина, ѣдущаго служить, описывается неразъ въ русскомъ романѣ. Оказывается, для зажиточнаго русскаго человѣка такая поѣздка изъ деревни въ отдаленный городъ была цѣлымъ событіемъ: длинный поѣздъ съ припасами, съ дворовыми, сопровождалъ кибитку барина.

Впереди большая покойная кибитка четверней. „Красивыя вороныя лошади, здоровый кучеръ, на запяткахъ высокій гусаръ,—оба получившіе отъ природы и упражненія великую силу, передъ которыми, когда они бывали въ питейномъ домѣ, трепетала дюжина фабричныхъ“. Въ самой же повозкѣ, распростершись на мягкой перинѣ, лежалъ Евгеній въ медвѣжьей шубѣ [43]. За нимъ повозка парою, съ малорослымъ пригожимъ форейторомъ, камердинеромъ и парикмахеромъ“.

„Третью повозку, въ которой лежалъ поваръ, заплывшій въ жиру, какъ упитанный каплунъ, тащилъ одинъ сильный мѣринъ“. Этой по-

возкой правилъ „домашній адвокатъ“ „въ синей шинелѣ“,—„одна изъ тѣхъ крѣпостныхъ тварей, которыхъ стараются у себя имѣть помѣщики, не могущіе жить безъ тяжбы со своими сосѣдами, и которыя, обучаясь ябедѣ и таскаясь по судамъ съ ребячьихъ лѣтъ, не уступаютъ самимъ крючкотворцамъ ни въ крючкотворствѣ, ни въ пьянствѣ“. За этой повозкой тянулись 5 возовъ съ провизіею [44].

Друзья налегкѣ ѣхали отъ Москвы до Петербурга двѣ недѣли,—но обозъ ихъ задерживалъ. Слуги и мужики, чтобъ поспѣть за молодымъ господиномъ, должны были ѣхать и днемъ, и ночью, и почти не спать. Зато молодые господа ѣхали весело,—хорошо ѣли, пили, мечтали о столичной жизни, играли въ карты [45]...

Городская жизнь русскаго дворянина, вырвавшагося изъ деревенской глуши и изъ подъ опеки родительской, изображена особенно подробно въ нѣсколькихъ романахъ. Въ одномъ произведеніи такъ характеризуется дворянинъ, увлекшійся городской жизнью:

„Онъ былъ, хотя невесьма знатнаго, однако же, и не совсѣмъ подлаго, какъ по модѣ говорятъ, состоянія человѣкъ и имѣлъ, кромѣ помѣстья, должность“—денегъ бы ему хватило, если бы мода не заставила „содержать карету и лошадей, любовницъ, гусаръ, егеровъ и другихъ, столь же надобныхъ, какъ пудра и помада,—служителей, одѣтыхъ по модѣ же и въ разнородное платье“—ѣздить по клубамъ, посѣщать разныя „игры и позорища“, устраивать пиры и кормить людей, болѣе богатыхъ, чѣмъ онъ“ [46].

Особенно увлекалъ городъ молодыхъ дворянъ своими легкодоступными любовными развлеченіями. Такъ, одинъ изъ нихъ—

предпочелъ платныхъ красавицъ, такъ какъ это было легче,—„завелъ содержанку Лизаньку; она дорого стоила ему—„напротивъ же того, Развратинъ и Мишка, которой былъ очень собою не дуренъ, не дарили ей ничего, хотя и чаще Евгенія были ею услуживаемы“ [47].

Другой юноша, получивъ наслѣдство и еще живя въ деревнѣ—

„прилѣпился къ хорошимъ винамъ и началъ уже гонять съ двора деньги вмѣсто голубей“. У него завелось много друзей. Одинъ изъ нихъ убѣдилъ его ѣхать въ Москву. Тамъ и этотъ герой влюбился и сталъ много денегъ тратить [48].

Какой-то беззаботный дворянинъ предвкушалъ, какъ осенью онъ хлѣбъ —

„перемѣрятъ, смѣчетъ, расположитъ, сдѣлаетъ честной оборотъ на всероссійскую ходячую“—„и съ любезными, прелюбезными, качай въ матушку веселу-Москву“ „къ друзьямъ, въ университетскую книжную лавочку, въ маскарадъ и др. мѣста“ [49].

Надъ мужичками этотъ юноша добродушно потѣшается—

„...за тайну скажу вамъ, какъ друзьямъ моимъ, буду больше смотрѣть за *любезными* мужичками моими, которые въ потѣ лица своего

упрашивать будутъ чадолюбивую мать-природу не оставить ихъ молодаго барина и потомъ ему, въ будущую зиму, помогутъ удовлетворить невинныя свои забавы“ [50].

Въ городѣ многіе деревенскіе птенцы увлекались разсѣянною жизнью [51]. Особенно заботы о томъ, чтобы понравиться прекрасному полу заставляли дѣлать иногда большіе расходы, иногда далеко превышавшіе доходы. Это вело къ тому, что многіе юноши пробовали даже нечестно увеличивать свои средства [52].

Жизнь въ Петербургѣ улыбалась богатымъ юношамъ,—одинъ, напримѣръ, такъ мечталъ о Петербургѣ:

„Какъ только лишь пріѣду въ Петербургъ, найму себѣ прекрасные покои. Закажу сдѣлать щегольскую карету... Мундиръ у меня есть... Фраковъ хоть много и всѣ хороши, однако, велю сшить полдюжину новомодныхъ... Запишуся въ танцовальный клубъ... Постараюсь познакомиться съ какой-нибудь... Изъ актрисъ!—нѣтъ, съ какой-нибудь—jolie marchande des modes. Актрисы французскія не очень пригожи, а русскую имѣть на содержанье не много чести... Вотъ развѣ взять танцорку?“ [53].

У богатаго молодаго дворянина, пріѣхавшаго въ столицу служить, былъ цѣлый штатъ прислуги, привезенной еще изъ деревни. У одного, напримѣръ, былъ такой подборъ слугъ:

„пьяница-гусаръ Мишка, камердинеръ Андрюшка, лакомка парикмахеръ Сенька, воръ-поваръ Матвѣй и плутъ-стряпчій Лукьянъ“ [54].

Развлекались молодые дворяне въ городахъ карточной игрой, или любовными похожденіями, иногда довольно низкой пробы. Для характеристики нравовъ привожу изъ одного романа слѣдующую жанровую картинку:

„Идутъ они въ четвертой етажъ, по узинькой и крутой лѣстницѣ въ сопровожденіи Силки и Мишки (Силка былъ кучеръ, а Мишка—гусаръ молодаго Негодяева), изъ которыхъ первый несъ кулекъ съ портеромъ, а послѣдній фонарь“... Двери оказались заперты. „Развратинъ сталъ стучаться. „Отоприте! кричалъ онъ, отоприте! Евгеній Лукичъ пріѣхалъ“.—„Здѣсь *гости*!“—отвѣчалъ сквозь двери тонкій голосъ. „Я пришелъ сюда“, говорилъ оттуда же кто-то весьма хриповато, позабавиться на свои деньги, осударь мой, съ позволенія вашего. Не мѣшай мнѣ, поди въ другое мѣсто!—„Отопри“, вскричали совокупно оба разсердившіеся юноши, усугубя стукъ, „отопри, а не то худо будетъ“!—„Одни мошенники насильно ломятся, съ позволенія вашего“! отвѣчалъ хриповатый голосъ, „не такъ, такъ можно и въ шею, съ позволенія вашего“! — „Мишка! Силка! ломай двери“. Въ секунду очутилось по половинкѣ дверей въ рукахъ у сильнаго гусара и здороваго кучера. Евгеній и Развратинъ увидѣли на богатой софѣ лежавшую милую Катиньку съ обнаженною грудью. Она сжимала въ своихъ объятіяхъ дебелое чудовище въ синемъ рускомъ кафтанѣ, съ разноцвѣтными пятнами, имѣвшее на головѣ и подбородкѣ всклочен-

ные рыжіе волосы, на лицѣ свѣжіе и подживающіе рубцы различной фигуры и одинъ глазъ, украшенный синевою. Это былъ мясникъ, прославившійся въ питейныхъ домахъ и кулачныхъ боихъ" [55].

Развратинъ разбилъ ему носъ, Силка и Мишка спустили его съ лѣстницы. „Катяся по оной въ низъ и щитая головою своею ступени, произносилъ онъ съ негодованіемъ слова сіи: „я убьюсь этакъ до смерти, съ позволенія вашего. Объявлю это сейчасъ на съѣзжей, съ позволенія вашего. Попадетесь вы мнѣ когда нибудь, съ позволенія вашего!" [56].

Евгеній далъ „изрядную пощечину прекрасной Катинькѣ и хотѣлъ было схватить ее за разпущенные ея волосы, но она прежде схватила его за руки, просила прощенія, засмѣялась и поцѣловала его. Онъ принужденъ былъ самъ засмѣяться, поцѣловать ее, желаніе воспламенило его кровь, и онъ свершилъ недоконченное мясникомъ" [57].

Въ одномъ романѣ молодой аристократъ обмѣнивается съ своею бывшею любовницею - актрисой фривольными письмами. Онъ спрашиваетъ объ ея времяпровожденіи и самъ фантазируетъ въ письмахъ къ ней, представляя себѣ, какъ она устроилась въ его отсутствіе —

„Кто-нибудь изъ дежурныхъ волокитъ помогаетъ разстегивать шнуровку, палуетъ груди и увѣряетъ, что онъ счастливъ, ежели жертва кошелька его угодна твоему сердцу; подаютъ воды... ты приходишь въ себя.. открываешь плутовскіе свои глаза... вздыхаешь... бросаешь умильные взоры... протягиваешь руку... Роландъ ее лобызаетъ... становится на колѣни... летитъ въ объятія... Я не ревнивъ.. однакожъ... однакожъ досадно" [58].

„Съ задумчивымъ—представляешь ты плѣняющую невинность; съ ловкимъ—ты хвать; все у тебя поетъ и пляшетъ. Правда, накладная грудь..—Она зато безпримѣрна! восковатое.. пожелтѣлое лице.. однакожъ, подштукатуриваешь его весьма искусно бѣлилами; любовь заставила тебя гнусить... Этотъ лавръ достоинъ всякаго почтенія, а при я томъ очень скроменъ и, конечно, никому не открою" [59].

Она ему отвѣчаетъ:

„Князь Р., графъ Б., откупщикъ Д., актеръ Ц., всѣ бьются объ закладъ и каждой споритъ, что онъ причиною моей болѣзни; и такъ, у моего дитяти будетъ семь батюшекъ!" [60].

„Пишешь ты, что имѣешь великое участіе въ моей беременности,— столько же точно, какъ въ построеніи Сухаревой башни!" [61].

Съ однимъ дворянчикомъ произошелъ въ Петербургѣ слѣдующій непріятный эпизодъ: онъ посѣщалъ одну „почтенную" семью, гдѣ проигрывалъ много въ карты ради того, чтобы ухаживать за хорошенькой дочкой хозяина. Наконецъ, съ согласія дочки, онъ пробрался ночью къ ней въ комнату,—

Онъ увидѣлъ ее на кровати, „глаза ея были сомкнуты, волосы лежали нерадиво на шеѣ и на плечахъ; полуобнаженная и прекрасная грудь вздымалась съ неизъясняемою пріятностью" [62].

...вдругъ явился нечаянно въ сію комнату „отецъ“ съ обыкновенною своею улыбкою, съ большимъ пистолетомъ въ правой рукѣ и съ потаеннымъ фонаремъ въ лѣвой, въ шлафорнѣ и въ колпакѣ... „Ахъ! это вы, Евгеній Лукичъ!“ — сказалъ ему господинъ Миловзоровъ, поклонившись, улыбнувшись и сдѣлавши приличный жестъ своимъ пистолетомъ. — „Какимъ образомъ?.. Да что вы изволите безпокоиться стоять?.. Прошу покорно садиться“... усаживаетъ его и заставляетъ его подписать вексель на 10.000 р. [63].

Очень художественна сцена, какъ этотъ ловкій плутъ диктуетъ текстъ векселя.

„Я вамъ буду диктовать“, — говорилъ ему Назарій Антоновичъ. — Извольте-съ.—„Сей моментъ. *Тысяча семь сотъ девяноста перваго года, генваря десятаго числа* (тогда было десятое число февраля). Это нужды нѣтъ, извольте написать цифрами“...—Написалъ-съ.—„Очень хорошо-съ... *Я, ниже имянованной, занялъ у коллежскаго ассесора*“...—У господина коллежскаго ассесора?..—„Хоть такъ-съ, все равно... *Назарья Антоновича Миловзорова десять тысячъ рублей*... десять тысячъ рублей извольте потрудиться написать не цифрами, а складомъ“...—Слушаю-съ...— „Написали?“—Написалъ-съ!—„Извольте-съ!..—*которыя по прошествіи одного мѣсяца долженъ я весь съ полна съ указными процентами... съ рубля по шести... отдать ему, Миловзорову, непремѣнно*“...— Г-ну Миловзорову?—„Какъ угодно. *Во увѣреніе чего и подписуюсь своеручно*... Тутъ извольте теперь подписать свои чинъ, имя и фамилію“... — Сію минуту-съ...—„Что вы изволите трудиться засыпать, пожалуйте мнѣ, и самъ засыплю“... Прочитавъ, онъ спряталъ бумажку, „поблагодарилъ Евгенія съ учтивостью за его послушаніе и трудъ“ и проводилъ до дверей со свѣчой. Евгеній взялъ свою шляпу и сдѣлалъ низкій поклонъ Н. А. [64].

Служба въ гвардіи для богатаго дворянина не представляла тогда особыхъ трудностей.

Евгеній бесѣдуетъ съ фельдфебелемъ роты, въ которой онъ служитъ, и тотъ рекомендуетъ ему откупаться отъ очередного караула и другихъ подобныхъ непріятностей и подробно разсказываетъ объ ихъ полковой жизни. „Вотъ, сударь, что я вамъ скажу: въ каждой у насъ ротѣ числится капраловъ, фурьеровъ, подпрапорщиковъ, капенармусовъ, сержантовъ гораздо болѣе сотни, т.-е. служащихъ, а не малолѣтныхъ.—малолѣтныхъ же и самъ лукавой не знаетъ сколько... Что бишь я вамъ сказалъ? Такъ, такъ... что въ каждой ротѣ гораздо болѣе сотни служащихъ. Изъ нихъ налицо бываетъ человѣкъ двадцать и то изъ солдатскихъ дѣтей, да изъ бѣдныхъ дворянчиковъ, которые написаны на окладъ, а прочіе всѣ въ отпуску. Они-то одни и служатъ. Бываетъ иногда, правда, налицо человѣка два, или три изъ достаточныхъ дворянъ, только они никогда сами не дежурятъ и не ходятъ въ караулъ, а нанимаютъ за себя другихъ, какъ ваша милость. Да что сказать матку-правду, у насъ въ гвардіи служи рукава спустя... Еще таки капральская должность. А ужъ унтеръ то офицерская и сержантская... не такова, какъ фельдфебельская... Къ статѣ ли! тутъ ужъ надобно головѣ да и головѣ!.. Лѣтомъ у насъ на ученье ходятъ только

тѣ унтеръ-офицеры, которые знаютъ службу, а то, благо свобода дана, бьютъ себѣ баклуши, шатаются по трактирамъ; дома же, въ ротѣ таскаются за солдатками, играютъ въ городки, въ свайку, или въ горку, да въ хлюстикъ... Иной болванъ служитъ налицо года три, а, право, не умѣетъ порядочно взять ружья въ руки... Да не станете ли вы, сударь, учиться ружьемъ? хоть мнѣ и недосужно, однако, я самъ изнольте для васъ!.. Нѣтъ, нѣтъ, къ чему мнѣ? Мнѣ въ новой годъ достанется въ гвардейскіе прапорщики.—Такъ не для чего, сударь, вамъ и начинать учиться... а я, право, было думалъ, что вы хотите въ выпускъ въ армейскіе капитаны... да случается, что выходятъ отъ насъ и въ армію такіе молодцы, которые не знаютъ, что такое наступные, что такое отступные плутонги... а ужъ про карреи, колонны и говорить нечего... Въ арміи скорѣе выучатся службѣ, чѣмъ въ гвардіи... а особливо, какъ полковникъ строгой. Вымоетъ раза два—три хорошенько передъ фрунтомъ голову, вышлетъ раза два—три за фрунтъ, такъ и будетъ офицеръ исправной, не какъ наши капитаны!"—А каковъ нашъ капитанъ? О! нашъ капитанъ хорошъ, не такъ, какъ другіе... Да, что изволите меня объ немъ спрашивать, вить вы его высокоблагородіе сами знаете?—Другой день только.., не бось, говори объ немъ передъ нами смѣло, намъ какая нужда.—А коли такъ, сударь, такъ скажу всю правду. Онъ, правда, человѣкъ доброй,—недрачливъ, разуменъ, говоритъ и по-нѣмецки, и по-французски,—только выскочка, хвастается, будто знаетъ лучше другихъ службу, я-де капитанъ, я-де капитанъ! баба! гдѣ бы ему безъ меня править ротою? Ничего порядочно солдату показать не умѣетъ... Вотъ пѣсельниковъ учитъ такъ мастеръ, пѣсельники въ нашей ротѣ по полку первые... И такъ, прошу прощенія" [65].

Евгеній дружилъ съ молодымъ Вѣтровымъ, гвардейскимъ офицеромъ. Онъ разсказываетъ, что на военной службѣ гвардейцы ничего не дѣлаютъ. Онъ тоже изломанъ, избалованъ, щеголь, въ мундирѣ, онъ врагъ труда и занимается только собираніемъ сплетенъ скабрезныхъ [66].

Понятно, что для службы такіе дворяне оказывались непригодными.

„...Бывало, пришлютъ въ полкъ капитаномъ мальчика лѣтъ 17—и ружья не подниметъ; того и смотри, что вѣтеръ повалитъ. Бывало, на ученьи пока дѣлаешь на плечо, на караулъ, къ ногѣ — бодро стоятъ; скажутъ: къ зариду—и манжеты задрожали. Согрѣшилъ грѣшный! подумаешь, бывало: сидѣть бы вамъ, дворничики, дома, да хлебать бы супъ; а отъ сухарей, право, животъ заболитъ" [67].

„Бывало, эти офицерчики поссорятся промежъ собой либо за карты, либо за какую-нибудь дѣвчонку, либо за то, что одинъ другому на ногу наступилъ; вить что-жъ? тотчасъ на дуэль!"

На слова собесѣдника, что это показываетъ ихъ храбрость, старый солдатъ отвѣчалъ:

„Какая, сударь, храбрость! Какая-то дворянская, завозная чума, или дурь! Въ старину у насъ совсѣмъ и не слыхать ее было. Какая это храбрость, своихъ бить!.. этакіе дуэльщики во время стычки прячутся за солдатъ. Когда наши опрокидываютъ, и они изъ-за фрунта кричатъ: „ура!" А когда нашихъ тѣснятъ—ужъ они за версту [68].

Этотъ солдатъ разсуждаетъ, что все равно умирать придется, и потому не считаетъ своихъ подвиговъ за особую доблесть. Къ чинамъ и наградамъ онъ равнодушенъ. „Счастье въ томъ, чтобы быть добрымъ и полезнымъ,—за это любовь общая“—говоритъ онъ. Онъ умѣренъ въ своихъ желаніяхъ [69]. Въ жизни лучше уступить, чѣмъ драться изъ-за всего“ [70],—таковъ его взглядъ.

Въ одномъ романѣ встрѣчаемъ мы изображеніе „петиметра“, въ гвардейскомъ мундирѣ: вмѣсто того, чтобы отдавать честь по-военному, онъ кривляется и расшаркивается.

„вошелъ..., шаркая ногами, сдѣлалъ низкой реверансъ своему маіору и поклонился съ улыбкою направо и налѣво бывшимъ тамъ офицерамъ [71].

Казенной формой своей онъ недоволенъ.

„Ахъ! да какая это шляпа? она ни какъ изъ войлока!“—„Она, правда, не пуховая, а поярковая, и самая лучшая, какую только можетъ носить унтеръ-офицеръ, или сержантъ“.—„Ахъ, mon Dieu! и я долженъ буду имѣть courage надѣть ее!.. и портупея то какая мерзкая — а тесакъ-то! ай! ай! ай! что это такое, батюшки?.. Какъ онъ скверенъ!.. Какъ онъ тяжелъ! съ гаруснымъ темлякомъ! fi, fi!“ [72].

Мотовство гвардейскихъ офицеровъ тоже отмѣчено въ русской повѣсти. Молодой Вѣтровъ является къ господину Мотишкину, гвардейскому прапорщику, который проигрался и сидитъ пасмурный, — ему приходится все продать, такъ какъ онъ проигралъ 200 рублей, присланные отцомъ на дорогу а заплатить ему этихъ денегъ нечѣмъ. Онъ проигрываетъ Вѣтрову и остатки своего имущества—всю мебель [73].

Зато были офицеры, которые и наживались на военной службѣ.

„Вышеписаннаго сложенія былъ нѣкто отставной маіоръ Верзилъ Тихіевъ, сынъ Фуфаевъ, служившій въ арміи ровно тритцать лѣтъ и три года, безъ всякаго штрафа, потому что въ командировкѣ и на приступахъ не бывалъ, а отправлялъ всегдашнюю должность коммисара и былъ у роздачи солдатамъ жалованья, провіянта, фуража и аммуниціи. И какъ всегда находился въ трезвомъ состояніи и велъ приходъ и росходъ исправно, то, пріѣхавъ въ свою деревеньку въ отставку, къ двадцати пяти душамъ прикупилъ онъ девятьсотъ пятьдесятъ душъ“ [74].

Солдатская жизнь изображалась въ русскихъ романахъ мелькомъ. Такъ, имѣемъ мы разсказы о томъ, какъ деревня поставляла рекрутовъ. Оказывается, въ солдаты попадаютъ чаще всего бѣдняки. Такъ, въ одной повѣсти „богатые мужики откупились“, и бѣднякъ-Любимъ оказался въ „желѣзахъ“ [75],—изъ этихъ словъ можно заключить, что, вѣроятно, бывали случаи, когда рекрутовъ приводили въ кандалахъ, изъ опасенія ихъ бѣгства. Въ другой повѣсти деревенскіе „кулаки“ („съѣдуги“) рѣшили отдать за „вотчину

въ солдаты“ тоже бѣдняка. При медицинскомъ осмотрѣ рекрута этимъ „съѣдугамъ“ пришлось давать властямъ взятки.

Отправили на осмотръ — „примѣря, сказали: „малъ ростомъ!“ а лѣкарь закричалъ: „тонки ноги!..“ Рекрута забраковали. Утромъ, однако, его опять повели на осмотръ, причемъ „на темя его положено было нѣсколько угомонной монеты“, „къ обѣимъ же ногамъ привязано было по ассигнаціи“, „чѣмъ Сысой пришелъ въ указную мѣру, и за одну ночь икры потолстѣли“ [76].

Не менѣе любопытенъ разсказъ о томъ, какъ вели рекрутовъ въ дѣйствующую армію.

Сысой отправился въ дѣйствующую армію, „куда онъ съ прочими препровожденъ былъ мірскимъ подаяніемъ, не получая ни одежды, ни провіанта отъ командующаго офицера, котораго они и въ глаза не видали во всю дорогу, а догналъ онъ ихъ, не доѣзжая до арміи верстъ со сто, или еще того меньше... Изъ пятисотъ человѣкъ дошло до арміи не съ большимъ пятьдесятъ, а прочіе разбѣжались и померли“. Офицеръ подалъ рапортъ, „что, за малоимѣніемъ команды, рекруты въ разныя времена бѣжали. Его отдали подъ судъ, а рекрутъ причислили къ командѣ лишенныхъ, всего имъ принадлежащаго; ибо у командовавшаго ими офицера при арестованіи его ничего не отъискано, а слухъ носился, что онъ припряталъ все подалѣ“ [77].

Но есть въ повѣстяхъ нѣсколько образовъ, которые полны энергіи, душевной бодрости. Передъ нами, напримѣръ, старикъ-ветеранъ, живущій на покоѣ въ деревнѣ и вспоминающій о былыхъ подвигахъ.

„Любо, ваше благородіе, служить! какъ, бывало, Салтыковъ, Румянцевъ, Суворовъ, Репнинъ, Каменскій, какъ, бывало, русскіе генералы скажутъ, перекрестясь: „пойдемъ, дѣтушки, за Бога, за царя, за вѣру!“ — не боишься, бывало, ни штыковъ, ни ядеръ,—идешь впередъ!“ [78].

Онъ пересчитываетъ медали, полученныя имъ за походы:

„это—пруская, это—двѣ турецкихъ, это—шведская, это—польская, а это—анненская. Былъ съ Салтыковымъ въ Пруссіи, съ Румянцевымъ подъ Кагуломъ, исходилъ Турецію и Польшу; съ принцемъ Нассау подъ шведомъ воевалъ; съ Суворовымъ Чортовъ мостъ переходилъ...“ [79].

„Смерти бояться нечего, лишь бы чиста душа была“ [80]. Смерть всегда можетъ приключиться, отъ нея не убережешься“ [81].

Этого философа-старика въ деревнѣ всѣ любятъ, особенно дѣти. Онъ учитъ ихъ добру и грамотѣ [82], доволенъ малымъ и продолжаетъ усердно работать, несмотря на свой почтенный возрастъ.

„Вотъ тамъ, ваше благородіе, указывая на небо, фельдмаршалъ надъ фельдмаршаломъ; тамъ, ваше благородіе! будетъ пенсія всякому своя,—никого не обидятъ и никого не забудутъ“ [83].

Онъ разсказываетъ о томъ, какъ Суворовъ наградилъ его своею табакеркою за подвигъ.

„Когда мы съ Суворовымъ взошли на Сентъ-Готардъ и прошли уже Чортовъ мостъ, насъ осталось не много, да и тѣ врозь разошлись. Въ особомъ отрядѣ осталось насъ съ капитаномъ человѣкъ съ десять, но на дорогѣ иные изъ насъ замерзли, другіе попадали въ пропасть, а иныхъ изъ-за утесовъ, надъ нами висячихъ, пули поколотили... Я только одинъ остался съ капитаномъ... Богъ насъ помиловалъ и мы пошли дальше. Стужа на горѣ была страшная; а подъ нами страшные глубокіе рвы и мелькали зеленѣющія долины. Наконецъ, мы кое-какъ по снѣгу выкарабкались на верьхъ горы. Тутъ стужа еще холодиѣе была. Духъ у насъ захватываетъ, итти совсѣмъ не льзя, — выбились мы оба изъ силъ“ [54].

Кромѣ этого живаго и опредѣленнаго образа, встрѣчаемъ мы нѣсколько разъ типъ сказочнаго солдата-плута, который всѣхъ умѣетъ надуть,—не дуракъ выпить и поѣсть на чужой счетъ.

Любопытно, что для крестьянъ тогдашнія „солдатъ“ былъ настолько „отрѣзаннымъ ломтемъ“, что отношенія къ нему были самыя враждебныя. Существуетъ разсказъ о томъ, какъ одинъ мужикъ, увидя пьяныхъ солдатъ, началъ имъ мылить головы и выбрилъ ихъ догола.

„отчего и нынѣ между простымъ народомъ ходитъ басня подъ именемъ: „Деревня плѣшивыхъ“ [55].

Онъ объяснилъ свой поступокъ, какъ месть солдатамъ за то, что они—

„ѣздя по деревнямъ, обижаютъ весьма много крестьянъ [56].

Интересна, въ бытовомъ отношеніи, сцена, изображающая, какъ солдаты одного полка, стоявшаго въ деревнѣ постоемъ, разыграли обрядъ вѣнчанія, при чемъ сами нарядились,—кто священникомъ, кто діакономъ... „Игра“ была выдумана для того, чтобы обмануть дѣвушку.

Когда обманъ раскрылся, то расправа оказалась короткой.—

„По спросу нашли „попа“, „дружекъ“, „жениха“ и „свахуˮ. Въ началѣ благословителя, а потомъ и всѣхъ, поваля наземь, взваря порядочно дробникомъ, отпустили по квартирамъ“ [57].

Очень удачно въ одной повѣсти обрисованъ фельдфебель гвардейскаго полка; развязный и, въ то же время, готовый подслужиться передъ знатнымъ дворянчикомъ, взяточникъ и пьяница,—онъ, какъ живой, стоитъ передъ нами.

„...Мишка пошелъ вонъ и въ ту же минуту возвратился назадъ съ великорослымъ сержантомъ среднихъ лѣтъ. Пожелтѣлой мундиръ, замасленые на обшлагахъ три лыка, смѣлой его и горделивый видъ заставляли догадываться, что сей сержантъ былъ фелдфебель. „Желаю вамъ здравствовать, господа“, сказалъ онъ, поклонившись Негодяеву и Развратину, „кто изъ васъ господинъ сержантъ Негодяевъ? имени и отчества,

простите, право, не знаю!"—„Я, братецъ", отвѣчалъ ему Евгеній, а ты что за человѣкъ?" — „Я, сударь, фелдфебель (такой-то) мушкетерской роты (той самой, въ которой написанъ былъ Евгеній)... Искалъ, искалъ нашей фатеры, насилу нашелъ, усталъ и передрогъ, какъ собака"... „Пьешь ли ты водку?" — „Какъ фелдфебелю не пить водки!" — вскричалъ Разватинъ—„вотъ я ему сію минуту налью стаканъ и поднесу". „Правда ваша, сударь, сказалъ пьяной фелдфебель, какъ не пить фелдфебелю водки, когда нынче пьетъ и всякой бѣлогубой щенокъ-писарь"... — „Натко, выкушай". — „Желаю здравствовать!"... Фелдфебель, сказавши сіи слова, взялъ стаканъ сладкой водки изъ рукъ у Развратина, выпилъ его въ два глотка и кашлянулъ два раза, утирая губы... „Покорно благодарю"... —„На здоровье!"—„Водка, сударь, ваша славная, въ которомъ погребѣ изволили ее брать? Не въ угольномъ ли, что насупротиву васъ? Тутъ и водка и прочіе напитки, могу ужъ сказать, отмѣнныя. А вонъ въ томъ погребѣ, что подальше, и не берите ничего, ни что въ немъ никуда не годится" [88].

Жизнь русскаго купечества изображалась въ русскихъ повѣстяхъ неразъ; — изображалась и самая патріархальная, вѣрная завѣтамъ Домостроя—и такая, которая уже сознала потребность ученія, но еще не знаетъ, какъ за него взяться.

Очень характеренъ, напримѣръ, разсказъ о наймѣ купцомъ учителя для сына..

„Положили обо мнѣ господину Бутылину. Вхожу, вижу оксовую бочку въ штофномъ шлафоркѣ, передъ нимъ стоитъ кружка портеру и тарелка огурцовъ... Отдалъ я его милости три низкіе поклона".—„Я слышалъ вамъ надобенъ учитель". — „Такъ, голубчикъ, мнѣ хотѣлось бы сыскать старичка, которой бы нашколилъ ребятишекъ"... Купецъ производитъ учителю экзаменъ, заставляя его переводить съ нѣмецкаго, изъ Курганова рѣшать задачу: „купилъ я полторажды полтора аршина, далъ полтретьяжды полтретья рубля, спрашивается, что дамъ за полчетвертажды полчетверта аршина?"... И потомъ начинаетъ торговаться: „чуръ не дорожиться, господинъ учитель! полтораста рублей деньгами, столъ со мной, на двѣ зимы хребтовая, покрытая вишневымъ сукномъ, кирѣйка, на лѣто сѣро-нѣмецкая шенель, шесть паръ шелковыхъ чулокъ, трое шитыхъ манжетъ, въ имянины мои штатскую парочку, да въ женины другую, полфунта чаю, да пять фунтовъ сахару на мѣсяцъ, для бѣлья наше мыло, а твоя плата. На день двѣ яндовы пивка, да стклянка французской водки; клюковнымъ сокомъ хоть облейся"... „Коли есть какая рухлядь, вели переносить! Мирошка!—отведи его милости каморку, что возлѣ передбанника" [89].

Ученіе съ дѣтьми этого купца шло вкось и вкривь, такъ какъ мать стала мѣшать наукамъ; она говорила:

„вѣдь я не мачиха, а мать родная; какъ станешь втемячивать грамоту, безъ милосердія, такъ вотъ—Богъ, а вотъ—двери!" [90].

Особенно часто обращались русскіе романисты къ изображенію жизни купеческой „дѣвушки" и „жены".

Вотъ, напримѣръ, что одна разсказываетъ о своемъ дѣвичествѣ.

„воспитаніе было обыкновенное — руское: самъ отецъ мой училъ меня грамотѣ и писать. Первое его наставленіе было любовь Бога, и сію любовь оказывать къ Нему, благодаря Его всечасно за благія, непосылаемыя Имъ, за вѣру; ходить въ церковь въ праздничные дни и молиться усердно; любить всякаго человѣка и помогать требующему помощи; почитать родителей, слушая ихъ совѣтовъ“ [91].

Развлеченія дѣвушки были несложны и немногочисленны:

„...забавлялъ меня рисуночекъ, вышитой хорошо узоръ, прекрасное кружево, (коихъ образцы доставалъ мнѣ часто отецъ и, по большой части, заморскіе), подружка, приходящая посидѣть ко мнѣ, укорочала часы работы моей; невинная сказочка, быль, старинное приключеніе заставляло мое легкомысліе смѣяться, или рыдать чувствительность мою [92].

„...обыкновенное упражненіе городскихъ дѣвушекъ плесть кружево и вышивать шелками и золотомъ“ [93].

Но кромѣ такихъ мирныхъ картинокъ, встрѣчаемъ мы на страницахъ романовъ и другія. Такъ, въ одномъ романѣ мы знакомимся съ дѣвушкой, дочерью купеческой вдовы, ведущей вольную жизнь; дѣвушка сама втягивается въ такую жизнь матери. Старухи-няньки часто выступаютъ въ роли сводницъ, иногда за деньги продаютъ своихъ воспитанницъ. Въ большинствѣ домовъ жизнь дѣвушки обставлялась строгостями, но въ результатѣ, очень часто строгая замкнутая жизнь приводила къ тому, что многія купеческія дѣвицы,—

„будучи въ дѣвушкахъ, каждую ночь отъ сидѣльцевъ были утѣшаемы“ [94].

Впрочемъ, таковъ былъ, приблизительно, конецъ и той героини, которая въ дѣвичествѣ вела тихую жизнь за пяльцами да кружевами [95]—въ атмосферѣ любви и ласки.

Жизнь замужемъ въ купеческомъ домѣ отличалась, повидимому, большой свободой. По крайней мѣрѣ, очень часто русскіе романисты говорятъ намъ о любовныхъ похожденіяхъ купчихъ, объ ихъ пьянствѣ, объ ихъ постоянныхъ сношеніяхъ со старухами-сводницами, которыя подыскивали имъ „красавцевъ“ [96].

Одна такая купчиха любовнику своему разсказываетъ, какъ, выданная замужъ противъ воли, она стала пьянствовать:

„Какъ то у нашихъ сестеръ изстари введено въ обыкновеніе... Какъ скоро мужья торговать, или за какими нуждами съ двора сходить должны, то жены принимаются за вкусный завтракъ—селянку съ ветчинкою, а потомъ и за брагу... И такъ криводушники-мужья въ лавкахъ торгуютъ, а жоны ихъ за брагою сильно горюютъ... Я, съ терзаемой меня печали и досады, ни одинъ день не была трезвою,—научась отъ добрыхъ сосѣдокъ, таковыхъ же имѣющихъ старыхъ и не милыхъ мужей“ [97].

Старуха-сводня познакомила одного героя съ такою скучающей купчихой.

„Онъ не обращался еще съ купеческими женами, у которыхъ не только обхожденія, но и любовныя дѣла называются инаково: они никогда не говорятъ, что женщина такая-то любитъ своего сидѣльца, а всегда такъ: „она, сударыня, „пускаетъ амуры“ съ своимъ сидѣльцемъ“. Герой „въ одну минуту“ „выучилъ наизусть купеческую нумерацію, которую они употребляютъ въ пусканіи амуровъ“ [99].

Очень любопытно, въ бытовомъ отношеніи, описаніе праздничнаго наряда купеческой жены:

„... прежде принималася она за свою голову, обертывала ее какою-то онучею очень крѣпко, по томъ на оную привязывала картузной листъ бумаги, сверхъ которой обвязывала голову платками, коихъ въ одно время насчиталъ я до осьми. Все сіе объявленное дѣлала она вотъ для чего: онуча служила ей фундаментомъ, или укрѣпленіемъ ея головы, картузную бумагу привязывала для того, чтобъ по ней глаже платки повязать можно было, тожъ и для высоты ея чалмы. Множествожъ сіе платковъ, сказывала, для того, чтобъ пышнѣе голова казалась. Повязавъ голову, или убравъ ее, вынимала изъ сундука стклянку, въ коей бѣлое, на подобіе известки, смѣшанной съ водой, налито было, и сіе называла она „умываньемъ“, которымъ „умывала“, или, лучше сказать, „пачкала“ свою рожу, по томъ брала другой пузырекъ, въ коемъ находился въ винѣ настоенной сандалъ, которымъ разрисовывала щеки; бровижъ сурмила съ обожженной сальной свѣчки свѣтильней“ [99].

Очень характерно любовное письмо купца, рисующее и языкъ и складъ мыслей этого сословія. Онъ—„раскольникъ, вдовецъ, по лѣтамъ дѣдушка“ пишетъ „къ молодой богатой щеголихѣ, купецкой дочери дѣвицѣ, что она ему люба и непостыла и чтобъ съ нимъ въ законное супружество вступила“.

„Почтенная госпожа дѣвица!

„Въ милости Божіей волѣ вамъ всякаго благополучія охотно желаю и земно кланяюсь. Хотя съ вами случаевъ быть и не имѣлось, но въ разсужденіи пріязни покойнаго родителя вашего, а моего милостивца, и всѣхъ вашихъ любезныхъ свойственниковъ и родственниковъ, беру смѣлость вашу милость спросить, не согласитесь ли со мною законнымъ бракомъ сочетаться“ [100].

Въ первой „припискѣ“ къ письму разсказъ о торговыхъ дѣлахъ, который велъ самъ съ десяти лѣтъ еще при жизни отца.

„по кончинѣ же родителя своего имѣлъ я немалыя поставки провіанту въ разныя мѣста, такожъ съ прошлаго 1777 года чинятся мною отпуски пеньки, масла и другихъ товаровъ моимъ пріятелямъ за море, въ Любекъ, въ Ганбуръ, въ Аглію и въ Галандію, и нонича, дай Богъ здоровье, посильную партію отпустилъ“ [101].

2-ая приписка:

„за вышеписаннымъ же хочу вамъ объявить, какъ слышу, что ваше

намѣреніе состоитъ за дворянина иттить. А на сіе вамъ скажу, что въ прошломъ іюнѣ мѣсяцѣ, какъ случай мнѣ привелъ въ домѣ быть дядюшки вашего Елизара Панкратьича, то тѣмъ временемъ до приѣзда моего приѣхалъ подполковникъ, а дядюшка вашъ былъ въ городѣ, и тому офицеру, по приказу его, отказано, а какъ же про меня доложили, то вскорости самъ пришелъ и меня благодарилъ, потомъ чаемъ, кофіемъ поилъ, а послѣ того и обѣдали" [102].

Онъ разсказываетъ ей о томъ, какъ неуважительно ея отецъ отзывался о дворянахъ, какъ онъ былъ противъ того, чтобы купцы отдавали дочерей за дворянъ, которымъ надо лишь денегъ; онъ разсказываетъ и о невыгодахъ жить за военнымъ и за штатскимъ. Предостерегаетъ ее затѣмъ, противъ увлеченія петиметрами.

.... а наиболѣе, которые петиметры, ногами шаркаютъ, въ карты играютъ, зайцовъ гоняютъ и во всемъ мотаютъ [103].

Затѣмъ онъ восхваляетъ купечество:

„Спокойству и честности купеческой чево еще лучше? весь свѣтъ завидуетъ. Первое, что воля, куда изволишь во всей Россіи для дѣлъ и безъ дѣлъ гулять, ко двору приѣздъ имѣть, а на мускарады, и въ кіятръ лишь бы охота была; золото же и въ грязи знать. У министровъ всякаго примутъ съ отмѣнною честію, такъ же въ сады, въ Царское Село и Петергофъ, а чтобъ вообразить было можно, то вездѣ вольно компанію имѣть и въ компаніи быть. Время жъ есть въ церковъ и книгъ житія святыхъ отецъ и гисторей честь, и потомъ, безъ дальнѣйшаго труда покой имѣть. И тако, слава Богу, у нашей братьи купповъ идетъ всіо на ладъ; каретъ здѣсь много, нѣмецкихъ и французскихъ,—какую поволишь, такую, съ помощію Божіей, имѣть можете; домовъ довольно, а дѣвицею тебѣ, право, жить полно. Тіотушка ваша, дай Богъ ей здравствовать, Василиса Панкратьевна, сказывала, что вамъ уже двадесятъ пятый годикъ. Сожалѣть достойно, что вы свою жизнь столько изнуряете. Еще до сего времени какая въ жизни радость замыкается, не знаете, а какъ Богъ судитъ сочетаться, то о прошлыхъ дняхъ много и тужить станете; а по закону велѣно жениться пятьнадесяти, а брать дванадесяти лѣтъ. Такъ уже время давно минуло. Сожалѣю о твоемъ одиначествѣ".

Онъ говоритъ затѣмъ объ ея сиротствѣ, говоритъ о томъ, что онъ уже шесть лѣтъ бургомистромъ; кончаетъ цитатами изъ Евангелія: „всякое древо, не творящее три лѣта плода, посѣкаемо и во огнь вмѣтаемо бываетъ" [104].

Въ романахъ можно найти разбросанными живыя сценки изъ жизни купечества. Привожу, какъ примѣръ, „питье чая",—купецъ пьетъ чай втроемъ, съ женой и шестилѣтнимъ сыномъ:

„по три самовара, приговаривая сыну: „пей, душенька, больше,— ета трава здорова пить по утру" [105].

Въ нѣсколькихъ повѣстяхъ мелькомъ рисуется жизнь студенчества.

Передъ нами проходитъ нѣсколько образовъ, очень различныхъ: богатые дворянчики и бѣдняки, полуголодные семинаристы, вели жизнь конечно различную; ихъ горести и развлеченія изображаются нераз въ русскихъ повѣстяхъ.

Вотъ передъ нами богатый дворянчикъ, студентъ Московскаго университета.

Евгенія отдали въ Университетъ. „Онъ прогуливалъ часто лекціи, бывши же на оныхъ, занимался, облокотившись или сномъ, или разговоромъ со своими сосѣдами, или вырѣзываніемъ на лавкѣ своего имени. Товарищи его, которымъ онъ доставлялъ увеселеніе въ домахъ, гдѣ торгуютъ напитками и женскими прелестями, дѣлали по дружбѣ вмѣсто его задачи, ему даванныя. Вопрошенный же въ классѣ наставникомъ, испытующимъ его память, повторялъ онъ громко слова, произносимыя ему тихо услужливыми его пріятелями, или хранилъ молчаніе—всегдашній признакъ знанія. Съ презрѣніемъ относился онъ къ студентамъ бѣднымъ и незнатнымъ; тѣ отплачивали за его глупую надменность кличками и прозвищами: „какъ учащіеся молодые люди, будучи склонны къ насмѣшкамъ и отмщенію, надавали ему за сіе множество прилагательныхъ имянъ, писали оныя съ его собственнымъ въ классахъ на стѣнахъ, на лавкахъ, и даже у него на книгахъ" [106].

Совсѣмъ другое обличье имѣли студенты бѣдные.

„... такіе, которые были одного тисненія съ Неохомъ, и жили съ нимъ по-братски: ночью были всѣ раздѣты, а днемъ всѣ пятеро одѣвались въ два поношенные кафтана, которые служили имъ по жеребью" [107].

За то они были охотники до различныхъ приключеній. По этому поводу восклицаетъ романистъ: „нѣтъ на свѣтѣ твари отважнѣе студента!" [108].

Развлеченія они себѣ позволяли шумныя и дешевыя: пьянство, разгулъ разнообразили, время отъ времени, ихъ голодное существованіе.

Неохъ тогда пригласилъ ихъ къ столу, гдѣ были и „дамы". Веселились во всю. Неохъ „зная очень хорошо русское обыкновеніе, что хозяину прежде всѣхъ надлежитъ быть пьяному, а безъ того гости веселы быть не могутъ"—напился первый „Пьяный Бахусъ и зардѣвшаяся Венера"—царили на этой студенческой оргіи [109].

„Тотчасъ заревѣла не складно настроенная музыка... женщины ступали важно и замысловато, дѣлали пріятные виды и ужимки, а мущины ходили на реяхъ и не рѣдко поталкивали лбами на стулья своихъ красавицъ". Дамы „предложили пьянымъ кавалерамъ, чтобы начать прыгать „голубца": тотчасъ всѣ согласились и начали поднимать ноги. Очень скоро въ одномъ углу что-то стукнуло, а это одинъ веселой вспрыгнулъ не кстатѣ высоко и ударился затылкомъ объ стѣну; потомъ въ другомъ углу двое какъ-то ненарокомъ столкнулися лбами и раскроили себѣ головы"... Ихъ растащили по кроватямъ [110].

Все торжество было устроено на деньги, полученныя героемъ повѣсти за одно амурное похожденіе. За это же получилъ онъ и золотую табакерку, которую, однако, во время студенческаго пира постигло несчастье.

„Золотая табакерка во все это время переходила изъ рукъ въ руки; иной хвалилъ ее самое, другой нахвалялъ искуство мастера, третій благодарилъ того, кто ее подарилъ Неоху, и такъ далѣе. Наконецъ, замѣшалась она во множествѣ пальцевъ и отъ потныхъ рукъ такъ много потускла, что послѣ ея уже и видѣть было не возможно. Такимъ образомъ, скончала она пребываніе свое и Неоха" [111].

Литературные интересы и занятія русскаго общества выражались въ тѣхъ повѣстяхъ, въ которыхъ выводились или писатели, или изображались литературные салоны, или просто приводилась болтовня на литературныя темы.

Привожу, для примѣра, разсказъ о томъ, что происходило въ какомъ-то провинціальномъ кружкѣ любителей литературы.

„Засѣданіе началось. Говорили объ ученыхъ истекающаго столѣтія, сравнивали ихъ съ стариками, въ дубовыхъ вѣнкахъ. Гомеръ, Виргилій, писатель Генріады, Пиндаръ, Клопштокъ Нѣмецкой, „Клопштокъ Россійской" безпрестанно летали изъ устъ въ другія. О! естьли бы сіи критики были столько знакомы съ етими поетами въ самомъ дѣлѣ, какъ они казались таковыми! — какъ они довольны были, что могли разсуждать долгое время за однимъ духомъ о предметахъ, всему свѣту извѣстныхъ! Фразы отачиваемы были самымъ щегольскимъ образомъ. О всемъ, что до нихъ сказано, примѣчено. Казалось, все въ устахъ ихъ или низвергалось въ мрачнѣйшую бездну презрѣнія, или возвышалось до возможнаго величія; всякое выраженіе замѣчено было рукоплесканіемъ, либо освистано было, какъ бываетъ въ большихъ публичныхъ зрѣлищахъ".

Къ сожалѣнію, и—

въ такихъ собраніяхъ „имѣла мѣсто пронырливая зависть, лютая ненависть и огнедышущая злоба" [113].

Любопытно, что рядомъ съ вполнѣ опредѣленнымъ преклоненіемъ передъ французской литературой, что выясняется изъ общаго преклоненія передъ Вольтеромъ („Pucelle", „Henriade") [114], Корнелемъ и Расиномъ, встрѣчаемъ мы въ русскомъ обществѣ поклонниковъ молодой русской поэзіи,—вотъ, напримѣръ, отзывъ о русскихъ писателяхъ XVIII-го столѣтія.

„Благодаря восьмомунадесять столѣтію мы имѣемъ у себя довольно великихъ умовъ: у насъ есть свои Гомеры, Горацій, Теокриты, Еврипиды"... „Что великолѣпнѣе картины Бога, продолжалъ онъ, подъ пламеннымъ перомъ Россіянина?" „Россіяда"—не то же ли, что Виргиліева

„Енеида“ и Вольтерова „Генріада?“ Не взвѣшивая сердца строгостью моего званія, я знакомъ даже съ произведеніями нѣжныхъ моихъ соотечественниковъ,—я въ нихъ люблю „человѣка“, люблю ихъ чувствительность, ихъ невинность...Я даже не нахожу таковой невинности въ древнихъ грекахъ; часто я бросаю Теокрита на срединѣ, Анакреона на первой строкѣ піесы, а Россійскихъ Теокритовъ и Анакреоновъ читаю до конца“ [115].

Въ тогдашнемъ обществѣ поэтъ-стихотворецъ занялъ почетное мѣсто: онъ украшалъ собою „салоны“. Правда, въ этихъ „поэтахъ“ было иногда немало комичнаго,—оттого надъ ними охотно потѣшаются русскіе романисты. Вотъ, напримѣръ, описаніе одного литературнаго „салона“ съ участіемъ „поэта“.

„по серединѣ сидѣлъ малорослой стихотворецъ и прокрикивалъ стихи изъ сочиненной имъ трагедіи; потъ валитъ съ нево, какъ градъ“ [116].

„... вошелъ одинъ, у котораго на лицѣ даже написано было, что онъ изъ „ученыхъ“. „Ето—Боало здѣшняго округа!“ украдкою сказалъ мнѣ человѣчикъ“.

„Боало увидѣлъ на столѣ Виландову Музаріонъ“ взялъ книгу и по поводу ея, важно изрекъ bon mot, встрѣченное одобрительно“, но по указанію автора, не ему принадлежащее“ [117].

Къ сожалѣнію, изъ нѣкоторыхъ повѣстей видно, что эти доморощенные „Буало“ часто занимались тѣмъ, что—

„разсѣивали въ обществѣ ругательныя сочиненія въ стихахъ и прозѣ“ [118].

Впрочемъ, большинство занималось творчествомъ самымъ выгоднымъ — сочиненіемъ „хвалебныхъ одъ“. Такъ, одинъ поэтъ заявилъ, что упражняется въ самолучшемъ родѣ сочиненій.

„Лучшій родъ стихотворенія есть „похвальный“. Я пишу похвальныя оды, эпистолы, эпитафіи, эпиталамы, мадригаллы и всякіе поздравительные стихи“ [119].

Что хвалебныя оды — „лучшій родъ стихотворства“, онъ доказывалъ тѣмъ, что показывалъ табакерку, часы и перстень— полученные за сочиненныя оды [120].

Кромѣ настоящихъ литераторовъ попадаютъ на страницы русскихъ повѣстей и „домашніе поэты“, сочиняющіе пѣсенки и стишки для потѣхи хозяевъ. Таковъ, напримѣръ, Никаноръ, отъ котораго остались нѣкоторые „поэтическіе курьезы“, напримѣръ. его сатира на подъячихъ.—

„Знать, въ деревню пріѣхалъ подъячей,
Голосъ слышенъ далеко собачей!
Чу! еще и свищутъ,
Знать, старосты ищутъ!“ [121].

Вотъ, напримѣръ, имъ же сочиненная веселая пѣсенка, посвященная барину, который увлекался дворовыми дѣвушками:

„Хлебаю похлебочку безъ всякихъ приправъ,
Люблю подлу дѣвочку за хорошей нравъ...
. . . . . .
Отворися щастіе, открой къ любви путь:
Мнѣ подлая дѣвочка расшибла всю грудь“ [122].

Тѣмъ же Никапоромъ сочинена „эпитафія“ на могилу „милостивца“.

„Пещера горести раскрылась
И поглотила розовъ кустъ,
Печалью грудь моя пронзилась,
Михайла! охъ! оставилъ свѣтъ *) [123].

Встрѣчаемъ мы въ романахъ немало женскихъ образовъ, самаго различнаго характера, начиная отъ дѣвицы, или дамы необразованной, неразвитой, ничѣмъ не интересующейся, кончая „вольтерьянкой“, играющей въ своемъ кругу роль законодательницы общественнаго мнѣнія.

Привожу нѣсколько примѣровъ. Вотъ, какъ одинъ родитель аттестуетъ свою неудавшуюся дочь:

„Когда она дома у насъ жила, отъ сосѣдей всѣхъ дурою слыла: одѣться не умѣла, ни съ кѣмъ слова молвить не смѣла,— только и дѣла дѣлала: пила да ѣла, да еще, сидя на печи, задъ свой грѣла! а когда ляжетъ спать, то зачнутъ ей старухи сказки врать,—только и забавы: спитъ да бредитъ, кто, что скажетъ, всему вѣритъ, а особливо шентунамъ, колдунамъ и всякимъ обманщикамъ и порожеямъ“ [124].

Нѣчто иное представляетъ собой г-жа Притворова—ханжа и лицемѣрка, которая говоритъ вѣчно объ „панафидахъ“, молебнахъ. Услышавъ французскую рѣчь, она возмутилась—и

„протяжнымъ голосомъ сказала говорившимъ: „а ты, моя матка, лепечешь по французски? я бы тебѣ не саяѣтовала знать етатъ бусурманской языкъ. Я, чай, ты прачла всево Вальтера, етаво атеиста? Онъ васъ всѣхъ, моя голубки, вскружилъ, — атъ нево толька что прославешь умницею, а въ рай, вить, не вайдешь, по еще купишь себѣ смертельной грѣхъ. Уже черти и такъ ждутъ нынѣшнихъ-то разумниковъ, которые обо всемъ разсуждать изволятъ“ [125].

Другая героиня—

„Лжесвята удивительно расположила свое время: по утру служитъ молебны, торгуется съ мясниками, потомъ сѣчетъ безъ милости

*) Еще его-же пѣсни: „Посреди войны кровавой“ (ibid. III, 119), „Ахъ! за чтожъ я такъ отважно“ (ib. 128). „Ещель мой духъ во мнѣ остался?“ (ib. 194).

слугъ и бьетъ по щекамъ служанокъ, послѣ обѣда читаетъ чети-минеи, вечеръ посвященъ картошной игрѣ, ужинъ—Бахусу, а ночь—отставному капитану Драбантову" [118].

Жена одного помѣщика—существо, совершенно излѣнившееся:

„въ 10 часовъ утра еле-еле открываетъ глаза. Подбѣгала горничная и спрашивала: „чего изволите, сударыня, приказать?"... „Ча"... говорила госпожа, зѣвая и протирая глаза"... Когда чай приносился, она... дѣлала знакъ отверженія; голова ея упадала на подушки, отъ коихъ недавно еще отдѣлилась, глаза смыкались [121],—и она опять засыпала....

Вотъ—образецъ россійской „вольтерьянки".

„Какъ я въ первый разъ къ ней пришелъ, то читала она сочиненія Вольтера. „Опасное море!" — сказалъ я, указавши на книгу. Лучше было бы мнѣ не говорить подобіемъ, но сказать *книга* показалось мнѣ низко, а „камнемъ претысканія" назвать не пришло мнѣ тогда въ умъ. „Море? море?", говорила она съ равнодушной гордостію: „я думаю, что и у насъ сыщутся *Претузы*" [123].

Въ своемъ городѣ она слыла „законодательницей".

„дѣвицы перенимали ея поступки и рѣчь; женщины—ея наряды и походку. Книга, которую она похвалитъ, тотчасъ у всякаго была въ рукахъ; всюдѣ была она первая. А что она также имѣла потаенныхъ враговъ и завистниковъ, можно догадаться" [129].

Въ противоположность этой „просвѣщенной" дѣвицѣ, русская дѣйствительность выдвигала подавляющее число прямо ей противоположныхъ—одинъ супругъ жалуется на свою жену:

„тщетно старался я пріохотить ее къ чтенію: двѣ какія-то старинныя безтолковыя книги составляли ея библіотеку. Тетка ея сама другихъ книгъ не читывала; компаній она не любила; двѣ—три старухи, сидя съ нею, говаривали по цѣлому дню. Въ такомъ кругу было ей очень весело" [130].

Пестрота состава тогдашняго общества, когда, рядомъ съ Скотининымъ, стояли Стародумы, съ одной стороны,—и „вольтерьянцы"—съ другой, дѣлала изъ тогдашняго русскаго общества собраніе людей, почти ничѣмъ не связанныхъ между собой, чуждыхъ по вкусамъ и настроеніямъ.

Особенно эта „отчужденность" сказывалась въ отношеніяхъ простыхъ крестьянъ къ своимъ „офранцузившимся" господамъ. Вотъ, напримѣръ, характерный разговоръ старика-мужика объ его помѣщикѣ, старомъ князѣ, который „Бога не боится":

„Чего ему бояться Бога? вишь онъ, говорятъ, какой-то чернокнижникъ и фармазонъ. Посмотри-ка, сударь! сколько ящиковъ книгъ привезли мы къ нему изъ подмосковной деревни! ...Книги-то, говорятъ, все не рускія! Такъ ему-ль рускихъ любить! Никогда не говѣитъ! Ему нашъ братъ-крестьянинъ хуже собаки". Старуха разсказываетъ, какъ баринъ вымѣнялъ на собаку молодого повара. „А поваръ какой парень моло-

дой, какой доброй,—не воръ и не мотъ. Восемь сотъ за него давали! Изъ нашей деревни. Судыры! Отецъ и мать такъ и бьются"! Къ этимъ рѣчамъ старухи старикъ прибавилъ: „А собаку, вишь, говоритъ князь, и на деревню не промѣняетъ. Да вить, какая, батюшка, мудреная! Совсѣмъ на собаку не похожа—словно овечка!" [131].

Другой крестьянинъ тоже осуждаетъ господъ, которые сдѣлались не русскими господами, а „иностранными проказниками" [132].

Просвѣщаться можно, по его словамъ, и на родинѣ, а пребываніе на чужбинѣ имъ только во вредъ.

„Они, вмѣсто просвѣщенья, привозятъ сюда затмѣніе,—отвращеніе къ отечеству и къ своимъ соотчичамъ. Въ одномъ государствѣ люди уже до тѣхъ поръ просвѣтились, что забыли Бога, Царя, законы и начали рѣзать другъ друга" [133]. Мужиковъ такіе, „просвѣщенные" на иностранный ладъ, помѣщики „людьми" не считаютъ и называютъ „скотами" и „животными" [134].

За то эти „полуиностранцы" отличались талантами великосвѣтскими,—„любезностью", изысканнымъ костюмомъ и манерами. Они часто пользовались успѣхомъ у провинціалокъ. Таковъ былъ, напримѣръ, одинъ—„князь Вѣтрогонъ", который —

„былъ житель города, умѣлъ притворяться, умѣлъ нравиться, умѣлъ красно говорить и сладко шутить, будучи внутренно человѣкъ коварной, будучи таковъ, каковы бываютъ нынѣ люди большаго свѣта" [135].

Подобные герои часто отличались „остроуміемъ", не признавали ничего святого; одинъ изъ подобныхъ доморощенныхъ „россійскихъ ésprit fort" такъ характеризуетъ себя:

„Для остраго слова не жалѣлъ я ни чьего ума, ни чести. Какъ непоколебимый воинъ, жаждущій крови и славы разитъ всѣхъ, и неразбираетъ ни пола, ни лѣтъ, ни званія,—такъ и я не щадилъ ни красивыхъ тварей, ни сѣдыхъ дураковъ,—ни сильныхъ, ни слабыхъ. Естьли бы можно и не надъ кѣмъ уже было смѣяться, я бы сталъ смѣяться надъ самимъ собою" [136].

„Г. Плуталовъ (такъ онъ назывался) подлымъ таканіемъ, презрительнымъ шутовствомъ, дерзкими словами, кои въ свѣтѣ называются иногда „бомо", снискалъ себѣ въ многихъ домахъ благосклонность... Онъ имѣлъ въ себѣ довольно пріятностей и хитрыхъ уловокъ. Будучи краснорѣчивымъ наставникомъ порока, умѣлъ содѣлывать плѣняющими всѣ тѣ матеріи о коихъ онъ судилъ, или говорилъ" [137].

Остроумцевъ, особенно иностранныхъ, у насъ цѣнили высоко, —

„...Князь былъ такой странной человѣкъ, что все то почиталъ святымъ, что только было французское. Онъ принималъ всегда ласковѣе французскаго комедіанта, говоруна, бездѣльника, которой въ глазахъ его обманывалъ (что онъ относилъ къ удивительной тонкости французскаго ума), нежели скромнаго, нѣжнаго и почтеннаго россійскаго дворянина" [138].

Одинъ такой новомодный графъ, чуждый всего русскаго, больше безпокоится болѣзнью собаки, чѣмъ судьбой бѣднаго сосѣда.

„Хоть всѣ нищіе переколѣй въ цѣломъ мірѣ—только бы моя Лихая, Лихая бы моя, выздоровѣла!“ [139], — говоритъ онъ, когда заболѣла его любимая собака.

Одинъ „новомодный“ юноша потѣшался надъ другимъ, который стоитъ за старину, когда и любовь, и браки отличались прочностью.

„Ты влюбляешься по-дѣдовски!—ты хочешь, чтобы любовь занимала всѣ твои чувствованія! какихъ ты ждешь утѣхъ изъ того?“ [140].

За то „новомодная любовь“ поражала людей пожилыхъ своимъ легкомысліемъ:

„Нынѣ уже нѣтъ любовныхъ ироевъ, о коихъ упоминаютъ въ рыцарскихъ повѣстямъ, и кои бѣгали за милыми своими изъ части свѣта въ другую, терпѣли гладъ и хладъ, смертельныя опасности, а иногда и умирали за постоянство“ [141].

„Нынѣ уже нѣтъ тѣхъ странствующихъ рыцарей, кои охотно подвергались всѣмъ нещастіямъ, чтобъ быть нелицемѣрными рабами истинней любви“ [142].

Не сочувствуя „новомоднымъ“ воззрѣніямъ на бракъ и любовь, отвергали романисты и старинные взгляды. Одинъ иронизировалъ надъ разсужденіемъ старика, который сказалъ ему:

„мы женивались, не зная никакой страсти, и изживали вѣкъ согласно“. —„Возможно-ль, чтобъ въ старину не было страстей?“ воскликнулъ романистъ. Не ужели онѣ — рожденіе нынѣшнихъ временъ? Да и какое сравненіе лѣтъ прошедшихъ съ щастіемъ нынѣшнихъ? Тогда женивались по-азіатски: жены были невольницы, а мужья—тираны, кои брали ихъ для должности ключника и, можетъ быть, почитали ихъ за нѣкое пріятное животное, могущее угождать нашимъ чувствамъ. Но и сіе опасно утверждать, потому что можноль было плѣниться тогда красотою, когда невидывали женъ въ лицо, какъ только на другой день послѣ свадьбы, а женихамъ показывали ихъ изъ особливой комнаты завѣшенныхъ съ головы до ногъ полотномъ... Буде жены любили тогда мужей, то по одному обычаю; а, вѣрнѣе, по притворству, причиняемому, ужасомъ неограниченной супружней власти и тяжкой его руки. Кто желаетъ сочинить старинной нашъ словарь, къ стыду держащихся и понынѣ сего мнѣнія, тотъ можетъ поставить вмѣсто слова „супругъ“— словожъ: „господинъ“, или „тиранъ“; вмѣсто „жены“—„раба“, или „мученица“ [143].

„Въ нынѣшніе жъ, пріятные дни щастливаго нашего просвѣщенія, къ безсмертной славѣ того великаго смертнаго, которой одинъ возмогъ изъ звѣрей учинить насъ „человѣками“, мы почитаемъ прелестной полъ въ его совершенствахъ, любимъ въ его пріятностяхъ и, зная, что въ ихъ нѣжности находимъ мы облегченіе нашимъ горестямъ, покой въ нашихъ трудахъ и истинныхъ друзей къ блаженству нашей жизни, отдаемъ имъ полную власть надъ нашими сердцами, по спра-

ведливости ихъ одинъ достойную. Есть ли войти въ дальнѣйшее изслѣдованіе разныхъ дѣйствующихъ причинъ, то кто, кромѣ нихъ, возбуждаетъ нашу храбрость? Кто оживляетъ великія предпріятія? Кто прилѣпляетъ насъ къ славѣ? И кто виною разумнаго установленія общественнаго порядка" [144].

Изображая русскую дѣйствительность, романисты наталкивались постоянно на ея отрицательныя стороны. Такъ, напримѣръ, „взяточничество",—эта постоянная мишень русскихъ сатириковъ, начиная съ Сумарокова,—и въ повѣстяхъ нераз изображалось чертами рѣзкими и опредѣленными.

Привожу нѣкоторыя мѣста, характеризующія отношеніе русскихъ писателей къ этому явленію русской жизни.

„По древнему названію, „посулъ", по нынѣшнему „взятки", а по иностранному „акцидепція", когда начало свое воспріяло, въ томъ всѣ ученые между собой несогласны" [145].

Взятки, иначе, „акциденціи", въ старину разрѣшались свыше, съ цѣлью дать „покормиться" служилому человѣку. Введеніе „штатовъ" отмѣнило это разрѣшеніе. Тѣмъ не менѣе, практика житейская удержала старый обычай. Особенно простой народъ смотрѣлъ на взятки просто. Такъ, въ одной повѣсти изображенъ мимоходомъ одинъ мужичокъ, который отправляется жаловаться къ судьѣ на „обидчика",—ѣдетъ онъ въ городъ, —

„взявши пять рублей денегъ, кадушку меду, двѣ четверти овса и возъ сѣна" [146].

Въ романахъ особенно сильно доставалось „приказнымъ" — секретарямъ судовъ и судьямъ.

„Хотя многіе сомнѣваются, что, будто, подъячіе не тѣмъ Богомъ произведены на свѣтъ, которымъ и всѣ люди,—однако, сомнѣніе ихъ почитаю я весьма язвительною насмѣшкой и утверждаю, какъ это и всѣ знаютъ, что они происходятъ также, какъ и мы, отъ первороднаго Адама" [147].

Вотъ, напримѣръ, нѣсколько картинокъ изъ жизни „приказныхъ":

„въ секретарскомъ домѣ не имѣлось недостатка въ нужныхъ вещахъ. Бутыли, штофы и полуштофы съ настояннымъ виномъ и водкою въ различныхъ ягодахъ и цѣлебныхъ травахъ, покрывали у насъ въ чуланѣ длинныя двѣ полки; въ погребѣ же всегда стояли на льду двѣ, или три, бочки вкуснаго и крѣпкаго пива, да одна меду. Батюшка мой былъ изъ тѣхъ людей, которые любятъ, чтобы ихъ провожали изъ гостей подъ руки, и чтобы гости возвращались отъ нихъ домой не въ такомъ видѣ, въ какомъ къ нимъ пришли" [148].

Одинъ бѣдный, но ловкій юноша—

„вздумалъ ходить за приказными ябедами, коихъ въ тамошнемъ краю въ то время очень много бывало,—стряпчимъ. И такъ, посвятя себя онымъ чиномъ, ѣзди по окольнымъ деревнимъ съ наставникомъ своимъ, пересказывалъ о себѣ, что онъ въ стряпческомъ искустнѣ весьма знающъ; при чемъ и учитель его тожъ самое подтверждалъ и выхваливалъ, по чему, во-первыхъ, поссорившіеся между собою, крестьяне, приходя къ нему, просили справедливаго и скораго на словахъ рѣшенія и удовольствія, а онъ и судилъ каждаго по достоинству дѣла, обирая принесенное и съ отвѣтчика, и челобитчика поравну... А кто больше даетъ,—тотъ и правъ, хотибы и подлинно былъ виноватъ; но ослѣпленные ихъ глаза тому вѣривали"... [149].

„Всякое ремесло имѣетъ расположеніе и, малу-по-малу, доходитъ до совершенства. Напримѣръ, подъячій, притѣсняя челобитчиковъ, беретъ съ начала только алтынами; достигнувъ въ секретари — счетъ его составляетъ рубли" [150].

„Секретарь былъ человѣкъ набожный, — онъ никогда не вставалъ и не ложился спать, не помолясь Богу; передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ читалъ обыкновенныя молитвы въ слухъ и умывалъ завсегда руки; не пропускалъ ни одново воскресенья и бывалъ всегда у обѣдни, а въ двунадесятые праздники ѣздилъ разносить поклоны, или принималъ оныя самъ отъ челобитчиковъ. Всякое утро стоялъ онъ по два часа на молитвѣ, а жена ево въ то время въ передней горницѣ упражнялася во взяткахъ и принимала всячиною. Когда же садилися они пить чай, то малинькой ихъ сынъ подавалъ ему реэстръ поименно всѣхъ людей, бывшихъ у него въ то утро, и кто, что и сколько принесъ,—такимъ образомъ, смотри по величинѣ приноса, рѣшалъ онъ дѣла и въ приказѣ" [151].

Довольно курьезный случай, касающійся взяточничества, разсказанъ въ одной повѣсти:

„нѣкто основательный человѣкъ, съ ращчетомъ, экономъ, приказенъ, прозорливъ, искателенъ и заботливъ, отставной надворный совѣтникъ опредѣленъ былъ воеводою". Отъ взятокъ онъ долго отказывался, къ горожанамъ былъ суровъ и строгъ. Всѣ въ городѣ пріуныли. Тогда одинъ старецъ посовѣтовалъ узнать у домашнихъ воеводы, что онъ любитъ. Оказалось, воевода былъ любителемъ „щукъ". Всѣ потащили къ воеводѣ въ подарокъ „щукъ". Въ садкѣ, гдѣ продавали рыбу, сидѣлъ крѣпостной воеводы, и цѣны на щукъ поднялись, благодаря этому, до ста рублей за каждую" [152].

Разбогатѣвшіе „приказные", обыкновенно, выходили въ „люди" и дѣлались „новоиспеченными дворянами"; къ нимъ романисты русскіе всегда относятся съ насмѣшкой и презрѣніемъ. Это видно, хотя бы, изъ тѣхъ вопросовъ, которые предложены были однимъ романистомъ своимъ читателямъ:

„отъ чего набогащаются тѣ, коимъ Государь ничего не жаловалъ, наслѣдства не достаналось, приданаго за женами не брали и промысловъ не имѣли, а были только у порученныхъ должностей?.. Чрезъ что получили нѣкоторыя недвижимыя и движимыя имѣнія, когда

предки ихъ и сами они хаживали въ лаптяхъ?.. Отъ чего представленные къ пріемамъ и выдачамъ не сводятъ расхода съ приходомъ?.. Отъ чего въ приказѣ лѣтъ по 50 лежатъ дѣла нерѣшенныя?" [153].

Особенно нападаютъ романисты на сыновей такихъ „дворянъ изъ бывшихъ приказныхъ". Обладая хорошими средствами, эти „новомодные" дворяне особенно старались „пустить пыль въ глаза". Одинъ такой юноша —

„... древность своего рода не могъ далѣе вычислить, какъ со времяни, когда въ нашихъ мелкихъ городахъ взятки дошли до совершенства". Когда вышли строгіе указы касательно взятокъ, то родитель сего дворянина „почувствовалъ свербежъ за спиною и, скуча безмездными трудами, оставилъ приказную службу, купилъ деревню" [154].

Съ тяжелымъ чувствомъ негодованія говорили русскіе романисты о „казнокрадствѣ" и другихъ подобныхъ злоупотребленіяхъ въ государствѣ.

У русскихъ людей этой эпохи сложилось убѣжденіе, что—

„вѣшаютъ только дураковъ, кои мало крадутъ... Въ городѣ повѣсили крестьянина за то, что онъ, умирая съ голоду, укралъ у скупова богача четверть ржи. А старой нашъ воевода укралъ у короля 30.000 рублей,—его только смѣнили съ мѣста" [155],

Полученіе мѣстъ, повидимому, всецѣло зависѣло тогда отъ „подкупа":

„мѣста градоначальниковъ достались за умѣренной откупъ, заплаченный любовницамъ княжескихъ наперсниковъ; казна государства истощена на украшеніе серальскихъ пріязней" [156].

„Мѣста правителей въ государствѣ розданы были мнешникамъ, кузнецамъ, сводникамъ, шутамъ и тому подобнымъ ремесленникамъ... Но первый вельможа всѣхъ превосходилъ длиною бороды, а особливо глупостью,—словомъ, въ княжествѣ семъ все происходило такъ, какъ въ той деревнѣ, гдѣ много прикащиковъ и въ которую господинъ никогда не заглядываетъ" [157].

„Судопроизводство" въ XVIII-омъ вѣкѣ было сопряжено съ волокитой, и съ большими побочными расходами. Поэтому „суда" старались избѣжать (сравни нелюбовь Скотинина судиться).

„въ старину почтенные и ни въ какихъ тяжбахъ небывалые люди поединочныхъ почестокъ (судовъ) боялись" [158].

Любопытно, какъ велось въ XVIII вѣкѣ судебное слѣдствіе. Въ одной деревнѣ оказалась вырѣзанной цѣлая семья. Составили рапортъ, послали въ городъ, для того, чтобы оттуда пригласить власти на „слѣдствіе", но день оказался праздничный, и —

„въ разсужденіи столь великаго праздника, всѣ судьи и секретари изъ города были отсутственны и находились по деревнямъ окольныхъ дворянъ, а дневальные приказные служители отъ принятія того рапорта отозвались" [159].

Только черезъ шесть недѣль принятъ былъ этотъ злосчастный рапортъ и посланъ былъ изъ города чиновникъ для „слѣдствія“.

„по осмотру его и по обыску“ было рѣшено, „что крестьянинъ, напившись въ праздникъ пьянъ, порубилъ свою семью, а самъ, упавъ съ крыльца, ушибся“... А, подавая свой рапортъ, чиновникъ примолвилъ: „крестьяне-де государственные, то вдаль слѣдствія быть не можетъ“. „Почему данною резолюціею и велѣно, съ приписаніемъ того рапорта, отрапортовать верхнему присудственному мѣсту, а дѣло, исключа изъ реестра нерѣшеныхъ дѣлъ, числить рѣшеннымъ къ отдачѣ въ Архивъ“ [160].

Зло высмѣяны въ одномъ романѣ тѣ порядки, которые царили въ чиновномъ мірѣ тогдашней Руси, чтобы сдѣлать карьеру —

.... надобно льстить, обманывать хитренько; и это ни мало нестыдно... Хочешь ли быть въ чинахъ? Кланяйся двойкѣ,—двойка рекомендуетъ тройкѣ,—дойдешь до манильи, то есть до дульцинеи пиковаго туза, —а тутъ тотчасъ и шпадильи на рукахъ!.. Вотъ, ангелъ мой, наука жизни! для благополучія своего не жалѣй тысячи другихъ; живи на счетъ ближняго, за копѣйку продавай друга, хвали въ глаза!.. Услужи рогами пріятелю, лови въ мутной водѣ рыбу!.. Вотъ—должности проворнаго молодца“ [161].

Одно изъ характернѣйшихъ явленій русской жизни XVIII и XIX ст. „нахлѣбничество“, — неразъ изображалось въ русской литературѣ XVIII ст. Среди выведенныхъ въ романахъ образовъ мы найдемъ много разновидностей этого типа въ предѣлахъ—отъ уважаемаго „друга“ дома—до жалкаго „шута“, котораго держатъ изъ милости.

Особенно характеренъ Никаноръ, „безсчастный дворянинъ“. Въ своей автобіографіи онъ разсказываетъ всю свою скорбную жизнь „маленькаго человѣка“. Этотъ смирный, зашибленный судьбой, человѣкъ добродушенъ и незлобивъ до послѣдняго предѣла — оттого онъ—общій любимецъ, особенно провинціальныхъ дамъ.

„исканіе-жъ Никаноровo во всѣхъ того города жителяхъ и дворянахъ составило ему въ томъ мѣстѣ весма спокойную жизнь“ [162]

Этою жизнью онъ вполнѣ доволенъ: онъ угождалъ всѣмъ, былъ у всѣхъ на посылкахъ,—и считалъ себя счастливымъ, называлъ эти дни „золотымъ вѣкомъ“ своей жизни [163]... Особенно „благородныя женщины и дѣвицы того города“ его любили —

„Никаноръ всѣ силы свои употреблялъ служить имъ со всякимъ усердіемъ и почитаніемъ“: „игралъ съ ними въ маленькую игру для препровожденія времени,—въ „кадриль“ и въ „ломберъ“; между тѣмъ, употреблялъ всякія пристойныя шутки,—пѣлъ и сочинялъ пѣсни; также сочинялъ оды и всякіе увеселительные стишки; смотрѣлъ имъ на руки, будто бы ученъ онъ былъ хиромантіи; и въ издѣвкахъ обнадеживалъ

каждую изъ нихъ особливымъ благополучіемъ; сказывалъ имъ сказки и исторіи; на святкахъ производилъ съ ними всякія игры и гаданія, въ маскерадахъ одѣвался въ женское платье,—словомъ сказать, все то дѣлалъ, что въ угодность имъ служило" [164].

Съ нимъ не стѣснялись, такъ какъ онъ былъ необидчивъ. Гораздо тяжелѣе было существованіе другого старика, сотоварища его по нахлѣбничеству,—титулярнаго совѣтника Никифора, который былъ, въ противоположность Никанору, очень самолюбивъ. Когда у хозяина бывали гости, то его съ Никаноромъ сажали обѣдать къ „дѣтямъ",—это обижало старика, онъ злился и —

„выговаривалъ дворецкому, что такихъ молодыхъ ребятъ (гостей) больше почитаютъ, нежели такого старика, который, по табели Петра I, состоитъ въ рангѣ арміи капитана" [165].

Съ Никаноромъ тоже не церемонились: когда въ жилой комнатѣ оказалось мало мѣста, ему сдѣлали постель въ залѣ. Но тамъ ему показалось холодно, и онъ, съ разрѣшенія хозяина, перебрался спать въ „дѣвичью" —

„гдѣ ночь протекла для Никанора съ немалою пріятностью: дѣвушки пѣли изрядныя пѣсенки". Никаноръ гадалъ имъ: „Машенькѣ предсказалъ на рукѣ, что она выйдетъ замужъ за патентованнаго человѣка" [166].

У того „милостивца", у котораго жилъ „на иждивеніи" Никаноръ, кромѣ него и Никифора, жили еще нѣсколько такихъ же „вышибленныхъ изъ колеи людей".

Кромѣ „нахлѣбниковъ", въ богатомъ домѣ водился цѣлый штатъ „приживалокъ". Такъ, въ одной повѣсти перечислены такія „приживалки" —

„...нянюшки и мамушки, повивальныя бабушки, названныя матушки, сверхъ комплетныя тетушки, любезныя сестрицы, племянницы, кумушки и сватьюшки" [167].

Перечисляю, для примѣра, еще нѣсколькихъ „нахлѣбниковъ", выведенныхъ въ романахъ XVIII-го вѣка. Одинъ —

„...пошелъ въ шуты къ охочимъ людямъ, торговалъ прелестями своей любезной и былъ сытъ" [168].

Какая-то —

„благородно рожденная дѣвица", лишившись родителей, „неимѣющая имѣнія", изъ милости живетъ у помѣщицы [169].

„Добродѣтельный чиновникъ Тихонравовъ, вмѣстѣ съ женой, поселился „изъ милости" у помѣщицы, его очень уважавшей, — онъ „за старостію сложилъ съ себя должность и вознамѣрился остатокъ жизни препровесть въ Никольскомъ. Она любила сего друга, почитала его обхожденіе своимъ благополучіемъ; а блаженство разумнаго сего товарища состояло въ томъ, чтобъ угождать ей. Тихонравовъ желалъ давно

покоемъ, яко даромъ неба, наслаждаться; наконецъ, удовлетворено его желаніе: онъ и добродѣтельная его супруга гораздо утѣшались симъ новымъ родомъ жизни" [170].

Особенно тяжело было положеніе сиротъ-дѣвушекъ, взятыхъ въ зажиточный домъ. Онѣ чаще всего дѣлались жертвами преслѣдованія со стороны хозяина, или его взрослыхъ сыновей. Такъ, одну такую дѣвушку, изъ милости жившую въ чужомъ для нея домѣ графа Высокомѣрова, самъ хозяинъ преслѣдовалъ своими предложеніями и высмѣивалъ ея слезы:

„Браво, браво!", захлопавъ въ ладоши и захохотавъ, онъ сказалъ: „какая невинненькая!.. Она плачетъ!.. ахъ! сударка мои, я, право бы тебѣ, помогъ!" [171].

Въ купеческихъ домахъ отношеніе къ такимъ нахлѣбницамъ было болѣе патріархальнымъ. Въ одной повѣсти читаемъ—

„...у всѣхъ купцовъ, особливо у богатыхъ, введено въ обыкновеніе брать къ себѣ для прислугъ родственницъ-дѣвушекъ и, за доброе поведеніе, выдавать замужъ за сидѣльцовъ и прикащиковъ съ приданымъ" [172].

Во всякомъ случаѣ, положеніе этихъ несчастныхъ людей, зависѣвшихъ всецѣло отъ доброты, часто очень тяжелой, — а иногда и просто отъ каприза—было невеселымъ:

„ничего нѣтъ скучнѣе, какъ жить въ знатныхъ домахъ! Тамъ бѣднаго благороднаго человѣка хуже почитаютъ постельной собачонки, или попугая; тамъ всегда надобно говорить противное тому, что чувствуешь, „дурное" должно называть „хорошимъ", а „хорошее"—„дурнымъ" [173].

И вотъ, въ повѣстяхъ встрѣчаемъ мы случаи, когда „чаша терпѣнія" у несчастнаго нахлѣбника переполнялась,—и онъ оставлялъ своего „милостивца" съ такими рѣчами:

„...естьли же вамъ то несносно, что я кусокъ сей земли занимаю моимъ бѣднымъ жилищемъ,—скажите мнѣ, государь мой,—то я пойду индѣ искать мѣсто, къ которому бы могъ бѣдную мою приклонить голову" [174].

„Развлеченія" богатыхъ русскихъ помѣщиковъ отличались и блескомъ, и разнообразіемъ. Часто въ деревняхъ ими воздвигались роскошные замки [175], съ великолѣпными садами и парками [176], иногда даже съ звѣринцами [177]. Гости, обыкновенно, гостили у нихъ по нѣскольку дней.

У нихъ были свои домашніе оркестры [178] и хоры [179]. Часто устраивались балы, маскарады, въ которыхъ принимали участіе не только гости-дворяне, но и челядинцы [181], и крестьяне [182]; устраивались любительскіе спектакли [183], концерты [184]... Хозяинъ

гостей увеселялъ пикниками, богатымъ угощеніемъ и пѣснями [185]. Среди дворовой челяди въ богатыхъ домахъ были даже инородцы: „араны“, „горцы“ [186]; кромѣ штата „гайдуковъ“ были и „карлы“ [187], и шуты...

Не менѣе сложенъ былъ личный штатъ богатой барыни-помѣщицы: около нея, кромѣ старухъ-приживалокъ, были „дѣвушки“, „барскія барыни“, „барскія барышни“ [188] и др.

Въ одной повѣсти мы имѣемъ слѣдующій курьезный церемоніалъ „доклада“ барынѣ: пріѣзжій —

„...доложилъ мужику, которой подметалъ тогда дворъ... Мужикъ сказалъ ето истопнику, истопникъ—лакею; лакей донесъ камендинеру: камендинеръ сказалъ горнишной дѣвушкѣ; дѣвушка объявила барской барынѣ“ [189],—и та уже доложила госпожѣ.

Рядомъ съ такой строгостью жизни „по этикету“, рядомъ съ роскошью и утонченностью—въ другихъ слояхъ той же помѣщичьей и городской жизни встрѣчаемъ мы картины самой разнузданной грубости. Повѣсти XVIII в. особенно богаты жанровыми картинками въ этомъ духѣ.

Привожу нѣсколько сценокъ: на крестинахъ пьяные гости со смѣхомъ укоряютъ отца новорожденной, что у него рождаются все дочери. Раздосадованный родитель —

„...чинилъ строгіе выговоры своей половинѣ за то, что она родила только дочерей“ и обѣщалъ клятвенно сшить ей „парчевую пару“, если родитъ мальчика, „Николаю же Чудотворцу за сіе самое — рѣшилъ онъ — отслужить благодарный молебенъ съ акафистомъ и положить серебреную ризу на его образъ“ [190].

Не менѣе живо описаны похороны:

„Погребеніе было самое плачевное. Когда повезли усопшую въ церкву, тогда два служителя вели полковника подъ руки для того, чтобъ не повалился онъ въ грязь... Жалость и, выпитая имъ по утру для утоленія печали, водка обременили его гораздо... И онъ совсѣмъ забылъ, что надобно было плакать. Въ церкви съ разнымъ усердіемъ и разными голосами завывали старухи, стараясь разными способами обратить на себя вниманіе полковника“. Похоронивъ, „съ большимъ усердіемъ поспѣшали всѣ къ столу. До половины обѣда слышны были рѣчи о покойницѣ, а послѣ вино помрачило ее у всякаго въ памяти, и всякой началъ колобродить“—священникъ сталъ даже „затягивать пѣсни“ [191].

Очень колоритно описаны „проводы“ сына, уѣзжающаго изъ отеческаго дома „въ ученіе“:

„Собрались родственники и гости, которые, желая напиться допьяна и проститься со мной, наполнили всѣ наши комнаты... Ревностный священникъ пришелъ вскорѣ въ сопровожденіи одного дьякона, одного дьячка и одного пономаря. Помолившись съ важностію и давъ

всѣмъ желающимъ облобызать свою десницу, садится онъ подъ образа, выпиваетъ съ улыбкою за здравіе хозяевъ и отъѣзжающаго по поднесенной ему съ причетомъ рюмкѣ цѣлительнаго Ерофеича и говоритъ съ приличнымъ тѣлодвиженіемъ, что морозъ очень великъ"... „Черезъ полчаса домъ нашъ уподобился совершенно трактиру. Одинъ пьетъ и безъ стыда еще проситъ пить, другой бьетъ стаканы, третій кричитъ, четвертой поетъ; въ одномъ покоѣ спорятъ, какъ въ питейномъ домѣ, въ другомъ бранятся, какъ въ смирительномъ, въ одномъ хохочатъ, какъ въ райкѣ въ театрѣ, въ другомъ воятъ, какъ на похоронахъ на кладбищѣ". Наконецъ, отецъ „напомнилъ священнику вину его пришествія и, когда сей, какъ будто проснувшись, началъ служить молебенъ, гости, домашніе, даже и челядинцы, въ различномъ видѣ, всѣ собрались въ сію горницу, молились, вздыхали и зѣвали..." [192].

Конецъ самаго обыкновеннаго, каждодневнаго обѣда въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ домахъ былъ таковъ:

„Насандаливъ довольно носы, встали мы изъ-за стола по обыкновенію пьяницъ, только благородныхъ, а не подлыхъ". Хозяйка, совсѣмъ пьяная въ придерживаніи двухъ дѣвокъ за оба крыла, отправилась въ свою спальню" [193].

То же происходило и на торжественныхъ обѣдахъ,—по поводу поминанія, крестинъ, свадьбы и пр.

Поминальный „обѣдъ начался печалію, а кончился весельемъ. По большой части засѣдали за нимъ отставные офицера,—тѣ, которые были великіе охотники подтягивать сивуху и разсказывать о сраженіяхъ; насуслились они за нимъ довольно исправно, приговаривая почасту: „покойникъ былъ до вина охотникъ" [194].

„Всякой, въ угодность хозяина, оказывалъ себя довольнымъ и выпивалъ все до капли, что ему ни подносили, отъ чего послѣдовало изобильное краснорѣчіе, и, казалось, что собраны тутъ люди разныхъ націй и говорили разными языками; всякой не хотѣлъ молчать, а старался больше говорить; слушать же изъ нихъ никто не обязывался,—слѣдовательно, пирушка сія походила на жидовскую школу" [195].

Происходили на такихъ обѣдахъ не только шумъ, но иногда и ссоры:

„Послѣ сего грому вся компанія помутилась,—всѣ вскочили со своихъ мѣстъ и хотѣли разобрать ссору, ибо пьяные люди великіе охотники и драться, и мириться" [196].

„Всякой со своимъ усердіемъ подходилъ уговаривать ее (вдову) и воздержать отъ сокрушенія; и кто былъ пьянѣе другихъ, тотъ усерднѣе и старался" [197].

„...началась татарская музыка,—всякъ заговорилъ своею погудкою и кто былъ довольнѣе, тотъ и кричалъ громче" [198].

„...bene potari тогда было необходимое свойство всякаго добраго россіянина, которой, конечно, почелъ бы упущеніемъ должности своей, когда бы радостные тѣ дни ходить сталъ съ трезвою головою и не сталъ бы пить изъ сладостныхъ жизненныхъ источниковъ, увеселяю-

щихъ толико сердце". Послѣ крестинъ было повальное пьянство; отчего самый домъ сгорѣлъ, и младенецъ въ суматохѣ былъ потерянъ [199].

На одномъ свадебномъ пиру такое пьянство окончилось тѣмъ, что гости—

„...всѣ легли спать въ разныхъ мѣстахъ и разными манерами: иные подражали молодымъ, другіе спали и безъ того спокойно" [200].

Иногда гости пріѣзжали уже сильно „навеселѣ" [201]. Иногда послѣ такого обѣда приходилось обращаться за помощью къ эскулапамъ,—но въ тѣ героическія времена и леченіе было героическое: въ одной повѣсти разсказано, какъ пьяный коновалъ, вызванный къ объѣвшемуся и опившемуся помѣщику, выпустилъ своему пьяному паціенту по ошибкѣ огромное количество крови, что не помѣшало тому весь день, слѣдующій за операціей, носиться съ гончими на лошади [202].

Судя по романамъ, игра въ карты была въ XVIII в. очень развита: существовали даже семейные дворянскіе дома, въ которыхъ всѣ члены въ разной мѣрѣ помогали другъ другу нечисто играть [203].

Въ одной повѣсти отецъ, зная о шуллерствѣ своихъ сыновей, попытался было одного изъ нихъ направить на путь истинный и спросилъ:

„хорошо-ли братъ твой сдѣлалъ?" Отвѣчалъ сынъ: „очень хорошо: онъ по послѣдней ухваткѣ ево обыгралъ, которую еще не многіе игроки знаютъ" [204].

Играли азартно: одинъ юный игрокъ разсказывалъ, что братъ его обыгралъ „въ лоскъ" товарища:

„Проигравшій долженъ былъ отдать всѣ женщины бриліанты, домъ, серебро,—словомъ сказать, всѣ уборы даже и послѣднюю атласную бѣлую женщину исподницу съ заморскимъ кружевомъ" [205].

„...игроки сѣли, бросали на право, на лѣво, били съ оника, и объявили, что деньги, платье и все, что онъ имѣлъ, надлежитъ имъ по народному праву" [206].

Если судить по повѣстямъ XVIII в., то многіе изъ дворянъ того вѣка вообще не отличались разборчивостью въ денежныхъ отношеніяхъ: въ повѣстяхъ встрѣчаются курьезные анекдоты о тѣхъ способахъ, которыми нѣкоторые богатые дворяне расплачивались съ заимодавцами.

„Близъ Кузнецкаго мосту жилъ господинъ, которой деревнями и имѣніемъ былъ весьма богатъ, да и чинъ имѣлъ немалой, только имѣлъ же похвальную для себя и привычку, ходя пѣшкомъ по рядамъ, забиралъ всякіе товары не на деньги, а на щотъ, приказывая всякому

за деньгами приходить въ домъ". Тамъ онъ угощалъ водкой и обходился ласково, но если кто напоминалъ о деньгахъ, того били гайдуки" [207].

Другой поступалъ еще оригинальнѣе:

„Какъ только придетъ къ нему купецъ съ векселемъ и станетъ просить денегъ, то онъ велитъ ему пустить кровь; слѣдовательно, тотъ купецъ не приходитъ уже къ нему цѣлой годъ: ибо пусканіе крови прежде прошествія года не бываетъ... И такъ, когда онъ учинилъ человѣкамъ пяти сіе пусканіе, то тѣ, которымъ жизнь была милѣе, нежели деньги, и совсѣмъ къ нему не ходили" [208].

Въ одномъ романѣ упоминается о богатыхъ и знатныхъ дворянахъ, которые, находясь въ дорогѣ—

...обижаютъ крестьянъ по деревнямъ,—отымаютъ у нихъ насильно лошадей, берутъ съѣстные припасы и за нихъ не платятъ, не имѣя къ тому ни малѣйшаго права, и послѣ ласкатели называютъ ихъ людьми добродѣтельными" [209].

Любопытно, что, по словамъ романистовъ, тогдашніе „дворяне" занимались даже открытымъ „разбойничествомъ": одни отпускали своихъ крѣпостныхъ на хищные промыслы,—другіе прямо становились сами во главѣ шаекъ. Въ нѣсколькихъ повѣстяхъ обстоятельно разсказано, какъ комфортабельно устраивали свои жилища такіе „атаманы", съ благородными вкусами и привычками.

„Вошедъ въ его горницу, не мало дивился я убранству оной: она была убита цвѣтнымъ штофомъ въ золотыхъ рамахъ; большія зеркала и картины знатныхъ мастеровъ дѣлали въ ней большое великолѣпіе" [210].

Другой романистъ, бѣгло описавъ богатство покоевъ атамана, особое вниманіе обращаетъ на него самого:

...сидѣлъ на обитыхъ бархатомъ креслахъ человѣкъ, имѣющій пріятной видъ, съ черною окладистою бородою, въ парчевомъ кафтанѣ" [211].

Герой другого романа разсказываетъ, что, попавъ къ такому же атаману-барину, онъ „больше 6 мѣсяцевъ" жилъ у него „прямо побояpски". Когда онъ, наконецъ, собрался покинуть гостепріимнаго хозяина, тотъ далъ ему на прощаніе лошадь и 2000 р. [212].

Изъ оффиціальныхъ документовъ извѣстно, что разбойничество, дѣйствительно, процвѣтало въ XVIII в. въ Россіи *); повѣсти и романы вводятъ насъ въ интимную сторону этой жизни. Мы узнаемъ, напримѣръ, что у тогдашнихъ разбойниковъ иногда были цѣлыя укрѣпленія въ лѣсахъ.

„Прибыли мы къ одному рву, за коимъ сидѣли четверо на лошадяхъ въ такихъ же мундирахъ; они, отложа рогатку, впустили насъ;

*) Сравни, хотя бы, дѣло о Ванькѣ Каинѣ и его автобіографію.

напослѣдокъ, пришли мы въ самую гущину лѣса, гдѣ стоялъ превеликой домъ, огороженной высокимъ заборомъ" [213].

Разбойничество процвѣтало и въ самой Москвѣ:

„Всякой знаетъ, что въ Москвѣ въ нынѣшнее время стало не много построжѣе; а прежде, лѣтъ за пятокъ, почти и карауловъ не было, по чему наша братья, „торговые люди" (воры), во отдаленныхъ отъ города мѣстахъ обитали невозбранно цѣлыми домами" [214].

Завести воровскую „шайку" тогда было совсѣмъ нетрудно [215]. Такія шайки иногда представляли собой настоящіе военные отряды, имѣвшіе иногда даже особую форму,—такъ одинъ разсказчикъ повѣствуетъ, какъ его спящимъ въ лѣсу нашли —

„Человѣкъ съ шесть, въ смурыхъ кафтанахъ и въ малиновыхъ бархатныхъ шапкахъ, съ ружьями и палками" [216].

Это была банда разбойниковъ, составленная изъ крѣпостныхъ; атаманомъ ея былъ самъ помѣщикъ.

„Смурые кафтаны", „триповыя малиновыя шапки" и „ружья"—упоминаются и въ другомъ романѣ, какъ характерная особенность разбойничьей формы [217].

Кромѣ такого „организованнаго разбоя", подъ начальствомъ самого помѣщика, встрѣчалось и разбойничество „случайное": крѣпостные, плохо управляемые, иногда полуголодные, „пошаливали" по собственной иниціативѣ, иногда довольно крупно: особенно этотъ промыселъ соблазнялъ крестьянъ, жившихъ недалеко отъ большихъ дорогъ.

Любопытно еще одно бытовое явленіе, охотно отмѣчаемое въ русскомъ романѣ XVIII в.—„нищенство", злостное, съ обманомъ... Передъ нами въ повѣстяхъ XVIII в. проходитъ рядъ нищихъ-симулянтовъ, которые дома у себя устраиваются даже съ комфортомъ.

„Послѣ ужина скинули они съ себя верхнія и весьма ветхія „одежды" и, оказалось, „исподнія" у нихъ хороши; умылись, „легли спать" попарно, и, надобно знать, не на худыхъ, при томъ, постеляхъ" [218].

Вечеромъ въ притонъ „начали собираться таскающіеся по городу безстыдные люди и всякой, пришедши, опоражнивалъ свою мошенку въ поставленную хозяйкою чашку". Половина денегъ „послана была въ кабакъ", при чемъ „бѣгалъ за виномъ храмой,—однако, скоростію превзошелъ всякаго скорохода" [219].

„По утру встали весьма рано, „натерлись нѣсколько сажею и грязью и, облекшись во вретище, пошли, куда каждаго добыча позывала" [220].

Одинъ нищій притворялся убогимъ, а самъ былъ кутила, картежникъ: онъ собиралъ деньги, показывая на своемъ тѣлѣ раны, „кои растравлялъ нарочно чеснокомъ и горохомъ". Собравъ деньги, онъ

„игралъ въ кости и карты", и однажды обыгралъ дьячка отъ Василія Блаженнаго „до самородной рубашки" [221].

Этотъ нищій, лежа на площади, притворился однажды умирающимъ, — позвали попа; сердобольный народъ сталъ кидать деньги на предстоящія похороны. Дьячокъ, недавно обыгранный этимъ нищимъ въ карты, догадываясь, что плутъ лишь притворяется умирающимъ, поджегъ солому, на которой тотъ лежалъ,—и умирающій пустился бѣжать безъ оглядки" [222].

Кромѣ типичныхъ *явленій* жизни XVIII-го вѣка, романъ далъ длинную галлерею *„типовъ"*, очевидно, выхваченныхъ прямо изъ жизни. Любопытно, что излюбленные „типы" русской сатиры— „щеголи" и „щеголихи", рѣдко встрѣчаются на страницахъ романа; за то романъ намѣчаетъ много такихъ, которые нашли себѣ тонкое художественное развитіе въ русской литературѣ XIX ст.

Привожу тѣ случаи, когда мы имѣемъ дѣло съ „щеголями" и „щеголихами". Герой одной повѣсти передаетъ содержаніе своей бесѣды съ дамой:

„перестань, радость, ужесть какъ славно, ты себя раскрываешь!"— „Ето правда!" — продолжаю я: „вы меня растрепали!", и съ тѣмъ бросаю на нее гнилой взоръ. Послѣ малаго числа вздоховъ становлюсь я опять живъ, хвалю ея шнуровку и даю волю рукамъ. Красавица говоритъ: „Ето глупость!.. По чести ты шутишь!".. А я далѣе... Меня ударятъ по легоньку, но я продолжаю,—а наконецъ, она и сама повѣритъ, что ето была не шутка" [223].

Одинъ русскій дворянчикъ „офранцузился" до того, что—

„Почиталъ и себя не меньше, какъ взросшимъ въ Парижѣ,—смѣялся всѣмъ, кои не попрыгиваютъ на одной ножкѣ и не вмѣшиваютъ въ разговорахъ такихъ словъ, кои не по-французски и не по-нѣмецки" [224].

Каковъ это былъ „стиль", видно изъ слѣдующаго примѣра: одинъ „щеголь" такъ ораторствуетъ —

„Мафуа! Діабль!" сказалъ онъ... „Аманта моя сдѣлала мнѣ энфедилитацію. Бездѣлица! Бонъ есперансъ у меня въ карманѣ,—не о чемъ быть въ пансіи!.. Сія табакерка пуръ ла меритъ новой моей любовницѣ" [225].

Каково было „міросозерцаніе" этихъ офранцузившихся русскихъ, видно, хотя бы, изъ слѣдующаго разсужденія:

„Цѣломудріе... Какъ ето смѣшно! Какъ ето пахнетъ рускимъ духомъ! да что̀ ето значитъ? я отъ роду объ етомъ въ перьвые слышу, и не знаю, что̀ за вещь цѣломудріе!" [226].

„Щеголи" заботились исключительно о томъ, что̀—

„лежитъ до знанія дворянскаго,— то есть не о любви къ отечеству и добродѣтели, а обращаться смѣло, говорить живо,—напримѣръ, начинать рѣчь и не оканчивать, перебивать слова другихъ, всѣхъ пересмѣхать, одѣваться по модѣ и играть въ карты" [227].

Другой такой щеголь высмѣивалъ всѣхъ —

„кои не попрыгиваютъ на одной ножкѣ и, не вмѣшивая иностранныхъ словъ, не произносятъ ихъ на выворотъ...“ „Не влюбися, любить — и. влюбяся, не любить“, ломаться, обманывать, разславлять—вотъ, его излюбленное времяпровожденіе“ [228].

Старикамъ не нравились такіе юноши—одинъ съ насмѣшкой разсказываетъ, что къ его дочери сватается такой франтъ:

„шаркаетъ ногами, мигаетъ бровями; достатокъ мнѣ его извѣстенъ—голъ, что соколъ, какъ бы онъ мнѣ много ни лгалъ!“ [229].

Приведенными примѣрами почти исчерпываются всѣ случаи появленія „щеголей“ на страницахъ русскаго романа.

Не есть ли этотъ фактъ—лучшее доказательство того, что сатирики-журналисты, выдвигавшіе эти типы на первое мѣсто, грѣшили нѣсколько противъ правды русской жизни—они, очевидно, слишкомъ усердно повторяли образы, взятые изъ чужой, иноземной сатиры. То, что было типичнымъ, напримѣръ, для Германіи, то у насъ было, вѣроятно, лишь явленіемъ случайнымъ, нетипичнымъ...

За то русскій романъ XVIII в. богатъ иными „типами“, въ очертаніи которыхъ чувствуется неподдѣльная правда русской жизни.

Такъ, въ романахъ охотно выводился типъ „недоросля“. Привожу примѣры: одинъ юноша, до появленія своего въ городѣ —

„... обиталъ въ мѣстахъ просвѣщенныхъ, гдѣ люди съ великимъ прилежаніемъ копятъ деньги и не знаютъ, сколько въ рублѣ копѣекъ... Сосѣди его были волки, медвѣди и зайцы: лучшее его товарищество—борзыя и гончія собаки, съ которыми онъ вмѣстѣ въ одной академіи учился лаять,—пилъ и ѣлъ и спалъ также съ ними вмѣстѣ“ [230].

Другой такой же „типъ“ выведенъ императрицей Екатериной.

„Горебогатырь остался тогда сиротою съ одной матерью, и лутшая его забава была играть въ свайку, валяться съ робятами на травѣ, ходить по игрищамъ и, воткнувъ булавку на палку, таскать изюмъ изъ погреба, сквозь окошко“ [231].

Одинъ такой „недоросль“ очень увлекался голубями. Онъ самъ впослѣдствіи вспоминалъ о слѣдующемъ эпизодѣ изъ его дѣтства:

Разъ забрался къ нему въ будку отецъ и „взогналъ больше голубей, нежели я хотѣлъ, и тѣмъ меня разсердилъ нѣсколько и, къ пущему еще моему гнѣву, многихъ растерялъ. Я его столкнулъ съ бутки и тѣмъ отправилъ на тотъ свѣтъ“ [232].

Полное неумѣнье тогдашнихъ дворянъ воспитывать своихъ дѣтей приводило къ такимъ послѣдствіямъ:

„Вася сдѣлался совершенною повѣсою: пилъ исправно, бранился хуже всякаго извощика и къ ревизіи доставилъ лишнихъ душъ съ десятокъ. Настя столь непонятна была къ наукѣ, что не умѣла счесть,

сколько горячностей оказала она старостину племяннику Игнашкѣ и сколько нянюшкину сыну батмачнику-Антипкѣ" [233].

„Недоросли" были и въ купеческихъ семьяхъ. Одинъ богачъ, винный „компанейщикъ", сыну своему далъ такое „вольное воспитаніе", что тотъ ни къ чему не привыкъ—только полюбилъ гонять голубей —

„построили ему бутку, и начали закупать голубей сотнями" [234].

Нѣсколько разъ въ романахъ изображается типъ „купца", нажившаго деньги всѣми правдами и неправдами. Вотъ, напримѣръ, исторія одного богача:

„въ началѣ своея жизни торговалъ въ лавкахъ и обманывалъ людей, бравши за гнилой товаръ тройной барышъ, присовокупилъ не малое имѣніе; по томъ, не захотя въ одномъ томъ криводушническомъ рукомеслѣ упражняться, откупалъ бани, кабаки, мосты и перевозы, притѣснялъ и грабилъ маломочныхъ людей безъ пощады, а отъ того сдѣлался немалымъ капиталистомъ и чиновнымъ" [235].

Изобилуютъ романы изображеніемъ и другихъ типовъ. Вотъ, напримѣръ, передъ нами разорившійся помѣщикъ - дворянинъ Пустомошнинъ, — онъ имѣлъ привычку посѣщать сосѣдей „въ обѣденное и ужинное время"... Ѣлъ онъ всегда жадно —

„не имѣлъ привычки во время стола разговаривать, но вымѣщалъ сіе послѣ и притомъ съ довольнымъ разумомъ нащетъ честныхъ людей, коимъ не мало стоило труда стереть съ себя намазываемыя симъ потаскаемъ пятны..." „Былъ онъ настоящій прихлѣбатель, негодяй, вѣстоносецъ и лазутчикъ происходящаго въ тѣхъ домахъ, въ кои имѣлъ входъ" [236].

Вотъ—любопытный образчикъ россійскаго дворянина, любителя ругаться:

„Поутру, вставши съ постели, кричалъ онъ на своего слугу и кликалъ его къ себѣ: „чтобы дьяволъ тебя побралъ!.. Ванька! ..что за чортъ!.. Чтобы черти тебя взяли!.. Придешь ли ты, дьяволъ, сюда?" [237].

Однажды его ругань была записана слугой и положена на столъ къ нему. Прочитавъ записку и самъ не узнавъ своихъ собственныхъ словъ, онъ удивился и сказалъ —

„Вотъ еще какой чортъ!.. Онъ еще лучше меня ругается на бумагѣ" [238].

Вотъ—три молодыхъ дворянина, ухаживающихъ за одной дѣвушкой-сосѣдкой.

Одинъ думаетъ побѣдить щегольствомъ: перемѣняетъ платья по три раза въ день, смотрится въ зеркало. Другой — знатностью рода: онъ проводитъ время въ разсматриваніи своихъ родословныхъ и дѣланіи обидъ и презрѣнія своимъ сосѣдямъ. Занятія его заключаются „въ гоньбѣ за зайцами, съ соколами, за утками". Его конь и „епанча" были „покрыты гербами:" „посреди скотовъ, составляющихъ гербы его, былъ

онъ въ настоящемъ своемъ элементѣ". Третій гордился своею храбростью: онъ разсказывалъ „о разныхъ, достойныхъ дворянина, своихъ подвигахъ,—напримѣръ, какъ онъ дрался за землю съ сосѣдями и ихъ переувѣчилъ, какъ у другихъ отнялъ луга, а у третьихъ свезъ сжатой хлѣбъ" [239].

Любопытна сценка, въ которой приводится характеристика русскихъ помѣщиковъ. Отецъ отправляетъ своего сына къ сосѣдямъ и учитъ его, какъ надо обращаться съ каждымъ изъ нихъ:

Къ Скрягину надо являться въ старомъ кафтанѣ и говорить: „ахъ, какая дорогою пыль—все платье изгадилъ!" Надо хвалить его столъ. Съ Старосѣловымъ надо говорить „о войнѣ съ турками и о превосходствѣ древняго военнаго состоянія противу нынѣшняго". У Нелюдимова нельзя говорить съ его дочерью и смотрѣть пристально на его сожительницу". Надо ругать всякую вольность въ обращеніи,—иначе Нелюдимовъ побьетъ и дочь, и сожительницу, а его самого примотъ сухо. У Пилатова надо восхвалять тѣлесныя наказанія, и онъ тотчасъ будетъ отвѣчать, что, „не бывши весьма драчливымъ и не переувѣча своихъ подчиненныхъ, никто не можетъ быть достоинъ своего званія"... — Затѣмъ, „для забавы гостямъ раскваситъ двумъ, или тремъ (лакеямъ), носы и нѣсколькихъ высѣчетъ батогами". Пятый сосѣдъ, господинъ Ехиднинъ, любитъ сплетни, и чтобы ему понравиться, при немъ надо быть злоязычнымъ. „Естьли тутъ же случится г-жа Змѣйкина, ты будешь присутствовать при тайномъ совѣтѣ, гдѣ выдумываютъ способы къ развращенію истинной пріязни, къ ссорѣ родственниковъ, къ несогласію супружества, къ разорванію союзовъ и тому подобнаго и гдѣ сочиняютъ вредныя исторіи на щотъ невинности". Здѣсь „можно наблюдать, какъ готовятся разныя пакости для вражды окрестнымъ помѣщикамъ" [240].

Вотъ—характерный образъ „офицера въ отставкѣ": онъ—болтунъ-враль, „дерзокъ, великъ ростомъ, но худъ и нескладенъ"—

„голова у него очень малой руки и притомъ деревянная; съ висковъ и что назади виситъ коса,—походитъ на подъячего, и въ самомъ дѣлѣ—крючкотворецъ превеликой. Онъ для того родился на свѣтъ, чтобы пить, ѣсть и заводить ссоры, а больше ни къ чему не способенъ. Видите, онъ уже разстегнулъ камзолъ и хочетъ перемѣнить девятую тарелку... Онъ ни одного не оставитъ цѣлаго кушанья и всѣхъ отвѣдаетъ до половины. Эта ржаная тварь вездѣ такъ ѣстъ, какъ будто бы предчувствуетъ 10-лѣтній голодъ" [241].

Для характеристики дворянскихъ „нравовъ" XVIII-го вѣка интересенъ слѣдующій „типъ":

„онъ былъ весьма храброй офицеръ и, на двадцатомъ еще году своего возраста, мать свою родную высѣкъ розгами" [242].

Даютъ иеразъ наши романисты портреты людей, отличающихся „самодурствомъ". Одинъ, напримѣръ, богатый скряга, не позволялъ домашнимъ по вечерамъ жечь ни свѣчи, ни лучины, заявляя, что—

„свѣча принадлежитъ одному образу, а лучину жечь убыточно для сохраненія лѣсовъ", да и опасно въ пожарномъ отношеніи" [243].

Поэтому онъ всѣхъ укладывалъ рано спать —

„сказывая, что Богъ сотворилъ день для работы, а ночь для упокоенія, такъ намъ—говорилъ онъ—умничать не для чего, и противъ власти Божіей мудрствовать" [244].

Тотъ же романистъ нарисовалъ намъ цѣлое поколѣніе скупыхъ помѣщиковъ, —

„Дѣдъ—жидоморъ, сынъ—крохоборъ, внукъ—скопидомъ,—всѣ сіи три урода, неописанные скупяги,—чудовища въ родѣ человѣческомъ". Одинъ изъ нихъ послѣ полевыхъ работъ, наридивъ крестьянъ въ „монашеское платье", посылалъ во всѣ стороны собирать милостыню, „раздавъ имъ по большому мѣдному кресту, положа на деревянную тарелку, покрывъ бѣленькой тряпичкой". Такъ собиралъ онъ въ день до 6 рублей. Лошадей онъ кормилъ подметеннымъ на площадяхъ сѣннымъ мусоромъ. Мяса мужикамъ ѣсть не позволялъ, указывая на устройство зубовъ у людей и утверждая, будто у человѣка „зубы къ мясу не опредѣлены", „а имѣютъ чашки, подобные лошадиннымъ и коровьимъ". Онъ утверждалъ затѣмъ, что опасно кормить мясомъ слугъ — такъ какъ „слугу, будто, должно держать такимъ правиломъ, чтобъ онъ былъ ни сытъ, ни голоденъ, ни теплъ, ни холоденъ, ни босъ, ни обутъ, ни нагъ, ни одѣтъ; а кисельные выжимки должно давать безъ скупости—пожалуй, кушай на здоровье!" Другой скупецъ никому въ домѣ ужинать не позволялъ. Пить совѣтовалъ только воду, „сколько кто похочетъ", помня пословицу: „и на хлѣбъ, на соль—и туды, и сюды,—а на воду простъ"... „Брюхо—не зеркало!"—повторялъ онъ: „никто не видитъ, чѣмъ ево ни набей!" [245].

Въ нѣсколькихъ произведеніяхъ обрисованъ „ханжа-самодуръ", помѣшанный на нравственности. Одинъ такой ханжа запретилъ въ своемъ домѣ мужчинамъ разговаривать съ женщинами, запретилъ имъ даже смотрѣть другъ на друга—„изъ чего въ его домѣ вышло два монастыря,—мужской и женской" [246]. Какъ кто провинится, сейчасъ —

„баринъ ударится въ тоску: „согрѣшили мы предъ Богомъ! Какое въ моемъ домѣ стало грѣхопаденіе: мужчина на женщину глядитъ и губами шевелитъ!" „Когда мужчина на женщину поглядитъ, то тѣмъ барина совсѣмъ разгорячитъ" [247].

Неразъ рисуютъ романисты людей „стараго закала", не признающихъ различныхъ нововведеній, напр., медицины. Одинъ изъ такихъ „старовѣровъ" такъ разсуждаетъ:

„старики наши за грѣхъ почитали и лѣкарей въ домъ не пускали, да не меньше нашево жили, а ежели кто, бывало, занеможетъ,—возьметъ на себя постъ—недѣлю не ѣстъ, да еще положитъ въ день поклоновъ земныхъ триста, да ночью двѣсти—лутче вашего проклятова биліару сдѣлаетъ моціонъ! Смотришь—и безъ лѣкаря здоровъ, а деньги цѣлы остались дома" [248].

На страницахъ русскихъ романовъ встрѣчаемъ мы неразъ свѣтлые образы простыхъ мужиковъ, — этихъ „новыхъ героевъ“ въ армякахъ и лаптяхъ,—трезво и спокойно глядящихъ на жизнь.

Немудрено, что „открытіе“ въ людяхъ низкаго состоянія не только наличности чистаго сердца и яснаго ума, но даже философскихъ взглядовъ на жизнь заставило писателей русскихъ съ особымъ восторгомъ останавливаться на этихъ „новыхъ герояхъ“, и пришедшихъ на смѣну рыцарямъ и маркизамъ. —

„Вы заставляете меня забывать низкость вашего состоянія, сказала (такому новому герою) Умозора, и чтить ваше человѣколюбіе!.. Конечно, добродѣтель не разбираетъ благороднаго рожденія, — она, поселяясь въ сердца человѣческія, затмѣваетъ собою низкость рода; она раждаетъ благородныя мысли, она умягчаетъ жестокость чувствъ“ [249].

„... не удивительно, если просвѣщенный человѣкъ сдѣлаетъ разумное, но разъ до сознательнаго отношенія къ добру дошелъ своимъ умомъ мужикъ—это великое дѣло“.

— говоритъ одинъ писатель.

Иногда, рядомъ съ образами положительными, авторъ нарочно ставитъ другихъ, которые оторваны отъ „земли“, отъ родной деревни и испорчены „городомъ“.

Такъ, въ одномъ произведеніи выведены два противоположные, по вкусамъ, мужика: одинъ—хорошаго поведенія, хорошій семьянинъ, другой—пьяница, съ презрѣніемъ относящійся къ деревнѣ; онъ смѣется надъ „деревенщиной“-мужикомъ, говоритъ, что—

„тотъ годится только пахать землю, да развѣ въ рекруты“ [250].

Молодые баричи поддерживаютъ его. На это осмѣянный крестьянинъ отвѣчаетъ: —

„не будетъ пахатника—не будетъ и бархатника!“ [251].

Очень любопытенъ одинъ разговоръ барина съ извозчикомъ,— разговоръ, очевидно, записанный безъ измѣненія:

„Сколько ты подати платишь? Я думаю много, съ дѣтьми вмѣстѣ?- „Немножко и трудно, отвѣчалъ извощикъ, да чтожъ дѣлать! Видно, надобно столько,—такъ для того и требуютъ. Вить для насъ трудятся, сударикъ; день и ночь не спятъ другіе, а иной, батюшка, теряетъ здоровье, а служивой-то и умираетъ за насъ—тогда, какъ мнѣ въ моей семьѣ и горя нѣтъ! Сколькожъ еще есть бѣдныхъ людей! ...Вить имъ надобно помогать. Я одинъ всѣхъ не надѣлю, а міромъ-то — кто денежку, кто полушку—анъ бѣдному человѣку и хлѣбъ насущной, и никому это нетягостно“ [252].

У этого старика-извозчика два сына, одинъ — хорошій, другой — дурной: подъ вліяніемъ жизни въ городѣ онъ отъ рукъ отбился; по словамъ старика—

„научился въ Москвѣ всему хорошему!.. Пить, гулять, мошенничать!—это его первое дѣло. Меня не почитаетъ. Ругаетъ похабными словами... Чуть не бьетъ!.. Надъ старыми людьми смѣется!.. Господь знаетъ, какъ его сыра-земля держитъ! ...Два раза наказывалъ я его на міру; билъ его больно управитель, унѣщевалъ и священникъ—ну, какъ нѣтъ, такъ и нѣтъ!“ 253.

Когда дошло дѣло до расплаты, то авторъ былъ удивленъ, что старикъ-извозчикъ считаетъ „грѣхомъ“ „запрашивать“ лишнее. Онъ такъ разсуждаетъ по этому поводу:

„черезъ это и тебя въ грѣхъ ввелъ бы, и объ себѣ заставилъ бы худо подумать!“...—„Почемужъ, старинушка?“ спросилъ я его съ любопытствомъ. „Куда, какъ же, батюшка! Коли бы я запросилъ съ тебя больше, такъ бы за это съ досады, можетъ быть, и выбранилъ бы меня. Вотъ бы я тебя и ввелъ въ грѣхъ! Да ещебъ ты сказалъ, батюшка: „экой какой это старикъ! Хочетъ деньги брать и напрасно!.. А я, батюшка, не привыкъ этого дѣлать“!.. Тутъ вдругъ онъ вынулъ изъ пазухи ломоть хлѣба и, показывая его мнѣ, дрожащимъ отъ чувствительности голосомъ сказалъ: „видишь, батюшка, что̀ я ѣмъ, то и лошадь моя. Она помогаетъ мнѣ въ работѣ, а я и дѣлюсь съ нею тѣмъ, что̀ заработалъ. Да я думаю: коли мнѣ кусокъ сладокъ, то и ей не горекъ! Что̀ мнѣ нужды, батюшка, кто какъ хочетъ живи, а я хочу жить чистыми своими трудами, и, не хочу ни одной, какова есть, полушки незаслуженой! Умру, батюшка спокойно, и не отдамъ никому отвѣта въ томъ, чего я не сдѣлалъ!“ 254.

Онъ разсказываетъ, какъ однажды вернулъ сѣдоку забытыя имъ деньги и какъ надъ его честностью смѣялись товарищи-извозчики:

„я и сталъ себѣ послѣ думать: „ну коли бы я, батюшка, деньги эти увезъ, а онѣ были, можетъ быть, чужіи, либо хозяинъ былъ какой человѣкъ бѣдной? то что̀?.. Не пришолъ ли бы онъ на мою могилу плакаться о своемъ нещастіи?.. Я, думаю, сударикъ, что его слеза дошла бы до моего гроба, и кости бы мои поворотила; а передъ Господомъ Богомъ какой бы я далъ отвѣтъ?“ 255.

Жизнью своею старикъ, въ общемъ, доволенъ —

... коли обо всемъ стать сожалѣть, то и вѣку нашего не станетъ! По чему бы я зналъ, что я хорошо живу, коли худа за собой не вижу? что̀ еще мое за нещастіе?.. Люди больше моего терпятъ! Господь Богъ и самъ сколько потерпѣлъ за насъ грѣшныхъ, да еще—невинно! А мы, кажется, все терпимъ по дѣламъ... Богъ все видитъ и знаетъ, а совѣсть-то, вить, не молчитъ; такъ неужъ то онъ, Свѣтъ, не огляпется на насъ?“ 256.

Русская деревня и ея обитатели были для авторовъ повѣстей особо-интереснымъ предметомъ разсказовъ и описаній. Любопытно, что жизнь нашихъ крестьянъ освѣтилась въ романахъ съ двухъ, совершенно различныхъ, сторонъ: одни рисовали ея отрицательныя

стороны: безотрадныя картины русской дѣйствительности, другіе— останавливались на сторонахъ болѣе свѣтлыхъ. Но любопытно то, что, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, и тѣ, и другіе сумѣли воздержаться отъ тенденціозности и остаться безпристрастными, объективными художниками.

Привожу нѣсколько примѣровъ. Вотъ описаніе одного захудалаго мужичка:

„Сысой Фофановъ, сынъ Дурносоповъ, родился въ деревнѣ, отдаленной отъ города, воспитанъ хлѣбомъ и водою, бывъ повитъ прежде пеленами, которые тонкостью и мягкостію своею не много уступали циновкѣ; лежалъ на локтѣ, вмѣсто колыбели, въ избѣ, лѣтомъ жаркой, а зимой дымной; до десятилѣтняго возраста своего ходилъ босикомъ и безъ кафтана, претерпѣвалъ равномѣрно лѣтомъ несносный жаръ, а зимой нестерпимую стужу; слѣпни, комары, пчелы и осы вмѣсто городского жиру въ времена жаркія наполняли тѣло его опухолью. До двадцатипяти лѣтъ, въ лучшемъ уже убранствѣ противъ прежняго, то есть въ лаптяхъ и въ сѣромъ кафтанѣ, ворочалъ онъ на поляхъ землю глыбами и въ потѣ лица своего употреблялъ первобытную свою пищу, то есть хлѣбъ и воду, со удовольствіемъ“ [257].

Другой герой жилъ—

„...въ такой деревнѣ, гдѣ изо всѣхъ мужиковъ не можно сдѣлать ни одного философа,—всякой охотнѣе упражнялся въ удобреніи нивы, нежели въ познаніи самаго себя“. „На какой конецъ имѣетъ онъ данную ему жизнь, имъ и въ голову не приходило“... Если бы съ ними объ этомъ заговорить, „то бы они почли тебя сумасшедшимъ и велѣли-бы пустить кровь“ [258].

Реально и, въ то же время, художественно-объективно изображена бѣдность деревни:

„... встрѣтилась со мною расчесанная деревня: я узналъ тотчасъ по ея платью, что не могу тутъ выпросить ни одного куска хлѣба“ [259].

„... Что же ты пришелъ съ пустыми руками?“ спросилъ я у воротившагося Пантеленча; принесъ ли что? „Принесъ, сударь!.. огня“— „И только?“—„Да у кого же что взять, сударь?—во всей деревнѣ нѣтъ ни живова курешка!“—„Ну, такъ молока то для чего не сыскалъ?“— „Гдѣ же прикажете сыскать?.. Нѣтъ ни бѣшеной собаки!“ [260].

Вотъ, напримѣръ, два описанія внутренняго вида бѣдной избы:

„Какъ скоро мы туда прибыли, то и возвели насъ въ покой, хорошо убранной, гдѣ люди и скотъ вмѣстѣ находились: мущины, женщины, дѣти, работники и служанки, свиньи, коровы, собаки, кошки, куры и гуси,—все было собрано тамъ, съ тѣмъ только различіемъ, что для людей сдѣлано было мѣсто нѣсколько повышеннѣе... Огонь горѣлъ посрединѣ на земляномъ полу, около котораго сидѣли, какъ путешественники, такъ и домашніе; очищали себя отъ чаду, который

весьма ихъ тревожилъ. Дымъ выходилъ въ одно отверстіе, и котлы висѣли на цѣпяхъ надъ огнемъ, въ которыхъ варили они грубую свою пищу" [261].

„... Маленькая избенка, внутри которой носились дымныя тучи и закрывали отъ взоровъ смертныхъ лазурь, закоптѣлаго потолка; по стѣнамъ и по столу ползалъ неисчислимый содомъ и геморъ, а снизу курились ароматы, достойные своихъ обитателей" [262].

Нерѣдки въ русскихъ повѣстяхъ сцены, дающія представленіе о грубости русской деревенской жизни.

Такъ, напримѣръ, въ одной повѣсти изображается деревенское сраженіе: изъ-за лошади, попавшей въ чужой хлѣбъ, дерутся двѣ деревни; цѣпы, дубины, колья—все пущено въ дѣло.

„Своевольные мужики обыкли больше управляться сами, нежели искать удовольствія въ правосудіи... Они въ мигъ разладили, и каждый свое право началъ доказывать естественно, то есть оплѣшинами и кулаками" [263].

„Въ ихъ глазахъ одинъ отважной съ глупостью крестьянинъ ударилъ другаго въ самое темя оглоблею, не сказавъ ему, чтобы онъ посторонился, такъ неосторожно, что мужикъ тотъ въ одну минуту переселился на тотъ свѣтъ" [264].

По словамъ романистовъ, русскіе мужички въ XVIII-го в. не отличались особымъ милосердіемъ:

„рѣдкіе примутъ на себя трудъ, дабы оказать услугу нужду имѣющему и страждущему человѣку—открыть окошко и ему подать кусокъ хлѣба, или ковшъ воды" [265].

Но, повторяю, кромѣ указаній на эти отрицательныя стороны русской деревенской жизни, мы найдемъ неразъ картинки и свѣтлыя, и при томъ часто безъ приторной идеализаціи. Таковы, напримѣръ, разсказы о развлеченіяхъ сельской молодежи.

Одна дѣвушка вспоминаетъ о беззаботныхъ деревенскихъ играхъ, хороводахъ,—о томъ, какъ она —

„... завивала березку, заплетала вѣночки, пѣла, плясала вокругъ душистой липки, разноцвѣтными лентами, жемчужными ожерельями обвѣшенной".

Деревенскія пляски происходили „по гудку" [266].

„Во время Святковъ во всѣхъ мѣстахъ на Руси у обоего пола, возраста, достоинства и достатка людей, бываютъ ночныя сборищи, въ городахъ—комедіи, въ деревняхъ у дворянъ—вечеринки, а у крестьянъ и другой черни—игрища" [267].

„...не только во время святошнаго торжества въ Руси бываютъ ночныя сборищи и забавы, — то же самое случается и объ маслечной недѣлѣ" [268].

Въ одной повѣсти встрѣчаемъ мы подробное описаніе сельскихъ забавъ. Молодежь танцуетъ подъ звуки свирѣли, а —

„подгулявшіе старички, сидѣвшіе въ кружокъ, съ удовольствіемъ воспоминая о своей молодости, смотрѣли на нихъ умильнымъ окомъ и, не вытерпи, присоединились къ молодымъ... Но, чувствуя, что обветшалыя силы ихъ не позволяютъ имъ рѣзвиться, что отъ десяти прыжковъ они устали, принужденными нашлись отъ хороводу удалиться и сказать, что у нихъ головы закружились“ [269].

„Ничего не было забавнѣе, какъ смотрѣть на толпу барскихъ барынь, пышно наряженныхъ, которыя, со всевозможнымъ жеманствомъ, открыли сельской балъ пляскою со смѣшными кривляньями. Потомъ заиграла роговая музыка разныя охотничьи пѣсни, марши и городскія танцовальные штуки, коимъ прилѣжно внимали вокругъ ушатовъ, наполненныхъ пивомъ и виномъ, сидящіе раскраснѣвшіеся мужички: но вдругъ они вскакиваютъ, надѣваютъ шляпы, берутъ своихъ женъ и подругъ, начинаютъ прыгать, держа въ одной рукѣ деревянной, или глиняной стаканъ съ виномъ, а другою—свою даму. Имъ нѣту нужды въ томъ, что́ играютъ,—пѣсню ли, полекой ли, маршъ ли, минуетъ ли,—они только прыгаютъ, несмотря на то, что вино изъ стакановъ ихъ плещется“ [270].

„...На конецъ, наступилъ толико желанный имъ день. Село его наполнилось тогда разряженными крестьянами и крестьянками, въ числѣ коихъ было довольно наипрекраснѣйшихъ. Ни одинъ, проѣзжающей мимо его окошекъ, поселянинъ изъ другой деревни, пріѣхавшей съ своею наряженною въ блестящее, но не роскошное, платье семьею и сидящею въ телѣгѣ, не преминулъ того, чтобы не снять предъ нимъ пестрыми лентами перевитой своей шляпы, и не прокричать ему послѣ низкаго поклона поздравленія съ праздникомъ и желанія многолѣтной жизни“ [271].

„...Веселость продолжалась до самаго вечера, по наступленіи коего всѣ пошли по домамъ таковымъ порядкомъ: молодыя дѣвушки шли кучею въ передъ, за ними холостые молодцы, а за ними подгулявшіе крестьяна съ женами, приплясывая и крича не складныя пѣсни, коими заглушалося согласное пѣніе лѣповидныхъ предшественницъ и сановитыхъ предшественниковъ. Сіе шествіе блаженствующихъ и щастливыхъ поселянъ замыкалося старостою и важнымъ толстобрюхимъ прикащикомъ“ [272].

Неразъ романисты указывали на хорошія отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ, неразъ говорили о той любви, которою платили тѣ своимъ господамъ за ихъ доброту. Одинъ старикъ такъ разсказываетъ о своемъ хорошемъ баринѣ:

„Меня отдали въ солдаты еще при покойномъ дѣдѣ нынѣшняго князя. Дай Богъ ему царство небесное! былъ добрый господинъ. Онъ былъ отецъ нашъ, а не господинъ. Самъ зналъ службу и нужду видалъ. Самъ служилъ царю Петру Первому; а тогда служба потруднѣе была“ [273].

Одинъ старый „однодворецъ“ такъ охарактеризовалъ своего покойнаго барина въ разговорѣ съ его сыномъ:

„Вашъ батюшко былъ добродѣтельной человѣкъ: онъ далъ мнѣ

хлѣбъ насущный,—онъ записалъ сына моего въ службу; онъ посѣщалъ меня, дрожащія руки мои не рѣдко прижимали его къ моей иссохшей груди!.. Позволь (сквозь слезы говоря), позволь, любезное дитя, мнѣ и тебя также обнять" 274.

Въ одной повѣсти разсказана трогательная исторія о томъ, какъ обѣднѣвшій дворянинъ принужденъ былъ продавать своего преданнаго слугу.

„...Петръ—такъ звали его—послѣ нѣсколькихъ минутъ молчаливой борьбы съ самимъ собою, напослѣдокъ, всхлипывая, воскликнулъ: „Баринъ! не продавай меня. Руки мои здоровы, голова также! Отпусти меня по паспорту, и я надѣюсь пропитать тебя" 275.

„Поселяне справедливо называли его ангеломъ - утѣшителемъ своимъ. Съ какою ласкою укрощалъ онъ ихъ распрю и съ какимъ восхищеніемъ облегчалъ судьбу несчастнаго" 276.

Особенно въ романахъ конца XVIII в. подчеркнуто признаніе за крестьянами „человѣческихъ" чертъ: „Бѣдная Лиза" Карамзина, въ этомъ отношеніи, не стоитъ одиноко,—во многихъ произведеніяхъ найдемъ мы выраженіе той-же гуманной точки зрѣнія, что и у Карамзина:

„Чувствовать умѣетъ и всякая крестьянка" 277.

„Чувствительность встрѣчается намъ и въ низкомъ состояніи,—она сопряжена съ любовью природы" 278.

„Кто же изъ насъ откажетъ въ нѣжной чувствительности и низкому состоянію" 279.

Любовь дворянина къ простой крестьянской дѣвушкѣ фигурируетъ неразъ на страницахъ русскаго романа XVIII вѣка. И неразъ встрѣтимъ мы на страницахъ романовъ заявленія, въ родѣ слѣдующихъ:

„Любовь къ простой дѣвѣ не есть порокъ" 280.

„Добродѣтели, а не порода дѣлаютъ людей почтенными" 281.

„Ни знаменитое, ни низкое порожденіе чувства (любви) позорнымъ не дѣлаетъ" 282.

„Человѣчество не въ знатности рода состоитъ, а въ поступкахъ, достойныхъ человѣка 283.

Въ одномъ романѣ герой женится на крестьянкѣ, такъ какъ не считаетъ это для себя унизительнымъ 284; въ другомъ романѣ герой называетъ „предразсудкомъ" установившееся мнѣніе, будто жениться на „простой" неприлично,—

„...предразсудокъ тамъ только полезенъ, гдѣ онъ отражаетъ, или удерживаетъ зло; а тамъ онъ самъ есть зло, гдѣ сражается съ добродѣтелью. И лутче женится на поселянкѣ, да на благонравной, нежели на знатной и на богатой графинѣ, или княжнѣ, да злонравной и на расточительной" 285.

„не ужели только по одному равенству можно любить? Не ужели

состоянія препятствуютъ? Вить онъ такой же человѣкъ, какъ и я, въ немъ таже душа, тѣже чувствованія, такъ чѣмъ же мы неравны?" [286].

„...красавица низкаго состоянія столько же любезна, сколько и самая прелестная царевна" [287].

Неразъ въ романахъ попадаются образы вѣрныхъ „дядекъ", преданныхъ слугъ и старыхъ нянь. Они являются часто въ роли „утѣшителей"-друзей. Напримѣръ:

„Сѣдая голова его склонилась къ колѣнямъ стоящаго господина; спина скорчилась; одна рука повисла къ землѣ, другая держалась за полу молодаго человѣка. Сей послѣдній наклонился, и положилъ одну руку на плечо старика, которой, почувствовавъ ее на себѣ, приподнялъ голову, взглянулъ на него и, сквозь слезы, сказалъ прямымъ, сердечнымъ языкомъ: „баринъ, любезной мой баринъ!" Лица ихъ сблизились,—они бросились другъ къ другу въ объятія; слезы ихъ смѣшались... Въ сію минуту исчезло для нихъ человѣческое неравенство. Забывъ всѣ общественныя различія, они обнимались, какъ человѣкъ съ человѣкомъ" [288].

Героиня одного романа сильно влюбилась и тосковала. Тайну ея сердца узнала ея старая няня, —

„которую она любила безмѣрно и которая прилѣплена была къ ней всею душею. Сія добрая женщина, хотя съ великимъ трудомъ, но извлекла тайну изъ сердца Юліи" [289].

Желая помочь Юліи, старуха явилась къ герою и—

„стараясь удержать текущія слезы, говоритъ ему томнымъ голосомъ: „я настрадалась, глядя на бѣдную мою барышню; она вянетъ, какъ цвѣтокъ въ полѣ... Ты, сударь! ты возмутилъ покой и веселость ея молодыхъ лѣтъ... Ахъ! за чѣмъ тебя Богъ принесъ сюда? Но естьли ты доброй и честной господинъ, то жизнь ея съ тобою будетъ щастлива! Ежели мила тебѣ Юлія, то проси ее у батюшки... Можетъ быть, самъ Царь Небесный создалъ васъ другъ для друга... Можетъ, Онъ судилъ вамъ быть благополучными вмѣстѣ,—а мы какъ бы ради были увидѣть въ тебѣ нѣкогда нашего господина" [290].

Нѣсколько разъ мелькаютъ въ романахъ симпатичные образы дворянъ, честно послужившихъ отечеству и мирно доживающихъ свои дни въ родной деревнѣ.

„Мы разговаривали о тѣхъ временахъ, когда рускіе дворяне, послуживъ вѣрою и правдою, послуживъ Богу, Царю и отечеству, возвращались въ свои помѣстья, жили въ деревенскихъ замкахъ своихъ, какъ маленькіе цари, гуляли съ своими сосѣдями, и въ тѣ веселыя минуты, когда оссіанская *чаша радости вокругъ ходила*, разсказывали другъ другу свои славные подвиги и показывали раны, полученныя ими въ служеніи отечеству. Ліодоръ, согласно съ нами, утверждалъ, что тогда было въ дворянахъ нашихъ болѣе *духа*, болѣе характерной *твердости*, нежели нынѣ, когда мы, погнавшись за блестящею *наружностію* другихъ націй, оставили все то, чѣмъ Богъ и Натура хотѣли отличить насъ отъ другихъ народовъ земли,—оставили, *забыли самихъ*

себя и сдѣлались во всемъ учениками и въ самой литературѣ, не будучи мастерами ни въ чемъ" [291].

„...Помѣщикъ этотъ служилъ... тридцать четыре года въ военной службѣ безъ всякаго порока, а теперь въ отставкѣ", „въ чинѣ первостатейнаго сотника", живетъ въ деревнѣ „благополучно", имѣетъ дѣтей и старается „уготовить ихъ для защищенія отечества" [292].

Въ одномъ романѣ выведенъ такой же „служилый" дворянинъ фамиліи —

„хотя незнатной, но добродѣтельной и честной".—Отецъ и сынъ служили отечеству вѣрно въ походахъ, на поляхъ Пруссіи, Польши и Турціи; ихъ „фамилія", за главный предметъ всегда поставляла себѣ исполнять въ точности, безъ нарушенія, законы, предписанные природою для всякаго смертнаго" [293].

Такихъ простыхъ, благодушныхъ людей, которые, честно потрудившись на пользу родины, тихо доживали свои дни на покоѣ, было, повидимому, немало. Ихъ существованіе, съ благодушной простотой, отмѣчаютъ нераз наши романисты XVIII-го вѣка. Вотъ, напримѣръ, описаніе одного такого дома,—собрались гости:

„тутъ не такъ, какъ въ знатныхъ домахъ гости, забывая о малопекущейся о нихъ хозяйкѣ, отъ скуки не занимаются ни картами, ни разсматриваньемъ сладострастіемъ дышащихъ картинъ... Тутъ никто никого не пересуживалъ, не поносилъ; язвительныя насмѣшки никого не обижали", — рѣчи велись о плодородіи, о милостяхъ Божіихъ и Царскихъ, о добродѣтеляхъ человѣческихъ, о сожалѣніи ближняго и о прочемъ сему подобномъ. Хмельная брага замѣняла вино, и она для нихъ вкуснѣе была дорогихъ напитковъ" [294].

Гриневы, Ларины—вотъ дворянскія семьи этого типа, отмѣченныя впослѣдствіи Пушкинымъ...

Подобно тому, какъ жизненность *идейной* стороны русскаго романа можетъ быть доказана фактами, извлеченными изъ другихъ популярныхъ литературныхъ жанровъ вѣка, главнымъ, образомъ, изъ матеріаловъ историческихъ,—такъ и правдивость романа, *въ бытовомъ отношеніи*, можетъ быть удостовѣрена такимъ же сличеніемъ показаній романа съ данными, извлеченными изъ *журналовъ*, изъ *драматическихъ произведеній* (главнымъ образомъ, комедій) и *мемуаровъ*.

Какъ въ романѣ, такъ и въ указанныхъ литературныхъ видахъ всего полнѣе представлена жизнь дворянства; вопросы воспитанія, вопросы жгучіе въ XVIII-омъ столѣтіи, вездѣ выступаютъ на первый планъ, — вотъ почему не только по романамъ, но и по журналамъ, комедіямъ и запискамъ можемъ мы прослѣдить, шагъ за шагомъ, жизнь русскаго дворянина—передъ нами пройдутъ

картины безтолковаго домашняго воспитанія ребенка [295],—на рукахъ нянекъ и потомъ дядекъ [296]; образы фонвизинской Еремѣевны и пушкинскаго Савельича при этомъ неразъ мелькнутъ передъ нами... Воспитанникъ ихъ напомнитъ намъ собою, чаще всего, фонвизинскаго Митрофана [297],—въ лучшемъ случаѣ—пушкинскаго Гринева *). Французоманія русскаго общества въ началѣ вѣка и англоманія въ концѣ (увлеченіе чужимъ языкомъ, модами, міросозерцаніемъ) ставили молодого русскаго дворянчика, лицомъ къ лицу, съ иностранцами-воспитателями, въ духѣ Вральмана [298]; зато во многихъ семьяхъ процвѣталъ еще Часословъ и Псалтырь, и образованіе долго оставалось въ рукахъ крѣпостныхъ дядекъ, сельскихъ дьячковъ, или неудачниковъ-семинаристовъ, въ родѣ Кутейкина, которые дальше указанныхъ книгъ не вели своихъ учениковъ [299].

Типы родителей, въ худшемъ случаѣ—разновидности Простаковыхъ и Скотининыхъ [300], — въ лучшемъ случаѣ—Стародумы и Гриневы [301] тоже неразъ воскреснутъ въ нашей памяти.

Зачисленіе-ребенка дворянина на военную службу и полученіе имъ первыхъ чиновъ еще съ пеленокъ [302], пребываніе въ дореформенной школѣ, гдѣ ничему не учатъ, и жестоко дерутъ, или—во французскомъ пансіонѣ, гдѣ учатъ только новымъ языкамъ да „манерамъ“ [303]; сборы и выѣздъ юноши на службу **), въ сопровожденіи цѣлаго обоза и штата прислуги [304],—всѣ эти характерныя детали жизни XVIII-го вѣка, отмѣченныя въ романѣ, подтверждаются другими историческими и литературными показаніями.

Затѣмъ передъ нами раскрывается картина, дополняющая комедію Фонвизина: „Недоросль“: россійскій „митрофанъ“ попадаетъ въ столицу,—онъ—гвардейскій сержантъ, или офицеръ. Развратъ, разгулъ, картежная игра, полное бездѣлье на службѣ, мотовство, и часто, вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣрность прежнимъ деревенскимъ утѣхамъ (гоняніе голубей, увлеченіе боемъ пѣтушьимъ и пр.) [305]—вотъ, чѣмъ увлекается, въ большинствѣ случаевъ, молодой дворянчикъ, попавъ изъ рукъ нянекъ и дядекъ въ шумную столицу ***) на нѣсколько лѣтъ службы, въ чаяніи скорой отставки [306].

---

*) „Митрофаны“ отмѣчены мною не только въ дворинскомъ сословіи, но и въ купеческомъ, и въ духовномъ.

**) Я собралъ, впрочемъ, не только факты, изображающіе „выѣздъ на службу“, но вообще „дальнее путешествіе“ русскаго дворянина XVIII в. начала XIX-го вѣка.

***) Въ такомъ же положеніи часто оказывается россійскій „недоросль“, попавшій изъ русской деревни въ Парижъ, куда онъ пріѣзжаетъ для довершенія своего образованія.

Не менѣе обстоятельно характеризуется жизнь русскаго дворянина въ деревняхъ и въ городахъ. Рядъ яркихъ типовъ пройдетъ передъ нами; разнообразіе ихъ, порою даже полное противорѣчіе, говоритъ намъ о томъ, какъ рѣзко въ XVIII-омъ вѣкѣ столкнулось „новое“ со „старымъ“, „отцы“—съ „дѣтьми“ [307]: Стародумы, Правдины и Милоны— съ Простаковыми и Скотиниными. Это столкновеніе выразилось, прежде всего, въ попыткахъ молодежи отстоять права своего сердца на любовь, „по своему свободному выбору“; сказалось оно и въ различномъ отношеніи къ модамъ, наконецъ, къ вопросамъ образованія и вообще въ столкновеніи міросозерцаній... Примиренія между „старымъ“ и „новымъ“ не могло быть, и щеголь-нетиметръ *), побывавшій въ Парижѣ, или только бредившій Парижемъ, увлекающійся внѣшней стороной французской культуры и чуждый всего русскаго [308], и дворяне, проматывающіе свое состояніе [309] на домашніе оркестры, театры, на устройство шумныхъ и блестящихъ развлеченій [310], на содержаніе безчисленнаго штата челяди [311], псовой охоты [312], на картежную игру, которая въ XVIII-омъ вѣкѣ многихъ довела до шуллерства [313],—конечно, не могли создать той „культурной середины“, въ которой бы легко соединилось лучшее „старое“ съ лучшимъ „новымъ“. Вотъ почему и въ журналахъ, и въ комедіяхъ, и въ мемуарахъ, какъ въ комедіи „Недоросль“, встрѣчаемъ мы яркія противорѣчія въ типахъ,—такой контрастъ былъ въ самой жизни. Рядомъ съ необразованной русской дѣвушкой [314], выросшей въ дѣвичьей за пяльцами, или въ обществѣ приживалокъ и юродивыхъ, стоитъ передъ нами теперь и „образованная“, „ученая“ дѣвица, не только воспитанная на романахъ, но даже на Вольтерѣ, и Гельвеціи [315]; рядомъ съ „вольтерьянцемъ“, не вѣрящимъ „ни въ сонъ, ни въ чохъ [316] стоятъ грубые дикари „Скотинины, развлекающіе себя шумными попойками и разгуломъ,—необразованные, часто суевѣрные [317]. Рядомъ съ мотомъ-щеголемъ вырисовываются скупцы, въ духѣ Плюшкина [318], держащіе весь домъ впроголодь,—или люди благочестивые, религіозные и ханжи-изувѣры [319]; рядомъ съ безпринципнымъ фонвизинскимъ Иванушкой—вырисовываются передъ нами Гриневы — честные слуги отечества на военной службѣ, выросшіе съ яснымъ сознаніемъ своихъ дворянскихъ обязанностей передъ родиной“ [320].

---

*) Кромѣ фактовъ, характеризующихъ „щеголя“, я собралъ факты, характеризующіе и „щеголиху“; кромѣ того, собраны мною факты, представляющіе щеголя разныхъ сословій—изъ приказныхъ, изъ купцовъ даже изъ мужиковъ. Кромѣ щеголя-франта свѣтскаго отмѣченъ и щеголь-офицеръ.

Рядъ мелкихъ, но типичныхъ явленій русской жизни, отмѣченныхъ въ романѣ, повторяется и въ комедіяхъ, и въ мемуарахъ. Очевидно, и въ этомъ случаѣ, русскій романистъ былъ правдивъ и достаточно наблюдателенъ: „нахлѣбничество"—(обычай русскихъ дворянъ содержать при себѣ бѣдныхъ старыхъ дворянъ, дворянокъ, разныхъ приживалокъ, шутовъ, дуръ и пр.)—обычное явленіе русской дворянской жизни[321], соблюденіе старыхъ обрядовъ при похоронахъ, свадьбахъ, гаданіе на святкахъ, гулянія въ Троицынъ день и пр.[322]; дворянскія развлеченія „на мужицкую стать"[323], (хороводы, народныя пѣсни, кулачные бои, пляски), разбойничество[324], самое широкое и организованное, бѣдность деревни, задавленной крѣпостничествомъ, мотовствомъ господъ, произволомъ прикащиковъ и старостъ[325], суровое отношеніе господъ и ихъ помощниковъ къ крестьянамъ[326],—и, въ то же время, наличность помѣщиковъ гуманныхъ и добрыхъ, патріархально управляющихъ своими рабами[327], всевозможныя дворянскія „маніячества"[328] (увлеченіе театромъ, лошадями, коллекціонерствомъ, прожектерствомъ, пѣтушиными боями, алхиміей, энциклопедизмомъ знаній, стихоплетствомъ), ростовщичество*)[329], вѣчныя ссоры за землю и тяжбы[330],—все это вѣрныя черты быта, взятыя русскими романистами изъ самой дѣйствительности.

Жизнь простого солдата-мужика, отмѣченная въ романѣ XVIII-го вѣка, тоже въ различныхъ подробностяхъ находитъ себѣ подтвержденіе: прежде всего, неразъ мы встрѣтимъ картину рекрутскаго набора, со всѣми злоупотребленіями и ухищреніями, которыми сопровождался въ XVIII-омъ вѣкѣ этотъ процессъ „забриванія лба"[331]. Затѣмъ передъ нами пройдутъ различные типы русскихъ солдатъ: хорошіе солдаты, служаки Богу, царю и родинѣ—и лукавые пройдохи, отмѣченные еще народной сказкой[332]; мелькнетъ передъ нами и любопытный образъ плутоватаго фельдфебеля, или унтеръ-офицера, подъ началомъ котораго начинаютъ свою карьеру бездѣльники-дворянчики[333].

Различныя сцены изъ жизни дореформеннаго купечества,—сцены, тоже намѣченныя въ романѣ, находятъ себѣ подтвержденіе въ другихъ литературныхъ видахъ и мемуарахъ: наемъ учителя въ купеческой семьѣ, скучная жизнь купеческой дѣвицы взаперти, приводящая ее, въ концѣ концовъ, къ любовной связи съ сидѣль-

---

*) Причемъ въ комедіяхъ „ростовщиками" выводятся, обыкновенно, купцы и постоянно отмѣчается, какъ трудно имъ собрать долги съ дворянъ мотовъ.

цемъ-прикащикомъ, пьянство купчихъ и любовныя ихъ похожденія, „изысканный“ стиль купеческихъ писемъ, дѣловыхъ и любовныхъ [334],—все это яркія бытовыя детали, засвидѣтельствованныя не одними романами XVIII-го в. и нашедшія себѣ позднѣе полное и яркое воплощеніе въ комедіяхъ Островскаго. Въ XVIII-омъ вѣкѣ отмѣченныя въ романѣ, онѣ находятъ себѣ подтвержденіе и въ другихъ литературныхъ видахъ эпохи.

Находимъ мы и нѣсколько любопытныхъ данныхъ, подтверждающихъ показанія романа касательно жизни русскихъ студентовъ XVIII-го вѣка *) [335] и русскаго чиновничества **): типы приказныхъ-подъячихъ, взятки въ канцеляріяхъ [336], особенно на судѣ,—все это жизненныя явленія, отмѣченныя романомъ особенно ярко подтвержденныя комедіей XVIII-го вѣка. Наконецъ, отмѣченъ мною, характерный для XVIII-го вѣка, типъ „новоиспеченнаго дворянина“ изъ приказныхъ, духовныхъ, крестьянъ [338].

Попытка опредѣлить жизненность бытового элемента въ русскомъ романѣ, дала мнѣ огромное количество фактовъ, показывающихъ, что русскій романъ XVIII-го вѣка уловилъ все типичное въ русской жизни этой эпохи; если не все намѣченное выражено имъ всесторонне, глубоко и широко,—если, напримѣръ, бытовая комедія XVIII-го вѣка, въ этомъ отношеніи, была ярче его, — то, тѣмъ не менѣе, во многихъ отношеніяхъ, романъ оказался содержательнѣе,—такъ „идейную“ сторону жизни вѣка, отразилъ онъ всесторонне, глубже и сознательнѣе...

---

*) Я привелъ факты изъ жизни не только студенчества XVIII-го в., но и начала XIX в., чтобы показать, какъ быстро выросло самосознаніе русскаго общества за небольшой сравнительно промежутокъ времени. Студенты-универсанты середины XVIII-го в., принимающіе участіе въ „кулачныхъ бояхъ“ со студентами духовной академіи — и русскіе Ленскіе московскаго университета въ началѣ XIX в.—вотъ широкіе предѣлы, въ которыхъ за этотъ промежутокъ времени выросло русское общество.

**) Я подобралъ факты, характеризующіе вообще все тогдашнее русское чиновничество: воеводы, ихъ штатъ, судьи, ихъ секретари, стряпчіе, приказные разныхъ рангов и департаментовъ, ихъ частная и общественная жизнь—все это отмѣчено мною.

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ III-ьей главѣ.

1. *В. Сиповскій*, критич. разборъ сочиненія Ив. Ив. Иванова, „Политическая роль французскаго театра“ (Ж. М. Н. Пр., 1896); 2. *И-ца Екатерина*, „Сказка о царевичѣ Февеѣ“, 9; 3. Ibid., 11; 4. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, I, 50; 5. *А. Измайловъ*, „Евгеній“. I, 7; 6 Ibid., I, 9; 7. Ibid., 7; 8. Ibid., 8; 9. Ibid., 5; 10. Ibid., I, 6; 11. „Кривоносъ-домосѣдъ, страдалецъ модной“, 19—20; 12. *А. Измайловъ*, „Евгеній“. I. 10—1; 13. *Н. Эмикъ*, „Игра судьбы“. 1789. 67—9; 14. „Зубоскалъ“. II, 21; 15. „Кривоносъ“, 20—1; 16. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“. I. 45; 17. *Друковцевъ*, „Сава“, 1781, 33; 18 *Чулковъ*, „Русскія сказки“, IV, 95—6; 19. „Зубоскалъ“, I. 2; 20. *Чулковъ*, „Русскія сказки“. IV. 119; 21. „Похожденіе россіянина“, 6; 22. *А. Измайловъ*, „Евгеній“, I, 12—3; 23. „Софья“ („Муза“. I, 210); 24. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, I, 85; 25. Ibid., 85; 26. Ibid., 89; 27. *А. Измайловъ*. „Евгеній“, 18; 28. Ibid., I. 19—20; 29. Ibid., 21—23; 30. *А. Измайловъ*. „Евгеній“. 12; 31. Ibid., I, 25; 32. Ibid., 23; 33. 24; 34. 28—29; 35. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, IV, 86—7; 36. Ibid., VII, 31—2; 37. *А. Измайловъ*, „Евгеній“, I, 48—9; 38. Ibid., II, 200; 39. *Друковцевъ*, „Сава“. 57—8; 40. Ibid.; 41. Ibid., 8; 42. *А. Измайловъ*, „Евгеній“, 50; 43. 52; 44. 53; 45. 103; 46. „Кривоносъ“, 4—5; 47. *А. Измайловъ*, „Евгеній“, II, 217; 48. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, II, 159; 49. „Письмо къ Б**“ („Пр. и пол. препр. вр.“, XVIII, 152); 50. Ibid., 151; 51. Ibid., 71; 52. Ibid., 73; 53. *А. Измайловъ*, „Евгеній“. I, 142—3; 54. Ibid., II, 172; 55. Ibid., I, 57—89; 56. Ibid., 59. 57. Ibid.; 58. *Эмикъ, Н.*, „Роза“, 98—9; 59. Ibid., 130—131; 60. Ibid., 115; 61. Ibid., 117; 62. *Измайловъ, А.*, II, 160; 63. Ibid., II, 160—1; 64. Ibid., II, 160—3; 65. Ibid., II. 93—5; 66. Ibid., II, 35—38; 67. „Храброй философъ“, 31; 68. Ibid., 32—3; 69. Ibid., 37; 70. Ibid., 36, 38—9; 71. *Измайловъ, А.*, II, 89; 72. Ibid., II, 85; 73. Ibid., II, 75; 74. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, V. 206; 75. *Львовъ. Н.*, „Любимъ и Роза“, 65; 76. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, V. 191—2. 77. Ibid., 192—3; 78. „Храброй философъ“, 13—14; 79. 12; 80. 59; 81. 59—60; 82. 62—3; 83. 51—2; 84. 17—19; 85. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, III, 229; 86. Ibid., III, 229; 87. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, I. 78; 88. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, II, 89—90; 89. *Эмикъ, Н.*, „Игра судьбы“, 89—92; 90. Ibid., 93—4; 91. „Несчастная Маргарита“, 22—3; 92. Ibid., 26; 93. 23—4; 94. *Новиковъ*, „Похожденія Ивана...“, I, 162; 95. „Несчастная Маргарита“; 96. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, IV, 215; 97. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана...“, II, 27—8; 98. Ibid., IV, 217; 99. „Зубоскалъ“. I. 22; 100. *Громовъ*, „Любовники и супруги“, 227; 101. Ibid., 228—9; 102. 230; 103. 230; 104. 235—7; 105. „Зубоскалъ“, I, 21; 106. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“. I, 46; 107. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, III, 156; 108. Ibid., 172; 109. Ibid., 162; 110. 163; 111. 181; 112. „Филонъ“ („Муза“, III, 138—9); 113. „Гонимая невинность“, 29; 114. *Измайловъ. А.*, „Евгеній“. II, 55—6; 115. „Филонъ“ („Муза“, III, 232); 116. *Чулковъ*, „Пригожая повариха“, 85; 117. „Филонъ“ („Муза“, III, 157); 118. *Камаровъ*, „Нещастной Никаноръ“, 31; 119. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, II, 53; 120. Ibid., 53; 121. *Камаровъ*, „Нещастной Никаноръ“, III, 152; 122. Ibid., III, 169—170; 123. Ibid., II, 51; еще вісна: „Посреди войны кровавой“ (Ibid., III, 119); „Ахъ! за чтожъ я такъ отвѣчаю?“ (Ibid., 128); „Ѣдель мой духъ во мнѣ остался“ (Ibid., 191); 124. *Друковцевъ*, „Сава“, 67; 125. *Львовъ, Н.*, „Россійская Памела“, II, 61; 126. *Эмикъ, Н.*, „Игра судьбы“, 21;

127. „Селимъ и Роксана“, 17; 128. „Мои свадебныя приключенія“ („Магазинъ общепол. свѣд.“, II, 115—6); 129. Ibid., 116; 130. Ibid., 40; 131. „Храброй философъ“, 1—3; 132. *Львовъ, П.*, „Роза и Любимъ“, 52; 133. Ibid., 52—3; 134. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, 111; 135. „Софія“ („Пр. и пол. препр. вр.“, II, 305); 136. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, I, 82—3; 137. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, I, 7; 138. Ibid., II, 66—7; 139. „Александръ и Юлія“, 99; 140. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, VII, 48; 141. Ibid., IV, 97—8; 142. Ibid., VII, 18; 143. „Утренники влюбленнаго“, 16—7; 144. Ibid., 47—8; 145. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, V, 211; 146. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, I, 78; 147. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, II, 148—9; 148. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, I, 67; 149. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, I, 113; 150. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, II, 43; 151. *Чулковъ*, „Пригожая поварихи“, 23—4; 152. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, V, 213—22; 153. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, VI, 271; 154. Ibid., IV, 83—4; 155. Ibid., II, 33; 156. Ibid., V, 167; еще: VI, 179; 157. Ibid., V, 185—6; 158. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, I, 138; 159. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, V, 197; 160. Ibid., V, 198; 161. „Роза“, 10—11; 162. *Камаровъ*, „Нещастной Никаноръ“, I, 3; 163. Ibid., I, 4; 164. Ibid., 5; 165. Ibid., 166. Ibid., 5; 167. *Друковцевъ*, „Сава“, 24; 168. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, VI, 262—3; 169. „Разныя повѣствованія“, 67; 170. „Неонила“, I, 5—6; 171. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, II, 57; 172. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, II, 17; 173. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, II, 66; 174. „Повѣствованія одного россіанина“, 6; 175. „Александръ и Юлія“, 90; 176. „Милыя, нѣжныя сердца“, 28; 177. „Александръ и Юлія“, 90; 178. „Роза“, 31; 179. *Камаровъ*, „Никаноръ“, 171; 180. „Неонила“, I, 151—5, 121, 138; 181. „Роза“, 14; 182. „Александръ и Юлія“, 122; 183. „Роза“, 29; 184. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, 82; 185. *Камаровъ*, „Никаноръ“, 73; 186. „Александръ и Юлія“, 115; 187. Ibid., 115; 188. „Вояжъ моего друга“, 106; 189. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, IV, 238; 190. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, I, 70—1; 191. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, I, 55—7; 192. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, I, 93; 193. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, I, 24; 194. Ibid., I, 73; 195. Ibib., IV, 205; 196. Ibid., IV, 206—7; 197. Ibid., I, 74; 198. Ibid., I, 14; 199. „Странныя приключенія Могушкина“, I, 2—3; 200. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, II, 145; 201. „Неонила“, 140; 202. „Зубоскалъ“, I, 8—10; 203. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, II, 150; 204. *Друковцевъ*, „Сава“, 50; 205. Ibid., 50; 206 *Чулковъ*, „Русскія сказки“, IV, 102; 207. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана...“, 61—2; 208. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, IV, 291; 209. Ibid., III, 222; 210. Ibid., I, 69; еще: „Зубоскалъ“, I, 15, 17; 211. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана гостинаго сына“, I, 17; 212. „Зубоскалъ“, I, 19; 213. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана...“, I, 66—7; 214. Ibid., I, 52—3; 215. Ibid., I, 22; 216. „Похожденіе Ивана...“, I, 16; 217. Ibid., I, 63; 218. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, IV, 215; 219. Ibid., 213; 220. Ibid., IV, 216; 221. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана...“, II, 92; 222. Ibid., II, 93; 223. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, VII, 14; 224. „Зубоскалъ“, II, 24; 225. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, IV, 112; 226. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, II, 88; 227. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, IV, 95—6; 228. Ibid., I, 96—7; 229. *Друковцевъ*, „Сава“, 75; 230. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, I, 33; 231. *И-на Екатерина*, „Сказка о Горѣ богатырѣ“, 4; 232. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, II, 15; 233. *Эмминъ, Н.*, „Игра судьбы“, 94; 234. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, II, 159; 235. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана...“, II, 15; 236. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, VI, 197; 237. „Не прямо въ глазъ, а въ самую бровь“, II, 63; 238. Ibid., 239. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, V, 291—2; 240. Ibid., VII, 84—6; 241. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, I, 11; 242. Ibid., I, 14; 243. *Друковцевъ*, „Сава“, 56; 244. Ibid., 245. Ibid., 53—7; 246. Ibid., 63; 247. Ibid., 63—4; 248. Ibid., 57; 249 „Разныя повѣствованія“, 75; 250. *Измайловъ, А.*, „Евгеній“, I, 116; 251. Ibid., 252. „Навощикъ“ („Пр. и пол. препр. вр.“, XIV, 409); 253. Ibid., 407; 254. Ibid., 405; 255. Ibid., 406; 256. Ibid., 408; 257. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, V, 189; 258. Ibid., IV, 200—1; 259. Ibid., 77; 260. „Вояжъ моего друга“ („Пр. и пол. препр. вр.“, XVII, 101); 261. „Странныя приключенія Могушкина“, I, 222; 262. „Вояжъ моего друга“, 114; 263. *Чулковъ*, „Русскія сказки“, IV, 106—7; 264. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ“, III, 229; 265. „Странныя приключенія Могушкина“, I, 14—5; 266. *Новиковъ*, „Похожденіе Ивана...“, I, 115; 267. Ibid., I, 114—5; 268. Ibid., I, 121; 269. *Львовъ, П.*, „Роза и Любимъ“, 39; 270. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, I, 65—6; 271. Ibid., 60—1; 272. Ibid., I, 66; 273. „Храброй философъ“, 10; 274. *Львовъ, П.*, „Россійская Памела“, I, 10; 275. „Филонъ“, 15; 276. *Эмминъ, Н.*, „Роза“, 5; 277. „Ростовское озеро“ („Пр. и пол. препр. вр.“, VI, 310); 278. „Бѣглецъ“ („Пр. и пол. препр. вр.“, X, 401); 279. Ibid., 406; 280. *Херасковъ*,

„Кадмъ и Гармонія", I, 81; 281. *Херасковъ*, „Полидоръ", II, 149; 282. *Херасковъ*, „Кадмъ и Гармонія", I, 82; 283. *Херасковъ*, „Полидоръ", 24; 284. Ibid., 36; 285. *Львовъ, Н.*, „Россійская Памела", I, 16; 286. Ibid., I, 121; 287. Ibid., I, 21; 288. „Ростовское озеро" („Пр. и пол. препр. вр.", V, 26; 289. „Александръ и Юлія", 50; 290. Ibid., 51—2; 291. *Карамзинъ*, „Людоръ" (Моск. Журн., 1792, I, 315); 292. *Чулковъ*, „Пересмѣшникъ", IV, 196; 293. „Похожденіе россійнина", I, 2; 294. „Веселая бесѣда", 39. 295. Въ *журналахъ*: „Полезное Увеселеніе", 1761, I, 18; „Барышекъ Всякой Всячины", 1770, 151—4; „И то и сіе", 1769, № 42; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, № 1, 20; „Зритель", 1792, III, 68—9. Въ *драмахъ*: И-ца Екатерина, „Разстроенная семья острожками и подозрѣніями", ком., 1788, Р. О., XX; Титовъ, „Истинный другъ", 1795, 2; „Милозоръ и Прелеста", оп., 1787, Р. О., XXVI; „Награжденная добродѣтель", др., 1787, Р. О., IX; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI, 77. Въ *мемуарахъ*: „Ф. Як. Марковичъ, его жизнеописаніе", Спб., 1889, 118; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ", Р. В., 1876, № 7, 87. 296. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 3; „Адская Почта", 1769, 31; „Кошелекъ", 1771, 88; „Барышекъ Всякой Всячины", 151—4; „Смѣсь", 1769, 220; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, III, 37—8; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, I, 43. Въ *драмахъ*: Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленный", 1765, Р. О., XIX, 37—8; Прокудинъ, „Добродѣтель, увѣнчанная вѣрностью", 1771, Р. О., XXV, 137; „Вѣрный другъ въ нещастьи познается", 1796, 65—6; „Поскорѣй, пока не провѣдали", 1796, 4; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800, 117; И-ца Екатерина, „Храброй и смѣлой витязь Архидѣичъ", 1787, Р. О., XX; ея же: „Февей", 1786, Р. О., XX; „Чувствованія благотворенія", 1787, Р. О., XXXIV, 207. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго", М., 1901, 27, 29—30; „Семейная хроника", записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 17; „Очеркъ моей жизни", М. Пещуровъ, Спб., 1881; „Воспоминанія А. Е. Лобзиной", Спб., 1903, 21—2; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 37, 39, 40, II, 65; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865, 19; „Записки новоскольскаго дворянина. Н. Острожскаго-Лохвицкаго", К., 1886, 112; А. В. Денисовъ, „Записки", Р. Стар., 1874, X, 24; А. Бѣльскій, „Воспоминанія о пережитомъ", Р. Арх., 1880, XXIX, 11. 297. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 210—4; „Трутень", 1769, 29, 114, 121; „Парижскій Щепетильникъ", 1770, 103; „Смѣсь", 1769, 102—4; „Вечера", 1772, 50—1; „Живописецъ", 1772, 138, 139, 140, 141, 182, 187; „Разкащикъ забавныхъ басенъ", 1781, 97, 162, 170—1; „Собесѣдникъ любит. Росс. Слов.", 1783, II, 13, 18; V, 155—6; XIII, 36—7; „Бесѣдующій гражданинъ", 1789, I, 110; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, I, 17—18; „Зритель", 1792, III, 68, 70—1. Въ *драмахъ*: И-ца Екатерина, „О, время!" 1772, Р. О., XI, 74; „Нещастныя сироты", др., 1781, 100—1, 108—9; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI, 12—13; Хвостовъ, „Русской Парижанецъ", 1783, Р. О., XV, 181—5; Верескинъ, „Точь въ точь", 1785, Р. О., XXXIII; Сумароковъ, „Пустая ссора", 1786, Р. О., XVII, 158, 159—161, 168; И-ца Екатерина, „Февей", 1786, Р. О., XX, 11; „Походъ подъ Шведа", 1790, 10, 20; Крюковъ, „Обмушка, бабушкинъ внучекъ", ком., 1790, Р. О., XXXV, 191—8, 202; Клѣевъ, „Обращенное Мизантропъ", 1791, 12, 62, 78—9; Муравьевъ, „Ошибка, или утро вечера мудренѣе", 1791, 5—6; „Женихъ битъ и доволенъ", 1795, 19—52; „Раздраженный мужъ", 1799, 53, 62, 75, 76, 123—6, 130; И-ца Екатерина, „Разстроенная семья", 1788, Р. О., XX, 283; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800, 73—6 и др. Въ *мемуарахъ*: „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 12, 14—15, 29, 56—7; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 21, 22, 36, 41, 151; „Записки Никиты Ив. Толубѣева", Спб., 1889, 8—10; „Свѣдѣнія о купеч. родѣ Вишняковыхъ", собр. П. Вишняковымъ, М., 1903, 183; „Записки Л. И. Энгельгардта", М., 1867, 3, 6—7; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ", Р. Стар., 1873, VIII, 829—30; 856; „Изъ записокъ человѣка". Сто одинъ, Р. В., 1876, № 5, 105—6, 116, 118; „Записки ген. Отрощенко", Р. В., 1877, № 9, 125—6; А. Протасовъ, „Дневныя записки", Н. В., 1887, № 11, 109; „Изъ воспоминаній А. Аѳанасьева", Р. Арх., 1872, № 3, 812; „Записки Бискаго", Р. Арх., 1877, I, 93—4; Д. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., 1890, т. XXVII, 684; „Записки отживнаго человѣка", Р. Стар., 1883, XL, 717—8, 720; Болотовъ, „Записки", I, 33, 226, 239—42; II, 669, 707; IV, 805, 832; М. Дмитріевъ, „Мелочи", 17—18. 298. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 33; „Адская Почта", 1769, 25—6, 150—1, 225—6, 228, 301; „И то и сіе", 1769, № 6; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, 21; „Поденьщина", 1769, 14; „Трутень", 1769, 45, 125—6; „Вечера", 1772, 9, 10, 12—13; „Трудолюбивый Муравей", 1771, 83; „Живописецъ", 1772, 40, 46, 47, 100—1, 166, 387, 338—90; „Кошелекъ", 1771, 2—3, 11, 25, 28, 33, 35,

42—3. 139—143; „Что-нибудь". 1780, л. II, 4—5; л. IV—V; „Вечерняя Заря". 1782, II, 230, 232, 311; III, 70; „Утра", 1782, 102; „Собесѣдникъ любит. Росс. Слов.", 1783, I, 86—7; II, 9, 14, 16, III, 158, IX, 8, 15, X, 20, 22; „Зеркало свѣта". 1786, II, 65; „Сатирич. Вѣстникъ". 1790, I, 111, III, 5, 35; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, II, 7; „Зритель", 1792, I, 13—17, 18, II, 44; „С.-Петерб. Меркурій". 1793, I, 28. Въ *драмахъ*: Веревкинъ, „Такъ и должно", 1773, Р. О., XIX, 160—1; Хвостовъ, „Русской Парижанецъ", 1783, Р. О., XV, 253; Сумароковъ, „Мать, совмѣстница дочери". 1786, Р. О., XVII, 280; Ив-на Екатерина, „Передняя знатнаго боярина". 1786, Р. О., XI, 235, 236—7; Дашкова, „Тонсіоковъ", 1786, Р. О., XIX, 7; Богдановичъ, „Славяне", 1788, Р. О., IX, 263, 270; Левшинъ, „Свадьба г. Воздырева", 1793, Р. О., XLII, 131—2; Клушинъ, „Худо быть близорукимъ", 1800, 50, 80, 85. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго", М., 1901, 12; „А. Д. Боровковъ, и его автобіограф. записки", Спб., 1899, 41; „Истинное повѣствованіе, или жизнь г. Добрынина", Спб., 1872, 21, 36, 60, 22; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 38, 46, 162, 169, II, 112, 126; „Краткое извѣстіе о жизни А. И. Версилова", Спб., 1895, 3; „Хроника недавней старины", изъ арх. кн. Нелед.-Мелецкаго, Спб., 1876, 5, 88; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 8; „Архивъ адм. Чичагова", 1885, 27; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ", Р. Стар., 1873, VIII, 830, 831, 839; „Записки венеціанца Казановы въ Россіи", Р. Стар., 1871, IX, 556, 559—1, 558; Р. Стар., 1876, т. XV, № 3, 561; Н. Лукинъ, „Жизнь стариннаго русскаго дворянина", Р. Арх., 1865, № 8, 832—3; О. Леситьевъ, „Записки", Р. В., 1883, № 10, 832—2, № 12, 890, 1, 891; А. Я. Протасовъ, „Дневныя записки", Ист. р. В., 1887, № 11, 409; Е. А. Сабакѣевъ, „Воспоминанія о быломъ", Н. В., 1900, № 11, 135—6; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 87, 176; С. Н. Шиповъ, „Воспоминанія", Р. Арх., 1878, II, 145—6; Бутеневъ, „Записки", Р. Арх., 1881, III, 15, 18, 33; гр. Бутурлинъ, „Записки", Р. Арх., 1897, № 9, 235—6; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, XI, 711; Болотовъ, „Записки", I, 51, 60, 67, 72, 182, III, 1027, IV, 1078. 299 Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 111—5; „Адская Почта", 1769, 166—8; „Il ton ciel", 1769, № 1, № 42; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, 24; „Трутень", 1769, 111; „Вечеръ", 1772, 12; „Живописецъ", 1772, 118; „Собесѣдникъ любит. Росс. Слов.", 1783, II, 12. Въ *драмахъ*: Ив-на Екатерина, „Гажа Вѣстникова съ семьей", ком., 1771, Р. О., XI, 307; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI, 41—6, 16—7, 81—6, 119, 121, 89—90, 93; „Игрище о святкахъ", 1774, 25—6; „Раздраженный мужъ", 1799, 37; Княжнинъ, „Неудачный примиритель", 1790, Р. О., XXXIII; Кропотовъ, „Фомушка, бабушкинъ внучекъ", 1790, Р. О., XXXVII; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800, 117. Въ *мемуарахъ*: „Записки Мартынова" („Памятники новой русской исторіи", изд. В. Кашпиревымъ, Спб., 1871, II, 68—9); „Семейная хроника", записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 17; „А. Д. Боровковъ, и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 18; „Записки арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 15, 26, 38—9, 12, 15; „Истинное повѣствованіе, или жизнь Гавр. Добрынина", Спб., 1872, 7, 100; „Памятныя записки княгини Н. В. Долгорукой", М., 1867, 91; „Мои воспоминанія", Г. О. Постоловскій, К., 1878, 16—19; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 62, 65; „Воспоминанія І. Самчевскаго", К., 1894, 8; „Свѣдѣнія о купеч. родѣ Вишняковыхъ", собр. Н. Вишняковымъ, М., 1903, 31; „Записки А. Н. Энгельгардта", М., 1867, 66; „Воспоминанія І. Тиканскаго", Спб., 1831, 19—20; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ", Р. Стар., 1873, VIII, 828, 829; „Воспоминанія Ив. Мельшаго", Р. Стар., 1871, т. X, 16; А. В. Денисовъ, „Записки", Р. Стар., 1871, т. X, 27; „Изъ записокъ человѣка". Сто одинъ, Р. В., 1876, № 5, 97, 101—3, 86; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ", Р. В., 1876, № 7, 87; Н. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного", Р. В., 1877, № 7, 338; „Записки ген. Отрощенко", Р. В., 1877, № 9, 126; В. Геттунъ, „Записки", Истор. В., 1880, № 1, 28; „Дневникъ В. И. Аскоченскаго", Н. В., 1882, № 7, 33; Е. А. Сабакѣева, „Воспоминанія и былое", Истор. В., 1900, № 10, 60; „Изъ воспоминаній А. Афанасьева", Р. Арх., 1872, № 3, 807—10; „Записки Винскаго", Р. Арх., I, 81, 82; прот. І. Виноградовъ, „Записки", Р. Стар., 1878, т. XXII, 557, 558; „Похожденія или исторія жизни Ивана Мигунова", Р. Стар., 1878, т. XXIII, 1; Д. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., 1880, XXVII, 683—4; О. Печеринъ, „Записки", Р. Стар., 1891, т. LXXII, 595; Болотовъ, „Записки", I, 37, 13; М. Дмитріевъ, 18—19; Дмитріевъ, „Взглядъ", соч. II, 3. 300. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 69, 258, 385—9; „Трутень", 1769, 121, 212; „Живописецъ", 1772, 113, 170—9, 187; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.", 1783, II, 13; „Зритель", 1792, II, 21—5, III, 63. Въ *драмахъ*: Сумароковъ,

„Приданое обманомъ", 1769, Р. О., XVI, 222; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI; Хвостовъ, „Русской Парижанецъ", 1783, Р. О., XV, 181; Капѣевъ, „Обращенной Мизантропъ", 1791, 7, 67; Сумароковъ, „Мать—совмѣстница дочери", 1786, Р. О., XVII, 260—1, 285; Княжнинъ, „Хвастунъ", 1786, Р. О., X; Николевъ, „Самолюбивой стихотворецъ", 1787, Р. О., XV, 66; Веревкинъ, „Такъ и должно", 1773, Р. О., 222; его-же: „Именинники", 1771, Р. О., XXI, 300; Соколовъ, „Судейскія именины", 1781, Р. О., XXXV, 13; „Походъ подъ Шведа", 1790, 9; „Женихъ бить и доволенъ", 1795, 7, 15, 41, 22, 23; Селивановъ, „Осмѣянной нетерпѣхъ", 1796, 51; А. Голицынъ, „Новые чудаки", 1798, 6; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800, 18—50. Въ *мемуарахъ*: „Ф. Як. Мирковичъ, его жизнеописаніе", Спб., 1889, 118; Бѣлгиевъ, „Бытъ русскаго дворянина...", М., 1851, 179—180; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, II, 23; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 98—9; „Свѣдѣнія о купечествѣ Вишняковыхъ", соч. И. Вишняковымъ, М., 1903, 33; гр. О. Толстой, „Записки", Р. Стар., 1873, № 2, 18; „Изъ записокъ человѣка", Сто одинъ, Р. В., 1875, № 11, 66; 1876, № 5, 104—6; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 181—2, 150; адм. И. Чичаговъ, „Записки", Р. Стар., 1886, I, 170; Болотовъ, „Записки", I, 225, 665—6, II, 310—1, 619—51, 702, 958—9, III, 86, 216—7, 289, 305, 698—9, IV, 342, 595; „Памятникъ", I, 141; М. Дмитріевъ, „Мелочи..." 10—11.

301. Въ *журналахъ*: „Пріятное съ полезнымъ", 1769, 23; „Трутень", 1769, 29—30; „Живописецъ", 1772, 70—1; „Сатиръ", Вѣстникъ", 1790, IX, 24; „Дѣло отъ бездѣлья", II, 5—6; „Зритель", 1792, I, 135. Въ *драмахъ*: Николевъ, „Попытка не шутка", 1771, Р. О., XXXV; „Злоумный", 1788, Р. О., XXIII; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800; А. Сумароковъ, „Парнассъ", 1783, Р. О., XVII, 147; Волковъ, „Воспитаніе", 1771, Р. О., XXI, 62; Николевъ, „Испытанное постоянство", 1770, Р. О., XXIII, 21; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI, 59—60, 103; Лукинъ, „Смѣшное сборище", 1770, 137; Клушинъ, „Услужливой", 1796, II, 13; Идеализація старины: И-на Екатерина, „О, время!" 1772, Р. О., XI, 12; Веревкинъ, „Такъ и должно", 1773, Р. О., XIX, 164, 170—2; Прокудинъ, „Добродѣтель, увѣнчанная вѣрностью", 1774, Р. О., XXV, 95; „Любовникъ-колдунъ", 1779, Р. О., XVIII; „Перерожденіе", 1779, Р. О., XXVIII, 53; Перепечинъ, „Торжество добронравія", 1780, Р. О., XXVI, 5; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI, 53—4, 104; Соколовъ, „Судейскія именины", 1781, XXXV, 75; „Добронравъ", 1783, Р. О., XXXVIII, 26; И-на Екатерина. „Недоразумѣнія", 1789, Р. О., XXXI, 156; „Мнимый мудрецъ", 1786, Р. О., XXIX. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія о гр. Н. С. Мордвиновѣ и его семействѣ", записки гр. Н. Н. Мордвиновой, Спб., 1873, 18, 4—5, 19, 76; „Записки о жизни и службѣ А. Н. Бибикова", М., 1865, III, IV; „Записки арт.-маіора М. В. Данилова", М., 1842, 11—12; Бѣгичевъ, „Бытъ русскаго дворянина", М., 1851, II, 18, 34; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865, 7; „Воспоминанія Андрея Мих. Фадѣева", Од., 1897, 7; „Архивъ адм. Чичагова", 1885, 41; И. Тургеневъ, „Россія и Русскіе", М., 1907, II, 14; „Записки кн. Як. И. Шаховскаго", М., 1810, 2; А. Н. Бѣляевъ, „Воспоминанія о прежнемъ..." Р. Стар., 1880, XXIX, 3; адм. И. Чичаговъ, „Записки", Р. Стар., I, 170; „Записки Э. Стогова", Р. Стар., 1886, III, 87.

302. Болотовъ, „Записки", III, 791; „Памятникъ", I, 137, II, 68; И. Дмитріевъ, „Взглядъ", соч. II, 12.

303. Въ *мемуарахъ*: „Семейная хроника", записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 17—18, 20; „Записки", арт.-маіора М. Д. Данилова, М., 1842, 30—1, 39—10; „Автобіографія Ст. Лук. Гевскаго", К., 1894, 11—45; „Записки Никиты Ив. Толубѣева", Спб., 1889, 7; „Записки Д. Н. Энгельгардта", М., 1867, 8; „Слово живое о неживыхъ", И. А. Арсеньева, Истор. В., 1887, № 1, 70; Болотовъ, „Записки", I, 103—5, 107; И. Дмитріевъ, „Взглядъ", соч. II, 2—3, 4.

304. Въ *журналахъ*: „Подвижница", 1769, 13—14; „Трутень", 1769, 125; „Сатиръ", Вѣстникъ", 1790, VIII, 70—1. Въ *мемуарахъ*: Болотовъ, „Записки", I, 139, 266, III, 162; „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго", М., 1901, 56—7; „Воспоминанія объ адмиралѣ гр. Н. С. Мордвиновѣ и его семействѣ", записки гр. Н. Н. Мордвиновой", Спб., 1873, 39; „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 17—8, 49; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1879, 236; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865, 124; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ столицѣ", Р. В., 1876, № 7, 125; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, ч. I, 80. Въ приведенныхъ примѣрахъ я привелъ случаи, характеризующіе не только „выѣздъ на службу", но вообще, „поѣздку дворянъ" во время дальняго путешествія.

305. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 245; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, № 1, 19—20; „Трутень", 1769, 115, 202; „Пустомеля", 1770, 31—6; „Живописецъ", 1772

21, 31, 121—122, 141, 113; „Кошелекъ", 1774, 30, 41, 52—3; „Утра", 1782, 36; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, I, 110—2; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, I, 5; „Дѣло отъ безделья", 1792, I, 17—18; „Зритель", 1792, I, 220, III, 73. Въ *драмахъ*: „Злоумный", 1788, P. O., XXIII, 134; И-ца Екатерина, „Разстроенная семья", 1788, P. O., XX, 272; Кропотовъ, „Бомушка, бабушкинъ внучекъ", 1790, P. O., XXXV, 202—3; Копіевъ, „Обращенной Мизантропъ", 1791, 78, 79; „Раздраженный мужъ", 1790, 70; „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800, 40—1, 120. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго", М., 1901, 3; „Памятники новой русской исторіи", сборн. историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ, 3 т., Спб., 1871, II, 12—3, 49; „Записки о жизни и службѣ А. И. Бибикова", М., 1865, 1; „А. Д. Боровковъ, и его автобіограф. записки", Спб., 1899, 40; „Записки", арт. маіора М. В. Данилова, М., 1842, 35, 63—7, 81—5, 115—6, 125; „Воспоминанія О. И. Лубяновскаго", М., 1872, 173; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 55; „О поврежденіи нравовъ", кн. Щербатова, 29—30, 38, 51, 55, 675, 676; А. Протасовъ, „Дневныя записки", II, В., 1887, № 11, 109; „Слово живое о нежившихъ", II. А. Арсеньева, II. В., 1887, № 1, 71; „Записки Винскаго", Р. Арх., I, 87, 93—1, 95, 98; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, XL, 712, 720; Болотовъ, „Записки", II, 141—2, III, 55, 145, 889, II, 653, IV, 319; „Памятникъ", I, 9, 20, 120, 150—1, II, 17, 62—3, 119; II. Дмитріевъ, „Взглядъ", соч. II, 14; Д. Фонвизинъ, „Чистосердечное признаніе", 511; М. Дмитріевъ, „Мелочи", 11—15. 306. Въ *журналахъ*: „Адская Почта", 1769, 20; „Трутень", 1769, 161—2; „Пустомеля", 1770, 31—6; „Вечера", 1772, 19—50; „Живописецъ", 1772, 180, 191; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, I, 86, II, 230; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, II, 49—50; „Почта Духовъ", 1789, 114; „Зритель", 1792, III, 77. Въ *мемуарахъ*: А. Д. Боровковъ, и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 18, „Записки", арт. маіора Данилова. М., 1812, 16, 31—5; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 97; „Записки Д. II. Свербеева", М., 1899, 21; „Записки новосколькаго дворянина II. Острожскаго-Лохвицкаго", К., 1886, 13; „Записки Д. II. Энгельгардта", М., 1867, 210—1; Болотовъ, „Памятникъ", II, 22, 62—1, 66. 307. Въ *журналахъ*: „Доброе намѣреніе", 1761, 19; „II то и сіе", 1769, № 4; „Всякая Всячина", 1769, 161; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, № 1, 24; „Трутень", 1769, 12, 110; „Вечера", 1772, 12; „Живописецъ", 1772, 138—9; „Кошелекъ", 1771, 52—3, 54, 58, 59—60, 60—2, 65—6, 65—8, 73—4; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, II, 5; „Зритель", 1792, II, 31—5. Въ *драмахъ*: И-ца Екатерина, „О, время", 1772, P. O., XI, 56—7; Княжнинъ, „Чудаки", 1793, P. O., XII, 35; Княжнинъ, „Скупой", 1778, P. O., XXX, 186; „Добродѣтель", 1783, P. O., XXXVIII, 26; Хвостовъ, „Русской Парижанинъ", 1783, P. O., XV, 193; Фонвизинъ, „Бригадиръ", 1786, P. O., XXXIII; Тейльсъ, „Чувствованіе благотворенія", 1787, P. O., XXXIV, 208; Лукинъ, „Пустомеля", 1765, 160—1; Веревкинъ, „Такъ и должно", 1773, P. O., XIX, 173, 187; Волковъ, „Воспитаніе", 1771, P. O., XXI, 65; Пракудинъ, „Добродѣтель, увѣнчанная вѣрностью", 1771, P. O., XXV, 96—7; Веревкинъ, „Имянинники", 1771, P. O., 219; „Лжецъ", 1771, P. O., XII, 155; Вязмитиновъ, „Новое семейство", 1781, P. O., XXIV, 216; „Злоумный", 1788, P. O., XXIII, 152, 153, 185; „Невѣста подъ фатою", 1789, P. O., XXXVII; И-ца Екатерина, „Нелоразумѣнія", 1789, P. O., XXXI, 226; Левшинъ, „Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ", 1790, 9, 10, 61; Плавильщиковъ, „Бобыль", 1792, 5; его-же: „Мѣльникъ и сбитенщикъ", 1793, 8—9; А. Майковъ, „Неудачной заговоръ", 1794, 19; Селивинъ, „Осмѣянной вертопрахъ", 1796, 5; Плавильщиковъ, „Заговоръ Кутейкина", 1799, 6, 37. Въ *мемуарахъ*: Бѣгичевъ, „Бытъ русскаго дворянина", М., 1851, 179, 188; „Свѣдѣнія о купеч. родѣ Вишняковыхъ", сбор. II. Вишняковымъ, М., 1903, 93; „О поврежденіи нравовъ въ Россіи", кн. Щербатова, 15, 18, 26 и др.; Болотовъ, „Записки", II, 312, III, 216—7. 308. Въ *журналахъ*: „Ежемѣс. Сочин.", 1755, № 10, 356; „Трудолюбивая Пчела", 1759, 276—9, 751—55; „Полезное увеселеніе", 1761, I, 193, 209; „Свободные часы", 1763, I, 58, 177—8, 215, 293—4, 296, II, 171—6; „Доброе намѣреніе", 1764, 58—9; „Всякая Всячина", 1769, 4, 10—11, 131—2, 146, 231, 251, 257, 312, 326, 339, 349, 374, 375; „Адская Почта", 1769, 25, 27—8, 30—1, 32, 34, 51—2, 119, 132, 134, 150; „II то и сіе", 1769, № 13, № 17, № 23, № 30, № 34; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, № 1, 31, № 3, 13—14, 15, № 4, 19, № 5, 1; „Поденьщина", 1769, 32; „Трутень", 1769, 37, 38, 41, 45—6, 47, 66—7, 70, 77—8, 79—80, 124, 128, 129, 141, 191, 241, 257—8, 281; „Трутень", 1770, 20, 21, 37, 41—6, 50—1, 53, 61, 90—2, 99; „Пустомеля", 1770, 15, 60, 91; „Парнасскій Щепетильникъ", 1770, 99, 101, 119; „Смѣсь", 1769, 26, 27, 39, 66, 70, 83, 100—1.

149, 215, 279—80, 306—7; „Вечера“, I, 1772, 66, 153, 163, 165, II, 82—5, 129, 145, 163, 182, 183; „Живописецъ“, 1772, 20—1, 25, 28—9, 65—9, 73—80, 106, 113—4, 157, 282—3, 286, 301, 385—7, 390—1; „Кошелекъ“, 1771, 14; „Что-нибудь“, 1780, л. XVIII, 3, XIX, 3; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ“, 1781, л. V, 46, 51, 113, 179, 205, II, 15, 138, 139; „Вечерняя Заря“, 1782, II, 158, 231, III, 70, 71; „Утра“, 1782, 85, 64; „Собесѣдн. любит. Росс. Слов.“, 1783, I, 19, 82, 83, 20, II, 153, III, 115, V, 142, VIII, 161, 168, 166—7, 177, X, 22, XIII, 25, 36—7; „Покоющійся Трудолюбецъ“, 1784, II, 126—7; „Зеркало свѣта“, 1786, II, 65, 67; „Бесѣдующій гражданинъ“, 1789, I, 85, 79, 112, 281, 289—90, II, 226, III, 311; „Лекарство отъ скуки и заботъ“, 1786, I, 19—21, 29, 81, 151, II, 59; „Полезное упражненіе юношества“, 1789, 302; „Сатирическій Вѣстникъ“, 1790, I, 3, 10—11, 21, 32, 35—7, 19, 50, 69, 73, 76, 103, 113, 118, 123, II, 6, 7, 18, 22, 60, 75, 113, 115, III, 5, 9, 15, 21, 60, 107, 111, 113, IV, 4, 23, 53, 86, V, 1—5, 10, 15, VI, 38, 53, 61—6, VIII, 12—5, 60—3, 70, III, 5; „Почта Духовъ“, 1789, II, 1, 27, 31, 57, 61, 76, 103, 113, 113, 151, 193; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1792, II, 11, 116, III, 26, 171, III, 205, IV, 211; „Зритель“, 1792, I, 38—9, 73, 128—9, 130, 216, II, 30, 47, 56, 314—5, III, 21; „С.-Петербургскій Меркурій“, 1793, I, 55, 218—9, Въ *драмахъ*: щеголи: Сумароковъ, „Парнассъ“, 1769, Р. Ѳ., XVII, 3—4, 10; Д. Волковъ, „Воспитаніе“, ком., 1771, Р. Ѳ., XXI; И-ца Екатерина, „Именины г-жи Ворчалкиной“, ком., 1774, Р. Ѳ., XI; Н. И., „Побѣгъ отъ долговъ“, ком., 1792, 18—20; Левшинъ, „Свадьба Волдыревы“, ком., 1793, Р. Ѳ., XLII; Ив. Кошкинъ, „Походъ подъ Шведа“, ком., 1790, 58, 60; Н. Николевъ, „Попытка не шутка“, ком., 1771, Р. Ѳ., XXXV, 136, 159; „Опасная шутка“, ком. оп., 1793, Р. Ѳ, XXXIX, 82—3; Дмитріевъ, „Подражатель“, ком., 1779, Р. Ѳ., XXVII, 17, 32; „Перемѣна въ нравахъ“, ком., 1789, Р. Ѳ., XXXVIII, 42, 45; „Обманъ на обманъ“, ком., 1790, Р. Ѳ., XXXVIII, 179, 181—5, 209—12; А-й Голицынъ, „Отецъ-невидимка“, ком., 1799, 1—5; Ѳ. Чернавской, „Купецкая компанія“, ком., 1780, Р. Ѳ., XXVII, 157; „Но одежкѣ протягивай ножки“, ком, 1790, Р. Ѳ, XXXVI, 306; Лукинъ, „Награжденное постоянство“, ком., 1765, Р. Ѳ., XXXVI, 66—7; Лукинъ, „Щепетильникъ“, ком., 1765, Р. Ѳ., XXXV, 291—2, 293, 299—300, 302—3; Волковъ, „Воспитаніе“, ком., 1771, Р. Ѳ., XXI, 81, 113, 114, 119, 121, 131, 179, 181—2; И-ца Екатерина, „Именины г-жи Ворчалкиной“, ком., 1774, Р. Ѳ., XI, 98—101, 106, 177, 188—9; Николевъ, „Попытка не шутка“, ком., 1771, Р. Ѳ., XXXV, 112; „Свадьба Промоталова“, ком., 1771, Р. Ѳ., XXVII, 67, 73, 78—80, 81, 90—1, 99, 101, 137; Княжнинъ, „Несчастіе отъ кареты“, 1779, Р. Ѳ., XXIV, 71—6, 90—8; Лукинъ, „Наказанная вертопрашка“, 1781, II, 51—2, 54—61; А Сумароковъ, „Чудовищи“, 1781, Р. Ѳ., XVI, 8; Хвостовъ, „Русской Парижанецъ“, ком., 1783, Р. Ѳ., XV, 151, 152—7, 174, 196; Фонвизинъ, „Бригадиръ“, 1786, Р. Ѳ., XXXIII, 7, 10, 22, 23; И-ца Екатерина, „Вотъ, каково имѣть корзинку и бѣлье“, ком., 1786, Р. Ѳ., XIV, 12, 31, 32; Сумароковъ, „Мать, совмѣстница дочери“, ком., 1786, Р. Ѳ., XVII, 302—3; Хвостовъ, „Мнимый счастливецъ“, 1786, Р. Ѳ., XXXI, 325, 329, 324—8; Сумароковъ, „Пустая ссора“, 1786, Р. Ѳ., XVII, 168, 175, 180; Княжнинъ, „Хвастунъ“, ком., 1786, Р. Ѳ., X; Николевъ, „Самолюбивый стихотворецъ“, ком., 1775, Р. Ѳ., XV, 31, 33; Н. М., „Философъ по неволѣ“, ком., 1787, 5, 6, 7; „Злоумный“, 1788, Р. Ѳ., XXIII, 161; „Нелѣпость женская“, ком., 1788; А. Волковъ, „Чадолюбіе“, 1788, 4; „Перемѣна въ нравахъ“, ком., 1789, Р. Ѳ., XXXVIII, 61, 62—3, 67, 68, 71; Ефимьевъ, „Преступникъ отъ игры“, ком., 1790, 8, 9, 25; Н. И., „Побѣгъ отъ долговъ“, ком., 1792, 9; Княжнинъ, „Чудаки“, ком., 1793, Р. Ѳ., XLI, 32, 36—40; Майковъ, „Неудачный заговоръ“, ком., 1794, 1, 2, 3, 7, 12, 23—4, 15—6, 30, 31—3, 61—3, 42; Коніевъ, „Что наше, того намъ и не надо“, ком., 1794, 3—4; Клушинъ, „Смѣхъ и горе“, ком., 1795, Р. Ѳ., XL, 3, 16, 78, 109, 112. *Шеолихи*: Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленный“, ком., 1765, Р. Ѳ., XIX, 30—1, 32; Лукинъ, „Награжденное постоянство“, ком., 1765, Р. Ѳ., XXXVI, 85—7, 126; Пракудинъ, „Добродѣтель, увѣнчанная вѣрностью“, ком., 1774, Р. Ѳ., XXV, 176, 195—7; Лукинъ, „Наказанная Вертопрашка“, ком., 1781; Сумароковъ, „Чудовищи“, ком., 1781, Р. Ѳ., XVI, 46; Хвостовъ, „Русской Парижанецъ“, ком., 1783, Р. Ѳ., XV, 167—8, 173, 174; И-ца Екатерина, „Обольщенный“, ком., 1785, Р. Ѳ., XIII, 100; Фонвизинъ, „Бригадиръ“, 1786, Р. Ѳ., XXXIII, 8, 13; Благодаровъ, „Матерняя любовь“, ком., 1786, Р. Ѳ., XXIX, 141; Сумароковъ, „Мать, совмѣстница дочери“, ком., 1786, Р. Ѳ., XVII, 282—5; Хвостовъ, „Мнимый счастливецъ“, ком., 1786, Р. Ѳ., XXXI, 337; Благодаровъ, „Смѣшное сборище“, ком., 1787, Р. Ѳ., XXXVI, 155; Н. М., „Философъ по неволѣ“, ком., 1787, 13, 14; „Злоумный“,

ком., 1788, Р. О., XXIII, 200; „Побѣда невинности“, ком., 1783, Р. О., XXV, 18—19, 39, 43; „Невѣрность женская“, 1788; А. Волковъ, „Чадолюбіе“, ком., 1788, 10; И-ца Екатерина, „Недоразумѣніе“, ком., 1789, Р. О., XXXI, 308—9; И. Кошкинъ, „Походъ подъ Шведа“, ком., 1790; Ефимьевъ, „Преступникъ отъ игры“, ком., 1790; Лепшинъ, „Свадьба Володырева“, ком., 1793, Р. О., XLII, 134; Копіевъ, „Обращенный Мизантропъ“, 1794, 16; Мурановъ, И., „Ошибка“, 1794, 9, 11, 13; Крыловъ, „Сочинитель въ прихожей“, 1794, Р. О., XLI; Копіевъ, „Что наше, того намъ и не надо“, ком., 1794, 9—10; Титовъ, „Истинный другъ“, 1795, 12; И. Селявинъ, „Обмѣнной вертопрахъ“, 1796, 3—4, 11, 24, 38, 52, 40—4, 24, 52; Клушинъ, „Услужливой“, 1796, 66—7; Голицынъ, „Новые чудаки“, 1798, 4; „Раздраженный мужъ“, 1799, 9; „Челобитчики“, 1797, 9; Кутузовъ, „Любовная шутка“, 1800, 8, 11. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія объ адмиралѣ графѣ И. С. Мордвиновѣ и семействѣ его“, записки графини Н. Н. Мордвиновой, Спб., 1873, 26; „Памятники новой русской исторіи“, изд. В. Кашпиревымъ, Спб., 1871, III, 31; „Семейная хроника“, записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 20, 27; „Записки И. А. Каратыгина“, Спб., 1880, 2; „Ф. Я. Мирковичъ, его жизнеописаніе“, Спб., 1889, 22; „Изъ недавней старины“, Н. Гр. Кичеева“, М., 1870, 135; „Истинное повѣствованіе“, Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 160, 180, 251; „Жизнь А. С. Пушкина“, М., 1885, 205, 211, 212, „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 24, 179, 196; „Воспоминанія О. Н. Лубяновскаго“, М., 1872, 173; „Записки графини В. Н. Головиной“, Спб., 1900, 5, 14; „Хроника недавней старины“, изъ арх. кн. Оболенскаго-Нелединскаго-Мелецкаго, Спб., 1876, 6; „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Од., 1897, 35, 92; „Свѣдѣнія о купеческомъ родѣ Вишняковыхъ“, собр. Н. Вишняковымъ, М., 1903, 51, 45; „Записки В. А. Инсарскаго“, Спб., 1894, 194—5; „О поврежденіи нравовъ“, кн. Щербатова, 26, 27, 28 и др.; О. Леонтьевъ, „Записки“, Р. В., 1883, № 10, 821; Д. Б. Мертваго, „Записки“, Р. Арх., 1867, 39; „Автобіографическія записки Е. О. Брадке“, Р. Арх., 1875, № 1, 24; „Записки Винскаго“, Р. Арх., 1877, I, 104; Бутурлинъ, „Записки“, Р. Арх., 1877, № 9, 219—220, 228; Второвъ, „Москва и Казань въ началѣ XIX ст.“, Р. Стар., 1891, т. LXX, 9, 10, 11; Болотовъ, „Записки“, I, 749, 939—940, II, 551, 834, III, 659, IV, 504, 956; „Памятникъ“, I, 102. **309.** Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина“, 1769, 231, 251, 339; „Полезное съ пріятнымъ“, 1769, № 5, 6; „Поденьщина“, 1769, 14, 16, 32; „Трутень“, 1769, 218; „Парнасскій Щепетильникъ“, 1770, 101; „Смѣсь“, 1769, 210, 289, 239—40, 255; „Вечера“, 1772, I, 65, 77, 147; „Живописецъ“, 1772, 158; „Что-нибудь“, 1780, X, 3, 4; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ“, 1781, II, 138; „Вечерняя Заря“, 1782, II, 236; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.“, 1783, II, 120, 121; „Сатирич. Вѣстникъ“, 1790, I, 3, 10—11, 65, 118, II, 7, 113, III, 34, 111, VI, 42—3, VIII, 70; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1791, I, 19, II, 7, 12, IV, 236; „Зритель“, 1792, I, 38, 221. Въ *драмахъ*: О. Черняевской, „Купецкая компанія“, 1780, Р. О., XXVII, 181; И. И., „Побѣгъ отъ долговъ“, 1792; „Отгадай, не скажу“, 1790, Р. О., XXI, 24; „Обманъ на обманъ“, 1790, Р. О., XXXVIII, 215—6; „Награжденіе добродѣтели“, 1787, Р. О., IX, 160; И. М., „Философы по неволѣ“, 1787; „Злоумный“, 1788, Р. О., XXIII, 76, 78, 81, 172, 100, 108, 112, 134, 174, 229; Константиновъ, „Благопременное вспоможеніе“, 1794, Р. О., XLIII, 171, 172—6, 184; Лопухинъ, „Торжество правосудія“, 1794, 32. Въ *мемуарахъ*: „Памятники новой русской исторіи“, сборникъ историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ, 3 т., Спб., 1871, I, 333; „Семейная хроника“, записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 13, 26, 36, 45, 173, 174, 176, 302; „Ф. Як. Мирковичъ, его жизнеописаніе“, Спб., 1889, 4, 6; „Записки“, арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 35; „Истинное повѣствованіе“, Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 203; „Жизнь А. С. Пушкина“, М., 1885, 268; „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 128; „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Од., 1897, 38; „Записки В. А. Инсарскаго“, Спб., 1894, 109; „О поврежденіи нравовъ“, кн. Щербатова, 676; О. А. Пржецлавскій, „Воспоминанія“, Р. Стар., 1883, XXXIX, 517; „Записки Винскаго“, Р. Арх., I, 85—6, 87; Болотовъ, „Записки“, IV, 420, 422, 956; „Памятникъ“, I, 23, 69, 150—1, II, 63, 23, 45, 56, 91, 119. **310.** Въ *журналахъ*: „Сатирич. Вѣстникъ“, 1790, III, 32; „Зритель“, 1792, I, 214. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія о гр. Н. С. Мордвиновѣ и его семействѣ“, записки гр. Н. Н. Мордвиновой, Спб., 1873, 66; „Памятники новой русской исторіи“, сборн. историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ, 3 т., Спб., 1871, II, 7; „Изъ недавней старины“, Н. Г. Кичеева, М., 1870, 165—7; „Истинное повѣствованіе“, Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 104—5; „Жизнь А. С. Пушкина“, М., 1885, 267; „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 48, 59—60, II, 66—7, 132—3; „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Од., 1897, 37; „Записки Л. И. Энгельгардта“, М., 1867, 18, 31,

49—50; Г. Данилевскій, „Разсказъ прабабушки“, Р. В., 1870, т. 86, 445; „Изъ записокъ человѣка“. Сто одинъ, Р. В., 1875, № 11, 70; „Воспоминанія Н. А. Аѳанасьева“, И. В., 1890, № 7, 23; „Записки Р. М. Зотова“, И. В., 1896, № 6, 773; Бутеневъ, „Записки“, Р. Арх., 1881, III, 7; Болотовъ, „Записки“, I, 204, 211, III, 320, 498, 874—5, 899, 902—14, 955, 957, 962, 963, 1023. **311.** Въ *журналахъ*: „Поденьщина“, 1769, 15; „Сатирич. Вѣстникъ“, 1790, I, 95; III, 39; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1792, I, 43. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго“, М., 1901, 7; „Ѳ. Як. Мирковичъ, его жизнеописаніе“, Спб., 1889, 22; „Записки“, арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 10; „Записки Д. И. Свербеева“, М., 1899, 39, 292—3, II, 67—70, 72—3; Бутеневъ, „Записки“, Р. Арх., 1881, III, 77; Н. Невзоровъ, „Записки“, Р. Стар., 1883, XI, 433; М. Дмитріевъ, „Мелочи“, 14, 15. **312.** Въ *журналахъ*: „Адская Почта“, 1769, 42; „Ни то, ни сіо“, 1769, 82; „Вечера“, 1772, II, 130; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ“, 1781, л. V, 65; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.“, 1783, XIII, 22, XIII, 131; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, I, 281; „Сатирич. Вѣстникъ“, 1790, I, 59, II, 42, III, 34; „Почта Духовъ“, 1789, 75; „Зритель“, 1792, III, 77; „С.-Петерб. Меркурій“, 1793, I, 28. Въ *драмахъ*: И-на Екатерина, „Имянины г-жи Ворчалкиной“, 1774, Р. О., XI, 209; Николевъ, „Розана и Любимъ“, 1781, Р. О., XXII, 17, 29—33; Сумароковъ, „Мать, совмѣстница дочери“, 1786, Р. О., XVII, 260—1; „Милозоръ и Прелестя“, 1787, Р. О., XXVI, 214—5; Левшинъ, „Торжество любви“, 1787; Плавильщиковъ, „Бобылъ“, 1792, 7, 8, 32—3, 36; Коцебу, „Обращенной Мизантропъ“, 1794, 8, 9, 68—9. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго“, 1901, М., 9; „А. Д. Боровковъ, и его автобіографическія записки“, Спб., 1899, 18; „Незримое повѣствованіе, или жизнь Гавр. Добрынина“, Спб., 1872, 20; „Памятныя записки княгини Н. Б. Долгорукой“, М., 1867, 53; „Записки Д. И. Свербеева“, М., 1899, 67; „Воспоминанія О. И. Лубяновскаго“, М., 1872, 59; „Семейныя записки Т. Толычевой“, М., 1865, 5; „Записки Никиты Ив. Толубѣева“, Спб., 1889, 28; „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Ол., 1897, 154—5; „Записки В. А. Инсарскаго“, Спб., 1894, 125; „Старая записная книжка“, кн. П. Вяземскаго, 1813, 73; „Щукинскій Сборникъ“, вып. I, 470; „О поврежденіи нравовъ“, кн. Щербатова, 46, 676; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ“, Р. Стар., 1873, VIII, 836; Г. Данилевскій, „Разсказъ прабабушки“, Р. В., 1870, т. 86, 445; И. Ч—инъ, „Махонины“, Р. В., 1873, № 7, 247; его-же: „Трескины“, Р. В., 1874, № 5, 319; Н. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного“, Р. В., 1877, № 7, 322, № 9, 41; „Дневникъ В. И. Аскочинскаго“, И. В., 1882, № 2, 321; „Записки Винскаго“, Р. Арх., X, 1877, I, 185—6; Бутеневъ, „Записки“, Р. Арх., 1881, III, 6, 8, 21; Я. Невзоровъ, „Записки“, Р. Стар., 1883, XI, 433; „Записки Ѳ. Стогова“, Р. Стар., 1889, LXIV, 99; „Записки отжившаго человѣка“, Р. Стар., 1883, XI, 701; Болотовъ, „Записки“, I, 57, 126, II, 100, 369, 890, III, 849, 853, 958, 967, 1059, 1064, 1201, IV, 61, 192, 370—1, 377, 711, 804, 1047, 1170, 1198, 1295; „Памятникъ“, 112. **313.** Въ *журналахъ*: „Свободные часы“, 1763, I, 228—42, II, 702—3; „Всякая Всячина“, 1769, 94; „Адская Почта“, 1769, 32—3, 34, 99, 119, 184; „И то и сіо“, 1769, № 29, № 50; „Трутень“, 1769, 143, 247; 1770, 73; „Парнасскій Щепетильникъ“, 1770, 148, 151; „Смѣсь“, 1769, 77; „Вечера“, 1772, 13, 78, 147, II, 132, 154; „Трудолюб. Муравей“, 1771, 138; „Живописецъ“, 1772, 106, 125, 134, 141, 286, 392; „Кошелекъ“, 18, 31; „Что-нибудь“, 1780, XIX, 4; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ“, 1781, л. V, 55; „Вечерняя Заря“, 1782, II, 158; „Утра“, 1782, 109; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.“, 1783, II, 156, V, 165, VIII, 161, XIII, 23—4; „Покоющійся трудолюбецъ“, 1784, I, 14; „Зеркало свѣта“, 1786, II, 64; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, I, 80, 740, III, 379; „Лѣкарство отъ скуки и заботъ“, 1786, I, 28; „Сатирич. Вѣстникъ“, 1790, I, 42, 45, 130, II, 9, 25, 106, 135, III, 4, 33, 48, VIII, 77; „Почта Духовъ“, 1789, 59, 86, 89, 98; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1792, I, 21, II, 16, 7, III, 171, 192, IV, 236; „Зритель“, 1792, I, 56, 124—6, III, 73; „С.-Петерб. Меркурій“, 1793, I, 46. Въ *драмахъ*: Херасковъ, „Ненавистникъ“, 1779, Р. О., X; И. Соколовъ, „Судейскія имянины“, 1781, Р. О., XXXV, 55; Пракудинъ, „Судьба деревенская“, 1782, Р. О., XXIX, 122; „Зговоръ“, 1783, Р. О., XXIX, 20, 31, 45, 46, 73; И-на Екатерина, „Разстроенная семья“, 1788, Р. О., XX, 272; Крыловъ, „Проказники“, 1793, Р. О., XL, 185, 228—9; Лопухинъ, „Торжество правосудія“, др., 1794, Р. О., XLI, 52, 44; Ефимьевъ, „Преступникъ отъ игры“, 1790; „Раздраженный мужъ“, 1799, 50, 74, 161, 167—8, 169—70. Въ *мемуарахъ*: „Изъ записокъ М. С. Мухановой“, М., 1878, 2; „Памятники новой русской исторіи“, сборн. историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпирева, 3 т.,

Спб., 1871, II, 17; „Семейная хроника", записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 40—1, 173, 174, 176, 302; И. Кичеевъ, „Воспоминанія о пребываніи императора въ Москвѣ", М., 1858, 118; „Изъ недавней старины", И. Г. Кичеева, М., 1870, 166; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 190, 204, 234, 236—7, 247—8, 250; „Жизнь А. С. Пушкина", М., 1885, 159, 173, 175, 210; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной", Спб., 1903, 63, 74; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, 24, 52, 126, 128, 275, II, 22, 25, 168; „Краткое извѣстіе о жизни А. И. Версилова", Спб., 1895, 27; „Хроника недавней старины", изъ арх. кн. Оболенскаго-Нелединскаго-Мелецкаго", Спб., 1876, 316; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 93; Исмайловъ, „Взглядъ на собственную прошедшую жизнь", 71; „О поврежденіи нравовъ", кн. Щербатова, 67, 676; гр. О. Толстой, „Записки", Р. Стар., 1873, № 2, 125; „Записки венеціанца Казановы въ Россіи", Р. Стар., 1874, т. IX, 539; О. А. Пржецлавскій, „Воспоминанія", Р. Стар., 1883, XXXIX, 477, 515, 518; „Изъ записокъ человѣка", Сто одинъ, Р. В., 1876, № 5, 108; Я. Полонскій, „Старина и мое дѣтство", Р. В., 1890, № 5, 41; В. Геттунъ, „Записки", Истор. В., 1880, № 3, 492—3; „Воспоминанія И. Я. Аѳанасьева", Н. В., 1890, № 7, 29; И. Лукинъ, „Жизнь стариннаго русскаго дворянина", Р. Арх., 1865, № 8, 472; „Автобіографическія записки Е. Ѳ. Брадке", Р. Арх., 1875, № 1, 33; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 182, 193; Болотовъ, „Записки", I, 205, IV, 221—2, 225, 333, 393, 397, 420, 422, 430, 551, 853, 856, 938, 1295; Фонвизинъ, „Чистосердечное признаніе", 531. **314.** Въ *драмахъ*: И-ца Екатерина. „О, время!", 1772, Р. О., XI, 40, 46, 75; Фонвизинъ, „Недоросль", 1781, Р. О., XXXI, 21; Херасковъ, „Непазнаникъ", 1779, Р. О., X, 55—6; „Несчастныя сироты", др., 1780, 34; „Письмо, или богатая невѣста", 1788, Р. О., XXXIII, 307; И. Т., „Чему быть, того не миновать!", 1788, 22; И-ца Екатерина, „Г-жа Вѣстникова съ семьей", 1774, Р. О., XI, 288. Въ *мемуарахъ*: „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 33; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, I, 8; „Семейныя записки Г. Толычевой", М., 1865, 107; „Записки Никиты Ив. Толубѣева", Спб., 188[illegible], 5; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 39; К. А. Андѣева, „Записки о старомъ и новомъ русскомъ бытѣ", Спб., 1842, 59. **315.** Въ *журналахъ*: „Адская Почта", 1769, 53, 238; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.", 1783, II, 160. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія объ адмиралѣ гр. И. С. Мордвиновѣ и семействѣ его", записки гр. Н. Н. Мордвиновой, Спб., 1873, 41, 42; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, 133, 225—6; Гавр. Гераковъ, „Путевыя записки", Спб., 1828, 16; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 195. **316.** Въ *журналахъ*: „Адская Почта", 1769, 232; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, IX, 9—10. Въ *драмахъ*: Херасковъ, „Безбожникъ", ком., 1761; Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленный", ком., 1765, 21—2, 52, 61, 101; И-ца Екатерина, „Имянины г-жи Ворчалкиной", ком., 1774, 121; Хвостовъ, „Русской Парижанинъ", ком., 1783, 194—5; Сумароковъ, „Мать, совмѣстница дочери", ком., 1786, 265; О. Ключаревъ, „Владиміръ Великій", траг., 1779, 101; „Злоумный", ком., 1781, 76, 78, 81, 113, 174, 229, 112, 108; „Философъ по неволѣ", ком., 1787, 5, 6—7, 19, 20, 22; „Благовременное вспоможеніе", др., 1794, 171, 172—6, 184; И. Лопухинъ, „Торжество правосудія и добродѣтели", др., М., 1798; „Обманъ на обманъ", ком., 1790, 215—6, Р. О., XXVIII. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія о гр. Н. С. Мордвиновѣ и его семействѣ", записки гр. Н. Н. Мордвиновой, Спб., 1873, 96; „Изъ недавней старины", П. Гр. Кичеева, М., 1870, 161, 163, 171; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 190; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной", Спб., 1903, 7, 52, 77; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, 33, 105, 199, 358—60. **317.** Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 91, 258, 349, 385—9; „Адская Почта", 1769, 15—16; „Живописецъ", 1772, 189—190; „Коколекъ", 1774, 100—1, 90; „Вечерняя Заря", 1782, II, 316; „Собесѣдникъ любит. Росс. Слов.", 1783, II, 120, IV, 124, XIII, 28; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, I, 92, 100, II, 32, 63, V, 54; „Почта Духовъ", 1789, 78—9, 80; „Зритель", 1792, II, 42. Въ *драмахъ*: Сумароковъ, „Пустая ссора", 1786, Р. О., XVII, 163; его-же: „Рогоносецъ по воображенію", 1786, Р. О., XVII, 206; Мурановъ, „Ошибка, или утро вечера мудренѣе", 1794, 4; Капнистъ, „Ябеда", 1798, 18, 37; Богдановичъ, „Радость Душеньки", 1786, Р. О., XXIV, 114. Въ *мемуарахъ*: „Памятники новой русской исторіи", сборникъ историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ", 3 т., Спб., 1871, I, 334, 340; „А. Д. Боровковъ и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 17; Ф. Як. Марковичъ, его жизнеописаніе", Спб., 1889, 22; „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 51; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 86—7, 90, 92, 94, 97—99, 115—6; „Жизнь А. С. Пушкина", М., 1885, 162 и др., 267, 138; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 41—2, 136, 155, 177, 185; Н. Ч—нъ,

„Маховины", Р. В., 1873, № 7, 220; Н. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного". Р. В., № 7, 328; В. Лукинъ, „Жизнь старинного русскаго дворянина", Р. Арх., 1865, № 8, 470; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 107; „Записки Н. Н. Муравьева", Р. Арх., 1885, III, 35; Д. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., XXVIII, 179; Я. Невзоровъ, „Записки", Р. Стар., 1883, XL, 430; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, XL, 710; Болотовъ, „Записки", IV, 221, 411, 1047; М. Дмитріевъ, „Мелочи", 16, 318. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 17—22, 240, 370; „Адская Почта", 1769, 54; „Il to и сіо", 1769, № 8, № 11, № 29, № 30, № 46; „Поденьщина", 1769, 44, 43, 45; „Смѣсь", 1769, 283, 284; „Трутень", 1769, 139; „Живописецъ", 1772, 146, 150, 190; „Что-нибудь", 1780, XXI, 7; „Покоющійся Трудолюбецъ", 1784, I, 171; „Новый С.-Петерб. Вѣстникъ", 1786, 147, 163; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, I, 39—40; „Прохладные часы", 1793, I, 115; о суевѣріяхъ въ *драмахъ*: см. выше... Въ *мемуарахъ*: „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 46, 52; „Изъ недавней старины", П. Г. Кичеева, М., 1870, 115; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 41; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 9; К. А. Авдѣева, „Записки о старомъ и новомъ бытѣ", Спб., 1842, 133; „Воспоминанія І. Туманскаго", Спб., 1834, 26; „О поврежденіи нравовъ", кн. Щербатовъ, 36—7; „Записки непеціавца Казановы", Р. Стар., 1874, т. IX, 543, 319. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 91; „Трутень", 1769, 211—2; „Трудолюбивый Муравей", 1771, 82; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ", 1781, II, 57; „Вечерняя Заря", 1782, III, 161; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, I, 40; „Зритель", 1792, I, 52. Въ *мемуарахъ*: „Изъ недавней старины", П. Г. Кичеева, М., 1870, 122—127; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 22; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 35; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 90—1; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, XL, 699. 320. Въ *журналахъ*: „Смѣсь", 1769, 140; „Вечера", 1772, II, 164; „Вечерняя Заря", 1782, III, 161; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.", 1783, V, 129, 149—150; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, III, 84; „Почта Духовъ", 1789, 195, 244. Въ *мемуарахъ*: „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 28, 42—3; „Памятныя записки княгини Н. Б. Долгоруковой", М., 1867, 84—5; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной", Спб., 1903, 18; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 41—2; „Хроника недавней старины", изд. арх. кн. Оболенскаго-Нелединскаго-Мелецкаго, Спб., 1876, 6; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ", Р. Стар., 1873, VIII, 835; А. В. Денисовъ, „Записки", Р. Стар., 1874, т. X, 23; „Записки" ген. Отрощенко, Р. В., 1877, № 9, 130, 133; В. Лукинъ, „Жизнь старинного русскаго дворянина", Р. Арх., 1865, № 8, 467; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1871, I, 91; Н. Татлина, „Воспоминанія", Р. Арх., 1899, III, № 10, 194; А. Бѣляевъ, „Воспоминанія о пережитомъ", Р. Стар., 1880, XXIX, 4. 321. Въ *журналахъ*: „Живописецъ", 1770, 123; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ", 1781, II, 66. Въ *драмахъ*: Беркеннъ, „Такъ и должно", 1773, Р. О., XIX, 119—203; „Добродѣтель, пріобрѣтенная въ училищѣ", 1775, 10; Копіевъ, „Обращенной Мизантропъ", 1794, 84—7; Муравьевъ, „Ошибка, или утро вечера мудренѣе", 1794, 33—4; Нелитковскій, „Вѣрный другъ въ нещастіи познается", 1796, 46. Въ *мемуарахъ*: „Записки о жизни и службѣ А. И. Бибикова", М., 1865, III; Кѣтичевъ, „Бытъ русскаго дворянина въ разныхъ эпохахъ его жизни", 2 ч., М., 1851; „Воспоминанія А. М. Фадѣева", Од., 1897, 7, 96. 322. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 69; „Адская Почта", 1769, 124; „Вечера", 1772, II, 130; „Живописецъ", 1772, 159; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, III, 36, V, 60, 101; „Зритель", 1792, I, 131. Въ *драмахъ*: Лукинъ, „Щепетильникъ", 1765, Р. О., XXXV; Волковъ, „Воспитаніе", 1774, Р. О., XXI; Херасковъ, „Ненавистникъ", 1779, Р. О., X, 43, 54; Княжнинъ, „Нещастье отъ кареты", 1779, Р. О., XXIV, 81; Сумароковъ, „Вздорщица", 1781, Р. О., XVI, 182; И-ца Екатерина, „Передняя знатнаго боярина", 1786, Р. О., XI; Княжнинъ, „Чудаки", 1793, Р. О., XLI, 26; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ", 1800, 13, 14, 56—7; И-ца Екатерина, „О, время!", 1772, Р. О., XI, 46; ея-же: „Имянины г-жи Ворчалиной", 1774, Р. О., XI, 115—6; Княжнинъ, „Нещастье отъ кареты", 1779, Р. О., XXIV, 78; Сумароковъ, „Вздорщица", 1781, Р. О., XVI, 158, 182; Левшинъ, „Мнимые вдовы", 1794, Р. О., XLIII, 2, 71, 3. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго", М., 1904, 7; „Памятники новой русской исторіи", сборн. историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Каширеевымъ, 3 т., Спб., 1871, I, 358; „Изъ недавней старины", П. Гр. Кичеева, М., 1870, 168; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 91; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1899, 129—131; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865, 44, 95, 106; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ", Р. Стар., 1873, VIII, 837; Р. Стар., 1876, XV, № 3, 567; И. Ч—инъ, „Маховины", Р. В., № 6, 599; „Изъ записокъ чело-

вѣка", Сто одинъ, Р. В., 1875, № 11, 76; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, т. XL, 721; Болотовъ, „Записки", I, 155—6, 258, 259, II, 711, 717, 1003, III, 85, 958, 479. 323. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 215; „Адская Почта", 1769, 134; „И то и сіе", 1769, № 9, № 43, № 44, № 46, № 47, № 49, № 50; „Поденьщина", 1769, 7—8; „Сатирич. Вѣстникъ", 1790, V, 73; Дмитровъ, „Подражатель", 1779, Р. О., XXVII, 19; Хвостовъ, „Русской Парнасъ", 1783, Р. О., XV, 179; Юкинъ, „Колдунъ, ворожея, сваха", 1789, Р. О., XXXVII, 288—93, 301; „Невѣста подъ фатою", 1789, Р. О., XXXVII, 95; „С.-Петербургской гостиной дворъ", 1791, 46—59, 62—6; Титовъ, „Наслѣдники", 1799, 22; „Игрище о святкахъ", 1774, 33—9, 16—17; И-ца Екатерина, „Вотъ каково имѣть коранку и бѣлье", 1786, Р. О., XIV; „Памятныя записки княгини Н. Б. Долгорукой", М., 1867, 22—4; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865, 92; „Записки Никиты Ив. Толубѣева", Спб., 1889, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 21—3, 26; „Исторія моей жизни", Н. Шипова, Спб., 1881, 10; К. А. Авдѣева, „Записки о старомъ и новомъ русскомъ бытѣ", Спб., 1842, 23, 57, 59, 66—7, 119, 171; „Щукинскій Сборникъ", вып. I, 382; Я. Полонскій, „Старина и мое дѣтство", Р. В., 1890, № 6, 40; Д. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., 1880, XXVIII, 399, XXVIII, 80—81, 265. 324. Въ *журналахъ*: „Кошелекъ", 1774, 100—1. Въ *мемуарахъ*: „А. Д. Боронковъ, и его автобіографическія записки", Спб, 1899, 17; „Истинное повѣствованіе", Гавр. Добрынина, Спб., 1872, 90, 163; „Воспоминанія на флотѣ", Павла Свиньина, Спб., 1818, 115; „Записки Никиты Ив. Толубѣева", Спб., 1889, 11, 14—28; К. А. Авдѣева, „Записки о старомъ и новомъ русскомъ бытѣ", Спб., 1842, 75, 57; И. Ч—инъ, „Махонины", Р. В., 1873, № 7, 236; И. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного", Р. В., 1877, № 7, 326; Ѳ. Леонтьевъ, „Записки", Р. В., 1883, № 10, 843—4; Я. Полонскій, „Старина и мое дѣтство", Р. В., 1890, № 2, 131; Д. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., 1880, XXVIII, 205; Я. Невзоровъ, „Записки", Р. Стар., 1883, XL, 437, 444. 325. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія объ адмиралѣ Н. С. Мордвиновѣ и семействѣ его", записки граф. Н. Н. Мордвиновой, Спб., 1873, 3, 4; „Записки", арт.-маіора М. Б. Данилова, М., 1842, 20—21, 38, 44, 57; „Памятныя записки княгини Н. Б. Долгорукой", М., 1867, 56; „Жизнь А. С. Пушкина", М., 1885, 171—3, 174; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной", Спб, 1903, 24—6; „Записки новосокольскаго дворянина Н. Острожскаго-Лохвицкаго", К., 1886, 9—11, 39; „Очеркъ служебной дѣятельности и домашней жизни стольника и воеводы XVII ст. В. А. Даудова", Н. Н. Селифонтова, Спб., 1871, 14; „Исторія моей жизни", Н. Шипова, Спб., 1881, 6; „Щукинскій Сборникъ", вып. I, 467, 470; Д. Ростиславовъ, „Записки", Р. Стар., 1880, т. XXVIII, 35—6, 37, 41, 44, 48; Е. И. Чемезова, „Жизнь", Р. Стар., 1891, т. LXXII, 4; Болотовъ, „Записки", I, 9, 162, II, 575, 585, 813, III, 62, 421; „Памятникъ", I, 55, 57; М. Дмитріевъ, „Мелочи", 11—13, 69—70. 326. Въ *журналахъ*: „Невинное упражненіе", 1763, 6—7; „Всякая Всячина", 1769, 34, 163—7; „Поденьщина", 1769, 24; „Трутень", 1769, 41—2, 202—3, 233, 236—7; „Смѣсь", 1769, 44, 212; „Живописецъ", 1772, 33—40, 119; „Что-нибудь", 1780, д. IV, 5, 4; „Сатирич. Вѣстникъ", 1780, I, 118, II, 36, 114, III, 37, 40, 47; „Почта Духовъ", 1789, 200; „Дѣло отъ бездѣлья", 1792, III, 235; „Зритель", 1792, I, 218, 214, 222, II, 29, III, 65. Въ *мемуарахъ*: „Ф. Як. Мирковичъ, его жизнеописаніе", Спб., 1889, 22; „Изъ недавней старины", Н. Гр. Кичеева, М., 1870, 126; „Жизнь А. С. Пушкина", М., 1885, 188, 193, 200, 206—7; „Записки Д. Н. Энгельгардта", М., 1867, 16; „Изъ записокъ человѣка", Сто одинъ, Р. В., 1875, № 11, 76; 1876, № 5, 108; И. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного", Р. В., 1877, № 7, 323, 325; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, XL, 711. 327. Въ *журналахъ*: „Всякая Всячина", 1769, 90, 185, 221; „Трутень", 1769, 208, 211; „Живописецъ", 1772, 99, 107, 139, 147; „Собесѣдникъ любит. Росс. Слов.", 1783, VII, 30; „Бесѣдующій Гражданинъ", 1789, II, 234; „С.-Петерб. Меркурій", 1783, I, 250. Въ *драмахъ*: И-ца Екатерина, „О, время!", 1772, Р. О., XI, 17; „Домашнія несогласіи", ком., 1773, Р. О., XII; Веревкинъ, „Имянинники", 1774, Р. О., XXI, 287; Херасковъ, „Ненавистникъ", 1779, Р. О., X, 99; Пракудинъ, „Судьба деревенская", 1782, Р. О., XXIX, 103; Ефимьевъ, „Преступникъ отъ игры", 1790, 60. Въ *мемуарахъ*: „Памятники новой русской исторіи", сборникъ историческихъ статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпирскимъ, 3 т, Спб., 1871, I, 25—7; „Семейная хроника", записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 12; „А. Д. Боронковъ, и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 24; О Салтычихѣ—Р. Арх., 1865, № 2; „Изъ недавней старины", Н. Г. Кичеева, М., 1870, 79—80, 96, 150, 151—2; „Записки Д. Н. Свербеева", М., 1879, 151; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1865,

10, 109, 116; „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Од., 1897, 43; „Свѣдѣнія о купеческ. родѣ Вишняковыхъ“, собр. П. Вишняковымъ, М., 1903, 33; кн. П. Вяземскій, „Старая записная книжка“, 1813, 70; „Исторія моей жизни“, Н. Шипова, Спб., 1881, 14; Н. Левшинъ, „Домашній памятникъ“, Р. Стар., 1873, VIII, 838; Г. Даниловскій, „Разсказъ прабабушки“, Р. В., 1870, т. 86, 445; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ“, Р. В., 1876, № 7, 93, 94; И. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного“, Р. В., 1877, № 9, 35, 39, 41—7; Е. А. Сабакѣева, „Воспоминанія о быломъ“, Истор. В., 1900, № 10, 73; Я. Невзоровъ, „Записки“, Р. Стар., 1883, XI, 439; „Записки отживающ. человѣка“, Р. Стар., 1883, т. XI, 695. 328. Въ *журналахъ*: „Кошелекъ“, 1774, 86, 89; „Зритель“, 1792, I, 95. Въ *драмахъ*: В. Майковъ, „Деревенскій праздникъ“, 1777, Р. О., XVIII, 156, 155; „Матросскія шутки“, 1780, Р. О., XXIV, 144; Иракудинъ, „Судьба деревенская“, 1782, Р. О., XXIX, 119; „Сосѣдній праздникъ“, 1783, Р. О., XXXIII; Плавильщиковъ, „Бобыль“, 1792, 4—5; его же: „Мѣльникъ и обитеньщикъ—соперники“, 1793, 2; Коншевъ, „Обращенной Мизантропъ“, 1794, 2в—9. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія кн. А. В. Мещерскаго“, М., 1901, 8; Н. А. Боровковъ, „Изъ прошлаго“, Спб., 1901, 30—60; „Очерки моей жизни“, М. Нецкуровъ, Спб., 1881, 10; Бѣгичевъ, „Бытъ русскаго дворянина“, М., 1851, 189; „Воспоминанія А. Е. Лабзиной“, Спб., 1903, 19; „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 27—9, 135—6, II, 130; „Семейныя записки Т. Толычевой“, М., 1865, 10—11; Г. Гераковъ, „Путевыя записки по многимъ росс. губерніямъ“, Спб., 1828, 8; И. Ч—инъ, „Махонины“, Р. В., 1873, № 6, 508; „Изъ записокъ человѣка“, Сто одинъ, Р. В., 1876, № 5, 118; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ“, Р. В., 1876, № 7, 79—81; И. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного“, Р. В., 1877, № 7, 322; Е. А. Сабакѣева, „Воспоминанія и былое“, Истор. В., 1900, № 10, 86. 329. Въ *журналахъ*: „Адская Почта“, 1769, 54, 85, 98, 171, 172—3, 170, 231; „Ни то ни сіе“, 1769, 157; „Трутень“, 1769, 124—5, 202; „Пустомеля“, 1770, 10, 19; „Парнасскій Щепетильникъ“, 1770, 103, 285; „Вечеръ“, 1772, 6, 50—1, 52, 185, II, 39, 89; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ“, 1781, 124, 198; „Собесѣдникъ“, 1783, II, 66—7; „Сатирич. Вѣстникъ“, 1790, I, 28—30, 56. Въ *драмахъ*: Левшинъ, „Кто старое помянетъ“, 1790, 7; Иракудинъ, „Самохвалъ“, 1773, 11; И. Эмилъ, „Знатоки“, 1788; Д. Волковъ, „Воспитаніе“, 1774, Р. О., XXI, 88; И-на Екатерина, „Недоразумѣніе“, 1789, Р. О., XXXI, 183; Благодаровъ, „Смѣшные сборище“, 1787, Р. О., XXXVI, 162—3; Голицынъ, „Новые чудаки“, 1798, 36; Левшинъ, „Мнимые вдовы“, 1794, Р. О., XLIII, 28; И. Муравьевъ, „Ошибка, или утро вечера мудренѣе“, 1794, 3; И. Эмилъ, „Мнимой мудрецъ“, 1786, Р. О., XXIX, 198; И-на Екатерина, „Обманщикъ“, 1786, Р. О., XIII; Крыловъ, „Проказники“, 1793, XI; Княжнинъ, „Чудаки“, 1793, XII, 126—8; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ“, 1800, 28—9. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія А. В. Мещерскаго“, М., 1901, 9; „Памятники новой русской исторіи“, сборникъ историч. статей и матеріаловъ, изд. В. Кашпиревымъ, 3 т., Спб., 1871, I, 338; „Семейная хроника“, записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 30, 250; „А. Д. Боровковъ, и его автобіографическія записки“, Спб., 1829, 36; П. Кичеевъ, „Воспоминанія о пребываніи непріятеля въ Москвѣ“, М., 1858, 109; „Записки арт.-маіора М. В. Данилова“, М., 1842, 9; „Изъ недавней старины“, П. Г. Кичеева, М., 1870, 154; „Истинное повѣствованіе“, Гавр. Добрынина, М., 1872, 191; „Жизнь А. С. Шишкевича“, М., 1885, 166; „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 32; „Записки Никиты Ив. Толубѣева“, Спб., 1889, 28; „Записки“, В. А. Писарскаго, Спб., 1894, 109; Н. Ч—инъ, „Махонины“, Р. В., № 6, 591, 602, № 7, 221; В. Селивановъ, „Изъ давнихъ воспоминаній“, Р. Арх., 1869, № 1, 156. 330. Въ *журналахъ*: „И то и сіе“, 1769, № 33; „Трутень“, 1769, 48, 72; 1770, 5; „Пустомеля“, 1769, 210; „Живописецъ“, 1772, 287, 347; „Что-нибудь“, 1780, XVI, 7; „Разсказчикъ“, 1781, 47, 56, 108; „Собесѣдникъ“, 1783, 55, 58, IX, 10; „Сатирическій Вѣстникъ“, 1790, I, 11, 14—15, VIII, 10; „Почта Духовъ“, 1789, II, 109; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1792, II, 5. Въ *драмахъ*: Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленный“, 1765, Р. О., XIX; Соколовъ, „Судейскія именины“, 1781, Р. О., XXXV, 25; Сумароковъ, „Приданое обманомъ“, 1769, Р. О., XVI, 220; И-на Екатерина, „О, время!“, 1772, Р. О., XI, 21; „Свадьба г. Промоталовой“, 1774, Р. О., XXVII, 76—7; „Злоумный“, 1788, Р. О., XIII, 94; И-на Екатерина, „Разстроенная семья“, 1788, Р. О., XX, 280, 282; А. Волковъ, „Чадолюбіе“, 1788, 14—15; А. Голицынъ, „Новые чудаки“, 1798, I, 4, 6—7, 10—12. Въ *мемуарахъ*: „Жизнь А. С. Шишкевича“, М., 1885, 257; „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 164; „Воспоминанія И. Я. Аѳанасьева“, Истор. В., 1890, № 7, 30; „Записки Винскаго“, Р. Арх.,

1877, I, 95—7; „Семейная хроника", записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 30—1. 331. Въ *журналахъ*: „Адская Почта", 1769, 105—7, 108; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, 25; „Трутень", 1769, 51; 1770, 6—7; „Живописецъ", 1772, 181, II, 244; „Разсказщикъ", 1781, I, 169, 201; выработался даже особый типъ „любителя тажбъ"-„ябедника": „Трутень", 1769, 51, 205; „Вечера", 1772, 154—5; „Живописецъ", 1772, 115; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, V, 28, 31—2; „Зритель", 1792, 113. Въ *драмахъ*: „Челобитчики", 1797, 17—18; „Раздраженный мужъ", 1799, 9; К. И. Ч., „Сестры-соперницы", 1777, Р. Ѳ., IX, 9; Левшинъ, „Кто старое помянетъ", 1799, 16; Копіевъ, „Обращенной Мизантропъ", 1794, 26, 37; Клушинъ, „Услужливой", 1796, 26; Капнистъ, „Ябеда", 1798, 18, 37; Лукинъ, „Пустомеля", 1785, 168. Въ *мемуарахъ*: „А. Д. Боровковъ и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 17; „Записки", арт.-маіора М. В. Данилова, М., 1842, 36; „Истинное повѣствованіе, или жизнь Гаврила Добрынина", 3 ч., Спб., 1872, 6; „Жизнь А. С. Пишчевича", М., 1885, 242, 269; Вѣтчевъ, „Бытъ русскаго дворянина", М., 1851, 169—170, 178, 172, 177; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, 150; „Воспоминанія Ѳ. П. Лубановскаго", М., 1872, 134; „Семейныя записки Т. Толычевой", М., 1665, 3; „Записки новосокольскаго дворянина П. Остроженкаго-Лохвицкаго", К., 1886, 21, 87; „Записки В. А. Нащокина", Спб., 1842, 113; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 91; „Воспоминанія и признанія человѣка, доживающаго свой вѣкъ", Р. Стар., 1895, т. LXXXIII, 76; „Записки отжившаго человѣка", Р. Стар., 1883, LX, 701, 706—7. 332 Въ *журналахъ*: „Трутень", 1769, 200; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, III, 40; „Сатирическій Вѣстникъ", 1790, VI, 69. Въ *мемуарахъ*: „Мои воспоминанія", Г. Ѳ. Постолонскій, К., 1878, 43; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, II, 31—42; „Воспоминанія Ив. Меньшаго", Р. Стар., 1874, т. X, 51; „Записки солдата Памфила Назарова", Р. Стар., 1878, XXII, 531. 333 Въ *драмахъ*: Дмитровъ, „Подражатель", 1779, Р. Ѳ., XXVII, 25—6; Визмитиновъ, „Новое семейство", 1781, Р. Ѳ., XXIV, 259—60, 262—5; „Матросскія шутки", 1780, XXIV, 144; Аблесимовъ, „Счастіе по жребію", 1780, 6, 28, 29, 37; „Чувствованіе благотвореній", 1787, Р. Ѳ., XXXIV, 226; Плавильщиковъ, „Бобыль", 1792, 29. Въ *мемуарахъ*: „Жизнь А. С. Пишчевича, имъ самимъ описанная", 3 ч., М., 1885, 158; „Щукинскій Сборникъ", вып. I, 456. 334. Въ *мемуарахъ*: „Ѳ. Як. Мирковичъ, его жизнеописаніе", Спб., 1889, 24; И. Лукинъ, „Жизнь стариннаго дворянина", Р. Арх., 1865, № 8, 452—3. 335. Въ *журналахъ*: „И то и сіе", 1769, № 33; „Разсказщикъ", 1781, 137, 138, 174, 152; „Зритель", 1792, I, 99; „Собесѣдникъ", 1783, II, 54, X, 22; „Зритель", 1792, II, 312, 313—4; „Всякая Всячина", 1769, 339. Въ *драмахъ*: Дмитровъ, „Подражатель", 1779, Р. Ѳ., XXVII; О. Чернявской, „Купецкая компанія", 1780, Р. Ѳ., XXVII, 164, 163; „С.-Петербургской гостиной дворъ", 1791, 78—9; Соколовъ, „Судейскія имянины", 1781, Р. Ѳ., XXXV, 66; Хвостовъ, „Русской Парижанецъ", 1783, Р. Ѳ., XV, 202; Юкинъ, „Колдунъ-ворожей", 1789, Р. Ѳ., XXXVII, 210; Княжнинъ, „Сбитенщикъ", 1790, Р. Ѳ., XX, 22, 29, 60—3, 05; „Челобитчики", М., 1797, 13; Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленной", 1765, Р. Ѳ., XIX; Е. Дашкова, „Тонсіоковъ", 1786, Р. Ѳ., XIX, 295, 297—8; „Перемѣна въ нравахъ", 1789, Р. Ѳ., XXXVIII, 42—5; „Взаимодавецъ", 1790, 11—12; И. П., „Побѣгъ отъ долговъ", 1792, 85; „Невѣста подъ фатою", 1789, Р. Ѳ., XXXVII. Въ *мемуарахъ*: „Свѣдѣнія о купеческомъ родѣ Вишняковыхъ", собр. И. Вишняковымъ, М., 1903, 30, 39, 44, 50, 102, 150, 183—5; „Записки В. А. Инсарскаго", Спб., 1894, 193—5; „Записки новосокольскаго дворянина П. Остроженкаго-Лохвицкаго", К., 1886, 96; И. Щербань, „Воспоминанія крѣпостного", Р. В., 1877, № 9, 50; „Записки Винскаго", Р. Арх., 1877, I, 177—9; А. Д. Боровковъ, и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 22. 336. Въ *мемуарахъ*: „А. Д. Боровковъ, и его автобіографическія записки", Спб., 1899, 28, 32; „Записки Д. И. Свербеева", М., 1899, 8—9; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ Москвѣ", Р. В., 1876, № 7, 137, 139, 152; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ столицѣ", Р. В., 1876, № 11, 184; „Воспоминанія Т. П. Пассекъ", Р. Стар., 1872, XV, 844, 849. 337. Въ *журналахъ*: „Трудолюбивая Пчела", 1759, 367, 476, 689—692, 696—8, 757—62; „Полезное увеселеніе", 1761, I, 182, II, 19; „Свободные часы", 1763, I, 106—7, 163—8, 212, 250, 251, 296; „Всякая Всячина", 1769, 84, 159, 160, 274, 277, 306—7, 308—9, 375—6, 394—6, 398, 440—8, 449; „Адская Почта", 1769, 11—2, 26, 48, 49, 58, 59, 100—1, 60, 65, 105, 110, 218—20, 253, 308, 312—3; „И то и сіе", 1769, № 21, № 25, № 30, № 32, № 33, № 34, № 40, № 44, № 48; „Полезное съ пріятнымъ", 1769, № 1, 29, № 2, 27; „Поденьщина", 1769, 31; „Трутень", 1769, 5, 13—15, 28, 69, 71, 98, 127, 143, 181, 168, 187, 201, 206, 217.

259, 260; „Трутень“, 1770, 5, 85, 101, 108; „Пустомеля“, 1770, 15, 59, 79; „Парнасскій Щепетильникъ“, 1770, 6; „Смѣсь“, 1769, 75, 86—7, 117, 139—140, 143, 157, 159, 212; „Вечера“, 1772, 5, 51—2, 77, II, 131; „Живописець“, 1772, 23, 107, 115, 117, 124, 125, 181, 191—2, II, 242; „Что-нибудь“, 1780, л. IV—V, 6, 8; „Разсказщикъ забавныхъ басенъ“, 1781, л. V, 33, 37, 36, 51, 52, 78, 94, 92, 95, 127, 150, 151, 169, 173, 201, II, 68—9, 70, 170, 161, 202; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.“, 1783, V, 128, 163, XIII, 28, 31; „Покоющійся Трудолюбенъ“, 1784, II, 209, 212—3; „Зеркало свѣта“, 1786, II, 65, 68; „Бесѣдующій Гражданинъ“, 1789, III, 93, 379; „Сатирическій Вѣстникъ“, 1790, I, 130, II, 100; III, 60, 109, IV, 78, 109, V, 29, VIII, 85, IX, 4, 90; „Почта Духовъ“, 1789, II, 15, 26, 119, 127, 213, 299; „Дѣло отъ бездѣлья“, 1792, II, 7, II, 102, III, 234; „Зритель“, 1792, I, 117, 117—120, 232; „Прохладные часы“, 1793, I, 50. Въ *драмахъ*: Лукинъ, „Мотъ, любовью исправленный“, ком., 1765, Р. Ѳ., XIX, 60, 64—5, 76—7, 82, 78—81, 104; Сумароковъ, „Приданое обманомъ“, ком., 1769, Р. Ѳ., XVI, 222—3, 250; его-же: „Ядовитый“, ком., 1769, Р. Ѳ., XVI, 244—5, 294—7; Веревкинъ, „Такъ и должно“, ком., 1773, Р. Ѳ., XIX, 205; „Свадьба г-на Промоталова“, ком., 1774, Р. Ѳ., XXVII, 139; Майковъ, „Деревенскій праздникъ“, паст. др., 1777, Р. Ѳ., XVIII, 155; О. Чернявскій, „Купецкая компанія“, 1780, Р. Ѳ., XXVII, 168, 187—8, 195, 197, 199—200; Сумароковъ, „Трессотиніусъ“, ком., 1781, Р. Ѳ., XV, 279, 291—3; его-же: „Чудовищи“, ком., 1781, Р. Ѳ., XVI, 11, 12—14, 15, 38; Веревкинъ, „Точь въ точь“, 1785, Р. Ѳ., XXXIII, 133; Фонвизинъ, „Бригадиръ“, 1786, Р. Ѳ., XXXIII, 19, 24, 75; Сумароковъ, „Мать—совмѣстница дочери“, ком., 1786, Р. Ѳ., XVII, 306; Николевъ, „Самолюбивой стихотворецъ“, ком., 1775, Р. Ѳ., XV, 27, 69; Н. М., „Философъ по неволѣ“, 1787, 3, 4; „Чувствованіе благотвореній“, др., 1787, Р. Ѳ., XXXIV, 232; И. Эмнинъ, „Знатоки“, ком., 1787, 29; „Отгадай, не скажу“, ком., 1788, 25; Болковъ, „Чадолюбіе“, ком., 1788, 21; М. Поповъ, „Анюта“, ком., 1789, Р. Ѳ., XXVIII, 151, 152; „Перемѣна въ нравахъ“, ком., 1789, Р. Ѳ., XXXVIII, 83—4; Левшинъ, „Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ“, 1790, 73; „Обманъ на обманъ“, ком., 1790, Р. Ѳ., XXXVIII, 206—7, 218—9; „С.-Петербургскій гостиной дворъ“, ком., 1791, 33, 40, 91—4; Левшинъ, „Своя ноша не тянетъ“, ком., 1794, Р. Ѳ., XLII, 171, 210—3, 214; Нелачинъ, „Неудачливой въ любви подъячій“, 1795, 23—5, 34—5, 34—5, 44—5, 47—8, 53—5, 75—6, 85—6; Клушинъ, „Услужливой“, ком., 1796, 20; Лукинъ, „Наказанная вертопрашка“, 1781, 42—3, 48; Городчаниновъ, „Митрофанушка въ отставкѣ“, 1800, 11—12, 16—17; Голицынъ, „Отъ-ненавидимка“, 1799, 59—61, 127 и др. Соколовъ, „Судейскія имянины“, 1781, Р. Ѳ., XXXV, 25; Н. М., „Философъ по неволѣ“, 1787, 9—10, 29—31; Лукинъ, „Наказанная вертопрашка“, 1781, 35, 43; „Челобитчики“, 1797, 8; А. Голицынъ, „Новые чудаки“, 1798, 1, 4, 6—7, 10, 12; Лопухинъ, „Торжество правосудія“, 1794, 109; Капнистъ, „Ябеда“, 1798, 21; взятки: „Лжецъ“, 1774, Р. Ѳ., XII, 118; Херасковъ, „Ненавистникъ“, 1779, Р. Ѳ., X, 55; Соколовъ, „Судейскія имянины“, 1781, Р. Ѳ., XXXV, 25; Веревкинъ, „Точь въ точь“, 1785, Р. Ѳ., XXXIII; Горчаковъ, „Калифъ на часъ“, 1786, Р. Ѳ., XXVI, 76; Н. Н., „Философъ по неволѣ“, 1787; Кокошкинъ, „Походъ подъ Шведа“, 1790, 77; Кропотовъ, „Ѳомушка, бабушкинъ внучекъ“, 1790, Р. Ѳ., XXXV, 186; И. Н., „Побѣгъ отъ долговъ“, 1792, 79—80; Княжнинъ, „Чудаки“, 1793, Р. Ѳ., XLI, 80—91; „Челобитчики“, 1797; Капнистъ, „Ябеда“, 1798, 13—19, 40; Воевода, или судья, ничего не дѣлаютъ: Веревкинъ, „Такъ и должно“, 1773, Р. Ѳ., XIX, 205, 211; И-на Екатерина, „Имянины г-жи Борчалкиной“, 1774, Р. Ѳ., XI, 203; Веревкинъ, „Точь въ точь“, 1785, Р. Ѳ., XXXIII; Сумароковъ, „Мать—совмѣстница дочери“, 1786, Р. Ѳ., XVII, 291; Капнистъ, „Ябеда“, 1798, 20. Въ *мемуарахъ*: „Памятники новой русской исторіи“, изд. В. Кашпиревымъ, Спб., 1871, III, 270; „Семейная хроника“, записки А. В. Кочубея, Спб., 1890, 241—4, 248—51; Августъ Коцебу, „Достопамятный годъ моей жизни“, 2 ч., 1879, 28—29; „Записки арт.-маіора М. В. Данилова“, М., 1842, 34—5, 45, 61, 108, 109; „Изъ недавней старины“, П. Г. Кичеева, М., 1870, 81, 100—102, 103—4; „Истинное повѣствованіе“, Гавр. Добрынинъ, Спб., 1872, 45, 162, 167, 177, 178, 184, 194; „Жизнь А. С. Шишкевича“, 3 ч., М., 1885, 107—8, 134, 161, 173, 174, 212—3, 243, 246, 269; „Записки Д. Н. Свербеева“, М., 1899, 9, 150, 157—8, 197, 216, 230, 218—220, 262; „Семейныя записки Т. Толычевой“, М., 1865, 5, 8; „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Ор., 1897, 55, 117, 119, 120; „Записки В. А. Инсарскаго“, Спб., 1894, 157, 182—3, 210—3; „Записки новоскольскаго дворянина И. Острожскаго-Лохвицкаго“, К., 1881, 8, 9, 20—1, 23, 51, 54, 59; „Записки кн. Я. И. Шаховскаго“, Спб., 1872, 125;

„Очеркъ служебной дѣятельности и домашней жизни стольника и воеводы XVII ст. В. А. Даудова“, П. Н. Селифонтова, Спб., 1871, 14; Г. Гераковъ, „Путевыя записки“, Спб., 1828, 100; „Воспоминанія І. Туканскаго“, Спб., 1834, 48, 53, 101; „О поврежденіи нравовъ“, кн. Щербатова, 682—3; Н. Ч—инъ, „Трескинцы“, Р. В., 1874, № 5, 317—8; М. Назимовъ, „Въ провинціи и въ столицѣ“, Р. В., 1876, № 7, 114; „Дневникъ В. Н. Аскоченскаго“, Истор. В., 1882, № 7, 31, 47; Дм. Б. Мертваго, „Записки“, Р. Арх., 1867, 28, 51, 69, 85; „Записки Винскаго“, Р. Арх., 1877, I, 102, 104, 119—120; А. Бѣляевъ, „Воспоминанія о пережитомъ“, Р. Арх., 1880, XXIX, 5. 338. Въ *журналахъ*: „Свободные часы“, 1763, I, 202; „Разкащикъ забавныхъ басенъ“, 1781, 174—5; „Собесѣдникъ любителей Росс. Слов.“, 1783, V, 128; „Сатирическій Вѣстникъ“, 1790, II, 58, 87, III, 5, 19. Въ *драмахъ*: Лукинъ, „Щепетильникъ“, 1765, Р. Ѳ., XXXV, 283; „Перемѣна въ нравахъ“, 1789, Р. Ѳ., XXXVIII, 42—5; Книжнинъ, „Зрителищикъ“, 1790, Р. Ѳ., XXX; Ефимьевъ, „Преступникъ отъ игры“, 1790, 2—3, 18. Въ *мемуарахъ*: „Воспоминанія А. М. Фадѣева“, Од., 1897, 43, 44, 121; И. Тургеневъ, „Россія и Русскіе“, М., 1907, II, 28; И. Лукинъ, „Жизнь старинпаго дворянина“, Р. Арх., 1865, № 8, 445.

IV.

До нашихъ дней отъ стараго греческаго романа уцѣлѣло лишь нѣсколько произведеній, которыя всѣ разбросаны на пространствѣ 7—9 вѣковъ (Произведеніе Ямвлиха Rhode относитъ къ II в., — сочиненіе Евстаѳія, къ X—XII в.). Можно думать, что эти немногія произведенія — лишь незначительные осколки большой, когда-то вполнѣ опредѣленной и своеобразной романической литературы, до нашихъ дней въ цѣломъ видѣ не дошедшей. Праисторія ея возстановлена вполнѣ правдоподобно, особенно благодаря работамъ А. Н. Веселовскаго и Rhode[1]. Хотя, конечно, никакія усилія кабинетныхъ ученыхъ не возсоздадутъ намъ полной картины всего утраченнаго,—тѣмъ не менѣе, и дошедшія до насъ произведенія настолько характерны и содержательны, что даютъ прочныя основанія для того, чтобы говорить съ увѣренностью о прошломъ греческаго романа. Но цѣнность этихъ немногихъ, дошедшихъ до насъ, произведеній не исчерпывается ихъ значеніемъ для реконструированья погибшей эволюціи древняго романа, — еще больше цѣны имѣютъ они для исторіи новаго европейскаго романа, представляя собою тѣ немногіе образцы, на которыхъ строился весь европейскій ложноклассическій романъ и даже эпосъ, начиная съ эпохи Возрожденія вплоть до XVIII-го вѣка, когда, имъ на смѣну, явился романъ „англійскій", воодушевленный совсѣмъ иными идеалами, отличающійся новой архитектоникой, новымъ стилемъ...

Такимъ образомъ, въ европейской литературѣ вліяніе этихъ *осколковъ* стараго погибшаго романа продолжалось въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ.

Не такъ значительна была судьба его у насъ въ Россіи: мы въ началѣ XVIII в. ознакомились заразъ съ романомъ „псевдоклассическимъ", „классическимъ" и „англійскимъ"[2]. Такимъ образомъ, въ нашей литературѣ была нарушена та постепенность, которая

наблюдается въ смѣнѣ этихъ романическихъ „типовъ“ на западѣ. На русскаго читателя въ XVIII-омъ вѣкѣ заразъ нахлынуло не только все самое „новое“, чѣмъ интересовался западъ, но и „старое“, давно тамъ пережитое, но намъ еще невѣдомое. Изъ этой путаницы различныхъ литературныхъ вкусовъ и настроеній выбраться было нелегко русскому читателю и писателю,—вотъ почему выяснить взаимоотношеніе и судьбу различныхъ „типовъ“ интересующаго насъ жанра — необходимо.

---

1) По *содержанію* всѣ эти греческіе романы относятся къ разряду *эротическихъ*. Любовь—главная пружина ихъ механизма.

Такъ, напримѣръ, въ романѣ Харитона главные герои Керей и Каллирои; въ нее влюблены юноши ея города и даже чужестранцы, съѣхавшіеся въ городъ ради ея красоты. Мы застаемъ весну любви героевъ и увѣнчаніе этой любви въ бракѣ. Затѣмъ герои разлучены; въ героиню влюбляется тиранъ Діонисій, купившій ее, какъ рабыню; затѣмъ влюбляются Митридатъ, Фарнацезъ, сатрапъ лидійскій, наконецъ, самъ царь персидскій Артаксерксъ.

Въ романѣ Геліодора любовная интрига еще сложнѣе. Теагенъ и Хариклея—любовники, нѣжно и чисто любящіе другъ друга; они попадаютъ въ руки разбойниковъ и выдаютъ себя за брата и сестру. Въ нее влюбляются по очереди—молодой тиріецъ, одержавшій побѣду на пиѳійскихъ играхъ, потомъ Трахинъ, начальникъ пиратовъ, разбойникъ Пелоръ, начальникъ другихъ разбойниковъ, Тіамисъ, солдатъ Ахеменесъ, военачальникъ Ороондатъ. Въ эту главную нить вплетается страстная любовь Арсаке къ Теагену, и въ вводныхъ эпизодахъ — преступная любовь мачихи къ греку Кнемону, любовь Термутисана къ Тиѳбо, Калазириса къ Родонисъ, взаимная любовь Кнемона и Навсиклы.

Въ романѣ Ксенофонта герои Аброкомъ и Антія тоже любятъ другъ друга высокой и чистой любовью. Попавъ въ руки разбойниковъ, они возбуждаютъ къ себѣ любовь: онъ—Каримба, она—Эвксина; затѣмъ въ Аброкома влюбляется Манто, дочь его господина, потомъ старуха Кино; въ Антію влюбляется мужъ Манто Мойридъ, потомъ военачальникъ Перилай, принцъ Псаммисъ, разбойникъ, затѣмъ Паліидъ, Гиппотой. Въ вставныхъ эпизодахъ разсказана исторія любви Гиппотоя къ юношѣ и любовь рыбака.

Въ романѣ Ахилла Тація представлена любовь Клитофона и Левкиппы: въ Левкиппу влюбляется византіецъ Каллисѳенъ, военачальникъ Хармидъ, египетскій воинъ Горгіасъ, пиратъ Херей, Терсандръ; въ Клитофона влюбляется богатая вдова Мелитта. Кромѣ того, попутно говорится о любви Клиніаса къ юношѣ Хариклу, Менелая—тоже къ юношѣ; Сатира — къ Кліо.

Въ романѣ Евтиѳія изображена любовь Исменеіи и Исменіаса, — она заполняетъ собою весь романъ, очень бѣдный авантюрами; только въ героя влюбляется одна женщина, мужъ которой купилъ героя; потомъ влюбляется другая госпожа его, красавица Родона.

2) По *характеру* своему греческій романъ относится къ разряду романовъ *„идеалистическихъ“*.

Во всѣхъ этихъ романахъ любовь *главныхъ героевъ* приблизительно одного порядка,—глубокая и постоянная: она въ однихъ произведеніяхъ возвышается до чистаго идеализма,—въ другихъ принимаетъ характеръ страстности и окрашивается чувственностью (у Ахилла Тація, Евтиѳія); но во всѣхъ романахъ она выдерживаетъ всѣ испытанія и искушенія и потому, въ концѣ концовъ, всегда вѣнчается покоемъ и счастьемъ. И не только въ сферѣ любовныхъ отношеній главные герои являются „идеальными“ — они божественно-прекрасны по наружности и надѣлены высокими душевными качествами: герой Ямвлиха, напримѣръ, не хочетъ присвоить себѣ найденныхъ богатствъ потому, что эти богатства принадлежали разбойникамъ и были, слѣдовательно, нечестно пріобрѣтены. Теагенъ, герой романа Иліодора, на совѣтъ своей Хариклеи прикинуться влюбленнымъ въ Арсаке отвѣчаетъ: „и дѣлать постыдное и говорить—одинаково дурно“. Обожествленіе женщины, рыцарское служеніе ей—характернѣйшія черты этихъ произведеній. Тотъ-же Теагенъ говоритъ, что для него нѣтъ ничего выше, какъ „побѣжденнымъ являть всякое человѣколюбіе“. Такъ, герои стараго греческаго эпоса, съ ихъ хищной храбростью, порывистой, грубой силой, кровожадностью и хитроуміемъ смѣнились въ этихъ романахъ другими, вся сила которыхъ въ идеализмѣ ихъ сердца и въ божественной красотѣ ихъ плоти.

Какъ яркая противоположность этой „идеальной“ любви, во всѣхъ романахъ фигурируетъ иная любовь, — животная, преступная... Изъ наиболѣе яркихъ проявленій ея приведу слѣдующіе примѣры: въ романѣ Геліодора такой является любовь мачихи къ пасынку, — Арсаке къ Теагену; въ романѣ Ксенофонта—любовь Манто и Кино къ Аврокому и разбойника къ Антіи. Отвергнутые идеальными героями, всѣ „преступные“ любовники прибѣгаютъ къ клеветѣ, или насилію, но, въ результатѣ всегда погибаютъ сами, а герои, послѣ временнаго ухудшенія ихъ судьбы, опять дѣлаются счастливыми...

Вслѣдствіе этого герои греческаго романа рѣзко дѣлятся на двѣ группы: героевъ *положительныхъ* и героевъ *отрицательныхъ*. Между ними стоятъ, совершенно безцвѣтные въ моральномъ отношеніи, „друзья“, „наперстники“ и пр. Главные герои всегда идеальны; впрочемъ, преизбытокъ добра въ ихъ душѣ дѣлаетъ ихъ слишкомъ отвлеченными, безжизненными [3]. Гораздо живѣе, ярче герои порочные, обуреваемые злыми чувствами преступной любви, обыкновенно отвергаемой и потому влекущей къ мести, къ клеветѣ, къ преслѣдованью... Къ героямъ идеальнымъ можетъ

быть отнесенъ излюбленный въ греческомъ романѣ образъ мудреца-отшельника, или просто старца, живущаго вдали отъ людей (у Геліодора—три раза, у Ксенофонта тоже) въ греческомъ же романѣ мы встрѣчаемъ впервые образъ *„благороднаго разбойника“* [4].

Такимъ образомъ, идеализмъ греческаго романа сказался въ философскомъ міросозерцаніи романистовъ. Романъ этотъ создался въ эпоху междувѣрія, когда старая вѣра давно уже уступила мѣсто философскимъ ученіямъ [5]. Всѣ эти новыя религіи ума и сердца выдвигали на первый планъ вопросы морали. И вотъ, романъ явился литературнымъ отраженіемъ этихъ новыхъ исканій: наканунѣ окончательнаго торжества христіанства онъ возславилъ уже *торжество добродѣтели* сердца; онъ выдвинулъ уже героевъ „прекраснодушныхъ“, обильно надѣленныхъ запасомъ чистой и прочной любви,—героевъ „духа“, взамѣнъ прежнихъ героевъ „прекрасной плоти“.

Въ самомъ дѣлѣ, излюбленные мотивы этого романа: уваженіе къ женщинѣ, рыцарское служеніе ей, — чужды старой Эллады и присущи уже новому времени. Въ этой особенности, на мой взглядъ, и заключается одна изъ главныхъ причинъ популярности греческаго романа въ ту эпоху, когда христіанство восторжествовало надъ міромъ. Оттого греческую трагедію переводчикамъ и подражателямъ-псевдоклассикамъ пришлось въ XVI—XVII в. *перебрасывать* на новый ладъ, — греческій романъ остался почти нетронутымъ: въ немъ почти ничего не ломали,—лишь усиливали все то, что въ немъ было, да модернизировали стиль, сглаживали шероховатости содержанія.

3) Другая причина популярности этого романа кроется въ его *космополитизмѣ*, въ интернаціональномъ значеніи его содержанія, идеаловъ, типовъ и приключеній... Греческій романъ сложился въ ту пору, когда прежняя исключительность и этнографическая нетерпимость греческаго духа смѣнилась самимъ широкимъ, равноправнымъ пользованьемъ всѣми благами человѣческой міровой культуры, независимо отъ того, гдѣ она расцвѣла, — въ Европѣ, или въ Африкѣ, или въ Азіи... Этотъ историческій моментъ былъ удивительно любопытенъ — моментъ культурнаго братства всѣхъ цивилизацій бассейна Средиземнаго моря. Романы, дошедшіе до насъ, сочинялись и въ Малой Азіи, и въ Сиріи, и въ Финикіи, и въ Египтѣ — сочинялись въ разное время, на разстояніи отъ II-го до X-го вѣка, и всѣ они удивительно согласны своимъ внутреннимъ содержаніемъ — *идеализмомъ сердца, космополитизмомъ* міровоззрѣнія, примирившимъ въ себѣ еллина и варвара. Различія

въ этихъ романахъ сводятся лишь къ тѣмъ легкимъ оттѣнкамъ авторскаго субъективизма, которые сообщали каждому произведенію извѣстную окраску.

Такимъ образомъ, греческій романъ „космополитическій" по своимъ идеаламъ, не имѣетъ никакого историческаго, географическаго и этнографическаго колорита. Дѣйствіе его развертывается внѣ времени и мѣста: самое нагроможденіе географическихъ названій ведетъ только къ излишней путаницѣ [6]; даже слабыя попытки Ямвлиха „набросить" восточный колоритъ на дѣйствіе романа [7], старанія Харитона связать дѣйствіе романа съ опредѣленными историческими именами—не приводятъ ни къ чему; попытки нѣкоторыхъ романистовъ уловить этнографическія черты второстепенныхъ героевъ (напр. попытка опредѣлить душевныя черты „варвара" [8]) тоже не спасаютъ главныхъ героевъ отъ полной и совершенной безличности.

4) Вслѣдствіе того, что „любовь" сосредоточила на себѣ всѣ интересы греческаго романиста, — никакія другія качества души не заинтересовали его въ такой мѣрѣ, какъ „чистота" и „вѣрность" сердца. Это исключительное вниманіе къ „жизни сердца" создало всѣ остальныя, наиболѣе характерныя особенности этого романа. Къ такимъ я, прежде всего, отношу *психологическіе* интересы греческаго романиста.

Исходя изъ современнаго романа, въ которомъ такъ богато развитъ психологическій анализъ, нетрудно вовсе проглядѣть наличность психологическихъ интересовъ у греческаго романиста, но стоитъ подойти къ его произведенію, хотя бы, отъ Иліады и Одиссеи, — и мы убѣдимся, сколько вниманія и труда положили въ своихъ произведеніяхъ греческіе писатели на этотъ психологическій анализъ [9].

Прежде всего, онъ выразился въ самомъ внимательномъ изученіи чувства *любви*, ея зарожденія, проявленія, въ изученіи тѣхъ второстепенныхъ чувствъ, которыя съ ней связывались (ревность, тоска отъ безнадежной любви, злоба отъ отвергнутой любви и др.). Чаще всего этотъ скрытый анализъ обнаруживается, то въ замѣчаніяхъ и сентенціяхъ автора, поясняющихъ состояніе души его героевъ, то онъ выражается въ попыткахъ дать внѣшнее изображеніе того, что дѣлается въ глубинѣ сердца.

5) Естественно, что греческій романистъ, еще не научившійся внѣшнюю жизнь человѣческую развертывать изъ внутренней, зависящей только отъ свойствъ человѣческой души—принужденъ былъ найти такое *построеніе романа*, которое давало бы возмож-

ность шире и разнообразнѣе удовлетворить назрѣвавшимъ у него психологическимъ интересамъ. Предшествующая исторія греческой прозы, какъ доказалъ Rohde, облегчила ему эти искапія подходящей формы. И греческій романистъ остановился на тяжеломъ, громоздкомъ *авантюрномъ* построеніи своего произведенія. Вслѣдствіе этого, у него изложеніе романа представляетъ собою длинную цѣпь авантюръ двухъ основныхъ героевъ; иногда въ эту главную цѣпь вплетаются второстепенныя—a) вводятся разсказы о приключеніяхъ, пережитыхъ тѣмъ или другимъ героемъ во время разлуки—и b) вводятся „исторіи“ жизни тѣхъ второстепенныхъ героевъ, съ которыми судьба сталкиваетъ основныхъ героевъ. Быстрое чередованіе событій и приключеній, нанизанныхъ по прихоти „судьбы-случая“, или боговъ, давало романисту возможность освѣщать лицо своего героя разными освѣщеніями и съ разныхъ сторонъ. Внезапная любовь, страданье отъ безнадежной любви, радость взаимной любви, восторги брачной жизни, опасности путешествія, ужасы, кораблекрушенія, тоска въ плѣну у разбойниковъ, отчаяніе героевъ, попавшихъ въ рабство, горесть разлуки, неизбѣжное испытаніе вѣрности сердца, картины горя и отчаянья, преслѣдованія за неуступчивость, иногда мученья, въ родѣ темницъ и пытокъ, наконецъ, радость свиданья и счастье тихой жизни,—всѣ эти многообразныя „положенія“, повторяющіяся въ различныхъ комбинаціяхъ, давали ему возможность разобраться въ самыхъ различныхъ проявленіяхъ психической жизни героевъ *). Съ такой точки зрѣнія, „авантюрность“ романа была только литературнымъ пріемомъ, ставившимъ писателя-психолога въ особливо-выгодныя положенія. Этотъ „литературный пріемъ“ былъ тѣмъ безопаснѣе, что онъ находилъ себѣ оправданіе въ условіяхъ тогдашней жизни. Акад. А. Н. Веселовскій такъ объясняетъ „авантюрность“ греческаго романа:

„Все это должно служить для живописанія одного преобладающаго надъ всѣми чувства—любви. Современный романистъ глубже заглянулъ въ человѣческое сердце и тамъ нашелъ всѣ тѣ приключенія, встрѣчи и блужданія, которыя его предшественникъ переносилъ въ дѣйствительность. Это, съ его стороны, неумѣлый аналитическій пріемъ, не болѣе: у современнаго романиста герой и героиня могутъ скромно оставаться на мѣстѣ и переживать въ то же время самыя бурныя перипетіи чувства; греческій романъ заставляетъ своего героя и героиню пройти чрезъ цѣлый рядъ внѣшнихъ приключеній, примѣривая къ каждому изъ нихъ параллельное развитіе страсти, падающей, или раз-

*) См. ниже примѣры психологическихъ наблюденій въ этихъ романахъ.

вивающейся подъ вліяніемъ того или другого случайнаго ощущенія, или событія. Такъ понимаю я значеніе элемента приключеній и странствованій въ греческомъ романѣ, значеніе чисто *стилистическое*,— échafaudage для анализа „чувства любви“ [10].

Эти авторитетныя слова прекрасно поддерживаетъ наше мнѣніе, но они грѣшатъ нѣкоторою односторонностью. Конечно, „авантюрный“ характеръ былъ удобнымъ échafaudage для психолога, довольствующагося скромными требованіями греческаго писателя, но едва ли это построеніе было только „чисто-стилистическимъ“. Конечно, оно подсказывалось въ такой же мѣрѣ и самой жизнью, которая въ то время „авантюрами“ была богата,— тогда любое плаваніе отъ острова къ острову могло кончиться и кораблекрушеніемъ, и рабствомъ, и удаленіемъ отъ родины и разлукой съ милыми сердцу надолго... Еще въ XVIII-омъ столѣтіи Средиземное море кишѣло пиратами, а корабли тогдашней постройки безъ труда изъ моряковъ дѣлали, въ лучшемъ случаѣ, „робинзоновъ“. Слѣдовательно, этотъ „авантюрный“ романъ, такой искусственный съ современной точки зрѣнія, въ свое время былъ вполнѣ правдивымъ: на долю романиста оставалось лишь въ Wahrheit дѣйствительной жизни внести Dichtung,—изъ одного-двухъ *дѣйствительныхъ* эпизодовъ сплесть длинную цѣпь такихъ же *правдоподобныхъ* эпизодовъ... Въ результатѣ, получалось построеніе, которое давало возможность ввести психологическій элементъ и не особенно грѣшить противъ правды жизни.

6) Созданный средой, которая была воспитана въ атмосферѣ *риторизма*, греческій романъ сдѣлался жанромъ, впитавшимъ въ себя наклонность ко всѣмъ литературнымъ пріемамъ этой школы. Отсюда тотъ приподнятый патетическій тонъ этого романа, который выражается въ длинныхъ рѣчахъ, монологахъ, описаніяхъ, длинныхъ высокопарныхъ письмахъ, сентенціи и изреченія. Этотъ паѳосъ риторизма то подымается до трагизма (у Геліодора), то спускается до сентиментализма. Постоянное введеніе въ разсказъ такихъ стилистическихъ упражненій, по словамъ Rohde, до того пестритъ собой изложеніе романовъ, что порою придаетъ имъ видъ „мозаики“, дѣлаетъ эти риторскіе эффекты „общими мѣстами“ греческаго романа.

7) Къ „общимъ мѣстамъ“ этого романа относятся также его завязка, развязка и самыя авантюры. Въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ существованія этого романа греки-писатели не сумѣли выбиться изъ заколдованнаго круга тѣхъ же, или сходныхъ, „общихъ мѣстъ“. Такая бѣдность воображенія и творчества заставляетъ

ихъ прибѣгать къ этимъ „общимъ мѣстамъ“ иногда по нѣскольку разъ въ одномъ и томъ же произведеніи [14]. Такимъ образомъ, этотъ „Romanapparat“ у нихъ не отличается богатствомъ.

Къ наиболѣе распространеннымъ „общимъ мѣстамъ“ относятся слѣдующія: встрѣча героя съ героиней, обыкновенно, во время богослуженія, или праздника; причемъ оба *сразу влюбляются* другъ въ друга (у Геліодора, Тація, Ксенофонта, Харитона, Евстаѳія), — иногда обоихъ постигаетъ *болѣзнь отъ любви* (у Геліодора, у Ксенофонта), *„странствованія“* героевъ: они—или бѣгутъ отъ родителей, такъ какъ тѣ противъ ихъ брака,—или бѣгутъ, спасая свое чистое счастье отъ непрошенной любви кого-нибудь третьяго, — или *путешествуютъ* послѣ бракосочетанія. Оба они отличаются поразительной красотой (герои всѣхъ романовъ),—героиню принимаютъ за божество (у Геліодора, Ксенофонта и Харитона); въ нихъ *многіе влюбляются*—особенно въ героиню (въ романѣ Ямвлиха, у Геліодора—три случая, у Тація—четыре, у Ксенофонта — шесть, у Харитона — четыре). Герои попадаютъ *въ руки разбойниковъ*, — сухопутныхъ, или морскихъ (у Ямвлиха, у Геліодора, у Тація два раза, у Ксенофонта два раза, у Евстаѳія). Это приводитъ, обыкновенно, къ *рабству* героевъ (у Геліодора, у Ксенофонта—два раза, у Харитона—два раза, у Евстаѳія—два раза). Часто корабль, на которомъ плывутъ герои, встрѣчаетъ *бурю* и терпитъ *крушеніе* (у Геліодора—два раза, у Тація—два раза, у Ксенофонта, у Харитона, у Евстаѳія). Почти во всѣхъ романахъ фигурируетъ *мнимая смерть* героевъ (особенно героинь); героиня приходитъ въ себя, чаще всего, въ саркофагѣ (у Ямвлиха, Геліодора, Тація, Ксенофонта, Харитона), разбуженная разбойниками, пришедшими грабить склепъ (у Ксенофонта, Харитона). Къ „общимъ мѣстамъ“ относятся также *ошибки*. Герои (или героини) *ошибочно думаютъ*, что *героиня* (или герой) *умерла* (у Геліодора—два раза, у Тація—два раза, у Харитона—два раза); по *ошибкѣ убиваютъ* одного вмѣсто другого (у Геліодора, у Тація); *по ошибкѣ* героя (или героиню) *обвиняютъ въ преступленіи*, ими не содѣянномъ (у Ямвлиха—три раза, у Тація—два раза, у Ксенофонта); *по ошибкѣ приговариваютъ къ казни* (у Тація, у Ксенофонта), по *ошибкѣ* герои выпиваютъ, вмѣсто яда, снотворный напитокъ (у Ямвлиха, у Тація). Кромѣ „ошибокъ“, усложняющихъ развитіе дѣйствія въ романѣ часто вводятся *„случайности“*: напримѣръ, солдаты въ критическій моментъ случайно выручаютъ героя и героиню изъ рукъ разбойниковъ *) (у Ямвлиха, у Тація, у Ксенофонта). Отчаяніе приводитъ героя (или героиню) къ *обморокамъ* (у Геліодора, Харитона), къ *попыткамъ самоубійства* (у Геліодора—пять разъ, у Тація—два раза, у Ксенофонта, у Харитона—три раза); но „попытками“ только все и ограничивается,—за то порочные герои, почти во всѣхъ романахъ, кончаютъ свою жизнь отъ собственной руки. Во время долгой борьбы за свою любовь герою (или героинѣ) приходится переживать различныя приключенія: *переодываться* въ платье, чуждое ихъ полу (у Геліодора,

*) Иногда роль спасителей играютъ сами „боги“ (у Ксенофонта); у Евстаѳія герои дважды спасаются при помощи *дельфина*.

Тація, Ксенофонта); иногда имъ грозитъ *опасность быть принесену въ* жертву (у Геліодора—два раза, у Тація, Ксенофонта, Евстафія); героиня (иногда герой) подвергается *испытанію дѣвственности* *) (у Геліодора, у Тація, Евстаѳія—два раза). *Узнаніе* героя (или героини) происходитъ по предметамъ (напр., по „повязкѣ"), или по примѣтамъ,—пятно на рукѣ и др. (у Геліодора—два раза, Ксенофонта, у Харитона—два раза.). Нѣсколько разъ встрѣчаемъ мы случаи *клеветы* за отвергнутую любовь—сюжетъ Іосифа прекраснаго (у Геліодора, у Ксенофонта—два раза).

Къ „общимъ мѣстамъ" чудеснаго свойства относятся *„вѣщіе сны"* (у Ямвлиха, у Геліодора—шесть разъ, у Тація—четыре раза, у Евстаѳія), *предсказанія* оракуловъ (у Геліодора, Ксенофонта, Евстаѳія). *явленіе боговъ* спящему герою (у Геліодора, Тація), *дурныя предзнаменованія* (у Геліодора, у Тація—два раза, Евстаѳія); *колдовство* **) (у Ямвлиха—два раза, у Геліодора—три раза, у Тація—два раза).

8) Характерною особенностью греческаго романа является также тотъ *фатализмъ*, который широкое мѣсто въ управленіи человѣческой жизнью отвелъ Τύχη („судьба"—„случай"). У разныхъ романистовъ эта вѣра выразилась въ разной мѣрѣ, но у всѣхъ, кромѣ Ямвлиха, она ясно опредѣлилась и. въ эту переходную эпоху религіозной неопредѣленности, кажется, является одной изъ самыхъ характерныхъ основъ тогдашняго философскаго міросозерцанія.

9) Наконецъ, любопытной подробностью греческаго романа надо признать беззастѣнчивый, откровенный, даже грубоватый, *натурализмъ* нѣкоторыхъ картинъ, непривычный для читателя новаго времени: дѣйствующія лица говорятъ въ романѣ объ „естественной необходимости" (у Геліодора); обмѣниваются остротами довольно фривольными (у Ахилла Тація); часты откровенные разсказы о любви мужчинъ къ юношамъ (у Ахилла Тація, Ксенофонта, Харитона). Герой въ романѣ Тація, жестоко избиваемый, изъ трусости сноситъ побои; герой въ романѣ Харитона въ ярости бьетъ героиню въ грудь такъ, что она замертво падаетъ; героиня въ романѣ Евтиѳія, дѣвица изъ порядочнаго дома, до такой степени не можетъ совладать со своею чувственностью, что при родителяхъ старается обратить на себя вниманіе героя тѣмъ, что прижимаетъ, цѣлуетъ и щекотитъ его ноги; героиня въ романѣ Харитона совѣтуется о томъ, какъ лучше устроить выкидышъ. Конечно, всѣ эти детали слишкомъ бьютъ въ глаза своею неумѣстностью въ романахъ съ ярко-идеалистическимъ настроеніемъ.

---

*) Иногда испытывается вѣрность жены (у Тація).

**) Изрѣдка герои прибѣгаютъ къ *гаданію* (у Геліодора), къ помощи *талисмана* (у Геліодора).

Rohde, съ необыкновенною чуткостью историка и стилиста, отмѣтилъ мельчайшія особенности всѣхъ отдѣльныхъ греческихъ романовъ. Для моихъ цѣлей нѣтъ нужды въ такомъ кропотливомъ анализѣ всѣхъ отдѣльныхъ частностей—мнѣ важнѣе то общее, „огульное“ впечатлѣніе, которое на читателя новаго времени могли произвести всѣ эти старые романы. Вотъ для чего я, опираясь на матеріалъ, извлеченный изъ содержанія романовъ и на нѣкоторые выводы Rohde, сдѣлалъ такую суммарную, характеристику греческаго романа, съ указаніемъ того, что въ этомъ жанрѣ было особенно типичнымъ, что болѣе случайнымъ.

На основаніи работы Rohde и другихъ историковъ романа, не касаясь уже сущности греческаго романа, можно указать на тѣ характерныя особенности отдѣльныхъ его представителей, которыя позволяютъ говорить о существованіи *направленій*, къ которымъ замѣтно склонялась эволюція греческаго романа.

Романъ Ямвлиха еще представляетъ собою всѣ характерныя черты авантюрной сказки [16]: полная безличность героевъ, отсутствіе психологическаго элемента и даже вмѣшательства „судьбы“; сухая сжатость изложенія [17],—все подтверждаетъ такую характеристику. Романъ Геліодора представляетъ собою образецъ „героическаго“ романа: паѳосъ его подымается до трагизма. Романъ отличается „аристократизмомъ“ героя и героини оказываются наслѣдниками царскаго престола; идеалы романа возвышенны. Въ романахъ Тація и Ксенофонта замѣчается уже замѣтный наклонъ къ „мѣщанскому“ типу романа (герои не царскаго рода); ширина географическихъ предѣловъ, въ которыхъ развивается дѣйствіе романа, замѣтно сужается [18]; вмѣстѣ съ тѣмъ, углубляется психологическій анализъ [19]; замѣтнѣе дѣлается желаніе индивидуализировать личность героя [21]; сжатѣе дѣлается содержаніе и изложеніе романа, у Харитона уже меньше вводится авантюръ [21]; есть попытка (хотя и неудачная) связать дѣйствіе романа съ опредѣленными историческими именами; въ его романѣ дѣйствіе постепенно сводится къ жизни сердца двухъ чувствительныхъ, сентиментальныхъ любовниковъ,—такимъ образомъ, въ этомъ романѣ интересы романиста изъ „внѣшнихъ“ замѣтно дѣлаются болѣе „внутренними“. Такъ, изъ авантюрной сказки Ямвлиха, чрезъ возвышенный героическій романъ Геліодора, мы подошли къ „семейному“, ярко-сентиментальному, роману Харитона.

Нѣсколько въ сторонѣ отъ этой эволюціи стоятъ романы Ахилла Тація и Евтиѳія. Авантюрные и сентиментальные, они,

однако, въ исторію любовныхъ отношеній главныхъ героевъ (завязка) вводятъ ярко-выраженный элементъ эротической новеллы: первыя выраженія вспыхнувшей любви, краснорѣчивые разговоры глазами, украдкой сорванные поцѣлуи, ночныя посѣщенія героинь въ ихъ спальняхъ, хитрый обманъ Мелиттою своего супруга Терсандра,—все это набрасываетъ на отношенія героевъ тотъ оттѣнокъ блудливой похотливости, которая противорѣчитъ идеалистическому освѣщенію любви въ дальнѣйшемъ изложеніи и сближаетъ эти романы съ реалистической новеллой.

Изъ греческихъ романовъ на русскій языкъ были въ XVIII в. переведены слѣдующіе:

1) *Образъ невинной любви, или странныя приключенія еѳіопской царевны Хариклеи и Ѳеогена Ѳессалянина* [24], сочинены на греческомъ языкѣ Иліодоромъ Емесендскимъ, а съ Латинскаго на Россійскій переведены коллежскимъ регистраторомъ Иваномъ Мошковымъ. Часть первая и вторая въ Спб. 1769 г.

2) *Торжество супружеской любви надъ злосчастіями, или приключенія Аврокома и Анѳіи* [25]. Ефесская повѣсть. Сочиненіе Ксенофонта. Переводъ съ греческаго на французскій, а съ сего на россійскій языкъ. В... П... Москва. 1793 г.

3) *Похожденіе Кереа и Каллирои* [26], сочиненіе на греческомъ языкѣ Харитономъ Афродійскимъ, а съ нѣмецкаго на россійскій переведенное Иваномъ Акимовымъ. Въ Спб. 1763 г.

4) *Любовь Исмены и Исменіаса* [27], пер. съ французскаго. М. 1769.

Можно думать, что русскіе любители романовъ не могли не знать и очень популярнаго въ западной Европѣ произведенія Ахилла Тація: „*Исторія Левкиппы и Клитофона*“, хотя на русскій языкъ произведеніе это переведено не было.

Обращаясь къ *русскимъ переводамъ* греческихъ романовъ, мы видимъ,—1) что заинтересовалъ русскихъ читателей больше всего сентиментальный Харитонъ: его романъ раньше другихъ былъ переведенъ на русскій языкъ и выдержалъ у насъ *три* изданія.—2) что ни одинъ изъ нашихъ переводчиковъ не сдѣлалъ своего перевода прямо съ языка оригинала: каждый воспользовался готовыми переводами—латинскимъ, нѣмецкимъ, или французскимъ. Это обстоятельство, прежде всего, наталкиваетъ на вопросъ, въ какой мѣрѣ точно сохранился греческій оригиналъ въ тѣхъ латинскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ переводахъ, которыми пользовался русскій переводчикъ, пожелавшій познакомить соотечественниковъ съ самыми старыми образцами романическаго жанра; не менѣе интересенъ вопросъ, до какой степени точно эти русскіе пере-

водчики передавали текстъ тѣхъ переводовъ, которые сдѣланы были въ западной Европѣ. Для рѣшенія этихъ вопросовъ надо установить редакцію тѣхъ переводовъ, которые легли въ основаніе работы русскихъ переводчиковъ.

По указанію Ивана Мошкова, переведшаго романъ Геліодора, онъ пользовался латинскимъ переводомъ этого произведенія. Сдѣланныя мною сравненія всѣхъ латинскихъ переводовъ, имѣющихся въ главныхъ петербургскихъ книгохранилищахъ [28], позволяютъ мнѣ утверждать, что латинскій текстъ этихъ греческихъ романовъ представляетъ собой переводъ точный, „ученый", очевидно, сдѣланный очень давно, въ разныхъ изданіяхъ почти тожественный; лишь изрѣдка встрѣчалъ я мелкія разночтенія, которыя несущественны до того, что даже не позволяютъ говорить о существованіи различныхъ *„редакцій"* этого перевода. Но вопросъ этимъ еще не рѣшается: нашъ переводчикъ во время работы, можно думать, заглядывалъ и въ греческій текстъ, благодаря чему, напримѣръ, внесъ „поправку" въ имя одного изъ героевъ романа (вм. лат. Cnemon, онъ по русски ставитъ „Книмонъ", очевидно, прочтя по рейхлиновски греч. Κνήμων). Затѣмъ онъ вноситъ своеобразное дѣленіе своего романа на двѣ части,—дѣленіе котораго нѣтъ въ оригиналѣ; дѣленіе на главы, имъ сдѣланное, тоже не совпадаетъ съ дѣленіемъ, принятымъ въ оригиналѣ; вводные разсказы выдѣлены имъ въ самостоятельныя произведенія, имѣющія свои особыя заглавія [29]; „рѣчи" и „письма" отмѣчены особымъ шрифтомъ. Вся эта своеобразная распланировка романа заставляетъ заподозрѣть русскаго переводчика, не пользовался-ли онъ, кромѣ латинскаго, еще французскими переводами романа Геліодора.

По Guerard'у („La France littéraire") можно видѣть, что *до 1769 г.* (годъ появленія въ печати русскаго перевода) существовали *двѣ редакціи* французскихъ переводовъ Геліодора,—одинъ, принадлежащій Amyot—болѣе старый [30] и болѣе точный,—другой Poullain-de-S.-Foix (или abbé de Fontenu)—болѣе новый [31], отличный своей литературной отдѣлкой [32]. Дѣленіе на *двѣ части*, выдѣленіе курсивомъ „рѣчей", „писемъ" и пр. встрѣчаемъ мы именно въ этомъ позднѣйшемъ французскомъ переводѣ S.-Foix; здѣсь же вводныя повѣствованія выдѣлены въ самостоятельныя произведенія и носятъ особыя заглавія [33], однако русскаго дѣленія на „главы" въ этомъ французскомъ переводѣ нѣтъ. Что касается до имени „Кнемонъ", то въ обоихъ французскихъ переводахъ оно звучитъ: Cnemon.

Такимъ образомъ, сличеніе русскаго перевода съ обоими фран-

цузскими не даетъ никакихъ положительныхъ указаній. Правда, русскій переводъ почти совпадаетъ съ текстомъ изданія Amyot, но тотъ, въ свою очередь, близокъ къ старому точному латинскому переводу. Привожу, для доказательства, начало романа на греческомъ, латинскомъ, французскомъ (въ двухъ редакціяхъ) и русскомъ языкахъ:

Ἡμέρας ἀρτι διαγελώσης καὶ ἡλίου τὰς ἀκρωρείας καταγλίζοντος ἄνδρες ἐν ὅπλοις λῃστρικοῖς ὄρους ὑπερκύψαντες.. [34].

Cum primum dies illucesceret et sol cacumina montium illustraret, viri ex armis et rapto vivere soliti, supra montem... [35].

Ред. Amyot.

Le jour ne faisoit gueres que commencer à poindre, et le soleil à rayer sur les cimes des montagnes, quand il se trouva une troupe d'hommes armez et embastonnez à la façon des brigands au dessus du mont [36].

Ред. S.-Foix.

Apres une horrible tempête, le Ciel avoit repris sa première sérénité; les vents étoient tranquilles et déjà l'aurore brillante commençoit à dorer le sommet des montagnes et annonçoit de toutes parts aux mortels rassurés un jour encore plus brillant qu'elle: lorsque des Brigands, postés sur une colline [37].

Какъ только прекрасное свѣтило, пустивъ по земли свой блескъ, освѣтило верьхи горъ, то тѣ, которые обыкли жить оружіемъ и грабежемъ, взошедъ на гору... [38].

Уже изъ этого сличенія можно заключить, что нашъ переводчикъ, вѣроятнѣе всего, пользовался не французскимъ, а латинскимъ переводомъ романа Геліодора: но, кромѣ того, заглядывалъ онъ, очевидно, и въ греческій текстъ,—иначе трудно объяснить, откуда взялъ онъ чтеніе *Книмонъ* вмѣсто лат. и фр.—*Кнемонъ*.

Относительно дѣленія на главы и выдѣленія эпизодовъ, то вѣрнѣе всего предположить, что, въ этомъ отношеніи, онъ былъ вполнѣ самостоятеленъ, — въ свои переводы онъ ввелъ лишь то, что было обычнымъ въ русской (переводной и оригинальной) литературѣ XVIII вѣка.

Гораздо проще обстоитъ дѣло при опредѣленіи того перевода, съ котораго сдѣланъ былъ русскій переводъ романа Ксенофонта. По Guerard'у на французскомъ языкѣ былъ только *одинъ* переводъ этого произведенія, сдѣланный J. Jourdan'омъ [39].

Что касается до произведенія Харитона, то происхожденіе одного русскаго перевода, сдѣланнаго „съ нѣмецкаго“ тоже вполнѣ ясно: сличеніе русскаго текста съ этимъ нѣмецкимъ устанавливаетъ несомнѣнную связь между ними: нашъ переводчикъ удержалъ даже то дѣленіе на абзацы, которое ввелъ нѣмецкій [40].

Оригиналъ другого русскаго перевода этого-же романа, вышедшаго въ свѣтъ въ 1793 году подъ названіемъ: „*Славные язычники, или весьма достойнѣйшія любопытства приключенія Керея и Каллирои, знатнѣйшихъ Сиракузянъ, исполненное трогательныхъ происшествій, чрезвычайныхъ бѣдствій и страшныхъ перемѣнъ, увѣнчанныхъ счастливымъ окончаніемъ въ ихъ жизни случившихся. Переведена вновь и противъ прежняго изданія тщательно исправлена. Калуга. 1793 г.*—не указанъ ни на заглавномъ листѣ, ни въ предисловіи. Судя по заглавію, это калужское изданіе представляетъ собой „*новый переводъ*“ греческаго романа, а, въ то же время, и „*тщательное исправленіе прежняго*“, перваго изданія.

Конечно, при опредѣленіи оригинала этого „новаго перевода“ прежде всего приходится обратиться къ французскимъ [41] и нѣмецкимъ текстамъ. Но сравненіе съ этими иностранными текстами не привело меня къ такимъ осязательнымъ результатамъ, какъ сравненіе съ первымъ *русскимъ* переводомъ: „новый переводъ“, изданный въ 1793 году оказался не „тщательнымъ исправленіемъ“, а перепечаткой стараго изданія, съ нѣкоторыми лишь измѣненіями (напр., на 1-ой стр.: „Аѳины“ вм. „Аѳиняне“, введеніе новыхъ абзацовъ; кромѣ того, изданіе 1763-го дѣлится на *восемь* книгъ, изданіе 1793—на *четыре*). Лучше всего мои слова подтверждаютъ, хотя бы, такія сопоставленія:

„*Похожденіе Кереа и Каллирои*“ 1763.	„*Славные язычники*“ 1793.
Начало:	
Гермократъ, знатнѣйшій полководецъ Сиракузскій, прославившійся полученною побѣдою надъ Аѳинянами, когда они высылали флотъ для покоренія Сициліи, имѣлъ дочь... [42].	Гермократъ, знатнѣйшій полководецъ Сиракузскій, прославившійся полученною побѣдою надъ Аѳинами, когда они высылали флотъ для покоренія Сициліи, имѣлъ дочь... [44].
Конецъ:	
... но молю только, чтобъ я впредь еще не разлучилась съ моимъ Кереемъ, и даруй намъ благополучную жизнь, которую мы обще до кончины нашей не разлучно препровождали“.. [43].	... но молю только, чтобъ я впредь еще не разлучалась съ моимъ Кереемъ, и даруй намъ благополучную жизнь, которую бы мы обще до кончины нашей не разлучно препровождали“.. [45].

Наконецъ, романъ Евстаѳія (по Guerard'у,—Евматія) на французскомъ языкѣ вышелъ не въ переводѣ, а въ „передѣлкѣ“ Godart de Beauchamps'а [46]. Судя по тожеству заглавій и одинаковому чтенію имени героевъ: Исмена (ср. франц.—Ismene, греч.—Ἰσμήνη) и

Исменіасъ (ср. франц. — Ismenias, греч. — Ὑσμίνας) — именно эта французская „передѣлка“ и была переведена на русскій языкъ. Это лучше всего доказывается сличеніемъ текстовъ греческаго, французскаго и русскаго. Привожу примѣры:

Πόλις Εὐρύκωμις καὶ πάλλαμέν ἀγαθῇ, ὅτι καὶ θαλάττῃ στεφανοῦται καὶ ποταμοῖς καταρρεῖται καὶ λειμῶσι κομᾷ καὶ τρυφαῖς εὐθηνεῖται παντοδαπαῖς.. [47].

La ville d'Eurycome est située dans un pays charmant. La mer l'environne d'un côté de l'autre, d'agréables prairies, arrosées de rivières, plantées d'arbres [48].

Городъ Евриконъ имѣетъ прекраснѣйшее мѣстоположеніе изо всей Греціи:—съ одной стороны окружаетъ его море, съ другой—пріятные лугѣ, орошаемые источниками и усажденные деревьями [49].

Конецъ:

Ἡμεῖς δὲ καταχαριτώσωμεν τὴν γραῦν καὶ ὅλην τὴν βίβλον κατακοσμήσωμεν καὶ χαρίσωμεν ἑωσφόροις καὶ τοῖς ἄλλοις δοῦ βίβλους κοσμοῦσι καὶ τοὺς λόγους κατακαλλύνουσι· κλῆρος δ' ἔστω τῇ βιβλίῳ τὸ καθ' Ὑσμίνην δρᾶμα καὶ τὸν Ὑσμινίαν ἐμέ [50].

La nuit ne viendra-t-elle point, disois-je à Ismene? Ne serons-nous jamais seuls? Nuit délicieuse! déjà vous êtes passée. Dieux! si toutes celles, qui la doivent suivre, lui ressembent-je n'envie point votre sort [51].

... настанетъ-ли для насъ ночь?—говорилъ я Исменѣ. Останутъ ли насъ когда-нибудь однихъ?.. Сладчайшая ночь! ты уже и прошла. Есть-ли всѣ, за тобою послѣдующія, будутъ тебѣ подобны. Боги! я не буду завидовать и вашему состоянію! [52].

Дальнѣйшія сравненія французской передѣлки съ русскимъ переводомъ доказываютъ его несомнѣнную зависимость [53]. Сравнительно-же съ греческимъ оригиналомъ отклоненія даже въ фабулѣ замѣчаются слишкомъ большія; въ особенности передѣланы „на новый ладъ“ чувства героевъ. Такъ какъ въ романѣ Евмелія авантюра вообще почти сведена „на нѣтъ“, и гораздо больше мѣста отведено изображенію чувствъ любви и внѣшнихъ ея проявленій—то произведеніе его—романъ чисто-буржуазный, семейный. Онъ въ передѣлкѣ новѣйшаго писателя обратился въ произведеніе, по тонкости психологическаго интереса, мало въ чемъ уступающее новымъ романамъ XVIII-го вѣка. Грубовато-животный колоритъ, лежащій на греческомъ произведеніи, смѣнился здѣсь слащаво-сладострастнымъ съ примѣсью морали. Такъ, напримѣръ, герои, которые, въ оригиналѣ до такой степени обуреваемы наростаніемъ половаго влеченія, что не въ силахъ даже въ присутствіи строгихъ родителей справиться со своими ногами, руками и глазами, — теперь дѣлаются гораздо изящнѣе и изрѣдка говорятъ даже о добродѣтели. Къ другимъ характернымъ измѣненіямъ текста относится превращеніе пожилой женщины-хозяйки, влю-

бившейся въ Исменіаса-раба, — въ старую женщину, которая относится къ нему съ материнскимъ участіемъ. Родона, влюбившаяся въ героя, въ греческомъ текстѣ особа, „не лишенная красоты, но обезьяна въ сравненіи съ Исменой“—во французской передѣлкѣ превращается въ „красавицу-Венеру“, превосходящую блескомъ наружности Исмену, но не столь симпатичную. Вся обстановка и подробности свиданія героя съ героиней въ домѣ Родоны совершенно измѣнены; исторія съ письмомъ Родоны разсказана тоже иначе; появленіе родителей героя и героини и возвращеніе къ нимъ ихъ дѣтей—очень видоизмѣнено. Впрочемъ, такая передѣлка по существу больше всего касаются начала романа.

Установивъ тексты, которыми пользовались наши русскіе переводчики греческихъ романовъ, я перехожу къ вопросу, въ какой мѣрѣ эти русскіе переводы передавали духъ греческаго подлинника, какимъ измѣненіямъ подверглись содержаніе и стиль оригинала, перейдя, черезъ вторыя руки, къ намъ,—въ Россію?

Такія отклоненія лучше всего указываютъ на то, въ чемъ литературные вкусы новаго времени отошли отъ вкусовъ старины. Въ этихъ, иногда мелкихъ, отступленіяхъ, внимательный глазъ можетъ усмотрѣть указанія, куда повернула въ новое время дальнѣйшая эволюція жанра...

Печатанье текстовъ en regard позволитъ мнѣ ясно показать, что въ этихъ русскихъ переводахъ должно быть поставлено за счетъ латинскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ—и что за счетъ нашихъ русскихъ переводчиковъ. Изъ одного сличенія греческаго оригинала съ послѣдовательными его видоизмѣненіями въ различныхъ переводахъ, вплоть до русскаго, съ полнымъ правомъ сдѣлаю я нѣсколько заключеній, необходимыхъ для сужденія о степени вліянія греческаго романа на западно-европейскій и русскій.

Прежде всего, окажется, что изъ трехъ названныхъ романахъ ближе всѣхъ къ подлиннику переведенъ романъ Геліодора, — другіе же два скорѣе могутъ быть названы *передѣлками* стараго текста „на новый ладъ“.

Такъ какъ эти „передѣлки“ всѣ сдѣланы были не столько русскими литераторами, сколько французскими и нѣмецкими; а для массы русскихъ читателей греческіе романы въ оригиналѣ были совершенно недоступны, то можно съ увѣренностью утверждать, что эти *оригиналы* греческихъ романовъ никакой цѣны въ смыслѣ воздѣйствія на русскую литературу не имѣли. Вотъ почему, характеризуя греческій романъ въ цѣляхъ выясненія

степени вліянія его на романъ русскій XVIII вѣка, приходится брать эти романы *не въ оригиналѣ, а въ тѣхъ* западно-европейскихъ *переводахъ*, которые для русскаго переводчика сыграли роль *подлинника*.

Какъ примѣры различныхъ значительныхъ и незначительныхъ отступленій отъ текста оригинала привожу, хотя-бы, слѣдующіе примѣры:

Изъ Гелиодора.

1. σιγὴς δὲ τοῦ ἕλους κατασχούσης καὶ νυκτὸς εἰς πρώτην φυλακὴν προελθούσης, τὴν ἐρημίαν τῶν ὀχλησόντων εὐπορίαν εἰς θρῆνους οἱ περὶ τὴν κόρην ἐλάμβανον. ἀνακινούσης αὐτοῖς, οἶμαι, πλέον τὰ πάθη τῆς νυκτός. ἅτε οὐδεμιᾶς οὔτε ἀκοῆς οὔτε ὄψεως ἐν ἑαυτῇ ἀντιπαρούσης, ἀλλὰ μόνῳ, τῷ λυποῦντι σχολάζειν ἐπιτρεπούσης. πολλὰ δὴ οὖν ἀνοιμώξασα καθ' ἑαυτὴν ἡ κόρη (κεχώριστο γὰρ, τοῦτο προσταχθέν, ἐπί τινος χαμεύνης κατακεκλιμένη) καὶ ὅσον πλεῖστον ἐπιδακρύσασα.. [54].

Латинскій переводъ.

Porro cum quies et silentium tota palude esset, et ad primam vigiliam noctis processisset, solitudinem et absentiam eorum, qui tumultuarentur, tanquam occasionem sibi datam ad luctum et lamenta virgo arripuit. Excitante etiam magis dolorem ipsa nocte, et nulla re quae audiri aut videri posset ad sese animum revocante, sed soli mocrenti vacationem concedente. Cum igitur vehementius ingemuisset apud sese virgo (separata enim erat, prout imperatum fuit, in quodam humili vilique lecto recumbens) et cum maximopere illacrymeasset... [55].

Французскій переводъ.

... on n'oyoit plus bruit aucun dedans le lac, estant desia une quarte partie de la nuict avancée, la pucelle a donq prit la solitude et absence d'autres divertissements, à occasion propre pour faire ses regrets, à cause (comme ie croy) que le silence de la nuict luy renouveloit et r'amenoit en memoire ses douleurs, n'estant plus la pensée divertie à regarder, ni à voir autre chose, ains vanquant entierement à la rememoration de ses malheurs. Parquoy apres avoir bien souspiré et gemy à part elle (car par le commandement du Capitaine elle avoit esté mise à part) estant couchée sur un petit lict bas, et qu'elle eut long temps pleuré, elle se print à dire... [56].

Русскій переводъ.

... Какъ во всемъ островѣ сдѣлалась глубочайшая тишина, то самые сіи безмолвные часы и тѣ спокойнѣйшія минуты подали случай дѣвицѣ къ пролитію многихъ слезъ. Оная ночь возбуждала въ ея сердцѣ несказанную грусть и величайшую скорбь. Ибо она, для прогнанія своихъ печалей, ничего не находила такого, на что бы могла или спокойно взирать, или, по малой мѣрѣ, съ пріятностью что слушать. Словомъ сказать: все, что не представлялось взору ея, увеличивало только ея уныніе. Она, сидя на убогой постелѣ въ означенной коморкѣ, глубочайше воздыхала, проливъ слезъ токи [57].

2. καὶ ἔτι λέγουσαν ἐπεῖχεν ὁ Θεαγένης, παῦε, λέγων, ὦ φιλτάτη καὶ ψυχὴ ἐμὴ Χαρίκλεια. θρηνεῖς μὲν εἰκότα, παραξύνεις δὲ πλέον ἢ δοκεῖς τὸ θεῖον. οὐ γὰρ ὀνειδίζειν ἀλλὰ παρακαλεῖν χρεών. εὐχαῖς, οὐκ αἰτίαις ἐξιλεοῦνται τὸ κρεῖττον [58].

Haec adhuc loquente repressit Theagenes: Destine, dicens, charissima et anima mea Chariclia. Merito tu quidem lamentaris: verum exacerbas magis, qua existimas, numen. Neque enim probres incessere, verum orare necesse est precibus, non criminibus, plocatur id, quod est potentius [59].

Elle vouloit encore parler, mais Theagenes entrerompit son propos, disant: „Cessez, ma tres chere amie Chariclea, que i'aime autant comme mon ame. Vous avez certes bien raison de vous lamenter et complaindre, mais pourtant en ce faisant vous irritez les dieux plus qu'il ne vous semble. Il ne leur faut rien reprocher, ains les requerir: car par prieres et oraisons s'appaisent ils, et non pas par complaintes, murmures et accusations“ [60].

... Какъ она продолжала такую жалобу, то Θеагенъ, прерванъ ея рѣчь, сказалъ: „успокойтесь, возлюбленная моя Хариклія (имя той дѣвицы). Положимъ, хотя вы и справедливую имѣете притчину такъ сѣтовать: но тѣмъ больше раздражаете Небо. Божество негодованіемъ гнѣвить не должно, но паче надлежитъ молить его. Прошеніемъ, а не роптаніемъ умилостивляется то, что̀ есть могущественное... [61].

3. κἀν τούτῳ τραγικόν τι καὶ γοερὸν ὁ Θεαγένης βροχώμενος, ὦ πάθους ἀτλήτου, φησίν, ὦ συμφορᾶς θεηλάτου. τίς οὕτως ἀκόρεστος ἐρινὺς τοῖς ἡμετέροις κακοῖς ἐνεβάκκευσε, φυγὴν τῆς ἐνεγκούσης ἐπιβαλοῦσα, κινδύνοις θαλάσσων, κινδύνοις πειρατῶν ὑποβαλοῦσα λῃσταῖς παραδοῦσα πολλάκις, τῶν ὄντων ἄλλο τρώσασα; ἓν μόνον ἀντὶ πάντων ὑπελείπετο καὶ τοῦτο ἀνῃρέθη. κεῖται Χαρίκλεια, καὶ πολεμίας χειρὸς ἔργον ἡ φιλτάτη γεγένηται, δῆλον μὲν ὡς σωφροσύνης ἀντεχομένη καὶ ἐμοὶ δηθεν ἑαυτὴν φυλάττουσα, κεῖται δ' οὖν ὅμως ἡ δυστυχής, οὐδὲν μὲν αὐτὴ τῆς ὥρας ἀπολαμένη, εἰς οὐδὲν δ' ὄφελος ἐμοὶ γενομένη. ἀλλ' ὦ γλυκεῖα, πρόσφθεγξαι τὰ τελευταῖα καὶ εἰπόντα. ἐπίσκηψον, εἴ τι καὶ κατὰ μικρὸν ἐμπνεῖς. οἴμοι, σιωπᾷς, καὶ τὸ μαντικὸν ἐκεῖνο καὶ θεηγόρον στόμα σιγὴ κατέχει, καὶ ζόφος τὴν πορφύρον καὶ γάος τὴν ἐκ τῶν ἀνακτόρων κατείληφεν.. и т. д. [62].

Interea tragice et lugubriter fremens Theagenes, o, dolorem, inquit, intolerabilem et calamitatem divinitus immissam: quaenam usque adeo insatiabilis Erynnis, in nostram perniciem ira percita furit, quae exilium a patria imposuit, periculis in mari, periculis piraticis objecit proedonibus multoties tradidit facultates a nobis alienavit. Unum erat pro omnibus relictum solatium, sed et hoc ereptum est. Jacet Chariclia, et hostili manu charissima perempta est: haud dubie pudicitiam propugnans, et mihi se asservans. Nihilominus tamen jacet infelix, neque ipsa quenquam ex forma fructum cepit, neque mihi ulli usui fuit. Caeterum, o suavium, alloquere me jam ultimo, solito more: manda quippiam, si quid adhuc spiras. Heu me miserum, taces, fatidicum illud et divino lepote praeditum os silentium premit, caligo facis gestatricem, ac chaos ex sacrarco deorum ministram occupavit [63].

Cependant Theagenes iettant un cry lamentable et tragique, se prit à dire: O, douleur intolerable! o, malheur insupportable, envoyé des dieux irritez. Qui est la furie tant implacable, et tant insatiable qui prend si cruellement plaisir à nous tourmenter de toutes sortes de miseres? qui apres

nous avoir chassez de notre pays, nous a iettez en peril de tourmente, nous a exposez au danger des pyrates, et escumeurs de mer, nous a livrez desia par plusieurs fois és mains des brigands nous a privez et destituez de tous biens. Helas! il ne m'en estoit pour tout demouré qu' un seul, lequel encore maintenant m'a esté arraché et ravi. Chariclea est morte, et a esté la creature que plus i'aymois en ce monde occise par main ennemie et ce pour defendre sa virginité, ainsi comme il est aisé à voir et pour se reserver à moy. Mais neantmoins la pauvrette, comment que ce soit est, tousours morte avant qu'elle mesme ait receu aucun plaisir de la fleur de son aage et de sa beauté ni qu'elle ait à moy miserable donné aucun contentement. O douce amie, pour le moins dites moy le dernier adieu et les paroles que l'on a accoustumé de dire en mourant à ses loyaux amis. Commandez moy quelque chose, qui vous plaise estre faite apres vostre mort si vous avez encore quelque peu de vie. Helas, vous ne respondez point. l'eternel silence clost cette bouche prophetique, cette bouche celeste qui parloit divinement. Les tenebres detiennent celle qui estoit la splendeur des sacrifices, la mort saisi cette vierge sacrée, qui estoit l'honneur des temples et sont maintemant, les deux yeux estains sans lumiere, ne clarté [63].

... Ѳеагенъ, оставшись одинъ, слезъ проливая струи, вопѣлъ: „О, Небеса, ополчившіяся на мою погибель! Хариклія убита злодѣйскою рукою, безъ сомнѣнія, защищала цѣломудріе отъ насилія. Жесточайшая судьба, богослужительницу отъ жертвенника отторгнувъ, вѣчной тьмѣ препоручаетъ [64].

... О, возлюбленная! естьли имѣете нѣсколько дыханія, подайте, хоть малое въ бѣдствіяхъ моихъ, утѣшеніе. Но увы! презрѣнное молчаніе пріятныя уста затворяетъ на вѣки. Очи, очи, озаряющія непорочныя сердца, сомкнулись вѣчно... [65].

4. ὁ δὲ Κνήμων τοῦ δωματίου προήκων ἐπάσχε μὲν οἷα εἰκὸς ἦν τὸν νύκτωρ καὶ σκότους καὶ κατ' οἰκίαν ἄγνωστον ἀδόντα. πλὴν ἀλλὰ πάντα γε ὑπέμενε, τὸ δεῖμα τὸ ἐκ τῆς Θίσβης καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἀποδύσασθαι σπεύδων, ἕως ὀψέ ποτε καὶ πολλάκις τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄλλοτε ἄλλους ἀνελίττων τόπους, ἤθετο γυναικὸς λαθραῖόν τι καὶ γοερὸν οἷον ᾠδῆς ἀηδόνος αἴνιον, ἐν νυκτὶ μορμένης, ἐπί τε τὸ δωμάτιον ὑπὸ τοῦ θρήνου χειραγωγούμενος ὥρμησε. καὶ ταῖς θύραις, κατ' ὀ συνέπιπτον ἀλλήλαις, τὸ οὖς παραθέμενος ἐπηκροᾶτο, καὶ τοιάδε κατεῴμωζεν ἔτι θρηνούσην [66].

Cnemon autem egressus conclavi, inhibuit quidem sese, ut consentaneum erat eum qui noctu et in tenebris in ignota domu oberraret; at tamen omnia sustinebat, metu propter Thisben, et suspicione exonerare se quamprimum properans. Donec sero tandem, et saepius iisdem locis, tanquam in aliis sese volvens: sensit mulierem clam et lugubriter taquam vernam lusciniam, lugubri et miserabili cantilena lamentantem; et ad domunculam luctu quasi manu ductus contendit, et foribus qua parte inter se committebantur, autem admovens, audiebat, talique modo adhuc lamentationem deprehendit... [67].

... Онъ, тихонько вышедъ изъ покоя, блудилъ весьма долго, какъ обыкновенно бываетъ ночью въ незнаемомъ домѣ. Однако одолѣвалъ всѣ оныя трудности, желая скорѣе свободиться отъ страха, которой причиняло пустое имя Ѳисвы. Вышедъ онъ изъ сего Лавиринта, услы-

шалъ женщину, поющую жалобную пѣснь, равно соловья, вызваннаго теплотою вешняго времени. Онъ, припавъ къ дверямъ, услышалъ слѣдующее... [68].

5. ἐγὼ δὲ ἡ παναθλία χεῖρα λῃστρικὴν ἐκπεφευγέναι καὶ μιαιφόνον ὡόμην θάνατον ἐλπισθέντα διαδεδρακέναι, βιώσεσθαί τε τὸ λειπόμενον ἅμα τῷ φιλτάτῳ ξένον μὲν καὶ ἀλήτην βίον, ἀλλὰ μετ' ἐκείνου γινόμενον ἥδιστον. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐμοὶ χαλεπόν, ὃ μὴ μετ' ἐκείνου φορητὸν νυνὶ δὲ ὁ μηδέπω κεκορεσμένος ἐμὲ ἐξ ἀρχῆς εἰλικρινῶς δαίμων μακρὸν τῶν ἡδονῶν ὑποθέμενος, εἶτα ἠπάτησε. δουλείαν ᾤμην ἐκπεφευγέναι, καὶ δουλεύω πάλιν. δεσμωτήριον, καὶ φρουροῦμαι. νῆσος εἶχέ με καὶ σκότος... [69].

Ego, vero misera, ex manibus praedonum me elapsam esse, et inortem cruentam expectatam effugisse arbitrabar, et acturam me deinceps cum charissimo peregrinam et erraticam vitam, sed cum illo suavissimam futuram. Nihil est enim mihi tam molestum, aut grave, quod non cum illo sit tolerabile. Nunc autem nondum satiatum, me autem initio sortitum numen, cum parum voluptatum proposuisset, rursus decepit. Servitutem me effugisse existimabam, at servio rursus: carcerem, et in custodia detineor. Insula me habuit antea et tenebrae [70].

... „Ахъ, несчастнѣйшая изъ всѣхъ человѣкъ! Недавно, избавясь отъ рукъ разбойничьихъ, надѣялась съ любезнымъ препровождать жизнь въ странствованіяхъ; но Небо снова лишило меня чаемыхъ веселій! О, Небеса, что̀ еще будетъ далѣе? На островѣ заключена была въ глубокой пещерѣ; а здѣсь заключена въ темницѣ...“ [71].

Изъ Ксенофонта.

6. παιδείαν τε γὰρ πᾶσαν ἐμελέτα καὶ μουσικὴν ποικίλην ἤσκει, ἤρα δὲ αὐτῷ καὶ ἱππασίας καὶ ὁπλομαχίας συνῴδη γυμνάσματα [72].

On lui voioit, dis-je, une ardeur sans égaile pour les sciences. La Musique, la Harpe, le manége et les armes, remplissoient tour à tour son loisir et faisoient toute son occupation [73].

... Ежели онъ игралъ на лирѣ, то почитали его за *Аполлона;* ежели пѣлъ,—за *Орфея*. Онъ проворно мечалъ копье, и самый *Марсъ* не могъ бы править конемъ съ большею пріятностью и важностью [74].

7. Καὶ τότε μὲν θύοντες ἀπηλλάττοντο λυπούμενοι καὶ τῷ τάχει τῆς ἀπαλλαγῆς μεμφόμενοι (καὶ) ἀλλήλους βλέπειν ἐθέλοντες ἐπιστρεφόμενοι καὶ ὑφιστάμενοι πολλὰς προφάσεις διατριβῆς εὕρισκον. Ὡς δὲ ἤλθον ἑκάτερος παρ' ἑαυτόν ἔγνωσαν τότε οἱ κακῶν ἐγεγένεσαν καὶ ἔννοια ἐκείνου ὑπῆει τῆς ὄψεως θατέρου καὶ ὁ ἔρως ἐν αὐτοῖς ἀνεκαίετο καὶ τὸ περιττὸν τῆς ἡμέρας αὐξήσαντες τὴν ἐπιθυμίαν, ἐπειδή, εἰς ὕπνον ἦσαν, ἐν ἀθρόῳ γίνονται τῷ δεινῷ, καὶ ὁ ἔρως ἐν ἑκατέροις ἦν ἀκατάσχετος.

Λαβὼν δὴ τὴν κόμην ὁ Ἀβροκόμας καὶ σπαράξας τὴν ἐσθῆτα «φεῦ μοι τῶν κακῶν» εἶπε... [75].

Le sacrifice fini, ils sortent du Temple, la tristesse succédé au moment au plaisir que leur vue leur avoit fait mutuellement goûter. Pensans qu'il falloit se séparer, et mourans d'envie de se revoir ils s'arrêtent dé tems en tems et sont semblant d'avoir bien des raisons qui les engagent à de semblables démarches. Arrivez dans leur logis chacun reconnoit de son côté le mal dans le quel ils se sont plongez, pour avoir trop indiscrettement arrêté leurs yeux l'un sur l'autre. Ces reflexions redoublent les mouvemens

d'une passion naissante. L'Amour persiste à vouloir vaincre et fait redoubler le feu d'une passion dévorante, qui leur fait passer le reste du jour dans un etat, qu'on ne peut exprimer, et qui ne peut être connû que par ceux qui en ont fait l'experience.

La Nuit, loin de dissiper par son ténebreux silence le trouble qui les agitte, ne fait qu' augmenter leurs violens transports et les reduit à céder à la puissance du Vainqueur.

Abrocomas ne se possede plus sa passion, comme un torrent impétueux, l'entraîne. Il déchire ses habits et s'écrie à chaque instant: „Ah! miserable que je suis [76].

... По совершеніи жертвоприношенія пришла жестокая минута разлуки. Какая минута! Они обвиняли жребій въ свирѣпости за то, что онъ принуждалъ ихъ столь скоро разлучаться; обращались назадъ, останавливались... Любовь изыскивала имъ тысячу предлоговъ помедлить долѣе, и долѣе насладиться удовольствіемъ другъ друга видѣть!.. Но въ какомъ были они состояніи, когда, будучи лишены сего послѣдняго удовольствія, возвратились въ свои домы! размышленіе только лишь возращало ихъ злоключеніе; тогда-то познали они всѣ успѣхи, которые любовь уже произвела въ сердцахъ ихъ: каждой вспоминалъ различныя движенія, возчувствованныя имъ въ сей день; любезный образъ не оставлялъ ихъ болѣе, и казался изгоняющимъ изъ духа ихъ все то, что не имѣло къ нему отношенія; страсть ихъ возжигалась безпрестанно съ живѣйшимъ жаромъ; желанія ихъ возрастали постепенно, дабы терзать ихъ ощутительнѣе.

Ночь приближалась, и мрачность ея, удаленная отъ успокоенія ихъ волненій, соединившись съ уединеніемъ, дѣлала жесточайшими мученія,—тщетно они стараются заснуть: сонъ убѣгаетъ отъ вѣждъ ихъ [77].

Со всѣмъ тѣмъ Аврокомъ столько былъ утомленъ, что засыпаетъ. „Боги!“ вопіетъ онъ при пробужденіи, изторгая власы и раздирая одежду,—„какія напасти должно понести мнѣ!“ [77].

8. Δέκαιτο δε καὶ ἡ Ἄνθεια πονήρως καὶ, οὐδέτι φέρειν δυναμένη ἐπιχείρει ἑαυτῇ, πειρωμένη τοὺς πάροιθας λανθάνειν [78].

Anthie, de son côté, n'étoit pas moins agitée. Elle cede à l'ardeur du feu qui la dévore et tâche de dérober à ses parens la connoissance de la situation de son coeur [79].

... Нѣжная Анѳія равномѣрно сносила жесточайшія немощи; пораженная тысящію мучащихъ ее сновидѣній, пробуждается въ ужасѣ и возстаетъ безъ шума, опасаясь, дабы кто-нибудь изъ домашнихъ не примѣтилъ ее [80].

9. Ἦν δὲ αὐτῷ καὶ τὸ σῶμα πᾶν ἠφάνιστο καὶ ἡ ψυχὴ κατεπεπόνει [81].

Abrocomas devint si méconnoissable par le changement qui paroissoit sur son visage... [82].

... Аврокомъ увядалъ, подобно прекрасному цвѣтку, который сохнетъ на стеблѣ, вянетъ и отпадаетъ листочекъ за листочкомъ [81].

10. Ταῦτα ὡς ἐκομίσθη τὰ μαντεύματα εἰς Ἔφεσον, εὐθὺς μὲν οἱ πατέρες αὐτῶν ἦσαν ἐν ἀμηχανίᾳ καὶ τὸ δεινὸν ὅ τι ἦν πάνυ ἠπόρουν· συμβάλλειν δὲ τὰ τοῦ θεοῦ λόγια οὐκ ἐδύναντο; οὔτε γὰρ τὶς ἡ νόσος οὔτε ὁ ποταμός τις, οὔτε τὶς ἡ ἐκ τοῦ θεοῦ βοήθεια [84].

Dès que ces Oracles eurent été annoncez à Ephese, les Parens d'Anthie et d'Abrocomas en furent allarmez. Bien loin d'y trouver quelque chose de consolant pour eux, ils n'y voient que mille nouveaux sujets de tristesse. La reponse des Dieux ne leur donne aucun éclaircissement sur la cause de la maladie de leurs Enfans. Loin de là, elle ne leur prédit que de nouvelles maladies; elle ne parle que de fuite, de chaines, de tombeaux, de flammes, et d'un secours qu'il falloit attendre d'une divinité. En un mot, tant de choses prédites ne leur font rien envisager que de Sinistre..." [85].

... Сіе прорицаніе принято было въ Ефесѣ съ великимъ повиновеніемъ, и, хотя оно предвѣщало одни печальные случаи, но почли за долгъ исполнить волю боговъ, надѣясь умилостивить гнѣвъ ихъ [86].

11. Κατὰ ταῦτὰ δε καὶ ἡ Ἀνθεια ᾔδετο μὲν ὅτι Ἀβροκόμῃν ἕξει· [87].

Anthie ne ressentit pas moin des joie, lorsque ses Parens lui annoncerent, qu'Abrocomas alloit être son Epoux [88].

... Анѳія не менѣе чувствовала удовольствія исполнить повелѣнія судьбы [89].

12. Τοῖς δὲ ἑκατέροις πάθος συνέβη ταὐτόν, καὶ οὔτε προσειπεῖν ἔτι ἀλλήλους ἠδύναντο, οὔτε ἀντιβλέψαι τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἔκειντο δὲ ὑφ' ἡδονῆς παρειμένοι, αἰδούμενοι, φοβούμενοι, πνευστιῶντες· ἐπάλλετο δε αὐτοῖς τὰ σώματα καὶ ἐκραδαίνοντο αὐτοῖς αἱ ψυχαί [90].

Mais, loin de se decouvrir alors le secret de leurs coeurs, ils se trouverent tout à coup si interdits l'un et l'autre, qu'ils ne pouvoient ni parler, ni même s'entre-regarder. Le plaisir de se savoir si proches l'un de l'autre les rendoit languissans, par l'ardeur et la violence de l'amour dont ils étoient embrazez .. [91].

... Нѣкоторое тайное волненіе удерживало ихъ обоихъ и задушало ихъ голосъ; они не смѣли взглянуть другъ на друга. Излишество удовольствія повергало ихъ въ слабость; стыдливость, страхъ, желаніе, частое біеніе сердца, едва позволяющее имъ дыхать, и самое услажденіе, хотя еще не совершенное, приводило ихъ въ трепетаніе и производило въ нихъ великое трепетаніе [92].

13. Ἑορτὴ δὲ ἦν ἅπας ὁ βίος αὐτοῖς καὶ μετὰ εὐωχίας πάντα καὶ ᾔδη καὶ τῶν μεμαντευμένων λήθη. ἀλλ' οὐχὶ τὸ εἱμαρμένον ἐπελέλητο, οὐδ' ὅτῳ ἐδόκει ταῦτα θεῷ ἠμέλει [93].

Ce ne sont que fêtes et que festins; et ils en sont tellement leur occupation, qu'ils ne pensent plus à la reponse de l'Oracle. Mais le Destin ne l'avoit pas oubliée; et le Dieu, qui devoit persecuter ces Epoux, ne s'étoit point endormi... [94].

... какая блаженная жизнь! дни ихъ протекали въ безпрерывныхъ празднованіяхъ; будучи безпрестанно окружены забавами, не безпокоились они о бѣдственномъ предсказаніи Оракула; не помышляли болѣе о сдѣланномъ съ ними договорѣ; но судьба, углубленная въ страшную свою книгу, не теряла изъ виду того ужаснаго листа, на которомъ приговоръ сей написанъ былъ собственною ея рукою [95].

14. εἰ δὲ ἄλλο (τι) συμβαίη, τοῦτο μεν ἴστε οὐδὲ ἡμᾶς ἔτι ζητουμένους· προίεμεν δέ ὑμᾶς ὅλον μὲν δυστυχῆ ἀλλ' ἀναγκαίαν [96].

Ah! Si le destin vous étoit contraire, soiez persuadez, que nous ne survivrons point à votre perte" [97].

... Увы! ежели Небо опредѣляетъ сіе иначе, вѣрьте, что мы не будемъ имѣть силы пережить несчастій вашихъ [98].

15. ἂν δ' ἄρα τι ἢ πεπρωμένον παθεῖν, καί πως ἀλλήλων ἀπαλλαγῶμεν, ὀμόσωμεν ἑαυτοῖς... [99].

Mais, si le sort contraire nous persecute, et qu'il nous faille vivre éloignés l'un de l'autre, prenons ici les Dieux à témoins, que nous nous serons fideles [100].

... Но ежели судьба, вышшая самихъ боговъ, удалитъ насъ другъ отъ друга, клянись мнѣ!.. [101].

16. δεῖ δέ σε τῇ τύχῃ πάντα λογίσασθαι καὶ στέργειν τὸν κατέχοντα δαίμονα καὶ τοὺς γενομένους δεσπότας ἀγαπᾶν [102].

Le Malheur, dans le quel la fortune vous a précipité, n'est pas commun: la Liberté est le bien le plus précieux après la Vie; et il doit vous être douloureux d'être passé tout d'un coup de l'état de Maître à celuy d'esclave, et d'avoir perdu toutes vos richesses. Cependant, tout affligeantes que sont ces réflexions, il faut vous consoler, et tâcher de supporter vôtre état avec tranquilité. Il faut, sur toute chose, aimer votre Maitre, et c'est de là que dépend vôtre bonheur et votre liberté [103].

... такое есть опредѣленіе судьбы; и въ такомъ обстоятельствѣ для уменьшенія ея жестокости на сіе только остается тебѣ надѣяться; покорись безъ роптанія дарованному тебѣ Небомъ господину! [104].

17. αὐτὸς δὲ ἐν μεγάλῃ συμφορᾷ κατ' Ἄνθειαν ἦν. [105].

... qui ne laissa pas de nourrir dans son coeur un chagrin secret de se voir separé d'Anthie... [106].

... но онъ мало казался чувствительнымъ къ сему слабому благоволенію судьбы [107].

18. Καὶ δὴ εὐωχουμένων αὐτῶν ἐστέναξεν ὁ Ἱππόθοος καὶ ἐπεδάκρυσεν [108].

Pendant le repas, Hyppotoon pleure et soupire [109].

... Въ одинъ день, какъ они одни обѣдали, Ипотоусъ весьма нѣжно вздохнулъ, и вздохъ сей искорѣ сопровождемъ былъ слезами [110].

19. ...ἕως δαίμων τις ἡμῖν ἐνεπέσησε... [111].

Cependant un Dieu jaloux de notre bonheur vint à la traverse [112].

... но счастіе не могло взирать на нихъ безъ зависти [113].

Изъ Харитона.

20. Ἑρμοκράτης, ὁ Συρακουσίων στρατηγός, οὗτος ὁ καίτοι Ἀθηναῖος εἶχε θυγατέρα Καλλιρόην τοὔνομα, θαυμαστόν τι χρῆμα παρθένου καὶ ἀγάλμα τῆς ὅλης Σικελίας· ἦν γὰρ τὸ κάλλος οὐκ ἀνθρώπινον ἀλλὰ θεῖον, οὐδὲ Νηρηΐδος ἢ Νύμφης τῶν ὀρείων ἀλλ' αὐτῆς Ἀφροδίτης [114].

Hermocrates, einer der grössten Feldherrn der Syracusaner, hatte sich einen unsterblichen Ruhm durch die Vortheile erworben, so er über die Athenienser erhalten, als sie eine Flotte ausgeschickt, Sicilien sich unterwürfig zu machen. Er hatte eine Tochter, mit Namen Callirrhoe, die ihre

ausserordentliche Schönheit eben so berühmt, als ihren Vater seine siegreiche Waffen gemacht hatten. Es schienen die gütigen Götter selbst zu ihrem Vortheil gearbeitet zu haben, um ihr alles dasjenige beyzulegen, wodurch sie über die Sterblichen erhoben würde [115].

... Гермократъ, знатнѣйшій полководецъ Сиракузскій, прославившейся полученною побѣдою надъ Аѳинянами, когда они высылали флотъ для покоренія Сициліи, имѣлъ дочь, именемъ Каллирою, которая чрезвычайною своею красотою столько же была славна, какъ и отецъ ея побѣдоноснымъ своимъ оружіемъ. Казалось, будто бы само Провидѣніе нарочно въ ея пользу трудилось, дабы всѣмъ тѣмъ наградить, чѣмъ бы она прочихъ смертныхъ превосходила [116].

21. Τότε δὲ Χαρέας ἀπὸ τῶν γυμνασίων ἐξάλιξεν οἴκαδε στίλβων ὥσπερ ἀστήρ. ἐπηνθεῖ γὰρ αὐτοῦ τῷ λαμπρῷ τοῦ προσώπου τὸ ἐρύθημα τῆς παλαίστρας ὥσπερ ἀργύρῳ χρυσός. Ἐκ τύχης οὖν περί τινα καμπὴν στενωτέραν συναντῶντες περιέπεσον ἀλλήλοις, τοῦ θεοῦ πολιτευσαμένου τηνδε τὴν (σύνοδίαν), ἵν' ἑκά(τερος τῷ) ἑτέρ(ῳ) ὀφθῇ. Ταχέως οὖν πάθος (ἐρω)τικὸν ἀντέδωκαν ἀλλήλοις... [117].

Chäreas kam eben von dem Platze her, wo er sich, nach Gewohnheit der Griechen, in den gehörigen Leibesübungen zu üben pflegte. Die Erhitzung und starke Bewegung daselbst hatte ihm eine mehr als gewöhnliche Röthe und Lebhaftigkeit zugezagen, und dadurch sein Ansehen um ein grosses erhoben. Nachdem der Zug vor dem Tempel angelanget, vertheilte sich das Frauenzimmer grösstentheils in die an dem Tempel gelegnen Spaziergänge, wo sich die jungen Syracusaner zu ihnen schlugen, und die Zeit mit Unterredungen und Scherzen auf eine angenehme Art zubrachten. Von ohngefähr, doch nicht ohne Schikung des Gottheit, der dieser Tag gewidmet war, begegneten Callirrhoe und Chäreas einander. Beyde setzte dieser Anblick ausser sich, und das Innerste ihrer Herzen wurde durch die Wechselsweisen Blickegeführet [118].

... Кереій пришелъ туда же съ площади, на которой, по греческому обыкновенію, въ рыцарскихъ наукахъ упражнялся. Онъ тогда отъ жару и сильнаго движенія такъ въ лицѣ разгорѣлся, что болѣе обыкновеннаго румяность и живность, на оное выступя, тѣмъ сильнѣе красоту его умножили. По прибытіи строя къ капищу, женщины разошлися по гульбищамъ, лежащимъ около онаго; къ нимъ пристали молодые Сиракузяне и препровождали время пріятными разговорами и забавами. Нечаянно, однакожъ, не безъ особливаго промыслу сего божества, которому день сей посвященъ былъ, Каллирои съ Кереемъ встрѣтилась. Сердца ихъ отъ взаимныхъ взглядовъ вдругъ заразилися... [119].

22. Νὺξ ἐπῆλθεν ἀμφοτέροις δεινῇ· τὸ γὰρ πῦρ ἐξεκάετο. Δεινότερα δ' ἔπασχεν ἡ παρθένος διὰ τὴν ἀωρίαν, αἰδουμένη κατάφωρος γενέσθαι [120].

Die Nacht brach unterdessen herein. Zu keiner Zeit sind die menschlichen Herzen geschickter ihren Leidenschafften nachzuhängen und denselben hiedurch mehr Gewalt über sich einzuräumen als in der Stelle der Nacht. Beyde seufzeten, und suchten die Flammen in ihrer Asche noch zu ersticken [121].

Между тѣмъ настала ночь. Ни въ какое время человѣческія сердца столь способны не бываютъ слѣдовать ихъ страстямъ и онымъ себя поработить, какъ въ тихость ночную. Оба воздыхали и старалися истребить раждающееся въ нихъ пламя... [122].

23. ἐστρατολόγει δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὸν κατὰ Χαιρέου πόλεμον ὁ φθόνος [133].

Ihr allerseits ähnliches Schicksal vereinigte nunmehr ihre Gemüther [134].

... Соотвѣтствующая ихъ судьба соединяетъ теперь ихъ нравы... [135].

24. Κατεστρατηγήθη (δ') ὑπὸ τῆς τύχης, πρὸς ἣν μόνην οὐδὲν ἰσχύει λογισμὸς ἀνθρώπου. φιλόνεικος γὰρ ἡ δαίμων, καὶ οὐδὲν ἀνέλπιστον παρ' αὐτῇ. καὶ τότ' οὖν πρᾶγμα παράδοξον, μᾶλλον δὲ ἄπιστον κατώρθωκεν· ἄξιον δὲ ἀκοῦσαι τὸν τρόπον. Ἐπεβούλευσεν ἡ τύχη τῇ σωφροσύνῃ τῆς γυναικός. [136].

Doch die Person, an der List und Klugheit vergebens alles gewagt hatte, an der List wurde endlich vom Glücke hintergegangen. Denn diesem allein ist keine Klugheit der Sterblichen vermögend zu widerstehen: ja es scheinet dass diese Gottheit um desto mehr aufgebracht werde, wenn sie gewahr wird, dass man ihren Streichen entgehen will: und alles, wenn es auch noch so unerwartet, versuche, um seine einmal gefassten Anschläge zu vollziehen. Auch damals mengte das Glück einen ganz besondern Zufall ein" [137].

... Но сколько она хитрости и лукавству не противилась, только, наконецъ, отъ обману фортуны избавиться не могла; ибо сему одному никакой человѣческой разумъ противиться не въ силахъ; да и притомъ кажется, что сіе божество тѣмъ болѣе гнѣвается, когда видитъ, что убѣгаютъ отъ его воли и всѣмъ тѣмъ, чего еще и не ожидаешь, искушаетъ, дабы единожды принятое исполнить намѣреніе; какъ и тогдашнее щастіе учинило совсѣмъ особливое приключеніе... [138].

Если всѣ приведенные примѣры даютъ представленіе о „передѣлкахъ", главнымъ образомъ, *стилистическаго* характера, то въ ниже приведенныхъ мы имѣемъ дѣло съ передѣлками *психологическаго* характера: ради психологической ясности переводчики, обыкновенно, развивали и распространяли соотвѣтствующія мѣста греческихъ подлинниковъ (См. также выше примѣры №№ 8, 9, 13, 18, 23).

25. ἐφέλκεται πρὸς ταῦτα βραχύ τι καὶ βεβιασμένον, οὐδὲ τοῦτο ἀδάκρυτον, ἀλλ' ὡς ἐν ἐν τοσαύτῃ τῇ συμφορᾷ, πλέον τῷ θρήνῳ κεκερασμένον. [139].

Leviter ad haec arriserunt, et quasi coacti, neque sine lacrymis: ut in tali calamitate, magis luctu et lacrymis occupati [140].

... По сихъ дружескихъ разговорахъ, то смѣялись отъ радости, то, по нѣкоему внутреннему волненію духа, воздыхая, лили слезы... [141].

26. αὐτὸς δὲ ἐκ ποδὸς παραθέων καὶ προσανέχων, εἴ ποί τις αὐτῶν περιτρέποιτο. καὶ ἦν δόξης οὐκ ἄκτος τὸ γινόμενον· δουλεύειν ὁ ἄρχων ἐφαίνετο, καὶ ὑπηρετεῖσθαι ὁ κρατῶν τοῖς ἁλωκόσιν ἤρεῖτο. οὕτως εὐγενείας ἔμφασις καὶ κάλλους ὄψις καὶ λημμάτων ἦθος οἷδεν ὑποτάττειν, καὶ κρατεῖν τῶν αὐχμηροτέρων δύναται. [142].

... ipse autem evestigio justa currens, et sustollens ac suffulciens, si forte quis ex ipsis laberetur. Nec vacabat gloria, id quod fiebat. Servire is, qui imperabat, videbatur, et victor ministrare captis in animum inducebat. Sic enim nobilitatis specimen et pulchritudinis aspectus, vel predonum ingenium sibi subjicere, et vincere feriores potest [143].

... а самъ, подлѣ ихъ идучи, поддерживалъ то ее, то его: потому что отъ слабости они не могли еще сидѣть на коняхъ крѣпко. Онъ вмѣнялъ въ великое себѣ удовольствіе, что служитъ тотъ, которой недавно былъ повелителемъ. Побѣдитель о томъ только мыслилъ, какъ бы услужить плѣнникамъ. Подлинно можно сказать, что всѣ благородные и великодушные поступки обладаютъ варварами: также и красота не менѣе смягчаетъ сердца жесточайшіи [134].

27. ὀφθαλμοὺς δὲ ἐκείνου οἱ μὲν πόνοι κατέσπων, ἡ δὲ ὄψις τῆς κόρης ἐφ' ἑαυτὴν ἀνεῖλκε, καὶ τοῦτο ὁρᾶν αὐτοὺς ἠνάγκαζεν. ὅτι ἐκείνην ἐώρων [135].

Oculos vero ipsius dolor deprimebat, vultus autem viriginis ad sese trahebat ac erigebat. Atque haec videre cogebantur, quod illam videbant [136].

... Болѣзнь, хотя глазамъ его и не дозволяла смотрѣть свободно, но присудствіе дѣвицы совсѣмъ иное въ немъ дѣйствіе производило и, почти бездушнаго, оживотворяло, и смыкающимся глазамъ принуждало открыться [137].

28. νῦν δὲ ὁρᾶν φαντάζομαι, παρόντος ἀκούειν ἀπατῶμαι ὀνειδίζοντα τὴν ἀδικον ἐπιβουλὴν αἰσχύνομαι συντεύξεσθαί ποτε ἐπελθόντι καὶ ἀπολαύσειν, ἢ καὶ αὐτὴ παρ' ἐκεῖνον φοιτήσειν ὅπου ποτ' ἂν ᾖ γῆς. ὑποτίθεμαι. ταῦτα ὑπεκαίει, ταῦτα ἐκμαίνει [138].

Nunc videre me illum videor, per errorem praesentem audire arbitror, cum injustas insidias mihi objiciente, ut probrum, colloqui erubesco. Interdum vero et adveniente fruituram esse me existimo, et nonnunquam ipsa. ad illum ubi terratum sit, ire statuo. Haec me inflammant, haec ad furorem adigunt [139].

... Часто мнѣ кажется, что я его вижу, и слышу выговоры: то ласкаюсь по пріѣздѣ его наслаждаться нѣжнѣйшею любовью, то сама, въ какой бы части свѣта онъ ни былъ, порываюсь къ нему ѣхать. Сіи мечтанія сердце мое раздираютъ!.. [140].

Характеры, наконецъ, въ этихъ переводахъ-передѣлкахъ нѣкоторыя мелочи, любопытныя особенно своей дальнѣйшей литературной судьбой. Это—„описанія" утренней и вечерней зари и бури—единственныя „картины" природы, допускаемыя греческимъ романомъ.

29. ἡμος δ' ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠώς (Ὅμηρος ἂν εἶπεν) [141].

At roseis postquam digitis aurora refulsit (ut Homerus dixit) [142].

„Какъ только Денница пустила румяной свой блескъ по землѣ", какъ Омиръ поетъ [143].

30. οὔπω δὲ ἡμέρας ἀκριβῶς ὑποφαινούσης ἐψόφει τε ἡ μέταυλος, καί τινος ἠκούομεν καλοῦντος παιδίον [144].

Necdum exacte dies illuxerat, perstrebat ostium atrii, et sensi quendam puerum vocantem [145].

Какъ только богиня, господствующая надъ началомъ дня, взошла на скатъ міра [146].

31. ..καὶ οὐδὲ ἡμέραν ἀναμείνασα [147].

... ne diem quidem expectans, publice [148].

... не ожидая, пока Фебъ первые свои лучи испуститъ на землю [149].

32. Ἡμέρας ἀρτι διαγελώσης καὶ ἡλίου τὰς ἀκρωρείας καταγαίζοντος... [150].

Cum primum dies illucesceret, et sol cacumina montium illustraret [151].

... Какъ только прекрасное свѣтило, пустивъ по земли свой блескъ, освѣтило верьхи горъ... [152].

33. ...ἕως μὲν ἥλιος ἦν ὑπὲρ γῆν... ἐπειδὴ δὲ ἔδυ καὶ νύκτα ἐπήγαγεν [153].

... quamdiu sol erat supra terram... Postea vero quam occubuit [154].

... пока еще солнце находилось на поверхности нашего круга... А какъ Фебъ за горизонтъ опустился [155].

Отмѣтимъ еще, въ заключеніе, что ἥρως (H. 75, лат. heros, 130) переведено „рыцарь“ (I, 130); состязанія въ силѣ и ловкости, греческія „игры“, переведено: „рыцарскія науки“ (Ch. 3—4).

Итакъ, нетрудно замѣтить, въ какомъ направленіи шли эти передѣлки: въ переводѣ мы имѣемъ дѣло—1) съ стилистическимъ *расширеніемъ*, распространеніемъ греческаго текста (примѣры выше: №№ 1, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 21, 22); иногда безсиліе передать сжатость греческаго стиля приводило къ тому, что соотвѣтствующія мѣста въ русскомъ переводѣ отличаются расплывчивостью (напр. №№ 2, 18, 19, 20, 24);—2) съ *сокращеніями*, иногда сводящими текстъ къ пересказу (напр. №№ 3, 5, 10);—3) въ исключительныхъ случаяхъ, къ *коренному измѣненію текста*,—такъ, въ романѣ Ксенофонта юноша Ὑπεράνθης передѣланъ въ переводѣ въ „дѣвицу Иперанту“, во избѣжаніе необходимости говорить о любви мужчины къ юношѣ (еще № 23);—4) общій тонъ въ переводахъ *болѣе патетическій, сентиментальный* (напр., №№ 7, 13, 14); чаще вводятся „нѣжные вздохи“, междометія („ахъ“, „увы“ и пр.); стиль переводовъ отличается *манерностью* псевдоклассицизма, чуждой греческому оригиналу (напр. №№ 6, 9);—5) въ *распространеніи* нѣкоторыхъ мѣстъ, главнымъ образомъ, въ дѣляхъ психологическихъ. Такимъ образомъ, сдѣланныя сравненія позволяютъ утверждать, что русскій читатель имѣлъ передъ собою произведенія, носившія названія греческихъ романовъ, но, на самомъ дѣлѣ, далеко отошедшія отъ своихъ оригиналовъ. Въ переводахъ греческій романъ подчинился тѣмъ литературнымъ вкусамъ, которые выразились въ созданіи псевдоклассическаго романа: усвоенъ былъ новый стиль (манерность, патетичность, расплывчивость), усилены психологическіе интересы.

Особенно любопытно выяснить, въ какомъ видѣ дошло до русскаго читателя представленіе о той τύχη, которая явилась главной связующей и движущей силой греческаго романа.

Оказывается, неопредѣленность отношеній къ этой τύχη, наблюдаемая въ греческомъ романѣ, углубилась въ новыхъ переводахъ

вмѣшательствомъ христіанскаго представленія о Богѣ, Промыслѣ, Провидѣніи... Привожу нѣсколько характерныхъ параллелей для болѣе яснаго представленія о томъ, въ какомъ видѣ предстало въ русскомъ пониманіи фаталистическое міросозерцаніе грековъ.

34. .. ἐκεῖνα μὲν τῇ τύχῃ λογιστέον.. [156].

... illa sunt fortunae ascribenda [157].

... въ томъ надлежитъ винить Фортуну [158].

35. τίς ἄρα τύχη διαδέξεται ἡμᾶς, ἐρῶσα.. [159].

Quaenam excipiet nos fortuna, clamabant [160].

... вопили: „О, милосердое Небо! сжалься надъ безсчастными!“ [161].

36. ..πολλὰ μία ἡμέρα καὶ δύο πολλάκις ἔδοσαν τῶν εἰς σωτηρίαν, καὶ τύχαι παρέσχον ἃ βουλαῖς ἀνθρώποις μυρίαις οὐκ ἐξεῦρον [162].

Multum saepe intermissus dies unus aut alter momenti ad salutem attulit, et prosperos casus praebuit, quod nullis consiliis homines consequi potuisse [163].

... нерѣдко въ свѣтѣ случается, что смертные въ одинъ день такое щастіе обрѣтаютъ, какого-бы и вѣкъ искать не найти [164].

37. σῶζε τύχης λοιπὸν ἀγώνιμα σώματα.. [165].

Serva fortunae deinceps addicta corpora [166].

... Спасите препоручившихъ участь свою сомнительной Фортунѣ [167].

38. δυστυχήματα, ἔφη, τὸ λαμπρόν με τοῦτο σχῆμα μετημφίασε [168].

... fortuna in aliam figuram transformat [169].

... непостоянное смертныхъ щастіе превратило въ другой видъ [170].

39. Ἀπόλλων, ἔφη, ἀναβοήσας, καὶ θεοί.. [171].

O, Apollo, inquit exclamans, ac dii caeteri [172].

„О, милосердыя Небеса!“ [173].

40. ..τύχης ἀμφιβολία.. [174].

... fortunae ambiguitari ejus rationes permittens [175].

... сомнительной Фортунѣ... [176].

41. ταῦτα μὲν οὖν θεοῖς τε τοῖς ἄλλοις καὶ μοίραις ἐπιτετράφθω, οἵ τοῦ ποιεῖν τε καὶ μὴ τὸ κράτος ἔχουσιν [177].

Sed haec cum diis aliis, tum Parcis commendata sint: in quorum, ut haec faciant, aut non, potestate situm est [178].

... опредѣлительницы человѣческихъ участей удалили... [179].

42. ..εἴ τινά σοι θεὸς ἐπιστήσειε [180].

... si quem Deus adduxerit [181].

... кому, по опредѣленію судебъ, случится [182].

43. τὸ γὰρ ἄδηλον τῆς τύχης ἀνθρώποις ἄγνωστον [183].

... incertitudo fortunae hominibus ignota est [184].

... счастіе смертныхъ превратно: оно подвержено безчисленнымъ перемѣнамъ [185].

44. ..τὴν ἐκ θεῶν οἰκονομίαν ἐθαύμαζον [186].

... deorum gubernatione admirabar [187].

... удивлялся премудрому управленію всевышнихъ Строителей вселенныя [188].

45. ἀρθόνως γὰρ κἀμοὶ τῶν συμφορῶν ὁ δαίμων ἐπήνεγκεν [189].

... magnum onus calamitatum et mihi numen imposuit [190].

... судьба величайшее иго злощастія на меня возложила [191].

46. ...μοιρῶν τάχα βουλήσει [192].

... fotorum fortasse voluntate [193].

... не безъ провидѣнія Боговъ [194].

47. ἐπαίζε δὲ ἄρα τι τὸν Κνήμωνα δαιμόνιον, ὁ καὶ τὰ ἄλλα χαίροντα ὡς ἐπίπαν τοῖς ἀνθρώποις καὶ παιδιᾶν πεποίηται, καὶ οὐδὲ τῶν ἡδίστων ἀλύπως μετέχειν ἐπέτρεπεν· ἀλλ' ὅ τι μετ' ὀλίγον ἡσθήσεσθαι ἐμέλλεν, ἤδη τὸ ἀλγεινὸν ἐπέπλεκε, τάχα μὲν οὕτως ἔθος ὂν αὐτῷ καὶ νῦν ἐπιδεικνύμενον τάχα δέ που καὶ τῆς ἀνθρώπου φύσεως ἀμιγὲς καὶ καθαρὸν τὸ χαῖρον οὐκ ἐπιδεχομένης [195].

Enimvero illudebat plane Cnemoni quoddam numen, quod, ut alioqui ut plurimum reshumanas in ludibrii et lusus loco collocat, ita neque tum suavissimis tranquille et absque molestia frui permittebat: sed ei quod magnam voluptatem allaturam paulo post fuerat, casum adversum implicabat: vel quod ea sit ipsius consuetudo, etiam tunc ostendens: vel quod natura humana, meram et non temperatam laetitiam capere non possit [196].

... Книмонъ былъ тогда игралищемъ Боговъ, кои, по большой части, смѣясь дѣламъ смертныхъ, посреди блистательнаго счастья низвергаютъ ихъ въ бездну злосчастій. Или, можетъ статься, произошло сіе отъ того, что человѣческая наклонность, ищущая премѣны, долго пользоваться не можетъ прямымъ благополучіемъ. Они всегда подъ видомъ добра хватаются за самое зло, а подъ тѣнію зла, оставляютъ истинное добро [197].

Изъ приведенныхъ сопоставленій видно, что значеніе τύχη= „судьбы",—значеніе, на которомъ держится все основаніе греческаго романа, *усиливается* въ переводахъ,– здѣсь о „судьбѣ" упоминается чаще, чѣмъ въ оригиналахъ,—ясное доказательство, что для новаго времени эта сила „судьбы" не только не утратила своего значенія, но даже его увеличила (какъ основа міросозерцанія, или стилистическій пріемъ, — это безразлично!).

Въ русскихъ переводныхъ романахъ постоянно попадаются выраженія, въ родѣ слѣдующихъ: „Судьба привела" (К. 42—нѣм.: „ein gütiges Geschicke"—34); „судьба опредѣляетъ" жизнь героя (Х. II, 146, лат.: „fortunae"—420); „судьба пріуготовляетъ" (Х. II, 198—лат.: „fatum"—476); „судьба ненавидитъ" (Х. I, 232; лат.: „adversa fortuna"—245); „судьба возлагаетъ на героя величайшее иго злощастій" (Х. I, 92 — лат.: „numen" — 94); „герой предаетъ себя немилосердной судьбѣ" (Х. I, 53—лат.: „fortunae"—50); герой „бѣгаетъ отъ гнѣвной судьбы" (Х. I, 216—лат.: „fatum"—224); онъ называетъ ее „жесточайшей" (Х. I, 74—лат.: „insatiabilis Erynnis", 73); называетъ ее „злобной" (Х. I, 99—лат.: „fortuna"—102);

постоянно взываетъ „къ судьбѣ“ (К.—147; нѣм. 118; ib. 159; нѣм. 128: ib. 77; нѣм. 62). „Судьба выше боговъ“ (А. 47; фр.: „le sort contraire“—43); „положенія судебъ“ избѣжать нельзя (Х. II, 51; лат.: „fatorum necessitas“—326—7).

Это же понятіе „судьба“ часто фигурируетъ подъ названіемъ „фортуны“: герой переноситъ удары „злобной фортуны“ (Х. II, 64—лат. „adversa fortuna“ — 341); герой—„рабъ и узникъ фортуны“ (Х. II, 155—лат. „servus fortunae“—430); она именуется „сомнительной“ (Х. I, 122, еще: 201—лат. „fortunae ambiguitas“—124; „fortunae“—204); герой не воленъ въ своихъ дѣяніяхъ и винитъ постоянно „фортуну“ (Х. I, 38; лат.: „fortunae ascribenda“—35).

Въ такомъ же смыслѣ, какъ „судьба“ употребляются слова: „счастье“, „злосчастье“, „злополучіе“: (К. 137—нѣм. „Glück“—110; ib. 44—нѣм. „Glück“—36; ib. 145—нѣм. „Glück“—116); „счастье завидуетъ“ герою (А. 132—фр. „Dieux jaloux“—110); „счастье превратно“, „подвержено безчисленнымъ перемѣнамъ“ (Х. I, 186 — лат. „incertitudo fortunae“—187; ib. II 17—лат. „o, fortunae omnis mutationis plena et instabilissima ratio“ — 287); „непостоянное смертныхъ щастіе“ измѣняетъ жизнь человѣка по своему (Х. I, 99 —лат.: „fortuna in aliam figuram transformat“ — 103); тщетно человѣку воевать противъ „злополучія“ (Х. I, 203—лат. „certare cum praesenti fortuna“ — 206). Рядомъ съ „судьбой“ изрѣдка является слово: „жребій“ (А. 86—въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ франц. текста фраза построена безъ участія „судьбы“—76).

Но, кромѣ „судьбы“, жизнь героя зависитъ отъ „премудраго управленія всевышнихъ строителей вселенной“, т. е. боговъ (Х. I, 185—7—лат.: „deorum gubernatione“—188); „небеса опредѣляютъ“ жизнь героя (Х. II, 46—лат.: „finem dexteriorem Deus ostendit“—321); „боги руководятъ“ героемъ (А. 28—фр. „prédiction de l'oracle“—27; Х. I, 203—4—лат. „ob iram deorum“—206; ib. 202—лат. „divino auspicio“ — 204); „хотѣніе боговъ“ (Х. I, 158 — лат. „fore“ — 160); „промыслъ боговъ“ (К. 164—нѣм. „Glück und die übrigen Götter“—132); „особливое Провидѣніе“ (Х. I, 97—лат. „fatorum voluntate“—100; ib. II, 51—лат. „fatorum necessitas“—326—7); „повелѣніе боговъ“ управляетъ міромъ (К. 5—нѣм. „Befehle der Gottheit“—4); бѣдствія человѣку „посылаются свыше“ (Х. I, 111—лат. „divinitus“—113); „опредѣленію неба“ противиться нельзя (Х. I, 187—въ лат. въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ этой фразы съ „опредѣленіемъ неба“—нѣтъ,—есть вообще размышленія о непрочности человѣческой жизни, подверженной случайностямъ—187);

„небо печется“ о человѣческомъ родѣ (Х. II, 47—лат. „seu numen, seu fortuna quaedam“ — 322). Когда жизнь героевъ мѣняется къ лучшему, онъ долженъ быть увѣренъ, что „гнѣвающееся на нихъ божество тогда примирилось“ съ ними (К. 233—нѣм. „die Gottheit war nunmehr versöhnt“—185). Герой постоянно является „игралищемъ боговъ, кои, по бо́льшей части, смѣясь дѣламъ смертныхъ, посреди блистательнаго счастья, низвергаютъ ихъ въ бездну злосчастій“ (Х. I, 213—4 - лат. „illudebat quoddam numen“—219).

Наконецъ, кромѣ „судьбы“ и „боговъ“ въ жизни героевъ греческаго романа играютъ роль—„колдовство“ (Х. II, 33—4), неотразимая сила талисмановъ („яхонтъ“, Х. I, 224; „камень пантарбъ“ Х. I, 185, II, 131), „таинственные голоса“ (Х. I, 197, 132), „вѣщіе сны“, или появленіе боговъ во снѣ герою (К. 160, 40; А. 53, 250; Х. I, 337, 47, 194, 153, 90—1, II, 190); „прорицанія оракула“ (Х. I. 82, 114; А. 267). Если всѣ эти—„колдовства“, „предсказанія“ и „предзнаменованія“ и не имѣли самостоятельнаго вліянія на жизнь героя, служа только отраженіемъ воли „судьбы“ и „боговъ“—то всетаки и они тоже стѣсняли свободное развитіе внутренней жизни героя, и они сковывали самостоятельность его дѣйствій, значительно суживая тѣ предѣлы, въ которыхъ могъ-бы развернуться въ романѣ драматизмъ его положенія. Но, конечно, преувеличеніемъ было бы считать вліяніе этихъ, внѣшнихъ для человѣка, силъ „ирраціональнымъ элементомъ, *освобождающимъ* писателя отъ психологической мотивировки“. Онъ *не освобождалъ* автора, а *стѣснялъ* его творчество.—вотъ, почему въ греческихъ романахъ психологическій анализъ оказался какимъ-то однобокимъ: если въ современномъ романѣ *психика* героя *направляетъ* его поступки, то въ греческомъ романѣ, гдѣ жизнь опредѣлялась судьбой—*психика скорѣе иллюстрируетъ жизнь героя*.

Полагая, что сдѣланныя выше сопоставленія дали достаточное понятіе о сущности и характерѣ тѣхъ передѣлокъ, которымъ подвергались греческіе романы при переводѣ ихъ на новые языки, я, въ заключеніе, беру рядъ цитатъ исключительно изъ русскихъ переводовъ, чтобы, ставъ на точку зрѣнія русскаго читателя, незнакомаго съ подлинниками этихъ романовъ, оцѣнить ихъ характерныя особенности. Какое впечатлѣніе (а, можетъ быть, и литературное вліяніе?) могли на обыкновеннаго читателя произвести эти русскіе переводы? Вѣдь для массы этихъ читателей они играли роль вполнѣ самобытныхъ произведеній, и, какъ таковыя, они могутъ быть разсмотрѣны, какъ самостоятельныя произведе-

нія, съ опредѣленными и своеобразными особенностями стилистическихъ и психологическихъ пріемовъ.

Выше я устанавливалъ степень близости русскихъ переводовъ къ оригиналамъ,—теперь цѣль моя иная: дать представленіе о томъ психологическомъ и эротическомъ содержаніи, которое характерно для этого романа, и о томъ русскомъ стилѣ, который приспособился у насъ для выраженія этого содержанія.

Такія *русскія* цитаты легче всего даютъ возможность устанавливать вліянія переводныхъ романовъ на русскій подражательный. Только русскія цитаты, сохраняя колоритъ времени, введутъ насъ въ своеобразную атмосферу языка, чувствъ и идей того вѣка, въ которомъ жили и дѣйствовали русскіе переводчики.

Выше было указано, какъ неразрывно сливалось въ греческихъ романахъ эротическое содержаніе съ психологическимъ анализомъ.

Привожу рядъ примѣровъ, подтверждающихъ эту мысль.

Красота одной героини такъ поразительна, что даже суровые варвары дѣлаются сентиментальными и восхищаются ею. Въ одномъ романѣ разбойникъ совсѣмъ „по рыцарски“ ухаживаетъ за своей прекрасной плѣнницей,—

„Онъ вмѣнялъ въ великое себѣ удовольствіе, что служитъ тотъ, которой недавно былъ повелителемъ. Побѣдитель о томъ только мыслилъ, какъ бы услужить плѣнникамъ. Подлинно можно сказать, что всѣ благородные и великодушные поступки обладаютъ варварами; также и красота не менѣе смягчаетъ сердца жесточайшія“ [198].

Въ другомъ романѣ атаманъ разбойниковъ, подъ вліяніемъ чувства любви —

„весьма нѣжно вздохнулъ, и вздохъ сей вскорѣ сопровождаемъ былъ слезами“ [199].

Если „разбойники“ такъ тонко чувствовали любовь, то люди болѣе культурные, къ любви были еще болѣе чувствительны. Діонисій, получивъ письмо Каллирои, былъ въ такомъ восторгѣ, что „цѣловалъ“ его [200]; отъ волненія онъ упалъ въ „безпамятство“ и слезъ проливалъ столько, что долго „читать не могъ“ письма [201].

Подъ наплывомъ сильныхъ и разнообразныхъ чувствъ, герои очень часто „вопятъ“ и произносятъ патетическіе „монологи“.

„...оставшись одинъ, слезъ проливая струи, вопѣлъ; „о, Небеса, ополчившіяся на мою погибель!“ [202].

Когда одинъ герой неожиданно увидалъ свою возлюбленную, онъ —

„...не чувствуя узъ тяжести, бросился къ ней и, принявъ ее въ

свои объятія, говорилъ: „васъ-ли я вижу? или только непорочную вашу душу, возлетающую въ горнія селенія?“ [203].

Когда герой, по ошибкѣ, призналъ трупъ убитой за тѣло возлюбленной, онъ —

„...повергшись на лежащій трупъ, обнималъ его, а потомъ въ крайнемъ отчаяніи, метался по всѣ стороны“ [204].

Герой, удрученный горемъ, лежитъ, какъ мертвый,—

„Ему хотѣлось лежать такъ и никакова о себѣ не давать знаку“ [205].

Когда герой слишкомъ долго оставался холоденъ къ женской красотѣ,—романистъ, желая объяснить, какъ въ это „холодное“ сердце могла забраться любовь, облегчаетъ непреодолимую для него психологическую задачу, прибѣгая къ помощи deus ex machina:

„Наконецъ, Купидонъ, горделивѣйшій и неумолимѣйшій изъ всѣхъ боговъ, симъ раздражается, — онъ приходитъ въ ярость, и мщеніе его рѣшительно“ [206].

Иногда въ романахъ психика героя прямо раскрывается изображеніемъ чертъ его лица:

„имѣлъ на лицѣ знаки неистовства, горѣлъ любовію и ревнивостью и, будучи готовъ ко всякому предпріятію, подошелъ...“ [207].

Любопытно описано психическое вліяніе „поцѣлуя“ —

„Сей поцѣлуй, подобно яду, вошелъ во внутренность его сердца, и такъ имъ овладѣлъ, что онъ ни о чемъ болѣе не помышлялъ, какъ о Каллирое“ [208].

Иногда греческіе романисты брались даже за изображеніе „сложныхъ“, „смѣшанныхъ“ чувствъ:

„По сихъ дружескихъ разговорахъ, то смѣялись отъ радости, то, по нѣкоему внутреннему волненію духа, воздыхая, лили слезы“ [209].

„И такъ произошелъ многоразличной видъ, т. е. печаль, смѣшенная съ радостью,—слезы съ невинною усмѣшкою, а плачевное жертвоприношеніе съ пріятною богамъ жертвою“ [210].

Когда одинъ герой перехватилъ письмо соперника —

„отъ сего пришолъ онъ внѣ ума; однако письмо удержалъ въ рукѣ, опасаясь, чтобъ кто его не прочелъ. Потомъ, очувствовавшись, приказалъ отвесть себя въ особливой покой, и чтобъ туда никто не входилъ, гдѣ, нѣсколько разъ прочитывая оное письмо, несказанно совѣстію своею мучился. Робость, малодушіе, страхъ и неимовѣрность вдругъ разумомъ его овладѣли“ [211].

Неожиданное свиданіе героя и героини изображено такъ:

„Небо! какая встрѣча! Они не медлятъ бѣжать другъ къ другу; хотя лице ихъ и перемѣнилось, но сердце одинаково, и нѣжное сострастіе души стремитъ ихъ въ объятія другъ друга; они сжимаются крѣпко, но излишество волненія отнимаетъ у нихъ силы; колѣна ихъ подги-

баются, они упадаютъ на землю безъ чувствъ. Тысяча страстей смѣшанно обращались въ душѣ ихъ: удовольствіе, печаль, страхъ" [212].

Встрѣчаемъ мы изображенія и волненія страсти любовной.

„Нѣкоторое тайное волненіе удерживало ихъ обоихъ и задушало ихъ голосъ; они не смѣли взглянуть другъ на друга. Излишество удовольствія повергало ихъ въ слабость: стыдливость, страхъ, желаніе, частое біеніе сердца, едва позволяющее имъ дыхать и самое услажденіе, хотя еще не совершонное, приводило ихъ въ трепетаніе и производило въ нихъ великое волненіе" [213].

„Царь, читая оное, чувствовалъ въ сердцѣ своемъ великое смятеніе, вдругъ разгнѣвался на Керея, что лишилъ его возлюбленной, а потомъ вскорѣ извинялъ его, что онъ самъ ему ко огорченію подалъ причину. И иногда признавался онъ Керею обязаннымъ за возвращеніе царицы; однако досадовалъ на то, что онъ похитилъ у него Каллирою" [214].

Борьба со страстью и усиленіе ея, какъ результатъ этой борьбы, тоже изображались въ романѣ:

„чѣмъ болѣе Діонисій страсти своей противился, тѣмъ болѣе она возрастала" [215].

Не особенно тонко, въ психологическомъ отношеніи, изображена „смѣна чувствъ".

„гнѣвъ его премѣнился вдругъ въ жалость и раскаяніе" [216].

Неожиданно встрѣтившись съ возлюбленнымъ, героиня „растерялась" отъ радости [217].

„она посреди собранія, стои въ изумленіи неподвижно, непрестанно смотрѣла на Керея" [218].

Вліяніе природы на настроенія человѣка тоже подмѣчено было романистами —

„Ночь приближалась, и мрачность ея, удаленная отъ успокоенія ихъ волненій, соединившись съ уединеніемъ, дѣлала жесточайшими мученія; тщетно они стараются заснуть, — сонъ убѣгаетъ отъ вѣждъ ихъ" [219].

Изображали романисты и печальныя „настроенія" героевъ — такъ, героиня, брошенная „судьбой" навстрѣчу новымъ приключеніямъ —

„думала въ самой себѣ: „какъ? всегда разбойники и море!" [220].

Чувства тоски, охватившей обоихъ героевъ, изображены такъ:

„Аврокомъ и Анѳія отошли на сторону корабля и держали другъ друга нѣжно въ объятіяхъ; духъ ихъ чрезмѣрно занятъ былъ едиными печальными мыслями" [221].

Герой отъ безнадежной любви ищетъ „уединенія" [222].

Душевная борьба героини, оскорбленной предложеніемъ разбойничьяго атамана выйти за него замужъ, изображена въ такихъ словахъ:

„...больше прежняго возсіяла красотою и, возбуждаясь сильнѣй

шимъ мыслей стремленіемъ, щеки у ней чрезвычайно румянцомъ покрылись!" [219].

„Сердце ея объято было тысячію противныхъ и насильственныхъ страстей: печаль, ненависть, ревнивость и страхъ овладѣли имъ и единственное ея попеченіе состояло въ томъ, чтобы умѣть отомстить за гордость Аврокому".

Въ такомъ же родѣ встрѣчаемъ мы неразъ попытки вскрыть психологію любви [224]*), психологію отвергнутой женщины [225], чувства цѣломудренной стыдливости [226], чувства радости отъ встрѣчи съ единоземцами [227], психологію грубыхъ варваровъ [228], психику разбойниковъ [229]; чувства разлуки [230].

Часто, какъ я уже указывалъ, вмѣсто „объективнаго" изображенія психическихъ движеній героя, или героини, авторъ самъ предлагаетъ свои объясненія касательно психики дѣйствующихъ лицъ. Напр.

„Единое только ея было попеченіе о томъ, дабы уязвленному подать помощь. Ибо всякое безмѣрное желаніе и чрезмѣрная любовь все, что постороннее, хотя оно пріятное, или скучное, равномѣрно презираетъ; къ одному только тому, что ей истинно любезно, и въ томъ всю жизнь, всѣ мысли, всѣ раченія полагаетъ" [231].

„...зашедъ въ лѣсъ, въ которой солнечный свѣтъ едва сквозь густоту сплетшихся вѣтьвей проникнуть могъ, обклавшись хворостомъ и листьями, всю ночь трепеталъ, и отъ небольшаго вѣтерка, причиняющаго нѣкоторый шумъ на вершинахъ высокихъ деревъ, приходилъ въ отчаяніе. Когда сонъ одолѣвалъ его, то онъ, вздрагивая, оглядывался на всѣ стороны, думая, что ищетъ его Ѳермутъ" [232].

Иногда авторъ дѣлаетъ психологическіе выводы:

„Любовь, обыкновенно, вкореняетъ великую надежду, почему и онъ ласкалъ себя непрестаннымъ учтивствомъ и снисхожденіемъ наконецъ преодолѣть ея упорство [233].

„Ибо самымъ опытомъ познаемъ, что мы желать того перестаемъ, чего получить совсѣмъ не можно, и человѣческой духъ болѣе о томъ не стонетъ" [234].

Чаще всего—или герои разсказываютъ о своихъ чувствахъ, или самъ авторъ раскрываетъ ихъ души:

„Часто мнѣ кажется, что я его вижу и слышу выговоры: то ласкаюсь, по пріѣздѣ его, наслаждаться нѣжнѣйшею любовію, то сама, въ какой бы части свѣта онъ ни былъ, порываюсь къ нему ѣхать" [235].

„Керей почувствовалъ въ сердцѣ своемъ чрезвычайное движеніе, не зная самъ тому причины" [236].

„...смотря на нее, чувствовалъ во внутренности моего сердца радостное восхищеніе" [237].

---

*) Причемъ авторъ попутными замѣчаніями и разсужденіями часто пытается еще яснѣе раскрыть психологію дѣйствующихъ лицъ.

Радость свиданія вызываетъ такое психическое состояніе героевъ, что авторъ считаетъ своимъ долгомъ разъяснить читателямъ это состояніе:

„вдругъ, бросясь къ Ѳеагену на шею, вскричала: „о, дражайшій! боги паки мнѣ васъ препоручили!“ А онъ: „О, возлюбленная, вы здравствуете?“ По такихъ привѣтствіяхъ, связась крѣпчайшими объятіями, упали оба въ опасной обморокъ. И поистинно, какъ великое уныніе скорбь производитъ, такъ и чрезмѣрное обрадованіе нерѣдко по себѣ печальнѣйшія слѣдствія оставляетъ“ [238].

Часто, изображая психику дѣйствующихъ лицъ, авторъ ограничивается изображеніемъ чисто-внѣшнихъ проявленій внутренняго душевнаго волненія:

„...мнѣ кажется, она больна отъ любви: видите и сами, что глаза у ней пухнутъ, взоръ покосился, лице блѣднѣетъ, притомъ бредитъ и не спитъ“ [239].

„...другъ на друга взглядывали, и отъ превеликаго отчаянія каждой, то опускалъ въ низъ голову, то, опять поднимая въ верхъ оную, испускали вздохи,—будто бы тѣмъ уменьшали величество своихъ злосчастій. Напослѣдокъ Киимонъ, вдругъ повалясь на землю, Ѳеагенъ на камень, а Харикліи на него, уснули мгновенно“ [240].

„...онъ, вдругъ оглядывась на всѣхъ, воздыхалъ весьма томно: то, опять ободрясь, принималъ на себя видъ спокойный. Сему удивляться не должно: ибо всѣ почти влюбившіеся подвержены такимъ обуреваніямъ; они никогда одной стези не держатся. Ихъ, по справедливости, уподобить можно кораблямъ, несшимся во время бурныхъ вѣтровъ въ разныя стороны“ [241].

„Чувства“ въ этихъ романахъ отличаются внезапностью: любовь, какъ и всѣ другія чувства захватываютъ героя сразу и неожиданно: первая встрѣча навсегда связываетъ сердца любовью:

„Здѣсь то Аврокомъ и Анѳія были поражены взаимнымъ удивленіемъ: едва они другъ друга увидѣли, какъ Анѳія покорилась Аврокому, а Аврокомъ—любви. Младый Ефесеянинъ взиралъ на нее съ жадностію, не имѣя силъ свесть съ нее глазъ, которые любовь имѣла привязанными противъ его воли. Анѳія не была свободнѣе его; удивленныя ея очи принимали пламенныя стрѣлы, исходящія изъ глазъ Аврокома; она говорила о пріятныхъ вещахъ съ тѣмъ, чтобъ онъ ихъ слышалъ: она старалась явить болѣе тѣхъ прелестей, которыя стыдъ не обязываетъ сокрывать отъ зрѣнія, дабы лучше представить ихъ взорамъ Аврокома“ [242].

„Когда жаръ любви вселился во внутренности сердецъ ихъ; тогда поблѣднѣли. Словомъ сказать: въ короткое оное время тысяща перемѣнъ въ лицѣ и въ глазахъ ихъ являлось, что, безъ сомнѣнія, происходило отъ безмѣрнаго волненія духа“ [243].

„Они лишь другъ на друга взглянули,—то духъ при первомъ случаѣ такое возчувствовалъ дѣйствіе, которое привлекало ихъ ко взаимному дружеству, и оба, оцѣпенѣвъ, стояли неподвижно. Они, другъ на друга взглядывая, оба внутренно усмѣхнулись“ [244].

Сердца ихъ отъ взаимныхъ взглядовъ вдругъ заразилися. Керей возвратился въ пріятномъ восторгѣ въ домъ свой, а Каллирои, потупя глаза свои въ землю, стояла долгое время неподвижно“ [245].

Будучи не въ силахъ справиться съ наплывомъ чувствъ, герои очень часто „плачутъ“ [246] отъ горя и отъ радости, даже „потѣютъ“ [247].

„при сихъ словахъ покатились у ней по лицу слезы, которыя Діонисія и всѣхъ, около стоящихъ, плакать принудили“ [248].

„...слезы, готовыя изтечь изъ очей его, тысяча вздоховъ, удушаемыхъ имъ въ сердцѣ, негодованіе и гнѣвъ столь смятеннымъ дѣлали духъ его, что не могъ онъ собрать мысли“ [249].

„Окончавъ онъ свою повѣсть, полились изъ глазъ его слезы. Заплакали также и плѣнные, приведши на мысль всѣ свои приключенія, и въ такихъ сѣтованіяхъ, наконецъ, они, мало по малу, заснули“. [250].

Эти „слезы“ всегда почти сопровождаются „вздохами“ [251], „обмороками“ [252]; иногда эти обмороки слѣдуютъ непосредственно одинъ за другимъ [253]. Сильное горе часто сопровождается желаніемъ, или угрозой самоубійства [254], болѣзнью [255]...

Неразъ брались романисты и за изображеніе сильныхъ сценъ отчаянья, или даже бѣшенства героевъ. Въ такихъ случаяхъ патетическія восклицанія, „возгласы“, „вопли“ *), „жалобы“ [256], патетическіе монологи, рѣчи, разсужденія героя „вслухъ съ самимъ собой“—помогаютъ автору раскрыть передъ читателемъ настроеніе встревоженной души героя. Для этой же цѣли пользовались греческіе романисты „письмами“.

Въ стилистическомъ отношеніи греческій романъ представляетъ несомнѣнный интересъ,—онъ отличался и паѳосомъ, и риторизмомъ сентиментальнаго характера. Привожу примѣры:

„Несчастная! говоритъ она, какое невѣдомое безпокойствіе мятетъ мое сердце? О, боги! я люблю, и люблю гораздо болѣе, нежели сколько благопристойность позволяетъ моему возрасту и сколько приличествуетъ младой благорожденной дѣвицѣ; безумная страсть моя къ Аврокому не позволяетъ мнѣ помыслить о чинимомъ мною преступленіи. Аврокомъ прекраснѣе изъ всѣхъ смертныхъ, но столькожъ и жестокъ. И такъ, къ чему можетъ клониться любовь моя? Чѣмъ я налечу мои злоключенія? Находясь въ юности подъ властію строгихъ родителей, которые съ великимъ раченіемъ блюдутъ меня, къ кому могу я прибѣгнуть“ [257].

„Вышедъ онъ изъ сего Лавиринта, услышалъ женщину, поющую жалобную пѣснь, равно соловья, вызваннаго теплотою вешняго времяни. Онъ, приникъ къ дверямъ, услышалъ слѣдующее: „Ахъ! несчаст-

---

*) Эти „вопли“—монологи, по характеру своему, очень напоминаютъ „причитанія“.

нѣйшая изъ всѣхъ человѣкъ! не давно избавясь отъ рукъ разбойничьихъ, надѣялась съ любезнымъ препровождать жизнь въ странствaніяхъ, но небо снова лишило меня чаемыхъ веселій!.. О небеса! что̀ еще будетъ далѣе? [258].

„О, дражайшая! въ желаемомъ-ли здравіи находитесь? Или и вы также, какъ и я, чувствуете печальное приключеніе сего побоища? По истиннѣ ни при жизни, ниже по смерти, ни что меня отъ васъ не отторгнетъ! Образъ и тѣнь ваша мнѣ, умирающему, подаютъ великую отраду!“ Дѣвица на то: „Все мое блаженство въ тебѣ единственно находится,—словомъ сказать: жизнь и смерть отъ тебя зависитъ. Видитель?“—показывая кинжалъ, лежащій на колѣнахъ, „сей еще и понынѣ не вонзенъ въ грудь мою для жизни вашей!“ [259].

„Старикъ, испуская глубочайшіе вздохи, отвѣчалъ: „похищеніе моихъ дѣтей разбойниками, коихъ, хотя и вѣдаю, но мстить имъ не въ силахъ. Я, скитаясь въ сихъ мѣстахъ, горесть свою вотще оплакиваю, подобно птица, у которой драконъ, разоривъ гнѣздо, любезныхъ ея дѣтей передъ глазами пожираетъ. Бѣдная мать къ злодѣю приступить не смѣетъ, но и прочь летѣть не можетъ. Родительская горячность учинить ей сего не попускаетъ,—только лишь, около гнѣзда летая, ужасно бьется и жалкимъ крикомъ напасть свою изъявляетъ. Но вопль ея не смягчаетъ ни мало жестокости того, кого естество не произвело на свѣтъ жалостнымъ и человѣколюбивымъ. Словомъ сказать, безутѣшная оная птица, при всѣхъ матерьнихъ своихъ страданіяхъ, безъ всякаго утѣшенія остается [260].

„О, высочайшее солнце, взирающее на всю вселенную! о, земля! и живущіе на ней свято! о, вы, праведные судіи, обитающіе въ плутоновомъ царствѣ, будьте свидѣтели!..“ [261].

„...теперь корабль счастія нашего сокрушился, и якорь надежды погибъ“ [262].

„Ахъ, Керей!“ вскричала она, сбросивъ съ себя покрывало и узнавъ его тотчасъ по голосу. „Ахъ, Каллирои!“—говорилъ Керей, обнявъ ее, и оба, приходъ въ безпамятство, упали. Поликаръ стоялъ притомъ, какъ окаменѣлой, и, отъ удивленія, приходилъ внѣ себя; наконецъ, опамятовавшись, старался Керея и Каллирою привесть въ чувство. „Встаньте!“ говорилъ онъ имъ, и живите паки между собою купно. Боги желанія ваши, наконецъ, исполнили! Однако подумайте, что вы не дома и не безъ опасности, но въ непріятельскомъ мѣстѣ, чего ради надлежитъ, вопервыхъ, стараться, чтобъ вамъ еще не разлучиться другъ отъ друга“. Сіи слова возбудили ихъ, какъ отъ глубокаго сна. „Такъ ты, дѣйствительно, Каллирои?“—„А ты, дѣйствительно, Керей?“ спрашивали они взаимно другъ друга и, обнимаясь, приходили въ прежнее состояніе“ [263].

„Онъ, сѣдши подлѣ нее, говорилъ: „и такъ вы меня воскресили, несравненная Каллироя! Сколькожъ я вамъ за сіе благодарить долженъ! Я уже самъ себя осудилъ на смерть, которая мнѣ гораздо сноснѣе казалась, нежели жить безъ васъ на свѣтѣ. А что бы владѣть вами силою,—того я никогда предпріять не думалъ! Но, не взирая на всю мою нѣжную къ вамъ любовь, позвольте объявить нѣкоторое мое

негодованіе: можете ли вы думать, чтобъ я инако васъ возжелалъ, какъ чрезъ священной союзъ супружества?“ [264].

Любопытною особенностью греческаго романа надо признать стремленіе автора къ „описаніямъ“, детальнымъ,—даже иногда ярко-реалистическаго характера. Напр.:

„Онъ тотчасъ, по Харикловой прозьбѣ, вошелъ къ намъ, коего величественный и пріятный видъ привелъ меня въ великое удивленіе. И подлинно—онъ взоромъ и душею подобенъ безсмертно достойному жить великому Ахиллесу. Онъ, стоя, держалъ голову прямо, а дышалъ, равно какъ гнѣваясь, или въ чрезвычайномъ будучи движеніи. Глаза у него нѣсколько темносѣрые, по большей части, черные. Онъ смотрѣлъ на насъ нѣсколько суровѣе обыкновеннаго, что не препятствовало ни мало игранію очей его. Словомъ сказать: тишина въ глазахъ его была такая, какая въ великомъ океанѣ послѣ бурныхъ вѣтровъ случается“ [265].

„...тотъ весь израненъ лежалъ и, казалось, что онъ нѣсколько силился подняться, подобно отъ глубокаго сна пробуждаясь. Въ сихъ самыхъ обстоятельствахъ процвѣтала въ немъ мужественная красота. Щеки, хотя и обагрены были кровію, однако лѣпота его тѣмъ болѣе еще сіяла. Болѣзнь, хотя глазамъ его и не дозволяла смотрѣть свободно, но присудствіе дѣвицы со всѣмъ иное въ немъ дѣйствіе производило и, почти бездушнаго, оживотворяло и смыкающимся глазамъ принуждало открыться. Онъ, собравъ остальныя свои силы, говорилъ весьма томнымъ и прерывнымъ голосомъ къ дѣвицѣ“ [266].

„Будучи четырнатцати лѣтъ, являла она блескъ цвѣтовъ юности во всей полнотѣ ихъ, и сдѣланный по вкусу уборъ ея умножалъ ея прелести: русые ея волосы частію были заплетены вокругъ лица, остатокъ же ихъ развѣваемъ былъ на раменахъ ея по произволу зефировъ; глаза ея, при всей своей величавости, сохраняли веселость юнаго младенца, а величественный видъ—важность смиренномудренной женщины. Весьма легкая пурпуровая одежда касалась колѣнъ и была до половины покрыта кожей дикой козы; колчанъ ея висѣлъ за спиною; за симъ несли луки, стрѣлы и копья, позадижъ невольники вели самыхъ лучшихъ собакъ“ [267].

„Голова у ней украшена была изъ лавровыхъ листьевъ, сплетенныхъ вѣнцомъ; на плечѣ висѣлъ калчанъ; подъ лѣвой рукой лежалъ лукъ; одна рука попущена была слабо, а другою, облокотясь на правое колѣно, нѣсколько прикрывъ щеки ладонью, въ низъ смотрѣла“ [268].

„Ѣхалъ онъ безъ шлема, въ торжественной епанчѣ, цвѣта багринаго, на которой, по мѣстамъ, блистало золото и серебро, коими вышита была на ней война Лапитовъ противъ Кентавровъ! На грудной пуговицѣ, состоящей изъ самаго чистаго сапфира, представлена была изъ того же богиня Паллада, несущая на копьѣ своемъ голову Медузину... Такое явленіе вящше увеличивало тихое, съ прохладностію, дыханіе кроткаго зефира, который весьма прилично разметалъ по шеѣ и по всей спинѣ прекрасные его волосы. Подлинно бъ вы сказали, что и конь его разумѣлъ, что везетъ прекраснаго всадника. Онъ, поднявъ въ верхъ голову, уши, и взглядывая на всѣхъ сурово, шелъ гордо и,

качаясь то на ту, то на другую сторону, задними ногами слегка билъ въ землѣ. Но оное колобаніе усугубляло плавной ходъ его. Сіе позорище привело зрителей въ несказанной восторгъ, такъ что всѣ, какъ о красотѣ его, такъ и о храбрости, воспріяли особливыя мысли. Нискаго состоянія женщины, не возмогшія скрыть внутренняго и невиннаго сердецъ своихъ восхищенія, бросали на него яблоки и цвѣты" [269].

„Апрокомъ былъ введенъ на брачное ложе; оно было изъ злата, завѣсы изъ пурпура, все же покровенно было навѣсомъ изъ драгоцѣнной матеріи, сдѣланнымъ на подобіе подзора, представляющаго исторію. Толпа маленькихъ купидоновъ рѣзвилась вокругъ находящейся въ верьху Венеры,—другіе ласкались близь нее; иные, сидя на лебедяхъ, собирали цвѣты, прочіежъ плели изъ нихъ цѣпи. На другомъ краю навѣса являлся Марсъ, не вооруженный страшною воинскою бронею, но въ одеждѣ, каковою онъ, обыкновенно, украшается для того, чтобъ понравиться Венерѣ. Купидонъ служилъ ему проводникомъ, неся предъ нимъ свой пламенникъ, какъ бы для приведенія его въ объятія своей матери, которую указывалъ ему перстомъ и окомъ." [270].

„Такимъ образомъ всѣ тѣ, которые тутъ лежали—иной уязвленъ былъ топоромъ, иной пораженъ чрезвычайной величины морскихъ раковинъ черепьями, коими тотъ берегъ весь изобиловалъ; у инона руки и ноги кольями были переломаны" [271].

Описанія вообще отличаются краткостью. Привожу примѣры:

„Потомъ поднялся вѣтръ, сильной, съ вихремъ, и буря чрезвычайная, которая бросала судно по валамъ такъ порывно, что всеминутно ждали кораблекрушенія [272],—лат.: Nos autem ventis adversis ac violentis usi, et tempestatem infestam, et fluctum ineffabilem experti, et eo propemodum ut non procul ab interitu abessent pervenientes" [273].

„Вдругъ въ виду сего острова поднялась жесточайшая буря" [274];—фр.: „il s'eleva tout à coup une tempête, avec un vent si impetueux..." [275].

„Потомъ вдругъ, къ великому нашему нещастію, возсталъ пресильный противный вѣтръ, съ вихремъ, и буря ужасная съ молніею" [276];—лат.: „improviso tempestas orta et ventus vehemens, turbines que mixti et presteres mare concitantes" [277].

„Солнце, обтекая кругъ нашъ и склоняя путь свой къ западу, произвело чрезвычайной мракъ на морѣ. Оно, чувствуя перемѣну времени, или такъ угодно было Небесамъ, вдругъ вскипѣло, поднялся вихрь сильной, и буря ужасная" [278]; — лат.: „sol quidem, cum circultu suo exacte ad occasum pervenisset, spatium inter diem et noctem interpositum, obscurum et opacum reddidit: maro autem repente, seu causa mutationis a tempore accepta, seu fortunae alicujus voluntate transmutatum commovebatur et murmur descendentis venti exaudiebatur" [279].

„Какъ солнце ужо за лѣсъ опускалось" [280],—лат.: „Caeterum sole jam ad occasum vergente" [281].

„Какъ скоро разсвѣло" [282], — нѣм.: „so bald der Tag angebrochen war" [283].

„Какъ скоро насталъ день" [284], — нѣм.: „sogleich mit anbrechendem Tage" [285].

„Лишь день насталъ“ [286],—нѣм.: „kaum war der Tag angebrochen“ [287].

„Какъ свѣтать только начало“ [288], — лат.: „nondum dies exacte illuxisset“ [289].

„Какъ только прекрасное свѣтило, пустивъ по землѣ свой блескъ, освѣтило верхи горъ“ [290], — лат.: „cum primum dies illucesceret et sol cacumina montium illustraret“ [291].

„Едва лишь заря открыла румяное свое лицо“ [292],—лат.: „cum primum lucifer illuxisset“ [293].

„Уже начала Аврора на горизонтѣ показываться“ [294],—лат.: „neque exactum diem expectantes“ [295].

„Фебъ первые свои лучи испуститъ на землю“ [296],—лат.: „ne diem quidem expectans“ [297].

Характерной чертой греческихъ романовъ была также примѣсь того „натурализма“, который совершенно отсутствуетъ въ романѣ „правильномъ“, подражательномъ, „псевдоклассическомъ“. Напр.:

„Ѳисву полюбилъ одинъ Навкратійскій купецъ, имянемъ Навзиклъ. Сей Арсиною, обожаемую прежде, бросилъ для того только, что, во время игранія, щеки у ней чрезвычайно пухли и, противу благопристойности, изъ носу текла мокрота, и глаза, пламенея, выскочить силились“ [298].

„Идучи назадъ то о порогъ запинался, то, бросаясь во всѣ стороны о стѣну головой ударялся. Наконецъ, вошедъ въ покой, вдругъ бросясь на постелю, весь задрожалъ и заскрипѣлъ зубами“ [299].

„Беременность ваша“—говорила Плангона, еще не столько велика, чтобъ оной не можно было приписать Діонисію“.—„Я лучше умру!“—закричала Каллироя. „Не худо“ — говорила Плангона, какъ будто съ сердца: „я тѣмъ довольна, что вы плодъ вашъ во чревѣ истребите. Ибо чрезъ то меньше будемъ имѣть опасности...“ [300].

Изрѣдка встрѣчаемъ мы въ этихъ романахъ и элементъ юмористики. Такъ, напримѣръ, встрѣчаемъ мы въ одномъ романѣ комическую сцену: „разговоръ съ глухимъ“:

„Я, подошедъ къ нему и поклонясь учтиво, спросилъ его, не знаетъ ли въ близости наемнаго дому. Онъ на то: „Вчера разодрали, ловя рыбу около нашего мыса, зацѣпивъ за камень!“ Я говорилъ: „мнѣ до того нѣтъ дѣла; прошу сказать: не знаешь-ли по близости постоялаго двора?“ Рыбакъ отвѣчалъ: „не я, но дѣти мои разодрали, кинувъ ее ошибкою въ каменистыя мѣста“ [301].

Въ другомъ романѣ одинъ изъ дѣйствующихъ героевъ разсказываетъ, какъ онъ изображалъ чародѣя:

„Сперьва курилъ я ладономъ и шепталъ, самъ не зная что; послѣ, взявъ вѣтьвь, прикладывалъ къ ея головѣ, рукамъ и ко всему тѣлу. Потомъ зѣвалъ, какъ сонной, и, вставъ со стула, лепеталъ самъ съ собою множество пустоши и вздору“ [302].

Я довольно долго остановился на характеристикѣ греческаго романа не потому, что бы онъ имѣлъ непосредственное и большое значеніе для развитія русской литературы,—а съ цѣлью подробнѣе выяснить тѣ основы этого романа, на которыхъ впослѣдствіи, въ XVII в., строили псевдоклассики свои произведенія.

Скрещеніе этого греческаго романа и старыхъ Амадисовъ создало псевдоклассическій романъ Гомбервиля, Кальпренеда, Скюдери и другихъ подобныхъ авторовъ. Въ дѣятельности этихъ писателей опредѣлилась, какъ увидимъ ниже, новая эволюція европейскаго романа, такъ называемаго, — „героически-галантнаго". Его судьба уже тѣсно связана съ первыми опытами русскаго оригинальнаго романическаго творчества и потому можно сказать, съ нѣкоторымъ на то правомъ, что греческій романъ, черезъ посредство французскаго, оказалъ нѣкоторое вліяніе и на нашу романическую литературу.

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ IV-ой главѣ.

1. Этого вопроса касался покойный проф. А. И. Кирпичниковъ въ своемъ сочиненіи: „Греческіе романы въ новой русской литературѣ“ (Харьковъ, 1876) и покойный акад. А. Н. Веселовскій въ статьяхъ: „Беллетристика у древнихъ грековъ“ („Вѣстникъ Европы“, 1876, № 12), „Византійскія повѣсти и Варлаамъ и Іосафъ“ („Журналъ Мин. Нар. Просв.“, 1877, № 7). Изъ иностранныхъ изслѣдованій пользовался я трудами: I. Dunlop, „Geschichte der Prosadichtung v. Liebrecht“, B., 1851 и новымъ англійскимъ изданіемъ Dunlop'a, Chassang, A., „Histoire du Roman ex de ses rapports avec l'histoire dans l'antiquité grecque et latine, Paris, 1862; Koerting, „Geschichte des französischen Romans im XVII Jahrhundert“, I, 15, Oppel und. Leipz, 1891; Erwin Rohde, „Der griechische Roman und seine Vorläufer“, Leips, 1900; M. Oeftering, „Heliodor und seine Bedeutung für die Litteratur“, Berlin, 1901; E. Schwartz, „Fünf Vorträge über den griech. Roman“, Berlin, 1896. Нѣкоторыя библіографическія указанія помѣщены въ книгѣ: Louis P. Betz, „La litterature comparée, essais bibliographique“, Strassburg, 1901: 2. В. Сиповскій, „Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти“, матеріалы по библіографіи и исторіи и теоріи русскаго романа XVIII-го вѣка, ч. I, Спб., 1903; 3. Счастливое исключеніе представляютъ собою герои Ахилла Тація и Евпиѳія, которыхъ страстность дѣлаетъ болѣе живыми; 4. Rohde, op. cit., 177; 5. Тщательныя розысканія привели Rohde къ убѣжденію, что никто изъ греческихъ романистовъ уже не придерживался старой религіи: новоиноэтерейство, новоплатонизмъ и христіанство лишь прикрывалось у нихъ постоянными воспоминаніями о старыхъ, давно упраздненныхъ, богахъ,—для нихъ разговоры объ олимпійцахъ были теперь лишь „стилистическимъ пріемомъ“, за которымъ не было уже старой вѣры (ibid., 506, 526). Наряду со старыми „богами“ упоминаютъ теперь романисты о „богѣ“, вообще, о божествѣ, о демонахъ, „мойрахъ“,—быть можетъ, вѣра въ силу „судьбы-случая“ (τύχη) была самой опредѣленной и прочной въ этой странной эклектической „религіи безвременья“ (ibid., 506, 525, 526). Очищенная и возвышенная „моралью“, эта религія, въ то же время, омрачалась большою примѣсью мистицизма, часто самаго грубаго характера, доходящаго до вѣры въ колдовство, въ примѣты, сны и пр. 6. Rohde, op. cit., 123; 7. Ibid., 106; 8. Ibid, 128; 9. Мнѣ кажется, что Rohde слишкомъ съ современной точки зрѣнія смотритъ на старый романъ, когда приводитъ почти „на нѣтъ“ его психологическое значеніе; онъ правъ, говоря, что вмѣшательство боговъ, судьбы, пророчествъ, провидѣнія, предчувствій, изреченій оракула, вѣщихъ сновъ, даже „таинственныхъ голосовъ“, мѣшаетъ греческому романисту дать въ его произведеніяхъ картину свободнаго психологическаго развитія (op. cit., 101, 425, 476, 509—510); онъ правъ, указывая, что, вслѣдствіе этого, въ греческомъ романѣ событія „нанизываются“ другъ на друга, не вытекая логически одно изъ другого (ibid., 105), и герои смахиваютъ на „маріонетокъ“ (ibid., 428, 176),—но, тѣмъ не менѣе, и ему приходится сознаться, что, напримѣръ, при характеристикѣ второстепенныхъ героевъ, греческій романистъ нерѣдко дѣлаетъ попытки создать индивидуальный яркій образъ, психическая жизнь котораго далеко уходитъ изъ предѣловъ „любви“, въ безпредѣльные горизонты человѣческихъ страстей. Да и утвержденіе, что въ душѣ главныхъ героевъ, кромѣ любви, нѣтъ другихъ психическихъ чертъ—(ibid., 426), едва ли говоритъ о совершенной психологической безпомощности того романиста, который задался интересной и нелегкой цѣлью опредѣлить это чувство во всѣхъ его внутреннихъ и внѣшнихъ проявленіяхъ, въ связи съ другими побочными ему подчиненными психическими состояніями; 10. А-ръ Веселовскій, op. cit., „Вѣстн. Евр.“, 683; 11. Rohde,

op. cit., 406, 432, 488, 489, 512, 526, 528; 12. Ibid., 511, 516; 13. Ibid., 420; 14. Ibid., 405; 15. Ibid., 410; 16. Ibid., 407; 17. Ibid.; 18. Ibid., 426; 19. Ibid., 428—9; 20. Ibid., 511; 21. Ibid., 526; 22. Ibid., 523; 23. Ibid., 527—8; 24. В. Сиповскій, „Изъ исторіи русскаго романа", № 230; 25. Ibid., № 1511; 26. Ibid., № 115. Второе изданіе 1766 года (ibid., № 190). Другое изд. 1793 г. подъ заглавіемъ: „Славные язычники, или весьма достойнѣйшія любопытства приключенія Кирея и Каллиры, знатнѣйшихъ сиракузянъ, исполненное трогательныхъ происшествій, чрезвычайныхъ бѣдствій и странныхъ перемѣнъ, увѣнчанныхъ счастливымъ окончаніемъ въ ихъ жизни случившихся", Калуга, 1793 (№ 1501); 27. Ibid., № 225; 28. Въ Имп. Публ. Библ. до 1769 г. семь латинскихъ изданій (1552, 1556, 1596, 1601, 1611, 1619, 1637 г.г.); въ библіотекѣ Имп. Ак. Наукъ пять латинскихъ изданій (1552, 1556, 1596, 1601, 1631 г.г.). Я пользовался въ своей работѣ экз. Публичной Библіотеки 1637 г. 29. Напр., I, стр 22, „Повѣсть Киннмона—грека", I, 108; „Повѣствованіе Каласприда"; 30. По Guerard'у первыя изданія Amyot были въ 1547, 1549 годахъ. Въ Библ. Имп. Ак. Наукъ есть еще изданія 1588, 1614 г.г., въ Имп. Публ. Библ.— 1616 года. Я пользовался для своей работы акад. экз. 1588 года: „Histoire Aethiopique de Heliodorus, contenant dix livres, traitant des loyales et pudiques amours de Théagenes Thessalien et Chariclea Aethiopienne", A. Roven, 1588. 31. По Guerard'у въ 1727, 1713, 1796 г.г. въ Библ. Имп. Ак. Наукъ есть изданіе 1727 (Amst.), 1713; въ Публ. Библ.— 1727 (Amst) 1727 (Paris). Я пользовался изданіемъ: „Les amours de Th. et Ch., histoire éthiopique, 2 parties, à Londres, M. DCCXLIII (ред. S.-Foix). Кромѣ указанныхъ Guerard'омъ, я нашелъ въ Библ. Ак. Наукъ и Публ. Библіотекѣ по 1 экз. франц. перевода, изд. въ 1629 (Paris). Заглавіе: „Les amours de Théagene et Chariclée". Начало: „L'Aube du jour dissipoit les ténebres et le Soleil de les premiers rayons commençoit à dorer les Sommets des montagnes") и въ Публ. Библ.—одно изд. 1716 года (Amst.). Заглавіе то же: „Les amours de Theagenes ex de Chariclée"; начало: „Du temps du Roi Artaverses Ochus, fils de Memnon, qui monta sur le trône des Perses.."). 32. Сдѣланное мною сравненіе всѣхъ французскихъ переводовъ (до 1769 г.), имѣющихся въ главныхъ петербургскихъ хранилищахъ позволяетъ мнѣ утверждать, что всѣ послѣдующія изданія французскихъ переводовъ представляютъ собою перепечатку указанныхъ Guerard'омъ двухъ редакцій; 33. Op. cit., „Histoire de Cnemon", I, 18; „Histoire de Calasiris", I, 110; 34. Изд. и ред. Bekker'а, 3. Цитую произведенія Ксенофонта и Харитона, въ изд. редакт. Hercher'омъ („Ἐφεσιακῶν λόγων συγγραφεῖς. Erotici scriptores graeci, recogn. Rudolphus Hercher, ed. Teubner. Lipsiae, I t. M. DCCCLVIII. II t. M. DCCCLIX)—произведеніе Геліодора въ изд., редакт. Bekker'омъ („Heliodori Aethiopicorum libri decem ab Immanuele Bekkero recogn", ed. Teubner. Lipsiae, M. DCCCLV). 35. „Heliodori Aethiopica, libri X, edit. Canteni CIƆIƆCCXXXVII; 36. ред. Amyot. op. cit., 13; 37. ред. S.-Foix, op. cit., I—2; 38 русск. изд., I, 1; 39. По Guerard'у въ 1736, 1718, 1781 годахъ. 40. По указаніямъ Kayser'а („Index bcupletissimus librorum", Leips., 1831) существовалъ только одинъ нѣмецкій переводъ, которымъ я и пользовался: „Charitons Liebesgeschichte des Chareas und der Callirhoe, aus dem griechischen übersetzt", Leips., 1753. 41. По Guerard'у французскихъ переводовъ этого произведенія было двѣ редакціи—одна: Darville'я, „Les aventures amoureuses de Ch. et. Call.", 1763,—другая—Fallet („Histoire des amours de Ch. et. Call ", 1775, 1781. Въ Публ. Библ. я видѣлъ слѣдующіе переводы: „Les aventures...", 1763 (не указ. Guerard'омъ); „Histoire des amours..", 1763 (не указ. Guerard'омъ). 42. „Похожденія Кирея...", I; 43. Ibid., 261; 44. „Славные язычники", I; 45. Ibd., 286; 46. „Les amours d'Ismene et d'Ismenias, imité du Grec par P. Fr. Godard de Beauchamps", Paris, 1729, 1743, 1797. Сличеніе трехъ имѣющихся въ Библ. Ак. Наукъ и Публ. Библ изданій 1743 (Б. А. II), 1782 (П. Б.) и пензи года (Paris, II. Б.) показало тожество текста; 47. греч. текстъ, op. cit., 161; 48. франц., op. cit., I; 49. русск., op. cit., 102; 50. греч., op. cit, 286; 51. франц., 96; 52. Отклоненія замѣчаются лишь въ мелочахъ: instant fatal (25) = пер. „плаченная минута" (27—28); Aurore (32) = „румяная заря" (35); tendre (31) = пер. „чувствительная"; Dieux (57) = пер. „провидящіе боги" (61); la nuit avance (58) = пер. „ночь углубляется" (63); Fortune! ce sont là tes jeux. (73) = пер. „Фортуна! такъ ли всегда играешь" (79) и нѣк. др. 53. См. выше, прим. 33; Hercher, 10; 54. лат., op. cit., 19—20; 55. франц., op. cit., 27; 56. русск., op. cit., I, 18—20; 57. греч., 11; 58. лат., 20—21; 59. франц., 28; 60. русск., I, 20; 61. греч., 11—12; 62. лат., 73—4; 63. франц., 86—7; 64. русск., I, 71; 65. Ibid.; 66. греч., 121; 67. лат., 116; 68. русск., I, 21; 69. греч., 124; 70. лат., 216—7; 71. русск. I, 212; 72. греч., Hercher, op. cit., I, 329; 73. франц.,

op. cit., 2; 74. русск., op. cit., 2; 75. греч., op. cit., 332; 76. франц., op. cit., 12—13; 77. русск., op. cit., 15; 78. греч., op. cit., 333; 79. франц., 16—17; 80. русск., op. cit., 19; 81. греч., 334; 82. франц., 21; 83. русск., 22; 84. греч., 335; 85. франц., 25—26; 86. русск., 27; 87. греч., 336; 88. франц., 27; 89. русск., 28; 90. греч., 337; 91. франц., 30; 92. русск., 33—1; 93. греч., 338; 94 франц., 36; 95. русск., 39; 96. греч., 310; 97. франц., 40; 98. русск. 43—4; 99. греч., 310; 100. франц., 43; 101. русск., 47; 102. греч., 315; 103. франц., 58—9; 104. русск., 66—7; 105. греч., 354; 106. франц., 91; 107. русск., 105; 108. греч., 360; 109. франц., 108; 110. русск., 129; 111. греч., 360; 112. франц., 110; 113. русск., 132; 114. греч., II, 3; 115. нѣм., I; 116. русск., I; 117. греч., 4; 118. нѣм., 2—3; 119. русск., 3—4, 120. греч., 4; 121. нѣм., 3; 122. русск., I; 123. греч., 6; 124. нѣм., 8; 125. русск., 9; 126. греч., 40; 127. нѣм., 61—2; 128. русск., 76; 129. греч., 41; 130. лат., 78; 131. русск., I, 78; 132. греч., 18; 133. лат., 16; 134. русск., 131; 135. греч., 5; 136. лат., 10; 137. русск., I, 6; 138. греч., 20; 139. лат., 36; 140. русск., I, 38; 141. греч., 81; 142. лат., 127; 143. русск., I, 110; 144. греч., 92; 145. лат., 160; 146. русск., I, 159; 147. греч., 121; 148. лат., 211; 149. русск., I, 208; 150. греч., 1; 151. лат., 7; 152. русск., 1; 153. греч., 39; 154. лат., 69; 155. русск., I, 70; 156. греч., 19; 157. лат., 35; 158. русск., I, 38; 159. греч., 25; 160. лат., 45; 161. русск., I, 48; 162. греч., 32; 163. лат., 57; 164. русск. I, 59; 165. греч., 117; 166. лат., 204; 167. русск., I, 201; 168. греч., 58; 169. лат., 103; 170. русск., I, 99; 171. греч., 61; 172. лат., 107; 173. русск., I, 104; 174. греч., 71; 175. лат., 124; 176. русск., I, 122; 177. греч., 93; 178. лат., 162; 179. русск., I, 160; 180. греч., 106; 181. лат., 185; 182. русск., I, 182; 183. греч., 107; 184. лат., 187; 185. русск., I, 186; 186. греч., 107; 187. лат., 186; 188. русск., I, 186—7; 189. греч., 53; 190. лат., 94; 191. русск., I, 92; 192. греч., 57; 193. лат., 100; 194. русск., I, 97; 195. греч., 126; 196. лат., 219; 197. русск., I, 212—3; 198 Г., I, 14: = лат. перев., 16. Обозначаю, для краткости, всѣ романы начальной буквой авторскихъ именъ: Г — Геліодоръ; К — Ксенофонтъ; Х — Харитонъ. 199. К., 129; франц., 108; 200. Х., 255; нѣм., 202; 201. Ibid., 258; нѣм., 205; 202. Г., 74—5; лат., 73; 203. Ibid., II, 139; лат., 401; 204. Ibid., 74; лат., 73; 205. Х., 100; нѣм., 80; 206. К., 5; франц., 15; 207. Г., 253; лат., 268; 208. Ibid., 74—5; лат., 60; 209. Г., I, 78; лат., 78; 210. Ibid., II, 246; лат., 533; 211. Х., 139; нѣм., 112; 212. К., 276; франц., 217; 213. Ibid., 33—4; франц., 30; 214. Х., 253; нѣм., 201; 215. Ibid., 61—62; нѣм., 50; 216. Ibid., 21; нѣм., 17; 217. Ibid., 170; 218. Ibid., 170; нѣм., 136; 219. К., 15; франц., 12; 220. К., 161; франц., 135; 221. Ibid., 41; франц., 41; 222. Х., 6; 223. Г., 52; лат., 48; 224. Напр., Х., 14; нѣм., 11—12, 70—57, 191—153; 225. Х., 89; франц., 78—9; 226. Г., 78; 227. Ibid., 21; 228. Ibid., 65; лат., 63—4; 229. Г., 68; лат., 67; 230. К., 14; франц., 12; 231. Г., 10; лат., 13; 232. Ibid., 97—8; лат., 100; 233. Х., 70; 234. Г., 38; лат., 36; 235. Ibid., лат. 36; 236. Х., 234; нѣм. 186; 237. Г., I, 126; лат., 127; 238. Г., 77; лат., 76; 239. Ibid., 179; лат., 181; 240. Г., 90; 241. Г., 151; 242. К., 13—14; франц., 10; 243. Г., 145; лат., 146; 244. Г., 145; лат., 146; 245. Х., 4; 246. Г., 103, 190, 85; Х., 124, 236, 244; К., 82; 247. Г. 190; лат., 191; 248. Х., 66; нѣм., 53; 249. К., 60; франц., 60; 250. Г., 16; лат., 12; 251. К., 142, 262; 252. Г., 66, 213; II, 5; 253. Х., 107; 254. Х., 86; 255. Х., 73; К., 23; 256. Г., 75—6, 101, 187, 48; II. 12; Х., 124, 108, 171, 25; К., 220—25; 257. К., 19—20; франц., 17; 258. Г., 212; лат., 216; 259. Г., 6—7; лат., 10; 260. Ibid., 101—2; лат., 105; 261. Г., II, 126; лат., 400; 262. Г., II, 92; лат., 361; 263. Х., 234—5; нѣм., 186; 264. Х., 90; нѣм., 71; 265. Х., 131—2; лат., 132; 266. 6; Г., лат., 10; 267. К., 10—11; франц., 6—7; 268. Г., 5; лат., 10; 269. Г., 138—9; лат., 110; 270. К., 30; франц., 29; 271. Г., 3; лат., 8; 272. Г., I. 239—10; 273. лат., 253; 274. К., 137; 275. франц., 114; 276. Г., 53; 277. лат., 50; 278. Г., 214; 279. лат., 259; 280. Г., 17; 281. лат., 18; 282. Х., 14; 283. нѣм., 36; 284. Ibid., 94; 285. нѣм., 75; 286. Ibid., 13; 287. нѣм., 10; 288. Г., 229; 289. лат., 229; 290. Г., 1; 291. лат., 7; 292. Г., 239; 293. лат., 252; 294. Г., II, 1; 295. 275; 296. Г., 208; 297. лат., 211; 298. Г., 80; 299. Ibid., 213; 300. Х., 81—2; 301. Г., 250; 302. Ibid., 172; лат., 175.

V.

Въ предыдущей главѣ мнѣ приходилось говорить, что романъ греческій „идеалистиченъ“ по *настроенію* [1], и, въ то же время, отмѣчать, что онъ „реалистиченъ“ по *манерѣ письма*, — не только потому, что въ изображеніи жизни онъ не выходитъ изъ рамокъ дѣйствительности [2], но и потому, что вѣрно и полно отражаетъ въ себѣ чувства и міросозерцанія людей своего времени [3]. Такимъ образомъ, произведеніе, разработанное въ „реалистическомъ“ духѣ, можетъ быть, въ то же время, „идеалистическимъ“ по настроенію, по замысламъ автора... И, наоборотъ, то произведеніе, которое людямъ позднѣйшей эпохи кажется „идеалистическимъ“— могло казаться его современникамъ вполнѣ „реалистическимъ“. Въ виду этого, я считалъ бы себя въ правѣ утверждать, что— 1) нѣтъ безусловно-идеалистическаго и безусловно-реалистическаго романа. Въ этомъ отношеніи я совершенно согласенъ съ Le Breton'омъ, который, критикуя книгу Koerting'а, разбившаго французскій романъ на двѣ группы: „идеальную“ и „реальную“ [4],—тоже высказался рѣшительно противъ такого дѣленія [5]. Отчасти это же подтверждаетъ и Brunetière, который, хотя и допускаетъ возможность такого дѣленія, но старается оба теченія не разъединить, какъ это сдѣлалъ Koerting, а, наоборотъ, сблизить: „Les deux courants, говоритъ онъ, existent, ont existé presque pendant toute la durée du XVII-e siècle, mais moins distincts ou plus mêlés, que ne le donnerait à croire la division de l'ouvrage de M. Körting“ [6].—2) Самыя понятія: „идеалистическій“ и „реалистическій“, по существу своему, слишкомъ субъективны, а потому требуютъ особой осторожности въ обращеніи съ ними. Лучше всего это доказывается усиліями Faguet опредѣлить сущность реализма въ литературѣ: „Le plus haut monde et le plus bas sont aussi réels, que le moyen, говоритъ онъ: je le sais sans doute, et il n'est pas mauvais de le répéter; et pourtant l'art

réaliste a deux écueils, dont le premier est de trop s'enfoncer dans la sentine humaine, et l'autre de vouloir peindre les sommets brillants... Or, l'art réaliste, comme tout autre, est un point de vue, et comme tout autre, découpe dans l'ensemble des choses la circonscription, qui lui est propre..."

„La verité des moeurs humaines, pour l'art réaliste ne pourra être que la *moyenne* des moeurs humaines, et son point de vue devra être pris à mi-côte. Pour le sens commun, qui se marque à l'usage courant de la langue, la réalité c'est ce qui frappe le plus souvent et comme assidûment nos regards. Un grand homme, comme Napoléon, est parfaitement réel; seulement il ne semble pas l'être... L'art réaliste, comme un autre art, et précisément parce qu'il est un art, aura donc ses limites en haut et en bas, et devra s'interdire la peinture des caractères trop particuliers soit par leur élévation, soit par leur bassesse, soit, simplement, par leur singularité... Pour être un bon réaliste, il ne faut pas seulement l'habitude et le goût des moeurs moyennes, il faut presque une moralité moyenne aussi, dans le sens exact de ce mot, et sans qu'on entende par là un commencement d'immoralité. Il faut n'avoir ni ce léger goût du vice, vrai ou affecté, dont nous avions l'occasion de parler plus haut, ni un trop grand mépris, ou du moins trop ardent, des bassesses et des vulgarités humaines..." [7]

Изъ этихъ словъ неизбѣжно слѣдуетъ заключеніе, что въ опредѣленіи степени реализма въ томъ или другомъ литературномъ явленіи неизбѣженъ субъективизмъ,—вѣдь тотъ „средній человѣкъ", который для Faguet долженъ служить мѣриломъ реализма—есть величина перемѣнная, зависящая отъ эпохи, отъ міровоззрѣнія индивидуума, отъ среды, изъ которой выходитъ критикъ.

Запутанность этого вопроса о реализмѣ въ литературѣ увеличивается еще, хотя-бы, тѣмъ своеобразнымъ взглядомъ на „реальное", который высказанъ въ одномъ изъ послѣднихъ опредѣленій сущности романическаго жанра. Morillot такъ опредѣляетъ романъ: „le caractère essentiel de toute oeuvre romanesque consiste dans la représentation, par le récit, d'aventures à la fois *irréelles* et vraisemblables" [8]. Такимъ образомъ, „ирреальность", по его мнѣнію, необходимое условіе всякаго романа, независимо отъ пріемовъ, которыми пользовался романистъ и независимо отъ цѣлей, которыя онъ преслѣдовалъ. Очевидно, рядомъ съ вышеприведеннымъ *литературнымъ* пониманіемъ реализма, какъ направленія, которое стремится своими пріемами достигнуть возможной близости къ дѣй-

ствительности, здѣсь понятіе „реальное“ употребляется въ *философскомъ* значеніи. „Il faut de l'irréel au roman, продолжаетъ онъ, car la réalité pure, celle des grands événements historiques ou bien celle des obscurs faits divers, si féconde qu'elle soit en complications et en intrigues, ne suffira jamais à opérer sur notre esprit le charme nécessaire. Pour qu'une oeuvre soit un roman, il est indispensable que les choses s'y passent autrement que dans la vie, que la vérité (si vérité il y a) s'y présente arrangée, y devienne plus belle ou plus laide, toujours plus saisissante. Il ne peut donc y avoir de roman strictement réaliste, puisque tout l'intérêt d'une oeuvre romanesque réside dans la comparaison d'un monde imaginaire avec le monde réel“.

„Cet irréel devra pourtant être vraisemblable: le roman, plus qu' aucun autre genre doit contenir une image de la vie humaine. Il faut que nous sentions que ces choses rêvées auraient pu, à la rigeur, se passer ainsi. Le merveilleux même, qui le plus souvent est une gêne pour un roman, ne s'y présentera à nous qu' avec un certain aspect de vraisemblance: il doit coopérer du moins à une vérité d'ensemble et donner satisfaction à quelque secret désir de notre raison. Les contes des fées sont pour les enfants des romans tout à fait vraisemblables, et voilà pourquoi les gens à barbe grise y prennent encore un plaisir extrême“ [9].

Ниже я вернусь еще къ этому опредѣленію „романа“,—теперь же обращаю вниманіе лишь на то, что Morillot остерегается опасныхъ терминовъ: „идеалистическій“ и „реалистическій“,— „нѣтъ романа, говоритъ онъ—„strictement realiste“, но нѣтъ и безусловно-идеалистическаго романа, такъ какъ всякій романъ долженъ быть „vraisemblable“.

Тѣмъ не менѣе, обоихъ этихъ терминовъ: „идеалистическій“ и „реалистическій“ не вычеркнешь изъ употребленія,—они даже необходимы, поскольку выражаютъ субъективное отношеніе критика къ тому или другому литературному явленію. Но ими нельзя пользоваться такъ свободно, какъ это сдѣлалъ Koerting въ своей книгѣ о французскомъ романѣ XVII в. Вотъ почему, не избѣгая этихъ терминовъ въ своей работѣ, я не рѣшаюсь ихъ выставить, какъ принципы классификаціи. Для этой цѣли нужно выбрать болѣе объективныя и устойчивыя основанія.

Исходя изъ русскаго романа XVIII-го вѣка и стараясь этотъ романъ объяснить изъ западно-европейскаго, я въ дальнѣйшемъ изложеніи устанавливаю на *другихъ основаніяхъ*, чѣмъ это сдѣлалъ Koerting, нѣсколько романическихъ *группъ*, которыя распа-

даются, въ свою очередь, на нѣсколько *типовъ*. Такъ какъ западно-европейскій романъ играетъ въ моей работѣ чисто-служебную роль по отношенію къ русскому, и, въ распредѣленіи этого европейскаго романа на группы, я исхожу только изъ русскаго матеріала, то на полноту моей классификаціи (относительно западнаго романа) отнюдь не претендую *).

Главными „группами" западноевропейскаго романа, находящимися наиболѣе яркое отраженіе въ русской литературѣ XVIII-го вѣка, считаю я три слѣдующія: *„псевдоклассическій"* романъ, *„волшебно-рыцарскій"* и *„психологическій-семейный"* („англійскій") романъ. *Первая группа* распадается на слѣдующіе „типы": 1) „героическій" романъ, 2) романъ типа „Телемакъ", 3) романъ типа „Жилблазъ", 4) романъ типа „Приключенія маркиза Г*." („Les mémoires d'un homme de qualité"). *Вторая группа* распадается на три типа: 1) „рыцарскій" романъ, 2) восточная сказка (типа „Сказокъ 1001 ночи") и 3) „сказка о феяхъ". Наконецъ, *третья группа* распадается, въ свою очередь, на три типа: 1) романъ въ духѣ произведеній Ричардсона, 2) типъ „Новой Элоизы", 3) типъ „Вертера".

Опредѣливъ въ дальнѣйшемъ изложеніи принципы этой классификаціи и характерныя черты всѣхъ этихъ разновидностей западно-европейскаго романа и найдя имъ соотвѣтствія въ русской литературѣ, я, тѣмъ самымъ, сдѣлаю характеристику русскаго *подражательнаго* романа. Тѣ русскія произведенія, которыя, по своимъ индивидуальнымъ чертамъ, не подойдутъ ни подъ одинъ изъ существующихъ „типовъ" западноевропейскаго романа,—тѣмъ самымъ дадутъ возможность утверждать, что у насъ, уже въ XVIII омъ вѣкѣ, зарождался *оригинальный* русскій романъ.

1.

Обращаясь, прежде всего, къ характеристикѣ *псевдоклассическаго* романа *героическаго* типа, я считаю необходимымъ выяснить вкратцѣ его исторію [10]. Историки французской литературы согласно признаютъ, что d'Urfé, съ его произведеніемъ: „Astrée", долженъ

---

*) Назвавъ свою книгу „*Очерки* русскаго романа", я, этимъ самымъ, оставилъ за собою право не брать и русскій романъ во всей его совокупности. Я, дѣйствительно, остановился только на главныхъ „типахъ", наиболѣе полно въ нашей литературѣ представленныхъ, оставивъ въ сторонѣ, напримѣръ, романъ „пастушескій" и „аллегорическій"...

считаться „отцомъ“ новаго романа [11]: въ его „Астреѣ“ впервые сложилась „форма“ этого жанра [12]; въ этомъ произведеніи „любви“ отведено то главное мѣсто, которое французскій романъ и сохранилъ за этимъ чувствомъ въ теченіе почти двухъ столѣтій [13]. Въ „Астреѣ“ поклонники Юрфэ находятъ слѣды реализма не только въ изображеніи людей той эпохи (индивидуализація типовъ и вѣрная дѣйствительности психологія) [14], но даже въ обрисовкѣ пейзажей [15]; въ герояхъ этого романа они отмѣчаютъ черты, родняцій его съ произведеніями, въ родѣ „Новой Элоизы“ и „Вертера“ [16]. Наконецъ, въ произведеніи Юрфэ находятъ они элементы не только героическаго, но и комическаго романа [17].

Многое характерное исчезло во французскомъ романѣ, когда— a) популярными сдѣлались занесенные изъ Испаніи „Амадисы“ [18], и—b) въ то же время возникъ интересъ къ греческимъ старымъ романамъ. Впрочемъ, новый романическій „типъ“, получившійся отъ скрещенія Амадисовъ съ греческимъ романемъ и сохранившій, въ то же время, нѣкоторыя черты „Астреи“, тоже былъ, по указанію историковъ, для своего времени, жанромъ жизненнымъ, такъ какъ вѣрно и полно выражалъ идеалы того высшаго общества, вліяніями котораго онъ питался [20].

Онъ именуется *героическимъ* потому, что дѣйствующія въ немъ лица,—по преимуществу, необыкновенные люди,—*герои*, превышающіе всѣхъ своими качествами, нравственными, физическими, даже генеалогическими. Называется этотъ романъ также *галантнымъ*, или *придворнымъ*, за то, что отражаетъ на себѣ французскую придворную жизнь XVII-го вѣка, съ ея своеобразными чертами—courtoisie, служеніемъ дамѣ, „галантностью“ и духомъ „chevaleresque“ въ обращеніи: герой *стараго* рыцарскаго романа, грубоватый феодалъ-рыцарь, искатель приключеній, превратился теперь, въ новомъ романѣ, въ изящнаго „кавалера“, съ изысканными манерами, вычурною рѣчью, съ тонкимъ знаніемъ приличій, умѣло маскирующимъ всѣ свои чувства этикетомъ французскаго двора...

Изъ крупныхъ романистовъ первый Гомбервиль началъ сочинять романы въ такомъ „новомъ вкусѣ“. Поклонники „Астреи“, осуждая его пристрастіе къ „Амадисамъ“ и греческому роману, видятъ въ его творчествѣ шагъ назадъ сравнительно съ успѣхами, достигнутыми дѣятельностью Юрфэ [21]. Впрочемъ, романы его: „Carithée“, „Polexandre“, „Cytherée“, „Le jeune Alcidiane“ не отличаются еще строгою выдержанностью и опредѣленностью. Это—только попытки создать новый романическій типъ [22].

Построеніе его романовъ, введеніе античныхъ, или quasi-античныхъ, именъ собственныхъ (имена героевъ, названія мѣстностей) и многія другія детали заимствованы изъ греческаго авантюрнаго романа, но надъ настроеніемъ его произведеній, даже надъ ихъ содержаніемъ, полную силу еще сохраняютъ романы въ духѣ „Амадисовъ". Въ сильной степени сохранились также слѣды вліянія Юрфэ. Изъ скрещенія всѣхъ этихъ разнохарактерныхъ воздѣйствій, а также подъ вліяніемъ идей и настроеній современной жизни и сложились характерныя черты его произведеній.

Герой ихъ—не легкомысленный, безумно-отважный Амадисъ, а безупречный, постоянный „кавалеръ"—образецъ для юношества XVII в.—„parfait Amant", „honneste homme [23]. Онъ всегда фигурируетъ на первомъ планѣ, — „толпа" въ романѣ отсутствуетъ: „воины", „разбойники", „слуги"—все это „статисты", „маріонетки", которыя личнаго участія въ развитіи дѣйствія не проявляютъ [24].

Содержаніе его романовъ очень разнообразно [25],—такъ, для перваго своего романа: „Carithée", онъ почерпнулъ тему изъ жизнеописаній Плутарха, развивъ исторію Германика и Агриппины. Второй его романъ, „Polexandre", представляетъ собой произведеніе, болѣе сложное по композиціи. Koerting отказывается даже передать содержаніе этого романа: дѣйствіе въ немъ запутано, безчисленные вставные эпизоды нарушаютъ единство содержанія; многіе герои носятъ одно и то же имя; другіе остались совсѣмъ безъ имени. Пираты и рабство, волшебные острова *), которыми владѣютъ очаровательныя принцессы, внушающія къ себѣ любовь героя; бури и кораблекрушенія **), доблестные герои, слава, о которыхъ идетъ по всему свѣту, являются въ роли защитниковъ невинности: они мстятъ злымъ, водворяютъ на землѣ порядокъ (ср. Амадисы), наказываютъ тѣхъ, кто имѣетъ неосторожность влюбляться въ ихъ „дамъ"; чудесный элементъ (лебедь показываетъ герою путь, оракулы, вѣщіе сны)—все это входитъ въ его романъ. Это произведеніе, по выраженію Koerting'a,—„Konglomerat von Reminiszencen" [26], навѣянныхъ знаніемъ романовъ

---

*) „Von der Existenz einer Zauberinsel, wie der „*Isle inaccessible*" Alcidiane's, scheint er sogar einigermassen überzeugt gewesen zu sein; er rechtfertigt im „*Aduertissement aux honnestes Gens*" seinen Glauben durch einen Beleg aus Diodorus Siculus (Bibl. hist. L. III, extr.) und durch das Zeugnis spanischer und italienischer Reiseschriftsteller" [27].

**) Впрочемъ, французскіе историки въ такой „авантюрности" видятъ одну изъ „необходимостей", опредѣляющихъ сущность романическаго жанра: „Récit d'aventures là est le point essentiel. Car il n'y a

греческихъ, рыцарскихъ (типа „Амадиса“) и даже волшебныхъ сказокъ.

Koerting отмѣчаетъ въ этомъ произведеніи одинъ эпизодъ („исторія Эолинды“), въ которомъ авторъ попытался, было, любовь и ненависть развить психологически, человѣческую волю поставить выше „судьбы“,—но эта попытка у него оказалась совершенно исключительной и не повторилась болѣе ни у Гомбервиля, ни у его ближайшихъ преемниковъ. „Судьба“-„fortune“ управляетъ жизнью его героевъ, нанизывая по прихоти всевозможныя „авантюры“ [29].

Изъ „Амадисовъ“ въ этотъ романъ взяты также похожденія рыцарей, борьба ихъ съ драконами, великанами, волшебниками, безчисленныя битвы на водѣ и на сушѣ. „Любовь“ и „рыцарская честь“ *) также взяты оттуда; вооруженіе героя—средневѣковое, рыцарское; на щитахъ у нихъ „девизы“. Географическія данныя въ романѣ почерпнуты изъ Діодора Сицилійскаго, также изъ описаній итальянскихъ и испанскихъ путешествій (эпоха великихъ открытій была богата фантастическими сочиненіями по географіи). Изъ греческихъ романовъ взято построеніе: вѣчное блужданіе героя по морямъ, запутанность тайнъ, тяготѣющихъ надъ его жизнью, разрѣшеніе этихъ тайнъ при помощи „узнанія“, обиліе „задерживающихъ моментовъ“, безличность героя. Кромѣ того, взяты нѣкоторые сюжеты: напр., черная мать родила бѣлое дитя и изъ страха передъ мужемъ скрыла ребенка.

Оракулы, кораблекрушенія, переодѣванья въ платье, чуждое полу, различные qui pro quo (герой едва не женится на родной сестрѣ), пираты, встрѣча съ матерью, которая считалась мертвой,

---

pas, quoi qu'on ait pu dire deux familles de romans,—les romans d'aventures et les autres: il n'y en a que d'une sorte. Qu'ils se décorent du nom d'idéalistes ou de realistes, ou de psychologiques, il leur faut à tous un fond d'aventures à parrer: aventures de coeur (comme dans *La Princesse de Clèves* ou dans *Adolphe*), aventures de voyages (comme dans *Polexandre* ou dans les *Natchez*), aventures de cape et d'epée (comme dans *les Trois Mousquetaires*),—avontures de toute espèce, qui peuvent d'ailleurs se mêler les unes aux autres, ou admettre des éléments étrangers“ [28].

*) Какъ ни сѣтуютъ французскіе историки на то, что вліяніе „Амадисовъ“ на Гомбервиля испортило французскій романъ, созданный Юрфэ, они признаютъ и большое значеніе за этимъ испанскимъ вліяніемъ: „la litterature française, et même la litterature européenne, en général, doivent deux choses à l'Espagne: le sens du „*chevaleresque*“ et celui du „*romanesque*“ [30].

„узнаніе“ въ критическій моментъ *) — вотъ, главныя перипетіи этого романа.

Вліяніемъ греческаго романа, „Амадисовъ“, а также, конечно, воздѣйствіемъ обихода жизни объясняется стиль романа „патетическій“, приподнятый, а потому расплывчатый и неясный. „Письма“ (tablettes), часто попадающіяся у Гомбервиля, рѣдки въ греческомъ романѣ, а „дневники“, тоже играющіе роль въ его романахъ, совсѣмъ до него неизвѣстны. Романистъ охотно развиваетъ въ своихъ произведеніяхъ темы изъ греческой миѳологіи,— такъ, въ первомъ его романѣ развитъ миѳъ о смерти Пана. Въ романѣ „Cytherée“ дѣятельное участіе принимаетъ Венера: подвластные ей „боги любви“ везутъ по морю раковину съ героиней, ея подругой и старымъ отцамъ; разгнѣванная богиня, въ наказаніе посылаетъ дракона на страну, и жители принуждены приносить ему человѣческія жертвы. Пріѣзжій герой освобождаетъ жителей отъ власти дракона, убивъ его.

Въ послѣднемъ произведеніи Гомбервиля развитъ миѳъ объ Эдипѣ; предсказано, что сынъ убьетъ отца. Родители стараются отдѣлаться отъ сына; рядъ приключеній этого злосчастнаго юноши составляетъ содержаніе романа.

Характерной особенностью произведеній Гомбервиля была ширина географическихъ предѣловъ (также пристрастіе его къ экзотикѣ), въ которыхъ развертывалось содержаніе его романовъ. Въ эпоху великихъ открытій эта особенность его произведеній естественно возбуждала интересъ къ его твореніямъ [31]. Попытка использовать для романа историческія темы тоже была счастли-

---

*) Любопытно одно заимствованіе изъ Св. Писанія: оракулъ предсказалъ, что у рабыни родится младенецъ, который со временемъ будетъ царемъ. Царь, узнавъ объ этомъ предсказаніи, приказалъ убить всѣхъ новорожденныхъ; хитрые родители спасли ребенка.

Изъ „общихъ мѣстъ“, которыя впослѣдствіи повторятся у русскихъ романистовъ, укажу еще, хотя бы, слѣдующія: сестра украдена пиратами; герой отправляется на поиски. Прежде, чѣмъ добиться любви принцессы, живущей на волшебномъ островѣ, надо въ теченіе года подвергаться испытаніямъ. Свекровь преслѣдуетъ невѣстку, возбуждая ревность сына. Царскій сынъ потерянъ, выросъ на чужбинѣ, влюбляется въ красавицу, которую преслѣдуетъ Тифонъ; онъ убиваетъ чудовище, готовъ жениться на красавицѣ, но она оказывается его сестрой. Въ честь погибшаго сына отецъ-царь воздвигаетъ храмъ; туда, подъ страхомъ смерти, входить запрещено; незнающіе этого запрещенія иностранцы платятся жизнью за свое невѣдѣніе. Мудрый

вой мыслью этого романиста *). Хотя ничѣмъ не ограниченная романизація исторіи не допускала даже искры исторической правды, тѣмъ не менѣе, уже одно введеніе историческихъ именъ въ романъ было все-же, для своего времени, нѣкоторымъ завоеваніемъ реализма.

Еще сильнѣе сказались эти реалистическія тенденціи въ попыткахъ Гомбервиля изобразить въ своихъ романахъ современныхъ ему дѣятелей подъ вымышленными именами („personnages déguisées") [32].

Наконецъ, любопытной чертой его произведеній были моральныя, даже религіозныя, тенденціи [33], быть можетъ, унаслѣдованныя Гомбервилемъ отъ его предшественника Камюса, пытавшагося романъ связать дидактизмомъ, подчинивъ его цѣлямъ религіознымъ [34].

Если Гомбервиль, какъ начинатель новаго романическаго типа, не успѣлъ еще выработать для него опредѣленной формы, находясь еще слишкомъ подъ впечатлѣніемъ отживавшихъ вліяній,— то другой романистъ, выступившій на литературное поприще позднѣе его—Кальпренедъ достигъ въ своихъ произведеніяхъ окончательной выработки совершеннаго типа „псевдоклассическаго романа".

Темы для своихъ произведеній онъ бралъ у историковъ: Плутарха, Кв. Курція, Юстина, Тацита, Светонія, Іосифа Флавія и др... Въ первомъ его романѣ: „Cassandre", разработанъ эпизодъ изъ отношеній Александра Македонскаго и Артаксеркса; во второмъ романѣ, „Cléopatre, la belle Égyptienne"—исторія дочери Юлія Цезаря и Клеопатры, Помпея, Марка Антонія (изъ Плутарха). Сюжетъ третьяго романа: „Faramond" — взятъ изъ исторіи франковъ.

Но всѣ эти историческія темы разработаны имъ свободно: Кальпренедъ сознательно „украшалъ" вымысломъ историческую дѣйствительность, хотя пытался дѣлать это осторожно [36].

Такое отношеніе къ исторіи—характерное явленіе. Кальпренедъ уважалъ историческую истину и думалъ о своихъ произ-

---

старецъ-отшельникъ приводитъ героя къ единобожію. Героя хотятъ принести въ жертву; героиня хочетъ собою замѣнить его; онъ не соглашается.

*) Впрочемъ, въ обоихъ этихъ отношеніяхъ онъ имѣлъ предшественниковъ въ лицѣ нѣкоторыхъ греческихъ романистовъ: у нихъ уже намѣчается эта страсть къ географической ширинѣ и къ исторической обстановкѣ дѣйствія романа (Харитонъ).

веденіяхъ совершенно искренне, что въ нихъ онъ къ этой истинѣ былъ близокъ, но, тѣмъ не менѣе, „avec la meilleure foi du monde il a prêté à ses Parthes, à ses Macédoniens, à ses Égyptiens et à ses Ostrogoths les idées et les sentiments des Français de 1645. S'il es a peints tels qu'il les a rêvés, non tels qu'ils étaient, du moins ne les a-t-il pas sciemment travestis, par pur jeu d'esprit, pour amuser la galerie“ [37]. Оттого онъ отъ чистаго сердца порицалъ „Амадисы“ (и произведенія Гомбервиля) за ихъ „неисторичность“,—въ нихъ не видѣлъ онъ „ny vraysemblance, ny clarté, ny chronologie“ [38]. Оттого свои романы онъ назвалъ „исторіями“ („Histoires“) и старался внести въ развитіе ихъ интриги разумность и цѣлесообразность.

Такимъ образомъ, продолжая завѣщанныя ему традиціи, усиливал въ романѣ элементы даже очень проблематической исторіи, Кальпренедъ, всетаки, благодаря этому, подошелъ еще ближе своихъ предшественниковъ къ изображенію дѣйствительности.

Въ этомъ отношеніи, заслуга его несомнѣнна: „ni La Calprenède, ni M-lle de Scuderi ne s'étaient tout à fait inutilement inspirés de l'histoire. Ils y avaient, comme on l'a vu, pris le goût de certains détails précis, dont le caractère d'authenticité sauvait à leurs yeux, ce qu'ils eussent eu, hors de l'histoire, de bas et de familier... On avait également contracté dans le commerce de l'histoire le goût du portrait et celui de la psychologie. „Il n'y a pas dans toute la *Clélie*, disait Boileau en parlant de Madeleine de Scudéri, un seul Romain ni une seule Romaine, qui ne soient pris sur le modèle de quelque bourgeois ou de quelque bourgeoise de son quartier“. Et ce que Boileau, pour beaucoup de raisons, croyait sans doute être „une critique“, M. Le Breton fait observer que ce serait plutôt une louange aujourd'hui [39].

Затѣмъ характерной чертой произведеній Кальпренеда была также возвышенность настроенія, ихъ проникающаго,—въ нихъ, по словамъ Morillot, „beaucoup de sérieux et de noblesse... Il a été candide, haut de beaux rêves, pétri de généreuses intentions“ [40]. Недаромъ историки французскаго романа сближаютъ его произведенія съ трагедіями Корнеля: „Le roman de La Calprenède, говоритъ тотъ же критикъ, aspire donc à être, comme le drame cornélien, une école de volonté et de grandeur d'âme [41]. Въ этомъ возвышенномъ настроеніи его романовъ—ихъ морализующее значеніе *). Сознаніе „долга“ (передъ родиной, или близкими

*) Вообще, не будучи моралистомъ по профессіи, онъ отъ право-

людьми) почти всегда одерживаетъ верхъ въ душѣ его героевъ надъ чувствами эгоистическими, даже надъ чувствомъ любви [43].

Внеся строгую теорію въ построеніе и развитіе романа, Кальпренедъ на время положилъ конецъ развитію пасторалей, аллегорическаго и волшебнаго романа. Если самъ онъ наличности этой „теоріи" въ своихъ произведеніяхъ, быть можетъ, еще не сознавалъ, то всетаки онъ, не формулируя, создалъ ее, сочинивъ свои романы „по правиламъ". Построеніе его романовъ очень искусно: вставные эпизоды распредѣлены умѣло, главная интрига ведется равномѣрно и разрѣшается ясно и опредѣленно. Словомъ, въ новый романъ имъ внесены тотъ „порядокъ", стройность и ясность, стремленіе къ которымъ характеризуетъ французскія литературныя теоріи XVII в. [44].

„Любовь" въ его произведеніяхъ занимаетъ центральное мѣсто; по бо́льшей части [45], она отличается строго-„преціознымъ", „галантнымъ" характеромъ, но, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, характеръ этотъ мѣняется въ зависимости отъ натуры героя, или героини [46]; въ изображеніи этого чувства, Кальпренедъ отходитъ далеко отъ авторовъ романа греческаго, которые, при всемъ идеализмѣ своихъ героевъ, не прочь были поскорѣй привести ихъ къ плотской развязкѣ; въ этомъ отношеніи, Кальпренедъ такъ же отошелъ и отъ романа рыцарскаго, гдѣ courtoisie и galanterie еле-еле прикрывали самыя животныя отношенія двухъ половъ,—герои Кальпренеда изъ сферы чисто-внѣшнихъ отношеній эти courtoisie и galanterie, вводитъ, въ отношенія внутреннія: все поведеніе его героевъ подчинено „приличіямъ",—обожая даму, герой Кальпренеда не дерзаетъ питать какихъ бы то ни было надеждъ, онъ не смѣетъ признаться своей дамѣ въ любви, не смѣетъ писать ей писемъ, не смѣетъ жаловаться на ея суровость... „Высшее счастье" для него—„разрѣшеніе поцѣловать руку дамы". Никогда влюбленные не остаются другъ съ другомъ наединѣ. Нерѣдко переписка начинается только тогда, когда есть уже взаимность и согласіе родителей. „Confidente"—всегда съ героиней, вмѣстѣ съ нею погибаетъ и вмѣстѣ спасается; у героя—таковъ же его вѣрный и неотступный „оруженосецъ". Изъ многочисленныхъ дѣйствующихъ лицъ у Кальпренеда герои встрѣчаются двухъ родовъ:

учительныхъ тенденцій былъ не прочь, что́ видно, хотя бы, изъ одной фразы его послѣсловія къ „Кассандрѣ", гдѣ онъ говоритъ, что исторію можно украшать вымыслами—„pour faire voir la punition du vice avec la recompense de la vertu" [42].

—a) великодушные, которые прощаютъ врагамъ [47], или спасаютъ ихъ изъ затруднительнаго положенія [48]; иногда своимъ безстрашіемъ обезоруживаютъ самыхъ ярыхъ своихъ противниковъ [49]; всѣ они—„héros amoureux“, „идеальные любовники“, „esclaves“ своихъ дамъ, вѣрные имъ до гроба, „почтительные“, скромные—и —b) типы, діаметрально имъ противоположные: насильники, угрозой, хитростью, или силой пытающіеся добиться удовлетворенія своей страсти.

Героини встрѣчаются трехъ родовъ: идеальныя героини, вѣрныя, скромныя до жеманности, всегда ясно сознающія свой долгъ по отношенію къ родителямъ, отечеству, возлюбленному, своему званію и мнѣнію свѣта. Полная противоположность имъ—героини страстныя, полныя коварства, стремящіяся путемъ клеветы и насилія къ обладанію героемъ; неудача, обыкновенно, ведетъ ихъ къ мести и злодѣянію. Это—избитый образъ жены Пентефрія въ библейской исторіи Іосифа (образъ, знакомый намъ также изъ греческаго романа). Такія героини не останавливаются передъ убійствомъ мужа [50], передъ интригами изъ мести [51]... Къ суровымъ женскимъ образамъ относятся и „дѣвицы“, выступающія въ роли рыцарей [52]. Наконецъ, изрѣдка мелькаетъ въ романахъ Кальпренеда живой образъ легкомысленной красавицы, которая легко мѣняетъ свои чувства [53].

На „любви“ построены всѣ немногочисленныя, но разнообразію, проявленія психической жизни героевъ. Ихъ свиданіе и разлука, постоянно смѣняющія другъ друга, доставляютъ автору возможность рисовать чисто-внѣшнія проявленія радости и горя нѣсколькихъ любящихъ сердецъ; такимъ образомъ, изображаемая имъ психическая жизнь есть, въ сущности, только вѣчная смѣна этихъ двухъ настроеній: спокойное состояніе героевъ души мало интересуетъ автора. Отъ любви зависятъ нѣкоторыя побочныя психическія настроенія: желаніе мести вслѣдствіе неудачной любви [54], проявленія ревности [55], хитрости [56]. На „любви“ построены и нѣкоторые психическіе конфликты, которые вносятъ драматизмъ въ утомительное однообразіе этихъ романовъ. Привожу, хотя бы, слѣдующіе: замужняя женщина, сознающая, что мужъ много вреда причинилъ ей, или ея родственникамъ, остается ему вѣрной [57]. Дѣвушка, всѣмъ сердцемъ преданная герою, отвергаетъ его, исполняя волю родителей,—или нашедшихъ ей другого жениха, или враждебныхъ къ національности ея возлюбленнаго [58]. Герой, или героиня, полюбившіе человѣка другой народности, враждебной ихъ отечеству, борются со своимъ чувствомъ впредь до устано-

вленія болѣе счастливыхъ отношеній двухъ народовъ. Цезарь соглашается отпустить на свободу героя, если любящая его и любимая имъ героиня согласится быть женою нелюбимаго ею человѣка,— въ противномъ случаѣ, герой будетъ казненъ [59]; герою приходится дѣлать выборъ—или быть зрителемъ убіенія его возлюбленной, или дѣлать уступки врагу [60]. Героиня, полюбивъ героя, однако, не можетъ простить ему зла, которое его родители причинили ея отцу, или родственникамъ [61]; ради защиты родины герой оставляетъ любимое существо [62]; героиню принуждаютъ къ браку противъ воли [63]; любовь ведетъ къ столкновенію двухъ героинь, влюбленныхъ въ одного героя [64],—къ столкновенію отца съ сыномъ: отецъ отказывается отъ сына, полюбившаго дѣвушку, принадлежащую враждебной народности [65],—отецъ сталкивается съ сыномъ на любовной почвѣ [66]; дружба оказывается сильнѣе любви [67]. Героиня хочетъ убить врага, умертвившаго ея жениха, но сама влюбляется въ него [68]; горе женщины при мысли, что она ошиблась въ чувствѣ [69]. Другъ обманутаго мужа долженъ былъ наказать его жену, но самъ влюбляется въ нее [70]; юноша, увлеченный любовью, оставляетъ отечество [71] и даже сражается противъ отца [72]; влюбившись въ сестру врага, герой отказывается идти въ бой [73]. Такимъ образомъ, любовь вызываетъ на состязаніе всѣ нравственныя „необходимости“ героевъ: сознаніе своего долга передъ родителями, передъ близкими, передъ друзьями и родиной. Если эта любовь и оказывается побѣдоносной, то это случается, обыкновенно, только съ второстепенными героями,— главный герой почти всегда остается въ этой борьбѣ стойкимъ.

„Похищеніе“ героини насильникомъ, „поиски“ ея и „освобожденіе“ ея идеальнымъ любовникомъ, „свиданія“ и „разлука“,— вотъ, къ чему сводится въ сущности, фабула романовъ; героиня переходитъ изъ рукъ въ руки, причемъ, или „неизвѣстный рыцарь, или самъ герой, освобождаютъ ее въ самый критическій моментъ [74], являясь, на помощь ей, какъ „deus ex machina“.

Влюбляются герои „сразу“, по первому взгляду, при чемъ этой внезапной страсти подвержены даже кровожадные разбойники (ср. романъ греческій). Подъ вліяніемъ внезапно-вспыхнувшаго чувства, ненависть можетъ превратиться въ нѣжную любовь,—порочный человѣкъ смягчается. Иногда, для возникновенія такой любви, достаточно увидѣть портретъ [75], даже услышать лестный отзывъ о героѣ, или героинѣ [76].

Чтобы достигнуть взаимности, герои и героини прибѣгаютъ къ помощи наперстницъ (confidentes), оруженосцевъ,

пользуются письмами, переодѣваньемъ въ платье не своего пола и пр. [77].

Войны, упорныя осады городовъ, кровопролитные приступы, подвиги, всевозможныя проявленія храбрости, поединки и турниры *), имѣютъ къ любви героя, или прямое отношеніе, когда они происходятъ, „pour les beaux yeux“ героини,—или косвенное,—когда они помогаютъ герою отличиться и потому сдѣлаться болѣе достойнымъ ея взаимности.

Такъ какъ дѣйствіе романовъ Кальпренеда относится ко временамъ очень далекимъ, классическимъ, или варварскимъ, то герои его, съ ихъ рыцарскимъ вооруженіемъ, „девизами“, ихъ „служеніемъ дамѣ“, являются анахронизмомъ. Такимъ же анахронизмомъ является рыцарски-галантный, „преціозный“ характеръ ихъ любви: холодность и равнодушіе дамы [78] не мѣшаетъ рыцарю временъ Александра Македонскаго, или эпохи переселенія народовъ, хотя бы, онъ былъ гуннъ [79], служить дамѣ, состоять при ней въ качествѣ „esclave“ [80] и гордиться этимъ почетнымъ званіемъ.

Окончательному счастью героя и героини, обыкновенно, мѣшаютъ различныя обстоятельства: это—„retardierende Momente“ греческаго романа. Они были тѣмъ искусственнымъ пріемомъ, который затягивалъ ходъ романа, отдаляя въ немъ нехитрую „завязку“ отъ скорой и простой „развязки“.

Такими „задерживающими“ обстоятельствами была, прежде всего, скромность, „pruderie“, героини, подчинившая все ея поведеніе „приличіямъ“ [81]. Кромѣ того, какъ было указано, и герой руководился въ жизни „приличіями“: онъ не дерзалъ питать, какія бы то ни было, надежды, не смѣлъ признаться въ любви, писать письма, жаловаться на суровость... Затѣмъ быстрому заключенію романа мѣшало неравенство соціальнаго положенія: герои—всѣ принцы и принцессы крови, хотя бы, гуннской, или скиѳской. Вотъ почему знаменитый полководецъ, но не царской крови, спасшій отечество, не смѣлъ разсчитывать на руку и сердце принцессы, хотя бы она его любила. Принцъ, влюбленный въ героиню, но не увѣренный въ царственности ея крови, преодолѣваетъ свою любовь до тѣхъ поръ, пока самъ король не сватается за нее,—это сватовство короля дѣлаетъ, въ глазахъ героя, возлюбленную достойной его руки. Кромѣ того, задерживаютъ „развязку“ также различныя „недоразумѣнія“, „qui pro quo“—пріемъ, особенно

*) Часто герой, послѣ этихъ кровавыхъ столкновеній, оказывается раненымъ, въ плѣну, въ заточеніи.

излюбленный Кальпренедомъ. „Недоразумѣнія“ эти строятся на „клеветѣ“ [82], которая на нѣкоторое время отдаляетъ героя и героиню другъ отъ друга,—на „ложныхъ извѣстіяхъ“ [83], на „письмахъ“ [84], безъ основанія „компрометирующихъ“ героя, или героиню,—на письмахъ и документахъ „подложныхъ“, или настоящихъ, но попавшихъ не къ тому лицу, къ которому они были адресованы [85] *).

Зависятъ „недоразумѣнія“ и отъ ошибокъ, происходящихъ вслѣдствіе того, что герои часто пользуются „вымышленными именами“, „чужой одеждой“ (между прочимъ, переодѣванье героя въ женское платье, героини—въ мужское), или „чужимъ вооруженіемъ“, съ чужими девизами; недоразумѣнія основываются также на „запутанности“ любовныхъ интригъ; на ошибочной увѣренности въ измѣнѣ любимаго существа, или даже смерти.

Къ „задерживающимъ обстоятельствамъ“ должны быть отнесены также и заимствованныя у грековъ „бури“, „кораблекрушенія“, „похищенія“ героевъ и героинь морскими разбойниками, „обмороки“ [87] и пр.

Наконецъ, еще одна причина, мѣшающая быстрому развитію романа, заключается въ томъ, что героиня, на первыхъ порахъ, обыкновенно, отвергаетъ любовь героя [88]. Герой, съ горя,—или прибѣгаетъ къ попыткѣ покончить съ собой при помощи самоубійства [89], кончающагося, впрочемъ, только попыткой [90],—или впадаетъ въ „болѣзнь“ [91]. Часто онъ прибѣгаетъ къ „жалобамъ вслухъ“ на свою участь [92], къ „блужданіямъ по всему свѣту“ безъ цѣли [93], къ „удаленію въ мѣста, уединенныя отъ людей“ [94]; героя отъ людей тянетъ къ природѣ [95], въ монастырь [96]; онъ блуждаетъ въ лѣсу [97]; „надписи“, имъ сдѣланныя на скалахъ и корѣ деревьевъ, свидѣтельствуютъ объ его любви [98]; иногда отвергнутый герой умираетъ съ горя [99], заболѣваетъ отъ гнѣва героини [100]. Герой (второстепенный) съ низкой душой, конечно, иначе реагируетъ на отказъ,—онъ старается отмстить за отвергнутую любовь [101].

Искусственно-запутанная интрига, обыкновенно, разрѣшается быстро и легко: „тайна“ имени, рожденія, происхожденія героя вдругъ раскрывается, благодаря тому пріему „узнанія“ [102], который широко практиковался въ греческомъ романѣ. Отчасти „узнанію“ помогаютъ взятыя оттуда-же „вѣщія сновидѣнія“ и „видѣнія“ [103], „предсказанія“ оракула [104] и пр.

---

*) Компрометирующее письмо иногда приносилось вѣтромъ [86]. Иногда компрометируетъ какая-нибудь вещь, (напр. шарфъ), случайно попавшая не въ тѣ руки, куда слѣдовало.

„Развязка“ романа приводитъ къ наказанію злодѣевъ и торжеству добродѣтельныхъ. Это торжество, обыкновенно, выражается въ свадьбахъ: романъ „Клеопатра“ кончается восемью свадьбами заразъ; „Фарамондъ“—двѣнадцатью.

„Построеніе“ этихъ романовъ Кальпренеда одинаково зависитъ отъ греческихъ и отъ рыцарскихъ. Впрочемъ, содержаніе въ нихъ, по своей запутанности и объему сложнѣе, чѣмъ въ греческихъ романахъ, — въ этомъ отношеніи, они ближе къ рыцарскимъ (типа „Амадисовъ“), но отсутствіе многихъ типичныхъ особенностей рыцарскаго романа (слабо выраженъ волшебный элементъ), а съ другой стороны, наличность элементовъ романа греческаго, (значительная роль, отведенная „судьбѣ“),—все это сближаетъ ихъ съ греческими. Самое содержаніе романа раскрывается тоже на „греческій ладъ“—при помощи „вставныхъ эпизодовъ“, разсказовъ, въ которыхъ герои, чаще всего, второстепенные.—особенно „наперстницы“ и „оруженосцы“,—разсказываютъ то, что происходитъ, такъ сказать, за „кулисами“, внѣ поля зрѣнія читателя,—пріемъ, тожественный съ тѣмъ, что употреблялся въ классической и псевдоклассической драмѣ. Надо сознаться, что такими „вставными эпизодами“ Кальпренедъ порой даже злоупотребляетъ [105 *]).

Романы Кальпренеда приближаются къ греческимъ еще въ томъ отношеніи, что въ нихъ авторъ сознательно и настойчиво старается ввести историческій элементъ; правда, образы историческихъ дѣятелей получаются въ его романахъ извращенные, благодаря неумѣренной идеализаціи; (напр., Александръ Македонскій [113], императоръ Августъ обратились въ галантныхъ кавалеровъ [114]),—но, тѣмъ не менѣе, эти историческія имена вносили съ собой въ романъ тѣ „событія“, которыя были съ ними связаны, что, какъ я уже говорилъ, является несомнѣннымъ завоеваніемъ реализма.

Отъ греческаго романа отошелъ Кальпренедъ въ томъ отношеніи, что расширилъ психологическія задачи: его герой—натура, болѣе сложная, чѣмъ герой романа греческаго, и чув-

---

*) Изъ „общихъ мѣстъ“, встрѣчающихся у Кальпренеда, укажу, хотя бы, слѣдующіе: рыцарь освобождаетъ даму, которая оказывается его сестрой [108]; любовники, питающіе другъ къ другу чистую возвышенную любовь, оказались братомъ и сестрой [109]; невѣдомый рыцарь оказался женщиной [110]; герой спасаетъ врага [111]; герой желаетъ отомстить врагу, преслѣдуетъ его и находитъ спящимъ [112]—отсюда борьба благородства и желанія мстить.

ства, имъ изображаемыя, тоже отличаются бо́льшею сложностью, чѣмъ это было въ греческомъ романѣ; самая задача романиста теперь усложняется,—онъ берется изображать „исторію чувства“, его „развитіе“: такъ, Кальпренедъ изображаетъ, напримѣръ, чувство, которое холодѣетъ, гаснетъ, потому что не встрѣчаетъ взаимности [115]—въ результатѣ, колебанія и сомнѣнія въ душѣ героя—та психическая неопредѣленность, которой не зналъ герой греческій... Изображаетъ Кальпренедъ также „борьбу въ душѣ“ героя, полюбившаго двухъ заразъ; онъ берется слѣдить за „переходами чувствъ“: изображаетъ „успокоеніе послѣ вспышки ревности [116]; переходъ отъ чувства жалости къ ярости и желанію мстить [117]; переходъ отъ гнѣва къ примиренію [118] и др.

Для изображенія всѣхъ этихъ психологическихъ тонкостей, авторъ пользуется примитивными средствами греческаго романа, —a) „монологами“, въ которыхъ самъ герой разсказываетъ о состояніи своей души,—b) повѣствованіями о героѣ, влагаемыми, обыкновенно, въ уста „оруженосца“, или „наперстницы“,— или, наконецъ,—c) своими собственными толкованіями.

„Историческіе“ романы Кальпренеда еще въ бо́льшей степени, чѣмъ произведенія Гомбервиля и греческихъ авторовъ отличаются широтой географической и этнографической: въ нихъ дѣйствіе разбрасывается во всѣ края Европы, Африки и Азіи; на сценѣ появляются самые разнообразные народы *).

Отъ романа типа Амадисовъ заимствованы рыцарскія черты героя—доблесть его души, идеализмъ сердца, стремленіе къ авантюрамъ, ради помощи страдающимъ. Сраженія, турниры, вооруженіе героевъ,—все это введено тоже подъ несомнѣннымъ воздѣйствіемъ романа рыцарскаго,—греческій не знаетъ такихъ картинъ и описаній **).

Изъ романовъ Кальпренеда къ греческому, по композиціи, особенно близокъ „Клеопатра“,—бури, кораблекрушенія, нападенія морскихъ разбойниковъ въ этомъ произведеніи встрѣчаются особенно часто.

„Природа“ охотно изображается Кальпренедомъ, но, опять

---

*) Напр., въ „Фарамондѣ“—сведы, вандалы, готы, остготы, квады, персы, гунны и пр.

**) Изъ рыцарскаго романа взято, конечно, также участіе волшебницъ въ судьбѣ героя, заимствованы сраженія съ гигантами, съ чудовищами, чудесное лекарство, сразу залечивающее раны рыцаря и другіе эпизоды, носящіе въ себѣ элементы волшебства (напр., въ романѣ „Фарамондъ“).

таки во вкусѣ Версаля, его придворныхъ парковъ, съ правильными аллеями, водопадами, мраморными статуями, изображающими древнихъ боговъ, или олицетворенія различныхъ добродѣтелей. Такіе парки оказываются даже у тѣхъ варварскихъ народовъ, съ которыми имѣютъ дѣла герои Кальпренеда. Въ этихъ паркахъ по аллеямъ ходятъ дамы, которыхъ водятъ кавалеры, едва касаясь кончиковъ ихъ пальцевъ и обмѣниваясь съ ними вѣжливыми и нѣжными рѣчами [119]. Есть въ романахъ Кальпренеда и „personnages déguisées", предоставляющія собой довольно детальные портреты современниковъ.

Популярность произведеній Кальпренеда объясняется тѣмъ искусствомъ, которое онъ проявилъ въ разработкѣ стараго, давно извѣстнаго матеріала: онъ воскресилъ „типъ" классическаго романа, внеся въ него осколки рыцарскаго, поставивъ передъ собою болѣе сложныя задачи, наполнивъ старые образы новымъ содержаніемъ современности; въ результатѣ, онъ создалъ цѣлую школу подражателей во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Но никто изъ этихъ учениковъ его не сравнялся съ учителемъ ни своимъ талантомъ, ни своимъ искусствомъ,—оттого, попавъ въ ихъ руки, „героическій романъ", доведенный Кальпренедомъ до извѣстной высоты, сталъ быстро падать.

Чтобы дать болѣе ясное представленіе объ особенностяхъ его произведеній и о стилѣ ихъ, привожу нѣкоторыя характерныя цитаты изъ его романа: „Кассандра" [120].

Я говорилъ уже, что вопросъ о роли „судьбы" и „боговъ" въ жизни героя Кальпренедомъ такъ же мало выясненъ, какъ и романистами греческими. Вотъ, нѣсколько примѣровъ, подтверждающихъ мои слова —

То эта фортуна представлена въ видѣ суровой вершительницы жизни героя:

„C'est trop, ô, Fortune! s'écria-t-il, c'est trop, si tu me persécutois, comme Roy,—tu me deuois épargner, comme homme priué, et te contenter de la perte de mes Estats, sans me charger encore de celle de ma famille" [121]; „la grandeur de sa fortune ne luy en permettoit" [122]; „ie viuray de telle sorte, qu'vne fortune que ie n'ay iamais méritée, ne sera iamais soupçonnée" [123]; „son courage, comme vous le sçauez, a résisté aux plus rudes assauts de la fortune" [124].

„Si la fortune, qui se iouë de nos destinées, ne l'eût esleué à ce faiste de bon heur, pour le precipiter auec plus de violence dans l'abysme des malheurs" [125]. „La Fortune l'a mieux traitté" [126]; „i'ay veu plusieurs hommes vertueux, maltraitez de la fortune et abandonnez à toute sorte de disgraces" [127], „nostre fortune estat tellement enchaisnée" [128]; „le hasard ou le

destein amèneront en ces lieux..." [129]. „Courant à sa destinée" [130]; „nouuelle attaque de la fortune" [131]; „prompt changement de sa fortune" [132]; malgré la fortune" [133]; „la fortune, comme ie croy, conduit de la sorte pour me nuire" [134]; „voyant les dures afflictions, que les Dieux m'enuoyent" [135]; „voyant, quels ennemis la fortune me donne à combattre" [136]; „ils estoient compagnons de fortune" [137]; „tableau des inconstances de la Fortune" [138]; „fortune aussi mauuaise" [139].

— То въ этой же роли выступаютъ „боги":

„Volonté des Dieux" [140]. „Les Dieux, luy repliqua mon Prince, en ordonneront ce qu'il leur plaira" [141]. „Puis que les Dieux ne m'ont point fait assez de grâces pour estre de moy—mesme digne de vous seruir, ie reçoy, comme venant d'eux, la fortune, qu'ils m'envoyent" [142]. „Les Dieux leur enuoyerent" [143].

Оттого герои взываютъ то къ судьбѣ, то къ богамъ:

„Grands Dieux" [144]. „Grands Dieux" [145]. „Dininitez aueugles" [146] и др.

Въ обрисовкѣ души героевъ Кальпренедъ, въ сущности, не отошелъ отъ пріемовъ греческихъ романистовъ. Его идеальные герои – въ такой же мѣрѣ прекраснодушны, сентиментальны, плаксивы, экспансивны, впечатлительны и влюбчивы.

„Новое время" наложило свои печати развѣ на ихъ внѣшнія манеры,—воспитавъ ихъ въ умѣніи держать себя, въ умѣніи скрывать свои чувства „приличіемъ" и пр.

Вотъ, напримѣръ, характерное описаніе внѣшности и души героевъ:

„Vous sçauez desia quelque chose de sa valeur: sa beauté estoit merueilleuse, sa bonté alloit encore au delà, et dans toutes ses actions, il auoit vne grace si peu commune, qu'il estoit impossible de la connoître sans l'aymer" [147]. Другой герой—„miroir de vertu, de constance, et de générosité, persécuté du Ciel et de la fortune" [148].

Герой надѣленъ въ изобиліи „sentiment de vertu" [149], онъ—„amoureux de sa vertu" [150], „vainqueur généreux" [151]; онъ у всѣхъ вызываетъ „l'admiration de tant de vertus" [152]. Оттого всѣ въ восторгѣ отъ него, особенно дамы; благородство его вызываетъ восхищеніе дамъ и кавалеровъ, находящее себѣ выраженіе въ патетическихъ рѣчахъ. Напр.,—

— „les preuues, que vous en donnez et à nos despens, et à nostre auantage, nous donnent tant d'admiration pour vostre valeur, et tant de ressentiment pour vostre bonté, que nous sommes doublement vos prisonniers, vostre modestie vous empesche de nous donner ce tiltre" [153].

„Larmes, soupirs et sanglots", всюду сопровождаютъ этого образцоваго героя [154].

Мы постоянно видимъ его лицо, „tout mouillé de larmes [155], иногда и его самого—„tout noyé de larmes" [156].

„Il accompagna ce peu de paroles de tant de pleurs et de regrets si pitoyables, que toute autre ame, que celle de cét éstranger en eust esté touchée de compassion“ [157].

Экспансивность его тоже безгранична:

„L'estranger fut rauy de sa bonne mine, et quand il vid son visage de plus prés, il y remarqua des traits que ne luy estoient pas entierement inconnus, et oubliant toute sorte d'animosité, il l'embrassa auec beaucoup d'affection. „Genereux éstranger“ (luy dit l'autre en l'abordant), ou plutost le plus vertueux de tous les hommes“ [158].

Герой смотритъ на возлюбленную съ такимъ восторгомъ, что его раны открываются:

„ses playes se r'ouurirent et ses flammes en augmenterent de la moitié: Il la considere tout esperdu et si le son des trompettes ne l'eust retiré de sa profonde réverie, pour faire songer au dessein qui l'amenoit dans ceste place, il eust employé toute la iournée à ceste contemplation“ [159].

Они охотно бросаются въ объятья людямъ, которые сумѣли растревожить ихъ чувствительное сердце,—

„Artaxerxe, plus confus, qu' auparavant, luy ietta les bras au col“ [160].

Герои постоянно краснѣютъ и блѣднѣютъ [161], падаютъ въ обмороки отъ волненія [162].

„Apres s'estre assez tourmenté, sa foiblesse luy faisant donner quelque trêue à ses sallies et le voyant, les yeux levés vers le Ciel, soupirer et sangloter à tout moment, sans dire mot,—„Seigneur, luy dis-ie, ie ne veux pas vous obliger à receuoir cette affliction d'vn visage égal, mais en homme, qui est vn peu Maistre de ses passions. Je ne sçaurois condamner des pleurs si legitimes, mais aussi ie ne puis approuuer vostre desespoir: vos larmes tesmoignent que vous estés homme, et que comme tel vous ressentez les maux, dont le Ciel vous veut affliger“ [163].

Въ критическіе моменты, подобно героямъ греческимъ, они произносятъ патетическіе монологи, въ которыхъ передъ читателемъ раскрывается ихъ душа.

Привожу, для примѣра, нѣсколько отрывковъ изъ подобныхъ монологовъ.

„Oüy, belle Princesse, continuoit-il, leuant les yeux en haut et croisant ses mains sur son estomach, vous serez seruie selon vostre humeur, et vous n'aurez aucun besoin de l'assistance des vostre pour me punir de l'offense, que ie vous ai faite. Vous me déffendez la parole, continua-t-il, Vous me déffendez mèsme la pensée, vous me deurez donc auoir déffendu l'entrée de vostre tente à cette fatale nuit dans laquelle ie guarantis vous et les vostres de l'insolence des Scythes“ и т. д. [164].

„Mal heurex Oroondate, disoit-il, par quels moyens extraordinaires, les Dieux, ont-ils résolu, de te prendre et de quelle importance semble-t-il que ton malheur leur doit estre, puisqu'ils t'y acheminent par des voyes si peu

communes? N'estoit ce pas assez de te faire aymer auec tant de violence, sans te faire aymer auec tant d'impossibilité pour ton bon heur" и т. д.[165]?

Иногда разобраться въ психикѣ героевъ помогаетъ, или самъ авторъ, или дѣйствующія лица романа.

„Oroondate raisonnoit de cette sorte sur les trauerses qu'il préuoyait dans son affection, et ces considérations le trauailloient auec tant de violence, qu'vn courage moindre que le sien, y eût infailliblement succombé, mais comme il l'auoit inuincible et capable des plus grandes choses, il passoit au dessus de tous les empeschemens" [166].

„Et voulez-vous, que i'y mette la difference! Sachez, Seigneur, que parmy ceux, qui se meslent d'aymer, une partie ayme simplement pour l'amour du sujet aymé, et l'autre pour l'amour de soy-même" [167].

„et luy représenta le mal heur de sa condition présente en tant, et de si horribles formes, qu'il faillit à perdre la vie du seul de plaisir, qu'il eût destre obligé à la conseruer. Ce fut pour lors que tous les éuénemens de sa vie, et les plus agréables et les plus funestes reuinrent à sa mémoire et qu'il se vid cruellement attaqué et du souuenir des bon-heurs, qu'il auoit perdus, et du ressentiment des mal heurs, où il se voyoit enseuely" [168]. „Il se figure sa mort, mais vne mort veritable, vne mort sanglante et vne mort très cruelle" [169].

„C'est pour lors, qu'il se precipite dans la douleur, et qu' oubliant sa resolution de guerir, il iette des cris et s'abandonne aux sanglots, et nageant dans vn ruisseau de larmes qui coulent de ses yeux, comme deux sources eternelles" [170].

Такъ какъ герои всегда, по своимъ манерамъ,—„les plus galants" [171] изъ всѣхъ дѣйствующихъ въ романѣ, то „civilité" и „bonté" [172]—заставляютъ ихъ другъ другу постоянно говорить комплименты,—они побѣждаютъ другъ друга своимъ благородствомъ и послѣ жестокаго боя часто бросаются врагамъ на шею:

— „Genereux guerrier, luy dit-il, iusqu'icy, i'ay disputé ma vie et ma liberté; mais puis que ie ne sçaurois perdre ny l'vne, ny l'autre, pour vne plus vertueuse personne que vous, ie me rends vostre prisonnier, avec cette satisfaction de n'auoir cedé qu' au plus braue de tous les hommes" [173]. „Le Perse, confus et amoureux auec excès de la vertu d'Oroondate, l'embrassa pour vne deuxiesme fois auec toute sorte de tendresse et luy dit auec beaucoup d'affection" [174]. „luy iette encore les bras au col et se sépara de luy auec une douleur très sensible" [175]. „Plût au Ciel, repliqua l'éstranger auec vn grand souspir, que ie vous égalasse dans les bonnes qualitez, que vous possédez sans doute, comme en malheure ie deuance, et vous et tout le reste des hommes" [176].

Передъ дамами герои продѣлываютъ „vne profonde reuérence" [177] и говорятъ имъ жеманныя рѣчи: напр.:

„Ie iugeay bien, Madame, dés le glorieux moment, qui me donna à Vous, que quelque chose de diuin m'obligeoit à Vous reuerer d'vne façon toute extraordinaire, et ie reçoiy des preuues de cette diuinité dans ce

pouuoir absolu, que vous auez sur nos vies. Vous me l'ostastes par quelques mots, que ma temérité arracha iustement de vostre belle bouche, vous me l'auez redonnée par des paroles, que la compassion en fit sortir, et vous me la conseruez par une grâce, si peu méritée, que i'ay de la peine à me connoistre me voyant retiré d'vn abysme, de mal-heur, et éleué à vne gloire, qui doit estre enuiée des Dieux mesmes" [178].

Какъ чувство „любви"—такъ и чувство дружеской пріязни побѣждало чувствительное сердце героя сразу и навѣки.

„Il donna si absolument son cœur à mon Maistre, et mon Maistre s'engagea d'vne amitié si forte auec luy, que deux Amans ne s'attacherent iamais d'vne passion violente fût à la chasse, ou aux exercices, ou dans les visites des Dames" [179].

„Описанія" въ романахъ встрѣчаются довольно рѣдко; обстоятельнѣе всего описываются сраженія, турниры, напр.:

Описаніе боя:

— „leurs jauelots brisez en cent pieces sous les pieds de leurs cheuaux auoient fait places aux espées, dont ils se seruoient auec tant de rage et si peu de précaution, qu'il iugea bien-tost, que dans l'ame de ces deux guerriers, le dessein d'attaquer auoit esteint le soin de se défendre, qu' à chacun des deux, la perte de la vie de son ennemy estoit ou beaucoup plus chere, ou beaucoup plus importante, que la conseruation de la sienne" [180].

Описаніе внѣшности:

„Son visage estoit merueilleusement beau; mais au trauers d'vne beauté, qui n'auoit rien d'efféminé, on remarquoit quelque chose de si Martial, de si brillant et de si maiestueux, qu'il pouuoit imprimer dans toutes les ames l'amour, la crainte et le respect, tout ensemble; sa taille excédoit celle des plus grands hommes; mais la proportion en éstoit merueilleusement belle, et toutes les actions de son corps auoient vne grace et vne liberté, qui n'estoit pas commune; son âge paroissoit pour lors de vingt et six à vingt et sept ans. Le hâle et les fatigues d'vn long voyage auoient bien vn peu terny l'éclat de sa premiere beauté et la longueur et la negligence de ses cheueux témoignoient assez le peu de soin qu'il auoit pour se conseruer" [181].

Природа описывается очень бѣгло.

— „le soleil commençoit à se coucher" [182]; „le lendemain au leuer du Soleil" [183]. „Des que le iour parût" [184] и др.

Гораздо охотнѣе романистъ останавливается на описаніяхъ вооруженія, колесницъ, зданій.

Третьимъ крупнымъ романистомъ-псевдоклассикомъ была Скюдери. Ея произведенія, сходныя, по формѣ и содержанію, съ трудами ея предшественниковъ, во многихъ отношеніяхъ отличны отъ нихъ. Конечно, и въ ея романахъ „любовь" и всѣ ей сопут-

ствующія чувства и настроенія—главный объектъ наблюденій и описаній; она сама признаетъ, что „anatomie du coeur amoureux“ [185]—одна изъ главныхъ цѣлей ея творчества. Въ этой сознательности психологическихъ проблеммъ—большой шагъ впередъ [186] даже сравнительно съ Кальпренедомъ. Впрочемъ, приходится оговориться, что, если у Кальпренеда и не было еще этой сознательности, то всетаки его наблюденія надъ человѣческимъ сердцемъ и разнообразнѣе, и сложнѣе [187]. За то на сторонѣ Скюдери уже, несомнѣнно, бо́льшее умѣніе описывать нравы и обычаи современнаго ей общества [188], хотя бы подъ покровомъ сюжетовъ и именъ, взятыхъ изъ древней,—дѣйствительной, или вымышленной,—исторіи [189]. Она широко пользуется введеніемъ „personnages déguisées“,—пріемомъ, который завѣщанъ былъ ей ея предшественниками [190]. Повторяю, это сближеніе съ дѣйствительностью—цѣнная черта, указывающая, какъ реализмъ постепенно завоевывалъ романическую литературу, даже псевдоклассическую. Впрочемъ, описывая тонко и вѣрно, даже скажу—„реально“, чувства и настроенія своихъ современниковъ, г-жа Скюдери надѣляла этими чувствами героевъ древности и востока и, конечно, этимъ, еще болѣе Кальпренеда—извратила исторію [191], свободно обращаясь съ фактами [192].

Въ остальномъ техника и схема романа остались тѣ же [193]: та же искусственность и неправдоподобность завязки, „отвергнутая любовь“, тѣ же „недоразумѣнія“, основанныя на сходствѣ лицъ, или на ложныхъ слухахъ, или письмахъ, не въ тѣ руки попавшихъ,—„ошибки“, чуть-чуть не приводящія къ браку сына и матери, брата и сестры,—„запутанность родства“, мѣна именъ, переодѣванья, вымышленныя имена,—тѣ же „общія мѣста“, предсказанія и тайны, „похищенія“, розыски похищенной возлюбленной, „бури“ и кораблекрушенія, „нападенія разбойниковъ“, „рабство“, „обмороки“ и пр. Тѣ же добродѣтельные и безпримѣрно-храбрые и великодушные герои—(„entrepreneurs de grandes choses“) и, рядомъ съ ними, „порочные“, завистливые и мстительные—наконецъ, та же неизмѣнная развязка: свадьба добродѣтельныхъ героевъ, доказавшихъ свою доблесть и знатность—и „посрамленіе“ „порочныхъ“. И въ ея романахъ изъ за любви ведутся войны, разрушаются города, порабощаются народы, устраиваются заговоры, возстанія...

Въ характерѣ „любви“ герои Скюдери не ушли далеко отъ героевъ Кальпренеда,—у нихъ pruderie, приличія въ такой-же степени тяготѣютъ надъ этимъ чувствомъ, центральнымъ въ ихъ

жизни. Кромѣ того, и у нихъ сословное неравенство сдерживаетъ эту любовь.

Она раскрывается въ чувствительныхъ патетическихъ письмахъ; повѣренными героя являются его слуги, оруженосцы, наперстники,—у героинь, для сердечныхъ изліяній, имѣются наперстницы, „служанки".

Психологическій интересъ романовъ Скюдери сосредоточивается такъ же, какъ и у Кальпренеда, на анализѣ душевныхъ конфликтовъ; повторяю, въ этомъ отношеніи она бѣднѣе своего предшественника, (конфликтъ дружбы и любви, эгоизма и великодушія; желаніе убить соперника и сознаніе несправедливости затѣяннаго: вѣрность героини супругу, котораго она не любитъ; борьба чувства любви съ патріотизмомъ, съ дружбой и любовью къ брату, или родителямъ и пр.).

Изъ греческаго романа *) Скюдери позаимствовалась „построеніемъ", „схемой" (вводные эпизоды) и „общими мѣстами": „предсказаніями", „встрѣчами въ храмѣ", „сновидѣніями",—всѣми „задерживающими моментами" (бури, кораблекрушенія, рабство, бѣгство, свиданіе и разлука). Изъ рыцарскаго романа—(типъ „Амадисовъ")—турнирами, поединками съ соперниками въ любви, авантюрами, рыцарскимъ отношеніемъ къ дамѣ, случайностями, въ родѣ появленія „невѣдомаго рыцаря", въ моментъ критическій для дамы; вѣроятно, изъ рыцарскихъ романовъ попалъ въ ея произведенія и элементъ волшебства (волшебное кольцо Гигеса, дѣлающее невидимымъ).

Кромѣ того, несомнѣнно, отразили ея произведенія также вліянія Гомбервиля и Кальпренеда,—отъ нихъ, между прочимъ, она позаимствовалась географическими и историческими интересами [195], и преціозностью стиля [196].

Первый ея романъ: „Ibrahim, ou l'illustre Bassa" (1635) представляетъ собою исторію изъ временъ Юстиніана. Герой—великій визирь султана Сулимана II-го. Въ основѣ своей романъ этотъ есть развитіе библейской исторіи Іосифа. Во второмъ романѣ: „Artamène, ou le grand Cyrus" Скюдери использовала „Киропедію" Ксенофонта и исторію Геродота, и дала, въ результатѣ, десять томовъ романа, представляющихъ собою развитіе миѳа объ Эдипѣ, разсказовъ о „ребенкѣ", надъ которымъ тяготѣетъ предсказаніе, что онъ опасенъ для своихъ близкихъ.

---

*) Сама она признавала, что на ея творчество больше всего вліяли Геліодоръ и д'Юрфе [197].

Въ третьемъ романѣ: „Clèlie, ou l'histoire romaine", изображенъ эпизодъ изъ римской исторіи. Въ этомъ произведеніи Скюдери подходитъ къ исторіи ближе, чѣмъ Кальпренедъ; иногда даже, передъ могучимъ теченіемъ исторіи, ея герои, съ ихъ личными радостями и печалями, отходятъ на второй планъ [197].

Для характеристики ея литературныхъ пріемовъ привожу нѣкоторые характерные отрывки изъ романа: „Artamène ou le grand Cyrus" [198].

„Судьба", „боги" играютъ здѣсь ту же роль, что въ романѣ греческомъ и у Кальпренеда:

„la mauvaise Fortune" [199]; „la Fortune ne garde nulle mesure" [200]; „le Ciel qui veut tousiours que les crimes se descouurent, fit qu'ils en furent bien tost esclaircis" [201]; „la Fortune l'abandonnast pour vn moment" [202]; „tantost mal-traité de la Fortune et tantost fauorisé" [203]. „Les Mages connaissoient presque tout ce qui deuait aduenir" [204]; „les Dieux l'eussent absolument résolu" [205]; „la Fortune commenca de luy donner vn moy en de faire paroistre par des effets" [206]. „O Destins! rigoureux Destins! determinez vous sur ma Fortune: rendez moy absolument heureux, ou absolument misérable et ne me tenez pas tousiours entre la crainte et l'espérance" [207]; „longue obstination de la Fortune à vous persecuter" [208]; „murmurer contre la rigueur que ces mesmes Dieux avoient eue pour vne Princesse très-innocente" [209]; „la Fortune ne garde nulle mesure, ny en ses disgraces, ny en ses faveurs" [210]; „la Fortune te fauorise [211]; la Fortune t'ayde" [212]; „le Destin me seroit fauorable" [213]; „par vn miracle de la Fortune" [214]; „le Destin capricieux, qui règle mes auentures, le caprice de sa Fortune et de son malheur" [215]; „le caprice de ma fortune" [216]. „La justice diuine" [217].

Герои романа приблизительно таковы же, какъ и у Кальпренеда: они сентиментальны, не прочь часто проливать слезы и испускать вздохи; они въ такой мѣрѣ надѣлены высокими качествами души, что приводятъ въ благоговѣніе даже своихъ враговъ. Рѣчи ихъ отличаются такою же риторичностью и жеманностью...

Напримѣръ, коварный насильникъ, похититель принцессы, обращается къ идеальному герою, ея возлюбленному, явившемуся ее освобождать.—

„le regardant d'vne façon très touchante et très pitoyable: „est-ce Vous, luy dit-il, qui par l'affection d'vne grande Princesse, estiez le plus heureux de tous les hommes, et que i'ay rendu le plus infortuné par sa perte?"—„Est ce toy, (luy respondit Artamène, outré de douleur) qui par ton iniustice as desolé toute la Terre, en la priuant de ce qu'elle auoit de plus beau et de plus illustre?"—„C'est moy" (luy repliqua cet infortuné, les yeux tout couuerts de larmes, „qui suis ce criminel, que vous dites!" [218].

Другой примѣръ, —

„si ma Princesse regardoit, ce que ie fais pour la sauuer, ie serois

bien moins malheureux et si i'estois asseuré, qu'elle vist ma mort ou ma victoire, ie n'aurois presque rien à désirer" [219].

Подмѣтивъ слабость своего героя—„много говорить",—Скюдери однажды бросаетъ такую фразу, указывающую на высшую степень отчаянія героя: съ горя онъ *сдѣлался молчаливымъ*.

Какъ образецъ стилистическихъ упражненій героевъ Скюдери, привожу, хотя бы, слѣдующіе примѣры:

Игра словъ:

„Il faut, mes Compagnons, il faut auiourd' huy faire ce, qui n'a peut estre iamais esté fait: il faut perdre nos Ennemis, et les sauuer; il faut les combattre d'vne main et les secourir de l'autre" [220].

Объясненіе въ любви:

„Comme fille d'vn grand Roy, ie vous pouuois aimer: mais comme Mandane, il faloit vous aimer sans le dire; il faloit souffrir sans se pleindre; il faloit vous adorer en mourant; et mourir sans oser vous parler d'amour" [221].

Обыкновенно, „психику" героевъ раскрываетъ самъ авторъ, просто разсказывая читателямъ, что́ происходитъ въ душѣ дѣйствующихъ лицъ. Напр.—

Герой растерянъ отъ грусти:

„De là, sans sçauoir precisément ce qu'il cherchoit, ny ce qu'il faisoit, il se mit à suiure le bord de la Mer: pendant cette promenade mélancolique..." [222].

Герой ищетъ тѣло героини:

„Il marchoit, en regardant le riuage: et s'imaginant que tout ce qu'il voyoit, estoit le Corps de sa chere Princesse, il y couroit auec vne precipitation extréme" [223].

— ...„il fut encore quelque temps en cette cruelle irrésolution. Il vouloit interroger Mazare; il vouloit pleindre sa Princesse; il vouloit accuser les Dieux; il vouloit tuer son Rival; il se vouloit tuer luy - mesme, et ses pleurs et ses plaintes voulant et ne pouuant sortir tout-à-la fois..". [224]

Разстройство героя, его волненія, печали—изображаются въ такихъ выраженіяхъ:

„...il tourna ses yeux vers le Ciel, et sans pouuoir ny parler, ny marcher, il sembloit demander à toutes ces choses, si ce qu'il voyoit, estoit effectif, ou si ce n'estoit point vne illusion" [225].

„Il n'estoit iamais vn instant bien d'accord auec luy-mesme" [226].

— „En disant cela, il sembloit auoir toutes les marques d'vn prochain desespoir sur le visage: sa voix auoit quelque chose de triste et de funeste: et toutes ses actions tesmoignoient assez qu'il se preparoit à mourir" [227].

— „...et venant à penser, que peut-estre sa Princesse estoit enfermée en ce lieu-là, il changeoit de sentimens tout d'vn coup; et ces mesmes Troupes, qui estoient venuës pour détruire cette ville eurent commandement d'aider à en esteindre le feu" [228].

Длинные патетическіе монологи, или обращенные къ какому-нибудь дѣйствующему лицу, или произносимые въ совершенномъ одиночествѣ („мысли вслухъ")—также служатъ автору пріемомъ раскрыть душу героевъ.

„Mais helas, adorable Princesse! pourquoy faut-il que ie sois dans vostre prison: que vostre persecuteur soit icy et que vous n'y soyez pas? Je tiens vn Riual, que je ne puis punir; ie pers vne Maistresse, que ie ne puis sauuer; et sa beauté qui fait tout mon bon-heur, et toute sa gloire fait aussi toute mon infortune et tout son malheur; elle luy donne des Adorateurs; mais des Adorateurs sans respect, et en quelque lieu qu' elle aille, elle me donne des Riuaux et des Ennemis. Ha! beaux yeux! s'ecrioit-il, comment est-il possible, que vous inspiriez des sentimens si iniustes et si dereglez? Vous, dis-ie, qui n'auez iamais porté mon cœur, que de la crainte et de la veneration? Moy, qui n'ay presque iamais osé vous dire, que ie vous aymais; moy, qui ne vous ay regardez qu'en tremblant!.." 229.

— „Mais Ciel (adiointoit-il, tout d'vn coup), qui m'a dit que cette tempeste, qui s'est esleuée et qui dure encore, ne l'aura pas fait périr? et de quelles flatteuses pensées laissay-ie entretenir mon espoir dans l'incertitude où i'en suis?.." 230.

„Peut-estre (poursuiuoit-il, en luy-mesme) que ces flames, que ie voy, viennent d'achever de réduire en cendre mon adorable Mandane. Mais, que dis-ie: „peut-estre?.." Non, non, ne mettons point nostre malheur en doute, il est desia arrivé... — Mais icy, ie n'ay rien à faire, qu' à m'aller ietter dans ces mesmes flames, qui ont desia consumé ma Princesse!.." 231.

„Описаніями" г-жа Скюдери въ такой же мѣрѣ не щедра, какъ и Кальпренедъ. Отмѣчаю картину горящаго Синопа, какъ одну изъ лучшихъ въ романѣ „Artamène". Въ описаніяхъ „бури" Скюдери тоже не отходитъ отъ манеры греческихъ романистовъ: буря на морѣ въ ея произведеніяхъ начинается внезапно и такъ же внезапно кончается.

„Mais enfin ils virent, que tout d'vn coup la Mer changea de couleur, que ses vagues s'esleuerent, et que grossissant encore en vn moment, elles portoient tantost la Galère dans les Cieux, et tantost elles l'enfonçoient dans les abismes" 232.

„Cependant le Ciel s'estoit esclairci et depuis qu' Artamène estoit hors de la Ville, le vent s'estoit appaisé, et la Mer paroissoit aussi tranquille qu'elle aucit esté agitée: ses ondes ne faisoient plus que s'espancher lentement sur le riuage, et par vn mouuement reglé elles sembloient se remettre auec respect dans les bornes que la puissance Souueraine, qui les gouuerne, leur a prescrites" 233.

„Паѳоса" въ романѣ очень много: порой онъ прорывается даже въ видѣ восклицаній, идущихъ непосредственно отъ самого автора, взволнованнаго судьбою героевъ.

„Hélas! que ne dit point! et que ne pensa point ce malheureux Amant en cet endroit!.." 234.

Характерными чертами романовъ Скюдери надо признать: —а) нарушеніе въ нихъ тѣхъ правилъ композиціи, которыя опредѣлились въ романахъ Кальпренеда [235], — b) отклоненіе отъ аристократизма къ буржуазности въ изображеніи тѣхъ круговъ, съ которыми связана судьба ея героевъ (въ романѣ „Clélie“ [236]).

Въ двухъ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ: „Almahide ou l'esclave reine“ и „Mathilde“, Скюдери еще дальше вышла изъ тѣсныхъ рамокъ псевдоклассическаго романа, отказавшись отъ того шаблоннаго географическаго и историческаго фона, которымъ обычно пользовались романисты-псевдоклассики: мѣсто дѣйствія послѣднихъ ея романовъ связано съ Испаніей,—перваго—съ жизнью мавровъ,—второго—съ жизнью испанцевъ. Оба произведенія, очевидно, отразили на себѣ вліяніе испанской героической повѣсти. Это вліяніе сказалось, главнымъ образомъ, на сокращеніи размѣровъ романа [237], на введеніи историческихъ, или псевдоисторическихъ, именъ изъ новой исторіи и перенесеніи дѣйствія въ болѣе знакомые географическіе предѣлы Испаніи, Италіи и Франціи.

Впрочемъ, по характеру своему, оба эти произведенія Скюдери мало отличались отъ первыхъ ея сочиненій. По прежнему, „любовь“—основа этихъ романовъ; по прежнему, герой—прежде всего, галантный кавалеръ-рыцарь изъ высшаго свѣта. Стремленіе соединиться съ любимымъ существомъ—весь смыслъ его многотрудной жизни, обильной подвигами доблести, великодушія, самоотверженности; онъ—то соединяется съ дамой своего сердца, то разлучается; ему завидуютъ сильные соперники: князья, принцы, короли, влюбленные въ его даму; они посылаютъ его на войну, чтобы разлучить съ милой, даютъ ему трудныя, почти невозможныя порученія. Судьба посылаетъ ему бури, кораблекрушенія, морскихъ разбойниковъ, рабство, и все это, въ концѣ концовъ, разрѣшается заслуженнымъ счастьемъ. Надъ героемъ тяготѣютъ таинственныя предсказанія [238],—и они выполняются буквально,—никакія усилія людей не въ силахъ побороть воли судьбы. Поединки и турниры, въ которыхъ принимаютъ участіе таинственные, „невѣдомые рыцари“, войны, похищеніе дамъ и розыскиваніе похищенныхъ, письма и стихи, переодѣванія,—всѣ эти „общія мѣста“ повторяются и въ послѣднихъ романахъ Скюдери.

Второй романъ ея, „Mathilde“, любопытенъ яснымъ тяготѣніемъ автора къ реализму въ изображеніи жизни испанскаго двора: Скюдери рисуетъ бытъ, полный придворныхъ интригъ [239]; разсказываетъ о войнахъ съ маврами, о жизни паны въ Авиньонѣ, выводитъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ Петрарку съ Лаурой,

потомъ Боккаччіо. Мѣсто дѣйствія романа прикрѣплено къ опредѣленному мѣсту и времени. Это опять—новое завоеваніе реализма.

Къ испанской и итальянской героической повѣсти, а также къ послѣднимъ произведеніямъ Скюдери, тѣсно примыкаютъ входящіе теперь въ моду, на смѣну „героическому“ роману („roman de longue haleine“), такъ называемыя „galantes nouvelles“ [240],—произведенія, значительно уступающія старому героическому роману по своимъ размѣрамъ, прикрѣпленныя къ событіямъ новой западно-европейской жизни и опредѣленнымъ историческимъ именамъ: это—разсказы о любовныхъ похожденіяхъ различныхъ королей, французскихъ и иностранныхъ полководцевъ и другихъ замѣчательныхъ людей [241] *).

И въ этихъ произведеніяхъ, по прежнему, „любовь“ занимаетъ центральное мѣсто, но уже разсказъ о ней оживляется пикантностью „дѣйствительнаго“, якобы, не вымышленнаго факта: въ противоположность старому роману, это—„aventures *naturelles*“ [242], участники которыхъ, не прикрываясь уже именами героевъ древности, живутъ и дѣйствуютъ въ сферѣ *дѣйствительной* жизни,—они овладѣваютъ теперь симпатіями читателей и, мало-по-малу, вытѣсняютъ въ публикѣ интересы къ старому роману.

Waldberg въ своемъ изслѣдованіи о романѣ этой переходной поры [243] указываетъ, что дальнѣйшія видоизмѣненія въ жизни жанра произошли уже впослѣдствіи, подъ вліяніемъ новыхъ историческихъ обстоятельствъ: Фронда создала во Франціи буржуазію, которая сперва подчинилась, было, аристократическимъ вкусамъ, господствовавшимъ въ тогдашней французской литературѣ [244], но потомъ стала искать себѣ чтенія, болѣе удовлетворяющаго ея потребностямъ,—отсюда усиленіе реалистическихъ и демократическихъ тенденцій въ области романическаго творчества,—и, какъ результатъ этого,—развитіе комическаго, буржуазнаго „реалистическаго“ романа и высмѣиваніе стараго, „героическаго“ [245]. Стремленіе къ „bon sens“, исканіе „verité“, „nature“—наноситъ ему окончательный ударъ. Впрочемъ, какъ мы только что видѣли, рядомъ съ усиленіемъ и быстрымъ развитіемъ романа реалистическаго—старый героическій не совсѣмъ умираетъ,—онъ, подъ натискомъ

*) Сюда же примыкаютъ также *греческія* и *римскія повѣсти*, разсказы объ историческихъ лицахъ классической старины (полководцахъ, царяхъ, писателяхъ). Иногда дѣйствіе повѣсти связывается съ жизнью мосульманскаго міра, иногда совсѣмъ переносится на востокъ,—и получаются *повѣсти восточныя* (турецкія, персидскія, арабскія и др.).

времени, трансформуется въ любовную повѣсть, идеалистическую по настроенію, короткую по размѣрамъ, отличающуюся углубленіемъ психологіи, проясненіемъ реализма... Развитіе религіознаго мистицизма усилило въ этой новой повѣсти колоритъ „меланхоліи“ [247], болѣзненной одухотворенности. „La maladie est l'état naturel des Chrétiens [248] — это рѣшительное заявленіе, высказанное въ ту пору, опредѣляетъ черты новаго романическаго типа. Кромѣ того, мистицизмъ принесъ созерцательность, заставилъ писателей углубляться въ свою душу, интересоваться своимъ сердцемъ. На почвѣ этихъ интересовъ въ новомъ романѣ— a) расцвѣла та сентиментальность, которая, впрочемъ, уже начала опредѣляться еще въ старомъ героическомъ романѣ,—b) углубился психологическій анализъ,—c) возникъ интересъ къ индивидуальности героя,—d) перемѣстился интересъ отъ авантюръ—къ жизни человѣческой души,—къ сердечной борьбѣ; въ зависимости отъ этого измѣнилась и композиція романа,—e) самая борьба вышла изъ узкихъ предѣловъ любовныхъ страданій и захватила широкую область различныхъ нравственныхъ обязанностей.

Одно изъ видныхъ произведеній, начинающихъ собою эту новую эпоху въ исторіи французскаго романа—„Lettres portugaises“ [249] представляетъ собой рядъ трогательныхъ и страстныхъ писемъ юной монахини къ дорогому ей человѣку; въ этихъ письмахъ раскрывается страдающая женская душа, опредѣляются ея индивидуальныя черты... Въ старыхъ романахъ все, даже чувство, было стилизовано, все было покорено схемѣ [250],—здѣсь живое, горячее чувство вырывается на волю; и потому въ лицѣ героини изображенъ „новый типъ“, которому суждено развиваться въ послѣдующей романической литературѣ вплоть до нашихъ дней. Раньше, въ романахъ picaresco, въ фацеціяхъ и новеллахъ, образъ „влюбленной монахини“ всегда окрашивался мутными красками цинизма,—здѣсь впервые изображенъ образъ идеально-чистый [251]. Такимъ образомъ, реализмъ сдѣлалъ еще одно завоеваніе: въ дѣйствительной, будничной жизни онъ открылъ наличность „идеальнаго“,—нашелъ темы, достойныя поэтическаго вдохновенія.

Вмѣстѣ съ „новой жизнью“, въ область романической литературы вносится теперь и новый стиль [252]—простой, живой, разнообразный, отзывчивый на всевозможныя тревоги сердца, живущаго полной жизнью. Если морализующія тенденціи остались въ новомъ романѣ (даже, быть можетъ, усилились), то средства для достиженія этой цѣли авторами избираются теперь иныя,—они хотятъ *воспитывать* и *пересоздавать* человѣческое сердце примѣ-

рами чувствительности и высокой добродѣтели, не навязывая читателю отвлеченныхъ правилъ морали—„echauffer, non instruire“ [253].

Въ новыхъ романахъ измѣнился и типъ героя,—раньше главной героиней была всегда „дѣвица“, — теперь эта „первая роль“ часто переходитъ къ „замужней женщинѣ“ [254]; раньше любовь героя была „игрой“, — теперь она дѣлается „драмой“ [255]; создается новая форма „романа въ письмахъ“ [256] — форма, удобная для выраженія индивидуальности героя, или героини.

Одной изъ самыхъ характерныхъ писательницъ новаго направленія была г-жа Лафайетъ, которая, впрочемъ, еще довольно тѣсно примыкаетъ къ дѣятельности Скюдери *): исправивъ ея промахи и воспользовавшись ея достоинствами, г-жа Лафайетъ въ своихъ произведеніяхъ соединила знаніе души человѣческой съ вѣрнымъ пониманіемъ духа эпохи [257]. Вслѣдствіе этого, ея произведенія могутъ быть, по справедливости, названы первыми опытами новаго психологическаго романа.

Если у Кальпренеда я отмѣчалъ уже наличность несомнѣнныхъ интересовъ (быть можетъ, еще безсознательныхъ) къ сложнымъ душевнымъ конфликтамъ, которые порой разрѣшались у него далеко не шаблонно, то въ произведеніяхъ г-жи Лафайетъ такіе конфликты явились не вводными случайными эпизодами, какъ это было у ея предшественниковъ, а *основаніями*, на которыхъ строила она свои произведенія.

Такъ, въ „Зайдѣ“, первомъ произведеніи Лафайетъ, такимъ основаніемъ служитъ осмѣянная любовь и поруганная дружба съ одной стороны—и напрасная, неосновательная ревность, ведущая къ разнымъ бѣдамъ,—съ другой **). Во второмъ романѣ, „Принцесса Клевъ“, въ основаніи произведенія лежитъ конфликтъ между любовью и супружеской вѣрностью: героиню выдали замужъ противъ ея воли; она уважаетъ своего мужа, но съ ужасомъ сознаетъ, что въ ея сердцѣ зарождается любовь къ герою; мать, умирая, замѣчаетъ это незаконное чувство дочери и на смертномъ одрѣ умоляетъ ее остаться вѣрной женой. Подавленная властью новаго чувства, героиня теряетъ самообладаніе, и, полная страха за себя, открываетъ своему мужу о своемъ „преступномъ“ чувствѣ; тотъ съ горя умираетъ,—она уходитъ въ монастырь.

---

*) Она сохраняетъ аристократизмъ въ своихъ романахъ и авантюрность въ нѣкоторыхъ (напр., въ „Зайдѣ“).

**) Одинъ изъ героевъ убиваетъ мнимаго соперника и, въ порывѣ раскаянія, уходитъ въ пустыню, когда любящая его женщина, подавленная ужасомъ его преступленія, оставляетъ его ради монастыря.

Обстановка, въ которой развертывается дѣйствіе ея произведенія, совершенно иная, чѣмъ въ старомъ романѣ: наблюдается рѣшительное преобладаніе интересовъ внутреннихъ надъ внѣшними. Отсюда и новизна „развязки", ничего общаго не имѣющей съ „благополучными" развязками-„свадьбами" стараго романа; отсюда и краткость новаго романа, обратившая его въ простую „повѣсть-разсказъ": для читателя, не столько заинтересованнаго фабулой, сколько душевной борьбой героевъ, не было уже необходимости громоздить безъ счета „приключенія"—небольшой тонко-разработанный психологическій этюдъ, съ „концентраціей" сюжета, лучше отвѣчалъ этимъ, болѣе повышеннымъ, литературнымъ запросамъ.

Такимъ образомъ, въ романѣ Лафайетъ, мы видимъ, въ сущности, детальную разработку одного изъ тѣхъ многочисленныхъ эпизодовъ, которые и у предшествующихъ романистовъ иногда входили въ сложную и запутанную цѣпь авантюръ,—но у нихъ такіе эпизоды трактовались слегка и тонули въ массѣ другихъ,—Лафайетъ сосредоточила все свое вниманіе на *одномъ* такомъ случаѣ и высвѣтлила всѣ его затаенныя психологическія детали...

Въ ея романѣ „Princesse Clèves" изображенъ уголокъ придворной жизни, со всѣми его интригами, сплетнями. Въ этой атмосферѣ, насыщенной любовью, говорятъ только о любви, подсматриваютъ другъ за другомъ, перехватываютъ любовныя письма, хвастаютъ стилемъ любовныхъ писемъ, получаемыхъ отъ влюбленныхъ дамъ... „L'ambition et la galanterie étoient l'âme de cette cour et occupoient également les hommes et les femmes" [258].

Но героиня романа вооружена добродѣтелью до такой степени хорошо, что въ этой атмосферѣ „адюльтера" успѣшно борется съ собой и побѣждаетъ стремленія сердца, повинуясь долгу супруги.

Ея психологіей и занимается г-жа Лафайетъ. Внимательно всматриваясь въ ея душу, писательница ловитъ всѣ тончайшіе, почти неуловимые переливы ея настроеній. То она, устами своего супруга, рисуетъ намъ тѣ чувства, которыя питаетъ героиня къ нему.

„Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne peut me satisfaire; vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin" [259].

— то она разсказываетъ намъ, какую сумятицу чувствъ, самыхъ неожиданныхъ, возмутила въ душѣ героиня ея любовь: она упрекаетъ себя за вспышку чувствительности, она боится новаго чувства и... рада пробужденію этого чувства:

„Quand elle pensoit, qu'elle s'étoit reprochée comme un crime le jour précédent de lui, avoir donné des marques de sensibilité que la seule compassion pouvoit avoir fait naître, et que par son aigreur elle lui avoit fait paroître des sentimens de jalousie qui étoient des preuves certaines de passion; elle ne se reconnoissoit plus elle-même, quand elle pensoit encore que monsieur de Nemours voyoit bien qu'elle connoissoit son amour; qu'il voyoit bien aussi que malgré cette connoissance elle ne l'en

traitoit pas plus mal en présence même de son mari, qu'au contraire, elle ne l'avoit jamais regardé si favorablement" [260].

Состояніе души героини открываетъ г-жа Лафайетъ также въ вопросахъ мужа, мучимаго ревностью.

„Pourquoi ne vous est-il comme un autre? Pourquoi faut-il que vous craigniez sa vue? Pourquoi lui laissez-vous voir que vous la craignez? Pourquoi lui faites-vous connoitre que vous vous servez du pouvoir que sa passion vous donne sur lui? Oseriez vous refuser de le voir, si vous ne saviez bien qu'il distingue vos rigeurs de l'incivilité?" [261].

Герои романа страдаютъ отъ наплыва самыхъ противорѣчивыхъ чувствъ.—

„Il lui sembloit qu'elle devoit y répondre et ne les pas souffrir. Il lui sembloit aussi qu'elle ne devoit pas les entendre, ni temoigner qu'elle les prit pour elle; elle croyoit devoir parler et croyoit ne devoir rien dire. Le discours de monsieur de Nemours lui plaisoit et l'offensoit presque également" [262].

„Il revint trouver monsieur de Nemours qui étoit si plein de joie, de tristesse, d'etonnement et d'admiration, enfin de tous les sentimens, que peut donner une passion, pleine de crainte et d'espérance, qu'il n'avoit pas l'usage de la raison" [263].

Тонко, въ психологическомъ отношеніи, очерченъ и герой романа— Немуръ, похитившій сердце героини. Въ немъ узнаемъ мы прообразъ ричардсоновскаго Ловеласа.

„Ce prince aimoit le commerce des femmes, même de celles dont il n'étoit pas amoureux" [264].

„Sa valeur étoit soutenue de toutes les autres grandes qualités: il avoit un esprit vaste et profond, une ame noble et élevée, et une égale capacité pour la guerre et pour les affaires" [265].

„Il étoit beau, de bonne mine, vaillant hardi, libéral: toutes ces bonnes qualités étoient vives et éclatantes, enfin il étoit seul digne d'être comparé au duc de Nemours" [266].

„Il avoit tant de douceur et tant de disposition à la galanterie, qu'il ne pouvoit refuser quelques soins à celles qui tâchoient de lui plaire,—ainsi il avoit plusieurs maitresses; mais il étoit difficile de deviner celle, qu'il aimoit véritablement" [267].

И вотъ, онъ однажды ночью подсмотрѣлъ, что̀ дѣлала его возлюбленная.

„Il vit qu'elle étoit seule; mais il la vit d'une si admirable beauté, qu' à peine fut-il maitre du transport que lui donna cette vue. Il faisoit chaud, et elle n'avoit rien sur la tête et sur sa gorge, que ses cheveux confusément rattachés. Elle étoit sur un lit de repos avec une table devant elle où il y avoit plusieurs corbéilles pleines de rubans; elle en choisit quelques uns, et monsieur de Nemours remarqua que c'étoit des mêmes couleurs, qu'il avoit portées au tournoi... Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grace et une douceur qui répandoient sur son visage les sentimens qu'elle avoit dans le coeur, elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table, vis-à-vis du tableau du siége de Metz, où étoit le portrait de monsieur de Nemours; elles s'assit, et se mit a regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner" [268].

Онъ хотѣлъ-было къ ней проникнуть въ комнату, но не рѣшился—

„Quand il voulut l'exécuter, quel trouble n'eut-il point! Quelle crainte de lui déplaire! Quelle peur de faire changer ce visage, où il y avoit tant de douceur, et de le voir devenir plein de sévérité et de colère!“ [269].

Такая тонкость и глубина психологическаго анализа была новостью во французскомъ романѣ. Оттого такимъ успѣхомъ и пользовались у современниковъ сочиненія г-жи Лафайетъ.

Но, во многихъ отношеніяхъ, они примыкаютъ еще къ литературнымъ пріемамъ стараго романа.

Если „fortune“ и не играетъ уже такой роли въ ея психологическихъ романахъ, какъ въ старыхъ авантюрныхъ, тѣмъ не менѣе, въ нѣсколькихъ мѣстахъ это понятіе фигурируетъ въ прежнемъ своемъ значеніи „вершительницы человѣческой жизни“. Синонимами „fortune“ въ произведеніяхъ Лафайетъ нарѣдка являются—„destinée“ и „hasard“.

„Il prit comme un présage, que la fortune destinoit monsieur de Nemours...“ [271]; „refuser ce que la fortune m'offroit...“ [272]; „quand votre bonne fortune, plutôt que votre bonne conduite, vous a ôté des engagemens où vous étiez..“ [273]. „La fortune favorisa son intention“ [274]. „destinée m'auroit conduit à aimer la plus estimable personne“ [275]. „Ma destinée n'a pas voulu, que j'aie pu profiter“ [276]. „Pourquoi la destinée nous separe-t-elle?“ [277]; „ce prince devoit espérer de sa destinée“ [278]; „le hasard ne peut l'avoir fait inventer“ [279]; „le hasard eût fait dire“ [280]; „le temps, le hasard, et l'inclination qu'elle avoit pour lui, pourroient faire en sa faveur“ [281]. „Il n'avoit plus rien à espérer du hasard“ [282]; „...entra, comme si le hasard l'eût conduit“ [283]; „aucun hasard n'est à craindre“ [284]; „le savoir par un effet du hasard“ [285]. „Le hasard vous a apprises“ [286] *).

Нерѣдко и „психика“ героевъ изображается у Лафайетъ „по старому“, когда самъ авторъ разсказывалъ о состояніи души героя.

„Il se trouva cent fois heureux et malheureux tout ensemble“ [287].

„Le prince de Cleves devint passionnement amoureux de mademoiselle de Chartres“ [288].

„Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise“ [289].

Описаній „природы“ у нея тоже нѣтъ: вотъ, какъ въ одномъ мѣстѣ романа кратко говорится о красотѣ парка.

„elle fut surprise de toutes les beautés qu'elle y trouva“ [290].

Стиль, которымъ пользуются въ своихъ объясненіяхъ дѣйствующія лица—или патетическій, или изысканно-галантный, въ родѣ слѣдующаго:

„La mort ou du moins un éloignement éternel m'ôteront d'un lieu où je ne puis plus vivre, puisque je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux, qui osent vous regarder, sont aussi malheureux que moi“ [291].

Романы Лафайетъ окружены цѣлымъ рядомъ аналогичныхъ произведеній „новаго типа“ [292]. Все это произведенія сравнительно небольшія по размѣрамъ, болѣе приближающіяся къ типу

*) Иногда у нея „fortune“ имѣетъ значеніе „удачи“, „счастья“, „положенія“, „состоянія“.

героическихъ „повѣстей“—(„galantes nouvelles“). Содержаніемъ ихъ, по прежнему, является любовь, и борьба героя, или героини за это чувство. Только теперь, какъ и у Лафайетъ въ ея романѣ „Princesse Clèves“, эта борьба менѣе нуждается въ помощи „авантюръ“, такъ какъ она сосредоточена въ сердцѣ героевъ и углублена интересами внутренняго характера (troubles intérieurs) [293]: оттого въ этихъ произведеніяхъ авантюры, мало-по-малу, отходятъ на второй планъ, сокращаются числомъ и не отвлекаютъ уже вниманія читателя отъ жизни сердца, — оттого въ нихъ эта жизнь теперь представлена глубже, разностороннѣе и индивидуальнѣе. Конечно, съ такимъ кореннымъ измѣненіемъ интересовъ романиста, естественно измѣнился и характеръ тѣхъ жизненныхъ „положеній“, которыя давали ему возможность представить сердечную борьбу героя достаточно „интересной“.

Какъ выше было указано, теперь героиней, является, чаще всего, „замужняя женщина“ [294], въ сердцѣ которой новая любовь борется съ чувствомъ долга и часто имъ побѣждается [295], — въ этой побѣдѣ и выражается „героизмъ“ новаго романа (action héroïque) [296]; впрочемъ, иногда героинѣ такая „незаконная любовь“ кажется „интереснѣе“ любви „законной“ [297].

Нерѣдко невѣрность мужу оказывается только моральная [298], какъ результатъ „foiblesse du coeur“ [299]... Часто мужъ, видя, что его жена любовь свою отдала другому, изъ великодушія отрекается отъ своихъ правъ на ея сердце [300].

Иногда сердечная борьба происходитъ не только съ чувствомъ долга, но и съ чувствомъ дружбы: героиня даритъ свою любовь мужу подруги [301],—съ чувствами родственными: происходитъ, напримѣръ, столкновеніе отца и сына на почвѣ любви къ одной женщинѣ [302],— иногда одна любовь сталкивается съ другой: герой любитъ двухъ женщинъ заразъ [303];—иногда это положеніе усложняется тѣмъ, что эти женщины—мать и дочь [304].

Женщина влюбляется въ женщину, которую она приняла, было, благодаря костюму за мужчину; сознаніе ошибки не освобождаетъ ея отъ любви [305]... Герою приходится бороться съ сословными предразсудками общества [306], съ волей родителей [307]...

„Отреченіе отъ любви“ во имя долга, во имя родственныхъ чувствъ, наконецъ, во имя самой любви [308]—общее мѣсто въ этихъ новыхъ романахъ.

Грѣхопаденіе, только физическое, съ сохраненіемъ чистоты духа [309], какъ фатальный результатъ стремленій физіологическаго характера („un vice de tempérament“ [310])—какъ проявленіе даже

психопатическихъ чертъ [311], — тоже иногда трактуется въ этихъ романахъ *). Такимъ образомъ, теперь сердце—не только „вождь“ героя, но порою его сумазбродный повелитель, „ирраціональное начало“ (désordres de l'amour [314], „caprices du coeur“ „bizarrerie de sentiments“ [315]),—таинственная, неясная, но роковая сила („je ne sçay quoi“ [316]), противъ которой иногда безсильны разсудокъ и воля человѣка.

И герои теперь иные: мужчина часто представленъ слабымъ, чувствительнымъ [317], — женщина—энергичной и сильной; героямъ [318] приходится жертвовать собой, прощать, отрекаться отъ любви и правъ своихъ на женское сердце... Въ роли героинь теперь появляется иногда живой образъ „обаятельной женщины“, въ которую всѣ влюбляются [319]; происхожденія героиня—часто буржуазнаго [320], но совсѣмъ не похожая на героинь picaresco. Иногда въ роли героинь фигурируетъ даже куртизанка [321], или монахиня... [322] Герои отличаются индивидуализмомъ [323] и обрисованы такъ всесторонне, что всѣ струны ихъ души постоянно находятся въ движеніи [324].

Задачи романиста теперь всецѣло-психологическія: „узнать сердце“ [325], — вотъ, его главная, если не единственная цѣль. Но достигнуть этой цѣли нелегко, такъ какъ и душевная борьба героевъ отличается запутанностью [326], и характеры у нихъ теперь болѣе сложные [327].

Къ тому-же и требованія романисту представлены теперь болѣе серьезныя: литература перестаетъ быть „игрой“ и дѣлается „школой жизни“. Исканіе правды и жизненности въ искусствѣ [328] приводитъ постепенно къ реализму **)—въ описаніяхъ быта, въ изображеніи деталей костюма [330], мимики [331],—въ „развязкѣ“, которая теперь рѣдко оканчивается свадьбой [333],—наконецъ, въ демократизаціи содержанія [332]... Въ романы проскальзываютъ теперь сознательныя попытки внести couleur local [334]; просыпается Naturgefühl [335], при чемъ характеръ пейзажей теряетъ прежній характеръ манерности и прилизанности.

Любовь теперь отличается драматизмомъ,—оттого и стиль новыхъ произведеній не похожъ на прежній: живой и простой, онъ порой принимаетъ тревожный характеръ страсти, отражаетъ горе, страданія и бурную радость...

---

*) Вводится также вліяніе музыки [312], наслѣдственности [313] на жизнь сердца.

**) Это выражается, напримѣръ, въ томъ, что героини теперь можетъ и не блистать красотою [329].

Всѣ эти видоизмѣненія, происшедшія съ старымъ героическимъ романомъ, до неузнаваемости передѣлали его характеръ: 1) изъ псевдоисторическаго онъ, мало по малу, приближается къ типу „англійскаго", „семейнаго": „das historische Beiwerk ist bis auf die üblichen inführenden Daten und gelegentlichen Bemerkungen völlig in den Hintergrund gedrängt, das Ganze erhällt trotz den bunten abenteuerlichen Vorgängen ganz den Character eines Familienromans, einer fast ausschliesslich aus dem Privatleben schöpfenden Erzählung". 2) Романисты подходятъ къ той жизненной правдѣ, которая находится между чрезмѣрной идеализаціей героическаго романа и чрезмѣрнымъ натурализмомъ комическаго, плутовскаго,—передъ нами въ этихъ новыхъ произведеніяхъ—„eine Galerie eigenartiger Menschen.., die weder den üblichen Idealbildern des Helden noch den karrikierten Bösewichtern des bisherigen erzählenden Literatur entsprechen, sondern in ihren Mischcharacter glaubhafte lebenswahre Individualitäten mit scharf umrissenen Physiognomien vorstellen, deren jeder sich frei von der Schablone romanhafter Lebensführung entfaltet. Liebenswürdige Menschen, die unter dem Zwange ihrer Erlebnisse auffahrend werden, weiche Frauenseelen, die trotz ihrer Güte dem Geliebten seine Untreue nicht vergeben können, Männer, die trotz starker, leidensschaftlicher Liebe für eine Frau sich von den Reizen einer anderen gelegentlich fesseln lassen, kurz, konkrete Menschen mit allen ihren wirklichen und scheinbaren Widesprüchen im Wollen, Empfinden und Handeln, alle die Abschweifungen und Abweichungen der Seele und der Triebe wie sie das Alltagsleben täglich zeigt, werden hier psychologisch und oft auch physiologisch begründet vor Augen geführt" [336].

Если мы припомнимъ приведенныя выше (стр. 281—282) слова Фагэ о сущности литературнаго реализма, мы признаемъ, что въ этой характеристикѣ французскаго психологическаго, семейнаго романа, развившагося изъ стараго героическаго, осуществлены всѣ черты реализма, какъ его понималъ Фагэ.

Ложноклассическій романъ, представленный такъ богато въ длинномъ рядѣ выдающихся произведеній, привелъ, въ концѣ концовъ, къ его *теоріи*. Появленіе „теоріи" всякаго литературнаго жанра есть показатель того, что жизнь этого жанра уже не развивается дальше, что онъ, изъ періода созиданія, перешелъ въ періодъ шаблоннаго повторенія выработанныхъ схемъ и пріемовъ. Въ это время жанръ особенно легко обнажаетъ всѣ свои характерныя

черты и особенности. Происходитъ это потому, что изъ рукъ созидателей-творцовъ, всегда, въ большей или меньшей степени, оригинальныхъ, онъ переходитъ въ руки многочисленныхъ подражателей, которые способны лишь повторять пріемы учителя, но которые, въ силу своей неоригинальности, безличности, сглаживаютъ все индивидуальное, своеобразное... Въ этотъ моментъ существованія жанръ особенно легко поддается теоретическимъ опредѣленіямъ и народированью. Такъ, „Донъ-Кихотъ“ Сервантеса появился, какъ разъ, въ тотъ моментъ существованія рыцарскаго романа, когда многочисленныя подражанія „Амадисамъ“ вполнѣ выяснили всѣ типичныя особенности этого жанра, когда поэмы-романы Боярдо, Аріосто и ихъ подражателей уже использовали всѣ эти особенности, порою тоже едва-ли не въ цѣляхъ легкаго народированья.

Рыцарскій романъ не удостоился „теоріи“; это произошло, быть можетъ, потому, что онъ не дожилъ до XVII в.,—эпохи французскаго литературнаго процвѣтанія, эпохи „теорій“ и „правилъ“. Хотя псевдоклассики вообще никогда не признали за „романомъ“ равныхъ правъ съ „драмой“ *) и „эпопеей“, и самъ законодатель французскаго Парнаса — Буало высмѣялъ романъ въ шуточномъ сочиненіи: „Les héros de roman“,—тѣмъ не менѣе, этотъ романическій типъ, доведенный Кальпренедомъ до совершенства, удостоился все же своей „теоріи“ въ извѣстномъ разсужденіи Huet [337].

Въ этомъ сочиненіи такъ опредѣляется „романъ“, написанный „по правиламъ“: онъ представляетъ собою—„des histoires feintes d'aventures amoureuses, écrites en prose avec art pour le plaisir et l'instruction des lecteurs“ [338]. По словамъ автора, въ это опредѣленіе терминъ „*des histoires feintes*“ введенъ для того, чтобы отличить романы отъ „des histoires véritables“—терминъ „*aventures amoureuses*“ введенъ потому, что „l'amour doit estre le principal sujet du Roman“ [339].

Затѣмъ Huet добавляетъ еще непремѣнныя требованія, чтобы романы писались прозой,—„pour estre conformes à l'usage de ce siècle“, чтобы они сочинялись „avec art et sous de certaines règles“,—„autrement“, говоритъ онъ, „ce sera un amas confus sans ordre et sans beauté“. Въ этихъ словахъ слышится осужденіе средневѣковаго рыцарскаго романа, только что отжившаго свое время. Далѣе Huet говоритъ о цѣляхъ романа: „la fin principale des Romans, ou du moins celle qui le doit estre, et que se doivent proposer ceux, qui les composent, est l'instruction des lecteurs, à qui il faut toûjours faire, voir

---

*) По мнѣнію историковъ такое пренебреженіе къ роману, имѣло ту хорошую сторону, что предоставило ему такую свободу развитія, какой не было у „высшихъ“ жанровъ псевдоклассицизма—„драмы“, „лирики“ и „эпопеи“.

la vertu couronnée et le vice puni" [310]. Онъ объясняетъ затѣмъ, какими средствами долженъ пользоваться писатель, чтобы свое правоученіе сдѣлать пріятнымъ и удобоваримымъ, „car comme l'esprit de l'homme est naturellement ennemi des enseignemens, et que son amour-propre le révolte contre les instructions, il le faut tromper, par l'appas du plaisir et adoucir la sévérité des préceptes par l'agrement des exemples et corriger ses défauts, en les condamnant dans un autre". Такой рецептъ, съ благими цѣлями „обмануть" читателя, очень характеренъ для ложноклассическаго романа: преднамѣренность, тенденціозность творчества существенно отличаетъ его отъ греческаго, въ которомъ правоучительность, хотя и была на лицо, то никогда не проводилась такъ энергично, съ такимъ ригоризмомъ. Для псевдоклассика-романиста „divertissement du lecteur, que le Romancier habile semble se proposer pour but, n'est qu'une fin subordonnée à la principale, qui est l'instruction de l'esprit et la correction des mœurs" [311].

Этими общими наставленіями ограничиваетъ Huet тѣ требованія, которыми, съ его точки зрѣнія, обусловливалась „правильность" романа; — „les Romans, говоритъ онъ, sont plus ou moins réguliers, selon qu'ils s'éloignent plus ou moins de cette définition et de cette fin". Такимъ образомъ, подобно всѣмъ теоретикамъ псевдоклассицизма, Huet стремится заключить литературный жанръ въ строго-опредѣленныя границы, очистивъ его отъ всѣхъ неопредѣленныхъ, переходящихъ, родственныхъ литературныхъ видовъ... Онъ рѣшительно отбрасываетъ „des Romans en vers" [312] на томъ шаткомъ основаніи, что „usage de ce siècle" требовало „романовъ въ прозѣ"; съ большею основательностью отдѣляетъ онъ отъ романа ложноклассическую поэму [313]. Отстаивая за романистомъ право именоваться поэтомъ *), наравнѣ съ творцомъ поэмы, онъ даетъ такія опредѣленія обоихъ родственныхъ жанровъ: „Pétrone dit, que les Poëmes doivent s'expliquer par de grands détours, par le ministère des Dieux, par des expressions libres et hardies de sorte qu'on les prenne plûtost pour des oracles, qui partent d'un esprit plein de fureur, que pour une narration exacte et fidèle: les Romans sont plus simples, moins élevez et moins figurez dans l'invention et dans l'expression. Les Poëmes ont plus du merveilleux; quoyque toûjours vraysemblables; les Romans ont plus du vraysemblable, quoyqu'ils ayent quelquefois du merveilleux. Les Poëmes sont plus réglez et plus chastiez dans l'ordonnance, et reçoivent moins de matière, d'évenemens et d'Episodes. Les Romans en reçoivent davantage, parce qu' estant moins élevez et moins figurez, ils ne tendent pas tant l'esprit, et le laissent en estat de se charger d'un plus grand nombre de différentes idées. Enfin les Poëmes ont pour sujet une action militaire, ou politique, et ne traittent l'amour, que par occasion; les Romans, au contraire, ont l'amour pour sujet principal, et ne traittent la politique et la guerre que par l'incident" [314].

---

*) „Suivant cette maxime d'Aristote, établie par Horace, Plutarque et Quintilien, que le poète est plus poète par les fictions, qu'il invente, que par les vers, qu'il compose, on puisse mettre les faiseurs de Romans au nombre des poètes".

Но сейчасъ же, послѣ этихъ словъ, Huet торопится сдѣлать оговорку: „Je parle des romans reguliers; car la pluspart des vieux Romans François. Italiens et Espagnols sont bien moins amoureux que militaires“ [345].

Такимъ образомъ, если теорія псевдоклассической „драмы“ имѣла въ виду внести порядокъ, правильность и правдоподобіе въ литературный жанръ*), который до того времени покрывалъ собой пеструю массу произведеній самыхъ разнообразныхъ, по конструкціи и содержанію, — отъ классической драмы до средневѣковой духовной драмы съ одной стороны — и до испанской и англійской драмы — съ другой, то въ одинаковомъ положеніи оказался и теоретикъ „романа“: въ его распоряженіи былъ такой же пестрый и разнородный матеріалъ, который, во всей своей массѣ, не поддавался ни систематизаціи, ни опредѣленію.

Прежде всего, Huet пытается романъ отдѣлить отъ „исторіи“: „la vraysemblance, qui ne se trouve pas toujours dans l'Histoire, est essentielle au Roman. De sorte que comme on peut appliquer aux Historiens ce que les Muses disent d'elles, mêmes dans Hesiode, quand elles se vantent de savoir dire la vérité; on peut appliquer aux Romanciers, ce qu'elles ajoustent, qu'elles savent aussi conter des mensonges semblables à la vérité“ [346].

Изъ понятія: „правильный романъ“ Huet исключаетъ историческія сочиненія, въ которыхъ много мѣста отведено вымыслу. „Telles sont celles d'Herodote, et de Cresias, la Navigation d'Hannon, la vie d'Appolonius, écrite par Philostrate, celles de ces saints personnages, desquelles Symeon le Metaphraste a obscourci la vérité, en la voulant embellir et plusieurs semblables. Ces ouvrayes sont véritables en gros et faux seulement dans quelques parties: les Romans, au contraire, sont veritables dans quelques parties et faux dans le gros. Les uns sont des veritez, meslées de quelques faussetez, — les autres sont des faussetez, meslées de quelques veritez. Je veux dire, que la vérité tient le dessus dans ces histoires, et que la fausseté prédomine tellement dans les Romans, qu'ils peuvent mesme estre entièrement faux, et en gros, et en détail“ [347].

Не включалъ онъ въ понятіе „романа“ — „de certaines Histoires, entierement controuvées et dans le tout et dans les parties, mais inventées seulement du défaut de la vérité. Telles sont les relations de ces origines imaginaires de la pluspart des nations et mesme des plus barbares. Telles sont encore ces „Histoires“, si grossierement supposées par le Moine Annius de Viterbe, qui ont mérité l'indignation ou le mépris de tous savants“ [348].

Покончивъ съ очисткой „романа“ отъ родственныхъ жанровъ, препятствующихъ ясности и стройности теоріи, Huet переходитъ къ выясненію отношеній, въ которыхъ находился псевдоклассическій романъ къ псевдоклассической драмѣ. Это сближеніе тѣмъ любопытнѣе, что оно даетъ возможность установить и взглядъ XVII-го вѣка на оба популярные жанра и на тѣ литературныя настроенія, вкусы, которые оказали вліяніе на оба современныхъ жанра.

---

*) Marius Sepet, „Le drame chrétien au moyen âge“, P. 1878, 14; Pétit de Julleville. „Les mystères“, t. I, 441. (Цит. изъ лекцій А. Н. Веселовскаго).

„Aristote enseigne, говоритъ Huet, que la Tragédie, dont l'argument est connu et pris dans l'histoire, est la plus parfaite, parce qu'elle est plus vraysemblable, que celle, dont l'argument est nouveau et entièrement controuvé, et néantmoins il ne condamne pas cette dernière. Sa raison est qu'encore que l'argument d'une Tragédie soit tiré de l'histoire, il est pourtant ignoré de la pluspart des spectateurs, et nouveau à leur égard, et que cependant il ne laisse pas de divertir tout le monde. Il faut dire la mesme chose des Romans avec cette distinction toutefois, que la fiction totale de l'argument est plus recevable dans les Romans, dont les acteurs sont de mediocre fortune, comme dans les Romans comiques, que dans les grands Romans, dont les Princes et les Conquérans sont les acteurs et dont les aventures sont illustres et mémorables, parce qu'il ne seroit pas vraysemblable, que de grands événemens fussent demeurés cachés au monde et négligez par Historiens".

Если во всемъ этомъ разсужденіи Huet удалось намѣтить существенныя черты *образцоваго* псевдоклассическаго романа, то отъ его взора ускользнули многія стороны романа, дѣйствительно существовавшаго въ то время,—онъ высказывалъ только теоретическія пожеланія и не судилъ того, что̀ находилось на лицо. Эту задачу взялъ на себя Буало, а также нѣкоторые пародисты.

Принципіальный врагъ „романа",—этого „незаконнаго" жанра, неизвѣстнаго античной древности, Буало не могъ отнестись къ нему безпристрастно. И вотъ, выступая на защиту классицизма, „извращеннаго", по его мнѣнію, въ романѣ XVII в., онъ обвинилъ нелюбимый имъ жанръ за то, за что̀, съ неменьшимъ правомъ, могъ бы онъ обвинить и современную ему французскую трагедію,—вѣдь герои древности въ такой же степени невѣрно понимались и драматургами!.. Тѣмъ своеобразнѣе звучатъ его сильныя и основательныя обвиненія, направленныя противъ романистовъ,—обвиненія въ манерности стиля, въ непониманіи старины, въ курьезномъ смѣшеніи современности съ обстановкой классической Еллады и Рима.

Его памфлетъ: „Les héros de Roman", изображаетъ положеніе дѣлъ въ Тартарѣ: герои романическіе, надѣленные звонкими историческими именами, являются въ адъ, но боги,—Плутонъ, Меркурій, Миносъ,—не узнаютъ въ нихъ своихъ старыхъ знакомцевъ,—имена героевъ богамъ знакомы, но рѣчи ихъ непонятны, а поступки вызываютъ изумленіе и смѣхъ.

Начинается произведеніе съ бесѣды Миноса и Плутона. Миносъ потѣшается надъ писателемъ-романистомъ: „bien qu'il n'ait dit que des sottises", говоритъ онъ, „il n'en a avancé pas une, qu'il n'ait appuyée de l'autorité de tous les Anciens". Плутонъ особенно пораженъ тѣмъ изломаннымъ, манернымъ стилемъ, который у тогдашнихъ людей „свѣта" считается показателемъ хорошаго тона.

„Il est vrai, говоритъ онъ, que les morts n'ont jamais été si sots,

qu' aujourd' hui. Il n'est pas venu ici depuis longtemps une Ombre, qui eût le sens commun; et sans parler des gens de Palais *), je ne vois rien de si impertinent que ceux, qu'ils nomment „Gens du Monde". Ils parlent tous un certain langage, qu'ils appellent „galanterie" **), и этотъ галантный стиль, по словамъ Плутона, распространился даже въ Елисейскихъ поляхъ,—„de sorte, que les Héros et surtout les Héroines, qui les habitent, sont aujourd'hui les plus sottes gens du monde, grâce à certains Auteurs, qui leur ont appris, dit-on, ce beau langage, et qui en ont fait des Amoureux transis".

Далѣе Плутонъ иронизируетъ надъ героями древности, измѣнившими въ угоду романистамъ, своей прежней величественной простотѣ.

„J'ai bien de la peine, dis-je, à m'imaginer que les Cyrus et les Alexandres soient devenus tout-à-coup, comme on me le veut faire entendre des Thyrsis et des Celadons".

Происходитъ комическій „смотръ" тѣмъ героямъ древности, которымъ посчастливилось попасть на страницы романовъ: „герои" являются разодѣтыми,—„en fort bon équipage, comme pour danser".

Сначала рѣчь идетъ о Кирѣ, героѣ романа Скюдери: „Artamène ou le grand Cyrus".

Diogène. Au moins ne l'allez pas appeler. „Cyrus!" *Pluton.* Pourquoi? *Diogène.* Ce n'est plus son nom! Il s'appelle maintenant „Artamène!" ***). *Pluton.* „Artamène"? Et où a-t-il pêché ce nom là! Je ne me souviens point de l'avoir jamais lu? *Diogène.* Je vois bien, que vous ne sçavez pas son histoire. *Pluton.* Qui-moi? Je sçais aussi bien mon Hérodote, qu'un autre ****). *Diogène.* Oui. Mais avec tout cela, diriez-vous bien, pourquoi Cyrus a tant conquis de Provinces, traversé l'Asie, la Médie, l'Hyrcanie, la Perse et ravagé enfin plus de la moitié du monde? *Pluton.* Belle demande! C'est que c'étoit un Prince ambitieux, qui vouloit que toute la Terre lui fut soumise! *Diogène.* Point du tout. C'est qu'il vouloit delivrer sa Princesse, qui avoit été enlevée. *Pluton.* Quelle Princesse? *Diogène.* Mandane. *Pluton.* Mandane? *Diogène.* Oui. Et sçavez-Vous, combien elle a été enlevee de fois? *Pluton.* Où veux-tu que je l'aille chercher? *Diogène.* Huit fois, *Minos.* Voilà une beauté, qui a passé par bien des mains. *Diogène.* Cela est vrai. Mais tous les Ravisseurs étoient les Scélérats les plus vertueux du monde. Assûrement ils n'on pas osé lui toucher *****).

Является Киръ.

Зная его военноначальническіе таланты, Плутонъ предлагаетъ ему

---

*) Указаніе на то, что всѣ герои романовъ высокаго происхожденія.

**) Указаніе на своеобразный манерный паѳосъ стиля.

***) Указаніе на то, что романисты мѣняли имена героевъ.

****) Намекъ на то, что романисты, какъ указывалъ и Huet, должны были дѣлать мотивы любви основой своихъ произведеній.

*****) Мѣткое указаніе на неправдоподобность того факта, что героиня сохраняетъ свою дѣвственность, несмотря на самыя критическія положенія, въ которыя она попадаетъ (захватъ разбойниками, рабство и даже принужденный бракъ).

командовать надъ своими войсками, такъ какъ въ аду начался мятежъ. Киръ молчитъ. Плутонъ удивленъ его молчаніемъ.

Наконецъ, Киръ, ничего и никого не замѣчая, погруженный въ свои любовныя мысли, со вздохомъ произноситъ: „Eh, divine princesse!"..

Pluton. Quoi? *Cyrus*—Ah! injuste Mandane! *Pluton.* Plait-il?

Не отвѣчая богу, Киръ, увлеченный своими мыслями, обращается къ оруженосцу Фероласу съ патетическимъ воззваніемъ, пародирующимъ монологи героя Скюдери: „Tu me flattes trop complaisant, Feraulas, es-tu si peu sage que de penser que Mandane, l'illustre Mandane, puisse jamais tourner les yeux sur l'infortuné Artamène? Aimons la toute fois! Mais aimerons nous une cruelle? Servirons nous une insensible? Adorerons nous une inexorable?.. Oui, Cyrus, il faut aimer une cruelle! oui, Artamène, il faut servir une insensible! Oui, fils de Cambyse, il faut adorer l'inexorable fille de Cyaxare!"...

Плутонъ прерываетъ этотъ монологъ восклицаніемъ: „il est fou!"... Діогенъ пронизируетъ надъ разочарованіемъ владыки подземнаго міра и совѣтуетъ разспросить оруженосца Фероласа, который все знаетъ о героѣ, такъ какъ ведетъ счетъ всѣмъ его дѣяніямъ, подвигамъ, даже словамъ, что сказаны имъ и его возлюбленною Манданою, и таскаетъ всѣ ихъ письма въ карманахъ *).

„Mais faites approcher son Ecuyer, Feraulas: il ne demande pas mieux que de vous la conter. Il sçait par coeur tout ce qui s'est passé dans l'esprit de son Maitre!"

Подъ конецъ этого страннаго свиданія съ Плутономъ великій Киръ не справился со своимъ страдающимъ сердцемъ и... расплакался, чѣмъ привелъ владыку ада уже въ совершенное недоумѣніе...

Потомъ появляется героиня того же романа,—Томирисъ, царица Массагетовъ, которая, по свидѣтельству историковъ, покончила дни Кира и его отсѣченную голову погрузила въ сосудъ съ человѣческою кровью, желая послѣ смерти напоить его тѣмъ, чего онъ такъ жаждалъ въ теченіе всей своей земной жизни. Плутонъ, при видѣ ея, оживляется,—онъ убѣжденъ, что *она* то ужъ плакать не станетъ. Между тѣмъ, царица чего-то ищетъ по всѣмъ угламъ. Плутонъ недоумѣваетъ. Томирисъ говоритъ стихами:

„*Que l'on cherche partout mes Tablettes perdues,*
„*Mais que sans les ouvrir, elles me soient rendues!*".

Удивленіе Плутона растетъ. Наконецъ, у него вырывается восклицаніе: „Je pense, qu'elle ne sera que chercher!" И онъ обращается къ царицѣ съ вопросомъ:

„Qu'y avoit-il donc de si précieux dans vos tablettes, grande Reine?"

„Un Madrigal, que j'y fait ce matin pour le charmant ennemi, que j'aime!"

Оказывается, Томирисъ влюбилась въ своего врага Кира.

---

*) Указаніе на пристрастіе романистовъ къ „вставнымъ эпизодамъ", къ „исторіямъ", въ которыхъ оруженосцы и confidentes разсказываютъ въ подробностяхъ жизнь главнаго героя, героини, или какихъ-нибудь героевъ второстепенныхъ.

Вдругъ слухъ Плутона поражается какими то дикими звуками, которые доносятся до него издалека,—онъ спрашиваетъ у окружающихъ:

„Mais quelle est cette voix robuste, que j'entends là-bas, qui fredonne un air?"

Оказывается, это—извѣстный Горацій Коклесъ, герой другого романа той же Скюдери: „Clélie". Онъ влюбленъ въ Клелію и густымъ басомъ реветъ нѣжную арію, радуясь, что эхо повторяетъ послѣднія слова его пѣсни *). Клелія появляется вслѣдъ за своимъ поклонникомъ и твердитъ только о „Royaume de Tendre" [251], объясняя всѣмъ „географію" этой страны. На смѣну этой парѣ является Фарамондъ, герой романа Кальпренеда. Онъ произноситъ длинный монологъ, жалуясь на судьбу. Онъ влюбился въ героиню, не видавъ ее,—по „разсказу" о ней, и знаетъ только имя ея.

F. Vous le sçavez bien, divine Rosemonde, que pour vous aimer je n'attendis pas, que j'eusse le bonheur de vous connoître et que c'est sur le seul récit de vos charmes, fait par un de mes rivaux, que je devins si ardemment épris de vous..." *Pl.* Il semble que celui-ci soit devenu amoureux avant de voir sa Maitresse. *D.* Assurément, il ne l'avoit point vue! *Pl.* Quoi? Il est devenu amoureux d'elle sur son portrait? *D.* Il n'avoit pas même vu son portrait!

Въ заключеніе всѣхъ этихъ встрѣчъ съ великими людьми, у которыхъ, кромѣ великаго имени, ничего не осталось прежняго,—неузнаваемъ сдѣлался ихъ языкъ, непонятно ихъ поведеніе,—Плутонъ обратился съ укоромъ къ Меркурію:

„...dites-moi, vous, qui êtes le Dieu de l'éloquence, comment vous avez souffert, qu'il se soit glissé dans l'un et dans l'autre Monde une si impertinente maniere de parler, que celle, qui règne aujourd' hui surtout en ces Livres, qu'on appelle „Romans" et comment vous avez permis que les plus grands Héros de l'Antiquité parlassent ce langage?"

Меркурій пытается увѣрить Плутона, что это—не настоящіе герои:

„Vous sortirez d'erreur, quand je vous dirai, que c'est une troupe de faquins ou plutôt de fantômes chimériques, qui n'étant que de fades copies de beaucoup de personnages modernes **) ont eu pourtant l'audace de prendre le nom des plus grands Héros de l'Antiquité, mais dont la vie a été fort courte, et qui errent maintenant sur les bords du Cocyte et Styx. Je m'étonne, que vous ayez été trompé. Ne voyez-vous pas, que ces gens-là, n'ont nul caractère de Héros? Tout ce qui les soutient aux yeux des hommes, c'est un certain oripeau et un faux clinquant de paroles, dont les ont habillés ceux, qui ont écrit leur vie!"

Такъ сурово оканчиваетъ свой судъ Буало: онъ удивительно мѣтко и остроумно указалъ всѣ слабыя стороны романа; но онъ

---

*) Стихи-„эхо" были и у насъ въ ходу въ XVIII столѣтіи, напр.: у Карамзина.

**) Указаніе на употребленный романистами-псевдоклассиками пріемъ изображать великихъ современниковъ (personnages déguisées), прикрывая ихъ именами героевъ древности, и дѣйствительные случаи изъ ихъ жизни сплетать съ массой вымысловъ.

неправъ былъ, не оцѣнивъ у всѣхъ этихъ романистовъ наличности психологическихъ интересовъ: скованные теоріей, обязанные сплетать развитіе романа только изъ любовныхъ нитей, они, все же, худо или хорошо, но сознательно, изображали интимную сторону человѣческой души, правда, съ исключительной точки зрѣнія—„любви“ и всѣхъ сопутствующихъ ей чувствъ.

Затѣмъ тотъ фактъ, что псевдоклассики-романисты вводили въ свои измышленія людей, дѣйствительно-существовавшихъ, хотя и прикрывали ихъ великими именами, взятыми изъ древней исторіи,—изображали чувства своего времени, хотя и навязывали ихъ чуждой эпохѣ,—свидѣтельствуетъ, тѣмъ не менѣе, о томъ, что они вступали уже на путь реализма.

Трактатъ Huet выясняетъ сущность „правильнаго“ героическаго романа,—того, который, въ лицѣ Кальпренеда, нашелъ себѣ лучшаго выразителя; сатира Буало осудила героическій романъ съ точки зрѣнія новыхъ реалистическихъ вкусовъ; произведенія Лафайетъ и другихъ подобныхъ ей писателей, выступившихъ со своимъ творчествомъ на закатѣ героическаго романа, опредѣляютъ уже ясно тѣ пути, куда направится эволюція этого романа, подчиняясь новымъ, наростающимъ потребностямъ (сокращеніе размѣровъ произведенія, отказъ отъ авантюрной, сложной и запутанной, композиціи, демократизація содержанія, тяготѣніе къ реализму).

Постараюсь же теперь опредѣлить типическія черты этого вида, какимъ онъ представляется во всемъ многообразіи своихъ разновидностей: параллель съ романомъ греческимъ и „Амадисами“ облегчитъ мнѣ эту характеристику.

1) Подобно греческимъ, эти французскіе романы, главнымъ образомъ, *эротическіе* *).

2) Впрочемъ, *характеръ любви* въ нихъ уже нѣсколько иной, чѣмъ въ романѣ греческомъ; хотя и тамъ были уже на лицо и сентиментальность, и манерность, и тамъ уже намѣчается легкій

*) „Keine Heldenthat ist denkbar die sie nicht eingegeben hätte. Rohheit und Bosheit wären nicht thätig, gäbe es nicht eine dazu austachelnde missverstandene oder enttäuschte Liebe. Die Kinder wachsen auf nur um sich, oft noch im zartesten Alter, in einander zu verlieben; die Erinnerung der Alten geht nur auf Liebesabenteuer zurück. Und doch ist diese Liebe, aller Ursprünglichkeit und Tiefe gänzlich bar wenig mehr, als ein Ding geselliger Unterhaltung; ein Thema, das der Verstand sinnreich variirt, ohne zu bedenken, dass er sich mit einer nicht ihm vorgelegten Frage „beschäftigt“ (Koerting) [353].

колоритъ „рыцарства“... Но что въ греческомъ романѣ было характерной деталью, то здѣсь дѣлается сущностью жанра.

3) Въ этомъ отношеніи, романъ французскій, въ равной мѣрѣ, отошелъ и отъ „Амадисовъ“.

Правда, уже въ „Амадисахъ“ любовь начала переходить въ „courtoisie“,—дѣлаться, сама по себѣ, „цѣлью“,—главнымъ центромъ романическаго произведенія,—но въ нихъ много оставалось еще слѣдовъ вліянія стариннаго рыцарскаго романа, когда любовь имѣла болѣе плотскій характеръ, и интересы читателей не порабощались только этой любовью, но отвлекались, почти въ равной мѣрѣ и рыцарскими подвигами.

Въ новомъ романѣ интересъ къ приключеніямъ (хотя уже не рыцарскаго характера), къ пестротѣ и сложности фабулы, остался такимъ же живымъ: изысканный стиль точно такъ же сохранилъ свое обаяніе. За то съ другими особенностями произошли измѣненія: „любовь“ въ XVII в. прикрылась приличіями высшаго общества и утратила свой чувственный характеръ.

Эта „галантная“ любовь, изъ стремленія быть приличной, подъ конецъ, перешла въ холодную „манерность“ *).

Оттого, вмѣсто пламенной страсти Амадисовъ и любовныхъ радостей, съ трудомъ достигаемыхъ—здѣсь ухаживаніе по „этикету“, длинные, придворные разговоры, почтительныя письма и витіеватыя признанія, иногда даже съ наклонностью къ морали **).

Любовь эта не подготовляется постепеннымъ ростомъ симпатіи и дружбы; раскрывается она при посредствѣ довѣренныхъ лицъ,—мамокъ, нянекъ, придворныхъ... Она вся построена на воздухѣ [355]; чувственность въ ней совершенно замаскирована идеализмомъ сердца ***).

4) Такимъ образомъ, весь интересъ этой любви сосредоточивается въ ея *психоміи*—съ момента зарожденія до разрѣшенія въ счастливомъ бракѣ. Чтобы освѣтить эту любовь съ различныхъ

---

*) Впослѣдствіи, въ романахъ Лафайетъ и другихъ подобныхъ ей писателей, „любовь“, которая раньше была только „игрой“, дѣлается болѣе живымъ чувствомъ—дѣлается „страстью“, источникомъ жизненнаго драматизма.

**) „L'amour, en effet, était banni de l'Hôtel de Rambouillet, говоритъ Cousin,—tous les contemporains sont unanimes sur ce point. Il y régnait seulement cette noble et gracieuse galanterie, qui sans rien coûter à la vertu, fait la douceur et le charme de la vie humaine. On y faisait la cour aux dames, mais cette cour à la fois enjouée et respectueuse“ [354].

***) Въ греческомъ романѣ маска сбрасывается легче, во французскомъ, въ этомъ отношеніи, лицемѣрія больше.

сторонъ, и нужны были всевозможныя „авантюры"... Чтобы задержать быстрое развитіе содержанія, надо было пользоваться, такъ называемыми, „задерживающими моментами" („retardierende Momente")[356]. Сама жизнь того времени, богатая авантюрами, подсказывала ихъ и, такимъ образомъ, этотъ литературный пріемъ не лишала жизненности.

5) Различныя недоразумѣнія—до „мнимой смерти" и „погребенія" включительно—клевета завидующихъ, или отвергнутыхъ, потеря компрометтирующихъ писемъ, подложныя письма, похищеніе разбойниками, ярость стихій, бури, кораблекрушенія, рабство, — вотъ, тѣ *общія мѣста*, которыя помогаютъ романисту развернуть постепенно, во всю ширь, сложную и пеструю психику человѣческой любви. Слезы, жалобы, монологи, обмороки, попытки самоубійства—вотъ, чѣмъ отвѣчаютъ герои на всякую случайность, отдаляющую развязку ихъ сердечной драмы[357].

6) Подобно греческому роману, и французскій, по характеру своему, долженъ быть отнесенъ къ области *идеалистической* литературы. Чистая, возвышенная любовь, благородство души, внѣшняя красота героевъ, аристократизмъ ихъ происхожденія *), корректность въ духѣ придворной жизни XVII-го вѣка,—вотъ, характерныя черты „положительныхъ" героевъ этого романа. Какъ въ греческомъ романѣ, ихъ идеальные образы оттѣняются наличностью героевъ „отрицательныхъ".

7) Этотъ идеализмъ сердца долженъ былъ возбуждать у всѣхъ чувство „admiration",—онъ составляетъ сущность морали псевдоклассическихъ романовъ,—и, въ этомъ отношеніи, они отходятъ отъ греческихъ, которые болѣе свободны отъ морализующихъ тенденцій,—и отъ Амадисовъ, въ которыхъ, хотя проясняется уже идеализмъ, но нѣтъ еще дидактизма **).

---

*) Герои въ обоихъ романахъ, греческомъ и французскомъ, всегда только знатнаго происхожденія: въ греческомъ романѣ это—дѣти знатныхъ фамилій,—во французскомъ—принцы и принцессы[358].

**) Герои „Амадисовъ" уже сознательно защищаютъ въ жизни извѣстные идеалы: они—одухотворенные борцы со зломъ, которое воплощалось въ волшебникахъ и въ разныхъ неправдахъ жизни. Въ этомъ отношеніи, они уже непохожи на героевъ прежнихъ рыцарскихъ романовъ. Такимъ образомъ, съ ихъ появленіемъ, нарушилась простота міросозерцанія человѣка, составленнаго изъ мяса и костей,—вводились новыя побужденія, идеальнаго свойства. Это перемѣщеніе интересовъ отъ личнаго подвига героя къ его чувствамъ, мыслямъ и рѣчамъ, тяготѣніе отъ міра физическаго къ духовному, особенно характерно для „Амадисовъ".

7) *Космополитизмъ* греческаго романа, повидимому, сохранился и во французскомъ, — но это только *повидимому*. Если греческій романистъ могъ, не очень погрѣшая противъ дѣйствительности, навязывать свой идеализмъ египтянамъ и финикіянамъ, то французскій романистъ, богато одѣляя персовъ и римлянъ, скиѳовъ и пароянъ міросозерцаніемъ, чувствами и идеями, расцвѣтшими въ придворныхъ кругахъ Парижа XVII столѣтія,—конечно, только прикрывался своимъ „космополитизмомъ", но, на самомъ дѣлѣ, былъ узкимъ націоналистомъ, не могущимъ вырваться изъ тѣснаго круга своихъ мѣстныхъ и современныхъ идеаловъ.

8) Въ *композиціи* греческаго и французскаго романовъ тоже наблюдается сходство: обыкновенно, разсказъ начинается съ середины дѣйствія [359] *) (media in re); все происшедшее раньше разсказывается тѣмъ или другимъ дѣйствующимъ лицомъ, часто второстепеннымъ. Эта наклонность изображать событія не въ дѣйствіи, а въ разсказахъ, сближаетъ псевдоклассическій романъ съ современной ему трагедіей. Для такихъ разсказовъ и трагедій, французскіе романисты прибѣгали къ помощи *вставныхъ эпизодовъ* („récits parasites"), которые иногда разростаются въ длинныя, самостоятельныя произведенія, часто имѣющія, въ свою очередь, свои собственные „вставные эпизоды" [360].

9) Характеръ композиціи остался попрежнему *авантюрнымъ*, въ духѣ греческаго романа, хотя теперь къ числу авантюръ прибавились „войны," „турниры", „дуэли",—прибавилась „политика" и „исторія",—элементы, чуждые греческому роману. На появленіи этого „военнаго элемента" сказалось вліяніе „Амадисовъ". Авантюрное построеніе попрежнему служило романисту канвой, по которой особенно легко было комбинировать различныя событія. Въ выборѣ авантюръ французскій романистъ, какъ было указано выше, болѣе примыкаетъ къ греческому роману, чѣмъ къ Амадисамъ. Въ эпоху раціонализма элементъ „чудесъ" и „волшебства", на которомъ, въ значительной степени, строились авантюры Амадисовъ, теперь отпадаетъ [361].

10) Конечно, борьба идеальнаго героя съ событіями не имѣла еще сама по себѣ смысла,—необходимо было введеніе такой враждебной силы, которая бы надвигала эти событія на героя... Въ героическомъ эпосѣ такой „ирраціональной силой" были враги родной земли, или чудовища; въ житіяхъ святыхъ—дьяволъ; въ восточномъ

---

*) Греки сравнивали свои романы съ свернувшейся змѣей, голова которой скрыта за извивами тѣла.

романѣ и волшебномъ—неземныя силы, воплотившіяся во образѣ волшебниковъ. На помощь греческому романисту явилась „τύχη"—*судьба*... Этимъ послѣднимъ мотивомъ воспользовались и французскіе псевдоклассики-романисты, введя *fortune*, которая, въ такой же степени, какъ τύχη, не давала свободы личности, убивала иниціативу, ставила героевъ исключительно въ оборонительное положеніе.

Но если у грека отношеніе къ τύχη колебалось между вѣрой и предразсудкомъ, то у француза XVII вѣка это пользованіе понятіемъ „fortune", повидимому, было скорѣе „общимъ мѣстомъ",—очень выгоднымъ исходомъ изъ литературнаго недоразумѣнія. Впрочемъ, быть можетъ, жизнь XVII-го вѣка,—этой эпохи, богатой авантюрами въ жизни, — могла давать многимъ представленіе о существованіи какой то „капризной судьбы", которая то подымала людей на верхъ благополучія, то опускала ихъ въ бездну бѣдствій... Для развитія фатализма тогда почва была благопріятная.

11) Даже г-жа Лафайетъ удержала въ своихъ романахъ роль „судьбы", хотя, по существу, эта сила не нужна была для ея психологическаго романа, въ которомъ авантюръ въ старомъ духѣ нѣтъ, въ которомъ всѣ интересы сосредоточились въ жизни души *). Въ произведеніяхъ ея и другихъ ей современныхъ писателей уже введено новое „ирраціональное начало" —*сердце* человѣческое, непокорное разуму, зависящее отъ темныхъ началъ бытія (физіологическія и психопатическія основанія).

12) Изъ всего вышесказаннаго—ясно, что психологическіе интересы у французскаго романиста, по существу, остались тѣ же, что и у его предшественника—грека. Любящее сердце и всѣ треволненія его жизни,—вотъ, единственно, на что обращено было вниманіе романистовъ. Эта психологія кажется бѣдной и неглубокой,—она долго не можетъ выбиться изъ того круга, который предначертанъ былъ ей еще греческимъ писателемъ **).

Вотъ почему, если примѣнять къ нимъ мѣрку современнаго психологическаго романа, то они, дѣйствительно, окажутся „бездушными": жизнь ихъ героевъ, дѣйствительно, поразитъ насъ своей

*) Быть можетъ, поэтому она часто вмѣсто „fortune", предпочитаетъ вводить новую силу—„hasard".

**) Лишь у г-жи Лафайетъ и у группы романистовъ, ея окружающихъ, встрѣчаемъ мы расширеніе и углубленіе психологическихъ интересовъ и бо́льшую тонкость пріемовъ анализа. По прежнему, „любящее сердце"—центръ романа, но около этого центра теперь группируются сложные душевные конфликты, вносящіе жизненный драматизмъ въ человѣческія отношенія.

механичностью, и мы согласимся съ Koerting'омъ и другими историками, которые этихъ героевъ, съ ихъ прекрасными рѣчами и размѣренными, повторяющимися движеніями, называютъ „безжизненными", „маріонетками" [363], и намъ ихъ душа покажется „мертвой",—но если стать на „историческую" точку зрѣнія, то эти произведенія, бѣдныя своей однообразной композиціей и психологической разработкой, докажутъ, что съ ними эволюція романа сдѣлала все же большой шагъ впередъ: въ нихъ интересы изъ міра внѣшняго стали замѣняться интересами къ міру внутреннему, — къ міру души; отъ увлеченія одной „фабулой" стали переходить къ болѣе интенсивному, чѣмъ у грековъ, стремленію разобраться въ самыхъ тонкихъ оттѣнкахъ, хотя бы, одного только чувства, но въ его различныхъ проявленіяхъ.

13) „Народъ" въ обоихъ романахъ представленъ очень блѣдно,—онъ почти всегда состоитъ только изъ „солдатъ", или „разбойниковъ". Это—все статисты, задній фонъ картины, декорація... Они въ развитіи дѣйствія не имѣютъ никакого значенія [364]. Вѣра въ историческій героизмъ безраздѣльно царствуетъ еще въ романѣ этого времени.

14) *Стиль* французскаго романа въ такой же мѣрѣ, какъ греческаго и Амадисовъ, носитъ на себѣ черты утонченности и манерности [365]; нѣтъ въ немъ той наивности и свѣжести, которыя характерны для языка народнаго эпоса,—сказывается явное пристрастіе къ „риторизму"; въ этомъ отношеніи, французскій романъ очень напоминаетъ греческій.

Различіе между стилемъ греческаго романа и французскаго сводилось лишь къ оттѣнкамъ: то, что въ романѣ греческомъ было риторизмомъ, то здѣсь смѣнилось жеманностью, „преціозностью". Лишь въ романахъ г-жи Лафайетъ найденъ былъ новый стиль, отвѣчающій требованіямъ свободной жизни сердца.

15) Такая поразительная близость родственныхъ жанровъ (романовъ греческаго и французскаго), раздѣленныхъ многими вѣками, конечно, не можетъ быть объяснена только литературными отношеніями,—очевидно, сходство историческихъ условій жизни обѣихъ эпохъ—главная причина такого совпаденія вкусовъ. Тяготѣніе надъ обществомъ придворной жизни, съ ея атмосферой изысканной любви,—развитіе индивидуализма, приводившее къ интересамъ личной жизни сердца; космополитизмъ древняго міра послѣ-александровской эпохи и Европы XVII-го вѣка,—вотъ, главныя причины, создавшія въ людяхъ разныхъ племенъ и эпохъ аналогичныя настроенія, одинаковые запросы и изумительное сходство

отвѣта. Несомнѣнно, этотъ фактъ „воскресенія“ литературнаго жанра и стиля, въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ обмиравшаго,—явленіе, въ высокой степени, любопытное для историка литературы *).

16) Въ греческомъ романѣ отмѣтилъ я наличность *натурализма* (см. выше, стр. 244),—этотъ элементъ совершенно стертъ во французскомъ романѣ: „приличія“ не позволили романисту говорить обо многомъ такомъ, чего не боялся греческій романистъ, о чемъ еще свободно трактовалось въ „Амадисахъ“, но что уже рѣзало глазъ и ухо раздушенному посѣтителю отеля Рамбулье. Вотъ почему греческіе романы, при переводѣ на французскій языкъ, въ этомъ отношеніи, подверглись довольно строгой цензурѣ, мѣстами граничившей съ „передѣлкой“ текста.

Такъ цензура придворнаго этикета и аристократической морали XVII в. сглаживала непріятныя шероховатости греческихъ романовъ **).

17) Но, со всѣмъ тѣмъ, нельзя отрицать того, что въ французскомъ романѣ были сильны *реалистическія тенденціи*: тяготѣніе къ исторической правдѣ, наличность географическихъ интересовъ, отвѣчавшихъ духу эпохи, близость къ интересамъ современной жизни, къ живой дѣйствительности (allusions, personnages déguisées, portraits), умѣніе воплотить характернѣйшія настроенія эпохи (преціозность, politesse, галантность, духъ chevaleresque и romanesque), допущеніе даже автобіографіи, какъ матеріала для

*) Насколько полнымъ было это „воскресеніе“, видно, хотя бы, изъ того факта, что въ 1599-омъ году появившійся въ свѣтъ романъ изъ греческой жизни, яко-бы, переведенный съ греческаго, подъ названіемъ: „Du vray et parfaict amour, escrit en grec par Athénagoras, Philosophe Athénien, contenant les Amours honnestes de Théagenes et Charide de Phéréeide et de Mélangénie“, traduit du grec par Martin Fumée—очень долго считался дѣйствительно-греческимъ, и лишь впослѣдствіи, энергичными розысками ученыхъ, доказано было, что никакого Атенагора-романиста не существовало, и все это произведеніе есть удачное подражаніе роману Геліодора. Между тѣмъ, это произведеніе въ теченіе 50 лѣтъ было популярнымъ, сдѣлавшись однимъ изъ главныхъ прототиповъ всѣхъ многочисленныхъ подражаній, вызванныхъ появленіемъ греческаго романа во Франціи и въ другихъ европейскихъ литературахъ [366]. Искусство, съ какой было сдѣлана эта поддѣлка, и живой интересъ, ею вызванный, доказываютъ духовное сродство двухъ эпохъ.

**) Цензура эта коснулась даже заглавій, порою набрасывая и на нихъ свою тенденціозную окраску. Такъ, романъ Геліодора появился въ 1549 г. на французскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: „Histoire Éthyopique d'Héliodorus“, contenant dix livres, *traittant des loyales et pudiques amours* de Théagenes, Thessalien et Chariclée, Éthyopienne“, traduit du grec en françois [367].

романа,—все говоритъ о наличности сильнаго тяготѣнія къ реализму. Такимъ образомъ, нереальный для насъ, людей XX-го вѣка, нереальный для современниковъ своихъ, вышедшихъ изъ круговъ буржуазныхъ, этотъ романъ былъ *реальнымъ*, во многихъ отношеніяхъ, для людей того круга, который въ немъ себя выразилъ. Какъ трагедіи Корнеля и Расина вѣрно воспроизводили феерическое величіе эпохи и настроенія дѣйствительныхъ людей того времени, такъ и этотъ героическій романъ былъ близокъ къ жизни *).

18) Въ *описаніяхъ природы* греческій романистъ не проявилъ никакого чутья художника-реалиста,—въ этомъ отношеніи не пошелъ дальше его и французскій романистъ. Поэтому „природа" понимается и въ греческомъ романѣ, и во французскомъ одинаково: это—„парки", съ искуственными фонтанами и правильными дорожками,—мѣсто свиданія героя и героини. Никакого „настроенія" и жизни въ этой природѣ не было. Море казалось только массой воды, опасной для героевъ тѣмъ, что оно имъ грозило всегда разлукой, бурями, кораблекрушеніями, морскими разбойниками и рабствомъ [268]. Только впослѣдствіи, въ романахъ Лафайетъ и ея группы, проясняется понемногу Naturgefühl.

19) Подобно роману греческому, и французскій знаетъ аналогичную *эволюцію*: греческій романъ, отъ сказки Ямвлиха, черезъ героическій разсказъ Геліодора, подошелъ къ мѣщанскому, „семейному" роману Харитона,—то же произошло, въ болѣе короткій срокъ, и съ романомъ французскимъ: отъ произведеній Гомбервиля, богатаго еще сказочнымъ элементомъ,—черезъ посредство Кальпренеда, французскій романъ у г-жи Лафайетъ и группы ея единомышленниковъ развился въ психологическую, буржуазную повѣсть „семейнаго" характера, приблизившись, такимъ образомъ, къ новому романическому типу—„англійскому роману" Ричардсона.

---

*) Старикъ генералъ Раевскій вывелъ на бородинское поле своихъ двухъ сыновей-мальчиковъ... Что это такое, какъ не результатъ воспитанія въ духѣ Плутарха, въ духѣ того возвышеннаго настроенія, которымъ, подъ вліяніемъ псевдоклассицизма, жили русскіе люди въ теченіе XVIII-го вѣка? Развѣ это не „корнелевскія" настроенія? А это—*фактъ*... И характернѣе всего, что Пушкинъ восторгался этимъ патріотическимъ „подвигомъ" стараго героя!.. Значитъ, возвышенныя героическія настроенія псевдоклассической поры были даже у насъ, въ Россіи, явленіями реальными, жизненными, явившись, какъ результатъ воспитанія въ той „школѣ воли и величія души", какой была трагедія и романъ XVII-го и XVIII-го столѣтій.

Во время этой интересной „эволюціи“ французскій романъ,— a) дважды (у Кальпренеда и у Лафайетъ) опредѣлялъ свою „форму“, отдѣлившись отъ родственныхъ жанровъ (эпопеи, исторіи, мемуаровъ),—b) сократилъ свои размѣры, изъ авантюрнаго романа обратившись въ повѣсть *),—c) подошелъ къ реалистической манерѣ письма, окончательно сблизившись съ дѣйствительной жизнью (введеніе французскихъ именъ и французскихъ географическихъ названій; углубленіе психологіи; индивидуализація героевъ,—введеніе автобіографическаго элемента [369], придавшее новому роману отчасти характеръ „confessions“).

Всѣ эти романы, начиная отъ произведеній Гомбервиля, имѣли широкое распространеніе,—они вызывали подражанія, отразились на „рыночномъ“ творчествѣ, создавъ „вульгарный“ (но оставшійся, по прежнему, „любовнымъ“), романъ — непремѣнное слѣдствіе всякой популярности извѣстнаго романическаго типа. Изъ рукъ мастеровъ, создателей „типа“, жанръ спускается всегда внизъ, въ толпу,—переходитъ въ руки бездарныхъ рыночныхъ романистовъ [370], которые прекрасно схватываютъ все то въ образцовыхъ произведеніяхъ, что типично и что, по этой причинѣ, легко поддается шаблону и опошленію. Въ результатѣ, псевдоклассическій романъ оставилъ послѣ себя массу безцвѣтныхъ, шаблонныхъ произведеній, разработанныхъ по его схемѣ, со всѣми характерными „общими мѣстами“ и тожественными героями и героинями.

2.

Особнякомъ стоитъ въ ряду героическихъ романовъ сочиненіе Фенелона: „Приключенія Телемака“. По типу своему, это произведеніе скорѣе относится даже къ „поэмѣ“, чѣмъ къ „роману“.

Повидимому, только прозаическая форма заставила современниковъ относить это произведеніе къ романической литературѣ. Вотъ почему, даже въ молодой русской литературѣ возникали иногда сомнѣнія теоретическаго характера относительно того, куда отнести это произведеніе—къ „роману“, или къ „поэмѣ“ (Тредіаковскій, Херасковъ).

Но не столько въ этомъ формальномъ отношеніи, сколько со стороны содержанія своего, твореніе Фенелона представляетъ собой явленіе, въ высокой степени, любопытное.

Huet въ своемъ трактатѣ, рисуя идеалъ „правильнаго“ ро-

*) Въ прежнемъ романѣ была цѣпь эпизодовъ-авантюръ,—въ новомъ романѣ, все содержаніе развертывалось, чаще всего, изъ одного эпизода.

мана, требовалъ, чтобы онъ былъ не только нравственнымъ, но даже „моральнымъ“: „instruction de l'esprit“ и „correction des moeurs“,—вотъ, по его мнѣнію, цѣль образцоваго романа; въ немъ должно было говориться не только о любви, но и объ обязанностяхъ человѣка къ Богу,—гражданина къ королю и отечеству [372]. Какъ разъ по такому рецепту и написано дидактическое произведеніе Фенелона.

Передъ нами—„roman régulier“, въ томъ духѣ, какъ понималъ его Huet. Кромѣ того, по идеѣ, это цѣлый трактатъ морали и политики [373] (см. выше, стр. 114), по содержанію—это романъ „миѳологическій“ [374], по цѣлямъ—„roman d'éducation“ и, въ то же время, злая сатира на французскую дѣйствительность. Главнымъ образомъ, эта послѣдняя черта и создала у современниковъ шумный успѣхъ этому произведенію [375]. Наконецъ, любопытно признаніе исторической критики, что никто изъ французскихъ писателей временъ Фенелона не постигъ такъ глубоко, какъ онъ, красоты „паганизма“ [376],—и, въ то же время, не было никого, кто сумѣлъ бы, въ такой мѣрѣ, проявить свое „христіанство“ [377], (въ обстановку миѳа вводитъ онъ „совѣсть“, какъ начало, руководящее героемъ и его наказующее). Казалось-бы, судя по его произведенію, онъ—весь въ далекомъ прошломъ,—на самомъ дѣлѣ, подъ покровомъ старины, онъ говоритъ о недостаткахъ современной ему жизни и даже мечтаетъ объ идеальной будущей, приближаясь своими „утопіями“ къ Руссо [378].

Литературная исторія этого произведенія очень сложна.

Фенелонъ обильно заимствовался идеями и картинами и у поэтовъ древности: у Гезіода, Гомера, Виргилія, Горація, Софокла—у мыслителей, въ родѣ Платона,—и у историковъ, какъ у Ксенофонта—и, въ то же время, пользовался онъ широко и христіанской церковной исторіей, особенно Библіей [379].

Эта попытка помирить духъ античнаго паганизма съ христіанствомъ, Платона съ Христомъ, древность съ новымъ временемъ,—явленіе, конечно, въ высокой степени, любопытное *).

Вотъ почему произведеніе Фенелона и у современниковъ, и у послѣдующихъ поколѣній, пользовалось заслуженнымъ успѣхомъ: оно пережило и XVIII-ый вѣкъ, который, впрочемъ, оцѣнилъ, главнымъ образомъ, политическій либерализмъ Фенелона.

---

*) Вопросъ о взаимоотношеніи античнаго міра и христіанскаго занималъ собой весь XVIII-ый вѣкъ, (напр., ср. Parny: „La guerre des dieux“), захватилъ даже начало XIX-го. (Ср. Шатобріана: „Le génie de Christianisme“).

Подчиняясь особенно сильно Гомеру, Фенелонъ, однако, примыкаетъ, въ то же время, и къ греческому роману, и къ героическому французскому—1) въ авантюрномъ построеніи съ „вставными эпизодами",—2) во взглядахъ своихъ на роль „судьбы",—3) въ манерахъ описывать природу, и — 4) въ пріемахъ раскрывать психику героевъ.

Привожу примѣры,—

О „судьбѣ" (въ русск. переводѣ: „рокъ", „судьбина", „судьбы", „щастье", „фортуна") говорится часто [380]: „le trouble d'un malheureux, que la fortune a aigri"; „remplir les grands desseins de Jupiter"; „chercher une nouvelle destinée"; „les destins nous donnent"; „ignorez encore ce que les destinées vous ont préparé"; „la fortune nous a persécutés"; „les destinées me rappellent dans ma patrie"; она именуется „враждебной"—„un destin severe" [381]; „l'invincible Ulysse, que la fortune ne peut abattre"; „toutes les rigueurs de la fortune"; „la fortune nous a persécutés" [382]; „лютой", „злой" [383], „жестокимъ рокомъ":—„cruelles destinées, pourquoi n'avez vous pas fini ma vie?" [384]; она „ругается" надъ людьми—„la fortune, qui se joue des hommes" [385]; ея удары жестоки:—„les rigueurs de la fortune qu'il sentit dès sa premiere jeunesse..." [386]; она „гонитъ" людей—„la fortune me persécuté"; „un homme que la fortune a persécuté"; „maltraité par la fortune" [387]; человѣкъ—„игралище судьбы"—„on n'est jamais sûr de la finir sans être exposé aux plus tragiques renversemens de la fortune"; „après avoir été le jouet de la plus cruelle fortune" [388] *).

Говоря о „судьбѣ", авторъ употребляетъ такія выраженія:

„Удивлялся я дѣйствіямъ *щастія*, мгновенно тѣхъ возвышающаго, коихъ оно въ глубочайшую бездну низринуло" [389]; „судьба велѣла тебѣ..."—„le destin a fait violer cet asile sacré des ombres" [390]; „слѣпое щастье покровительствовало"—„jusqu' ici l'aveugle fortune a favorisé ses plus injustes entreprises" [391]; „сдѣлали судьбы для спасенія или погубленія Улисса"—„ce que les destinées ont fait pour sauver" [392]; „игралище злѣйшей судьбины" [393]; „судьба, исполняя мѣру золъ моихъ, похитила и его у меня"—„la fortune pour comble de maux me l'a enlevé" [394].

Но, рядомъ съ этой „судьбой", и „боги" принимаютъ самое дѣятельное участіе въ жизни героя: напр., —

„Боги, располагающіе по своему изволенію человѣческими намѣреніями, другія бѣдствія намъ предоставили"—„mais les Dieux, que se jouent des desseins des hommes" [395]; боги „ругаются" надъ людьми — „o Dieux! est ce ainsi que vous vous jouez des hommes" [396]; „завидуютъ благополучію" людскому—„les Dieux cruels, les Dieux jaloux de mon bonheur" [397]; боги лишаютъ человѣка его счастья—„les Dieux, qui vous ont si mal partagé pour tous les dons de la fortune" [398]—и „помогаютъ

---

*) Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, русскій переводъ не вполнѣ совпадаетъ съ оригиналомъ; чтобы дать понятіе о характерѣ русскаго перевода, дѣлаю эти сопоставленія.

ему"—„mais un destin sévere m'attache à cette malheureuse patrie" [399]; „не позволяютъ герою вернуться на родину"—„les Dieux ne lui ont pas accordé de revoir sa patrie" [400]; „опредѣляютъ"—„les Dieux vous la destinent" [401]—„гонятъ своимъ мщеніемъ жизнь героя"—„Je traversai les mers, comme un fugitif, que la vengeance des Dieux et des hommes poursuit" [402]; и разрушаютъ человѣческую мудрость — „les Dieux se jouent de la sagesse des hommes" [403].

Но въ то же время говорится въ романѣ и о какихъ то „судьбахъ боговъ"—

„le dessein des Dieux" [404]; говорится о „книгѣ непремѣнныхъ судебъ"—„en même tems il consultoit les immuables destinées" [405].

Повидимому, эта „судьба", хотя и независима отъ „воли боговъ", но съ ними связываются какими то отношеніями. Это видно изъ слѣдующаго:

„Боги, ввѣрившіе меня Ментору"; боги „даровали Ментора сыну Улиссову, дабы черезъ то онъ исполнилъ судьбу свою—„les Dieux me destinent à ce..." [406]. „Боги сокрываютъ отъ слабыхъ смертныхъ судьбу ихъ въ непроницаемой нощи" [407]. „Юпитеръ знаетъ непреложный уставъ судебъ"—„l'ordre immuable des Destins" [408].

Такую же неопредѣленность во взглядахъ на взаимоотношеніе „судьбы" и „боговъ" наблюдали мы и у псевдоклассиковъ.

У Гомера Фенелонъ взялъ „манеру" письма. Такъ, онъ, несомнѣнно, подражалъ пѣвцу „Одиссеи", хотя-бы, въ описаніи смерти Пизистрата:

„Адрастъ пронзилъ его въ чрево метательнымъ орудіемъ. Внутренность начала выходить изъ него съ ручьемъ крови; красота его увяла, какъ цвѣтокъ, сорванный на лугу рукой Нимфы".

„Сравненія" иногда напоминаютъ гомеровскія.

„Союзники бѣжали, какъ стадо робкихъ оленей, когда они, будучи гонимы ловцами, протекаютъ обширныя поля, горы, лѣса и даже быстрыя рѣки [409].

„Подобну вепрю, изъ челюсти котораго клубится пѣна, когда онъ ищетъ ловца, его уязвившаго, Телемакъ, бѣгая по стану, искалъ глазами врага своего и потрясалъ копіемъ" [410].

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, эта „гомеровская" манера является утрированной и производитъ въ русскомъ переводѣ впечатлѣніе курьеза;

Идоменей тоскуетъ, что Телемакъ и Менторъ уѣзжаютъ. Авторъ его сравниваетъ съ деревомъ, которое сохнетъ, теряетъ листья и, наконецъ,—„представляетъ собою бревно, покрытое разсѣвшеюся корою и кажетъ токмо сухія вѣтьви. Таковъ былъ Идоменей въ своей горести:"— ...„il se flétrit, il se dépouille de ses feuilles qui sont sa gloire; il ne montre plus qu'un tronc couvert d'une écorce entr' ouverte et des branches seches. Tel parut Idoménee dans sa douleur" [411].

Обычное у Гомера олицетвореніе утренней зари, въ видѣ богини Эосъ, у Фенелона находитъ развитіе въ цѣлую картину.

„Аврора прогоняла пламенными лучами съ неба блуждающія звѣзды и съ лица земли пріятный сонъ, сопровождаемый летающими около его мечтами"—„l'aurore vint chasser du Ciel, par ses feux naissans, les inconstantes étoiles et de dessus la terre le doux sommeil, suivi des songes voltigeans" [412].

„Аврора отверзетъ алыми перстами златую дверь востока, и когда солнцевы кони, возникнувъ отъ морскихъ водъ, пролютъ дневный пламень, разгоняющій всѣ звѣзды небесныя..."—„quand l'aurore avec ses doigts de roses entr' ouvrira les portes dorées de l'Orient, et que les chevaux du Soleil, sortant de l'onde amere, répandront les flammes du jour pour chasser devant eux toutes les étoiles du Ciel..." [413].

„Аврора отверзла Солнцу небесные врата и возвѣстила намъ пришествіе краснаго дня. Весь востокъ былъ пламенемъ объятъ, и звѣзды, толь долго сокрывавшіяся, явились и исчезли предъ лицемъ блестящаго Феба"—„Cependant l'aurore vint ouvrir au soleil les portes du ciel, et nous annonça un beau jour. L'orient étoit tout en feu et les étoiles, qui avoient été si longtemps cachées, reparurent et s'enfuirent à l'arrivée de Phoebus" [414].

„Уже Аврора возвѣщала день: уже Звѣзды, ужасающіяся солнечнаго сіянія и завидующія оному, сокрывали въ Океановы нѣдра тусклые свои лучи..."

„Боги", по гомеровски, принимаютъ участіе въ битвахъ и дѣлахъ людей [415]. Самый бой иногда описывается тоже въ гомеровскомъ духѣ. Но, рядомъ съ такими архаизмами, мы встрѣчаемъ у Фенелона искусственность аллегоризма, отзывающагося новымъ временемъ. Нельзя не сознаться, что къ этому аллегоризму онъ подходилъ иногда чрезъ посредство образовъ, заимствованныхъ у древнихъ. Напр.—

„Смерть, подъ тяжкими ударами его меча, стремилася изъ строя въ строй" [416].

„Блѣдная смерть, ведомая Адскою Фуріею, которой глава зміями увита, охлаждаетъ въ жилахъ кровь"—„La pâle mort conduite par une furie infernale, dont la tête est hérissée de serpens, glace le sang de leurs veines; leurs membres engourdis se refroidissent, et leurs genoux chancelans leur ôtent même l'esperance de la fuite" [417].

„Я молю Морфея, да разсыплетъ на отягченныя твои зѣницы сладчайшія пріятности, да проліетъ божественные пары въ изможденные твои члены, да ниспослетъ восхитительныя мечты, которыя, носясь окрестъ тебя, наслаждали бы твои чувства прелѣстнѣйшими видами"—„Je prie Morphée de répandre ses doux charmes sur vos paupières appesanties, de faire couler une vapeur divine dans tous vos membres fatigués, et de vous envoyer des songes légers, qui voltigeant autour de vous, flattent vos sens par les images les plus riantes" [418].

Внезапно мнѣ мечталось, будто я видѣлъ Венеру, разсѣкающую

облака быстрою колесницею, влекомою двумя голубями—„Tout-à-coup je crus voir Vénus, qui fendoit les nues dans son char volant, conduit par deux colombes. Elle avoit cette éclatante beauté, cette vive jeunesse, ces graces tendres, qui parurent en elle quand' elle sortit de l'écume de l'Océan" [419].

Купидонъ, „воззрѣвъ на меня, ... разсмѣялся, но смѣхъ его былъ злой, язвительный и лютый. Купидонъ исторгъ изъ златаго калчана самую острую стрѣлу, натянулъ свой лукъ и ужо готовился пронзить меня, какъ вдругъ явилась Минерва и осѣнила надо мною своимъ Егидомъ" [420].

Эти картинки разростаются иногда въ цѣлыя картины, античный характеръ которыхъ часто смѣняется расплывчивостью и изнѣженностью той плафонной живописи, которая украшала собою стѣны и потолки дворцовъ XVII-го столѣтія. Напр.:

„Во время сей бесѣды, увидѣли мы, покрытыхъ свѣтящеюся, подобно злату и лазури, чешуею, Делфиновъ, которые, играя, возвышали съ великою пѣною волны. Во слѣдъ за ними стремились Тритоны, трубившіе въ извилистыя свои раковины, и окружали Амфитритину колесницу, влекомую морскими конями, бѣлѣйшими снѣга, кои, разсѣкая воды, оставляли въ морѣ, далеко за собою, глубокіе рвы. Очи ихъ пылали и гортани дымились. Колесницею Богинѣ служила раковина, чудесный видъ представлявшая. Бѣлизна ея блистательнѣе слоновыя кости, а колеса были златыя. Нимфы, цвѣтами увѣнчанныя, сонмами спѣшили за ней" [421].

„Тритоны, Нереиды, всѣ божества, повинующіеся Нептуну, и самыя чудовища морскія, исшедшія изъ влажныхъ и глубокихъ своихъ пертеновъ, сонмами стекались окрестъ корабля, прельщенны сладкимъ симъ пѣніемъ" [422].

Иногда Фенелонъ прибѣгаетъ къ чистѣйшей аллегоріи. Таково напр., описаніе подземнаго царства:

„У подножія престола (Плутона) стояла блѣдная и все пожирающая Смерть съ острою косою, которую она непрестанно больше острила, округъ ея летали мрачныя Безпокойства, мучительныя Недовѣрчивости, Мщенія, обагренныя кровію и покрытыя ранами; неправедныя Вражды; сама себя снѣдающая Скупость; Отчаяніе, терзающее себя собственными руками, буйное Честолюбіе, изпровергающее все; Предательство, алчущее крови и не могущее наслаждаться бѣдствами, имъ причиненными; Зависть, разливающая около себя смертоносную отраву и приходящая въ ярость отъ безсилія своего дѣлать зло; Нечестіе, изрывающее само себѣ бездонную пропасть и стремглавъ повергающееся туда безъ всякой надежды; гнусные Призраки, Мечты, представляющія мертвыхъ для устрашенія живыхъ; ужасныя Сновидѣнія; Безсонницы, столь же мучительныя, какъ и самые печальные сны—„Aux pieds du trône étoit la mort pâle et dévorante avec sa faux tranchante qu'elle aiguisoit sans cesse. Autour d'elle voloient les noirs soucis, les cruelles défiances, les vengeances toutes dégouttantes de sang et couvertes de plaies; les haines injustes; l'avarice qui se ronge elle-même; le déses-

poir qui se déchire de ses propres mains; l'ambition forcenée qui renverse tout; la trahison qui veut se repaître de sang, et qui ne peut jouir des maux, qu'elle a faits, l'envie qui verse son venin mortel autour d'elle, et qui se tourne en rage dans l'impuissance où elle est de nuire l'impieté qui se creuse elle-même un abyme sans fond, où elle se précipite sans espérance; les spectres hideux, les fantômes qui représentent les morts pour épouvanter les vivans; les songes affreux, les insomnies aussi cruelles, que les tristes songes. Toutes ces images funestes environnoient le fier Pluton" [423].

Обиліе „монологовъ" и „воззваній" въ минуты душевнаго подъема,—тоже пріемъ романистовъ XVII и XVIII вв. Герой „вопитъ" къ богамъ и людямъ, призывая ихъ на помощь, и самое многословіе этихъ призывовъ, жалобъ, патетическихъ монологовъ, облегчаетъ его горе. Напр.—

„Коль скоро произнесъ я сіи слова, то горесть моя начала умаляться; упоенное буйною страстью сердце весь почти стыдъ расторгало, и потомъ я низринулся въ бездну угрызеній" [424].

Явился Монторъ и сталъ утѣшать: — „Онъ рекъ", и мгновенно почувствовалъ я, какъ бы, нѣкоторое густое облако, рассыпавшееся предъ моими глазами и чистый свѣтъ мнѣ открывавшее" [425].

Несомнѣнное вліяніе на Фенелона оказала и пастушеская поэзія; идиллическій характеръ нѣкоторыхъ пейзажей навѣянъ этой поэзіею.

„... пещера украшена младыми виноградными лозами, равнообразно со всѣхъ сторонъ простиравшими вѣтьви. Кроткіе зефиры, при солнечномъ палящемъ зноѣ, хранили тутъ пріятнѣйшую прохладу. Источники, съ тихимъ журчаніемъ протекая луга, усѣянные амарантами и фіалками, составляли въ различныхъ мѣстахъ соимы водъ, чистотою и прозрачностію подобныя кристалламъ. Тысячи нѣжнѣйшихъ цвѣтовъ непощряли зеленыя, пещеру окружавшія, равнины" [426].

„Вскорѣ пастыри съ своими свирелями стали блаженнѣе царей, и хижины ихъ привлекали къ себѣ неисчетныя чистыя забавы, стремглавъ бѣгущія изъ позлащенныхъ чертоговъ. Игры, смѣхи, пріятности повсюду слѣдовали за невинными пастушками. Всѣ дни ихъ празднествами были. У нихъ слышалось единое только пѣніе птицъ, или кроткое вѣяніе зефировъ, колебавшихъ древесныя вѣтьви, или журчаніе свѣтлаго источника, ниспадавшаго съ высокой скалы" [427].

Встрѣчаются у Фенелона и „превращенія", въ духѣ старыхъ миѳологическихъ: такъ, плачущая Фолое обратилась въ ручей" [428].

„Волшебству" отдалъ дань Фенелонъ, введя въ свое произведеніе „таинственные голоса" [429], талисманы („страшный Егидъ", посланный Минервой) [430]. Легкую тѣнь набросилъ на его произведеніе и рыцарскій романъ, впрочемъ, единственно въ описаніи поединковъ и въ характеристикѣ настроенія бойцовъ (въ рус-

скомъ переводѣ встрѣчаемъ мы здѣсь выраженіе: „ярость рыцарская [431]“).

Есть нѣсколько „описаній“ въ романѣ, гдѣ ясно сказываются проблески новой манеры письма, нѣсколько отходящей отъ гомеровской. Приведу нѣсколько примѣровъ—

„Уже благопріятный вѣтръ развѣвалъ наши парусы; гребцы разсѣкали веслами пѣнящіяся волны... Обширное море покрывалось кораблями; плаватели возносили гласы радости; Египетскія берега утекали отъ насъ; холмы и горы нечувствительно терялись. Мы видѣли уже едино только небо и воду... Между тѣмъ, выходившее солнце изводило изъ нѣдръ морскихъ блестящіе свои огни. Лучи его позлащали верхи горъ, кои мы еще усматривали на горизонтѣ. Все небо тусклою покрытое лазурью, обѣщало намъ щастливое плаваніе“.

„...внезапная буря возмутила небо и воды. Порывистые вихри яростно ревѣли между вѣтрилами; черныя волны поражали корабль, стенавшій отъ ихъ ударовъ; иногда мы возвышались на хребты гордыхъ валовъ,—иногда море разверзалось подъ кораблемъ и въ бездну насъ низвергало“ [432].

„Небо рдѣлось и было въ пламени отъ первыхъ лучей солнца; море багрѣло отъ восходящаго дневнаго свѣтила“ [433].

„Безмолвіе ночи, тишина моря, зыблющееся сіяніе луны, проливавшееся на лице водъ, тусклая лазурь неба, усѣяннаго тьмою блестящихъ свѣтилъ, умножали величественную картину сего зрѣлища“.

Психическія настроенія героевъ изображаются—или словами самого автора—

Калипсо скучаетъ: „Иногда, стоя неподвижно на берегу моря, орошала его слезами и непрестанно обращала свои взоры къ той странѣ, гдѣ корабль Улиссовъ, разсѣкая волны, отъ глазъ ея скрылся“ [434].

Телемакъ влюбленъ: „Часто Телемакъ, простершись на берегу морскомъ, пребывалъ неподвижно, часто во мрачной рощѣ, проливалъ горькія слезы и испускалъ вопли, подобные рыканіямъ льва. Онъ изсыхалъ; впалые глаза его наполнились огнемъ пожирающимъ“... [435].

—или при помощи внѣшнихъ признаковъ:

„Дрожащія ланиты ея покрывались черными и багровыми пятнами; цвѣтъ ея лица перемѣнялся ежеминутно; часто по всему лицу ея разливалась смертная блѣдность; по истекали уже изъ глазъ ея обильныя слезы; ярость и отчаяніе, казалось, изсушили ихъ источникъ, и едва токмо нѣсколько слезъ катились по ея ланитамъ [436].

Умирающая порочная царица изображена такъ:

„Ярость и нечестіе изображались на умирающемъ лицѣ ея; не было въ немъ уже ни малѣйшаго знака той красоты, которая толь многихъ людей нещастными содѣлала; померкли всѣ ея прелести; угасающіе глаза вращались и метали свирѣпые взгляды; судорожное движеніе потрясало ея уста и содержало ихъ въ страшномъ разверстіи“—„La rage et l'impiété étoient peintes sur son visage mourant. On ne voyoit plus aucun reste de cette beauté, qui avoit fait le malheur de tant d'hommes.

Toutes ses graces étoient effacées. Ses yeux éteints rouloient dans sa tête, et jetoient des regards farouches. Un mouvement convulsif agitoit ses levres et tenoit sa bouche ouverte d'une horrible grandeur. Tout son visage, tiré et rétreci, faisoit des grimaces hideuses" [437].

—или въ видѣ патетическихъ монологовъ и „воплей" [438].

Не выходя изъ небольшого круга пріемовъ описанія и психологическаго анализа, Фенелонъ сумѣлъ, однако, въ лицѣ своего героя, Телемака нарисовать живое лицо хорошаго, „средняго" человѣка, способнаго на доблестные подвиги и на слабости человѣческія... Борьба съ ними, во имя тѣхъ идеаловъ, что подсказывались мудрымъ Менторомъ, приводитъ героя къ счастливому концу, къ сознанію исполненнаго долга, къ окончательной побѣдѣ надъ собой и душевному покою. Такимъ образомъ, отходя отъ стараго героическаго романа, съ его идеальнымъ героемъ, отходя въ такой-же мѣрѣ отъ произведеній, въ духѣ романовъ Лафайетъ, въ которыхъ главнымъ содержаніемъ все-же была любовь, Фенелонъ избираетъ новую, болѣе благородную, цѣль—изобразить вообще жизнь человѣка, озаренную сознательной борьбой за идеалы. Такимъ образомъ, въ его произведеніи, подъ покровомъ миѳологическаго одѣянія, уже намѣчаются въ лицѣ героя черты „новаго человѣка", близкаго по духу, къ тѣмъ героямъ, которые нашли себѣ воплощеніе уже въ романахъ Лесажа и Прево въ слѣдующемъ XVIII-омъ столѣтіи.

3.

Мы видѣли уже выше, что постепенное развитіе поэтическихъ пріемовъ, углубленіе психологическаго анализа и, все усиливающееся, тяготѣніе къ интересамъ будничной дѣйствительности привели французскій героическій романъ къ повѣстямъ типа произведеній Лафайетъ. Но, кромѣ воздѣйствія этого *внутренняго* процесса трансформаціи, героическій романъ, — созданіе аристократическихъ вкусовъ, — испыталъ на себѣ сильное воздѣйствіе извнѣ, со стороны тѣхъ „пародій", „карикатуръ" и фарсовъ, которые сложились, какъ результатъ постепенно-нароставшей въ кругахъ французской буржуазіи потребности имѣть свою собственную литературу, свою поэзію... Франція въ XVII-омъ вѣкѣ рѣзко дѣлилась на два сословія—„аристократію" и „буржуазію",—это дѣленіе вызвало въ области драматическаго творчества развитіе „трагедіи" и „комедіи"—„le genre noble et le genre bourgeois" [440]. Немудрено, что расколъ общества сказался и въ области романическаго творчества возникновеніемъ „genre

bourgeois"—„комическаго" романа Сореля („Francion", „Le Berger extravagant"), Лаппеля („Roman satyrique"), Тристана л'Эрмита („Page disgracié"), Скаррона („Roman comique") и Фюретьера („Roman bourgeois").

Но всѣ эти произведенія, созданныя полемическимъ задоромъ въ борьбѣ съ героическимъ романомъ, сбиваются на пародію, памфлетъ, фарсъ, карикатуру... Въ борьбѣ съ господствомъ въ литературѣ вымышленныхъ героевъ древности, – „qui sont quelquefois incommodes à force d'être honnêtes gens"—всѣ эти романы впали въ жанръ—„burlesque, genre outré, monstrueux, éphémère, voué à un fatal et prompt discrédit. C'était commettre une faute égale à celle des Scudery qui venaient de perdre le roman idéaliste dans les fadeurs du précieux" [441]. Кромѣ того, эти произведенія совсѣмъ не затрагивали воображенія читателя, не будили его фантазіи, его чувства,—словомъ, лишены были „l'emploi du romanesque"—главнаго условія всякаго романа [442]. Между тѣмъ, въ старыхъ романахъ этотъ элементъ былъ,—оттого ими зачитывались, ими бредили. „Chez Sorel, chez Scarron, chez Furetière on ne trouve rien de pareil: leurs romans sont aussi peu romanesques que possibles" [443]. Въ нихъ нѣтъ сюжета, нѣтъ интриги, нѣтъ развязки, это—рядъ сценъ, приключеній,—галлерея карикатурныхъ образовъ... „Pareille matière, говоритъ Morillot, impossible de conclure: demain ressemblera à aujourd'hui et ainsi de suite: tous les romans comiques, ainsi entendues, restent forcément inachevés" [444].

Сорель, устами своего героя, заявилъ: „nous avons assez d'histoires tragiques qui ne font que nous attrister;—il en faut maintenant voir une qui soit toute comique" [445]. Скарронъ пошелъ по той же дорогѣ,—и онъ далъ не картину нравовъ эпохи, а карикатуру общества, далъ шаржъ, и главная цѣль его — тоже посмѣшить публику [446]. Фюретьеръ задался болѣе серьезною цѣлью—рисовать—„personnes qui ne sont ni héros, ni héroines, qui ne dresseront point d'armées, ni ne renverseront point de royaumes; mais qui seront de ces bonnes gens de médiocre condition, qui vont tout doucement leur grand chemin, dont les uns seront beaux et les autres laids, les uns—sages et les autres—sots et ceux-ci ont bien la mine de composer le plus grand nombre" [447]. Казалось бы, это заявленіе говорило о трезвомъ и спокойномъ изображеніи дѣйствительной жизни,—но, оказалось, и Фюретьеръ не сумѣлъ избавиться отъ карикатуры и bouffonerie [448].

Всѣ эти романы, по словамъ Брюнетьера, представляютъ собою— „des accidents invraisemblablement grotesques, des caricatures, sans doute assez lestement enlevées, mais rien, absolument rien, qui ressemble à ce, que nous avons depuis appelé, *le roman de moeurs*“ [449].

Если старые романы сбивались на „исторію“ (особенно на „романическіе мемуары“—„aventures galantes“), или на поэму (героическій романъ Кальпренеда, Скюдери, особенно Фенелона), то эти „комическіе“ романы близки къ фарсу, и, по словамъ Брюнетьера, они нисколько не реалистичнѣе романовъ Скюдери... „L'idéal du sentment et la charge de la caricature s'obtiennent par les mêmes moyens, c'est-à-dire par une altération également systématique des rapports vrais des choses; si l'on allonge les corps, et que l'on atténue les formes et que l'on effile les traits, on obtient la banale et inexpressive beauté des figures de kcepsakes anglais,— comme si l'on grossit les traits, et que l'on épaissesse les membrures, et que l'on élargisse les formes, on obtient la laideur convenue de nos journaux à images; mais, de l'une et de l'autre manière, il est clair, que l'on s'est écarté de la nature. Pareillement, les personnages du roman héroique sont plus hauts, ou plus délicats, ou plus jolis que nature,—mais les personnages du roman comique sont plus laids, ou plus grossiers, ou plus bas. Les uns et les autres, ils sont donc également distants d'une juste imitation de la vie, puisque l'imitation de la vie n'est pour leurs auteurs, qu'un point de départ dont ils font profession de s'écarter chacun à sa façon, et d'après des règles certaines ou des procédés convenues. Ils ne se servent de la nature que, comme d'un moyen de la défigurer elle-même, et leur objet est de la grandir ou de la diminuer, de l'embellir ou de l'enlaidir, de la surfaire ou de la rabaisser, mais non pas du tout de la représenter telle, qu' elle est, ni même telle, qu'ils la voient“ [450] *).

Очевидно, въ результатѣ, оба „крайнія теченія“ въ изображеніи жизни должны были дать что-то „среднее“,—создать въ литературѣ ту „среднюю“ жизнь, которая не грѣшила-бы односторонностями ни въ ту, ни въ другую сторону, въ которой воз-

*) Эта точка зрѣнія Brunetière'а совпадаетъ съ тѣмъ опредѣленіемъ реализма, которое далъ этому понятію Faguet (см. выше стр. 281—2). Любопытно, что оба французскіе критики, говоря въ другихъ мѣстахъ своихъ сочиненій о героическомъ романѣ, отмѣчали (или не оспаривали) жизненности этого типа,—когда же имъ пришлось говорить о Лесажѣ, то у нихъ и мѣрка для реализма оказалась нѣсколько другая, болѣе строгая.

становилось бы то взаимоотношеніе „добра“ и „зла“, „чернаго“ и „бѣлаго“, возвышеннаго и низкаго, которое наблюдается въ дѣйствительности... По общему признанію историковъ французской литературы, эту „среднюю жизнь“ удалось впервые изобразить Лесажу въ его произведеніяхъ; за это его и признали единогласно первымъ французскимъ романистомъ-художникомъ чисто-реалистическаго направленія; именно на его произведеніяхъ и Фагэ, и Брюнетьеръ выработали тотъ принципъ, который положили они въ основу своихъ опредѣленій сущности настоящаго художественнаго реализма.

Ближайшими предшественниками Лесажа во французской литературѣ историки романа называютъ Мольера [451], съ его комедіей, въ которой онъ первый сталъ превращать „комедію характеровъ“ въ „комедію нравовъ“,—Лабрюейера [452], съ его извѣстнымъ сочиненіемъ: „Les Charactères“, въ которомъ онъ выводитъ длинную галлерею пестрыхъ и яркихъ типовъ, характерныхъ для жизни эпохи,—наконецъ, романистовъ, въ родѣ La Fayette [453], Villedieu [454], Dufresny [455] и Hamilton'a [456]. Конечно, и произведенія Sorel'я, Scarron'a и Furetière'a подготовили почву для его дѣятельности.

Но особенное вліяніе на его романы оказала испанская литература, съ ея плутовскими романами picaresco.

Историкъ испанской литературы Тикноръ, говоря объ историческихъ условіяхъ жизни Испаніи временъ Карла V и Филиппа II, такъ объясняетъ возникновеніе въ Испаніи того разряда людей, которые послужили „моделями“ для типичныхъ героевъ плутовскаго романа:

„Это—наиболѣе энергичныя, хитрыя, и безнравственныя личности, вышедшія изъ низкихъ слоевъ общества и отлично понявшія, что сила, власть и всѣ выгоды, составлявшія предметы ихъ стремленій, находятся уже въ рукахъ аристократическаго сословія, которое не требуетъ отъ нихъ ничего, кромѣ искренней преданности. И, дѣйствительно, въ теченіе долгаго періода внутреннихъ неурядицъ и смутъ, эти люди служили своимъ повелителямъ преданно и беззавѣтно, не задаваясь вопросами о правѣ и, вѣроятно, нисколько не чувствуя себя униженными. Въ тѣ времена они нуждались только въ покровительствѣ и, получая его, не мечтали ни о чемъ другомъ.

Но впослѣдствіи передъ ними открылись другія перспективы. По мѣрѣ изгнанія Маровъ, въ странѣ водворялся миръ, а мирное время помогло развитію чувства независимости и личнаго достоинства, которое стало выражаться, то соціальными волненіями, то частными смутами въ университетахъ, то, наконецъ, открытыми возстаніями городскихъ общинъ (Comuneros) за свои права. Съ этими движеніями народныхъ массъ, почти всегда успѣшно подавляемыми правитель-

стномъ, совпали и завоеванія въ Америкѣ, откуда потекли волны золота и серебра въ страну, которая долгое время считалась одной изъ бѣднѣйшихъ и несчастнѣйшихъ странъ Европы. Но какъ легко пріобрѣтались, такъ легко и растрачивались эти сокровища, попавшія впервые въ руки военныхъ авантюристовъ и тѣхъ, кто пріобрѣлъ себѣ должности, или земли въ Новомъ свѣтѣ. Наиболѣе смышленныя и испорченныя личности изъ низшихъ классовъ быстро научились ухаживать за новоявленными богачами, вернувшимися въ отечество съ видными капиталами, и навыли легкія средства подбирать золотой дождь, который сыпался отовсюду съ такимъ изобиліемъ, что всѣ классы общества подверглись его развращающему вліянію.

Для людей бѣдныхъ и низко стоящихъ на общественной лѣстницѣ самыми легкими средствами были, конечно, плутни всякаго рода и лесть; вотъ почему то и другое развилось въ нихъ до высшей степени. Золото обѣихъ Индій явилось тучнымъ удобреніемъ, на которомъ выросли паразиты, плуты и другіе вредные люди. Поль, сынъ цирюльника и племянникъ палача,—Картадильо, маленькій воришка, отецъ котораго былъ деревенскимъ портнымъ,—Лазарильо, которому такъ и не удалось устроить себѣ приличную генеалогію,—всѣ они сдѣлались въ испанской литературѣ неизмѣнными представителями своего класса, хорошо извѣстнаго подъ унизительнымъ прозвищемъ „cataribérasˮ, или подъ болѣе веселой кличкой „плутовъ�ˮ (picaros)ˮ [457].

„Слухи о продѣлкахъ этихъ людей, говоритъ Стороженко, ихъ дерзости, остроуміи и изобрѣтательности, заинтересовали собой испанское общество, которое желало знать болѣе подробностей о жизни и нравахъ picaros. Навстрѣчу этому желанію пошли писатели, которые, подчиняясь пытливому и трезвому духу эпохи, создали новую форму повѣствовательной литературы, основанную не на идеализаціи дѣйствительности, а на тщательномъ ея изученіи. Таковы были причины, способствовавшія возникновенію въ Испаніи реально-бытового романа изъ жизни picaros, который, по всей справедливости, можетъ быть названъ отцомъ европейскаго реальнаго романаˮ [458].

Многіе эпизоды, входящіе въ пестрый составъ этихъ романовъ, примыкаютъ своимъ содержаніемъ еще къ старымъ средневѣковымъ фацеціямъ; они напоминаютъ и характеромъ, и сюжетами французскіе фабльо, нѣмецкіе Schwänke, итальянскія новеллы, — тѣ же любовныя и мошенническія продѣлки героевъ и героинь, та же мѣщанская среда, въ которой развертывается дѣйствіе, тѣ же настроенія безпросвѣтнаго животнаго эгоизма, наконецъ, тѣ же интересы желудка и похотливой плоти... Если Бокаччьо далъ толчокъ эволюціи этой реалистической новеллѣ, углубивъ ее психологическимъ анализомъ и усовершенствовавъ пріемы письма, то въ смыслѣ композиціи онъ не создалъ еще „романа“,—отдѣльныя новеллы у него искусственно циклизовались около группы разсказчиковъ, потѣшающихъ другъ друга веселыми и трогательными повѣствованіями.

Испанскій плутовской романъ представляетъ собою, въ смыслѣ композиціи, явленіе болѣе поучительное: здѣсь старые и новые анекдоты органически слились во едино, объединенные одной личностью героя-плута. Произошелъ полный процессъ органической циклизаціи,—процессъ, наблюдаемый особенно ясно, и потому доказанный, въ народной поэзіи *).

Лучшими представителями этого любопытнаго романическаго жанра историки испанскаго романа считаютъ слѣдующія произведенія: „La vida da Lasarillo de Tormes“ въ 1554 г. („Жизнь Лазарильо изъ Тормеса“) неизвѣстнаго автора **); „La vida de Guzman de Alfarache“ въ 1560 г. („Гусманъ изъ Альфараче“),—сочиненіе Матео Алемана; „Picara Justina“ въ 1605 году („Плутовка-Хустина“),—сочиненіе Переса де Леона; „La vidad de lo Escudiero Dom Marcos de Obregon“, въ 1618 г. („Жизнь и приключенія пажа Марка де Обрегона“), — сочиненіе Эспинеля; „Gran Tacano“ въ 1627 г. („Великій обманщикъ“), — сочиненіе Кеведо; „Alonzo mozo de muchos amos“, въ 1628 г. („Алонсо, слуга многихъ господъ“), — сочиненіе Инеса-и-Риверы; „Vida y hechos de Estevanillo Gonzalez, hombre de buen humor compuesta por el mismo“, въ 1646 г. („Жизнь Эстеванильо Гонзалеса“)—сочиненіе, приписываемое Геварѣ.

Элементы плутовскаго романа проф. Стороженко отмѣтилъ и въ „Донъ-Кихотѣ“ Сервантеса, и въ его „Нравоучительныхъ повѣстяхъ“ („Ренконете и Кортадильо“) [461].

Всѣ эти произведенія, выросшія на грубой почвѣ того лукавства и плутовства, которыя развились, какъ результатъ борьбы за существованіе при помощи обмана, хищеній и насилій,—одинаково безпринципны: въ нихъ грубый матеріализмъ развращеннаго и алчнаго мошенника [462] вытѣсняетъ окончательно тотъ идеальный

*) „Эпическая пѣсня обособляясь, ходитъ въ народѣ изъ поколѣнія въ поколѣніе—говоритъ акад. Веселовскій. Близкія лирическія симпатіи исчезли,—не исчезъ интересъ къ разсказу: оторванныя, отдаленныя отъ живой памяти, пѣсни повторяются, искажаются, группируются вокругъ одного лица, или событія—спѣваются около Сида, либо Ильи Муромца, либо битвы на Косовомъ полѣ. Такого рода полународные, полусознательные, т. е. личные своды-спѣвки, сохранились—они то и могли лечь *въ основу* большихъ эпопей, при чемъ для насъ все равно,—называются ли эти эпопеи Иліадой и Одиссеею, либо пѣсней о Роландѣ“ [459]. Стоитъ, вмѣсто слова: „эпическая пѣсня“ подставить слово „анекдотъ“ (фацеція, фабльо, Schwank)—и вмѣсто „эпопеи“ поставить „плутовской романъ“—и процессъ образованія испанскаго романа намъ сдѣлается яснымъ.

**) Подробное содержаніе см. въ книгѣ проф. Стороженка [460].

духъ chevaleresque, которымъ богаты были старые рыцарскіе романы („Амадисы", „Пальмерины"), создавшіеся въ той же Испаніи, но выросшіе на другой почвѣ, въ другой средѣ и въ иную эпоху.

Отчасти вліянію этой „плутовской" литературы приписываютъ появленіе во Франціи вышеуказанныхъ комическихъ романовъ Сореля, Скаррона, Фюретьера.

О вліяніи этихъ же испанскихъ романовъ на Лесажа особенно много говорилось въ западноевропейской литературѣ [463], но я пройду мимо этого „мірового" вопроса, въ рѣшеніи котораго затронуты были, въ свое время, даже національныя самолюбія. Мнѣ гораздо важнѣе выяснить не то, въ чемъ сходство романовъ Лесажа съ ихъ испанскими прототипами,—а въ чемъ ихъ различіе. Французская критика, отстаивая честь своего національнаго писателя, старательно продѣлала эту работу.

По мнѣнію французскихъ критиковъ, Лесажъ въ сгущенную удушливую атмосферу испанскаго плутовскаго романа внесъ облагораживающій и очищающій элементъ „человѣчности"... „Ce n'est plus le même monde, ce ne sont plus ces gens pouilleux, cette vermine repoussante, ces vaun-pieds sans feu ni loi, ces ventres creux et affamés, ces aigrefins sans vergogne ni conscience. Si Gil-Blas se souvient de son origine picaresque, le picaro du moins a été sérieusement décrassé" [464]. „L'incomparable supériorité de *Gil-Blas*, говоритъ Brunetière, le secret de l'universel intérêt, qui s'y est attaché, c'est que Le Sage a dégagé de la gangue du roman picaresque—ce qui s'y pouvait trouver envéloppé de véritablement humain" [465]. Эта „humanité" героя выразилась въ томъ, что онъ оказался „обыкновеннымъ человѣкомъ"—отнюдь не идеальнымъ, какими были герои романистовъ въ духѣ Кальпренеда,—но и не такимъ падшимъ существомъ, какъ герой picaresco. Тѣ и происхожденія, обыкновенно, самого подозрительнаго—„n'ont dans ses veines qu'un sang mêlé de voleur et de fille, ou d'aventurière et de banqueroutier" [466],—Жилблазъ—„est né dans une condition modeste, humble-même et presque misérable, mais toutefols honnête, et nous rentrons avec lui dans la verité de la vie" [467].

„Кто-бы могъ подумать, говоритъ Прудонъ въ своемъ сочиненіи „Объ Искусствѣ"—что простая мысль изобразить человѣка въ его обыденной обстановкѣ, за его обыденнымъ занятіемъ, была самой великой мыслью, когда-либо посѣтившей голову художника?" [468]. Эта мысль, воплощенная Лесажемъ въ его романахъ,—въ частности, въ „Жилблазѣ",—и была основаніемъ его

славы,—была тѣмъ открытіемъ, которое поставило его выше его испанскихъ учителей.

Въ этомъ умѣніи изобразить „обыкновеннаго“ человѣка (humain et vrai [469]) и была та „человѣчность“, та „правда“, которую внесъ въ романическую литературу Лесажъ: онъ нашелъ „средняго человѣка“, изобразивъ въ своихъ произведеніяхъ „moeurs moyennes“, „moralité moyenne“ [470], „âme moyenne“ [471]); въ сердцѣ его героя мирно уживается добро и зло; у него и „vertus moyennes“ [472], и пороки обыкновенные *)... Словомъ, онъ воплощаетъ собою „mediocrité“ [473] жизни человѣческой, представляетъ собою „человѣка“ („homme“ [474]) въ самомъ „серединномъ“ значеніи этого слова („homo sum et nihil humani alienum mihi est“).

„Voyez Gil-Blas: peut-on imaginer un personnage de roman plus naturel, plus éloigné de toute exagération, plus semblable à l'homme-même? Ce que nous connaissons de sa personne, se réduit à peu près à rien: nous supposons qu'il est joli garçon et bien-fait, puis qu'il plaît généralement; mais voilà tout. En revanche, nous sommes admirablement renseignés sur son caractère. Gil-Bras a des qualités, mais il n'a pas de vertus; il a des défauts, mais il n'a pas de vices. Il boit avec des laquais, mais il n'est pas ivrogne: il expédie les malades qu'il soigne mais, il n'est pas cruel; il fait sa main et pille sans vergogne, mais, il n'est pas avare; il s'amourache d'une comédienne, mais il n'est pas débauché. De même il sauve la vie à une belle prisonnière, mais il n'est pas chevaleresque; il sert honnêtement plusieurs maîtres, mais il n'est pas dévoué; il rend des services, mais il n'est pas généreux; il a parfois des remords, mais il n'a pas de sérieuse repentance. Qu'est-il donc? Il est bien intentionné et faible... Il a une intelligence vive, mais courte et qui ne voit guère au delà de l'interêt présent. Il s'aime trop lui-même; il est présomptueux, vaniteux, un peu fat; mais il est „bon garçon“, et il a des amis [475].

Такимъ образомъ, въ этомъ умѣніи найти „середину“ между идеальными героями Кальпренеда и безпросвѣтными плутами испанскаго романа, кроется разгадка того секрета, которымъ овладѣлъ Лесажъ, рисуя жизнь, какъ она есть, не впадая ни въ идеализацію, ни въ карикатуру. За это его „Жилблаза“ критики согласно назвали первымъ во Франціи „романомъ нравовъ“ [476],

*) Такъ снисходительно относится французская критика къ Жилблазу; я не совсѣмъ согласенъ съ этой точкой зрѣнія. Какъ видно будетъ ниже, Жилблазъ все же нѣсколько ниже средняго человѣка, хотя и безконечно выше героевъ „плутовскаго романа“.

вѣрной картиной современной жизни[477], изображеніемъ жизни человѣка „comme tout le monde[478a]“. По ихъ словамъ, онъ вѣрно воспроизводитъ тогдашнюю французскую жизнь[479], при чемъ не пренебрегаетъ и старымъ пріемомъ—вводить allusions[480].

По признанію критиковъ, реализмъ романовъ Лесажа — „здоровый“, „трезвый“, прибавлю даже, *черезъ чуръ* „трезвый“: „le roman de Le Sage est un roman ou l'on mange, ou l'on sait ce que l'on mange, ou même on aime à le savoir“ [481]. У него не найдемъ мы описаній природы, такъ какъ „sentiment de la nature“ онъ чуждъ[482], но зато онъ обстоятельно описываетъ жанровую сторону жизни,—обстановку, детали быта [483]. Этотъ матеріалистическій характеръ его реализма отмѣчается почти всѣми критиками[484], и въ этой особенности Лесажа готовы нѣкоторые изъ нихъ видѣть даже нѣкоторую односторонность манеры его письма и міросозерцанія.

„Lesage conserve d'ordinaire le sourire fin, mais un peu méprisant ou indifférent de l'observateur qui aperçoit les travers des hommes ou assiste à leurs infortunes sans trop se soucier de les en corriger ou de les en consoler. D'idéal, il n'en a guère, ou s'il en a un, il est placé si bas qu' il pose sur la réalité. D'enthousiasme,—jamais de trace chez cet homme de sang froid“ [485]. Въ чувствахъ его героевъ нѣтъ совсѣмъ „нѣжности“,—оттого ихъ любовь и дружба не имѣютъ въ себѣ никакой поэзіи [486].

Такимъ образомъ, если реализмъ Лесажа и внесъ въ романъ французскій ту жизненность, которая охарактеризована довольно остроумно Claretie въ изреченіи: „Je mange, donc je suis [487], тѣмъ не менѣе, въ его романѣ сильна та односторонность, которая дѣлаетъ его романы бѣдными въ идейномъ отношеніи. Совершенно справедливо по этому поводу замѣчаніе Le Breton'a: „Lesage est un pur Français, et nous ne pouvons, ni ne voudrions le désavouer; son bon sens aiguisé, son inépuisable malice font partie du patrimoine de notre race. Mais qu'il est donc court, ce bon sens „né français“! qu'elle est sèche et froide, cette malice et incapable de créer, d'atteindre à la vraie invention, si le coeur ne vient pas tout élargir et tout féconder! que c'est chose mesquine que le réalisme, s'il ne va pas plus loin que la réalité sensible, s'il n'a nulle ouverture sur l'infini! S'il se borne à noter des faits, et si le sens profond de la vie lui échappe! Tous les critiques nous disent: „Gil-Blas c'est vous, c'est moi, c'est l'image de l'humanité moyenne!“.. Eh! c'est l'humanité, moins ce qu'il y a de poésie et de beauté en toute vie humaine, si humble qu'elle soit, par les

passions et la souffrance. La lecture de *Gil Blas* nous aide à comprendre le succès de Prevost a quelques années de là et l'enivrement provoqué par Jean-Jacques: les railleurs ont de tout temps servi à nous rendre plus chers ceux qui aiment et qui croient" [488].

Вотъ почему и мораль романа не отличается возвышенностью,—она обслуживаетъ „средняго человѣка" и, по характеру своему, очень близка къ морали крыловскихъ басенъ. Между тѣмъ, нравоучительныя тенденціи у Лесажа очень сильны: Claretie говоритъ, что изъ многочисленныхъ сентенцій и афоризмовъ, которые разсыпаны въ изобиліи на страницахъ „Жилблаза", можно составить цѣлый „traité de morale" [489], и далѣе, на нѣсколькихъ страницахъ, онъ цитуетъ наиболѣе характерныя изреченія той „житейской мудрости", которыми своихъ читателей поучалъ Лесажъ [490]. По словамъ Faguet, это—мораль „здраваго смысла" („bon sens") [491], это—проповѣдь земного благополучія („état d'aise") [492]... Впрочемъ, для своего времени, очень беззаботнаго въ вопросахъ нравственности [493], эта мораль была „по плечу" и быть можетъ, была даже необходимой и полезной,—объ этомъ, какъ будто, свидѣтельствуютъ отзывы современной Жилблазу критики: „dans tous les états de la vie où il place son héros, читаемъ въ „Mercure de France", il trouve une source de préceptes très utiles et d'une saine morale" [494]. Lintilhac прибавляетъ къ этимъ словамъ: „on se montre, plus difficile aujourd'hui: on ne conteste pas l'utilité de ces préceptes, mais on n'accorde pas qu'ils soient d'une morale assez *saine*" [495].

Главная мудрость, вынесенная героемъ Лесажа изъ его авантюръ,—это умѣніе сохранить хладнокровіе въ жизни,—смотрѣть на нее, какъ на—„une succession continuelle de bien, de mal, de joie et de chagrin": „Un homme d'esprit est-il dans la misère? il attend avec patience un temps plus heureux" [496],—вотъ, основа его мудрости.

„Non ce livre n'est pas mauvais, говоритъ Morillot; il faut seulement savoir le lire. Le Sage, il est vrai, n'a pas prêché la vertu; mais il a déroulé à nos yeux les leçons de l'experience; il nous a montré, sans indignation superflue, les pétits côtés de l'humaine nature; il nous a fait rire de tout ce qui est ridicule en nous sans nous faire rougir de ce qui est bon, et il nous a donné le conseil très peu héroique, mais en somme utile et sage — de prendre la vie comme elle est, et d'en tirer le moins mauvais parti possible" [497].

Построеніе романа „авантюрное" [498], въ духѣ романа грече-

скаго, съ строгимъ соблюденіемъ единства содержанія [499], съ умѣлымъ расположеніемъ „вставныхъ эпизодовъ“ [500] („récits parasites“). „Fortune“ (и „hasard“) играетъ у Лесажа ту же роль, какъ въ романѣ греческомъ и героическомъ французскомъ [501]; пожалуй, даже здѣсь ей отведена роль болѣе значительная, такъ какъ о власти Бога почти не упоминается въ Жилблазѣ: герой—вѣчная игрушка капризной судьбы, и постоянныя встрѣчи съ нею помогли ему выработать ту своеобразную „мудрость“, сущность которой прекрасно выражена въ его словахъ:

„J'avais tort de me laisser aller à la tristesse: après avoir tant de fois éprouvé que la fortune ne m'avait pas plutôt renversé qu'elle me relevait, je n'aurais dû regarder l'état fâcheux où j'étais, comme une occasion prochaine de prospérité“...

Такой „пассивности“ не было еще у прежнихъ героевъ (греческаго и французскаго романа),—они, если и не боролись со властью судьбы, то хоть „жаловались“ на нее „вслухъ“, въ „монологахъ“ и „вопляхъ“, впадали въ отчаяніе,—Жилблазъ своею спокойною мудростью, своимъ „фатализмомъ“ ихъ превзошелъ *). Таковы и другіе герои Лесажа: всѣ они легко подчиняются капризамъ судьбы и случая: „l'occasion y fait tout, et ses personnages ne font que la subir. Ils n'agissent point, ils sont agis. Tantôt favorable et tantôt adverse, la fortune se joue d'eux, et tout l'emploi qu'ils font de leur volonté, se reduit à revêtir les sentiments ou le caractère de leur condition“ [502].

Именно эта „авантюрность“ построенія и „фатализмъ“ міросозерцанія роднятъ романы Лесажа съ жанромъ псевдоклассическимъ. Оттого я и отнесъ его „Жилблаза“ къ этой группѣ романовъ. Но, кромѣ того, вліянія классицизма насыщаютъ самое содержаніе его произведеній, — въ „Жилблазѣ“, напримѣръ, постоянно встрѣчаются реминисценціи изъ области античной миѳологіи. Правда, чаще всего, Лесажъ этой миѳологіей пользуется въ цѣляхъ пародіи и остроты [503]. Это—черта характерная, которая порою приближаетъ „Жилблаза“, напр., къ тѣмъ, модным, въ то

*) Странно, что въ этой „passivité“ героя нѣкоторые французскіе критики (напр. Brunetière) видятъ „открытіе“ Лесажа и „сущность“ романа: „...comme Corneille avait retrouvé dans le caractère de sa propre volonté la grande loi du théâtre, la loi fondamentale — qui est de nous montrer la volonté de l'homme, luttant contre les circonstances,—Le Sage, ui, a trouvé la loi du roman—qui est de nous montrer les circonstances maitresses de la volonté,—dans une certaine paresse d'esprit et dans une certaine incapacité qu'il avait lui-même de composer“ [503]. Объ этомъ „loi de passivité“ говоритъ и Morillot“ [450].

время. произведеніямъ, въ которыхъ античная старина изображалась въ карикатурномъ, травестированномъ, видѣ.

Психологическій элементъ въ романѣ ярокъ, но неглубокъ [507]. Правда, Лесажъ, подъ вліяніемъ Лабрюейра, Мольера и другихъ указанныхъ выше писателей, сумѣлъ внести „индивидуализацію" въ очертанія души своихъ героевъ [508]: не только Жилблазъ и близкія ему лица, но даже всѣ мелкіе, случайные образы, мелькающіе среди дѣйствующихъ въ романѣ лицъ, живутъ своей особой психической жизнью; все—это портреты, живые и правдивые, совершенно непохожіе на безличныхъ героевъ героическаго романа, — но эта психологія не идетъ глубоко въ души героевъ; ихъ „passivité" исключаетъ возможность глубокой внутренней борьбы, да и души героевъ, сами по себѣ, неглубоки („âmes moyennes") и потому особаго психологическаго интереса собою не представляли. Съ этимъ общепринятымъ мнѣніемъ, впрочемъ, не согласенъ Lintilhac: онъ говоритъ, что анализъ такой души, какою надѣлилъ Лесажъ своего героя, дѣло нелегкое, и выполнилъ его Лесажъ блестяще: „n'est-il pas aussi difficile de reproduire la psychologie d'un homme sain et moyen, comme Gil Blas, que celle d'un névropathe dont la mécanique passion est déjà toute définie d'avance dans les traités de pathologie mentale?" [509].

Стиль романовъ Лесажа отличается ясностью, простотою [510],— онъ совпадаетъ съ разговорной рѣчью, безыскусственной, чуждой манерности и преціозности стараго романа. Оттого Лесажа всѣ считаютъ прекраснымъ разсказчикомъ, живымъ и увлекательнымъ.

Обращаясь къ самому роману, я постараюсь эти мнѣнія французскихъ критиковъ, отчасти подтвердить, отчасти исправить и дополнить.

Какую роль играетъ въ романѣ „судьба", видно, хотя бы, изъ слѣдующихъ примѣровъ:

„Жестокая моя судьбина лишила меня всѣхъ моихъ имѣній" [511]— „mes disgraces m'ont ôté tous mes biens" [512]; „негодовать на лютость моей судьбины" [513]—„me plaindre de la rigueur de ma destinée" [514]; „проклиналъ разъ сто свою судьбину" [515]—„...maudis cent fois mon étoile" [516]; „надобно ополчиться на мою злую судьбу" [517]—„me roidir contre mon mauvais sort" [518]; „нещастія не могутъ меня привесть въ отчаяніе, и я преодолѣваю всегда мой злой рокъ" [519]—„mes disgraces ne m'accablent point; je suis toujours au dessus de la mauvaise fortune" [520]; „моя злая судьбина навела мнѣ сію кручину" [521]—„c'est mon mauvais sort qui me préparoit tant d'ennuis" [522]; „...Жилблазъ, Фортунино игралище" [523]— „Gil-Blas, jusqu' ici le jouet de la fortune" [524]—„немилосердая судьбина, для чего манила ты меня столь льстивою надеждою?" [525]—„impitoyable destinée, pourquoi me repaissois-tu des plus douces espérances" [526]; „поло-

житеся во всемъ на вашу судьбину, которая, повидимому, обѣщаетъ вамъ многія еще приключенія" [527]—„vous livrez à votre étoile, qui selon toutes les apparences, vous promet bien d'autres aventures" [528]; „...надъ которымъ щастіе также ругается" [529]—„un homme en butte comme vous aux caprices de la fortune" [530]; „хотя не безъ того, что, не взирая на нашъ умъ, попадемся, по обычаю упрямаго щастья, въ нерадостныя хлопоты" [531]—„ce n'est pas que, malgré toute notre prudence, l'enchainement des causes secondes ne soit tel quelquefois, qu'il nous arrive de mauvaises aventures" [532]—„я родился на то, чтобы быть мнѣ игралищемъ щастія" [533]—„je suis né pour être le jouet de la fortune" [534]. „О щастіе! вотъ, какъ раздаешь ты, по бо́льшей части, благополучіе! Стоикъ Эпиктитъ справедливо сравниваетъ тебя съ женщиною знатнаго рода, которая не гнушается и рабами" [535]—„o, fortune! voilà comme tu dispenses tes faveurs le plus souvent. Le stoicien Epictete n'a pas tort de te comparer à une fille de condition qui s'abandonne à des valets" [536]. „Я не дамъ щастію играть вами" [537]—„vous ne serez plus le jouet de la fortune" [538].

Изъ всѣхъ этихъ цитатъ, число которыхъ можетъ быть значительно увеличено, видно, что „судьба" („щастье") играетъ въ романѣ Лесажа видную роль; хотя отношеніе къ ней со стороны героевъ, въ большинствѣ случаевъ, „пассивное", но все же иногда, судя по нѣкоторымъ приведеннымъ выше цитатамъ, оно переходитъ и въ попытку борьбы.

Любопытно, что русскій переводчикъ изъ всѣхъ синонимовъ („sort", „destinée", „fortune", „étoile", „disgraces") упорно предпочитаетъ слова: „судьба", „судьбина".

„Классицизма" въ романѣ очень много: авторъ неразъ рекомендуетъ своего героя, какъ человѣка, получившаго основательное классическое образованіе [539]. Герой, подтверждая такую рекомендацію, постоянно ссылается на историческія имена античной старины, вспоминаетъ героевъ, авторовъ; онъ знаетъ хорошо миѳологію и знакомъ съ древней философіей и даже съ древней медициной [540].

Впрочемъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, всѣ эти классическія имена нужны ему для „остротъ". Напр.—

„Прогоноря сіе, обнялъ онъ меня снова и прижалъ къ себѣ столь сильно, что я ожидать долженъ былъ Анфеевой судьбины" [541]—

„...оставивъ свою жену, ушелъ, какъ второй Эней" [542]—

„...яко второй Ганимедъ, заступилъ я мѣсто старой Гебеи" [543]—

„Я не дался подъ иго сему нещастію и поступилъ умнѣе Менелая: ибо, вмѣсто того, чтобъ вооружиться на Париса, которой увезъ у меня Елену, благодарилъ еще ему, что онъ меня лишилъ оной" [544]—

„продолжали мы и лѣчить по прежнему и поступали столь ревностно, что менѣе шести недѣль надѣлали столько вдовыхъ и сирыхъ, сколько было при осадѣ города Трои [545]—

„я почувствовалъ вдругъ движеніе удерживающаго страху, какъ

Гомеровъ герой: ибо остановился съ такимъ смущеніемъ, какъ Парисъ, когда выступалъ онъ сражаться съ Менелаемъ" [546].

„Она слово свое сдержала, и я сдѣлался, наконецъ, Адонисомъ сей новой Венеры" [547].

Вообще „остроты" изобилуютъ въ романѣ [548]. Привожу нѣкоторыя, болѣе характерныя:

„Докторъ, или возъимѣлъ подозрѣніе о тайномъ сходбищѣ, или діаволъ ревности, которой до того не прикасался къ нему, хотѣлъ его мучить, принялъ дерзновеніе хулить нашу музыку" [549]

„...въ самое то время, какъ Купидонъ въ провожаніи забавъ и смѣховъ готовился учинить меня благополучнымъ, услышали мы сильной стукъ у сѣнныхъ дверей, Купидонъ и всѣ его провожатели тотчасъ разлетѣлися, какъ пужливыя птицы"... [550]

„Но дьяволъ, которой насъ всегда искушаетъ, или лучше сказать, имѣетъ насъ въ своихъ рукахъ въ такихъ случаяхъ, нашептывалъ мнѣ, что я буду великой глупецъ, когда останавлюся на такомъ изрядномъ пути" [551].

„Перьвую (актрису) оставила я въ Севиліи въ трудахъ при разставкѣ (т. е. расхищеніи) серебряной посуды молодого золотаря, которому вздумалося для своей суетности имѣть полюбовницею комедіанку" [552]

актеры „...очень походили на двухъ бѣснующихся. Я думала, что когда бы поддержали имъ подъ носъ Эліазаровъ перстень, тобъ выскочили изъ ихъ ноздрей черти! „Боже мой, сказалъ я, товарищу, какая ревность! Какія легкія!" [553]—

„Насилу, сказалъ я самъ себѣ, попался я подъ жолобъ, съ котораго золотой дожжикъ станетъ на меня литься" [554].

„Докторъ приказалъ, чтобъ мы пуще всего не жалѣли ее (воду), то дали мы немедленно выпить съ ряду нашему господину съ три крушки воды. Съ часъ спустя, влили въ него столько же и повторили оное отъ времени до времени съ такимъ усердіемъ, что у протопота въ желудкѣ было цѣлое наводненіе" [555].

„Онъ не изъ числа тѣхъ богомольцевъ, коихъ сухая и блѣдная харя проповѣдуетъ постъ и покаяніе,—у него полное и цвѣтущее лицо, веселой видъ" [556]...

Охотно Лесажъ вводитъ комическія описанія внѣшности [557], разсказы о смѣшныхъ житейскихъ эпизодахъ, о веселыхъ мошенническихъ продѣлкахъ (въ русскомъ переводѣ онѣ названы: „забобоны" [558]; жизнерадостныхъ героевъ [559] романа—„плутовъ", переводчикъ однажды называетъ „пропозами" [560]). Очень живо рисуетъ авторъ сцену веселаго пьянства [561]. Реализмъ всѣхъ этихъ картинъ выражается въ детальности рисунка, въ пересказѣ мелочей жизни [562], подробностей быта, даже жестовъ, игры лица, особенностей костюма [563]... Впрочемъ, нерѣдко эта погоня за реализмомъ переходитъ границы художественности, и авторъ впадаетъ въ грубый натурализмъ [564]—тогда сильнѣе всего сказываются слѣды старыхъ испанскихъ вліяній.

Романъ богатъ типичными образами, въ обрисовкѣ которыхъ много яркаго юмора и правды, иногда впрочемъ сбивающейся на карикатуру.

Изъ такихъ художественныхъ „типовъ“ особенно удались слѣдующіе: священникъ[565], содержатель гостинницы[566], торговецъ лошадями[567], разбойники[568], старый отставной военный[569], недоросль-баловень родителей[570], монахъ[571], алгвазилъ[572], ростовщикъ[573], петиметръ[574], докторъ[575], типъ лукавой дуэньи-сводницы[576], актриса[577], старьевщикъ[578], старикъ-волокита[579], архіепископъ[580], поэтъ[581], нищій[582].

„Общія мѣста“ въ его произведеніяхъ тѣ же, что въ романѣ плутовскомъ: все это—разные виды мошенничествъ, любовныхъ похожденій,—все эпизоды, освѣщенные беззастѣнчивымъ, иногда даже циничнымъ смѣхомъ.

Одинъ герой пытается при помощи насилія овладѣть женщиной[583], другой хочетъ обманомъ прельстить дѣвушку, или представляя изъ себя знатнаго человѣка[584], или облыжно выдавая себя за жениха[585]; героини—подстать героямъ: онѣ всѣ очень податливы и, черезъ посредство старухъ-посредницъ[586], готовы завязывать связь съ первымъ встрѣчнымъ. Какъ героини фацецій и новеллъ, онѣ легко выпутываются изъ самыхъ затруднительныхъ положеній и легко дурачатъ своихъ мужей[587].

Впрочемъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, эти героини—вдовы[588].

Таинственное ночное свиданіе героя въ домѣ дамы,—свиданіе, устроенное услужливой старушкой,—нѣсколько разъ изображается въ романѣ[589].

Очень часто попытка сблизиться съ дамой кончается дуэлью, результатомъ которой бываетъ смерть одного изъ соперниковъ и бѣгство другого[590].

Съ особымъ интересомъ авторъ останавливается на проявленіяхъ любви „ненормальной“—любви лакея къ госпожѣ, старика къ молодой, старухи къ молодому, или молодого къ старухѣ[591].

Часто, ради любовныхъ похожденій, или въ цѣляхъ мошенничества, дѣйствующія лица „переодѣваются“: лакеи—господами, горничныя—госпожами, воры—полицейскими, разбойники—отшельниками[592] и т. п.

Неожиданныя „встрѣчи“, такія же неожиданныя „разлуки“ и „узнанія“—пестрятъ страницы романа[593].

Изъ болѣе драматическихъ „общихъ мѣстъ“ можно отмѣтить, хотя бы, слѣдующія:

Крестьянка подмѣнила барское дитя своимъ,—и лишь передъ смертью созналась въ своемъ дѣяніи, когда дѣти были уже взрослыми[594].

Жена, вслѣдствіе долгаго отсутствія мужа, выходитъ замужъ за другого, а первый мужъ возвращается[595].

Дѣвушка влюбляется въ юношу, онъ—въ нее; онъ оказывается

убійцей ея брата. Этому юношѣ [596] удается впослѣдствіи спасти свою возлюбленную и ея отца изъ рукъ разбойниковъ [597]. Посредникъ въ любовныхъ дѣлахъ измѣняетъ довѣрителю и хлопочетъ за себя; женщинѣ, отвергшей его исканія, ухаживатель мститъ клеветой [598].

Психологіей „любви" авторъ интересуется мало и, въ анализѣ ея, не уходитъ дальше своихъ предшественниковъ *); за то онъ обращаетъ все свое вниманіе на другія „слабости" человѣческой души, и въ этой области его наблюденія неистощимы: всѣ виды разныхъ чудачествъ-маньячествъ, всѣ оттѣнки „семи смертныхъ грѣховъ" вырисовываетъ онъ въ своихъ безчисленныхъ портретахъ.

Изъ „героическаго романа" заимствовалъ Лесажъ такія „общія мѣста", какъ „буря на морѣ", „нападеніе" морскихъ разбойниковъ", „рабство" [603], „любовь знатной турчанки къ рабу" [604]; „обмороки" идеальныхъ героинь [605] и постриженіе въ монастырь дѣвушки, какъ слѣдствіе мученій ея совѣсти послѣ паденія [606].

Психологическій анализъ производится различно: или сообщаются факты и рѣчи дѣйствующихъ лицъ,—и по нимъ читатель долженъ догадаться о психикѣ героевъ,—или трудъ читателя облегчается введеніемъ монологовъ и разговоровъ героя „съ самимъ собой" („говорилъ самъ въ себѣ")—или душевныя настроенія просто раскрываются самимъ авторомъ.

Напр.:

„Неужель то, говорилъ я, сей плутъ токмо надо мною насмѣялся? Онъ не успѣлъ и на улицѣ двухъ словъ переговорить съ хозяиномъ, а уже провѣдалъ отъ него всѣ мои обстоятельства и, ежели дѣло разсмотрѣть точно, то они и оба обмануть меня такимъ образомъ постарались. О, бѣдной Жилблазъ! Какъ тебѣ со стыда на свѣтъ показаться, то ты симъ плутамъ подалъ причину такъ надъ собою насмѣхаться?" [607].

„Очень изрядно, сказалъ я тогда самъ въ себѣ, такъ какъ мнѣ надобно ждать токмо цѣлые три часа. По крайней мѣрѣ, не станутъ жаловаться на мою неисправность. Что дѣлать мнѣ теперь до полуночи?" [608].

„О небо! говорилъ я самъ въ себѣ, для чего отважился я проболтать сію безчастную басню, которая Министру не полюбилася. Можетъ быть, былъ онъ уже намѣренъ вывесть меня изъ бѣдности [609] и т. п.".

Герои въ романѣ, по преимуществу, самаго демократическаго происхожденія; если и дѣйствуютъ въ романѣ также короли, принцы,

---

*) Влюбляются у него „сразу" [599]; любовь легко переходитъ въ ненависть [600]; отвергнутая любовь ведетъ къ самоубійству [601]; чувство ревности ведетъ къ дуэлямъ, иногда кровавымъ, или даже убійствамъ [602].

герцоги, графы и вообще самая изысканная придворная аристократія, то не на эту среду обращено особое вниманіе автора: его любимые герои, по бо́льшей части,—или люди, „непомнящіе родства“, или самаго невиднаго происхожденія... Такъ, мать Жилблаза исполняетъ обязанности „горничной служанки“,—отецъ занимаетъ какую-то странную должность „женскаго надзирателя“ („écuyer“)[610]. Высокими душевными качествами эти любимые герои Лесажа, какъ я уже говорилъ, тоже не отличаются. Вотъ почему нужно хорошо вооружиться національными пристрастіями, чтобы въ Жилблазѣ увидѣть „homme, comme vous, comme moi, comme tout le monde“. Правда, онъ головой выше, въ нравственномъ отношеніи, почти всѣхъ своихъ товарищей, — самыхъ безнадежныхъ picaros,—но все же герой Лесажа стоитъ ниже „средняго человѣка“: онъ не гнушается ролью сводника[611], готовъ идти на содержаніе къ платной красавицѣ; онъ не прочь схитрить[612], украсть, любитъ надуть своего ближняго[613], да еще надъ нимъ посмѣяться. При всемъ томъ, онъ наивенъ[614], довѣрчивъ[615], легкомысленъ[616] до того, что можетъ забыть о существованіи отца и матери, умирающихъ съ голода[617], тщеславенъ[618], нахаленъ и очень трусливъ[619]. Лишь изрѣдка, совершенно неожиданно для себя, вдругъ чувствуетъ онъ приливъ какой-то непонятной жалостливости[620] къ страданіямъ ближняго. Впрочемъ, подвиги его служенія ближнему отличаются какой-то случайностью[621]: нападаютъ трое на одного—онъ лѣзетъ въ драку, защищая одинокого бойца, котораго потомъ готовъ самъ надуть, или обокрасть *).

Относительно „совѣсти“ онъ довольно безпеченъ,—она начинаетъ „говорить“ съ нимъ лишь подъ конецъ его авантюръ[622]. Вообще, подъ конецъ своей жизни, онъ (и нѣкоторыя его друзья) набирается „житейской мудрости“, отстаетъ отъ своихъ „воровскихъ замашекъ“[624], обращается въ мирнаго буржуа и достигаетъ той „мирной пристани“ земного благополучія, о которомъ напрасно мечталъ гоголевскій Чичиковъ,—зажилъ семейнымъ счастьемъ и дѣтямъ оставилъ „честное имя“. Характерной чертой и Жилблаза, и его компаньоновъ (разбойниковъ, воровъ, плутоватыхъ лакеевъ, актрисъ, горничныхъ)—это неистощимый запасъ веселости,—они всегда шутятъ, всегда бодро смотрятъ въ глаза „судьбѣ“, легко мирятся съ несчастіями жизни и на все въ мірѣ смотрятъ съ лукавымъ скептицизмомъ, порой даже цинизмомъ...

---

*) Лучше всего такое отношеніе къ жизни выражено въ словахъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ: „я столько же готовъ сдѣлать доброе дѣло, какъ и худое“[623].

„Житейская мудрость“, которую завоевываютъ герои Лесажа путемъ всевозможныхъ испытаній, выражается въ обильныхъ сентенціяхъ, которыя то носятъ характеръ нравоученія, то просто сбиваются на изреченія [625]; напр.—

„Опасайтесь впредь лишнихъ похвалъ и не вѣрьте людямъ, которыхъ вы не знаете“ [626].

„Льстецъ можетъ во всемъ отважиться у знатныхъ господъ; они слушаютъ и самую лесть съ радостію“ [627].

Въ романѣ Лесажа современная ему жизнь, общественная и историческая, обрисована реально и ярко: порою исторія вступаетъ въ полныя права, и тогда вихрь событій историческихъ захватываетъ героевъ романа [628]. Авторъ охотно рисуетъ характерныя картины того времени,—напр., обрядъ сожиганія инквизаціей преступниковъ [629], придворныя интриги; охотно вводитъ тѣ galantes aventures, что при дворѣ развертывались на почвѣ фаворитизма. Онъ рѣзко, хотя и съ юмористической точки зрѣнія, осуждаетъ тогдашнюю полицію и судопроизводство [630], лицемѣріе духовенства и зло придворной жизни [631].

Построеніе его романа то же, что и въ старомъ героическомъ романѣ. „Вводными эпизодами“ пользуется Лесажъ широко [632], при чемъ иногда въ эти вставные эпизоды вплетаетъ новые [633]; иногда эти „эпизоды“ прерываетъ изложеніемъ романа.

Описанія въ романѣ Лесажа обстоятельны и детальны только тогда, когда онъ говоритъ объ обстановкѣ [634] дома, объ его внѣшности, объ искусственныхъ садахъ-паркахъ [635], о костюмахъ и внѣшности героевъ. Но у него нѣтъ совсѣмъ описаній безыскусственной природы. Привожу, для примѣра, бѣдные образчики тѣхъ мѣстъ, гдѣ у Лесажа сказалось это отсутствіе Naturgefühl.

„Лишь только стало разсвѣтать [636]. „Какъ скоро день насталъ [637], „застигла насъ заря“ [638]; „болѣе половины дня прошло, и ночь готовилася уже покрыть деревья своими черными крылами“ [639].

Авторъ сознательно отказывается давать „пейзажи“ въ своемъ романѣ,—ему, матеріалисту, претитъ всякая поэтизація природы; въ этомъ „искусствѣ“ описывать красоты природы онъ видитъ ненужную ложь.

„...возстала ужасная буря. Въ семъ мѣстѣ моей повѣсти имѣлъ бы я случай учинить изрядное описаніе штурма,—сколь шумѣлъ воздухъ, какіе были жестокіе громовые удары, съ какимъ свистомъ дулъ вѣтеръ, какъ высоко поднималися волны и проч. Однако, оставя всѣ сіи витіеватыя прикрасы, объявляю токмо, что буря была сильная“ [640]. „Вспомнивъ, что господинъ Тордезилласъ описалъ мнѣ прелестно

поле, смотрѣлъ я на оное. Слова его были несогласны съ дѣломъ. Эрема, которую почиталъ я, по крайней мѣрѣ, во сто кратъ лучше, нежели рѣку Таго, была малой ручеекъ. *Цвѣтущіе берега* сего источника украшали кранива и терновникъ, а на *прекрасной долинѣ*, которую хозяинъ столь выхвалялъ, видны были, по большой части, безплодныя и непаханныя поли... Конечно, не находился я въ той пріятной задумчивости, которая представила бы мнѣ сіи мѣста со всѣмъ инако" [641].

Изъ приведенныхъ выше образцовъ ясно опредѣлились достоинства языка перевода—живой, разговорный, гибкій, онъ приблизился къ разговорному и освободился отъ тяжелыхъ славянизмовъ: Лесажъ не только французовъ, но и русскихъ писателей, заставилъ ихъ литературный языкъ приблизить къ жизни *).

Характерной особенностью романа Лесажа надо признать и, обычный у него, пріемъ вкратцѣ намѣчать содержаніе каждой главы. Напр.:

„О случившейся великой перемѣнѣ въ домѣ Вицента и о странномъ намѣреніи, къ которому принудила любовь прекрасную Аурору". „Что дѣлала Аурора по пріѣздѣ своемъ въ Саламанку", „Какого сложенія была Маркиза Шавесъ и кто къ ней, обыкновенно, приходилъ"— „О сказанной Жилблазу вѣсти, коею его поразило, какъ громомъ". Иногда эти обозначенія содержанія обращаются въ простыя „заглавія": „Исторія Лаурина", „Исторія Дона Гастона де Коголласа и Доны Елены де Галистенъ". Иногда авторъ шутитъ съ читателемъ, обманывая его желаніе узнать содержаніе новой главы. Такъ, напр., онъ обозначаетъ: „глава 10, которая не болѣе прежней" [644].

Какъ ни близокъ романъ Лесажа къ роману плутовскому, тѣмъ не менѣе, и вліянія псевдо-классическаго героическаго сказались очень сильно на немъ не только въ построеніи, въ ремиисценціяхъ классицизма и въ употребленіи другихъ „общихъ мѣстъ", но и въ сценахъ, гдѣ дѣйствуютъ герои не изъ того круга, къ которому принадлежалъ Жилблазъ и его друзья. Я отмѣчалъ уже, что тамъ, гдѣ выведены Лесажемъ идеальныя героини—и тонъ разсказа мѣняется (появляются „слезы", „обмороки", „монастыри"),— мѣняется и стиль: изъ живого, разговорнаго онъ повышается до приподнятаго, патетическаго...

4.

Выше было уже указано, что главнымъ „недостаткомъ" романовъ Лесажа было отсутствіе въ нихъ того „идеализма", кото-

*) Оттого, быть можетъ, переводчикъ русскій употребляетъ вульгаризмы: „пропозы", „забобоны", „сбирать" пошлину съ проѣзжихъ= грабить [642]; „подъяческіе крючки" [643] и пр.

рый облагораживаетъ жизнь, возвышаетъ душу, вноситъ что-то „поэтическое“ въ обыденную прозу будничной жизни: герои Лесажа—слишкомъ „земные“ герои; отъ земли и ея интересовъ они не отрываются, только ими наполняютъ свою скудную душу. Сопоставляя героевъ Лесажа съ героями Прево, французскіе критики отдаютъ предпочтеніе послѣднимъ,—они говорятъ, что Прево восполнилъ этотъ существенный пробѣлъ Лесажа, мѣшавшій его произведеніямъ сдѣлаться „совершенными“ [645].

Не входя въ обсужденіе вопроса о степени художественнаго совершенства произведеній обоихъ писателей, я останавливаюсь лишь на этомъ указаніи, характерномъ и любопытномъ,—Прево сумѣлъ реализмъ, завѣщанный ему Лесажемъ, сочетать съ тѣмъ идеализмомъ, который тоже былъ традиціоннымъ въ разбираемой нами группѣ „героическаго романа“: въ результатѣ, онъ сумѣлъ, по словамъ Schroeder'a: „allier la notation exacte des faits et la poésie, qui les transfigure, l'expérience personnelle, et l'étude générale de l'âme humaine“,—ему, вслѣдствіе этого, удалось—„satisfaire notre intelligence et notre imagination, mieux combiner et d'une main à la fois, plus ferme et plus souple, deux elements qu'on ne rencontre pas toujours ensemble: l'idéal et la realité“ [646].

Эта особенность его произведеній заставляетъ французскихъ критиковъ отводить ему среднее мѣсто между старыми романистами, въ родѣ Кальпренеда, Лафайетъ, Фенелона и Лесажа—и новыми въ родѣ Ричардсона, Руссо и Гете (Вертеръ) [647]. Такимъ образомъ, онъ представляетъ собой итогъ старой исторіи французскаго романа и начало новаго,—того, который перейдетъ за предѣлы XVIII-го вѣка и захватитъ XIX-ое столѣтіе *).

Къ Кальпренеду и Скюдери Прево примыкаетъ своимъ идеализмомъ,—недаромъ его герой „Маркизъ Г**“ къ лучшимъ книгамъ причисляетъ романы этихъ старыхъ писателей [649]: у нихъ учились герои Прево умѣнію любить „на всю жизнь“ и честно относиться къ „дружбѣ“,—учились тому рыцарству, которое дѣлало ихъ въ жизни покровителями слабыхъ и угнетенныхъ. Отъ героевъ Кальпренеда и Скюдери позаимствовались они и многими другими характерными чертами,—они, въ такой-же мѣрѣ, являются игрушками въ рукахъ капризной „судьбы“, съ которой бороться у нихъ нѣтъ силъ [650]. Оттого, вѣроятно, и жизнь ихъ поразительно сходна: Прево отъ старыхъ мастеровъ унаслѣдовалъ

*) Любопытно, что, говоря о Прево, французскіе критики, перебирая крупнѣйшія литературныя произведенія XIX-го вѣка, съ нимъ связанныя, добираются и до романовъ Л. Толстого („Анна Каренина“ [648]).

авантюрное построеніе ихъ произведеній, — оттого герои его подвергаются всѣмъ тѣмъ приключеніямъ, отъ которыхъ, въ свое время, страдали герои стараго романа: бури, кораблекрушенія, морскіе разбойники, рабство, разлука и свиданія, „узнаніе",—вотъ, тѣ „общія мѣста" стараго романа, которыми богаты и романы Прево[651]. Онъ только, въ этомъ отношеніи, является бо́льшимъ художникомъ: надѣленный богатымъ воображеніемъ и даромъ изобрѣтательности, онъ умѣетъ эти старыя, избитыя мѣста воодушевить красочностью и живостью изложенія[652] *). Кромѣ того, въ приключенія своихъ героевъ онъ вноситъ такіе „ужасы"[653], которые и не снились его учителямъ, и которые впослѣдствіи, въ XIX-омъ столѣтіи, повторяются и развиваются лишь въ авантюрныхъ романахъ Дюма и Жюль Верна[655]. Вотъ почему его романы французская критика сравниваетъ то съ трагедіей, то съ мелодрамой[656].

Подобно романамъ Кальпренеда и Скюдери, и его романы „эротическіе", — и въ нихъ необъятна ширина географическая (съ наклонностью къ экзотикѣ) и этнографическая[657]; охотно вноситъ онъ и историческій элементъ[658]; размѣры романа у него опять выростаютъ[659].

Композиція его произведеній, во многихъ отношеніяхъ, та же, что и указанныхъ писателей, — такъ, онъ охотно пользуется „вводными эпизодами"[660]; — наконецъ, у него нѣтъ еще Naturgefühl[661], что̀ выражается въ отсутствіи пейзажей[662].

Но въ его романахъ уже нѣтъ аристократизма: его герои— часто мелкіе дворяне; общество, въ которомъ они вращаются, частенько смахиваетъ на „богему"[663]. Романы его лишены и того оптимизма, который въ старыхъ романахъ выражался въ многочисленныхъ свадьбахъ, вѣнчающихъ страданія героя,—развязка романовъ Прево, обыкновенно, печальная[664],—въ этомъ отношеніи, его произведенія всецѣло примыкаютъ къ повѣстямъ Лафайетъ и

---

*) „Quel mouvement, quelle fièvre dans les récits de Prévost! Ses héros sont saisis dans un tourbillon, emportés dans une course à l'abîme. Nul raisonnement, nul avertissement ne les arrête; en vain les obstacles s'accumulent et naissent sous leurs pas; en vain ils se heurtent à la haine d'un rival, aux volontés d'un père, à des préjugés de caste, aux lois fondamentales de la societé: ils vont, et la mort seule peut leur dire: halte-là! L'action parcourt l'univers entier, et ce ne sont partout qu' évanouissements, pleurs de joie, cris de douleur, prises de voile, meurtres ou suicides... Une heure après le mariage si nous voyons l'épouse évanouie et l'époux à terre dans une mare de sang, n'en soyons pas surpris: c'est le train, ordinaire des récits de Prevost" [654],—говоритъ Le Breton.

ся группы. Къ этимъ послѣднимъ писателямъ близокъ Прево и своимъ пониманіемъ чувства „любви". У него эта „любовь" не похожа на ту, которую изображали Кальпренедъ и Скюдери, — герои Прево являются жертвами „страсти" [665], всесильной и непобѣдимой: эта страсть—что-то фатальное [666], и у человѣка нѣтъ воли бороться съ нею [667], нѣтъ власти заключить ее въ узкія рамки „галантности" и „преціозности"... Въ этомъ отношеніи, свободное, живое чувство [668] лицъ, дѣйствующихъ въ его романѣ, заставляетъ вспоминать уже героевъ Руссо, Гете [669] *).

Слѣдуя за Лафайетъ и писателями, къ ней примыкающими, онъ „любовь" представилъ чѣмъ-то въ родѣ болѣзни, таинственной и загадочной: это—„une sorte de coulant magnetique", „un—je ne sais quoi" [671],—сила, которая сразу навсегда покоряетъ сердце [672], и только смертью кончается ея тираннія.

Такая любовь всегда несетъ „несчастье" герою, такъ какъ она вноситъ въ его жизнь непобѣдимое „ирраціональное начало" („désordres de l'amour", „égarements du coeur" etc.). Вотъ почему въ романахъ Прево встрѣчаются конфликты, напоминающіе тѣ, что̀ встрѣчаются у писателей школы Лафайетъ: героиня влюбляется въ женатаго [674]; герой влюбляется въ жену брата [675] и пр. Въ обрисовкѣ разныхъ оттѣнковъ любви, автору приходится наталкиваться на очень тонкія положенія [676], встрѣчаться съ неясными, неопредѣленными состояніями сердца [677]; у старыхъ романистовъ мы не встрѣчали такой тонкости и сложности проблеммъ.

Съ произведеніемъ Фенелона (отчасти и Лесажа) связаны романы Прево единствомъ цѣли—оба писателя преслѣдуютъ „noble but" [678],—показать, какъ очищается постепенно, подъ гнетомъ испытаній, „средній человѣкъ", хорошій, но слабый,—какъ умудряетъ его жизнь... Недаромъ герой Прево, зачитывается „Телемакомъ"—для него романъ Фенелона—„вождь по жизни" [679].—Немудрено, что между ними оказывается большое сходство: герою приходится самому играть роль Ментора при своемъ воспитанникѣ [680]. Вліяніе „Телемака" на романахъ Прево сказалось и въ разныхъ деталяхъ, и въ отдѣльныхъ эпизодахъ [681], наконецъ, во введеніи элемента политики [682].

---

*) „Quel chemin parcouru par les héros de roman, en moins d'un siècle! Ils n'aiment plus suivant les lois du code d'amour: ils n'écrivent ni madrigaux, ni bouts-rimés; ils ignorent „Petits-soins" et „Billets galants"... Mais ils se sont enfoncés hardiment dans ces mystérieuses *Terres inconnus*, devant lesquelles les voyageurs du pays de Tendre s'arrêtaient épouvantés" [670],—говоритъ Morillot.

Съ „Жилблазомъ“ Лесажа романы Прево связаны своимъ демократизмомъ[683] и пестротой приключеній. Подобно Лесажу, Прево выводитъ попутно много типовъ; между ними есть такіе, что смахиваютъ на picaro: такъ, въ жизни героя большую роль играетъ Манонъ,—граціозный, изящный образъ облагороженной героини фацецій, плутовскихъ романовъ, произведеній Лесажа... Въ самой манерѣ „морализировать“ Прево близокъ къ Лесажу: онъ не желаетъ „учить читателя“—онъ только рисуетъ жизнь своего героя, тонущаго „въ морѣ несчастій“: „l'intention morale de l'auteur,— говоритъ Morillot, apparaît d'une façon plus explicite encore dans *l'Avis au lecteur:* „Le public verra dans la conduite de M. Des Grieux un exemple terrible de la force des passions“,—et Prévost explique comment, tout en représentant le vice, il n'enseigne point, et il se propose, tout au contraire, de découvrir par l'exemple „de ce jeune homme faible et aveugle et de cette jeune fille corrompue“ tous les dangers du dérèglement“[684]. Такъ же морализировалъ и Лесажъ. Путемъ ошибокъ и паденій всѣ эти „средніе“ люди („âmes moyennes“),—герои Фенелона, Лесажа и Прево, приходятъ къ „тихой пристани“, умудренные жизнью...

Сходство съ Лесажемъ у Прево выражается даже въ нѣкоторыхъ недостаткахъ построенія[685]: у обоихъ авантюры часто являются нанизанными по прихоти авторовъ и часто не вытекаютъ логически изъ идеи произведенія, изъ характера дѣйствующихъ лицъ; число ихъ можетъ быть увеличено и уменьшено,—и это не отразится существеннымъ образомъ на внутреннихъ достоинствахъ произведеній. „Ame ardente et passionnée, il dédaigne toute discipline et n'écoute que son caprice. Il ignore l'art de grouper les faits, de les précipiter ou de les ralentir à propos, il allonge et délaie. Après s'être perdu en mille digressions, il reprend aussi, péniblement le fil de son recit que Le Sage et Marivaux. Les épisodes interculés sans discernement dans la trame du roman, en alourdissent la marche en compromettant l'intérêt“[686],— говоритъ Schroeder.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что романы Прево, дѣйствительно, занимаютъ среднее мѣсто между романомъ новымъ и старымъ,—представляютъ собою любопытный итогъ прежней исторіи французскаго романа,—а съ другой стороны, уже открываютъ путь „новому“ роману. Въ этомъ отношеніи, Прево пришлось сказать то „новое“, что не было еще сказано (по крайней мѣрѣ, такъ опредѣленно) его предшественниками.

Прежде всего, по указанію историковъ, романы Прево насы-

щены впечатлѣніями его личной жизни, бурной и мятежной[689]. Правда, въ нихъ Wahrheit довольно прихотливо смѣшана съ Dichtung'омъ[690]: богатое воображеніе автора украсило дѣйствительность прихотливыми цвѣтами пылкой фантазіи,—но все-же фактъ остается фактомъ: въ герояхъ его романовъ историки узнаютъ его самого. Впослѣдствіи за нимъ, по этой дорогѣ поэтическихъ confessions, пойдутъ и Руссо, и Гете...

Этотъ автобіографическій характеръ произведеній Прево и внесъ въ его романы ту страсть, ту живость, которыя захватываютъ читателя... Онъ часто рисуетъ современную жизнь; дѣйствіе его романа то разбрасывается по всѣмъ концамъ міра, то сосредоточивается въ Парижѣ, Лондонѣ—такихъ, какими они въ его время были на самомъ дѣлѣ—съ грязью на улицахъ, съ шумной пестрой толпой, съ полицейскими, съ тѣми драмами, крупными и мелкими, которыя связаны были съ жизнью большихъ городовъ... Это и былъ тотъ жизненный реализмъ, съ яснымъ тяготѣніемъ къ couleur locale[691], который намъ знакомъ благодаря литературѣ XIX-го вѣка, но который былъ еще новостью для читателей середины XVIII-го столѣтія.

Главные интересы Прево—„cultiver coeur", прислушиваться къ „voix de coeur"[692], сводятся къ наблюденію „души" человѣческой[693],—наружность героевъ его интересуетъ меньше; у него герой можетъ быть безобразенъ по внѣшности, но онъ съ любовью займется его душой и найдетъ тамъ красоты духовныя[694]. Онъ не боится выбрать героиней падшую дѣвушку, очаровательную обманщицу,—типъ, напоминающій Карменъ и героинь Лесажа—и, наблюдая за жизнью ея души, онъ, самъ того не замѣчая, приведетъ ее къ моральному возрожденію[695].

Если въ способахъ морализировать онъ сходится съ Лесажемъ, то самая мораль его—совсѣмъ иного пошиба... Кальпренедъ, Скюдери, Лафайетъ рисовали высоконравственныхъ героевъ, которые импонировали своей добродѣтелью, возвышали и укрѣпляли душу читателя,—Прево рисуетъ героевъ слабыхъ, но внушающихъ къ нимъ любовь и сожалѣніе,—въ этой гуманности—смыслъ его новой морали: „si rien n'est meilleur que de nous faire aimer ceux qui savent vouloir et qui restent forts, n'est-il pas bon aussi de nous rendre miséricordieux à ceux qui tombent et la plus belle morale, après celle du devoir n'est-elle pas elle de la pitié?"[696] — спрашиваетъ Le Breton. И въ этомъ отношеніи Прево приблизился къ новому „христіанскому" роману, мораль котораго основана на „любви къ ближнему". Склоняясь передъ

„le droit divine de passion“ [697], признавъ „désaccord qui existe entre les instincts de notre nature et les exigences de la loi humaine ou divine“ [698],—Прево принужденъ былъ признать и эту христіанскую мораль. И это очень характерно для того времени, когда жилъ и писалъ Прево: тогда существовали двѣ морали: одна — наслѣдіе средневѣкового аскетизма, — другая, занесенная эпохой Возрожденія: одна все отдавала Богу и отрекалась отъ земли, другая—служила только человѣку. Представителями первой были „янсенисты“, — второй — „философы“ [699]. Прево прошелъ между ними по серединѣ, избѣгнувъ крайностей обоихъ міровоззрѣній.

Онъ любитъ своихъ героевъ, страдаетъ вмѣстѣ съ ними, вмѣстѣ съ ними „плачетъ“ [700] — оттого такъ заразительны слезы его героевъ, — оттого романы Прево „печальные“ [701], но печаль эта возвышенна и свѣтла, такъ какъ она выливается изъ сердца, встревоженнаго любовью къ ближнему *).

Въ своихъ романахъ Прево расширилъ тѣ предѣлы, которыми его предшественники ограничивали въ своихъ произведеніяхъ изображеніе человѣческой жизни, — онъ смѣло перешагнулъ тѣ границы, которыя псевдоклассическія теоріи отводили искусству. „Le monde est plus grand, le beau plus complexe, moins pur, plus vaste, qu'on ne le croyait au temps de Boileau: et Prévost est un des premiers écrivains qui l'aient senti“ [703].

Онъ, напримѣръ, первый ввелъ въ романы изображеніе „смерти“ [704],—псевдоклассики и въ драмѣ, и въ романѣ, смерть, обыкновенно, прятали за кулисы, удаляли ее изъ поля зрѣнія читателя и зрителя, —вліяніе античнаго міра сказалось въ такомъ отношеніи къ послѣднему акту человѣческой жизни. Введеніе „смерти“ въ предѣлы изящной литературы было завоеваніемъ христіанскаго міровоззрѣнія.

Наконецъ, онъ глубже своихъ предшественниковъ заглянулъ въ жизнь, и въ ней увидѣлъ то „серьезное“ и „таинственное“ [705], чего не увидѣли они. Въ этомъ отношеніи, по словамъ Le Breton'a, онъ началъ то великое дѣло пониманія глубинъ жизни, которое продолжали послѣ него Шатобріанъ, Гюго, Флоберъ, Мопассанъ и Л. Толстой [706]. Вотъ почему въ вѣкъ самоувѣреннаго раціонализма и матеріализма онъ представляетъ собою интересное исключеніе. По словамъ Le Breton'a—„Il y a supériorité

*) „De nos jours, on a cru faire un grand éloge de *Gil Blas* en disant que c'est „le premier roman où l'on mange“. Il y a un plus bel éloge à faire des siens: „ils sont les premiers qui aient fait pleurer“ (Le Breton) [702].

d'esprit à reconnaitre que nous vivons au milieu de l'inconnu et du mystère, et que la réalité sensible, n'est pas toute la réalité. Qu'on est vite las, excédé du commerce de ces soi-disant esprits forts, si nombreux au siècle de Prévost, pour qui il n'y a point d'inconnaissable et qui se piquent de tout expliquer! „Dieu, l'homme, la nature, il a tout expliqué"—dit l'inscription qui a tour à tour servi pour le buste de Buffon et pour celui d'un Delisle de Sales... Prevost a moins d'orgeuil: pour lui, le mystère est partout dans la vie, nous enveloppe, naît à chacun de nos pas" [707].

Наконецъ, „новизной" литературной былъ „стиль" Прево,—въ него вложилъ авторъ всю страсть своей мятежной души и глубокую музыкальность своихъ чувствъ сообщилъ ихъ словесному выраженію. Эту черту Прево отмѣчаютъ всѣ критики и, въ этомъ отношеніи, тоже связываютъ его съ Руссо [708].

Еще до знакомства съ романами Ричардсона Прево написалъ всѣ свои главные романы, по типу своему приближающіеся къ „англійскимъ". Быть можетъ, его произведенія отчасти были результатомъ тѣхъ же предшествующихъ вліяній, что и романы Ричардсона,—это вполнѣ допустимо въ виду хорошаго знакомства Прево съ Англіей, ея бытомъ и литературой. По словамъ французскихъ критиковъ, Прево „открылъ Англію" и заразилъ „англоманіей" литературу континента [709].

Обращаюсь, послѣ этой общей характеристики, къ болѣе детальному анализу его романа: „Приключенія Маркиза Г*" [710]—одной изъ самыхъ популярныхъ книгъ въ русской литературѣ, удостоившейся въ XIX ст. критики Бѣлинскаго, дожившей въ лубочныхъ изданіяхъ до нашихъ дней...

Въ романѣ Прево самосознаніе „личности" играетъ главную роль, потому и на значеніе „судьбы" авторъ старается установить особый взглядъ: судя по словамъ предисловія, онъ полагаетъ, что его герой *преодолѣваетъ* *) всѣ гоненія рока. Хотя содержаніе романа и не оправдываетъ такого взгляда,—герой, безвольный и слабый, остается до конца своихъ дней „игрушкой" въ рукахъ „капризной" судьбы, тѣмъ не менѣе, такая новая точка зрѣнія на „судьбу" цѣнна. Очевидно, эта сила, въ глазахъ писа-

*) Въ предисловіи читаемъ: „есть такіе люди, которые... столько тверды, что могутъ волненію разгнѣваннаго щастія довольно сопротивляться; или, по крайней мѣрѣ, сносить великодушно его непріязненныя нападенія. Сіи люди называются людьми великими... Ничто ихъ поколебить не можетъ, и ничто не сводитъ ихъ съ пути, ведущаго къ добродѣтелямъ" [711].

телей, уже начинаетъ играть второстепенную роль—что̀ свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ перемѣщеніи симпатій отъ стараго псевдоклассическаго романа къ роману „англійскому“. Впрочемъ, повторяю, такое коренное измѣненіе литературнаго міросозерцанія относится у Прево только къ области авторскихъ желаній и не оправдывается на дѣлѣ.

На самомъ дѣлѣ, и „судьба“, и „небо“ у него, по прежнему, играютъ роль „вершителей“ жизни человѣка.

„Случай насъ не напрасно соединилъ“ [712]—„ce n'est pas le hazard qui nous a réuni“ [713]; „милосердное небо предуготовило“ [714] — „le Ciel me procure“ [715]; „не уповаю я, чтобъ успѣли уже и они испытать злость немилосерднаго рока“ [716]—„car je m'imagine qu'ils n'ont jamais connu la douleur autrement“ [717]; „въ Мадритѣ испыталъ въ короткое время все, чѣмъ можетъ жестокой рокъ въ свирѣпости своей поразить молодого человѣка“ [718]—„il n'eût effuyé à Madrid un de plus funestes accidens du monde“ [719].

„Создатель съ безконечною властію всѣмъ тѣмъ обладаетъ, что происходитъ отъ рукъ его: хотя нѣкоторое время и дозволяетъ онъ намъ тѣмъ пользоваться, но при томъ удерживаетъ себѣ право, чтобъ быть самовластнымъ господиномъ всему, что сотворено имъ“ [720]—„Le Créateur exerce un empire absolu sur tout ce qui est sorti de ses mains; s'il nous en accorde un usage passager, c'est en se réservant toujours le droit d'en disposer en maître“ [721]. „Разгнѣванное небо, ругаясь попеченію моему, изрыло подъ ногами моими пропасть, въ которую безъ избавленія едва я не низвергся“ [722]—„La colere du Ciel se rioit de mes soins et creusoit sous mes pas un abîme, où j'étois prêt de tomber pour n'en sortir jamais“ [723]. „Клялъ долго немилосердую свою судьбу“ [724]—„après m'être encore affligé long-tems sur le miserable état de ma fortune“ [725]; „гоненіемъ рока въ низость приведенъ“ [726]—„la fortune me réduisoit aux mêmes abbaissemens“ [727]; „естьлибъ Предвѣденіе божественное, милосердствуя къ намъ, насъ не спасло“ [728]—„...si la Providence n'eût veillé sur nous [729]; „винила небеса злополучіемъ своего рока“ [730]—„...accuser le Ciel de sa malheureuse destinée [731]; „я рожденъ къ особливымъ приключеніямъ и долженствовалъ претерпѣть разныя гоненія судьбы“ [732]—„...j'étois né pour les avantures, et j'en avois bien encore à effuyer avant que de devenir tranquille“ [733]; „весьма печаянный случай, сіи сладкія воображенія превратя въ горестныя чувствія, все щастіе и лестную мою надежду на вѣки погубилъ“ [734]—„...un coup fatal et imprévu a détruit une si douce attente, et renversé pour jamais mon bonheur et mes espérances...“ [735]. „Судьба моя, какъ въ добрѣ, такъ и злѣ мнѣ случающемся, никогда умѣренности не наблюдаетъ“ [736]—„...la fortune n'a jamais gardé de mesures dans le bien et le mal, qu'elle m'a fait“ [737]; „какую иную притчину могу я тому приписать кромѣ власти враждебнаго рока и своихъ собственныхъ достоинствъ“ [738]—„quelle autre raison puis-je vous donner, que la force de mon étoile et votre propre mérite“ [739]; „удивлялись мы щастливой судьбѣ, установительницы нашего знакомства“ [740]—„combien de fois admirâmes-nous l'heureux hazard

qui avoit produit notre connoissance" [741]; „тому не препятствовала враждебная судьба" [742]—„si ma mauvaise fortune ne les eût entièrement dérangés [743]; „небо сжалившись" [744]—„si le Ciel n'eût veillé a mes secours" [745]; „рокъ все то перемѣнилъ" [746]—„la Fortune en disposa autrement" [747]; „жаловаться на судьбу, которая довольно жестокость свою засвидѣтельствовала надъ нами" [748]—„nous plaindre aussi de la fortune" [749]; „нещастной рокъ" [750]—„ma mauvaise étoile [751]; „никто сей несчасной судьбины предвидѣть такъ не можетъ" [752]—„jamais il n'y eut de malheurs si prévues" [753]; „небо, вліявшее въ сердце мое сіе намѣреніе [754]—„Le Ciel, qui m'inspire ce dessein, applanira les difficultés" [755]; „судьба опредѣлила меня быть въ неволѣ" [756]—„mon mauvais sort me réduisoit à l'esclavage" [757]; „небо, противъ воли моей, спасшее жизнь мою" [758]—„le Ciel, qui vouloit me conserver la vie malgré moi" [759]; „небо безъ наказанія пороковъ не оставляетъ" [760] — „le Ciel ne laisse jamais le crime impuni" [761]; „жестокая судьба уже предпріяла полагать во всѣхъ путяхъ его такія препятствія, которыхъ бы онъ всѣмъ своимъ разумомъ преодолѣть не могъ" [762]—„la fortune lui préparoit des obstacles, que tout son mérite ne lui put faire surmonter" [763]; „естьлижъ властію милосердаго неба и останется въ свѣтѣ, то жизнь свою будетъ провождать въ мученіяхъ сердечныхъ и во всегдашнемъ пролитіи слезъ! Я, государь мой, могу васъ увѣрить, что сынъ вашъ не такого жребія достоинъ. Недоумѣваюсь, за что судьба, производящи его въ свѣтъ совершеннѣйшимъ человѣкомъ, толь немилостива къ нему? Въ немъ нахожу я примѣръ чудныхъ перемѣнъ непостояннаго щастія" [764]—„si le Ciel lui conserve la vie, ce sera pour en traîner une vie bien languissante et bien malheureuse. Cependant, Monsieur, j'ose dire qui Monsieur votre fils meritoit une autre sort. Il est inconcevable qu'avec tant de mérite et l'honneur d'être né de vous, il puisse lui manquer quelque chose pour être heureux. C'est un exemple étrange de la bizarrerie de la fortune" [765]; „я, къ нещастіямъ будучи рожденъ, недолго онымъ спокойствіемъ довольствоваться могъ" [766]—„mais comme je ne suis pas fait pour être heureux, ma tranquilité ne fut pas de longue durée" [767]; „непостижимое предвѣденіе! что есть человѣкъ? и для чего небо утѣшается, разрушая благоденствіе его во время утвержденнаго его щастія? Не для того-ли, чтобы онъ не искалъ его въ суетномъ и въ преходящемъ семъ житіи?" [768]—„Providence impénétrable! Qu'est ce donc que l'homme? Et pourquoi le Ciel prend-il plaisir à ruiner ses félicités les mieux établis? Est-ce pour lui apprendre, qu'il n'en doit pas chercher dans les biens périssables de la Terre?" [769]; „милосердое небо" [770]; „le Ciel" [771]; „кчему служать всѣ предосторожности человѣческія противъ непостижимаго опредѣленія божественныя воли" [772]—„de quoi servent toutes les précautions humaines, contre l'immuable disposition des volontés de Dieu!" [773]. „Разгнѣванное небо, ругаясь попеченію моему, нарыло подъ ногами моими пропасть" [774]—„la colere du Ciel se rioit de mes scins et creusoit sous mes pas un abîme, où j'étois prêt de tomber pour n'en sortir jamais" [775]; „но люди, сколько бы намѣреній не предпріимали, однако они подвержены перемѣнѣ; сколько бы они не опредѣляли, всѣ ихъ опредѣленія разрушиться могутъ" [776].

Герой романа Прево значительно отличается отъ героевъ

романа греческаго и стараго псевдоклассическаго,—если онъ такъ же „прекраснодушенъ“, такъ же идеаленъ, какъ они, то его „идеализмъ“ есть результатъ долгой и упорной работы надъ собою, борьбы со своими страстями и слабостями...

Тамъ герой являлся на сцену съ готовыми добродѣтелями,—здѣсь эти добродѣтели на нашихъ глазахъ выростаютъ въ его сердцѣ. Такъ, маркизъ Г*, на долю котораго выпала нелегкая задача быть „Менторомъ“ молодого герцогскаго сына, въ началѣ романа предстанетъ передъ нами еще со всѣми человѣческими слабостями, и затѣмъ, мало по малу, отдѣлывается отъ нихъ и окончательно побѣждаетъ ихъ,—въ этой борьбѣ героя съ самимъ собой и заключается смыслъ всего романа *); именно эта борьба и вноситъ живыя, человѣческія черты въ духовный обликъ героя, въ сущности, все еще находящагося въ родствѣ, хотя и отдаленномъ, съ героями Кальпренеда и Скюдери.

У него „доброе сердце“; онъ богато надѣленъ „великодушіемъ“ [777]; въ юности у него была мягкая, отзывчивая, но слабая душа, которая подъ старость укрѣпилась яснымъ сознаніемъ того, что „добро“, что „зло“. Въ юности, онъ счастливъ былъ, главнымъ образомъ, женскою любовью.

Впрочемъ, онъ и впослѣдствіи не безъ радости вспоминаетъ объ этихъ прежнихъ утѣхахъ своего сердца.—

„Я увѣрялъ ее моею непрерывною вѣрностію и ея клятвами наслаждался, и, такимъ образомъ, зачали мы съ веселіемъ снимать плоды съ нѣжной нашей любви и долговременнаго мученія. Блаженъ и щастливъ бы былъ человѣкъ, естьлибъ малѣйшая часть сладкаго сего удовольствія вѣчна была!“ [778].

„Сколько любовныхъ вздоховъ и сколько возхищенныхъ объятій провождали тогда наше спокойство!“ [779].

Вотъ почему рыцаремъ, защитникомъ дамъ, онъ остался до старости: однажды, защищая угнетенную дѣвицу, онъ говоритъ:

„Я надѣюсь, что господинъ мускетеръ сжалится надъ нещастною, которая великодушію и благодѣянію его себя вручаетъ“ [780].

„Я обѣщалъ сей страждущей дѣвицѣ служить всевозможнымъ вспоможеніемъ: клялся ей достовѣрными словами, что она, доколѣ во мнѣ дыханіе будетъ, опасаться ничего не можетъ“ [781].

Его мы застаемъ уже утомленнымъ жизнью. Земное счастье его—все въ прошломъ **), когда жива была его жена; потерявъ ее, онъ неутѣшенъ.

---

*) Прево, въ этомъ отношеніи, примкнулъ къ Фенелону.

**) Впрочемъ, и теперь жизнь захватываетъ его: тонкія наслажде-

„Единственное мое упражненіе есть попеченіе о благоденствіи души моей и нѣжное воспоминаніе о любимой моей супругѣ“ [783].

Теперь обычное его настроеніе меланхолическое: „жалобы на судьбу“ и „слезы“—обычное его времяпрепровожденіе.

Въ защиту „слезъ“ маркизъ Г** однажды произнесъ даже цѣлую рѣчь:

„Не стыдись сего благороднаго поступка, говорилъ я ему; не стыдись сихъ доказательствъ твоея жалости и добросердечія,—они честь тебѣ дѣлаютъ. Сердца твердыя и жестокія не чувствуютъ сего пріятнаго дара; слезы, съ благопристойностію и умѣренно проливаемыя, суть свидѣтели человѣколюбиваго и великодушнаго нрава, и они никогда не бесчестятъ“ [783].

„Les coeurs durs et cruels ne sentent point de douceur à pleurer. Des larmes répandues avec bienséance et avec modération, sont la preuve d'un caractère sensible et généreux; elles ne deshonorent jamais“ [784].

„Естьли воздыханія и слезы не считаются утѣхами, то, по крайней мѣрѣ, отрицать сего не можно, что они безчастному и смертно-огорченному человѣку нѣкую приносятъ сладость. Всѣ минуты, посвященныя моей печали, толь мнѣ драгоцѣнны были, что я, для продолженія оныхъ, почти сна въ глаза свои не впускалъ. Чрезъ цѣлые два мѣсяца едва я вздумалъ въ первый разъ лечь на постелю. Обыкновенно сидѣлъ я, облокотясь на столъ, на которомъ сердце Селимино обитало, и къ нему неизчетныя посылалъ воздыханія: разговаривалъ я съ нимъ, какъ будто видя ея живу предъ собою, и, часто орошая горячими слезами, сіе сокровище свое цѣловалъ. Казалось мнѣ, что сіе, нѣкогда нѣжно меня любящее, сердце еще согласуется желаніямъ моимъ; еще оплакиваетъ мои мученія, и знаки непремѣнной вѣрности и полестной любви моей еще ему пріятны“ [785].

„Si les pleurs et les soupirs ne peuvent porter le nom de plaisirs, il est vrai néanmoins, qu'ils ont une douceur infinie pour une personne mortellement affligée. Tous les momens, que je donnois à ma douleur, m'étoient si chers, que pour les prolonger, je ne prenois presque aucun sommeil. Deux mois se passerent, sans que je pensasse même à me jetter sur mon lit. Ma situation ordinaire étoit de me tenir assis près de la table sur laquelle reposoit mon trésor, de le contempler en soupirant, de lui adresser la parole comme si j'eusse eu Sélima devant les yeux, et de lui donner souvent mille baisers, en l'arrosant de mes larmes. Je m'imaginois que ce coeur, autrefois si tendre, répondoit encore à mes sentimens, qu'il plaignoit mes peines, et qu'il approuvoit les témoignages de ma fidélité et de mon amour“ [786].

Печаль безутѣшнаго вдовца Прево выразилъ не только изображеніемъ его душевной тоски, но и разсказомъ о внѣшнихъ проявленіяхъ этого горя. [787].

„Стѣны и полъ своей комнаты убилъ я чернымъ сукномъ; потомъ

нія ума въ чтеніи и бесѣдахъ съ лучшими людьми вѣка отвлекаютъ его иногда отъ обычной для него тихой меланхоліи.

затворилъ окна, вознамѣрясь не видать дневнаго свѣта, а довольствоваться свѣтомъ, отъ свѣчи происходящимъ. По стѣнамъ развѣсилъ я Селимино платье, чтобъ оно непрестанно было въ глазахъ моихъ; сердце ея и образъ, красоту ея совершенно представляющей, поставилъ я на великомъ и чернымъ сукномъ покрытомъ столѣ, по обѣимъ сторонамъ котораго возжегъ два свѣтильника, которые сіе, болѣзни и печали преисполненное, жилище, освѣщали. Протчее комнаты украшеніе состояло изъ нѣсколькихъ книгъ, постели и изъ длинной черной епанчи, которую я носилъ" [788].

Приблизительно такъ же тосковалъ его воспитанникъ, молодой маркизъ, о своей доннѣ-Діанѣ:

„Сидѣлъ онъ въ креслахъ, оперпись обѣими руками на столъ, на которомъ двѣ свѣчи горѣло; между ими стоялъ разкрытой ящичекъ, привезенный изъ Мадрита, о которомъ я и не спрашивалъ, что въ немъ есть. Изъ сего ящичка вынималъ онъ разныя вещи, которыя, въ крайней горести съ посхищеніемъ по четверьти часа цѣлуя, клалъ порядочно на столъ. Сіи вещицы состояли въ черной бархатной и золотомъ шитой шапочкѣ, въ чулкахъ, въ платкахъ, лѣнтахъ и другихъ подобныхъ сему, бездѣлкахъ" [789];

— все это вещи, принадлежавшія его возлюбленной; ихъ онъ—

„купилъ у ея служительницы, все — даже до платья и бѣлья: и съ того времени Маркизъ иныхъ сорочекъ не носитъ, какъ тѣ, которыя носила его любовница и которыя на немъ перешиты" [790].

О своемъ горѣ онъ говоритъ слѣдующее:

„Я не хочу вамъ повторять своихъ жалобъ. Довольно; я заперся одинъ въ своемъ кабинетѣ и тамо жесточайшему предался мученію. Во весь тотъ вечеръ не видалъ я никого, и часть ночи въ равномъ препроводилъ безпокойствѣ" [791].

Испытавъ много горя, Маркизъ Г*, по словамъ автора, научился „языку печальныхъ и сердечною болѣзнью удрученныхъ людей" [792], такъ какъ его собственное сердце было „сѣтованіемъ и печалью удручено [793].

„Иногда сонъ, обладая утомленною моею головою, лишалъ меня на нѣсколько минутъ чувствъ; но когда я пробуждался, тогда еще больше мученіе мое обновлялось: вопіялъ, произнося жалобы свои, и часто воплемъ привлекая въ комнату Комтуа, опасающагося, не приключилось-ли чего со мной. Сей вѣрный служитель, видя мени въ толь жалостномъ состояніи, обливался слезами и, ничего не говоря, опять выходилъ, примѣтя во мнѣ обыкновенной видъ" [793].

„Quelquefois je penchois ma tête abbatue, sur la table, ou sur le dos de ma chaise; et le sommeil fermoit mes yeux pendant quelques momens; mais mes gémissemens en devenoient plus vifs à mon réveil. Je jettois des cris, et je poussois des soupirs, qui attiroient Comtois à ma chambre, dans l'appréhension, qu'il ne me fût arrivé quelque fâcheux accident. Ce pauvre valet se mettoit à pleurer, en voyant le pitoyable état où j'étois. Il se rétiroit sans parler, lorsqu'il m'avoit trouvé dans ma posture ordinaire".

Жестокая тоска, изображенная даже на его лицѣ, возбуждала у многихъ желаніе узнать ея причину [794].

Рядъ испытаній и всевозможныхъ „приключеній“ привелъ утомленнаго героя къ желанію искать уединенія:

„Я не знаю, какое странное омерзѣніе противъ жизни и противъ богатствъ свѣтскихъ, что мы „щастіемъ“ называемъ, въ сердце мое вселило“ [795].

Претерпѣвъ много отъ любви, герой рѣшился навсегда уклониться отъ женщинъ. Но „судьба“ на его пути еще разъ, подъ старость, поставила одну „обворожительную женщину“, — англичанку, въ него влюбленную. Онъ долженъ былъ ей помочь, — съ этого началась исторія его послѣдняго увлеченія.

„И такъ, изъ единаго великодушія вознамѣрился до конца ей служить; а при томъ сохранить и свое доброе имя. Признаюсь, что я чувствовалъ нѣчто еще болѣе, нежели великодушіе и жалость; могу-ли я сказать о томъ и простить-ли мнѣ слабость мою читатель? [796].

Эта англійская леди, влюбленная въ него, вызываетъ у него патетическія восклицанія [797].

„Къ чему не удобны слабыя наши сердца, естьли только, хотя мало, точность строгія осторожности нами проронится? Можно и въ шестьдесятъ лѣтъ подвергнуться слабости! Стыжусь я признаваться въ томъ: только какъ надобно оное объявить, ибо сіе испыталъ я самъ собою. Чтеніе письма Миледи Р. произвело во мнѣ непонятное чувствіе. Казалось, что сердце мое вдругъ оцѣпенѣло, и что страшныя происходятъ въ немъ движенія. Облокотясь на столъ, впалъ я въ глубокія размышленія. Образъ прелестныя Ладіи мечтался въ глазахъ моихъ... Наконецъ, по отшествіи сея мечты, увидѣлъ я, что глаза мои омоченны слезами, а сердце горестію преисполнено. Печаль и задумчивость мною овладѣла“ [798].

Онъ, чуть было, не поддался этой новой слабости, но смерть вѣрнаго слуги во время удержала его, вернувъ его къ философіи.

Любопытно описаніе чувствъ его у могилы этого слуги.

„Я оглядѣлъ ее съ печальнымъ и унылымъ любопытствомъ, а глаза мои, слезами наполненные, не могли отвратиться отъ сего плачевнаго вида. Вышедъ изъ церькви, не пошелъ я домой, но намѣрился разобрать множество горестныхъ и нестройныхъ мыслей, въ умѣ моемъ стѣснившихся; и для того пробрался въ лѣсъ, лежащей позади дому моей дочери.

Тамъ простеръ я взоръ на продолжительную и нещастную жизнь мою, съ тѣхъ поръ безпрерывно въ бѣдствіяхъ провожденную“ [799].

Характерно его обращеніе къ дамѣ, въ него влюбленной.

„Вы ужаснетесь, государыня, узнавши истинное души моей состояніе! Представьте себѣ человѣка, утомленнаго гоненіями разгнѣваннаго рока, встревоженнаго потерею всего, что онъ драгоцѣннымъ на

свѣтѣ почитать могъ, обыкшаго, близко сорока лѣтъ, безпрестанныя проливать слезы, вздыхать, смущаться, безпокоиться и волноваться; желающаго смерти, какъ единственнаго облегченія отъ всѣхъ его мученій, но при томъ и ужасающагося оной, ибо будетъ она концомъ длинной его жизни, которая не всегда была непорочна" [800].

Въ результатѣ,—окончательная побѣда надъ собой, размышленія о суетности свѣта и гимнъ монастырю, — мѣсту отдыха и уединенія [801].

„О, дражайшее уединеніе! возопилъ я съ восхищеніемъ: сладкое пристанище сердца, отъ свѣтскихъ ослѣпленій и страстей сокрушеннаго! Скоро пріимешь ты меня въ свои объятія" [802].

Изъ всего этого видно, что идея романа совершенно отлична отъ тѣхъ, которыя воплощались греческими романистами и французскими ихъ подражателями. Романъ этотъ—не „любовная сказка, а справедливое повѣствованіе" [803]. Маркизъ Г*. въ романѣ разсказалъ свою жизнь. —

„Теперь всякой читатель внутренную моего сердца толь ясно, какъ я самъ, видитъ" [804].

— говоритъ онъ. И авторъ такъ объясняетъ причины, заставившія его обнародовать печальныя записки маркиза, —

„Первое мое намѣреніе по начатіи писанія сея повѣсти было такое, чтобъ иногда случайнымъ образомъ предлагать свѣту всѣ свои къ Маркизу говоренныя слова, касающіяся, какъ до нравоученія, такъ и до другихъ наукъ; чрезъ сіе хотѣлъ я трудъ свой учинить для юношества полезнымъ, которое бы могло найти въ, нескучной для чтенія, книгѣ правила и примѣры добраго поведенія. Но многіе мои пріятели, съ которыми о семъ совѣтовалъ, не дозволили мнѣ слѣдовать сему намѣренію. „Свѣтъ, говорили они, не терпитъ сухихъ и школьныхъ разговоровъ, которые необходимо въ такія поученія вкрадываются... И такъ, я буду только, какъ и прежде, включать свои мнѣнія, или примѣчанія по случаю и обстоятельствамъ, а стараться стану убѣгать всего того, что можетъ читателю нанесть скуку. Не нравоученіе я пишу, но прямое бытіе" [805].

Такимъ образомъ, авторъ вполнѣ сознательно вносилъ „новыя" цѣли въ старый романъ *); хотя съ нимъ еще онъ не прерываетъ связи, но уже отходитъ отъ него далеко въ сторону.

---

*) Любопытны его разсужденія о старыхъ романахъ: лучшими онъ считаетъ „Телемака" и „княжну Клевъ". Особенно опасны, по его словамъ, романы „любовные". „Таковаго свойства безчисленное множество сказокъ, которыя за хорошей складъ похваляются: неспорно, что разумъ изощряется, когда ихъ читаемъ, но премудрость и добродѣтели много силы своей при томъ теряютъ. Ослабѣваемъ, пріемлемъ страсть, чувствуемъ всѣ дѣйствія ненависти и любви, жалости и отмщенія; чѣмъ вымышленное въ сказкѣ лице изнуренно, видимъ; и нечаянно въ тѣ же

Высоко ставитъ онъ „героическія сказки“: „Кассандра“, „Клеопатра“, „Киръ Великій“, „Полександръ“,—онѣ, по его словамъ, лучше „любовныхъ повѣстей“: „въ старыхъ героическихъ сказкахъ ничто добродѣтелью, кромѣ истинной добродѣтели не называется. И хотя любовь первымъ дѣйствіемъ въ нихъ изображается, но, по крайней мѣрѣ, придаются ей благородныя украшенія и великія дѣла, такъ что читатель не сыщетъ ничего, чѣмъ бы онъ могъ свои слабости одобрить; еще, напротивъ того, читая сказку приключеніевъ, преисполненныхъ великодушными дѣлами, находитъ въ нихъ человѣка твердой добродѣтели..“ [806].

Въ цѣляхъ воздѣйствія на читателя авторъ порою самъ подсказываетъ ему чувства.

„Я не знаю, можно ли сіе повѣствованіе безъ чувствія особливой жалости читать, но только вѣдаю, что нижесточайшія сердца при печальномъ семъ позорищѣ тронуты были бы. Маркизъ, не выпуская изъ своихъ рукъ, держалъ руку возлюбленной своей, смотрѣлъ на нее, не говоря ни слова и примѣчалъ, какъ она, часъ отъ часу, увядала. Каждой ея вздохъ изторгалъ изъ сердца его каплю крови... А она иногда перерывчивымъ и умирающимъ голосомъ говорила ему: „прости, возлюбленной Маркизъ, прости и помни обо мнѣ: я умираю твоей женой; а иногда силилась сжать его руку и, обративъ на меня слабые свои глаза, говорила, указывая на любовника своего: „тебѣ должна я за него“ [807].

„Читатель, представь себѣ, естьли ты можешь, ужасъ сего жестокаго зрѣлища! Вообрази себѣ трехъ, лежащихъ на полу и плавающихъ въ крови, трупа,—моего дражайшаго Маркиза, безчувственна и неподвижна въ рукахъ моихъ, дона Діэга, стоящаго близъ дочери своей, терзающаго волосы свои и воздухъ воплемъ и жалобами наполняющаго, трехъ его сыновъ, старающихся унять ліющуюся кровь нещастныя сестры“ [808].

Если романъ Прево оставался, по существу, „авантюрнымъ“ построеннымъ по схемѣ греческаго и псевдоклассическаго („бури“ „нападенія разбойниковъ“, „узнаніе“, „переодѣванія“, „письма“, вводные эпизоды и всѣ другія „задерживающія обстоятельства“), то, съ проясненіемъ самосознанія личности героя, центръ интересовъ все же съ фабулы переносился, самъ собою, болѣе на анализъ душевныхъ качествъ дѣйствующихъ лицъ.

Впрочемъ, этотъ анализъ производится, чаще всего, на старый ладъ: герой самъ раскрываетъ себя въ патетическихъ монологахъ, или въ разговорахъ съ самимъ собою.

„О, Боже! Подобаетъ ли страстямъ толикую власть имѣть надъ нещастными нашими сердцами!.. Я легъ въ постелю, небрежа о томъ, что̀ окрестъ меня происходитъ, ниже отвѣтствуя на вопросы служи-

---

слабости впадаемъ естьли подобной случай въ жизни нашей приключился“.

теля моего, которому скоро и оставить себя повелѣлъ. „Что! закричалъ я, оставшись одинъ, такъ не могу я обуздать движеній души моей? чувствую страмный ядъ, по всѣмъ членамъ разпространяющейся и не имѣю столько мужества, чтобъ ему воспрепятствовать! но что я говорю?.. Какой ядъ?.. О, милосердый Господи! о себѣ ли я говорю сіе?.. О себѣ, котораго всѣ мудрымъ и добродѣтельнымъ почитаютъ? о себѣ, который взялся другихъ учить премудрости и добродѣтели? о себѣ, котораго всѣ поступки и всѣ дѣйствія примѣромъ быть долженствуютъ?.. Вотъ, продолжалъ я, проливая слезы, вотъ плоды моихъ лѣтъ, плоды знанія моего и вѣры? Вотъ плоды провожденной въ добродѣтеляхъ и честности шестидесятилѣтней жизни! Увы! Я долженъ умереть отъ стыда и горѣсти“ [808].

„O, Dieu! faut-il que les passions aient tant d'empire sur nos malheureux coeurs! Je me couchai sans faire attention à ce qui passoit autour de moi, ni aux questions de mon valet. Je lui ordonnai de se retirer promptement, „Quoi?“ m'écriai-je, quand je fus seul, je n'aurai pas la force de me rendre maître des mouvemens de mon âme! Je sens le honteux poison qui se glisse dans mes veines, et je manquerai de courage pour le repousser! Mais qu'ai-je dit... quel poison... bon Dieu! est-ce de moi-même que je parle! de moi, que tout le monde croit sage et vertueux; de moi, qui me charge de former les autres à la vertu et à la sagesse; de moi, dont tous les sentimens et toutes les actions doivent être des modéles. Voilà donc, ajoutai-je, la larme à l'oeil, le fruit de mon âge, de mon expérience, de ma religion; voilà le fruit de soixante ans passés dans les voies de l'honneur et de la vertu. Ah! je mourrois de honte et de douleur“ [810].

„Жизнь моя, говорилъ я самъ себѣ, коротка! Утѣхи скоро протекаютъ и не причиняютъ чувствительнаго удовольствія! предбудущее мнѣ неизвѣстно; упованія къ лучшей судбинѣ нѣтъ. Чтожъ? прибѣгну къ сему блаженному богатству, — открою себѣ сокровища небесныя, естьли достоинъ ихъ явлюся и т. д.“ [811].

„Уже почная темнота наступила, какъ я возвратился отъ кареты опять въ садъ, чтобъ сыскать моихъ провожатыхъ, и, идучи, тихо размышлялъ самъ въ себѣ о чудной моей судбинѣ и о мучительной власти любовной; повторялъ въ мысляхъ своихъ всѣ скуки и досады, претерпѣнныя мною отъ сея вредныя страсти, воображалъ себѣ всѣ предстоящіи мученія, видѣлъ ясно, что безъ всякія надежды я любить долженствовалъ и собиралъ всѣ силы, чтобъ отвергнуть сіе несносное иго и, прервавъ тяжкіе оковы моего сердца, возвратить потерянный свой покой... „И что мнѣ, говорилъ я самъ себѣ, на что мнѣ смущать двухъ, толь нѣжно любящихся, которые безъ меня могутъ быть щастливы и которые не должны давать мнѣ отчета въ своихъ сердечныхъ чувствахъ? Что мнѣ до того нужды, достоинъ-ли Алонзо донны Клары, и имѣетъ ли она притчину его любить? [812]. Они уже любятся, а я не имѣю права противиться ихъ страсти; уже все сдѣлано; не возвратить того! Пускай они любятся; надлежитъ мнѣ и ихъ оставить въ покоѣ и самому успокоиться...“ „Но, увы! помолчавъ немного, заговорилъ я, могу-ли я то сдѣлать? Откуда возьму я силъ къ забвенію прекрасныя Донны Клары и къ истребленію изъ пронзеннаго моего сердца ея прелестей? Естьли зракъ ея на вѣки въ грудь мою

заключенъ, могу-ли я, имѣя сей залогъ, не любить, или забыть ее? Она обожаетъ Алонза и сама любима отъ него; чтожъ мѣшаетъ имъ любовь моя? Наказалъ-ли я соперника, толь мнѣ вреднаго и поноснаго? Презрѣлъ-ли я его? Сказалъ-ли я ему хотя одно колкое и до чести его касающееся слово! Нѣтъ, увы! нѣтъ!" [813].

„Увы! Не точно-ли сіе было предзнаменованіе нещастія нашего, которое насъ навѣки разлучить грозило? О, естьли бы непріязненной мой рокъ въ ту жестокую минуту глаза мои не ослѣпилъ, не должно ли бъ уже мнѣ уразумѣть урона своего и не должнолибъ уже мнѣ всевозможно стараться отвратить взнесенный на насъ ударъ? Но видно, что судьба предопредѣлила мнѣ терпѣть мученія и быть нещастливѣйшимъ человѣкомъ въ свѣтѣ"! [814].

Всѣ подобныя рѣчи героя отличаются паѳосомъ.

„Какъ! закричалъ я, здѣсь сей измѣнникъ, здѣсь онъ—и смѣется повелѣнію моему! умрутъ они оба! сего вечера рука моя обагритъ кровію мѣсто ихъ сходбища и совершитъ мнѣ сію жертву!.. Съ великою нетерпѣливостію ожидалъ я вечера; и всѣ мои движенія преизполнены были ярости. Я... шелъ одинъ въ кабинетъ, гдѣ къ закланію готовая жертва, не ожидаючи пришествія моего, спокойно пребывала. Чѣмъ ближе я подходилъ, тѣмъ болѣ гнѣвъ мой усугублялся; и казалось мнѣ, что никакая уже власть не въ состояніи избавить Алонза отъ моего отмщенія; что до Донны Клары принадлежитъ смерти, ее заключить я въ сердцѣ своемъ еще не могъ; но оставилъ сіе опредѣленіе на разборъ той минуты, въ которую я ее увижу. Наконецъ, вошелъ я въ кабинетъ, и тамо, къ умноженію ярости моей и къ вящшему ревности моей воспламененію, увидѣлъ любовницу сидящую, а Алонза предъ нею на колѣнкахъ стоящаго и держащаго ея руку. Можно ли было спастись ему отъ смерти? Не надлежало-ли мнѣ безчисленными ударами вредную окончить жизнь его? Ничто, кромѣ чуда, избавить его не могло! (Она умоляетъ о прощеніи Алонза, стоя на колѣнкахъ), „Что ты дѣлаешь? говорилъ я ей, будучи внѣ себя, что ты дѣлаешь, немилосердная? Ты становишься предо мною на колѣни и уповаешь покорностію сею избавить Алонза, котораго избавленіе тебѣ пріятно? Что ты, увы! Какое жестокое мученіе причиняютъ мнѣ сіи мысли! колико щастливъ соперникъ мой и коликаго сожалѣнія я достоинъ!. Не опасайся ничего, Алонзо, говорилъ я, обратясь къ нему: живи, жизнь твоя спасена, защищаетъ ее та, которая имѣетъ неограниченную власть надо мною,—та, которая однимъ словомъ такъ равно меня умертвить, какъ тебѣ жизнь теперь даровать можетъ. Но не раздражай меня больше, скрой щастіе свое съ собою; и удались отъ сихъ мѣстъ! не кажись никогда глазамъ моимъ... А ты, жестокая! продолжалъ я, смотря на Донну Клару, можешь-ли еще желать, чтобъ я былъ свидѣтелемъ благополучію соперника моего?" [815].

Иногда психика героевъ раскрывается простыми разсужденіями главнаго героя.

„Есть дурачество, которое бываетъ въ головѣ и которое въ основаніе помѣшательство разума имѣетъ. Сіе есть нещастіе, укрощающее человѣка, служащее къ познанію слабостей его и причиняющее къ та-

кому дураку сожалѣніе, ибо оно не по волѣ человѣческой бываетъ; другое дурачество обитаетъ въ сердцѣ, а рождается оно отъ жестокости страстей. Сіе есть вредное и наказанія достойное, ибо отъ насъ самихъ зависитъ противиться оному" [816].

„Наше сердце, отвѣтствовалъ я, есть такой театръ, на которомъ всѣ страсти, одна по другой, представляются. Оно склонно къ доброму и злому, ибо природно ему всегда чего-нибудь желать, но, по различіи видовъ, различную оно и склонность имѣетъ и побѣждается тѣмъ, что пріятнѣе и лестнѣе ему покажется. И такъ человѣкъ, пріобыкшей первымъ движеніямъ безъ препятствія слѣдовать, по мѣрѣ труда и утѣхи, въ которой онъ ищетъ своего удовольствія, скоръ въ чрезвычайностяхъ, какъ въ добрыхъ, такъ и злыхъ" [817].

„Собственную свою и безмѣрную любовь принесла она на жертву моему удовольствію: такъ много себя преодолѣть есть свойство не простой невольницы, но души благородной и великой" [818].

„Самъ собою испыталъ я, и больше не сумнѣваюсь, что есть сердца, рожденныя одно для другова; и ежели, по нещастію, они не сойдутся, то вѣчно любиться ни съ кѣмъ не станутъ. Напротивъ того, такимъ двумъ сердцамъ потребна лишь одна минута, въ которую они оба почувствуютъ неугасимое пламя" [819].

Иногда, наконецъ, сами герои разсказываютъ о томъ, что чувствуютъ,—

„Человѣкъ, вдругъ отъ тяжкаго бремени освобожденный, не можетъ, столько радоваться, сколько радовался я, выѣзжая изъ Мадрита. Казалось мнѣ, что и воздухъ, который я черпаю, пріятнѣе, слаще и не такъ густъ, какъ въ мѣстахъ, мною оставленныхъ; или, какъ будто, свалился камень съ сердца моего, до того меня обременявшей" [820].

„Князь, которой, будучи весьма веселъ, насъ оставилъ, вдругъ въ несказанную впалъ печаль. Что онъ легъ на постелю; что ни кого въ комнатѣ своей терпѣть не можетъ и что онъ всеминутно воздыхаетъ, чему иной причины никому не извѣстно, кромѣ того, что сіе произвелъ разговоръ его съ тою незнакомою госпожею" [821].

„Встревоженный различными нещастіями, мой духъ леталъ изъ мысли въ мысль и не могъ при одномъ размышеніи ни на минуту остаться" [822].

„Въ первый разъ, увидя того, котораго судьба любовникомъ мнѣ опредѣлила, почувствовала въ себѣ чрезвычайную и особливую къ нему склонность, и казалось мнѣ, что сей мущина есть самой тотъ, котораго я года за четыре, или пять, неизвѣстнымъ образомъ уже любила" [823].

Подобно тому, какъ любовь охватывала героевъ Прево „внезапно", съ перваго взгляда,—такъ и чувствомъ „дружбы" связываются они „сразу".

„Я, въ первой разъ съ вами увидясь, почувствовалъ въ себѣ нѣкоторую дружескую вамъ къ склонность" [824].

Я говорилъ уже, что, если въ построеніи своего романа Прево и остался вѣренъ требованіямъ псевдоклассицизма, то старыя схемы

онъ наполнилъ новымъ разнообразнымъ содержаніемъ: у Фенелона онъ взялъ идею—написать нравоучительное произведеніе: при чемъ странствованіе Маркиза Г[illegible] и его воспитанника, съ цѣлью „познать свѣтъ и себя“,—есть, въ сущности, повтореніе похожденій Телемака и Ментора, только въ другой бытовой обстановкѣ... У Лафайетъ онъ позаимствовался интересами психологическими. Широко воспользовался онъ мотивами испанскаго плутовскаго и восточнаго героическаго романа, заимствовавъ изъ перваго различныя приключенія въ городскихъ трущобахъ [835], похожденія плутовъ [836], разбойниковъ [837], иногда довольно рискованныя любовныя авантюры [838], приключенія католическаго духовенства [839], изъ второго—амурныя похожденія въ турецкомъ сералѣ [840]. Онъ не остановился даже передъ сценами насилія; въ то время, какъ старые псевдоклассики героиню изъ рукъ разбойниковъ и варваровъ выводили всегда невредимою,—Прево нарисовалъ нѣсколько, правда, эпизодическихъ женскихъ образовъ, испытавшихъ всѣ тягости позора, приводящаго ихъ, или къ самоубійству, или къ монастырю... Въ его произведеніяхъ много движенія,—сцены ревности, отчаянья [841], злобы [842], смѣняются мелодраматическими убійствами...

Наконецъ, что является особенно цѣнной особенностью романа Прево,—это *современность* дѣйствія: старая авантюрная схема перенесена была имъ въ XVIII-ый вѣкъ,—и, благодаря этому, „тусклые“ образы прежняго романа сразу ожили. Явились новыя „авантюры“, которыхъ не зналъ старый псевдоклассическій романъ: преступленія парижскихъ улицъ, замаскированные злодѣи [843], пистолетные выстрѣлы [844], серенады подъ окнами, проникновеніе въ монастырь и похищенія оттуда монахинь [845]—все это, быть можетъ, и было взято изъ реалистическаго испанскаго романа, но будучи вставлено въ рамки псевдоклассическаго, очень его оживило.

Конечно, этой жизненности романа очень помогли описанія Испаніи, Италіи, Турціи, Голландіи, Англіи, нравовъ, обычаевъ разныхъ странъ и народовъ; помогло также введеніе въ романъ историческихъ лицъ, какъ напримѣръ, испанскаго и англійскаго королей, римскаго папы [846], Расина [847], Джона Ло [848], сына маркизы Севиньи [849], историческихъ событій, войны Австріи съ Турціей [850], мятежей въ Лондонѣ и проч.

Благодаря всему этому, читатель изъ чтенія романа Прево выноситъ рядъ живыхъ впечатлѣній, рядъ серьезныхъ, жизненныхъ мыслей, опредѣленное настроеніе и міросозерцаніе.

Изъ приведеннаго анализа главнѣйшихъ произведеній, относящихся къ *четыремъ* различнымъ „группамъ“ „псевдоклассическаго“ романа нетрудно замѣтить, какъ разнородны его „виды“,—нѣкоторые близки еще къ роману греческому, — другіе уже почти освобождаются отъ этого вліянія (романы Лафайетъ и ея группы, а также Прево)—*почти* освобождаются, такъ какъ, все же, и они не отрываются еще отъ своихъ прототиповъ и, въ основныхъ своихъ чертахъ, съ ними связаны.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти разновидности псевдоклассическаго романа отличаются—или *авантюрнымъ* характеромъ композиціи (кромѣ произведеній Лафайетъ),—или одинаково-*фаталистическимъ* міросозерцаніемъ, давящимъ личность героя; во всѣхъ этихъ романахъ (кромѣ произведеній Лесажа) „*любовь*“ является центромъ дѣйствія, а у Лафайетъ даже „ирраціональнымъ началомъ“ въ жизни героевъ.

Я бы сказалъ, наконецъ, что всѣ эти романы еще сходны между собой въ томъ отношеніи, что всѣ они, по существу, „*нехристіанскіе*“, — слишкомъ много въ нихъ античнаго паганизма въ пониманіи жизни человѣка: плотская любовь — все ихъ главное содержаніе, нѣтъ въ нихъ еще яснаго пониманія „личности“ человѣка, съ свободной волей, съ широкой сознательной любовью къ ближнему... Только Лафайетъ, и, особенно, Прево, приближаются уже къ такому роману, который пріобрѣтаетъ черты христіанскаго міросозерцанія, съ его углубленіемъ въ міръ души, съ интересами къ ея внутренней борьбѣ.

Обращаясь къ переводному русскому роману XVIII-го вѣка, я считаю необходимымъ выяснить, какіе изъ разобранныхъ выше типовъ „псевдоклассическаго“ романа были у насъ особенно популярны. Установить степень этой популярности можно, или—a) при помощи подсчета и сравненія тѣхъ чиселъ, въ которыхъ выразилось у насъ существованіе разныхъ типовъ интересующей насъ романической группы, или—b) при помощи критическихъ отзывовъ, сохранившихся въ предисловіяхъ къ романамъ, въ журнальныхъ статьяхъ и въ мемуарахъ.

Подсчетъ можетъ дать лишь очень приблизительные выводы по той простой причинѣ, что далеко не всѣ изъ произведеній, названія которыхъ попали въ мой библіографическій указатель [851], доступны были ознакомленію, — многихъ совсѣмъ не нашлось въ петербургскихъ книгохранилищахъ, нѣкоторыя оказались недоступ-

ными по другимъ причинамъ. Вотъ почему, при подсчетѣ *), иногда приходилось разносить произведенія по группамъ, только *судя по названіямъ* книгъ; впрочемъ, въ огромномъ большинствѣ случаяхъ, эти названія такъ опредѣленны, что выясняются характеръ книги совершенно точно, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ все-же возможны были ошибки **).

Хотя „рукописный" романъ и не подлежитъ моему изученію, тѣмъ не менѣе, и о немъ необходимо сказать нѣсколько словъ. Въ указателѣ русскихъ рукописныхъ романовъ, составленномъ покойнымъ акад. А. Н. Пыпинымъ [852], названо больше *ста* произведеній, которыя ходили по рукамъ русскихъ людей въ теченіе XVIII-го вѣка. Конечно, число этихъ произведеній можетъ быть теперь увеличено, но, тѣмъ не менѣе, и въ существующемъ, неполномъ, спискѣ степень популярности того или другого произведенія уже опредѣлилась съ достаточною ясностью: можно прибавить еще нѣсколько новыхъ списковъ, неизвѣстныхъ А. Н. Пыпину,—можно привести еще нѣсколько неотмѣченныхъ имъ названій, но отъ этого дѣло, по существу, не измѣнится.

Стоитъ, хотя бы, просмотрѣть даже неполный списокъ акад. Пыпина, чтобы убѣдиться, что особой популярностью у русскихъ читателей пользовались, такъ называемые, „народные романы", за тѣмъ героическія повѣсти, „французскія", „восточныя", „испанскія" и „итальянскія" (см. выше стр. 308-309), и гораздо менѣе популярны были романы чисто-псевдоклассическіе—„героическіе", въ духѣ Кальпренеда.

Изъ разряда первыхъ („народные романы") особенно любимы были слѣдующія произведенія: „Евдонъ и Берта" (у Пыпина отмѣчены 16 списковъ), „Петръ Златые ключи" (у Пыпина 20 списковъ), „Поленціонъ Египетскій" (11 списковъ), „Брунцвикъ" (7 списковъ), „Францель Венеціанъ" (9 списковъ). Если къ этому списку прибавить „Еруслана Лазаревича" и „Бову" ***),—то полученный списокъ представитъ собой полный перечень наиболѣе

*) Впрочемъ, просмотрѣны были мною *почти* всѣ книги, названныя въ моемъ указателѣ и имѣющіяся въ Императорской Публичной Библіотекѣ и библіотекѣ Академіи Наукъ.

**) Изъ подсчета я исключилъ произведенія, помѣщенныя въ журналахъ, а также тѣ романическіе типы, которые не вошли въ кругъ ближайшихъ интересовъ моей работы: политическіе, пастушескіе, сатирическіе, аллегорическіе, сборники мелкихъ статей и отрывковъ.

***) Менѣе популярны произведенія того-же типа: „Долторинъ", „Василій, королевичъ златовласый", „Александръ и Лодвикъ" и нѣк. др.

популярныхъ рукописныхъ романовъ, попавшихъ даже на лубки и сохранившихся въ современной народной библіотекѣ. Всѣ эти произведенія, исторія которыхъ, къ сожалѣнію, еще не изучена, носятъ авантюрный характеръ, представляя собою смѣсь рыцарскаго романа съ народной сказкой и анекдотомъ. Ихъ исторія связана еще съ средними вѣками, съ ходячими византійскими повѣстями; они пришли къ намъ, вѣроятно, раньше другихъ романовъ, рано у насъ акклиматизировались, даже обрусѣли (напр., „Бова" и „Еруслан"). Хотя въ нихъ на лицо имѣются всѣ главнѣйшіе элементы псевдоклассическаго „героическаго" романа (роль судьбы-„фортуны", характеръ авантюръ въ духѣ греческаго романа, географическая ширина, галантность и преціозность, рыцарскіе турниры), но романы эти не отличаются еще той „правильностью", которая характерна для произведеній Кальпренеда и у Huet нашла себѣ опредѣленіе... Вотъ почему можно предположить, что они представляютъ собой — или только „эмбріоны" будущаго „правильнаго" „героическаго" романа *), — или, наоборотъ, извращеніе, вульгаризацію этого романа—результатъ народныхъ переработокъ и передѣлокъ, производившихся въ разныхъ странахъ, и уже, конечно, не въ высшихъ литературныхъ кругахъ. Тѣмъ не менѣе, характеренъ интересъ русскихъ людей къ этимъ произведеніямъ,—недаромъ историки русскаго общества отмѣтили великокультивирующее значеніе этихъ романовъ въ жизни русскаго общества [53].

Для нашей цѣли интереснѣе произведенія, отличающіяся болѣе опредѣленнымъ литературнымъ обликомъ,—именно произведенія *второго типа*—„галантныя исторіи", повѣствованія о любовныхъ приключеніяхъ разныхъ историческихъ, или псевдоисторическихъ героевъ, связанныхъ съ, болѣе или менѣе, опредѣленной эпохой и мѣстностью. Это—такъ называемыя „французскія", „испанскія", „итальянскія", „восточныя", „греческія" и „римскія" повѣсти (см. выше, стр. 309). Ихъ—подавляющее число, но, по числу списковъ, они уступаютъ мѣсто произведеніямъ *перваго типа*,—очевидно, они были менѣе популярны, обслуживали не массу, какъ первые, а болѣе избранную публику, падкую на новинки и не удовлетворяющуюся перечитываньемъ стараго.

Перечислю, руководствуясь заглавіями, приведенными въ книгѣ акад. Пыпина, и выдержками, сдѣланными у него, наиболѣе характерныя произведенія этого типа:

---

*) Они представляютъ собою то, что Huet назвалъ: „un amas confus sans ordre et sans beauté" (см. выше стр. 318).

„Августъ Саксонскій и Меландра", „Арзасъ и Размира", „Галантъ Саксонскій", „Гедвигъ", „Гендрикъ и Меленда", „Гереонъ милордъ", „Делюксъ", „Едуардъ и Клеомелія", „Жонетта", „Ипполитъ, англійскій кавалеръ", „Карлъ Орлеанскій и Анибелла", „Катерина", „Кенигъ, графскій сынъ", „Кземиндра и Рейнальдъ", „Лафарій, французскій графъ", „Леандръ и Лювиза", „Людвикъ и Палтусъ", „Ляцыопа, баронская дочь", „Магометъ Второй и Іеронима", „Польнинъ, баронъ", „Превратная любовь", „Прекрасная Россіянка", „Фердинандъ, англійской посолъ". „Фларента королевна и Георгій королевичъ" и др.

Къ „испанскимъ", „восточнымъ" и „итальянскимъ" повѣстямъ относятся слѣдующія:

„Аделенда Африканская", „Донъ Рамиръ Деразасъ и донна Леонора Демендосъ", „Жебукоръ", „Зелимъ и Дамазина", „Изабелла Мендоза", „Мелитея", „Мулзай и Царанда", „Мурадъ и Туркія", „Францъ Именсоліусъ гишпанскій", „Акатъ и Аластина", „Альфонзъ Аррагонскій", „Клеонтъ и Рамира", „Сициліанка добродѣтельная". „Цылодонъ и Пышлія" и др.

Сравнительно съ этимъ длиннымъ спискомъ, совершенно блѣднѣетъ число романовъ „правильныхъ", „героическихъ". Привожу ихъ списокъ:

„Азіатская Баниза", „Аристей и Телазія", „Калеандръ, царевичъ Греческій", „Алкеменесъ" (отрывокъ изъ романа Кальпренеда „Clé-ратте"), „Мелентесъ и Аріанна", „Эпаминондъ и Целеріана" *).

Любопытно, что и въ *печатномъ* романѣ XVIII-го вѣка взаимоотношеніе между „типами" остается приблизительно то же самое: никто изъ корифеевъ французскаго „героическаго" романа не представленъ въ этой печатной литературѣ; сравнительно слабо представлена подражательная литература этого типа **); за то гораздо значительнѣе выразилось число героической повѣсти („galantes nouvelles")—„французской", „испанской", „итальянской", „римской", „греческой" и „восточной" ***). Особенно

*) Фенелонъ въ спискѣ Пыпина представленъ въ *трехъ* спискахъ, Лесажъ и Лафайетъ не отмѣчены вовсе; Прево (повидимому, „Исторіи маркиза Г*)—въ *двухъ*.

**) По моему указателю, *до 1780 года* №№ 4, 87, 96, 103, 104, 128, 146, 153, 192, 225, 249, 278, 305; *до 1790 года* №№ *472*, 658, 659, *663*, 700, 753, 865, 894, 907, 908, *926*, 1026, 1027, 1035, 1044, 1046, 1089; *до 1800 года* №№ *1150*, *1670*, 1785. (Курсивомъ обозначены №№ повторныхъ изданій).

***) *Французскія* (галантныя повѣсти съ преобладаніемъ любовнаго, или историческаго элемента): *до 1780 г.*, №№ 81, 99, 110, 114, 125, 136, 139, 154, 155*, 156, *173*, 175, 176, 181, 185, 189, 197, 208, 211, 323, 329*, 339; *до 1790 года* №№ 353, 503, 515, *566*, 583, 585, 590, 595, 596, 597, 624, 626, 639, 646, 648, 652, 653, 705, 715, 726, 728, 738, 750, 766, 780, 800, 805, 810, 821, 853, 921, *949*, *954*, 956, 979, 989, 998, 1023, 1063, *1068*; *до 1800 года* №№ 1113, 1115, 1136 1151, *1166*, 1187, 1188, 1215, 1223, 1231, 1233, 1242,

посчастливилось повѣстямъ въ духѣ произведеній Лафайетъ *). Интересъ къ остальнымъ „типамъ“ псевдоклассическаго романа выразился въ цифрахъ болѣе скромныхъ, но за то типичные ихъ образцы *всѣ* представлены въ переводахъ и, по числу выдержанныхъ изданій, принадлежатъ къ самымъ популярнымъ переводнымъ произведеніямъ XVIII-го вѣка. Такъ, „Телемакъ“ Фенелона выдержалъ *девять* изданій **), „Приключенія Маркиза Г**“

1257, 1340, 1348, *1391*, 1394, 1399, 1432, 1488, 1505, 1546, 1560, 1567, 1612, 1747, 1801, *1805*, 1860, 1861, 1932, 2008. (Звѣздочкой * обозначаю я произведенія *смѣшаннаго типа*, которыя могутъ быть отнесены къ разнымъ группамъ).

Восточныя: до 1780 г., №№ 5, 68, 77, 143, 153, *161*, 180, 204, 289, 299, 318, 326; *до 1790 года* №№ 445, 475, 477, 478, 494, *543*, 544, 554, 558, 568, 582, 603, 633, 647, 660, 674, 675, 712, 713, 729, 756, 769, 802, 811, 814, 817, 824, 837, 839, 843, 858, 884, *912*, 913, 917, 930, 957, *969*, 1001, *1041*, 1082, *1097*, 1114; *до 1800 г.*, №№ *1138*, 1140, 1158, 1167, 1174, 1181, 1186, 1229, 1231, 1239, 1257, *1263*, *1279*, 1284, 1324, 1337, *1358*, *1366*, *1376*, *1391*, 1432, *1476*, 1493, 1501, 1536, *1548*, *1597*, *1606*, 1646, *1660*, 1668, 1693, 1734, *1782*, 1804, 1862, *1968*, 2031, 2048. Къ „восточнымъ“ повѣстямъ могутъ быть отнесены и тѣ „экзотическія“ повѣсти, въ которыхъ дѣйствіе связывается съ далекой Америкой (Перу, Мексика), Китаемъ, Японіей, съ далекими окраинами Африки (№№ 464, 487, 521, 598, 618, 734, 776, 984, 995, 1011, 1046, 1115, 1123, 1224, 1242, 1258, 1804, 1843).

Испанскія: до 1780 г., №№ 40, 41, 72, 89, 103, 126, 130, 132, 133, 149, 153, 159, 170, 202, 218, 227, 256, 299, 341; *до 1790 г.*, №№ 469, 507, 552, 581, 594, 598, 619, 621, 695, 711, 733, 744, 748, 759, *976*, 1071; *до 1800 г.*, №№ 1248, 1288, 1342, 1363, *1391*, 1415, 1424, 1425, 1514, 1574, 1725.

Итальянскія: до 1780 г., №№ 73, 95, 122, 166, 198, 334; *до 1790 г.*, №№ 457, 466, 473, 621, 752, 755, 841, 1024, 1093, 1139; *до 1800 г.*, №№ 1202, *1219*, 1295, 1336, 1353, *1405*, 1535, 1850.

Греческія и римскія: №№ 98, 128, 473, 559, 584, 671, 735, 967, 968, 997, *1071*, 1120, 1183, *1357а*, 1528, 1535, 1684, 1849, 1897, 1857, *1963*.

*) *До 1780 г.:* №№ 154, 156, 164, 165, 168, 169*, 174, 183, 185, 186, 193, 198, 199, 200, 270, 284, 287, 291, 293, 295, 296, 296, *315*, 322, 336, 338, 344, 350, 351, 361, 392, 394, 402, 406, 408; *до 1790 г.*, №№ 454, 458, 471, *481*, 485, 491, 511, 513, 529, 530, *577*, 586, 588, 589*, *590*, 597, 609*, 612-613, 619, 624, 645, 650, 653, 661, 666, 720, 736, 773, 779, *787*, 789, 813, 822, 823, 825, 878, 880, 887, *892*, 928, 943, *945*, *959*, 963, 964, 973, *994*, 1007, 1009, 1012*, 1015, 1038, 1065, 1066, 1096, 1099, 1110, 1111, 1112, *1121*; *до 1800 г.*, №№ 1129, 1131, 1132, 1134, 1135, 1143, *1153*, 1157, 1221, 1249, 1272, *1273*, *1282*, 1287, 1290, 1292, 1312, *1327*, 1380, 1416, 1427, 1430, 1433, 1447, 1460, 1498, 1508, 1510, 1546, *1556*, 1705, 1742, 1778, 1792, 1808, 1819, *1932*, 1948, 1971, 1991, 1996, 2010, 2043, 2045.

**) Одинъ стихотворный (Тредіаковскаго) въ мой указатель не вошедшій. *До 1780 г.*, №№ 3, 201; *до 1790 г.*, №№ 631, 831, 985, 1006; *до 1800 г.*, №№ 1854, 2032. Изъ подражателей „Телемаку“ переведены *до 1780 г.* слѣдующіе №№ 74, 79, 87, 167, *177*, 195, 203, *216*, *277*, *320*, *325*,

Прево — *три* изданія *), („Жилблазъ“ Лесажа) — *восемь* изданій **).

Хотя сдѣланный мною въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ подсчетъ и не представляетъ собою вполнѣ прочныхъ цифровыхъ данныхъ (нѣкоторыхъ книгъ достать я не могъ; другія отличаются не вполнѣ яснымъ характеромъ,—могутъ быть отнесены къ нѣсколькимъ группамъ: ихъ я обозначилъ знакомъ *), тѣмъ не менѣе, онъ даетъ возможность составить приблизительно-вѣрное впечатлѣніе, характеризующее запросы русскихъ читателей XVIII-го вѣка; такъ, изъ этого перечня мы видимъ, что ихъ совершенно не интересовали многотомные романы Гомбервиля, Кальпренеда,—за то всѣ свои симпатіи отдали русскіе читатели героической повѣсти, въ духѣ послѣднихъ произведеній Скюдери, особенно Лафайетъ; „Телемакъ“, „Жилблазъ“ и „Приключенія Маркиза Г**“—ихъ любимыя книги. Это заключеніе подтверждаетъ, въ общемъ, то впечатлѣніе, которое вынесли мы изъ наблюденій надъ числомъ *рукописныхъ* романовъ XVIII-го вѣка,—и тамъ характерной чертой было, съ одной стороны, отсутствіе интересовъ къ старому героическому роману и, съ другой стороны, ясно выразился спросъ на героическую повѣсть.

Можно предположить, что большинство *рукописныхъ* романовъ пошло у насъ въ обиходъ еще въ первой половинѣ XVIII-го вѣка, до восшествія на престолъ Екатерины II, когда число типографій

331, 384; до 1790 г., №№ *632,* 636, 717, *739, 754, 784, 847, 923,* 967, *968, 981; до 1800 г.,* №№: *1185, 1203,* 1359, *1409,* 1528, 1726, *1764, 1853, 1963.*

*) *До 1780 г.,* № 14; *до 1790 г.,* № 492; *до 1800 г.,* №№ 1169 (исторія Маноны Леско), 1490. Другія произведенія Прево тоже были переведены на русскій языкъ: №№ 65, 74, 778, 1294, 1927. Произведенія подражательныя трудно опредѣлимы, такъ какъ они, по своему характеру, и названію, сливаются съ романомъ „англійскимъ“. Во всякомъ случаѣ, укажу слѣдующія произведенія, показавшіяся мнѣ болѣе близкими къ Прево: *до 1780 г.,* №№ 126, 211, 259, 260, 263, 293, 311, 324, 379; *до 1790 г.,* №№ 466, 466, 478, 507, 512, 535, 569, 577, 611, 628, 629, 672, 694, *762,* 820, 822, 883, 890, *992; до 1800 г.,* №№: 1077, 1136, *1266,* 1348, 1353, 1394, 1610, 1668, 1682, 1750, 1778, *1966,* 1993, *2027,* 2045.

**) *До 1780 г.,* №№ 6, 61, 207, 319; *до 1790 г.,* №№ 546, 689; *до 1800 г.,* №№ 1374, 2029; изъ другихъ произведеній Лесажа переведены слѣдующіе: *до 1780 г.,* №№ 93, 97, 112, *307. до 1790 г.,* №№ 699, 764, 777, 1056; *до 1800 г.*—1267; изъ подражаній Жилблазу, а также „плутовскихъ“ романовъ, переведены слѣдующіе: *до 1780 г.,* №№ 172, 178, 262, *312, 337,* 405; *до 1790 г.,* №№ 547, 599, 758; *до 1800 г.,* №№ 1325, *1326,* 1365, *1377, 1390, 1431, 1485, 1558,* 1579, 1594, 1680, 1682, 1704, 1713, *1779,* 1813, *1888,* 1902, *1919.*

было очень незначительно. Со второй же половины XVIII-го вѣка въ печати появляются и романы въ большомъ числѣ,—къ этому времени, очевидно, литературныя потребности русской публики растутъ, дѣлаются сложнѣе — и потому рукописные „народные романы“, а за ними и „героическія повѣсти“ рыночнаго производства, мало-по-малу, опускаются въ низшіе слои русской публики, — верхніе слои зачитывается теперь „идейными“ писателями — Фенелономъ, Лесажемъ, Прево, потомъ Ричардсономъ, Руссо и Гете.

Это мнѣніе подтверждается тѣми критическими отзывами, которыхъ немало можно подобрать и въ журналахъ XVIII-го вѣка, и въ мемуарахъ, и въ предисловіяхъ къ романамъ той же эпохи. Выше (стр. 22—3, 31) мнѣ приходилось уже отмѣчать критическое отношеніе русскихъ писателей къ рукописному роману [854],— тамъ же приходилось мнѣ неразъ цитовать хвалебные отзывы, направленные по адресу Фенелона, Лесажа и Прево (стр. 25, 29) и, рядомъ съ этимъ, отмѣчать строгое осужденіе романовъ авантюрныхъ, „фантастическихъ“, исключительно-любовныхъ и далекихъ отъ жизни (стр. 21, 23, 24—6, 27—30).

Число этихъ отзывовъ можетъ быть значительно увеличено.

Въ „мемуарахъ“ неразъ превозносится Лесажъ (выше стр. 3, 5, 9, 10, 11), Фенелонъ (стр. 4—5, 5), Прево (стр. 8, 8, 9, 10).

Лубяновскій въ старости зачитывался „Телемакомъ“,—онъ даже задумалъ его перевести, о чемъ, довольно безсвязно, повѣствуетъ въ своихъ „запискахъ“.

„...хотѣлъ попытаться, не удастся ли въ переводѣ подойти сколько нибудь къ Фенелону въ первобытной, полной жизни, какъ природа, свободной и ясной, какъ зеркало чистой души, простотѣ его, въ славѣ равно плѣнительной, разсказываетъ-ли онъ быль стародавнюю, говоритъ-ли о любви къ добру за его собственную прелесть, или о вѣчной истинѣ небесной—всегда и вездѣ прямо къ сердцу. Гомеръ, вѣроятно, передалъ ему эту тайну неподражаемой простоты рѣчи“ [855].

Добрынинъ произведенія Лесажа относитъ къ „явленіямъ“, которыя—

„отверзаютъ“ умственный взоръ человѣковъ и оживотворяютъ ощутительно душу мыслящаго существа [856].

Грибовскій свидѣтельствуетъ, что къ любимымъ книгамъ императрицы Екатерины II относился „Жилблазъ“ [857]; Винскій, „не досыпая ночей“, читалъ того же Лесажа, и на немъ, да на Вольтерѣ, воспитывалъ свою любовь къ чтенію [858].

Гераковъ — врагъ вообще „любовныхъ“ сочиненій („что въ ней?“—говоритъ онъ о повѣстяхъ г-жи Жанлисъ—вездѣ ложь, и

любовь невозможно-исполнительная" [859]), — за то Телемака и Жилблаза онъ знаетъ почти „наизусть" [860].

Изъ предисловій *) къ романамъ мы видимъ, что только одинъ Тредіаковскій оказался сторонникомъ стараго героическаго романа [861]; другіе критики нападаютъ вообще на „любовный" романахъ [862] **) за его оторванность отъ жизни, за исключительность тѣхъ любовныхъ интересовъ, на которыхъ онъ построенъ. Одинъ авторъ предисловія говоритъ слѣдующее:

„...Когда я вижу приключенія графа Ротеворта, Маркизши Фресне и Маркиза Аргеаза, также приключенія Розеллиновы, которыя всѣ украшаются преимуществомъ истины,—то я ихъ почитаю за такіе же романы, прикрытые только нѣкоторою истиною; и для меня пріятнѣе было читать лунныя путешествія Цырана Бергерака и привидѣнія Квеведа. И такъ я заключаю, что книга, изданная въ свѣтъ за истинную, во всемъ должна быть истинною" [863].

Вообще стремленіе ввести въ рамки романа „дѣйствительную жизнь" сказывается во многихъ „предисловіяхъ". „Ближе къ жизни!"—это кличъ, который властно раздался въ романической литературѣ, нахлынувшей къ намъ въ половинѣ XVIII-го вѣка... Именно эти *реалистическія* тенденціи и приготовили у насъ торжество Лесажа, Прево, а затѣмъ англійскаго романа.

Изъ псевдоклассиковъ-романистовъ одинъ Фенелонъ пользовался неизмѣннымъ уваженіемъ критики въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій,—его превозносятъ на разные лады и авторы иностранныхъ предисловій, и русскіе переводчики: его называютъ „величайшимъ піитомъ", „безподобнымъ" [865], его Телемака—„неподражаемымъ", „безсмертнымъ памятникомъ ощутительнаго витійства и нравственности", „неподражаемымъ произведеніемъ", которое „преисполнено прозопеи и привлекательнѣйшимъ піетическимъ слогомъ писано" [866] ***).

Лесажъ именуется „славнымъ" за то, что онъ превзошелъ

---

*) Не всѣ предисловія принадлежатъ перу русскихъ переводчиковъ, и потому, казалось-бы, не могутъ служить показателемъ *русскихъ* вкусовъ,—но цѣнность этихъ предисловій отъ этого не падаетъ: пріди къ намъ вмѣстѣ съ книгой — они все же направляли вкусъ русскаго читателя, воспитывали его въ извѣстномъ направленіи и потому подлежатъ учету при рѣшеніи вопроса о литературныхъ вкусахъ русскаго общества.

**) Любопытно одиночное восхваленіе романа Харитона [863] (предисловіе переводчика).

***) Похвалы, въ предисловіяхъ расточаемыя также подражаніямъ „Телемака", конечно, могутъ быть, съ полнымъ правомъ, отнесены и къ этому произведенію (163—4, 168, 170, 171, 180).

всѣхъ писателей въ искусствѣ описывать „прихоти щастія и бѣдности сей временной жизни“ [867]. Въ сочиненіяхъ Лесажа одинъ авторъ видитъ—

„тонкія и замысловатыя шутки, приправленныя нравоученіемъ, сокрытымъ подъ простыми и натуральными мыслями“—въ нихъ „сіяетъ богатое воображеніе“ [868].

Прево превознесенъ въ предисловіи къ „Приключеніямъ Маркиза Г**“ и, какъ высшая ему похвала, сдѣлано сопоставленіе его произведенія съ „Телемакомъ“ [869]; сдержаннѣе похвала, высказанная въ предисловіи къ другому его произведенію: „Философъ Англинскій“ [870].

Опредѣленнѣе высказалось русское общество о псевдоклассическомъ романѣ въ журнальныхъ статьяхъ XVIII-го вѣка; здѣсь, между прочимъ, встрѣчаемъ мы очеркъ исторіи европейскаго романа, начиная со временъ Гомера; отзывъ о героическомъ романѣ самый неблагопріятный: осудивъ д'Юрфэ за его излишнюю сентиментальность, авторъ продолжаетъ:

„сей родъ романовъ еще болѣе черезъ то испортился, что впослѣдствіи *Гомбервиль, Кальпренедъ, Скюдери* и другіе—знатнѣйшихъ героевъ древности *Кира* и *Клелію* ввели на мѣсто пастуховъ и заставили воздыхать въ столь же скучныхъ любовныхъ письмахъ и мадригалахъ“ [871].

И въ этихъ статьяхъ неразъ встрѣчаемъ мы осужденіе тѣхъ романовъ, въ которыхъ любовь занимаетъ исключительное мѣсто [872]; встрѣчаемъ мы также отрицательное отношеніе къ чрезмѣрной идеализаціи тѣхъ старыхъ романовъ, —

„которые, удаляясь отъ натуры, представляютъ людей, вещи и происшествія гораздо инако, какъ они на нашемъ подсолнечномъ свѣтѣ быть и случиться могутъ“ [873].

Стремленіе къ простотѣ стиля [874], отрицательное отношеніе къ манерности и литературной искусственности [875] замѣчается и въ этихъ статьяхъ. Критики замѣчаютъ наличность въ публикѣ спроса къ литературному реализму,—въ одной статьѣ читаемъ:

„Многія наши красавицы съ нѣкотораго времени, неограниченную привязанность къ земной окружности возымѣли“ [876].

Любопытно, что русскіе критики замѣтили также, что—

„любовь гораздо уже натуральнѣе и справедливѣе описана въ „*Princesse de Clèves*“ и въ „*Зандѣ*“ госпожи *де-Лафайетъ*, чѣмъ въ безобразныхъ романахъ г-жи Скюдери“ [877].

Къ небольшому числу „достойныхъ“ романовъ врагъ этого жанра, Сумароковъ, отнесъ—Телемака [878]. Другой критикъ нашелъ, что, въ ряду лучшихъ романовъ,—

„романы *Прево д'Экзиль* характеризуетъ сила страстей, Лесажа— вѣрное изображеніе общественной жизни“ [879].

Эти же точки зрѣнія на романъ проводятся и въ журнальныхъ статьяхъ начала XIX в. (беру ихъ до 1810 года).

Прежде всего, необходимо отмѣтить, что въ журналахъ этого времени имѣемъ мы опять довольно-обстоятельный очеркъ исторіи европейскаго романа съ самаго его начала. Впрочемъ, все вниманіе автора устремлено на романъ новѣйшій, „англійскаго типа“; поэтому, сдѣлавъ, мимоходомъ, бѣглую характеристику стараго героическаго романа („вѣжливость, почтеніе къ дамамъ, рыцарство, особенный интересъ къ ихъ дѣламъ, равно и повѣстямъ объ оныхъ“ [880]),—авторъ больше не останавливаетъ на этомъ типѣ вниманія читателя и даже не упоминаетъ именъ Кальпренеда, Скюдери...

Реалистическія тенденціи еще сильнѣе сказываются въ этихъ статьяхъ начала XIX-го вѣка, чѣмъ въ старыхъ, XVIII-го. Почти всѣ авторы высказываются теперь противъ исключительно-любовныхъ романовъ, противъ идеализаціи и авантюрности.

„Когда рыцарство надоѣло, появились романы любовные, чувствительные, растянутые, болтливые и, слѣдственно, самые скучные. Итальянцы и французы отличились въ семъ родѣ: ихъ сочиненія можно нечесть плодами больныхъ, разгоряченныхъ головъ, нежели сердца растроганнаго. Бѣдные читатели осуждены были пользоваться такими сокровищами. Мольеръ, въ свое время, нападалъ на сіи дурачества („Précieuses ridicules“); однакожъ совершенно истребить не могъ вкоренившейся заразы“ [881].

Рѣшительно возстаетъ критика противъ послѣднихъ остатковъ préciosité [882] въ стилѣ, а также противъ авантюрности романовъ“.

„Многіе писатели романовъ ошибаются, думая, что всего надежнѣе могутъ они достигнуть цѣли своей, естьли будутъ содержать любопытство читателей въ безпрерывномъ напряженіи, перемѣняя часто сцены, представляя множество чрезвычайныхъ чудесныхъ приключеній. Такой романъ можно, нѣкоторымъ образомъ, уподобить лавкѣ, гдѣ выставлено множество блестящихъ, прекрасныхъ вещей, и гдѣ глазъ, перелетая съ одного предмета на другой, останавливается лишь на нѣсколько минутъ,—етакой романъ можетъ занимать читателя, не интересуя его—и будетъ скученъ, или утомителенъ: ибо излишняя многоразличность должна, наконецъ, утомить, и одно возбужденіе любопытства не можетъ доставить постояннаго удовольствія“ [883].

Критика ясно и согласно указываетъ, что интересы романиста должны сосредоточиться теперь на изображеніи *жизни*,—особенно жизни человѣческой души.

„Только тѣ романы производятъ подлинный, прочный интересъ, въ которыхъ внѣшніи происшествія и перемѣняющіяся приключенія суть ничто иное, какъ средства, имѣющія одну общую цѣль: обнару-

жить *внутренняго человѣка* [884] (далѣе идетъ ссылка на Фильдинга и Лесажа).

„Романистъ долженъ знать человѣческое сердце, чтобы умѣть съ надлежащею подлинностью описать ходъ и дѣйствія чувствованій, страстей, намѣреній. Живописецъ долженъ имѣть передъ собой людей, которыхъ изобразить онъ желаетъ, чтобы видѣть черты ихъ лица, игру ихъ минъ; романистъ, принимаясь изображать характеръ какого-нибудь извѣстнаго рода людей, долженъ приготовить себя къ тому, чтобы узнать точнѣе подробности сего характера“ [885].

Романисту критика ставитъ на рѣшеніе *психологическія проблеммы:*

„представить противорѣчія въ борьбѣ съ самимъ собой; обнаружить тайны сердца, покрытаго нынѣ такою темною завѣсою; вывесть дѣйствіе страстей, болѣе разгоряченныхъ въ наше время, нежели когда-нибудь; изобразить, при случаѣ игру рока и силу предразсудковъ“ [886];

„...естьли бы я вздумалъ писать Романъ—повѣствуетъ одинъ критикъ,—то, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, довольствовался бы тѣмъ, что изобразилъ, или описалъ бы какой-либо предметъ и достигъ бы своей цѣли, естьли бъ характеры человѣческіе явились въ подлинномъ своемъ видѣ, по правиламъ психологической истины. Въ другихъ случаяхъ, цѣль моя состояла-бъ въ рѣшеніи какой-нибудь *психологической проблеммы*; я могъ-бы, по примѣру Ж., Ж. Руссо и Гете, предложить себѣ вопросъ: какъ можетъ нещастная пылкая любовь заключаться въ границахъ дружбы? и съ другой стороны,—при какихъ обстоятельствахъ можетъ она имѣть трагическій конецъ? Въ сихъ случаяхъ недовольно изобразить характеры извѣстныхъ лицъ; но все расположеніе, вся отдѣлка сочиненія должна имѣть въ виду то, чтобы правильно рѣшить психологическую задачу“ [887].

Приведенныя цитаты свидѣтельствуютъ, какой опредѣленности достигли психологическіе запросы въ русской публикѣ къ началу XIX-го вѣка,—если дѣды зачитывались еще авантюрными рукописными романами, то сыновья, особенно внуки, уже не довольствовались этой литературой и жили не внѣшними, а внутренними интересами. Такимъ образомъ, русское общество пережило за XVIII-ый вѣкъ совершенно ту же эволюцію вкуса, которая людей западной Европы отъ рыцарскихъ и героическихъ романовъ, отъ „Амадисовъ“ и произведеній Кальпренеда—привела къ романамъ Лафайетъ, Прево, наконецъ, къ англійскому роману...

Любопытно, что въ началѣ XIX-го вѣка, въ эту пору *вызрѣванія* новыхъ литературныхъ запросовъ, изъ писателей XVIII-го вѣка одинокими могиканами уцѣлѣли Лесажъ, Фенелонъ. Въ то время какъ „Телемакъ“ величается по прежнему, „превосходнымъ сочиненіемъ“ [888] Прево былъ, очевидно, отодвинутъ родственнымъ ему „англійскимъ“ романомъ, а также произведеніями Руссо и Гете.

Приключенія Телемака, „по изобрѣтенію своему, по расположенію, по слогу и по нравоученію, всегда будутъ занимать первое мѣсто между книгами полезными“ [889]—говоритъ одинъ критикъ.

Такъ же и сочиненія Лесажа относятся, по прежнему, къ „образцовымъ“ [890].

„не взирая на тысячи романовъ, которыми обременены мы, Ричардсонъ въ Англіи, а Лесажъ во Франціи остаются еще до сихъ поръ на тронѣ“ [891]—замѣчаетъ другой критикъ.

Обращаясь теперь къ обозрѣнію русскаго подражательнаго романа, относящагося къ группѣ, объединенной подъ однимъ понятіемъ: „псевдоклассическій романъ“,—понятіемъ, взятымъ въ широкомъ смыслѣ слова,—я изъ всей романической литературы XVIII-го столѣтія, на основаніи признаковъ, выше опредѣленныхъ, (фатализмъ міросозерцанія, авантюрность построенія, эротизмъ и др.), къ этому разряду произведеній отношу слѣдующія русскія произведенія:

I. Къ *первой группѣ* (героическій романъ и героическая повѣсть):

Награжденная постоянность, или приключенія Лизарка и Сарманды, сочиненіе Оедора Эмина. Спб. 1764 (№ 135); *2-ое изд.* 1788 (№ 952).

Вамрія, или дѣйствіе души великой и благородной, соч. Г. Пракудина, М. 1773 (№ 276).

Приключеніе Клеандра, храбраго царевича Лакедемонскаго и Піонилѣды, Королевны Ѳракійской, росс. соч. И. Захарьина, Николаевъ 2 ч. 1788 (№ 983); *2-ое изд.* 1793 (№ 1489); *3-е изд.* 1798 (№ 1920).

Невидимка, исторія о Фецкомъ королевичѣ Аридесѣ и о братѣ его Полумедесѣ, съ разными любопытными повѣстями, соч. Матвѣй Комаровъ *), М. 1790 (№ 1152).

Повѣсть о непреоборимой любви Адаманта къ Дафнисѣ, соч. г. Черневскаго, 2 ч. 1793 (№ 1477).

Анакреонтъ, или могущество любви, греческая повѣсть, соч. Россійское М. 1790 (№ 1127а).

Похожденіе Ахилесово, подъ именемъ Пирры до Троянскія осады, сочиненіе М. Чулкова. Спб. 1769 (№ 234). *2-ое изд.* 1788 (№ 978).

---

*) Вслѣдствіе сильной примѣси волшебнаго элемента, сочиненіе это будетъ разсмотрѣно въ слѣдующей VI-ой главѣ (рыцарскій и волшебный романъ.

Торжествующая добродѣтель, или жизнь и приключенія гонимаго фортуною Селима, истинная повѣсть; соч. Д. Зиновьева М. 1789 (№ 1116), *2-ое изд.* 1791 (№ 1288).

Добродѣтельная Розана, соч. Г. В. Лазаревича. Спб. 1782. (№ 587).

Гонима („Что-нибудь", 1780). (№ 455),

Повѣсть о Гнродѣ („Что-нибудь", 1780). (№ 483).

Громобой, соч. А-ра Измайлова („Муза", II, 1796). № 1771).

Розвольдъ, соч. В. Нарѣжнаго („Пр. и пол. пр. вр.", 1798). (№ 1924).

Четыре года жизни княгини К., или образецъ супружеской вѣрности (соч. К.), М. 1795 (№ 1751). *2-ое изд.* 1802.

Юлія, повѣсть Н. Карамзина („Аглая, ч. I, 1796). (№ 1822).

II. Ко *второй группѣ* („Телемакъ") относятся слѣдующія произведенія:

Приключенія Ѳемистокла и разные политическіе, гражданскіе, философическіе и военные его съ сыномъ своимъ разговоры, постоянная жизнь и жестокость фортуны, его гонящей, соч. Ѳ. Эмина. Спб. 1763 (№ 117); *2-ое изд.* 1781 (№ 549).

Нума, или процвѣтающій Римъ, соч. М. Хераскова, М. 1768 (№ 206); *2-ое изд.* 1793 (№ 1466); *3-ье изд.* 1800 (№ 2018).

Кадмъ и Гармонія, древнее повѣствованіе, соч. М. Хераскова, 2 ч. М. 1786 (№ 803); *2-ое изд.* 1789 (№ 1049); *3-ье изд.* 1793 (№ 1449); *4-ое изд.* 1801; *5-ое изд.* 1807.

Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи, соч. М. Хераскова, 3 ч. М. 1794 (№ 1609); *2-ое изд.* 1801; *3-ье изд.* 1806.

Храмъ истины, или видѣніе Сезостриса, царя Египетскаго, соч. Н. Львова. Спб. 1780 (№ 1184).

Арбаксадъ, халдейская вымышленная повѣсть, содержащая въ себѣ образъ жизни и нравовъ древнихъ восточныхъ народовъ, соч. Козловскаго одноцворца Петра Захарьина, 6 ч. М. 1793—1796 г. (№ 1400). *2-ое изд.* 1798 (Николаевъ) № 1869.

III. Къ *третьей группѣ* („Жилблазъ"),—

Пересмѣшникъ, или Славенскія сказки, соч. г. Чулкова, 4 ч. М. 1766—8 (№ 187); *2-ое изд.* 1783—5 (№ 681); *3-ье изд.* 1789 (№ 1081). („Какимъ образомъ попадаются мертвецы въ западню". „Сказка о рожденіи тафтяной мушки").

Ночи, соч. Ив. Крылова, „Зритель", 1792 г. (№ 1357).

Пригожая повариха, или похожденіе развратной женщины. Соч. М. Чулкова. Спб. 1770 (№ 250).

IV. Къ *четвертой группѣ* („Приключенія Маркиза Г**) относятся сочиненія:

Непостоянная фортуна, или похожденія Мирамонда, соч. О. Эмина, 3 ч. Спб. 1763 (№ 106); *2-ое изд.* 1781 (№ 534); *3-ье изд.* 1792 (№ 1352).

Лейнардъ и Терчилія, или злощастная судьба двухъ любовниковъ, соч. дѣвица Н. Н. пер. съ фр. М. 1784. (Геннади—авторъ Наталія Макарова, Слов. II, 278).

Повѣсть одного Россійскаго дворянина, удалившагося отъ свѣта. Спб. 1792 (№ 1372).

Небылица, соч. М. В(еревкина). Спб. 1778.

Разныя повѣствованія, сочиненныя нѣкоторою Россіянкою, М. 1779 (№ 428).

Похожденіе нѣкотораго Россіянина, истинная повѣсть, имъ самимъ писанная, соч. П. Х., содержащая въ себѣ исторію его службы и походовъ съ приключеніями и слышанными имъ повѣстями, 2 ч. М. 1790 (№ 1165).

Гонимая невинность, или обманутой надеждою любомудръ. Сочиненіе Россійское, М. 1786 (№ 788).

1.

Содержаніе перваго изъ названныхъ романовъ: *„Награжденная постоянность, или приключенія Лизарка и Сарманды“* [892])— заключается въ слѣдующемъ:

Лизаркъ—мнимый сынъ Вомпсида, философа персидскаго. Послѣ смерти Вомпсида его отправили въ Египетъ, къ царю Инаку, „для сысканія счастья“. Ѣдетъ онъ туда моремъ. Разыгрывается буря. Описаніе ея. Когда буря успокоилась, всѣ путешественники отъ горя и страха перешли къ радости. Къ Лизарку „возвратилась философія“, которую онъ, во время бури, совсѣмъ потерялъ. Потомъ на ихъ корабль нападаютъ морскіе разбойники. Лизаркъ оказывается въ рабствѣ. Его продаютъ царю Инаку. Тотъ дѣлаетъ его пажемъ своей дочери Изиды. Слѣдуетъ описаніе красоты Изиды. Лизаркъ любуется ею, потомъ въ нее влюбляется, сначала самъ того не замѣчая. Сперва онъ считалъ себя счастливымъ только тѣмъ, что можетъ постоянно любоваться Изидой; потомъ почувствовалъ онъ „уныніе“, началъ „изслѣдовать внутреннее свое состояніе, сдѣлалъ прибѣжище къ философическимъ разсужденіямъ“, но не нашелъ въ нихъ отвѣта, и, только однажды, увидѣвъ спящую Изиду, онъ, наконецъ, догадался, что причина его горести—въ безнадежной любви. Онъ укоряетъ „природу“, которая допускаетъ свободу только въ философіи, но не въ жизни. Между тѣмъ, Изида проснулась и, замѣтивъ философствующаго Лизарка, проситъ его подать ей напиться. Слѣдуетъ описаніе ея наружности послѣ сна: „Потъ съ лица ея еще въ свои скважины не скрывшійся, казался ему быть небесною росою, которую изпускаетъ денница для напоенія земли. Лизаркова денница была Изида, жестокимъ любви огнемъ сожженое его прохлаждающая сердце и слабою надеждою напаевающая его желанія“. Съ этого дня Лизаркъ пылаетъ трогательною любовью къ Изидѣ, рабски ее обожаетъ... Однажды, „когда солнце прекратило свою жестокость, и хладный насталъ вечеръ“, Изида отправилась на охоту. Лизаркъ „позади ея не охотиться, но воздыхать ѣхалъ“. Во время охоты Л. потерялъ царевну изъ виду. Долго искалъ онъ ее въ лѣсу и нашелъ въ моментъ ея единоборства съ медвѣдемъ. Онъ помогъ Изидѣ убить медвѣдя, но она нечаянно ранила его. Л. упалъ и, думая, что умираетъ, „умильнымъ взоромъ“ посмотрѣлъ на Изиду и сказалъ ей: „не извольте тревожиться милостивѣйшая Государыня, что, по щастію, отъ руки вашей получаетъ кончину тотъ, которой бы тысячу разъ за васъ умереть не отрекся!“. Онъ открывается ей въ любви. Из. хотѣла остановить кровь, лившуюся изъ его раны, но Л. „усильно“ ее просилъ, чтобъ ему „толикой милости недостойному утружденіемъ своимъ не вспомоществовала, и удерживалъ съ почтеніи ту вспомоществующую руку, къ которой въ другомъ случаѣ вся бы его жизнь прилипла“. По просьбѣ Изиды, Лизаркъ былъ отданъ на излеченіе. Видя доброе ея къ себѣ расположеніе, онъ теперь боится умереть и въ длинномъ монологѣ жалобится на боговъ, на судьбу, на грозящую смерть... Такъ же

взволнована Изида,—она часто вспоминаетъ его трогательное признаніе, его красоту, — и, наконецъ, сама того не замѣчая, „находила его достойнымъ своей любви и такъ, какъ нѣжная пчела, „избирала изъ разныхъ своихъ новопроцвѣтающихъ разсужденій пріятную сладость". Подъ конецъ своихъ разсужденій Изида уже полюбила его „страстно". Между тѣмъ, Л. выздоровѣлъ. Теперь онъ, вспоминая свою нескромность, начинаетъ бояться гнѣва Изиды; даже опять желаетъ себѣ смерти. „Жить для того, чтобъ безпрестанно мучиться, есть жизнь, несноснѣйшая строжайшей смерти" — думалъ онъ и говорилъ: „Ахъ, возвратите мнѣ ту смерть, которую вы, противу хотѣнія моего, изъ меня похитили". Поправившись, Л. идетъ представляться Изидѣ; робость его и нерѣшительность, при встрѣчѣ съ нею, недурно представляетъ смущенное состояніе духа юноши, впервые узнавшаго любовь. Изида по лицу его догадалась объ его робости; она сочувствуетъ ему, но рѣшается пошутить надъ нимъ. Она ему говоритъ, что на охотѣ нарочно въ него пустила стрѣлу, чтобы „наказать его" за тѣ дерзкія чувства, которыя онъ къ ней питаетъ, и о которыхъ она догадалась еще до его признанія. Л. въ отчаяньи. Истомъ, по ошибкѣ, Лизарка посадили въ тюрьму—онъ думалъ, что это сдѣлано по приказанію Изиды. Рѣшившись покончить жизнь самоубійствомъ, въ горѣ онъ пишетъ ей письмо и бросается въ Нилъ. Изъ Нила его вытащили; тогда онъ раскаявается, что послалъ письмо Изидѣ и, боясь ея гнѣва, проситъ одного пажа письмо, имъ посланное къ Изидѣ, перехватить и ему вернуть. Тотъ письмо прочелъ и сталъ колебаться, не зная, что съ нимъ дѣлать. Думалъ, думалъ и рѣшилъ отдать Лизарку, считая, что это честнѣе, да и удобнѣе во всѣхъ отношеніяхъ. Л. разсказалъ ему о своей любви. Тотъ уговариваетъ его отказаться отъ такой любви. Когда Изида узнала о попыткѣ Лизарка лишить себя жизни, „страсти ея взволновались, любовь въ ней дѣйствовать начала, и сколько соболѣзновала о злоключеніи Лизарка, столько ощущала удовольствія, что Лизаркъ столько въ нее влюбленъ. Отъ того времени вознамѣрилась любить его страстно, но никогда ему своего намѣренія открыть не хотѣла". И вотъ, чтобъ испытать свое и его сердце, Изида отсылаетъ Лизарка въ Мемфисъ, ко двору своей тетки. Л. въ отчаяньи жалобится передъ ней. „Отчаянье, въ сердрѣ его заключенное, тогда начало на верьхъ вырываться изъ его внутренностей". Из. съ нимъ говоритъ снисходительно, но величественно, и любви своей не обнаруживаетъ; „вспомни только о себѣ и подумай, кто я, говорила она, ты увидишъ великое между твоими желаніями и моимъ достоинствомъ разстояніе. Поѣзжай въ Мемфитъ,—тамъ опредѣленія рока дожидайся",— сказала она ему на прощаніе. Когда Л. удалился, Из. чувствуетъ „тоску и утомленіе", — она жалѣетъ Лизарка, упрекаетъ себя за излишнюю суровость. „О, нещастное достоинство! говорила она, ты мнѣ гнуснѣе подлости!"... Нѣтъ! не принесу я въ жертву своего благополучія безразсудному моему самолюбію!". Наконецъ, послѣ долгихъ колебаній, Из. рѣшается оставить Лизарка у себя. Оказалось, что онъ уже уѣхалъ. Тогда Из. идетъ къ отцу и требуетъ вернуть Лизарка, такъ какъ онъ укралъ у нея ея драгоцѣнности. Между тѣмъ, Л. ѣдетъ медленно, полный тоски. Погоня его настигаетъ; его жестоко бьютъ и тащатъ назадъ.

Из. видитъ его окровавленнаго и очень жалѣетъ; отцу она заявляетъ, что нашла свои драгоцѣнности. Лизарка освобождаютъ. Онъ оскорбленъ обиднымъ подозрѣніемъ Изиды. Жалобится вслухъ наединѣ. „Но я свою обиду тебѣ прощаю; всѣ мученія, изъ твоей руки происходящія, мнѣ пріятны!"—говорилъ онъ, Из. тоже потрясена всѣмъ происшедшимъ, жалобится на „судьбу" и на свою суровость. „Ты нещастливъ тѣмъ, что престолъ мой для тебя высокъ", говоритъ она сама съ собою: „О, свирѣпыя узаконенія! почто воспрещаете владѣтелямъ соединяться съ подданными!" и т. д. Она пишетъ письмо къ Лизарку, въ которомъ открывается ему въ любви, но ничего не обѣщаетъ. Л. взволнованъ, когда ему вручили это письмо. Прочтя его, онъ приходитъ въ восторгъ, который и выражаетъ шумно, въ патетическомъ монологѣ. „О, щастливые побои, послѣ моего отъѣзду изъ Капрамною претерпѣнные!" — восклицаетъ онъ. Из. волнуется любовью и сожалѣніемъ къ Лизарку. Однажды Л. застаетъ ее одну. Дотально описано ихъ краснорѣчивое молчаніе. Потомъ Изида, „съ улыбкою женщинамъ сродною", начинаетъ кокетничать съ нимъ. Она не отрицаетъ своей любви къ нему, но, отшучиваясь, не только не даетъ никакого ему обѣщанія, но не позволяетъ ему даже молча ее „обожать". Подъ впечатлѣніемъ происшедшихъ объясненій Лиз. наединѣ въ отчаяньи восклицаетъ: „О, должность! О, благопристойность! О, несносное право! Коль страшныя суть ваши для моего сердца имена!".

Пажъ, который зналъ сердечную тайну Лизарка, проболтался сестрѣ своей Сармандѣ, давно влюбленной въ Лизарка. Та предупредила Изиду о болтливости Лизарка. Из. разгнѣвалась, приблизила къ себѣ другого пажа, и, въ присутствіи Лизарка, демонстративно стала съ нимъ кокетничать. Лиз., видя ея любезность къ этому счастливцу и гнѣвное отношеніе къ себѣ, мучается ревностью. Муки своего сердца онъ выражаетъ наединѣ въ безконечныхъ жалобахъ. Из. объясняется съ нимъ,—она гнѣвно упрекаетъ его за легкомысліе и болтливость. Л. пораженъ ея суровыми укорами: „съ лица его низпала вся кровь, — онъ весь поблѣднѣлъ и не могъ ни слова промолвить". Из., замѣтя его испугъ и горе, „такимъ его состояніемъ казалась быть довольною, и мстительная любовь ощущала нѣкое облегченіе, что могла отмстить отягочающему ее предмету". Тѣмъ не менѣе, „отмщеніе за досаду свою, которою отяготилъ Л. Изидино сердце, не могло быть тронуто болѣзненнымъ Лизарковымъ состояніемъ, и оно далѣе свирѣпость свою простерть восхотѣло"—и вотъ, Из. прогнала Лизарка и осталась одна. Тогда стала она колебаться между любовью и желаніемъ еще продолжить свою месть. Между тѣмъ, Лиз.— въ полномъ отчаяньи. Сарманда ночью приходитъ къ нему и открываетъ ему свою любовь. Л. смущенъ. „Повѣрь мнѣ, Сарманда, что я очень чувствительное имѣю сердце", говоритъ онъ, но любить ее онъ отказывается, такъ какъ отдалъ сердце Изидѣ; тѣмъ не менѣе, Л. тронутъ любовью Сарманды и жалѣетъ, что поздно узналъ объ этихъ чувствахъ; „естьли бы ты прежде, нежели сердце мое узнало любовь, толь пріятнымъ со мною говорила языкомъ, то, повѣрь мнѣ, что безъ всякаго труда ты бы была моею обладательницею!"—заявляетъ онъ ей. Разговоръ ихъ занимаетъ шесть страницъ. С. — въ отчаяньи, мучимая разными чувствами: она негодуетъ на судьбу, радуется тому, что Из. не любитъ Ли-

зарка, жалѣетъ его, укоряетъ Изиду, ревнуетъ,—такимъ образомъ, представленъ калейдоскопъ чувствъ, ею владѣющихъ. Между тѣмъ, Инакъ посылаетъ Лизарка въ Мемфисъ. Л. уѣзжаетъ полный отчаянья. Жалобится вслухъ на свою судьбу, размышляетъ по дорогѣ о превратностяхъ своей жизни. „Мысленныя терзанія были спутниками сего несчастнаго". Из., послѣ отъѣзда Лизарка, успокоилась. За то Сарманда въ полномъ отчаяньи. Наконецъ, она рѣшилась ѣхать за возлюбленнымъ, переодѣлась въ мужское платье и, въ качествѣ юноши-спутника, догнала Лизарка. Не узнавъ ея, онъ беретъ ее къ себѣ въ слуги, подъ именемъ Метафраста. Любовь Сарманды нѣжная, самоотверженная; она усердно служитъ Лизарку. Послѣ долгаго пути Л. пріѣхалъ въ Мемфисъ. Здѣсь онъ безъ Изиды такъ сильно затосковалъ, что сталъ чуждаться всѣхъ развлеченій, скоро прослылъ „великимъ маланхоликомъ" (sic). Из. пишетъ письмо Лизарку, въ которомъ утѣшаетъ его. Прочтя ея письмо, Л. въ восторгѣ сообщаетъ о своей радости Сармандѣ, — та погружается въ отчаянье, такъ какъ убѣждается въ любви Изиды къ Лизарку. Жалобы ея. Пріятное письмо освободило Лизарка отъ „меланхоліи". Но его радость причиняетъ Сармандѣ горе. Между тѣмъ, Лизарка посылаютъ посломъ просить помощи въ войнѣ противъ Финикійцевъ.

Лиз. и С. плывутъ по морю. Послѣ жестокой бури они попадаютъ въ руки разбойниковъ и проданы въ рабство. Тутъ С. почувствовала на себѣ всю тяжесть „злобнаго рока". Ихъ продали и разлучили. С. въ горѣ. Жалобы ея вслухъ. Ее всѣ считаютъ за мужчину и дѣлаютъ пастухомъ. Разсказывая объ ея новой жизни, авторъ рисуетъ пастушескую идиллію. Изъ пастуховъ ей особенно сочувствовалъ Амнонъ, который избралъ „пастушью жизнь" потому, что презрѣлъ суету свѣта, уйдя отъ людей на лоно природы. Авторъ восхваляетъ пастушью жизнь, сравнивая ее съ жизнью городской. Изъ любви къ ближнимъ Амнонъ выкупаетъ Сарманду и даетъ ей свободу.

С. идетъ по городу и вдругъ видитъ, что Лизарка ведутъ на казнь за кражу. Желая его спасти, С. беретъ вину на себя и вноситъ 100 червонцевъ. Ее ведутъ въ тюрьму. С. въ тюрьмѣ жалобится на „судьбу". Л. посѣщаетъ ее въ тюрьмѣ и укоряетъ за воровство. Она не успѣла ему сказать правды, и онъ ушелъ въ убѣжденіи, что его бывшій слуга виноватъ въ кражѣ. С. въ горѣ произноситъ жалобы и пишетъ Лизарку предсмертное письмо, въ которомъ открываетъ, что она не мужчина, а женщина, что она— Сарманда, въ кражѣ невиновна и взвела на себя поклепъ, чтобы спасти его, Лизарка. Сарманду ведутъ на казнь. Передъ смертью она нечаянно уронила свое письмо. Оно прочитано было судьями. Жалобы Сарманды и обморокъ. Прочиталъ письмо Лизаркъ и „былъ въ изступленіи, и, не могши самъ разсудить, которая страсть сильняе въ то время въ сердцѣ его дѣйствовала, послѣдовалъ „человѣколюбію" и сталъ приводить въ чувство Сарманду. Она пришла въ себя и была освобождена. Она оказалась родственницей жены начальника города. Лиз. съ нею поселился во дворцѣ. Тѣмъ не менѣе, Сарманда тоскуетъ: „никакихъ не находила удовольствій и то только пріятное мечтаніе нѣсколько сердечное ея услаждало уныніе, что Л. узналъ, коль сильная есть ея къ нему любовь". Между тѣмъ, Лиз. му-

чается двойственностью своихъ чувствъ: любовь къ Изидѣ и благодарность къ Сармандѣ раздѣлили его сердце. Однажды Л. сидѣлъ въ саду и жалобился вслухъ на свою „судьбу", на природу; потомъ онъ сталъ философствовать объ устройствѣ мірового порядка, о ничтожествѣ человѣка и пр. Вдругъ является С. и опять начинаетъ съ нимъ разговоръ о любви. Л. отвѣчаетъ ей: „здравой разсудокъ мнѣ представляетъ, что толь нѣжной особѣ не соотвѣтствовать есть жестокость и ужасное свирѣпство; красота твоя всего драгоцѣннѣе, но что̀ мнѣ дѣлать, нещастному, когда я отъ человѣческаго рода извергомъ нахожусь и не чувствую тѣхъ нѣжностей, которыя должность имѣть повелѣваетъ".

Оба жалобятся на „злой рокъ". Между прочимъ, Лиз. говоритъ: „мученія мои превозвышаютъ тартарскія. Тамъ каждый знаетъ, что̀ за что̀ претерпѣваетъ, но здѣсь мучусь я безъвѣстно; и не знаю, какой конецъ будетъ моимъ томленіямъ". Въ утѣшеніе Сармандѣ, онъ говоритъ: „претерпѣвай такъ, какъ и я, озлобленной судьбы удары".

Сарманда, наконецъ, послѣ долгой борьбы съ собой, въ порывѣ великодушія, даетъ ему полную свободу: она не хочетъ его мучить, говоря, „что̀ я для тебя ни претерпѣла, о всемъ позабуду! и о томъ только вѣчно помнить не престану, что ты мнѣ милъ, и что тебя безмѣрно люблю".

Получивъ свободу, Л. самъ начинаетъ колебаться; наконецъ, онъ обѣщаетъ Сармандѣ, что, даже люби Изиду, онъ никогда не женится на ней, не желая огорчать ее, Сарманду. Вдругъ на него налетаютъ воины, схватываютъ и куда-то ведутъ. Оказывается, Изида, узнавъ объ его рабствѣ, явилась съ войскомъ его освобождать. Освободивъ его, Изида заявляетъ, что отецъ согласился на ихъ свадьбу. Л. „въ изступленіи". Онъ восклицаетъ: „о, боги! случаи всегда удивительны; но такому весь свѣтъ чудиться долженъ! Какая непостижимая въ дѣйствіяхъ природы находится смѣсь!". Л. отказывается жениться, и Из. приходитъ въ „свирѣпость". Л. старается утѣшить ее патетической рѣчью: „богами, небомъ, моремъ, землею и тобою самою кленусь, что ты— моя Государыня; ты одна въ любви моей имѣешъ участіе; буду до гроба своего любить чрезмѣрно! ты будешъ единственнымъ мыслей моихъ предмѣтомъ, но супругомъ твоимъ быть не могу... средствъ никакихъ уже для моего отчаяннаго сердца не обрѣтается!.. Щастіе, сладкія размышленія, пріятныя упованія, сильныя желанія,—все погибло и осталась одна только во мнѣ безсильная любовь!" Из. подозрѣваетъ что Сарманда отбила у нея Лизарка и рѣшается погубить обоихъ.

Слѣдуетъ разсказъ начальника города Калифаса. Онъ взятъ былъ юношей ко двору. Государь приказалъ ему жениться на одной дѣвицѣ, когда онъ далъ слово другой. Онъ исполнилъ приказаніе, но жизнь его оказалась несчастной; тогда законная жена разрѣшила ему жениться на любимой имъ, но и это не помогло и, „будучи женатъ на двухъ женахъ", онъ не могъ любить „съ удовольствіемъ" ни одной.

Л. арестованъ по приказанію разгнѣванной Изиды и отправленъ на кораблѣ въ Каиръ. С. разсказываетъ все искренно Изидѣ. Та видитъ, что поторопилась наказывать Лизарка, „ярость, подозрѣніе и ревность,—все перемѣнилось; и послѣдовало раскаяніе". С. упраши-

ваетъ Изиду пощадить Лизарка. Она отказывается отъ Лизарка, говоря: „Я готова на лютѣйшую смерть отважиться, толькобы Л. былъ щастливъ и отъ всякихъ злоключеній освобожденъ". ...„Вонзи кинжалъ въ грудь мою; терзай нещастное сердце!"—восклицаетъ она. Слѣдуетъ характеристика чистой, самоотверженной любви Сарманды. Из. рѣшается отмѣнить наказаніе Лизарка и шлетъ за нимъ гонца. Между тѣмъ, Сарманда уходитъ тайно, такъ какъ узнаетъ, что Изида хочетъ ее погубить. С. плыветъ по морю Прельстясь ея красотой, управитель судна рѣшился ее изнасиловать. Жалобы ея вслухъ. Но въ критическій моментъ начинается буря. Кораблекрушеніе. С. спасается и добирается до Кипра Тамъ она узнаетъ, что Лизаркъ оказался царскимъ сыномъ и наслѣдникомъ престола Онъ былъ отданъ ребенкомъ персидскому философу для того, чтобы тотъ его убилъ, такъ какъ было предсказано, что онъ. выросши, убьетъ отца своего, Инака. Братъ умершаго философа зналъ тайну родителей Лизарка, сталъ его искать и, наконецъ, отправился ко двору Инака. Тамъ встрѣтилъ онъ Лизарка и призналъ его. Такимъ образомъ, Изида оказывается его сестрой. Изида удивлена, узнавъ, что Лиз.—ея братъ.

Лизаркъ отыскиваетъ Сарманду, чтобы на ней жениться. Въ это время С. жила у родителей. Онъ былъ обрадованъ этимъ извѣстіемъ, и „вся его любовь, которою онъ пылалъ къ Изидѣ, обратилась къ соперницѣ ея".

Л. и Из. ѣдутъ торжественно моремъ въ Египетъ за Сармандой. Встрѣчаютъ въ морѣ шлюпку—въ ней оказался „неистовой кораблеплаватель", капитанъ того судна, на которомъ ѣхала С. Онъ разсказываетъ объ ея гибели. „Жестоко вздохнувъ, вскричалъ Лизаркъ; потомъ не могъ больше говорить ни слова и палъ въ обморокъ на землю, и пѣна изъ устъ его точилась". Жалобы его на судьбу. Больной Л. пріѣхалъ въ Кипръ, и здѣсь происходитъ неожиданная встрѣча его съ Сармандой. Приключенія всѣ закончились бракомъ Лизарка съ Сармандой, „которой—любовь и нѣжность можетъ служить въ примѣръ всѣмъ непостояннымъ сердцамъ, кои въ тотъ самой день, въ которой воспламеняются любовію, желаютъ достичь къ общему любви концу, не разсуждая, что любовь есть порокъ, когда не будетъ постоянности"—„Любить то, что̀ къ себѣ привлекаетъ природа, есть право естества, но любовь должна зависѣть отъ благоразумія и постоянности",—морализуетъ авторъ въ заключеніе.

Не входя въ критическую оцѣнку литературныхъ достоинствъ и недостатковъ этого романа Ѳ. Эмина, я укажу тѣ внѣшніе и внутренніе признаки, которыя даютъ мнѣ право въ этомъ произведеніи видѣть близкое подражаніе французскимъ героическимъ романамъ.

Прежде всего, *построеніе* этого романа *авантюрное*: длинная цѣпь шаблонныхъ приключеній (бури, кораблекрушенія, нападенія морскихъ разбойниковъ, рабство; препятствія на пути къ достиженію любви—сословное различіе происхожденія, pruderie героини, любовь соперницы, месть отвергнутой, недоразумѣнія и ошибки,

письма, переодѣваніе женщины въ мужское платье, попытка героя покончить съ собой самоубійствомъ, узнаніе, раскрытіе тайны происхожденія: герой оказывается царскимъ сыномъ, чуть было не женится на сестрѣ; миѳъ объ Эдипѣ *), какъ завязка всего романа)—приключеній, давно намъ извѣстныхъ по иностраннымъ произведеніямъ,—представляетъ собой ту канву, на которой авторъ, при помощи вставныхъ эпизодовъ, вышиваетъ свои нехитрые узоры...

Произведеніе отличается „*аристократизмомъ*“: героиня—царская дочь; герой оказался тоже царевичемъ.

„*Судьба*“ играетъ здѣсь ту же роль, что и въ греческомъ, и во французскомъ романѣ. Кажется даже, что въ произведеніи Эмина „судьба“ еще назойливѣе лѣзетъ постоянно на глаза читателю [893 **]): чуть ли на каждой страницѣ встрѣчаемъ мы обращенія къ ней, жалобы на ея суровость и жестокость, разсужденія объ ея свойствахъ: напр. —

„Судьба нещастныхъ гнать не престаетъ,—она ни въ чемъ не знаетъ мѣры. Когда кому благопріятствовать похочетъ, то часто ея благопріятствованіе мѣру достоинствъ преносходитъ [894].

„Когда же кого отягощать начнетъ, то не смотритъ на человѣческое состояніе, можетъ ли оно толь жестокія снести мученія. Но разумной тотъ человѣкъ, которой, будучи въ нещастіи, боится, ибо предвидѣнной ударъ не столько чувствителенъ“ [895].

„О, превратное щастіе!—размышлялъ въ себѣ Лизаркъ,—лицо твое подрумянено тѣми красками, которыя потъ смываетъ. Съ начала ты желаніямъ человѣческимъ весьма пріятно, цвѣтъ твой хорошъ; но коль скоро судьба на человѣка низпошлетъ злоключеніе, отъ котораго есть ли онъ слабѣть начнетъ, то веселой твой цвѣтъ съ потомъ исчезнетъ, такъ что и знаку не останется, гдѣ твоя была красота. Въ рукахъ твоихъ несправедливой находится безмѣнъ: на которую сторону кто ни положитъ свою надежду, нигдѣ равновѣсія сыскать не можетъ. Въ бѣдное одѣтая платье добродѣтель подъ твоими ногами стонетъ, и ты оную безразсудно топчешь и попираешъ—бриліантами украшенная блѣднаго лица женщина, богатствомъ владѣющая и отъ зависти изсохшая сидитъ возлѣ тебя, и ты на оную пріятнымъ окомъ взираешъ; но и та не веселымъ глазомъ на тебя смотритъ, или опасаясь, чтобъ ты съ нею не прекратило дружества, или сомнѣваясь о твоей

*) Для того, чтобы задержать героя, Панда прибѣгаетъ къ тому же средству, которымъ библейскій Іосифъ вернулъ своихъ братьевъ (ложное обвиненіе въ кражѣ и погоня).

**) Эта „авантюрность“ романа не была у Эмина только литературнымъ пріемомъ: жизнь самого Эмина полна была всевозможныхъ авантюръ. „Не чудо въ свѣтѣ жить и умереть, — говоритъ одинъ изъ его героевъ, — возноситься на достоинства и низлетать изъ оныхъ“ [894] — эти слова, словно, идутъ изъ сердца самого автора, тоже много претерпѣвшаго отъ прихотей капризной „судьбы“.

постоянности, потому что, когда тебѣ богатства наскучатъ, то оныя бѣдности препоручаешъ. На челѣ твоемъ изображено солнце, которое всякаго состоянія людямъ пріятно, и коею и тѣ самые, коихъ горячестію своею согрѣваешъ, безпрестанно жадничаютъ и безъ опаго пасмурные препровождаютъ дни" [896].

Чаще, впрочемъ, герои не разсуждаютъ о „судьбѣ", а къ ней взываютъ, на нее жалобятся. Напр.,—

„О, немилосердая судьба! почто ты два искреннія сердца любовію соединила, не опредѣля ихъ одно для другого?" [897].

„О, немилосердая судьба! для чего ты въ нѣжныя сердца вливаешъ толь жестокую любовь, ежели имъ оную утратить суждено?" [898].

„Завистная судьба! почто ты его изъ глазъ моихъ похитила?" [899].

Часто „судьба" въ разсказахъ дѣйствующихъ лицъ представляется капризной возмутительницей человѣческой жизни. Напр.—

„...лютой рокъ, всегда за нимъ гонящійся, тогда хотѣлъ совершить свою свирѣпость" [900].

„...тогда новыми ударами судьба приготовлялась его поражать сердце" [901].

Иногда самъ авторъ вводитъ „судьбу", какъ дѣйствующее лицо, въ развитіе разсказа:

„Судьба, пріуготовляющая новыя симъ странствующимъ нещастія, взволновала море, которое прозрачность свою въ густую обратило пѣну" [902].

Иногда, впрочемъ, на ряду съ такимъ преувеличеніемъ роли судьбы въ жизни человѣка, мы встрѣчаемъ, какъ будто, проблески иного пониманія жизни,—личность человѣка выдвигается на первый планъ—человѣкъ дѣлается отвѣтственнымъ самъ за себя:

„Таково наше свойство, чтобъ всѣ самопроизвольныя дѣйствія слагать на судьбу, которая, можетъ статься, гораздо бы намъ болѣе благопріятствовала, естьли бы человѣкъ превратными своими желаніями не побуждалъ оную къ свирѣпости. Какъ же ты можешъ назвать судьбу жестокою и роптать безпрестанно на оную, естьли ты самъ своихъ нещастій причиною?" [903].

—говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ романѣ.

Иногда въ роли „судьбы" выступаютъ „боги", „небеса"; къ нимъ обращены тѣ же жалобы, что и къ „судьбѣ".

„Ахъ! завидующіе чужому щастію, боги!"... [904].

„О, боги! что̀ вамъ за прибыль столько отягощать слабую тварь? Естьли вы препятствовали дѣйствіямъ знатныхъ героевъ, то можетъ статься вы сіе дѣлали отъ ревности, чтобъ они вамъ подобными не учились" [905]...

„...противъ самихъ боговъ роптала и на нихъ жестокость жаловалась" [906].

„О, немилосердые боги!.. О, естьли бы вы богами были, тобъ должно

имѣть милосердіе надъ нами нещастными и не препоручать насъ судьбѣ, никакой справедливости незнающей»[907].

Изъ приведенныхъ уже цитатъ видно, что герой—игрушка въ рукахъ какихъ-то, неясныхъ для него, силъ, безсмысленныхъ и жестокихъ, которыя онъ воплощаетъ то въ образѣ „судьбы", то въ образѣ языческихъ боговъ.

Тѣмъ не менѣе, надъ „любовью" его безсильны эти слѣпыя силы. „Любовь" въ его жизни—все. Онъ вѣренъ до гроба своему слову,—никакія искушенія не смутятъ его: даже, когда изъ чувства признательности онъ начинаетъ сочувствовать Сармандѣ, онъ не измѣняетъ Изидѣ.

Эта любовь скромная, робкая и почтительная[908], но она храбраго воина можетъ превратить въ раба[909](esclave); и въ то же время она подчинена разсудительности (prudérie), приличіямъ (galanterie)[910] и выражается въ манерныхъ рѣчахъ (préciosité)[911] *).

Герой такъ разговариваетъ съ героиней:

„Могу-ли я жить, на васъ не взирая? Любовь моя имѣла ту только корысть, чтобъ на васъ смотрѣть; чего же мнѣ больше надѣяться осталось? Уже ли вы меня, Государыня, столько ненавидите, что и взглянуть на васъ воспрещаете? Увы! нещастливъ я на вѣки! Какую жестокую награду получила отчаянная моя любовь! Скажите мнѣ, обожаемая Царевна, что̀ мнѣ дѣлать. Научите меня, какъ залѣчить ту рану, которую вы въ сердцѣ моемъ на вѣки отворили; но я вамъ клянусь всѣмъ тѣмъ, что̀ есть свято, клянуся тою любовію, которая столько вамъ противна, столько мнѣ пріятна, что нѣтъ иного лѣкарства для устрашенныхъ вашею строгостію моихъ желаній кромѣ смерти; и естьли вы мнѣ оной не желаете, то дозвольте мнѣ васъ обожать!» Тогда Изида съ постояннымъ видомъ отвѣтствовала Лизарку: „я иного упоминаемой тобою часто раны лѣкарства не вижу, какъ только соображаться, съ благоразсужденіемъ и должностію своею. Иныхъ наставленій отъ меня не ожидай! Я тебя ненавидѣть не могу, и не имѣю причины. Естьли ты какую нибудь, желаніямъ своимъ полезную, въ моемъ письмѣ изобрѣлъ надежду, то я тебѣ не запрещаю, питайся оною; но скажи мнѣ самъ, чего больше ты надѣяться можешь? и что̀ я тебѣ больше обѣщать могу? Признаюсь предъ тобою, что ты мнѣ не противенъ; знаю и то, что горичесть твои ко мнѣ весьма велика; но я оную всѣмъ тѣмъ воздала, что мнѣ благопристойность дозволила. Больше ни чѣмъ любовь твою наградить не умѣю и не могу. Ежели хочешь, скажи себѣ самъ, что я тебя люблю, но я того тебѣ не говорю, и сказать мнѣ неприлично; а ежели ты еще и тѣмъ не доволенъ, то

*) Поѣздку Изиды на охоту онъ сравниваетъ съ военнымъ походомъ: „царевна, обожаемая царевна, ѣдетъ возвеселять человѣческія сердца своею веселостію. Предъ нимъ (царемъ, идущимъ на войну) шла свирѣпость; ей предшествуетъ пріятность... За нимъ слѣдовалъ ужасной вопль, — за нею радость и торжество сопутствуютъ" [912].

лучше удалийся отъ моего двора и иди ищи того, чего здѣсь обрѣсть не можешь!"—„Нѣтъ, Государыня, жестоко вздохнувши, вскричалъ сей нещастной любитель: награда превосходитъ мое достоинiе. Буду обожать васъ вѣчно; никогда больше ничего ненадѣясь. Довольно съ меня и того щастiя, что вы мнѣ любить себя дозволили..." [913] и т. д.—Она совѣтуетъ ему бороться съ чувствомъ любви; онъ возражаетъ: „...вещь тогда злою называется, когда кому нибудь приносить вредъ; но какое поврежденiе можетъ вамъ принести чрезмѣрная моя горячесть?"—„Она повреждаетъ, отвѣчала Изида, твою должность, мою благопристойность и честь моего родителя; и такъ, ежели не хочешь утратить и того, что ты противу желанiя моего изъ моихъ устъ получилъ, то не говори больше предо мною о своей любви".—„Исполню, Государыня, повелѣнiя ваши, томнымъ говорилъ Лизаркъ голосомъ; осужу языкъ мой на вѣчное молчанiе; никто не узнаетъ о моемъ терпѣнiи, кромѣ собственнаго моего сердца. Печаль и молчанiе будутъ моею отрадою, и то только наградою за мою любовь почту, что буду исполнять ваши повелѣнiя. Но дозвольте мнѣ, Государыня, хотя разъ въ день, при вашемъ присутствiи вздохнуть и наградите вздохи мои однимъ только прiятнымъ взоромъ и того съ меня будетъ довольно".—„Такое дозволенiе, отвѣчала Изида, было-бы потачкою въ твоихъ желанiяхъ и поощренiяхъ къ дальнѣйшему простиранiю надежды, которой я тебѣ въ твоемъ сердцѣ питать не совѣтую!" [914].

Между ними стоитъ неравенство ихъ происхожденiя: она—царская дочь; онъ—нажъ и къ тому же сынъ какого-то философа.

„Ахъ, Государыня! не говори сердцу моему толь жестокимъ языкомъ!"—„Должность моя однимъ завсегда будетъ говорить нарѣчiемъ!" повторила Изида. Можетъ ли Египетская Принцесса инымъ говорить языкомъ своему нажу, самъ разсуди... Можетъ статься (только и того не думаю и ты не надѣйся), что, ежели внутреннимъ только со мною будешъ разговаривать языкомъ, то снищешъ и во мнѣ такое же соотвѣтствованiе" [915].

Около „любви" сосредоточены въ романѣ всѣ прочiе несложные психическiе конфликты: робость героя, пугающагося своей дерзости—любить принцессу; радость при мысли, что его любовь встрѣчаетъ взаимность; борьба любви съ сословными предразсудками, желанiе побороть страсть; тоска въ сердцѣ Изиды во время отъѣзда героя; гнѣвъ ея при вѣсти, что герой легкомысленно болтливъ; желанiе мести; чувство ревности; зависть въ сердцѣ Сарманды; борьба эгоизма и самоотверженной любви; борьба героя съ любовью къ двумъ женщинамъ заразъ и съ сознанiемъ долга: радости свиданiя, горести разлуки,—все это, повторяю, цѣпляется за основное, центральное въ романѣ, чувство—*любовь* героевъ.

Такимъ образомъ, въ лицѣ героя, Эмилъ вывелъ сентиментальнаго, галантнаго кавалера, тонко и деликатно чувствующаго.

Мягкость его сердца даетъ чувству признательности и состраданія возможность овладѣть его сердцемъ. Обиды, нанесенныя ему дорогимъ существомъ, онъ прощаетъ. Но, если въ отношеніяхъ съ дамами онъ мягокъ и уступчивъ, то на полѣ брани онъ—страшный воинъ [916]. Кромѣ того, авторъ старается представить его „философомъ“ [917], который къ жизни можетъ относиться вдумчиво.

Эмину удалось внести нѣкоторые оттѣнки въ обрисовку двухъ героинь: одна, Изида—гордая аристократка, долго не уступающая чувству любви, котораго она стыдится; въ ней быстро вспыхиваетъ обида, уступокъ она не дѣлаетъ и готова на суровую месть, хотя вспышка гнѣва быстро смѣняется у нея состраданіемъ и жалостью.

Другая героиня—Сарманда болѣе женственна: она—вся преданность и самоотверженіе; самолюбіе въ ея любовныхъ отношеніяхъ не имѣетъ власти; она можетъ завидовать чужому счастью, можетъ даже испытать жажду мести, но все это у нея скоропреходяще и неглубоко.

Кромѣ главнаго идеальнаго героя, выдѣляется въ романѣ извѣстный намъ по псевдоклассическимъ романамъ герой „отрицательный“, который коварствомъ и насиліемъ пытается достигнуть обладанія героиней [918]. Выводитъ Эминъ и мудреца-отшельника, ушедшаго отъ суетной жизни къ пастухамъ, что́ даетъ возможность автору набросать картинку пастушеской идилліи [919].

Душевная жизнь героевъ—или разсказывается самимъ авторомъ. Напр.—

„Египетскіе воины, по сродной своей свирѣпости, поймавъ сего нещастнаго, безмилосердо били. Толь страшное нѣжному ея сердцу позорище извлекало изъ очей ея слезы. Двоякой огонь, любви и ярости, попеременно ея сожигалъ сердце: то сожалѣла о его нещастіи, и тогда вся любовь въ его пользу въ сердцѣ ея дѣйствовала; то досадовала на свою безумную выдумку, что толь свирѣпымъ способомъ возвратила его въ Каиръ [922].

„Любовь упрекала ее свирѣпостію и не знала, какою нѣжностію наградить прежнюю свою жестокость. Такими размышленіями имѣя обезпокоенныя мысли, отдавъ почтеніе своему родителю, пошла въ свои покои“ [920].

„Женскія сердца сколько нѣжны и, по причинѣ своей нѣжности, къ любви склонны, столько спыльчивы и къ отмщенію готовы, когда отъ своего любовника, хотя самомалѣйшую претерпятъ обиду. Неосторожность Лизаркова изгнала изъ сердца Изидинаго почти половину любви, и убылое мѣсто заступилъ гнѣвъ“ [921].

—или выражается въ патетическихъ восклицаніяхъ [922], монологахъ [923], письмахъ, обильныхъ слезахъ, обморокахъ [924].

„О, скорбь! о, мученіе! о, безконечная горесть, тогда быть низверженнымъ въ глубочайшую пропасть, когда я на верьхъ благополучія вознесеннымъ быть надѣялся! и т. д. [925].

„Ахъ! нещастна я на вѣки, вскричала она, лучше мнѣ было видѣть Лизарка, любящаго Изиду и зрѣніемъ его пріятностей наслаждаться, нежели утратить его, можетъ статься, на вѣки. Завистная судьба! почто ты его изъ глазъ моихъ похитила?" и т. д. [926].

„Ахъ! Я ошибся въ моемъ мнѣніи: она никогда меня не любила, и однимъ только немилосерднымъ притворствомъ награждала чрезмѣрность моей любви"! и т. д... [927].

Внѣшніе признаки душевной бури:

„Врожденная стыдливость на лицѣ ея волновалась, и въ чемъ языкъ несправедливо признавался, того кровь геройская казалась стыдящеюся... Тогда струями лились слезы изъ очей ея"... [928]

„...Послѣ сего слабость ею овладѣла и оскудѣніе крови, въ которомъ она пала на землю, прекратило ея отчаяніе"... [929]

Любопытно, что Эминъ, быть можетъ, уступая духу времени, иногда пытается отъ простѣйшихъ случаевъ психической борьбы перейти къ болѣе сложнымъ: такъ, напримѣръ, онъ рисуетъ переходъ одного чувства въ другое—

„Страсть родитъ всегда себѣ противную страсть, и прежняя Сармандина ярость произвела пріятнѣйшую нѣжность" [930].

Онъ пытается нарисовать раздвоенность чувства: съ одной героиней Лизаркъ связалъ себя словомъ,—съ другой—нѣжнымъ чувствомъ признательности и состраданія [931].

Наконецъ, иногда авторъ самъ останавливается передъ психологическими загадками,—необъяснимыми поступками героевъ [932], растолковать которые онъ не берется.

„Описаніями" романъ Эмина небогатъ, и въ пріемахъ рисовать пейзажи (только „буря") онъ не отходитъ далеко отъ своихъ учителей.

„Послѣ сего на морѣ воспослѣдовали порывистые вѣтры и сломили у ихъ судна мачты. Морской шумъ и печальные матрозовъ крики проницали человѣческія сердца [933]...

„Когда солнце прекратило свою жестокость, и хладный насталъ вечеръ..." [934].

Буря налетаетъ внезапно и сразу прекращается:

„...заревѣло подъ ними море, быстрошумящими волнами обуреваемое, то бездонные свои открывая челюсти, то недосяжныя изъ пучины своей вознося горы; корабельныя снасти зашумѣли, матрозы блѣднѣть начали, кормчій утратилъ свою смѣлость" [935]... „Но непостоянной рокъ умилостивился надъ ихъ рыданіями и отложилъ всю строгость до другаго времени. Тогда солнце паки земному шару лице свое показало; вѣтры укротили свою свирѣпость на воздухѣ; пріятная воспослѣдовала тишина" [936].

Описанія „наружности“ дѣйствующихъ лицъ болѣе обстоятельны:

„Длинные и черные ея волосы, по златотканной одеждѣ распущенные, больше золоту, нежели золото онымъ придавали пріятностей сіянія; бѣлое, на подобіе чистаго алебастру лице ея, изображало въ себѣ всѣхъ богинь красоту; черные очи и брови показывали два пріятнѣйшія полукружія, означивая, что хотя бы два свѣта въ натурѣ находились, каждаго изъ нихъ красота ея была бы центромъ. Пріятность улыбающихся ея взоровъ показывала ту радость, коею боги на Олимпѣ возвеселяются; а богинь Парнасскихъ языкъ не былъ столько пріятенъ, сколько удовольствія приносили изрекаемыя Изидою слова всѣмъ, ея рѣчей слушающимъ. Что̀ касается до ея возрасту и прекраснаго стану, то могла ли природа въ сложеніи онаго ошибиться?“ [938].

„Паѳосъ“ романа, иногда довольно дѣланный и холодный, нерѣдко искусственно поддерживается субъективизмомъ: тогда авторъ вторгается въ разсказъ со своими сочувствующими восклицаніями. Напр.:

„О, непрозорливыя человѣческія желанія“! [939]. „О, нещастная разлука“! и др. [940].

Авторъ вноситъ иногда юморъ [941] въ свой разсказъ, вводитъ разсужденія политическаго [942] и моральнаго [943] характера, миѳологическіе образы [944]...

Любопытною особенностью этого произведенія надо признать вліяніе Руссо,—оно сказалось и на стилѣ [945], и на идейной сторонѣ романа (гимны „натурѣ [946], нападки на городскую культурную жизнь [947], на сословные предразсудки [948], которые порабощаютъ свободное сердце [949]). Эта позднѣйшая примѣсь вліяній, которыя, по существу своему, часто противоположны духу стараго героическаго романа, вноситъ противорѣчія въ романъ. Авторъ то проповѣдуетъ подчиненіе сердца разсудку, то возславляетъ любовь, передъ которой „мудрость безсильна“ [950].

Отъ стараго героическаго французскаго романа произведеніе Эмина отличается своими размѣрами: вмѣсто многотомнаго произведенія—передъ нами короткій, сжатый разсказъ, съ небольшимъ количествомъ дѣйствующихъ лицъ. Порою этотъ разсказъ отличается даже бѣглостью, сбивается на пересказъ,—переходитъ въ краткое изложеніе какого-то большого произведенія.

Непосредственно отъ сокращенія размѣровъ произведенія сузилась и ширина географическихъ предѣловъ, въ которыхъ развертывается дѣйствіе; впрочемъ, дѣйствіе романа все же связано и съ Персіей, и съ Египтомъ, и съ Финикіей.

Я затруднился-бы точно указать то произведеніе, которому подражалъ Эминъ: его произведеніе—сплошное „общее мѣсто“

и сложилось, очевидно, какъ результатъ чтенія цѣлаго ряда аналогичныхъ произведеній.

Вотъ почему, если съ нимъ мы сравнимъ сдѣланную выше (на стр. 325—333) общую характеристику псевдоклассическаго романа (особенно пункты—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 12, 13, 14, 18), а затѣмъ характеристику романовъ Кальпренеда (стр. 289—302) и Скюдери (стр. 302—308), мы убѣдимся, насколько близко произведеніе Эмина и своимъ характеромъ, и содержаніемъ, и литературными пріемами, къ типичнѣйшимъ образцамъ псевдоклассическаго романа.)

Другое произведеніе этой-же группы,—повѣсть Пракудина: „*Валерія, или дѣйствіе души великой и благородной*“ [951] относится къ разряду героическихъ повѣстей, въ духѣ произведеній Скюдери и имъ подобныхъ.

Въ повѣсти этой мы встрѣчаемъ историческія имена и историческія событія, богато раскрашенныя Dichtung'омъ автора.

Подобно образцовымъ романистамъ-псевдоклассикамъ, онъ историческіе факты черпаетъ изъ исторіи (по его указанію, изъ Ролленя [952] *), Тита-Ливія, Плутарха, Діонисія Галикарнасскаго [953]). Взявъ оттуда „только единой случай тогдашняго обстоятельства“, онъ, по его словамъ, „сплетеннымъ воображеніемъ“ „умножаетъ историческую истину“ [954].

Содержаніе повѣсти слѣдующее:

„Образъ правительства Римскаго состоялъ прежде изъ многоначалія, гдѣ каждой о единой только собственности помышляетъ, не думая о благополучіи отечества“; тогда изъ Рима былъ изгнанъ воинъ, „именуемый“ Коріоланъ, „знаменитый побѣдами“, но „нрава жестокаго и несклонной къ дружеству. При храбрости его владѣло множество имъ пороковъ, а паче месть, которая и принудила его встать противъ отечества и учиниться врагомъ Римскому народу“ [955].

Кар. переходитъ на сторону вольсковъ. Въ это время положеніе Рима было очень трудное вслѣдствіе междуусобій. Кар. идетъ съ вольсками противъ Рима. Сознавая невозможность борьбы, Римляне посылаютъ къ нему пословъ, съ просьбой о мирѣ: Кар. ихъ гордо принялъ и на предложенныя ими условія не согласился. Римъ погрузился въ печаль. Тогда Валерія, „сестра знаменитаго „Валери-Публиколы“, „учинила единая то, что цѣлой Сенатъ и народъ не силенъ былъ исполнить“.

---

*) Въ этой манерѣ утверждать нѣкоторые факты ссылками на историческіе источники, авторъ слѣдовалъ примѣру романистовъ-псевдоклассиковъ (ср., напримѣръ, повѣсть Мармонтеля: „Велизарій“).

„Объявленная Валерія была рода знатнаго и притомъ одаренная всѣми завидными между человѣковъ качествами: красота ея была неимѣющая сравненія, влекла взоръ каждаго; разумъ имѣла проницательный и дальновидный,—словомъ, не было подобной въ Римѣ женщины“ 956. Всѣ ее уважали за ея добродушіе... „Веселой ея нравъ и пространное знаніе вещей творило то, что радость въ домѣ ея царствовала“: со служителями она обращалась, „какъ съ нещастными друзьями, и скука, бываемая иногда отъ худаго нрава господина, въ домѣ ея не присутствовала, и потому домъ ея „домомъ радости“ именовался“ 957.

Въ это треножное время она изъ всѣхъ римлянъ оказалась самой спокойной: „лице ея не изображало чувствъ, которыя только обыкновеннымъ человѣкамъ приличны“.

„Боги, поспѣшествующіе благимъ человѣческимъ намѣреніямъ, вдохнули въ сердце Валеріи щастливое предпріятіе“ 958. Она вспомнила, что въ Римѣ живетъ мать и жена Коріолана. Когда она объ этомъ размышляла,—началась гроза: „прервалось размышленіе Валеріи вдругъ случившимся тогда громомъ и безпрестаннымъ блистаніемъ молніи; отъ чего паче всѣ предстоящіе во храмѣ пришли въ ужасъ“ 959. („Суевѣріе Римлянъ было простирающееся даже до бесконечности; не только почитали они *метеоры*, или воздушныя въ *атмосферѣ* явленія предзнаменіемъ добра и зла, смотря по обстоятельствамъ, но и въ самомъ полетѣ разныхъ птицъ, и въ домахъ ихъ вѣдущихся, кричаніе, наводило тогда крайнее о неизвѣстной ихъ судьбинѣ сокрушеніе“ 960).

Римляне пришли къ Валеріи просить совѣта. Слѣдуетъ разсужденіе автора о томъ, что въ бѣдѣ всегда хочется посовѣтоваться съ пріятелемъ,—„его разговоры утѣшаютъ наше малодушіе, исправляютъ непроницаніе,—и, словомъ, обновляютъ духъ нашъ“ 961.

Римляне не знали, какъ спасти городъ; высказана была даже мысль, что надо миръ купить. Валеріи возражаетъ на такое мнѣніе, что враговъ надо побѣждать мечомъ.

Слѣдуетъ разсказъ одного сенатора о тѣхъ оскорбительныхъ чувствахъ, которыя онъ переживалъ, когда шелъ къ Коріолану, чтобы просить милости. Сенаторы просятъ у Валеріи совѣта. Валерія сперва скромничаетъ.

„Уже солнце гораздо далѣе половины совершило свое теченіе, и лучи онаго тупѣть (sic) стали, касаясь земнаго скату. Фебъ простиралъ уже свои длани на объятіе міра, обѣщая смертнымъ нощь, тишайшую и спокойную; вѣтры дуть со всѣхъ сторонъ престали, а носился на поверхности горизонта зефиръ прохладный, отъ котораго древа не шумѣли, но едва листья оныхъ колебались и наносили нѣкое пріятное эхо“ 962. Въ это время съ горы К. смотрѣлъ на свое войско.

Валеріи разсказываетъ своей наперстницѣ о своемъ желаніи повести римлянокъ къ Коріолану. Она представляетъ себѣ, какъ К. разстрогается, когда увидитъ римскихъ женщинъ.

По этому поводу она разсуждаетъ вообще о женщинахъ, объ ихъ вліяніи на мужчинъ: „одежда ль наша, поступки, длинные ль власы, рѣчь ли, станъ, бѣлизна ль лица, блескъ ли очей, и словомъ—прельщаетъ нѣкоторая неизвѣстная склонность и воспламеняетъ ихъ сердце.

Бесѣда, гдѣ мы не присутствуемъ, бываетъ преисполненная скуки и смутности, такъ что разговоры ихъ самихъ тяготить начинаютъ и погружаютъ въ прежалосную задумчивость" [963]. „Когда же мы обрѣтаемся, то уже рѣчь имѣетъ совсѣмъ другіе виды. Мы употребляемъ иногда пристойныя шутки, удобныя развеселить собраніе. Къ догадкамъ и вымысламъ обыкшая наша праздность доставляетъ намъ свободно такія вдругъ встрѣчающіяся произреченія, что всякой одобряетъ наше разсужденіе: ухватки наши во всякомъ дѣлѣ, нами чинимомъ, являютъ нашу предъ родомъ ихъ превосходство" [964]. Потомъ размышляетъ она о нравственномъ паденіи Рима.

Учитывая всѣ „силы пола", Валерія убѣждена была въ успѣхѣ. И вотъ, римскія женщины собираются утромъ къ Валеріи, и „философствующая Римлянка встрѣчаетъ ихъ просто, но величаво". Она произноситъ имъ цѣлую рѣчь. По ея совѣту, женщины съ Валеріей во главѣ просятъ Ветюрію, мать Коріолана, идти вмѣстѣ съ ними въ станъ враговъ. Рѣчь Валеріи ее убѣждаетъ. Ветюрія соглашается и обѣщаетъ или умереть у ногъ сына, или умолить его.

Принявъ окончательное рѣшеніе идти въ станъ Коріолана и условившись о времени, женщины разошлись, а Валерія размышляла одна уединившись въ рощѣ.

„Мѣсто, которому стопы ея касались, было красоты особенной, ибо стоящія древа имѣли на себѣ прелестную для взора кору, на которыхъ висѣли различные плоды, а, между оныхъ, повсюду поросшіе, увеселяли человѣческое око цвѣты, какъ іацинты, асмины и розаны различныхъ видовъ... Благовоніе сіе такъ сильно было, что казалось на нѣсколько слоевъ самую атмосферу частицами своими напитало; а паче при вечернемъ времени легкость тамо воздуха была особливой свѣжести: журчащіе по рощѣ источники орошали сіе, отъ человѣческаго зрѣнія удаленное, спокойствіе. „Птицы всякихъ родовъ различнымъ пѣніемъ не досаждали слуху человѣческому; но было нѣкоторое тихое эхо, отъ единыхъ горлицъ происходящее: не было тамо бурныхъ вѣтровъ, и зима тамъ невѣдома,—словомъ, все видѣлось удобное къ утѣшенію человѣка, многомысліемъ удрученнаго" [965].

Вал. гуляетъ по рощѣ одна, „и чувствовалось ей въ сіе время такое спокойствіе духа, будто она, отъ всѣхъ суетъ свѣта сего удаленная, наслаждается удовольствіемъ, богамъ приличнымъ". Слѣдуетъ ея разсужденіе о суетности пребыванія человѣческаго подъ солнцемъ. Вдругъ она видитъ старика, почтеннаго отшельника. Онъ былъ „философъ, разсуждающей о вещахъ возможныхъ здраво" [966]; удалился онъ отъ свѣтскаго обхожденія давно. Онъ спрашиваетъ Валерію о причинѣ ея печали. Вал. отвѣчаетъ: „въ толикую печаль я погрузилась, что обхожденіе съ людьми учинилось мнѣ несносно". Старикъ предсказалъ ей удачу ея замысловъ и счастье. Но Валерія объяснила себѣ предсказаніе случайнымъ совпаденіемъ съ ея замыслами, такъ какъ „не была легковѣрна".

Когда собрались всѣ женщины къ Валеріи, то всѣ отправились въ станъ Коріолана. Торжественно выѣхали онѣ. Кор. былъ очень смущенъ, особенно когда узналъ, что его мать и жена тоже прибыли. Присутствіе духа ему измѣняетъ. „И тогда то природа возвеличилась. Какъ

скоро приближились онѣ къ его ставкѣ, то онъ бросился лобызать ихъ! Нѣтъ словъ къ изъясненію сего свиданія! Мать, жена цѣловали его стократно, а источники слезные въ сіе время были разговоромъ ихъ" 967. Всѣ плакали глядя на нихъ. Онъ восклицаетъ: „погибаетъ здѣсь храбрость, уступаетъ должность природѣ!" Мать заявила, что убьетъ себя у его ногъ, если онъ будетъ упорствовать. „Стыдъ-ли видѣть мать у ногъ своихъ лежащую, особенное ли человѣколюбіе, узрѣвъ такое жалкое позорище"—но Коріоланъ уступилъ просьбѣ матери и римлянокъ: „Римъ избавленъ, но сынъ твой погубленъ!"—восклицаетъ онъ. Римъ торжественно встрѣчаетъ женщинъ, вернувшихся съ миромъ устраиваетъ въ честь женщинъ храмъ, и Валерія занимаетъ тамъ мѣсто первой жрицы.

Нельзя не сознаться, что автору удалось нарисовать въ лицѣ героини ясный, возвышенный женскій образъ, полный ума, сдержанной энергіи и скрытой чувствительности: такими представляются намъ героини лучшихъ псевдоклассическихъ произведеній. Отсутствіе въ романѣ эротизма прибавляетъ этому образу черты строгости и холодной величавости. Усложненъ онъ, кромѣ того, примѣсью элементовъ меланхоліи и даже разочарованія, что нѣсколько смягчаетъ его, но, въ то же время, вноситъ черты нѣкоторой загадочности *).

Изъ этого разсказа видимъ, что повѣсть относится къ разряду „героическихъ" (образъ героини-женщины) и, въ то же время, „галантно-придворныхъ", такъ какъ въ душѣ Коріолана борьба себялюбія съ преклоненіемъ передъ женщиной (разсужденіе о вліяніи женщинъ на мужчинъ),—своего рода галантной „куртуазіею"—оканчивается побѣдой этой „кавалерской галантности" надъ его злыми страстями. Повѣсть перебивается размышленіями автора о разныхъ матеріяхъ, какъ то о паденіи Рима, о значеніи дружескихъ совѣтовъ и пр.

„Судьба", „рокъ" играетъ въ этой повѣсти такую же роль, какъ и въ греческихъ романахъ. Напр.:

„Вотъ, какъ дѣйствуетъ судьба, когда она въ ярость вступить захочетъ" 968.

„Сіе пріятное заблужденіе (облегченіе печали сочувствіемъ посторонняго человѣка) пріучаетъ терпѣливо сносить свирѣпость ожесточеннаго рока" 969.

Впрочемъ, судя по предисловію, авторъ считаетъ возможнымъ бороться съ судьбой при помощи „твердости духа" —

Когда „человѣкъ бываетъ превыше своей злосчастной участи и насмѣхается стремленію ожесточеннаго рока..." 970.

*) Совершенно излишними и вносящими противорѣчія являются черты „добродушія", даже „веселости".

Литературная исторія этого произведенія опредѣлена словами „предисловія“, хотя кое-что въ немъ вызываетъ и сомнѣніе. Авторъ говоритъ, прежде всего, что сюжетъ его романа многими уже разрабатывался „и въ драмматическихъ изданіяхъ видится“. Не смотря на всѣ старанія найти въ иностранной литературѣ романъ, или трагедію этого содержанія, или, хотя-бы съ тѣми же именами героевъ—мнѣ этого сдѣлать не удалось. Конечно, авторъ русской повѣсти не могъ имѣть въ виду трагедіи Шекспира „Коріоланъ“,—да, къ тому же, въ этомъ произведеніи Валерія играетъ слишкомъ незначительную роль,—главное мѣсто тамъ отведено матери Коріолана.

Затѣмъ, далѣе въ предисловіи говорится о томъ, что авторъ, „сочиняя Валерію, подражалъ г. Мармонтелю, или неизвѣстному творцу Нумы Помпилія. Тѣ описывали дѣлыя повѣсти, съ тѣми особами случившіяся“. Въ этихъ словахъ указаны литературные образцы, которымъ подражалъ авторъ. Онъ, очевидно, имѣлъ въ виду очень популярную у насъ повѣсть Мармонтеля: „Велизарій“ *) и анонимную повѣсть Хераскова: „Нума Помпилій“.

Оба произведенія представляютъ собою подражанія Фенелону: это—историческія повѣсти, съ опредѣленными „политическими“ тенденціями. Такимъ образомъ, сходство повѣсти „Валерія“ съ этими двумя произведеніями только чисто-внѣшнее: авторъ, глядя на указанныя имъ псевдоисторическія повѣсти, учился по нимъ вплетать вымыслы въ историческіе факты,—заимствовалъ у нихъ пріемы тѣхъ псевдоклассиковъ-романистовъ, которые считали свои романы „историческими“,—но въ идейномъ отношеніи, онъ своимъ образцамъ не подчинился: цѣли его повѣсти совсѣмъ не тѣ, что ставились Мармонтелемъ и Херасковымъ.

Впрочемъ, вліяніе этихъ двухъ произведеній сказалось на нѣкоторыхъ деталяхъ повѣсти „Валерія“. Такъ, у Хераскова Пракудинъ взялъ начало повѣсти (характеристика паденія Рима, его междуусобицъ, при которыхъ личному эгоизму представляется свобода дѣйствія)—заимствовалъ колоритъ меланхоліи (уединенныя мечты Валеріи въ рощѣ, философскія черты въ ея обликѣ, отрицательное отношеніе къ суетѣ людской).

Меньше связи наблюдается въ этомъ произведеніи съ повѣстью Мармонтеля—

Въ повѣсти Мармонтеля выведенъ старый полководецъ Велисарій,

*) „Велизеръ“ М. 1768 (№ 203); 2-ое изд. 1773; 3-е изд. 1785; 4-ое изд. 1795; Другія изданія, подъ заглавіемъ: „Велисарій“ (№ 216) 1769, 1777, 1786, 1791, 1796 г.

который, благодаря проискамъ придворныхъ, несправедливо осужденный, былъ ослѣпленъ по приказанію императора. Нищимъ онъ блуждаетъ по странѣ, и простые люди, узнавая его, окружаютъ его любовью и почетомъ. Велисарій, умудренный жизнью и страданьями, не ропщетъ на свою участь и даже отговариваетъ одного юношу, который хотѣлъ, было, мстить за него императору. Судьба сводитъ съ Велисаріемъ самого императора, и онъ, неузнанный слѣпцомъ, является бесѣдовать съ нимъ о государственныхъ дѣлахъ. Велисарій спокойно обличаетъ недостатки современной жизни и философствуетъ о разныхъ вопросахъ моральныхъ и политическихъ (что такое „благородство"; смыслъ и мудрость жизни—въ примиреніи съ жизнью; говоритъ противъ придворныхъ, разсуждаетъ о формахъ правленія, о томъ, каковъ долженъ быть хорошій царь, въ чемъ истинная слава царя, высказывается противъ войны, говоритъ о любви къ людямъ, о безкорыстіи добродѣтели, противъ тиранніи, о верховной власти и законахъ, о правосудіи, противъ царскихъ любимцевъ, о податяхъ, о бѣдности и богатствѣ народа, противъ роскоши и излишествъ, о хищеніяхъ, о безнаказанности военнаго сословія, о религіи. Мудрыя бесѣды Велисарія заставляютъ Юстиніана улучшить жизнь государства. Однажды Велисарію удается спасти императора изъ рукъ болгаръ; Юстиніанъ, полный раскаянія, открываетъ Велисарію свое имя. Происходитъ примиреніе.

Изъ этого пересказа повѣсти Мармонтеля видно, что повѣсть Пракудина только въ одномъ отношеніи ее напоминаетъ,—оба произведенія псевдоисторическія, написанныя по однимъ и тѣмъ же правиламъ. Какъ мы видѣли уже, съ произведеніемъ Хераскова повѣсть Пракудина связана тѣснѣе.

Историческіе факты Пракудинъ, очевидно, главнымъ образомъ, почерпнулъ изъ Плутарха *); въ томѣ III-емъ („Плутарховы сравнительныя жизнеописанія славныхъ мужей". Спб. 1814; пер. съ греч. Сп. Деступисъ) помѣщена біографія Коріолана и сдѣлана слѣдующая характеристика Валеріи.

Валеріи, сестра Публиколы, „была въ славѣ и въ великомъ у всѣхъ почтеніи; ибо поведеніемъ своимъ не унизила знатнаго рода своего. Внезапно побужденная тѣмъ стремленіемъ, о которомъ говорилъ я

---

*) Нѣкоторыя детали взяты изъ другихъ источниковъ; такъ, самъ авторъ указываетъ, что имена пословъ, ходившихъ просить мира у Коріолана онъ взялъ изъ „Римской Исторіи ученаго Англинскаго собранія въ Лондонѣ сочиненнаго". Рѣчь пословъ—изъ „Римской Исторіи Роленя и ученаго Англинскаго собранія"; о томъ, что главное мѣсто въ посольствѣ женщинъ Валеріи уступила матери Коріолана—изъ „Римской Исторіи ученаго собранія". О рѣшеніи римлянъ воздвигнуть храмъ въ честь женщинъ—изъ „Римской Исторіи, кн. III, гл. III, стр. 131"; о томъ, что Валерія была сдѣлана главною жрицею въ этомъ храмѣ—изъ „Римской Исторіи *Діонисія Галикарнасскаго,* стр. 511 и 526; *Тита Ливія,* книга L и II; у Плутарха тоже".

выше и внушеніемъ, конечно, божественнымъ, постигнувъ полезнѣйшее, она встала, заставила встать другихъ женщинъ и пошла съ ними въ домъ Волумніи, Марціевой матери. Она застала ее сидящею вмѣстѣ съ невѣсткою и держащею въ объятіяхъ своихъ Марціевыхъ дѣтей, поставила вокругъ ее женщинъ, кои ее сопровождали и говорила слѣдующее: „Волумнія и ты, Виргинія! мы по волѣ своей пришли къ вамъ, какъ женщины къ женщинамъ, безъ опредѣленія Сената, безъ приказанія начальствующихъ. Самъ Богъ, кажется, услышавъ молитвы наши, внушилъ намъ мысль къ вамъ обратиться и просить васъ о томъ, что даетъ спасеніе намъ самимъ и всѣмъ гражданкамъ" etc.

Сцена свиданія Коріолана съ женщинами, матерью и женой описана у Плутарха такъ:

„Онъ удивился, увидя приближающихся женщинъ. Узнавъ свою мать, идущую впереди всѣхъ, онъ хотѣлъ пребыть въ своихъ непреклонныхъ и жестокихъ намѣреніяхъ; но онъ былъ побѣжденъ своими чувствами; онъ смутился при видѣ семъ, не могъ усидѣть, когда онѣ приближались къ нему. Поспѣшно сошелъ онъ съ мѣста, стремился къ нимъ на встрѣчу; обнялъ и долго держалъ въ своихъ объятіяхъ, сперва мать, потомъ жену и дѣтей, проливая слезы, расточая всю свою нѣжность и совершенно предавшись, какъ бы потоку, стремленію чувствъ своихъ.

Просьба матери изображена такъ:

„...Сказавъ сіе она упала къ ногамъ Марція съ женою его и дѣтьми Марціи воскликнула: „О, мать моя! что ты дѣлаешь со мною!" Онъ поднялъ ее и крѣпко прижалъ ея руку. „Ты одержала побѣду, сказалъ онъ, щастливую для отечества, пагубную для меня. Я удаляюсь, тобою единою побѣжденный" [366]!

Фактъ, взятый изъ исторіи, авторъ раскрасилъ во вкусѣ романистовъ-псевдоклассиковъ: онъ, прежде всего, выдвинулъ на первое мѣсто и идеализировалъ свою героиню, во всѣхъ отношеніяхъ,—она и прекрасна, и мудра, даже изъ всѣхъ римлянъ болѣе свободна отъ суевѣрій и предразсудковъ. Онъ внесъ въ свой разсказъ описанія природы, прибавилъ нѣкоторыя черты въ обликъ Валерія, не отмѣченныя исторіей, окрасилъ свой разсказъ субъективизмомъ и паѳосомъ (сцена въ ставкѣ Коріолана).

Какъ мы видѣли, „судьба" и „боги" играютъ въ этомъ произведеніи нѣкоторую роль, хотя ихъ участіе совсѣмъ не оправдывается содержаніемъ романа, въ которомъ нѣтъ авантюръ. Авторъ вводитъ психологическій элементъ, чаще всего самъ повѣствуя о томъ, что происходитъ въ душѣ героевъ; включаетъ онъ въ разсказъ и „вводный эпизодъ" (разсказъ сенаторовъ), выводитъ шаблонный и ненужный, для развитія повѣсти, образъ „отшельника", презрѣвшаго суету человѣческой жизни. Есть въ повѣсти нѣсколько описаній (грозы, вечера). На всей повѣсти лежитъ легкій колоритъ

меланхоліи, элегіи... Любопытной особенностью произведенія надо признать отсутствіе въ немъ эротическаго элемента.

Такимъ образомъ, въ этомъ произведеніи мы видимъ первую, въ русской литературѣ, попытку создать историческую повѣсть, съ соблюденіемъ всѣхъ тѣхъ пріемовъ, которые выработаны были еще Скюдери и ея школой. (Ср. выше стр. 289—290, 304, 325).

Особенно близко къ романамъ первой группы, по содержанію, композиціи и настроенію, произведеніе П. Захарьина: *„Приключеніе Клеандра, храбраго царевича Лакедемонскаго, и Ніотильды, королевны Ѳракійской* [972].

Содержаніе романа слѣдующее:

Спартанскій царь Алмій—„мужъ добродѣтельный, проницательный, мужественный и ревнительный исполнитель отечественныхъ законовъ". У него два сына. Клеандръ и Алвинзій. Алмій „паче всего старался вдохнуть въ юныя ихъ сердца любовь къ добродѣтели и мужественную неустрашимость. Воздержность, суровая пища, строгое наблюденіе воинскихъ правилъ и всегдашнее упражненіе въ борбѣ, бѣганіи, метаніи копіемъ, конскихъ ристаніяхъ и прочихъ бранныхъ тѣлодвиженіяхъ, содѣлали тѣла ихъ твердыми, способными переносить суровость воздуха, тяжесть и труды военные, а повседневное обращеніе съ мужами опытнаго благоразумія, мужества и добродѣтели, изострили разумъ ихъ и сердца ихъ привязали тѣснѣйшими узами къ добродѣтели" [973]. Юноши и силой, и мудростью, и ловкостью выдѣлялись изъ среды сверстниковъ. Алмій, гордясь ими, хочетъ послать ихъ на Олимпійскія игры. Юноши счастливы. Въ это время Иллирійскій царь Кладивиръ устроилъ у себя „рыцарскія единоборственныя испытанія" и пригласилъ юношей заѣхать къ нему. Алмій отпустилъ ихъ, такъ какъ кругомъ было все тихо,—только Ѳракія враждовала со Спартой.

Молодіе князья отправились въ путь съ дядей Орфимиромъ *) (братъ Алмія) и вскорѣ благополучно прибыли къ Кладивиру.

„Князья Спартанскія, по обычаю тѣхъ временъ, желая сокрыть настоящее свое происхожденіе, повелѣли на своихъ щитахъ изобразить различные знаки,—какъ то: Клеандръ,—восходящее солнце; Алвинзій,—въ полномъ сіяніи луну, а Орфимиръ—седмь блестящихъ звѣздъ; и отъ сихъ знаковъ получили названіе". На царскій пиръ, они, вопреки обычаю Спартанцевъ, одѣлись пышно и произвели на всѣхъ большое впечатлѣніе. На зарѣ начались „рыцарскія игры". Открылъ бой „рыцарь звѣздъ", потомъ „луны" и, наконецъ, „солнца"... Всѣ побѣдоносно бьются. „Но, коль скоро выѣхалъ „рыцарь солнца", то, казалось, самая природа предъ нимъ умолкла,—все остановилось, утихло, и всѣ обратили на него со вниманіемъ свои взоры".

---

*) Правописаніе этого имени въ романѣ мѣняется: иногда появляется вмѣсто начальнаго "о"—иногда—„а" („Арфимиръ").

*) У Пракудина: „Ветюрія".

Послѣ долгаго молчанія выступилъ противъ него Гамилудъ, сынъ Скиѳскаго начальника. Потомъ, „отдавъ одинъ другому привѣтливость для должнаго сраженія, они разъѣхались для боя“.

Долго бой между ними длился. Наконецъ, Гамилудъ былъ побѣжденъ, и жизнь его висѣла на волоскѣ. Кладивиръ прекращаетъ турниръ, такъ какъ „правила, установленныя имъ для рыцарскихъ упражненій, до такой крайности (т. е. до смертельнаго исхода) не простирались“. Царь старается помирить витязей, объясняетъ неудачу Гамилуда его горячностью. „Не правдали, сказалъ онъ, обратись къ Гамилуду, что ты, получа ударъ отъ сего рыцаря, напрягъ по гнѣвѣ всѣ свои силы, чтобъ его низринуть, и въ семъ намѣреніи даже отдѣлился отъ сѣдла; неустрашимый твой соперникъ сіе примѣтилъ и употребилъ то въ свою пользу. Онъ снялъ съ коня тебя весьма легко... Но... оставимъ то!“ (сказалъ онъ съ ласковымъ видомъ и, взявъ обѣихъ соперниковъ за руки). Прошу васъ быть между собою друзьями, и въ число своего собратства не отрекитесь взять и меня“ [974].

Послѣ этой дружественной рѣчи бой окончился миромъ. Во время застольной бесѣды Кладивиръ выпытываетъ у рыцаря „звѣздъ“ имя его и его спутниковъ. Потомъ Кладивиръ разспрашиваетъ о причинѣ долголѣтней вражды Ѳракіи и Лакедемоніи. Тотъ говоритъ, что знаетъ это Рамирръ. — „надзиратель и дѣтоводитель юныхъ спартанскихъ князей“.

Слѣдуетъ разсказъ Рамирра.

Какъ то очень давно около Византіи появилось страшное чудовище, которое пожирало жителей города. Филоменъ, царь византійскій, безуспѣшно молился богамъ, напрасно посылалъ спрашивать совѣта въ Дельфы. Наконецъ, онъ кликнулъ кличъ, обѣщая за того, кто убьетъ звѣря, отдать дочь Тиграну. Много нашлось охотниковъ попытать счастья. Между ними особенно выдавался Хорибда, сынъ царя Гунновъ и Иракль, князь Спартанскій, братъ Алміи. Хорибда отличался грубостью и злостью. — онъ возненавидѣлъ Иракла. Тиграна же почувствовала расположеніе къ Ираклу. Между тѣмъ, Хорибда требуетъ приступить скорѣе къ дѣлу—къ борьбѣ съ чудовищемъ. Рѣшено было биться съ чудовищемъ въ одиночку, по очереди. Первый выступилъ съ отрядомъ воиновъ Иракль. Филоменъ трогательно прощается съ нимъ. Тиграна, полюбившая Иракла, „старалась сокрыть оказавшіяся на глазахъ ея слезы, и нѣсколько минутъ не могла отворить устъ своихъ; потомъ, не много укрѣпись, робкимъ голосомъ сказала: „цѣна такой жертвы, князь, превышаетъ мои достоинства! я бы желала, чтобъ вы награду ихъ уваженія могли получить не чрезъ такой жестокой опытъ“. Она обѣщаетъ молить за него боговъ. Иракль, восхитясь сими словами, подступилъ къ ней, „поцѣловалъ ея руку, которую она, нѣжно пожавъ, прибавила: „храните вашу жизнь, Князь! не предавайтесь явной опасности и не слѣдуйте однимъ пламеннымъ движеніямъ не осмотрительной запальчивости!.. Помните! (примолвила она, закраснѣвшись), что жизнь ваша есть даръ для той, которая назначена въ цѣну вашего подвига!..“ [975]. Онъ ѣдетъ въ бой; она въ это время „сидѣла подъ окномъ, отворивъ его дверцы“. Вскорѣ увидѣла она его, и слезы изъ очей ея снова полились. „Она плѣнена имъ была съ самого его къ Ѳракійскому двору прибытія;

видѣла свою надъ нимъ побѣду; но собственныя свои чувствованія, по возможности, скрывала; теперь же не могла она быть столь равнодушною" [976]. Когда онъ проѣзжалъ мимо ея балкона, — „видъ его, съ какимъ онъ сидѣлъ на своемъ конѣ, былъ бодръ и величественъ. Онъ имѣлъ на себѣ серебряныя латы, въ лѣвой рукѣ стальной, со изображеніемъ въ золотомъ полѣ льва, щитъ, а въ правой — крѣпкое копье; за плечами видѣнъ былъ полной колчанъ стрѣлъ, а на лѣвой бедрѣ висѣлъ, съ золотымъ рукоятіемъ, мечъ; серебряной съ золотыми обручами, осыпанными дорогими каменьями, шишакъ, осѣняемъ былъ разноцвѣтными перьями. Гордый его конь изпускалъ изъ широкихъ своихъ ноздрей паръ, подобной густотою своею пещному дыму, котораго, вѣющаяся на обѣ стороны, грива представляла его съ распростертыми крилами, а ноги, казалося, не желали прикасатся землѣ, но, возвысясь, парить по воздуху" [977].

„Она простерла къ нему свои руки, а онъ ускорилъ, подскакавъ на конѣ, облобызать оныя, и, при клятвенномъ увѣреніи, что она, кромѣ его, ничьею быть не согласится, получилъ отъ нея на малый перстъ лѣвыя руки драгоцѣнное кольцо". Потомъ онъ, отъѣхавъ нѣсколько шаговъ, „обратился назадъ и, узрѣвъ Тиграну, отирающую платкомъ свои слезы, хотѣлъ, было, паки къ ней возвратиться, но преодолѣвъ свою слабость, далъ ей знакъ рукой, что онъ ее видитъ, и потомъ далъ свободу своему коню, которой, какъ быстрая стрѣла, пущенная изъ лука, сильною рукою напряженнаго, въ тожъ мгновеніе сокрылся изъ ея вида" [978]. Взволнованный прощаньемъ, онъ ускакалъ, забывъ провожатыхъ, и когда, наконецъ, остановился, то очутился одинъ, вдали отъ всѣхъ; такъ какъ дороги онъ не зналъ, то поѣхалъ наугадъ по берегу. Чудовище встрѣтилъ онъ нечаянно (легъ отдыхать, чудовище явилось, конь сталъ безпокоиться и разбудилъ его). Передъ боемъ онъ молится Зевсу: „Отецъ боговъ и человѣковъ, обладатель неба и земли! Ты изъ благости твоей къ человѣческому роду, подкрѣплялъ всегда силы и руки тѣхъ героевъ, которые посвящали свою жизнь на очищеніе земной поверхности отъ подобныхъ сему чудовищъ! --Твоя небесная помощь вручала побѣду Персею, Язону, Тезею, великому Иракли и многимъ другимъ. О, великій Зевесъ! помоги нынѣ и мнѣ, и я, въ благодарность за сіе, на семъ самомъ мѣстѣ, воздвигну храмъ въ твое величественнѣйшее имя и ежегодно учреждю въ сей день жертвоприношеніе и воинскія игры!" [979]. Бой для героя былъ удаченъ--онъ уцѣлѣлъ, поразивъ чудовище на смерть. Но умирающее чудовище ударомъ хвоста убило его коня. Изображается горе Иракла и прощаніе его съ издыхающимъ конемъ. Потомъ Иракль похоронилъ коня, и на могилѣ воздвигъ ему памятникъ. Положеніе Иракла печально,—онъ одинъ, голодный, блуждаетъ, не зная дороги... Наконецъ, онъ совершенно обезсилѣлъ. Жалобы его, восклицанія по богамъ. Затѣмъ его ропотъ смѣнился готовностью умереть; мысленно онъ прощается съ Тиграной и хочетъ заколоться. Какой то старецъ удерживаетъ его, стыдитъ, упрекаетъ въ малодушіи. Этотъ старецъ былъ „покрытъ бѣлѣе снѣга сѣдиною" и былъ облаченъ „въ длинное, темнаго цвѣта, одѣяніе". Старецъ провелъ его въ свою пещеру, накормилъ его, вылечилъ его избитыя ноги. Потомъ провелъ его въ богатые чертоги.

Слѣдуетъ вводный разсказъ этого старца-отшельника. Онъ живетъ въ уединеніи, спасая себя отъ „жестокости гнавшаго его рока". Старецъ изрѣдка бываетъ и въ Византіи и знаетъ все объ Иракле. Ир. проситъ отпустить его въ Византію. Старецъ ничего противъ этого не имѣетъ, но предлагаетъ ему передъ путемъ „вкусить отъ брашенъ". Потомъ онъ проситъ Иракла никому въ Византіи не открывать мѣста его пещеры. Затѣмъ онъ познакомилъ Иракла со своей дочерью—Діаной, дѣвицей красоты необыкновенной. Увиди ее, Иракль смутился,—онъ даже сталъ думать, не богиня-ли это. Едва старецъ ушелъ, Иракль, охваченный волненіемъ, сталъ передъ красавицей на колѣни и вопросилъ ее, не богиня-ли она. Она была смущена этимъ вопросомъ, хотѣла уже обидѣться; потомъ напомнила ему о Тигранѣ и стала вздыхать. „Иракль былъ внѣ себя и въ такомъ восхитительномъ забвеніи, что, къ устному своему извиненію, дерзнулъ присовокупить и пламенной поцѣлуй прекрасной рукѣ ее..." „Вы весьма вольны, Князь! (рекла она ему съ принужденною важностію). „Се—плодъ всегдашняго разсѣянія и обращенія между такими людьми, которыя, какъ видно, забываютъ вамъ напомнить о нужной воздержности". Иракль сразу влюбился въ нее 280; „спалъ ночью безпокойно". Діана тоже влюбилась и тоже плохо спала. Иракль пересталъ торопиться въ Византію. Старецъ выпыталъ у дочери Діаны, что она любитъ Иракла. Старецъ (имя котораго—Иліодоръ) старается уничтожить въ ея сердцѣ эту любовь. Діана тоскуетъ. Иракль подслушиваетъ разговоръ Діаны съ Иліодоромъ и заявляетъ, что онъ ее больше любитъ, чѣмъ Тиграну. Иліодоръ, который оказался царемъ, спасающемъ въ уединеніи свою голову отъ враговъ, въ восторгѣ; по этому поводу онъ разсказываетъ молодымъ людямъ о своемъ вѣщемъ снѣ, изъ коего ясно было, что его благополучіе зависитъ отъ Иракла: онъ вернетъ ему потерянное царство, спасетъ Ѳракію отъ чудовища, женится на Діанѣ. Иракль считаетъ нужнымъ вернуться на время въ Византію. Иліодоръ даетъ ему коня. Происходитъ трогательное прощаніе. Подъѣзжая къ Византіи, Ир. увидалъ, какъ морскіе разбойники тащили какую-то дѣвицу на корабль. Иракль нападаетъ на „сію подлую сволочь", убиваетъ многихъ, освобождаетъ „дѣвицу", которая оказалась Тигранои. Она — въ восторгѣ; онъ смущенъ. Изъ Византіи на встрѣчу имъ попалось войско, посланное въ погоню за разбойниками. Иракулу устроена торжественная встрѣча въ Византіи. Во время долгаго отсутствія Иракла его соперникъ, Хорибда, разнесъ вѣсть, что Иракль, убоясь поединка со звѣремъ, бѣжалъ въ Спарту, а найденный убитымъ звѣрь былъ пораженъ не имъ, а „громомъ". Хорибда постарался даже найти ложныхъ свидѣтелей случайной смерти звѣря.

Реализмомъ отличается болтовня хозяина гостинницы, разсказывающаго Иракулу всѣ городскія и придворныя новости. Оказалось, что по отъѣздѣ Иракла на борьбу со звѣремъ, Хорибда всѣмъ надоѣлъ своею грубостью и своими злостными сплетнями насчетъ Иракла. Тиграна открыто высказала ему свое нерасположеніе. Тогда онъ рѣшилъ силою ее увезти; для этого нанялъ морскихъ разбойниковъ и подкупилъ приближенныхъ къ Тигранѣ, чтобы онѣ вывели ее гулять за городъ. Лукавая Немина, ея наперстница, хитростью добилась этого, убѣдивъ Тиграну выѣхать изъ города. Затѣя Хорибда почти удалась,

но неожиданная встрѣча разбойниковъ съ Иракломъ все разстроила Царь Филоменъ въ восторгѣ отъ возвращенія Иракла; онъ гнѣвается на тѣхъ, кто распускалъ о немъ злостные слухи. Торжественной встрѣчей почтенъ былъ во дворцѣ Иракль—„ударепіемъ мечей о щиты" и другими воинскими почестями. Во храмѣ Діи было устроено въ честь его благодарственное богослуженіе и поднесенъ ему „похвальный листъ" на серебряной доскѣ. Затѣмъ устроенъ былъ богатый пиръ. Тиграна все время очень волнуется, томимая любовью. Иракль же къ ней почтителенъ и только. Царь Филоменъ во время пира разсказываетъ Иракулу, что „низкія души", „подлецы", въ его отсутствіе, распускали про него гадкіе слухи. Когда Иракль назвалъ „трусами" и „клеветниками" тѣхъ, которые, „уклонившись отъ мужественныхъ подвиговъ, въ такомъ благочестивымъ промыслѣ упражнялись", присутствовавшій на пиру Хорибда не удержался отъ язвительныхъ рѣчей по его адресу. Когда разбойники, похитившіе Тиграну, были пойманы и отъ нихъ было узнано объ участіи Хорибды въ попыткѣ похитить Тиграну, а также о соучастіи въ этомъ предпріятіи людей, близкихъ къ ней, Хорибду хотѣли задержать, но онъ уже заблаговременно уѣхалъ, и Немина вмѣстѣ съ нимъ. Между тѣмъ, Иракла мучитъ сознаніе его измѣны, и онъ шлетъ письмо къ Алмію, брату, спрашивая совѣта, какъ ему поступить. Алмій посовѣтовалъ ему жениться на Діанѣ и прислалъ 8 кораблей. Иракль на корабль помѣщаетъ Діану и Иліодора и отправляетъ ихъ въ Спарту. Между тѣмъ, ничего не подозрѣвающая Тиграна настаиваетъ на скорѣйшей свадьбѣ. Иракль оттягиваетъ, ссылаясь на брата Алмія, безъ разрѣшенія котораго онъ не можетъ рѣшиться. „Иракль любилъ и Тиграну, но больше Діану, и мучался, что долженъ ее обмануть". Наконецъ, Иракль заявилъ, что братъ его призываетъ ѣхать въ Спарту. Тиграна падаетъ съ горя въ обморокъ. Иракль „плакалъ съ нею вмѣстѣ и нѣжными лобзаніями облегчилъ нѣсколько ее горесть. Она убѣждала его трогательнѣйшею просьбой, чтобъ онъ, какъ можно скорѣе, возвратиться къ ней старался. Онъ ей то обѣщалъ" [281]. Иракль уѣхалъ въ Спарту и женился тамъ на Діанѣ. Иліодоръ оказался царемъ Сирійскимъ, изгнаннымъ Персами. Алмій посылаетъ въ Сирію войско съ Иракломъ и возвращаетъ Сирію Иліодору. Иліодоръ благополучно царствуетъ въ Сиріи.

Горе и злость Тиграны при вѣсти объ измѣнѣ Иракла были неописуемы. Пылая жаждой мести, она начинаетъ войну со Спартой. Но побѣда оказалась на сторонѣ спартанцевъ. Тогда Тиграна проситъ Якинфа, принца Македонскаго, помощи, обѣщая выйти за него замужъ. Война затягивается. На поединкѣ Якинфа съ Иракломъ Иракль оказывается дважды великодушнымъ побѣдителемъ.

„Якинфъ былъ тронутъ двухкратнымъ проявленіемъ великодушія врагомъ и признаетъ себя побѣжденнымъ". На морѣ спартанцы тоже одержали побѣду. Тиграна вышла замужъ за Якинфа, царя Ѳракіи и Македоніи. Война Якинфа съ Аѳинами и другими греческими городами привела его къ побѣдѣ. Но спартанцы вступили въ войну, и Якинфъ опять былъ разбитъ въ сраженіи. Онъ былъ раненъ и умеръ на рукахъ Тиграны. „Отсюда долгая вражда Ѳракіи къ Спартѣ"—закончилъ свой разсказъ Рамиръ.

Кладивиръ Иллирійскій благодаритъ его за разсказъ и проситъ юношей остаться, еще погостить у него. Между тѣмъ, супруга его, царица Армелина, очень влюбилась въ Арфимира (рыцаря звѣздъ). „Армелина, видя дѣйствія своихъ заразъ и робость своего плѣнника, не усумнилась ему открыться,—короче она пожертвовала ему супружескою вѣрностію, и щастливый любовникъ торжествовалъ. Сего не довольно,—она согласилась убѣжать съ нимъ въ отечество его и тамъ вступить съ нимъ въ бракъ".

Клеандръ, узнавъ о преступной любви дяди, оскорбляющей гостепріимство царя, пришелъ въ ужасъ и, послѣ бурнаго объясненія съ дядей, уѣхалъ на слѣдующій день, оставивъ его одного, такъ какъ онъ утромъ съ нимъ ѣхать отказался. Арфимиръ, разставаясь съ Клеандромъ, плакалъ, проклиная свою слабость. Братья съ дядькой поѣхали въ Византію. По дорогѣ заболѣлъ братъ Клеандра, Алванизій. Ради него пришлось провести мѣсяцъ на одномъ мѣстѣ. Когда они хотѣли ѣхать дальше, явился къ нимъ дядя ихъ. Арфимиръ, блѣдный, онъ еле шелъ и говорилъ жалостныя рѣчи. Клеандръ его лобызалъ и обнималъ.

Слѣдуетъ иводный разсказъ Арфимира. Онъ жалуется на свой „злополучный жребій". Оказывается, онъ бѣжалъ съ Армелиной изъ города въ отсутствіе Кладивира. Но скоро Армелина ослабѣла и отказалась дальше ѣхать. Она плачетъ, предчувствуя бѣду. „Силы мои весьма слабы, и что будетъ, естьли насъ постигнутъ?"—говорила она. Ты погибнешь, любезный Арфимиръ, и я буду причиной безвременной смерти твоей!". Послѣ чего она не могла продолжать словъ своихъ; но, приклоня главу свою къ лицу моему, проливала слезы, которыхъ она воздерживать была не въ силахъ". „Нѣкоторый скрытный ужасъ обнималъ мое сердце, и я въ безпрестанномъ былъ движеніи: то садился подлѣ опечаленной моей любовницы, то вставалъ, то ходилъ, то паки къ ней возвращался" [382]. Потомъ она заболѣла. Въ это время разразилась гроза. Больная Армелина бредитъ. „Уже солнце нарочито возвысилось, но Армелина пребывала въ глубокомъ снѣ. Я, зная, сколь много она безпокоилась, не хотѣлъ ея тревожить; но когда уже время было около полудня, то я, подошедъ тихо къ ней, открылъ багряницу, которою накрыто было лицо ея. Она того не слыхала. Я примѣтилъ въ ней сильный жаръ и слѣды засохшихъ на ея ланитахъ слезъ". Будучи разбужена, Армелина съ трудомъ сѣла на кони, но скоро совершенно отказалась ѣхать и просила ее оставить. Глубокая тоска двухъ любовниковъ. Она проситъ его покинуть ее, укоряетъ себя за преступную страсть, вовлекшую ихъ обоихъ въ бѣду. Она тоскуетъ и раскаивается. Потомъ она овладѣла собой и рѣшительно отказалась продолжать съ нимъ любовныя отношенія. Она любитъ его, но рѣшилась покориться мужу и претерпѣть заслуженное наказаніе. Въ это время погони ихъ настигаетъ. Происходитъ схватка: потомъ Клавидиръ вызываетъ Арфимира на поединокъ и побѣждаетъ его, такъ какъ тотъ „стыдился заносить съ полною силою руку противъ оскорбленнаго друга". Клавидиръ безъ труда выбиваетъ мечъ изъ рукъ Арфимира, но, изъ благородства, даетъ ему время поднять свое оружіе. Въ это время Армелина бросилась между ними. Поединокъ прекратился. Клавидиръ велѣлъ выпроводить Арфимира изъ предѣловъ страны, а Армелину простилъ. „Встань, сказалъ онъ, поданая

ей руку, и ободрися! Когда ты имѣла слабость сдѣлать въ своемъ сердцѣ перемѣну; такъ, напротивъ того, я остаюсь въ моихъ къ тебѣ ощущеніяхъ одинаковъ! Среди самаго твоего жестокаго вѣроломства и презрѣнія ко мнѣ, ты мнѣ столь же любезна, и тѣжъ чувствія наполняють мое сердце, какъ и тогда, когда была вѣрнѣйшею супругою. Встань!" [981]. Растроганная Армелина упала въ обморокъ, потомъ пришла въ себя и поѣхала домой съ мужемъ.

Клеандръ передъ выѣздомъ въ Византію перемѣнилъ на щитахъ эмблемы, такъ какъ, благодаря обнаруженію тайны, что они—спартанскіе принцы, онъ опасался гнѣва мстительной Тиграны. На своемъ щитѣ Клеандръ изобразилъ „связаннаго Ерота, съ обрѣзанными крыліями и съ переломленными лукомъ и стрѣлами. Арфомиръ, по семъ премѣненіи, имѣлъ на своемъ щитѣ парящаго въ воздухѣ орла; Алпанизій—крылатую славу" [982]. Когда они подъѣзжали къ Византіи, разразилась страшная гроза. Конь Клеандра испугался и понесъ; принцы разлучились и потеряли другъ друга. Такъ прошла ночь, а конь Клеандра все несъ своего господина. Наконецъ, онъ остановился, и Клеандръ, усталый, заснулъ. Проснулся онъ, чувствуя голодъ и сталъ размышлять, что дѣлать; наконецъ, рѣшился онъ искать братьевъ. Во время поисковъ наткнулся онъ на юношу, спящаго въ тотъ моментъ, когда страшный змій ползъ къ нему. Клеандръ убилъ змія. Юноша въ восторгѣ сталъ благодарить Клеандра, называя его „несравненной княжной Ніотильдой". Удивленный Клеандръ сталъ утверждать, что онъ—не дѣвица, а юноша, и не носитъ имени Ніотильды. Агеронъ (имя спасеннаго), убѣдившись, что онъ ошибся, сталъ увѣрять Клеандра, что онъ страшно похожъ на Ніотильду. Потомъ Агеронъ сталъ приглашать Клеандра въ домъ сестры его. Антипатиды. Антипатида радостно встрѣчаетъ брата, который заблудился во время грозы и не ночевалъ дома. Она тоже сперва приняла Клеандра за княжну Ніотильду. Слѣдуетъ характеристика Антипатиды. Она—вдова въ 20 лѣтъ; жизнь ея со старымъ мужемъ была неудачна; и вотъ, въ поискахъ счастья, она вступила въ связь съ рабомъ Клоромъ и, послѣ смерти мужа, все время жила съ нимъ. Увиди Клеандра, она въ него сразу влюбилась; провела тревожную ночь, взволнованная мечтами. На слѣдующій день она начинаетъ открыто ухаживать за нимъ: „встрѣтила его при вступленіи въ ее покой и привѣтствовала отборными словами, сопровождаемыми страстными взорами и приманчивою улыбкою. Клеандръ на сію вѣжливость отвѣтствовалъ съ возможною учтивостію, но съ видомъ благороднаго равнодушія" [983]. Она устраиваетъ въ честь Клеандра пиръ. На ея разспросы за столомъ Клеандръ разсказалъ ей басню о своемъ происхожденіи; желая скрыть свое истинное имя, онъ разсказалъ ей о длинномъ путешествіи по Греціи, Малой Азіи. Антипатида слушала, не спуская съ него глазъ и всячески занимала его.

Когда всѣ пирующіе разошлись, она задержала Клеандра; долго и нѣжно съ нимъ говорила и обѣщала разыскать его брата, стараясь удержать его у себя въ домѣ подольше. Прежній ея любовникъ, рабъ, замѣчаетъ ея любовь къ Клеандру и, мучимый ревностью, слѣдитъ за нею. Желая отъ него освободиться, она высылаетъ его въ Византію. Но онъ не хочетъ ей повиноваться и совѣтуется со своимъ единомышленникомъ, какъ

избыть бѣду и вернуть себѣ свое прежнее положеніе. Тотъ совѣтуетъ ему убить Клеандра, но „Клоръ, имѣя великодушіе, рѣдкое въ людяхъ его состоянія, симъ предложеніемъ возгнушался", такъ какъ не былъ увѣренъ въ его винѣ. Онъ былъ искренне привязанъ къ Антипатидѣ; поэтому ее убить онъ тоже не хочетъ. Онъ рѣшилъ не ѣздить въ Византію и тайно слѣдить за Клеандромъ и Антипатидой. Клеандра удержать Ант. не могла,—и онъ рѣшился ѣхать дальше. Ант. въ отчаяніи; „она удалилась въ свою спальню и, повергшись на постелю, погрузилася въ горестныя слезы". Она произноситъ жалобы на жизнь, испорченную бракомъ со старикомъ,—на Афродиту, возжегшую въ ея сердцѣ любовь къ рабу, на свою любовь къ Клеандру... Вечеромъ она старается Клеандра подпоить и съ нимъ вмѣстѣ „сама купно такою-жъ мѣрою вкушала". При прощаніи она не смогла удержаться, чтобы съ крайнею горячностью его не обнять и не облобызать пламенными устами. Потомъ пожелала она ему пріятныхъ сновъ. „Клеандръ не могъ на сіи слова отвѣтствовать",—„онъ былъ во изступленіи". Наступила ночь. Все погрузилось въ сонъ, кромѣ страстной Антипатиды и пылающаго ревностью Клора. Антипатида, раздѣвшись и „взявъ свѣтильникъ, трепещущими отъ страха и разсѣянія мыслей ногами пошла къ спальнѣ Клеандровой. Она, подошедъ къ дверямъ оныя, въ новый пришла ужасъ". Она долго стоитъ надъ спящимъ Клеандромъ и любуется имъ; услышавъ, что онъ сквозь сонъ шепчетъ ея имя, она поцѣловала его. Онъ проснулся: „Открывъ глаза свои и видя ее, себя объемлющею, поспѣшно садится и, прикрывъ постельнымъ покровомъ грудь свою, въ изумительномъ негодованіи, рекъ: „Что ты дѣлаешь, почтенная Антипатида? и съ какимъ намѣреніемъ пришла ко мнѣ въ толь неприличное и для тебя предосудительное время?" [986] Она открываетъ ему свою любовь, но Кл. оказался „непоколебимъ" и рѣшительно отвергаетъ ея любовь. „Такъ, дражайшій Димокритъ! (такъ назвалъ себя Клеандръ)—продолжала она съ жаромъ, я тебя люблю, обожаю, и естьли ты будешь столь не милосердъ и жестокъ, что отринешь сію пламенную любовь мою, то знай, что ты виновникъ будешь моего уничтоженія!.. Сія трепещущая рука моя (продолжала она съ жаромъ), простирая на грудь свою правую руку, сія—вѣщаю я,—рука довольно будетъ сильна поразить то сердце, которое имѣло нещастіе принимать сильнѣйшія впечатлѣнія заразительныхъ твоихъ взоровъ и пресѣчь нить тѣхъ дней, которые будутъ мнѣ не днями жизни, но мученія и скорби" [987]. Тѣмъ не менѣе, Клеандръ отвергаетъ предлагаемую ею незаконную связь. Тогда Антипатида предлагаетъ ему замужество, говоритъ, что богата и знатна, что сумѣетъ создать ему блестящее положеніе. И на это Клеандръ отвѣчаетъ отказомъ, говоря, что не питаетъ къ ней любви. Тогда Ант. „разъярилась". „Лице ее покрылось мрачною блѣдностію, и она, брося на Клеандра яростной взглядъ, не удостоя ни слова, стремительно отъ него бросилась въ дверь и съ такою силою оною ударила, что стѣны той комнаты задрожали" [988]. Сейчасъ же, по ея приказанію, Клеандра схватили и отвели въ тюрьму. Онъ, сидя тамъ, жалуется „небесамъ", что у Антипатиды „подъ такою наружною красотою укрывается толь скаредное безобразіе". Клоръ подслушиваетъ жалобы Клеандра и радуется неудачѣ Антипатиды. Ант. по-

звала въ свою спальню своихъ вѣрныхъ рабовъ и открыла имъ, что Клеандръ хотѣлъ совершить надъ нею насиліе и велѣла строго держать его въ тюрьмѣ. Клоръ понялъ, что его госпожа хочетъ добиться любви силою, и рѣшилъ доставить Клеандру свободу. „Между тѣмъ, сія нещастная раздираема была внутренними терзаніями: гнѣвъ, страсть, надежда, отчаяніе, любовь и мщеніе сердце ее попеременно терзали: то прибѣгала она къ благоразумію, старалася подкрѣпить себя равнодушіемъ и, не видавшись съ Клеандромъ, дать ему свободу,—то, чувствуя всю силу пламени своего, желала еще испытать своего щастія и убѣждать его вздохами и слезами; послѣднее сіе намѣреніе одержало верьхъ надъ другими помышленіями" 989. Ночью пошла она опять къ Клеандру, но его въ тюрьмѣ не оказалось. Антипатида пришла въ ярость: „терзала власы свои, лице и едва не выцарапала глазъ своимъ послушникамъ". Она особенно боялась того, что онъ разскажетъ про нее въ Византіи. Поэтому она рѣшилась сама ѣхать въ Византію искать Клеандра. Бѣгство Клеандра произошло слѣдующимъ образомъ Клоръ подобралъ ключъ къ тюрьмѣ при содѣйствіи „слесаря". Они открыли дверь и увидѣли Клеандра, „сѣдящаго на полу и проливающаго слезы"; но это были „не слезы робости и малодушія, но негодованія на участь, судившую ему быть въ толь гнусномъ плѣнѣ отъ сластолюбія женскаго" 990. Потомъ Клоръ далъ Клеандру одежду и провелъ его въ лѣсъ. Затѣмъ вожатый повелъ его въ Византію. Антип. со свитою проѣхала мимо „утеклецовъ", не замѣтивъ ихъ. Достигнувъ Византіи, провожатый ввелъ Клеандра въ одинъ домъ, въ качествѣ своего родственника. Далѣе живо представлена болтливость наивнаго, добродушнаго хозяина квартиры. Онъ легко повѣрилъ, что Клеандръ прибылъ въ Византію „учиться художествамъ" и читаетъ ему соотвѣтствующія наставленія, шутитъ, угощаетъ „лучшимъ виномъ", требуетъ, чтобы жена цѣловала гостя, но Клеандръ „ни въ винѣ, ни въ поцѣлуяхъ не находилъ ни малаго вкусу". Затѣмъ провожатый пошелъ искать въ Византію его брата. Кл. безпокоится вслѣдствіе его долгаго отсутствія и, „есть ли бъ не веселоправный его хозяинъ, которой во все сіе время съ нимъ сидѣлъ и, разсказывая разныя утѣшительныя Анекдоты, отъ времени до времени чествовалъ его виномъ,—то бы, конечно, онъ впалъ въ задумчивость и сумнѣніе; но въ самое то время, когда хозяинъ, будучи уже довольно подвеселенъ учащеніемъ кубковъ, распространялся (sic) съ большимъ жаромъ и похвалою о пользѣ, прибыткахъ и уваженіи своего художества, вошелъ къ нимъ вожатой принцевъ" 991. Происходитъ трогательная встрѣча Клеандра съ братомъ и дядей. Клеандръ при разставаніи хотѣлъ наградить своего вожатаго Карона, но тотъ отказался, говоря, что онъ взялся за спасеніе Клеандра изъ добрыхъ чувствъ, тронутый разсказомъ Клора. Слѣдуетъ характеристика Клора.

Въ заключеніе этой характеристики Каронъ примолвилъ: „и такъ, милостивые государи! не извольте думать, будто низкородные люди не имѣютъ благородныхъ ощущеній человѣколюбія, и, будьто, ими страхъ и корысть, какъ двѣ сильнѣйшія пружины какою-либо машиною,—то есть страхъ съ внѣшней, а корысть изъ внутренней стороны дѣйствуютъ... Есть и между ними души, наполненныя благотворитель-

ными чувствованіями; но къ обнаруженію ихъ и къ произведенію въ дѣйствіе, большей частью, не имѣютъ способа". Каронъ проситъ у Клеандра разрѣшенія остаться при немъ. Тотъ соглашается. На слѣдующій день пріѣхалъ Клоръ, который разсказываетъ имъ о томъ, какая суета произошла въ домѣ Антипатиды, когда обнаружилось исчезновеніе Клеандра; онъ тоже поступаетъ въ услуженіе къ Клеандру. Клеандръ заказываетъ себѣ на щитѣ новую эмблему—„Гидру, пораженную небесною молніею". Принца представляютъ ко двору.

Тиграна и Піотильда встрѣчаютъ молодыхъ путешественниковъ. Сходство Клеандра и Піотильды поразило и Тиграну. Піотильда влюбилась въ Клеандра. Его видъ „произвелъ въ сердцѣ молодой княжны страшійской сильныя движенія. Она взирала на него такими очами, которыя открывали въ немъ грядущую ихъ участь. „Кто бъ таковъ онъ ни былъ, говорила она сама себѣ, только онъ одинъ долженъ владѣть моимъ сердцемъ. Взоръ и ухватки его доказываютъ мнѣ, что онъ родился для обладанія мною!" [332] Не только Піотильда, „зараженная любовницы", но и сама Тиграна „плѣнилась прекраснымъ и витіеватымъ слогомъ, которымъ Кл. въ своихъ разговорахъ изъяснялся". На пиру „Тиграна не преминула пріѣзжихъ принцевъ спросить, не желаютъ ли они испытать искуства и храбрости Византійскихъ и нѣкоторыхъ чужестранныхъ рыцарей на ристалищахъ". Клеандръ за всѣхъ своихъ спутниковъ отвѣчалъ, что „сіе самое было первою причиною ихъ странствованія" [333].

Происходитъ турниръ. Вдругъ на арену выѣзжаетъ рыцарь въ прежнемъ вооруженіи Клеандра (съ девизомъ „связанный Купидонъ"); вооруженіе это было оставлено Клеандромъ у Антипатиды. Алванизій нападаетъ на невѣдомаго самозванца, ранитъ его и снимаетъ съ него вооруженіе. Это оказался Агеронъ, одѣвшій вооруженіе Клеандра. Тиграна недовольна кровавымъ исходомъ состязанія и требуетъ къ отвѣту Алванизія. Она упрекаетъ его въ неприличномъ поведеніи, такъ какъ онъ снялъ вооруженіе и убилъ рыцаря. Кл. защищаетъ Алванизія, говоритъ, что, во-первыхъ, рыцарь не убитъ, а затѣмъ, что онъ самъ виноватъ, присвоивъ себѣ чужое вооруженіе. Происходитъ допросъ очнувшагося Агерона. Узнавъ Клеандра, онъ покаялся и признался въ присвоеніи себѣ чужого вооруженія и девиза. Тогда „огорченіе Тиграны обратилось въ благоволеніе". Тиграна заинтересовалась приключеніями Клеандра, она разспрашиваетъ, какимъ образомъ вооруженіе Клеандра оказалось въ домѣ Агерона; настаиваетъ на подробностяхъ. Подъ великой тайной Кл. разсказалъ Тигранѣ свое приключеніе съ Антипатидой. Разсказъ его сильно поразилъ Піотильду. Клеандръ увлекся Піотильдой,— теперь и онъ „не находилъ уже въ себѣ той мужественной твердости, которая была непреодолимымъ щитомъ противъ прелестей нѣжнаго пола" — „короче, въ немногіе дни онъ сдѣлался страстнѣйшимъ любовникомъ". Теперь дядюшка его, Арфимиръ, въ свою очередь, потѣшается надъ нимъ.—„Не къ здачѣ ли, любезной князь, подходитъ?" (говоритъ онъ „усмѣхаясь и пожавъ ему руку"). „Нѣтъ ничего чуднаго, отвѣтствовалъ ему Клеандръ въ замѣшательствѣ, когда и такой же человѣкъ, какъ и всѣ прочіе,—такъ слѣдовательно и подверженъ тѣмъ же самымъ уставамъ природы, которымъ подчиненъ весь родъ смертныхъ. Безъ отри-

ціи могу открыться, что я имѣю къ ее особѣ отмѣнное почтеніе". „Правильнѣе будетъ, что страстную любовь!" прервалъ слова его Арфомиръ.—„Положимъ, что и любовь!" рекъ Клеандръ,—но любовь, основанную на почтеніи и добродѣтели"[991]... Въ это время Ѳракійцы вели войну со Скиѳами. Клеандръ предложилъ Тиграну свои услуги въ качествѣ участника похода. „Состояніе, въ которомъ мы видимъ нынѣ Ѳрацію, вѣщалъ Клеандръ, утѣшаемую отъ несправедливыхъ требованій нашихъ сосѣдей, и честь рыцарскаго званія—возлагаютъ на насъ обязанность вступиться за обидимую страну"[995]. Тиграна съ радостью согласилась на это предложеніе. Но Лизимахъ, военачальникъ Ѳракійскій, недоволенъ присутствіемъ на войнѣ Клеандра и всячески мѣшаетъ ему. Кл. съ охотниками удачно нападаетъ на Скиѳовъ и рѣшаетъ судьбу похода; потомъ онъ одержалъ и вторую побѣду. Наконецъ, Клеандру удается выручить самаго Лизимаха изъ опаснаго положенія. Лизимахъ отрѣшенъ отъ званія. Блестящая встрѣча устроена была въ Византіи Клеандру. Ему воздавались воинскія почести. Іиотильда встрѣчаетъ его, стоя на балконѣ—онъ цѣлуетъ ея руку. На голову Клеандра возлагаютъ лавровый вѣнокъ. Устраивается торжественный пиръ въ теченіе нѣсколькихъ дней. Тиграна всѣми силами хочетъ узнать все еще неизвѣстное ей имя Клеандра. Онъ мучается отъ любви и хочетъ открыться, но изъ самолюбія не рѣшается это сдѣлать.

Іиотильда была воспитана по-мужски; она принимала всегда участіе въ рыцарскихъ развлеченіяхъ и охотѣ. И вотъ, однажды назначена была охота. Іиотильда съ Клеандромъ охотятся вмѣстѣ. Вепрь на нее кинулся, убилъ ея коня и повергъ ее на землю. Клеандръ поражаетъ звѣря копьемъ, но самъ, послѣ паденія своего коня, падаетъ; вепрь бросается на него. Іиотильда убиваетъ вепря. Молодые люди благодарятъ другъ друга. Слѣдуетъ цѣлая страница любезностей. Наконецъ, Клеандръ объясняется въ любви: „позвольте мнѣ, любезная княжна, чтобъ я далъ ему (сердцу) свободу питать къ вамъ тѣ ощущенія, которыя кромѣ благодарности его наполняютъ! позвольте, чтобъ оно насъ почитало и обожало! Съ самаго прибытія моего въ Византію, съ самаго перваго взгляда на прекрасное лице ваше, ношу я сей любезной образъ глубоко впечатлѣннымъ въ моемъ сердцѣ."[996] и пр. пр. И Іиотильда тоже открыла ему свое сердце приблизительно въ тѣхъ же почтительныхъ выраженіяхъ. Тогда Клеандръ назвалъ ей свое настоящее имя. Іиотильда заявила, что будетъ просить царицу Тиграну о разрѣшеніи на замужество и обѣщала не выходить замужъ за другого, даже, если онъ ей измѣнитъ. Черезъ нѣсколько дней Тиграна застала Іиотильду грустной. Вообще „нравъ Іиотильды былъ веселъ, хитръ, не терпящій никакихъ принужденій и скучливости",—поэтому ея грусть слишкомъ бросилась въ глаза Тиграну. Іиот. открываетъ свое сердце теткѣ, а также имя и происхожденіе Клеандра.

Тиграна сказала: „сынъ не отвѣчаетъ за преступленія своихъ родителей, а, сверхъ того, личныя достоинства сего князя и оказанныя имъ намъ заслуги достойны всей моей благодарности, достойны сей жертвы"[997]. Тогда Кл. начинаетъ оффиціальное сватовство чрезъ Арфимира. Тиграна дала согласіе, и Клеандръ послалъ спросить у Алмія разрѣшенія. Вѣсть о помолвкѣ княжны распространилась по Византіи. Лизи-

махъ завидуетъ славѣ Клеандра и устраиваетъ противъ него заговоръ. Во время рыбной ловли Кл. былъ схваченъ, закованъ и оставленъ на какомъ то островѣ. Кл. оказывается совершенно одинъ; кругомъ него лѣсъ, около—ручей. Ночь провелъ онъ на деревѣ, опасаясь звѣрей. Утромъ и вдали онъ увидѣлъ дымъ. Онъ разсмотрѣлъ, что это были черные дикари, которые вели непонятныя рѣчи и производили странныя тѣлодвиженія, Клеандръ знаками проситъ у нихъ пощады. „Старые и молодые его обступили и произносили нелѣпые восклицанія". Старецъ-начальникъ ихъ разогналъ и накормилъ Клеандра. Потомъ явилась женщина, говорившая по гречески. Онъ ей разсказалъ вымышленную повѣсть о своихъ приключеніяхъ; она перевела его исторію старцу. Старецъ былъ тронутъ бѣдствіями Клеандра. Потомъ женщина разсказала Клеандру свою исторію: она—Нира, гречанка изъ Сиракузъ; Тиряне напали на нихъ и ограбили; отецъ ея умеръ; на 10-омъ году она лишилась матери. Богатая вдова была противъ этой любви и отослала сына. Онъ уѣхалъ, но увезъ ее съ собой. На морѣ разыгралась буря. Наконецъ, корабль разбился. Она очнулась на островѣ, окруженная дикарями. И вотъ, три года живетъ у нихъ, научилась ихъ рѣчи. Здѣсь государственное устройство совершенно особое. Патріархъ управляетъ населеніемъ острова; „смертной казни у нихъ нѣтъ"; тягчайшая казнь—изгнаніе. „Добродѣтели и благонравіе основаны у нихъ на уставахъ самаго естества"; соблюдается почтеніе къ родителямъ и старшимъ, цѣломудріе, согласіе и страннолюбіе. Поэтому чужеземцу здѣсь нечего бояться—дикари не только мучить не станутъ, но даже работать его не заставятъ.

У старца двѣ внучки; онъ чрезъ Нину-гречанку сватаетъ ихъ Клеандру, но тотъ не соглашается жениться. Жалуется на боговъ, кои гонятъ его повсюду. Нира сочувствуетъ Клеандру. Между ними завязывается чистая дружба; оба вѣрны своей прежней любви. Старецъ спокойно отнесся къ отказу Клеандра, но внучки, влюбленныя въ Клеандра, рѣшили, что Нира хочетъ Клеандра у нихъ отбить. Нира, лишившись ихъ дружбы, печалится. Старецъ спрашиваетъ ее о причинѣ печали. Образъ старца очерченъ очень симпатично: мягкій, благодушный, честный. Нира проситъ разрѣшенія уйти изъ ихъ селенія и поселиться на берегу, чтобы тамъ ждать, не возьметъ-ли ее какой нибудь корабль. Онъ разрѣшаетъ. Она проситъ отпустить съ нею и Клеандра. Онъ и это ей разрѣшаетъ, и, „чтобъ такой отпускъ не показался его обществу страннымъ и не произвелъ какихъ сумнительныхъ въ умахъ ихъ впечатлѣній", онъ утверждаетъ, что отъ священнаго дерева слышалъ приказаніе удалить „бѣлолицыхъ" на берегъ моря. Далѣе слѣдуетъ пересказъ легенды, связанной съ священнымъ деревомъ. Творецъ посадилъ дерево, подъ коимъ первозданный человѣкъ провелъ спокойно всѣ дни своей жизни. „Первые люди рождали только единожды въ жизнь", такъ какъ только по одному плоду вкушали съ этого дерева. „Одна жена, находя въ сихъ плодахъ изящной вкусъ"—соблазнила и мужа ѣсть чаще; другіе люди тоже стали ѣсть плоды часто,—и люди быстро размножились. Наконецъ, стало не хватать плодовъ,—тогда на землѣ распространился голодъ и начались разныя неустройства.

Боги, видя всѣ эти безпорядки, „повелѣлъ землѣ открыть свои нѣдра, изъ которыхъ шумящая бездна, устремившись, покрыла всю землю, и ничего на оной не оставила, кромѣ того, ими „обожаемаго, дерева“ [398]. На этомъ деревѣ спаслись отъ „всеобщаго потопленія“ „отрокъ и дѣвица, не разумѣвшіе еще добра и зла“. Отъ нихъ произошли всѣ люди. Между тѣмъ, шло время, и дерево засохло и отъ вѣтра скрипѣло. Дикари старались понять этотъ скрипъ; когда подымался вѣтеръ, — всѣ, кому было нужно, шли слушать рѣчь дерева.

Старецъ выдумалъ, что это дерево приказало изгнать Клеандра и Пиру на берегъ моря. Оба перебрались на морской берегъ. „Кл. принялся за труды, желая сдѣлать двѣ „кущи“, но Пира ему то отсовѣтовала, говоря, что она „на его добродѣтель столько надежна, что отнюдь не устрашится пребывать съ нимъ въ одномъ шалашѣ“. Между тѣмъ, внучки старца разыскали ихъ. Старшая особенно злобствуетъ,—она имѣла „нравъ крутой, самолюбивой и злобной, а по сему и любовь ее была паче устремленіе побужденія, нежели любовь, вдохнутая нѣжностью и добродѣтелью.—младшая жъ, напротивъ, была тиха, снисходительна, и, слѣдственно, и любовь ее вкралась къ ней въ сердцѣ кротчайшими стезями“ [399]. Она старается сдержать и успокоить старшую. Старшая, между тѣмъ, не вѣритъ, что дѣдъ слышалъ „голосъ“ дерева. Зная, что старшая сестра готовитъ страшную месть, младшая во время предупредила Клеандра и Пиру и спасаетъ ихъ отъ мести. Затѣмъ Ахаиза (такъ ее звали) осталась съ ними, и они переселились на гору. Старшая сестра, узнавъ о вѣроломствѣ младшей, „въ такое бѣшенство пришла, что исторгнула оба свои глаза“ и умерла. Однажды, во время прогулки, Кл. встрѣтилъ одинокаго тоскующаго старца. Происходитъ трогательная встрѣча; старикъ тоскуетъ объ Ахаизѣ. Разстроганный Кл. уговариваетъ Ахаизу вернуться къ дѣду.

Образъ нѣжной и готовой на самопожертвованіе, чистой Ахаизы очерченъ очень недурно. Она осталась съ ними?

Однажды на морѣ разыгралась буря. Утромъ Кл. и П. увидѣли около ихъ острова корабль. Они проникли на корабль. Оказалось, на кораблѣ этомъ приплыли Клоръ и Коранъ, разыскивающіе Клеандра.

Происходитъ трогательная встрѣча. Клоръ разсказываетъ, что случилось въ Византіи послѣ исчезновенія Клеандра. Сперва при дворѣ было большое безпокойство относительно участи Клеандра, которое потомъ смѣнилось негодованіемъ, когда была пущена сплетня, что Кл. уѣхалъ въ Спарту, не желая жениться на Ніотильдѣ.

Внѣ себя отъ обиды, она дала Рамиру „жестокую пощечину“. Рамиръ „такою обидою“ оскорбился и хотѣлъ показать, коль драгоцѣнна для него честь, но, вспомня, что она—женщина, „укорилъ только царицу, что не постыдилась ударить рукою старика, посѣдѣвшаго подъ оружіемъ“. Тиграна, внѣ себя за всѣ оскорбленія, нанесенныя ей и ея дочери спартанцами, рѣшила опять воевать съ Алміемъ. Рамиръ уѣхалъ въ Спарту. Клоръ и Коранъ поѣхали искать Клеандра. Между тѣмъ, буря разбила ихъ корабль у Сидонскаго берега. Ихъ пріютили въ домѣ для потерпѣвшихъ крушеніе. Царь, обыкновенно, самъ посѣщалъ этотъ домъ. Однажды царь зашелъ, когда Клоръ спалъ, посмотрѣлъ на него и потребовалъ, чтобъ его доставили во дворецъ, когда онъ проснется.

Когда это было исполнено, царь сталъ разспрашивать Клора объ его происхожденіи. Оказалось, Клоръ еще младенцемъ былъ проданъ въ рабство рыбакомъ, который нашелъ его въ лодкѣ на морѣ. На шеѣ у него было ожерелье, на которомъ написано было имя: „Клоръ". Разсказъ этотъ очень удивилъ царя. Онъ попросилъ показать ему ожерелье и, по ожерелью, призналъ въ Клорѣ своего, давно-потеряннаго, сына. „Такимъ образомъ, изъ раба и самаго бѣднаго странника въ одинъ день и сдѣлался царемъ", заключилъ свой разсказъ Клоръ. Отецъ-царь умираетъ черезъ два дня послѣ свиданія съ сыномъ, и Клоръ сдѣлался послѣ него царемъ Сидонскимъ. Между тѣмъ, Коранъ разузналъ о судьбѣ Клеандра, узналъ, что онъ—жертва заговора Лизимаха и на какомъ островѣ онъ былъ оставленъ. Тогда Клоръ, оставивъ свое отечество и тронъ, ѣдетъ самъ на поиски нѣжно-любимаго имъ Клеандра. Между тѣмъ, Клоръ все вздыхаетъ по Антипатидѣ. Нира въ одномъ изъ мореходцевъ узнала своего бывшаго жениха. Свиданіе ихъ было радостно. Между тѣмъ, Аханиза влюбилась въ Корана, и онъ въ нее. Всѣ уѣзжаютъ съ острова. „Но сколько Аханиза ни обрадована была позволеніемъ быть ей при любезномъ ей Коранѣ, однако, видя, удаляющейся отъ глазъ ее, островъ, на которомъ столь жестоко оставлены ею родители ее, братья и дѣдъ, предалась горчайшимъ слезамъ". На морѣ они увидѣли сраженіе между двумя кораблями. Клоръ вмѣшался въ сраженіе, напалъ на сильнѣйшій корабль и, взявъ его, повелъ въ Сидонъ. На спасенномъ кораблѣ оказалась Антипатида. Клоръ—въ восторгѣ; отрекомендовавшись царемъ Сидонскимъ, онъ проситъ ея руки. Восторженность его выразилась такъ шумно, что Клеандръ даже замѣтилъ ему, что они не одни: „Но, послушай Клоръ, мы дѣлаемъ изъ себя позорище" [1000]—сказалъ онъ. Въ присутствіи Клора Антипатида проситъ у Клеандра прощенія. Она отказывается выйти замужъ за Клора, такъ какъ теперь считаетъ себя недостойной его. „Ахъ! Къ чему такое строгое намѣреніе, любезная Антипатида!" вскричалъ Клоръ съ огорченіемъ, въ то время, какъ сама судьба, утомясь своими гоненіями, соединила насъ толь неожиданно!". Антипат. упорствуетъ, въ волненіи даже падаетъ въ обморокъ. Наконецъ, она соглашается. Торжественное прибытіе всѣхъ въ Сидонъ. Селифоклъ (женихъ Ниры) разсказываетъ свои приключенія послѣ кораблекрушенія. Жители острова нашли его лежащимъ безъ чувствъ. Они привели его въ чувство. Потомъ онъ пріѣхалъ въ Египетъ. Онъ жилъ счастливо. Но молодая жена его начальника влюбилась въ него, стала его склонять къ любви; онъ воспротивился ея желаніямъ. Тогда она, горя желаніемъ мести, пожаловалась мужу, говоря, что Селифоклъ хотѣлъ употребить надъ нею насиліе. Одна горничная подслушала эту клевету и передала ему. Спасая свою голову, онъ отплываетъ на кораблѣ въ Сидонъ. Затѣмъ онъ попалъ на корабль Корана. Селифоклъ и Нира попали въ Сицилію. Плѣнные разбойники, похитители Клеандра, были допрошены; они признались, что были подкуплены. Лизимахомъ. И брата его они тоже похитили. Антипатида подтверждаетъ ихъ показанія, при чемъ тоже указываетъ на Лизимаха, какъ на главнаго виновника всѣхъ бѣдствій Клеандра, и разсказываетъ, что она поѣхала искать Клеандра и другихъ. Узнаетъ Клеандръ также, что, вслѣдствіе его исчезновенія, возгорѣлась новая война Спарты

съ Тиграной и что флотъ Лакедемонскій заперъ Геллеспонтъ. Клеандръ ѣдетъ въ Спарту. По дорогѣ находитъ онъ случайно своего брата: „примѣтилъ онъ между ущеліями человѣка, одѣтаго древесными листвіями, который, коль скоро его завидѣлъ, неизвѣстно куда, скрылся". Клеандръ наловилъ его. Онъ былъ нагъ и блѣденъ; радость при свиданіи. Клоръ плыветъ съ большимъ флотомъ къ Спартѣ. Она окружена войсками и флотомъ Ѳракійцовъ. Клоръ предлагаетъ посредничество, требуетъ удаленія Ѳракійцевъ отъ Спарты и руки Піотильды для Клеандра. Приходитъ вѣсть, что Византія окружена непріятелемъ: Иракль, царь Сирійскій и Орфимахъ (Кладиміръ?) Иллирійскій начали войну съ Византіей. Піотильда пошла на помощь Византіи. Со Спартой заключено перемиріе. Флотъ Ѳракійскій отошелъ къ Византіи. Клоръ и Клеандръ радостно встрѣчены Алміемъ. Онъ благодаритъ Клора. Арфимиръ женитъ и на вдовѣ Иллирійскаго царя Армелинѣ и дѣлается царомъ Иллирійскимъ. Клеандръ, Алванизій и Клоръ плывутъ къ Византіи. Заключенъ миръ съ Византіей. Кл. посылаетъ посольство къ Піотильдѣ, все разъяснено. Тиграна и Піотильда сразу перемѣнили свои отношенія къ Клеандру, узнавъ его злоключенія. Лизимахъ арестованъ. Клеандру и Иракду устраивается блестящая встрѣча. Тиграна, увидя Иракла, взволновалась. Ираклъ тожо. Старая любовь вспыхнула въ ихъ сердцахъ.

„При воззрѣніи на Иракла, Тиграна смутилась, и смутное привѣтствіе ее было доказательствомъ разстройки мыслей. Любовь боролась съ негодованіемъ, но первая торжествовала, и она, противъ воли своей, обращала на него свои очи... Самъ Ираклъ почувствовалъ потрясеніе души своей; страхъ его, чтобъ прежняя страсть не возобновилась, былъ основателенъ; пламень прежней его любви объялъ его сердце съ такою силою, что онъ не имѣлъ силы его паленію противиться" [1001]. Слѣдуетъ рѣчь Тиграны къ Клеандру. Происходитъ объясненіе Клеандра съ Піотильдой. Въ концѣ концовъ, Ираклъ женится на Тигране.

Затѣмъ Арфимиръ разсказываетъ о своихъ приключеніяхъ, какъ его тоже схватили и везли къ Македоніи; какъ, во время бури, корабль ихъ разбился у Иллирійскихъ береговъ. Здѣсь онъ узнаетъ, что Армелина овдовѣла. Однажды онъ попался на глаза царицѣ; она его узнала. Любовь съ новой силой возгорѣлась въ ихъ сердцахъ. Заканчивается романъ свадьбами Иракла и Тиграны, Клеандра и Піотильды, Алванизія и Сенегры. Клеандръ дѣлается царомъ Ѳракіи.

Подобно всѣмъ своимъ учителямъ-предшественникамъ, русскій авторъ не прочь теченіе своего романа прерывать собственными „размышленіями" по поводу происшедшаго. Чаще всего, такія „размышленія" — или объясняютъ психическое состояніе героя романа, — или имѣютъ нравоучительный характеръ. Напр.:

„Теперь намѣренъ я (говоритъ авторъ) нѣсколько коснуться къ разсужденію о свойствахъ любви, которая иногда возвышаетъ, а иногда, что обыкновеннѣе, унижаетъ человѣческое достоинство" [1002].

Обстоятельно разсуждаетъ онъ о преступной любви, которая покорила сердце королевы Армелины Арфимиру [1003]:

„Таковая слабость ни подъ какими изъятіями не можетъ быть оправдима: разумъ, добродѣтель, совѣсть, и самая природа вопіютъ противу сего толь отвратительнаго порока!“ [1004].

„Любовь слѣпа!—она не видитъ ни порока, ни заблужденія. Совѣсть умолкаетъ, удаляется честь, и разумъ пріемлетъ ложныя правила“ [1005].

Философствуетъ авторъ о значеніи прошлаго —

„Минувшія бѣды бываютъ утѣшительны, коль скоро мы ихъ благополучно избѣгнемъ“ [1006].

— о „надеждѣ“ въ сердцахъ людей влюбленныхъ:

„Сердцамъ, зараженнымъ любовью, самая малѣйшая и тусклая искра надежды, представляется свѣтиломъ надежды“ [1007].

„Описанія“ очень часты въ романѣ; съ особою любовью описываются сраженія, турниры, вооруженіе героевъ; описанія явленій природы, (бури или зари) короче и шаблоннѣе.

Описаніе наружности героя:

— „Онъ имѣлъ подъ собою коня чудной доброты; и, будучи облеченъ въ стальныя латы, въ лѣвой рукѣ, при самыхъ конскихъ ушахъ, держалъ щитъ, на которомъ блистало златовидное, восходящее изъ-за тусклыхъ горъ солнце, а въ правой—конейное черное древко: серебряный съ золотыми обручами и, по мѣстамъ, украшенный блистательными каменьями, шишакъ покрытъ былъ румянѣе розы до самыхъ плечъ простирающимися перьями, которыми тихій зефиръ, нѣжно играя, придавалъ величественную лѣпоту“ [1008].

Описаніе поединка:

„Подобно страшному громовому удару, раздался звукъ, при стеченіи ихъ одинъ къ другому; древки ихъ сокрушились, и самые кони пали на колѣни. Они разъѣхались снова, потребовали другихъ коней и съ такою-жъ рвительностію вторично одинъ ко другому пустились; но Скифской Князь отъ удара „рыцаря солнца“ палъ съ коня; стыдясь же своего уничтоженія и желая мнимое свое безчестіе погрузить въ крови своего соперника, или пожертвовать своею жизнію, обнажилъ свой мечъ и съ свирѣпостью вызывалъ „рыцаря солнца“ на сей послѣдній шагъ“ [1009].

Описаніе наружности героя:

„Прекрасное его лицо, сколько отъ радостнаго сна, столько-жъ и отъ излишняго употребленія за вечернимъ столомъ вина, покрыто было пламеннымъ румянцемъ, осыпаннымъ жемчужными каплями пота: темнокоричневаго цвѣта власы, нерадиво разсыпаясь, увѣнчивали величественное чело его и, кудряво извиваясь, доходили до самыхъ плечъ и осѣняли бѣлѣе снѣга выю“ [1010].

Описаніе наружности героини:

„Лице ее бѣлѣе самаго снѣга имѣло лучшее и правильнѣйшее расположеніе, котораго щеки и уста украшены были розовымъ румянцомъ. Черныя, полныя огня и привлекательности, глаза окружены

были тонкими возвышенными, агатоваго цвѣта, бровями; прекрасной носъ, чело и расположеніе бороды, съ нѣжными и въ восторгъ приводящими оттѣнками, дѣлали лице сіе болѣе принадлежащимъ къ какому нибудь божеству, нежели смертной. Станъ, ростъ, походка, да и самая одежда, состоящая, хотя изъ простаго, однакожъ самаго тонкаго и чистаго бѣлаго полотна, соотвѣтствовали ее природнымъ дарамъ. Густые черные ее волоса, скромно разсыпаясь по ее плечамъ, по мѣстамъ украшены были цвѣтами" [1011].

Описаніе утренней зари:

„Едва мрачная завѣса ночи стала ниспускаться на западъ, уступая восходящей руминой зарѣ, благолѣпной предшественницѣ свѣтозарнаго солнца..." [1012].

Описаніе утра:

„Когда свѣтоносная денница, озаряя вселенную, предвозвѣщала земнородным пріятный день, зачались рыцарскіи игры" [1013].

Буря налетаетъ внезапно:

„Вскорѣ потомъ все небо покрылось мрачными облаками, изъ которыхъ свирѣпая буря заревѣла, и малой нашъ корабль былъ легкимъ игралищемъ сердитыхъ волнъ, которыя, вздымая сѣдые хребты свои, то возносили его къ самымъ облакамъ, то, въ то же мгновеніе, низвергали съ такимъ стремленіемъ въ зѣвъ бездны, что дно корабля отъ каменныхъ утесовъ, въ ужасѣ скрежетало; безпрерывной блескъ молніи и оглушительной трескъ громовыхъ ударовъ, приводилъ всѣхъ въ трепетъ, а потомъ наступившая темнота ночи умножала нашъ ужасъ" [1014].

Описаній безыскусственной природы нѣтъ въ романѣ, — она представляется автору, какъ и всѣмъ его учителямъ-псевдоклассикамъ,—только парками [1015].

Къ „общимъ мѣстамъ" этого романа относятся шаблонныя авантюры: бури [1016], кораблекрушенія [1017], вѣщіе сны [1018], предсказанія оракула [1019], нападенія морскихъ разбойниковъ [1020], войны изъ за любви, турниры и появленіе на турнирѣ невѣдомыхъ рыцарей [1021], которые оказываютъ чудеса храбрости и силы; мнимый рабъ оказывается царскимъ сыномъ,—узнаютъ его по ожерелью [1022]; на охотѣ герой спасаетъ героиню и объясняется въ любви [1023]; освобождаетъ городъ отъ чудовища,—за это ему обѣщана рука царевны [1024]; коварные враги дѣйствуютъ клеветой и насиліемъ [1025]; мудрый старецъ-отшельникъ [1026], бывшій царь; дѣвица-рыцарь [1027]; переодѣванье дѣвицы въ мужское платье [1028]. Кромѣ того, разработанъ здѣсь мотивъ Іосифа прекраснаго; любопытна переработка преданія о потопѣ и миѳъ о деревѣ [1029].

Къ характернымъ особенностямъ романа надо отнести ту „робинзонаду" [1030] (Клеандръ среди дикарей), которая въ романѣ героическаго типа является совершенною неожиданностью. Необходимо

также отмѣтить въ романѣ элементъ „политики“ [1031], входящій въ этотъ романъ (см. выше стр. 136-7) и, что особенно любопытно, сильную реалистическую тенденцію, придающую нѣкоторую жизненность роману: герои нерѣдко острятъ, иронизируютъ [1032]; выведены комическіе образы болтливаго хозяина гостинницы [1033] и ремесленника византійскаго [1034]; курьезной деталью романа, совсѣмъ не подходящей для романа героическаго, надо также признать указаніе автора, что у героя отъ долгой ходьбы появились на ногахъ „мозоли“ [1035]... Впрочемъ, въ одномъ мѣстѣ самъ герой заявляетъ, что онъ—„такой-же человѣкъ, какъ всѣ.“ [1036]—заявленіе очень цѣнное, еще разъ подтверждающее мое указаніе на то, какъ реализмъ вкрался въ это произведеніе и, не нарушая его основныхъ характерныхъ особенностей, придалъ ему нѣкоторую долю жизненности.

Даже изъ пересказа этого любопытнаго романа видно, что онъ всецѣло относится къ той группѣ романовъ, лучшими представителями которой были произведенія Кальпренеда.

Построеніе романа *авантюрное*, съ цѣлымъ рядомъ „вставныхъ эпизодовъ; на всемъ произведеніи лежитъ *историческій колоритъ*: авторъ старательно связываетъ дѣйствіе своего романа съ исторической обстановкой [1037]; ширина географическая тоже въ немъ выдержана: дѣйствіе развертывается не только въ предѣлахъ европейской и азіатской Греціи, но захватываетъ и тѣ страны, гдѣ живутъ негры, т. е. переносится на берега Африки; имена героевъ звучатъ по гречески. Развязка при помощи „свадебъ“ обычная.

„Судьба“ и „боги“ играютъ ту же роль, что и въ романахъ Кальпренеда [1038].

„рокъ положилъ къ тому сію тяжкую преграду“ [1039]; „удалясь отъ жестокости гнавшаго меня рока“ [1040]; „угодно будетъ судьбѣ соединить меня“ [1041]; „удалясь отъ ударовъ разгнѣванной судьбы“ [1042]; „благодѣтельствующая судьба привела меня“ [1043]; „благотворная судьба, утѣшающая, обремененныя тяжкими печальми, сердца нечаянными радостями“ [1044]; „Немилосердная судьба! взывала она, обливаясь слезами, чѣмъ я навлекла на себя толь тягостное для меня твое гоненіе?“ [1045]. „Лютый рокъ ирываетъ повсюду нагубныя бездны среди мнимобезопаснѣйшихъ равнинъ и спокойнаго шествія“ [1046].

„Сама судьба, утомясь своими гоненіями, соединила насъ“ [1047]... „Боги! какъ жестоко ваше опредѣленіе“ [1048]; „не сей назначенъ отъ боговъ“ [1049]; „опредѣленіе боговъ“ [1050]; „праведное небо, показавъ меня“ [1051]; „не угодно богамъ, чтобъ мы были въ Византіи“ [1052]; „безсмертные боги такъ въ своемъ вышнемъ совѣтѣ опредѣлили“ [1053]; „безсмертные боги! вы не оставляете меня гнать повсюду“ [1054]; „боги преимущество сіе предоставили судьбѣ, которая движетъ нашимъ сердцемъ самодержавно, не подчиня его ни разуму, ни волѣ“ [1055].

Это послѣднее утвержденіе подводитъ насъ къ вопросу, каковы „герои“ разбираемаго романа. Подобно тому, какъ въ старомъ героическомъ романѣ, и здѣсь выведено нѣсколько „типовъ“ идеальныхъ и отрицательныхъ героевъ и героинь. Два „идеальныхъ“ героя—Ираклъ (вырисовывается въ повѣсти Рамира) и Клеандръ—отважные полководцы, ради рыцарской славы странствуютъ они по свѣту [1056]; они — блестящіе рыцари, непобѣдимые въ турнирахъ и совершенные въ физическомъ и въ моральномъ отношеніяхъ; они даже въ отношеніяхъ къ врагамъ проявляютъ необыкновенное благородство [1057]; изъ сострадательности и чувства рыцарской чести они защищаютъ слабыхъ, угнетенныхъ, особенно дамъ [1058]. Вѣжливые кавалеры, они съ особымъ усердіемъ служатъ имъ [1059]. „Долгъ, честь и слава“ [1060], правила „справедливости и благоразумія“ [1061] руководятъ ими въ жизни; въ приличіяхъ [1062] (galanterie) и въ рыцарскомъ этикетѣ [1063] они—знатоки; говорятъ всегда изысканнымъ, „витіеватымъ стилемъ“ [1064]... Оба они чувствительны, влюбляются [1065] сразу, сентиментальничаютъ надъ умирающимъ конемъ [1066], проливаютъ слезы [1067], испускаютъ часто вздохи [1068] и произносятъ вслухъ „жалобы“ [1069]; въ трудныя минуты горя, или душевныхъ колебаній ведутъ разговоры вслухъ съ самимъ собою, произносятъ даже цѣлые „монологи“ [1070], рѣшаются на самоубійство [1071]...

„Любовь“ въ жизни героевъ—все: изъ за нея ведутся войны [1072]; изъ за нея второстепенные герои готовы на преступленія... Любовью вызываются всѣ второстепенныя чувства: гнѣвъ, радость, печаль, зависть, отчаянье... Любовь ихъ основана на „почтеніи и добродѣтели“ [1073]. Они вѣрны своей дамѣ и, при всей своей галантности, отвергаютъ всѣ поползновенія другихъ влюбленныхъ въ нихъ дамъ. Въ любви они объясняются изысканно-изящнымъ стилемъ [1074]. Такимъ образомъ, богато надѣленные душевной силой, они, хотя и представляютъ собою игрушку въ рукахъ капризной, завистливой судьбы, но, тѣмъ не менѣе, благополучно добираются по житейскому морю до „тихой пристани“—свадебъ со своими избранницами.

Кромѣ идеальныхъ героевъ, выведены въ романѣ „слабые“ (дядя Клеандра), которые совершенно ничѣмъ невооружены противъ капризовъ судьбы,—они могутъ, подъ вліяніемъ слабости, забыть честь, приличія и всѣ этикеты... Наконецъ, есть герои совсѣмъ отрицательные: они способны на насиліе и клевету (Хорибда, Лизамахъ), но за то и судьба съ ними сурова,—злыя ихъ дѣла успѣхомъ никогда не вѣнчаются...

Особенно удались автору „героини“: онъ довольно тонко индивидуализировалъ ихъ: въ Тигранѣ онъ представилъ страстную, порывистую, гордую женщину, способную отъ любви перейти къ жаждѣ мести. Самолюбіе—главная сила, которая ею двигаетъ, на уступки она не идетъ, хотя въ ней есть запасъ великодушія,—она умѣетъ прощать.

Ніотильда—это смѣлая дѣвушка, жизнерадостная и порывистая; она—мягче Тиграны, хотя сродни съ нею. Антинатида—это просто „слабая женщина, незлая и не дурная, но не имѣющая силъ бороться со своей страстной натурой. Наконецъ, Аханиза—это чистое „дитя природы“, наивная дикарка съ мягкимъ чувствительнымъ сердцемъ, которое чуждо тѣни чего-нибудь злого...

Какъ во всѣхъ романахъ этого типа, и здѣсь психика дѣйствующихъ лицъ раскрывается словами самого автора, или въ разсказѣ дѣйствующихъ лицъ, или въ монологахъ (жалобахъ и воззваніяхъ), или, наконецъ, во внѣшнихъ проявленіяхъ внутренняго волненія.

Психика героевъ, раскрытая самимъ авторомъ:

„Словомъ, новой и сильнѣйшій пламень погасилъ почти мгновенно тихій огонь прежней страсти. Иракль почувствовалъ странную перемѣну въ своемъ сердцѣ и, пожиравъ заразы, рождаемыя въ немъ прелестьми новой своей побѣдительницы, нечувствительно ослаблялъ ту власть, которой онъ до сего повиновался“ [1075].

„Онъ стыдился иногда своей слабости и самъ себя называлъ невѣрнымъ и измѣнникомъ прежней своей склонности къ достойной своей невѣстѣ; но коль скоро доходило до умственнаго сравненія ихъ красотъ, то Діана самовластно торжествовала предъ Тигранoю“ [1076].

„Между тѣмъ, сія нещастная раздираема была внутренними терзаніями: гнѣвъ, страсть, надежда, отчаяніе, любовь и мщеніе сердца ее перемѣнно терзали: то прибѣгала она къ благоразумію, старалася подкрѣпить себя равнодушіемъ и, не видавшись съ Клеандромъ, дать ему свободу, то, чувствуя всю силу пламени своего, желала еще испытать своего щастія“ [1077].

Характеристика героя, сдѣланная самимъ авторомъ:

„Неоспоримо, что сей юноша имѣетъ пороки; онъ невоздерженъ, сладострастенъ и имѣетъ видъ превозношенія; но, напротивъ, имѣетъ свои добродѣтели, которыми онъ нарочито отличается отъ прочихъ его состоянія людей. Онъ великодушенъ, снисходителенъ къ тѣмъ, которыя отъ его повелѣнія зависятъ, щедръ и до безпредѣлія сострадателенъ къ нещастнымъ“ [1078].

Свою душу открываютъ сами дѣйствующія лица:

„Должно признаться, что я самъ былъ въ великомъ безпокойствѣ. Нѣкоторый скрытный ужасъ обнималъ мое сердце, и я въ безпрестанномъ былъ движеніи“ [1079].

„...въ самыя жесточайшія минуты негодованія своего горѣла она отъ страсти, пожирающей ее внутренность; сколько честь не вооружалася противу тебя, любовь всегда верхъ одерживала“ [1080].

Внѣшнія проявленія внутренняго безпокойства (слезы, обмороки, измѣненіе выраженія лица и пр.):

„Лице ее покрылось блѣдностію, и она съ превеликимъ насиліемъ, едва могла отъ слезъ удержаться: тихіе вздохи довольно явственно изъявляли внутреннее ее страданіе“ [1081].

„силы ее ослабѣли; глубокой обморокъ сотрясъ ее чувства, и многаго труда стоило привести ее въ первое состояніе“.

„Сіи слова его, вмѣсто того, чтобъ ободрить Армелину, привели ее въ глубокой обморокъ, и она къ ногамъ его безчувственна упала; то, бросившись къ ней, взялъ ее въ свои объятія и покрывшееся смертною блѣдностію лице ее орошалъ своими слезами“ [1082].

Героиня разговариваетъ „сама съ собою“:

„Что я дѣлаю, нещастная?—(вѣщала она сама себѣ). Гдѣ стыдъ? Гдѣ честь? Гдѣ непорочность? Увы! они далеко отъ меня убѣжали... и т. д.“ [1083].

Монологъ:

„Немилосердая судьба! взывала она, обливаясь слезами—чѣмъ я навлекла на себя толь тягостное для меня твое гоненіе? Въ самомъ цвѣтущемъ времени жизни моей принуждена я переносить твои „поразительные удары... etc“ [1084].

„Безсмертные боги! (вскричалъ Клеандръ, слушая продолженіе разсказа Ниры), вы не оставляете меня гнать по всюду и одинакимъ бичемъ вашей строгости.—Нѣтъ! (продолжалъ онъ). Нѣтъ, добродѣтельная Нира! Сіе сердце, которое въ груди моей стонетъ, неудобно ни къ порочнымъ ощущеніямъ, ни къ измѣнѣ... и пр.“ [1085].

Литературная исторія „Приключеній Клеандра“ довольно сложна. Авторомъ его былъ Захарьинъ *), писатель, въ русской литературѣ вообще совершенно неизвѣстный; содержаніе произведенія было заимствовано имъ изъ романа „о вѣрномъ Колоандрѣ“, который появился въ свѣтъ въ 1640 году и принадлежалъ перу извѣстнаго итальянскаго писателя Marini,—одного изъ главныхъ представителей въ области псевдоклассическаго придворно-героическаго романическаго творчества; его произведеніе носило названіе—„Il Calloandro“, и сразу обратило на себя вниманіе западной Европы [1086]. Произведеніе это нѣсколько разъ передѣлывалось самимъ авторомъ, переведено было на всѣ европейскіе языки, вызвало много подражаній и передѣлокъ. Кальпренедъ дѣлалъ изъ этого романа заимствованія, Скюдери перевела его на французскій языкъ и позднѣе графъ Кайлюсъ передѣлалъ это же произведеніе [1087].

---

*) Только на *третьемъ* изданіи романа появилась его фамилія.

Такимъ образомъ, романъ Marini былъ извѣстенъ у насъ a)— въ рукописной передѣлкѣ [108] (сокращенный пересказъ оригинала съ сильной руссификаціей *),—b) въ печатномъ переводѣ той передѣлки романа, которая была сдѣлана графомъ Кайлюсомъ и въ русскомъ переводѣ вышла въ свѣтъ подъ названіемъ: „Вѣрный Калоандръ",—и, наконецъ,—c) въ русской печатной передѣлкѣ рукописной повѣсти (вышеизложенный романъ Захарьина).

Не считая нужнымъ входить въ подробное изслѣдованіе литературныхъ судебъ „вѣрнаго Калоандра" заграницей и у насъ, я, тѣмъ не менѣе, привожу, для примѣра, начало романа Marini въ нѣмецкомъ переводѣ [108] и во французской передѣлкѣ Кайлюса (въ русскомъ переводѣ [109]). Это сопоставленіе покажетъ намъ, до какой степени „сочиненіе" Кайлюса близко въ нѣкоторыхъ пунктахъ къ подлиннику, по крайней мѣрѣ, въ самомъ началѣ.

Начало романа Marini: „Prinz Kalloandro".

„Gantz Ismara, eine sehr berühmte Stadt in Asien erhallte voll muhtiges Klanges vieler hundert Trompeten; sinte mal daselbst eine unzahlbare Anzahl Ritterschafft aus ganz Asien aus Begierde die grossmütige kennbahne ungescheut alles Müheschweisses zubetreten und das Beylager des Printzens Arfileo mit dem Röniglichen Fräulein aus Sorien durch an tapffer und kostbarkeit merckwürdige Ritterspiele zubefeyern zusammen kommen ware.

„Gleich zu ende des letzten Tags derselbigen erschienen in den Stechschranken drey Ritter in stattlicher Ausrüstung und mit offenen Helmen. Kein Hertzgewinnlich noch Augenvergnüngender Schauspiel hätte vorfallen können! Der eine dessen Feld blaue Rüstung über und über mit güldenen Sternen besäet ware übertraffe an Leibeslänge gar ein wenig die rechte gewöhnliche maasse und durch die Beschattüg des frühzeitigentborgten Bärtleins wuchse beythme ganz holdseelig der Wehrt eines Majestättschen Anflitzes ohne einige Verminderung des Ingendssüssigkeit. Welche an demandren in gleicher Schönheit und safftiger Kraft einen anlachte; Selbiger ware ohne Nachtheil des Leibs ebenmaasse fast gegen allen anderen Rittern ein Riese anzusehen und erleuchtete mit silbernen Monderscheinen die schwarzeiserne Nacht zu seinen Stechzeug allenthalben bedeckte.

Кайлюса—„Вѣрный Калоандръ".

Въ славномъ Исмарѣ, столичномъ городѣ Арменіи, раздавался трубный звукъ, и бывшая площадь наполнена была рыцарями, которые оказывали храбрость свою и искуство въ славномъ каруселѣ Сіе празднество торжествованное въ день бракосочетанія принца Арфилея съ Сирійскою Принцессою, продолжалось уже нѣсколько дней, и число рыцарей, съѣхавшихся изо всѣхъ восточныхъ странъ, было довольно знатно.

---

*) Дѣйствуетъ, напримѣръ, „россійскій князь Василей"; введена просьба, чтобы отецъ и мать вписали героя въ „поминовеніе" и др.

На третій день показались три чужестранные рыцаря въ сіяющихъ броняхъ, великопіе коихъ привлекало на нихъ взоры всего собранія. Одинъ, которой былъ немного выше посредственнаго росту, имѣлъ на себѣ латы, усѣянныя золотыми звѣздочками по темноголубой землѣ. Пріятность и молодость лица его совокуплялись съ важнымъ и благороднымъ видомъ.

Другой, хотя былъ болѣе обыкновеннаго росту, однако такъ пропорціоналенъ, что невозможно было примѣтить ни единаго въ немъ недостатка. На немъ была броня, украшенная по черной землѣ серебреными лунами, которыя представляли пріятности свѣтлой ночи, показывающей все небесное великолѣпіе.

Въ дальнѣйшемъ оба произведенія то сходятся, то расходятся; нѣкоторыя имена сохранились тѣ же; конецъ обоихъ произведеній различенъ...

Интересно, конечно, было бы выяснить отношеніе русской рукописной повѣсти къ оригиналу, но это пока не входитъ въ кругъ ближайшихъ моихъ задачъ, отмѣчу развѣ, что манера греческаго романиста вводитъ читателя in medias res, выдержанная Marini и сохраненная графомъ Кайлюсомъ, замѣнена въ русской повѣсти обычнымъ разсказомъ ab ovo: (приводится генеалогія героя, разсказывается его дѣтство и пр.).

Любопытно также и то, что петровская эпоха, отразившая свое утилитарное міросозерцаніе на многихъ повѣстяхъ (напр., въ повѣстяхъ „объ Александрѣ, кавалерѣ Россійскомъ", о „Василіи матросѣ" [1091] и др.), также и „Каллоандра", странствующаго рыцаря, ищущаго авантюръ, обратила въ юношу, посланнаго „для наукъ" въ чужестранныя государства.

Захарьинъ, передѣлывая рукописную повѣсть, усилилъ ея „рыцарскій" характеръ и придалъ ему въ такой мѣрѣ греческій колоритъ, въ какой онъ не наблюдался ни у Марини, ни у Кайлюса: у него, напримѣръ, юноша-герой ѣдетъ состязаться на *Олимпійскія игры*; кромѣ того, внесенъ историческій элементъ, въ видѣ разсужденій о разныхъ греческихъ государствахъ и пр. Чтобы лучше выяснить, чѣмъ онъ воспользовался изъ рукописной повѣсти, привожу сопоставленіе содержанія двухъ произведеній, отмѣчая курсивомъ совпаденія.

Рукописная повѣсть.	*„Приключенія Клеандра".*
Царь, у него два сына.	*Царь, у него два сына.*
Калеандръ—герой.	Клеандръ.
	Воспитаніе героя.
Отецъ посылаетъ его въ армянское царство „для наукъ".	Отецъ посылаетъ его на Олимпійскія игры.
Съ ними ѣдетъ дядька Петронилъ.	Съ нимъ ѣдетъ дядя Арфомиръ и дядька Рамирръ.

Рыцарскіе девизы.

Турниръ („шурмованіе") въ армянскомъ царствѣ.

Турниръ „изъ за царевны"; она назначена невѣстой побѣдителю.

Царская дочь влюблена въ брата Калеандра.

Второй турниръ.

Раскрытіе имень трехъ пріѣзжихъ рыцарей.

Разсказъ о причинѣ вражды грековъ съ трепизонтцами.

Рыцарскіе девизы.

Олимпійскія игры (въ сущности, тотъ же турниръ).

Игры ради рыцарской славы.

Раскрытіе вымышленныхъ имень трехъ пріѣзжихъ рыцарей.

Разсказъ о причинѣ вражды грековъ съ трепизонтцами.

Прерывая ненадолго сравненіе текстовъ, я считаю полезнымъ сопоставить этотъ разсказъ о причинѣ вражды грековъ съ византійцами.

Около города Трепизонта поселился змѣй, много вредившій жителямъ. Царская дочь Тигрина назначена наградой тому, кто убьетъ змѣя.

Татарскій король убилъ змѣя, но Тигрина не хочетъ идти за него. Ее похищаютъ разбойники. Герой (Тигноръ) ее спасаетъ. Между ними завязывается любовь.

Татарскому королю отказываютъ въ сватовствѣ.

Поединокъ съ Тигноромъ.

Татарскій король убитъ.

Тигноръ уѣхалъ на родину, подъ предлогомъ повидаться съ родными передъ свадьбой, а самъ женился на другой. Тигрина оскорблена, вышла замужъ за Велгера и начала съ царствомъ Тигнора долгую войну. У Тигрины дочь Неонилда, на которую чудесныя предсказанія указали, какъ на лицо, играющее большую роль въ отношеніяхъ грековъ и трепизонтцевъ.

Около города Трепизонта поселился змѣй, много вредившій жителямъ. Царская дочь Тиграна назначена наградой тому, кто убьетъ змѣя.

Ираклъ, Спартанскій царевичъ, ѣдетъ первымъ. Трогательное прощаніе съ Тиграной. Змѣй убитъ, но Ир., безпомощный, безъ коня и ѣды, остается въ пустынномъ мѣстѣ, страдая отъ холода и голода. Его спасаетъ старецъ Иліодоръ; Ираклъ влюбляется въ его дочь Діану.

Отсутствіе героя изъ города его врагами объясняется, какъ позорное бѣгство; убіенія змѣя приписывается „грому". Хорибда силой хотѣлъ украсть Тиграну, но появившійся во время Ир. отбилъ ее. Неравнодушный къ Тигранѣ, Ираклъ, однако, выбираетъ себѣ Діану, увозитъ ее и женится, оставивъ Тиграну въ ярости. Она мститъ всю жизнь Спартѣ. Отсюда долгія войны.

Возвращаюсь къ дальнѣйшему сопоставленію основныхъ текстовъ.

Узнавъ, что имя его открыто, Калеандръ мѣняетъ свой девизъ и ѣдетъ дальше. По дорогѣ спасаетъ Дурилду отъ холоповъ, которые хо-

Клеандръ мѣняетъ свой девизъ и ѣдетъ дальше. По дорогѣ спасаетъ спящаго юношу, котораго, чуть-чуть, было не укусила змѣя. Юноша, прос-

тѣли его убить. Кл. пріѣзжаетъ къ дѣвицѣ „герцогинѣ". Отвергнувъ ея любовь, онъ попадаетъ въ тюрьму, (мотивъ библейскаго Іосифа). Дурилда ѣдетъ разыскивать Кл. и встрѣчаетъ „рыцаря смиренія", очень похожаго на Клеандра. Этотъ рыцарь—переодѣтая царевна Неонилда, которая освобождаетъ Клеандра, влюбляется въ него и остается за него въ темницѣ. Они мѣняются кольцами и рѣшаются жениться. Когда Кл. выбрался изъ тюрьмы, Н. открыла „герцогинѣ" свой полъ и званіе. Кл. ѣдетъ въ одѣяніи Неонилды ко двору Тигрины. Здѣсь всѣ, даже сама мать, обманутые сходствомъ, принимаетъ Клеандра за Неонилду.

На турнирѣ Кл. выступаетъ въ качествѣ Неонилды. „Считая его за таковую, въ него влюбляется Сасаръ Турецкій, увозитъ его къ себѣ и сдаетъ подъ надзоръ сестры своей. Кл. вступаетъ съ нею въ связь.

Между тѣмъ, пріѣзжаетъ сюда „герцогиня"; она хочетъ сойтись съ Сасаромъ и для этого уговариваетъ мнимую Неонилду притворно согласиться на требованіе Сасара, но, на самомъ дѣлѣ, пустить на ложе свое ее, „герцогиню", чтобы она проспала ночь съ Сасаромъ.

Такъ и случилось. Сасаръ остался въ восторгѣ отъ мнимой Неонилды и утромъ подарилъ ей латы. Настоящая Неонилда съ двумя царевичами и войскомъ освобождаетъ жениха.

нувшись, принимаетъ Клеандра за Ніотильду вслѣдствіе ихъ сходства. Сестра юноши влюбляется въ Клеандра, приходитъ ночью къ нему, но онъ отвергаетъ ея любовь, попадаетъ въ тюрьму (мотивъ Іосифа библейскаго). Ея прежній любовникъ Клоръ ревнуетъ и освобождаетъ изъ тюрьмы Клендра.

Кл. опять мѣняетъ девизъ и представляется Тигранѣ. Участвуетъ на турнирѣ. Влюбляется въ Ніотилду, а она въ него. Помогаетъ византійцамъ въ войнѣ со Скифами. На охотѣ нечаянно пораженъ Ніотилдой и открывается ей въ любви.

Одинъ изъ византійскихъ полководцевъ, желая отомстить Клеандру, захватываетъ его и оставляетъ на пустынномъ островѣ (Робинзонада).

Клоръ разыскиваетъ Клеандра. Оказывается, Клоръ—царскій сынъ (исторія его рожденія). Клоръ на своемъ кораблѣ увозитъ Клеандра съ острова.

Между тѣмъ, въ его отсутствіе разгорѣлась война между Ѳракіей и Спартой; Тиграна отсутствіе Клеандра объяснила, какъ новое оскорбленіе, нанесенное ея фамиліи Спартанцами (слухи объ измѣнѣ Клеандра Неотильдѣ).

Слѣдуетъ разъясненіе. Кончается романъ свадьбами.

Клеандръ освободился изъ плѣна, ранилъ Сасара и уѣхалъ съ Неонилдой въ Трепизонтъ. Тигрина совершенно перепутала дочь съ Клеандромъ, и, думая благодарить его за освобожденіе дочери, на самомъ дѣлѣ, благодарила дочь за освобожденіе Клеандра.

Между тѣмъ, сестра Сасара забеременѣла отъ Клеандра и сказала объ этомъ брату. Тотъ—въ изумленіи, такъ какъ не знаетъ, съ кѣмъ же онъ спалъ ночью.

Когда „герцогиня" открыла ему свою хитрость, онъ съ позоромъ выгналъ ее. Она одѣлась рыцаремъ и поѣхала искать Клеандра. Сасаръ жалуется на Клеандра Тигринѣ и требуетъ, чтобы онъ женился на его сестрѣ.

Неонилда гнѣвается на Калеандра за измѣну и шлетъ письмо съ упрекомъ. Огорченный Калеандръ ѣдетъ лѣсами и топями. Дурилда сообщаетъ Неонилдѣ о „желаніи своего господина умереть". Неонилда жалѣетъ о своемъ письмѣ и ѣдетъ на поиски героя.

(Далѣе интрига романа все болѣе и болѣе запутывается. Цѣлый рядъ недоразумѣній основывается на сходствѣ Калеандра и Неонилды, на постоянныхъ переодѣваніяхъ ихъ въ чужое платье и вооруженіе, на мѣнахъ девиза. Калеандръ совершаетъ рядъ подвиговъ, попадаетъ въ опасныя положенія, изъ которыхъ выводитъ его, обыкновенно, Неонилда).

Изъ эпизодовъ слѣдуетъ отмѣтить разсказъ о бурѣ и кораблекрушеніи; въ рукописномъ романѣ герой выброшенъ на пустынный берегъ; тамъ его спасаетъ кавалеръ, съ девизомъ „ключъ любви", и Калеандръ садится на случайно-плывшій мимо острова корабль, чтобы вернуться къ отцу. Все это, до нѣкоторой степени, находитъ себѣ повтореніе въ печатномъ романѣ (ср. эпизодъ съ островомъ и отъѣздъ на кораблѣ).

Чтобы показать, какъ велико, въ литературномъ отношеніи, разстояніе между обоими произведеніями, дѣлаю слѣдующее сопоставленіе:

Рукописная повѣсть (о Калеандрѣ).

Бысть въ Греціи цесарь, іменемъ Тигноръ, имѣя у себя двухъ дѣтей: Колеандра девяти, Дубелду девятижъ лѣтъ, которые красотою весма были равны, такожъ і кавалерству пресилно достойны, а наипаче Колеандръ. Тигноръ же весма тому радовался; і въ одно время оный Тигноръ призвалъ къ себѣ любезнаго слугу своего, именемъ Петронила, а ихъ дитку, і говорилъ тако:

„О, любезный мой слуга, Петро-

Приключенія Клеандра.

Въ началѣ говорится о процвѣтаніи Греціи, объ устройствѣ правленія въ греческихъ городахъ, объ Олимпійскихъ играхъ и борьбѣ Спарты съ Аѳинами.

Въ сіе то время, когда Ликурговы узаконенія имѣли полную силу, браннымъ симъ народомъ управлялъ, съ Царскою властію, Альміи, мужъ добродѣтельный, проницательный, мужественный и ревнительный исполнитель отечественныхъ законовъ.

Онъ имѣлъ отъ супруги своей двухъ сыновъ,—Клеандра и Алванизія, достойныхъ наслѣдниковъ своей власти и своихъ высокихъ добродѣтелей. Они воспитаны были по точнымъ правиламъ общихъ постановленій. Алміи, паче всего, старался вдохнуть въ юныя ихъ сердца любовь къ добродѣтели и мужественную неустрашимость.

Воздержность, суровая пища, строгое наблюденіе воинскихъ пра-

нилъ! отправляю я дѣтей своихъ съ тобой въ армейское королевство, пожалуй, не оставь, за что я до васъ всегда буду милостивъ!" І учинилъ Тигноръ дѣтямъ своимъ на латахъ знаки. Калеандру отъ востока солнца, а Дубелдѣ—отъ мѣсяца лучей, Петронилу отъ сіянія звѣздъ; і отправилъ съ ними щитоносца Бургомія, а о имени, кромѣ знака латъ, запретилъ, чтобъ никому не сказывать.

вилъ и всегдашнее упражненіе въ борьбѣ, бѣганіи, метаніи копьемъ, конскихъ ристаніяхъ и прочихъ бранныхъ тѣлодвиженіяхъ, содѣлали тѣла ихъ твердыми, способными переносить суровость воздуха, тяжесть и труды военные, а повседневное обращеніе съ мужами опытнаго благоразумія, мужества и добродѣтели, изострили ихъ разумъ, и сердца ихъ привязали тѣснѣйшими узами къ добродѣтели. Уже достигли они тѣхъ лѣтъ, въ которые оказуются врожденныя дары и наклонности. Молодые князья въ бранныхъ играхъ оказали себя выше своего возраста; они по часту во всенародныхъ играхъ заставляли стыдиться мужей совершеннолѣтнихъ и оказавшихъ опыты своего мужества и искуства въ дѣятельныхъ подвигахъ противъ непріятелей отечества, и также приводили въ удивленіе старцевъ народныхъ славившихся мудростію, рѣшеніемъ темныхъ запросовъ. Алмій, восхищаяся преимуществами дѣтей своихъ и ревнуя о ихъ славѣ, совѣтовалъ имъ оказать себя на Олимпійскихъ играхъ, какъ на такомъ позорищѣ, на которое, такъ скалать, вся Греція стекается, и побѣдители получаютъ безпристрастныя похвалы отъ избранныхъ судей, увѣнчаваются и отлично уважаются во всю жизнь ихъ въ своемъ отечествѣ.

Юные герои, безмѣрно сему обрадовавшись, не токмо съ крайнимъ благодареніемъ тому повиновались и предъ очами почти всей Греціи пріобрѣли передъ всѣми состязателями преимущество и отличительныя почести 1092.

По прибытіи въ сей городъ, отведена имъ особая гостинница, въ которой во все время ихъ пребыванія были на царскомъ иждивеніи. Князья Спартанскія, по обычаю тѣхъ временъ, желая сокрыть настоящее свое происхожденіе, повелѣли на своихъ щитахъ изобразить различные знаки, какъ то: Клеандръ—восходящее солнце, Алвинизій—въ полномъ сіяніи луну, а Орфимиръ седмъ блестящихъ звѣздъ, и отъ сихъ знаковъ получили названія 1093.

Разсказъ о причинѣ вражды.

Изволишъ слушать, господинъ король: царствовалъ прежде Греціею цесарь Левгоноръ. Имѣлъ онъ у себя двухъ сыновъ: Тигнора и Авиліа, которые были честные ковалеры; онъ же ихъ учредилъ кавалерами, отпустилъ ихъ въ другія державы для наукъ. А (я) служилъ при вашей державѣ; тогда цесарствовалъ дѣдъ вашъ Атигноръ і нынѣшней цесарь греческой служилъ въ Трепизонѣ

Хотя Фракія и единоплеменна всѣмъ Греческимъ народамъ, но по занятому отъ сосѣдственныхъ племенъ навыкновенію, въ нравахъ своихъ нарочито перемѣнилась. Жители ея сдѣлались робки, малодушны и грубы, а для того самаго и были отъ соплеменныхъ себѣ прочихъ Грековъ въ презрѣніи; со всѣмъ тѣмъ они имѣли съ ними дружественныя сношенія и союзы, посредствомъ взаимныхъ супружествъ и торговли.

при трепизонской царевнѣ Тигринѣ, которая красотою была весма изрядна. А когда оный Тигноръ ѣхалъ въ Трепизонъ і въ то время при Трепизонѣ страшный татарскій король былъ, которымъ нынѣ королевствомъ владѣетъ тогда внучекъ его. Тогда жъ въ Трепизонѣ выходилъ изъ моря ядовитый (змѣй) і множество поѣдалъ скота і людей. Цесарь же трепизонскій публиковалъ указами: ежели кто убьетъ онаго (змѣя), за того хотѣлъ отдать прекрасную Тигрину.

Татарскій же король, излуча время, реченнаго (змѣя) убилъ і объявилъ трепизонскому цесарю; цесарь же, хотя і не хотѣлось зятемъ ево нарещи, но повиненъ, понеже сильнѣя ево въ Трепизонѣ не было, а трепизонской цесаревнѣ Тигринѣ весма онъ былъ нелюбъ. І великія начали и плача наполнися і отъ такой печали поиде гулять съ одною мамкою подлѣ края моря; і отъиде далеко, гдѣ жилища никакого не было; внезапу наѣзжали на нея варвары, іли разбойники, взяша ея съ мамкою; щастіе же ея постигло, что реченный кавалеръ Тигноръ наѣхалъ на разбойниковъ—видитъ, что везутъ дѣвицу, очень ізрядну; і разгорѣся у него сердце любовію къ ней, учинилъ съ разбойниками драку; съ великимъ прилежаніемъ многихъ ізъ нихъ побилъ, а иные на побѣгъ ушли. Тигноръ же взя Тигрину і мамку ея і вопроси ея: „чья еси ты дѣвица? і какъ попала на разбойниковъ?" Она же паде предъ нимъ на колѣни, объявила ему о родѣ своемъ і какъ взята разбойниками, і говорила: „нынѣ щастіе мое постигло, что васъ, аки Богъ послалъ съ небеси на оборону мнѣ!.. І ежели ты імѣешъ, хотя малую ізкру къ любви моей, покажи милость, привези меня въ Трепизонъ ко отцу моему, которой намъ можетъ заплатить за каналію нелюбимаго моего жениха. Чрезъ кавалерство свое побѣдишъ, то я, бѣдная дѣвица, со всякою охотою моею за васъ ітти

Между тѣмъ въ настоящемъ столѣтіи царство сіе, покореніемъ себѣ нѣсколькихъ безначальныхъ, обитающихъ на правомъ берегу Дуная городовъ и добрымъ возстановленіемъ внутренняго порядка, нарочито усилилось и отъ сосѣдственныхъ державъ пріобрѣло уваженіе; но съ небольшимъ за двадцать лѣтъ предъ симъ постигло оное страшное нещастіе. Въ самомъ морскомъ заливѣ, омывающемъ брега Византіи, оказалось чудовище, которое будучи земноводное, исходило изъ нѣдръ бездны и при самыхъ стѣнахъ сей столицы поражало скотъ и людей, оныхъ пожирало. Филоменъ, достойный обладатель сего царства, по мужеству своему и разуму и по любви къ своему народу, не оставилъ ничего того, чрезъ что бъ могъ отвратить сіе зло и чудовище истребить.

(Все было тщетно. Жрецы сказали, что змѣй посланъ Нептуномъ. Молитвы всѣ тщетны. Оракулъ дельфійскій далъ туманное предсказаніе)...

Наконецъ Филоменъ рѣшился чрезъ провозглашателей въ Византіи возвѣстить и о томъ же дать знать, не только во всемъ своемъ государствѣ, но даже и окрестнымъ народамъ: что тотъ, которой будетъ столько мужественъ и щастливъ, что поразитъ чудовище и чрезъ то избавитъ его столицу отъ толь опаснаго непріятеля, а народъ отъ неутѣшныя горести, въ награду за толь доблественный подвигъ, не взирая на то, какогобъ онъ рода и достоинства ни былъ, получитъ за себя въ супружество единоутробную сестру его царевну Тиграну [1094].

замужъ желаю!" Тигноръ же радовася сему, сошедъ съ кони, поднявъ Тигрину зъ земли, цѣловалъ любезно і обѣщался ея взятъ за себя въ жены а нелюбимаго жениха он, татарского короля, хотѣлъ побѣдитъ" и т. д.

Приведенныя сопоставленія доказываютъ, что Захарьинъ, ближе къ русской рукописной повѣсти, чѣмъ къ роману Marini и передѣлкѣ Кайлуса.

Во всякомъ случаѣ, эта литературная обработка Захарьинымъ сюжета, взятаго изъ рукописной повѣсти, представляетъ, сама по себѣ, большой интересъ; русскій авторъ XVIII-го в. хорошо усвоилъ себѣ манеру письма старыхъ псевдоклассическихъ романовъ: онъ ввелъ историческій элементъ, описанія, прибѣгнулъ къ помощи „судьба", внесъ въ стиль преціозность, усилилъ галантность, которая сильно поблекла въ грубоватомъ и сжатомъ пересказѣ рукописной повѣсти; сгладилъ нѣкоторыя „неприличности" рукописи, а также черты, омрачавшія идеальный образъ героя (измѣна его героинѣ).

Изъ всѣхъ сдѣланныхъ выше сравненій видно, какъ Захарьинъ использовалъ рукописную повѣсть,—онъ отбросилъ сложность и запутанность интриги, украсилъ свое произведеніе прекрасными описаніями, углубилъ интригу психологическимъ анализомъ, облагородилъ изяществомъ литературнаго стиля.

„Повѣсть о непреоборимой любви Адаманта къ Дафнисѣ" [1095] тоже принадлежитъ къ разряду героическихъ любовныхъ повѣстей.

Содержаніе этого произведенія слѣдующее:

Герой родомъ изъ Багдада: *) „Отечество мое,—разсказываетъ онъ.—Багдадъ; не въ силахъ бывъ оной хорошо разсмотрѣть, какъ очутился въ мрачныхъ мѣстахъ": несчастье обрушилось на голову его родителей,—они были изгнаны изъ города. Юноша грустить въ уединеніи; его мудрый отецъ его утѣшаетъ, указывая, что счастье, котораго они лишились—счастье суетное, и жалѣть его не стоитъ. Не успѣлъ отецъ кончить своей утѣшительной рѣчи, какъ явились воины,—и герой съ его родителями оказались закованными и въ тюрьмѣ. Герой „вопитъ" въ отчаяньи. Отецъ утѣшаетъ его и успокаиваетъ. Неожиданно ночью ихъ освобождаютъ изъ темницы два прекрасныхъ юноша,—сыновья злого „градодержателя" багдадскаго. Герой съ родителями добрался скоро до города А., гдѣ и поступилъ на военную службу и

*) Только это названіе города и говоритъ о дѣйствіи романа на востокѣ; даже на именахъ героевъ нѣтъ слѣдовъ оріентализма.

скоро прославился своими талантами. „Всеконечно, въ такомъ случаѣ, должно бы было всякому опасаться силы завистниковъ, но я, благодарю моего Бога, избѣжалъ чрезъ тихость нравовъ и не лицемѣрное мое со всякимъ обращеніе",—говоритъ онъ. Онъ влюбился, съ перваго взгляда, въ дочь своего друга. Другъ замѣтилъ, какое впечатлѣніе его дочь произвела на Адаманта. Объясненія съ Дафнисой никакого не было: они поняли другъ друга сразу... Объ этомъ Адамантъ разсказываетъ такъ: „языкъ мой онѣмѣлъ, колѣни на всякомъ шагу подгибались,—словомъ, я совсѣмъ сдѣлался разстроенъ. Она, взглянувъ на меня—съ наполненными слезъ глазами, сказала: „не время еще, милостивый государь, не время обнаруживать ваши чувствованія"[1096]. Другъ Адаманта, узнавъ объ его любви, переговорилъ съ женой и рѣшилъ ихъ поженить. Въ ожиданіи скораго бракосочетанія, Ад. и Дафн. счастливы. Другъ героя перебрался въ городъ съ семьей. Скрѣпя сердце, мучимый злымъ предчувствіемъ, и Адамантъ „укрался"—и отправился въ городъ на жительство. Въ городѣ встрѣчи съ Дафнисой были рѣже. Предчувствія все сильнѣе мучили Адаманта: „безпокойство и непонятная скука съ тѣхъ поръ начали обладать мною. Я сталъ задумчивъ, блѣденъ въ лицѣ, искалъ уединенія и ненавидѣлъ всѣ общества"[1097]. Отецъ утѣшаетъ его и рекомендуетъ завести себѣ друга, который-бы своими совѣтами помогъ ему въ жизни: онъ говорилъ ему: „ты самъ видѣлъ опыты, что судно, отдавшее себя волнамъ, великія претерпѣваетъ несчастія, естьли лишается кормчаго; равномѣрно, какъ и человѣкъ, пустившійся странствовать, какихъ не находитъ ужасовъ, когда потеряетъ дорогу"[1098]. Адамантъ—очень почтительный сынъ: онъ внимательно выслушиваетъ всѣ наставленія отца. „Я докажу, говоритъ онъ отцу, что всѣ (наши) выраженія имѣютъ во мнѣ силу законовъ. Нѣтъ не думайте, великодушный родитель, чтобъ что нибудь могло усыпить дѣйствія ихъ во мнѣ. Вы имѣете сына, которымъ можете править, какъ находящимся жезломъ въ рукахъ вашихъ"[1099]. Между тѣмъ, одинъ старый вельможа увидалъ Дафнису и сразу въ нее влюбился: „увидѣлъ онъ ее, въ одномъ саду прохаживающуюся; сердце его, въ роскоши и нѣгѣ утопающее, вострепетало, какъ скоро осіялъ сладострастныя его очи великолѣпный образъ прекрасныя Дафнисы"[1100]. Родители Дафнисы съ радостью соглашаются дочь свою отдать въ жены этому вельможѣ. Авторъ по этому поводу патетически восклицаетъ о всемогущей власти золота.

Между тѣмъ, любовь Адаманта и Дафнисы возростала; они были счастливы. Авторъ по этому поводу разсуждаетъ о силѣ любви и ея законности: „Природа сама сіи вліянія производитъ: она сама ихъ роститъ, питаетъ и хранитъ священными. Прибавте, что они отдалены отъ всякаго заблужденія, есть ли текутъ безпрепятственно. Къ чему жъ мучить сердца, терзать природу и заставлять стенать человѣчество?[1101]". Узнавъ отъ Дафнисы, что она любитъ другого, вельможа выслѣдилъ Адаманта; его схватили, когда онъ шелъ къ Дафнисѣ. „Самымъ ухищреннымъ образомъ подхвативъ,—повѣствуетъ онъ,—посадили меня въ коляску, завязавъ крѣпко назадъ руки, и, закрывая оную, говорили: „пой здѣсь, прекрасная кинарѣйка! (sic)"[1102]. Потомъ, приведя его въ тюрьму, стали бить палками, но онъ, выхвативъ ружье у сол-

дата, „доказывалъ свое искусство вмѣстѣ съ усердіемъ. Страхъ, нанесенной имъ отъ моей храбрости,—говоритъ онъ,—овладѣлъ ихъ сердцами такъ сильно, что въ короткое время я остался побѣдителемъ“[1103], Адамантъ, переколовъ всѣхъ, сталъ бродить по комнатѣ и вдругъ „стремглавъ повалился въ разверстіе пола... Но сколь великое мое было тогда удивленіе, когда, вмѣсто пропасти земной, я нашедъ себя въ превосходно искуственной анжареи (sic)“[1104].

Насладившись созерцаніемъ чудесъ оранжереи, Адамантъ улегся спать. „Встрипувши отъ сна, вижу себя, всего цвѣтами обкладеннаго, а на головѣ изъ прекрасныхъ розъ вѣнокъ и цидулку“[1105]. Въ этой „цидулкѣ“ упоминалась какая-то Налида. Скоро явилась сама Налида,—это была старая мать вельможи—врага Адаманта. Она сказала ему: „Ахъ, посмотрите, любезный Адамантъ, какъ сильно трепещетъ сердце въ грудѣ моей!“ и, схвативъ мою руку, приложила къ оной, говори, „вы только въ силахъ утушить волнующуюся во мнѣ кровь!“. „Сударыня, говорилъ я ей: не стыдно ли вамъ въ такихъ лѣтахъ быть ребенкомъ!“[1106]. Наконецъ, послѣ долгихъ разговоровъ, онъ рѣшительно отвергаетъ любовь старушки. „Я, пришедши во гнѣвъ, произнесъ: подлая душа, лишенная совѣсти, остань меня, или“...[1107], Налида съ яростью ушла, хлопнувъ „съ ужаснымъ трескомъ дверь“. Явились люди, ею посланные, и высѣкли Адаманта жестоко. На слѣдующій день Налида опять говорила ему о своей любви. Убѣдившись, что всѣ ея старанія и теперь тщетны, она сказала: „Прости, любезнѣйшій, прости! и будь увѣренъ, что не сыскиваю болѣе средствъ избѣгнуть палящую всю внутренность мою любовь, какъ лишеніемъ жизни и предъ вашими глазами, покрывъ себя (?) и нещастной трупъ, скрыться отъ вѣчнаго пострамленія“. При произнесеніи сего, хладный потъ оросилъ ея, измѣняющееся по перемѣнно, лицо[1108], и тогда же, бывшимъ въ рукахъ ее, ножемъ пронзилась, испустивъ тяжкія вздохи“[1109]. Слуги пришли и свели Адаманта въ тюрьму.

Между тѣмъ, Дафниса рѣшительно отвергаетъ исканія вельможи, называетъ его „тиранномъ“. Къ Адаманту явились посланные отъ вельможи. „Ожидая рѣшенія моей судьбы, чувствовалъ я въ себѣ нѣкоторую прохладу, представляя, что, можетъ быть, свободу они мнѣ даруютъ“![1110] Но они стали настаивать, чтобы онъ отказался отъ Дафнисы,—„и страшный видъ сихъ неукратимыхъ невольниковъ, рыкающій ихъ гласъ, ужасъ мучительныхъ орудій и страшное воображеніе ранъ, кои должны были безобразить нѣжно-воспитанные члены,—все сіе привело меня въ изумленіе; ноги мои задрожали“[1111]. Но онъ остался вѣренъ своимъ клятвамъ. Ярость вельможи. Наконецъ, родители и родственники выручаютъ Адаманта: рабъ, который его мучилъ, былъ убитъ; это случилось такъ внезапно, что „сіе странное зрѣлище привело меня въ безпамятство, я упалъ на мертвое тѣло“[1112],—разсказываетъ онъ. Послѣ всѣхъ этихъ треволненій Адамантъ нѣкоторое время отдыхаетъ въ тихомъ семейномъ кругу. Онъ пишетъ Дафнисѣ трогательное письмо. Они встрѣчаются; радость свиданія. Она его утѣшаетъ и убѣждаетъ быть ей вѣрнымъ; „Слова сіи приводили меня въ удивленіе, когда я видѣлъ, что въ женскомъ сердцѣ толь геройскія находятся чувствованія“[1113]. Онъ тоже успокаиваетъ

ее такими разсужденіями: „слѣпая судьба часто осыпаетъ людѣй своими сіяющими дарами, только для того, чтобъ послѣ, обнаживъ ихъ всѣхъ сихъ сокровищъ, къ наивящимъ приводить напастямъ. Такое есть состояніе міра, что только нуженъ одинъ мигъ, дабы низвергнуться въ бездну погибели съ высочайшей степени благополучія. Рѣдко случается, что плавающіе по морю всегда имѣли счастливую погоду,—есть ли два дня дули благополучные вѣтры, то непремѣнно надобно ожидать сильныхъ борѣевъ! Какая тогда опасность, есть ли корабль не будетъ имѣть въ готовности орудій, способныхъ къ своему укрѣпленію! мы на себѣ сіе испытали“ [1114]. Чтобы устранить Адаманта, вельможа (его имя Селевкъ) поручаетъ ему ѣхать на службу куда-то далеко отъ города. Родственники отговариваютъ Адаманта, но онъ считаетъ, что долгъ порядочнаго человѣка служить отечеству и уѣзжаетъ, трогательно простившись съ Дафнисой и выслушавъ наставленія отца относительно добродѣтели: „Добродѣтель, одна любезная небесамъ, добродѣтель, есть ли ты будешь всегда ей слѣдовать, сильна учинить твое благосостояніе и подать твердую защиту отъ напастей“. По дорогѣ Адамантъ съ той „ротой“, которая была ему поручена, нападаютъ на разбойниковъ, разграбившихъ путешественниковъ. Среди убитыхъ путешественниковъ былъ найденъ вельможа Селевкъ, который, какъ оказалось, хотѣлъ устроить засаду Адаманту и убить его. Адаманту удалось спасти дочь Селевка. Онъ съ нею почтителенъ, даже трогательно-заботливъ: „Она, можетъ быть, такъ разсуждалъ я, ни мало не виновна въ тиранствахъ, отцемъ ея мнѣ оказанныхъ! Возможно-ли имѣть столь варварское сердце, чтобъ мстить ей за обиду! Нѣтъ, говорилъ я, надобно быть жесточае адскихъ орудій“ [1115]. Слѣдуетъ вводный эпизодъ — разсказъ Зевкса, капитана надъ той „ротой“, которая поручена была Адаманту. Онъ былъ бѣденъ, поступилъ въ юности на военную службу, гдѣ и выдѣлился своей удачливостью. Начальникъ его заподозрилъ, что Зевксъ находится въ любовныхъ связяхъ съ его дочерью. Она, желая скрыть имя настоящаго любовника, подтверждаетъ это неосновательное подозрѣніе отца. Узнавъ, что начальникъ распорядился его женить на своей дочери, З. отказался и былъ переведенъ въ другой городъ. Онъ служилъ ревностно, потомъ вышелъ въ отставку и отправился странствовать. Во время пути подружился онъ съ однимъ офицеромъ. „Мы вмѣстѣ поѣхали, сходство нравовъ и сангвическое (sic) въ обоихъ сложеніе тѣла здѣлали насъ въ короткое время другъ другу пріятными“ [1116]. По дорогѣ офицеръ влюбился въ дочь одного дворянина и убѣдилъ Зевкса выкрасть дѣвицу. Онъ это исполнилъ. Дѣвушка была въ отчаяніи. Зевксъ раскаявался; самъ другъ его „не могъ отъ слезъ удержаться и долгое время былъ изумленъ“ [1117]. Скоро дѣвушка была отъ нихъ отбита; офицеръ былъ умерщвленъ, а Зевксъ оказался въ темницѣ. Зевксъ изъ темницы ушелъ, убивъ караульнаго. Вернувшись на родину, онъ узналъ, что родители его умерли, а имущество расхищено: „Злодѣи всегда наказаны бываютъ... Здѣсь то я почувствовалъ, что небо весьма огорчено моими беззаконіями“ [1118]—говоритъ онъ. Потомъ онъ опять поступилъ въ военную службу.

Послѣ этого разсказа оба философствовали о человѣческой жизни, о

томъ, какъ много безумія, отчаянія и порока на землѣ. Съ пути Адамантъ писалъ Дафнисѣ письмо. По пріѣздѣ онъ поступилъ на службу къ какому-то барону Деку; съ нимъ они сошлись и „долго философствовали о добродѣтели, о страстяхъ человѣка". Декъ поручилъ Адаманту уничтожить морскихъ разбойниковъ. Отправляясь въ походъ, Адамантъ послалъ Дафнисѣ письмо. Походъ окончился благополучно. Лена, дочь Дека, влюбилась въ Адаманта. Но онъ былъ вѣренъ своей Дафнисѣ. „Въ одинъ изъ тѣхъ прекрасныхъ дней, когда кровь воспаленна была излишними напитками во всѣхъ находившихся тамо (?), удалился я въ одинъ садъ для успокоенія жизненныхъ духовъ и чтобъ избѣжать скучнаго шуму" [1119]. Онъ нечаянно въ бесѣдкѣ нашелъ Лену; „она читала исторію двухъ любовниковъ, которые, долгое время таивши свой пламень, наконецъ открылись другъ другу". Воодушевленная чтеніемъ, она рѣшилась открыться Адаманту. Когда онъ гулялъ по парку— она легла „на мягкомъ дернѣ, гдѣ чермныя (sic) власы, разпущенныя въ пріятномъ безпорядкѣ по цвѣтамъ развѣвались" [1120].

Она стала звать Адаманта къ ласкамъ, но онъ устоялъ: „коликими сѣтьми окружала меня тогда роскошь!"—восклицаетъ онъ. Полдневный зной вселялъ въ душу пріятное изнеможеніе; птицы подъ густую тѣнь уклонившіяся, предаваяся восхищеніямъ любви, прерывали свои пѣсни. древа, казалось, веселіе ихъ ощущали, и листвія свои тише помавали; Зефиры остановили свое непостоянство, и цвѣты отъ ласки ихъ уже не отрекались и пр." [1121]. Тѣмъ не менѣе, онъ устоялъ отъ соблазна, и, когда Лена пишетъ ему письмо, онъ ей отвѣчаетъ отказомъ: его вѣрность осталось непоколебимой. Тогда Лена подсылаетъ Адаманту подложное письмо отъ Дафнисы, въ которомъ та, якобы, извѣщала его, что вышла замужъ за другого. Но Адамантъ все оставался стойкимъ,—„что нужды, говорилъ онъ „въ себѣ", что она измѣнила мнѣ? Я не обязанъ ей послѣдовать,—я покажу свѣту, что сердце мое твердо и постоянно" [1122] и пр. Кончается повѣсть сообщеніемъ, что Адамантъ женился на Дафнисѣ.

Передъ нами—самый обыкновенный любовный героическій романъ, съ шаблонными идеальными героями въ центрѣ. Вѣрность любви, выдерживающей всѣ испытанія—главное содержаніе романа. Кромѣ того, какъ и подобаетъ настоящему идеальному герою, Адамантъ отличается благородствомъ, почтительностью къ дамамъ (къ дочери Селевка, къ Ленѣ) и къ родителямъ; онъ чувствителенъ и сострадателенъ; храбрый въ бою съ врагами, онъ въ мирное время, падаетъ въ обмороки и проливаетъ слезы отъ всякаго даже маленькаго потрясенія [1123].

„Судьба" („рокъ") и „небо" одинаково распоряжаются его жизнью—бороться съ ними онъ не въ силахъ.

„Судьба часто испытываетъ свою силу надъ распаленными сердцами" [1124].

„Слѣпая судьба часто осыпаетъ людей своими сіяющими дарами только для того, чтобъ послѣ, обнаживъ ихъ всѣхъ сихъ сокровищъ, къ наивящшимъ приводить напастямъ" [1125].

„Судьба готовилась показать мнѣ, что не должно полагаться на щастіе“ [1126].

„Психика“ дѣйствующихъ лицъ открывается въ рѣчахъ самого героя,—„монологахъ“ и „вопляхъ-воззваніяхъ“ [1127]. Всѣ они отличаются „пафосомъ“ [1128]. Напр.—

„О, разгнѣванная судьба! вскричалъ я, доколѣ ты будешь не умолима, до колѣ не престанешь свирѣпствовать“ [1129] и пр.

„Родители мои, колико счастливъ сынъ вашъ, вопіялъ я, сынъ съ вами не разлученной; варварскія души! не думаите ль о нашей робости“ [1130] и пр.

„Тамъ я, пробывши нѣсколько минутъ въ глубочайшемъ уныніи, вскричалъ: „нещастной Адамантъ, гдѣ плоды наставленій, вліянныхъ въ сердце нѣкогда твоими родителями“ [1131] и пр.

Иногда герои просто сами разсказываютъ о состояніи своей души [1132].

„Нельзя было тутъ не содрогнуться совѣсти, отягченной многими неистовствами: она помнила всѣ свои мерзости и страшилась минуты, въ которую самое воззрѣніе на правосудіе возмутитъ ее [1133] и пр.

„Пришедши въ спальню, гдѣ посредѣ горницы Дафниса меня ожидала, палъ я на колѣни и, отъ чрезвычайнаго разгоряченія, не могъ выговорить ни одного слова. Она, подхвативъ меня рукою—„укрѣпись, любезный, говорила прельщающимъ образомъ, вамъ не пристойно столько слабымъ казаться!“ „Нѣтъ ни малѣйшаго способа, отвѣчалъ я прерывающимися словами, прекрасная Дафниса“ [1134].

Часто наружные признаки показываютъ внутреннее состояніе ихъ души. Напр.—

„Онъ пылалъ яростію, какую только вздумать можно! Очи его сверкали, какъ молнія, цвѣтъ лица постепенно изменялся, члены находились въ самомъ сильномъ дрожаніи; самые власы подобные темной ноши, движущимися казались. Онъ метался во всѣ стороны страшнымъ образомъ, повергалъ отъ себя все, что ни встрѣчалось“ [1135].

Событія въ романѣ происходятъ внезапно, неожиданно, не вытекая одно изъ другого: влюбляются здѣсь всѣ сразу [1136]; любовь выражается въ письмахъ, любовныхъ объясненіяхъ, иногда довольно преціозныхъ. Напр —

„Ахъ! пощадите себя хотя для той, которую вы любите, дражайшій Адамантъ! опасайтесь моихъ любезныхъ родителей,—вы не одни подверженны слабостямъ, простите и будьте увѣренны, что вы—источникъ тѣхъ мученій, кои начинаютъ дѣйствовать во внутренности моего сердца!“ [1137].

Описаній природы—мало и красокъ они лишены. Напр.—

„Величественное солнце начинало появляться вверьху горизонта, и лучи уже касались земли, осѣивая немерцающимъ свѣтомъ своимъ вселенную“.

Зато болѣе обстоятельны описанія оранжерей и парка, а также внѣшности дѣйствующихъ лицъ.

„Бѣлые власы ее распущены были по плечамъ пренебрежно; очи подобны были небесной лазури; слезы текущія по лицу, естественную ихъ пріятность умножали".

Къ „общимъ мѣстамъ" надо отнести столкновеніе съ разбойниками, письмо съ ложнымъ извѣстіемъ о замужествѣ героини. Въ построеніи романа встрѣчаемъ мы обычные шаблоны: разлука и свиданіе, заточеніе въ тюрьму, вставные эпизоды-разсказы.

Предисловіе къ повѣсти указываетъ, что авторъ Р. Черневской принадлежалъ къ числу „мало-ученыхъ людей". Свое произведеніе онъ самъ ставитъ невысоко, говоря, что оно само по себѣ и не заслуживаетъ большого вниманія, и проситъ снисхожденія у публики. „Касательно же до критики, говоритъ онъ, то, хотя я и увѣренъ, что нерѣдко и самые хорошіе писатели оной подвержены бываютъ, а мнѣ уже, какъ человѣку мало-ученому, избѣжать отъ того будетъ трудно, но я уповаю, что благоразуміе моихъ читателей великодушно къ слабости сего сочиненія". И. дѣйствительно, это произведеніе очень слабое въ литературномъ отношеніи,—оно образчикъ того творчества, которое въ низшихъ кругахъ русскаго общества было результатомъ массоваго чтенія романической литературы. Люди, вышедшіе изъ этого круга, часто не имѣющіе настоящаго литературнаго вкуса, лишенные силы творчества, были только „начетчиками" въ романической литературѣ, усваивали схему, шаблоны и, пытаясь выступать въ роли „сочинителей", вели романъ къ вульгаризаціи, опошленію, дѣлали его „рыночнымъ" произведеніемъ...

Къ группѣ повѣстей героическихъ, „галантныхъ", относится романъ „миѳологическій", содержаніемъ котораго, обыкновенно, служилъ какой нибудь античный миѳъ, подвергшійся романизаціи въ литературномъ вкусѣ XVII—XVIII вв. *). Dunlop указываетъ [1138], что древняя миѳологія дала много матеріала и для рыцарскаго, и для средневѣковаго романа: различные сказочные сюжеты, путемъ устной передачи, разошлись изъ Греціи по всей Европѣ, подверглись народной передѣлкѣ и обработкѣ. Но, кромѣ заимствованія „сюжетовъ", заимствовались нерѣдко и самые герои этихъ миѳовъ: такъ, Ахиллъ, Язонъ, Геркулесъ попали въ обиходъ рыцарскаго романа, сблизившись и съ рыцарями Круглаго Стола, и съ паладинами Карла Великаго.

*) Подобнаго рода романизація миѳовъ началась еще въ греческой литературѣ, на зарѣ появленія „романа"; въ классическомъ трудѣ Rohde этому вопросу отведено немало мѣста [1139].

Какъ образецъ типичной „романизаціи“ древнихъ произведеній, можно привести романъ Guido di Colonna: „Historia de Bello Trojano“. Здѣсь Ахиллъ и Гекторъ обратились въ настоящихъ рыцарей, Терзитъ—въ карлика: стѣны Иліона оказались сдѣланными изъ мрамора, а дворецъ Пріама, по роскоши, напоминаетъ волшебные замки чародѣевъ изъ рыцарскихъ романовъ[1139]. Не входя въ подробности этого произведенія, укажу лишь, что подобные романы вызвали во всемірной литературѣ нѣсколько аналогичныхъ произведеній, развивающихъ и дополняющихъ старые „миѳы“. „Въ этихъ сочиненіяхъ, говоритъ Dunlop, полубоги и нимфы древней Греціи представлены, какъ греческіе и азіатскіе цари, рыцари и дамы“,—т. е. во вкусѣ псевдоклассическаго галантнаго авантюрнаго романа. „Приключенія“ отличаются тутъ чудесностью, которая подстать волшебнымъ романамъ.

Dunlop останавливается на разборѣ романа „Jason et Medea“. Оказывается, вся обстановка рыцарства здѣсь на лицо: „турниры и посвященія въ рыцарство, служеніе дамѣ и освобожденіе ея отъ власти чудовищъ, волшебство... Въ романѣ „Hercules“—герой представленъ влюбленнымъ рыцаремъ, который совершаетъ свои подвиги, чтобы сдѣлаться достойнымъ бэотійской принцессы. Плутонъ обратился въ короля, живущаго въ мрачномъ замкѣ, входъ въ который оберегается великаномъ Церберомъ и т. д.

Если во всѣхъ этихъ романахъ старый миѳъ скрестился съ поэтикой псевдоклассическаго романа, то, въ бо́льшей мѣрѣ, приходится признать въ этой романизаціи миѳовъ наличность элементовъ волшебно-рыцарскаго романа (о немъ см. въ слѣд. главѣ).

Эти „переработки“, начавшіяся съ XIII-го вѣка, особенно популярныя въ XV—XVI-омъ, не умерли и въ XVII-омъ и захватили даже XVIII-ій вѣкъ. Въ зависимости отъ литературныхъ вкусовъ эпохи, они существенно мѣняли характеръ романизаціи: полубоги изъ рыцарей въ XVII-омъ вѣкѣ обратились въ „галантныхъ кавалеровъ, въ XVIII в.—въ сентиментальныхъ нетиметровъ и пастушковъ; конечно, въ бо́льшей или меньшей степени, видоизмѣнилось и содержаніе миѳа, но имя героя оставалось всегда безъ измѣненія. Ни одинъ изъ этихъ романовъ (за исключеніемъ „Исторіи о Троянской войнѣ“) не отразился существеннымъ образомъ на русскомъ романѣ XVIII-го вѣка, даже не былъ переведенъ на русскій языкъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя не отмѣтить нѣсколько русскихъ произведеній, возникшихъ, очевидно, въ подражаніе этимъ западно-европейскимъ попыткамъ оживить старый миѳъ новымъ содержаніемъ.

Такъ, произведеніе М. Чулкова: *„Похожденіе Ахиллесово подъ имянемъ Пирры до Троянскія осады“* [1140] принадлежитъ именно къ разряду такихъ галантныхъ исторій, сюжетомъ для которыхъ служили греческіе миѳы. Въ русской романической литературѣ переводныя произведенія этого рода были довольно распространены *).

Чулковъ выбралъ для своей повѣсти разсказъ о первомъ періодѣ жизни Ахиллеса—до выступленія его въ рядахъ грековъ подъ Троей.

Содержаніе повѣсти слѣдующее:

При дворѣ царя Ликодема Спиросскаго, гдѣ воспитывается Ахиллесъ, подъ видомъ дѣвицы и подъ именемъ Пирры, живетъ одна княжна Навплія, которая, узнавъ, что Пирра—юноша, страстно влюбилась въ него. Ахиллесъ отвергъ ея любовь; она мучается. Она рѣшается мстить и отправляется къ Деидаміи, царской дочери, открыть ей, что при ея дворѣ тайно, подъ женскимъ платьемъ, скрывается юноша; но она застала Деидамію и Ахиллеса во время любовныхъ разговоровъ; долго ихъ слушала и терзалась. Незамѣченная ими, полная жажды мщенія произноситъ она патетическій монологъ.

Между тѣмъ, посломъ отъ Агамемнона, является Улиссъ, окруженный богатой свитой; онъ разсказываетъ царю Ликодему всю исторію вражды грековъ и троянъ. Воспламененный этимъ разсказомъ, Ахиллесъ взялся за оружіе и сталъ проситься на войну. Тогда Улиссъ узналъ героя, и сталъ требовать у царя его выдачи, такъ какъ безъ него не можетъ быть взята Троя. Желая поссорить Деидамію съ Ахиллесомъ, Навплія разсказываетъ ей, что Ахиллесъ ужъ съ годъ какъ находится съ нею, Навпліей, въ любовной связи. Деидамія — въ отчаяньи отъ такого вѣроломства героя. Навплія добивается отъ Ахиллеса любовнаго письма къ Деидаміи, но проситъ не писать ея имени, а сама это письмо показываетъ Деидаміи, яко-бы присланное отъ Ахиллеса къ ней,—Навпліи.

Горе и отчаянье Деидаміи. Свиданіе Ахиллеса съ Деидаміею было бурное: царевна упрекаетъ своего героя въ измѣнѣ. Навплія, между тѣмъ, привела царя Ликодема въ комнату царевны и сдѣлала его свидѣтелемъ этихъ компрометтирующихъ объясненій. Ахиллесу пришлось, ничего не выяснивъ, въ смущеніи уйти изъ покоевъ царевны. Между тѣмъ, къ царю явилась жрица, съ приказаніемъ отъ боговъ принести имъ въ жертву его кровь. Ликодемъ былъ пораженъ мыслію, что ему, на старости лѣтъ, придется возлечь на жертвенникъ. Жрица

*) Такъ, „Исторія о Троянской войнѣ“ Гвидо ди Колонна была у насъ извѣстна еще съ XVII-го вѣка въ рукописяхъ; при Петрѣ издавалась въ нѣсколькихъ изданіяхъ (см. стр. 47 прим. № 150). Кромѣ того, извѣстны слѣдующія переводныя произведенія XVIII-го в.: „Похожденія Неоптолема, сына Ахиллесова“, 1762 (№ 87); „Похожденія Улисса“, 1770 (№ 249); существовало нѣсколько повѣстей о Геркулесѣ (№№ 1768—9); сюда же, отчасти, можетъ быть отнесенъ романъ Фенелона о Телемакѣ и Лафонтена о Психеѣ и Купидонѣ (№ 226).

заявила, что въ жертву надо принести его дочь. Уже назначено было жертвоприношеніе, и всѣ уже хотѣли приступать къ совершенію обряда, какъ вдругъ голосъ съ неба удержалъ руку жрицы...

„Народную любовь я въ жертву принимаю,—
За плачъ родителевъ, ей жить повелѣваю!

—вѣщалъ этотъ голосъ. Между тѣмъ, и Деидамія, и Ахиллесъ, ничего не выяснивъ, мучились черными мыслями. Къ Ахиллесу явилась во снѣ его мать Ѳетида, которая указала ему на Навплію, какъ главную виновницу всѣхъ недоразумѣній. Хиронъ, воспитатель героя, выяснилъ Ликодему тѣ причины, которыя заставили Ѳетиду его обмануть и скрыть подъ женскимъ одѣяніемъ сына. Является Ахиллесъ и проситъ руки Деидаміи; онъ разоблачаетъ всѣ „проныства“ Навплія, и любовь возстановилась между нимъ и Деидаміей. Навплію выслали изъ города: назначена была свадьба. Но во время богослуженія Деидамія умерла. Оказывается, Навплія подослала къ царевнѣ отравленное яблоко, отъ котораго она и скончалась. Горе Ахиллеса.

Этотъ нехитрый сюжетъ Чулковъ раскрасилъ всѣми „литературными пріемами“ романистовъ-псевдоклассиковъ: онъ ввелъ, прежде всего, силу „судьбы“ въ жизнь героевъ.

„есть ли ты какимъ нибудь немилосердымъ рокомъ отъимешься отъ меня, то знай...“ 1141.

„...пока немилосердой рокъ не поразилъ Ликодема прежестокою бѣдою...“ 1142.

„судьба ведетъ меня къ исполненію опредѣленнаго мнѣ желанія...“ 1143.

„судьба того хотѣла, и немилосердой рокъ долго поражалъ сердца наши...“ 1144.

Размѣры содержанія не позволили автору придать построенію сложный, авантюрный характеръ, но нѣкоторыя черты, характерныя для такого построенія, сохранились, хотя-бы, въ т ъ, что авторъ вводитъ „вставные эпизоды“ (напр., разсказъ Хирона, Улисса, Ахиллеса).

Въ лицѣ героевъ мы узнаемъ знакомые намъ идеальные образы: Ахиллесъ—вѣрный любовникъ, не измѣняющій своему чувству,—почтительный кавалеръ, говорящій манернымъ языкомъ; онъ чувствителенъ, готовъ проливать слезы, падаетъ въ обмороки, произноситъ патетическія рѣчи,—но, въ то же время, онъ—храбрый воинъ; одинъ видъ оружія воодушевляетъ его къ подвигамъ и заставляетъ позабыть свою любовь...

Такъ какъ о ратныхъ подвигахъ Ахиллеса мы ничего не узнаемъ изъ повѣсти, то одна „любовь“—является ея основой: вокругъ этого чувства разростаются всѣ смежныя съ нею—нѣжность, ревность, горе, отчаянье, злоба отвергнутой женщины, наконецъ, радость двухъ любовниковъ...

Психика героевъ раскрывается въ словахъ самого автора, или въ разсказахъ дѣйствующихъ лицъ о состояніи ихъ души. Напр.—

„Фуріи такъ жестоко не терзаютъ людей во адѣ, сколько терзала вѣдомость сія Деидамінно сердце. Она была весьма легковѣрна, повѣрила сему безъ разбору, и, не могши перемочь своея досады, облилася слезами“ 1145.

„Не возможно изъяснить, какое волненіе чувствовали тогда въ себѣ любовники: Дейдамія ревновала, а Ахиллесъ досадовалъ,—любовница старалась презирать любовника, но онъ, противъ ея воли, не выходилъ изъ ея мыслей“ 1146.

„Царевна изъ радости приходила въ радость и была въ превеликомъ удовольствіи; но, вспомнивъ сонъ, которой намѣрена она была объявить Ахиллесу, пришла въ нѣкоторое сомнѣніе“ 1147.

„Признаюсь, что сколько я тогда смутилась, столько и почувствовала къ нему любови“ 1148.

„...душа моя и сердце приходятъ въ смятеніе, и иногда я вся трепещу такъ, какъ будто бы предчувствую какую нибудь презлѣйшую напасть“ 1149.

Выражаются настроенія душевныя и при помощи „воплей“, „возгласовъ“ и монологовъ. Напр.—

„Боги, властители надъ нами! говорила она: что̀ я увидѣла и что̀ услышала въ этотъ злополучной часъ!.. Деидамія похитила у меня Пирроно сердце! Дейдамія лишила меня любовника, и она причиною, что я должна отнять у себя жизнь!.. Кровь во мнѣ волнуется, досада, злоба, ярость, гнѣвъ, ненависть и отчаяніе принуждаютъ меня отмщевать непремѣнно!“ 1150.

„Слезы“, „обмороки“ и другія внѣшнія проявленія состояній душевныхъ тоже служатъ автору для раскрытія внутренней жизни героевъ:

„Пораженный симъ слухомъ, Государь, покатился безъ памяти; лице его сравнялось съ сѣдинами его чела,—и сдѣлался онъ подобенъ снѣгу“ 1151.

„Глаза ея наполнены были яростію; лице покрыто страхомъ и отчаяніемъ, члены трепетали, и казалась она вся въ ужасномъ безпорядкѣ“ 1152.

Иногда субъективизмъ автора подчеркиваетъ трагизмъ душевныхъ бурь, происходящихъ въ душѣ его героевъ.

„Какое зрѣлище представилося глазамъ его!..“ 1153.

„Столько-то любовный гнѣвъ дѣйствуетъ сердцами людей огорченныхъ!“ 1154.

Стиль повѣсти (особенно, рѣчи идеальныхъ любовникевъ) отличается приподнятостью, манерностью. Напр.—

„Прекрасная! чемъ ближе мы къ нашему щастію, тѣмъ больше вижу я тебя печальною. Или кажется тебѣ, что мало дѣлаю я пріятства и нѣжности, которыми поминутно наслаждаются любовники?“ 1156,

„Сердце, прямо страстное, предпріялъ Ахиллесъ, къ измѣнѣ никогда неспособно; люби тебя толико страстно, могу ли я быть самъ себѣ злодѣемъ, чтобъ, оставивши тебя, терзался я во всю мою жизнь? И естьли ты, какимъ нибудь немилосердымъ рокомъ, отъимеиьси отъ меня, то знай, что въ самой тотъ злой часъ возмется жизнь моя, и собственная рука отворитъ мнѣ двери гроба!“ [1157].

Любопытной особенностью повѣсти являются вычурныя, въ стилистическомъ отношеніи, описанія утра и вечера:

„Пламенные Солнцевы кони почти уже пребѣгали восточные вѣтры, и яркіе лучи отъ Фебова вѣнца освѣщали Ликодемово владѣніе [1158].

„Утомленные Солнцевы кони уже отложены были отъ блестящей колесницы, привязаны къ яслямъ, сдѣланнымъ изъ чистой слоновой кости и насыщалися по трудахъ амвросіею. Сіяющій Фебовъ вѣнецъ лежалъ на престолѣ; а самъ свѣтозарный богъ опочивалъ покойно на стихіяхъ усмиренныхъ. Богиня мрака на Спиросскихъ небесахъ разстилала темной свой покровъ, напоенной маковымъ сокомъ. Подъ Спиросскими облаками обитала мгла, сквозь которую слабой свѣтъ луны и нѣкоторыхъ блестящихъ звѣздъ проходилъ на землю“ [1159].

Къ „общимъ мѣстамъ“, введеннымъ въ повѣсть, относятся: „переодѣванье въ чуждое полу платье“ [1160], „вѣщіе сны“ [1161], „предсказанія оракула“ [1162], „таинственные голоса свыше“ [1163], „ошибки, недоразумѣнія, основанныя на ложно-понятомъ письмѣ“ [1164], „попытки самоубійства“, „клевета отвергнутой героини“— какъ проявленіе мстительности“ и др.

Литературная исторія этой повѣсти очень несложна,—авторъ пересказалъ, съ небольшими видоизмѣненіями (перестановка событій, сокращенія), трагедію Тредіаковскаго: „Деидамія“. Эта зависимость чулковскаго произведенія выясняется съ первыхъ же строкъ „предисловія“. Тредіаковскій своей трагедіи предпослалъ „перечневое описаніе“, Чулковъ—„предувѣдомленіе“. Дѣлаю сопоставленія.

Тредіаковскій.	*Чулковъ.*
„Молодшая Ѳетида, дочь Нереева и Дорисина, бывши выдана за Пелея, Эакова сына, а брата Желамонова, родила отъ него сынажъ, кой былъ названъ Ахиллесомъ. Сія, увѣдавши о прореченномъ отъ Калханта жреца, что безъ Ахилеса сына ея...	„Молодшая Ѳетида, дочь Нерсева и Дорисина, выдана будучи за Пелея, Эакова сына, а брата Желамонова, родила отъ него сына, которой названъ былъ Ахиллесомъ и, увѣдавши отъ Калханта жреца, что безъ Ахиллеса, сына ея...

Далѣе оба предисловія нѣсколько расходятся,—Тредіаковскій отходитъ въ сторону теоретическихъ соображеній.

Конецъ:

„Смотрители и читатели имѣютъ сами разсудить, былъ ли я счастливъ, сочиняя первую еще трагическую сію поему, въ наблюденіи вѣроятности въ томъ, что отъ меня вымышлено и придано.

„Чтожъ касается до разположенія сей исторіи и до прибавки выдуманныхъ мною случаевъ, то въ томъ поступалъ я по моей волѣ.

Новыхъ „случаевъ“ почти никакихъ Чулковъ не „выдумалъ“,— онъ въ повѣствовательной формѣ, витіеватымъ стилемъ, изложилъ „случаи“, выдуманные уже Тредіаковскимъ: ввелъ тѣ же имена дѣйствующихъ лицъ: Ликодемъ, Навилія, Деидамія, Хиронъ, Вулевполемъ,—взялъ тѣ же психологическія проблеммы, что разрѣшены были уже Тредіаковскимъ въ его трагедіи.

Если-бы не такая несомнѣнность происхожденія повѣсти Чулкова, мнѣ бы пришлось сдѣлать обширный экскурсъ въ область древней эротической повѣсти. Оказалось бы, что любовныя увлеченія Ахиллеса уже въ древности дали богатый матеріалъ для „элегій“, „лирическихъ разсказовъ“; въ книгѣ Rohde собраны по этому вопросу любопытныя данныя [1165]. Но, оказывается, всѣ эти данныя болѣе цѣнны для выясненія вопроса о литературной трагедіи Тредіаковскаго.

Повѣсть: „*Анакреонтъ, или могущество любви*“ [1166] Сопиковымъ и Смирдинымъ опредѣлена, какъ оригинальное русское сочиненіе; она, по типу своему, принадлежитъ къ группѣ „galantes nouvelles“, дѣйствующими лицами въ которыхъ выводятся, обыкновенно, историческіе дѣятели классической старины.

Содержаніе произведенія слѣдующее:

„Градъ Митилена утратилъ все его благоденствіе отъ того времени, какъ образъ правительства въ немъ премѣнился, и тиранъ забралъ въ руки власть надъ городомъ. Тогда нравы жителей измѣнились къ худшему: „любовь обратилась въ „грубое вожделѣніе“, „пламень этой любви мгновенно угасалъ послѣ удовлетворенія, и упоенія оной доставлялись повсюду цѣною злата“... Патріотъ Питтакъ, „стеная отъ злополучія отечества“, но опасаясь казни, не вмѣшивался открыто въ его дѣла и, наконецъ, удалился въ Дельфы. Но потомъ онъ собралъ ополченіе и пошелъ освобождать отечество. Тиранъ не устоялъ въ борьбѣ съ нимъ и бѣжалъ. Тогда Питтакъ возстановилъ въ родномъ городѣ тишину и спокойствіе и пригласилъ мудреца Эпикура для того, чтобы тотъ ввелъ новые порядки въ жизнь государства. Потомъ, окончательно успокоивъ отечество, Питтакъ „низложилъ безъ жалѣнія съ себя власть верховную, воспріятую токмо имъ для содѣланія блаженства народа и повергнулся во объятія Любомудрія,—уединенія и ученія подруги“.

Эпикуръ, „у коего,—по словамъ автора,—было кроткое и пріятное лице", „а паче умъ плѣняющій, удостоился любви отъ нѣжныя Исмены, нѣкоей изъ прекраснѣйшихъ дѣвъ Митиленскихъ. Отъ сихъ то любезныхъ узъ красоты со остроумiемъ родилась Астерія, опредѣленная Богомъ любви проявить нѣкогда свѣту совершенное собою твореніе природы". Исмена „пожелала воздоевать сама милаго сердцу ея младенца и пріять на себя попеченія о драгоцѣнномъ семъ залогѣ обязанности ихъ взаимной любви". Разъ она гуляла съ дочерью по саду и положила спящаго младенца на траву; „сама она возлегла близъ любезной своей дщери и, устремя чадолюбивые взоры на сей плодъ нѣжнѣйшій, узрѣла въ древесной сѣни содроганіе всѣхъ вѣтвей; цвѣтущіе лѣторосли, коими она была окружена, пріяли новой блескъ и казались склоняющимися къ лицу Астеріи; кроткій Зефиръ помавалъ въ воздухѣ и вливалъ въ Исменину душу сладострастную томность, кои, изображая ей образъ Эпикуровъ, усугубляла прелести возлюбленнаго младенца". „Когда она углублялась въ сладостныя сіи воображенія, вдыхаемыя любовью и природою, сей Богъ плавалъ надъ сѣнію по зыбимъ воздушнымъ. Онъ потрясъ свѣтильникомъ, изъ коего горячайшая искра писпала въ сердцѣ Астеріи". „Богъ любви" сказалъ, что одаряетъ Астерію красотою, пріятностями, наукой привлекать сердца; онъ сказалъ: „хощу, дабы твое сердце было воздаяніемъ того, кто превосходнѣе возымѣетъ искусство воспѣти владычество мое".

„Присутствіе Купидона придало всѣмъ цвѣтамъ новую свѣжесть и благоуханіе пріятнѣе амвры; древеса преклонялись единое ко другому, и птицы, сидящіе на зыблющихся вѣтвіяхъ, воспѣвать престали. Исмена, „пришедъ паки въ себя", разсказала о восхищеніи души своей Эпикуру. „Чувствительной любомудрецъ услаждался ея повѣствованіемъ и впечатлѣлъ пламенныя лобзанія на устахъ матери и дщери, желая имъ сего блаженнаго чувствованія души, коя, познавъ роскоши цѣну, умѣетъ сохранить внутреннее спокойствіе посреди бурь жизни".—

Между тѣмъ, Купидонъ похитилъ у Аполлона его лиру, прибавилъ къ ней новыя струны и полетѣлъ въ Феосъ, „гдѣ нѣжной Анакреонтъ пѣснословилъ согласными звуками Венеру и ея сына, хотя уже бѣлымъ инеемъ начинала глава его покрываться". „Благосостояніе позволяло ему распространять въ пріятномъ его жилищѣ изобиліе и забавы". „Сами музы, одолѣвая стыдливость, казались присудствіемъ одобрять сладкострунные звуки нѣжнаго Анакреонта. Пѣснопѣвецъ, возлегая съ роскошію на лиліяхъ и розахъ, искалъ въ Феосѣ, ради уподобленія имъ, юныхъ красотъ". Но тщетны были его долгіе поиски,—не могъ онъ нигдѣ найти красавицы, отвѣчавшей запросамъ его сердца и вкуса. „Тогда Купидонъ, оскалабляяся, спустился на Анакреонтово колѣно", и велѣлъ воспѣть могущество Киприды и Купидона". Онъ старцу-поэту обѣщалъ красавицу, сказавъ: „да пригвожду волнующіяся желанія твои ко единому предмету. Послѣднія пѣснопѣнія твои толикоже сладостные, ако пѣніе лебедя Менандрово, воспрославятъ могущество мое и прейдутъ до позднѣйшаго потомства. Имя твое будетъ славно по всей вселенной. Горе сердцамъ хладнымъ, кои не вкусятъ пріятностей пѣнія твоего!". Между тѣмъ, „юная Астерія достигла 15 лѣтъ". Ея красота была „подобна изницающей роаѣ изъ зеленыхъ листьевъ; ежедневно сія пре-

лестная дѣва открывала новые блески". Ея красоту воспѣла сама Сафо. Всѣ ее восхваляли за красоту. „Юношество тщетно горѣло къ ней любовью. Имя ея вырѣзывали на древесныхъ корахъ. Купидонъ забавлялся этимъ могуществомъ ея красоты и пускалъ свои стрѣлы во всѣ стороны".

Въ это время Фаонъ, гордой красавецъ, отринулъ любовь Сафо. Она лишаетъ себя жизни. Слѣдуетъ разсужденіе о печальной участи многихъ талантовъ. Горожане устраиваютъ ей торжественныя поминки: юноши собрались „во храмъ Аполлоновъ, одѣянные въ ризы льняны, бѣлизны чрезвычайной, держали въ рукахъ лавровыя вѣтви, миртами переплетенныя... Фаонъ, увидя Астерію, влюбился въ нее и признался ей въ своихъ чувствахъ, но Астерія несочувственно отнеслась къ его любви. Фаонъ объяснилъ ея холодность тѣмъ, что она не всмотрѣлась, какъ слѣдуетъ, въ его красоту; онъ удивленъ ея равнодушіемъ. Между тѣмъ, холодность Астеріи объясняется местью Купидона за смерть Сафо.

Астерія, слыша объ Анакреонтѣ, сама поѣхала въ Феосъ, чтобы его видѣть и слышать. Она здѣсь увлеклась Анакреонтомъ и проводила въ его обществѣ цѣлые дни: „Эроты соглашали каждое утро лиру Анакреонтову и упражняли розовые персты свои въ разглаживаніи начинающихся морщинъ на челѣ милаго имъ пѣснопѣвца, срѣтившаго, подобно божеству, Астерію". Астерія не выходила отъ Анакреонта—все слушала его пѣсни. Между тѣмъ, Фаонъ мучается ревностью и неудачей, хотя еще вѣритъ въ силу своей красоты, о чемъ мечтаетъ вслухъ; его мечты поделушаны Астеріей. Но Астерія живетъ только любовными стихами Анакреонта, въ которыхъ онъ ее воспѣвалъ. „Купидонъ плавалъ въ воздухѣ надъ нею и сотрисалъ изъ свѣтильника пламенныя искры въ сердце ея. Онъ плаваетъ надъ главою ея по зыбимъ воздушнымъ и повторяетъ въ душѣ ея согласіе пѣснопѣвца; въ нѣдрахъ нощи, за тихимъ вечеромъ грядущей, тысящи лѣстныхъ сновидѣній изображаютъ Астеріи счастіе любить и быть любимой". Фаонъ кажется ей „слабой тростью",—а Анакреонтъ, „яко древней дубъ лѣса Додонскаго, мнится быти покровителемъ нѣжнымъ цвѣтамъ, изницающимъ подъ его тѣнью и усугубляющимъ блескъ оныхъ".

Фаонъ сватается къ Астеріи въ день, назначенный для сватаньи. Но Астерія возложила свой вѣнокъ на голову Анакреонта, и Фаонъ съ горя умираетъ.

Какъ видно даже изъ пересказа, это слащавое произведеніе насыщено преціозностью: къ „авантюрнымъ" оно отнесено быть не можетъ,—оно исключительно „эротическое"; даже историческій элементъ, введенный въ повѣсть, окрашенъ этимъ преціознымъ эротизмомъ: когда, напримѣръ, авторъ хочетъ сказать, что, съ перемѣной правленія въ г. Митиленѣ, счастье жителей было нарушено,—онъ выражаетъ это такъ:

„Эроты отлетѣли въ Цитеру, и трепещущія красоты зрѣли нѣжности, ихъ похищаемы наперстниками царствовавшаго властолюбца" 1167.

Когда Эпикуръ былъ сдѣланъ законодавцемъ и устроителемъ жизни въ городѣ Мителенѣ,—

„Роскошь и нѣги, съ новымъ домовладыкою, въ немъ водворились, и вскорѣ градъ Митилена сталъ паки убѣжищемъ благополучія и забавъ“ [1168].

Героиня повѣсти, Астерія — совершенство во всѣхъ отношеніяхъ: она самимъ богомъ любви была опредѣлена явить свѣту „совершеное собою твореніе природы“.

„Токмо и слышно было о красотѣ Астеріиной. Блистательнѣйшее юношество тщетно горѣло къ ней любовію. На мягкой корѣ дрожесъ тополевыхъ, растущихъ на брегахъ прозрачныхъ источниковъ, имя Астеріино зрѣлося начертанно [1169]. Но она была чиста и строга.

Анакреонъ, герой повѣсти, тоже представленъ „изящнѣйшимъ созданіемъ природы“: онъ нѣженъ, чувствителенъ и почтителенъ со всѣми — даже съ надменнымъ, но несчастнымъ, юношей Фаономъ [1170]. Въ немъ авторъ старается изобразить наличность поэтическаго вдохновенія такими словами:

„Онъ зрѣлъ часто граціевъ во убѣжищахъ прохладныхъ вертоградовъ своихъ, отрѣшающихъ отъ чреслъ поясы, для плясанья съ младыми Эротами, при сіяніи сребровидныя луны, освѣщающей игры ихъ таинственнымъ блескомъ“.

Купидонъ постоянно на сценѣ, — то онъ во снѣ является Исменѣ, матери Астеріи, и предсказываетъ ея дочери блестящую судьбу, то прилетаетъ къ Анакреону и, „осклабляяся“, и испускается на Анакреонтово колѣно“ и предсказываетъ ему успѣхъ въ любви, говоря:

„Я опредѣлю къ тебѣ нѣжную роскошь и, одаря тебя крѣпостію лѣтъ юныхъ, сокрою подъ твоею сѣдиною науку быть пріятнымъ“ [1171].

„— то онъ постоянно „плаваетъ въ воздухѣ“ надъ своими любимцами [1172].

Анакреонъ умѣетъ устроить свое существованіе изящно и радостно.

„Когда уже бѣлые почти власы любомудрца конецъ осени его возвѣщали,—живость взоровъ, свѣжесть лица его, стройность стана, играніе нѣжное и одушевленное проявляли божество въ немъ, желающее подъ снѣгами зимы сокрыть весну цвѣтущую“ [1173].

Любопытно описаніе „храма любви“, воздвигнутаго Анакреономъ.

„Въ сѣнолиственномъ и сокровеннѣйшемъ мѣстѣ вертоградовъ Анакреонтовыхъ воздвигнутъ былъ храмъ любви, гдѣ зрѣлся Богъ сей, Граціями окруженный, изсѣченъ рукою Праксителя. Стѣны храма одушевлялися любовными упражненіями боговъ. Тамо величественный Юпитеръ прельщалъ взоры чувствительныя къ нему Европы; инде роскошная Афродита упоевалась восторгами любви съ прелестнымъ Адонисомъ; далѣе бодрой Алкидъ ликовалъ съ младой Гебѣею; Венера и Аврора отрождали безсмертіе въ существа Анхиза и Тиѳона“ [1174].

Эта „плафонная“ живопись знакома уже намъ по цѣлому ряду другихъ псевдоклассическихъ произведеній.

„Описаніи“ въ этомъ произведеніи много; появившаяся въ свѣтъ довольно поздно, уже въ концѣ XVIII-го вѣка (1796), повѣсть отразила на себѣ наростаніе новыхъ вкусовъ,—въ ней уже, до нѣкоторой степени, проясняется Naturgefühl, хотя и очень односторонній,—природа предстала идеализированной, въ духѣ пастушескихъ идиллій. Описанія „утра“—всѣ еще въ старомъ духѣ.

„Между тѣмъ, златовидное сіяніе Авроры плилося на горизонтѣ, и возвѣщало день прекрасной“ [1175].

„Вставнымъ эпизодомъ“ можно признать включеніе разсказа о несчастной любви Сафо къ Фаону,—любви, которая привела поэтессу къ самоубійству. Этотъ эпизодъ, а также неудачная любовь Фаона къ Астеріи, вносятъ въ повѣсть элементъ драматизма и психологическаго интереса. Нельзя не сознаться, что, при всей манерности, стиль повѣсти изященъ и, главное, свободно выражаетъ тонкіе оттѣнки сентиментальныхъ настроеній. Это—главное достоинство произведенія.

Литературная исторія повѣсти связана—1) съ появившимися въ 1794 г. на русскомъ языкѣ „Стихотвореніями Анакреона Тійскаго“, къ которымъ приложена біографія поэта [1176] и—2) съ галантной повѣстью о любви Сафо къ Фаону, подъ названіемъ: „Любовь Сафои и Фаона“ [1177].

Это произведеніе, равно какъ и его русское подражаніе, относятся къ тому разряду, который названъ въ работѣ Morillot: „le roman prétendu historique“ — le cycle antique“ [1178]; M-me de Villedieu особенно прославилась въ этой области: въ своемъ романѣ „Les Exilés [1179]“—она изобразила любовь Овидія, въ „Amours des grands hommes“—любовныя увлеченія Солона, Сократа, Юлія Цезаря, Катона Утическаго, Алкивіада и Лизандра, въ „Portraits des faiblesses humaines“ — сердечныя тревоги Перикла, Ликурга, Павла Емилія и др.; въ роли такихъ же романическихъ героевъ изображались другими писателями слѣдующіе писатели: Ѳеокритъ [1180], Сафо [1181], Катуллъ и Тибуллъ [1182]. Rohde указываетъ, что еще въ древности обнаружился вкусъ къ такой романизаціи (вѣрнѣе,—„эротизаціи“) біографій великихъ историческихъ людей [1183] *).

*) Въ русской переводной литературѣ XVIII-го вѣка къ этому типу можно, пожалуй, отнести слѣдующія произведенія: „Пиѳагоровы ученицы“, 1797 (№ 1849), „Домъ Молчанія“, 1763 (№ 96) и очень популярную у насъ повѣсть: „Аристонаевы приключенія“ (№№ 113, 177, 205, 320, 325, 384, 485, 632, 1853), связанную съ именемъ Поликрата, но лишенную эротизма.

Поиски оригинала [1184] для русской повѣсти объ Анакреонѣ не привели меня ни къ чему опредѣленному; существуетъ, впрочемъ, указаніе, что еще въ древности существовала повѣсть о любви Анакреона къ Сафо, приписываемая Гермесіонаксу [1185], но нѣтъ никакихъ данныхъ утверждать о возможности, какой-бы то ни было, связи между обоими произведеніями, такъ какъ—1) греческое произведеніе, по указанію историковъ, до нашего времени не сохранилось и извѣстно лишь по имени,—а 2) въ самомъ содержаніи нѣтъ сходства: въ греческомъ романѣ изображается любовь Анакреона къ Сафо,—въ русскомъ произведеніи оба имени не связаны никакими сердечными отношеніями. Остается предположить, что русскій авторъ, увлеченный только что вышедшимъ на русскомъ языкѣ переводомъ твореній Анакреона и прочтя его біографію, сочинилъ свою любовную повѣстушку въ духѣ цитованной выше повѣсти: „Любовь Сафои и Фаона",—очевидно, тоже пришедшейся ему по вкусу.

Въ самомъ дѣлѣ, между этими обоими произведеніями есть несомнѣнная связь: ихъ сближаетъ между собой—1) одинаковость тона: слащаво-сентиментальный, сбивающійся на преціозность въ описаніяхъ природы, въ изображеніи души героевъ, въ ихъ рѣчахъ—2) большое сходство въ содержаніи: тѣ же вѣщіе сны то же участіе боговъ и богинь въ людскихъ дѣлахъ; наконецъ, сходство въ сюжетѣ.

Привожу для доказательства близости обоихъ произведеній нѣкоторыя мѣста изъ повѣсти: „Любовь Сафои".—

Начало:

„Во время, гораздо менѣе отдаленное отъ начала свѣта, наука стихотворенія не была еще извѣстна. Музы, обитая со удовольствіемъ на выдуманной своей горѣ, рѣдко съ нея сходили для собесѣдованія съ человѣками, и смертные не разумѣли еще языка боговъ. Премудрая Сафоя, дѣлающая честь своему полу! Сіи щастливыя времена со удивленіемъ взирали на изящность твоихъ дарованій!"

„Щастлива бы ты была, когда бы неблагодарная Венера и вѣроломной сынъ ея не возпламенили сердца твоего любовію къ любовникамъ, тебя недостойнымъ, и, между ими, къ такому, которой былъ непостоянной и вѣроломной" [1193].

Родители Сафо описаны, приблизительно, тѣми же чертами, что въ русской повѣсти родители Астеріи.

„Скамандронимъ и Клеиса жили въ Митиленѣ въ наиприятнѣйшемъ согласіи; любовь соплетала дни ихъ, и, среди самого ихъ супружества, цѣпи ихъ казалися имъ сплетеніемъ пріятнѣйшихъ цвѣтовъ; имя супруговъ не уменьшало ихъ нѣжности, и сердца ихъ, всегда пылающія пламенемъ, возваленнымъ отъ бога, спутешествующаго имъ ко алтарю,

погружалися въ неизреченныхъ удовольствіяхъ, коими небо напояетъ добродѣтельныя души...“ и т. д. [1194].

Сходными чертами обрисовано дѣтство Сафо и Астеріи.

Какъ образецъ слащавости и манерности стиля, приведу слѣдующее мѣсто:

„Какъ первые лучи зари едва начали прогонять тѣмноту ночи, и слабой еще свѣтъ освящалъ нѣжныя зеницы Клеисины, тогда прелестныя очи ея вдругъ открываются, и пламенныя взоры ихъ обращаются къ Скамандроннму (имя мужа); они подобны были двумъ звѣздамъ, долго за облаками скрывающимся и, вышедъ изъ за облаковъ, свѣтъ свой паки на людей испущающимъ: пріятнѣйшая радость воспламѣнила взоры ихъ, и предчувствіе благополучія возхищало нѣжныя ихъ чувства [1195].

Мать Сафо тоже, какъ мать Астеріи, видитъ вѣщій сонъ [1196], предвѣщающій судьбу дочери.

Сафо была мудра съ дѣтства,—

„Природа, будучи всегда къ Сафоѣ благосклонна, со избыткомъ ея награждала; она вдругъ приумножала красоту ея и разумъ; огонь, пылающей въ очахъ ея, блисталъ у ней во очахъ и возпламенялъ всѣ черты лица ея такъ, какъ единый сокъ, иногда напояя двѣ между собою соединенныя отрасли, листамъ ихъ подаетъ равную живность и въ единое время разпускаетъ на нихъ разные цвѣты, наипріятнѣйшіе плоды обѣщевающія; Сафоя не имѣла въ себѣ тѣхъ приманчивыхъ прелестей, кои болѣя украшены бываютъ искусствомъ, нежели самою природою. Таковыя совершенныя и приманчивыя красоты нравятся только глазамъ, но никогда не рождаютъ они пріятнаго пламени сердца воспалющаго и привлекающаго ихъ къ себѣ съ толикою силою. О, вы, ослепленныя человѣки! вы иногда и самое свое заблужденіе за благополучіе почитаете! Часто случается, что неразуміе подъ обманчивымъ и пріятнымъ для васъ видомъ кажется вамъ истинною премудростію!“ [1197].

Описаніе наружности Сафо.

„Чувство блистало во всѣхъ взорахъ Сафоиныхъ; она, казалось, очами своими во внутренность всѣхъ сердецъ проницала; не имѣя красоты, была она прелестна; грудь ея бѣлизною своею снѣгу была подобна; цвѣтъ лица ея сравнивался съ пріятною розою; заря самаго пріятнѣйшаго дни, изливая на цвѣты благовонную росу свою, не можетъ дать имъ толикой живности, каковую прелестная Сафоя въ себѣ имѣла; невинность сердца изображалась на розовыхъ устахъ ея... Ея не сочли бы за гордую Діанну, но за одну изъ трехъ грацій; и голосъ ея былъ пріятенъ: онъ не только что прельщалъ слушателей, но и трогалъ сердца чувствительныя“ [1198].

Монологъ Сафо передъ урной, гдѣ сокрытъ пепелъ ея родителей,—

„О, священная урна! о, обожаемый мною пепелъ! Почто не могу я здѣлать вамъ гробъ изъ моего сердца! будьте вы навсегда предмѣтомъ моего

богопочитанія; васъ единыхъ обожать я долженствую, ибо боги вамъ измѣнили; они жестокимъ окомъ взирали на чистѣйшія ваши воздѣвающіяся къ нимъ руки,—на тѣ самые руки, кои наполняли ихъ жертвенники своимъ жертвоприношеніемъ и возженіемъ благовоннѣйшаго фиміаму! сей то священнѣйшій прахъ, вмѣсто боговъ, я почитать буду, а тѣ щастливыя поля, въ коихъ обитать вы будете въ жилищѣ мертвыхъ тѣней, будетъ для меня тотъ Олимпъ, къ коему всѣ желанія мои устремятся!" [189].

Увидѣвъ впервые Фаона, она была поражена его красотою и приняла его за Аполлона. Ей разсказываютъ объ его судьбѣ, объ его дарѣ сочинять такія пѣсни, что само „эхо, приобыкшее ко грубымъ пѣснямъ пастуховъ", удивляется его созданіямъ [190].

Сафо влюбляется въ Фаона, ищетъ уединенія среди природы и тоскуетъ,—

„...городской шумъ ушамъ ея уже былъ несносенъ, и сметѣніе различныхъ предмѣтовъ, прежде взоры ея увеселяющихъ, вдругъ учинилося ей скучнымъ. Она часто выходила на близъ лежащей бугорокъ и, стоя на немъ, обращала взоры свои на плодоносную долину, различными цвѣтами и кусточками изпещренную и наполненную пригорками, на коихъ природа истощила всѣ изящнѣйшія свои изобиліи" [191].

Ночью Сафо видитъ во снѣ Фаона.

„Едва первыя пары сна, разлившись по членамъ Сафоинымъ, наполнили чувствы ея пріятнѣйшимъ успокоеніемъ, какъ вдругъ представилося ей, что была она подъ тѣми самыми сплетенными деревьями, кои кистію любви и природы на картинѣ изображены были, гдѣ изъ дерну, усѣяннаго цвѣтами, составленъ былъ полевой тронъ, на которомъ Фаонъ, убранный миртовыми и лавровыми вѣнками, наигрывалъ на лирѣ пѣсни, достойныя Орфея; гласъ его составлялъ пріятнѣйшее согласіе, и раздающееся эхо, при повтореніи, останавливалось, желая само пользоваться онымъ слухомъ; древа, при тихомъ движеніи легкихъ листковъ своихъ, казалося, чувствительны были къ сему пѣнію, и цвѣты стремительно старалися выходить изъ внутренности земли, дабы обще тѣ же утѣхи чувствовать; онѣ испускали наипріятнѣйшіи благовоніи, чтобы вдругъ восхитить всѣ чувствы двухъ любовниковъ [192].

Изображенію любви Сафо посвящена бо́льшая часть книги; съ паѳосомъ сентиментальнаго субъективизма повѣствуетъ авторъ объ этомъ, вкладываетъ въ уста героини монологи, воззванія, жалобы; вводитъ картины природы, колоритъ которыхъ мѣняется въ зависимости отъ настроеній героини...

Я думаю, что и приведенныхъ выдержекъ достаточно, чтобы предположить съ нѣкоторымъ основаніемъ, что Астерія, героиня русской повѣсти, списана съ Сафо,—что родители Астреи, прекраснодушные и сентиментальные, напоминаютъ родителей Сафо, что, наконецъ, общій тонъ и манера письма въ обоихъ произведеніяхъ тожественны.

Въ обоихъ произведеніяхъ дѣйствуютъ Музы, вводятся пророческіе сны, предвѣщающіе блестящее будущее новорожденнымъ дѣвочкамъ—Астеріи и Сафо; въ обоихъ произведеніяхъ изображается вторженіе въ жизнь героевъ политической суеты (междуусобія, войны), нарушающее мирныя, идиллическія настроенія... Русская повѣсть отличается отъ переводной еще бо́льшимъ лиризмомъ; кромѣ того, въ ней часто дѣйствуетъ Купидонъ и Эроты, чего нѣтъ въ повѣсти переводной. Кажется, эта деталь взята анонимнымъ русскимъ авторомъ изъ одъ самого Анакреона, гдѣ Эроту, какъ разъ, отведена эта значительная роль шаловливаго, капризнаго ребенка, вооруженнаго мѣткими стрѣлами.

Наконецъ, русскій авторъ свое произведеніе связалъ съ переводнымъ, введя его сюжетъ въ видѣ „вставного эпизода“ и позаимствовавшись тѣмъ же фономъ для дѣйствія (та же эпоха, та же мѣстность).

Повѣсть: *„Торжествующая добродѣтель, или жизнь и приключенія гонимаго фортуною Селима“* [1196], принадлежитъ къ разряду „восточныхъ любовныхъ повѣстей“.

Содержаніе этого произведенія слѣдующее:

Въ тяжелое для Турціи время, когда она была потрясена пораженіями и внутренними смутами, одинъ турокъ, Календеръ, случайно подслушалъ заговоръ янычаръ, задумавшихъ возстаніе, чтобы убить султана. К., въ ужасѣ отъ сдѣланнаго имъ открытія, передаетъ Визирю тайну заговора. Султанъ, узнавъ о вѣрноподданническомъ поступкѣ Календера, пожелалъ его видѣть и узнать его исторію. Слѣдуетъ разсказъ Календера объ его жизни. Онъ—сынъ богатаго бальзорскаго купца. Изъ всѣхъ трехъ братьевъ, онъ былъ любимымъ сыномъ. Мечтая съ юности путешествовать, онъ выпросилъ у родителей разрѣшенія ѣхать въ Мекку, и затѣмъ отправился моремъ; внезапно налетѣла буря; корабль ихъ былъ разбитъ, и К. на доскѣ выброшенъ на берега острова Суматры. Здѣсь въ это время происходили кровопролитныя войны. К. становится во главѣ побѣжденныхъ и одерживаетъ блестящія побѣды. Туземный государь, которому онъ оказалъ услугу, принимаетъ его съ честью и жалуетъ ему высокій санъ полновластнаго военно-начальника, который долженъ былъ его защищать отъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ. Календеръ мудро воспользовался своею властью; онъ, прежде всего, освободилъ изъ рабства многихъ иностранцевъ.

Въ него влюбилась одна придворная дама, родомъ грузинка. Онъ долго оставался холоденъ. Она пишетъ ему страстное письмо. Но онъ не отвѣчалъ на письмо, „пребывая въ прежнемъ хладнокровіи“. Однажды онъ въ своей спальнѣ, къ изумленію своему, встрѣтилъ влюбленную грузинку; она еще разъ объяснилась ему въ любви, и на этотъ разъ герой не устоялъ: „въ самую ту минуту почувствовалъ я

владычество богини любви, кинулся въ объятія сей красавицы, и тогда ея прелести... похитили совершенно сердце мое". Они поженились. Но недолго К. наслаждался счастьемъ — „рокъ" его преслѣдовалъ. Враги внезапно напали на городъ, завладѣли имъ; началось убійство жителей. Жена героя была убита, а онъ самъ бѣжалъ изъ города. Его отчаянье: онъ патетически прощается съ городомъ, супругою, царемъ... Во время сна онъ попалъ въ руки дикарей. Невольниковъ, обыкновенно, они сжигали, принося ихъ въ жертву; но, если какая-либо изъ туземныхъ женщинъ, потерявшихъ на войнѣ мужчину — сына, мужа, любовника—выражала желанія взять кого-либо изъ плѣнниковъ, обреченныхъ на смерть, то выбраннаго отдавали ей. Казнь героя была уже близка, какъ вдругъ одна женщина выбрала его. Онъ счастливъ; въ патетическихъ выраженіяхъ изъявляетъ онъ ей свою благодарность. Они недолго были счастливы. Избавительница Календера умерла, и онъ опять сдѣлался рабомъ и въ кораблѣ съ другими рабами отправленъ былъ въ чужія земли... Его привезли въ Алжиръ, „гнѣздо разбойниковъ и владычество страстей и пороковъ". Здѣсь К. былъ проданъ въ рабство. Положеніе Календера было очень трудное: его обременяли работами и часто били. Онъ рѣшился бѣжать, и, вмѣстѣ съ однимъ невольникомъ-грекомъ, они удачно спаслись изъ неволи. Онъ счастливъ, когда увидѣлъ любезные ему берега родной Бользоры. Но радость его оказалась преждевременной: родители его умерли, наслѣдство его подѣлили братья... „Зависть, непримѣнительный врагъ добродѣтели, возбудила противу спокойствія души моей братьевъ моихъ",—жалуется онъ въ своемъ разсказѣ. Братья оклеветали Календера, и онъ былъ заключенъ въ тюрьму, какъ вѣроотступникъ. Въ тюрьмѣ онъ произноситъ длинный патетическій монологъ, съ жалобами на свою жизнь. Ему удалось спастись отъ казни, и, въ одѣяніи Календера (монаха), онъ отправился странствовать. По дорогѣ чуть не разорвалъ его медвѣдь, но онъ убилъ звѣря. Затѣмъ ему удалось подслушать заговоръ янычаръ. Этимъ закончилась его повѣсть. Султанъ, сожалѣя объ его судьбѣ, за его добродѣтель, женилъ его на одной изъ своихъ дочерей и сдѣлалъ дву-бунчужнымъ пашею на одномъ изъ острововъ Архипелага.

Изъ пересказа этой повѣсти виденъ ясно авантюрный ея характеръ: „судьба", „небо" играетъ въ жизни героя большую роль,—

„Судьба, приготовляя меня къ претерпѣнію нещастія, вразумила..." [1197]. „Жестокость судьбы заставила сносить въ семъ государствѣ неволю" [1198]; „Рокъ, позавидовавъ блаженству дней моихъ, прервалъ мое спокойствіе" [1199]. „Злой рокъ! по что вмѣстѣ съ возлюбленной моей не пресѣкъ ты дней моихъ" [1200]. „Разгнѣванныя небеса даровали мнѣ жизнь" и др. [1201].

Герой повѣсти—идеальный, мудрый юноша, хотя и мѣняетъ три раза своихъ возлюбленныхъ, но не по своей винѣ: пока онѣ живы, онъ всей душой принадлежитъ имъ. Онъ—человѣкъ добродѣтельный, почтительный сынъ, храбрый воинъ, вѣрный слуга своему государю... Героини очерчены довольно ярко: страстная грузинка,

взявшая штурмомъ сердце героя, и дикарка, плѣнившая его своимъ великодушіемъ и возвышенностью чувства—образы, совсѣмъ различные. Султанская дочь совсѣмъ не обрисована въ повѣсти.

Психика героевъ раскрывается въ словахъ самого автора, а чаще въ разсказѣ самихъ дѣйствующихъ лицъ о состояніи ихъ души.

„Календеръ симъ происшествіемъ пораженъ былъ, какъ громовымъ ударомъ, но ужасъ его несравненно увеличился, когда онъ себѣ представилъ, что сіи варвары стремится на пораженіе того, кому торжественно клялись“ [1202].

„...ужасъ мой обратился въ совершенное отчаяніе, когда увидѣлъ я...“ [1203].

„...смущенное воображеніе мое представляло мнѣ, что, конечно, прельщенъ я мечтою“ [1204].

„Не страхомъ уже былъ я объятъ, но нѣкоторымъ, непонятнымъ для меня, родомъ окаменѣнія“. Я стоялъ неподвиженъ и, какъ бы, лишившись со всемъ чувствъ, ожидалъ съ равнодушіемъ...“ [1205].

Выражается „психика“ героевъ также въ „воплях“-„жалобахъ“, въ монологахъ, письмахъ [1206], страстныхъ рѣчахъ [1207]...

„Зачемъ я получилъ бытіе мое, говорилъ я въ изступленіи моемъ, самое естество противоборствуетъ мнѣ! щитъ закона не служитъ мнѣ покровомъ, страстный громъ и молнія грозятъ пораженіемъ, вѣтры и непогоды вездѣ меня преслѣдуютъ!..“ и пр.[1208].

„...все изчезло! счастіе, говорилъ я, богатство, пышность и честь, любезные родители и блаженная земля...“ и пр. [1209].

„въ глазахъ ея видно было совершенное отчаяніе“ [1210].

„Слезы“ и „обмороки“ [1211]—тоже показатели психики героевъ—

„языкъ ея немѣетъ; смятенная блѣдность покрываетъ лицо ея; потомъ возпослѣдовалъ жестокій обморокъ“ [1212].

Описаній „природы“ въ повѣсти очень мало, и всѣ они шаблонны. Напр.—„описаніе весны“:

„Въ пріятное время, когда лучезарное солнце, возвращаяся къ Экватору, прогнало жестокость зимы, и оживотворяло землю, птицы пѣніемъ предвозвѣстили пришествіе царя природы, и ароматическій воздухъ ознаменовалъ весну“ [1213].

Буря на морѣ налетаетъ внезапно—

„Вдругъ воздухъ покрылся тьмою и, громъ, послѣдуемый непрерывною молніею, произволъ въ Атмосферѣ ужасное возмущеніе“ [1214].

Стиль повѣсти отличается приподнятостью и витіеватостью. Дикарка, спасшая отъ сожженія героя, такъ говоритъ ему, въ отвѣтъ на его, шумно-выраженную, благодарность:

„Вы мнѣ ничемъ не должны, отвѣчала она,—я поступила такъ, какъ требовала моя должность, и сдѣлала оное для себя, а не для васъ; но однакожъ вижу, что, чрезъ сіе, пріобрѣла я ваше послушаніе, и потому прошу васъ не подвергать себя слабостямъ, недостойнымъ великой души и повиноваться священнымъ установленіямъ и должностямъ здѣшней земли“ [1215]

„любовь, увѣнчавши общія наши восторги, совершаетъ сіе восхитительное явленіе благополучнымъ концемъ“ [1216].

Субъективизмъ автора выражается восклицаніями—

„О, варварство! до какого бѣшенства человѣкъ, упоенный злобою простираетъ свои дерзости [1217].

Совершенно неожиданно, и безъ особой нужды, вплетено въ повѣсть политическое разсужденіе автора о беззаконіи тѣхъ войнъ, которыя ведутся правителями ради „блеска торжества шума завоеваній, безполезныхъ предпріятій и слѣпого стремленія счастія“ [1218].

Произведеніе это сплошь сплетено изъ шаблоновъ—„общихъ мѣстъ“,—потому трудно опредѣлить болѣе тѣсную связь его съ какимъ нибудь однимъ опредѣленнымъ романомъ этого типа.

Можно думать, впрочемъ, что отчасти литературная исторія этой повѣсти связана со „сказками 1001 ночи“: въ I-омъ и II-омъ томѣ этого сочиненія: „Тысяча и одна ночь, сказки Арабскія“—есть разсказъ „Исторія о трехъ Коландерахъ паревичахъ и о 5 женщинахъ багдадскихъ“ [1219]. Если между содержаніемъ связи и нѣтъ, то самое имя *Каландеръ*, быть можетъ, взято оттуда.

Наконецъ, къ разряду героическихъ любовныхъ повѣстей должны быть отнесены произведенія, въ которыхъ выведены дѣйствующими лицами русскіе люди, изображена русская историческая жизнь. Повѣсти эти слѣдующія: „*Гонима*“ [1220], „*Повѣсть о Гюродѣ*“ [1221], „*Добродѣтельная Розана*“ [1222], „*Громобой*“ [1223] и „*Роговольдъ*“.

Все это произведенія одного типа: дѣйствіе въ нихъ связано съ древней русской исторіей,—борьба русскихъ со степью представляетъ, въ большинствѣ изъ нихъ, ту рамку, въ которой развертываются любовныя исторіи.

Въ этомъ спискѣ два произведенія („Гонима“ и „Добродѣтельная Розана“) совершенно тожественны,—различіе только въ имени героини—очевидно, это два изданія одного и того же произведенія.

Содержаніе ихъ слѣдующее:

„Кн. Владиміръ дѣлами и именемъ ввелъ въ Россіи христіанское исповѣданіе вѣры“; этой и другими реформами онъ способствовалъ „исправленію нравовъ“, но все же грубости въ жизни русской много еще оставалось. Такъ, напримѣръ, упорнымъ язычникомъ былъ Злонравъ. „Его имѣніе состояло въ 10 хижинахъ, жители коихъ были собственными его крестьянами“. У него была дочь Розана (=Гонима); съ дѣтства она испытала „нерадѣніе родительское“; но отъ природы она была добродѣтельна; красавица собой, она была перенм-

чива ко всему хорошому и, между прочимъ, большая рукодѣльница: „Красота, самый лестный, но притомъ и весьма опасный даръ природы, которымъ Розана была награждена съ избыткомъ, можетъ почесться источникомъ всѣхъ несчастій, случившихся въ жизни сея, любви достойной, отроковицы". Однажды она гуляла въ рощѣ,—„препроводила половину дня въ сей рощицѣ, срывая цвѣтки и забавлялась, сплетая изъ оныхъ вѣнокъ". Потомъ, утомленная, она легла и заснула. „Природа, какъ будто нарочно, украсила то мѣсто, въ которомъ сія прекрасная дѣвица отдыхала: тѣнь древесъ защищала покоящееся ея лице и грудь отъ солнечнаго зноя, журчанье чистѣйшаго источника, соединенное съ пріятнымъ пѣніемъ птицъ, услаждало ея чувства, сну предающіяся; рѣзвящіеся зефиры летали вокругъ нея, удивлялись стройной ея красотѣ и, плѣнянсь прелестями, стократно цѣловали нѣжное лице ея и, тѣмъ самымъ, усугубляли пріятность сна сея дѣвы". Въ это время въ рощѣ охотился Любочестъ. Увидѣвъ спящую красавицу, онъ моментально въ нее влюбился. Въ это время она увидѣла его во снѣ,—„стыдливость, съ невинностью смѣшанная, тотчасъ видна была на покоящемся лицѣ ея". Сквозь сонъ протянула она ему вѣнокъ; онъ почтительно поцѣловалъ ея руку. Отъ этого поцѣлуя она проснулась, и съ удивленіемъ увидала передъ собой того, кого только что видѣла во снѣ. Розана была смущена, увидѣвъ себя одну съ незнакомымъ мущиною, и „съ невинною, но весьма пріятною, застѣнчивостью пресѣкла сіе молчаніе слѣдующими словами: „Государь мой! Какъ я не имѣю чести васъ знать, то и думаю, что вы извините меня въ томъ, ежели я васъ оставлю,—мое состояніе, полъ и возрастъ запрещаютъ мнѣ быть съ вами на единѣ!". Любочестъ проситъ ее остаться, говоритъ, что онъ хорошо воспитанъ и, наконецъ, открывается ей въ любви. На это Розана отвѣтила вздохомъ, что́ дало Любочесту смѣлость мечтать о взаимности. Онъ предлагаетъ ей руку и сердце. „Розана, видя столь честныя намѣренія, не могла воздержаться, чтобъ не изъявить ему всего того, что́ она къ нему чувствуетъ".

Долго пришлось Любочесту ждать слѣдующаго свиданія. Наконецъ, однажды Розана явилась и стала говорить, что имъ надо разлучиться, такъ какъ Любочестъ слишкомъ для нея знатенъ. „Нѣтъ, сударыня! воскликнулъ тотъ, я столь сильно прелестями вашего лица и благоразуміемъ вашего духа воспламененъ, что лучше соглашусь жертвовать моей горячности всею знатностію рода, которымъ судьба меня наградила,—лишиться всего на свѣтѣ, что́ можетъ возвысить меня между моими согражданами,—нежели потерять твое сердце: оно для меня драгоцѣннѣе всѣхъ благъ на свѣтѣ!.. Я клянуся тебѣ, и еще повторяю, что для пріобрѣтенія любви твоей, Розана, я соглашусь навсегда оставить городъ и жить въ отдаленной отъ всѣхъ людей пустынѣ, лишь бы съ тобою, дрожайшая Розана!" Онъ увѣренъ въ согласіи своего отца, такъ какъ и тотъ убѣжденъ, „что человѣчество не въ знатности рода состоитъ, но въ поступкахъ, достойныхъ человѣка".

Тогда Р. говоритъ о различіи религіи: „Я обожаю Перуна, отца боговъ и человѣковъ, и почитаю издревле Россіи покровительствующихъ, безсмертныхъ правителей небесъ... Я страшусь, дабы Лада, бо-

гиня любовнаго пламени, не поразила меня на семъ мѣстѣ мстительною своею десницею!"

Л. старается доказать ей ничтожество языческихъ вѣрованій. „Таковыя разсужденія Любочестовы поколебали все пристрастіе ко многобожію, обитающее въ мысляхъ Розаны". Затѣмъ Л. толкуетъ ей о троичности христіанскаго Бога: „напримѣръ, подъ именемъ Розаны и разумѣю одну тебя, дражайшая! однакожъ твое существо состоитъ изъ трехъ главныхъ частей, безъ которыхъ человѣкъ быть не можетъ, то есть—изъ души разумной, тѣла вещественнаго и духа жизненнаго... Подобнымъ образомъ и три лица Божества составляютъ одно только существо божества превѣчнаго". Затѣмъ онъ разсказывалъ ей о самопожертвованіи Христа. „Ахъ, какой любезный нашъ Богъ!" вскричала восхищенная Розана. Она сразу увѣровала въ Христа и призналась, что теперь ничто не мѣшаетъ ихъ свадьбѣ. Л. въ восторгѣ, что такъ легко обратилъ Розану къ православію.

Но свадьба ихъ была отложена, такъ какъ Любочеста послали съ войскомъ противъ Печенѣговъ. Разлука ихъ была трогательная. Розана загрустила. „Уже не унеселяло ее ничто,—все казалось погружено въ уныніе; нѣжные зефиры, отирающіе токи слезъ, изъ прінтныхъ очей ея катящіеся, усугубляли только лишь тоску рыдающей Розаны; жалобный стонъ ея раздавался среди кустовъ, украшающихъ сіе мѣсто; и журчаніе чистѣйшихъ струй повторяло вопль, изъ глубинѣ уязвленнаго печалью ея сердца исходящій.

Въ отсутствіе Любочеста Злоправъ рѣшилъ отдать дочь въ жены богатому старику Грубею. Розана рѣшительно этому противится, но Грубей утѣшаетъ ее и заигрываетъ съ ней; „его слова походили на нѣжную брань грубѣйшаго рода, какъ-то: „дурынушка! не стыдись, взгляни на будущаго твоего мужа!.. Экая улита, всетаки отворачивается... да добро привыкнешь!" Обмороки, монологи, отчаянье даже болѣзнь, „знобучка", и попытка лишить себя жизни,—ничто не помогло Розанѣ. Свадьба была назначена, и они отправились совершать обрядъ.

Между тѣмъ, Любочестъ прославился на войнѣ. И вдругъ, онъ узналъ, что Розана замужемъ. Горе его было безгранично; это извѣстіе придаетъ ему еще болѣе свирѣпости въ бою. Но извѣстіе оказалось преждевременнымъ: свадьба Розаны не состоялась: печенѣги, во главѣ съ княземъ Бурнорѣвомъ, напали на свадебный поѣздъ и увезли Розану въ степи, гдѣ ее держалъ въ своей кибиткѣ страстно въ нее влюбившійся Бурнорѣвъ. Слѣдуетъ любопытное описаніе степей и образа жизни кочевниковъ:

„Уже Бурнорѣвъ достигъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ кочующіе его товарищи подъ открытымъ небомъ грубую жизнь свою препровождали. Весьма обширная степь, не имѣющая ни лозы, на себѣ растущей, есть ихъ прибѣжище; войлочныя палатки, у нихъ „кибитками" называемыя, служатъ имъ защитою отъ непогодного времени; нечистота вездѣ и во всякой кибиткѣ у нихъ столь велика, что всякій грубѣйшій россійскій крестьянинъ почувствуетъ, оную видя, отвращеніе къ жилищамъ печенѣжскимъ; всегдашнее ржаніе ихъ лошадей составляетъ ушамъ скучную и несносную музыку; зажженныя кучи лошадиного кала, вокругъ и внутри

жилищъ, ихъ курятся непрестанно дымомъ, изъ нихъ исходящимъ, наполняютъ воздухъ и дѣлаютъ оный обонянію совсѣмъ непріятнымъ. Пища ихъ всего болѣе производила въ чувствахъ Гонимы отвращеніе, потому что она состояла изъ жареного мяса упалыхъ лошадей; и они съ большею жадностью и объяденіемъ пожирали сію мертвячину, нежели, когда они принуждены бываютъ, за неимѣніемъ падали, сами убивать скотину, говоря: „то де пріятнѣе, что бурханъ *) убилъ".

Розана долго упорствовала, противясь страсти Бурнорѣва; наконецъ, его печенѣги свергли и выбрали другого князя.

Розана была назначена наградой побѣдителю на джигитовкѣ. Слѣдуетъ перечень условій состязанія и описаніе его. Побѣдителемъ оказывается Челубей.

Такъ прошло шесть лѣтъ. Розана все время боролась со страстью Челубея. „Сколько онъ ни былъ нравомъ своимъ грубъ, однакожъ хотѣлъ горячность Розаны заслужить своимъ къ ней повиновеніемъ и ласкою". Наконецъ, видя неуспѣхъ, онъ рѣшился (на седьмой годъ!) прибѣгнуть къ насилію. „Вотъ минута, злѣйшая всего на свѣтѣ Розанѣ! однакожъ она вознамѣрилась лучше потерять жизнь свою, нежели драгоцѣнное дѣвство".

Какъ разъ въ этотъ моментъ появляется съ войсками Любочестъ. Печенѣги были разбиты въ бою. Свиданіе любовниковъ было трогательное. Розана приняла крещеніе, и они поженились...

Заключеніе повѣсти. „И такъ, сколь лютость участи ея ни была сурова, она, слѣдуя добродѣтели всечасно, достигла, наконецъ, и тѣхъ блаженныхъ дней, кои привели въ забвеніе всѣ ея несчастья".

Повѣсть эта—типичная „galante nouvelle", съ исторической подкраской подъ русскую исторію.

„Судьба" играетъ большую роль въ жизни героевъ: герои взываютъ къ „немилосердой судьбѣ"[1225], жалуются на „свирѣпость судьбы"[1226], на лютость рока, разящую ихъ нѣжную душу[1227].

„Судьба нарочно такъ сдѣлала, чтобы испытать мое постоянство"[1228]. „Судьба опредѣлила претерпѣть Розанѣ еще жесточайшія напасти"[1229] и др.

Герои очерчены давно знакомыми намъ чертами: оба они—прежде всего, вѣрные любовники, чувствительные, чистые, высоконравственные, хорошо воспитанные, „галантные" въ обращеніи... Онъ, кромѣ того,—доблестный витязь и, что̀ является особенно характернымъ, не имѣетъ генеалогическихъ предразсудковъ.

Психика героевъ раскрывается, опять таки, при помощи шаблонныхъ пріемовъ—при помощи „монологовъ"[1230] и „воплей"[1231], „слезъ"[1232] и „обмороковъ"[1233], а также, при посредствѣ самого автора, разсказывающаго читателю, что̀ происходитъ въ душѣ героевъ.

---

*) Сказываютъ, что они своего Бога такъ именовали. (Примѣч. автора повѣсти).

„Вдругъ онъ почувствовалъ, что сдѣлался вѣчнымъ плѣнникомъ незнакомой ему нимфы". „Вдругъ онъ почувствовалъ необыкновенное движеніе во всей своей крови и, взирая на предметъ, толь любезный, онъ таялъ отъ пламени" [1234] и др.

Выражается „психика" и при помощи внѣшнихъ признаковъ,— выраженія лица, мимики и жестовъ.

„Стыдливость съ невинностью смѣшенная, тотчасъ видна была на покоящемся лицѣ ея" [1235].

Описанія природы въ повѣсти шаблонны,—они своею слащавостью напоминаютъ картины изъ пастушескихъ идиллій. Напр.,—

„Въ одинъ день, когда прекрасное свѣтило начинало уже оживлять природу своимъ блескомъ и, разгнавши совершенно мракъ ночи, привлекало всякаго наслаждаться хорошимъ началомъ яснаго дня,..." [1236].

Къ характернымъ особенностямъ повѣсти относится субъективизмъ автора, вторгающійся въ изложеніе то въ видѣ патетическихъ восклицаній, то въ видѣ обращеній ихъ къ родителямъ, или къ дѣтямъ.

„внимайте жестокосердые родители! и познайте, сколь вы бываете несправедливы, когда требуете отъ дѣтей своихъ рабственнаго исполненія всѣхъ вашихъ повелѣній, не соображаясь ни мало, основываются ли приказанія ваши на правилахъ истинной добродѣтели" [1237].

„Я бы хотѣлъ знать, каково родителямъ взирать на подобный сему предметъ, будучи причиною онаго? безъ сомнѣнія,—несносно! такъ не надобно не радѣть о воспитаніи дѣтей своихъ, не должно съ варварскимъ жестокосердіемъ съ ними обходиться. Ихъ должность не то, чтобъ жертвовать дѣтьми грубому и жестокому своенравію своему, не рача еще при томъ и о наученіи ихъ добродѣтельному житію" [1238].

„Взирайте на сіе, о, чада! вотъ, сколь добродѣтельная душа презирщно подчинилась волѣ отца, когда она, несмотря ни на какія смутныя обстоятельства, наблюдаетъ уставы естественнаго права; но вы иногда ропщете на родителей своихъ, когда они преграждаютъ вамъ дорогу къ заблужденію..." [1239].

Наконецъ, что особенно интересно въ этой повѣсти—это попытка внести couleur locale (описаніе степи, быта кочевниковъ, джигитовка и бытовыя черты (рѣчь Грубѣя).

Въ *Повѣсти о Гиродѣ* разсказано о судьбѣ одного царскаго сына, попавшаго въ плѣнъ къ татарамъ.

„Мирадъ, царь великія Сибиріи, къ счастью сего народа, державствовалъ долгое время весьма благополучно, сохраняя блаженную тишину въ своемъ царствѣ; его кротость и добродѣтели столь народъ Сибирскій украшали, что всѣ подданные любили его несказанно и называли сего миролюбиваго Монарха красотою человѣковъ". Но счастье и тишина царства нарушены были „необузданною наглостью ордынцевъ".

„Одинъ Мамай *), вооруживъ немалое число войска, пустился въ Сибирь завоевывать ее. Мирадъ защищалъ свою страну „и, по многихъ сраженіяхъ, лишился жизни. Вдова его Владиса, „любя чрезмѣрно Мирада, не могла ничѣмъ утѣшиться“; видя, что враги приближаются къ столицѣ, „вознамѣрилась отмстить Мамаю смерть своего супруга: она собрала бояръ, въ „престольномъ градѣ находившихся“. Когда всѣ явились, „она представилась ихъ взору, погруженная въ слезахъ и держа на рукахъ своихъ двулѣтняго Герода,—единую отрасль Мирадова племени. Такое зрѣлище пронзило всѣхъ присутствующихъ вельможъ, и они вопль царицы усугубили своимъ плачемъ“. Владиса велитъ боярамъ отомстить смерть ихъ царя; обливаясь слезами, она говорила: „вотъ, сколь счастіе непостоянно!“... Она заклинала „омыть“ кровь Мирада кровью Мамая, заявляла, что сама съ Геродомъ пойдетъ въ бой... Слова царицы „воспалили всѣхъ сердца жаромъ воинскимъ“,—всѣ бились отчаянно,—и татары были разбиты, но исчезъ царевичъ Геродъ, „юный цвѣтъ отъ корене Мирадова произшій“.

Пораженная горемъ Владиса велѣла въ день гибели сына „закалать одного изъ чужестранцовъ, юношу прекраснаго на жертву обожаемой ею потери предъ жертвенникомъ Перуна“ 1240.

Между тѣмъ, Геродъ не былъ убитъ,—онъ попалъ въ плѣнъ и былъ воспитанъ однимъ татариномъ. Но, несмотря на многолѣтнее пребываніе съ татарами, Геродъ чувствовалъ къ нимъ инстинктивное отвращеніе. Побужденіе природы влекло „его обратить бѣгъ свой въ Сибирь“. Онъ прибылъ туда наканунѣ совершенія жертвы и, какъ чужеземецъ, былъ захваченъ, осужденъ въ жертву и заключенъ въ темницу. Владиса выбрала его для принесенія въ жертву Перуну.

„Но вотъ, что удивительно. Она, указывая на него, вдругъ почувствовала необычайное біеніе своего сердца, коему причины понять она не могла. Естество всегда имѣетъ тайный языкъ, которымъ даетъ случай всякому познать тотъ предметъ, который предъ глазами нашими находится“ 1241.

На шеѣ Герода нашли портретъ Мурада, и онъ былъ признанъ царевичемъ; Владиса признала его еще по знаку на пятѣ. Его вѣнчали на царство.

Въ повѣсти этой совсѣмъ не выразился эротическій элементъ, но повѣсть, несомнѣнно, героическая, авантюрная: доблестная царица-вдова, умѣющая воспламенить воиновъ къ битвѣ—образъ, напоминающій лѣтописную Ольгу съ маленькимъ Святославомъ на полѣ битвы—несомнѣнно, яркъ; патетическая рѣчь ея, жалобы на измѣнчивое „щастье“—(судьба)—все это пріемы, характерные для героической повѣсти.

Къ „общимъ мѣстамъ“ относится разсказъ о принесеніи въ жертву иноземцевъ, узнаніе пропавшаго ребенка по вещи и примѣтамъ.

---

*) Маман въ Ордѣ имѣли власть гораздо бо́льшую, нежели сами цари. (Примѣч. автора повѣсти).

Психика героевъ раскрывается всѣ тѣми же обычными пріемами—или словами самого автора; напр.—

„сонъ унылости, господствующій надъ всѣми воинами, обратился въ храбрость“ [1242].

— или въ рѣчахъ дѣйствующихъ лицъ.

Иногда авторъ своимъ субъективизмомъ уясняетъ для читателя состояніе души героевъ. Напр.—

„суди, благосклонный читатель, о горести, въ которую ввержена была Владиса столь гибельными обстоятельствами“ [1243] и др.

Повѣсть „*Громобой*“ тоже изображаетъ эпизодъ изъ борьбы русскихъ съ кочевниками.

Начинаетъ авторъ съ указанія тяжелыхъ историческихъ условій, въ которыхъ была русская земля въ царствованіе великаго князя Святослава, сына Игоря и блаженныя „Ольги“, когда „татары“ (sic) „печенеги“, „вятичи“, „хозары“ нападали на предѣлы русской земли. Однажды было ужасное нашествіе монголовъ.—

„Уже ярость ихъ погубила многія семейства: уже слабые поселяне должны были стонать подъ игомъ изверговъ; уже кровавыя рѣки текли по долинамъ; болѣзненные вопли восходили до небесъ“. Въ это время внезапно пріѣзжаетъ въ Кіевъ къ Святославу гонецъ, покрытый пылью. Онъ, отъ усталости, едва можетъ говорить. „Война!“ вскричалъ онъ, собравъ силы, „война! Отмстимъ! Татары умерщвляютъ нашихъ земляковъ!“

„Отмстимъ!“ воскликнулъ народъ, толпившійся при чертогахъ Государя. „Отомстимъ!“—вопятъ старцы, жены, дѣвицы. „Отмстимъ!“ въ одинъ гласъ вскричали воины—и со всѣхъ странъ окружили тѣсными рядами чертоги, какъ будто защитить и единодушно умереть за Царя своего желаютъ. У всѣхъ видны были въ рукахъ сверкающіе мечи; за хребтами висѣли колчаны, наполненныя острыми стрѣлами. Часъ отъ часу сгущаются непроницаемые строи ратниковъ. Тысячи ихъ копій подобны были дремучимъ скифскимъ лѣсамъ, сквозь густоту коихъ едва самыя легкіе туманы, въ вечеру съ низкихъ полей подымающіеся, пролетать могутъ.

Святославъ рѣшилъ предпринять походъ на крымскихъ татаръ; онъ посылаетъ гонцовъ во всѣ концы Россіи, звать князей въ походъ. Всѣ откликнулись на его призывъ; „всѣ начальники пріемлютъ оружіе своихъ предковъ. Они горятъ пламеннымъ желаніемъ поразить сопостатовъ. Соединяютъ подчиненныхъ своихъ ратниковъ и текутъ по знаменитому граду, яко дождеоносныя тучи по зыбкимъ небеснымъ, имѣя въ ребрахъ молніи и перуны“.

Когда всѣ собрались, Святославъ „далъ знакъ идти внутрь; самъже, уклоняясь на дебелое копье свое, какъ нѣкій Богъ войны при корнѣ древняго дуба, взираетъ на сомкнутыя ряды непобѣдимаго воинства. Громобой, одѣянный въ блестящую броню, зрѣлся при боку его, какъ пламенный столбъ“.

Слѣдуетъ описаніе вождей и войскъ, собравшихся къ Святославу.—

„Отважный Велесилъ, вождь Великогорскихъ войскъ, шелъ впереди искусно обученныхъ своихъ воиновъ, подобно грозному облаку во время бурнаго сраженія стихій. Дубовое копіе въ десницѣ его начертывало въ воздухѣ огненные круги. Стальной шлемъ, осѣняемый крылами большаго сокола, скрывалъ его страшное лицо. Густая борода, летающая по волѣ вѣтровъ, усугубляла важность его стана. Онъ шелъ гордо, яко левъ Африканскихъ лѣсовъ, и вращалъ всюду очи, какъ будто искалъ добычи, изощренному своему мечу".

„За нимъ шелъ Златовласъ: „нѣжная мать назвала его симъ именемъ по сходству власовъ его со златомъ". Онъ имѣлъ высокій, мужественный станъ и красивое лицо. Багряно-розовыя перья на шлемѣ колебались, подобно гибкимъ вѣтвямъ: долгіе кудри упадали по плечамъ. Осмiугольный щитъ изъ свѣтлой мѣди бросалъ всюду яркіе лучи. На немъ видѣнъ былъ орелъ, растерзывающій острыми когтями тигра и простирающій крылья надъ гнѣздомъ горлицъ, внизу-же надпись: „злыхъ укрощаю, невинныхъ щажу".

„За нимъ Исполинъ Главорубъ, во всю жизнь не знавшій ни ужаса, ни бѣгства. Воины его были страшны видомъ и вооружены тяжелыми палицами, окованными желѣзными гвоздями. Оружіе сіе было въ рукахъ ихъ смертоносно, ибо они не знали пощады. Они имѣли смуглыя лица, черные курчавые волосы, широкія плечи и сверкающіе очи. Одежда ихъ была твердая, непроницаемая,—кожа медвѣдей, убитыхъ ими въ Исаврійскомъ лѣсу.

Слѣдуетъ описаніе кровавой сѣчи и единоборства отдѣльныхъ вождей съ наиболѣе сильными вождями татаръ.

„Татары, увидѣвъ Россіянъ, заревѣли страшнымъ гласомъ, думая навлечь на нихъ робость; но, всегда къ побѣдамъ пріобыкшіе, Россы приняли ихъ съ неколебимымъ мужествомъ. Два войска сближаются, подобно грознымъ валамъ на морѣ, кои стремятся, ударяются, звучатъ и—разрушаются въ мелкія капли... Повсюду слышенъ стонъ сражающейся мѣди, видны летающіе по воздуху преломленныя копія, видна кровь, по дерну тысячью источниками извивающаяся".

Особенно отличался Громобой—

„Громобой въ сіе время ужаснѣе былъ Римскаго героя Нумы, когда онъ, покровительствуемый Церерою, побѣдилъ храбраго".

Побѣжденные татары на слѣдующее утро приносятъ русскимъ умилостивительные дары:

„Шелковыя Персидскія ткани, Арабскія лошади, драгоцѣнные камни, злато и серебро. Между сими дарами представилъ Мехметъ прекрасную Черкашенку Калханту. Она была прелестна, какъ зарею живописуемое утро: кротка, пріятна, какъ спокойный цвѣтъ луны во время мирной нощи. Каралловыя уста, розовыя ланиты, лилейное чело; дыханіе слаще весеннихъ вѣтерковъ; черныя огненныя очи, зіяющія пламенемъ любви,—такова была красавица! Она приближилась

къ Святославу, пала къ ногамъ его... и стыдливый румянецъ покрылъ ея щеки... Герои всѣ влюбились въ красивую плѣнницу; возникъ между ними споръ: кому владѣть ею. Святославъ приказалъ дать ее тому, кто сдержитъ на бѣгу разъяреннаго вола.

И вотъ,—

„Четверо сильныхъ воиновъ приводятъ вола, опутаннаго вервіемъ. Пыль подъемлется столпомъ изъ подъ копытъ его; ноздри пламя испускаютъ; извивающійся хвостъ съ шумомъ ударяется о его ребра, и страшный ревъ исходитъ изъ устъ его, точащихъ пѣну".

Изъ этого состязанія Громобой вышелъ побѣдителемъ, и красавица была присуждена ему.

„Калханта посмотрѣла на побѣдителя. Она, узрѣвъ его младость, благородную осанку, пріятное лице, возлюбила его равномѣрно. Потупивъ очи, съ трепетомъ подала ему свою руку, бѣлизною подобную пѣнѣ рѣки Днѣпра".

Громобой былъ счастливъ съ Калхантой; у нихъ—сынъ Звениславъ, „единый плодъ горячей ихъ любви, котораго они воспитали, какъ будущаго героя: онъ умѣлъ искусно дѣйствовать копіемъ, бросать дротикъ и на лету пускать стрѣлы въ быстролетящихъ птицъ".

Такова эта повѣсть-этюдъ, принадлежащая къ разряду историческихъ героическихъ повѣстей. Сравненіе „Громобоя" съ Нумой (выше, стр. 471) указываетъ намъ ясно, какой герой былъ образцомъ для автора *).

Въ повѣсти разбросаны описанія природы:

„Тогда мрачная нощь разстилала черную свою одежду по влажнымъ равнинамъ и холмамъ; рѣка, медленно протекая между песчанныхъ береговъ, казалось, засыпала".

„На темносиней тверди явилась луна и освѣтила палевыми лучами блѣдныя лица умершихъ героевъ" 1244.

„Судьба" не фигурируетъ совсѣмъ въ этомъ „очеркѣ", въ которомъ, въ сущности, нѣтъ авантюръ. Только попытка внести историческій элементъ, нѣкоторые незначительные слѣды псевдоклассицизма и наличность преціозности заставляютъ эту повѣсть относить къ разряду псевдоклассической героической повѣсти.

Сравнительно позднее появленіе въ свѣтъ этой повѣсти приблизило ее къ пріемамъ письма новой сентиментальной повѣсти; такъ, въ описаніи ночныхъ пейзажей чувствуется уже вліяніе „пѣсней Оссіана". Въ описаніи русскихъ героевъ—несомнѣнно, сказалось вліяніе рыцарскихъ поэмъ Аріосто, Боярдо, отчасти, быть можетъ, Чулкова, Попова и подобныхъ (о нихъ подробно см. ниже въ главѣ VI).

---

*) Авторъ имѣлъ въ виду, очевидно, романъ Флоріана: „Нума Помпилій", въ которомъ герой этотъ изображенъ отважнымъ воиномъ.

Повѣсть Нарѣжнаго: „*Рогвольдъ*“ тоже представляетъ собою „историческій“ и „психологическій“ этюдъ изъ жизни князя Владимира. Начинается повѣсть такъ:

„Ночь была свѣтлая. Майская луна величественно освѣщала лазоревое небо. Полоцкъ находился въ глубокомъ покоѣ,—войско Владимирово въ безмолвіи возлежало на обширныхъ поляхъ его. Одинъ Владимиръ, обладавшій тогда пространнымъ сѣверомъ, исполненъ мрачныхъ мыслей, простеръ по полю косвенныя стопы свои“.

Его мучитъ „раскаянье“ за то несправедливое отношеніе, которое онъ, побѣдитель, только что проявилъ къ побѣжденному Полоцку,—онъ живо представлялъ себѣ „горесть, стенаніе и самую смерть Рогвольдовой фамиліи и паденіе цѣлаго царства Полоцкаго“, происшедшее по его винѣ.

„Таковыя мечтанія смущали душу сѣвернаго героя; вздохи тѣснились въ груди его — и Монархъ полунощи терзался въ своемъ духѣ! Глядя на Полоцкъ, покрытый „синими туманами“ ночи, князь ходилъ по берегу рѣки, — и очутился около какой-то гробницы. „Священный трепетъ, вѣстникъ сердечнаго благоговѣнія, быстро разлился въ жилахъ Княжескихъ...“ Вдругъ у гробницы увидалъ онъ „сѣдого старца, блѣднаго, какъ осенняя луна, тощаго, какъ изсохшій тростникъ“. Изъ происшедшей бесѣды Владимиръ узнаетъ, что передъ нимъ свергнутый имъ съ княжескаго престола бывшій князь Полоцкій—Рогвольдъ. Онъ не узнаетъ Владимира, и жалуется ему на свою участь, на несправедливость побѣдителя-Владимира. Не открывая себя, кіевскій Князь волнуется и пытается старцу доказать, что Владимиръ самъ несчастливъ отъ своей побѣды, что его мучитъ совѣсть... Рогвольдъ именуетъ собесѣдника „рыцаремъ“, и подробно разсказываетъ, какъ онъ былъ прежде счастливъ, какъ жилъ богато, какъ у него при дворѣ бывали прежде „состязанія рыцарей“,—жалуется на „грозную десницу судьбы“, на „твердую деку предопредѣленія“, на безсиліе человѣка... Владимиръ продолжаетъ увѣрять старца, что „горесть, скорбь и раскаянье, какъ адскія фуріи, терзаютъ его (Владимира) сердце, что онъ ни минуты не былъ спокоенъ съ тѣхъ поръ, какъ несправедливая судьба вручила ему побѣду надъ Рогвольдомъ. Но старецъ неутѣшенъ,—онъ призываетъ на голову Владимира „молніи Перуновы и волны Царя Морского“...

Въ этомъ небольшомъ отрывкѣ намѣчены всѣ элементы героической повѣсти: здѣсь и власть „судьбы“, и „рыцарскіе турниры“, и раскрытіе психики героевъ „по старому“, при помощи разсказа автора,—и наоборотъ. Герой представленъ сентиментальнымъ меланхоликомъ-мечтателемъ. Только въ описаніи природы встрѣчаемъ мы новые пріемы: вліяніе оссіановскихъ пейзажей сказалось въ пользованіи автора туманными, лунными эффектами, обстановкой гробницъ и таинственными старцами...

Всѣ разобранныя мною повѣсти, несомнѣнно, представляютъ большой интересъ,—это все, такъ сказать, „пробы пера“—„эмбріоны“ русскаго историческаго романа, выросшіе у насъ на

почвѣ подражанія героической повѣсти запада. Лишь съ романа Карамзина: „*Марѳа Посадница*“ начинается уже исторія нашего историческаго романа. Выше (стр. 289—290, 296, 308, 309) мнѣ приходилось говорить объ элементахъ исторической повѣсти въ героическомъ псевдоклассическомъ романѣ,—разобранныя русскія повѣсти всѣ относятся къ этому же разряду произведеній.

Maigron въ своемъ цѣнномъ изслѣдованіи[1245] опредѣляетъ въ историческомъ романѣ до-романтической эпохи два теченія: идеалистическое и реалистическое *) (le courant idéaliste и le courant réaliste). Всѣ разобранныя русскія повѣсти должны быть отнесены къ первой группѣ этого историческаго романа—*идеалистической*, употребляя терминъ Maigron'а: даже историческія лица въ нихъ приподняты надъ дѣйствительностью, стилизованы, освобождены отъ тѣхъ случайныхъ индивидуальныхъ чертъ, въ которыхъ сказывается couleur historique **).

Какъ примѣръ идеализаціи историческихъ лицъ, Maigron приводитъ длинныя выдержки изъ романа: „Mémoires secrets de la cour de Charles VII, Roy de France“, гдѣ выведена, между прочимъ, Жанна д'Аркъ.

Вотъ, какими чертами изображается ея наружность:

„Sa beauté étoit si éclatante, sa mine si haute, toute sa personne, respiroit une si parfaite pureté que toute la Cour en fut charmée; plus d'un jeune coeur fut blessé du brillant de ses yeux“.

Maigron далѣе такъ характеризуетъ ея роль въ романѣ:

„Elle forme tout de suite avec le Bâtard une de ces amitiez pures et sincères, qui sont plus durables et presqu'aussi douces que les passions et qui n'en ont point les défauts“. Un jour „dans une prairie“ le Bâtard qui est malheureux en amour, confie à Jeanne ses chagrins: „elle le plaignit en tendre amie de la perte de ses espérances, et ces deux personnes dont l'une brûloit d'amour et dont l'autre étoit soûtenue par la piété, dirent en cette occasion tout ce que l'amitié la passion et la vertu peuvent faire

*) „Comme il est essentiel de fixer et de préciser le sens d'un terme d'autant qu'il est plus flottant et plus vague, nous appelons (faute d'un mot plus clair et surtout plus simple) *idéalistes* les écrivains, qui altèrent systématiquement l'histoire, moins soucieux de la décrire dans sa *réalité*—que d'après *l'idée*, plus ou moins fausse, qu'ils ont pu s'en faire et qui dans le mensonge ou la faiblesse générale, sont un peu plus faibles ou un peu plus menteurs. On remarquera que ce n'est pas tout à fait le sens qu'y attache M. Koerting dans son ouvrage (*Geschichte des französischen Romans im* XVII *Jahrhundert*. Leipz. 1885), dont le premier volume est l'histoire du roman *idéaliste*, le second—l'histoire du roman *réaliste*“. (Maigron).

**) Единственнымъ исключеніемъ являются въ первой изъ разобранныхъ повѣстей черты couleur locale (жизнь кочевниковъ).

penser de plus touchant". L'histoire de son ami écoutée, Jeanne commence la sienne. Elle a lu beaucoup tout en gardant ses troupeaux et en triomphant des loups. C'est une fille d'esprit aussi bien que de coeur. Un jour, en pleine campagne, Baudricour, Gouverneur de Vaucouleurs, se présente à elle: il voudrait „recevoir de ses visites", et, en attendant, il commence par multiplier les siennes. Retirée dans son „hermitage", la jeune fille entend une voix; mais ce ne sont pas ses saintes qui lui parlent. „C'est à vous, que j'adresse mes voeux, vous seule pouvez donner remède aux maux que je souffre! permetez que je ne me releve point que je ne sçache de votre bouche le sort que je dois attendre. „Cette prière me surprit..." continue Jeanne. La surprise était légitime: c'était le Gouverneur, habillé en berger!" [1247].

Приведенная выдержка прекрасно характеризуетъ тѣ пріемы, которыхъ придерживались романисты-историки „идеалистическаго направленія", когда имъ приходилось изображать историческихъ дѣятелей: идеализація и эротическое содержаніе—непремѣнныя условія творчества этой школы, и, въ этомъ отношеніи, русскіе писатели, испытавшіе свои силы на этомъ поприщѣ, вѣрно слѣдовали по пятамъ за своими западноевропейскими учителями.

Отсюда та крайняя идеализація древней русской жизни, съ которой мы встрѣтились во всѣхъ приведенныхъ выше русскихъ повѣстяхъ.

Къ разряду произведеній, въ духѣ повѣстей Лафайетъ, относятся въ русской литературѣ два сочиненія,—одно анонимное: „*Четыре года жизни княгини К*, или образецъ супружеской вѣрности*" [1248]—и повѣсть Н. М. Карамзина: „*Юлія*" [1249].

Содержаніе перваго произведенія слѣдующее:

„Седмь лѣтъ уже прошло, какъ Князь и Княгиня К** соединены были бракомъ". Они все это время жили счастливо: „взаимная нѣжность составляла счастіе ихъ жизни". „Князь имѣлъ всѣ свойства любви достойнаго мужа, а Княгиня все то, что можетъ быть лестно для супруга". У нихъ былъ сынъ, который ихъ радовалъ. Словомъ, счастье ихъ не было ничѣмъ омрачено, но „нечаянной случай доказалъ, что въ здѣшней жизни нѣтъ счастія безъ помѣхи, нѣтъ пріятства безъ горести". Княгиня была набожна, посѣщала церковь и каждый годъ говѣла. „Въ среду страстной недѣли, въ пятомъ часу по полудни" она поѣхала на исповѣдь. Исповѣдывалась послѣдней и потому говорила громче обыкновеннаго, полагая, что никого въ церкви не было. Въ церкви было темно. „Одна только свѣча горѣла предъ иконою". Въ это время пріѣхалъ въ церковь Князь и, къ ужасу своему, услышалъ компрометтирующія признанія своей жены... Онъ убѣдился, что жена ему невѣрна... „Гнѣвъ его, не взирая на святость мѣста, доходилъ до такой степени, что онъ уже не могъ воздержаться и схватилъ свою шпагу, какъ вошелъ дьячекъ съ ключами". Князь овладѣлъ

собой, уѣхалъ домой и рѣшилъ больше никогда не видѣть жены. „Сердце его терзаемо было силою любви его и желаніемъ отмщенія. Никогда не чувствовалъ онъ столько нѣжности къ супругѣ своей, какъ въ ту самую минуту, когда желалъ ее ненавидѣть; и внутренняя борьба, происходившая въ сердцѣ его, причиняла ему нестерпимое мученіе". Онъ уѣхалъ въ деревню, задѣлалъ желѣзными рѣшетками двѣ комнаты въ домѣ и спѣшно вызвалъ туда жену. Полная недоумѣнія, повиновалась она его письму, удивленная суровымъ его тономъ. „Увидя мужа, примѣчаетъ насмурность на лицѣ его. Сожалѣніе и нѣжность извлекаютъ слезы изъ глазъ ея. „Ахъ! что тебѣ сдѣлалось, другъ мой!" говорила она, подходя къ нему и желая его обнять". Князь пришелъ въ ярость, примѣтя чистосердечіе и невинность, изображенныя на лицѣ ея. „Вы—чудовище, говорилъ онъ; притворная ваша невинность меня не обманетъ! вотъ—тюрьма ваша!" Безпрекословно пошла княгиня въ заключеніе, но только напомнила, что она беременна на пятомъ мѣсяцѣ: „ты и не думаешь, Князь, пощадить младенца, котораго я ношу подъ сердцемъ?" Эти слова еще больше взбѣсили князя. Княгиня была заключена. Первое время она ничего понять не могла, потомъ стала мучиться и плакать... „Первыя слезы проливала она за супруга своего: „онъ меня почитаетъ виновною, говорила она сама себѣ: „онъ меня не любитъ... О, какъ онъ жалокъ!.." Потомъ она стала оплакивать судьбу своего ребенка, котораго отвергъ его отецъ... Нѣсколько дней волновалась она; наконецъ, вооружившись любовью и вѣрой, „предала волѣ Божіей судьбу своего супруга, свою собственную участь и дѣтей своихъ, и тогда рѣшилась терпѣливо сносить всѣ страданія, будучи увѣрена, что Провидѣніе Божіе управляетъ всѣми случаями въ жизни нашей и обращаетъ ихъ къ пользѣ нашей временно, или вѣчно". Скучно потянулись дни заключенной. Гулять ее не выпускали; пищу подавали черезъ окно; никого къ ней не пускали... Беременной княгинѣ самой приходилось убирать свою постель и комнату... Терпѣливо сносила она все, ничего отъ мужа не требуя, ни на что не жалуясь, но ронща...

Между тѣмъ, и князь не находилъ себѣ покоя: „душа его мучилась попеременно печалію, скукою, жалостію, гнѣвомъ, любовію и мщеніемъ... Онъ не могъ изъяснить, что чувствовалъ къ супругѣ своей. Вспомня кротость, терпѣніе, спокойствіе, съ каковымъ она сносила его упреки, находилъ себя жестокимъ; но, вспомня слова, которыя она выговаривала своему духовнику, почиталъ себя слишкомъ милостивымъ". Онъ рѣшилъ держать ее взаперти въ продолженіе всей ея жизни. Разъ въ мѣсяцъ онъ пріѣзжалъ въ деревню, и самъ, не переговоря съ виновной супругой, приказывалъ ей доносить, что онъ пріѣхалъ, и „голосъ ея, когда она отвѣчала, трогалъ его сердце и причинялъ ему особенную радость, которая тѣмъ и кончилась". Она ничего не просила и спрашивала только о сынѣ, „и, когда ее о томъ увѣдомляли, то, вздыхаючи, отходила". Передъ родами она просила у мужа разрѣшенія поговорить съ нимъ,—онъ отказалъ ей; она просила бумаги, чтобы ему написать,—онъ не позволилъ давать ей бумаги. Тогда она на платкѣ вышила слѣдующее письмо, трогательное своею простотою, задушевностью, искренностью: „я приближаюсь къ родамъ, любезнѣйшій другъ; можетъ быть, рожденіе младенца будетъ конецъ моей

жизни. Кто-нибудь, завидуя нашему счастію, захотѣлъ клеветою разрушить оное; но истина не всегда скрыта будетъ, — рано, или поздно обнаружится она въ полномъ своемъ блескѣ. Тогда сердце твое терзаемо будетъ прискорбнымъ раскаяніемъ и мучительными упреками. Каково-же будетъ тогда твое положеніе?.. Особливо, когда и буду въ могилѣ и не въ состояніи тебя утѣшать?.. Въ ту страшную минуту все обнаружится. Тогда, любезный князь, занимайся только причиною, побудившею тебя къ тому; но не думай о томъ, какимъ образомъ ты со мною поступилъ... Я терплю; но не потеря свободы, а потери сердца твоего меня трогаетъ. Однакожъ и самая суровость твоя для меня пріятна: гнѣвъ твой служитъ мнѣ доказательстномъ въ твоей любви; чѣмъ онъ сильнѣе, тѣмъ болѣе чувствую я, что ты меня любилъ. Таковое увѣреніе услаждаетъ мои страданія. Какъ славно будетъ для меня то, когда я доживу до того времени, въ которое ты, вышедъ изъ твоего заблужденія, скажешь мнѣ, что и твердостію моею оправдала твою любовь! Какое мужество придаетъ мнѣ такая надежда! И такъ, любезный мужъ, въ разсужденіи меня ты никогда не будешь мучиться раскаяніемъ; но старайся избавиться отъ другого раскаянія: младенецъ, котораго я рожу, принадлежитъ тебѣ; въ томъ клянусь тебѣ всѣмъ, что есть свято!.. Я трепещу, вспоминая послѣднія твои слова о томъ; знаю твое сердце; естьли ты лишишь его твоей родительской любви, то какія муки приготовишь ты себѣ!.. Какъ я сожалѣю о тебѣ уже теперь! по крайней мѣрѣ, естьли ты пребываешь въ своемъ заблужденіи, то будь столько человѣколюбивъ, чтобъ пощадить невинное твореніе, которое ты, рано или поздно, признаешь своею кровью. Позволь мнѣ здѣсь представить тебѣ о надобностяхъ моихъ. Беременность дѣлается мнѣ тягостью,—цѣлую недѣлю ложусь я спать на неопрашленную постель. Когда не смѣю просить тебя изъ любви, то прошу, чтобъ ты изъ милосердія далъ мнѣ кого-нибудь, ктобъ могъ мнѣ прислуживать въ томъ, чего я сама дѣлать не въ состояніи. Также прошу тебя приказать подать мнѣ при родахъ нужную помощь. Прости! цѣлую тебя".

Князь не читалъ этого письма и отвѣтилъ коротко и рѣзко, назвавъ жену „хитрой выдумщицей", упомянувъ объ ея любовникѣ... Княгиня „печалилась, вздыхала и рѣшилась молчать, предавъ себя во всемъ во власть Божію". Черезъ третье лицо повторила княгиня свою просьбу о прислугѣ и о повивальной бабкѣ. Князя тронула эта просьба, — онъ „почувствовалъ сожалѣніе и нѣжность къ княгинѣ" — онъ исполнилъ эти ея скромныя желанія, но видѣть ея по прежнему не пожелалъ. Княгиня родила дочь; ребенка у нея взяли. Княгиня и это снесла: она взяла дочь на руки, „расцѣловала ее и плакала, послѣ чего отдала ее, не говоря болѣе ни слова". Ребенка отдали на воспитанье въ деревню, въ простую мужицкую семью". Князь послалъ записку женѣ такого содержанія: „Прошу васъ, сударыня, написать здѣсь имя отца вашего младенца; а я не хочу, чтобъ онъ моимъ именемъ назывался". Княгиня отвѣтила просто и сдержанно: она написала его имя и прибавила: „вотъ—имя отца моего младенца—имя человѣка, мною любимаго, котораго я всегда одного любила, во всю жизнь любить буду, и котораго никогда не обманывала"... Отвѣтъ этотъ

тронулъ князя, но онъ все упорствовалъ въ своемъ жестокомъ желаніи оскорблять и мучить жену...

Священникъ побѣдилъ упорство князя, и онъ далъ свое имя ребенку, сохраняя честь княгини и свою собственную. Прошло нѣсколько лѣтъ. Росъ ребенокъ въ бѣдной деревнѣ, и князь ни разу не взглянулъ на него.

Даже простые люди осмѣливались заступаться за княгиню передъ ея мужемъ: жена прикащика говорила ему смѣло, что княгиня „по своему терпѣнію и кротости, кажется ангеломъ. Печаль ее сокрушаетъ, и тутъ она ни слова противъ васъ не говоритъ; но еще напротивъ,—когда я жалѣла иногда объ ней, говорила она мнѣ: „не жалѣй обо мнѣ, а жалѣй о мужѣ моемъ; онъ терпитъ болѣе, нежели я"...

Прошло три года и три мѣсяца. Изъ заграницы вернулся братъ княгини. Онъ былъ пораженъ извѣстіемъ о происшедшемъ: онъ вѣрилъ въ добродѣтель своей сестры, но не могъ не вѣрить и честности ея мужа, котораго любилъ и уважалъ. Въ концѣ концовъ, онъ сталъ на сторону князя, „одобрилъ его поступокъ и считалъ, что за такое оскорбленіе еще мало наказываетъ; но, любя сестру свою, изъ сожалѣнія къ ней, оплакивалъ судьбу ея". Между тѣмъ, князь все мучился внутренней борьбой,—онъ признавался, что „всегда" думаетъ о своей супругѣ, что ее и любитъ, и ненавидитъ, обожаетъ и презираетъ, и что сердце его безпрестанно терзается"... Брату хотѣлось выручить сестру изъ заточенія; онъ думалъ, что ей будетъ лучше жить въ какомъ-нибудь монастырѣ: „будучи воспитана въ истинномъ благочестіи—думалъ онъ,—конечно, есть еще въ ней добрыя сѣмена, изъ которыхъ всѣ добродѣтели въ сердцѣ ея опять произрастутъ".

Совершенно случайно встрѣтясь съ духовникомъ жены, князь изъ разговоровъ съ нимъ, убѣдился въ своей ошибкѣ: онъ узналъ, что княгиня, во время исповѣди, говорила не о себѣ, а о своей горничной, которая была въ любовной связи... Радость и отчаяніе овладѣли сердцемъ князя,—онъ сталъ торопиться въ деревню... Только теперь прочелъ онъ письмо жены, вышитое на платкѣ... „Оно еще умножило мученіе князя, которой былъ такъ жалокъ, что шуринъ его, вмѣсто упрековъ—утѣшалъ его и успокаивалъ. Но князь былъ неутѣшенъ—вздыхалъ, плакалъ и рыдалъ, не говоря ни слова. Изрѣдка только восклицалъ онъ: „о моя супруга! обожанія достойная супруга!.. Какая добродѣтель!.. Какое терпѣніе!.. Какая кротость!"

Между тѣмъ, княгиня волновалась мыслями о мужѣ,—онъ пропустилъ тотъ срокъ, въ который, обыкновенно, точно пріѣзжалъ въ деревню. Она стала безпокоиться. „Она думала только о супругѣ своемъ. Ложась спать, воображала она его,—и сердце ея преисполненно было любви и жалости къ нему. Въ первомъ снѣ своемъ кажется ей, что онъ ее зоветъ. Она пробуждается, слушаетъ; не слышитъ ничего, ложится опять и засыпаетъ... Въ полночь опять думаетъ она, что слышитъ его голосъ... На разсвѣтѣ въ третій разъ слышится ей голосъ супруга..." Она волнуется, безпокоится,—злыя предчувствія ее мучатъ... На зарѣ она встала и ждала звонъ колокольчика... И она услышала этотъ звонъ,—всю ночь мчался князь къ своей женѣ: „духъ его почти отдѣляется отъ тѣла, чтобъ упредить его"... Онъ вбѣгаетъ въ комнату, бросается молча къ ея ногамъ и ры-

даетъ, „не говоря ни слова“... Потомъ онъ приказываетъ сейчасъ-же уничтожить всѣ рѣшетки, имъ воздвигнутыя, но княгиня проситъ ихъ оставить—ей дороги сдѣлались эти комнаты, „гдѣ онъ возвратилъ ей сердце свое и черезъ три года и семь мѣсяцовъ въ первой разъ обнялъ ее“... Ничего не зная о судьбѣ своей дочери, княгиня, боится спросить о ней мужа, чтобы не усилить его горя, — она не увѣрена даже, жива ли ея дочь. Князь „съ восхищеніемъ и стыдомъ принималъ ея ласки и признавался, что онъ—счастливѣйшій человѣкъ, имѣя такую супругу, но чувствуетъ, сколько не достоинъ ея“. Князь поѣхалъ въ деревню за дочерью; онъ находитъ дочь здоровой, „съ прекраснѣйшимъ личикомъ, со всѣмъ его портретомъ (sic), въ крестьянской одеждѣ, въ лапоткахъ и въ рукѣ кусочикъ чернаго хлѣба“. Она встрѣчаетъ его, крича ему: „тяти, тяти!“. Въ порывѣ радости князь сыпалъ деньги на всѣ стороны — воспитателямъ дочери, бѣднымъ... И кусочекъ чернаго хлѣба, который былъ въ рукѣ его дочери, и лапочки ея, и худое „платьишко“—свято сохранилъ князь. Княгиня о прошломъ говорить съ княземъ никогда не хотѣла, и счастливо потекла ихъ жизнь...

Неподдѣльной правдой жизни вѣетъ отъ этой маленькой трогательной повѣсти – и, тѣмъ не менѣе, она не носитъ характера „мемуаровъ“,—она—литературное произведеніе, свободное отъ манерности, литературной искуственности; нѣтъ въ ней наноса ни псевдоклассическаго, ни сентиментальнаго,—художественный реализмъ XIX-го столѣтія вступаетъ здѣсь въ свои права...

Свѣтлый образъ героини-христіанки, напоминающей образъ ричардсоновской Памелы, весь проникнутъ чувствомъ любви и всепрощенья: передъ нами, въ этомъ образѣ, воплощенъ героизмъ „смиренія“—черта, которая хорошо знакома русской поэзіи: она то мелькаетъ въ житіяхъ и сказаніяхъ древней Руси (напримѣръ, въ „сказаніяхъ объ Юліаніи Лазаревской“), то вдругъ проявится въ изящной литературѣ XIX в. (у Пушкина въ образѣ Маши Мироновой, у Тургенева—въ чертахъ Лизы Калитиной, у Некрасова—въ его „русскихъ женщинахъ“, у Л. Толстого—въ Маріи Болконской).

Въ рѣчахъ княгини, въ ея письмахъ, въ ея поступкахъ,—въ самой ея пассивности много скрытой мощи: она гораздо богаче силою, чѣмъ ея супругъ, метущійся отъ сентиментальнаго прекраснодушія къ дикому деспотизму, въ духѣ стараго Домостроя... Она все время жалѣетъ его, своего мучителя,—и въ этомъ сверхчеловѣческомъ, но правдивомъ, безыскуственномъ альтруизмѣ—ея оружіе, съ которымъ не справиться никакой физической силѣ! Непоколебима въ ней и любовь къ мужу, и вѣра въ Бога.

Правдиво очерченъ и герой повѣсти, князь К*; рисуя его, авторъ былъ въ опасности изобразить мелодраматическаго любовника, но отъ этой опасности онъ избавился, изобразивъ несча-

стнаго человѣка,—незлого, порывистаго, неуравновѣшеннаго,—жертву слѣпой страсти, ревности и отчаянья... Авторъ сумѣлъ заставить читателя пожалѣть этого сентиментальнаго деспота. Удивительно сильна сцена раскаянія, когда князь, полный стыда и горя, падаетъ на колѣни передъ женой, „не говоря ни слова". Это „не говоря ни слова" гораздо сильнѣе всѣхъ тѣхъ искусно-построенныхъ, напыщенныхъ, но холодныхъ, хотя и патетическихъ монологовъ-воззваній и „воплей", которые встрѣчались намъ въ старыхъ романахъ.

„Судьба" ниразу не упоминается въ повѣсти,—только въ началѣ говорится о власти „случая" въ жизни человѣка,—это, тотъ hasard, который уже у Лафайетъ, въ ея психологическихъ романахъ, сталъ вытѣснять прежде всесильную „судьбу".

Психика героевъ раскрывается „по старому"—въ разсказѣ самого автора,—и по новому: героиня говоритъ, пишетъ, дѣйствуетъ,—и читателю предоставленъ пріятный и полезный трудъ всматриваться въ нее, вдумываться и, мало по малу, уяснять себѣ сокровенные изгибы ея души.

Литературная исторія этой любопытной повѣсти вполнѣ ясна,—она представляетъ собою руссификацію одного переводнаго французскаго произведенія, существующаго въ русскомъ переводѣ въ сборникѣ: „Анекдоты любопытные о любви супружеской" [1250].

Содержаніе обоихъ произведеній близко до мелочей. Сопоставляю, для примѣра, начало и конецъ обоихъ произведеній.

„Анекдоты".	*„Четыре года"*.
Начало:	
„Семь лѣтъ тому было, какъ Маркизъ и Маркиза де Плери были связаны союзомъ супружества: они жили въ величайшемъ согласіи,—взаимная нѣжность „составляла" пріятность ихъ жизни" [1251].	„Седмь лѣтъ уже прошло, какъ князь и княгиня К*** соединены были бракомъ. Во все это время жили они въ совершеннѣйшемъ согласіи, и взаимная нѣжность составляла счастіе ихъ жизни" [1252].
Конецъ:	
„Съ сея минуты дитя сдѣлалось своимъ родителямъ любезнѣйшимъ. Маркиза называла ее *любезною ссылочною*, но Маркизъ не произносилъ такихъ словъ, чтобъ не чувствовалъ въ душѣ своей возрождающагося сильнѣйшаго чувствованія нѣжности и любви какъ дочери, такъ и супругѣ" [1253]...	„Съ того времени это дитя сдѣлалось любимицею отца и матери. Князь называлъ ее своею милою изгнанницею, и никогда не говорилъ это слово безъ чувствованія любви и нѣжности къ супругѣ и дочери" [1254].

Привожу еще мѣста изъ того письма, которое вышито было обѣими героинями на ихъ платкѣ...

Анекдоты.

„Я беременна девятой мѣсяцъ; можетъ быть, что рожденіе младенца будетъ концомъ моея жизни. Какой-нибудь недоброжелатель нашего благоденствія пожелалъ разстроить нашу жизнь ссорою“ [1255]...

„Да будетъ мнѣ позволено здѣсь объяснить тебѣ свои нужды: моя беременность мнѣ дѣлается тягостною,—уже тому съ недѣлю, какъ я сплю на непочиненной кровати; не смѣя просить твоея нѣжности, прошу твое снисхожденіе—дать мнѣ кого-нибудь, кто бы мнѣ служилъ“ [1257].

Четыре года.

„Я приближаюсь къ родамъ, любезнѣйшій другъ; можетъ быть, рожденіе младенца будетъ конецъ моей жизни. Кто-нибудь, завидуя нашему счастью, захотѣлъ клеветою разрушить оное“ [1256]...

„Позволь мнѣ здѣсь представить тебѣ о надобностяхъ моихъ. Беременность дѣлается мнѣ тягостною: цѣлую уже недѣлю ложусь я спать на неоправленную кровать. Когда не смѣю просить тебя изъ любви, то прошу, чтобъ ты изъ милосердія далъ мнѣ кого-нибудь, ктобъ могъ мнѣ прислуживать въ томъ, чего я сама дѣлать не въ состояніи“ [1258] и т. д.

Несомнѣнно, приведенные примѣры (число ихъ можетъ быть увеличено) указываютъ: 1) на большую близость въ содержаніи русскаго произведенія съ переводнымъ съ французскаго; 2) на старанія русскаго автора передѣлать французскую повѣсть на русскій ладъ. Руссификація эта выразилась, прежде всего, въ перемѣнѣ французскихъ именъ на русскія, въ перенесеніи мѣста дѣйствія въ Россію, во введеніи такихъ русскихъ лицъ, какъ „дьячокъ съ ключами“, „прикащикова жена“,—наконецъ, въ употребленіи такихъ русскихъ словъ, какъ „лапотки“, „тятя“...

Хотя сдѣланное мною сопоставленіе, къ сожалѣнію, лишаетъ разбираемое сочиненіе права называться *самостоятельнымъ* русскимъ сочиненіемъ, тѣмъ не менѣе, я не отнесъ бы повѣсть: „Четыре года изъ жизни княгини К*“ къ *переводнымъ*. Въ исторіи жанра всегда важны такіе переходные моменты, когда чужое - хорошее „приспособляется“ къ иной жизненной обстановкѣ, передѣлывается согласно нравамъ и условіямъ новой жизни. Если нѣкоторые великіе писатели (напр., Лермонтовъ) начали свое творчество съ „переписыванья“ чужихъ произведеній, имъ особенно понравившихся, а потомъ перешли къ „передѣлкѣ“ ихъ, и лишь затѣмъ—къ опытамъ оригинальнаго творчества,—то и въ исторіи драмы, романа и лирики приходится неразъ встрѣчаться съ образцами такого творчества; пройти мимо нихъ историкъ не имѣетъ права.

Повѣсть Карамзина „*Юлія*“ тоже принадлежитъ къ разряду повѣстей въ духѣ произведеній г-жи Лафайетъ и писателей ея школы.

Содержаніе этого произведенія слѣдующее:

Юлія была образцовой дѣвицей во всѣхъ отношеніяхъ,—даже дамы и барышни ея круга, несмотря на всѣ старанія, не могли найти въ ней ничего дурнаго,—она „сіяла, какъ солнце; зависть искала въ немъ черныхъ пятенъ, не находила,—и съ болью въ глазахъ, съ отчаяніемъ въ сердцѣ, должна была идти прочь“... Молодые люди всѣ, поголовно, „обожали“ ее, и, каждый по своему, выражали свои чувства... Юлія была молода, въ жизнь всмотрѣться еще не имѣла времени, болѣе всѣхъ любила себя и полна была самомнѣнія, которое, впрочемъ, умѣла такъ скрывать, что всѣ удивлялись ея скромности... Наконецъ, пришло время, когда Юлія ощутила потребность любви. „Какъ ни обожай себя, какъ ни любуйся своими достоинствами—не довольно!—восклицаетъ авторъ. Надобно любить что нибудь, кромѣ магической буквы „я“—и Юлія начала съ бо́льшимъ вниманіемъ разсматривать многочисленную толпу своихъ искателей“.

Она стала выбирать въ пестрой толпѣ своихъ обожателей достойнаго. (Слѣдуютъ бѣглыя характеристики свѣтскихъ поклонниковъ Юліи: Легкоума, Храброна, Пустослова). Наконецъ, съ бо́льшимъ вниманіемъ она остановилась на Арисѣ.

„Кто былъ Арисъ? Молодой человѣкъ, воспитанный въ чужихъ краяхъ, подъ смотрѣніемъ не наемнаго Гофмейстера, но благоразумнаго и нѣжнаго отца своего. Полезныя и пріятныя знанія украшали его душу, добродѣтельныя правила—сердце. Не будучи красавцемъ, онъ нравился своею миловидностью и кроткими, любезными взорами, одушевленными огнемъ внутренняго чувства. Онъ краснѣлся, какъ невинная дѣвушка, отъ всякаго нескромнаго слова, сказаннаго въ его присутствіи; говорилъ немного, но всегда основательно и пріятно; не старался блистать ни умомъ, ни знаніями, и слушалъ каждаго—по крайней мѣрѣ, съ терпѣніемъ“. Арисъ давно любилъ Юлію, но не вмѣшивался въ толпу ея поклонниковъ,—онъ оставался въ сторонѣ и скрывалъ свои чувства: „смотрѣлъ на нее издали, не вздыхалъ, не клалъ руки на сердце съ томнымъ видомъ—однимъ словомъ, не думалъ представлять картиннаго любовника. Юлія приблизила его къ себѣ, „ободрила его застѣнчивость пріятнымъ взглядомъ, пріятною улыбкою“; она стала говорить ему: „завтра вы будете въ концертѣ, въ саду“; „завтра вы будете къ намъ обѣдать, ужинать“; „вчера было у насъ скучно: вы не хотѣли къ намъ пріѣхать!“ и пр.

Арисъ былъ человѣкъ скромный и очень сдержанный, однако началъ, было, надѣяться,—и любовное признаніе готово было сорваться съ его устъ, какъ вдругъ „на горизонтѣ большаго свѣта“ явился новый феноменъ“—молодой блестящій князь N*, баловень свѣта, „любимецъ природы и щастія“... Всѣ стали носиться съ нимъ, имъ восхищаться... Опасная слава Ловласа окружала его... „...Носился по городу слухъ, что князь нечувствителенъ къ женскимъ прелестямъ, что Амуровы стрѣлы не берутъ его сердца; и дамы, наперерывъ, стали стараться тронуть это неуязвимое сердце...

На балу произошла встрѣча князя съ Юліей; оба сразу увлеклись другъ другомъ, и скоро князь сталъ настойчиво ухаживать за Юліей; она принимала эти ухаживанья съ радостью,—и Арисъ, мало по малу, былъ отстраненъ...

„Бѣдной Арисъ!"—восклицаетъ авторъ—„догадайся! Ты могъ быть щастливъ; но минута прошла! Что дѣлать? Удалиться"—Онъ то и сдѣлалъ; не нужно сказывать, съ какимъ чувствомъ.—Оставимъ его.—Пусть онъ поплачетъ въ уединеніи, и есть-ли можно, забудетъ милую вѣтренницу!".

Между тѣмъ, князь не на шутку увлекся Юліей: ради ея общества онъ оставилъ свои роскошныя привычки,—все время бывалъ съ нею... Одно, что удивляло Юлію,—князь не заикался о свадьбѣ... Она сама заговорила, было, съ нимъ объ этомъ,—тогда „нѣжной князь оскорбился", и сталъ доказывать, что только свободная любовь имѣетъ цѣну въ его глазахъ...

Эта „философія" не понравилась Юліи. Между ними началось охлажденіе. Видя это, князь согласился на помолвку; и, въ благодарность за такое снисхожденіе, сталъ требовать отъ Юліи правъ на нѣкоторыя „вольности". Она пошла на это, но всякой день сталъ онъ присваивать себѣ новыя и новыя права...

„Два жаркія сердца бились такъ сильно, такъ близко другъ къ другу... Оставимъ всѣ подробности, и скажемъ просто, что бывали минуты, въ которыя одна богиня невинности могла спасти Юліину невинность!"—разсказываетъ авторъ. Но, увы, всѣ хитрости князя, вся его страсть оказались безсильны въ борьбѣ съ добродѣтелью Юліи!

Замѣтивъ это, князь рѣшилъ все порвать съ Юліей, и однажды прислалъ ей прощальное письмо, въ которомъ говорилъ о необходимости разстаться; говорилъ о томъ, что вольность ему дороже всего, что его сердце не знаетъ и не терпитъ законовъ... „Что жъ будетъ супружество?—спрашивалъ онъ, и самъ отвѣчалъ: „несносное бремя!.. Вы не хотѣли любить по моему, любить только для удовольствія любви,—любить, пока любишь: и такъ—простите!".

Юлія была поражена такимъ неожиданнымъ оборотомъ дѣла; она сначала „затрепетала" и „упала въ обморокъ",—потомъ стала проклинать мужчинъ...

И вотъ, Арисъ сталъ опять посѣщать Юлію; долго ему пришлось выслушивать, „съ видомъ преступника", тѣ обвиненія противъ мущинъ, которыя расточала Юліи, еще помнившая вѣроломство князя. По этому поводу авторъ говоритъ: „Другой, на его мѣстѣ, взглянулъ бы на Юлію такими глазами, что она, конечно бы, закраснѣлась и замолчала; но доброй Арисъ любилъ, не могъ преодолѣть страсти своей, и пріѣхалъ не для того, чтобы мстить огорченной красавицѣ".

Скоро „Арисова нѣжность, кротость, сердечныя достоинства, которыхъ въ свѣтскомъ шумѣ не могла она такъ сильно и живо чувствовать, тронули ея душу въ искреннихъ разговорахъ тихаго кабинета". Арисъ предложилъ Юліи руку и сердце, съ условіемъ оставить „свѣтъ" и уѣхать въ деревню. Она охотно согласилась, что „коварной свѣтъ, недостоинъ быть свидѣтелемъ ихъ благополучія". „Презримъ суетность его—онъ мнѣ несносенъ—и удалимся въ деревню!"—говорила она.

Они поженились и уѣхали въ имѣніе. Счастье ихъ сначала было безгранично: „сердца ихъ сливались въ тихихъ восторгахъ. Казалось, что сама природа брала участіе въ ихъ радостяхъ: она цвѣла тогда во всемъ пространствѣ садовъ своихъ. Вездѣ благоухали жасмины и ландыши; вездѣ пѣли соловьи и малиновки; вездѣ курился ѳиміамъ любви,—и все питало удовольствіями любовь нашихъ супруговъ". Юлія была счастлива; она удивлялась, какъ могутъ жить люди въ городахъ и быть довольными такой жизнью. „Ахъ, другъ мой! (съ умильнымъ взоромъ брала она Арисову руку и прижимала ее къ своей груди)... ахъ, другъ мой!.. Только въ одной сельской тишинѣ, въ однихъ объятіяхъ натуры, чувствительная душа можетъ наслаждаться всею полнотою любви и нѣжности!"

Но пришла „мрачная осень". „Цвѣты и въ полѣ, и въ саду увяли; зелень поблекла; листья слетѣли съ деревьевъ; птички... Богъ знаетъ, куда дѣвались—и все стало такъ печально и уныло". Юлія стала скучать: „смотря въ окно, часто закрывала бѣлымъ платкомъ алый свой ротикъ, и бѣлый платокъ, какъ будто бы отъ вѣянія зефира, поднимался на немъ и опускался—то есть, сказать просто: Юлія зѣвала". Арисъ замѣтилъ это, „вздохнулъ"—и, въ утѣшеніе супруги, сталъ ей читать „Новую Элоизу"... Но Юлія со скуки растеряла уже всю свою чувствительность и откровенно замѣтила супругу, что изображеніе счастливой семейной жизни въ романѣ Руссо—есть плодъ воображенія: одной любовью нельзя наполнить сердца,—говорила она,—нужны различныя впечатлѣнія, новыя ощущенія... „ахъ! сердце человѣческое, говорила она,—не насытимо! оно хочетъ безпрестанно чего-нибудь новаго,—новыхъ впечатлѣній, которыя, подобно утренней росѣ, освѣжаютъ внутреннія чувства его и, даютъ имъ новую силу. Напримѣръ, я думаю, что самая пылкая любовь можетъ простыть въ совершенномъ уединеніи; она имѣетъ нужду въ сравненіяхъ, чтобы тѣмъ болѣе чувствовать цѣну предмета своего". Арисъ вздохнулъ и сказалъ: „я не такъ думалъ... Но—мы завтра ѣдемъ въ городъ!".

Въ городѣ Юлія ожила: она закружилась въ вихрѣ свѣтскихъ удовольствій; она жила роскошно, дѣлала пріемы, выѣзды... „Арисъ молчалъ; дѣлалъ все, что ей угодно было",—или „вздыхалъ такъ тихо, что Юлія не слыхала этого"... Вдругъ въ обществѣ опять появился князь N. Онъ опять сталъ усиленно ухаживать за Юліей,—Арисъ страдалъ и молча наблюдалъ. Юлія сперва вела себя сдержанно, потомъ стала отдаваться новому чувству...

„Свѣтъ" это замѣтилъ и сталъ злословить... Арисъ тоже увидѣлъ, какая перемѣна произошла съ его Юліей,—„иногда она задумывалась, блѣднѣла, хотѣла быть одна; черезъ часъ лицо ея покрывалось нѣжнѣйшимъ румянцемъ; она бросалась въ объятія супруга своего, цѣловала его съ жаромъ, хотѣла что-то сказать, и... не говорила ни слова". „Скромный Арисъ" — молчалъ и въ уединенной аллеѣ, въ саду, проливалъ тихія слезы... Порой „Арису казалось, что хладныя тѣни (этой аллеи) съ чувствомъ прикасались къ его сердцу и согрѣвались его теплотою!" Однажды Арисъ засталъ свою супругу въ обществѣ князя: они сидѣли рядомъ; Юлія, опустивъ голову на плечо къ нему, смотрѣла въ землю; онъ шепталъ ей страстныя рѣчи... Она слушала ихъ... „Пусть всякой

вообразить себя на мѣстѣ бѣднаго Ариса!.. Онъ хотѣлъ было заколоть ихъ и себя кинжаломъ, но справился съ собой и уѣхалъ, написавъ письмо Юліи, съ извѣщеніемъ, что уѣзжаетъ и предоставляетъ ей полную свободу и необходимыя средства для жизни.

Юлія была поражена всѣмъ происшедшимъ; она рѣшительно вырвала изъ сердца зародившееся чувство къ князю; она уѣхала въ деревню; гдѣ и рѣшила поселиться навсегда. „Юлія, которая на тоненькой волосокъ была отъ того, чтобы сдѣлаться новою Аспазіею, новою Лаисою—Юлія сдѣлалась вдругъ Ангеломъ непорочности. Всѣ суетныя желанія замерли въ ея сердцѣ; она посвятила жизнь свою памяти любезнаго супруга". Она думала о немъ, воображала его передъ собой, мысленно разговаривала съ нимъ... „Въ душѣ ея царствовало тихое уныніе, болѣе пріятное, нежели мучительное. Добродѣтельныя чувства несовмѣстны съ тоскою; самыя горькія слезы раскаянія имѣютъ въ себѣ нѣчто сладкое. Прекрасна и заря добродѣтели, а что иное есть раскаяніе?"

Въ деревнѣ у Юліи родился сынъ,—и вотъ, она сдѣлалась образцовою матерью. „Юлія хотѣла приготовить себя къ священному званію матери. „Эмиль" — книга единственная въ своемъ родѣ—не выходила изъ рукъ ея. „Я не умѣла быть добродѣтельною супругою (говорила она со вздохомъ), по крайней мѣрѣ, буду хорошею матерью, и небреженіе одного долгу заглажу вѣрнымъ исполненіемъ другаго!"

Сынъ ея былъ „прекраснѣйшій младенецъ, соединенный образъ отца и матери." „Юлія не чувствовала болѣзни, не чувствовала слабости,—имъ, имъ только занималась, имъ дышала; плакала—улыбалась, чтобы заставить его улыбнуться,—и сердце ея, вкусивъ сладкія чувства матери, открыло въ себѣ новый источникъ радостей—чистѣйшихъ, святыхъ, неописанныхъ радостей... Не уставали глаза ея, смотря на младенца; не уставалъ языкъ ея, называя его тысячу разъ *любезнымъ, милымъ сыномъ!*.. Огнемъ любви своей согрѣвала она юную душу его; наблюдала ея начальныя дѣйствія отъ первой слезы до первой его усмѣшки, и вливала въ него нѣжными взорами собственную свою чувствительность... Нужно ли сказывать, что она сама была кормилицею своего сына?"

Ей казалось, что сама природа ласково относится къ ея ребенку—„солнце свѣтитъ на него свѣтлѣе, каждое дерево наклоняется обнять его, ручеекъ ласкаетъ его своимъ журчаніемъ, птички и бабочки для его забавы порхаютъ и рѣзвятся... „*Я—мать!*" думала она съ гордостью и радостью.

Только долгое отсутствіе мужа мучало ее; она часто мечтала о немъ... „Какой Ангелъ извѣститъ его о перемѣнѣ моего сердца?" думала она. „Юлія могла бы... такъ, въ присутствіи самого неба, осмѣлюсь сказать, что Юлія могла бы теперь загладить передъ нимъ вину свою!.." Разные ужасы порой тревожили ее: однажды она увидѣла во снѣ бурю, гибель корабля и смерть своего Ариса... Она увидѣла его мертвымъ, и отъ ужаса проснулась... въ объятіяхъ живого Ариса, который вернулся домой, къ женѣ—послѣ долгаго искуса, которому ее подвергъ... Встрѣча была трогательна; и съ этого дня жизнь ихъ потекла безмятежно въ деревнѣ, счастливо и спокойно.

„Арисъ не перемѣнился, онъ всегда былъ дѣятельнымъ мудрецомъ, но Юлія примѣромъ своимъ доказала, что легкомысліе молодой женщины можетъ быть иногда покрываломъ, или завѣсою величайшихъ добродѣтелей".

Первое, что бросается въ глаза при чтеніи этого произведенія, это прекрасныя качества стиля,—ни въ одномъ изъ произведеній, ранѣе разобранныхъ, мы не встрѣтили такой изящной литературности языка: Карамзинъ *первый* вводитъ въ обиходъ литературы живую, разговорную рѣчь, которая, отличается гибкостью и богатствомъ, льется свободно, легко отражаетъ всякіе оттѣнки чувства и настроенія... Несомнѣнно, изъ русскихъ литераторовъ XVIII-го вѣка первый Карамзинъ является настоящимъ господиномъ своей рѣчи...

Но эта рѣчь отличается еще той манерностью и жеманностью, которыя отмѣчены были мною выше, какъ отличительныя черты французской галантной повѣсти.

Какъ образчики такой манерности, напомню приведенную выше характеристику князя („Амуровы стрѣлы не берутъ его сердца и т. д.). характеристику мужчинъ, вложенную въ уста Юліи; описаніе природы въ деревнѣ; описаніе зѣванія Юліи; прощальное письмо Ариса и др... Приведу еще, въ видѣ примѣра, разговоръ Юліи съ „сельскимъ домикомъ":

„Здѣсь протекутъ дни мои въ безмолвномъ уединеніи"—сказала она со вздохомъ. „Сельскій домикъ! я могла, но не умѣла быть счастлива въ тихихъ стѣнахъ твоихъ! я вышла изъ тебя съ достойнѣйшимъ, нѣжнымъ супругомъ,—возвращаюсь одна, бѣдною вдовою, но съ сердцемъ, любящимъ добродѣтель... Она будетъ моимъ утѣшеніемъ, моимъ товарищемъ, моею подругою; я буду разсматривать, буду цѣловать образъ ея въ чертахъ незабвеннаго Ариса!"

„...можетъ быть, погруженному въ тихій сонъ, вѣющій зефиръ скажетъ тебѣ: „Арисъ—не одинъ въ мірѣ!.." Откроешь глаза свои,—и вдали, въ туманѣ, увидишь горестную Юлію, которая слѣдуетъ за тобою своимъ духомъ, своимъ сердцемъ!.. можетъ быть... ахъ! я, противъ воли своей, желаю... Нѣтъ, нѣтъ, хочу обожать его безъ всякой надежды!"[1259].

„...протѣнять огненнаго Амура на холоднаго Гименея! милую улыбку перваго—на вѣчную угрюмость послѣдняго? гирланду розовую—на цѣпь желѣзную?"[1260].

„Юлія стала чувствовать, что химіямъ суетности есть дымъ—хотя весьма пріятный, но все дымъ, который худо питаетъ душу"[1261] и др.

Любопытной особенностью этого стиля надо признать сильную примѣсь юмора, который съ начала повѣсти до конца пронизываетъ разныя мѣста ея. Напр.—

„Нужно ли сказывать, что всѣ молодые люди обожали Юлію, и почитали за славу обожать ее? Одинъ вздыхалъ, другой плакалъ,

третій игралъ роль томнаго меланхолика; и обо всякомъ, кто задумывался, говорили: „онъ влюбленъ въ Юлію“.

„... всякой изъ нихъ казалось, что Купидонъ, огорченный, расплаканный, подходитъ къ ней, беретъ ее за руку и съ умильнымъ взоромъ говоритъ: „отмсти, отмсти за меня, или я умру съ горя!“. Умереть Купидону! Боже мой! Какой ужасъ!.. Зачѣмъ будетъ жить на свѣтѣ безъ прелестнаго малютки? Надобно за него вступиться; надобно помочь ему, надобно отмстить,—и, чего бы то ни стоило—тронуть, побѣдить, плѣнить новаго Алкида,—и всѣ мастера золотыхъ дѣлъ въ нашей столицѣ занялись одной работой; кованіемъ цѣпей, по заказу красавицъ. (Вотъ, отъ чего вошли въ моду золотыя цѣпи, которыя, за нѣсколько времени передъ симъ, гремѣли и сіяли на всѣхъ нашихъ молодыхъ женщинахъ!). Страшись, вѣтреный Князь!.. Но Князь улыбался, расхаживалъ, какъ гордый лебедь“[1262].

Но эта манерность стиля не мѣшаетъ правдивости разсказа, отъ котораго отзываетъ правдой жизни,—повѣсть, несомнѣнно, имѣетъ автобіографическое значеніе, и, въ образѣ Ариса, мы узнаемъ черты самого Карамзина. Жизнь его до путешествія и послѣ путешествія, его свѣтскія увлеченія *), о которыхъ сохранилась, правда, туманная память въ разныхъ мемуарахъ,—все, очевидно, дало ту Wahrheit, которая лишь скрашена Dichtung'омъ. Самая манерность стиля взята изъ дѣйствительности: недаромъ Гоголь, именно за эту-же „жеманность“ стиля, высмѣивалъ даже своихъ современниковъ **).

Жизненность повѣсти особенно дѣлается замѣтной, когда мы всмотримся въ личности героевъ,—всѣ онѣ очерчены очень индивидуально и красочно. На первомъ планѣ стоитъ, конечно, образъ героини: Юлія—женщина, похожая на тѣхъ героинь, которыя, со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ деталяхъ, очерчены во французскихъ повѣстяхъ Лафайетъ и писателей ея типа: „faiblesse de coeur“, „égarements de coeur“,—вотъ, специфическая черта этихъ героинь. Оттого ихъ, по существу, хорошія, но слабыя, сердца часто оказываются безсильными въ борьбѣ съ любовью,—и это чувство

*) Карамзинъ, говоря о страсти Юліи и Князя, самъ намекаетъ на то, что въ повѣсти есть автобіографическій элементъ. „Къ тому же—незнаю, отъ чего, собственное сердце мое бьется такъ сильно, когда я воображаю себѣ подобные случаи“—говоритъ онъ. Можетъ быть... какія-нибудь темныя воспоминанія оставимъ“ [1263]. Ср. еще его лирическія стихотворенія (напр., „Къ невѣрной“, „Къ вѣрной“ и др.).

**) Ср. любовное письмо провинціальной дамы, полученное Чичиковымъ и написанное, по словамъ Гоголя, „въ духѣ тогдашняго времени“, („Мертвыя Души“, ч. I, гл. VIII); ср. еще манеру провинціальныхъ дамъ фигурно выражаться и разговоры ихъ съ Чичиковымъ (ibid) на балу у губернатора: разговоры и мечты Манилова (ib. гл. II).

представляетъ собой то „ирраціональное начало“, на которомъ строится драматизмъ повѣстей этого типа; „судьбѣ“ здѣсь мѣста нѣтъ,—человѣкъ самъ владѣетъ своей жизнью, ее портитъ, или совершенствуетъ...

Юлія—свѣтская дѣвушка, сентиментальность которой довольно призрачна: она, какъ грибоѣдовская Софья, живетъ больше головой, чѣмъ сердцемъ. Она—милая, обольстительная эгоистка, полная самомнѣнія и гордости; она долго не знаетъ увлеченія и спокойно выбираетъ себѣ друга, критически относясь къ молодымъ людямъ, ее окружающимъ; въ выборѣ Ариса ея „сердце согласилось съ разумомъ“. Эта уравновѣшенность однако нарушается въ ея душѣ, когда она встрѣчаетъ князя,—обнаруживаются первые признаки сердечнаго égarement... Но она еще владѣетъ собой:

„въ самое то время, когда ей, по всѣмъ человѣческимъ вѣроятностямъ, надлежало забыться,—она строгимъ взоромъ отсылала его отъ себя, по крайней мѣрѣ, шага на два такъ, что онъ лишился всей надежды быть щастливо-дерзкимъ безъ имени супруга“ [1264].

Когда вѣтренный князь покинулъ ее, она скорѣе „злилась“, чѣмъ испытывала горе... Когда пріѣхалъ Арисъ—„она *подумала*, и велѣла его пустить“. „Бѣдному Арису“ пришлось долго выслушивать отъ нея упреки мужчинамъ за вѣроломство и коварство,—*другой*, на его мѣстѣ взглянулъ-бы на Юлію такими глазами, что она, конечно бы, закраснѣлась и замолчала“,—но Арисъ былъ застѣнчивъ и предпочиталъ слушать—молча, и краснѣть... Наконецъ, Юлія снизошла къ своему вѣрному воздыхателю, оцѣнивъ въ немъ именно то, что̀ Софія цѣнила въ Молчалинѣ: „Арисова нѣжность, кротость, сердечныя достоинства, которыхъ въ свѣтскомъ шумѣ не могла она такъ сильно и нѣжно чувствовать, тронули ея душу въ искреннихъ разговорахъ тихаго кабинета“ *)... Она выходитъ за него замужъ, и онъ обѣщаетъ ей быть „мужемъ-мальчикомъ, изъ женинныхъ пажей“.

„Всѣ дни мои, говорилъ онъ съ радостными слезами, будутъ посвящены твоему удовольствію, несравненная Юлія! Я радъ жить съ тобою на краю міра; никогда, никогда не оскорблю тебя ни взоромъ,

---

*) Ср. отзывъ Софьи о Молчалинѣ:

„Врагъ дерзости, всегда застѣнчиво, несмѣло...
Ночь цѣлую съ кѣмъ можно такъ провесть?..
. . . . . .
Возьметъ онъ руку, къ сердцу жметъ,
Изъ глубины души вздохнетъ...
Ни слова вольнаго—и такъ вся ночь проходитъ,
Рука съ рукой, и глазъ съ меня не сводитъ!“

ни упрекомъ, не жалобою! Воля твоя—мой законъ; ты дѣлаешь меня счастливымъ,—угадывать твои желанія, исполнять ихъ, зависѣть отъ тебя совершенно, есть священный долгъ моей благодарности!" 1265.

Юлія, на первыхъ порахъ, увлекается ролью сентиментальной пастушки и фразеологіей прекраснодушнаго идеализма, но роль эта ей скоро надоѣдаетъ,—она начинаетъ зѣвать въ деревнѣ и иронизировать по поводу „Новой Элоизы". Вмѣстѣ съ безсловеснымъ Арисомъ (ср. грибоѣдовскаго Горича), возвращается она въ свѣтъ, и начинаетъ тамъ вести открытую жизнь. Здѣсь она опять встрѣчаетъ князя, и теперь начинается настоящее égarement ея сердца... Теперь, когда она замужемъ, она не считаетъ уже нужнымъ свое сердце подчинять контролю разуму,—и отдается увлеченію темперамента (см. выше стр. 315—6); только счастливая случайность („hasard") спасаетъ ее... И съ того момента, какъ мужъ покидаетъ ее, кончается „игра",—начинается житейская драма, начинается action héroïque: говоритъ голосъ совѣсти, проясняется сознаніе,—и „незаконное чувство" оказывается побѣжденнымъ: свѣтская женщина, занятая собою, готовая жертвовать чужимъ счастьемъ собственной прихоти выростаетъ, на нашихъ глазахъ, въ „человѣка", съ самымъ строгимъ отношеніемъ къ себѣ. Это „выростаніе" героини—какъ литературный пріемъ,—черта любопытная (ср. Наташу Ростову изъ „Войны и Мира"). И, наконецъ, „материнство" освящаетъ ея подвигъ самоограниченія, этимъ облегчая дѣло умерщвленія ея эгоизма.

Арисъ—герой, также знакомый намъ: выше, на стр. 316, уже охарактеризованъ этотъ образъ въ словахъ: „мужчина часто представленъ слабымъ, чувствительнымъ"; ему „приходится жертвовать собой, прощать, отрекаться отъ любви и правъ своихъ на то женское сердце", съ которымъ формально связана его жизнь. Таковъ Арисъ. Въ его образѣ отмѣчены своеобразныя черты „героизма смиренія": онъ пассивно борется со зломъ,—и эта „пассивность", съ точки зрѣнія автора, оказывается могущественнымъ орудіемъ...

Душа Ариса не отличается сложностью: это—мягкій, прекраснодушный юноша, замкнутый въ себѣ, живущій внутренней, глубокою жизнью, малозамѣтной для толпы... Впрочемъ, его авторъ представляетъ „сердцевѣдцемъ": онъ постоянно наблюдаетъ за сердцемъ Юліи, и вѣрно угадываетъ хорошія основы ея душевной жизни. Единственно такое пониманіе сердца Юліи сдѣлало удачной его рискованный способъ исправленія жены. Впрочемъ, эта роль „наблюдателя" для него была не изъ легкихъ, и автору уда-

лось изобразить ту тревогу, которая росла въ его чувствительномъ сердцѣ въ то время, когда увлеченіе Юліи княземъ, на его глазахъ, все усиливалось. Особенно сильно изображено состояніе его души, когда онъ любимую жену увидѣлъ на краю пропасти...

„Арнсъ сражался съ собою—не долѣе минуты; она была ужасна, но онъ усмирилъ кипящее сердце и—скрылся!.. Человѣкъ, который видѣлъ его, выходящаго изъ аллеи, сказывалъ мнѣ, что лицо его было блѣдно, какъ полотно; что ноги его примѣтно дрожали, что изъ сердца его, какъ будто-бы насильно, вырывался какой-то глухой стонъ" [1266].

Живой образъ князя особенно удался автору: передъ нами—сколокъ съ ричардсоновскаго Ловласа, но смягченный нѣкоторыми черточками сентиментализма: въ самомъ дѣлѣ, оказалось достаточнымъ строгаго взора Юліи, чтобы предпріимчивость покидала князя... Характерной чертой надо признать его наклонность манерничать; особенно это выражается въ стилѣ его рѣчей:

„Юлія хочетъ промѣнять огненнаго Амура на холоднаго Гименея, милую улыбку перваго на вѣчную угрюмость послѣдняго! гирланду розовую на цѣпь желѣзную" и пр. [1267] *).

Но за этой „литературностью" у него кроется довольно прозаическій, даже циничный взглядъ на женщинъ. Подобно Онѣгину, онъ дорожитъ личной свободой отъ всякихъ обязательствъ, и письмо его, адресованное къ Юліи, своимъ тономъ и характеромъ нѣсколько напоминаетъ первое объясненіе Онѣгина съ Татьяной:

„Вы любезны, но что любезнѣе вольности? Мнѣ горестно разстаться съ вами; но мысль о вѣчной обязанности еще горестнѣе. Сердце не знаетъ законовъ, и перестаетъ любить, когда захочетъ: что́ж будетъ супружество? несносное бремя!" [1268] и т. д.

Онъ неглубоко чувствуетъ и, потому, когда окончательно убѣждается въ томъ, что Юлія ускользнула отъ его власти, онъ только—

„засмѣялся—искренно, или притворно—оставимъ безъ рѣшенія—сѣлъ въ карету и поѣхалъ въ спектакль" [1269].

Изъ приведенной бѣглой характеристики героевъ повѣсти видно, что интересы автора, главнымъ образомъ, психологическіе: „узнать сердце"—главная его цѣль (см. выше стр. 316). Поэтому интересъ повѣсти—не въ авантюрахъ, не въ фабулѣ, а въ изученіи тѣхъ „troubles intérieurs", которыя наполняютъ собою содержаніе всей жизни героевъ.

„Психика" героевъ раскрывается и по старому—въ разсказѣ самого автора, въ его сентенціяхъ и замѣчаніяхъ—и по новому—въ рѣчахъ и поступкахъ самихъ героевъ. Въ послѣднемъ случаѣ

*) Сравни эту же черту у Онѣгина, хотя-бы, его объясненіи съ Татьяной.

читателю предоставлено самому догадываться о характерѣ дѣйствующихъ лицъ, безъ помощи автора. Это пріемъ, заимствованный Карамзинымъ изъ реалистическаго англійскаго романа (о немъ ниже въ главѣ VII).

Привожу примѣры:

Авторъ самъ говоритъ о томъ, что̀ происходитъ въ душѣ героевъ:

„Юлія думала, что Князь не могъ жить безъ нее: только ей казалось чудно, что онъ, говоря безпрестанно о сердцѣ, никогда не упоминалъ о рукѣ".

„Пусть всякій вообразитъ себя на мѣстѣ бѣднаго Ариса!.. Что̀ дѣлать? Заколоть ихъ однимъ кинжаломъ, утомить жажду справедливаго мщенія: а потомъ... умертвить и самого себя?.. Нѣтъ! Арисъ сражался съ собою— не долѣе минуты! она бала ужасна—но онъ усмирилъ кипящее сердце, и скрылся!" [1271].

Сентенціи автора, поясняющія психику героевъ:

„Добродѣтельныя чувства несовмѣстны съ тоскою; самыя горькія слезы раскаянія имѣютъ въ себѣ нѣчто сладкое. Прекрасна и зари добродѣтели; а что̀ иное есть раскаянье?" [1272].

„...разгоряченное воображеніе есть микроскопъ, который все увеличиваетъ въ тысячу, въ милліонъ разъ—и люди съ такимъ же упрямствомъ могутъ искать остроумія тамъ, гдѣ нѣтъ его, съ какимъ иногда не хотятъ чувствовать, гдѣ оно есть!" [1272].

„...человѣкъ въ страсти худой логикъ: одинъ кажется ему всѣми, всѣ—однимъ" [1273] и др.

Психика героевъ—при помощи внѣшнихъ признаковъ внутренней борьбы,—

„Юлія затрепетала, и, слѣдуя обыкновенію новыхъ Дидонъ, упала въ обморокъ" [1274].

„Иногда она задумывалась, блѣднѣла, хотѣла быть одна; черезъ часъ лицо ея покрывалось нѣжнѣйшимъ румянцемъ: она бросалась въ объятія супруга своего, цѣловала его съ жаромъ, хотѣла что то сказать и—не говорила ни слова" [1275].

Раскрытіе „психики" героевъ—при помощи ихъ рѣчей и поступковъ: (такъ, напримѣръ, смыслъ пассивнаго отношенія Ариса къ женѣ—въ заключительныхъ словахъ его повѣсти),—

„Ты рождена быть добродѣтельною, говорилъ Арисъ; нескромное желаніе нравиться, плодъ безразсуднаго воспитанія и худыхъ примѣровъ, произвело минутныя твои заблужденія. Тебѣ надлежало только одинъ разъ почувствовать цѣну истинной любви, цѣну добродѣтели, чтобы исправиться и возненавидѣть порокъ! ты удивляешься, другъ мой, для чего я молчалъ и не хотѣлъ говорить тебѣ о слѣдствіяхъ вѣтренности твоей? я былъ увѣренъ, что укоризны могутъ скорѣе ожесточить сердце, нежели тронуть его чувствительность. Нѣжное терпѣніе со стороны мужа есть въ такомъ случаѣ самое дѣйствительнѣйшее средство. Выговоры, упреки, заставили бы тебя думать, что я

ревнивъ; ты почла бы себя оскорбленною—и сердца наши могли бы навсегда удалиться другъ отъ друга. Слѣдствіе доказало справедливость моей системы. Разлука казалась мнѣ послѣднимъ способомъ, который должно было употребить для твоего исправленія. Я оставилъ тебя на судъ собственнаго твоего сердца — признаюсь, — не хладнокровно, не безъ мучительной горести, но лучъ надежды питалъ и—не обманулъ меня!" [1278].

Въ этихъ словахъ Ариса—„ключъ" къ пониманію его загадочнаго поведенія; но если этимъ „ключомъ" авторъ и облегчаетъ читателю пониманіе отношеній героя къ героинѣ, тѣмъ не менѣе, и безъ этой помощи, мы, читатели XX-го вѣка, поняли-бы Ариса,—быть можетъ, для XVIII-го вѣка нужны были еще такія толкованія...

Когда князь оставилъ Юлію—она разразилась обвиненіями противъ мужчинъ; въ ея горячихъ и пристрастныхъ рѣчахъ ярко выражается взрывъ горечи, обиды, злобы—звучатъ страданія обиженнаго женскаго самолюбія.

„Они—всѣ изверги, злодѣи, вѣроломные! Тигрица воспитала ихъ молокомъ своимъ; подъ языкомъ носятъ они змѣиный ядъ, а въ сердцѣ ихъ шипитъ ехидна. Слезы ихъ—слезы крокодиловы; повѣрь имъ, и гибель неизбѣжна!" [1279].

Очень тонко изображена психика героини въ томъ тревожномъ самооправданіи, которое звучитъ въ словахъ Юліи, когда она объясняла своему супругу, почему она пригласила князя въ гости.

„Ты видѣлъ, мой другъ, съ какою учтивостью обходилась я съ княземъ N*? Не принять его, отказать отъ дому было бы съ моей стороны неблагоразумно!.. Пусть видитъ этотъ легкомысленный Нарциссъ, что онъ мнѣ—ничего; что прошедшее заблужденіе не оставило въ душѣ моей никакихъ слѣдовъ; что я не имѣю причины бояться сердца своего, и что онъ не можетъ привести меня въ краску!.." Арисъ... Арисъ поцѣловалъ ея руку, и отдалъ справедливость благоразумію супруги своей!" [1280].

— иронически добавляетъ авторъ еще одну черту, заразъ характеризующую и самаго Ариса, и Юлію.

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что Карамзинъ, ученикъ Ричардсона, Руссо и Гете, какъ психологъ, стоитъ неизмѣримо выше своихъ русскихъ предшественниковъ,—онъ удачно характеризуетъ самыя тонкія психическія особенности своихъ героевъ, при чемъ пользуется самыми разнообразными пріемами.

Любопытною новинкой въ русской повѣсти было введеніе Карамзинымъ въ его произведеніе „общественнаго мнѣнія",—выражающаго психику свѣтскаго общества. Этотъ смутный „говоръ свѣта" о князѣ, о Юліи, объ Арисѣ удачно оттѣняетъ ту драму, что

развертывается въ сердцахъ главныхъ героевъ,—служитъ фономъ этой драмѣ. Такимъ пріемомъ воспользовался позднѣе Грибоѣдовъ въ своей комедіи, Гоголь—въ „Мертвыхъ Душахъ“.

Когда впервые князь встрѣтился съ Юлей, за нимъ шли—

„...всѣ красавицы, за нею—молодые люди... Какая встрѣча! Они посмотрѣли другъ на друга... Какой взоръ!.. Юлія затмѣвала женщинъ, князь N—мужчинъ. „Онъ долженъ любить ее!“—думали первыя. „Она должна любить его!“ — думали послѣднія. Тѣ и другіе потупили глаза въ землю, простились съ надеждою и—разошлись въ разныя стороны“[1261].

Когда Юлія, уже будучи замужемъ, опять сблизилась съ княземъ,—общество замѣтило это и заговорило—

„Какъ весело въ ея домѣ!“ говорили мужчины и женщины. „Хозяйка любезна, какъ Ангелъ“—говорили первыя. „Милый князь N* разливаетъ вокругъ себя удовольствіе“—говорили послѣднія. Между тѣмъ, начались толки: одни съ усмѣшкою смотрѣли на Ариса, другіе пожимали плечами; „чему дивиться?“—шептали другъ другу на ухо: „старая дружба! Теперь же и менѣе опасности! Мужъ тихъ, скроменъ—и все съ концомъ!“

„Не позже, какъ на другой день, узнали въ городѣ о разрывѣ нашихъ любовниковъ. „Князь N* оставилъ Юлію!“—говорили мужчины, пожимая плечами. „Князь N* оставилъ Юлію!“—говорили женщины съ коварною улыбкою—и всякая изъ нихъ думала: „меня бы онъ не оставилъ!“[1262].

Къ послѣднимъ остаткамъ псевдоклассицизма надо отнести сильную примѣсь миѳологическаго элемента: имена миѳическихъ, или историческихъ героевъ (Адонисъ, Марсъ, Купидонъ, Гименей, Алкидъ, Антиной, Аспазія, Лаиса и др.) пестрятъ изложеніе повѣсти.

Описанія „природы“ не отличаются яркостью и индивидуализмомъ: нѣсколько разъ, Карамзинъ, пользуется даже пріемами псевдоклассиковъ, олицетворяя „вѣтеръ“ въ видѣ „Зефира [1263]; въ большинствѣ случаевъ, эти описанія „общи“ и „шаблонны“ и отличаются той слащавостью, которую отмѣчалъ я неразъ выше, характеризуя русскую повѣсть XVIII-го вѣка. Напр.:

„Природа брала участіе въ ихъ радостяхъ: она цвѣла тогда во всемъ пространствѣ садовъ своихъ. Вездѣ благоухали ясмины и ландыши; вездѣ пѣли соловьи и малиновки; вездѣ курился ѳиміамъ любви...“[1264] *).

„Ей кажется, что солнце свѣтитъ на него свѣтлѣе, что каждое дерево наклоняется обнять его; что ручеекъ ласкаетъ его своимъ журчаніемъ; что птички и бабочки для его забавы порхаютъ и рѣзвятся!“

---

*) Впрочемъ, здѣсь „ландыши“ и „малиновки“, какъ будто, и вносятъ нѣкоторыя черты, руссифицирующія пейзажъ.

Впрочемъ, одинъ разъ рисуетъ Карамзинъ пейзажъ, на которомъ лежатъ сѣрыя „оссіановскія тѣни“.

...за краснымъ лѣтомъ слѣдуетъ мрачная осень. Цвѣты въ полѣ и саду увяли; зелень поблекла, листья слетѣли съ деревьевъ; птички... Богъ знаетъ, куда дѣвались—и все стало такъ печально, такъ уныло, что Юлія потеряла всю охоту хвалить деревенское уединеніе...“[1255].

Какъ видно изъ всѣхъ приведенныхъ примѣровъ, природа, ея настроенія, всегда связываются съ психикой дѣйствующихъ лицъ, и самостоятельнаго значенія въ повѣсти не имѣетъ.

Вообще разобранная повѣсть, „эротическая“ по содержанію, въ то же время, является „психологической“ по замысламъ автора. И, какъ я указалъ выше, въ этомъ отношеніи она близка, по своимъ пріемамъ, къ нѣкоторымъ русскимъ произведеніямъ уже XIX-го вѣка—съ одной стороны,—а съ другой—она вся связана еще съ той повѣстью, которая явилась, какъ конечный результатъ развитія французскаго героическаго романа. Хотя на повѣсти приходится отмѣчать слѣды вліянія англійскаго романа, тѣмъ не менѣе, съ произведеніями типа повѣстей Лафайетъ, она связана гораздо бо̀льшимъ числомъ зависимостей. Вотъ почему, къ произведенію Карамзина цѣликомъ приложима та характеристика повѣстей указаннаго типа, которая сдѣлана мною выше на стр. 315—316.

Если, по „типу“ своему, это произведеніе Карамзина относится къ той группѣ произведеній, которыя окружаютъ произведенія Лафайетъ, то изъ этихъ произведеній можно выдѣлить „Contes morales“ Мармонтеля, къ которымъ повѣсть Карамзина особенно близка своимъ содержаніемъ и характеромъ.

Мармонтель, какъ впослѣдствіи Арно, Флоріанъ и Мейснеръ, принадлежалъ къ категоріи писателей, которые, въ своей литературной дѣятельности, суммируютъ самыя различныя литературныя вліянія. Это—писатели-эклектики, которые обслуживаютъ вкусы широкой публики, и потому пользуются широкою популярностью*),—они примыкаютъ и къ старой героической повѣсти, (особенно исторической), и къ романамъ типа Лафайетъ,—они, наконецъ, въ бо̀льшей или меньшей степени, подчиняются и англійскимъ вліяніямъ.

Изъ названныхъ писателей наибо̀льшею оригинальностью отличался Мармонтель: выйдя непосредственно изъ той „сказки“,

*) Въ русской литературѣ всѣ три писателя переводились и переиздавались особенно часто: Мармонтель въ моемъ спискѣ занялъ 35 №№; Арно (или, какъ его именовали русскіе переводчики—Арнодъ)—92 №№; Мейснеръ—26 №№; Флоріанъ—29 №№.

которая во Франціи XVIII-го вѣка выродилась въ скабрезные очерки жизни. Мармонтель облагородилъ эту избитую литературную форму, внеся въ нее новое содержаніе.

Онъ (конечно, не безъ помощи романовъ Лафайетъ и ея группы) въ современной ему жизни сумѣлъ усмотрѣть добродѣтельныхъ героевъ, и съ особой любовью рисовалъ ихъ, защищая такимъ образомъ, оклеветанную другими французскими писателями дѣйствительность. Онъ внесъ драматизмъ въ „сказку"—жанръ, до того времени считавшійся самымъ фривольнымъ, или, по крайней мѣрѣ, легкомысленнымъ...

Въ своихъ „Contes morales" онъ изображаетъ факты, имъ выхваченные изъ жизни придворной, буржуазной и крестьянской. Особенное вниманіе отводитъ Мармонтель семьѣ, изображенію различныхъ эпизодовъ семейной жизни: отношеніямъ мужа и жены, отношеніямъ родителей къ дѣтямъ, вопросамъ воспитанія дѣтей и самовоспитанія взрослыхъ... „Любовь", конечно, занимаетъ центральное мѣсто въ его повѣстяхъ; онъ изображаетъ и первые проблески отроческой страсти, и счастливую, и несчастную семейную любовь, и, наконецъ, любовь свѣтскую; блестящую, но скоропреходящую...

Карамзинъ былъ большимъ почитателемъ Мармонтеля,—недаромъ онъ перевелъ его сказки, подъ названіемъ: „Новыя Мармонтелевы повѣсти" (2 ч. М. 1794, № 1595),—недаромъ и русская критика назвала Карамзина *) „русскимъ Мармонтелемъ":

Изъ повѣстей Мармонтеля для выясненія литературной исторіи разбираемой повѣсти Карамзина особое значеніе имѣютъ два разсказа: „Heureusement" и „L'heureux divorce".

Въ первомъ произведеніи старая маркиза разсказываетъ исторію юношескаго égarement своего сердца: будучи замужемъ, она увлекалась разными свѣтскими людьми, но heureusement, *случай* **) всегда удерживалъ ее отъ паденія; одинъ разъ, какъ въ повѣсти Карамзина, ее спасло неожиданное появленіе мужа.

Еще больше сходства съ произведеніемъ Карамзина можно усмотрѣть въ повѣсти: „L'heureux divorce".

---

*) Къ Мармонтелю и его подражателямъ мнѣ придется еще вернуться въ слѣдующей главѣ.

**) Еще Лафайетъ ввела эту силу (hasard) въ развитіе интриги своихъ повѣстей; Voisenon въ повѣсти: „Histoire de la Félicité"—высказалъ мысль, которая развита Мармонтелемъ и впослѣдствіи Карамзинымъ въ его „Юліи": „Il-y-a des vertus que l'on doit au hasard". Такъ „hasard", мало-по-малу, въ „новомъ" романѣ вытѣснилъ прежнюю силу: „судьбу"-„fortune".

Содержаніе ея слѣдующее:

Юная дѣвица, начитавшаяся романовъ, вышла замужъ за добродѣтельнаго человѣка, который любилъ ее искренне, но могъ ей предложить только тихое семейное счастье. Она же мечтала объ иномъ счастьи. И вотъ, супруги разлучаются: они не разводятся (Мармонтель противъ развода), — они живутъ подъ одной кровлей, но каждый пользуется полной свободой. Она увлекается свѣтской жизнью, и сталкивается со свѣтскимъ „львомъ", — покорителемъ женскихъ сердецъ. Его характеристика, сдѣланная въ самой повѣсти и въ критическомъ разборѣ Lenel'я, вполнѣ приложима къ тому князю N*, который сталъ на пути Юліи:

„Le comte de Blamzé était l'homme de la cour, le plus redoutable pour une jeune femme. Il était décidé qu'on ne pouvait lui résister, et l'on s'en épargnait la peine. Il était beau comme le jour, se présentait avec grâce, parlait peu, mais très bien; et s'il disait des choses communes, il les rendait intéressantes par le son de voix, le plus flatteur et le plus beau régard du monde. On n'osait dire que Blamzé fût un fat,—tant sa fatuité avait de noblesse". Aussi poli que présomptueux, il était de plus „l'oracle du goût et le législateur de la mode". On n'était sûr d'avoir bien choisi le dessin d'un habit ou la couleur d'une voiture, qu'après que Blamzé avait applaudi d'un coup d'oeil. *Il est bien, elle est jolie,*—étaient de sa bouche des mots précieux, et son silence—un arrêt accablant. Dans un cercle de femmes, celle qu'il avait honorée d'une attention particulière était à la mode des ce même instant". (Характеристика изъ повѣсти).

„...Blamzé, malgré ses défauts, n'est ni froidement corrupteur, comme le Versac de Crébillon, ni froidement cruel, comme le Valmont de Laclos. Ce n'est ni un roué, ni un scélérat, mais plutôt un brillant étourdi, qui, sans avoir pleinement conscience du mal, qu'il fait, séduit les femmes par vanité. Ce joli homme, bien élevé, beau parleur, vêtu avec goût, l'arbitre de toutes les élégances, n'est dangereux, après tout, que pour les femmes, qui n'ont ni plus de coeur, ni plus de cervelle que lui, puisqu'il ne joue même pas la passion pour surprendre leur pudeur et ne fait pas en réalité de victimes". (Характеристика Lenel'я).

„Прекраснодушнаго", сентиментальнаго Арнса напоминаетъ собою супругъ героини—marquis de Lisère,—онъ своей юной супругѣ, жаждавшей пылкой страсти, могъ, въ силу своего темперамента, предложить только:—„cette amitié vive et tendre, cette complaisance attentive et soutenue, cette volupté douce et pure, cet amour enfin, qui n'a ni accès, ni langeur".

И, подобно Арнсу, герой Мармонтеля предоставляетъ своей супругѣ „перевоспитать себя" путемъ разочарованій и ошибокъ *). Кончается

*) „Де Лизеръ, страждя глазами, слѣдовалъ за нею въ вихорь свѣта";— онъ надѣялся на справедливость ея разума и на честность души. „Она почувствуетъ, говорилъ онъ, суету ищемыхъ ею утѣхъ, почувствуетъ глупость женщинъ, пышность мущинъ и ложность тѣхъ и другихъ; и ежели возвратится добродѣтельною, то добродѣтель ея будетъ тверже!"— такъ въ русскомъ переводѣ этой повѣсти выражены его чувства.

французская повѣсть изображеніемъ примиренія *) супруговъ и картиной того тихаго счастья, котораго раньше героиня не умѣла цѣнить. Это счастье—„est dans le silence des passions, dans l'équilibre et le répos de l'âme".

Въ третьей повѣсти: „Le bon Mari", Мармонтель опять выводитъ супруга, который „перевоспитываетъ" свою жену и приводитъ ее опять къ такому же благополучію: „dans l'intérieur de son ménage, dans l'amour de ses devoirs, dans le soin de ses enfans, et dans le commerce intime d'une société de gens de bien".

Эта забота о воспитаніи дѣтей часто проводится въ разныхъ повѣстяхъ Мармонтеля; онъ высказывается, между прочимъ, и противъ наемныхъ кормилицъ (ср. выше, мнѣніе Карамзина, стр. 455). Наконецъ, необходимо указать, что всѣ, почти, герои Мармонтеля находятъ свое счастье вдали отъ городской суеты...

Сдѣланныя мною сопоставленія повѣсти Карамзина съ произведеніями Мармонтеля вполнѣ, на мой взглядъ, опредѣляютъ литературную исторію разбираемаго произведенія.

2.

Къ разряду псевдоклассическихъ романовъ типа Телемака относятся, какъ указано было выше (стр. 391), *пять* русскихъ сочиненій. Останавливаюсь, прежде всего, на самомъ раннемъ изъ нихъ,—произведеніи Эмина:

„*Приключенія Ѳемистокла и разныя политическія, гражданскія, философическія, физическія и военныя его съ сыномъ своимъ разговоры; постоянная жизнь и жестокость фортуны, его гонящей* [129]".

Какъ самое заглавіе указываетъ, въ этомъ романѣ использована идея Фенелона—дать, въ видѣ бесѣды двухъ путешественниковъ, рядъ наставленій политической мудрости. У Фенелона Менторъ объясняетъ Телемаку различные недостатки государственнаго строя разныхъ государствъ и даже кое-гдѣ исправляетъ эти недостатки,—у Ѳ. Эмина Ѳемистоклъ, изгнанный изъ родного города, странствуетъ по бѣлу свѣту съ сыномъ Неокломъ, сообщаетъ ему попутно много замѣчаній по поводу видѣннаго, и дѣлаетъ ему соотвѣтствующія наставленія.

Взаимоотношеніе между Ѳемистокломъ и Неокломъ то же самое, что между Менторомъ и Телемакомъ: Ѳемистоклъ представленъ спокойнымъ старцемъ-мудрецомъ, котораго, по словамъ автора,

*) Наконецъ, любопытна сцена, въ которой изображено, какъ героиня разрываетъ свои, возникшія было, любовныя отношенія къ герою (ср. сцену разставанія Юліи съ княземъ N.).

„слѣдовало-бы причислить къ богамъ“, Неоклъ — пламенный юноша, постоянно рвущійся туда, куда его влечетъ юный, необузданный духъ; онъ и погибаетъ вслѣдствіе своей неуравновѣшенности и страстности... Помимо разсужденій политическихъ, въ произведеніи Эмина разсѣяно много мыслей „философскихъ“ и, вообще, нравоучительныхъ.

Обо всѣхъ этихъ идеяхъ было говорено выше (стр. 131—3). Оставляя теперь идейную сторону произведенія въ сторонѣ, я буду говорить только о литературной сторонѣ романа,—буду разсматривать его лишь со стороны фабулы и построенія...

Содержаніе романа слѣдующее:

Когда сограждане изгнали Ѳемистокла, онъ „съ сыномъ Неокломъ вознамѣрился въ бѣдныхъ лѣсообитателей жилищахъ искать своего спокойствія“, а „злой рокъ, безотрывной несчастныхъ спутникъ, повсюду за тѣми злосчастными слѣдовать приготовлялся“.

Видя, что отецъ готовъ безропотно подчиниться рѣшенію гражданъ и уйти въ изгнаніе, Неоклъ убѣждаетъ отца не повиноваться этому постановленію. Но Ѳемистоклъ—философъ: онъ спокойно относится къ людскому суду. Въ то время, какъ Неоклъ совѣтуетъ бороться,—Ѳемистоклъ говоритъ о подчиненіи. Возражая Неоклу, который напоминаетъ отцу объ его заслугахъ и укоряетъ въ неблагодарности его согражданъ, Ѳемистоклъ умаляетъ значеніе своихъ дѣяній, говоря, что онъ дѣлалъ все это, исполняя долгъ. Неоклъ волнуется. Патетическія восклицанія его выражаютъ состояніе его души. Ѳемистоклъ возражаетъ ему: „счастіе и злополучіе за слепой случай почитаю, первому не весьма радуясь и не сокрушаясь о послѣднемъ; ибо печаль несчастія нашего укротить не можетъ“. „Не тотъ человѣкъ счастливъ, кто великіе имѣетъ достатки,— не фортуна, не достоинства, ниже корона человѣка благополучнымъ творятъ, но непоколебимое постоянство“. Слѣдуютъ его разсужденія о тлѣнности человѣческихъ стремленій, объ обязанностяхъ царей и наслѣдниковъ престола, о тяжести царскихъ обязанностей, объ относительности понятія „счастье“; говоритъ онъ о томъ, „что въ простомъ человѣкѣ малой порокъ, то въ государѣ обращается въ великую погрѣшность“; затѣмъ разсуждаетъ онъ о постоянности, о томъ, что „необходимо надобно взять добродѣтель за прямую цѣль, къ которой всѣ наши желанія стремиться должны“. Затѣмъ Ѳемистоклъ философствуетъ о различіи „учености“ и „мудрости“. Повторяя Руссо, онъ утверждаетъ, что ученость—софистика, что истинная мудрость заключается въ знаніи жизни, въ умѣніи вести къ добродѣтели... Онъ безпощадно критикуетъ философію, физику, метафизику... Говоря о познаваніи естества, издѣвается надъ наукой. Словно повторяя кантемировскаго Сильвана, онъ говоритъ: „и подлинно, столько нынѣ земледѣліе оскудѣло, что едва само себя пропитать можетъ потому, что и тѣ, которые къ сохѣ родились, пошли въ университеты и гимназіи, и тамъ, или сиди при горнахъ, мѣхами дуютъ, или, выпучивши глаза въ верхъ, стерегутъ звѣзды, чтобъ изъ своихъ предѣловъ не избѣжали!..“ „Натура сама въ себѣ всю потребную имѣетъ философію, и мы оную въ сердцахъ и ра-

умахъ своихъ сыскать можемъ, естьли усердно о томъ постараемся"— говоритъ онъ. „Точное понятіе о добрыхъ и злыхъ человѣческихъ нравахъ есть потребнѣйшее для людей знаніе"... Особенно критикуетъ онъ „краснорѣчіе": „Не краснорѣчіе ли, по большой части, испортило человѣческія нравы?.. Ахъ, нынѣ краснорѣчіе подобно вѣтряной мѣльницѣ, на ту сторону обращающейся, отъ куда вѣтеръ дуетъ".

Въ Каріи Ѳемистоклъ и Неоклъ попали въ магистратъ. Далѣе слѣдуетъ сатирическое изображеніе мѣстныхъ порядковъ. Высмѣивается „словесной судъ". Обличается полиція, которая живетъ мздоимствомъ и грабежомъ. Отецъ и сынъ, наглядѣвшись вдоволь на эти порядки, рѣшили уѣхать въ Ѳракію. Отъ всего видѣннаго Неоклъ впалъ въ отчаянье, но Ѳемистоклъ его утѣшаетъ — онъ говоритъ, что правда есть на землѣ, но что ее надо искать только „правдой",—чего, обыкновенно, люди не дѣлаютъ. „Кромѣ того, то наше несчастье, что мы весьма непостоянны и ничѣмъ довольствоваться не можемъ". Затѣмъ Ѳемистоклъ проповѣдуетъ умѣренность. „Нужда есть преизрядной учитель,—она всякаго научитъ потребному",—говоритъ онъ.

Слѣдуетъ разсужденіе „о дружбѣ", объ отношеніи дѣтей къ родителямъ, объ устройствѣ человѣческой природы: „въ человѣкѣ почти есть двѣ души, изъ которыхъ одна Божественный имѣетъ чинъ и коей познаніе философіи не открыто,—для того, и не человѣку говорить объ ней должно (sic). Вторая—вещественная и существительная, которая общая есть съ животными и кою можно назвать орудіемъ невидимыя души; она есть начало дѣйствительное, питающееся стихіями, самыми тонкими, имѣющее быстроту огни и раздѣльность воздуха на сообщеніе и воспріятіе движенія прескоротечнаго; тѣло ей служитъ палатою; глаза—окнами, уста имѣетъ вмѣсто дверей, а сердце—вмѣсто печки; страсти человѣческія суть тѣ дрова, которыми она, разгорѣвшись, парѣть начинаетъ, и по всей крови оные пары разліяются, и сіе все движеніе дѣлаетъ духъ. Печаль имѣетъ то свойство, что прибавляетъ больше къ крови паровъ; похотѣніе также воспламѣняется въ крови и погасаетъ токмо съ движеніемъ, согласнымъ съ своимъ состояніемъ" и т. д.

Затѣмъ Ѳемистоклъ и Неоклъ прибыли во Ѳракію. Слѣдуетъ разсужденіе (въ духѣ деизма) объ единствѣ Бога у всѣхъ и о различіи его представленій у разныхъ народовъ. Въ этомъ разсужденіи есть мысли объ отношеніи Бога къ творенію, о безпомощности людей въ дѣлѣ познанія Бога: „Богъ людей создалъ, и онъ можетъ объ нихъ опредѣлить по своему произведенію, но люди о Богѣ ничего опредѣлить не могутъ. Онъ можетъ здѣланною машиною управлять, такъ, какъ изрядной мѣханикъ, но машинѣ мѣханикомъ нельзя. Сколько въ натурѣ предобрыхъ и удивительныхъ, вещественныхъ и невещественныхъ тварей и дѣйствій находится,—все то въ Богѣ, во всей натурѣ—Богъ, и вся натура—въ Богѣ". Затѣмъ слѣдуетъ критика разныхъ мѣстныхъ порядковъ (сенатъ, полиція, магистратъ, церковный судъ); разсказывается встрѣча съ однимъ философомъ. По требованію Аѳинянъ, Ѳемистокла высылаютъ изъ Ѳракіи.

Новая бѣда однако не поколебала его стоицизма: „съ геройскимъ и неустрашимымъ сердцемъ" сѣлъ онъ въ свою „кибитку" и уѣхалъ

въ Персію. Неокла волнуютъ всѣ эти злоключенія отца, но Ѳемистоклъ спокоенъ: онъ—„къ разнымъ трудамъ привыкъ", „укрѣпилъ свое сердце", и потому „постоянность онаго непреоборима". Видя, какъ волнуется сынъ, Ѳемистоклъ говоритъ, что, казалось-бы, сокрушаться ему, отцу, больше есть основанія, такъ у него должны были бы страдать родительскія чувства,—однако, онъ спокоенъ, такъ какъ вѣритъ въ торжество правды. Слѣдуетъ разсужденіе о родительской любви, о природѣ человѣка: „жизнь наша ничто иное есть, какъ претерпѣваніе и сокрушеніе о главной природы нашей утратѣ". Человѣкъ былъ одаренъ понятіемъ добра и зла,—слѣдовательно, дана ему была и воля надъ самимъ собой. Созданный къ благополучію, человѣкъ потерялъ его, и теперь долженъ искать и бороться. И въ этомъ его спасенье. „Человѣкъ подобенъ ароматическимъ зѣльямъ, кои мять и жать надобно, чтобъ произвесть благовоніе". Неоклъ заявляетъ, что, по его наблюденіямъ, изъ всѣхъ божествъ самое могучее,—фортуна, и потому онъ рѣшается молиться ей. Ѳемистоклъ оспариваетъ это утвержденіе, низко ставитъ ея власть, говоря, что „постоянность завсегда упомянутую богиню побѣждаетъ". Вотъ почему, для борьбы съ фортуной, „постоянность" и ея два спутника: „мужество и добродѣтель",—всегда нужны человѣку.

При дворѣ Ксеркса Неоклъ увидѣлъ царскую дочь Помену и влюбился въ нее. Ѳемистоклъ доказываетъ сыну неразумность этой страсти и вредъ безразсудной любви вообще. Но сынъ не можетъ справиться съ собою,—онъ „вопитъ", одержимый любовью... По этому поводу авторъ пускается въ разсужденія о физіологіи любви („отъ движенія крови является теплота и мокрота въ организмѣ" и пр.). Слѣдуютъ разсужденія Ѳемистокла о природѣ человѣка, объ отношеніи тѣла и души... Здѣсь, попутно, выступаетъ авторъ противъ матеріалистовъ: и, въ то же время, противорѣча себѣ, говоритъ о физіологическихъ причинахъ зла, о печени... Говоритъ онъ затѣмъ о безсмертіи души, объ отличіи человѣка отъ звѣря, о томъ, можетъ-ли ученый быть благополучнымъ, о различномъ пониманіи „знанія", о политикѣ, о медицинѣ, о томъ, что слава врачей зависитъ отъ слѣпого случая, что выздоровленіе часто зависитъ отъ самовнушенія, что лечить, прежде всего, надо душу и пр.

Во время похода, Ксерксъ приказываетъ Неоклу ѣхать въ Сузу къ Помене, съ извѣстіемъ объ одержанной побѣдѣ. Неоклъ мучимъ любовью. Ѳемистоклъ охлаждаетъ его. Когда Неоклъ хочетъ уклониться отъ опасной поѣздки, подъ предлогомъ болѣзни, Ѳемистоклъ его стыдитъ, говоря: „никогда не учися зла лѣчить зломъ..." Ѳемистоклъ убѣждаетъ Ксеркса устроить пріютъ для инвалидовъ. Слѣдуютъ его разсужденія на эту тему. Затѣмъ говоритъ онъ далѣе о любви къ отечеству, о подчиненіи законамъ. (Собесѣдникъ Ѳемистокла исходилъ изъ такого положенія: кто, какъ Ѳемистоклъ подчинился несправедливому рѣшенію,—тотъ самъ несправедливъ).

Между тѣмъ, Ксерксъ затосковалъ. Ѳемистоклъ, „внутренности человѣческія проникать умѣющій"—объяснилъ эту тоску тѣмъ, что Ксерксу нѣчего было желать,—все онъ имѣлъ. Слѣдуютъ разсужденія на тему объ умѣренности и о ненасытности людской. Въ концѣ концовъ, Ксерксъ рѣшилъ, что счастливыхъ людей нѣтъ на землѣ. Ѳемистоклъ разсу-

ждаетъ о природѣ человѣка, объ отличіи его отъ звѣря, о прирожденности эгоизма у человѣка, о неумѣніи человѣка понять, гдѣ добро и зло. „Наша природа всегда клонится къ добру, но мы, не умѣя употреблять нашихъ склонностей, ко злу обращаемся, да и то самое зло потому дѣлаемъ, что оное добромъ себѣ представляемъ". Доказываетъ Ѳемистоклъ, что человѣкъ въ злобѣ хуже звѣри. Разсуждаетъ о любви, о темпераментахъ, характеризуетъ флегматика, холерика, меланхолика, ихъ природу и характеръ ихъ любви...

Исполняя порученіе царя, Неоклъ пріѣхалъ въ Сузу. Онъ былъ принятъ любезно царевной. Помня уроки отца, любовь свою онъ сдерживаетъ. Между тѣмъ, царевна Помона замѣтно его отличаетъ. Это волнуетъ и искушаетъ юношу: не будучи въ состояніи съ собой справиться, Неоклъ въ отчаяніи „вопитъ" жалобы на судьбу... Борьба съ любовью ему трудна. Неоклу завидуютъ при дворѣ и прибѣгаютъ къ отравѣ. Неоклъ умираетъ. Старикъ-Шахъ сватается за Помону. Ксерксъ спрашиваетъ у Ѳемистокла совѣта. Слѣдуетъ по этому поводу разсужденіе Ѳемистокла о бракѣ, о выборѣ жениха и невѣсты. Въ это время за Ѳемистокломъ явились посланные изъ Аѳинъ, съ просьбой ѣхать управлять городомъ. Ѳемистоклъ ѣдетъ. Онъ критикуетъ аѳинянъ, ихъ нравы, говоритъ о мудрецахъ, о пользѣ странствованій для нѣкоторыхъ и о вредѣ для другихъ. Далѣе высмѣивается мадонмство аѳинянъ; какъ примѣръ, выводится одинъ чиновникъ. Въ заключеніе, Ѳемистоклъ оканчиваетъ свою жизнь мудрецомъ-отшельникомъ, въ уединеніи, вдали отъ дѣлъ...

Казалось-бы, произведеніе это могло быть причислено къ тому же разряду историческихъ героическихъ повѣстей, къ которому отнесена мною выше повѣсть Пракудина: „Валерія", но достаточно самаго поверхностнаго взгляда, чтобы убѣдиться, что не столько романизація біографіи Ѳемистокла была главной цѣлью автора, сколько желаніе, подъ легкимъ покровомъ повѣсти, дать читателю рядъ политическихъ, философскихъ и моральныхъ разсужденій... Этотъ „дидактизмъ" настолько покрываетъ собою элементъ беллетристики, что произведеніе Эмина, въ литературномъ отношеніи, стоитъ очень невысоко, — въ немъ „литературности" неизмѣримо меньше, чѣмъ въ произведеніи Фенелона, хотя оно ближе всего, по содержанію, подходитъ именно къ нему, также къ „Велизарію" Мармонтеля и къ „Киропедіи" Ксенофонта (см. объ этомъ произведеніи ниже стр. 506—7).

Мнѣ приходилось уже говорить, что интересъ къ историческимъ лицамъ греческой и римской старины былъ у насъ въ XVIII-омъ вѣкѣ очень силенъ. Такъ, извѣстна была у насъ повѣсть

---

*) Ср. также „Новое Киронаставленіе" соч. Рамзея (№ 167) и то же сочиненіе, подъ названіемъ: „Спокойствіе Кирово, или повѣствованіе его жизни" (№ 195). Объ этомъ сочиненіи см. выше стр. 121—2.

Мармонтеля, посвященная Алкивіаду (№ 137); кромѣ того, къ этому же типу „политическихъ“ романовъ съ героями изъ древней исторіи относятся слѣдующія произведенія: „Аристидъ, или истинный патріотъ“ съ фр. (№ 735), „Нума Помпилій“ соч. Флоріана (№ 967—8), „Греческіе анекдоты“ (№ 1027), „Алкивіадъ, раздѣленный на 4 части, соотвѣтственно 4-мъ возрастамъ человѣка“, твор. Мейспера“ (№ 1528) и др. Въ журналахъ XVIII-го вѣка имена историческихъ лицъ классической старины часто встрѣчаются въ анекдотахъ, повѣстушкахъ, въ діалогахъ (особенно популярны были „разговоры въ царствѣ мертвыхъ“). Въ „Указателѣ“ Неустроева [120], подъ именами: Александръ Великій, Аристидъ, („Аристидъ изгоняемъ изъ отечества“, „Аристидъ на Марафонскомъ полѣ“, „Аристидъ, разсуждающій о политическихъ дѣлахъ“ №№ 572—574), Аристиппъ, Аристодемъ, Киръ, Сократъ и др. можно найти полный перечень этихъ произведеній, попавшихъ цѣликомъ, или въ отрывкахъ, на страницы русскихъ журналовъ XVIII-го вѣка. Произведеніе Эмина относится всецѣло къ этой группѣ,—для выраженія идей своего времени онъ прикрылъ себя именемъ Ѳемистокла, безъ стѣсненія измѣнивъ его образъ, сообразно своимъ идейнымъ потребностямъ.

Плутархъ—неизмѣнный источникъ для всѣхъ этихъ опытовъ „литературнаго искаженія“ древней исторіи; вѣроятно, „Жизнеописанія“ Плутарха были и въ рукахъ Эмина, но нашъ писатель очень свободно переработалъ тѣ факты, которые могъ извлечь оттуда.

Онъ, прежде всего, „идеализировалъ“ Ѳемистокла,—придалъ ему черты идеальнаго философа-мудреца Велисарія, гонимаго рокомъ; онъ заставилъ своего героя путешествовать по такимъ странамъ, о которыхъ ничего не говоритъ Плутархъ; спутникомъ Ѳемистокла Эминъ дѣлаетъ его взрослаго сына Неокла, влюбляетъ этого юношу въ персидскую княжну и заставляетъ его умереть отъ отравы,—тогда, какъ, по Плутарху, Неоклъ умираетъ еще малолѣтнимъ, отъ укуса лошади.

Съ псевдоклассическими романами произведеніе Эмина связано своимъ „авантюрнымъ“ построеніемъ и той ролью, которая отведена въ романѣ „судьбѣ“. Особенно любопытенъ тотъ разговоръ, который, по этому поводу, ведетъ Ѳемистоклъ съ сыномъ Неокломъ. Юноша рѣшился молиться одной богинѣ „фортунѣ“—

„которой всѣ Дельфы поклоняются,—той богинѣ, которая на семъ свѣтѣ благо и зло въ своей рукѣ содержитъ; она, по своему произволенію, сливаетъ на человѣческія сердца радость и уныніе; во власти ея находится бѣдность и счастіе, посрамленіе и слава; она изъ земли

возводитъ великолѣпныя зданія, распространяетъ государство, размножаетъ общество, и паки оное, когда ей угодно, въ разореніе приводитъ, и въ ничто превращаетъ. Она изъ престола—хижину, а изъ хижины столичной городъ претворяетъ; воздушныя дыханія, теченіе звѣздъ въ ея повелѣніи находятся, миръ и война—въ ея власти, судьбина отъ нее зависитъ, и самая добродѣтель, которая со всѣми богами въ дружествѣ пребываетъ, оной противустоять не можетъ! И такъ, батюшка, я вознамѣрился препоручить себя Фортунѣ,—ея искать покровительства и повсюду за нею слѣдовать; и вижу, что она на землѣ царствуетъ, и я, какъ на землѣ живущій, долженъ той богинѣ повиноваться!"— „Видно, что ты хочешь тамъ сжинать, гдѣ не только ты, но никто не посѣялъ!"—отвѣчалъ Ѳемистоклъ. „Скажи мнѣ, Неоклъ, продолжалъ онъ, нѣтъ ли никакой другой въ свѣтѣ власти, которая бы тяоей новообожаемой богинѣ противиться могла?"—„Кажется, что еще я не слыхалъ,—отвѣчалъ Неоклъ,—чтобъ Фортунѣ и ея повѣренной наперстницѣ-судьбинѣ, какая-нибудь сила противустоять могла!.." „Но и тебѣ скажу, что гораздо есть сильнѣйшее оной дѣйствіе,—повторилъ Ѳемистоклъ,—*Постоянность* завсегда тобою упоминутую богиню побѣждаетъ!—она горделивымъ Фортуны стремленіямъ предвергаетъ предѣлы, и часто въ самомъ быстромъ ея бѣгѣ удерживаетъ, опровергаетъ ея колесницу, и самую ея беретъ въ неволю. Фортуна граничитъ съ государствомъ постоянности; и хотя постоянность весьма малое владеніе имѣетъ, а фортуна почти цѣлымъ свѣтомъ обладаетъ, однако всегда геройству постоянности уступаетъ потому, что у фортуны всѣ подданные бываютъ, обыкновенно, люди слабые, неумѣренные, другъ другу завидующіе, лѣнивые и трусливые, а у постоянности—герои и философы, собою довольные и въ мысляхъ и высокихъ своихъ предпріятіяхъ никогда непремѣнные. И хотя мужество и добродѣтель, вѣрные постоянности министры, частыя отъ фортуны претерпѣваютъ нападенія, однако время, старѣйшій межъ всѣми судья, увидя ихъ споръ и причины онаго, наконецъ, постоянности преимущество даетъ, и добродѣтель съ мужествомъ, наконецъ, надъ фортуною торжествуютъ [1292].

„...Ежели наша воля завсегда согласуется съ разумомъ, тогда изъ ихъ согласія рождается постоянность; притомъ надобно просить боговъ о вспоможеніи" [1293]—говоритъ Ѳемистоклъ.

Эта точка зрѣнія Эмина, низводящая значеніе „судьбы" „на нѣтъ", знакома намъ и по Фенелону, и по Прево... Но, тѣмъ не менѣе, при всемъ отрицательномъ отношеніи автора къ всемогуществу фортуны, онъ часто въ романѣ говоритъ объ ея власти. Такъ, напримѣръ, самъ Ѳемистоклъ рѣшилъ жить такъ, какъ ему опредѣлитъ „судьба". Въ этомъ онъ видитъ особую „мудрость".—

„У меня философъ тотъ, которой согласуется со временемъ, со случаемъ и съ своимъ жребіемъ" [1294].

„Въ свѣтѣ быть бѣднымъ и безсильнымъ суть двѣ весьма порочныя вещи, никто тово не разсуждаетъ, что бѣдствіе—отъ судьбы, а безсиліе отъ натуры зависитъ" [1295].

Большое участіе въ дѣлахъ человѣческихъ отводитъ авторъ „богамъ“.

„Мы боговъ часто въ томъ утруждаемъ, что̀ намъ самимъ предосудительно, и они, молитвъ нашихъ невыслушавъ, милосердіе съ нами дѣлаютъ, а мы, по нашей слѣпотѣ, на нихъ негодуемъ. Боги, предвидя наше благо и зло, къ первому способствуютъ, послѣднее отъ насъ отвращая“ [1296].

„Описаній“ въ произведеніи Эмина совсѣмъ нѣтъ. За то „психологическій элементъ“ здѣсь оченъ силенъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, онъ выражается въ разсужденіяхъ автора о человѣческой природѣ; иногда эти разсужденія влагаются въ уста философствующаго героя; напр.,—

„Мы, обыкновенно, того хочемъ, что̀ намъ воспрещено. Неоклу принцессина красота тогда стократно пріятнѣйшею показалась, когда Помена изъ глазъ его изчезла, такъ какъ гораздо вкуснѣйшею охотнику бываетъ та птица, которая, отъ стрѣлы освободясь, полетомъ своимъ спасается. Цѣлую ночь онъ препровелъ на разныхъ размышленіяхъ, какъ ему при ономъ дворѣ поступать надлежало, и можно ли ему было требовать дозволѣнія у своей природы любить Принцессу... Принцесса пересидская всякаго почтенія и любви ему быть достойною показалася, и онъ любить ее вознамѣрился, но что бы ему такая любовь ни стала, и хотя бы была награждена ненавистью и презрѣніемъ“ [1297].

„...Это отъ того происходитъ, продолжалъ Ѳемистоклъ, что мы, увидя что-нибудь пріятное, къ оному слѣпо мысли свои прилѣпляемъ, не разсуждая, какія размышленій нашихъ будутъ слѣдствія... Потомъ сыскиваемъ въ себѣ такія достоинства и удобности къ достиженію къ желаемому, которыхъ въ насъ никогда не бывало, стараемся противу здраваго разсужденія здѣлать возможнымъ то, чему никогда быть нельзя; потомъ такъ въ мысляхъ своихъ запутываемся, что сами не знаемъ, что̀ съ нами дѣлается, и какой конецъ будетъ нашихъ волненій,—и это все происходитъ отъ неумѣренности, которая, по бо̀льшей части, людей ослѣпляетъ, такъ что они сами себя не видятъ“ [1298].

„Неоклъ, не могши послѣ предложеній Ѳемистоклоныхъ, вдругъ пресѣчь дѣйствующей въ сердцѣ его любви, разными терзался безпокойствіями, не зная, какія слѣдствія сердечныя его обращенія возымѣютъ. Любовь въ себѣ завсегда имѣетъ терпѣніе и вожделѣніе, и всегда въ томъ нужду претерпѣваетъ, чего желаетъ“ [1299].

Любопытной чертой всѣхъ этихъ попытокъ Эмина заглянуть въ душу человѣческую являются матеріалистическія тенденціи; онъ неразъ психику человѣка строитъ на физіологическихъ основаніяхъ, напр.—

„Всякія живущія твари и безчувственныя древа влагою и теплотою содержатъ свою жизнь и бытіе. И когда человѣкъ влюбится въ кого страстно, и безразсудительно—того врожденная влага высыхать и теплота остывать начинаетъ. Оттого мы, обыкновенно, видимъ, что влюбленныя люди бываютъ сухощаваго и блѣднаго лица. Кто-жъ сумнѣ-

ваться можетъ, что сухость происходитъ отъ уменьшенія влаги? или кто противурѣчить похочетъ, что блѣдность не отъ остывающей теплоты рождается? изъ чего часто приключается, что любовію изнуряемые часто смертельной опасности подвержены бываютъ; понеже толь сильнымъ дѣйствіямъ натура долго сопротивляться не можетъ". „Влюбленнаго сердца духъ въ безпрестанномъ любимаго предмѣта образованіи обращается; врожденные соки странные производятъ пары, которыя, подходя вверхъ, затмѣваютъ разумъ; тогда уже кровь, разными парами обезсиленная, не имѣетъ такой силы и отъ того желудокъ не варитъ пищи, потомъ, мало по малу, сжиматься начнетъ; изъ чего слѣдуетъ, что кровь тернетъ равновѣсіе, и по разнымъ каналамъ бурливо разливаться начнетъ... Наконецъ, не сыскавъ соотвѣтственнаго вспоможенія отъ неисправности желудка и отъ напаевающихъ ее паровъ, уменьшается и въ разныхъ мѣстахъ останавливается, изъ чего бываетъ колика—и, потерпившее прежнюю теплоту, тѣло блѣднѣетъ. Притомъ, куда человѣческія пары носятся, туда и духъ стремится, которой изъ самой тончайшей части крови рождается и имѣетъ въ сердцѣ своемъ центръ; и ежели желанія отъ соизволенія, а соизволѣніе отъ согласія сердца происходитъ, то и духъ повсюду слѣдуетъ за желаніями, отъ чего бываетъ, что влюбленной человѣкъ, устремя мысли свои къ любимому предмѣту, у онаго со всѣми своими прескоротечными дѣйствіями обращается; тогда сердце, завсегда требующее охлажденія и теплоты за благовременно, остается безъ врожденнаго вспоможенія и ныть начинаетъ..." и т. д. [1300].

„Любовь" не играетъ въ романѣ почти никакой роли: она вводится только, какъ эпизодъ, связанный съ жизнью Неокла, сына Ѳемистокла. Когда автору приходится говорить объ этомъ, онъ прибѣгаетъ къ шаблоннымъ пріемамъ раскрытія „психики" влюбленнаго сердца—къ патетическимъ монологамъ, разговорамъ героя „вслухъ" съ самимъ собою, —

„Ахъ, несчастливѣйшій я человѣкъ изо всѣхъ смертныхъ!" — страстными мыслями удручаемъ вскричалъ—можно ли любить кому и когонибудь, ничего не надѣясь?.. Но какую надежду и выдумать могу?.. Помни, моя государыня, можно ли подданному толь далече простерть свои мысли?" „О, лютой законъ, которому любовь никогда не бывала подвластна! кто тебѣ далъ то право, чтобъ повелѣвать природою?.. Ахъ, куда митущіяся мои мысли простираются!.." [1301].

„...Ахъ, нѣтъ, любовь мою „порокомъ" назвать должно!.. Есть ли я оную изъ моего сердца истребить не потщуся, какъ мнѣ явиться предъ глаза моего родители, ежели онъ узнаетъ о моей неразумной любви? не я ли ему далъ слово, что всячески стараться буду любовной огонь утушать въ моемъ сердцѣ!.. Нѣтъ, горестная любовь! не одержишъ ты надъ моимъ сердцемъ побѣды: страдай, мое сердце! нѣтъ тебѣ никогда надежды, терпите страсти и всѣ чувства мои бесконечно; рокъ, боги, время—я васъ осуждаю на вѣчное терпѣніе"... „Ахъ! что я думаю, скажи мнѣ, Небо, свѣтъ, море,—вся природа и ты, отягощенное мое сердце, которому качества и красота Помены больше всѣхъ извѣстны! Скажите мнѣ, прошу истинно, могу ли я ненавидѣть принцессу?" [1302].

Единственно этотъ вводный эпизодъ (любовь Исокла) вноситъ литературный характеръ въ разбираемое произведеніе. Уже изъ приведеннаго монолога видно, что эпизодъ разработанъ по готовой схемѣ: здѣсь любовь простого смертнаго къ принцессѣ,—любовь, почтительная, дѣлающая героя рабомъ (esclave), — здѣсь борьба чувства съ строгимъ голосомъ приличій (pruderie),—съ чувствомъ долга и разума; самая любовь отличается галантностью и находитъ себѣ выраженіе въ строго-преціозномъ стилѣ.

Литературная исторія этого романа вполнѣ объяснима изъ сопоставленія его съ тѣми „политическими романами, о которыхъ рѣчь шла выше. (См. выше изложеніе содержанія повѣсти Мармонтеля: „Велисарій" на стр. 410—1; Терассона: „Геройская добродѣтель, или жизнь Сиоа", стр. 119—120; Рамзея: „Новое Киропаставленіе"—стр. 121).

Привожу, для сопоставленія, еще характеристику—1) романа Ксенофонта: „Киропедія" и—2) переводной повѣсти: „Аристидъ, или истинный патріотъ" (М. 1785, пер. съ фр.).

Въ романѣ Ксенофонта изображена жизнь Кира: онъ представленъ ребенкомъ, который надѣленъ выдающимся умомъ; представленъ мудрымъ юношей и зрѣлымъ человѣкомъ—искуснымъ военачальникомъ и разумнымъ управителемъ.

Въ бесѣдахъ съ Астіагомъ и Камбизомъ, въ ихъ наставленіяхъ, находитъ онъ основы своей мудрости; впослѣдствіи, въ разговорахъ съ друзьями, въ рѣчахъ къ воинамъ, къ иностраннымъ царямъ, къ народу, въ письмахъ выражаетъ онъ свои взгляды на разныя крупныя и мелкія явленія военной и государственной жизни. Романъ Ксенофонта—„военный" по преимуществу,—оттого здѣсь мы находимъ различныя разсужденія, касающіяся теоріи и практики военной жизни: объ отношеніи военачальника къ воинамъ, о дисциплинѣ, о необходимости заботиться о гигіенѣ воиновъ, о выборѣ мѣста для лагеря, объ устройствѣ лагеря, о сущности тактики и стратегіи... Часто всѣ эти мысли изображены въ дѣяніяхъ самого Кира. Но, кромѣ этого „военнаго" содержанія, встрѣчаемъ мы въ произведеніи Ксенофонта разсужденія вообще о сущности власти, о повиновеніи гражданъ, объ искусствѣ управленія людьми, о воспитаніи (изложена система воспитанія у персовъ), о значеніи законовъ, о женщинахъ, о тлетворномъ вліяніи ихъ на мужчинъ, о любви, о рабствѣ и объ отношеніи къ рабамъ, объ экономическихъ и финансовыхъ вопросахъ государственной жизни, о религіи и религіозныхъ учрежденіяхъ, о богослуженіи, о деньгахъ и тлетворномъ вліяніи золота...

Всѣ эти мысли и разсужденія сплетены съ разсказами о подвигахъ Кира во время войны и мира, съ анекдотами, свидѣтельствующими объ его мудрости, гуманности... Передъ нами, по мѣрѣ развитія романа, выростаетъ свѣтлый образъ человѣколюбиваго мудреца, умѣющаго жить,—царя, который относится къ подданнымъ, какъ отецъ.

Заключается романъ предсмертной рѣчью уже старика-Кира, въ которой онъ прощается со своими близкими; эта рѣчь—итогъ его наблюденій надъ жизнью человѣческой.

Вставные эпизоды, длинныя рѣчи, иногда даже патетическія, письма, діалоги,—все это разнообразитъ изложеніе романа и придаетъ ему нѣкоторую жизненность.

Дѣйствіе романа развертывается въ предѣлахъ Малой и Средней Азіи и захватываетъ судьбу многихъ историческихъ народовъ.

Это произведеніе Ксенофонта сыграло большую роль въ исторіи европейской литературы; именно оно и создало въ европейской литературѣ шаблонную форму политическаго романа, въ которую особенно легко можно было вкладывать свои и чужія мысли, воплощать міросозерцаніе политическое, религіозно-моральное и философское...

Особенно любопытенъ второй романъ: онъ съ произведеніемъ Эмина связанъ во многихъ отношеніяхъ: характеръ обоихъ произведеній тожественный, эпоха изображена та же, судьба героевъ взаимно переплетена ихъ политическими отношеніями... Вотъ почему можно—или предположить, что Эминъ, прочитавъ романъ объ *Аристидѣ*, оттуда почерпнулъ идею написать романъ о *Темистоклѣ*,—или, въ случаѣ, если два произведенія возникли совершенно независимо одно отъ другого—остается сдѣлать выводъ, на мой взглядъ, еще болѣе цѣнный: русская творческая мысль, воспитанная западной литературой, самостоятельно пошла по той дорогѣ, которая ей была указана извнѣ,—пошла до такой степени смѣло и свободно, что у насъ возникаютъ произведенія, почти тожественныя съ западными, по содержанію и характеру *).

Содержаніе этого произведенія слѣдующее:

Аристидъ, при помощи длинныхъ рѣчей и разсужденій, обыкновенно убѣждающихъ согражданъ, устраиваетъ порядокъ въ государствѣ и войскахъ; по его настоянію, выбираютъ главнокомандующимъ Мильтіада; послѣ сраженія онъ организуетъ охрану плѣнныхъ и захваченныхъ богатствъ. Онъ убѣждаетъ, между прочимъ, гуманно относиться къ плѣннымъ. Въ области государственной жизни онъ выступаетъ всегда въ защиту законовъ, обличаетъ корыстолюбіе; онъ говоритъ и объ обязанностяхъ жреца. Разсуждаетъ онъ далѣе о правленіи народномъ, о монархической формѣ правленія, о томъ, что законъ выше царя, говоритъ о томъ, каковъ долженъ быть истинный царь; нераз высказывается онъ противъ деспотизма, противъ того славолюбія, которое основывается на военныхъ успѣхахъ (встрѣча Аристида съ Александромъ Македонскимъ); рисуя „храмъ истины", онъ въ этой аллегориче-

*) Несмотря на всѣ поиски въ иностранныхъ библіографическихъ трудахъ (Barbier, Querard и др.), не могъ я тамъ найти этого романа. Поэтому не могъ я опредѣлить и хронологіи его.

ской картинѣ воплощаетъ свое пониманіе смысла царской власти. Говоритъ онъ много и объ обязанностяхъ гражданина, о подчиненіи законамъ, о патріотизмѣ, о томъ самопожертвованіи, на которое всегда долженъ быть готовъ гражданинъ. Наконецъ, нераз разсуждаетъ онъ о томъ, что такое человѣкъ, говоритъ объ отношеніи его къ людямъ, подобнымъ ему; говоритъ о смиреніи, гуманности... Онъ отъ рѣчей на мотивы нравственные иногда опускается до вопросовъ экономическихъ,—трактуетъ о торговлѣ, о земледѣліи и пр. Касается онъ и вопроса объ отношеніяхъ семейныхъ (взаимныя отношенія мужа и жены, родителей и дѣтей и пр.).

Всѣ эти рѣчи сплетены съ главнѣйшими фактами его жизни. Когда граждане изгоняютъ его, онъ живетъ уединенной жизнью мудреца-отшельника, и въ это время, отдается воспитанію своихъ дѣтей. Какъ эминовскій Ѳемистоклъ утѣшаетъ своего волнующагося и негодующаго сына,—такъ Аристидъ успокаиваетъ своихъ дѣтей, которые тоже негодуютъ на несправедливость гражданъ. Главнымъ образомъ, въ утѣшеніе своимъ дѣтямъ, онъ и развиваетъ свои высокія мысли о высшей всепрощающей гуманности, высшей справедливости, стараясь зажечь въ ихъ юныхъ сердцахъ „пламень любви и честности".

Въ романъ вплетены и отношенія его къ Ѳемистоклу: разсказано о томъ, какъ онъ примирился съ своимъ врагомъ, когда, по его мнѣнію, того требовали нужды родины.

Изъ пересказа этого романа и всѣхъ указанныхъ выше видно, что нашъ писатель тѣсно примыкаетъ къ этой группѣ писателей, такъ сказать въ формальномъ отношеніи,—построеніе его романа совершенно тожественно съ тѣмъ, которое мы наблюдаемъ у всѣхъ вышеуказанныхъ писателей. Что касается идейной стороны, то нашъ писатель является мыслителемъ, во многихъ отношеніяхъ, самостоятельнымъ. Правда, въ основахъ своего міросозерцанія, онъ является ученикомъ „просвѣщеннаго вѣка" (см. выше стр. 131—3), особенно Фенелона, но въ деталяхъ, въ мелкихъ разсужденіяхъ практическаго характера, онъ часто обнаруживаетъ старанія сказать „свое" слово,—полезное, по его мнѣнію, для родины *)...

Совершенно того-же типа повѣсть Хераскова: *„Нума, или продолжающій Римъ"* [1304]. Подобно роману Эмина, это произведеніе не можетъ быть отнесено къ чисто-историческимъ, хотя главный герой его—историческое лицо, и дѣйствіе романа связано съ опредѣленной эпохой; факты историческіе, по указанію самого автора, почерпнуты изъ сочиненій Шофена: „Жизнь славныхъ мужей",

---

*) См. объ этомъ подробнѣе интересную работу А. І. Лященко: „Къ исторіи русскаго романа. Публицистическій элементъ въ романахъ Ѳ. Эмина" [1303].

Ешарда: „Римская Исторія“, т. I, „Жизнеописаній“ Плутарха и „Универсальной исторіи ученаго собранія“, т. XIII *).

Но, какъ въ произведеніи Мармонтеля („Велизарій“) и у Эмина („Приключенія Оемистокла“) интересъ автора сосредоточенъ не на романизаціи біографіи героя, а на его разсужденіяхъ, философскихъ и моральныхъ,—такъ и въ разбираемой повѣсти Хераскова дидактическія тенденціи являются преобладающими надъ элементомъ чисто-литературныхъ.

Вотъ почему, съ одной стороны, это произведеніе примыкаетъ къ исторической псевдоклассической повѣсти, а, съ другой стороны, должно быть отнесено къ группѣ романовъ, въ духѣ Фенелона.

Привожу содержаніе романа:

„Въ прохладныхъ тѣняхъ Арицейскаго лѣса, близъ котораго протекаетъ чистоводный *Туберонъ*, отдѣляющій древнюю *Лацію* отъ Сабиновъ и питающій своими прохладными струями дикія поля (sic). Въ сей пустынноводной странѣ, при основаніи раждающагося Рима, представлялись зрѣнію только убогія хижины, по зеленѣющимся холмамъ разсѣянныя; стада, пасущіяся на лугахъ тучныхъ, и, между ключей, непрестанно шумящихъ, сады, сельской простотѣ свойственнымъ вкусомъ расположенныя; при утренней зарѣ слышимы были гласы свирѣлей, изъявляющихъ мирное и щастливое житіе пастуховъ и пастушекъ... Тамо представлялась пріятная умѣренность,—мать спокойствія; не видно было великолѣпія,—слѣдственно, и зависти. Въ такомъ пріятномъ жилищѣ пребывалъ Философъ, именемъ Нума; сердце его было богамъ посвящено, — упражненіе, свойственное бѣдному и цѣломудренному мужу. Онъ пахалъ землю, стерегъ малое свое стадо и, что всѣхъ упражненій безцѣннѣе,—трудами своими питалъ удрученнаго старостію отца. Праздные часы посвящалъ Нума испытанію сокровенныхъ таинствъ Божества, познанію истинныхъ правилъ добродѣтели, истребленію суетныхъ мыслей, нечувствительно заражающихъ сердце пріятными пороками, уничтоженію прелестей ложнаго щастья и примамчивыхъ блистаній богатства, безъ чего и мудрымъ бы не былъ бы Нума“. — Пася свои стада, онъ любилъ „размышлять въ пріятныя минуты“ „о прямомъ человѣческомъ благополучіи“. Сюда, въ пустыню, онъ ушелъ отъ „суетъ міра“.

Однажды возвращался онъ домой усталый, — вдругъ видитъ у своего дома римлянъ. Сначала онъ испугался, думая, что это—враги, но, подойдя, увидѣлъ вельможъ римскихъ—Прокула и Валерія, стоящихъ въ почтеніи передъ его отцомъ. Подошелъ Нума и сказалъ: „не стыди-

*) Конечно, для большинства всѣхъ этихъ историческихъ трудовъ главнымъ источникомъ былъ Плутархъ. Ссылки Хераскова на перечисленныя сочиненія,—пріемъ, которымъ пользовались охотно историки романисты-псевдоклассики. (Ср. Мармонтеля „Велисарій“, Пракудина „Валерій“)—представляетъ собою, своего рода, литературную „моду“.

тесь взирать на сіи рубища,—они меня добродѣтельнымъ и полезнымъ себѣ учинили!"... Пришедшіе оказались депутатами, посланными изъ Рима, чтобы пригласить Нуму на царскій престолъ. Нума отказывается, и произноситъ, по этому поводу, длинную рѣчь; между прочимъ, онъ спрашиваетъ ихъ: „какое право имѣете вы нарушать спокойствіе простаго гражданина и еще больше—безмолвнаго пустынника?" и т. д. Потомъ онъ указываетъ на то, что онъ доволенъ своей жизнью, указываетъ на тягость короны. „Въ сихъ рубищахъ могу вамъ также полезенъ быть, какъ и въ порфирѣ"—говорилъ онъ. Онъ выразилъ свое неудовольствіе по поводу того, что они выбрали его въ цари,—онъ привыкъ къ пустынѣ, любитъ миръ, и тишину, а римляне любятъ войну. Всѣ очень удивлены его отказомъ. Отецъ Нумы, умиленный мудрой рѣчью сына, однако убѣждаетъ его взять корону. „Мы обязаны въ нашей жизни больше ближнимъ своимъ быть полезными, говорилъ онъ, нежели самимъ себѣ!.. Ты отрекаешся отъ престола для наблюденія въ тишинѣ добродѣтели и для почитанія твоихъ боговъ! Но гдѣ удобнѣе распространяться добродѣтелямъ, какъ (не) на престолѣ?"... Наконецъ, Нума со слезами согласился. Гляди на его простую жизнь, римскіе аристократы чувствовали удивленіе: „гордость Вельможъ римскихъ въ первый разъ почувствовала, сколь низка и гнусна она передъ подлинными достоинствами!"—замѣчаетъ авторъ.

Въ рощѣ, около дома Нумы, былъ храмъ Весты. Нума отправился туда. Онъ „входитъ въ освященную рощу, гдѣ пріятная тишина царствуетъ. Пріятное стенаніе горлинокъ и шумъ прозрачныхъ источниковъ, знаменованія мирнаго сего жилища, между древесъ раздавались. Благовонныя цвѣты и трава, свѣжесть по воздуху растворяющая, зрѣніе и обоняніе плѣняли, густыя и высокія древеса, древностію своею равныя міру, нѣкое почтеніе въ сердца приходящихъ влагали". Въ этой рощѣ Нума провелъ много счастливыхъ часовъ въ бесѣдѣ съ мудрой жрицей храма. Сюда, для бесѣды, явился онъ опять, но, вмѣсто жрицы, онъ увидѣлъ богиню-нимфу Егеру. „Тонкое сіяніе освѣтило тѣмную рощу; онъ узрѣлъ передъ собою красоту, человѣчество превосходящую: одежда ея бѣлизною подобилась снѣгу, бѣлыя ея власы тихія зефиры возвѣвали, изъ очей ея блисталъ пламень, проницающей въ сердце". Егера объявила ему, что раньше она бесѣдовала съ нимъ подъ видомъ нимфы. Она убѣждаетъ его взять престолъ, указываетъ на римскіе непорядки, владычество знати... „Сенаторы Римскія,—говорила она, стараясь укрѣпить и возвысить общее благополучіе, непрестанно его разрушаютъ; они другъ друга ненавидятъ и боятся, а зависть ихъ народу въ язвы обращается". Говорила она, что „Риму потребенъ одинъ Государь": Нума проситъ у нея позволенія остаться на лонѣ природы, такъ какъ ему трудно будетъ ладить съ Римомъ, привыкшимъ „къ ложной славѣ, честолюбію и свирѣпымъ воинамъ". Но Егера настаиваетъ, при чемъ обѣщаетъ всегда являться къ нему въ трудныя минуты для совѣтовъ.

Въ жизни Нумы Егера играетъ большую роль,—она и раньше утѣшала его и углубляла его философію, и теперь, когда онъ сдѣлался царемъ, она, по прежнему, утѣшаетъ его въ минуты отчаянья и утомленія, воодушевляетъ его на новую службу отечеству. Какъ обра-

зецъ ей рѣчи, можно привести отрывокъ изъ ея разсужденія противъ войны: „не возстанайте противу самой природы и не лишайте ее правъ, ей принадлежащихъ! Она, украшаясь зелеными лугами, разсыпая по полямъ цвѣты благоуханные, окружена чистымъ воздухомъ, покоится между прозрачныхъ источниковъ, вокругъ ея журчащихъ; среди всѣхъ полевыхъ пріятностей,—она, любя человѣческій родъ, призываетъ его и говоритъ ему: „чада, изъ утробы моей изшедшія,—для васъ я землю украшаю цвѣтами, для васъ лѣса пріятной зеленью покрываю, для васъ чистый воздухъ въ поляхъ разтворяю!—Придите, собирайте плоды, мною вамъ приготовленные!..“ Такъ говоритъ природа, по словамъ богини,—но люди ея не слушаются,—„тогда прекрасные луга въ дикую пустыню превратятся, мягкая мурава—въ густую осоку, благоуханные цвѣтки въ терновые кусты, ключи изсякнутъ, въ лѣсахъ ужасъ останется, тихое и роскошное царство природы минуется—и наступятъ страхъ, гладъ, скорби и отчаянье!“

Егера объясняетъ Нумѣ, что „истинная храбрость“ заключается въ томъ, что надо „защищать отечество и жертвовать силами“—„таковы свойства истинной храбрости“; эта храбрость ничего общаго не имѣетъ съ „суетнымъ исканіемъ чести и славы, которыя суть преходящій дымъ“... „Грозный герой, сіе великолѣпное имя, есть пустой звукъ, слабыя сердца утѣшающій“; поэтому она высказывается противъ войны. По ея словамъ, истинное счастье—въ благоденствіи мирной жизни страны. Поэтому Егера восхваляетъ мирныя занятія и промыслы. Слѣдуя ея наставленіямъ, Нума является покровителемъ земледѣлія: онъ самъ, вмѣстѣ съ народомъ, занимается пахапіемъ земли. „Онъ, отложа царскій вѣнецъ и скипетръ, первый плугъ провождаетъ; весь народъ за нимъ слѣдуетъ. Уже слышится ревъ воловъ, земныя орудія влекущихъ; младые агницы на лугахъ разчищенныхъ, въ жирной травѣ, пасутся, стада овецъ и козъ, млекомъ полныхъ, играніемъ своимъ подъ тѣнію древесъ зеленыхъ, радость и свободу свою возвѣщаютъ... Голоса поющихъ птицъ повсюду раздаются... Стукъ сѣкирной отзывается далеко, и эхо труды и упражненія земледѣльцевъ повторяетъ... Подъ вліяніемъ Нумы, Римляне, оставя свою дикость и прежнюю грубость, добрыми поселянами становятся; нравы ихъ, по свойству упражненія ихъ, умягчаются и дѣлаютъ ихъ истинными человѣками“. Наступаетъ общее счастье. Авторъ, по этому поводу, говоритъ, въ заключеніе: „истинное блаженство человѣческаго рода отъ благоразумныхъ законовъ произтекаетъ. Но законы суть одно начертаніе, на которомъ счастіе и благополучіе общества утверждается; они требуютъ исполненія, а исполненіе зависитъ отъ людей просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ“.

Изъ приведеннаго здѣсь пересказа видно, насколько правъ былъ Херасковъ, характеризуя свое произведеніе въ такихъ словахъ:

„сія повѣсть не есть точная историческая истина,—она украшена многими вымыслами, которые, не уменьшая важности Нуминыхъ дѣлъ, цвѣты на ней разсыпаютъ,—Нума здѣсь представляется, каковъ онъ былъ и каковъ быть могъ“ [1305].

Дѣйствительно, „цвѣты“ своей фантазіи разсыпалъ въ повѣсти авторъ очень свободно; если мы сравнимъ образъ героя, имъ нарисованный, съ тѣмъ, который оставленъ Плутархомъ и позднѣе романизированъ Флоріаномъ въ его романѣ: „Нума Помпилій“ *),— мы убѣдимся, что съ исторіей нашъ авторъ не считалъ особенно нужнымъ считаться. Не говоря ни слова о прошломъ Нумы, о причинахъ, почему римляне выбрали его царемъ, онъ представляетъ его какимъ-то философомъ-пустынникомъ, сентиментальнымъ и прекраснодушнымъ... Идеализаціи подверглись даже римляне, которые, по словамъ Хераскова, подъ вліяніемъ Нумы измѣнили свой характеръ и даже образъ жизни!..

Привожу изъ Плутарха нѣсколько строкъ, которыя взяты были Херасковымъ и развиты въ его произведеніи.

„Нума, оставя городскую жизнь, большею частью проводилъ время на поляхъ; съ удовольствіемъ блуждалъ одинъ по лугамъ и по рощамъ, посвященнымъ богамъ, по мѣстамъ уединеннымъ и пустыннымъ. Отъ сего распространился слухъ о собесѣдованіи его съ нѣкоторою богинею. Всѣ говорили, что Нума оставилъ сообщество людей не отъ печали душевной и отъ помѣшательства ума, но отъ того, что наслаждается тѣсною связью съ высшимъ существомъ; удостоился брака божественнаго и вмѣстѣ съ Нимфой Эгеріей **), любившею его, проводилъ времв въ совершенномъ блаженствѣ и пріобрѣлъ отъ нее познаніи о всѣхъ божественныхъ дѣлахъ“ [1306].

Когда римляне явились звать его на царство, онъ долго отказывался и произнесъ, въ свое оправданіе, цѣлую рѣчь. Вотъ отрывки ея: „всякая перемѣна въ человѣческой жизни опасна; одна лишь безразсудность можетъ заставить перемѣнить обыкновенный образъ жизни того, кто не имѣетъ недостатка въ нужномъ, ни причины жаловаться на настоящее [1307] и т. д.

Въ концѣ рѣчи онъ говоритъ, что римлянамъ нуженъ иной царь: „...всѣмъ извѣстно, что римляне хотятъ распространить власть свою и обладать другими. Служа Богамъ, научая городъ, которому болѣе нуженъ полководецъ, нежели царь, чтить справедливость, ненавидѣть войну и насиліе, я бы подвергся посмѣянію!“ [1308].

Отецъ убѣждаетъ его согласиться на предложеніе римлянъ. Нума дѣлается царемъ и производитъ рядъ реформъ: прежде всего, уничтожаетъ стражу царскую; затѣмъ онъ начинаетъ борьбу съ воинственностью римлянъ, старается поднять въ народѣ религіозный духъ; высказываетсеи противъ почитанія изображеній боговъ, учреждаетъ званіе понтифексовъ и весталокъ и пр.

---

*) По указанію Querard'a („La France littéraire“), это произведеніе Флоріана напечатано лишь въ 1786 г.,—такимъ образомъ, повѣсть Хераскова зависѣть отъ этого романа не могла.

**) Нума посвятилъ музамъ рощу, гдѣ наслаждался собесѣдованіемъ съ сей Богинею. Овидій говоритъ, что, по смерти Нумы, Діана, сжалясь надъ горестью Эгеріи, превратила ее въ источникъ.

Стоить сравнить эти выдержки изъ Плутарха съ текстомъ повѣсти Хераскова (см. также стр. 124—128), чтобы увидѣть, въ чемъ сказалось внесенное имъ Dichtung: онъ усиливаетъ идеализацію героя и съ особенной охотой вводитъ описанія природы въ томъ идиллическомъ-слащавомъ духѣ, какимъ отличаются пейзажи пастушескихъ идиллій и повѣстей.

Благосвѣтловъ, единственный критикъ-историкъ, посвятившій нѣсколько страницъ старому русскому роману XVIII вѣка [1309], очень сурово отнесся къ Хераскову вообще и къ разбираемому роману въ частности. Вотъ, что онъ говоритъ въ своей статьѣ объ этой повѣсти:

„Цѣль романа нравственная, возбужденная въ Херасковѣ „Телемакомъ“ и „Наказомъ“ Екатерины II, обнародованнымъ въ присутствіи пяти сотъ представителей-депутатовъ въ 1767 г. Желая возсоздать образцоваго законодателя въ римскомъ монархѣ, романистъ развиваетъ свой разсказъ на основаніи второстепенныхъ источниковъ,—тѣхъ уродливыхъ французскихъ исторій, которыя составлялись въ его время изъ преданій, собранныхъ безпечнымъ Т. Ливіемъ и непровѣренныхъ критикой. Къ кое-какимъ положительнымъ даннымъ авторъ примѣшиваетъ множество своихъ собственныхъ вымысловъ, „которые, по мнѣнію его, не уменьшая нумныхъ дѣлъ, цвѣты на нихъ разсыпаютъ“.

Едва-ли этотъ бѣглый и поверхностный отзывъ исчерпываетъ всѣ достоинства повѣсти Хераскова.

Главная цѣнность его произведенія—тотъ молодой и искренній политическій задоръ, который лучше всего свидѣтельствуетъ о міросозерцаніи автора и его эпохи. Если, въ идейномъ отношеніи, Херасковъ и несамостоятеленъ, если онъ не идетъ дальше повторенія Фенелона и другихъ мыслителей его типа, то все же произведеніе его любопытно и содержательно.

Хотя повѣсть эту нельзя назвать „авантюрнымъ“ произведеніемъ, тѣмъ не менѣе, отношеніе автора къ „судьбѣ“ то же, что и у другихъ псевдоклассиковъ-романистовъ. Напр. —

„Непостоянное щастіе! доколѣ смертные будутъ твоимъ игралищемъ! доколѣ будешь отнимать прежніи чувства у сердецъ своихъ любимцевъ?“ [1310].

Къ „вставнымъ“ эпизодамъ въ повѣсти надо отнести исторію несчастной весталки и чужестранца, обиженнаго вольсками.

Психологическій элементъ въ повѣсти здѣсь, какъ во всѣхъ предыдущихъ произведеніяхъ этого типа, выразился въ объясненіяхъ самого автора или въ характеристикѣ разныхъ дѣйствующихъ лицъ, сдѣланной имъ же,—

„Нума, удивленъ и восхищенъ совѣтами Егеры, стоялъ почти недвижимъ; сокрывшаяся отъ очей его Нимфа, казалось, сокрыла съ со-

бою и всѣ утѣхи, обитающія до сего въ семъ освященномъ мѣстѣ; увеселительныя виды изчезли; нѣжное дыханіе зефировъ ему скучно стало, чистый воздухъ здѣлался непріятнымъ, и журчаніе водъ противно,—такову силу разумная бесѣда имѣетъ надъ сердцами добродѣтельными" [1311];

„Тогда сердце пѣломудреннаго философа и справедливаго Государя, сердце Нумино, жалостію наполнилось; мысли его смутились..." [1312].

„Надлежитъ признаться, что пышность больше ослѣпляетъ непросвѣщенныхъ людей, нежели простота" [1313].

Иногда герой разсуждаетъ „самъ съ собою":

„...На чемъ же утвердить мнѣ свои разсужденія, и кому ввѣрять мои намѣренія, когда со всѣхъ сторонъ сумнительства насъ окружаютъ?" [1314] и т. д.

Иногда дѣйствующія лица сами говорятъ о состояніи своей души,—

„Вдругъ, неизвѣстная сердцу моему, горесть необыкновенно его возтревожила; чтобы успокоить свои возмущенныя чувства, удалилась я въ одну пещеру и, вообразя всѣ мои бѣдства, пролила тамо источники слезъ" [1315].

Психика выражается также въ патетическихъ монологахъ.

„Увы! говоритъ онъ: Римляне и Сабины погибаютъ! Оружіе соединило два сіи народа,—оружіе и раздѣляетъ ихъ. Увы! родитель мой, родитель мой любезный, здравъ ли ты? Ты мнѣ всего дороже..." [1316].

„Я тебѣ одинъ остался, о! родитель мой,—и меня похищаютъ у тебя; помню я, увы! помню, когда, затворя очи любезной моей Таціи своими руками, повергся ты мнѣ на шею, тренещущъ и рыдающъ, оросилъ лице мое слезами... Я ли сіи слова забуду?.. Я ли отца моего оставлю?.. Кто дрожащія ноги твои подкрѣплять будетъ? увы, кто?".. [1317].

„Слезы" и „вздохи" тоже свидѣтельствуютъ о потрясенномъ состояніи души героевъ.

Если въ перечнѣ реформъ Нумы Херасковъ довольно близко слѣдуетъ Плутарху (удерживаетъ даже ихъ послѣдовательность) и Ешарду, то Dichtung его выражается въ томъ, что значеніе каждой реформы онъ выясняетъ при помощи патетическихъ монологовъ Нумы.

Образъ нимфы-Егеры, лишь мелькающій въ разсказѣ Плутарха, у Хераскова пріобрѣтаетъ черты фенелоновскаго Ментора; сходство получается тѣмъ болѣе поразительное, что, въ идейномъ отношеніи (политическомъ, моральномъ и философскомъ), Херасковъ, какъ было уже сказано, только повторялъ Фенелона (ср. стр. 115—118 и 124—128).

Неизмѣримо интереснѣе, въ литературномъ отношеніи, другіе два романа Хераскова.

„Кадмъ и Гармонія, древнее повѣствованіе“ [1319] относится къ разряду псевдоклассическихъ романовъ типа „Телемака“. Дѣйствующія въ романѣ лица взяты изъ области греческихъ миѳовъ, какъ у Фенелона; тенденціи въ произведеніи чисто-нравоучительныя, настроеніе идеалистическое, характеръ авантюръ тотъ же, что́ у Фенелона; многія положенія, даже отдѣльныя мысли повторяются тѣ же... Самая форма романовъ очень близка къ „Телемаку“,—въ предисловіи самъ Херасковъ указываетъ, что это его произведеніе, подобно Фенелонову, при своемъ появленіи въ свѣтъ, вызвало въ критикѣ сомнѣніе, къ какому литературному роду лучше его отнести—къ романамъ, или поэмамъ.

„Мнѣ совѣтовали,—говоритъ онъ,—переложить сіе сочиненіе стихами, дабы видъ эпической поэмы оно приняло; надѣюсь, могутъ читатели повѣрить мнѣ, что я въ состояніи былъ издать мое твореніе стихами; но я не „поэму“ писалъ, а хотѣлъ сочинить простую токмо повѣсть, которая для стихословіи не есть удобна. Кому извѣстны пиитическія правила, тотъ, при чтеніи сіи книги, почувствуетъ, для чего не стихами она писана“.

„Всуе старались нѣкоторые присвоить ими эпической поэмы „Телемаку“: сіе неподражаемое сочиненіе, хотя преисполнено прозоиеи и привлекательнѣйшимъ пиитическимъ слогомъ писанное, но, по его содержанію, эпической поэмой нарещися не можетъ, коль хорошими стихами переложено бы ни было. Творецъ „Телемахиды“ не только уподоблеть „Телемака“ Фенелонова—„Иліадѣ“ и „Энеидѣ“; но, уничижая всѣ другія славнѣйшія эпопеи, лишаетъ ихъ именованія „поэмъ“ для того, что онѣ, говоря по просторѣчію, рифмами писаны“. (Слѣдуетъ критика этого мнѣнія).

„Думаю, что самъ Фенелонъ чувствовалъ, что его „Телемаку“ свойственна проза, нежели стихи; но и въ прозѣ его вся важность и сладость высокаго стихотворства погружена,—почему, несомнѣнно, уподоблять можно творца „Телемака“ величайшимъ пиитамъ. Не одни стихи, но наипаче изобрѣтенія, естественность, украшенія, привлекательность слога, убѣдительное нравоученіе и остроуміе стихотворца составляютъ.

„Предупреждаю моихъ читателей, что въ моемъ сочиненіи не всегда и держался исторической и географической точности,—я послѣдовалъ въ томъ обыкновенной вольности писателей повѣствовательныхъ сочиненій: Дидона у Виргилія полагается современной Энею, хотя Дидона гораздо прежде Виргиліева героя существовала; Сезострисъ въ дни Телемака у Фенелона царствуетъ Египтомъ,—но царь сей задолго до сего времени жилъ въ мірѣ. Впрочемъ, мое повѣствованіе не есть ни исторія, ни землеописаніе,—слѣдственно, отъ строгости лѣтосчисленія освобождается“ [1320].

Приведенныя слова автора вполнѣ опредѣляютъ мѣсто романа среди произведеній типа „Телемака“.

Привожу содержаніе:

Книга 1-ая. „Дикія и безплодныя поля Беотійскія покрываются

златою жатвою; тамо безчисленныя стада на тучныхъ пажитяхъ пасутся; рѣка Исмена, протекавшая прежде между бреговъ кремнистыхъ, дремучимъ лѣсомъ осѣняемыхъ,—нынѣ изображаетъ во кристалловидныхъ водахъ своихъ рощи прохладныя и гордыя башни пресловутаго града Ѳивовъ. Кадмъ царствуетъ въ Ѳивахъ. Кадмъ, изгнанный изъ дому отца своего, Агенора, для исканія сестры его Европы, похищенной Юпитеромъ на поляхъ Сидонскихъ изъ дому ея родители".

Далѣе слѣдуетъ бѣглый разсказъ о странствованіяхъ Кадма (ср. начало „Одиссеи"), объ основаніи Ѳивъ и объ ихъ процвѣтаніи.

Затѣмъ слѣдуетъ разсказъ:

„Вскорѣ процвѣло въ Беотіи царство великое и многолюдное; Благоденствіе подданныхъ на мудрыхъ Кадмовыхъ законахъ основано; добродѣтели и дарованія возсіяли, ибо Кадмъ взиралъ безпристрастно на подданныхъ. Онъ всѣхъ любилъ равно, и самъ взаимно всѣми любимъ былъ". Онъ былъ для всѣхъ „мудрымъ отцомъ"; народъ для него—„единое семейство, сладости общежитія взаимно подкрѣпляющее; добродѣтели царя" служили примѣромъ для подданныхъ. Жена его, „дщерь Марса и Афродиты", Гармонія и другъ Эѳіонъ, совѣтами своими и нѣжною любовію, бремя правленія облегчали".

„Кадмовы узаконенія были кротки, разумны, слѣдственно были они естественны". Онъ вездѣ бывалъ съ народомъ, зналъ его хорошо,—онъ—другъ своего народа. Но счастье человѣческое не бываетъ прочнымъ,—и Кадмъ „возгордился"; „онъ самъ своими качествами, своею славою и собственными выгодами восхищается".

Однажды онъ купилъ у финикіянъ красавицу-рабыню. „Тирская, златомъ тканная багряница украшала рамена ея; бѣлые власы ея, простираясь волнами по груди ея, зрѣніе привлекали; румянецъ лица ея разпускающейся розѣ подобился; очи небесный голубый цвѣтъ являли; была она лѣпоты неописанной, и погруженна въ томное уныніе, красотамъ своимъ вящшую прелесть придавала". Звали ее Таксилой.

„Кадмъ купилъ ее, тронутый ея красотою и печалью. Сперва онъ ощущалъ сердечное удовольствіе, свойственное человѣку при оказаніи другому добра; но самое удовлетвореніе сіе было смѣшенно съ нѣкоторою внутреннею горестію, не допущающею душу непорочнымъ услажденіемъ питаться. Не могъ тогда мудрый Кадмъ проразумѣть гласа вопіющей его совѣсти, пагубныя слѣдствія ему прорицающаго". Кадмъ привелъ выкупленную невольницу въ свой домъ, который былъ „простъ и бѣденъ".

Кадмъ утѣшалъ Таксилу, поручивъ ее добротѣ своей жены. Но душа у Таксилы была гордая и коварная—и она рѣшила злоупотребить увлеченіемъ Кадма въ свою пользу.

Т. очерчена Херасковымъ детально: она представлена хитрой притворщицей; она умѣетъ грустить и изображать „притворное спокойство",—можетъ прикидываться радостной,—тогда „мгновенныя веселости", вырываютъ изъ устъ ея „острыя изреченія".

Съ каждымъ днемъ Кадмъ увлекается все болѣе... „Протекаетъ нѣсколько дней,—уже Кадмъ въ присутствіи вѣрной своей Гармоніи пре-

красныя Таксилы ищетъ; у жены вопрошаетъ о ней; съ нею о Таксилѣ бесѣдуетъ... Протекаютъ еще дни,—Кадмъ удѣляетъ нѣкоторыя минуты отъ своихъ дѣлъ государственныхъ для собесѣдованія съ Таксилою; протекаетъ еще время,—и Кадмъ, задумчивый и безпокойный Кадмъ, невнимательный слухъ ко прошеніямъ и пользамъ его подданныхъ склоняетъ". Наконецъ, онъ совсѣмъ перестаетъ заниматься дѣлами...

Таксила внушаетъ ему идею о необходимости украсить роскошью дворецъ и царскія одѣянія. Подъ ея вліяніемъ, К. увлекается великолѣпіемъ. Гармонія, въ свою очередь, пытается вліять на Кадма, удержать его, но всѣ усилія ея напрасны...

Онъ, смущенный, уклоняется отъ своей вѣрной супруги. Другъ его Эхіонъ тоже пытается удержать его, но Кадмъ его грубо прогоняетъ. Сперва К. еще хитритъ, пытается скрыть отъ всѣхъ свои чувства, но Таксила дѣйствуетъ тонко, и все сильнѣе подчиняетъ себѣ Кадма. Она доводитъ царя до полнаго паденія: „уже Кадмовы внутренніе чертоги не присутствіемъ благоразумныхъ мужей наполняются, не царскія мудрыя рѣшенія и суды тамо внемлются,—наполняются храмины Царскія праздно-любивымъ и безразсуднымъ юношествомъ; разтлѣвающіе душевныя силы, мусикійскіе гласы тамо слышимы; громкое пѣніе и нелѣпый смѣхъ повсюду раздаются".

Подражая царю, въ развратъ впали и его подданные. Однажды, въ день празднества въ честь Афродиты, пѣвецъ Ѳеоръ поетъ о золотомъ, серебриномъ и мѣдно-желѣзномъ вѣкахъ; поетъ онъ о прежнихъ дѣлахъ Кадма; во время пѣнія онъ видитъ видѣніе, знаменующее близкую гибель царскаго вѣнца.

Таксила своими льстивыми рѣчами и коварными дѣяніями все ухудшаетъ положеніе Кадма. Ему льстятъ его придворные. И вотъ, несчастія начинаютъ сыпаться на его голову. Однажды приносятъ ему письмо Эхіона, въ которомъ говорится, что сынъ его Полидоръ утонулъ во время кораблекрушенія, и что онъ, Эхіонъ возненавидѣлъ Кадма и навсегда оставилъ его, считая его недостойнымъ человѣкомъ.

Наконецъ, и въ народѣ растетъ общее недовольство Кадмомъ. „Благоразуміе, справедливость и невинность отъ двора Кадмова уклоняются". Между тѣмъ, Кадмъ все еще ничего не замѣчаетъ,—онъ, „будто маковыми цвѣтами осыпанный, въ объятіяхъ Таксилиныхъ томнымъ сномъ засыпаетъ".

Книга II-ая начинается съ описанія картины природы (миртовыя рощи, ручьи, птички, зефиры, пѣніе нимфъ). На лонѣ этой мирной природы Кадмъ сидитъ съ Таксилой; они „упоенны взаимною нѣжностію; въ цѣломъ мірѣ уединенны быть казались, и вся вселенная отъ ихъ вниманія сокрылась". „Кадмъ забылъ, что онъ—Кадмъ: во образѣ его слабый и женообразный только любовникъ начертавался".

Наконецъ, въ государствѣ начался народный мятежъ. Выбранъ былъ, вмѣсто Кадма, новый царь—Амфіонъ; Кадма гонятъ; никто не признаетъ его царемъ. Таксила тоже отказывается отъ него. Тогда Кадмъ въ горѣ ищетъ свою забытую жену Гармонію. Происходитъ трогательная встрѣча его съ супругою. Они, спасая свою жизнь, бѣгутъ вдвоемъ въ храмъ, ими же воздвигнутый, но жрецъ не принимаетъ ихъ. Послѣ долгихъ скитаній они добрались до хижины старца-

земледѣльца. Онъ не узналъ ихъ и принялъ, при чемъ разсказалъ имъ свою исторію. Оказалось, онъ нищенствуетъ по винѣ Кадма, который, для военной службы, отнялъ у него сыновей-работниковъ. Старикъ жалуется Кадму на перемѣну, происшедшую въ царѣ, упрекаетъ его за роскошь, обвиняетъ за то, что онъ оградился отъ народа стражей, которая только портитъ отношенія народа къ нему. Онъ осуждаетъ придворныхъ. Кадмъ тронутъ его рѣчами, Гармонія тоже. Изъ дальнѣйшихъ словъ старца видна его мудрость,—онъ пренебрегъ суетностями міра, сумѣлъ обуздать страсти... Этой мудрости онъ учился у пустынножителей, но они не позволили ему оставаться съ ними въ пустынѣ,—и онъ пошелъ въ міръ, „утвердился въ премудрости между буйствами человѣческими“ потому, что пришелъ къ рѣшенію необходимости служить людямъ дѣятельною жизнью. Старецъ, однако, недолго могъ выносить городскую жизнь и вновь отдался сельской жизни. Слѣдуетъ восхваленіе деревни.

Ночь, проведенная Кадмомъ въ хижинѣ, послѣ всего испытаннаго и слышаннаго, была для него мучительна: онъ терзался раскаяньемъ. Вѣрная и любящая Гармонія его утѣшала, какъ добрая жена.

Воины ночью ищутъ Кадма. Старецъ его не выдаетъ. Между воинами оказывается сынъ старика. Старикъ укоряетъ сына за то, что онъ преслѣдуетъ своего законнаго царя и, послѣ признанія Кадма, приказываетъ ему спасти Кадма и Гармонію.

Передъ Кадмомъ, какъ царемъ, старецъ преклонился. Затѣмъ, съ помощью сына старца, Кадмъ и Гармонія ушли изъ предѣловъ Беотіи.

Книга III-ья начинается съ разсказа о томъ, какъ на чужбинѣ Кадмъ ведетъ жизнь земледѣльца,—онъ обрабатываетъ землю и изнемогаетъ отъ труда. Гармонія убѣждаетъ его идти искать Европу. Когда они пришли въ Ѳессалію, то попали на народное собраніе, которое занималось обсужденіемъ того, какая форма правленія лучше. Народъ съ восторгомъ встрѣчаетъ прибывшихъ Кадма и Гармоніи. Оказалось, послѣ смерти царя вельможи хотѣли ввести олигархію, народъ—республику. Между тѣмъ, оракулъ предсказалъ, что явится къ ѳессалійцамъ чета путешественниковъ, которая рѣшитъ, какое правленіе лучше. К. критикуетъ олигархію, осуждаетъ и республику, называя ее „страннымъ образомъ правительства“. Онъ высказывается за монархію. Народъ предлагаетъ корону Кадму. К. отказывается, слѣдуя совѣту Гармоніи. Изъ дальнѣйшаго выяснилось, что былъ еще въ живыхъ сынъ покойнаго царя Ѳеогенъ; этотъ юноша былъ отвергнутъ народомъ потому, что полюбилъ „дщерь“ бѣднаго Ѳвара — Артемизу. Царевичъ еще разъ отказывается отъ престола, не желая разлучаться съ женой. Та освобождаетъ отъ его клятвы, не желая мѣшать его жизни. Гармонія убѣждаетъ народное собраніе, что любовь къ „простой дѣвѣ“ не есть порокъ,—сами боги любили женъ смертныхъ. Граждане прибѣгаютъ къ помощи гаданія, которое оказывается въ пользу Ѳеогена и Артемизы, и Ѳ. былъ избранъ царемъ. Онъ благодаренъ Кадму за его посредничество. Ѳваръ говоритъ рѣчь, въ которой указываетъ, что народу нечего бояться его, какъ родственника царицы—ему дорога только лира, а больше ничего ему не надо.

Онъ разсказываетъ о томъ, что въ юности Артемизѣ было предсказано ея царствованіе. Ѳеогенъ спрашиваетъ у Кадма и Гармоніи, кто они. Кадмъ пытается скрыть свое имя, но тщетно.

Книга IV-ая. Оѳаръ признаетъ Кадма, такъ какъ онъ зналъ его еще при дворѣ Агенора. К. признается и совѣтуетъ Ѳеагену слушаться совѣтовъ Оѳара, который лучше его знаетъ людей и жизнь. Оѳаръ восхваляетъ ѳессалійцевъ, но признаетъ, что въ послѣднее время нравы ихъ пошатнулись. Произошло это вслѣдствіе вліянія сибаритовъ, которые, обыкновенно, пріѣзжали къ нимъ служить въ качествѣ воспитателей ихъ дѣтей.

Слѣдуетъ характеристика Сибариса, напоминающая Парижъ. Между прочимъ, авторъ нападаетъ на философію жителей Сибариса, подрывающую „основы". Ѳ. хочетъ всѣхъ Сибаритовъ изгнать изъ Ѳессаліи. К. совѣтуетъ ему поступить мягче, не прибѣгая къ мѣрамъ крутымъ,— „постепенно исправлять содѣянное зло" и повліять на нравы согражданъ. „Царь есть живая пружина, сердца человѣческія движущая; не послѣдній, но первый самый въ обществѣ членъ благонравія корень въ общежитіи насаждаетъ"—наставлялъ Кадмъ Ѳеагена.

На слѣдующій день Ѳеагенъ въ первый разъ выступаетъ въ роли судьи. По этому поводу Оѳаръ читаетъ ему патетическое наставленіе: „Горе Царю, горе каждому властителю! горе каждому начальнику, страхъ, а не любовь въ сердца человѣческія впечатлѣвающему!" По его словамъ, Царь долженъ быть самостоятеленъ: „владѣтель, водимый чуждыми совѣтами, подобенъ есть безчувственной пружинѣ, рукою художника непрестанно движимой!"—говоритъ онъ. Приговоры Ѳеагена оказались мудрыми. Онъ наказываетъ дѣйствительно виновныхъ и справедливо награждаетъ добродѣтельныхъ. Ему же приходится судить одного Сибарита, развратившаго юношу. Удается ему наградить доброе дѣло, когда другъ устраиваетъ счастье обѣднѣвшаго друга.

Затѣмъ Кадмъ разсказываетъ подробно о томъ, какъ Зевсъ похитилъ Европу *), о томъ, какъ онъ былъ посланъ на розыски Европы. Въ морѣ начинается буря. Описаніе ея. Молитва его утишила бурю. Какъ онъ достигъ прорицалища Фиви (Феба) и. на его вопросъ, гдѣ Европа, прорицатель сказалъ, что боги запрещаютъ ему это сказать.

Хризонъ-жрецъ разсказываетъ ему о будущихъ поэтахъ, предсказываетъ появленіе Моисея, царя-Давида, Гомера, Виргилія... Затѣмъ жрецъ посылаетъ Кадма на островъ Критъ, къ царю Тавросу, чтобы тамъ искать сестру. Жрецъ далъ ему въ помощь „оливковую вѣтвь", чтобы передать тому, кто явится у входа въ лабиринтъ. К. плыветъ долго.

Слѣдуетъ бѣглое описаніе путешествія (въ духѣ „Одиссеи") мимо разныхъ мѣстъ, извѣстныхъ въ миѳологіи. Едва только путешественники сошли на о-въ Критъ, какъ налетѣвшая гроза разбила ихъ корабль. Кадмъ явился къ царю Тавросу. Слѣдуетъ описаніе въ классическомъ родѣ: царь совершалъ жертвоприношеніе. Пришельцевъ онъ привѣтствуетъ вопросами, въ духѣ гомеровскихъ царей; К. проситъ его вернуть ему Европу. Тавросъ въ гнѣвѣ велитъ ему все на островѣ обыскать, и обѣщаетъ казнить его, если онъ не найдетъ сестры, и „если

*) Въ этомъ пересказѣ любопытный образчикъ романизаціи миѳа.

онъ изъ лабиринта не вынесетъ то, что въ немъ есть невидимо, что въ немъ есть изящно, что, наконецъ, есть наидрагоцѣннѣйшее".

Книга V-ая. Кадмъ идетъ къ лабиринту. Мимоходомъ авторъ отдается миѳологическимъ воспоминаніямъ (о горѣ Идѣ). Центавръ Хиронъ — стражъ лабиринта. К. проситъ совѣта у него. Центавръ готовъ ему помогать, между прочимъ, сообщаетъ Кадму, что „ему, Хирону, предстоитъ воспитать Ахилла, Тезея, Одиссея и Энея".

Центавръ взялъ съ Кадма обѣщаніе ему повиноваться, погрузилъ „оливковую вѣтвь" въ источникъ—она „учинилась тогда вѣтвію златовидною". Центавръ сказалъ, что эта вѣтвь укажетъ ему путь. „Она своимъ наклоненіемъ будетъ являть путь твой, и спасетъ отъ разныхъ опасностей", сказалъ онъ. Первая опасность—соблазнъ прелестныхъ дѣвъ. Слѣдуетъ довольно, впрочемъ, холодное описаніе этихъ соблазнительныхъ красавицъ. Едва К. коснулся ихъ вѣтвью, онѣ обратились въ Гарпій. Тогда К. „позналъ, что все сіе видѣніе есть ничто иное, какъ внутрь его гнѣздящіеся пороки, извнѣ ликъ и существо пріявшіе. Такожде они наружностію красны и лѣпообразны; но, ставъ обуздании и обнаженны, въ нелѣпыя чудовища преображаются".

Вторая опасность состояла въ столкновеніи со страшными чудовищами, которыя приглашали Кадма вкусить прекрасныхъ плодовъ. Прикосновеніе волшебной вѣтви разрушило чары, и К. убѣдился, что „то были человѣки, звѣрской и скотской образъ воспріявшіе, окунувшіеся въ суету міра". Плоды оказались отравленными. Благодаря чудесной „вѣтви", К. проходитъ безвредно мимо этой опасности. Далѣе дорога, по которой шелъ К., сдѣлалась тѣсной, кругомъ ея росъ терновникъ. При помощи „оливковой вѣтви" онъ пробирается и сквозь чащу. Затѣмъ на его пути каменистая гора. На ней опять различные ужасы. Кадмъ впадаетъ въ отчаяніе... Вѣтвь, коснувшись горы, уничтожаетъ всѣ ужасы. Наконецъ, встрѣчаетъ онъ свѣтлую стѣну; проходитъ и ее. Центавръ встрѣчаетъ его и вручаетъ ему Гармонію.

Затѣмъ онъ объясняетъ Кадму смыслъ всѣхъ побѣжденныхъ имъ препятствій. Оказывается, многіе ходили въ лабиринтъ, въ поискахъ Гармоніи, но одни увлекались красавицами,—другіе вкушали ядовитыхъ плодовъ и оставались со звѣрями; третьи не могли справиться съ трудностями тернистаго пути и горъ.

Книга VI-ая. Слѣдуетъ разсказъ Гармоніи объ ея жизни. Ея жизнь была счастливая. Центавръ Хиронъ училъ ее. Она видѣла, какъ всѣ къ ней стремятся, начиная съ самого Тавроса; видѣла знаменитаго во всей Азіи рыцаря Димофокла, ее искавшаго... Она наблюдала людей разныхъ типовъ, которые, въ поискахъ ея, руководились различными мотивами. Разсказываетъ она далѣе, какъ вышла замужъ за Кадма, какъ путешествовала съ нимъ, какъ онъ построилъ городъ въ Беотіи, какъ убилъ змѣя, какъ посѣялъ зубы дракона, явилось воинство, отъ коего уцѣлѣлъ Эхіонъ и нѣкоторые другіе.

Разказываетъ она, въ заключеніе, плачевную исторію съ Таксилой.

Затѣмъ К. и Г. прощаются съ Ѳеагеномъ.

„Волнующееся море успокоилось; бурные вѣтры отлетаютъ во мрачную пещеру Царя Эола; солнце, разгнавъ мрачныя тучи, мореходцамъ безмятежное плаванье возвѣщаетъ". „Котвы (якори) извлекаются"—и

наконецъ, оба уѣзжаютъ. Въ морѣ они спасли утопающаго,—это оказался Хадемъ, царевичъ Мавританскій. „Колико имѣлъ видъ привлекательный,—толико свойства злыя: сердце его было хитро и коварно, правила нечестивы, разумъ острый, но ближнему вредный; всѣ таковыя развратности прикрывало соблазнительное красноглаголаніе". Онъ—большой лицемѣръ и интриганъ. „Сей извергъ природы посланъ былъ небесами на корабль Ѳессалійскій ради искушенія Кадмовой твердости и цѣломудрія". Х. влюбился въ Гармонію и хочетъ погубить Кадма.

Между тѣмъ, К. сѣдло повѣрилъ Хадему, и поѣхалъ въ его царство. Х. хитритъ,—онъ сразу узналъ Кадма, но сдѣлалъ видъ, что не знаетъ его, и, чтобы его возстановить противъ Египта, начинаетъ разсказывать ему разныя клеветы, якобы ходящія о немъ въ Египтѣ.

Авторъ удачно изображаетъ, какъ, подъ вліяніемъ коварныхъ рѣчей, злыя мысли овладѣваютъ Кадмомъ *). Х. зоветъ его къ себѣ въ Мавританію, и К. уклоняется отъ прежней цѣли своей—отъ Египта. Встрѣчаются имъ три корабля траурные,—на нихъ плыветъ Клеада, мать Хадема, которая думала, что онъ погибъ. Клеада говоритъ сыну, что престолъ его занятъ младшимъ братомъ его, Линаксаромъ. Х. приходитъ въ ярость. К. успокаиваетъ его, и предлагаетъ мирно все уладить. К. является къ Линаксару. Тотъ въ восторгѣ, узнавъ, что братъ живъ, и готовъ ему вернуть престолъ. Въ разговорѣ съ Кадмомъ. Л. восхваляетъ свою маленькую область, гдѣ жители живутъ тихо и счастливо,—войнъ не ведутъ, за золотомъ не гонятся. Картина утопическаго государства. К. дружится съ Линаксаромъ. Завистливый и злобный Х. хочетъ убить Линаксара, но К. его удерживаетъ. Л. уходитъ въ свою область. Гармонія—противъ остановки въ Мавританіи, но К. упорствуетъ.

Клеада хочетъ Гармонію склонить въ пользу Хадема. Въ своихъ преступныхъ цѣляхъ Х. прибѣгаетъ къ хитрости: напоивъ Кадма, онъ увѣряетъ его въ невѣрности Гармоніи. К. вѣритъ ему, ревнуетъ и гнѣвается, ругаетъ Гармонію и боговъ; онъ восклицаетъ: „се начинаю ненавидѣть Афредиту и гнушаться ея дщеріею!" Рекъ—и хулительныя его словеса вознеслись до превысренности небесныхъ селеній".

Часть II. Книга VII-ая. „Возсѣдящимъ Богамъ на высотахъ священнаго Олимпа, вкругъ котораго немерцающія солнца, блистательныя звѣзды и безчисленные міры непрестанно вращаются; гдѣ движущіеся въ нѣдрѣ временъ вѣки медленно шествуютъ во врата непостижимыя вѣчности; годы текутъ за вѣками, яко стремящіеся источники; дни и часы быстрыми крылами непрестанно парятъ вслѣдъ за ними; но бездну вѣчности преисполнить до нынѣ не могутъ".

„Тако возсѣдящимъ Богамъ и вкушающимъ изъ рукъ юновѣчныя Гевы божественный нектаръ и амврозію, внезапно творятся явными порицательные глаголы и кощунства Кадмовы. Зевесъ, внимая онымъ и, видя сквозь небеса глаголы проникшіе, помаваетъ главою,—и весь Олимпъ содрагается".

Х., возбудивъ ревность Кадма, усыпилъ его, бросилъ въ лодку и

---

*) „Яко змій во многіе круги извивается, ползетъ, подъемлетъ главу, острымъ жаломъ вооруженну, и, пресмыкаясь, уязвляетъ человѣка".

одного пустилъ въ море. Разразилась буря. Слѣдуетъ классическое описаніе бури. К. выброшенъ на берегъ. Онъ въ вѣроломствѣ Хадема видитъ подтвержденіе своего недовѣрія къ Гармоніи, злобствуетъ на боговъ и ропщетъ.

Вдругъ онъ видитъ, что къ берегу приближается шествіе прекрасныхъ дѣвъ и юношей. Картина въ классическомъ стилѣ... Оказалось, К. попалъ въ Вавилонъ, городъ разврата. Молодежь развлекается безстыдными плясками, и это зрѣлище увлекаетъ Кадма. К. забылъ Гармонію и живетъ „вдали отъ нея, погрузившись въ развратъ Вавилона"; „онъ гибнетъ съ каждымъ днемъ, но гибель свою называетъ благоденствіемъ".

Описываются нравы Вавилона. К. увлекся здѣшнею жизнью и скоро даже сталъ верховодить вавилонянами: онъ дѣлается здѣсь законодателемъ разврата.—„учинился корнемъ общаго злочестія". Одинъ богатый юноша, Тахоръ, разочаровался въ жизни вслѣдствіе пресыщенія.—Изобрѣтательный Кадмъ возвращаетъ ему любовь къ жизни и разврату. Наконецъ, К. совсѣмъ палъ,—онъ утопаетъ въ порочныхъ наслажденіяхъ. Но Вавилону К. скоро надоѣдаетъ, и всѣ здѣсь начинаютъ пренебрегать имъ. Къ тому-же явился новый „изобрѣтатель" по части „развлеченій"—пѣвецъ и танцоръ Ахергонъ, смѣнившій Кадма въ Вавилонѣ. Однажды явился въ Вавилонъ старецъ съ юношей. Онъ привезъ этого юношу Самгеса, чтобы ему показать безобразіе жизни Вавилона. Но Вавилоняне увлекаютъ юношу. Кадмъ, слушая укорительныя рѣчи старца, краснѣетъ отъ стыда. Онъ впутывается въ одну ссору, защищаетъ юношу и старца,—и попадаетъ въ тюрьму вмѣстѣ съ юношей; старца изгоняютъ. К. сидитъ въ тюрьмѣ вмѣстѣ съ Самгесомъ и кается. Рабъ его Эвморъ его потихоньку кормитъ.

Юноша Самгесъ оказался сыномъ Египетскаго царя. Онъ разсказываетъ Кадму, что Герміона (Гармонія) пріѣзжала въ Египетъ искать мужа Адмона (Кадма). К. тронутъ любовью и вѣрностью супруги.

Въ Вавилонѣ собираются казнить Кадма. Въ этомъ К. видитъ преслѣдованіе „лютаго рока". К., готовясь къ смерти, прощаетъ все Вавилонянамъ, Тахору и всѣмъ своимъ врагамъ.

Книга VIII. Египтяне, желая освободить своего царевича, осаждаютъ Вавилонъ. Вавилоняне не въ силахъ бороться съ ними. Царь Афаиръ—въ отчаяньи отъ своего безсилія. Рѣшено было попросить посредничества Кадма, и его послали въ станъ Египетскаго царя для переговоровъ. Рѣчь его, передъ царемъ произнесенная, начинается такъ: „за враговъ моихъ молю тебя, о, Царь,—за враговъ, а не за друзей моихъ!" Египтяне, получивъ царевича, отступаютъ отъ Вавилона. Афаиръ, въ благодарность, проситъ Кадма остаться съ ними. Тотъ соглашается, но раньше хочетъ заняться исправленіемъ нравовъ Вавилона, желая изгладить то зло, въ которомъ и онъ самъ былъ отчасти виновенъ.

Объ этомъ его просилъ самъ вавилонскій царь Афаиръ. К. возстанавливаетъ богослуженіе въ Вавилонѣ и заставляетъ самаго царя показывать всѣмъ подданнымъ примѣръ религіозности.

К. размышляетъ о „коловратности своей судьбины". Взываетъ къ богамъ и слышитъ голосъ Хирона, приказывающій ему остаться еще въ Вавилонѣ для дальнѣйшаго его исправленія.

Возстановленіе дружескихъ отношеній царя къ Кадму сразу дало ему опять много друзей. (Тахоръ, Ахергонъ и др.),—теперь враговъ у него уже не оказывается. К. проповѣдуетъ миръ съ врагами, совѣтуетъ никому не мстить.

Далѣе выясняются причины паденія нравовъ въ Вавилонѣ: порча нравовъ, бѣдность жителей и пр.,—вотъ, главныя причины. К. убѣждаетъ царя вести нравственную жизнь, говоря: „съ себя начни исправленіе Вавилонянъ". Благодаря вліянію Кадма, въ Вавилонѣ возстановляется семейная жизнь. Царь вступаетъ на путь добродѣтели. Женится на добродѣтельной дѣвицѣ, прощаетъ, отказывается отъ собиранія съ народа податей, являетъ милости къ подданнымъ...

Около Кадма опять появляются льстецы. Лишь Эвморъ, рабъ его,—истинный другъ. Хотя К. и стоитъ за „вѣчный миръ", но онъ считаетъ необходимымъ существованіе войскъ, и пріучаетъ вавилонянъ къ лагерной жизни.

Слѣдуютъ описаніе парада и маневровъ. Особенно много усилій приложилъ К. на борьбу съ „небогобоязненностью и вольномысліемъ" вавилонянъ. Исправивъ нравы города, К. считаетъ своевременнымъ уѣхать отсюда. Происходитъ прощаніе Кадма съ Афаиромъ и жителями. Вавилонъ процвѣтаетъ.

Книга IX. К. въ Египтѣ. Жрецъ Діафанъ, бывшій учитель Кадма, встрѣчаетъ его и укоряетъ за его частыя паденія. Д. предсказывалъ когда-то, что К. будетъ царемъ; онъ и теперь повторяетъ свое предсказаніе, но предупреждаетъ, что теперь говоритъ не о земномъ престолѣ и скипетрѣ: „Нѣтъ, Кадмъ! Обладающій своими чувствованіями смертный, обуздывающій волненія страстей своихъ, управляющій по правиламъ благоразумія душевными его свойствами,—есть сильный Царь на землѣ!" Гармонію онъ найдетъ, когда очистится отъ „скверностей" своихъ. К. „повинулся" приказанію Діафана, и „пребылъ три дня во смиреніи и мудрственной уединенности"; а потомъ сталъ готовиться къ новымъ испытаніямъ. Его наставникъ даетъ ему волшебный жезлъ.

Слѣдуетъ описаніе перваго испытанія: „хожденіе въ пирамиды" и разсказъ о трудностяхъ, сопряженныхъ съ этимъ испытаніемъ. Долина, по которой надо было идти, полна ужасовъ—она кишѣла ехидными и гадами. Кромѣ того, К. видѣлъ здѣсь разныя тѣни (напр. Таксилы), которыя укоряютъ его; видитъ здѣсь разныя свои злыя дѣянія и помыслы, слышитъ свои безбожныя рѣчи, имъ произнесенныя во время вавилонской вакханаліи. К. кается предъ богами въ своихъ злодѣяніяхъ. Наконецъ, ослабѣваетъ въ борьбѣ съ испытаніями и теряетъ вѣру.

Боги, сидя на Олимпѣ, видятъ муки Кадма, и прощаютъ его. Тогда всѣ ужасы, его окружающіе, исчезаютъ и превращаются въ мирныя картины. Является Діафанъ; онъ ведетъ Кадма. К. „зритъ между благоуханными древесами мужей кроткихъ и пѣломудренныхъ, прохаживающихся купно съ юношами и чтущихъ нѣкія книги со вниманіемъ". Это все—„добродѣтельные" люди, или „исправившіеся". Наконецъ, происходитъ встрѣча Кадма съ Гармоніей. Въ томъ мѣстѣ, куда попалъ К., обитаютъ только блаженные, чистые люди, мирно живущіе среди дивной природы.

Гармонія разсказываетъ ему свои приключенія; она повѣствуетъ ему о томъ, какъ Х. добивался ея любви — и лаской, и силою, и хитростью... Какъ онъ затѣялъ войну съ Линаксаромъ, и, побѣжденный, во время бѣгства убился, свалившись со скалы. Добродѣтельный, незлобивый, Л. тосковалъ, что умеръ его братъ Х. Линаксаръ представленъ идеальнымъ человѣкомъ, все прощающимъ и все любящимъ, идеальнымъ Царемъ.

Книга X. По приказанію священныхъ книгъ, К. долженъ былъ идти во главѣ войска на враговъ Египта. Оказывается, онъ обязанъ былъ подавить возстаніе Амазиса, возставшаго противъ Салгеса и провозгласившаго себя царемъ.

Разсказывается исторія происковъ Амазиса.

Д. въ краткихъ словахъ поясняетъ Кадму значеніе египетской богини Изиды. К. вооруженъ чудеснымъ оружіемъ Озириса. Между прочимъ, Кадму поставлено условіемъ, чтобы на войнѣ сохранить молодого царя: Кадмъ его онъ не убережетъ, то онъ навсегда лишится Гармоніи.

Среди сподвижниковъ Амазиса интересенъ неукротимый Фраморъ. Это—ярко-очерченный образъ. Происходитъ сраженіе. Слѣдуетъ описаніе боя, который такъ воспламенилъ Кадма, что онъ забылъ о царевичѣ, и того взяли въ плѣнъ. Кадмъ—въ отчаяньи, но, благодаря измѣнѣ одного изъ приближенныхъ Амазиса, царевичъ спасся. (Амазисъ по ошибкѣ убилъ не Самгеса, а переодѣтаго въ его платье). Восторгъ Египтянъ.

Слѣдуетъ любопытное объясненіе божественной сущности Изиды. Происходитъ свиданіе съ Гармоніей и любопытная бесѣда со старомъ Римасидомъ, живущимъ въ уединеніи и бѣдности, вдали отъ шума— Онъ такъ размышляетъ о жизни человѣческой. „Всякое наше излишество есть доля, у неимущаго похищенная, и всяческое имущество есть вещь, въ залогъ намъ, или за наши услуги, даемая, или по случаю намъ доставленная, которую, по строгому сужденію нашей совѣсти, ко источнику ея возвращать мы обязаны“.

Далѣе описывается судъ надъ тѣломъ покойнаго Фараона. Попутно авторъ философствуетъ въ такомъ родѣ: „Мудрые и праведные Государи единымъ имянемъ рабства гнушаются и, яко уничижающее человѣковъ титло, уничтожаютъ“.

К. и Г. собираются ѣхать изъ Египта въ Мавританію къ Линаксару. Діафанъ посылаетъ его искать Европу.

Книга XI. К. незнаетъ, гдѣ искать Европу. Гармонія его успокаиваетъ. Они плывутъ далѣе. Какая-то тьма влечетъ ихъ корабль. Происходитъ бунтъ на кораблѣ; но, едва К. коснулся своимъ чудеснымъ мечомъ, полученнымъ въ даръ въ Египтѣ, до главы заговорщиковъ— Мамра, какъ тотъ палъ мертвымъ. Послѣ долгаго плаванья пристали къ какимъ то берегамъ. К. и Г. ѣдутъ смотрѣть, куда пріѣхали. На берегу видятъ прекраснаго юношу. Слѣдуетъ его описаніе. Потомъ является воспитатель этого отрока. Оказывается, этотъ воспитатель— Эхіонъ, а земля, въ которую они попали, называется „Европой“. Живутъ здѣсь славяне,—„народъ кроткій и добродѣтельный, пастырскую жизнь провождающій“. Юноша Полидоръ оказался ихъ сыномъ. Восторгъ Кадма и Гармоніи. Слѣдуетъ описаніе пещеры Эхіона. Эхіонъ

разсказываетъ исторію Полидора и его странствія. Слѣдуетъ разсказъ о жизни Кадма и Гармоніи среди славянъ.

Между прочимъ, разсказано о томъ, какъ къ славянамъ заходилъ Тирезіасъ и предрекъ имъ славу въ будущемъ, а также сказалъ, что Эхіонъ и Полидоръ должны идти въ Беотію тогда, когда увидятъ беотійскіе шлемы. Разсказывается происхожденіе славянъ; описывается ихъ характеръ, образъ правленія, жизнь, ихъ религія.

Затѣмъ къ Кадму и Гармоніи являются старѣйшины славянъ. Они обнаруживаютъ миролюбіе и возвышенный образъ мыслей.

К. и Г., изъ ихъ разсказовъ, узнаютъ, что главные враги славянъ— скиѳы и особенно Азуфъ, владѣтель ордъ: всегда онъ съ ними воюетъ, и въ настоящее время тоже собирается идти походомъ.

Оказывается, Зоріанъ, сынъ Велесила, старѣйшины славянъ, хорошо образованъ,—много читаетъ и incognito жилъ при дворѣ Азуфа; тамъ онъ полюбилъ его дочь Эриксею и, покоривъ ея сердце, попалъ въ тюрьму, но былъ освобожденъ ею; при чемъ она осталась въ тюрьмѣ вмѣсто него, въ его одеждѣ. „Спасайся, Зоріанъ, и познай, сколь нѣжно скиѳянки любить умѣютъ!"—сказала она ему при прощаніи. Слѣдуютъ безконечно длинные разговоры, въ которыхъ оба стараются показать себя великодушнѣе другъ друга.

Кадмъ идетъ во главѣ славянъ на скифовъ.

Книга XII. Описывается походъ. К. устраиваетъ войско славянъ, запрещаетъ имъ обижать во время войны мирныхъ поселянъ. Зарена, дочь Велесила, по совѣту Кадма, переодѣтая скифомъ, пробирается съ товарищемъ на площадь, гдѣ собираются казнить Эриксею; они освобождаютъ ее, и, въ то же время, является имъ на помощь войско славянъ. Азуфъ хочетъ убить дочь, потомъ самъ закалывается. Такъ какъ Кадмъ не согласился царствовать, царемъ дѣлается Зоріанъ, который и женится на Эриксеѣ.

Полидоръ влюбляется въ Зарену. Беотійцы посылаютъ Амфіона за Полидоромъ. Такимъ образомъ, появляются въ странѣ „беотійскіе шлемы", предсказанные прорицателемъ. Полидоръ не хочетъ уѣзжать отъ родителей и Зарены.

Полидоръ и Зарена объявлены женихомъ и невѣстою. Наконецъ, К. отпускаетъ Полидора, съ наставленіями, какъ царствовать. Онъ рекомендуетъ сыну слушаться Эхіона, почитать боговъ, просвѣщать народъ. Подати умѣло взимать на пользу же народа, не давать воли плоти надъ духомъ, побѣждать себя... Наконецъ, Полидоръ уѣхалъ съ тѣмъ, чтобы черезъ 2 года вернуться за Зареной.

Славяне выбираютъ Кадма царемъ. Узнавъ объ этомъ избраніи, Кадмъ отвѣчалъ „громогласно, во слышаніе всему народу, „что вы творите, мои други, собратія мои? вы меня избираете вашимъ Царемъ, коихъ никогда вы не имѣли? Чувствуете ли, какого истукана на основаніяхъ вашей свободы возстановляете?" Онъ отказывается и отъ этой власти и отъ всѣхъ благъ. Когда ему даютъ невольниковъ, онъ говоритъ: „невольниковъ имѣти не хощу; но, пріемля отъ васъ оныхъ, разрѣшу ихъ узы и учиню ихъ сотрудниками токмо моими, — рабъ не долженъ принадлежать мудролюбцу; и права человѣчества не дозволяютъ намъ лишать свободы нашихъ ближнихъ". Умиленный народъ проливаетъ

„нѣжныя слезы", слушая такія рѣчи. Кадмъ счастливъ, любимъ всѣми и уважаемъ.

Конецъ: „Сіи почтенные супруги провождали во странѣ Славянской жизнь, толико цѣломудренную, благочестивую и непорочную, — добродѣтели ихъ толико сіяли, что, казалось, якобы они облекли въ плоть новую и учинились подобными; отъ того произошло преданіе, яко бы Кадмъ и Гармонія, при концѣ ихъ глубокой старости, во змѣевъ превратились".

Если мы съ этимъ содержаніемъ романа сравнимъ миѳъ о Кадмѣ, мы увидимъ сколько „Dichtung"'а допустилъ авторъ въ разработку [132]. Миѳъ гласитъ слѣдующее:

У правителя Финикіи, Агенора, было три сына и дочь Европа; ее похитилъ Зевесъ, обратившись въ быка. Агенорь посылаетъ всѣхъ сыновей искать похищенную Европу. Кадмъ отправляется въ Дельфы посовѣтоваться съ оракуломъ. Оракулъ приказалъ Кадму идти слѣдомъ за той коровой, которая попадется ему навстрѣчу. Кадмъ увидѣлъ корову, пошелъ за нею и добрался до Ѳивъ. Здѣсь онъ убилъ дракона, который пожиралъ мѣстныхъ жителей. Зубы убитаго дракона Кадмъ посѣялъ,—изъ нихъ явились воины, которыя вступили въ бой другъ съ другомъ; уцѣлѣло лишь пять человѣкъ. Кадму пришлось сдѣлаться на нѣсколько лѣтъ рабомъ царя Ѳивскаго; потомъ онъ женился на дочери его Гармоніи и наслѣдовалъ престолъ тестя.

Овидій въ своихъ „Метаморфозахъ" разсказываетъ о дальнѣйшей судьбѣ Кадма.

Обремененный несчастіями, Кадмъ покидаетъ престолъ и добровольно странствуетъ по свѣту съ супругой; послѣ долгихъ скитаній приходитъ онъ въ Иллирію, гдѣ, по волѣ боговъ, вѣрные супруги были превращены въ двухъ змѣевъ *).

Изъ пересказа этихъ двухъ миѳовъ о Кадмѣ видно, что романъ Хераскова представляетъ собою свободное, поэтическое развитіе той версіи, которую далъ въ своихъ „Метаморфозахъ" Овидій.

Въ цѣляхъ дать назидательное чтеніе, Херасковъ вводитъ разсказъ о нравственныхъ паденіяхъ Кадма, объ его исправленіяхъ, о разлукѣ съ Гармоніей и о соединеніи съ нею. Онъ вноситъ въ романъ свои націоналистическія симпатіи, соединяя судьбу Кадма съ жизнью славянъ.

*) Приведя различные разсказы о происхожденіи Кадма и Гармоніи, Херасковъ соглашается съ тѣмъ мнѣніемъ, которое предлагаетъ признать Кадма „подлиннымъ сыномъ Царя Агенора, именуя Гармонію дщерію богини Афродиты, порожденною отъ бога Марса". Далѣе онъ говоритъ, что „Овидій весьма сокращенно о приключеніяхъ сихъ знаменитыхъ супруговъ въ его „превращеніяхъ" повѣствуетъ. Въ моемъ сочиненіи придерживался я паче послѣднихъ мнѣній, яко справедливѣйшихъ, касаясь иногда и другихъ преданій".

Можно спорить о литературныхъ достоинствахъ и недостаткахъ произведенія Хераскова, но нельзя отрицать того, что онъ, даже подражая Фенелону, внесъ, тѣмъ не менѣе, человѣческія черты въ блѣдный обликъ миѳическаго героя, этимъ, несомнѣнно, ожививъ его.

Вотъ почему, думается мнѣ, что поклонникъ Ѳ. Эмина и строгій судья Хераскова, Благосвѣтловъ совершенно несправедливо осуждаетъ нашего писателя за ту поэтическую вольность, которую нашъ авторъ допустилъ вполнѣ сознательно, какъ литературный пріемъ, широко примѣняемый въ романической литературѣ псевдоклассическаго направленія.

„Херасковъ распорядился греческимъ миѳомъ такъ, какъ, обыкновенно, распоряжались греко-римскими легендами ложно-классическіе писатели, примѣняя ихъ, подъ условіемъ современной теоріи, къ понятіямъ и вѣрованьямъ своего вѣка и народа. Желая представить въ Кадмѣ несчастнаго царя, въ противоположность счастливому Нумѣ Помпилію, онъ снялъ съ эллинской личности, созданной религіозно-эпическимъ геніемъ, классическій характеръ, и тѣмъ лишилъ ее настоящаго значенія и смысла. Въ греческой поэзіи надъ Кадмомъ тяготѣетъ таинственное опредѣленіе судьбы, слѣпо ведущей его по пути бѣдствій: онъ стоитъ подъ ударами рока, подобно гранитной статуѣ подъ дождемъ и громомъ, не имѣя силъ перемѣнить своего положенія, ни воли—предопредѣлить приговоръ оракула, ни даже желанія избавиться отъ грозящей опасности,—онъ страдаетъ, подобно окованному Прометею, или Эдипу, съ полнымъ сознаніемъ, что никакая человѣческая сила не можетъ прекратить этихъ страданій. Напротивъ, у Хераскова, всѣ несчастія Кадма прямо зависятъ отъ его доброй воли: онъ лишается престола потому, что злоупотребляетъ своимъ царскимъ достоинствомъ, забываетъ честь и правду; онъ бѣдствуетъ въ то время, когда богохульствуетъ и развратничаетъ,—и блаженствуетъ, когда раскаивается и живетъ добродѣтельно. Повидимому, герой русскаго романа долженъ былъ заключить въ себѣ болѣе жизни и драматическаго одушевленія, потому что его дѣйствія не связаны посторонними произволомъ,—у него есть нравственная сила, управляющая ходомъ его жизни; за всѣмъ, тѣмъ характеръ его вышелъ самый тусклый и неопредѣленный. У греческаго Кадма, по крайней мѣрѣ, есть хотя и мертвая, но ясная физіономія исполина, гордо смотрящаго въ лицо карающей власти,—Херасковъ уничтожилъ этотъ титаническій типъ, навязавъ беотійскому царю прѣсную французскую чувствительность и обративъ основателя Ѳивъ въ мальчишку, за которымъ гонятся „судьба“ по морямъ и островамъ съ педагогическою розгою“.

Конечно, характеристика героя романа, во многихъ отношеніяхъ, строгимъ критикомъ сдѣлана вѣрно, но это не даетъ еще права осуждать Хераскова „безъ снисхожденія“ за „искаженіе“ основныхъ чертъ греческаго миѳическаго героя,—нашъ писатель слѣдовалъ литературной манерѣ той школы, которая воспитала

его вкусы, и съ героемъ греческаго миѳа продѣлалъ то же, что съ историческими героями древности продѣлывали его великіе и невеликіе учителя (см. выше слова предисловія къ роману).

Указывая энергично на зависимость нашего писателя отъ Фенелона, Благосвѣтловъ, однако, отдаетъ преимущество Фенелону, который, по его словамъ, вѣрнѣе Хераскова сохранилъ въ своемъ произведеніи духъ античной старины. Такъ, напримѣръ описаніе ада Фенелонъ прямо взялъ у Виргилія, между тѣмъ какъ Херасковъ, рисуя тартаръ, заимствовалъ краски отовсюду,— и у Фенелона, и у Виргилія, и у Терассона („Сифъ"—см. выше стр. 119—120), и, кромѣ того, далъ свободу своему собственному творчеству.

„Независимо отъ данныхъ образцовъ, Херасковъ, желая придать тартару болѣе поразительный и ужасающій видъ, изобрѣтаетъ свои собственныя краски: обыкновенно, тамъ, гдѣ перестаютъ руководить его римскій поэтъ и французскіе прозаики, онъ вдается въ преувеличенія, дозволенныя только болѣзненному воображенію. Такъ, напримѣръ, съ героемъ его говорятъ громы, шепчутся молніи; вдругъ бурнымъ ураганомъ переносится Кадмъ съ песчаныхъ степей египетскаго ада въ Вавилонъ; пламенная стрѣла пронзаетъ его въ грудь, и передъ нимъ раскрывается вся мерзость его внутренняго состоянія—души и сердца; куда бы онъ ни обратилъ взглядъ,—повсюду видитъ свои злодѣянія, „ругательныя слова и соблазнительныя пѣсни", огненными буквами начертанныя на воздухѣ... Вся эта фантасмагорія чудесъ ясно показываетъ, что пѣвецъ Россіи не разграничивалъ строго „поэтической вольности" отъ „лунатическаго бреда".

Мнѣ кажется, что—1) въ этомъ пересказѣ Благосвѣтловъ нагрѣшилъ противъ правды; онъ, въ цѣляхъ высмѣянія, нѣсколько искусственно комбинируетъ образы и картины, нарочито подчеркивая ихъ нелѣпость,—а 2) свобода творчества, которую онъ отмѣчаетъ у Хераскова, на мой взглядъ,—есть не грѣхъ, а большое достоинство писателя.

Въ содержаніи, во многихъ деталяхъ романа Благосвѣтловъ тоже видитъ зависимость нашего писателя отъ Фенелона.

„Херасковъ, шагъ за шагомъ, слѣдовалъ за своимъ первообразомъ. Таинственныя пещеры, быстрыя превращенія людей и цѣлыхъ народныхъ массъ изъ одного состоянія въ другое, зловѣщія предсказанія, гибельныя кораблекрушенія, чудесное покровительство боговъ,—словомъ, весь избитый механизмъ ложноклассической повѣсти занятъ Херасковымъ у Фенелона".

Въ этомъ опять не вижу я особенной вины Хераскова,—даже лучшіе писатели псевдоклассической группы, даже самъ Фенелонъ не избѣгли, въ своемъ творчествѣ, „общихъ мѣстъ",—въ чемъ же здѣсь особая вина Хераскова?

Сочиняя, подобно Фенелону, Рамзею, Терассону, политическій, моральный и, въ то же время, авантюрный романъ, онъ, по необходимости, долженъ былъ воспользоваться рядомъ „общихъ мѣстъ“ и шаблонныхъ образовъ, выработанныхъ до него. Къ таковымъ отношу, напримѣръ, сцены нравственнаго паденія героя, приступы раскаянья, всевозможныя испытанія его добродѣтели,— дѣйствительныя, или существовавшія только въ его воображеніи (аллегорическіе сны). Образы добродѣтельныхъ и порочныхъ, или слабыхъ правителей, картины благополучія народнаго (утопіи), или несчастій, встрѣчи съ мудрыми людьми (бо́льшею частью,— отшельниками) и бесѣды съ ними,—все это неизбѣжный аттрибутъ романовъ типа „Телемака“.

Съ псевдоклассическимъ романомъ „героическаго типа“ произведеніе Хераскова тоже связано и „общими мѣстами“ (любовь идеальная и порочная, предсказанія оракула, вѣщіе сны, бури, кораблекрушенія, разлука и свиданія, всевозможныя недоразумѣнія),—и шаблонными образами дѣйствующихъ лицъ (герой-насильникъ, готовый клеветать и интриговать, пустынникъ-отшельникъ, типы героинь и проч.).

Необходимо отмѣтить, наконецъ, что въ произведеніи Хераскова довольно сильно выразился волшебный элементъ,—тотъ, которымъ богата греческая миѳологія, и такія поэмы, какъ „Одиссея“ Гомера и „Метаморфозы“ Овидія. Отчасти слѣды этого античнаго волшебства сохранились и у Фенелона (талисманы, вѣщія видѣнія, таинственные голоса, предзнаменованія, предсказанія и проч.).

Въ идейномъ отношеніи, связь романа Хераскова съ „Телемакомъ“ Фенелона несомнѣнна. (См. выше стр. 128—129). На эту связь указываетъ и Благосвѣтловъ.

„Какъ направленіемъ и планомъ, такъ и нравственными мнѣніями, онъ былъ обязанъ, бо́льшею частью, Фенелону, а французскій мыслитель, въ свою очередь, былъ отголоскомъ греческаго философа Платона“ [1322].

И далѣе нашъ критикъ характеризуетъ политическое міровоззрѣніе Платона, выросшее, по его словамъ, въ Греціи въ тяжелую эпоху политическаго разврата и беззаконія власти. Платонъ-консерваторъ, поклонникъ умѣренной монархіи, врагъ охлократіи и, въ то же время, реформаторъ, фантазеръ-утопистъ, чрезмѣрно вѣрящій въ могущество идеи и разума,—мечталъ о возстановленіи падающихъ основъ государства, расшатаннаго крайностями демократіи и софистики,—онъ призывалъ къ умѣренности въ

жизни, къ возстановленію потрясенной религіи, къ возрожденію патріотизма путемъ перевоспитанія гражданъ...

Такъ характеризуетъ Благосвѣтловъ основы политическаго и моральнаго міросозерцанія Платона, и отраженіе его идей предлагаетъ видѣть у Фенелона, а, чрезъ его посредство, и у Хераскова.

Впрочемъ, онъ, словно черезъ силу, находитъ и у нелюбимаго имъ Хераскова кое-что оригинальное.

„Нравственные уроки Хераскова, лишенные оригинальныхъ воззрѣній, не всегда однакожъ чужды народнаго характера: въ двухъ, или трехъ, мѣстахъ онъ протестуетъ противъ недостатковъ современнаго общества,—противъ продажной совѣсти, противъ судей, торгующихъ правосудіемъ, противъ французоманіи" [1323].

Это „снисхожденіе" лучше всего характеризуетъ пристрастное отношеніе критика къ Хераскову; выше (стр. 124—130) я характеризовалъ этого писателя, какъ яркаго (хотя и неоригинальнаго) представителя передовыхъ идейныхъ теченій русскаго общества,—передъ нимъ, по моему, очень блѣднѣетъ болѣе самостоятельный, но, въ достаточной степени, сумбурный мыслитель—О. Эминъ (См. выше 131—134).

Отношеніе къ „судьбѣ"-„року" въ произведеніи Хераскова таково же, какъ и въ греческомъ романѣ, въ псевдоклассическомъ и у Фенелона. Необходимо, впрочемъ, отмѣтить, что у Хераскова, рядомъ съ вѣрой во власть „судьбы" и „боговъ", порою ясно проскальзываетъ убѣжденіе въ „свободѣ воли" человѣка. Такимъ образомъ, изъ ряда противорѣчій читатель порою выбраться прямо не въ состояніи,—

Герой жалуется на то, что гонимъ „непріязненнымъ рокомъ". [1324]. „Боги для нашего блага ввергаютъ иногда человѣковъ во искушеніе" [1325]. „Конечно, развращенный міръ порабощенъ злому нѣкоему правленію [1326]. „Изъ сего міровъ средоточія боги простираютъ недремлющія свои очеса во всю неизмѣримость вселенныя, зрятъ каждое человѣковъ дѣяніе, читаютъ ихъ помышленія, внемлютъ ихъ глаголамъ и жребіемъ малѣйшія былинки управляютъ" [1327].

Губитъ Кадма Зевсъ не хочетъ, такъ какъ, создавъ человѣка „свободнымъ", не хочетъ „обуздывать его воли",—„какъ бы подло было сіе, любимое нами, твореніе, когда бы оно мощію нашею непрестанно движимо было, но собственной воли не ощущало: оно бы истукану, или колеблющемуся на землѣ былію подобно было" [1328].

„Діофанъ поясняетъ Кадму, какъ премудро создали боги человѣка, и какъ его свободная воля все извратила [1329]. „Не на собственную крѣпость тѣлесную, не на тлѣнныя земныя сокровища, не на остроту разума уповать надлежитъ человѣку, когда всемогущіе боги предизбираютъ кого ко совершенію великихъ и дивныхъ дѣлъ,—возложись на божественный всесильный промыслъ!" [1330].

К. вздыхаетъ: „О! коликимъ искушеніямъ промыслъ боговъ меня подвергаетъ!“ [1331].

„Здѣсь описываетси сынъ царскій, самъ государствующій въ Беотіи; но по нѣкоему злому року, а паче по его собственнымъ душевнымъ развлеченіямъ, престола отчужденный и бѣдственную жизнь въ мірѣ влекущій“ [1332].

„Нахищренія человѣческія не могутъ отвратить отъ насъ судьбины, предназначенной намъ Существомъ всемогущимъ“ [1333]. К. жалуется на „лютый рокъ“; герой „ввѣрился произволенію судьбины“ [1334]. „Нельзя противиться Промыслу“ [1335].

Разсужденія и наставленія автора, влагаемыя, обыкновенно, въ уста дѣйствующихъ лицъ, иногда высказываются и отъ имени его самого—

„Такъ видъ соболѣзнованія ложной благотворительности прикрываетъ иногда зарождающіеся въ человѣкѣ слабости“ [1336].

„Такъ на всемъ земномъ шарѣ истинная добродѣтель рѣдко довѣренность людей обрѣтаетъ, а хитрость, лесть и лукавство въ сердце человѣковъ безпрестанно вкрадывается“ [1337].

„Великолѣпные-ли чертоги, или знаменитыя дѣянія содѣлываютъ славу Государей?“ [1338]

„Увы! самолюбіе, отъемлющее свѣтъ у души нашей, завсегда предстоящія намъ бѣдства отъ насъ сокрываетъ. Кадмъ пренебрегъ могущество и правосудіе самихъ боговъ, и благоденствіе свое собственнымъ своимъ устроеніемъ поставлялъ,—не внемлетъ уже ни общему всего народа роптанію, ни благому друзей совѣту“ [1339].

„Психика“ дѣйствующихъ лицъ разрабатывается здѣсь совершенно такъ же, какъ во всѣхъ предшествующихъ произведеніяхъ, иностранныхъ и русскихъ; авторъ—или самъ разсказываетъ о томъ, что происходитъ въ сердцѣ его героя (напр., исторія развитія любви Кадма къ Таксилѣ)—или онъ даетъ самъ характеристики дѣйствующихъ лицъ (напримѣръ, характеристика Хадема)—или онъ раскрываетъ психику героевъ при помощи ихъ монологовъ, которые всегда, при этомъ, отличаются паѳосомъ:

„...возрыдалъ, повергъ царскій вѣнецъ со главы своей и, ударяя себя въ грудь, вопіялъ: „боги! жестокіе боги! вы меня возненавидѣли! увы! я пиршествую, а чада и друзья мои гибнутъ!“ и пр. [1340].

„Всего я лишился!, возопилъ онъ—всего: царства, друзей, моей возлюбленной, или паче губительницы моей лишился!.. Увы! недостоинъ я имѣть ни царства, ни друзей, ни любезныхъ человѣковъ въ мірѣ!.. Я искалъ ихъ только ради единственнаго моего, а не ради общественнаго блага!“ [1341].

Эти монологи иногда переходятъ въ „вопли“, иногда сопровождаются „слезами“, обмороками...

Такимъ образомъ, внѣшніе признаки у Хераскова тоже являются показателями внутренней душевной борьбы его героевъ.

„Холодный потъ проливался по ея челу, когда она причину Кад-

мовыхъ неустройствъ и слѣдствія, проистекающія отъ роскошей, вообразила" 1342.

Иногда состояніе души героя выражается въ молитвенныхъ воззваніяхъ его къ богамъ, въ рѣчахъ, въ діалогахъ, которые ведутъ между собой дѣйствующія лица: Напр.—

„Кадмъ, Кадмъ! Куда ты отъ меня убѣгаешь?" возопила Гармонія. Увы! Куда? или злополучная Гармонія и нещастнаго Кадма уже не достойна?—„Я тебя не достоинъ!" возопилъ Кадмъ, обливаясь токами слезъ, „я тебя недостоинъ, о, Гармонія!.. Бѣги отъ меня, бѣги отъ моихъ воззрѣній,—дыханіе и глаголы мои заразительны суть!" 1343.

„Описаній" въ романѣ много, но слабѣе всего представлены у него, какъ и у его учителей, „описанія" природы. Naturgefühl у него еще отсутствуетъ.

Вотъ, напримѣръ, какъ описываетъ онъ вечернюю и утреннюю зарю и наступленіе вечера и утра.

„Лазурные небесные своды румянымъ сіяніемъ утренней зари покрылись. Звѣзды блѣднѣютъ и кажутся угасающими" 1344. „Дневное свѣтило полуденной черты уже касалось" 1345. „Солнце клонилось тогда къ западу" 1346. „Утру освѣтившу позлащенные кровы града Ѳессаліи..." 1347.

„Буря" у него налетаетъ быстро, внезапно, и такъ же быстро прекращается.

„Вдругъ морская пучина посинѣла; вѣтры отъ четырехъ странъ возревѣли; валы въ колеблемыя горы преобразились; дно морское предъ очами нашими обнажилось и поглотить насъ угрожало; страшные возгремѣли перуны; блистающія молніи извились надъ главами нашими и въ прахъ превратить насъ стремились; трескъ и стенаніе корабля нашего погибель нашу возвѣстили..." 1348.

„тако мнѣ вопіющу и плавателямъ моимъ, купно со мною на небеса руки воздѣвающимъ, солнце сквозь густыя облака проглянуло; вѣтры умолкать начали, море укротилось; боги услышали моленіе мое,—заснули громы, успокоились вихри, волны изгладились" 1349.

Любитъ Херасковъ рисовать мирные пейзажи, идиллическія настроенія природы—пейзажи, навѣянные пастушеской поэзіей.

Кадмъ съ Таксилою прохаживались „въ миртовой рощѣ, гдѣ рѣка Исмена между бреговъ, цвѣтами испещренныхъ, сребровидныя струи извиваетъ; плавающіе по ней лебеди, тихому пѣнію подобные, гласы производили; поющія на древесахъ птицы слухъ услаждали; зефиры, нѣжнымъ дыханіемъ трогая зеленыя миртовыя вѣтьви, пріятный шумъ чинили; цвѣты сладкое благоуханіе растворяли; небо было чисто; воздухъ прохладенъ, тѣни густыхъ древесъ по мягкимъ муравамъ простирались и веселящихся любовниковъ отъ лучей солнечныхъ укрывали" 1350.

Есть у него въ романѣ и мрачныя картины,—таково описаніе ужасовъ лабиринта, составленное отчасти подъ вліяніемъ кар-

типъ „ада“ у Фенелона и Виргилія, „ужасовъ въ пирамидахъ“ у Терассона, — отчасти являющееся плодомъ его собственной фантазіи. Сила впечатлѣнія ослабляется, впрочемъ, тѣмъ, что Херасковъ придаетъ всей картинѣ аллегорическое значеніе. Привожу небольшой отрывокъ.

„...услышалъ я жалостный вопль, сими нещастными произносимый: „погибаемъ! погибаемъ!“ восклицали; отрава дѣйствуетъ въ ненасытныхъ утробахъ нашихъ!.. О! на что мы обманчивыми яствами прельстились! увы! онѣ умерщвляютъ насъ; мы вкушали въ видѣ плодовъ смерть нашу!..“ Вопль умолкъ; холмъ посколебался, и съ страшнымъ трескомъ, извергнувъ тысящи молній, въ прахъ разсыпался... Устрашенный симъ позорищемъ, продолжалъ я путь мой далѣе, по совѣту Хиронову, и пошелъ, что видимый мною холмъ изображалъ земной шаръ: скоты и дикіе звѣри были люди, своими неистовствами образъ человѣческой утратившіе и въ животныхъ, и птицъ преобразившіеся“ [135].

Къ наиболѣе удачнымъ аллегорическимъ картинамъ въ разбираемомъ романѣ можно отнести еще разсказъ о пребываніи Гармоніи въ тайникахъ лабиринта и о тѣхъ различныхъ герояхъ, которые искали ее тамъ и не нашли. Вообще элементъ аллегоріи очень силенъ въ романѣ: мистикъ-масонъ Херасковъ любилъ эту литературную форму, и часто ею прикрывалъ свои моральныя и политическія идеи. Въ сущности, весь романъ представляетъ собою аллегорію, едва ли не автобіографическаго характера: не хотѣлъ ли авторъ, выразить въ судьбѣ Кадма исторію своей собственной души, отъ ошибокъ и заблужденій пришедшей къ свѣту, къ душевной гармоніи въ томъ просвѣтленіи и успокоеніи, которое принесено было ему масонствомъ? *).

Кромѣ аллегорическихъ картинъ, встрѣчаемъ мы картины „миѳологическаго“ содержанія, въ духѣ той плафонной живописи, которая украшала стѣны и потолки иностранныхъ дворцовъ XVII-го, а русскихъ—XVIII-го вѣка.

„Въ недалекѣ отъ нихъ изображены были каменосѣчнымъ искуснымъ художествомъ Марсъ и Афродита, тонкою Вулкановою сѣтью уловленны; она едва была видима, но пламенными бога и богини воздыханіями оживленною зрѣлась; индѣ виденъ былъ сынъ Афродитинъ, играющій грозными перунами, и сердце адскаго бога пламенникомъ своимъ возжигающій; тамо представлялась зрѣнію любовь Уранія и Тифея, въ юныхъ лѣтахъ воспаленная“ [135].

Наконецъ, необходимо отмѣтить въ манерѣ описаніи и въ стилѣ Хераскова наличность вліянія Гомера. Быть можетъ, это вліяніе было передано чрезъ посредство Фенелона, быть можетъ,

---

*) Не въ связи-ли съ именемъ героини и названіе московской масонской ложи: „Гармонія“?

было оно результатомъ непосредственнаго знакомства Хераскова съ „Иліадой“ и „Одиссеей“. Въ особенности оно сказывается въ тѣхъ сценахъ, гдѣ дѣйствуютъ небожители, пребывающіе на Олимпѣ и оттуда взирающіе на дѣла Кадма. Иногда вліяніе это сказывается на сравненіяхъ—напр.:

„Кадмъ претекаетъ, будто гонимый ловцами елень“ [1353].

Иногда оно выражается введеніемъ образовъ, напоминающихъ своими чертами гомеровскіе—такъ, напримѣръ, мудрый пѣвецъ, у Хераскова воспѣвающій дѣла Кадма, напоминаетъ гомеровскаго пѣвца, прославляющаго Одиссея [1354].

Таковъ этотъ первый крупный романъ Хераскова. Думаю, что сдѣланная мною характеристика нѣсколько реабилитируетъ это произведеніе и его автора, которому Благосвѣтловъ произнесъ строгій, безпощадный судъ:

„Херасковъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, для которыхъ творчество замѣняется общепринятой теоріей, истинная поэзія—рутиной. Labor omnia vincit—вотъ, правило тѣхъ жалкихъ тружениковъ, которые оставляютъ потомству десятки написанныхъ ими фоліантовъ и ни одной животворной мысли, ни одного искренняго чувства... И перечитывая сто пятьдесятъ произведеній Хераскова, при всемъ нашемъ желаніи найти хотя одну искру поэзіи,—мы убѣждаемся въ совершенномъ отсутствіи творческаго таланта“.

Странно, что такое суровое отношеніе къ Хераскову у Благосвѣтлова сложилось, какъ результатъ сопоставленія его творенія съ произведеніями Эмина!.. Сравнивая романъ Хераскова *даже съ „Телемакомъ“* Фенелона, признавая у нашего писателя недостатокъ оригинальности, я все же не пришелъ-бы къ такому печальному выводу, какъ Благосвѣтловъ!.. Херасковъ взялъ разработанную литературную форму, заимствовалъ пріемы литературной школы, но онъ обнаружилъ самостоятельность въ выборѣ темы, въ разработкѣ миѳа, въ своихъ описаніяхъ... Онъ сумѣлъ въ своемъ романѣ выразить свои завѣтныя нравственныя и политическія убѣжденія, сумѣлъ найти подходящій стиль... Въ этомъ—неотъемлемое достоинство его произведенія *).

---

*) Благосвѣтловъ за перемѣну убѣжденій называетъ Хераскова „переметной сумой“. Выше (на стр. 129) я опредѣлилъ тѣ видоизмѣненія, что произошли въ политическомъ міросозерцаніи Хераскова подъ вліяніемъ французской революціи; но такая метаморфоза произошла не съ нимъ однимъ и, конечно, она не есть результатъ легкомыслія, а глубокой, полной драматизма, ломки основъ міросозерцанія.

Послѣдній романъ Хераскова начинается съ патетическаго воззванія къ Музамъ,—пріемъ, заимствованный русскимъ авторомъ у Гомера и псевдоклассиковъ-эпиковъ.

Свою повѣсть о Полидорѣ авторъ называетъ „трогательною и привлекательною". Затѣмъ онъ проситъ у Музъ, чтобы онѣ сдѣлали его повѣсть и „небезполезною".

Содержаніе романа слѣдующее:

Книга I. Полидоръ въ горести,—онъ потерялъ Зарену и рѣшился оставить Ѳивы, чтобы посѣтить отца и мать, которые остались жить у славянъ.

„Добродушные" славяне встрѣчаютъ его „съ нѣкіимъ печальнымъ молчаніемъ". Полидоръ предчувствуетъ, что его постигло новое горе,—и онъ взываетъ къ нимъ, съ просьбой сказать, гдѣ его отецъ и мать.

Велесилъ сообщаетъ Полидору о смерти Кадма и Гармоніи. Горе Полидора выражается въ длинныхъ патетическихъ монологахъ. Велесилъ, отецъ Зарены—мудрецъ, живущій въ уединеніи и на все въ жизни смотрящій „съ мудрымъ размышленіемъ"—его утѣшаетъ, говоритъ ему объ единеніи душъ умершихъ съ душами живыхъ; поэтому, утверждаетъ онъ, нельзя говорить о сиротствѣ и одиночествѣ. Слѣдуетъ разсужденіе о безсмертіи души, о томъ, что нельзя роптать на судьбу и пр.

Слѣдуетъ описаніе хижины Велесила. Простота его обѣда. Затѣмъ Велесилъ разсказываетъ Полидору—что славяне обоготворили Кадма и Гармонію потому, что суевѣры и корыстолюбцы-жрецы убѣдили ихъ, будто К. и Г. обращены въ змѣевъ,—и славяне обожаютъ этихъ змѣевъ и приносятъ имъ жертву. Полидоръ возмущенъ этимъ суевѣріемъ и рѣшается уничтожить это поклоненіе, обидное, по его мнѣнію, для тѣней его родителей.

Слѣдуетъ нападеніе автора на людей, изъ корысти распускающихъ слухи о чудесахъ. Но мудрый В. убѣждаетъ Полидора не вступать въ распрю со слѣпымъ и неразсудительнымъ народомъ, ибо къ религіознымъ заблужденіямъ толпы надо относиться деликатно,—мракъ надо разсѣивать постепенно, тѣмъ болѣе, что обоготворили наивные славяне Кадма и Гармонію изъ добрыхъ чувствъ благодарности и любви. Тогда Полидоръ рѣшилъ ограничиться изгнаніемъ тѣхъ двухъ змѣевъ, которые жили въ той пещерѣ, гдѣ похоронены К. и Г.

П. идетъ къ пещерѣ и по дорогѣ видитъ грубыя неискусныя изображенія Кадма и Гармоніи, сдѣланныя изъ дерева въ видѣ идоловъ. „Корыстолюбіе воздвигло сіи нелѣпые истуканы, а слѣпое суевѣріе жертвы имъ приносило"—объясняетъ авторъ исторію возникновенія идолопоклонничества. Пол. разбилъ ихъ. Потомъ онъ посѣщаетъ тѣ мѣста, гдѣ когда-то гулялъ онъ съ Зареною. Отъ избытка чувствъ онъ взываетъ къ Заренѣ, произноситъ монологъ, цѣлуетъ дерево, подъ которымъ произошло ихъ любовное объясненіе. „Тогда Зефиры, пробужденные его стономъ, вѣтви древесныя поколебали, и роса утренняя со влажныхъ листовъ, яко слезы, капали. Потомъ онъ произноситъ

монологъ передъ источникомъ, водою котораго умывалась Зарена. Онъ смотрится въ воду и вдругъ чудится ему, что онъ видитъ лицо Зарены. „Очи Полидоровы помутились". Оказалось, это—„Наяда, обитающая во источникѣ, услыша жалобы Полидоровы, тихо изъ водныхъ нѣдръ выглянула, воздохнула—и сокрылась". Проникнувъ въ пещеру, Пол. изгоняетъ оттуда двухъ змiевъ; онъ входитъ въ прежнее жилище Кадма и Гармонiи. Видъ этого жилища волнуетъ его.

Желая объяснить психологiю Полидора, авторъ обращается къ читателямъ, испытавшимъ потерю близкихъ. При осмотрѣ пещеры, Пол. находитъ завѣщанiе отца; тамъ читаетъ онъ наставленiя, къ нему адресованныя. Пол. рѣшаетъ, что „змiи", имъ выгнанные, были посланы богами для того, чтобы устранять людей и этимъ не допускать ихъ въ пещеру, гдѣ хранится завѣщанiе его отца.

Пол. „гадаетъ" по рукописи отца—совѣтуется съ ней въ трудныя минуты сомнѣнiй. Открываетъ наставленiе, которое рекомендуетъ ему странствованiе. Поэтому онъ рѣшается путешествовать.

Идетъ онъ къ Велесилу и по дорогѣ встрѣчаетъ Ацета Ѳиванца, поющаго о любви и играющаго на лирѣ. Его слушаетъ „славянская дѣва". Не узнавъ издали Полидора, она машетъ ему, чтобы онъ не мѣшалъ ихъ музыкѣ: узнавъ Ѳивскаго царя, она, испуганная, скрывается въ кустахъ. Ацетъ тоже смущенъ прибытiемъ Полидора. Потомъ открываетъ онъ царю свою любовь къ скрывшейся дѣвѣ. Стиль его признанiя искренно-страстный. Полидоръ успокаиваетъ его, отправляется къ Велесилу, и между ними происходитъ бесѣда. Херасковъ, устами Велесила, осуждающаго поступокъ Полидора, говоритъ объ идолопоклонствѣ, которое распространено по вселенной,—о преждевременности бороться съ нимъ... „Оставимъ при нихъ сiи мраки, доколѣ истинна не возсiяетъ!"—говоритъ онъ Полидору. Слѣдуетъ разсужденiе о паденiи истиннаго богопочитанiя.

Между тѣмъ, узнавъ о томъ, что Полидоръ разбилъ идоловъ и выгналъ змѣевъ, волхвы волнуютъ народъ и возбуждаютъ въ немъ ужасъ по случаю святотатственнаго оскорбленiя ихъ боговъ. Между прочимъ, волхвы увѣрили народъ, что боги, въ наказанiе за совершенное Полидоромъ злодѣянiе, выслали чудовищъ на славянъ изъ водъ Дуная, и вотъ волхвы поэтому требуютъ искупительной жертвы этимъ чудовищамъ. Жребiй палъ на Изону, славянскую дѣву, которую любилъ Ацетъ.

Полидоръ рѣшилъ сразиться съ этими чудовищами; онъ не признаетъ ничего сверхъестественнаго въ нихъ и видитъ во всемъ этомъ новую хитрость суесвятовъ-жреповъ. Велесилъ вручаетъ ему „шлемъ, щитъ и копiе Кадма, коими онъ поразилъ Ѳивскаго змiя" и „мечъ Озиридовъ".

Слѣдуетъ описанiе утра: „еще колесница свѣтоноснаго Ѳива-Аполлона не вступила въ путь дневный, заря пурпуры начинала простирать по небеснымъ сводамъ", Полидоръ съ войскомъ идетъ къ Дунаю. Старѣйшины хотятъ Изону принесть въ жертву чудовищу, но Ликастъ, спутникъ Полидора, „мужъ въ бою страшный, во трудахъ неутомимый, во гнѣвѣ пламенный", энергично возстаетъ противъ этого, при всѣхъ открываетъ свою любовь къ Изонѣ и обѣщаетъ самъ убить чудовище·

Рѣчь его, дѣйствительно, энергична, и автору удается въ ней выразить страстный и рѣзкій характеръ Ликаста.

За ними войско славянъ. Къ Полидору присоединяется Ацетъ, другой поклонникъ Изоны.

По характеру это—полная противоположность Ликасту. Онъ идетъ, волнуясь, „преклоня ко грудямъ своимъ чело томное, испуская тихое стенаніе"... Ликастъ хочетъ его отстранить отъ соучастія въ подвигѣ, но Пол. заступается за юношу, между прочимъ, называя его „рыцаремъ". „Чудовище" оказалось разбойничьимъ кораблемъ. И подозрѣнія Полидора о мошенничествѣ жрецовъ подтвердились,—они, просто, хотѣли продать Изону. Авторъ размышляетъ о „суевѣріи".

Происходитъ бой съ разбойниками. Полидоръ ихъ побѣждаетъ.

Велесилъ видитъ чудный сонъ—къ нему являются К. и Г., при чемъ К. открываетъ Велисилу, что щитъ, данный имъ Полидору, полученъ Кадмомъ отъ самой Минервы. К. далѣе говорилъ о себѣ, что былъ бы счастливъ, если бы не покорилъ „волю свою страстямъ необузданнымъ: каждый человѣкъ, говорилъ онъ, долженъ побѣдить свойственное ему чудовище—его душевныя страсти!"

Затѣмъ Пол. держитъ рѣчь передъ славянами; онъ призываетъ къ ихъ разуму и старается изгнать суевѣріе изъ ихъ сердецъ: „мечтательности и ужасы ваши истреблены—и баснословіе вашихъ соблазнителей обличено"—говоритъ онъ. Онъ проситъ ихъ не обожать Кадма и Гармонію, и позволить Изонѣ самой выбрать по сердцу супруга.

Въ это время приходитъ извѣстіе, что Изона исчезла. Ликастъ въ ярости. Жрецы объясняютъ ея исчезновеніе, какъ наказаніе за преступленіе Полидора,—они утверждаютъ, что зміи пожрали ее. По этому поводу авторъ восклицаетъ горестно: „Суевѣріе! суевѣріе! колико ты слѣпо и безразсудно!"

Полидоръ въ длинной рѣчи прощается съ славянами. Исчезновеніе Изоны Полидоръ объясняетъ, какъ „новое коварство неблагомѣренныхъ толкователей". Ярость Ликаста, потерявшаго любимую дѣвушку. Отъѣздъ Полидора.

Книга II. Внезапно возникаетъ буря. Полидоръ, измученный бурей, желаетъ смерти, чтобы скорѣе „съ любезными людьми совокупиться". Ацетъ горюетъ потому, что его молодой другъ, испуганный бурей, въ отчаяніи. Оказывается, скоро, что этотъ другъ — Изона, переодѣтая въ мужское платье, въ „рыцарскія одежды". Узнавъ о томъ, что его возлюбленная путешествуетъ съ Ацетомъ, Ликастъ приходитъ въ ярость. Слѣдуютъ разсужденія автора по этому поводу. Ликастъ жалуется Полидору. Полидоръ успокаиваетъ его и обѣщаетъ разобрать дѣло. Ликастъ продолжаетъ свирѣпствовать, требуя не суда, а наказанія Ацету. Полидоръ оспариваетъ его, вступаясь за право царской власти рѣшать дѣло самостоятельно. Слѣдуетъ описаніе наружности Изоны. Полидоръ разспрашиваетъ Ацета и Изону. Ацетъ разсказываетъ исторію своей любви. Оказывается, они полюбили другъ друга еще до отъѣзда. Зная о любви Ликаста, Ацетъ скрывалъ свою любовь, даже тогда, когда Ликастъ, не понявъ холодности Изоны, рѣшилъ на ней жениться. Опасаясь Ликаста и не желая его огорчить, такъ какъ Ликастъ былъ его воспитателемъ и пріучилъ его къ „рыцарскимъ подвигамъ", Ацетъ рѣ-

шился обмануть Ликаста, и увезъ Изону. Теперь, когда обманъ его открылся, онъ, благодарный за многое Ликасту, тоскуетъ, что его огорчилъ: „И сего-то человѣка нынѣ я раздражаю! Я вонзилъ въ сердце его кинжалъ, ядомъ напоенный!“ Ацетъ ссылается на „судьбу“, которая опредѣлила его бракъ съ Изоной. Потомъ онъ разсказываетъ, какъ тяжело было ему разставаться съ Изоной, когда онъ уѣзжалъ въ Ѳивы, какъ радостно было его свиданіе съ нею при возвращеніи къ славянамъ. Ацетъ разсказываетъ, что Ликастъ получилъ отъ нея отказъ, разсказываетъ, какъ ему приходилось скрываться отъ ярости Ликаста, который узналъ имя соперника, прочтя его на корѣ деревьевъ. Слѣдуетъ монологъ Ликаста — горе, ярость, угрозы сопернику... Ацетъ разсказываетъ Полидору о продѣлкахъ обманщиковъ-волхвовъ, которые забирали себѣ жертвы, приносимыя змѣямъ невѣжественными славянами. Оказалось, что предполагаемое жертвоприношеніе Изоны змію было ихъ продѣлкой: въ Изону влюбился сынъ верховнаго жреца, но Изона отвергла его. Юнона померъ отъ несчастной любви. Старый жрецъ пришелъ въ ярость, онъ жаждетъ мести... И вотъ, онъ постановилъ отдать Изону, якобы змѣю, а на самомъ дѣлѣ продать разбойникамъ. Ацетъ спасаетъ ее, уводитъ на корабль. Полидоръ влюбляется въ Изону. Слѣдуетъ монологъ его. Незная, что дѣлать, онъ совѣщается съ рукописью отца. Тамъ находитъ онъ совѣтъ бѣжать отъ соблазна. Тогда Полидоръ рѣшилъ удалить Изону отъ себя вмѣстѣ съ Ацетомъ. Ликастъ убѣжденъ въ томъ, что царь рѣшитъ дѣло въ его пользу. Онъ издѣвается надъ Ацетомъ, злобно острить... Самъ напивается и засыпаетъ, а во время его сна Полидоръ отвозитъ Ацета и Изону на островъ Корпиру. Прощаясь съ ними, Полидоръ открываетъ Изонѣ свои чувства; потомъ всѣ воины славяне оказываются тоже въ нее влюбленными. Узнавъ объ отъѣздѣ Изоны и Ацета, Ликастъ приходитъ въ ярость и дерзко требуетъ Изоны у Ликаста; наконецъ, внѣ себя отъ досады и обиды, онъ бросаетъ корабль и на лодкѣ плыветъ къ тому острову, на которомъ надѣется найти Изону и Ацета.

Безъ нихъ Полидоръ плыветъ къ пловучимъ островамъ Атлантическимъ.

Книга III начинается съ стихотворенія въ прозѣ: рисуется античная картинка жизни на островахъ „Атлантидахъ“. Слѣдуетъ размышленіе автора о суетности людской и тлѣнности земли, Атлантида, когда-то процвѣтавшая,—теперь сокрыта подъ водою. Полидоръ увидѣлъ съ корабля на встрѣчу плывущій островъ. Описаніе вида острова. Съ него слышатся вопли и крики. На берегу стояли какіе-то старцы и взывали о помощи. Полидоръ, „двигнутый человѣколюбіемъ и поставляющій священнымъ долгомъ быти полезнымъ своимъ ближнимъ“— выходитъ на берегъ. Старцы жалуются на неустройства ихъ политической жизни, приведшія къ грабежамъ, насиліямъ.

Оказывается при томъ, что насильники произвели всѣ эти „неустройства“ во имя „вольности“. Они обнаруживаютъ „буйство“,—неуваженіе къ родителямъ, друзьямъ и Богу; они „попрали святыню, пренебрегли боговъ, поругались престоломъ“. Старецъ Сіянтъ разсказываетъ о процвѣтаніи земли при царѣ Иланѣ. Отъ него осталась дочь Осфира. Сосѣдній царь, грозный, жестокій (слѣдуетъ характеристика), идетъ на

нее войною. Сіянтъ подаетъ ей совѣтъ просить помощи у сосѣдняго царя,—молодого Тагета. Сіянтъ мечталъ, что Тагетъ и Осфира поженятся Слѣдуетъ характеристика Тагета. Тагетъ согласился ее защитить. Осфира сразу въ него влюбилась и во время рѣшительнаго боя тревожится за его жизнь. Тагетъ одерживаетъ побѣду, но влюбляется въ дочь убитаго царя, Олинту. Слѣдуетъ описаніе Олинты. Осфира радостно встрѣчаетъ Тагета и его плѣнницу. Ничего не подозрѣвая, она освобождаетъ плѣнницу, устраиваетъ пиръ въ честь побѣдителя и на пиру поетъ пѣснь въ честь героя. Сіянтъ подозрѣваетъ, что Тагетъ влюбленъ въ Олинту, но Осфира сначала не вѣритъ этому подозрѣнію. Она увѣрена въ его любви къ ней. Однажды Осфира увидѣла зловѣщій сонъ: покойный отецъ явился къ ней и звалъ ее къ себѣ. Какъ разъ въ эту ночь Тагетъ тайно отъѣхалъ съ Олинтой и съ ея матерью. Утромъ на морскомъ берегу съ утеса она видитъ корабль уплывающаго Тагета. Произнеся патетическій монологъ, она бросается въ море.

Полидоръ изъ исторіи Осфиры и Ликаста выводитъ себѣ наставленіе относительно того, какъ надо бороться со страстями и произноситъ монологъ. Услышалъ рѣчи Полидора Эротъ, сынъ Афродитинъ и рѣшилъ наказать Полидора (граціозная картинка). Сіянтъ продолжаетъ разсказъ. Утесъ, съ коего бросилась Осфира, съ тѣхъ поръ издаетъ стонъ. Осфира является къ Сіанту во снѣ и утѣшаетъ обѣщаніемъ, что пріѣдетъ къ нимъ Полидоръ,—онъ успокоитъ городъ.

Полидоръ спрашиваетъ о причинѣ возмущенія въ городѣ. Оказывается, смерть царицы принесла въ городъ духъ раздора. Въ результатѣ, всѣ старыя основы оказались потрясенными. Идея вольности, распространись въ народѣ, привела къ „безначалію" и къ власти черни, которая упразднила царскую власть и все еще недавно „священное" для народа.

Слѣдуетъ разсужденіе автора о состояніи мятежнаго народа; указывается, какъ измѣнились понятія гражданъ, когда вольнодумцы подрыли основы священныхъ преданій своими „остроумными изреченіями", чтеніемъ пагубныхъ сочиненій... Въ результатѣ, проповѣдники равенства доказали, что они „самовластія токмо жаждутъ". Авторъ доказываетъ необходимость царской власти и незыблемости основныхъ законовъ. Онъ доказываетъ безсмысліе идеи равенства, говоритъ о необходимости зависимости, объ ужасномъ положеніи государства, во главѣ котораго стоитъ буйная молодежь, а мудрые старцы лишены власти.

Въ это время является къ Полидору Рувадъ, глава мятежниковъ. Онъ обрисованъ совершеннымъ злодѣемъ. Между прочимъ, выясняется, что Рувадъ—радикальныхъ взглядовъ держится даже въ мелочахъ: онъ—противникъ титуловъ. Происходитъ столкновеніе Полидора съ Рувадомъ. Полидоръ обличаетъ Рувада. Рувадъ говоритъ ему дерзости. Полидоръ критикуетъ радикальныя идеи, доказываетъ, что съ ними необходимо бороться всякому хорошему гражданину.

Потомъ Сіянтъ сообщаетъ ему, что еще есть въ живыхъ потомокъ ихъ упраздненныхъ царей—Орзанъ, живущій въ уединеніи. Слѣдуетъ описаніе жизни мудраго человѣка: это—мечтатель, уносящійся въ „міры вышніе, подъ лазурнымъ небеснымъ сводомъ плавающіе". Однако,

несмотря на свою философію, Орзанъ сильно влюбился. Слѣдуетъ описаніе дѣвы, покорившей его сердце. Имя ея—Зерфина: она—дочь одного вельможи. Орзанъ сразу увлекся ею, и предложилъ ей сердце и руку. Женившись на ней, Орзанъ окончательно ушелъ отъ двора и поселился въ уединеніи съ молодой женой. Узнавъ его исторію, Полидоръ захотѣлъ его видѣть, но Сіянтъ отговариваетъ его, указывая на опасность идти внутрь страны.

Сіянтъ не хочетъ оставить мятежнаго города и ѣхать вглубь острова, такъ какъ, по его понятіямъ, добрый гражданинъ не долженъ бросать отечества и обязанъ лучше умереть „подъ развалинами разрушаемаго престола". Наконецъ, Полидоръ убѣждаетъ Сіянта ѣхать съ нимъ и даетъ клятву помочь его отечеству. Слѣдуютъ разсужденія Полидора объ обязанностяхъ царей. Недовольные политикой Полидора, мятежники хотятъ его убить и нападаютъ на него. Первый идетъ въ бой Рувадъ. Едва мятежники приблизились, какъ щитъ Полидора сталъ испускать „перуны"; мятежники были поражены. Рувадъ убитъ. Мятежники просятъ пощады. Полидоръ обѣщаетъ имъ возстановить у нихъ престолъ. Сіянтъ указываетъ на Орзана, какъ достойнаго кандидата въ цари. Восторгъ народа. Полидоръ и Сіянтъ ѣдутъ къ Орзану.

Ч. II. Книга V. Восхваляется жизнь уединеннаго мудреца. Уподобленіе его жизни счастливому бытію первобытнаго человѣка до грѣхопаденія. „въ Эдемѣ обитающему, съ коимъ боги, во дни Астреины, бесѣдовали и безплотные духи мирные часы сопровождали". „Таинственный храмъ натуры" ему былъ открытъ, и „разумнымъ окомъ", „съ неугасимымъ пламенникомъ", „зрѣлъ онъ тогда животворный духъ, чрезъ всѣ творенія преходящій". „Блаженъ, кто самъ собою доволенъ быть умѣетъ!"—восклицаетъ авторъ. Далѣе онъ нападаетъ на суету житейскую. Говоритъ о занятіяхъ мудреца, о томъ, что человѣкъ созданъ „ради сліянія съ источникомъ его жизни" и пр.

Слѣдуетъ описаніе мѣста, гдѣ жилъ Орзанъ и восхваленіе его супруги, нѣжной Зерфины. Описывается встрѣча Орзана съ Сіянтомъ. Орзанъ—философъ жизнерадостный, не признающій печали, особенно неумѣстной на юношескомъ лицѣ. Онъ доказываетъ необходимость бороться съ печалью.

Полидоръ говоритъ ему о цѣли своего путешествія: „Ищу людей мудрыхъ, да ихъ совѣтами и примѣрами излѣчу мои скорби душевныя".

Сіянтъ пригласилъ Орзана занять возстановленный престолъ, разсказалъ о мятежѣ и объ его усмиреніи. Орзанъ отказался отъ царской власти. Узнавъ, что Полидоръ усмирилъ мятежъ, Орзанъ ему предлагаетъ и корону, но Полидоръ отказывается, говоря, что онъ самъ царь Ѳивскій, сынъ Кадма. Радость Орзана при этомъ извѣстіи. Орзанъ разсказываетъ ему о томъ, что онъ предвидѣлъ неустройство отечества, а потому и ушелъ въ уединеніе: затѣмъ объясняетъ и причины, вызвавшія мятежъ: 1) слабость стараго царя, допустившаго усиленіе неустройствъ. Орзанъ нападаетъ на „свободу мысли", которая, въ извращенномъ видѣ понятая, приводитъ къ распущенности мысли. 2) Роскошная жизнь при дворѣ его дочери. Затѣмъ характеризуетъ онъ Рувада, видя въ немъ человѣка, черезъ мѣру напитавшагося освободительными идеями. Орзанъ говоритъ о необходимости царской

власти. Затѣмъ онъ разсказываетъ о горѣ своей жены Зерфины. Ея братъ Итмаръ былъ влюбленъ въ крестьянку-Мирру; онъ былъ выше предразсудковъ, и бракъ съ крестьянской дѣвицей не считалъ для себя унизительнымъ. Однажды вечеромъ Итмаръ пошелъ въ лѣсъ. Злое предзнаменованіе его испугало. Описаніе вечера. Вдругъ онъ видитъ Мирру, бѣгущую отъ вепря. Желая убить вепря, Итмаръ нечаянно убиваетъ Мирру. Слѣдуетъ монологъ надъ трупомъ возлюбленной. Потомъ онъ убиваетъ себя. Сіянтъ не одобряетъ такой слабости.

Орзанъ предлагаетъ корону Сіянту. Тотъ отказывается, ссылаясь на свою старость; слѣдуетъ разсужденіе о необходимости царю быть здоровымъ и крѣпкимъ. Наконецъ, самъ Орзанъ соглашается, но проситъ Сіянта быть его совѣтникомъ.

Народъ восторженно встрѣчаетъ Орзана. Одинъ изъ раскаявшихся мятежниковъ разсказываетъ, какъ молніи, сверкнувшія изъ щита Полидора, разсѣяли тьму сердецъ мятежниковъ, и они сразу познали всѣ свои ошибки.

Описывается царствованіе Орзана: онъ—патріархальный царь. Авторъ по этому поводу говоритъ, что „добрый отецъ семейства есть добрый царь въ порфирѣ". Разсказывается о процвѣтаніи государства подъ мудрымъ правленіемъ Орзана. Когда отъ безплодія земли начался голодъ, Орзанъ сталъ заботиться о насыщеніи народа; онъ отказался отъ всѣхъ царскихъ сокровищъ. Посылаетъ ихъ въ чужія страны, чтобы вымѣнить на хлѣбъ, необходимый для народа. Народъ тронутъ этимъ поступкомъ. Орзанъ и Полидоръ счастливы отъ сознанія того добра, которое сдѣлано ими. Полидоръ стремится въ родныя Ѳивы, опасаясь, что и тамъ голодъ.

Книга VI. Богиня Церера, мать Прозерпины, ищетъ похищенную дочь. Неудача въ поискахъ смѣняетъ ея горе яростью, и она проклинаетъ землю, „безъ плуга и сѣнья до сего времени златую жатву приносящую". Отъ этого проклятія и началось безплодіе по всему міру. Нимфа Аретуза разсказываетъ Церерѣ, гдѣ скрыта Прозерпина, также свою исторію съ Алфеемъ. Церера сжалилась надъ землей и послала Триптолема, чтобы онъ научилъ людей „арательному искусству". Корабли Полидора привезли хлѣбъ въ государство Орзана изъ Египта, гдѣ послѣ Іосифа всегда дѣлались большіе запасы зерна. Сіянтъ совѣтуетъ посѣять привезенный хлѣбъ, но, не умѣя пахать, удобрять и „угобжать" землю, онъ погубилъ весь запасъ. Птицы „позобали зерно", и вѣтеръ разнесъ остатки... Полидоръ рѣшился плыть въ Ѳивы, чтобы страдать со своимъ голодающимъ народомъ. Онъ трогательно прощается съ друзьями. Вдругъ прилетаетъ по воздуху колесница, „двумя летучими драконами носимая". На ней появляется Триптолемъ, который отговариваетъ Полидора ѣхать въ Ѳивы, такъ какъ тамъ все благополучно.

Слѣдуетъ разсужденіе на тему, въ чемъ истинное счастье государственной жизни—„въ равногласномъ правосудіи" и слабому, и сильному, въ подчиненіи царю, и въ распространеніи просвѣщенія...

Вдругъ къ царю является „изъязвленный старецъ"; за нимъ связанный юноша. Старецъ жалуется на юношу, похитившаго у него дочь. Орз. устраиваетъ судъ. Старецъ разсказываетъ о дочери своей Инѣ. Характе-

ристика ея (общее мѣсто—кроткая, нѣжная дѣва). Ее полюбилъ Аридъ сынъ Рувада; онъ преслѣдуетъ ее, пишетъ любовное письмо... Ина отвергаетъ его. Тогда Аридъ распустилъ о ней и объ отцѣ ея клевету. Царь Иланъ, повѣривъ этой клеветѣ, изгналъ старца съ дочерью. Съ тѣхъ поръ онъ живетъ въ уединеніи. „Безобразное чудовище, вольностью именуемое“ окрылило смѣлость Арида, и онъ рѣшился совершить насиліе: онъ съ товарищами похитилъ Ину. Описывается горесть старца, пришедшаго въ себя и не нашедшаго дочери. Поиски его были тщетны. Узнавъ о вступленіи на престолъ Орзана, онъ явился въ городъ. Тамъ увидѣлъ онъ Арида, задержалъ его и привелъ къ Орзану. Проситъ вернуть дочь. Аридъ сознается въ похищеніи и говоритъ, что вернуть ея не можетъ, такъ какъ она отъ него скрылась. Аридъ самъ говорилъ о томъ, что у него „злодѣйская рука“. Въ свое оправданіе, онъ объясняетъ, какое дурное воспитаніе получилъ отъ отца своего, Рувада, какъ „угасла его совѣсть“; какъ полюбилъ онъ Ину; какъ собралъ онъ товарищей и, „окруженный сими злоумышленниками и подкрѣпленъ гнусною любовію, вломился въ домъ сего достойнаго старца“. Онъ унесъ Ину въ лѣсъ. Когда она очнулась, то стала кричать; потомъ побѣжала. Вдругъ явился неизвѣстный юноша, который напалъ на похитителя Арида, ранилъ его, отнялъ Ину и скрылся съ нею неизвѣстно куда.

Старецъ жалобится, что потерялъ дочь. Вдругъ она явилась изъ толпы и съ нею прекрасный юноша. Происходитъ радостное свиданіе съ отцемъ. Ина разсказываетъ о своемъ избавителѣ—Закорѣ, юношѣ, въ жилищѣ котораго она укрывалась, до сихъ поръ, боясь Арида. Жилъ онъ въ бѣдной лѣсной хижинѣ, такъ какъ онъ—простой охотникъ по занятію, но съ нею онъ „завсегда скроменъ, цѣломудренъ, даже уничижителенъ“. Во время народнаго мятежа онъ былъ противъ мятежниковъ и спасъ многихъ. Закоръ доволенъ своею участью, такъ какъ убѣжденъ, что „недостатокъ тамъ царствуетъ, гдѣ человѣческія хотѣнья предѣловъ не имѣютъ“.

Однако и у него есть горе—онъ потерялъ сестру Мирру. Зерфина признается ему, что она—сестра того юноши, который нечаянно убилъ Мирру.

Ина изъявляетъ желаніе выйти замужъ за Закора.

Она, по этому поводу, говоритъ слѣдующее: „въ поселянинѣ нашла я добродѣтельнаго Закора, а въ сынѣ вельможи—лютато Арида!—добродѣтели, а не порода дѣлаютъ людей почтенными“.

Царь задумался и не зналъ, какъ рѣшить дѣло. Вдругъ явилась невольница съ ребенкомъ на рукахъ: это—любовница Арида съ его незаконнымъ сыномъ. Она разсказываетъ, какъ онъ ее обольстилъ и бросилъ. Тогда Орзанъ упрекаетъ Арида словами: „думаешь-ли ты, что невольницѣ меньше честь ея драгоцѣнна, нежели въ знаменитости рождшейся дѣвѣ?“ Аридъ раскаивается. Орзанъ, Триптолемъ и Полидоръ судятъ Ину, Закора, старца, отца Ины, и Арида.

Триптолемъ стоитъ за равноправность любви между людьми высшаго круга и низшаго. Онъ говоритъ о единствѣ человѣческаго происхожденія. По его мнѣнію, все различіе между незнатнымъ и знатнымъ въ титулахъ, а титулъ можно легко Закору дать.

Ина отдана Закору; Арида, какъ раскаявшагося, прощаютъ. Онъ женится на своей невольницѣ.

Триптолемъ устраиваетъ земледѣльческія орудія и учитъ, какъ ими пользоваться. Всѣ пашутъ землю,—Орзанъ, Полидоръ и др. показываютъ народу примѣръ. Потомъ происходитъ торжественное сѣянье.

Книга VII. Описывается чествованіе Триптолема. Разсказывается о пирѣ, о пѣснопѣвцахъ.

Триптолемъ говоритъ Полидору, что онъ долженъ плыть далѣе, и самъ собирается въ путь; онъ совѣтуетъ Полидору ѣхать въ Ѳивы. Потомъ онъ разсказываетъ о судьбѣ Гармоніи, похищенной Хадемомъ. Триптолемъ совѣтуетъ Полидору сперва зайти въ Додонскій оракулъ, чтобы спросить указаній передъ путешествіемъ.

Триптолемъ открываетъ Полидору цѣль предстоящаго ему путешествія—Полидоръ долженъ найти одну прекрасную нимфу, живущую на „малозаемомъ острову"; у нея лицо покрыто покрываломъ,—кто найдетъ ее и, „удостоится расторгнуть ея покрывало", тотъ „сопряжется съ нею дружествомъ", будетъ счастливъ. Многіе Цари и герои стремились къ ней, но ея не находили. Чтобы ея достигнуть, надо побороть различныя искушенія. Имя нимфы—Теандра.

Полидоръ, приготовляясь къ отплытію, заглянулъ въ рукопись отца. Утромъ Полидоръ прощается съ Орзаномъ и Триптолемомъ. Триптолемъ предупреждаетъ его, чтобы онъ не спуталъ „Теандры истинной" съ „ложной", которая уловляетъ и обольщаетъ путешествующихъ, ищущихъ „истинную" Теандру.

Слѣдуя приказанію рукописи, Пол. рѣшилъ посѣтить друзей покойнаго отца. Прежде всего, онъ плыветъ къ землѣ мавританской, гдѣ царствуетъ Линаксаръ. Разсказывается о торговлѣ мавританскаго народа. Рисуется веселая картина идиллической природы. Описывается радостное свиданіе Полидора съ Линаксаромъ. Пол. въ обществѣ мудрыхъ старцевъ счастливъ; онъ „процвѣталъ здѣсь, ико масличное дерево при источникѣ здравыхъ водъ". Мавританія благополучна при мудромъ Линаксарѣ. Пол. учится у Линаксара искусству царствовать. При этомъ онъ обнаруживаетъ такое прилежаніе, что оказывается „подобенъ пчелѣ трудолюбивой, сладчайшіе изъ цвѣтовъ соки извлекающей для составленія сота". Посѣщаетъ онъ и храмину, гдѣ когда-то жила Гармонія. Увидя комнату матери, Пол. растроганъ.

По этому поводу авторъ взываетъ къ чувствительнымъ сынамъ и дочерямъ. Полидоръ, во время путешествія, „яко благоразумный юноша", обращаетъ свое вниманіе „токмо на изящнѣйшее въ его путешествіи—на человѣческіе нравы!"

Характеризуется процвѣтаніе Мавританіи—весь народъ живетъ здѣсь, „какъ едино семейство, имѣющее едину мысль, едино сердце".

Потомъ авторъ переходитъ къ восхваленію Россіи, гдѣ тоже все обстоитъ благополучно. Впрочемъ, тутъ-же авторъ оговаривается, что въ самомъ благополучномъ государствѣ „невинность иногда страждетъ", но „искорѣ утѣшена бываетъ, ежели не на земли долу, то на небесахъ горѣ".

Являются къ Линаксару три дѣвы-сироты, и просятъ помощи у

него,—а старшая—супруга. Вникнувъ въ ихъ положеніе, Линаксаръ обѣщаетъ имъ оказать помощь и старшей найти супруга.

„Эротъ летаетъ тамъ, гдѣ красоты сіяютъ". Онъ вдохнулъ любовь къ старшей изъ сиротъ—Аврорѣ, въ сердце Резуда, богатаго юноши-придворнаго. Скоро устраивается свадьба. Линаксаръ устраиваетъ пріютъ для сиротъ и невѣстъ. Полидоръ отплылъ въ Эпиръ, чтобы посовѣтоваться въ оракулѣ Додону.

Книга VIII. Корабль Полидора подплылъ къ Корцирѣ, куда Пол. высадилъ когда-то Ацета и Изону. Пол. справляется о нихъ, но не находитъ ихъ. Достигнувъ берега, онъ идетъ къ царю Молосскому, чрезъ страну котораго онъ долженъ былъ идти въ Эпиръ. Онъ застаетъ столицу царя въ огнѣ,—она взята приступомъ и разграбляется. Горожане съ женами и дѣтьми—въ отчаяньи, на площади хотятъ полжечь себя съ имуществомъ своимъ. Царь еще сражается; но побѣжденный уже отступаетъ. Враги его—дикіе и хищные левкадяне. Пол. нападаетъ на нихъ съ тылу неожиданно и одерживаетъ побѣду.

Царь Молосскій благодаритъ Полидора за помощь. Описывается радость горожанъ. Устраивается пиршество у царя. Царь разсказалъ Полидору причину войны. Юноша Молосскій Ликандръ былъ очень влюбчивъ. Любовь его перешла скоро въ „иступленіе",—разсудокъ помѣшался до того, что онъ „заключалъ въ объятія неодушевленныя вещи, лобызалъ воздухъ, бесѣдовалъ съ собственною своею тѣнью".

Его лечатъ при помощи Левкадской скалы (страдавшихъ отъ любви бросали со скалы въ море, и они получали исцѣленіе). Благодаря этому леченію, Л. избавился отъ своей болѣзни, но Эротъ влюбилъ въ него Ранфу, Левкадскую дѣву. Она преслѣдовала его, но онъ оставался холоденъ. Тогда она оклеветала его передъ согражданами, ранила себя и обвинила юношу и его друзей въ попыткѣ ее убить. Левкадяне повѣрили ей, озлобились, и началась война.

„Двенадцать лунъ брался я (=боролся) съ моими разъяренными врагами",—разсказываетъ царь Полидору. Пол. съ Ликандромъ отправились къ Додону. Здѣсь авторъ критикуетъ жрецовъ, собирающихъ деньги во имя бога,—дѣлающихъ изъ храма „торжище"... „На что богамъ сокровища?"—„весь міръ принадлежитъ имъ"—разсуждаетъ Полидоръ.

Слѣдуетъ описаніе картины природы. Они подходятъ ко входу въ Тартаръ. Изображается лѣсъ Додонскій. Три жрицы произноситъ прорицаніе въ стихахъ. Прорицанія эти темны.

Затѣмъ Полидоръ отправляется въ Ѳессалію, къ другу отца—Ѳеагену.

Слѣдуетъ картина идиллической природы. Свиданіе Полидора съ Ѳеагеномъ—радость ихъ. Пол. попадаетъ на „бой рыцарей съ дикими волами". Пол. во время пира спрашиваетъ, гдѣ Ѳваръ: входя въ чертоги, въ которыхъ жили К. и Гарм.,—Пол. произноситъ восторженный монологъ. Когда онъ засыпаетъ, то видитъ сонъ зловѣщій; во снѣ спасаетъ его мать. Пол. произноситъ монологъ, обращенный къ матери.

Царь Ѳеагенъ любитъ веселье. Поэтому Пол. томится у него и стремится къ Офару. Наконецъ, онъ явился къ этому мудрецу, живущему въ уединеніи.

Философія Офара—въ осужденіи всего земнаго, преходящаго,—онъ

выше „суеты"... Офаръ осуждаетъ Ѳеагена за его веселое препровожденіе времени; онъ-же даетъ совѣты, какъ мудро устроить свою жизнь; разсказываетъ о томъ, какъ разумно онъ воспиталъ внуковъ, и какъ царь пріучилъ ихъ къ „подвигамъ рыцарскимъ и вѣжливости дворской". Во время ихъ бесѣды явилась къ Офару царица Артемиза и съ радостью возвѣстила, что младенецъ Дидима найденъ. Пол. проситъ разсказать ему, кто такой Дидимъ. Оказывается, Дидимъ—знаменитый художникъ. Въ него влюбилась Тремона; они женились; у нихъ родился ребенокъ, и вдругъ этотъ ребенокъ ночью исчезъ. Оракулъ возвѣстилъ, что ребенокъ похищенъ львицею. Дидимъ отправился къ гадалкѣ-Аглаоницѣ. Она указала, въ какомъ лѣсу надо искать младенца. Родители пошли въ лѣсъ, и тамъ нашли дѣвушку, которая была любима Дидимомъ до его брака. Ея прозвище было—„львица". Она призналась, что похитила младенца, такъ какъ слишкомъ сильно любила Дидима, и хотѣла имѣть у себя „часть" его, но она обронила младенца въ этомъ лѣсу, а его подхватила настоящая львица и унесла въ свою пещеру. Дидимъ идетъ въ указанное мѣсто, находитъ сына и уноситъ къ себѣ. Львица же растерзала похитительницу.

Часть III. Книга IX. Разсужденія автора, направленныя противъ чрезмѣрной человѣческой пытливости, дерзающей снимать завѣсу съ будущаго. По его мнѣнію, грѣшно прибѣгать къ гаданію. Пол. пользуется помощью волшебницы-Аглаоницы. По этому поводу авторъ съ упрекомъ обращается къ людямъ, дерзающимъ испытывать Провидѣніе. Гаданье. Волшебница указываетъ Полидору, что онъ долженъ искать нимфу-Теандру, но не можетъ точно сказать, которая изъ двухъ нимфъ, носящихъ это имя, принесетъ ему счастье, такъ какъ не знаетъ, гдѣ эта нимфа живетъ,—на островѣ-ли Анафѣ, или на островѣ Хризѣ; въ заключенье, волшебница даетъ Полидору воды изъ рѣки Стикса, чтобы онъ, этой водой омывъ свои очи, обезопасилъ ихъ отъ вліянія чаръ.

Авторъ опять разражается восклицаніями, осуждающими Полидора и подобныхъ ему дерзкихъ смертныхъ, прибѣгающихъ къ колдовству.

Отъѣздъ Полидора. Описаніе мрачной погоды. Пол. въ Аѳинахъ. Отсюда ѣдетъ онъ къ о-ву Хризѣ. Кормщикъ разсказываетъ ему, что къ этому острову стремится „многіе цари и рыцари"... Плаваніе Пол. было счастливо, и скоро уже показалась въ виду гора Ида, около которой находился о-въ Хриза. Пол. разсчитываетъ, что скоро прибудетъ, но Зевсъ увидѣлъ его съ вершины горы Иды, и нахмурилъ чело,—олимпіецъ былъ разгнѣванъ на Полидора за то, что тотъ обращался къ гадалкѣ-Аглаоницѣ. Зевсъ поклялся, что волшебная вода, данная ею Полидору, погубитъ его. Гармонія, услыша это, проситъ Афродиту заступиться, но та отвѣчаетъ, „что глаголы отца боговъ суть непреложны, а книга судебъ отъ нея сокрыта". Зевсъ послалъ сонъ кормщику корабля Полидора. Полидоръ въ этомъ неожиданномъ снѣ своего бдительнаго кормщика увидѣлъ слѣдствіе чьихъ-то чаръ, и рѣшился омыть свои очи водою Аглаоницы. Въ это время боги шествовали въ колесницахъ по небу и смотрѣли на Полидора. Одна Гармонія, желая спасти сына, „вѣяла около главы его". Слова ея „подобились тихому водъ журчанію; ея прибли-

женіе было дыханіе весенняго Зефира". Однако, Пол. не понялъ ея предупредительныхъ рѣчей, и оросилъ свои глаза водою Стикса.

Ночью начались чудеса: свѣтила всѣ перемѣстились. Гора Ида скрылась изъ виду. Полидоръ заблудился. Утромъ приплылъ онъ къ острову, видъ котораго ласкалъ его зрѣніе. Описаніе острова. Полидоръ видитъ съ корабля, какъ по берегу нимфы гонятъ оленя. Картинка въ античномъ духѣ. Между нимфами одна „покровенная". Пол. убѣжденъ, что нашелъ Теандру. Онъ сходитъ на берегъ. Она предупреждаетъ его, чтобы онъ не пытался самъ поднять ея покрывала, угрожая ему за это наказаніемъ. Увлеченный страстью къ этой таинственной нимфѣ, Пол. забылъ Зарену, Гармонію, щитъ своего родителя, мечъ Озиридовъ и свитокъ отца, данные ему въ помощь...

Описаніе утра. Описаніе богатой пещеры нимфы. Пол. одѣваетъ блестящее одѣяніе. Кормщикъ Ликандръ сомнѣвается, попалъ-ли онъ на настоящій о-въ Хризу, такъ какъ здѣсь онъ видитъ болѣе роскоши, чѣмъ того благолѣпія, которымъ отличается жизнь на о-вѣ Хризѣ. Лик. видитъ здѣсь превращенныхъ—„человѣковъ, крылѣ простирающихъ", другихъ, „яко змієвъ пресмыкающихся, иныхъ до половины окаменѣлыхъ, или видъ звѣрей имѣющихъ". Все это смущаетъ Ликандра. На этомъ островѣ царитъ вѣчное веселье. Пол., увлеченный этой жизнью, счастливъ. Онъ разсказываетъ нимфѣ, какъ заснулъ его кормщикъ. Нимфа жалуется на боговъ, которые, по ея словамъ, завидуютъ просвѣщенію смертныхъ и отводятъ ихъ отъ ея владѣній; она сравниваетъ себя съ Прометеемъ. Чтобы доказать, что сами боги слабы, она показываетъ Полидору картины соблазнительныхъ похожденій боговъ.

Книга X-ая. Разумъ человѣческій авторъ уподобляетъ „легкому воздуху", безъ труда приводимому въ движеніе вѣтромъ. Поэтому и разумъ Полидора оказался увлеченъ суемудріемъ... Нимфа не даетъ ему скучать,—она развлекаетъ его, показываетъ ему чудеса острова. Слѣдуетъ описаніе „улыбающейся природы". Пастушеская идиллія сладострастнаго характера. На о-вѣ царитъ свободная любовь, безъ обязательствъ и клятвъ. На этомъ счастливомъ островѣ всякій занятъ тѣмъ, чѣмъ хочетъ: есть охотники, есть мудрецы, живущіе въ уединеніи, есть ратоборцы, которые вѣчно сражаются...

Между прочимъ, Пол. видитъ здѣсь двѣ дрожащія скалы; крикъ вороновъ и звѣрей слышится отъ нихъ. Ступени, по которымъ идетъ Полидоръ, издаютъ стонъ,—это стонутъ люди, въ наказаніе за непонимовеніе нимфѣ потерявшіе человѣческій видъ и превращенные... Столичный городъ нимфы отличается роскошью зодчества. Но здѣсь Пол. видитъ соединеніе богатства и бѣдности, радости и горя. Нимфа объясняетъ это тѣмъ, что она всѣмъ и богатымъ, и бѣднымъ разрѣшила искать ея любви. Оттого въ городъ отовсюду стекаются разные люди. Въ храмѣ на престолѣ нимфа является все такой же „покровенной". Хоръ ее славословитъ: „сонмище умолкло, и лирныя бряцанія престали; тогда богиня, сквозь свое покрывало излія нѣкое сіяніе, утренней зарѣ, или сквозь тонкія облака лунѣ свѣтящей, подобное, предстоящимъ рекла..." Пол. увлекается ею все сильнѣе, и, наконецъ, обращается „въ сладострастнаго юношу". Здѣсь, на островѣ, царитъ

общая радость: вѣчный пиръ, полное равенство всѣхъ богатыхъ и бѣдныхъ. Пол. опьяненъ ласкою нимфы, виномъ, восхищенъ соблазнительными изображеніями на чашахъ. Его спутникъ Ликандръ увлекается нимфой Таонидой, одной изъ спутницъ Теандры. Описаніе ея. Но его любовь— не страсть: „восторги его были тихи и пріятны". Одинъ изъ общихъ собесѣдниковъ, видя ласки нимфы Теандры, расточаемыя ею Полидору, сталъ протестовать, говоря, что онъ больше Полидора имѣетъ правъ на ея вниманіе. Онъ заявилъ, что ненавидитъ Полидора. Въ отвѣтъ на это, нимфа Теандра сказала мятежнику угрожающую рѣчь. Въ наказаніе, она еще на два года отложила исполненіе его желаній.

Описаніе вечера. Нимфа Теандра предложила Полидору и спутникамъ обратиться, въ кого они пожелаютъ, — для этого стоитъ лишь коснуться золотого истукана Теандры. Сила этого золотаго истукана заключалась въ томъ, что коснувшійся забывалъ „всѣ священныя людей обязательства". Пол., согласно своему желанію, обращается въ „Марса". Описаніе его наружности. Ликандръ же обратился въ „старца". Онъ подсаживается къ Таонидѣ. Описаніе Таониды. Таонида предпочла пляскамъ и веселью бесѣду съ этимъ старцемъ. Она жалуется, что вѣчное веселье ей наскучило. Убѣдившись въ серьезности нимфы, Лик. объясняется ей въ любви. Таонида благосклонно принимаетъ его признаніе. Тогда Лик. является ей въ прежнемъ видѣ юноши. Таон. влюбляется въ него. Они возвращаются къ веселящимся. Всѣ надъ ними смѣются. Таон. поетъ. Въ это время является Теандра, принявъ на себя иной видъ. Она подходитъ къ Полидору.

Описаніе „вертограда" нимфы. Пол. не узнаетъ въ своей собесѣдницѣ нимфы, и говоритъ ей о своей любви къ Теандрѣ. Выслушавъ его страстную рѣчь, Теандра открываетъ ему, что она сама и есть Теандра. Они вошли въ пещеру. Описаніе пещеры. Картины на стѣнахъ пещеры сладострастнаго содержанія. Теандра обѣщаетъ дать счастье Полидору, но предупреждаетъ его, чтобы онъ былъ благоразуменъ. Сильная сцена. Страсть овладѣваетъ Полидоромъ: онъ пытается сдернуть покрывало. Гнѣвъ нимфы. Она обрекаетъ Полидора на наказаніе. Ужасъ Полидора. Разыгрывается гроза. Авторъ взываетъ къ Полидору, выражая ему сочувствіе. Ликующая, веселая природа дѣлается мрачной и грустной. Пол. въ нищенскомъ платьѣ, въ рабскомъ состояніи: онъ обреченъ поливать гранатовое зерно, пока оно не принесетъ плода,—только зерно этого плода, катясь передъ нимъ, поможетъ ему найти пещеру Теандры. Онъ изгнанъ изъ владѣній нимфы въ городъ. Его вездѣ преслѣдуютъ упреки и угрозы, такъ какъ изъ-за него прекратилось все веселье въ городѣ. Ликандръ исчезъ. Монологъ Полидора, въ которомъ онъ съ сокрушеніемъ вспоминаетъ свою прошлую жизнь,—счастливую Мавританію, родную Беотію... Горе Полидора неописуемо,—онъ все время жалобится. Куски хлѣба онъ отдаетъ бѣднымъ; помогаетъ одному старику носить воду. Старикъ, въ благодарность за это, беретъ его въ свою хижину и разсказываетъ, какъ онъ всю свою жизнь погубилъ на этомъ проклятомъ островѣ. Старикъ говоритъ, что надо опасаться нимфы и людей, собравшихся сюда для ея лицезрѣнія.

Узнавъ, что Пол. долженъ взростить гранатовое зерно, старикъ признался, что самъ уже много лѣтъ взращиваетъ, по приказанію

Нимфы, „шипковый кустъ"; онъ проситъ, чтобы Пол. заодно ухаживалъ и за этимъ кустомъ.

Униженіе Полидора—онъ, царь, ходитъ за водой съ „чваномъ" (=чаномъ), какъ простой работникъ. Разъ Пол. встрѣтилъ престарѣлую женщину. Она сказала, что знала Кадма, что она—Таксила. Пол. ее упрекаетъ за отца. Таксила учитъ его полить зерно не простой водой, а водой красной, взятой не изъ источника, а изъ одного чудеснаго озера. Тогда, по ея словамъ, плодъ гранатовый скоро выростетъ,—онъ покатится предъ Полидоромъ и приведетъ его къ пещерѣ Теандры. Полидоръ вѣритъ коварнымъ рѣчамъ Таксилы.

Книга VI-ая. По этому поводу авторъ взываетъ къ „легковѣрію" человѣческому. Пол. напишне довѣрился словамъ Таксилы, и, если-бы выполнилъ ея совѣтъ до конца, то погибъ бы. Между тѣмъ, гранатовый плодъ созрѣлъ, и Пол. хотѣлъ уже слѣдовать за нимъ. Вдругъ является Трипголемъ. Пол., ослѣпленный водою Стикса, не узнаетъ его,—считаетъ его искусителемъ, такъ какъ Трипголемъ мѣшаетъ ему идти за гранатовымъ плодомъ. Трипголемъ убѣждаетъ Полидора, что онъ ошибся,—что онъ не на островѣ Хризѣ, а на Анафѣ... Церера, по просьбѣ Афродиты, пожелала его спасти отъ гибели, и послала его, Трипголема, сказать ему, что онъ попалъ къ злой Теандрѣ. Трипголемъ объясняетъ, что это произошло потому, что боги направили его на о-въ Анафу, въ наказаніе за преступное обращеніе его къ Агланоницѣ. Потомъ Трипголемъ положилъ свои пальцы на очи Полидора, сказавъ: „зри!..." Пол. прозрѣлъ, и призналъ Трипголема. Трипголемъ велѣлъ ему взять гранатовый плодъ, объяснивъ, откуда онъ. Оказывается, Пол. носилъ воду для поливки изъ адскаго источника Флегетона и, еслибы онъ проглотилъ зерно граната, то навсегда бы сдѣлался достояніемъ геенны.

Пол. въ отчаяньи,—онъ полонъ раскаянья и стыда за все, что надѣлалъ. По этому поводу авторъ взываетъ къ „совѣсти" читателей.

Трипголемъ и Пол. видятъ изнуреннаго старца. Это—Ликастъ, бывшій спутникъ Полидора. Онъ постарѣлъ отъ страстей. Трипголемъ положилъ руку на Ликаста, и тотъ сталъ оживать. Ликастъ призналъ Полидора и злобно обрадовался, увидя его въ лохмотьяхъ. Онъ богохульствуетъ и злобствуетъ. Потомъ разсказываетъ о своихъ злоключеніяхъ. Отплывъ на лодкѣ отъ корабля Полидора, онъ былъ долго носимъ бурею. Искалъ вездѣ Изону. Охваченный любовью къ ней, онъ не захотѣлъ лечиться въ Левкадахъ отъ своей страстной любви, и обратился за совѣтомъ къ волшебницѣ-Агланоницѣ, которая и указала ему на о-въ Анафу, гдѣ, якобы, скрываются Ацетъ и Изона. Затѣмъ Ликастъ разсказываетъ, какъ здѣсь нашелъ онъ нимфу Изону, какъ ласкала она его. Подозрѣвая, что это—не настоящая Изона. Ликастъ, тѣмъ не менѣе, удовлетворяется ея ласками, такъ какъ она не менѣе Изоны прекрасна. „Кая нужда мнѣ,—Изоною, или другою нимфою обладаю?"—думалъ онъ. Наконецъ, онъ усталъ отъ своей страсти. Нимфа Теандра указываетъ ему на красное озеро, откуда онъ, для подкрѣпленія силъ, долженъ былъ пить воду. Оказывается, однако, онъ подкрѣплялся съ тѣмъ, чтобы еще скорѣе старѣть. Разсказываетъ онъ затѣмъ о мудрецахъ о-ва Анафы, объ ихъ философіи... Они додумались, что нимфы о-ва Анафы совсѣмъ нѣтъ, что она—лишь созданіе ихъ воображенія. И

вотъ, чтобы провѣрить себя, Лик. рѣшился разъ, вмѣстѣ съ мудрецами, силою сорвать покрывало съ нимфы. Но Лик. слукавилъ и заранѣе предупредилъ нимфу, разсчитывая за такое предупрежденіе съ ея стороны на благодарность; но она отплатила ему за предательство презрѣніемъ, а мудрецовъ обратила въ огни, летающіе по воздуху. Лик. хочетъ силою сорвать покрывало. Нимфа поражаетъ его волшебнымъ жезломъ, и онъ лишается силъ,—ноги его сдѣлались „полукаменѣлыя", и онъ сразу одряхлѣлъ и долго жилъ всѣми презрѣнный, покинутый. Онъ умираетъ, и обращается въ терновый кустъ. Слѣдуютъ подробное описаніе этого превращенія и разсужденія по поводу плачевной судьбы Ликаста.

Триптолемъ совѣтуетъ Полидору искать о-ва Хризы, и объясняетъ ему, что нимфа о-ва Анафы потому подъ покрываломъ, что она безобразна.

Авторъ взываетъ къ Овидію, проситъ у него помощи. Триптолемъ объясняетъ цѣлый рядъ чудесныхъ превращеній на о-вѣ Анафѣ. (Миѳологическія воспоминанія). Потомъ Триптолемъ разсказываетъ исторію Пальмена и Мемы, обращенныхъ въ двѣ пальмы, надъ которыми бьются двѣ хищныя птицы. Молодые люди полюбили другъ друга. Мема была бѣдна,—Пальменъ богатъ. Старики-родители ихъ были въ ссорѣ. Молодые люди рѣшили тайно обвѣнчаться. Ихъ отцы, послѣ ссоры, убиваютъ,—одинъ—Мему, другой—Пальмена. Молодые люди превращены въ двѣ пальмы, ихъ отцы—въ хищныхъ птицъ. Потомъ Триптолемъ разсказываетъ Полидору, что Ликандръ съ Таонидою и Ацетъ съ Изоною уже на о-вѣ Хризѣ; сообщаетъ, что спутники Полидора обращены въ шумящій тростникъ, корабль его—въ листья водяной травы. Полидоръ произноситъ патетическій монологъ надъ тростникомъ...

Триптолемъ воодушевляетъ его, вводитъ въ пещеру нимфы о-ва Анафы и показываетъ ему, какой ужасный видъ имѣетъ на самомъ дѣлѣ эта нимфа.

Потомъ Триптолемъ беретъ Полидора на свою колесницу и несетъ его къ о-ву Хризѣ. Ночью они подлетаютъ туда. Видъ о-ва ночью. Полидоръ потерялъ сознаніе.

Книга XII. Очнулся Пол. на морскомъ берегу. Размышленія автора о счастьѣ человѣка, дошедшаго послѣ злоключеній къ предѣламъ своихъ стремленій. Скучная природа. Таинственный голосъ ободряетъ его: „шествуй и сердце имѣй чистое". Пол. идетъ и на пути преодолѣваетъ трудности, а голосъ все поощряетъ его. Полидоръ идетъ сквозь огонь, ползетъ по скаламъ... Наконецъ, подходитъ къ пещерѣ, откуда выходитъ призракъ. Происходитъ разговоръ Полидора съ нимъ. Призракъ ободряетъ Полидора, говоритъ о трудностяхъ пути. Указывая на муравьевъ, пчелъ, изображая ихъ жизнь, учитъ онъ Полидора мудрости жить терпѣливо и осторожно. Призракъ посылаетъ Полидора очиститься въ янтарный потокъ.

Характеристика истинной Теандры. Она есть „единственное просвѣщеніе разума, ни суевѣріями, ни ложнымъ умствованіемъ не сопровождаемое". Призракъ указываетъ Полидору, что необходимо для лицезрѣнія Нимфы.

Слѣдуетъ описаніе идиллической природы. Миръ въ природѣ: дикіе звѣри живутъ вмѣстѣ съ домашними. По дорогѣ Полидоръ встрѣчаетъ

людей, не выдержавшихъ испытанія и бѣгущихъ назадъ. Пол. усумнился, стоитъ-ли искать нимфу; потомъ, однако, ободрившись, идетъ впередъ, достигаетъ пещеры, гдѣ живетъ истинная Теандра. Онъ слышитъ пѣсни Теандры, видитъ брачное торжество Ацета съ Изоною и Ликандра съ Таонидою. Радость свиданія. Счастье жителей о-ва Хризы, живущихъ добродѣтельно.

Спутницы нимфы Теандры—Благополучіе, Щедрота, Скромность, Цѣломудріе, Непорочность.

Ацетъ разсказываетъ свою исторію; повѣствуетъ, между прочимъ, о томъ, какъ въ Эпирѣ одна дѣва Линна влюбилась въ Изону, переодѣтую въ мужское платье. Линна, встрѣтивъ отказъ Изоны, оклеветала ее, и Изону повели въ судъ, какъ „обольстителя“ Линны. Ацетъ вступился за нее и открылъ, что она—жена его. Линна лишилась разума. При помощи Левкадскихъ скалъ она была излечена. Ацетъ идетъ въ Додону. Жрица взяла у него двѣ стрѣлы, погрузила ихъ въ воды Ахеронта и вручила ихъ ему, чтобы онъ употреблялъ ихъ въ крайней опасности. Потомъ Ацетъ идетъ дальше искать о-въ Хризу. Морскіе разбойники нападаютъ на него. Происходитъ сраженіе. Ацетъ терпитъ пораженіе, и прибѣгаетъ къ своимъ чудеснымъ стрѣламъ; одной стрѣлой убиваетъ жену разбойника, а другою сжигаетъ его корабль. Затѣмъ Ликандръ разсказываетъ о своихъ приключеніяхъ: нимфа о-ва Анафы заковала его съ Таонидой въ кандалы; потомъ онъ брошенъ былъ съ возлюбленной въ лодку и пущенъ въ море. Чудодѣйственною силою лодка была приведена къ о-ву Хризѣ.

Полидоръ разсказываетъ имъ, что ищетъ нимфы Теандры. Явл. призракъ, посланный Теандрой. Онъ повелъ Полидора къ ней. Мрачное путешествіе. При входѣ во владѣнія нимфы Пол. увидалъ ворота и „вкругъ извивающагося змія; хвость его въ челюстяхъ разверстыхъ смыкался“. Потомъ подымается П. на гору „разумѣнія“.

Слѣдуетъ описаніе ликующаго, радостнаго пейзажа. Полидоръ подходитъ къ „храму мудрости“. Объясненіе разныхъ изображеній, здѣсь находящихся, — между прочимъ, изображеній любимыхъ поэтовъ (и русскихъ: Ломоносова, Сумарокова).

Явилась нимфа Теандра. Она—дщерь Зевса, родившаяся изъ его мыслей въ началѣ вѣковъ и жившая подъ именемъ Астреи, потомъ подъ именемъ Минервы. Послѣ паденія людей она удалилась на о-въ Хризу. Слѣдуетъ восхваленіе мудрыхъ людей. Между ними превознесена Екатерина II за ея „Наказъ“. Объясненіе, что такое нимфа о-ва Анафы; ея очарованія создали „мудрецовъ неправедныхъ“.

Пол., съ разрѣшенія Теандры, снимаетъ съ нея покрывало. Теандра призываетъ Зарену и вручаетъ ее Полидору. Счастье Полидора; его восторженныя восклицанія: „всѣмъ жертвую ради Зарены, рекъ Полидоръ,—міромъ, царствомъ, жизнью моею! и изъ сего острова не двигнусь: боги! се—моя клятва! и Зарена моя!..“ Добродѣтельная жизнь на о-вѣ. Полидоръ съ Зареною болѣе не возвращаются въ суетный міръ.

Послѣдній романъ Хераскова, въ литературномъ отношеніи, несомнѣнно, изъ всѣхъ предшествующихъ его твореній, представляетъ наибольшій интересъ, — начать съ того, что онъ

не примыкаетъ ни къ исторіи, ни къ миѳу *), — и потому на его содержаніе (поскольку оно касается жизни самого Полидора) надо смотрѣть, какъ на результатъ самостоятельнаго творчества Хераскова. И то обстоятельство, что своему сплошному вымыслу онъ сумѣлъ придать всѣ типичныя черты псевдоклассическаго романа типа „Телемакъ", указываетъ на его выдающіяся литературныя и творческія способности,—на то, что онъ вполнѣ овладѣлъ типичными особенностями своей литературной школы.

Кромѣ того, необходимо отмѣтить, что, въ смыслѣ развитія литературныхъ пріемовъ (психологическій анализъ, описанія и пр.), этотъ романъ Хераскова тоже значительно ушелъ впередъ отъ всѣхъ другихъ его твореній,—въ его пріемахъ теперь больше тонкости и разнообразія.

Затѣмъ интересной чертой этого произведенія надо признать сложность его типа,—это не только *романъ политическій*, въ духѣ фенелоновскаго „Телемака", но и *романъ волшебный*, при томъ, что особенно любопытно—въ старомъ классическомъ духѣ,—въ духѣ „Метаморфозъ" Овидія. Такое сочетаніе Платона съ Овидіемъ—характерная особенность этого произведенія, отличающая его отъ творенія Фенелона.

Наконецъ, этотъ романъ, несомнѣнно, *аллегорическій*, прикрывающій разсказомъ о приключеніяхъ Полидора исторію внутренней жизни самого автора; автобіографическія черты разбросаны по всему произведенію, — и, если мы соберемъ ихъ всѣ вмѣстѣ, передъ нами живьемъ встанетъ старикъ-Херасковъ, наивный и чистый мистикъ-мечтатель, свободомыслящій деистъ, идеалистъ и фантазёръ, нѣсколько сбитый съ пути французской революціей, но не утратившій своего юношескаго прекраснодушія, вѣры и любви къ людямъ...[1856]

По отзывамъ современниковъ, послѣдній періодъ жизни Хераскова, вдали отъ прежней широкой общественной дѣятельности, отличался тѣмъ душевнымъ миромъ и тишиной, который сумѣла доставить ему его старушка-жена, интеллигентная женщина, когда-то сама небезызвѣстная писательница[1857]... Не къ этому ли счастью на островѣ Хризѣ, въ общество вѣрной подруги Зарены, подъ покровъ добродѣтели (=нимфы-Теандры), въ тѣсный кругъ друзей, привелъ авторъ своего Полидора?..

Отрицательное отношеніе къ французскимъ вліяніямъ тоже опредѣленно выразилось здѣсь,—въ осужденіи сибаритинянъ, иду-

*) О Полидорѣ, сынѣ Кадма, я не нашелъ миѳовъ ни у Lübcker'a; ни у Pauly 1355.

щихъ воспитателями въ чужія страны и развращающихъ юношество, узнаемъ мы французовъ; въ осужденіи гражданъ, покидающихъ отечество въ годину несчастій, можно усмотрѣть намекъ на французскихъ эмигрантовъ; мудрецы острова Анаоы, заблудившіеся въ поискахъ истины и потерявшіе въ нее вѣру, едва-ли не французскіе скептики-философы; образъ Рувада и его мятежъ противъ монархическаго строя заставляетъ насъ вспоминать о французской революціи и ея вождяхъ...

При всемъ томъ, въ основахъ своихъ, это произведеніе сохраняетъ всѣ характерныя черты псевдоклассическаго романа: какъ во всѣхъ предшествующихъ ему произведеніяхъ, такъ и здѣсь „судьба" играетъ видную роль,—уже въ самомъ началѣ романа авторъ опредѣляетъ свою точку зрѣнія на такое значеніе „судьбы".

„Есть люди, коихъ непримиримая судьба непрестанно гонитъ и на злощастныхъ потомковъ ихъ ярость свою простираетъ; сами ли они виновны толикимъ злоключеніямъ, или свыше такой предѣлъ имъ предназначенъ? — сего разумъ намъ постигнуть не удобенъ: книга судебъ человѣческихъ печатію таинствъ запечатлѣнна; око смертнаго въ нее проникнуть не можетъ,—единъ Всевиденъ зритъ въ сію книгу,—зритъ, и жребіями тварей управляетъ" [1358].

Это соединеніе языческаго представленія о „непримиримой судьбѣ", какъ владычицѣ жизни человѣка, съ христіанскимъ представленіемъ о Богѣ, какъ единомъ мудромъ управителѣ вселенной—характерно для Хераскова. Если во всѣхъ предшествующихъ романахъ (даже греческихъ) роль управленія человѣческой жизнью всегда, какъ-то странно, дѣлилась между „судьбой" и „богами",—то въ этомъ послѣднемъ романѣ Хераскова „богамъ",—а то иногда и просто „Богу" [1359],—отведено въ дѣлѣ управленія міромъ *) нарочито-почетное мѣсто. Любопытно, что это ослабленіе цѣнности „судьбы" и усиленіе значенія божественной воли приблизило романъ Хераскова къ гомеровскимъ поэмамъ: Гомеръ еще не зналъ той „капризной" власти τύχη на жизнь людей, которую выдвинули греческіе романисты,—онъ еще крѣпко держался за авторитетъ своихъ старыхъ олимпійцевъ...

Другая характерная черта псевдоклассическихъ романовъ — интересъ къ „психикѣ" героевъ, выразился такъ же опредѣленно въ этомъ произведеніи Хераскова. Пріемы раскрывать „святая святыхъ" души героевъ, опредѣлять ту борьбу, что развертывалась въ тайникахъ этой души, остались въ этомъ романѣ, въ основныхъ чертахъ, тѣ же, что и въ другихъ произведеніяхъ этой

*) Говоритъ Херасковъ нерѣдко и о „Промыслѣ" [1360], и о „Провидѣніи" [1361].

группы—часто онъ самъ разсказываетъ намъ, что чувствуютъ, что переживаютъ его герои[1362]; или онъ вводитъ свои собственныя разсужденія психологическаго содержанія—разсужденія, имѣющія цѣлью пояснить читателю состояніе души его героевъ[1363].

Иногда онъ заставляетъ дѣйствующихъ лицъ самихъ повѣствовать о своихъ чувствахъ, настроеніяхъ, душевныхъ радостяхъ и страданіяхъ[1364]. Часто прибѣгаетъ онъ къ помощи внѣшнихъ признаковъ внутренней борьбы,—тогда игра лица, обмороки, слезы, вздохи иллюстрируютъ состояніе души героевъ[1365].

Рѣже „психика" раскрывается въ діалогахъ дѣйствующихъ лицъ. Чаще авторъ пользуется патетическими монологами, въ которыхъ, обыкновенно, выражаетъ сильныя страсти, овладѣвающія героемъ[1366]. Въ минуты болѣе спокойныя его герои не „вопятъ", а размышляютъ, „сами въ себѣ", но при томъ обязательно „вслухъ",—и читателю, благодаря этому, облегчается возможность „понять" ихъ внутреннюю жизнь[1367].

Любопытной новинкой чисто-техническаго характера надо признать въ этомъ романѣ обращеніе Хераскова къ пріему при помощи „многоточія" опредѣлять настроенія героя,—его душевныя волненія, колебанія и нерѣшительность...

Этимъ средствомъ, какъ увидимъ ниже, широко пользовался Руссо, а за нимъ и его ученики, охотно пестрившіе многоточіемъ страницы своихъ повѣстей... Въ предшествующихъ своихъ романахъ Херасковъ не прибѣгалъ къ помощи этого пріема, и впервые ввелъ его лишь въ „Полидорѣ".

Привожу примѣры:—

Влюбленный герой не въ силахъ справиться со своимъ чувствомъ, но еще не имѣетъ храбрости открыть свое сердце и говоритъ, смущенный, вмѣсто обычнаго въ старыхъ романахъ, патетическаго монолога—безсвязную рѣчь: „—вы—вы вездѣ узрите во мнѣ—вашего защитника, и... друга"...[1368].

Полидоръ смущенъ предстоящей разлукой съ Изоной, но онъ не рѣшается сказать ей объ этой разлукѣ и прощается съ героиней такой безсвязной рѣчью: „...должно мнѣ съ вами разлучиться... можетъ быть... на вѣки"[1369].

Влюбленный въ Изону, Полидоръ скрываетъ свое чувство, и оно прорывается въ сожалѣніи къ другому такому же, какъ онъ самъ, неудачнику, влюбленному въ ту же Изону: „О! колико мы благополучны—и колико нещастны... Ликаетъ ...и ему подобные!"[1370].

„Повѣствомъ" въ этомъ произведеніи Хераскова надо признать также впервые введенную имъ въ романъ „психологію толпы": его герой теперь всегда окруженъ людьми, то счастливыми, то несчастными, то мирными, то мятежными... Особенно удалось ему изображе-

ніе мятежной, революціонной толпы на островѣ Атлантидѣ. Правда, всѣ эти „массовыя“ настроенія являются всегда результатомъ вліянія какихъ нибудь крупныхъ личностей,—тѣмъ не менѣе, необходимо признать, что „толпа“ у Хераскова—уже не въ такой степени является собраніемъ статистовъ-маріонетокъ, какъ это было у его учителей.

Въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ Херасковъ сумѣлъ достичь нѣкоторой индивидуализаціи. Его герой, Полидоръ, по ясности очертанія, стоитъ выше Кадма,—героя предыдущаго романа. Теперь автору удалось избѣгнуть и противорѣчій, и психологическихъ неожиданностей: неоднократныя паденія Кадма и его моральныя воскресенія были недостаточно обоснованы въ психологическомъ отношеніи,—они и неожиданны, и слишкомъ рѣзки: изъ человѣка мудраго и добродѣтельнаго онъ то опускается „на дно“, то опять является чуть не святымъ,—мудрецомъ, дающимъ уроки морали и государствовѣдѣнія... Полидоръ очерченъ тоньше: онъ отличается бо̀льшею стойкостью, чѣмъ его отецъ, и, въ то же время, бо̀льшею мягкостью, жизненностью сердца... Онъ—„человѣчнѣе“ отца, и потому ближе къ намъ и понятнѣе. Самое „паденіе“ его является результатомъ его случайной ошибки и не сопровождается никакими эксцессами и крайностями...

Рядомъ съ этимъ „мудрымъ юношей“ стоятъ отрицательные и положительные образы второстепенныхъ героевъ. Изъ отрицательныхъ героевъ особенно ярки Ликастъ, Рувадъ и Аридъ.

Первый представляетъ собой образъ человѣка могучаго, но обуреваемаго страстями. И онъ, со всей своей титанической силой, — рабъ этихъ страстей. Рувадъ — олицетвореніе „гидры“ народнаго мятежа. Это — типъ демагога, хитраго, коварнаго, съ рѣзко-очерченной личностью,—слуга своего эгоизма („самства“, какъ говорится въ романѣ). Онъ умѣетъ владѣть „психикой“ толпы и верховодитъ дурными инстинктами ея стихійной силы... Вожди французской революціи могли дать Хераскову немало образцовъ для этого интереснаго героя. Онъ—уже не безличный „злодѣй“ стараго псевдоклассическаго романа: онъ—типъ себялюбца, умѣющаго прикрыть себя и свои дѣянія принципіальнымъ міровоззрѣніемъ...

Сынъ его, Аридъ,—мутный осадокъ той бурной эпохи, когда разрушались старыя основы жизни: это — мелкій эгоистъ, пытавшійся освободить себя отъ всякихъ принциповъ. У него нѣтъ силы вести такую большую политику, какая по плечу его отцу,— и онъ живетъ въ кругу своей личной жизни и, въ угоду ей, подчиняетъ и ломаетъ чужія...

Героини въ этомъ романѣ всѣ намѣчены очень блѣдными, об-

щими чертами: это—полупрозрачные образы, которые какъ-то безслѣдно проносятся мимо читателя, не задѣвая его воображенія и мыслей... Образъ Гармонія въ предыдущемъ романѣ Хераскова стоитъ несравненно выше всѣхъ этихъ героинь.

„Описаній“ въ романѣ очень много; ихъ разнообразіе—тоже характерная черта этого произведенія: автору удаются теперь такія картины, которыхъ мы не встрѣчали въ его предыдущихъ романахъ. Иногда и въ старыя картины онъ вноситъ нѣкоторые новые тонкіе оттѣнки.

Изъ „описаній“, въ старомъ духѣ, укажу, хотя-бы, пейзажи мирной природы [1371]; иногда романистъ придаетъ имъ нѣсколько приподнятый, „радостный“ характеръ [1372],—иногда даже нѣсколько слащавый [1373]... Очень часты у него въ романѣ пейзажи, въ духѣ пастушескихъ идиллій [1374]; иногда въ нихъ подчеркивается характеръ невинности, чистоты, освѣщающей всю картину спокойнымъ, ровнымъ свѣтомъ [1375],—иногда онъ вноситъ въ картину безпокойный колоритъ сладострастія [1376], когда это требуется содержаніемъ романа; изрѣдка, наконецъ, рисуетъ онъ пейзажи мрачные...

Нѣкоторыя картинки ему очень удались,—особенно тѣ, которыя носятъ характеръ античности. Привожу примѣры:

„...вдругъ слышитъ звуки роговъ охотничьихъ по рощамъ раздающіеся; вскорѣ узрѣлъ юныхъ Нимфъ, младаго елени гонящихъ; стрѣлы ихъ лишили его быстроты ногъ его... Нимфы выступили изъ миртовой рощи на коняхъ, снѣгу бѣлизной подобныхъ и златыми браздами украшенныхъ; онѣ прямо устремились ко брегу, гдѣ пораженъ былъ олень; посреди ихъ видима нѣкая Нимфа, сѣдящо въ позлащенной колесницѣ, четырмя бѣлыми сернами запряженной; лице ея было покровенно. И Полидоръ вскричалъ: „Теандра!“ [1377].

„...тамо видимы юныя Нимфы въ одеждахъ Дріядъ, радостно плящущія вкругъ водомета, Кипридина сына изображающаго, коего направленная изъ лука стрѣла сребристую струю водъ источала; юноши, въ Фауновъ преображенные, изъ за розовыхъ кустовъ выглядывая, бросали тихо въ нихъ цвѣты благоуханные; тако веселость собесѣдницъ они сугубили; индѣ срѣтались имъ прозрачныя озера, ясному небу подобныя, въ коихъ Нимфы, погружаясь въ легкихъ одеждахъ, водою плескались; ликовство и смѣхи ихъ по брегамъ златовидвымъ отзываются—все веселилось и духомъ отраднымъ оживотворялось“. „Тамо благоуханные дожди, во влажную пыль превращенные, казалось, изо внутренности земли шумѣли; пастушки, сквозь нихъ быстро пробѣгая, отъ послѣдующихъ за ними любовниковъ, будто облакомъ заслонялись... Въ тысящи мѣстахъ эхо восклицаніе ихъ отзывало, и мнилось, всюду пастушки, будто горлицы, прелѣтаютъ“.

„Найяды зрѣлись сѣдящи на цвѣтущихъ берегахъ покоящимися; зеленые ихъ власы влюбленные въ нихъ зефиры легкими крылами осушали; но ревнующіе имъ Тритоны, изникая изъ рѣчныхъ нѣдръ,

влекли ихъ обратно, и призывали въ хрустальные чертоги, на днѣ рѣки сооруженные" [1378].

Необходимо также отмѣтить нѣсколько граціозныхъ картинокъ, которыя своею оригинальностью ярко выдѣляются изъ ряда шаблонныхъ описаній, попадающихся во всѣхъ типичныхъ псевдоклассическихъ сочиненіяхъ.

Полидоръ на берегу источника вслухъ тоскуетъ по своей умершей Заренѣ.—„Найяда, обитающая въ источникѣ, услыша жалобы Полидоровы — тихо изъ водныхъ нѣдръ выглянула, воздохнула и... сокрылась" [1379].

Полидоръ наткнулся случайно на трогательную сцену: одинъ изъ его молодыхъ воиновъ игралъ на лирѣ и пѣлъ, а славянская дѣва, въ него влюбленная, жадно его слушала: „позади его видима была младая Славянская дѣва, изъ миртовыхъ кустовъ скромно выглядывающая: лице ея вѣтвями было осѣненно; прелестные ея взоры вкругъ Ацета летали; внимательный слухъ ея весь былъ отверстъ его пѣнію. Не вѣдая Полидора, она давала знакъ рукою, умильную досаду, написанную на лицѣ, имѣя,—да не прерываетъ смущенія Ацетова; но, приближуся къ нему Царю, дѣва, какъ горлица, сквозь мирты пролетѣла" [1380].

Часто вводитъ онъ описанія „вечера" и „утра" [1381]. При чемъ, онъ теперь усваиваетъ манеру фигурно изображать наступленіе, или исчезновеніе свѣта; напр.,—

„...свѣтозарная Ѳивова колесница, уклонясь отъ черты полуденной, косвенно лучи свои испускала и верьхъ пещеры казался въ растопленномъ златѣ плавающимъ" [1382].

„...Во златой колесницѣ Ѳивъ-Аполлонъ выступилъ уже изъ янтарныхъ своихъ чертоговъ,—и хрустальный сводъ небесный освѣтился животворными солнечными лучами" [1383].

„...Румяная Аврора величественное шествіе небеснаго свѣтила медленно возвѣстила" [1384].

Буря налетаетъ внезапно и такъ же неожиданно прекращается [1385]. Обычны въ романѣ описанія наружности красавицъ [1386]; есть описанія и безобразныхъ чудовищъ [1387]; вводитъ авторъ торжественную картину перваго пахапія земли, рисуетъ ужасы голодовки; неразъ изображаются имъ сраженія и поединки [1388]; описываетъ онъ нерѣдко произведенія кисти художниковъ, или рѣзца скульпторовъ [1389].

Стиль романа, въ общемъ, вполнѣ литературный, отличается приподнятостью и паѳосомъ. Быть можетъ, въ погонѣ за этой возвышенностью стиля, Херасковъ часто безъ нужды громоздитъ церковнославянизмы, вводитъ старыя, неудобопонятныя слова и выраженія (напр., „возгнѣли огонь", „чваны"—чаны; „котвы" — якори; „женущіе" — гонящіе, „брался" — сражался); вводитъ онъ

очень охотно и dativus absolutus, чуждый русской рѣчи (напр.— „возсіявой зарѣ“, „утренней звѣздѣ, приближеніе дня возвѣщающей“, „плывущу ему“ и т. д.).

„Любовь“ въ романѣ не играетъ главной роли, — по крайней мѣрѣ, въ жизни самого героя: — его мы застаемъ сначала горюющимъ вдовцомъ; потомъ онъ увлекается Изопой, но во время побѣждаетъ свою страсть; — и, наконецъ, на чудесномъ островѣ Хризѣ, въ странѣ чистой, духовной любви, одаренный безсмертіемъ, соединяется онъ со своей супругой, умершей на землѣ. За то въ жизни второстепенныхъ героевъ „любовь“ играетъ главную роль: она имѣетъ у нихъ различные оттѣнки,—отъ чистаго, возвышеннаго обожанія (любовь Изоны и Ацета), до грубой, всепожирающей страсти (Ликастъ)... Влюбляются герои „сразу“, — съ перваго взгляда [1390] и навсегда. Эротъ нерѣдко появляется на сценѣ, и дѣятельное участіе принимаетъ въ любовныхъ дѣлахъ людей [1391]. Влюбленный герой часто, по старинному, дѣлается esclave своей дамы [1392]; при чемъ нерѣдко въ рѣчахъ его сквозитъ préciosité [1393]; отъ любви совершаются даже самоубійства [1394],—послѣднее является новинкой: раньше герои только покушались на это.

Къ „общимъ мѣстамъ“, типичнымъ для авантюрнаго романа, надо отнести тѣ шаблонныя приключенія и образы, съ которыми мы встрѣчались уже во всѣхъ предыдущихъ романахъ этого типа („бури“, „нападенія разбойниковъ“, „разлука“, „узнаніе“, „переодѣваніе дѣвицы въ мужской костюмъ“, „мудрецъ въ уединеніи“ [1395] и др.).

Построеніе романа тоже сохранилось старое,—герой путешествуетъ по разнымъ концамъ культурнаго міра, встрѣчаетъ всевозможныя приключенія; „вставные эпизоды“, патетическіе монологи чередуются съ обильными описаніями,—все это было, какъ мы неразъ видѣли, характерно для стараго авантюрнаго романа.

Какъ я уже говорилъ, романъ Хераскова, кромѣ того, долженъ быть отнесенъ къ группѣ романовъ „политическихъ“. Къ „общимъ мѣстамъ“, характернымъ для романа этой разновидности, надо отнести слѣдующія: „идеальный царь—отецъ подданныхъ“; онъ составляетъ ихъ счастье (утопія); „паденіе слабаго царя“; „дурной царь—и тяжелое положеніе государства“; „въ чемъ истинная слава царя“; „мудрый совѣтникъ царя“ (Триптолемъ-Эгерія-Менторъ) [1396] и др. Наконецъ, во многихъ отношеніяхъ, романъ Хераскова можетъ быть отнесенъ къ разряду „волшебныхъ“. Къ „общимъ мѣстамъ“ этого романическаго типа, использованнымъ Херасковымъ, относятся слѣдующіе эпизоды: введеніе талисма-

новъ (волшебная книга, дающая совѣты, жезлъ, волшебныя воды, Стикса, Ахеронта, Флегетона, волшебный щитъ, стрѣлы, броня, „голоса“: „вѣщіе сны“, „предзнаменованія“, „видѣнія“, „предсказанія“) [1397]; введеніе колдуньи-Аглаоницы, дающей герою волшебную воду; введеніе въ романъ злой волшебницы Теандры, очаровывающей героя и другихъ дѣйствующихъ лицъ—и добраго генія Триптолема, снимающаго съ него чары. Какъ во всѣхъ волшебныхъ романахъ—такъ и въ романѣ Хераскова, снятіе чаръ съ героя,—обращаетъ блестящій пейзажъ и богатства дворцовъ въ мерзость запустѣнія [1398].

Къ волшебному элементу относятся также многочисленныя „превращенія“, отчасти взятыя изъ „Метаморфозъ“ Овидія, отчасти представляющія подражанія имъ; самъ Херасковъ не скрывалъ этого источника.

Такимъ образомъ, литературная исторія этого романа тѣсно связана, главнымъ образомъ, съ произведеніями Фенелона, Гомера и Овидія. Я думаю, что даже изъ одного пересказа содержанія романа и выясненія его политическаго характера, видна его связь съ „Телемакомъ“ (см. выше стр. 129—131). Въ обрисовкѣ героя мы тоже находимъ большое сходство съ юнымъ героемъ Фенелона: подобно ему, Полидоръ „странствуетъ по всему пространному міру, разыскивая людей мудрыхъ“, чтобы „ихъ совѣтами и примѣрами лечить скорби душевныя“ [1399]. Во время своихъ странствій, подобно, опять-таки, Телемаку, Полидоръ, „яко благоразсудный юноша, обращалъ свое вниманіе токмо на изящнѣйшее въ его путешествіи — на человѣческіе нравы“ [1400].

Съ „аллегорическимъ“ романомъ это произведеніе Хераскова тоже имѣетъ много общаго,—само по себѣ, представляя аллегорически исторію очищенія павшей души, оно изобилуетъ „общими мѣстами“ произведеній этого типа: „исканіе истинной добродѣтели“, „трудности въ видѣ различныхъ испытаній и искушеній“, „ошибки, вслѣдствіе избранія ложнаго пути“, шаблонныя описанія „храма натуры“, „храма славы“, „храма мудрости“,—наконецъ, при помощи аллегорическихъ образовъ,—изображеніе разныхъ отвлеченныхъ добродѣтелей и пороковъ [1401].

Подражая Гомеру, Херасковъ очень охотно пользуется въ своемъ произведеніи „сравненіями“ въ гомеровскомъ духѣ; напр.

„Тикастъ возвращается въ шатеръ свой, яко левъ, въ ребра стрѣлою прободенный“ [1402].

„...Сынъ гордаго жреца началъ день ото дня увядать, яко быліе

сельное, зноемъ палимое и прохладными росами при утренней зарѣ не оживляемое“ [1403].

...царь сей казался, яко скала неколебимая, о которую бурныя волны ударяются, и при ея подножіи изчезаютъ [1404].

„...біющееся въ немъ сердце грудь его воздымало; тако плавающій орелъ въ поляхъ воздушныхъ и стада робкихъ птицъ устрашающій, узвляется пернатою стрѣлою, падаетъ на землю, простирая трепещущія крыльи, и недвижимъ становится“ [1405].

По-гомеровски звучитъ, напр., эпитетъ, распространенный Херасковымъ въ цѣлое предложеніе:

„...подалъ я совѣтъ пригласить въ помощь нашу другаго сосѣдственнаго намъ юнаго царя Тагета, владѣющаго изобильными островами Раидскими, рождающими коней отъ вѣтровъ бурныхъ и строящихъ корабли отъ древесъ неувядаемыхъ“ [1406].

Подобно Гомеру, Херасковъ вводитъ олимпійцевъ въ развитіе дѣйствія:

„Обладающій стихіями и правящій кругомъ небеснымъ, землею и водами Зевсъ, сынъ Сатурновъ, одѣвшъ въ ризы воздушныя, возлегъ на вершинѣ горы Иды, гдѣ нѣкогда, укрываемъ отъ гоненій отца своего, воздоенъ былъ Амалтою. Зря издалека корабли Полидоровы, спокойно въ Критскихъ водахъ плывущіе, нахмурилъ онъ чело свое—и Критъ поколебался! (далѣе слѣдуетъ пространная бесѣда олимпійцевъ о Полидорѣ) [1407].

Самое начало романа, характерное своимъ воззваніемъ къ „музамъ“, тоже напоминаетъ собою начало гомеровскихъ и псевдоклассическихъ поэмъ:

„Музы! кои бесѣдовали со мною въ моей юности, собесѣдуйте мнѣ и нынѣ, когда скучная старость, простирая надъ главою моею хладную свою руку, крылья моего воображенія подсѣкаетъ; когда мысли мои, временностью утомленныя, токмо въ неизмѣримой вѣчности странствуютъ,—вы научили меня повѣствовать Кадма и Гармонію, научите пѣть и сына ихъ!“ [1408].

Большой знатокъ древней миѳологіи, Херасковъ свободно обращается въ кругу разныхъ миѳическихъ представленій и миѳологическихъ воспоминаній; но, кромѣ простого пересказа отдѣльныхъ миѳовъ, Херасковъ сочиняетъ новые, подражая Овидію, Гомеру и др., и прикрѣпляетъ ихъ къ старымъ представленіямъ, иногда этимъ подновляя старое и мѣняя его до неузнаваемости,—ср., напримѣръ, введенный имъ въ романъ разсказъ о чудесныхъ свойствахъ Левкадскихъ скалъ и Стигійской воды,—повѣствованіе о древней волшебницѣ-Аглаоницѣ *), свободно использованный имъ миѳъ о плавучихъ островахъ Планезіяхъ (миѳъ „Делсѣ“ и „Ніобѣ“)

*) Объ ней онъ, повидимому, узналъ изъ „Анахарсиса“—сочиненія Бартелеми, на которое ссылается въ своемъ романѣ дважды.

и т. д. Преданію о критскомъ лабиринтѣ онъ придаетъ мистическій характеръ. У Платона беретъ онъ сказаніе объ Атлантидахъ, и вводитъ разсказъ объ этомъ островѣ въ свое повѣствованіе о странствованіяхъ Полидора. О Платонѣ онъ говоритъ еще нѣсколько разъ, всегда упоминая о немъ съ почтеніемъ. Это и понятно,—огромное значеніе имѣла „Республика“ Платона и для Фенелона, и для всѣхъ его литературныхъ учениковъ.

Заключеніе романа,—пребываніе Полидора на о-вѣ Хризѣ и „безсмертіе“ его приводятъ насъ къ античнымъ взглядамъ на загробную жизнь,—къ представленію Гомера объ Елисейскихъ поляхъ—Гезіода—о „счастливыхъ островахъ“ *), гдѣ блаженствуютъ праведники.

Вліяніе Овидія на этотъ романъ Хераскова тоже было очень велико. Онъ самъ ссылается неразъ на этого писателя, и однажды даже прямо обращается къ нему съ просьбой о помощи:

„О! вдохновенный Музами Овидій Насонъ, коего ни вина, ни мѣсто покоя неизвѣстны до нынѣ! ты въ обворожительныхъ твоихъ пѣсноловіяхъ изобразилъ живою кистію дивныя преображенія отъ сотворенія міра... Дозволь, въ отдаленіи шествуя за тобою, хотя неразмѣрнымъ стопосложеніемъ, собрать разсыпанные цвѣты Граціями по слѣдамъ твоимъ, да внемля сладкое бряцаніе твоей лиры, возвѣщу нѣкія преображенія, тобою повѣданныя и сыномъ Кадмовымъ на островѣ Анафѣ видимыя!“ [1403].

И вотъ, на этотъ „островъ чудесъ“ онъ помѣщаетъ тѣхъ героевъ, о которыхъ до него разсказывалъ Овидій.

Изъ такихъ миѳовъ, заимствованныхъ и сочиненныхъ, укажу, хотя бы, слѣдующіе: миѳъ о Церерѣ и Прозерпинѣ; объ Аретузѣ и Алфеѣ; о Триптолемѣ, учителѣ земледѣлія; о людяхъ, обращенныхъ въ птицъ, въ змѣй, о людяхъ окаменѣлыхъ и видъ звѣрей имѣющихъ; о пальмѣ, испускающей стоны, о дрожащихъ и стонущихъ скалахъ, о ступеняхъ, издающихъ стонъ, о чудесномъ гранатномъ зернѣ, связанномъ съ миѳомъ о Прозерпинѣ; о камнѣ, проливающемъ слезы; о превращеніи человѣка въ терновый кустъ; о превращеніи двухъ братьевъ въ вороновъ; о превращеніи людей въ летающіе огни; о плавучихъ островахъ, объ обращеніи людей въ тростникъ, кораблей—въ листы, объ обращеніи царя Линкса въ рысь и т. д.

Изъ „случайныхъ“ заимствованій укажу образъ огромной змѣи, держащей конецъ хвоста во рту,—образъ, заимствованный Херасковымъ изъ „Повѣсти о Вавилонѣ“, или, вѣрнѣе, у Чулкова и другихъ писателей его школы, которые тоже ввели этотъ заим-

---

*) См. Darembert et Saglio. „Dictonnaire des antiquités“ слово: „inferi“. По поводу чудесныхъ свойствъ Стигійской воды, гаданій при помощи оракуловъ, волшебницъ см. тамъ же слова: „magia“, „divinatio“.

ствованный образъ въ свои произведенія. Использовалъ онъ ходячій разсказъ о поливаніи зерна головни, поливаемой Лотомъ въ Библіи,—сухого сучка въ Древнемъ Патерикѣ и проложномъ житіи Павла Онвейскаго [1410]),—какъ способъ испытать терпѣнія; ввелъ онъ сказочный мотивъ о разысканіи дороги, при помощи зерна, которое катится передъ героемъ. Изъ Библіи взялъ онъ разсказъ о мудромъ рѣшеніи Іосифа дѣлать большіе запасы хлѣба.

Наконецъ, надо отмѣтить въ романѣ сильно и ярко выраженный автобіографическій элементъ. Я неразъ уже говорилъ, что послѣднее произведеніе Хераскова очень тѣсно связано съ его личной жизнью. Поэтому, на этотъ романъ можно смотрѣть, какъ на послѣднюю,—самую откровенную, исповѣдь нашего писателя,—въ ней онъ выразилъ всѣ главныя стороны своего нравственнаго и политическаго міросозерцанія. Благодаря многочисленнымъ лирическимъ отступленіямъ, часто очень прочувствованнымъ, онъ вноситъ яркій субъективизмъ въ свое произведеніе, устанавливая свою точку зрѣнія на событія, освѣщая ихъ своими идеалами [1410]... Иногда такія небольшія отступленія разростаются въ цѣлыя разсужденія, которыя авторъ, обыкновенно, вкладываетъ въ уста своихъ „мудрыхъ“ героевъ. Привожу примѣры,—

„Блаженъ, кто самъ собою доволенъ быти умѣетъ!—Чтò суть шумныя сего міра веселости, толико смертныхъ обольщающія?—иногда бываютъ они отдыхами людей, трудами обремененныхъ, но чаще суетнымъ развлеченіемъ празднолюбцевъ, кои трудовъ ужасаются; всѣ таковыя приманчивыя веселости рвеніе, тоску, раскаяніе и многія безпокойства слѣдомъ ведутъ за собой... Чтò суть пышности и сокровища сего міра?—ложные блески, на едино мгновеніе ненасытный взоръ и слабую душу обворожающіе, жажду хотѣній разпаляющіе и никогда утолить не могущіе!.. Мудрый не пренебрегаетъ забавами—но самыя забавы благоразуміе цѣлію своею для него имѣютъ!.. Онъ любитъ друзей, любитъ ближнихъ и въ тихой съ ними бесѣдѣ ликовствуетъ,—равно его утѣшаетъ былинка, въ дикой степи растущая, или міры блистательные, надъ его главою плавающіе—тишина пріятной весны, или буря мрачной осени—собственное бытіе духъ его услаждаетъ, и постигаетъ онъ, что сотворенъ не ради суетъ и тлѣнностей, но ради непостижимой вѣчности—ради сліянія со источникомъ его жизни!“ [1411].

„Правильное мѣрило воли нашей, нашихъ склонностей, воображенія нашего при всякомъ удобномъ случаѣ потребно, а мудрое чувствованій нашихъ управленіе содѣлывается крѣпкою уздою, наши страсти укрощающею!.. Ты искалъ тамо блага, гдѣ зло во всей силѣ своей царствуетъ—привлекательныя обольщенія душу твою очаровали... Ты странствовалъ на семъ островѣ, окруженъ геенскими мраками, но чаялъ свѣтъ видѣть!“ [1412].

Много разъ энергично высказывается онъ противъ „земной философіи“, противъ земныхъ прельщеній: все—суета, все—тлѣнно

въ здѣшнемъ мірѣ[1413]—говоритъ онъ неразъ, и это же повторяютъ за нимъ его мудрые герои... Вотъ почему увлекаться „землей“ опасно для человѣка. Но ненавидѣть эту землю въ такой же мѣрѣ неблагоразумно, — надо „мудро жить“, избѣгать крайностей, идти по серединѣ:

„Жребій нашъ есть, не возмущая душъ нашихъ богопротивнымъ уныніемъ, а еще меньше убивая время свое праздностію, снискивать себѣ благо во временной жизни,—снискивать трудомъ и непрестаннымъ о себѣ самомъ, или о ближнихъ попеченіяхъ; веселости суть отдыхи, иногда дозволенные отъ полезныхъ нашихъ упражненій: но едины ли забавы, роскоши и развлеченности могутъ намъ удовлетворять въ въ поприщѣ живота нашего?.. Сладкая бесѣда съ мудрыми, чтеніе книгъ, разумы наши просвѣщающихъ, размышленія о самихъ себѣ, о настоящемъ, о будущемъ, не придадутъ-ли самимъ веселостямъ лучшей приправы?“[1414].

Голосу „совѣсти“ Херасковъ придаетъ большое значеніе въ жизни человѣка, и эту нравственную силу вводитъ неразъ въ развитіе дѣйствія въ своемъ романѣ.

„...возкрестая въ немъ совѣсть и здравый разсудокъ сердце его утѣшали,—тако, не совсѣмъ еще развращенный человѣкъ, учинивъ преступленіе, мучится и страждетъ, видя предъ собою добродѣтельнаго судію, или друга непорочнаго. Совѣсть! совѣсть! ты есть нашъ судія нелицемѣрный, но часто пренебрегаемый!“[1415].

Въ своихъ „разсужденіяхъ“ Херасковъ касается всевозможныхъ вопросовъ,—общихъ и частныхъ: онъ говоритъ и о любви, и объ обязанностяхъ гражданина, о сладости добрыхъ дѣлъ, о Богѣ и религіи, о вредѣ пытливости ума, объ аскетизмѣ, о воспитаніи и образованіи юношества, объ отношеніи къ женщинамъ, о дружбѣ, о торговлѣ, о живописи и поэзіи... Политическіе идеалы Хераскова выражены, какъ я уже говорилъ выше, въ тѣхъ энергичныхъ обличеніяхъ, которыя направлены имъ, повидимому, противъ французскихъ вольнодумцевъ и революціонеровъ[1416] *), — вообще противъ „вольности“ и „буйства“ мысли; его деистическое міровоззрѣніе выразилось въ нападеніяхъ на обрядность, корыстолюбіе жрецовъ и суевѣріе, которыя только туманятъ истинную религію[1417] **).

---

*) Любопытенъ его „демократизмъ“ въ вопросахъ любви: вопреки своимъ учителямъ, псевдоклассикамъ-романистамъ, онъ одного знатнаго героя женитъ на крестьянкѣ,—знатную дѣвицу выдаетъ замужъ за простого пастуха[1418]. Онъ вступается за обольщенную рабыню и отстаиваетъ ея права на любовь.

**) Любопытно, что, при всемъ своемъ отрицательномъ отношеніи къ суевѣрію, онъ рекомендуетъ бережно относиться къ невѣжественному народу—не ломать его міросозерцанія, а вести темный народъ постепенно къ свѣту[1419].

Я думаю, что все сказанное мною о романѣ Хераскова доказываетъ цѣнность этого произведенія въ литературномъ и идейномъ отношеніяхъ. Изъ всѣхъ предшествующихъ его произведеній это—самое свободное въ литературномъ отношеніи: въ немъ авторъ менѣе всего связалъ себя требованьями школы,—онъ внесъ много „своего“ и въ построеніе, и въ содержаніе; онъ, напримѣръ, изъ романистовъ-псевдоклассиковъ первый использовалъ Овидія,—писателя, который въ такой мѣрѣ, какъ ему, не служилъ ни одному изъ его предшественниковъ; онъ сумѣлъ изъ своего произведенія сдѣлать искреннюю и вдохновенную исповѣдь своей души, своихъ убѣжденій... Такимъ образомъ, его „Полидоръ“ — живое, яркое, умное и, въ литературномъ отношеніи, довольно самостоятельное произведеніе, даже если судить его, исходя изъ сравненія съ образцовыми произведеніями той же школы—съ сочиненіями Кальпренеда и Фенелона...

Произведеніе П. Львова: „*Храмъ истинны, видѣніе Сезострис, царя Египетскаго*“ [1420], въ сущности,—не повѣсть, а аллегорическое „стихотвореніе въ прозѣ“,—но, въ идейномъ отношеніи, оно тѣсно примыкаетъ и къ творенію Фенелона, и, особенно, къ романамъ Хераскова, у котораго произведенія, подобныя „Храму истинны“, являются, обыкновенно, „вводными эпизодами“ (Кадмъ въ лабиринтѣ, ищущій Гармонію; Полидоръ на островѣ Хризѣ и др.). Вотъ, почему счелъ я возможнымъ включить и произведеніе Львова въ группу романовъ этого типа.

Начинается его повѣсть съ описанія вечера. Разсказъ вложенъ въ уста самого Сезостриса:

„Сокрылось солнце въ морскія глубины, и потухающая съ одной стороны горизонта заря, позлащая всю природу огнерозовыми своими лучами, не могла уничтожить ночной темноты, предшествующей лунѣ, которая медлительно выкатывалась съ другой стороны небесъ, и за коей слѣдовали не смѣтные сонмы звѣздныхъ міровъ, славящихъ могущество руки, ихъ создавшей?“

„Тогда здравоносный сонъ, чадо тишины и покоя, неся въ сребристой урнѣ услажденіе всѣмъ смертнымъ существамъ, разсыпалъ свои маковые зерны, и, разпростря надо мною туманныя свои крылья, принудилъ меня успокоиться отъ тяжкихъ царскихъ заботъ“ [1421].

Онъ видитъ сонъ: мрачная картина природы —

„... вмѣсто лазуреваго неба вертепъ сей покрывала подобная черному полчищу врановъ висящая туча, коей по дымообразнымъ слоямъ катящейся громъ, какъ стальный шаръ, пущенный съ горней высоты, прыгаетъ съ утеса на утесъ, раждаетъ стукъ и отбрасываетъ искры,—производилъ разительный трескъ, отбрызгивая отъ себя віющіяся мол-

ніи; вмѣсто пѣніи витающихъ пернатыхъ, выли бурливые вѣтры, и горестный плачъ поражалъ мой слухъ. Среди сего дремучаго лѣса возвышался кремнистый бугоръ, по отлогости коего струились кровавые ключи, и откуды происходилъ унылый стонъ и скрежетъ терзающагося человѣка" [1422].

Онъ видитъ этого несчастнаго человѣка, у котораго орелъ терзаетъ сердце. Чей-то таинственный голосъ объяснилъ Сезострису, что̀ значитъ это наказаніе: „здѣсь порокъ раскаяніемъ терзается".

Сезострисъ—въ ужасѣ отъ этого зрѣлища; вдругъ вдали онъ видитъ свѣтлый храмъ. Слѣдуетъ описаніе роскоши храма и его великолѣпія. Сезострисъ хочетъ бѣжать къ храму; вдругъ передъ ногами его разверзается бездна и —

„оттуды въ богатой колесницѣ, влекомой Царями, златыми цѣпьми прикованными, выѣхалъ страшный исполинъ" [1423].

Слѣдуетъ описаніе страшнаго, мрачнаго витязя и его свиты:

„За колесницею толпился народъ, подобно морскимъ сварливымъ волнамъ, вопія: *„се богъ Египта грядетъ!"* Тутъ-то (разсказываетъ С.) я вспомнилъ, что съ таковымъ торжествомъ, отягченный побѣдами, я вступилъ въ Мемфисъ [1424] *).

Этотъ исполинъ — прообразъ „всевластнаго Самолюбія—бога міра"; онъ читаетъ Сезострису нравоученія, обличая его гордыню.

Вдругъ всѣ ужасы исчезаютъ —

„внезапу мѣста, ужасомъ наполненныя, въ очаровающей рай прообразились,—гдѣ былъ окровавленный бугоръ, тамъ явился храмъ, изъ разноцвѣтнаго мрамора сооруженный" [1425].

Слѣдуетъ описаніе прекрасной, мирной природы...

Вдругъ Сезостриса стали манить другія красоты, отвлекая его отъ этого храма, —

„Здѣсь видимо сластолюбіе во образѣ прелестной жены; обнявшись съ нѣгою, покоилось на дерновомъ ложѣ; тамъ любовь съ красотою лобзалась; далѣе властолюбіе съ роскошію ненасытность увеселяли" [1426].

И Сезострисъ поддался, было, искушенію—позабылъ свѣтлый храмъ и, стараясь попасть въ царство роскоши и вожделѣній, чуть-было, не упалъ въ бездну... Но двери храма открылись, и оттуда вышелъ старецъ.

„Изъ вратъ сихъ по изумруднымъ ступенямъ сходилъ богоподобный старецъ, сѣдиною мудрости украшенный. Бѣлая, какъ снѣгъ, одежда его отмѣтала сребряные лучи; масличная ветвь препоясывала важный его станъ, сквозь многочисленные лѣта его, почтенными морщинами

---

*) „Сезострисъ тако въѣзжалъ въ Мемфисъ на порфироносныхъ плѣнникахъ. Ро(ена) исторія кн. I, стр. 59, также Геродота, книга II. Смотри: „Храмъ славы" Попе". *Прим. Львова.*

исчисленные, сіяла бодрость, спокойствіе и нѣкое божественное величіе" 1427.

Сезострисъ узналъ въ немъ Зороастра *), который и произноситъ рѣчь:

„О! вы, смертные цари! Вотъ, конецъ вашъ колико бѣдственъ, есть-ли вы заблуждаетесь, и когда плотской человѣкъ пожираетъ въ васъ духовнаго человѣка!.. Зри, юный Сезострисъ, въ самолюбіи ли заключается истинное величіе? и цари суть ли боги, ежели только ядовитая лесть ихъ выхваляетъ? они тогда только могутъ называться земными богами, когда, подражая небеснымъ богамъ въ добродѣтеляхъ своихъ, содѣлываютъ народъ свой щастливымъ... Страсти владыки рождаютъ пороки въ народѣ. Слѣпота его даетъ возрастать безпорядку, которой вѣками должно исправлять! Когда ты готовъ былъ упасть въ бездну золъ, смотри, въ каковомъ состояніи было тогда твое государство!" 1128.

Потомъ Зороастръ раскрываетъ Сезострису, какъ, на самомъ дѣлѣ, печально истинное положеніе Египта, и приводитъ гордаго царя въ отчаяніе,—царь узнаетъ, что вельможи обманывали его, что государство изнурено ихъ корыстолюбіемъ, и гибнетъ отъ нищеты... Онъ убѣждается, что развратъ придворныхъ и лесть отравили его, ослѣпивъ его очи. Теперь только онъ узналъ, что блескъ его величія—только показной, что за этимъ блескомъ скрывается полное паденіе развращеннаго, гибнущаго государства...

Затѣмъ Зороастръ объясняетъ Сезострису, въ чемъ „истинная" слава правителя, и ведетъ его въ „храмъ Истинны". Слѣдуетъ описаніе внѣшности храма, разсужденіе о тлѣнности и ничтожествѣ земного величія. Зороастръ поэтому рекомендуетъ не увлекаться „землей", совѣтуетъ больше думать о душѣ, о Богѣ (приведены по этому поводу цитаты изъ оды „Богъ" Державина).

Слѣдуетъ описаніе внутренняго вида храма—аллегорическихъ фигуръ, изображающихъ „Законъ", „Опытъ", „Здравіе", „Время", „Совѣсть", „Смиреніе", „Справедливость", „Цѣломудріе", „Мудрость", „Сладострастіе", „Порокъ" и пр.

Для примѣра, привожу описаніе изображенія „Природы".

„Увидѣлъ я сей дивный кумиръ, стоящій на бирюзовомъ брусѣ. Оный изображалъ прекрасную жену; густые волосы ея упадали волнами по ея плечамъ; на главѣ ея былъ разноуборный вѣнецъ, увитый всякими цвѣтами. На груди у нее сіялъ зеркальный кругъ, отметающій

---

*) „Хамъ, сынъ, Ноя, по мнѣнію Абенефа, Kirch. loc. pag. 85, былъ наименованъ Зороастромъ и Озирисомъ, что значитъ: *Огонь, разлившійся, или дѣйствующей во всей природѣ.* Александрійская же хронологія даетъ сіе наименованіе Мезраклу, потомку Хамову. Апмекры его называютъ и Озиридомъ, и Зороастромъ. Книга I. См. „Les fables Egyptiens et grécs". par Dom Antoine Joseph Pernety, tom. I pag. 343". *Прим. Львова.*

блѣдный свѣтъ, подобный свѣту луны; изъ-подъ круга сего, среди млекоточныхъ сосудовъ висѣли зернистые класы. Тонкая льняная риза покрывала ея станъ. Загибы сея ризы блистали и златомъ, и серебромъ. Черная перевязь, упадающая съ лѣваго плеча подъ правое, простиралась до самаго ея подножія. Она была вся усѣяна звѣздами и перевита маками; посреди сихъ звѣздъ блистала луна. Сія богиня держала въ правой рукѣ сладкострунную арфу, коей безпрестанно сами собой брящающія струны рождали звонкіе, но пріятные звуки; а въ лѣвой—златую чашу, таинствомъ наполненну, и извившейся вокругъ оной змѣй вздымалъ бодрую главу свою надъ ея крышей. Изъ обуви, обвертывающей ея стопы, проистекало сладчайшее миро, коимъ наполнялся весь храмъ. Зороастръ мнѣ сказалъ: „это—Природа, мать всѣхъ вещей, царица стихій, начальница времянъ, образъ величія Боговъ и *Истины*,—ея вседѣйственность наполняетъ всю Вселенную“ [1429].

Желая представить блаженство добродѣтельныхъ людей, Львовъ рисуетъ такую картину:

„Въ сѣняхъ розовыхъ, ясминныхъ и розмаринныхъ блаженствовали сіи избранные; они облечены были въ свѣтлыя одежды всякаго обычая и состоянія, какъ-то въ царскія, въ жреческія, гражданскія, воинскія и пастушескія... Сіе показывало, что во всякомъ родѣ состоянія можно быть великимъ. Внутреннее веселіе изображалось въ лицѣ каждаго изъ нихъ.

„Огнями добродѣтели сіяло всякое чело. Они мысленно бесѣдовали другъ съ другомъ и восхитительной улыбкой отвѣчали одинъ другому“ [1430].

Изъ многочисленныхъ описаній природы привожу, для примѣра, одно:

„Я чрезъ кристалъ увидѣлъ прекраснѣйшій вертоградъ. Въ немъ рощи златолиственныхъ пальмъ рождали, вмѣсто тѣней, сугубую свѣтлость. Небесный сводъ, изпещренъ будучи огнезвѣздными мірами, подобно горящимъ свѣщамъ, сіялъ непомеркаемымъ свѣтомъ. Тамъ горѣло незаходимое Солнце, повсюду играющая Гармонія, вмѣсто эха, повторяема была райскимъ пѣніемъ; на пестрыхъ крылахъ видимо летающихъ Зефировъ разносилось сладчайшее благовоніе, которое, проницая кристалъ, наслаждала мое обоняніе; разноперыя птицы порхали съ вѣтви на вѣтвь и очаровывали слухъ мой своими раздающимися во храмѣ сладкими голосами; благоуханіемъ дышущіе крины волновались по злачнымъ долинамъ; тихошумныя источники мчали искромѣтныя струи свои по бисернымъ пескамъ и, извиваяся крутыми излучинами, терялись въ пахучихъ рощахъ“ [1431].

Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что, въ литературномъ отношеніи, это произведеніе представляетъ нѣкоторую цѣнность,—авторъ свободно владѣетъ литературнымъ языкомъ и даже, въ обильныхъ описаніяхъ, нѣсколько злоупотребляетъ своимъ искусствомъ. О значеніи этого произведенія въ идейномъ отношеніи говорить мнѣ приходилось выше (стр. 139—140).

Литературная исторія произведенія ясна: идейная сторона его является сплошнымъ общимъ мѣстомъ, впрочемъ, характернымъ для времени (см. выше главу II). Связь съ романомъ Фенелона замѣчается не только въ заимствованіи идей, но и въ заимствованіи содержанія.

Впрочемъ, въ романѣ Фенелона Сезострисъ является только эпизодическимъ лицомъ. Теломакъ съ Менторомъ посѣтили Египетъ: ихъ поразило процвѣтаніе этой страны, управляемой мудрымъ владыкой; Менторъ, по этому поводу, восхваляетъ, въ назиданіе Телемаку мудрыхъ властителей: но, оказалось, при дворѣ Сезостриса не все благополучно,— слишкомъ онъ довѣрялъ своимъ приближеннымъ. И одинъ изъ царскихъ любимцевъ оклеветалъ Телемака и Ментора, и царь этому повѣрилъ.

„Увы, чему не подвержены Государи, восклицаетъ авторъ,—самые мудрые изъ нихъ часто уловляются въ сѣти обмана!..“

Тогда злые льстецы его окружаютъ, а добродѣтельные люди бѣгутъ отъ престола. Когда Сезострисъ узнаетъ о своей ошибкѣ, онъ произноситъ патетическій монологъ: „О, коль нещастны, говорилъ онъ, вознесенные превыше прочихъ человѣковъ. Часто не могутъ они видѣть истины собственными глазами, окружаются людьми, воспрещающими ей проникнуть до самаго Владыки. Всякъ желаетъ обмануть его; всякъ, подъ личиною ревности, сокрываетъ свое властолюбіе. Всѣ являютъ видъ любви къ государю, а любятъ единыя богатства, имъ расточаемыя. Его такъ мало любятъ, что, для снисканія милостей его, льстятъ ему и измѣняютъ.

Когда Сезострисъ умираетъ, — всѣ подданные горюютъ. Его обвиняютъ только въ славолюбіи, основанномъ на стремленіи къ военнымъ побѣдамъ,—въ надменности къ побѣжденнымъ и въ излишней довѣрчивости къ придворнымъ [1432].

Если мы сравнимъ этотъ пересказъ съ повѣстью Львова, мы увидимъ, что нашъ писатель совершенно послѣдовательно подправилъ Фенелона, указавъ на ужасное положеніе государства, владыка котораго въ рукахъ у придворныхъ.

Самая форма произведенія „аллегорическая“ („сонъ“) тоже отвѣчала вкусамъ времени: стоитъ заглянуть въ любой русскій журналъ того вѣка, чтобы найти сколько угодно такихъ „сновъ“, обыкновенно, очень назидательнаго содержанія.

Такъ, названіе произведенія: „Храмъ истины“, при всей своей фигурности, не представляетъ, для того времени, ничего своеобразнаго: авторъ самъ ссылается на поэму Попа. „Храмъ Славы“, какъ источникъ, откуда онъ почерпнулъ нѣкоторыя свѣдѣнія о Сезострисѣ. И въ русской литературѣ подобныя названія были въ большомъ ходу. Перечислю, для образца, нѣсколько:

„Храмъ добродѣтели“ (№ 37), „Храмъ смерти“ (№ 906), „Храмъ фортуны“ (№ 1298), „Храмъ моды“ (№ 1393) *) и др.

Въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ своему произведенію П. Львовъ указалъ тѣ источники, откуда онъ почерпнулъ тѣ, или другія свѣдѣнія, нужныя для него,—здѣсь и Ролленъ, съ его Исторіей, и Pernety („Les fables Égyptiens et grécs“) и Геродотъ, и „Попе“, съ поэмой „Храмъ Славы“ [1433]. На послѣднемъ произведеніи стоитъ остановиться пенадолго.

Произведеніе Попа, во французскомъ переводѣ носящее названіе: „Le temple de la Renommée“, представляетъ собою тоже аллегорическій разсказъ, въ видѣ „сна“, который, якобы, привидѣлся самому автору.

Въ началѣ своего произведенія рисуетъ онъ картину природы — пейзажъ въ томъ слащавомъ духѣ, какой встрѣчался намъ неразъ въ русскихъ повѣстяхъ и романовъ; манера письма—осталась та же самая: „Nous étions alors dans cette saison charmante, où les douces pluies descendent au sein de la terre pour lui redemander la verdure et les fleurs. Déjà les boutons entr' ouverts rendoient hommage aux premiers rayons du jour: déjà la terre se couvrant de rosée payoit un tribut légitime à cette chaleur féconde dont le Ciel l'avoit pénétrée. Cependant les charmes du sommeil avoient suspendu tous mes sens. Les noirs soucis, les inquiétudes, tout jusqu' à mon amour goûtoit avec moi les charmes du repos. (L'aurore naissante mène avec elle les songes véritables. Ils viennent étaler leurs mystères aux yeux de notre ame dans ce tems précieux où le sommeil devenu plus pur et moins terrestre déploie sur nous ses ailes dorées [1434]).

Затѣмъ онъ разсказываетъ содержаніе своего сна: на громадномъ утесѣ высится богатая, величественная башня; трудно добраться до нея по крутизнамъ утеса; онѣ исписаны именами неудачниковъ, не добравшихся до верха. Нѣкоторыя имена почти стерлись—„et l'oeil n'y peut plus retrouver ces noms si fameux dont le bruit remplissoit autrefois toute la terre; ces noms aux quels des Poètes mercenaires avoient promis une eternelle durée“. Далѣе разсказываетъ авторъ о трудностяхъ пути на верхъ утеса. На верху царствуетъ тишина, спокойствіе,—здѣсь стихіи безсильны надъ „храмомъ славы“. Далѣе идетъ описаніе внѣшности храма и тѣхъ скульптурныхъ изображеній, которыя украшаютъ западный фасадъ,—передъ нами проходитъ рядъ античныхъ миѳовъ, воплощенныхъ въ камень рѣзцомъ скульптора (Тезей, Персей, Алкидъ, Орфей, Амфіонъ и др.). Восточный фасадъ блещетъ бо̀льшею роскошью и пестротой,—здѣсь изображены великіе люди восточныхъ культуръ (Нинъ, Киръ, Зороастръ, Маги и Брамины, Конфуцій и др.). Южный фасадъ посвященъ Египту (мудрецы египетскіе, Сезострисъ): „Au milieu d'eux, le grand Sézostris frappe la vue. Les Rois qu'il a vaincus sont

*) Выше, разбирая романъ Хераскова „Полидоръ“, мы наталкивались тоже на такіе-же образы („храмъ мудрости“ стр. 550; „храмъ славы“, „храмъ натуры“ — стр 558). До временъ Гоголя сохранилось въ русскомъ обществѣ пристрастіе къ такимъ аллегоріямъ (ср. „манилонскій храмъ уединеннаго размышленія“).

ses esclaves. Leur tête est encore ornée du diadême, et cependant ils *). portent son trône sur des brancards dorés. Le main de leur souverain s'est armée dé l'arc et du redoutable javelot; ses membres démesurés sont couverts d'une cuirasse d'or: à ses côtés sont des obélisques qui se répetent entre chaque statue, et le reste du mur est couvert de savans hiéroglyphes". Сѣверный фасадъ украшенъ изображеніями Заллюксиса, Одина, скиѳскихъ воиновъ, друидовъ... Далѣе идетъ описаніе внутренняго вида этого великолѣпнаго храма! „...Les portes s'ouvrent, les voûtes immenses paroissent à ma vue, des colonnes innombrables les soutiennent: leurs fustes ornés de lauriers et couronnes par des aigles, offrent aux yeux le transparent béril, dont ils sont composés, ainsi que les murs qui forment cette riche enceinte; les frises de ces colomnes et leurs chapiteaux de l'or le plus pur. Les pierres le plus brillantes sont enchassées dans l'or du plafond. Une multitude de lampes descend de ce nouvel Empyrée et la lumière qu'elles répandent ne doit jamais finir. Tel fut pour moi le premier coup d'oeil de cet auguste Temple" [1435]. Самое послѣднее мѣсто въ храмѣ занимали изображенія тѣхъ великихъ людей, которые славу видѣли въ завоеваніяхъ (Александръ Македонскій, Юлій Цесарь), выше поставлены защитники отечества (Эпаминондъ, Тимолеонъ). Далѣе видитъ авторъ изображеніе мудраго царя Марка Авреліа, потомъ Сократа, Аристида. Въ самомъ святилищѣ храма увидѣлъ авторъ Гомера, Виргилія, Пиндара, Горація, Аристотеля, Цицерона; шесть колоннъ, на которыхъ находились изображенія этихъ шести писателей, окружаютъ тронъ, на которомъ восѣдаетъ сама слава (слѣдуетъ подробное описаніе трона, купола, самой богини). Elle est telle que les anciens Poètes nous l'ont décrite: ses bras et ses pieds sont couverts d'ailes, elle est pourvue de langues sans nombre; il en est ainsi de ses yeux, et la même multitude d'oreilles écoute tout ce qui se dit dans l'Univers" [1436].

Потомъ авторъ видитъ, какъ великолѣпный храмъ наполняется людьми, алчущими славы: являются ученые, воины, отшельники, люди „хорошаго тона", приходятъ и злодѣи... „Слава" принимала къ себѣ однихъ, прогоняла другихъ. Энергично обличала она „воиновъ", которые думали потоками пролитой крови прославить себя: „Victimes insensés de l'ambition, dit la Déesse, d'un ton sévere, votre espoir sera trompé: vos actions seront couvertes d'un éternel oubli. Allez vous plonger pour jamais dans un sommeil léthargique avec les tyrans, dont les noms sont effacés de la mémoire des hommes" [1437].

Я оставлю въ сторонѣ разсказъ о дальнѣйшихъ чудесныхъ явленіяхъ въ храмѣ Славы, о разсужденіяхъ самого автора и, въ заключеніе, приведу еще одинъ образчикъ того, какъ рисовалъ онъ пейзажи: „La rosée vient de couvrir la terre; un instinct secret les en avertit; les colonies naissantes osent s'exposer au grand air: tout sort, et les premiers rayons de l'aurore voient les nombreux essains errer dans les campagnes et traverser les ruisseaux auxquels leur multitude ravit encore une partie du jour naissant.

---

*) „Hérodote décrit ainsi une statue de Célestrès qui subsistoit encore de son tems".

„Elles se fixent enfin, et recueillent dans le calice des fleurs l'ambroisie que le Printems leur a préparés. Cépendant elles varient leurs plaisirs; elles volent d'une fleur à l'autre, et tout le champ retentit de leur bourdonnement confus“ [1438].

Изъ этого подробнаго пересказа произведенія Попа видно, что Львовъ, знавшій это сочиненіе, даже цитовавшій его, вѣроятно, нѣкоторое вліяніе англійскаго поэта на себѣ испыталъ,—онъ могъ у Попа позаимствовать форму произведенія (аллегорическая повѣсть—„сонъ“ философскаго характера), могъ взять и образъ Сезостриса, везомаго царями... Основы міросозерцанія русскаго автора (истинная слава—не въ воинскихъ подвигахъ; царь долженъ быть близокъ къ народу и не подчиняться придворнымъ), равно какъ и манера его рисовать пейзажи (колоритъ слащавости)—все это было сплошными „общими мѣстами“, которыя встрѣчаются не у одного Попа... Любопытна, однако, та страстность политическихъ интересовъ, заимствованныхъ отчасти у Фенелона и Хераскова, которая была, несомнѣнно, обострена впечатлѣніями русской дѣйствительности,—девяностые годы XVIII-го вѣка могли этимъ „общимъ мѣстомъ“ придать и жизненность, и страстность...

Произведеніе И. Захарьина: *„Арфаксадъ, халдейская повѣсть“* [1439] представляетъ собою явленіе загадочное во многихъ отношеніяхъ. По типу своему, оно лишь отчасти примыкаетъ къ группѣ романовъ, написанныхъ въ духѣ фенелоновскаго „Телемака“; литературная исторія этого произведенія тоже полна таинственности. По размѣрамъ, этотъ романъ самый объемистый во всей русской литературѣ XVIII-го вѣка: въ шести томахъ, изъ которыхъ онъ состоитъ, находится около *двухъ тысячъ* страницъ.

„Издателемъ“ романа былъ „козловскій однодворецъ“—Петръ Захарьинъ *); если вѣрить предисловію, онъ не былъ авторомъ этого произведенія, а лишь *„редакторомъ“* одной старой рукописи и *издателемъ* ея **).

---

*) Можно думать, что это—тотъ-же Захарьинъ, который сочинилъ и „Приключенія Клеандра“: имена обоихъ Захарьиныхъ начинаются съ буквы „П“. Мѣсто изданія второго изданія романа: „Арфаксадъ“ помѣчено городомъ „Николаевъ“ (Соп. 2063); тамъ же, въ Николаевѣ, напечатанъ былъ и романъ: „Приключенія Клеандра“.

**) Любопытнымъ представляется предисловіе ко *второму* изданію: „Нужнымъ почитаю возвѣстить почтеннѣйшимъ читателямъ, что сіе второе изданіе есть ничто иное, какъ преобразованіе сущности дѣяній и преставленіе дѣйствующихъ лицъ съ одного мѣста на дру-

Начинаетъ авторъ свое повѣствованіе о происхожденіи романа издалека: онъ говоритъ объ угасшихъ культурахъ древняго востока и Египта, выражаетъ удивленіе по поводу того, что теперешніе жители Египта не похожи на предковъ (историческія обстоятельства—„даже нравы и умы сего народа столько перемѣнили, что они нынѣ сдѣлались грубы, невѣжды, безпечны, любострастны и паче ословъ лѣнивы“); это объясняетъ онъ вліяніемъ историческихъ причинъ *). Затѣмъ онъ говоритъ о богатой Александрійской библіотекѣ, о томъ пожарѣ, который уничтожилъ ее при взятіи города Сарацинами. Одинъ изъ знатныхъ и ученыхъ Сарацинъ, юноша Абдулъ-Омиръ, большой любитель литературы, спасъ отъ пожара нѣсколько книгъ изъ этой библіотеки; между ними и исторію Арфаксада, „на сорока десяти мѣдныхъ дщицахъ Халдейскими буквами изваянную“. По его желанію, это произведеніе съ халдейскаго языка было переведено на арабскій какимъ-то евреемъ-христіаниномъ Прокопіемъ. Потомки Абдула-Омира приняли христіанство, потомъ, тѣснимые войсками Тамерлана, удалились въ горы Кавказа и тамъ опять приняли магометанство; здѣсь, на Кавказѣ, кѣмъ-то „повѣсть объ Арфаксадѣ“ переведена была на татарскій языкъ. Отецъ Захарьина долго жилъ уже въ Россіи, будучи плѣнникомъ; здѣсь принялъ онъ христіанство. Сыну своему, автору предисловія, онъ неоднократно хвалилъ „повѣсть объ Арфаксадѣ“, сохранившуюся у него отъ предковъ въ татарскомъ переводѣ. Онъ часто перечитывалъ ему, еще ребенку, отрывки изъ этого произведенія, „весьма похвалялъ, сказывая, что въ немъ содержится нѣкій скрытный разумъ“. И. Захарьинъ говоритъ, что, подъ вліяніемъ этихъ отцовскихъ разсказовъ, съ дѣтства уже заинтересовался онъ содержаніемъ

гое. Къ сему подвигнули меня почти непростительныя погрѣшности въ книгопечатняхъ, а паче благоволительныя замѣчанія достойныхъ уваженія мужей, преисполненныхъ любви къ отечественному слову, добродѣтели и ученію. Согласуяся съ истинною ихъ совѣтовъ, старался я, по возможности, очистить отъ грубости типографическихъ и собственныхъ моихъ ошибокъ; а пятая и шестая части, яко безъ моей воли выданныя, со всѣмъ перемѣнены и внесены мысли другія; ибо они ни малой связи съ предшедшими не имѣютъ“. Эта странная судьба 5-ой и 6-ой части совершенно не выяснена въ дальнѣйшемъ текстѣ предисловія.

*) „Когда представимъ себѣ, какое вліяніе дѣлаетъ на человѣческую душу перемѣна жизни, образъ правленія и введеніе новыхъ обыкновеній, то принуждены будемъ согласиться, что перемѣна во нравахъ должна быть неотмѣнна“.

старой таинственной рукописи. По просьбѣ его, отецъ началъ, было, переводить повѣсть съ татарскаго языка на русскій, но, будучи „весьма недалекъ въ Россійскомъ языкѣ“, переводилъ съ трудомъ, и потомъ бросилъ эту работу. Много лѣтъ прошло,—и П. Захарьину однажды, совершенно случайно, удалось найти между вещами отца старую тетрадь, на которой рукою отца было надписано: „*Арфаксадъ, Халдейская повѣсть*“. Эта находка его обрадовала, и онъ принялся за чтеніе этого произведенія, о которомъ онъ смутно помнилъ еще съ дѣтства. „Хотя сущность содержанія и довольно понималъ, однакожъ слогъ онаго показался мнѣ крайне темнымъ и несоотвѣтствующимъ важности идеи, а, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, неправильнымъ словописаніемъ заглушалъ пріятность Авторовой мысли и обезображивалъ картины“. П. Захарьинъ рѣшился передѣлать стиль „и все то преложить, хотя некраснорѣчивымъ, однакожъ внятнымъ слогомъ“. Въ результатѣ его трудовъ, и получилась эта книга, по признанію редактора-издателя, содержащая, однако, немало погрѣшностей: „прошу не слишкомъ строго взыскивать въ погрѣшностяхъ по причинѣ, что не довольно переводчикъ (т. е. отецъ П. Захарьина) исправно зналъ Россійской языкъ, и Грамматическія правила совсѣмъ были ему неизвѣстны; но и самъ издатель Россійской грамотѣ обучался у сельскаго дьячка“. Что сознавалъ самъ Захарьинъ и счелъ нужнымъ „извиняться“.

Такова „прансторія“ повѣсти, если, повторяю, вѣрить объясненіямъ П. Захарьина. Хотя вся эта исторія рукописи, имъ разсказанная, очень смахиваетъ на вымыселъ,—но, съ другой стороны—1) стиль повѣсти носитъ такія характерныя особенности, что мы, дѣйствительно, ясно различаемъ полуграмотную основу произведенія—и позднѣйшія наслоенія и исправленія этой основы: даже два стиля ясно различаются въ произведеніи *)—и 2) по содержа-

*) Въ романѣ встрѣчаются слова и выраженія, мало употребительныя, или совершенно неупотребительныя въ XVIII в. и даже невразумительныя. Напр.: „обнощевать“ = ночевать; „утеклецъ“ = бѣглецъ; „плѣсни“ = ноги; „подсада“ = засада; „кличея“ = глашатай; „воспящая“ = препятствуя; „швеніе“ = шитье; „горличища“ = молодыя горлицы, птенцы; „изъ густой лывы скрытно подшедъ“; „не укоснѣлъ терзать стегно ея“; „зѣльная свирѣпость“; „тяжестная“ сѣкира; опасность „надносила ударъ сей“; „немоществованіе“ = болѣзнь; „достолѣпный“, „усильнѣе прочихъ“, „завременно“, „стремительство“; „поразилъ сулицею своего“, „низкодушіе“; „безвмѣстная оглядчивость“ = неумѣстная осторожность; „урекать“ = упрекать; „лѣвое его рамо“; „исхитя“ = выхватя; „ометы“; „рало“, „прислица“, „ликовствующіе“, „уразительно“, „увясло“ = головная повязка; „львичища“ = львята; „покоевое платье“;

нію своему, это произведеніе до того необычно, что въ исторіи не только русскаго, но и западно-европейскаго романа, оно занимаетъ совершенно обособленное мѣсто,—это скорѣе, по тону, библейскій разсказъ *), чѣмъ героическій „авантюрный“ романъ; тѣмъ рѣзче на этомъ эпическомъ фонѣ выдѣляются политическія разсужденія въ новомъ вкусѣ (въ духѣ Фенелона),—очевидно, наслоившіяся позднѣе,—описанія и монологи въ вкусѣ новаго романа.

Чтобы дать представленіе о содержаніи романа, привожу, безъ сокращенія, подробный проспектъ двухъ первыхъ томовъ, приложенныхъ самимъ редакторомъ къ его роману.

Часть I. Книга I. Асуиръ, сынъ Калитановъ, управляетъ народами, въ вершинахъ великаго Ефрата поселившимися. Слава о благоденствіи сей мирной области привлекаетъ къ соединенію съ ними окрестныя племена. Прибытіе въ жилища сіи Баала, наружныя его свойства и легковѣрное довѣріе Асуирово. Баалъ ввергаетъ въ семейство сѣмя вражды и несогласія. Явный мятежъ противъ Асуира, воздвигнутый Бааломъ и его послѣдователями. Баалъ съ отпадшими отъ Асуира отдѣляется отъ общаго селенія, и поселяетъ свои кущи по другую сторону Ефрата, откуда, враждебнымъ образомъ нападая, похищаетъ стада, женъ и убиваетъ себѣ подобныхъ. Злодѣянія въ тѣ времена еще неслыханныя! Асуиръ посылаетъ единороднаго сына своего Арфаксада къ Баалу—или смягчити его увѣщаніями, или отразити силою. Справедливыя изреченія Арфаксада и строгостныя Бааловы возраженія. Злобное Баалово покушеніе на жизнь Арфаксадову; его пораженіе; битва Арфаксадовыхъ юношей съ мятежническою толпою; прозорливая предосторожность Асуирова въ расположеніи общей безопасности. Сасавасаръ занимаетъ важной переходъ чрезъ рѣку Ефратъ; братъ его Еліафъ скрывается въ разсѣлинахъ водопада. Валіамъ подкрѣпляетъ отрядъ Арфаксадовъ. Баалъ съ отборною толпою переходитъ чрезъ Ефратъ въ намѣреніи напасть на Асуировы селенія, и тамо отъ Сасавасара совершенно разбитый, удаляется внизъ Ефрата. Арфаксадъ, сражаясь съ Бааловыми послѣдователями, подвергается опас-

---

„недовѣдѣніе“ = недоумѣніе; „ложница“ = спальня; „людовиды“ = обезьяны; „побочная храмина“; „боль въ стомахѣ“ = въ желудкѣ; „дилимбры“ — „родъ древнихъ языческихъ монастырей“ (объясн. Захарьина); „воздвигла“ = подняла; „разлѣненіе“; „бракоокрадующихъ“; „ялися бѣгу“ = предались бѣгу. Быть можетъ, эти „выдуманныя“ слова, введены, какъ въ романахъ Хераскова (стр. 556) ради „высокаго стиля“.

**) Къ тому же имена главныхъ героевъ звучатъ по библейски. Въ книгѣ Бытія (гл. 10, ст. 22) указано, что сыновьями Сима были Ассуръ и Арфаксадъ; объ Арфаксадѣ говорится и въ 11-ой главѣ (ст. 12). Въ главѣ 14-ой ст. 2 упоминается о войнѣ съ царемъ Белою; одинаково-звучащее имя Ваалъ тоже нераз упоминается въ Библіи (напр., кн. Іисуса Навина, Гл, 6 ст. 25—32). Названіе Египта въ романѣ Захарьина тоже библейское—„Месраимъ“; Аваддонъ—тоже имя библейское.

ности. Асараданъ имъ поражается смертно. Язвенный отъ его руки Аваддонъ, со многими другими, достается въ плѣнъ. Торжественное погребеніе съ обѣихъ сторонъ убитыхъ. Посольство оставшихся безъ начальства мятежниковъ, о ихъ помилованіи. Переселеніе ихъ въ горы. Отправленіе Аваддона, подъ смотрѣніемъ Арфаксада, къ поселенію съ его сообщниками въ страны Полуденныя.

Книга II. Асуиръ избираетъ пятьдесятъ мужей для всегдашняго совѣтованія объ общественныхъ дѣлахъ; опредѣляетъ частныхъ начальниковъ, для управленія маловажныхъ дѣлъ, назначаетъ число воинскаго отряда къ нужнымъ предосторожностямъ въ мирное и къ отраженію враговъ своихъ въ смутное время. Онъ созидаетъ нѣкоторой родъ воинскаго укрѣпленія, для обезопасенія женъ, дѣтей и скотовъ въ случаѣ непріятельскихъ нападеній и опредѣляетъ надъ всѣмъ симъ особенныхъ начальниковъ отлича ихъ ободрительными почестьми. Прибытіе Самегара къ Асуиру. Самегаръ повѣствуетъ ему съ начала своей жизни, какимъ образомъ онъ благодѣтельнымъ пустынникомъ воспитанъ; обрѣтеніе его въ густотѣ древесъ глубокаго лѣса; теплое его въ воспитаніи усердіе. Пустынникъ, коего имя Филосъ, печется о его просвѣщеніи. Онъ возводитъ его на гору, къ воздвиженному тамо жертвеннику. Входъ Филоса въ зданіе, куда Семегару воспрещено слѣдовать. Филосъ воспрещаетъ ему излишнее любобытство, показываетъ тонкимъ лучемъ красоту природы и ея Творца. Обрѣтеніе на брегахъ Инда юныя Семеніи; ея невѣжество.

Книга III. Самегаръ дѣлаетъ нѣкоторыя мудролюбивыя замѣчанія на произшедшія въ обществѣ Асуировомъ по поводу Баалова коварства замѣчанія: по томъ продолжаетъ свое повѣствованіе, коимъ образомъ старался онъ обучить Семенію устнымъ объясненіямъ. Нѣжная ихъ, одинъ къ другому, склонность; нравственныя Филосовы обѣимъ имъ наставленія; Самегаръ впадаетъ въ опасность быть поражену барсомъ; его оплошность и Филосово благовременное ему вспомоществованіе; неудовольствіе Филосово о семъ его поступкѣ; разсужденіе о дерзости и робости; Филосъ повѣствуетъ о нѣкоторыхъ до сего предмета относящихся приключеніяхъ; Филосъ воздвигаетъ лѣтнюю сѣнь, украшаетъ ея внутренность и ограждаетъ новымъ овощнымъ садомъ; восходитъ съ ними при наступленіи весенняго равноденствія на гору; они готовятся къ молитвословію; Филосъ удаляется въ каменное зданіе, откуда исходитъ облеченный въ новое одѣяніе; за нимъ слѣдуетъ неизвѣстный и чуднымъ одѣяніемъ украшенный старецъ.

Часть II. Книга IV. Самегаръ продолжаетъ свое повѣствованіе, что по приближеніи чуднаго мужа совершается отъ нихъ съ Филосомъ общая жертва. Они вводятся всѣ во внутренность дома. Встрѣчены обоего пола отроками. Самегаръ и Семенія введены въ великолѣпный храмъ. Оба старца отъ нихъ внутрь завѣсы удаляются. Здѣсь наединѣ примѣчаетъ онъ различные на стѣнахъ виды, которыхъ онъ не понимаетъ; потомъ открывается священная завѣса; оба старца въ великолѣпной одеждѣ представляются. Бракъ его съ Семеніею; торжество онаго и другія, для Самегара, чудныя явленія.—Зефуръ есть начальный жрецъ сего уединеннаго жилища. Его вседневныя упражненія и разныя разсужденія. Ихъ обѣихъ на нѣкоторое время разлучаютъ. Саме-

гаръ возвращается съ Философомъ. Семеніяжъ остается при Зелфѣ. Общая ихъ печаль. Ему позволено чрезъ нѣсколько дней видѣться съ Семеніею. Онъ обученъ употребленію буквъ. Разныя обстоятельства. Зельфа пріемлетъ въ обоихъ ихъ участіе. Странная повѣсть объ Австраніи: удивленіе Семеніи при видѣ плавающихъ по водамъ. Они преступаютъ данное имъ предписаніе.

Книга V. Зельфа примѣчаетъ непраздность Семиніи урекаетъ и изобличаетъ въ ея преступленіи; она открываетъ обонмъ старцамъ о беременности Семиніи; осторожный ея въ семъ поступокъ. Семинія производитъ на свѣтъ сына: Зефуръ въ Семиніи обрѣтаетъ дщерь свою; опасность, въ которую поверженъ былъ сей старецъ при семъ встрѣченіи; благодарное моленіе въ храмѣ о рожденіи сына; онаго обрядъ, разные виды на стѣнахъ онаго. Зефуръ открываетъ Зельфѣ, что Самегаръ есть сынъ ея; его повѣствованіе о произхожденіи своемъ и родителей Зельфы; Исагоръ царствуетъ въ Евиніи. Паленоръ, великій жрецъ въ той странѣ, есть родитель Зефура; Вадиманъ, сынъ Исагоровъ, имѣетъ тѣсную дружбу съ Зефуромъ. Кадисимъ, любимецъ Исагоровъ, обольстя его, управляетъ мучительски народомъ; Видиманъ его ненавидитъ, но внезапно влюбляется въ его дщерь Брузиллу; хитрое угощеніе; Кадисимово свойство и мужество сей его дщери; общій мятежъ противу Кадисима; расхищеніе его имѣнія; плѣнъ всѣхъ домочадцевъ; печаль Вадиманова о потери своей любезной Брузиллы и утѣшеніе отъ друзей его.

Книга VI. Мятежъ наносить въ Виніи общую опасность. Признаніе Вадиманова Паленару въ его страсти къ Брузиллѣ; Паленарово и его разсужденія; Кадисимъ отправленъ въ заточеніе; сообщники его истязуемы; разныя злоупотребленія; смерть Исагорова; общее волненіе народа; старѣйшины рѣшили избирать царя; Вадиманъ отъ наслѣдія отъуждается и уступилъ право свое народу; народъ требуетъ права къ избранію достойнаго. Паленаръ сильными съ Философомъ словопреніями премогаетъ противную сторону; Вадиманъ вступаетъ въ правленіе; разныя его заведенія; прощеніе виновныхъ; Брузилла въ мужескомъ одѣяніи предъ него является; повѣствуетъ, коимъ образомъ она спаслась отъ мятежическихъ преслѣдованій. Паленаръ возвѣщаетъ, что она не есть дщерь Кадисимова: кто были ея родители и какимъ образомъ онъ обще съ Ингулою, ея матерью, похитилъ общее всѣхъ ихъ утѣшеніе: сомнѣніе въ истинѣ сего Брузиллы и отправленіе для изысканія о точности сего произшествія къ Гангрядамъ посольства.

Романъ Захарьина захватываетъ собою самое пестрое содержаніе, но основная тема опредѣляется довольно ясно,—это печальная картина паденія человѣчества, раскрытая на судьбѣ того народа, которымъ управлялъ Ассуиръ. Романистъ рисуетъ еще тѣ блаженныя времена, когда этотъ народъ жилъ чистой первобытной жизнью и управлялся патріархами,—словомъ, изображаетъ тотъ моментъ, который въ Библіи совпадаетъ съ эпохой Авраама и Лота. Добродѣтельнымъ правителемъ-отцомъ выведенъ

мудрый старецъ Ассуиръ. У него чувствительный, хотя и храбрый, и энергичный, сынъ Арфаксадъ. Подданные Ассуира еще не знали тогда ни войны, ни оружія... И вотъ, является къ нимъ Баалъ, честолюбивый эгоистъ, врагъ патріархальнаго строя, сторонникъ деспотическаго управленія народомъ.

Нѣсколько въ тѣни выдвигается образъ другого мятежника—Аввадона, который, въ противоположность Баалу, стоитъ за полную вольность,—тяжки кажутся ему узы даже патріархальнаго строя.

Все это проясненіе „личнаго начала" вноситъ съ собою въ жизнь народа первое зерно раздоровъ, мятежей; начинаются войны; изобрѣтается оружіе... Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ противовѣсъ этому оппозиціонному теченію, и государственная власть организуется: вводится правильное устройство войскъ, устанавливаются государственныя учрежденія. Власть „патріарха", мало по малу, переходитъ во власть „государя", именно, какъ результатъ борьбы съ двумя опредѣлившимися теченіями—къ деспотизму (Баалъ) и безначалію (Аввадона).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, прежнія отношенія власти къ народу то же измѣнились къ худшему: власть отдалилась отъ народа, и между ними стали стѣной вельможи и придворные; нападенія на нихъ, въ духѣ XVIII-го вѣка, довольно энергичны въ романѣ; слабый царь, слишкомъ довѣряющій своимъ приближеннымъ и незнающій народа, тоже неразъ вызываетъ къ себѣ самое рѣшительное осужденіе.

Въ результатѣ, отношеніе автора къ людямъ вообще—самое отрицательное:—по его словамъ, даже змѣи въ обществѣ подобныхъ себѣ выше людей:

„Какой стыдъ дѣлаетъ сіе ядовитое сонмище благородному человѣческому роду, въ которомъ, кромѣ мятежей, распри, вражды, ненависти, обмановъ, наглостей и кровожелательства, ничего почти не видно. Рѣдко проскальзываютъ такія души, которыя горятъ истинною любовью къ человѣческому роду". „Зло царствуетъ самодержавно во всей вселенной, неизъемля никакого рода и состоянія. Удары онаго всюду одинаковы; коварство, зависть, насиліе и другіе бичи человѣческаго рода несвойственны обитать между бѣдными хижинами... Нѣтъ! они тиранническую власть свою повсюду распростираютъ. И здѣсь тожъ господствуетъ лесть, обманъ и насиліе..."[1110].

И вотъ, всѣми помыслами своими тянется авторъ къ прежнимъ временамъ, когда человѣкъ жилъ одной жизнью съ природой; оттого авторъ—сторонникъ „естественнаго права": для него уставы природы выше уставовъ человѣческихъ.

Такова основная тема романа, то всплывающая на поверхность разсказа, то теряющаяся подъ массой разныхъ запутанныхъ мелочей, вставныхъ эпизодовъ, описаній...

Съ особой любовью авторъ останавливается на обрисовкѣ первобытнаго человѣка: то изображаетъ онъ дикарку, въ сердцѣ которой пробуждается невѣдомое ей раньше и, потому непонятное, чувство любви,—то онъ слѣдитъ за исторіей развитія этого чувства въ сердцахъ двухъ невинныхъ, первобытныхъ людей; изображаетъ ихъ полное изумленіе, когда у нихъ рождаются дѣти. Другой разъ онъ выводитъ наивную дѣвушку, которая не знаетъ еще, что она—„дѣвица"; ей подъ пару наивный юноша, который не знаетъ, что онъ—„мужчина"; горлицы учатъ ихъ любви:

„...орошенныя слезами ланиты приложила она къ лицу моему и, лобызая пламенными устами, такія произвела во мнѣ движенія, которыхъ до того времени еще не ощущалъ. Я отвѣтствовалъ ей одними только вздохами, нѣжными объятіями и взаимными лобзаніями. Между тѣмъ, предъ нашими глазами и только въ нѣсколькихъ отъ насъ ступеняхъ ниспустились съ воздуха на усыпанную пескомъ стезю два горличища (sic). Нѣжность, съ какою ласкался самецъ около своей любезной, меня восхитила... Онъ выступалъ иногда предъ нею гордыми шагами, величаво подъемля вверьхъ главу свою и расширяя хвостъ, иногда съ нѣжнымъ униженіемъ наклоняясь, старался тихо оправлять ея перія. Потомъ слѣдовали томные вздохи, лобзанія и самое высшее услажденіе". Зрѣлище сіе умножало нашъ пламень; мы слѣдовали ихъ примѣру. Я обнялъ любезную Семиніо съ восхищеніемъ, лобзая безпрерывно, и, отъ взаимнаго соотвѣтствія, содѣлался дерзновеннѣйшимъ. Сама природа научила насъ достигнуть до вышшей степени любовныхъ утѣхъ. Я покорилъ слабое сопротивленіе моей любезной, и торжествовалъ"[1441].

Восхваленіе пустыни[1442] и жизни пастуховъ[1443], или отшельниковъ-мудрецовъ[1444]—тоже часто повторяется въ этомъ романѣ; говоритъ авторъ и о мудрыхъ брахманахъ[1445], о дикой жизни горскихъ народовъ[1446] и пр.

Хотя и въ этомъ быту, сохранившемъ остатки прежней первобытности, видитъ онъ уже слѣды развращенности, тѣмъ не менѣе, онъ дикимъ народамъ сочувствуетъ больше, чѣмъ „культурнымъ", живущимъ государственною жизнью: вѣчные раздоры, народные мятежи[1447], кровопролитныя войны[1448],—вотъ, о чемъ приходится повѣствовать ему, когда онъ оставляетъ пастуховъ и мудрыхъ отшельниковъ, и начинаетъ говорить о народахъ, узнавшихъ цивилизацію.

Здѣсь придворные строятъ козни и плетутъ интриги[1449]; на-

роды, испорченные культурой, всегда дерзки и наглы даже по отношенію къ лучшимъ владыкамъ [1450]. И тогда—„разъ человѣкъ потерялъ естественное влеченіе къ добру“, говоритъ авторъ,—разъ онъ наклонилъ свою волю въ злую сторону,—этотъ безпорядокъ можетъ быть, до нѣкоторой степени, исправленъ только мудрыми учрежденіями [1451],—къ такому компромиссу приходитъ онъ, разочаровавшись въ людяхъ.

Врагъ вражды, кровопролитія и насилій, авторъ прославляетъ „миръ, тишину, единомысліе и взаимную любовь“ [1452].

Идеалы автора возвышенны и гуманны—

„Даровать виновному прощеніе, превратить изъ врага въ искренняго друга и, вмѣсто злобы и вражды, насадить плоды любви и согласія,—есть то, что, по истинѣ, можетъ назваться дѣйствіемъ великаго духа и не ложнымъ блистаніемъ непомерцаемой славы“ [1453].

Поэтому онъ—противъ „пылкихъ и гибельныхъ мечтаній, разрушавшихъ до нынѣ общее наше спокойствіе“ [1454].

Подобно Руссо, онъ—поклонникъ „природы“; въ ней онъ видитъ проявленіе высшей мудрости и мощи. Одинъ благоразумный воспитатель въ его романѣ такъ воспитывалъ юношу,—

„просвѣщая мой разумъ, возвышая мою душу къ горнему умозрѣнію, предъ юное мое понятіе представлялъ зрѣлище природы, какъ сущее зерцало неисповѣдимыя силы и премудрости всемогущаго Существа“.

„Описывая красоту и дѣятельность различныхъ веществъ, прославлялъ предо мною художественную десницу, которая все то изъ ничего привела въ существованіе,—такими легкими стезями приводилъ онъ меня къ познанію непостижимыхъ истинъ“ [1455].

Быть можетъ, преклоненіе автора передъ природой объясняетъ, почему такъ много описаній различныхъ пейзажей въ его романѣ: почему неразъ вводитъ онъ картины бури, грозы, горной природы, долины Инда, утра, озера и др.

Нѣкоторыя изъ этихъ описаній очень красивы и, главное, не шаблонны,—ихъ не встрѣчалъ я въ другихъ псевдоклассическихъ романахъ.

Привожу примѣры.—

„Прошедъ сею унылою дебрею нѣсколько саженъ, внезапно вышли мы на отверзтый берегъ великаго Инда. Я пораженъ былъ зрѣлищемъ, до того времени взору моему невстрѣтившимся. Сей возвышенный брегъ, надъ котораго крутизною мы, остановясь, возсѣли, былъ ни что иное, какъ разновидная громада утесистыхъ скаловъ (sic), одинъ надъ другимъ возвышающихся, которыхъ подошву, или основаніе, омывали пѣнящіяся струи стремительнаго Инда; откуда любопытному взору открывалось великое пространство земной поверхности, усѣянной многоразличными предметами. Самый Индъ занималъ

довольную обширность, и, при восхожденіи царствующаго свѣтила, казался блистающимъ и животворнымъ стекломъ, которое въ своихъ струяхъ изображало величественное и прелестное въ превратномъ видѣ подобіе всѣхъ по сушѣ съ нимъ сосѣдствующихъ предметовъ—горъ, лѣсовъ, и прошлаго (прочаго?). Многообразные, разной величины и видовъ, острова казались вновь выходящими изъ нѣдръ водъ землями; весь противный берегъ представлялся взору собраніемъ разнородныхъ красотъ природы. Индѣ одѣвался брегъ густыми и надъ самую воду повисшими древами, индѣ украшался онъ гордыми и возвышающимися до облакъ каменными утесами; индѣ усыпалъ его желтовидный песокъ, а болѣе пространныя и окомъ человѣческимъ недосязаемыя долины, по разнымъ мѣстамъ многими дубровами и слегка возвышенными холмиками украшенныя, по коимъ паслись стада, мнѣ до того времени неизвѣстныхъ, животныхъ. Я долгое время сидѣлъ, погрузясь въ пріятное забвеніе, симъ плѣнительнымъ зрѣлищемъ вліянное, и вкушалъ всю ту сладость чувствованія, которое можетъ родить въ ощутительномъ сердцѣ красота роскошествующей природы" 1456.

„...Крайне я удивился, увидѣвъ, что задняя его стѣна стояла на прекрасномъ брегу глубокаго и обширнаго озера, котораго стороны отовсюду прикрыты были густымъ и непроницаемымъ кустарникомъ, и котораго воды толь были прозрачны, что, не взирая на нарочитую онаго глубину, все дно такъ было видно, что самые малѣйшіе предметы, нако-то камышки, и самыя едва примѣтныя песчинки были видны. Я довольно времени утѣшался, взирая на плавающихъ въ семъ озерѣ стадами различныхъ рыбъ, изъ которыхъ иные были нарочитой величины, отъ малѣйшаго которыхъ движенія меньшихъ родовъ рыбы мгновенно, какъ искры стремительной молніи, въ обширности водъ разсѣвалися..." 1457

„...вмѣстѣ ихъ во внутренность горъ, гдѣ, вмѣсто плодоносныхъ Ефратскихъ долинъ, грубыя юдоли облекались терніемъ и волчцами; гдѣ, вмѣсто тѣнистыхъ древесъ, дикія скалы горъ отъ зной осѣняли, которыхъ верхи вѣчный снѣгъ, покрывая, ниспускалъ въ долы мутную и илистую воду, и гдѣ сама природа казалась умирающею..." 1458

Нельзя отрицать того, что во всѣхъ приведенныхъ „описаніяхъ", въ большей, или меньшей степени, чувствуется „настроеніе"—проясненіе того Naturgefühl, котораго не было еще у настоящихъ псевдоклассиковъ.

Въ этомъ романѣ природа сочувствуетъ людямъ, а иногда чувства людей и природы сливаются въ одно красивое и гармоническое цѣлое.

Такова, напримѣръ, картина молитвы одного изъ дѣйствующихъ лицъ при восходѣ солнца—

„странное исступленіе объяло всѣ его чувства,—онъ казался быть внѣ себя, но потомъ сей сумракъ нечувствительности, по малу, началъ разсыпаться, разстроенныя души силы приходили въ движеніе, разумъ озарился и сладостное утѣшеніе напояло его душу. „Румяновидный востокъ превращался въ свѣтлый, и прозрачныя облака, текущія на

западъ, предвозвѣщали великолѣпное шествіе царствующаго свѣтила. Пріятные пѣвцы, яко всегдашніе жители сей священной рощи, воспѣли хвалу своему Сотворителю, и тѣмъ, якобы, соединялися теплотою Асуировой молитвы, которую онъ, со изліяніемъ обильныхъ слезъ, приносилъ ко Всевышнему предъ жертвенникомъ" 1459.

Рисуя пейзажи природы даже при помощи обычныхъ у псевдоклассиковъ пріемовъ, авторъ въ описаніяхъ утра и вечера тоже сумѣлъ проявить нѣкоторую самостоятельность, — такъ, напримѣръ, онъ обошелся безъ шаблонныхъ „коней Феба", безъ „колесницы Феба" и пр.

„...востокъ сквозь тусклую синеву начиналъ оказывать багряновидное чело свое, озаряемое блѣдно-свѣтлымъ осѣненіемъ, тонко разливающейся тѣни свѣта" 1460.

„Голубой сводъ небесъ, испещренный тысячами златовидныхъ звѣздъ, представляяся великолѣпнымъ ковромъ, по которому сіе благотворное свѣтило шествовати будетъ. Умолкъ ревъ звѣрей и вѣтровъ: пріятная тишина царствовала повсюду. Одни только нѣжные пѣвцы природы, пробудясь отъ легкаго и бодительнаго своего усыпленія и перепархивая съ одной вѣтви на другую, по мѣстамъ начинали воспѣвать хвалу природѣ и изъявлять въ пріятныхъ тонахъ сердечныя свои чувствованія. Духъ мой упоенъ былъ кротчайшими удовольствіями" 1461.

Кромѣ пейзажей, въ романѣ много другихъ „описаній" (наружности, костюма, вооруженія, танцевъ, охоты, боя, увеселеній, свадебныхъ обрядовъ, богослуженія, сновъ и пр.). Нѣкоторыя изъ нихъ отличаются бо́льшею жизненностью, но многія довольно шаблонны.

Привожу, для примѣра, описаніе наружности:

„лице ея, бѣлизны чрезвычайной, украшено нѣжнымъ румянцемъ; черныя и полныя огня очи окружаются, подобно лоснящемуся агату, бровями; длинныя и по плечамъ искусно, съ пріятнымъ небреженіемъ, разбросанные власы переплетены были нитьми драгоцѣнныхъ камней, а по верху главы, по обычаю Друнійскихъ пѣвицъ, возложено было малое голубое, съ розовыми оттѣнками, увисло, крупнымъ жемчугомъ, на золотомъ шнурѣ, переплетенное, которому, вонзенное съ лѣвой стороны въ златой трубкѣ, строфокамилово перо придавало вящшую красу..." 1462 и т. д.

Если въ этомъ всетаки чувствуется нѣкоторая оригинальность, то, вотъ, для примѣра, описаніе боя, которое совершенно шаблонно:

„Уже кровожаждущій его мечь сверкалъ предъ глазами неповинныхъ оруженосцевъ кроткаго юношества Асуирова: уже возблистали мечи въ обѣихъ противныхъ сторонахъ; свирѣпая фурія ненависть, ненасытимая крови, дщерь ада, воспламенила сердца ихъ къ звѣрскому желанію погибели своихъ собратій, и крикъ обѣихъ сторонъ воинствующихъ, разлившись по долинамъ и ударяя въ утесъ горъ, умножалъ звукъ и разносилъ оной съ ужасомъ по всѣмъ окрестностямъ" 1463.

Личность героя романа, Арфаксада, очерчена очень слабо,— онъ совершенно теряется въ массѣ эпизодовъ, съ нимъ несвязанныхъ, и блѣднѣетъ передъ болѣе яркимъ образомъ отрицательнаго героя—Баала.

Арфаксада авторъ въ разныхъ мѣстахъ повѣсти представляетъ почтительнымъ сыномъ, сострадательнымъ, великодушнымъ, миролюбивымъ... Неразъ говоритъ о „чувствительности" его сердца, хотя, въ то же время, подчеркиваетъ въ немъ черты душевной и физической мощи,—Арфаксадъ, несмотря на свою чувствительность,—храбрый и сильный воитель... Но и въ этомъ отношеніи его авторъ не идеализируетъ,—не въ примѣръ героямъ другихъ псевдоклассическихъ романовъ, Арфаксадъ терпитъ иногда на полѣ битвы пораженія и даже попадаетъ въ плѣнъ...

Съ личностью этого героя въ романѣ связаны разсказы о войнахъ и битвахъ его съ Бааломъ, повѣствованіе о путешествіи его въ Египетъ, о приключеніяхъ его въ плѣну—и, наконецъ, исторія его любви.

Путешествіе Арфаксада изображено оригинально,—здѣсь встрѣчаемъ мы и описаніе песчаной пустыни, по которой онъ шелъ со своимъ отрядомъ,—и повѣствованіе о мукахъ жажды и голода (быть можетъ, вліяніе библейскаго разсказа о странствованіи евреевъ), о встрѣчахъ съ разными отшельниками, пастырями и съ коварными врагами...

Въ Месраимѣ (въ Египтѣ) влюбляется въ Арфаксада Тарувизія, дочь царя Саира. Эта любовь въ романѣ изображена довольно шаблонно. И герои, и героиня обмѣниваются патетическими рѣчами, въ которыхъ галантность соединяется съ преціозностью. Но нѣкоторыя картины отличаются красотой и даже тонкой граціозностью письма. Напр.—

„Бесѣдуя съ нею, обрѣлъ я въ ней довольно просвѣщенный разумъ, основанный на благоразуміи и скромности. Между тѣмъ, какъ вопросилъ я ее, будетъ-ли она о мнѣ помнить, какъ я изъ Мисраима удалюся, то слезы оказались на ея зѣницахъ, для сокрытія которыхъ принуждена она обратиться къ окну подъ видомъ, что примѣчаетъ по Нилу пловущія суда; по томъ, непримѣтнымъ образомъ отерши слезы и нѣсколько оправясь, обратясь ко мнѣ, робко рекла: „ябъ не желала на такъ короткое время тебя, любезный братъ, видѣть и узнать... Ты удалишься, а любезный зракъ твой останется въ моемъ сердцѣ на единое мнѣ мученіе.—Останься, любезный братъ! (продолжала она, взявъ мою руку съ невинною горячностію). Останься еще на нѣсколько времени,—можетъ быть, уже мои родители позволятъ мнѣ ежедневно тебя видѣть; тогдабъ насытился мой взоръ твоимъ лицезрѣніемъ, и я могла насладиться пріятныя твоея бесѣды!" 1464

„... Гдѣ бы я ни былъ, чтобъ ни дѣлалъ, горестьли душу мою обременять будетъ, или весельемъ наслаждаться буду,—всюду и во всемъ, любезный аракъ прекрасныя Тарувизіи мнѣ слѣдовать и со мною собесѣдовать будетъ! ...Но, увы, мнѣ! Колико лестно сіе обнадеживаніе твое, толико и мучительно, когда воображу себѣ, что я тебя болѣе никогда не увижу. Праведное небо! (продолжала она, изведя горѣ свои очи, изъ которыхъ слезы по трепещущимъ ее ланитамъ стремительно полилися) но что ты вливаешь въ сердца смертныхъ такое влеченіе къ тѣмъ, съ которыми совокупно дни жизни ихъ сопровождать не назначило?" Нарекши сіе, она меня оставила и вышла въ побочную храмину" 1465.

Бракъ Арфаксада и Сирсиніи, дочери Блафигириза, былъ дѣломъ ихъ родителей, и чувства молодыхъ людей не играли при этомъ никакой роли; хотя авторъ и говоритъ о „страсти" обоихъ, но этой страсти онъ ничѣмъ не доказываетъ. О семейной жизни героя не разсказано ничего,—къ тому же его молодая супруга скоро умираетъ, оставивъ его вдовцомъ. Вторымъ бракомъ сочетается онъ съ Тарувизіей. Оба, при второй встрѣчѣ, обмѣниваются длинными прочувствованными рѣчами, въ родѣ опять-таки тѣхъ, выдержки изъ которыхъ приведены были выше.

Совершенная противоположность Арфаксаду—Баалъ. Если Арфаксадъ сильно походитъ на „идеальнаго юношу", хорошо знакомаго намъ по романамъ псевдоклассиковъ, то я не сказалъ бы, что Баалъ—шаблонный „отрицательный" герой: въ этомъ образѣ автору удалось изобразить живой образъ, полный силы и тревоги!.. Энергичный, полный самомнѣнія и презрѣнія къ людямъ, этотъ деспотъ носитъ въ себѣ черты даже какого-то демонизма: онъ приноситъ людямъ раздоръ и протестъ,—онъ изобрѣлъ желѣзное оружіе, сперва для охоты, потомъ для войны... Его мрачный образъ смягчается, однако, наличностью въ его сердцѣ сильной и несчастной любви. Оттого, порою его чело обвѣяно глубокой человѣческой тоской... И, въ общемъ, этотъ титанъ злой воли кажется намъ существомъ несчастнымъ...

Вотъ, какъ характеризуетъ его одно изъ дѣйствующихъ въ романѣ лицъ:

„Баалъ есть такое существо, которое отъ излишественнаго превозношенія, не можетъ терпѣти себѣ равнаго. Пылкое воображеніе, острый, проницательный разумъ, хитрость въ измышленіяхъ, плодовитое краснорѣчіе, неустрашимость духа и тѣлесная крѣпость, потолику его отъ прочихъ отличили, что, кажется, природа съ намѣреніеми его произвела на лице земное. Величественный и грозный его взоръ принуждаетъ каждаго трепетать при единомъ на него воззрѣніи, а сладостное его плодорѣчіе привлекаетъ къ нему всякаго внемлющаго. — Признаюся, что, при первомъ моемъ съ нимъ разглагольствіи, толико онъ плѣнилъ

меня пріятностію своихъ выраженій, что, естьлибъ я не былъ свѣдомъ о его свойствахъ, тобъ весьма былъ я близокъ къ пріятію его стороны" 1466.

Таковъ Баалъ съ внѣшней стороны въ періодъ расцвѣта своей мощи.

Порывистый и страстный во всемъ, Баалъ и въ сердечныхъ увлеченіяхъ своихъ глубокъ.

„Онъ ее любилъ безпримѣрно, и самая безпредѣльность его страсти была виною и его грубой дерзости, и послѣдующихъ потомъ тяжкихъ злоключеній, мятежей и кровопролитныхъ битвъ, яко сущихъ плодовъ его отчаянія".

„Зракъ сей его обладательницы слѣдовалъ за нимъ повсюду, и даже во время сна и самыхъ опаснѣйшихъ сраженій не выходилъ изъ его воображенія, а по сему не удивительно, что, при нечаянномъ встрѣченіи, душа его симъ толико опаснымъ для нея предмѣтомъ смутилась, и естественныя силы до того ослабѣли, что онъ пришелъ въ совершенное изнеможеніе и лишился чувствъ" 1467.

Этотъ „шаблонный" обморокъ нѣсколько искажаетъ, съ нашей точки зрѣнія, могучій образъ Баала, но все же, конечно, не лишаетъ его силы и значительности: Баалъ — уже не тотъ „отрицательный" герой, олицетвореніе какого-нибудь порока, или страсти, съ какимъ мы встрѣчались, обыкновенно, въ романахъ псевдоклассическихъ: нечаянно, или нарочно (вѣроятнѣе, первое), авторъ, нарисовалъ въ своемъ героѣ сложный человѣческій образъ...

Разочарованнымъ и утомленнымъ отъ превратностей жизни отходитъ онъ въ сторону отъ политической суеты въ концѣ романа...

„Любезный братъ! (вѣщалъ онъ тихимъ гласомъ Арфаксаду) — се плоды юношескихъ мечтаній! плоды высокомѣрныхъ предпріятій и плоды обольщеннаго легковѣрностію ко внушеніямъ ложныхъ друзей вниманія!.. Зри, до коликаго уничтоженнаго состоянія низведенъ Баалъ, который, ослѣпленъ будучи ласкательными превозношеніями льстецовъ и собственнымъ самолюбіемъ, мечталъ весьма легкимъ для себя дѣломъ, ниспровергать общества, разрушать сонмы соединенныя, покорять народы и возвести себя на степень властителя вселенныя!" 1468.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что, во многихъ существенныхъ чертахъ, романъ Захарьина отклоняется отъ шаблоновъ авантюрнаго героическаго романа (ослабленіе эротизма, потускнѣніе образа героя, исчезновеніе обычныхъ авантюръ, усложненіе образа героя и пр.),—тѣмъ не менѣе, многихъ старыхъ пріемовъ авторъ еще держится. Такъ, напримѣръ, „судьба", по-прежнему, играетъ въ романѣ нѣкоторую роль.

„...клялъ себя и всю природу, и даже дерзалъ вращать мерзкій свой языкъ на хулу предвѣчныя судьбы" 1469.

„...гнѣвная судьба, утомлясь своимъ гоненіемъ...“ 1170.

„...предоставимъ судьбѣ произвольно довершить ея начертаніе“ 1171.

„...Владѣтельствующая судьбина! (рекъ Алпеитъ) что сіе?..“ 1172.

„...я началъ уповать, что нѣкогда судьба обратитъ ко мнѣ благосклонное око“ 1173.

„...въ грозное время гоненія судьбы всѣ ближніе наши... оставляютъ насъ“ 1174.

Часто поминаетъ авторъ „гнѣвный рокъ“; и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рядомъ съ „судьбой“, „рокомъ“, ставитъ „Промыслъ“, „Провидѣніе“, „Всевышнее Существо“...

Любопытно, что въ романѣ, подъ видомъ религіи жителей Ганга, развито цѣлое ученіе о значеніи „случая“ въ жизни міра:

„все устроилось само собою по слѣпому нѣкоему случаю.—все течетъ, движется, живетъ, исчезаетъ, самослучайно... Что вселенная устроилась, солнце возсіяло, луна и звѣзды стали въ своемъ чинѣ; что звѣри плотоядные снабдѣны острыми зубами и когтьми для растерзанія меньшихъ животныхъ, что пернатыя для удобнаго паренія по воздуху получили крылія и облегчены періемъ и пухомъ, что рыбы для легкости плаванія имѣютъ, на подобіе веслъ, боковыя и правильныя перья,—все сіе приписуютъ они слѣпой случайности и нѣкоей неизбѣжной причинѣ“ 1175.

„Психика“ героевъ раскрывается авторомъ тоже при помощи обычныхъ пріемовъ—молитвъ, жалобъ,—то въ монологахъ и рѣчахъ, то при помощи улыбокъ, слезъ *), обмороковъ и вздоховъ... То авторъ самъ разсказываетъ о состояніи души своихъ дѣйствующихъ лицъ, то о своихъ чувствахъ говорятъ его герои...

Построеніе романа не отличается правильностью: если основа романа (приключенія Арфаксада) и носитъ авантюрный характеръ, то эта основа совершенно задавлена массой „вводныхъ эпизодовъ“, которые, иногда, своими размѣрами, заставляютъ совершенно позабывать героя и его жизнь.

Хотя, по характеру изложенія, даже отчасти содержанію, произведеніе Захарьина приближается особенно къ библейскому **),—

---

*) Одинъ изъ героевъ произноситъ даже цѣлое похвальное слово въ честь слезъ.

**) На стиль романа особенно сильно сказались эти библейскія вліянія. Напр. — „тако да потребится предъ лицомъ твоимъ и предъ лицомъ всея твари всякъ, превозносящійся предъ своею собратіею, ищущій поработити ихъ своему властолюбію и расхитити чуждое стяжаніе. Да внидетъ мечъ его въ собственныя его нѣдра, да изліется кровь его!“—„Буди благословенъ, почтенный мужъ, достойный родитель толь дражайшихъ чадъ!.. Ежели кому надобно знать о добротѣ твоей души, то довольно тому будетъ, естьли узрѣть они твоихъ сыновъ“. Баалъ есть—„не что иное, какъ грозная правосуднаго неба лоза“ и др.

тѣмъ не менѣе, нѣкоторые пріемы, отмѣченные мною выше, какъ характерные для авантюрнаго псевдоклассическаго романа, использованы и здѣсь. Такъ фигурируетъ здѣсь „судьба“, повторяются нѣкоторыя „общія мѣста“... Къ такимъ „общимъ мѣстамъ“, типичнымъ для псевдоклассическаго романа надо отнести слѣдующіе эпизоды: „потеря родителями ребенка и узнаніе его впослѣдствіи взрослымъ“ (нѣсколько разъ), „переодѣваніе дѣвушки въ мужское платье, „вѣщіе сны“ (много разъ), „мудрецъ въ уединеніи“, „любовь героя и героини“, „разлука“, „свиданіе“, „обмороки“, „вопли и монологи“ и мн. др. Ни „кораблекрушеній“, ни „разбойниковъ“, ни „рабства“ здѣсь нѣтъ... Къ „общимъ мѣстамъ“, типичнымъ для романа „политическаго“, относятся слѣдующіе эпизоды и положенія: „идеальный царь-патріархъ“, „царь слабый, черезчуръ довѣрившійся придворнымъ“; „обличенія придворныхъ“, „осужденіе войны и войнолюбивыхъ владыкъ“, „утопія—золотой вѣкъ на землѣ“ и др.

Характерной чертой романа надо признать обиліе разсужденій героевъ, или самаго автора,—на всевозможныя темы, моральныя, политическія и философскія...

Такъ, напримѣръ, авторъ разсуждаетъ о томъ, что уставы природы выше человѣческихъ узаконеній [1476], о величіи Бога, отражающагося въ природѣ [1477], о неизбѣжности паденія владыки, поддавшагося льстивымъ рѣчамъ своихъ придворныхъ [1478],—о томъ, что лаской лучше дѣйствовать на людей, чѣмъ мѣрами строгости [1479],—о томъ, что даже змѣи къ подобнымъ себѣ относятся лучше, чѣмъ люди [1480],—о томъ, насколько счастливы бываютъ браки стариковъ на молодыхъ [1481], о преступности пролитія людьми крови животныхъ ради пищи [1482],—о солнцѣ и планетахъ [1483], о Богѣ [1484], о космографіи [1485],—о вредѣ всякихъ крайностей [1486],—о любви и различныхъ ея видахъ [1487] и др.

„Классицизмъ“ оставилъ нѣкоторые слѣды своихъ вліяній въ нѣкоторыхъ „сравненіяхъ“ (въ гомеровскомъ духѣ) и въ „описаніяхъ“ природы. Напр.—

„...тако гнѣвный левъ, окруженъ бывъ ловительными забралами, въ силѣ своей поражаетъ робкихъ ловцевъ, прескакиваетъ заключавшій его оплотъ и медлительными шагами безбоязненно шествуетъ къ своей пещерѣ, гордясь своей побѣдой“ [1488].

Характернымъ также является въ романѣ интересъ къ молитвамъ, богослуженіямъ, религіознымъ обрядамъ. Въ такомъ числѣ, какъ въ этомъ произведеніи, я нигдѣ не встрѣчалъ картинъ религіознаго содержанія.

„тако при свирѣпствующемъ пламени, объявшемъ общее жилище, птицы и скоты, оставя тучную пожить къ селенію своему стремятся и пріемля совершенное соучастіе въ горести дому Владыки, въ ревущій огнь бѣдственно ввергаются, и тѣмъ скорбь сѣтующаго паче умножаютъ" 1489.

„Багряновидная заря оказывала румяное лице востока, предшествуя величественному шествованію Царя свѣтилъ небесныхъ" 1490.

Арфаксадъ, защищая себя,—„далъ ему такой въ чело ударъ, который потрясъ его силу, и онъ едва могъ устоить на плѣсняхъ своихъ. Отражая второй ударъ, Арфаксадъ поразилъ его палицею въ десную ланиту, что зубы съ кровію изъ устъ его испали" 1491.

„Свѣтлозарный дненосецъ испускалъ тонкіе лучи свои, удерживая ярый блескъ ихъ паденія"... 1492.

Наконецъ, нельзя не отмѣтить наличности реализма въ этомъ произведеніи Захарьина; этотъ реализмъ выразился въ нѣкоторыхъ мѣстахъ романа, отличающихся особой жизненностью. Привожу, какъ примѣръ, слѣдующую сцену. —

„...Мы готовы (отвѣтствовалъ ему Арфаксадъ съ бодрымъ и веселымъ видомъ)—хотя прямо теперь на коней!—„Нѣтъ! (возразилъ Еліафъ, усмѣхаясь),—надобно будетъ прежде отдать отчетъ въ твоемъ, толь не сродномъ началовожду бранныхъ мужей, долговременномъ успокойствованіи!" — „Я предпосылаю (отвѣтствовалъ ему Арфаксадъ, смѣяся) винновника моей забывчивости - Селлума. Да оправдится онъ предъ сонмомъ насъ обвиняющихъ, или да испрашиваетъ но столь отяготительныхъ укоризнъ!" — Вѣщая сіе, изошли они изъ своего намѣта и шествовали къ Сапру. — Сенедрія, какъ полы ихъ намѣта опущены были, ударѣвъ первая Арфаксада, начала улыбаться, и дала знать о приближеніи его прочимъ женамъ... Когда онъ вступилъ къ нимъ въ шатеръ и поздравилъ съ благополучнымъ провожденіемъ ночи, то супруга Сапрова съ притворнымъ неудовольствіемъ начинала тако: „я не мнила, любезный Арфаксадъ, чтобъ ты, по извѣстной намъ твоей къ намъ дружбѣ, въ толь маломъ уваженіи имѣлъ наши искреннѣйшіе совѣты и оные пренебрегалъ!.." Арфаксадъ, будучи обманутъ наружностію Сенедріи, пришедъ въ изумленіе, отвѣчалъ: „Какъ, почтеннѣйшая Сенедрія!.. я пренебрегаю ваши совѣты?.. Я не имѣю къ вашимъ снисходительнымъ ко мнѣ расположеніямъ уваженія?" - „И кто осмѣлился возвлечь на меня толь безстыдную ложь?—Мы сами-то дознаемъ!" (отвѣтствовала супруга Сапрова, краснѣясь отъ внутренняго смѣха) 1493 и т. д.

Эта сцена, озаренная живымъ смѣхомъ, при всей чопорности стиля разсказа, полна психологической правды и, даже, граціи... Наивный Арфаксадъ, не понимающій, что его мистифицируютъ, и добродушно-лукавая женщина, надъ нимъ подтрунивающая, — оба эти образа живутъ передъ нами... Такихъ жизненныхъ сценъ я не встрѣчалъ у типичныхъ романистовъ-псевдоклассиковъ...

Далѣе настроеніе обоихъ собесѣдниковъ растетъ crescendo: Арфаксадъ все сильнѣе удивляется и, наконецъ, начинаетъ при-

ходить въ негодованіе, — а Сенедрія, въ которой наростаетъ ея внутренній смѣхъ, еле сдерживается... Наконецъ, это напряженіе разрѣшается смѣхомъ—

„Тогда Сенедрія, не могла болѣе удержаться отъ смѣха, и для того, восплескавъ руками, и смѣяся еще, продолжала издѣваться...“ [1494].

Очень живой изображена сцена пляски ребенка:

„Отрокъ приуготовился: выставилъ правую ногу и, подпершись шуйцею, закинулъ гордо вверхъ главу свою, ожидая начала. Отецъ, настроя лиру, началъ играть рѣзвыя пѣсни; пастушка способствовала ему своимъ голосомъ, а юный отрокъ, разнообразно прыгая и коверкаясь, многократно принуждалъ родителей своихъ отъ смѣха прерывать пѣснь“ [1495].

Стоитъ измѣнить, грубо для нашего уха звучащія, слова: „разнообразно прыгая и коверкаясь“,—и въ этой картинкѣ проглянетъ тонкая красота семейнаго, идиллическаго счастья, озаренная поэзіей дѣтства и родительской любви...

Наклонность къ реализму иногда препятствуетъ автору идеализировать жизнь.—мы видѣли уже, что онъ даже среди пастуховъ, живущихъ вдали отъ города, видитъ „власть зла“ „лесть, обманъ и насиліе“ [1496]...

Таково это странное произведеніе, представляющее собою полную смѣсь красиваго и безобразнаго, грубаго и тонкаго — смѣшеніе библіи съ политическимъ и авантюрнымъ псевдоклассическимъ романомъ.

Литературная исторія этого произведенія совершенно темна,— ни въ одномъ изъ библіографическихъ указателей западно-европейской литературы не нашелъ я произведенія, съ именемъ Арфаксада, или посвященнаго событіямъ той эпохи, которая такъ заинтересовала нашего „однодворца“...

3.

Уже изъ одного перечня (стр. 391) произведеній, относящихся къ этой группѣ можетъ показаться, что въ русской „подражательной“ литературѣ вліяніе Лесажа выразилось, сравнительно, слабо. Такое заключеніе, конечно, было-бы тѣмъ болѣе неожиданнымъ, что интересъ къ реальному творчеству долженъ быть признанъ одной изъ самыхъ характерныхъ особенностей русской литературы съ XVII-го до нашихъ дней... Мнѣ кажется, это недоумѣніе разрѣшается, лучше всего, указаніемъ на то, что въ XVIII-омъ вѣкѣ жажда реализма въ русской романической литературѣ удовлетворялась—1) существованіемъ у насъ въ эту эпоху большого числа

сборниковъ новеллъ и анекдотовъ реалистическаго характера *),— 2) развитіемъ у насъ въ эту же эпоху англійскаго реалистическаго романа (см. ниже главу VII)—и 3) тѣмъ, что вліянія Лесажа отразились сильно и на русскомъ *бытовомъ романѣ*, но только не имѣющемъ „плутовскаго" характера (см. ниже главу VIII),—и, наконецъ, что особенно важно,—на развитіи русской сатирической журналистики **).

Обращаюсь теперь къ произведеніямъ Чулкова,—можно сказать, единственному (хотя и не вполнѣ типичному) крупному представителю у насъ въ XVIII-омъ вѣкѣ творчества, въ духѣ твореній Лесажа.

Чулковъ—писатель очень интересный: это—живой, остроумный, на все отзывчивый человѣкъ, который сумѣлъ въ своей литературной дѣятельности откликнуться на всевозможныя литературныя теченія эпохи: онъ, какъ мы видѣли выше (стр. 449), сумѣлъ сочинить повѣстушку, въ духѣ чисто-псевдоклассическомъ; какъ увидимъ ниже,—онъ сумѣлъ проникнуться поэзіей волшебно-рыцарскаго романа и удачно подражалъ сказкамъ о феяхъ; онъ отдалъ дань и народничеству, но, въ то же самое время, съ спокойной совѣстью, онъ пародировалъ и рыцарскіе, и псевдоклассическіе романы, и волшебныя сказки, и русскія простонародныя произведенія... Онъ, наконецъ, далъ образцы совершенно самобытнаго романическаго творчества уже въ духѣ XIX-го столѣтія...

Къ сожалѣнію, Чулкову не достаетъ „серьезности",—онъ самъ свои произведенія называетъ „пустословіемъ"—быть можетъ, потому, что онъ слишкомъ пропитанъ скептицизмомъ,—никакимъ литературнымъ законамъ и цѣлямъ себя подчинять не желалъ, самъ свободныя созданія своей яркой и богатой фантазіи безпощадно провѣрялъ своимъ разумомъ,—и самъ на себя писалъ пародіи...

---

*) *„Сава, ночная птица"*... сост. С. Друковцевымъ, 1779 г. (№ 430); *„Похожденіе Ивана гостинаго сына"*, соч. Ив. Новикова, 1785—6 (№ 765); *„Не прямо въ глазъ, а въ самую бровь"*, соч. Ник. Осипова, 1790 (№ 1154); *„Похожденіе нѣкоторого Россіянина"*... соч. Н. Х., 1790 (№ 1165); *„Старичокъ-веселчакъ"*, 1790 (№ 1179); *„Театръ чрезвычайныхъ происшествій"*, 1790 (№ 1180); *„Ѣвушкины прогулки"*, 1791 (№ 1217); *„Забавный раскашникъ"*, 1791 (№ 1222а); *„Анекдоты древнихъ пошехонцевъ"*, 1798 (№ 1867); *„Любовники-супруги"*, 1798 (№ 1902); *„Дешевый подарокъ суевѣрамъ"*. 1799 (№ 1951) и др.

**) Кромѣ того, вліянія „Жилблаза" особенно сильно сказываются у насъ не въ XVIII-омъ, а въ XIX-омъ столѣтіи; напр., въ романахъ Нарѣжнаго, Булгарина, даже Гоголя („Мертвыя Души") и др.

Грубоватый его юморъ порою довольно тяжелъ, но всегда энергиченъ, свободенъ, чуждъ всякихъ тенденцій... Яркость и жизненность его таланта сказывается въ самомъ предисловіи къ его „*Пересмѣшнику*“ [1497].

Чулковъ самъ говоритъ, что въ его сочиненіяхъ „важности и нравоученія очень мало, или совсѣмъ нѣтъ. Она неудобна, какъ мнѣ кажется, исправить грубые нравы“. Поэтому на свою книгу онъ предлагаетъ смотрѣть, какъ на „полезное препровожденіе скучнаго времени“. Себя онъ рекомендуетъ человѣкомъ, „умѣющимъ хорошо лгать и, въ случаѣ нужды, говорить не вездѣ правду“,—сочиненіе свое именуетъ онъ „бездѣлицею“, которая, однако, можетъ посмѣшить: „человѣкъ, какъ сказываютъ,—животное смѣшное, пересмѣхающее и пересмѣхающееся,—ибо всѣ мы подвержены смѣху, и всѣ смѣемся надъ другими“—балагуритъ авторъ. Затѣмъ говоритъ онъ и о своемъ соціальномъ и матеріальномъ состояніи: „я не изъ тѣхъ людей, которые стучатъ по городу четырьмя колесами и подымаютъ лѣтомъ большую пыль на улицахъ: сколько мало я имѣю понятія, столько низко мое достоинство—и почти совсѣмъ не видать меня между великолѣпными гражданами... Крайне бѣденъ, что всѣмъ почти мѣлко-травчатымъ такимъ, какъ я, сочинителямъ общая участь“. Въ заключеніе, онъ заявляетъ, что издаваемая имъ книга—первый его трудъ, что онъ готовъ учиться писать, но не боится критики, особенно людей насмѣшливыхъ,—„имъ мало будетъ выигрыша шутить съ такимъ маловажнымъ человѣкомъ, которой бываетъ иногда легче бездушнаго пуху, и которой, въ случаѣ нужды, также отшучиваться умѣетъ“.

Затѣмъ, самое сочиненіе начинается съ приступа, названнаго у автора „началомъ пустословія“. Здѣсь герой повѣсти знакомитъ читателя съ біографіей разсказчика повѣстей, вошедшихъ въ составъ его сборника „*Пересмѣшника*“.

Часть I. Глава I. Начало пустословія. „Господинъ Ададуронъ, котораго называли моимъ отцомъ (а правильно, или нѣтъ,—о томъ сомнѣваться всякому позволено; ибо достовѣрной сему свидѣтель была бы мать моя родная, которая въ то самое время умерла, въ которое меня родила“—а „на постоянство“ матери, по его словамъ, „не совсѣмъ было полагаться“)—воспиталъ меня, какъ родного сына“.

„Я произшелъ отъ знатнаго и проворнаго поколѣнія“,—оно *знатно* потому, что всѣ сосѣди знали моего отца, покойную мать и меня; *проворнымъ* же назвалъ я его по причинѣ, что отецъ мой былъ Жидъ, а мать была Цыганка: такіе люди всегда бываютъ искуснѣе прочихъ въ проводахъ и обманахъ“.

Разсказчикъ рано проявилъ большія умственныя способности: повивальная бабка, готовясь нести его въ церковь, напилась до пьяна; „и когда священникъ, разсердясь за сіе, кричалъ на нее, то я, какъ будто бы смысля его слова, въ самое то время ударилъ ее правою рукою въ лѣвую щоку, отъ чего всѣ люди пришли въ удивленіе и смѣялись столько, сколько можно въ церкви“.

„Съ того времени всѣ наши прихожане ожидали изъ меня, по возрастѣ моемъ, чего-нибудь важнаго“.

И, дѣйствительно, „во время возраста“ онъ „дѣлалъ такіи дѣла, „которыхъ не можно никому ни вздумать, ни взгадать, ни перомъ написать и ни въ скасках сказать“. Восемнадцать лѣтъ было ему, когда онъ началъ эти свои подвиги.

Жилъ недалеко отъ ихъ дома одинъ полковникъ, къ которому, по разсказамъ мѣстныхъ обывателей, на домъ ходилъ „мертвецъ“—всѣ сосѣди знали, когда онъ приходитъ, и—въ этотъ урочный часъ домъ полковника погружался въ трепетъ... „Вмѣсто того, чтобъ стараться его выгнать, прятались всѣ въ домѣ, какъ возможно далѣе, запирались въ горницахъ крѣпче и находились полумертвыми и неподвижными“.

Разсказчикъ ходилъ въ домъ полковника къ ночи разсказывать сказки его супругѣ: „Я отъ природы былъ велерѣчивъ, часто раскасывалъ исторіи о древнихъ чертяхъ, сказки о вымышленныхъ королякъ, повѣсти о богатыряхъ Усляхъ, Горыняхъ, Дубняхъ—и словомъ, всякія веселости, какія только выдумать могъ“. Онъ выслѣживаетъ „мертвеца“—и убѣждается, что „мертвецъ“ не такъ страшенъ,—что это кто-то, просто подъ видомъ мертвеца, приходилъ на любовное свиданіе, при чемъ въ погребѣ пилъ вино: „пито довольно, и послѣ сдѣлалось молчаніе, и продолжалось съ четверть часа; а какъ стали говорить, то примѣтилъ я, что они нѣсколько запыхались“. Разсказчику удалось разсмотрѣть мертвеца—онъ былъ „въ долгомъ бѣломъ саванѣ, росту высокаго, съ окладистою черною бородою и съ орлинымъ носомъ“. Любовницей оказалась ключница, слывшая въ домѣ смиренницей—женщиной „набожной и цѣломудренной“.

Всѣ встали рано утромъ,—только полковница и разсказчикъ „опочивали до двенадцати часовъ, по обыкновенію знатныхъ господъ“. Полковница была, „хотя обветшала, однако щеголиха“: „лицо ея было самой древней печати и худаго тисненія: носъ ея представлялъ кривую ижицу; борода и губы казались, какъ будто бы старинной юсъ въ драгунской шляпѣ; на лбу и на щекахъ разставлены были каныки и занятыя весьма безпорядочно“... „Такую привлекательную красоту прикрывала она масленными красками,—бѣлою и красною,—а брови сурмила типографскою краскою; и такъ лицо ея весьма было гладко и, казалось, какъ будто бы лощеное свинымъ зубомъ, или Цыганскимъ камнемъ, которымъ они на шершавой лошади наводятъ глянецъ“.

Затѣмъ разсказчикъ характеризуетъ гостей полковника. Особенно изъ нихъ выдавался офицеръ, глупый болтунъ и хвастунъ. „Онъ великъ ростомъ, тонокъ и нескладенъ; голова у него очень малой руки и притомъ деревянная; съ висковъ, и что назади, виситъ коса; походитъ на подъячего, и въ самомъ дѣлѣ крючкотворецъ превеликой. Онъ для того родился на свѣтъ, чтобъ пить, ѣсть и заводить ссоры, а больше ни къ чему не способенъ... Видите, онъ уже разстегнулъ камзолъ, и хочетъ перемѣнить девятую тарелку; онъ ни одного не оставитъ цѣлаго кушанья, и всѣхъ отвѣдаетъ до половины. Эта ржавая тварь вездѣ такъ ѣстъ, какъ будто-бы предчувствуетъ десятилѣтній голодъ“.

Другой гость—толстякъ, отчаянный французоманъ, ненавидитъ Россію и бредитъ Франціей.

Глава II. Ежели она будетъ не складна, то въ томъ я не вино-

вать, потому что будутъ говорить въ ней пьяные". За столомъ шли разговоры о мертвецѣ, который посѣщаетъ домъ хозяина. Офицеръ-„объѣдало" удивляется, что мертвецъ „отваживается обезпокоивать Штапа и не обсервуетъ чести полковника". Офицеръ хвастается, что не боится мертвеца,—и, въ самомъ дѣлѣ—„онъ былъ весьма храброй офицеръ, и на двадцатомъ еще году своего возраста мать свою родную высѣкъ розгами". Ключница трусить, слушая его хвастливыя обѣщанія убить мертвеца...

Между тѣмъ, пиръ шелъ своимъ порядкомъ, и скоро гости подпили,—„началась Татарская музыка: всякъ заговорилъ своею погудкою, и кто былъ довольнѣе, тотъ и кричалъ громче".

Офицеръ въ пьяномъ видѣ разсказываетъ, какъ въ его деревнѣ тоже одно время куралесилъ мертвецъ-колдунъ.

Уже въ первую ночь послѣ его смерти начались чудеса: лежа въ гробу, „высунулъ усопшій въ дырочку палецъ и повелилъ имъ очень проворно". Собака, лежавшая въ комнатѣ, подумала, что онъ ее дразнитъ, и заворчала; мертвецъ сталъ „производить языкомъ и голосомъ сіи выраженія: „ррь, ррь, ррь!"—такъ, какъ, обыкновенно, собакъ дразнятъ". Тогда собака стала лаять на гробъ. Ужасъ въ домѣ; псаломщикъ убѣжалъ; домашніе выбѣжали изъ избы...

„Въ избѣ, не знаю, кто больше кого разсердилъ,—мертвецъ ли собаку, или собака мертвеца,—только знаю то, что онъ изъ гроба выскочилъ, и началось у нихъ сраженіе силами и проворствомъ". Наконецъ, несъ откусилъ покойнику носъ „такъ плотно, что онъ началъ походить на калмыка, или на моську". Только пѣніе пѣтуха прекратило всю эту возню.

Со страху меньшой сынъ покойника умеръ—„упалъ безъ памяти, лишился всѣхъ чувствъ и пересталъ бояться своего родителя; испустилъ духъ, сдѣлался недвижимъ, а по просту,—умеръ".

Каждую ночь мертвецъ ходилъ по селу. Всѣ жители села выбрались вонъ, оставивъ свои жилища, такъ какъ онъ „всѣхъ безъ выбору задавалъ—иногда по затылку, выбрасывалъ въ окошко и таскалъ по улицѣ за бороды весьма неосторожно".

Одинъ охотникъ, заблудившись, пришелъ въ пустую деревню и встрѣтился тамъ съ мертвецомъ. Во время его сна мертвецъ „рванулъ его за носъ", а когда тотъ,—проснувшись, „высунулъ голову, то стоящій у окна мертвецъ погладилъ его въ самое тѣмя такъ искусно, что онъ перевалился опять въ избу безъ памяти; отдыхалъ съ полчаса на полу и, лежа на ономъ, имѣлъ довольно времени позабыть страхъ и разсердиться непосредственно геройски". Происходитъ между ними злая схватка, и, наконецъ, охотникъ одолѣваетъ: онъ разрубаетъ мертвеца—такъ разсказывалъ офицеръ.

Глава III. „Насандаливъ довольно носы, встали мы изъ за стола, по обыкновенію пьяницъ, только благородныхъ а не подлыхъ". Подъ конецъ обѣда полковница была совсѣмъ пьяна и, „въ придерживаніи двухъ дѣвокъ за оба крыла", отправилась въ свою спальню, гдѣ къ утру и скончалась.

„Горячее вино со старостью во время сна поссорились, и, наконецъ, дошло уныхъ до драки: раздавая другъ другу плотные тузы и опле-

ушины, проломили полковницѣ голову, а, по мнѣнію другихъ, упала она съ кровати и раскроила себѣ лобъ такъ неправно, что, стиснувъ зубы, отправилась на тотъ свѣтъ, не заплатя ни одному лѣкарю за рецепты ни копѣйки, а аптекарю и того меньше". О смерти ея до утра никто не узналъ.

Между тѣмъ, пиръ начатой вечеромъ, продолжался еще долго: ночью хозяинъ и гости задумали пить „чай"; „съ общаго согласія приказали подать горячей воды съ сахаромъ и съ Китайскою травою; а сіи три вещи, вообще, называются „чаемъ". Офицеръ-объѣдало забылъ, „что эта горячая вода, и думая, что вино"—„хлебнулъ такъ неосторожно, что высунулъ языкъ, выпаращилъ глаза и повалился на землю". Всѣ стали хохотать, но потомъ испугались, видя, что это—не шутка... „Вскорѣ потеряли мы образъ нашего витязя, и увидѣли въ немъ раздутую волынку, которая иногда поднималась, а иногда опускалась, и представляла намъ точно, какъ будто бы находились на ней написаны шесть литеръ, мечущія въ глаза слово: „дуракъ".

Между тѣмъ, разсказчикъ ухаживаетъ за Аленопой, дочерью полковника. Особенно ему въ этомъ помогаетъ его хорошо-привѣшенный языкъ: „острыя выдумки, затѣйливые разсказы и кудрявыя слова утѣшали ее по моему желанію".

Дѣвица сама облегчаетъ ему объясненіе. Она его спрашиваетъ прямо, былъ ли онъ когда нибудь влюбленъ. Онъ сначала растерялся отъ такой неожиданности",—„краснорѣчіе мое притупилось,—говоритъ онъ,—языкъ окостенѣлъ, стыдъ меня ударилъ такъ сильно въ лобъ, что я покраснѣлъ". Но она его поощряетъ—„глаза ея были наполнены снисходительнымъ пріятствомъ".

Тогда онъ, ставъ на колѣни, объясняется ей въ любви вычурнымъ признаніемъ, пародирующимъ патетическій стиль романовъ *). Впрочемъ, онъ самъ признается, что объясненіе это вышло скучно, хотя, дѣвица, слушая его, и „дѣлала трагическое движеніе", а потомъ поднимала его съ „приманчивою улыбкою"... Это было очень кстати—балагуритъ авторъ: „я хотѣлъ, было, въ серединѣ этой проповѣди и самъ встать по тому, что попался мнѣ подъ колѣно каменекъ, которой щекоталъ меня довольно неправно".

Глава VI. Объявляетъ, какимъ образомъ попадаются мертвецы въ запасню. Поздно ночью, послѣ пира и объясненія, авторъ сказывалъ своей Аленопѣ сказки; она, слушая его, заснула. Онъ любуется ея тѣломъ. „Пріятель мой Морфей, въ угодность мою, раскрылъ ея груди, которыя съ великою пріятностію подымались и опускались, и привлекли къ себѣ мои глаза; тонкое покрывало и проницательной мой взоръ всѣ части ея тѣла представили мнѣ открытыми: восторгъ мой, ея прелести, горячая моя кровь и естественное побужденіе что во мнѣ произвели, того описать я не въ силахъ". Онъ поцѣловалъ ее, и отправился выслѣживать мертвеца. По признанію разсказчика, онъ „трусилъ маленько, чтобъ мертвецъ не потревожилъ его какимъ-нибудь острымъ желѣзомъ, или свинцовымъ шарикомъ".

*) Самъ авторъ говоритъ, что—онъ „для изъясненія своей страсти нахваталъ нѣсколько словъ изъ трагедій и изъ романовъ, и сплелъ сіе нелѣпое изъясненіе".

Въ урочный часъ авторъ увидѣлъ мертвеца и замѣтилъ, что онъ опять напился, и сталъ „колобродить такъ, какъ, обыкновенно, колобродятъ пьяницы во плоти". Потомъ полѣзъ мертвецъ въ ларь и втащилъ туда свою спутницу: „Они скоро замолчали, а что дѣлали, то читатель и безъ меня угадать можетъ"—заключаетъ авторъ.

Желая изловить мертвеца и его подругу, авторъ захлопнулъ ларь крышкой, „положилъ цѣпь на пробой и засунулъ желѣзнымъ гвоздикомъ". Потомъ онъ заперъ чуланъ ключомъ и ушелъ; отходя, примолвилъ: „оночивай до утра, любезная чета!". И затѣмъ самъ спокойно отправился спать.

„Несчастіе ключницы и мертвеца не приводило меня въ жалость,— говоритъ онъ, и я хохоталъ, когда воображалъ, что есть у меня два чудныя животныя, которыя, вмѣсто клѣтки, заперты въ ларѣ".

Глава VII. Превращеніе мертвеца въ монаха. На слѣдующій день онъ всѣмъ разсказалъ о поимкѣ мертвеца. Всѣ въ домѣ трусятъ. „Хозяинъ сдѣлалъ со мною уговоръ, чтобъ прежде ихъ не отпирать, покамѣстъ не услышимъ ихъ голоса..." Подойди къ ларю, полковникъ закричалъ мужественнымъ, однако, дрожащимъ, голосомъ: „кто сидитъ въ моемъ ларѣ?" „Ключница откликнулась и сказала, что съ нею мертвецъ.

Всѣ—въ ужасѣ. Полковникъ „поблѣднѣлъ отъ страху и закричалъ своимъ людямъ: „бѣгите поскорѣе въ полицію и тотчасъ приведите сюда роту солдатъ и велите у нашего прихода бить въ набатъ!"... „Я принялся говорить, и представлялъ полковнику, что это напрасно и что мы можемъ все окончать келейно и послѣ, разобравъ все дѣло, ежели надобно будетъ, можемъ и обнародовать". Полковникъ согласился на это; онъ всѣхъ уставилъ кругомъ, самъ сталъ въ середину и, приговаривая по часту: „не робѣйте, ребята!"—велѣлъ открыть ларь съ различными предосторожностями. Виноватые выбрались оттуда и бросились на колѣни; полковникъ сталъ кричать, увидя „мертвеца", и, успокоившись, потребовалъ, чтобы онъ сейчасъ же переодѣлся.

Возвратясь домой, всѣ узнали о смерти полковницы. „Она уже не сердилась и не кричала, когда смывали съ нее бѣлилы и румяны и ни мало не ворчала на то, что одѣли ее не по модѣ".

„Погребеніе было самое плачевное. Когда повезли усопшую въ церковь, тогда два служителя вели Полковника подъ руки для того, чтобъ не повалился онъ въ грязь,—жалость и вымитая имъ по утру, для утоленія печали, водка обременили его гораздо". Дочь Аленона особаго горя не чувствовала, во первыхъ—потому, что была „не въ такихъ уже лѣтахъ", чтобъ плакать о своей матери, а, во вторыхъ, была „не такого поколѣнія, чтобъ выть голосомъ", что, по ея словамъ, „одной подлости было прилично".

Напротивъ, на похоронахъ матери она была въ прекрасномъ расположеніи духа и всѣхъ высмѣивала. „Въ церквѣ съ разнымъ усердіемъ и разными голосами завывали старухи", стараясь разными способами обратить на себя вниманіе полковника и отъ него „получить великую милость".

Когда обрядъ погребенія закончился,—„съ большимъ усердіемъ поспѣшали всѣ къ столу. До половины обѣда были рѣчи о покойницѣ, а послѣ вино помрачило ее у всякаго въ памяти, и всякой началъ колобродить". Священникъ принялся даже затягивать пѣсни.

Послѣ обѣда назначенъ былъ допросъ мертвецу. Полковникъ простилъ его, и мертвецъ, отдѣлавшись отъ страха, обнаружилъ „языкъ очень поворотливой и разумъ довольно вертлявой".

„Я—монахъ, говорилъ онъ, обители Святаго Павлы". Онъ признается, что носить монашескій чинъ ему не подъ силу.

„Когда онъ увидѣлъ, что мы больше ему не непріятели, тогда довольно ласковыми словами попросилъ теплаго чаю съ горячею водкою"—и сталъ разсказывать свою исторію.

Глава VIII. Начало монаховыхъ приключеній. Онъ—„посредственнаго состоянія человѣкъ. Пятнадцати лѣтъ отъ роду, лишился родителей. Дядя обобралъ все его имущество. „Онъ позволялъ мнѣ называться своимъ „племянникомъ" мѣсяца съ четыре и сажалъ съ собою за столъ; наконецъ, опредѣлилъ меня въ должность легонькаго кофишенка,—и я нагрѣвалъ поутру и послѣ обѣда чайникъ, во время стола стоялъ за стуломъ съ тарелкою, и не слыхалъ уже никогда, чтобъ назвалъ онъ меня „племянникомъ",—а всегда кликалъ уменьшительнымъ именемъ". Потомъ его отправили въ поварню, гдѣ нерѣдко уже и „тузили"... „Въ такомъ черномъ чинѣ и въ замаранной одеждѣ препроводилъ я цѣлые полгода, въ которое время мучился и плакалъ довольно, ходилъ къ родителямъ своимъ на могилы и обмывалъ поверхности ихъ слезами"... Потомъ онъ изъ дядинаго дома убѣжалъ, —„выступивъ я на чистое и пространное поле, сдѣлался гражданиномъ міра и обитателемъ земнаго круга".

„Одежда моя представляла меня или исправнымъ неряхою, или безпечнымъ философомъ". Тридцать пять верстъ прошелъ онъ и уснулъ въ лѣсу. Ночью наѣхали на него какіе-то двадцать человѣкъ, взяли его и отправили съ конвойнымъ въ глубь лѣса. Онъ „повезъ меня не по дорогѣ, а горами да буераками". По дорогѣ ихъ „окликали двое часовыхъ въ смурыхъ кафтанахъ въ триповыхъ малиновыхъ шапкахъ, съ сумами и съ ружьями". Потомъ его привезли къ какимъ-то хоромамъ.

Утромъ его представили къ начальнику. „Вошедъ въ его горницу, не мало дивился я убранству оной: она была убита цвѣтнымъ штофомъ въ золотыхъ рамахъ; большія зеркала и картины знатныхъ мастеровъ дѣлали въ ней большое великолѣпіе, и она представлялась мнѣ нѣкоторымъ родомъ знатныхъ домовъ, которыхъ и въ городѣ бываетъ очень мало. Атаманъ, увидя костюмъ разсказчика, спросилъ его: „что ты за чудо?" Тогда онъ разсказалъ всю свою исторію, и краснорѣчіемъ своимъ произвелъ сильное впечатлѣніе на атамана.

Узнавъ, что разсказчикъ изучалъ латинскій языкъ, исторію, географію и философію, атаманъ заинтересовался имъ и даже вступилъ съ нимъ въ диспутъ; до самаго обѣда бесѣдовали они и, подъ конецъ, окончательно подружились.

Пять мѣсяцевъ онъ жилъ у атамана. Любовница атамана обходилась съ разсказчикомъ также хорошо и полюбила, его какъ брата.

Разъ къ разбойникамъ пищикъ завезъ одного „ученаго". „Чтобъ прогнать страхъ, которой потрепывалъ нашего мудреца, какъ тридневная лихорадка", атаманъ напоилъ его пуншемъ. Тогда „началъ онъ тянуть прямо по ученому, и намъ казалось, какъ будто бы стаканъ стакана догоняетъ". Ученый отъ пунша разошелся,—сталъ разсказывать

о „воздушныхъ явленіяхъ“, „пересчиталъ всѣхъ ученыхъ людей, описалъ Аполлона и Музъ, по сосѣдству не миновалъ и Олимпа, и такъ представилъ намъ всѣхъ боговъ, какъ будтобы на картинѣ. Потомъ сошелъ на землю и проповѣдывалъ намъ о человѣческихъ обращеніяхъ, подземныхъ происхожденіяхъ,—и словомъ, обо всемъ томъ, до чего разумной и ученой хмельной человѣкъ своимъ понятіемъ достигнуть можетъ“. Три дни бесѣдовали они съ ученымъ; на четвертый день атаманъ позвалъ извощика и спросилъ, зачѣмъ онъ завезъ къ нему ученаго, который ему ничего злого не сдѣлалъ. Извощикъ жаловался, что всякъ этого сѣдока изъ Малороссіи и, „всегда пилъ его водку“, а „наконецъ, это ему было отказано“. Ученый защищалъ себя, говоря, что водка у него начала „оскудѣвать, а купить было ее негдѣ и такъ онъ берегъ ее про себя“. Извощикъ говорилъ, что у него много денегъ, и требовалъ награды себѣ за его доставку. Атаманъ прочелъ извощику длинное нравоученіе, „въ которомъ представлялъ, что ближнему своему надо было желать столько добра, сколько самому себѣ“. Потомъ извощика „взварили столь искусно батогами, какъ говоритъ у насъ, индѣ небу стало жарко; встолочили ему спину и брюхо довольно снисходительно“. Ученому атаманъ далъ еще тысячу рублей, купилъ его книги за дорогую цѣну и, отпустивъ его, велѣлъ ему сказать обо всемъ случившемся полиціи, а самъ, зажегъ свои хоромы, вывезъ вещи и съ шайкой перебрался въ другое мѣсто.

Глава IX. Конецъ монахова похожденія. На новомъ мѣстѣ жили они два мѣсяца. Наконецъ, атаманъ отпустилъ разсказчика въ городъ, говоря, что, долго живучи съ разбойниками, онъ наживетъ себѣ и опасности, и худую славу. На прощанье атаманъ и ему далъ тысячу рублей.

„Два дни я разсуждалъ о семъ разбойникѣ, и не зналъ, какъ бы мнѣ его наименовать; ибо мнѣ казалось, что добродѣтель его превышала его пороки,—онъ отнималъ у богатыхъ половину ихъ имѣнія, и сію часть дѣлилъ на двое: одну оставлялъ себѣ, а другую отдавалъ бѣднымъ людямъ. Обиженные имъ не столько на него негодовали, сколько награжденные имъ его благодарили. Мнѣ показался онъ новымъ философомъ; у кого много,—у того онъ отнималъ, а у кого ничего не было, тому давалъ“.

Затѣмъ разсказчикъ зашелъ въ первое попавшееся село, и явился, какъ разъ, на похороны барина. Вдова страшно горюетъ. „Во время обѣдни очень часто падала она въ обморокъ; однако опять скоро воздерживалась, чтобъ не сдѣлать дурнаго положенія“, и притомъ, часто поглядывала она на разсказчика; въ рукахъ у нея онъ замѣтилъ зеркальцо.

„Когда опустили въ могилу ея мужа, то казалась она, какъ будто бы хочетъ послѣдовать ему, и, едва успѣла выговорить, чтобы просили меня къ имъ отобѣдать,—какъ повалилась безъ памяти“.

„Обѣдъ начался печалью, а кончился весельемъ. Но большой части засѣдали за нимъ отставные офицеры,—тѣ, которые были великіе охотники подтягивать сивуху и расказывать о сраженіяхъ; насуслились они за нимъ довольно исправно, приговаривая почасту: „покойникъ былъ до вина охотникъ“.

Въ серединѣ обѣда, „когда уже начинали краснѣть у всѣхъ гостей носы"—привели вдову; она „была въ превеликомъ безпамятствѣ, приказала подать себѣ стулъ, и сѣла подлѣ меня, рвалася, охала и рыдала", но слезъ не проливала, такъ какъ, „придя изъ церкви, нарумянилась и боялась теперь смыть краски". „Священникъ уговаривалъ ее, и подавалъ здравые совѣты, а я, какъ человѣкъ совсѣмъ посторонній, не сказалъ ничего, выключая словъ десятковъ-девяти". Потомъ къ концу обѣда „печальная наша Лада" упала опять въ обморокъ, бросившись при этомъ къ разсказчику на шею. Понесли ее въ спальню, но никакъ не могли освободить руки разсказчика, которую вдова „въ безпамятствѣ придерживала крѣпко", „чего ради подали мнѣ стулъ, и я сѣлъ подлѣ ея кровати. Всякой со усердіемъ подходилъ уговаривать ее и воздерживать отъ сокрушенія, и кто былъ пьянѣе другихъ,—тотъ усерднѣе и старался"... „Что происходило у насъ въ сію ночь, того разсказывать я не стану, а есть ли кто захочетъ увѣдомиться объ этомъ, тотъ и безъ меня догадаться можетъ."- заключаетъ разсказчикъ.

Утромъ явился въ комнату къ вдовѣ одинъ щеголь и, не стѣсняясь присутствіемъ разсказчика, сталъ „пощупывать ее очень вольно".—Разсказчикъ ревнуетъ, такъ какъ „влюбился въ нее, какъ въ путную". Между тѣмъ, щеголь позволялъ себѣ все бо́льшія вольности, наконецъ, „бросился цѣловать ея груди. Я не могъ болѣе терпѣть огорченія, и треснулъ его по лбу, отъ чего полилась у него и кровь, и слезы, и когда онъ образумился, то задѣлъ меня по щекѣ, а я до драки прежде бывалъ превеличайшій охотникъ, и такъ, расправивъ мои руки, началъ его потаскивать взадъ и впередъ по комнатѣ, и до тѣхъ поръ его отбоявривалъ, пока служители насъ не разняли; разсовалъ я ему побольше сотни тумаковъ подъ пазухи и во всѣ тѣ мѣста, гдѣ улеглись мои оплеушины, пинки и поботухи"... Слуги обобрали разсказчика, и вывели вонъ. Остался онъ въ полѣ безъ денегъ, избитый... „Во всю ночь я былъ у великаго довольства съѣстныхъ припасовъ и жралъ ихъ столько, что превзошелъ всякаго рода объѣдалъ, однако со всѣмъ тѣмъ проснулся голоденъ". „Это уже извѣстно давно, что у голоднаго хлѣбъ на умѣ, и никакія гражданскія дѣла не приходятъ тогда въ голову, когда желудокъ пустъ. Я не ѣлъ ничего, однако глоталъ очень часто, и въ семъ упражненіи путешествовалъ еще до обѣда". Онъ отправился въ путь. „И вотъ",—разсказываетъ онъ, „встрѣтилась со мною расчесанная деревня: я узналъ тотчасъ по ея платью, что не могу тутъ выпросить ни одного куска хлѣба". Тогда онъ пустился на хитрости—вошелъ въ тотъ домъ, что казался „покудрявѣе", нашелъ тамъ старуху „о трехъ или съ половиной зубахъ", объяснилъ ей, что онъ—„выходецъ съ того свѣта". Глупая старуха, услышавъ, что онъ—„выѣзжей небесной гражданинъ", повѣрила ему, накормила съ благоговѣніемъ и стала спрашивать, не видалъ ли онъ на томъ свѣтѣ ея покойнаго сына. Онъ отвѣтилъ, что видѣлъ, и что сынъ ея на томъ свѣтѣ обнищалъ, и на немъ теперь тамъ воду возятъ. Старуха изъ коробки потаскала денегъ, чтобы онъ снесъ „для разводу" ея сыну. Пріѣхалъ съ поля попъ, „которой не перещеголялъ разумомъ беззубую свою сестрицу", — онъ предложилъ разсказчику лошадь для передачи племяннику на томъ свѣтѣ. Съ другихъ разсказчикъ тоже набралъ достаточно—все для передачи на

тотъ свѣтъ. Искусство надувать простодушныхъ православныхъ „показалось ему довольно хлѣбно, и онъ опредѣлилъ называться вездѣ, что путешествую съ того свѣта“.

Отправился онъ далѣе уже веселѣе, и совсѣмъ не видалъ, „какъ спотыкнулся, было, на богатое и великое село. Когда я началъ вступать въ него, то принялъ на себя важной и смиренной видъ; ибо когда я сытъ, тогда шучу до тѣхъ поръ, покамѣстъ довольно“... Кричитъ мужикамъ, чтобы всѣ снимали шапки,—тѣ поторопились исполнить его приказаніе, и онъ гордо прошелъ прямо къ помѣщику. Самъ хозяинъ оказался въ отъѣздѣ,—оставалась въ домѣ его жена, да мать“. „Свекрови понадобился и подъ именемъ „выходца съ того свѣта“, а снохѣ подъ именемъ любовника; и такъ жилъ тутъ во всякомъ удовольствіи“. Когда пріѣхалъ хозяинъ, разсказчикъ собрался уѣхать, но молодая хозяйка уговорила его остаться. На его горе заѣхалъ въ село архіерей. Хозяинъ встрѣтилъ его съ честью и сейчасъ же похвастался, что у него въ домѣ живетъ „выходецъ съ того свѣта“; передалъ архіерею все, что „выходецъ“ наболталъ, и пожаловался, что отъ разговоровъ его и мужики въ селѣ „всколамутились и начали отставать отъ церкви“... Архіерей принялъ свои мѣры, и разсказчика забрали, „зашнуровали цѣпью“ и постригли въ монахи.

Полковникъ простилъ обоихъ—и монаха, и ключницу,—и обѣщалъ хлопотать о прощеніи монаха.

II) *Глава XVI. Сказка о рожденіи тавтяной мушки.* „Я весьма негодую на всѣхъ ученыхъ людей, и иногда дохожу до того, что почитаю ихъ неучтивыми противъ нѣжнаго женскаго пола за то, что они много писали о разныхъ матеріяхъ, не только не интересныхъ для дамъ, но часто даже внушающихъ ужасъ... Надобно ли, напримѣръ, щеголихѣ знать, что Массагетине и Скиѳы убивали своихъ отцовъ и, сваривъ ихъ, ѣли съ великимъ пированіемъ?“—спрашиваетъ авторъ.

Для дамъ, говоритъ онъ, нужны другіе сюжеты... И вотъ, онъ восхваляетъ сюжетъ о происхожденіи мушки, указываетъ на великое значеніе мушки въ жизни. Сравниваетъ съ Вергиліемъ и Гомеромъ того писателя, который сочинилъ книгу объ „языкѣ мушекъ“. Затѣмъ онъ переходитъ къ герою.

Очень давно въ Новгородѣ былъ университетъ. Учился тамъ студентъ Неохъ—онъ „былъ очень веселаго нраву, собою хорошъ и разуменъ; учители и товарищи его всегда имъ были довольны: онъ имѣлъ все, что касается до ученика, только также имѣлъ и одинъ припадокъ, которымъ не домогаютъ всѣ ученые люди,—то есть деньгами былъ гораздо не богатъ“. Слѣдуетъ юмористическое разсужденіе о томъ, что натура разно и неравномѣрно награждаетъ людей. Н. часто ходилъ въ гости къ друзьямъ и „во всякую бесѣду приходилъ всегда первой, а къ себѣ никого не зывалъ для того, что потчивать ему было нѣчемъ“.

Учился онъ хорошо, былъ беззаботенъ, не зналъ любви и роскоши. Однажды тетка прислала ему денегъ. Онъ чуть не сошелъ съ ума отъ радости, и рѣшилъ сейчасъ же угостить друзей. Составилъ реестръ и пошелъ приглашать. Но приглашенные, зная его бѣдность, недовѣрчиво отнеслись къ его приглашенію, а одинъ остроумецъ даже высмѣялъ его. Н., „идучи, разсуждалъ самъ въ себѣ, что удобнѣе на днѣ рѣки погру-

женному желѣзу всплыть на верхъ воды, нежели бѣдному человѣку сдѣлаться вдругъ богатымъ". Изъ двадцати пяти приглашенныхъ четверо обѣщали придти, „и то такіе, которые были одного тисненія съ Неохомъ и жили съ нимъ по-братски: ночью были всѣ раздѣты, а днемъ всѣ пятеро одѣвались въ два поношенные кафтана, которые служили имъ по жеребью". „Пришедши домой, не углубился Неохъ въ философію, и не сталъ разсуждать о ложныхъ пріятеляхъ, а впустился въ горячее вино, и натянулся его столь исправно, что едва-едва узналъ свою постелю".

Глава XVII. Утромъ онъ приготовилъ богатый пиръ съ музыкой: а самъ обвязалъ голову и притворился больнымъ. Гостей пришло пятнадцать человѣкъ. Неохъ сталъ жаловаться на болѣзнь, „вздохнулъ чрезвычайно немоглымъ образомъ" и, вмѣсто обѣда, сталъ философствовать— по поводу новой системы о свѣтѣ. Долго морилъ онъ философіей своихъ голодныхъ гостей; наконецъ, многіе, озлобившись, ушли, потерявъ надежду на обѣдъ. Неохъ все продолжалъ умствовать. Между тѣмъ, „солнце уже прищурилось и уснуло: мрачная ночь покрыла небо черною своею епанчею, можетъ быть, сытые и роскошные граждане послѣ ужина начинали уже и дремать, а гости Неоховы еще и не обѣдали"... Наконецъ, осталось только четверо закадычныхъ его пріятелей, которые безъ насмѣшекъ приняли приглашеніе Неоха... Тѣ, наконецъ, вмолились, прося у хозяина, хоти, хлѣба съ водою. Неохъ тогда вдругъ выздоровѣлъ, и пригласилъ ихъ къ столу, гдѣ были и „дамы"... И тутъ началось настоящее веселье... И „знаешь очень хорошо Русское обыкновеніе, что хозяину прежде всѣхъ надлежитъ быть пьяному, а безъ того и гости веселы быть не могутъ". И вотъ, „пьяной Бахусъ и зардѣвшаяся Венера" завладѣли настроеніемъ молодежи"... Танцы затѣяли дамы—„тотчасъ зарѣвѣла нескладно-настроенная музыка... Женщины ступали важно и замысловато, дѣлали пріятные виды и ужимки, а мущины ходили на рѣчахъ (?) и нерѣдко поталкивали лбами на стулья своихъ красавицъ". Дамы предложили пьянымъ кавалерамъ, „чтобъ начать прыгать голубца: тотчасъ всѣ согласились, и начали подымать ноги. Очень скоро въ одномъ углу что то стукнуло,—а это веселой непрыгнулъ не кстатѣ высоко, и ударился затылкомъ объ стѣну; потомъ въ другомъ углу двое, какъ то ненарокомъ, столкнулися лбами и раскроили себѣ головы"... Ихъ растащили по кроватямъ.

Глава XVIII. На слѣдующій день всѣ проснулись съ тяжелыми головами: „охнули раза по три—иной о поверьхности, а другой о внутренности головной, для того, что головы ихъ, какъ отъ вина, такъ и отъ сраженія и рядно были потревожены; однако, остаткачи отъ вчерашней пирушки напудрили они въ полпьяна и пьянѣ, распрощались съ граціями"—и разошлись. Въ университетѣ на слѣдующій день одни смѣялись надъ угощеніемъ Неоха, другіе благодарили его. Первые, узнавъ, что они одурачены, сдѣлались болѣе учтивы, и безъ насмѣшекъ съ большой охотою приняли второе предложеніе Неоха. Но онъ и тутъ ихъ поднадулъ: заплатилъ только за себя—гостямъ пришлось самимъ платить за себя. Такъ дважды отплатилъ онъ за насмѣшки.

Однажды Неохъ гулялъ за городомъ, „чтобъ принять хорошаго воздуха". Его остановилъ какой-то человѣкъ и вручилъ ему письмо,

съ просьбою придти на слѣдующій день въ назначенное время и мѣсто. Н. не зналъ еще ни любви, ни волокиты, — былъ „весьма далекъ отъ шайки нарциссовъ". Получивъ письмо, Н. „предчувствовалъ, что съ этой минуты будетъ онъ дѣйствующимъ лицомъ въ томъ романѣ, которой сочинителю писать за благо разсудилось". Въ назначенное время Н. былъ на указанномъ мѣстѣ. Съ полчаса ждалъ Неохъ и, наконецъ, увидѣлъ, „что шершавые вѣтры подняли великую пыль въ полѣ; потомъ изъ густыхъ земныхъ облаковъ означились шесть животныхъ четвероногихъ, которыя тащили за собой не весьма дурную карету". Посланные завязали глаза Неоху, посадили его въ экипажъ и повезли. „Нѣтъ на свѣтѣ твари отважнѣе Студента во всякомъ не извѣстномъ случаѣ", — восклицаетъ авторъ, говоря о храбрости Неоха. Его привезли и провели въ комнату—„сіе отважное животное помиралъ со смѣху". Неоха привели въ маленькую комнату, въ которой „стояла великолѣпная кровать, столъ и нѣсколько самыхъ мягкихъ и покойныхъ креселъ, также стѣнные часы удивительной и рѣдкой работы, на стѣнахъ были зеркалы и картины, а полъ покрытъ былъ зеленымъ сукномъ. Сіе описываю я для того, — оговаривается авторъ, что сочинитель романовъ долженъ быть непремѣнно историкъ и неупускать ничего, что̀ принадлежитъ до нравъ и басенъ". Н. остался одинъ. „Что̀-же онъ думалъ объ этомъ, и не вѣдаю, хотя бы и должно было мнѣ описать его смущеніе и движеніе сердца"—говоритъ авторъ.

Глава XIX. Наконецъ, явилась къ нему женщина въ маскѣ. Неохъ оказался очень вѣжливъ, на всѣ услуги готовъ, и незнакомкѣ отрекомендовался такъ: „я человѣкъ такой, изъ котораго вы все сдѣлать можете, что̀ только похотите: я могу быть самой нѣжной Адонидъ, проворной Меркурій и искусный стрипчей; буду за вашими дѣлами ходить съ такимъ усердіемъ, какъ будто бы за моими собственными". Женщина, усмѣхнувшись, говорила Неоху: „ты очень проворенъ на языкъ, только таковъ ли въ самомъ дѣлѣ?" Она дала ему табакерку съ червонцами, сказавъ, что и впредь онъ будетъ получать богатые подарки, если окажется послушнымъ. Первое свиданіе состояло въ томъ, что незнакомка разучивала характеръ и мысли Неоха, и назначила на слѣдующій день ему опять явиться. Вернувшись домой, Неохъ собралъ друзей, опять пировалъ съ ними, и они по немногу разобрали всѣ его червонцы и унесли самую табакерку. Золотая табакерка во все это время переходила изъ рукъ въ руки; иной хвалилъ ее самое, другой выхвалялъ искусство мастера, третій благодарилъ того, кто ее подарилъ Неоху и такъ далѣе. Наконецъ, замѣшалась она во множествѣ пальцовъ и отъ потныхъ рукъ такъ много потускла, что послѣ ее уже и увидѣть было не возможно. Такимъ образомъ, скончала она пребываніе свое у Неоха".

Глава XX. Произошло, наконецъ, свиданіе Неоха съ Владимирой (имя влюбившейся въ него дѣвицы); онъ такъ очаровалъ красавицу своей наружностью, своими складными рѣчами, что отношенія ихъ упрочились. Немудрено, что „знакомство у рѣтивой къ любви дѣвушки съ отважнымъ студентомъ въ одну минуту взошло на высокую степень, и начали они столь дружно другъ другу осязать, какъ будто бы старинной супругъ съ древнею сожительницею".

Слѣдуетъ разсужденіе автора о любовныхъ разговорахъ. Оказалось, что Владимира—дочь первосвященника, а сводница Навѣра—ея воспитательница. Неохъ затрепеталъ, узнавъ, что онъ находится въ домѣ первосвященника, такъ какъ первосвященникъ казался набожнымъ, но на дѣлѣ былъ жестокъ и даже проливалъ человѣческую кровь. „Въ тихомъ омутѣ больше черти водятся"—замѣчаетъ авторъ. Владимира утѣшила Неоха предоставивъ ему свои деньги. Только утромъ выбрался онъ отъ ласковой дѣвицы..

Глава XXI. Навѣра „имѣла видъ набожной и добродѣтельной старухи; казалася всегда важна и постоянна; кротость и смиреніе написаны были на ея лицѣ",—но сердце ея было подлое, злое, корыстолюбивое...

Слѣдуетъ разсужденіе автора о значеніи воспитанія. Воспитанница ея, Владимира, много худого переняла отъ нея. Навѣра расхваливаетъ Неоха и ругаетъ отца ея—первосвященника. Обѣ женщины деньгами убили въ Неохѣ добродѣтель. Онѣ желаютъ свободы себѣ.

Слѣдуетъ разсужденіе о тлетворной силѣ золота. Всѣ они втроемъ рѣшили, что Неохъ застрѣлитъ первосвященника въ саду, когда тотъ будетъ тамъ гулять. „Пьяной и отважной студентъ не долго размышлялъ на сіе согласиться". Но по ошибкѣ Неохъ убилъ Навѣру. Неохъ убѣжденный, что убилъ первосвященника, побѣжалъ радостно къ его дочери. Владимира притворно горюетъ.

Слѣдуетъ разсужденіе объ искусствѣ женщинъ притворяться. Неохъ тогда ей, въ утѣшеніе, прибѣгъ къ помощи „философической морали" и скоро безъ труда доказалъ ей, „что врожденное въ насъ человѣколюбіе требуетъ иногда того, чтобъ отнять жизнь у ближняго въ то время, когда онъ становится несносенъ свѣту, утѣсняетъ людей и ведетъ весьма порочную жизнь". Влад. безъ труда убѣждается этой моралью, жалуется, въ свое оправданіе, на тяжесть отцовскаго режима и, наконецъ, перестаетъ скрывать свою радость по поводу того, что она теперь свободна. Затѣмъ оба отправились осматривать оставшееся имъ наслѣдство. Неохъ хватаетъ то, что ему нравится, записываетъ разныя вещи „для порядка" въ книгу.

Слѣдуетъ разсужденіе о чести бѣдныхъ людей. Вдругъ неожиданно на встрѣчу счастливой парѣ появляется самъ старикъ-первосвященникъ. Изумленіе и ужасъ Неоха.

Глава XXII. Старикъ понялъ, что и дочь его - участница преступленія, и укоряетъ ее. Неоху опорожнили карманы и подъ строгимъ карауломъ отправили къ жрецамъ „на покаянную". Неохъ, идучи въ темницу, жалуется въ длинномъ монологѣ на судьбу.

Жрецъ, которому былъ отданъ на смотрѣніе Неохъ—былъ скупъ, корыстолюбивъ, „упражнялся больше въ собираніи богатства, нежели въ церковныхъ обрядахъ; чинъ его не мѣшалъ ему утѣснять людей, отнимать ихъ имѣніе и проливать слезы. Онъ часто вступалъ въ приказныя дѣла, и смиреннымъ образомъ отнималъ насильно у другаго имѣніе, совсѣмъ ему не принадлежащее, часто доносилъ на многихъ духовныхъ особъ не правильно, и тѣмъ получалъ себѣ половину ихъ имѣнія. Впро[illegible], часто поучалъ на каѳедрѣ народъ, а больше, чтобъ имѣли любо[illegible] ближнему такъ, какъ сами къ себѣ, и изъяснялъ сіи

слова съ такою кротостію, какъ будто онъ самъ никакому пороку подверженъ не былъ". Однажды Неохъ явился ка нему (имя его Имай) и покаялся, что, подслушавъ молитву одной простодушной красавицы въ церкви, онъ, отъ имени бога, сталъ говорить ей, что явится къ ней на домъ, — она съ радостью повѣрила тому, что услышанныя ею въ церкви таинственныя слова — слова бога, и обѣщала на дому принести ему „золотую жертву". Жрецъ простилъ грѣхъ Неоха и просилъ лишь проводить его къ красавицѣ въ эту ночь, чтобы „разсѣять ея суевѣріе"... Неохъ, провожая жреца, удралъ въ проходной дворъ. Имай, всю ночь прождавшій Неоха и красавицу, страшно обозлился—„готовъ былъ позабыть все свое смиреніе и растерзать его на части". По этому поводу Чулковъ замѣчаетъ: „со жреческою злостію и ехидна сравниться не можетъ. Они не такъ, какъ мы, простолюдины,—злятся до тѣхъ поръ, покамѣстъ положатъ его во гробъ и засыплютъ землею; но другіе говорятъ, что они и во адѣ не забываютъ своего свирѣпства".

Глава XXIII. Неохъ убѣжалъ изъ города и, „обошелъ на другую сторону озера, „присталъ къ жрецамъ Ладина храма Сіи роскошныя животныя, усмотря въ немъ отмѣнную отъ прочихъ добродѣтель; ибо онъ весьма способенъ былъ ко всякимъ острымъ выдумкамъ и разнымъ удивительнымъ хитростямъ, приняли его въ свое сообщество". „Въ нѣкоторой день, послѣ келейной трапезы", жрецы стали хвастаться своими амурными похожденіями: оказалось, одинъ содержитъ „прекрасную дѣвушку", другой находится въ связи съ женой управителя, третій — въ связи съ одной знатной госпожей. Настоятель, оказалось, всѣхъ превзошелъ,—онъ разсказалъ, что доходы монастырскіе дѣлитъ на три части,—одну тратитъ на храмъ, другую беретъ себѣ, третью — на содержаніе двухъ дѣвицъ. Неохъ узналъ, что у этихъ монаховъ въ домѣ бываетъ собраніе набожныхъ женщинъ,—старухъ, дѣвицъ, которыя говорятъ о богословіи,—„всякой день толкуютъ библію и хотятъ переложить ее на стихи"...

Однажды, явился въ монастырь посланный изъ Новгорода, съ требованіемъ отъ первосвященника о присылкѣ проповѣдника. „Напръ, говорилъ онъ, волею боговъ заболѣлъ, и не въ состояніи увѣщевать народъ для того, что больной врачъ не можетъ пользовать немогущихъ". Посланъ былъ жрецъ Виндолтаръ съ Неохомъ. „Въ дорогѣ ничего съ нимъ важнаго не случилось, ибо онъ не былъ изъ числа тѣхъ храбрыхъ людей, которые, находясь въ дорогѣ, обижаютъ крестьянъ по деревнямъ, отымаютъ у нихъ насильно лошадей, берутъ съѣстные припасы и за нихъ не платитъ, не имѣя къ тому ни малѣйшаго права, и послѣ ласкатели называютъ ихъ людьми добродѣтельными". Неохъ съ этимъ жрецомъ рѣшились извести первосвященника (отца Владиміра). Истуканъ Чернобога былъ въ серединѣ пустъ—туда влѣзалъ первосвященникъ и прорицалъ. Когда жрецъ вылѣзалъ, то истуканъ наполняли пламенемъ, и эффектъ для простодушныхъ вѣрующихъ, получался сильный. Неохъ же раньше времени подпалилъ истукана, когда изъ него еще не вылѣзъ первосвященникъ, и „началъ жарить великаго жреца". „Идолъ зарвѣлъ не по божески, а такъ, какъ простолюдимъ подъ батогами". Но „какъ первосвященникъ въ немъ ни вертѣлся, однако принужденъ былъ вариться безъ всякаго разумнаго

отвѣта". Наконецъ, идолъ полетѣлъ... Жрецы бросились его поднимать, „но руки ихъ приварило къ раскаленной мѣди, и они закричали не складнѣе своего бога". Общее замѣшательство и тревоге въ народѣ. Неоха схватили и посадили въ тюрьму. Жрецъ, который участвовалъ съ Неохомъ въ жареніи первосвященника, боясь попасть тоже въ темницу, если дѣло дойдетъ до разбирательства, сумѣлъ убѣдить товарищей отправить Неоха въ заточеніе на Валдайскія горы и тамъ уморить голодомъ, а самъ, между тѣмъ, далъ денегъ Неоху: Неохъ подкупилъ одного крестьянина, чтобы тотъ проѣхалъ съ бочкою вина по той дорогѣ, гдѣ его повезутъ. Самъ мужикъ отсталъ отъ повозки, а втулку изъ бочки выдернулъ—и бочка опередила Неоха съ конвоемъ. Солдаты, видя, что вино безъ пользы льется, а хозяина нѣтъ, „подставили шеломы и, надѣвши въ оныя, оказали себя въ семъ случаѣ, что они вина пить умѣли довольно порядно, и такъ, насандаливъ исправно носы, улеглись всѣ и уснули".

Глава XXIV. Тогда мужикъ „вынялъ изъ пазухи мыло и бритву, надѣлъ въ винакъ вина и началъ мылить упившимся солдатамъ головы и брить ихъ до гола,—отъ чего и нынѣ ходитъ между простымъ народомъ басня подъ именемъ: „Деревня плешивыхъ". Мужикъ объяснилъ свой поступокъ, какъ месть солдатамъ за то, что они, „ѣздя по деревнямъ, обижаютъ весьма много крестьянъ". Такъ Неохъ освободился отъ своихъ стражей и отправился дальше. Въ одной деревнѣ онъ увидѣлъ драку мужиковъ за землю. „Въ ихъ глазахъ одинъ отважной съ глупостью крестьянинъ ударилъ другаго въ самое тѣмя оглоблею, не сказавъ ему, чтобы онъ посторонился, такъ неосторожно, что мужикъ тотъ въ одну минуту переселился на тотъ свѣтъ". Неохъ одѣлъ на себя платье убитаго мужика, свое одѣлъ на него и тѣло убитаго подложилъ къ пьянымъ солдатамъ. Затѣмъ отправился въ городъ Винетту.

Солдаты привезли тѣло, яко-бы, Неоха, въ городъ, и тамъ жрецы предали его позорному поруганію. „Въ глазахъ всего народа пострадалъ невинной мужикъ за беззаконнаго студента". Онъ былъ торжественно сожженъ и прахъ его развѣяли по вѣтру...

„Владимира жалѣла ли объ отцѣ, объ семъ я неизвѣстенъ; ибо она мнѣ сего не сказывала, а лжи писать я не намѣренъ",—но она сильно тосковала по Неохѣ. Добравшись до Винетты, Н. ей пишетъ письмо, приглашая ее къ себѣ.

Часть IV. Глава XV. Владимира обрадовалась полученному письму: „легче перечесть песокъ на днѣ морскомъ, намѣрить глубину Океана, удержать птицу на воздухѣ, унять купца, чтобъ онъ не божился въ то время, когда продаетъ свои товары, удержать подлячего отъ изятковъ, нежели узнать склонность и намѣреніе той дѣвушки, которая начинаетъ влюбляться. Золото пробуютъ на оселку, а любовницу на деньгахъ". Влад. отправилась въ Винетту. У Владимиры былъ управитель Куромша. Подробное описаніе его комической наружности. Онъ былъ въ любовной связи съ горничной Владимиры, и потому очень былъ огорченъ отъѣздомъ Владимиры, такъ какъ ему пришлось разстаться съ любовницей; съ горя онъ ревѣлъ „дикимъ голосомъ". „Оставшіеся тутъ люди не знали, что дѣлать со своимъ Езопомъ, и для того всѣ разбѣжались". Кур. отводитъ тоскующую душу въ сочиненіи

елегіи. Онъ былъ поэтъ,—„передѣлывалъ похожденіе Боны Королевича въ героическую поему ровно тридцать лѣтъ". „По окончаніи сей елегіи повредился разумъ у нашего управителя; ибо большую онаго часть положилъ онъ въ сіе сочиненіе". Наконецъ, ему стали чудиться даже дьяволы—онъ бесѣдуетъ съ ними. Наконецъ, Кур. началъ умирать—и его имѣніе всѣ расхищаютъ: „духовная особа взялъ золотые часы, и сказалъ, что его беретъ онъ для помилованія души управительской". Другіе тоже все растаскали. Ночью Кур. проснулся и увидя, что все раскрадено,—даже нить было не въ чемъ, съ горя скончался.

Глава VIII. Слѣдуетъ болтовня о томъ, какъ трудно жить безъ денегъ и ума. Неохъ по дорогѣ въ Винетту заночевалъ въ лѣсу въ пустой избѣ. Ночью явилась туда влюбленная парочка. Неохъ нечаянно свалился съ палатей, „остался цѣлъ, только повредилъ нѣсколько затылокъ, отъ чего въ ушахъ у него звенѣло, а изъ глазъ скакали искры". Испуганные любовники со страшнымъ крикомъ убѣжали. Неохъ, „окруженный досками, сидя на полу, часто похватывалъ себя за голову, и собиралъ растерянныя мысли". Утромъ онъ нашелъ на столѣ часы и табакерку, а у избы привязаннаго жеребца. Неохъ все это забралъ себѣ.

Глава XIX. Утромъ Неохъ, съ гордостью, на конѣ въѣхалъ въ ближайшее село и прямо отправился на дворъ къ помѣщику. Помѣщикъ этотъ служилъ тридцать четыре года „въ военной службѣ безъ всякаго порока", а теперь, „въ отставкѣ, въ чинѣ первостатейнаго сотника", доживая свои дни въ деревнѣ „благополучно, имѣетъ дѣтей и старается уготовить ихъ для защищенія отечества". Неохъ заставъ помѣщика и его жену въ горѣ, такъ какъ у нихъ расхворалась дочка. Неохъ взялся лечить. „Онъ какъ скоро больную увидѣлъ, то и подумалъ, что его кусокъ годится и для здороваго". Онъ сталъ разспрашивать больную объ ея недугахъ. „Я сама не знаю, отвѣчала ему больная, наморщивши нѣсколько лобъ и поднявши неподвижную губу, какъ обыкновенно дѣлаютъ дѣвушки въ то время, когда захотятъ нѣсколько понѣжиться,—только чувствую, продолжала она, что кровь во мнѣ ходитъ очень дурно". Неохъ узналъ по голосу, что она была наканунѣ въ пустой избѣ съ любовникомъ. Онъ воспользовался этимъ и сразу точно опредѣлилъ причину ея болѣзни—„испугъ отъ внезапнаго стука". Этотъ удачный діагнозъ прославилъ Неоха, какъ искуснаго лекаря: онъ надолго остался гостить у этого помѣщика; теперь онъ „жилъ по прозѣбѣ хозяина, а больше хозяйки, въ такой деревнѣ, гдѣ изо всѣхъ мужиковъ не можно сдѣлать ни одного Философа,—всякой охотнѣе упражнялся въ удобреніи нивы, нежели въ познаніи самаго себя... И на какой конецъ имѣетъ онъ данную ему жизнь, о чемъ имъ въ голову не приходило и, ежели бы начать съ ними о томъ говорить, то бы они почли тебя сумасшеднимъ и велѣли бы „пустить кровь".

Неохъ, „утопая въ великомъ удовольствіи", жилъ долго въ деревнѣ, разсказывая хозяину и всему дому разныя забавныя приключенія, пришучивалъ весьма кстати, остро и замысловато": въ бесѣдахъ съ хозяиномъ „не жалѣлъ тратить философскихъ изъясненій, посылалъ древнею исторіею такъ, какъ горохомъ"—женѣ, дочери, „переводилъ Овидіевы превращенія, книги печалей и, словомъ, всякія любовныя исторіи".

Глава XX. Настали именины хозяина. Неохъ даритъ ему коня.

женѣ — табакерку, „которую завоевалъ онъ повреждеціемъ затылка“ своего въ уединенной избѣ. Собрались гости, и „всякой, въ угодность хозяина, оказывалъ себя довольнымъ и выпивалъ все, что ему ни подносили, отъ чего послѣдовало необильное краснорѣчіе и, казалось, что собраны тутъ люди разныхъ націй и говорили разными языками; всякой не хотѣлъ молчать, а старался больше говорить, слушать же изъ нихъ никто не обязывался: слѣдовательно, пирушка сія походила на Жидовскую школу“. Хозяйка показала гостямъ табакерку, полученную отъ Неоха; изъ молодыхъ гостей нашелся ея хозяинъ, который „совсѣмъ незнакомъ былъ Минервѣ и не имѣлъ ея у себя предводительницею,— онъ, не согласяся съ разумомъ и нечаянно, изъ спроста, захотѣлъ одурачиться“. Онъ заявилъ, что табакерка его и лошадь — его. Хозяйка озлилась и побѣжала къ Неоху, „которой тогда шумѣлъ въ свою волю, и доказывалъ, что человѣкъ не что иное, какъ слуга всѣхъ тварей“. Она отдала ему подаренную табакерку, и требовала, чтобы и мужъ отдалъ Неоху лошадь. „Послѣ сего грому вся компанія помутилась, — всѣ вскочили со своихъ мѣстъ и хотѣли разобрать ссору, ибо пьяные люди великіе охотники и драться, и мириться“. Неохъ не смутился—„онъ имѣлъ твердую на себя надежду, что всякую ложь одѣнетъ правдою“. Онъ политично напомнилъ гостю нѣкоторыя обстоятельства насчетъ подробностей свиданія въ избѣ, и тотъ, боясь огласки, самъ бросился на колѣни передъ Неохомъ и признался, передъ всѣми, что „вклепался въ чужую“... Онъ долго извинялся, „однако, много разъ заикался и не могъ порядочно изъяснить своей мысли и, притомъ, краснѣлъ и алѣлъ, какъ маковъ цвѣтъ“. Наконецъ, онъ раньше всѣхъ уѣхалъ и „унесъ съ собою стыдъ и собственное свое дурачество, опасаясь притомъ, чтобъ не захватить чужаго, котораго съ излишкомъ находилося въ сей тайнѣ“. Пьянство, нарушенное инцидентомъ, благополучно продолжалось и захватило даже слѣдующій день.

Молодой человѣкъ, оказалось, былъ вліятельной особой: у него были связи въ г. Винеттѣ, и онъ пожелалъ устроить тамъ Неоха. Неохъ, погостивъ еще нѣсколько времени, распростился съ хозяевами, и отправился въ путь.

Глава XXI. Неохъ, идя въ Винетту—усѣлся отдохнуть въ лѣсу, и сталъ считать деньги свои; вдругъ вышелъ изъ лѣсу „домашній воинъ, который, опредѣлясь въ военную службу, не искалъ случая оказать храбрость свою надъ непріятелями, и воевалъ не за границею, а въ своей землѣ и сбиралъ пошлину съ праздношатающихся по улицамъ, а особливо съ тѣхъ, которые не въ указные часы ходили по дорогѣ“. Онъ подошелъ къ Неоху и, „смотря весьма жадно на его золото“, спросилъ, „сколько у него денегъ“. Н., „какъ человѣкъ разумной, не хотѣлъ, было, дураку давать отвѣта,—но какъ тотъ приставилъ къ грудямъ его копье, и хотѣлъ проткнуть насквозь, тогда Неохъ оробѣвши, говорилъ: „пять сотъ шестьдесятъ четыре гривны“. „Положи ихъ въ мой карманъ!“—кричалъ ему лѣсной забійка. Онъ все отобралъ у Неоха и, на прощаніе, сказалъ: „прощай, разживайся хорошенько и приходи опять на его мѣсто считать деньги, да сказывай и другимъ, естьли имѣешь богатыхъ знакомыхъ людей...“ „Сказавъ сіе, пошелъ онъ въ лѣсъ и запѣлъ бурлацкую арію весьма громогласно“—Н. оста-

новился въ ночлежномъ домѣ и „на другой день, по утру, умножилъ число Винетинскихъ гражданъ знаменитой своею особою".

Вечеромъ въ притонъ стали собираться „таскающіеся по городу безстыдные люди, и всякой, пришедши, опоражнивалъ свою мошенку въ поставленную хозяйкою чашку".

Половина денегъ отправлена была въ кабакъ—„бѣгалъ за инокомъ хромой, однако скоростію превзошелъ всякаго скорохода".—

Одна изъ нищихъ-старухъ заинтересовалась Неохомъ, узнала объ его судьбѣ и обѣщала на слѣдующій день устроить его благополучіе. Н. обѣщалъ отблагодарить ее за услугу, но нищая замѣтила, что не вѣритъ,—она сказала: „знаю довольно совѣтъ молодыхъ людей: они обѣщанія свои пишутъ на водѣ".

У нищей, оказалось, была знакомая богатая „купецкая жена", которая давно просила ее пріискать ей „красавца" для развлеченія.

Послѣ ужина нищіе сняли съ себя лохмотья, и исподнія оказались, у нихъ достаточно хорошими; они умылись, и легли спать „по-парно, и надобно знать, что не на худыхъ при томъ постеляхъ".

Утромъ они встали рано, „натерлись нѣсколько сажею и грязью и, облекшись во вретище, пошли, куда каждаго добыча позывала".

Благодѣтельница-нищая свела Неоха съ купецкою женой. „Онъ не обращался еще съ купеческими женами, у которыхъ не только обхожденія, но и любовныя дѣла называются инаково,—и онѣ никогда не говорятъ, что женщина такая-то „любитъ своего сидѣльца", а всегда такъ: „она, сударыня, пускаетъ амуры со своимъ сидѣльцомъ"—Н. былъ юноша способный и „въ одну минуту" изучилъ эту „купеческую нумерацію".

Глава XXII. Мужъ любовницы Неоха, услышавъ, что Неохъ былъ бѣднымъ студентомъ и быстро разбогатѣлъ, пригласилъ его къ себѣ и, изъ алчности къ золоту, попросилъ открыть ему тайну его обогащенія. Н. испугался, сначала думая, что отношенія его къ купеческой женѣ сдѣлались извѣстны мужу; Неохъ началъ хитрить, болтать, и вывѣдалъ, наконецъ, отъ простика, что тотъ ничего о любовныхъ похожденіяхъ своей жены не знаетъ. Неохъ тогда, чтобы посмѣяться, разсказалъ, что онъ деньги добылъ тѣмъ, что служилъ сводникомъ у первосвященника и устраивалъ всѣ его любовныя шашни.

О первосвященникѣ Неохъ отзывается, какъ о лицемѣрѣ. Онъ указалъ простодушному купцу и на любовницу первосвященника—Минамилу. Сказавъ купцу, что за передачу писемъ оба платятъ ему щедро, Н. предложилъ передать ему свою „должность Меркуріи". Чтобы увѣрить старика въ истинѣ своего разсказа, Неохъ пригласилъ его въ рощу около храма вечеромъ, чтобы быть свидѣтелемъ свиданія первосвященника. Слѣдуетъ разсужденіе о дуракахъ. Неохъ одѣлся жрецомъ, пригласилъ купчиху. Старикъ, мужъ ея, сидѣлъ въ засадѣ на деревѣ, а Неохъ съ его женой „дѣлалъ все, что ему заблагоразсудилось"; „дуракъ, сидя на деревѣ, помиралъ со смѣху; радость его тѣмъ больше умножалась, чѣмъ подходили ближе любовники къ натуральному услажденію". Старикъ послѣ всего видѣннаго совершенно повѣрилъ Неоху, и тотъ направилъ старика-купца къ первосвященнику, съ предложеніемъ своихъ услугъ по части сводничества.

Глава XXIV. Купецъ зашелъ сначала къ Минамилѣ, и доложилъ мужику, который подметалъ тогда дворъ, что „имѣетъ онъ крайнюю нужду до его госпожи. Мужикъ сказалъ это истопнику, истопникъ лакею, лакей донесъ камердинеру, камердинеръ сказалъ горничной дѣвушкѣ, дѣвушка объявила барской барынѣ и т. д.". Изумленье барыни было безгранично, когда она отъ купца услышала предложеніе услугъ по части любовныхъ сношеній съ первосвященникомъ.

„Безъ ума ты, или въ умѣ?" воскликнула она.— „Благодарю боговъ, сударыня, отвѣчалъ онъ ей, что имѣю здравое разсужденіе!"— „По крайней мѣрѣ, продолжала она спрашивать, что? дурь на тебя часами находитъ?" и т. д. Кончилось дѣло тѣмъ, что „взяли нашего дѣльца подъ руки и повели изъ покоевъ въ сѣни. Сперва начали щелкать его ладоньми въ голову, потомъ кулаками въ затылокъ, а, наконецъ, пріударили во всю спину, а чья рука не умѣстилась на оной, или въ суетахъ не удалось ему плотненько ударить, тотъ принѣхивалъ его подъ бока, въ рыло и въ грудь, и словомъ, гдѣ кому удалось, тотъ тамо и трудился".

Въ городъ пріѣхалъ Длань, владѣлецъ табакерки и коня. Неохъ явился къ нему „неробкими стопами" и „пошутилъ столько, сколько потребно было при первомъ свиданіи". Длань подружился съ нимъ и обѣщалъ устроить его.

И, получилъ письмо отъ Владимиры. — Слѣдуетъ болтовня по поводу свиданія любовниковъ.

Часть V. Глава XVI. Слѣдуетъ разсужденіе относительно безпорядочности разсказа.

Купецъ посаженъ былъ за безчиніе въ домъ для сумасшедшихъ, гдѣ и умеръ. Вдова его, потерявшая и мужа, и Неоха, влюбилась въ другого: „сія благосклонная Берфа удостоила тоюжъ довѣренностію посадскаго Евдона, кудриваго молодца, перваго изъ своихъ сидѣльцевъ".

Благодаря протекціи Длана, Неохъ вышелъ въ люди. Онъ былъ у одного вельможи на его любовныхъ посылкахъ, „имѣя весьма частые секретные переговоры съ дочерью одного вельможи". Потомъ Неохъ былъ назначенъ секретаремъ къ верховному начальнику. Владимира ему измѣнила и вышла замужъ за другого. Сначала Неохъ горевалъ, но потомъ сталъ философствовать и рѣшилъ, что все къ лучшему.

Скоро Неохъ совсѣмъ утѣшился, получивъ предложеніе чрезъ одного человѣка отъ неизвѣстной красавицы жить съ нею. Назначено было ему свиданіе за городомъ. Неохъ ѣдетъ туда.

Слѣдуетъ разсужденіе объ опасностяхъ волокитства. „Какъ только онъ отворилъ двери, то голосъ наинѣжнѣйшей Сирены произнесъ сіи слова: „пожалуйте сюда и затворите двери". „Голосъ сей Сирены разслабилъ Неохово сердце и раздробилъ все просвѣщенное понятіе". Дѣвица оказалась знатная, но имени ея Неохъ не узналъ. „Впрочемъ, говоритъ авторъ—о дальнѣйшихъ между ими произшествіяхъ въ сіе время достовѣрнѣе свидѣтельствовать могутъ старшая Хаосова дочь, т. е. ночь, и темный покой". Разстались они на разсвѣтѣ,—такъ завязалась у Неоха новая связь.

Глава XVII. Неохъ счастливъ и богатъ, благодаря этой таинствен-

ной связи. Государь полюбилъ Неоха, считая его за очень честнаго и добродѣтельнаго человѣка.

Дѣвица, жившая съ Неохомъ, оказалась дочерью боярина, который „былъ сложенія заботливаго и неусыпно помогалъ всѣмъ тѣмъ, которые учинили преступленіе въ своихъ должностяхъ съ намѣреніями... Домъ его былъ прибѣжищемъ похитившимъ государственную казну...“ Неоху онъ сталъ покровительствовать, зная о связи его съ дочерью,— и, „дабы дочь его не осталась въ поношеніи, что имѣетъ съ инокороднымъ человѣкомъ знакомство и дѣло“, сталъ Неоха выдвигать. Государь, считая Неоха честнымъ, разъ спросилъ его, откуда у него богатство. Неохъ разсказалъ государю о своей тайной любовной связи. Государь пожелалъ узнать имя его возлюбленной, но Неохъ ея не знаетъ даже въ лицо, такъ какъ она всегда на свиданіе являлась подъ маской. По желанію государя, онъ, при свиданіи, приложилъ къ щекѣ возлюбленной адскій камень; осталось черное пятнышко. На слѣдующій день назначенъ балъ во дворцѣ. Лелія (имя дѣвицы, ходившей на свиданіе), увидя пятнышко на щекѣ, заклеила его тафтяной мушкой: „вырѣзываетъ нѣжными руками самомалѣйшій кружечикъ, прилѣпляетъ оный къ лицу своему, смотрится въ зеркало и находитъ себи подъ симъ малѣйшимъ знакомъ еще прелестнѣйшею; сердце ея чувствуетъ радость, а умъ—удовольствіе“. Всѣмъ придворнымъ дамамъ понравилось его новое украшеніе,—„торжество изобрѣтенія мушки во мгновеніе ока разнеслось по дворцу государеву“. Разнесли это „сѣнныя дѣвушки, которыя быстрѣе самой славы внушили оное и отдаленнымъ прислужницамъ въ высокихъ теремахъ, и на пространной кухнѣ, въ глубокихъ погребахъ, въ долгихъ выходахъ и обширныхъ подвалахъ ключницамъ и ихъ помощницамъ“... „Острота женскаго ума въ тонкихъ изобрѣтеніяхъ начертала мушкамъ и различныя уже фигуры, какъ то: полумѣсяцы, звѣзды, плотные кружечки и съ разными прорѣзами“... „Новгородъ въ тѣ времена въ Россіи почитался моднымъ такъ, какъ нынѣ Парижъ въ Европѣ. Чтожъ касается до моды, то она моложе только хаоса, а старѣе всего на свѣтѣ“—остритъ авторъ.

Оказалось, на придворный балъ явились щеголихи уже всѣ съ мушками на лицѣ. Государь „хвалилъ сію выдумку для того болѣе, что онаи, хотя и не увеличивала красоты ихъ, но придавала нѣкоторую пріятность, умножала побѣдоносный огонь въ глазахъ и производила такую притягательность, что всякой мущина не могъ отвести глазъ своихъ ни на минуту отъ обожаемаго предмета“. Потомъ Государь велѣлъ всѣмъ снять мушки, и по пятнышку узналъ Лелію. Онъ призналъ отца Леліи и сосваталъ Неоха. Свадьба.

Достаточнаго сдѣланнаго пересказа обоихъ произведеній Чулкова, чтобы признать, что, по характеру своему, они подходятъ къ той же группѣ, что и романы Лесажа.

Прежде всего, передъ нами въ этихъ произведеніяхъ ярко выраженный „мѣщанскій“ характеръ жизни,—та „средняя жизнь“, которая имѣетъ свою „среднюю мораль“ (см. объ этомъ выше стр. 348—350), рѣзко отличающуюся отъ идеализма героическихъ

псевдоклассическихъ романовъ. И герои, и самъ разсказчикъ, если вѣрить его автохарактеристикѣ,—чистѣйшіе рісаго въ томъ смягченномъ видѣ, какой этому типу придалъ Лесажъ своимъ Жилблазомъ. Если не примѣнять къ этимъ героямъ особо-строгихъ моральныхъ требованій, то, пожалуй, вслѣдъ за французскими критиками, мы и героевъ Чулкова назовемъ „обыкновенными" людьми, которые довольно безпечны относительно голоса совѣсти и на жизнь смотрятъ, какъ Жилблазъ,—добродушно-лукаво: къ преслѣдованьямъ судьбы относятся они пассивно,—не вступаютъ съ ней въ борьбу, а всѣ удары ея встрѣчаютъ смѣхомъ...

Хотя оба произведенія Чулкова представляютъ собой только небольшія „повѣсти",—и потому „построеніе" ихъ не можетъ быть тожественно съ произведеніями Лесажа, тѣмъ не менѣе, характеръ ихъ, въ такой же мѣрѣ, авантюрный, и пріемы письма тѣ же самые („общія мѣста", пріемы изображать психику героевъ, „описанія" и пр.). Подобно „Жилблазу", обѣ повѣсти Чулкова рисуютъ нравы и, въ одинаковой мѣрѣ, вышучиваютъ старый героическій романъ и псевдоклассицизмъ...

Обращаюсь, прежде всего къ тѣмъ особенностямъ, которыя заставляютъ эти произведенія отнести къ „псевдоклассическимъ".

Если всѣ „пародіи" на героическія поэмы должны быть отнесены, тѣмъ не менѣе, къ разряду такихъ же героическихъ поэмъ,—если всѣ поэмы, въ которыхъ травестируется миѳологія и высмѣивается псевдоклассицизмъ, или рыцарство, — все-таки должны быть причислены къ „псевдоклассическимъ", или „рыцарскимъ",—то и повѣсти нашего Чулкова съ такимъ же правомъ занимаютъ свое мѣсто именно въ группѣ романовъ псевдоклассическихъ. Выше (стр. 342, 351—2) я отмѣчалъ, что не только сатирическіе французскіе романы, но и произведенія Лесажа, носятъ характеръ пародій на серьезные героическіе романы,—и это обстоятельство было одной изъ причинъ, которыя заставили меня разсматривать его произведенія именно въ группѣ романа героическаго, псевдоклассическаго.

Къ тому же между Лесажемъ и Кальпренедомъ различіе не въ построеніи романа, а въ существѣ героевъ и въ авторскомъ міросозерцаніи,—у одного герои „положительные", у другого—„отрицательные": одинъ уноситъ читателя въ міръ идеаловъ,—другой заставляетъ ползать по землѣ, копаться въ неприкрашенной дѣйствительности...

То же различіе, въ сущности, наблюдаемъ мы между французской трагедіей и комедіей XVII-го вѣка, и тѣмъ не менѣе,

оба вида объединяемъ подъ общимъ понятіемъ: „псевдоклассическая драма“. Съ такимъ же правомъ, опираясь на сходство построенія и сходство пріемовъ („авантюрный“ характеръ, „фатализмъ“, пріемы описывать душевныя состоянія героевъ, преимущественный интересъ къ героямъ, элементы классицизма, выразившіеся, напримѣръ, въ миѳологическихъ реминисценціяхъ и др.)— можно и Лесажа отнести къ псевдоклассикамъ, а, вслѣдъ за нимъ, и нашего Чулкова...

Къ тому же Чулковъ, какъ и раньше его Лесажъ, хотя и критически относится къ этому типу романовъ, хотя и пародируетъ нѣкоторые пріемы этой школы *), и травестируетъ миѳологическіе

*) Привожу нѣкоторыя мѣста изъ его повѣстей, характеризующія его критическое отношеніе къ идеалистическому роману и его литературнымъ особенностямъ. Онъ удачно пародируетъ любовныя объясненія при помощи монологовъ, и обставляетъ это объясненіе всѣми избитыми „романическими“ деталями — паденіе любовника на колѣни, трагическія движенія любовницы и пр. Онъ вышучиваетъ „общія мѣста“ этихъ романовъ и шаблонные пріемы романистовъ. Говоря о томъ, что влюбившійся Неохъ попалъ въ полную власть „романиста“, Чулковъ продолжаетъ: „Неохъ теперь въ полной его власти, и онъ будетъ повелѣвать имъ такъ, какъ своимъ невольникомъ,—можетъ одѣть его въ странную одежду, надѣнетъ на него золотой кирасъ съ желтою епанчею, на голову дастъ ему бѣлую чалму съ желтыми полосами, лице покроетъ чернью и вздѣнетъ въ уши ему, вмѣсто серегъ, по крупной жемчужинѣ, вручитъ ему лукъ, а на плеча колчанъ со стрѣлами, подпояшетъ его экваторомъ и обошьетъ платье зодіакомъ... Ежели соизволитъ, даетъ ему скипетръ и посадитъ на престолъ; свергнувши съ онаго, заключитъ въ темницу, дастъ ему любовницу, и опять отъиметъ оную, сдѣлаетъ изъ него превращеніе и пошлетъ выше облаковъ къ солнцу, а, ежели сойдетъ съ ума, по общему обыкновенію, писателей романовъ, то повернетъ землю вверхъ дномъ, и сдѣлаетъ его какимъ-нибудь баснословнымъ богомъ,—ибо отъ романиста все невозможное статьи можетъ“ [149]. Разсказавъ о подробностяхъ обстановки комнаты, Чулковъ прибавляетъ: „сіе описываю я для того, что сочинитель романовъ долженъ быть непремѣнно историкъ и не упускать ничего, что принадлежитъ до вранья и басенъ“ [149]. Разсказавъ о разлукѣ любовниковъ, Чулковъ восклицаетъ: „по правиламъ сочиненія романовъ, или сказокъ, въ семъ мѣстѣ должно описывать разлуку любовниковъ, какъ они проклинаютъ свою жизнь, желаютъ всякой часъ смерти, ищутъ, чемъ заколоться, но въ отчаяньи не находятъ,—желаютъ прекратить оную ядомъ, но ядъ не скоро уморитъ, и такъ отдумываютъ, теряютъ, наконецъ, всѣ свои чувства, и, вмѣсто обморока, засыпаютъ и спятъ до тѣхъ поръ, покамѣстъ теряютъ желаніе къ смерти и вздумаютъ начинать жить снова; хотя и безъ любовника... Но я послѣдую лучше здравому разсужденію, и буду сказывать то, что больше съ разумомъ и съ природою сходно“ [150].

образы,—тѣмъ не менѣе, онъ не свободенъ еще отъ вліяній этой литературной школы.

Такъ, напримѣръ, не вѣря, повидимому, во власть „судьбы", вышучивая ее, Чулковъ, однако, вводитъ эту силу въ свои произведенія.

Онъ говоритъ о жалобахъ героевъ на „судьбину" [1501], говоритъ о томъ, что „судьба" не дала счастья его герою [1502]; его герои всегда считаются съ „судьбиной" [1503].

Привожу примѣры:

„...упрямое его счастіе, которое всегда отъ него убѣгало,.. появилося ему въ полной силѣ" [1504].

„...счастіе вселяется и въ ослиную голову, да иногда еще и скорѣе,—такъ это не удивительно, что оно встрѣтилось съ Неохомъ" [1505].

„...хмель, страхъ и противящаяся судьба отвратили пулю отъ первосвященника" [1506].

„Я живу подъ покровительствомъ судьбины,—слѣдовательно, она—мой защитникъ" [1507].

„рокъ не приближался къ тому, чьей искали они смерти" [1508].

Въ одномъ мѣстѣ Чулковъ говоритъ о философскомъ значеніи „судьбы".

„Судьба и случай, по мнѣнію древнихъ, были между собою различны, и каждому изъ нихъ приписывалась особая власть и могущество" [1509].

Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что человѣкъ можетъ поставить себя выше „судьбы",—можетъ, при желаніи, даже совсѣмъ освободить себя отъ ея власти.

„Нѣтъ на свѣтѣ ничего похвальнѣе, какъ сіе дѣйствіе, когда человѣкъ побѣждаетъ свои страсти, утоляетъ пороки и покоряетъ разуму своему всякаго рода пристрастія, происходящія въ немъ отъ неумѣреннаго самолюбія, и сіе называется побѣждать себя; и въ сей побѣдѣ никто съ нимъ не имѣетъ ни малѣйшаго участія,—ниже, самовладычествующее завсегда надъ дѣлами человѣческими, счастіе не имѣетъ никакого жребія" [1510].

„Психика" героевъ раскрывается—или въ разсказѣ самого автора. Напр.:—

„Страсть скупыхъ людей и соболѣзнованіе о деньгахъ въ одну минуту родились въ его сердцѣ" [1511].

„Страху и смущенія тогда съ нимъ не было, и онъ готовъ былъ хотя десятокъ такихъ похвальныхъ дѣлъ надѣлать,—того ради съ превеликою радостію прибѣжалъ..." [1512].

—или авторъ самъ поступки своихъ героевъ объясняетъ разсужденіями психологическаго характера. Напр.:—

„Отчаянной человѣкъ подобенъ тому, которой тонетъ въ морѣ и, что ему ни кинь, онъ за все хватаотся, и во всемъ полагаетъ свою

надежду и спасеніе,—равно и Неохъ, находяся въ заключеніи, выдумывалъ всякіе способы къ своему избавленію" 1513.

„Жадность наслѣдниковъ къ полученію богатства столько велика, что никакое перо описать ее не можетъ... Когда вошли они въ кабинетъ первосвященниковъ, то Неохъ съ жаднымъ восторгомъ смотрѣлъ" 1514...

Иногда „психика" раскрывается при помощи внѣшнихъ признаковъ внутренней борьбы. Напр.:—

„Глаза ея были наполнены снисходительнымъ пріятствомъ; на щекахъ леталъ стыдъ, смѣшанной съ благопристойностію, которой путался съ румянами; губы ея находились въ превеликомъ движеніи..." 1515.

„Полковникъ поблѣднѣлъ весь отъ страха" 1516.

Часто герои сами разсказываютъ о своихъ чувствахъ—

„...теперь я чувствую всѣ удовольствія, какія только выдумать можно" 1517.

„Разшнуровывая верхнее ея платье, коснулся я трепещущею и грѣшною моею рукою до услажденія нашей жизни, что у женщинъ обѣ вообще называются „грудью", и тутъ узналъ, дѣйствительно, что женщины для мущины—электрическая машина" 1518.

Рѣже раскрывается психика въ поступкахъ дѣйствующихъ лицъ, въ ихъ рѣчахъ... Такъ, напримѣръ, Чулковъ удачно рисуетъ душевное состояніе стараго жреца, котораго обманываетъ Неохъ, выдумавшій исторію съ дѣвушкой, яко-бы, ожидающей къ себѣ „бога"...

„Имай при семъ словѣ усмѣхнулся, и, вмѣсто строгаго нападенія на Неоха, хвалилъ его изрядную выдумку. „Правда", говорилъ онъ съ веселымъ видомъ, „что такое дерзкое предпріятіе достойно всякаго наказанія; но такому молодому человѣку, какъ ты, нѣсколько простительно!.. Я бы хотѣлъ посмотрѣть ету, весьма суевѣрную, дѣвушку,—не для обѣщанной тебѣ корысти, но, единственно, только для того, чтобъ вывесть ее изъ заблужденія" 1519.

Такъ же удачно раскрывается душа алчнаго купца, который повѣрилъ Неоху, что одна знатная дама нуждается въ сводникѣ, и простодушно пошелъ предлагать свои услуги. Въ его хитрыхъ приступахъ къ выясненію щекотливаго вопроса прекрасно обрисовывается дуракъ, считающій себя ловкимъ и умнымъ... Удачно изображено смущеніе юноши, который призналъ, было, коня Неоха и табакерку своими, а потомъ принужденъ былъ отъ нихъ отказываться...

Любовныя чувства изображаются, главнымъ образомъ, по старому—при помощи патетическихъ монологовъ (правда, имѣющихъ характеръ „пародій"). Напр.:—

„принявъ на себя видъ отчаяннаго любовника,—началъ говорить такимъ образомъ: „собраніе пріятствъ, источникъ красоты! владычица прискорбнаго моего сердца!.. Оставь мою вину, что жаркая любовь при-

нуждаетъ меня выступить изъ границъ несносиаго терпѣнія!.. Господствующая душею моею! не могу я описать, какою сладостію наслаждаются мои чувства, когда прелестный образъ твой въ глазахъ моихъ... [1520] и т. д.".

Въ „описаніяхъ" Чулковъ почти всегда пародируетъ Гомера и псевдоклассиковъ; но, высмѣивая ихъ, онъ все же не отходитъ отъ ихъ манеры описывать природу при помощи миѳическихъ образовъ, боговъ и богинь, или олицетвореній.

Привожу примѣры.

„Солнце уже начинало дремать; кони его гораздо выбились изъ силъ" [1521].

„Стражъ Еримансійской медвѣдицы уже спустился въ Океанъ и созвѣздіемъ своимъ возмутилъ морскія воды; блящая зарница, поставъ съ багрянаго Тритонова одра, на свѣтлѣющемся востокѣ отверзла свой храмъ, испещренной и усланной розами; Тифія отпила свои запоры и открыла путь въ пространное небо солнцу, которому предшествовалъ Луциферъ и гналъ передъ собою стадами звѣзды..." [1522] и пр.

„Солнцевы кони перебѣжали уже восточные вѣтры, которые вышли съ ними въ одно время и изъ одного мѣста, а наши вынесли насъ изъ лѣсу" [1523].

„Солнце уже прищурилось и уснуло; мрачная ночь покрыла небо своею епанчею... Можетъ быть, сытые и роскошные граждане послѣ ужина начинали уже и дремать" [1524].

Пользуется Чулковъ въ этихъ случаяхъ и псевдо-славянской миѳологіей. Напр.:

„Когда просыпалась Зимцерла" (*Зимцерла, Славенская богини,—она была тоже, что и Аврора, и имѣла храмъ въ Кіевѣ=*объясн. Чулкова*)" [1525].

„...предвѣстница Свѣтовидова" (*Свѣтовидъ, или Святовидъ, или Святовичъ—богъ Солнца=*объясн. Чулкова*) [1526].

Герои его клянутся „Чернобогомъ" [1527]; ихъ авторъ именуетъ въ шутку—„моя Венера", „моя Лада", „мой Меркурій" [1528]... Подобно Лесажу, пользуется онъ древними миѳами для иллюстраціи похожденій своихъ героевъ. Напр.:

„подражая Юпитеру, которой эдакъ же потчивалъ Амфитріона, мнѣ кажется, потребна была мужу ея ревность" [1529].

„проворный Меркурій подбѣжалъ къ земному Юпитеру весьма поспѣшно и, будто, сказывалъ ему, что Минамила давно уже его дожидается" [1530] и др.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ видно, что, хотя Чулковъ и безъ всякаго уваженія относится къ классицизму *), но онъ еще находится въ полномъ рабствѣ у него.

---

*) „Виргилій и Гомеръ, со всею ихъ премудростію, мнѣ кажется, не стоютъ и одной ноги того великаго мужа, которой сочинилъ столь полезной для щегольскаго общества реестръ мушкамъ" [1531]. Какой это

Къ пріемамъ псевдоклассическаго романа относится также принятое Чулковымъ, пользованье „вводными эпизодами“.

Открещиваясь отъ нравоучительныхъ тенденцій (см. предисловіе), Чулковъ, однако, не въ силахъ удержаться отъ поучительныхъ сентенцій и разсужденій на моральныя темы,—такъ сильна была надъ нимъ власть школы и ея пріемовъ. Напримѣръ, разсказавъ о неудачномъ покушеніи Неоха на жизнь отца Владиміры, авторъ присовокупляетъ:

„Сіе значитъ: „не копай для друга ямы, самъ попадешь въ нее прежде“ 1532.

„Человѣкъ, при полученіи множества богатства, всякое порочное нахальство сдѣлать въ состояніи“ 1533.

„...не всякому удается иного жестокосердаго привести ко умиленію, и чтобы онъ, соболѣзнуя бѣдному, удѣлялъ отъ имѣнія своего кроху“ 1534.

„дуракъ никогда не примѣчаетъ своей ошибки, и думаетъ, что разумъ его столько обиленъ, что онъ никогда не можетъ сдѣлать проступка“ 1535.

„Нѣтъ ничего похвальнѣе, какъ сіе дѣйствіе, когда человѣкъ побѣждаетъ свои страсти и пр.“ 1536.

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, всѣ подобныя разсужденія автора сбиваются на остроты и очень часто переходятъ въ болтовню и балагурство. Этотъ своеобразный „субъективизмъ“ существенно отличаетъ повѣсти Чулкова отъ романовъ Лесажа, которые отличаются объективизмомъ.

Привожу примѣры:

„многія женщины, безъ всякаго смѣшнаго приключенія,—такія охотницы хохотать, что на утро получаютъ отъ того колотье“ 1537.

„Нѣтъ ничего пріятнѣе женщинѣ, какъ господствовать надъ другими, а самой ни отъ кого не зависѣть, и отъ сего произошло, что— „у бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ“ 1538.

„Храбрость же мою оказываю я временемъ: въ горницѣ иногда сражаюся съ мухами; а когда бываю въ лѣсу, то воюю съ комарами, или со всякою такою тварью, которая мени боится; впрочемъ, часто разсказываю о баталіяхъ, о разореніи городовъ, о убійствѣ великаго числа солдатъ, о смерти во время войны многихъ Полководцевъ безъ всякаго страху и утверждаю, что, ежели бы я былъ тамо, то бы надѣлалъ великія чудеса и удивилъ храбростію цѣлую половину свѣта; но, въ самой вещи, не токмо военной службы, но и одной военной одежды боюся: что не ложь, то правда, а что не правда, то новая истина“ *) 1539 и т. д.

былъ авторъ, опредѣлить мнѣ не удалось. Равно какъ и найти оригиналъ книги: „Лабиринтъ моды“, на которую ссылается Чулковъ, какъ на источникъ его „сказки о тафтиной мушкѣ“.

*) Въ этихъ словахъ можно усмотрѣть стремленіе выпутить ложно классиковъ, сочинителей трагедій и героическихъ эпопей.

„...ночь была такъ темна, что, ежели бы спрятать гдѣ-нибудь въ углу слона, то бы не увидѣлъ его и самъ сатана, хотя бы онъ смотрѣлъ сквозь самой лучшій французскій лорнетъ." [1540].

„Владимира, прочитавъ письмо и сыскавъ по оному своего любовника, обрадовалась больше, нежели тотъ астрономъ, которой нашелъ на небѣ новую планету; восхищенія ея никоимъ образомъ описать здѣсь невозможно по тому, что происходило оное безпорядочно и, казалось, что она въ то время нѣсколько одурѣла: ибо, вмѣсто любовника, цѣловала присланную отъ него бумагу. Сіи поцѣлуи, какъ думается мнѣ, пропали попапрасну; иной бы охотникъ до оныхъ согласился взять ихъ хоть на вексель, ежели бы въ томъ ему повѣрили; да и, правду сказать, бумага не знаетъ ни любви, ни волокиты,—слѣдовательно, въ поцѣлуяхъ никакой нужды не имѣетъ. Счастливъ тотъ человѣкъ, у коего есть любовь въ сердцѣ, а деньги въ карманѣ: ибо безъ оныхъ и человѣкъ—не человѣкъ, и въ такомъ то безлюдіи страсть сіи находится не долго: когда карманъ опустѣетъ, то и любовь въ женщинѣ въ одну минуту къ тому щеголю потухнетъ, и для возвращенія оной не старается любовникъ привлекать къ себѣ сердце любовницы; но прилагаетъ неусыпное попеченіе сыскать денегъ, какъ такое средство, на которое не только товары, но сердца и склонности дѣвицъ покупать можно, а особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ у мущинъ изъ дурной посуды кушаютъ часто хорошее яство, а у женщинъ изъ прекрасныхъ судовъ хлѣбаютъ негодныя кушанья!.. Сочинитель не проситъ господъ читателей, чтобы они тратили время на отгаданіе сей загадки: ибо она сама по себѣ ничего не стоитъ, и должно меньше имѣть почтенія, нежели сія пословица: „Всякой Еремей про себя разумѣй!" [1541].

Какъ я уже говорилъ, къ героямъ Чулкова вполнѣ примѣнима сдѣланная выше (стр. 347—352, 357—357) характеристика героевъ „плутовскаго романа". Происхожденія они всѣ довольно темнаго,—самъ разсказчикъ говоритъ, что мать его была „цыганка", отецъ—„жидъ"; монахъ, переодѣвшійся мертвецомъ, хотя и дворянскаго происхожденія, но, побывавъ и поваренкомъ на кухнѣ, и разбойникомъ, и бродягой, утратилъ всѣ слѣды дворянства... Неохъ, герой второй повѣсти—происхожденія совсѣмъ неизвѣстнаго, и безъ всякихъ средствъ къ существованію...

Характеристика Неоха, сдѣланная самимъ авторомъ, изображаетъ, въ лицѣ этого героя, типичнаго „средняго человѣка". Таковы и всѣ другіе герои Чулкова. Они не знаютъ внутренней борьбы съ дурными инстинктами,—голодъ, алчность, или страсть легко овладѣваютъ ими, и они безъ труда идутъ на плутовство, обманы, продаются богатымъ женщинамъ, рѣшаются даже на убійства...

Такъ, напримѣръ, Неоху—

„хотя и говорила часто совѣсть, но свѣтлая монета дѣлала ей всегда затмѣніе; когда же умолкла въ немъ честь и добродѣтель, тогда и онъ согласился на неистовое предпріятіе" [1542].

Изъ за денегъ они готовы на все, но, потерявъ деньги, съ этимъ легко мирятся... Герой первой повѣсти, напримѣръ, былъ избитъ и обобранъ, однако ни присутствія духа, ни душевнаго спокойствія не потерялъ, даже не смотря на мученія голода. Это, по крайней мѣрѣ, явствуетъ изъ его разсказа—

„Ужина же моя состояла въ томъ, чтобъ поскорѣе заснуть". „Я думалъ гдѣ нибудь но снѣ покушать, что была и дѣйствительная правда. Во всю ночь и былъ у великаго довольства съѣстныхъ припасовъ, и жралъ ихъ столько, что превзошелъ всякаго рода объѣдалъ; однако, со всѣмъ тѣмъ, проснулся голоденъ. Это уже извѣстно давно, что у голоднаго хлѣбъ на умѣ, и никакія гражданскія дѣла не приходятъ тогда въ голову, когда желудокъ пустъ. Я не ѣлъ ничего, однако глоталъ очень часто, и въ семъ упражненіи путешествовалъ еще до обѣда"[1543].

Изъ этой цитаты вполнѣ ясно, что выраженіе: „je mange, donc je suis", характерное для героевъ Лесажа, умѣстно вполнѣ и здѣсь.

„Примиреніе" съ жизнью—это основа ихъ философіи. Неохъ разсказываетъ, что, послѣ нѣкоторыхъ непріятностей, онъ, „перебравъ всѣхъ систематистовъ", попалъ на мнѣніе одного, которое ему—

„въ семъ случаѣ показалось лучшимъ и надежнѣйшимъ: онъ говоритъ: „все къ лучшему!"—Итакъ остави мое сокрушеніе, началъ я самъ себѣ смѣяться"[1544].

Кромѣ общихъ чертъ въ обликѣ героя, повѣсти Чулкова близки къ произведеніямъ Лесажа и въ нѣкоторыхъ деталяхъ содержанія.

Типъ разсказчика-балагура, въ уста которому вложилъ Чулковъ повѣствованіе о веселыхъ похожденіяхъ своихъ героевъ намѣченъ уже у Лесажа, который тоже выводитъ въ „Жилблазѣ" такого-же спеціалиста-повѣствователя занятныхъ исторій:

„Я записывалъ всякое утро въ моей записной книжкѣ тѣ исторіи, которыя ему днемъ стану разсказывать. Я зналъ ихъ многое число, и имѣлъ, такъ сказать, ихъ полной мѣшокъ. Между тѣмъ, сколь ни обходился съ ними скупо, однако, мой мѣшокъ опустѣлъ по немногу, такъ что я долженъ былъ либо разсказывать ихъ сызнова, или оказать, что моимъ баснямъ конецъ, когда-бы мой плодовитой умъ не снабжалъ меня ими изобильно: ибо сочинялъ я шуточныя и любовныя исторіи"[1545].

Подобно Лесажу, охотно рисуетъ Чулковъ веселыя пирушки, кончающіяся повальнымъ пьянствомъ[1546]; приходится сознаться, что у нашего писателя эти картины, хотя не менѣе живы, но за то гораздо грубѣе.

Довольно сходно разсказаны у обоихъ писателей комическія сценки въ лѣсу, когда разбойникъ съ прибаутками отбираетъ деньги у юноши, который усѣлся считать свои капиталы [1547].

Любовныя связи героя Чулкова завязываютъ, какъ и у Лесажа, при помощи сводницъ,—старушекъ, на видъ, обыкновенно, строгихъ и богобоязненныхъ [1548]. Любовныя свиданія и ссоры кончаются почти всегда дракой,—тяжеловѣсной, „россійской“ потасовкой— у Лесажа въ такихъ случаяхъ, обыкновенно, звенятъ шпаги [1549].

Подобно тому, какъ Лесажъ въ своемъ романѣ дѣлаетъ прозрачные намеки (allusions) на нѣкоторыхъ современныхъ ему писателей и актеровъ, то же дѣлалъ, повидимому, и Чулковъ [1550].

Герой его, какъ Жилблазъ и нѣкоторые другія лица, дѣйствующія въ романахъ Лесажа, попадаютъ къ разбойникамъ и нѣкоторое время живутъ съ ними [1551].

Героевъ Чулкова съ героями Лесажа сближаетъ также ихъ одинаково-циничный взглядъ на смерть. Въ повѣстяхъ русскаго писателя часто высмѣиваются покойники, — такъ же легко относился къ нимъ и Жилблазъ, который, напримѣръ, своимъ леченіемъ при помощи воды, отправлялъ на тотъ свѣтъ своихъ согражданъ,—и спокойно провожалъ ихъ въ иной лучшій міръ циничными шутками [1552] (см. выше стр. 353).

Наконецъ, и въ судьбѣ героевъ русскаго и французскаго произведеній—большое сходство: всѣ эти герои пускаются въ свѣтъ въ погоню за счастьемъ, идутъ наугадъ и, въ концѣ-концовъ, достигая тихой пристани, теряютъ, мало по малу, свои плутовскія ухватки,—такъ, въ концѣ своей карьеры, чулковскій Неохъ, какъ Жилблазъ, при дворѣ своего государя считался очень честнымъ человѣкомъ, и даже сдѣлался самымъ приближеннымъ къ нему лицомъ...

Изъ нѣкоторыхъ деталей, напоминающихъ Лесажа, можно указать, напримѣръ, на остроту разсказчика о своей матери.

„Господинъ Адударонъ, котораго называли моимъ отцомъ (а правильно, или нѣтъ, о томъ сомнѣваться всякому позволено: ибо достовѣрной сему свидѣтель была бы мать моя родная, которая въ то самое время умерла, въ которое меня родила.... На постоянство покойной матери моей и не совсѣмъ должно было полагаться, — она была женщина нынѣшняго вѣка, въ которомъ многія изъ нихъ возвышаются любовниками“) [1553].

Эта острота совершенно въ духѣ остротъ Лесажа. Привожу примѣры.

Одинъ изъ героевъ „Жилблаза“ такъ говоритъ о матери:

„Что касается до отца, то не могу безъ дерзновенія объявить,

какъ ему имя. Могъ-бы я сказать, что онъ—тотъ знатной господинъ, которой любилъ мать мою, какъ я родился,—однако сіе не можетъ быть довольнымъ доказательствомъ, чтобъ онъ былъ родителемъ моимъ. Женщинѣ такого промыслу, какова моя мать, безъ добрыхъ порукъ вѣрить нельзя" [1554].

Его „баккалавръ Саламанкскій" тоже, какъ разсказчикъ повѣстей Чулкова, воспитывался какимъ-то благодѣтелемъ, о которомъ шла молва, что онъ—и есть настоящій отецъ героя. По поводу этихъ слуховъ, герой Лесажа говоритъ слѣдующее:

„Можетъ быть, мы и въ самомъ дѣлѣ его дѣти были, чему я однакоже не вѣрю, хотя моя мать и не совсѣмъ была непорочною" [1555].

Разсказъ о своей жизни Жилблазъ заканчиваетъ остротой, въ такомъ же духѣ—

„Къ большому удовольствію Богъ даровалъ мнѣ сына и дочь, воспитаніе коихъ будетъ на старости для меня забавою, и о которыхъ ни мало не сомнѣваюсь, чтобъ я не былъ имъ отецъ" [1556].

Кромѣ указанныхъ сходствъ, можно привести еще изображеніе Чулковымъ веселаго быта нищихъ-симулянтовъ,—яркую картину, очень напоминающую ту, что встрѣчаемъ мы неразъ у Лесажа [1557].

Заставляетъ Чулковъ вспомнить Лесажа и яркостью тѣхъ типовъ, которые онъ выводилъ въ своихъ произведеніяхъ: атаманъ разбойниковъ, ученый-педантъ, завезенный къ нему извощикомъ, монахъ изъ обители св. Вавилы, пьяница-офицеръ,—обжора и хвастунъ, трусливый полковникъ, его супруга, его дочка,—все это живые образы, написанные рельефно и красочно... Подобно Лесажу (напр., въ романѣ „Хромой бѣсъ" [1558]), Чулковъ иногда рисуетъ цѣлую галлерею пестрыхъ, разнообразныхъ лицъ [1559]...

Всѣ они, несомнѣнно, выхвачены изъ русской жизни, но близость ихъ къ жизни не даетъ еще права причислить произведенія Чулкова къ „бытовымъ" романамъ,—слишкомъ эти образы еще близки къ шаржу, къ карикатурѣ... Эта особенность письма опять сближаетъ чулковскія произведенія съ романами Лесажа, а также съ тѣмъ „реалистическимъ" романомъ, который во Франціи предшествовалъ произведеніямъ Лесажа (см. выше стр. 342—3).

Къ тому же, если въ обѣихъ повѣстяхъ русская жизнь и вѣрно изображена во многихъ ея типичныхъ проявленіяхъ, то, надо признаться, довольно узко: пьянство, или безконечныя драки, развратъ и распущенность нравовъ—вотъ, что только и увидѣлъ авторъ вокругъ себя... Реальность всего этого, конечно, можетъ быть доказана фактами изъ мемуаровъ [1560], страницы эти, рисующія русскую жизнь—страницы яркія и сочно-написанныя,—но

все же приходится признаться, что онѣ рисуютъ русскую дѣйствительность съ односторонней точки зрѣнія...

Во всякомъ случаѣ, историко-литературное значеніе этихъ двухъ повѣстей Чулкова у насъ громадно,—онъ *первый изъ русскихъ писателей* XVIII-го в. вступилъ на путь реальнаго изображенія русской жизни. Поэтому можно думать, что яркая вспышка реализма у насъ въ серединѣ XVIII-го вѣка произошла не безъ вліянія его повѣстей,—въ самомъ дѣлѣ, его „Пересмѣшникъ" появляется въ свѣтъ въ *1766—8*-омъ году, а черезъ годъ, въ *1769*-омъ, появляются журналы: „Всякая всячина", „Адская почта", „И то и сіо" (Чулкова), „Ни то ни сіо", „Поденьщина" *) и др.

Перечислю тѣ темы, которыхъ касался въ этихъ картинахъ авторъ,—онъ рисуетъ русскія „крестины", „похороны", „поминки", рисуетъ безшабашную жизнь русскаго студенчества, рисуетъ отношенія крестьянъ къ солдатамъ,—пріѣзжихъ баръ къ придорожнымъ мужикамъ: изображаетъ отрицательныя стороны помѣщичьяго, дореформеннаго быта,—особенно жизни монастыря и, вообще, духовенства [156].

Какой яркостью, выпуклостью, но, въ то же время, и карикатурностью отличаются типы, имъ выведенные, можно видѣть, хотя бы, изъ обрисовки портрета россійскаго Митрофана, вскормленнаго въ дикой глуши. Правдивость этого образа подтверждается и комедіей Фонвизина, и показаніями мемуаристовъ XVIII-го вѣка... Звали этого чулковскаго „недоросля" Балабаномъ.

„Онъ обиталъ въ мѣстахъ просвѣщенныхъ, гдѣ люди съ великимъ прилежаніемъ копятъ деньги и не знаютъ, сколько въ рублѣ копѣекъ. Сосѣди его были волки, медвѣди и зайцы; лучшее его товарищество—борзыя и гончія собаки, съ которыми онъ вмѣстѣ въ одной Академіи учился лаять, пилъ и ѣлъ, и спалъ также съ ними вмѣстѣ. Онъ былъ великой мастеръ играть на волынкѣ,—„учился у своего пастуха и до голодранія былъ охотникъ превеликой". Проказы его прошались близкими, объяснялись его „робячествомъ", хотя ему было отъ роду двадцать три года. Этотъ юноша „ходилъ также въ харчевню, гдѣ заводилъ непосредственно малыя драки и таскалъ нарочито своего брата для того, что храбрость его надъ однимъ только имъ оказывалась... Ходилъ онъ всегда нерихою, въ замаранномъ овчинномъ тулупѣ и, шатаясь по двору, часто игралъ съ робятами въ бабки, кричалъ ночью фили-

---

*) Лишь въ области драматическаго творчества имѣетъ Чулковъ предшественниковъ: къ 1765-ому году относятся первые, правда, слабые опыты Лукина. Но лишь съ 70-ыхъ годовъ русская „бытовая комедія" расцвѣтаетъ: первая комедія Екатерины („О время!"—1772 г.), потомъ появляются пьесы Веревкина, „Недоросль" Фонвизина и др.

номъ и пугалъ старухъ, которыя летали отъ него часто съ высокой нашей лѣсницы... Возглашалъ пѣтухомъ, которымъ искусствомъ разбуживалъ сосѣднихъ куръ; перенималъ, какъ кричатъ утки, и, словомъ, дѣлалъ всякія шалости, какія только начальный изъ дураковъ выдумать можетъ. Когда его за одну продѣлку посадили „на хлѣбъ, на воду",—онъ „...радовался тому, что будетъ кушать ржаной хлѣбъ, къ которому онъ привыкъ въ деревнѣ, а дядино кушанье ему не казалось, потому что онъ не зналъ въ немъ вкусу, и всегда говорилъ, что сдѣлано оно „по-нѣмецки" и казалось ему приторно" *) [1562].

Приключенія, съ которыми связанъ этотъ живой образъ, вплетаются въ первую повѣсть; они, во всѣхъ отношеніяхъ, карикатурны, и смѣхотворность ихъ доведена до шаржа.

Изъ всѣхъ приведенныхъ выше образцовъ видно также, какимъ оригинальнымъ, живымъ и яркимъ стилемъ обладаетъ авторъ, — онъ *первый изъ русскихъ литераторовъ* вводитъ въ литературный оборотъ разговорный языкъ, не только чуждый вычурности, но даже иногда впадающій въ другую крайность—страдающій вульгарностью... Въ самомъ дѣлѣ, остроумная болтовня Чулкова иногда изъ балагурства переходитъ въ цинизмъ (шутки надъ умершими), иногда впадаетъ въ грубость, но никогда не теряетъ жизненности... Онъ любитъ щеголять народными пословицами, онъ даже не прочь иногда ввести въ свой разсказъ, такъ называемый „воровской языкъ". Напр.,—

„...трусилъ маленько, чтобъ не потревожилъ онъ меня какимъ-нибудь острымъ желѣзомъ, или свинцовымъ шарикомъ". „Сбирать пошлину съ прохожихъ" и др. [1563].

Вотъ почему, если мы припомнимъ, что повѣсти Чулкова предшествуютъ появленію у насъ сатирическихъ журналовъ, мы должны будемъ признать за нимъ большое значеніе въ дѣлѣ выработки у насъ новаго литературнаго языка.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что литературная исторія этихъ двухъ повѣстей очень сложна. Если въ общемъ тонѣ разсказа, въ главныхъ очертаніяхъ героевъ и даже въ нѣкоторыхъ деталяхъ, Чулковъ и подходитъ къ „Жилблазу" Лесажа,—равно какъ и къ тѣмъ „плутовскимъ" романамъ, лучшимъ образцомъ которыхъ было это произведеніе,—то однимъ Лесажемъ все же не объяснить литературнаго состава этихъ чулковскихъ произведеній.

Такъ, напримѣръ, что касается первой повѣсти, то здѣсь разработано нѣсколько темъ: 1) разсказъ о похожденіяхъ мертвеца-колдуна,—2) появленіе любовника, переряженнаго мертвецомъ,—3) похожденія „веселаго монаха",—4) встрѣча съ разбойниками и

*) Ср. отзывъ Собакевича о городской кухнѣ.

жизнь съ ними,—5) юмористическій разсказъ о плутѣ, который назвалъ себя „выходцемъ съ того свѣта",—6) „вдова, которая скоро утѣшается".

1) Разсказъ *о похожденіяхъ мертвеца*, вложенный въ уста подвыпившаго врали-офицера, представляетъ собой явное травестированье народныхъ разсказовъ о земныхъ похожденіяхъ мертвецовъ. Въ разныхъ сборникахъ народныхъ сказокъ (напр. у Аѳанасьева, Ончукова и др.) найдемъ мы на эту тему немало разсказовъ, курьезныхъ, съ нашей точки зрѣнія, но, въ глазахъ народа, имѣющихъ несомнѣнное и серьезное значеніе реальнаго факта... Въ передачѣ этихъ разсказовъ Чулковымъ чувствуется тотъ скептицизмъ, который окрашиваетъ и наше отношеніе къ этимъ разсказамъ, — но, конечно, у него, человѣка XVIII-го вѣка, съ его вольтерьянствомъ, этотъ скептицизмъ отличается особою страстностью... По содержанію, къ чулковскому разсказу изъ аѳанасьевскаго сборника подходятъ сказки с. и f. (№ 265); въ нихъ разсказывается о томъ, какъ солдатъ не побоялся ночевать въ „нечистомъ домѣ", и какъ ему пришлось ночью драться съ мертвецомъ. Въ „Сѣверныхъ сказкахъ" Ончукова встрѣчаемъ мы тоже немало подобныхъ же разсказовъ на тему: „похожденія мертвеца": такъ, напримѣръ, въ одномъ разсказѣ повѣствуется о томъ, какъ въ деревнѣ мужички „артелью" справились съ мертвецомъ, бродившимъ въ деревнѣ, и силою похоронили его, — въ другомъ — какъ собака искусала ноги мертвеца-колдуна; встрѣчаемъ, наконецъ, разсказъ о „мертвецѣ", который лежалъ въ гробу съ дырочками... Подобные-же разсказы найдемъ мы въ сборникѣ Садовникова: „Сказки и преданія Самарскаго края". Если въ трехъ указанныхъ сборникахъ и нѣтъ сказокъ, совершенно аналогичныхъ той, которая вошла въ составъ чулковской повѣсти,— тѣмъ не менѣе, даже судя по нѣкоторымъ изъ указанныхъ произведеній видно, что Чулковъ, пересказывая свою сказку, вращался въ кругу тѣхъ же деталей, которыя, въ разныхъ сочетаніяхъ, дали содержаніе различнымъ народнымъ разсказамъ о мертвецахъ-колдунахъ.

2) *Появленіе на свиданіе любовника, переряженнаго мертвецомъ для внушенія страха всѣмъ*—это тоже сюжетъ, очень распространенный. Въ романѣ: „Повѣсть о хромоногомъ бѣсѣ" есть разсказъ о томъ, какъ смѣлый солдатъ разоблачилъ пугавшее всѣхъ „рижское" чудовище[1561]. Въ тѣхъ романахъ, которые примыкаютъ къ Лесажу, мы неразъ встрѣтимся съ подобной темой. Такъ, въ романѣ Нугаретъ: „1001 дурачество" (№ 504), дѣйствуетъ одинъ влюбленный, подъ видомъ „домового"[1565]; тамъ же разсказаны похожденія „оборотня" въ деревнѣ, внушавшія всѣмъ ужасъ[1566]; въ другомъ романѣ того же Нугаретъ: „Парижская дура" (№1713) дѣйствуетъ „живой мертвецъ"[1567]. Въ сборникѣ разсказовъ, носящимъ названіе: „Театръ чрезвычайныхъ происшествій" (№ 1189) дѣйствуетъ „мнимое привидѣніе"; въ собраніи повѣстей, подъ названіемъ „Дѣвушкины прогулки" дѣйствуетъ „домовой". Въ народныхъ сказкахъ русскихъ и иностранныхъ (напр., въ сказкѣ Андерсена „Николай и Пиколка") этотъ сюжетъ является съ небольшой версіей: солдатъ выводитъ любовника одной женщины, застигнутаго мужемъ врасплохъ и спрятавшагося въ сундукъ, увѣряетъ ея мужа, что это—чортъ. У насъ этотъ разсказъ въ такой версіи попалъ въ сборникъ: „Пѣть пчеламъ".

3) *Похожденіе веселаго монаха* — одна изъ самыхъ избитыхъ темъ, популярныхъ у насъ особенно въ XVIII-омъ вѣкѣ, когда насмѣшки надъ монахами были въ большомъ ходу. Выше мы видѣли уже, что Вольтеръ издѣвался надъ ними, надъ ихъ сластолюбіемъ и цинизмомъ (выше, стр. 78, 81, 83). Выше, на страницѣ 81, мнѣ приходилось говорить о вольтеровскомъ отцѣ Жирофле, который мечталъ зажечь свой монастырь и сдѣлаться туркомъ,—совершенно съ такими же чувствами относится къ монастырской жизни герои первой чулковской повѣсти — молодой чернецъ изъ обители св. Вавилы, а затѣмъ и Неохъ, попавшій сперва въ обитель Лады (т. е. Венеры), а потомъ съ спокойной совѣстью сжегшій первосвященника. О подобныхъ похожденіяхъ немало говорится въ романѣ „1001 дурачество", въ романѣ Лесажа: „Баккалавръ Саламанкскій" [156]; романъ „Бѣсъ-пустынникъ" переполненъ (№ 178) такими разсказами; въ собраніи разсказовъ, объединенныхъ подъ названіемъ „Ѳеатръ чрезвычайныхъ происшествій" — тоже съ отрицательной стороны представлено поведеніе католическаго духовенства. Въ XVIII-омъ вѣкѣ былъ у насъ распространенъ рукописный романъ очень скабрезнаго содержанія, подъ названіемъ: „Повѣсть Донбурга, привратника картезіанскаго монастыря" *). Кромѣ того, на французскомъ языкѣ отъ XVIII-го вѣка сохранилось очень много подобныхъ же повѣстей и разсказовъ (напр., „Les trois moines", „Les Augustins", „La Capucinade" Пугарена и др.). Въ „Русскихъ занѣтныхъ сказкахъ" тоже немало помѣщено скабрезныхъ анекдотовъ о любовныхъ похожденіяхъ русскаго духовенства.

Сатирическое изображеніе русскаго духовенства начинается у насъ съ „Калязинской челобитной"; въ XVIII-омъ вѣкѣ въ петровскую эпоху, оно проникаетъ даже въ законодательный памятникъ („Духовный Регламентъ"), въ трагедо-комедію Прокоповича: „Владиміръ", въ сатиры Кантемира,—здѣсь начало критическаго отношенія къ монашеству.

4) *Встрѣча съ разбойниками и жизнь съ ними*,— тема, излюбленная Лесажемъ: онъ ее развиваетъ въ „Жилблазѣ" [159]; ею-же пользуется и нѣмецкій подражатель Лесажа въ романѣ: „Новой Жилблазъ" (№ 159 4). Этотъ же сюжетъ, совершенно въ чулковскомъ духѣ, развитъ у Новикова въ его сборникѣ повѣстей: „Похожденія Ивана Гостинаго Сына".

5) Пройдоха, который обманываетъ всѣхъ, выдавая себя за *выходца съ того свѣта*,—тема, заимствованная Чулковымъ изъ народнаго творчества. Аѳанасьевъ, комментируя сказку: „Вороватый мужикъ", въ которой плутъ-герой назвалъ себя: „Никонецъ, съ того свѣту выходецъ",— приводитъ рядъ параллелей къ этой сказкѣ.

Точно также тема: *вдова скоро утѣшается* — представляетъ собой достояніе всего міра; Буслаевъ въ статьѣ: „Перехожія повѣсти" указываетъ рядъ произведеній, въ которыхъ развита эта же тема, разработанная разными народами и въ разныя времена. Встрѣчается

*) См. Пыпина: „Для любителей русской старины"; фр. оригиналъ „Dom Bougre aux Etats généraux: ou Doleances du Portier des Chartreux" или: „Histoire de dom B. portier des Chatreux". 1745.

аналогичный разсказъ и въ „Римскихъ Дѣяніяхъ“ [1570]. Въ XVIII-омъ вѣкѣ этотъ разсказъ неразъ встрѣчается въ русскихъ сборникахъ повѣстей и анекдотовъ,—такъ, входитъ онъ въ составъ сборника Друковцева: „Сава“, въ сборники: „Не прямо въ глазъ, а въ самую бровь“, „Къ чему можетъ служить досужее время“ (дважды: „Вдова, оплакивающая мужа“, „Супружеская вѣрность“); разрабатывается онъ въ романѣ Ѳ. Эмина: „Непостоянная фортуна“ (см. ниже стр. 654), вѣроятно, на этотъ же сюжетъ написана комедія Княжнина: „Трауръ, или утѣшенная вдова“ 1794 и др.

Приведенными сопоставленіями я хотѣлъ лишь указать, какъ сложна литературная исторія повѣстей Чулкова: примыкая въ главныхъ чертахъ, къ типу „плутовскаго романа“,—его повѣсти, въ деталяхъ, примыкаютъ и къ народной поэзіи, и къ ходячимъ, интернаціональнымъ повѣстямъ...

Изъ литературныхъ дѣятелей XVIII-го вѣка, по духу, особенно близокъ къ Чулкову Нугаретъ, свои произведенія наполнившій сплошь издѣвательствомъ надъ человѣческими „дурачествами“: любовныя шашни во всѣхъ кругахъ и сословіяхъ, и при всевозможныхъ обстоятельствахъ, — безконечное число пестрыхъ типовъ, реальное, даже натуралистическое изображеніе дѣйствительности, въ соединеніи съ волшебнымъ и чудеснымъ,—и одинаково-беззастѣнчивый, неудержимый смѣхъ надъ всѣмъ и вся,—таковъ Нугаретъ въ тѣхъ его двухъ произведеніяхъ, которыя были переведены на русскій языкъ... Сдѣланная мною характеристика французскаго писателя примѣнима и къ Чулкову: они—оба писатели съ одинаковымъ міросозерцаніемъ, съ одинаковыми пріемами творчества, и, въ одинаковой мѣрѣ, щедро надѣленные родственными талантами...

Кромѣ этого общаго сходства, есть между ними сходство и въ мелочахъ: выше я указалъ уже, что нѣкоторые образы въ произведеніяхъ Чулкова напоминаютъ тѣ, что встрѣчаются у Нугарета. Число такихъ сближеній можно значительно увеличить; трусливый полковникъ Чулкова, съ опаской подходящій къ мнимому мертвецу, напоминаетъ одного изъ героевъ Нугарета [1571]; у обоихъ писателей введенъ тожественный комическій эпизодъ: кипяткомъ ошпариваютъ любовника, лѣзшаго въ окно [1572]; Нугаретъ любитъ выраженія, которыя русскимъ переводчикомъ передаются въ стилѣ Чулкова: „дьяволъ шепчетъ на ухо“, „дьяволъ дунулъ въ ухо“ [1573]... О монашескихъ похожденіяхъ разсказываетъ много Нугаретъ въ цитованномъ выше романѣ: „La Capucinade“, за который онъ попалъ въ Бастилію. Романъ этотъ появился въ печати въ *1765* году — т. е. какъ разъ наканунѣ по-

явленіи въ свѣтъ повѣстей Чулкова и переиздавался въ 1766, 1767, 8, 9, 10, 11 и 12-омъ годахъ. Къ сожалѣнію, въ Публичной библіотекѣ я не нашелъ этого романа *).

Я думаю, что изъ сдѣланныхъ выше сопоставленій видно, что между повѣстями Чулкова и произведеніями Нугарета большое сходство. Трудно доказать фактъ зависимости Чулкова отъ Нугарета, но если даже ея не было, то, не менѣе важенъ самый фактъ появленія въ одно, приблизительно, время, въ разныхъ странахъ двухъ писателей, до такой степени сходныхъ,—въ этомъ явленіи можно только усмотрѣть, что русская литература въ это время жила аналогичной и самостоятельной жизнью съ западно-европейской **).

Во второй повѣсти Чулкова изображены любовныя приключенія студента. Отводить „студентамъ" роль главныхъ героевъ очень любилъ Лесажъ,—это онъ дѣлаетъ и въ своемъ „Баккалаврѣ Саламанкскомъ", и въ „Повѣсти о хромоногомъ бѣсѣ". Жизнерадостный, плутоватый герой перваго романа нѣсколько даже напоминаетъ чулковскаго Неоха. Въ описаніи шумныхъ и пьяныхъ развлеченій Неоха и его друзей узнаемъ мы опять вліяніе Лесажа—картина пьянства Жилблаза съ друзьями, лакеями и горничными, пьяныя сцены въ трактирѣ, изображенныя въ романѣ „Баккалавръ Саламанкскій" [1571],—все это произведенія одной школы... Образъ старушки-сводницы, на видъ строгой и богобоязненной, фигурируетъ у Лесажа чуть не во всѣхъ разсказахъ о любовныхъ похожденіяхъ героевъ. Съ такою-же охотой, какъ лесажевскіе герои, идетъ Неохъ на содержаніе къ богатой дѣвицѣ и самъ играетъ роль сводника, подслуживаясь предъ сильнымъ человѣкомъ. Самая сцена „тайнаго свиданія" (героя везутъ въ невѣдомое для него мѣсто свиданія) — общее мѣсто всѣхъ этихъ авантюрныхъ романовъ „плутовскаго" типа.

---

*) Перечисляю тѣ произведенія Нугарета, которыя могли быть извѣстны, по времени, Чулкову: „Lucette, ou les Progrès de libertinage" Gen. 1765; „Capucinade", histoire sans vraisemblance, 1765; рядъ другихъ позднѣйшихъ его произведеній сохраняютъ тотъ же характеръ: „Mille et une folies"—Amst. 1771; „Les Astuces de Paris, anécdotes parisiennes dans lequelles on voit les ruses que les intrigants et certaines jolies femmes mettent en usage pour tromper les gens simples et les étrangers" Londres, 1776; „Les Faiblesses d'une jolie femme". Paris, 1776; „Paysanne pervertie, ou les Moeurs des grandes villes", L. 1777; „Suzette et Perrin ou les Dangers du libertinage", L. 1777.

**) Такъ, сборникъ повѣстей Нугарета, извѣстный подъ названіемъ: „1001 дурачество" („Mille et une folies") не могъ быть извѣстенъ Чулкову.

Нашъ Чулковъ отходитъ отъ своего учителя лишь тогда, когда сгущаетъ краски въ обрисовкѣ героя, представляя его человѣкомъ, готовымъ даже на убійство отца возлюбленной. Отходитъ онъ отъ Лесажа еще и въ той тенденціозности, которую вноситъ въ обрисовку нравовъ духовенства,—Лесажъ былъ снисходительнѣе своего ученика,—онъ добродушно шутитъ надъ монахами, но не подчеркиваетъ своего къ нимъ страстно-враждебнаго отношенія.

Но Чулковъ не только „заимствовалъ“ и „подражалъ“,—наоборотъ, онъ въ своихъ произведеніяхъ проявляетъ—1) постоянное стремленіе къ *руссификаціи* заимствованныхъ темъ, образовъ и сюжетовъ—2) большую *самостоятельность* въ творчествѣ.

„Руссификація“ у него сказалась не въ одной только перемѣнѣ именъ,—нѣтъ, онъ въ заимствованныя схемы вноситъ настоящее русское содержаніе... Беретъ-ли онъ у Лесажа идею картины шумнаго пиршества,—онъ эту картину заполняетъ чисто-русскимъ содержаніемъ, вводя въ рамки взятой темы картинку изъ жизни русской студенческой молодежи, полуголодной, шумной и веселой... Кровавыя столкновенія героевъ Лесажа, какъ и уже говорилъ, пріобрѣтаютъ у нашего писателя чисто-русскую окраску,—шпажные удары испанцевъ онъ превращаетъ въ тяжеловѣсныя затрещины и оплеухи... Когда Чулковъ рисуетъ скучающую купеческую дѣвицу, „пускающую амуръ“, то съ Неохомъ, при помощи услужливой старушки,—то со своимъ-же „кудрявымъ сидѣльцемъ“-приказчикомъ,—мы чувствуемъ себя очень далеко отъ Испаніи... Его Балабанъ не похожъ на того великовозрастнаго испанскаго дворянчика, котораго учить пришлось „Баккалавру Саламанкскому“; подвыпившій попъ Чулкова мало сходства имѣетъ съ католическимъ монахомъ, или надушеннымъ парижскимъ аббатомъ-развратникомъ, котораго изобразилъ Нугаретъ...

Такъ, вращаясь въ кругу общихъ мѣстъ, шаблонныхъ типовъ и избитыхъ сюжетовъ, Чулковъ, какъ истинный художникъ, сумѣлъ сказать свое яркое, новое слово, еще не слыханное въ русской литературѣ... Въ этой „самостоятельности“—его значеніе.

Произведенія эти не остались безъ вліянія на русскую повѣсть,—разсказъ „о происхожденіи тафтиной мушки“ использованъ былъ въ одной изъ повѣстей сборника: „*Цвѣтъ пчеламъ*“. Въ сборникѣ Новикова: „*Похожденіе Ивана гостинаго сына*“ встрѣтимъ мы повтореніе нѣкоторыхъ приключеній чулковскаго героя: послѣ ряда приключеній онъ попалъ къ ворамъ въ компанію; старуха-сводня выводитъ его въ люди, сблизивъ его съ купчихой. Разсказъ о томъ, какъ Неохъ, зайдя въ избушку, засталъ тамъ любовное

свиданіе и напугалъ любовниковъ, повторяется въ сборникѣ разсказовъ, подъ названіемъ: *„Похожденіе нѣкотораго россіянина“*. Разсказъ о томъ, какъ одинъ рѣшительный человѣкъ выясняетъ тайну дома, въ которомъ, по общему мнѣнію, жить нельзя, такъ какъ тамъ водится „нечисть“: являются привидѣнія—повторяется въ сборникѣ: *„Забавный разсказчикъ“*.

Любопытно, наконецъ, что яркое сатирическое изображеніе раскольника въ повѣсти: *„Житіе господина NN“* (см. выше стр. 94), представляетъ собою развитіе остроумной характеристики раскольника, сдѣланной Чулковымъ въ одной изъ разобранныхъ выше повѣстей. Авторъ *анонимной* повѣсти: „Житіе господина NN“ (не самъ-ли Чулковъ?) въ нѣкоторыхъ деталяхъ буквально воспроизвелъ слѣдующую характерную выдержку изъ повѣсти Чулкова,—

„я родился въ небольшомъ Россійскомъ городкѣ, стоящемъ на берегу рѣки Волги; дѣдъ мой былъ столпъ стариннаго правовѣрія и Кавалеръ алаго козыря (см. выше стр. 96), которой носятъ страдальцы на затылкѣ; кафтанъ носилъ геометрической, изъ коричневаго сукна, въ знакъ смиренномудрія; на рукѣ имѣлъ всегда перстень, которой не уступалъ древностію Кремлю-городу, и въ которомъ задѣлана была весьма искусно часть ногтя съ указательнаго перста протопопа Аввакума (см. выше стр. 95)... Борода его состояла изъ сорока осьми волосовъ, и была она осьмиугольная; и онъ утверждалъ, что въ такой бородѣ обитаетъ душа человѣческая, и всякой волосъ—необходимой членъ въ нашей жизни“ [1574] и пр.

Третьимъ (по времени напечатанія) произведеніемъ Чулкова былъ его неоконченный романъ: *„Пригожая Поварихa“*. Это—уже не повѣсть, а самый типичный „плутовской романъ“, со всѣми характерными особенностями этого вида.

Сама героиня Мартона такъ рекомендуетъ себя читателямъ:

„Я думаю, что многія изъ нашихъ сестеръ назовутъ меня „не скромною“; но, какъ сей порокъ, по большой части, женщинамъ сроденъ, то, не желая, противъ природы, величаться скромною, пускаюся въ него съ охотою... Увидитъ свѣтъ,—увидѣвъ, разберетъ, а, разобравъ и взвѣся мои дѣла, пускай именуетъ меня, какою изволитъ!“ [1575].

Изъ такого приступа мы видимъ опредѣленное желаніе автора, избѣгая подсказыванья и не давая субъективной оцѣнки дѣламъ героини, предоставить на судъ читателя рядъ фактовъ изъ жизни ея, чтобы онъ самъ, своими силами, разобрался въ нихъ и составилъ свое самостоятельное мнѣніе.

Мужъ ея, сержантъ, былъ убитъ подъ Полтавой; „онъ былъ не дворянинъ, не имѣлъ за собою деревень,—слѣдовательно, осталася я безъ всякаго пропитанія; носила на себѣ титулъ „сержантской жены“, однако, была бѣдна“. Ей было только девятнадцать лѣтъ—„для того

бѣдность моя казалась мнѣ еще несноснѣе; ибо незнала я обхожденія людскова и не могла пріискать себѣ мѣста... И такъ сдѣлалася вольною по причинѣ той, что насъ ни въ какія должности не опредѣляютъ". Поняла она тогда россійскую пословицу: „*шей де вдова широки рукава.—было бы куда класть небыльныя слова*".

„Весь свѣтъ на меня опрокинулся, и столько въ новой моей жизни меня возненавидѣлъ, что я незнала, куда приклонить мнѣ голову",—

—такъ грустно-тоскливо звучитъ „увертюра" къ разсказу героини объ ея вдовьей жизни. Всѣ о ней сплетничали, всѣ ее оговаривали...

„Ударилася, было, я въ слезы", но одна „честная старушка, которая извѣстна была всему городу Кіеву", утѣшила ее: она „столько сожалѣла о моемъ нещастіи, что на другой день поутру сыскала молодова и статнаго человѣка для моего увеселенія. Сперва показалася, было, я упорною, но черезъ два дни охотно предпріяла слѣдовать ея совѣтамъ, и позабыла совсѣмъ свою печаль".

Она была красива, а, по ея словамъ, „*на красненькой цвѣточикъ и пчелка летитъ*".—

Этотъ первый любовникъ ея былъ дворецкій богатаго барина; онъ окрадывалъ хозяина и все тащилъ къ ней. И вотъ,—

Мартона завела прислугу, стала щеголять въ костюмахъ: „богатство рождаетъ честь",—и она, бѣдная вдова, скоро зазналась: бранила слугъ... „*На что етова боля, когда дураку есть воля*",—говоритъ она, вспоминая впослѣдствіи свое тогдашнее поведеніе. „*Били дубьемъ, а платили рублемъ*" — повѣствуетъ она далѣе о своемъ обращеніи со слугами...

Разъ около полуночи „стучался у нашихъ воротъ человѣкъ, который не столько просился, а больше хотѣлъ вломиться силою". Его, наконецъ, впустили... „Я тогда спряталася"—разсказываетъ героиня, „и думала, что не Парисъ-ли пріѣхалъ за Еленою по причинѣ той, что я была завидная женщина въ томъ городѣ".

Гость вынулъ табакерку съ алмазами... „Старуха моя тотъ часъ ее обозрѣла,—отчего трусость ее перемѣнилась въ радость, и перестала она сихъ людей почитать непріятелями нашего рода": „золотая табакерка увѣрила ее о нѣкоторомъ щастіи. И притомъ примолвила сію пословицу: „*азъ не безъ глазъ, про себя вижу*".

„Въ такихъ случаяхъ и я была не промахъ, и, къ щастію моему, что я не была еще тогда раздѣта,—такимъ образомъ, появилася къ новому моему Адониду съ торжественнымъ лицомъ и благородною повадкою... И, правду сказать, что принята имъ была, хотя не за Венеру, однако за непосредственную Богиню", „по приговоркѣ: „*по платью встрѣчаютъ, а по уму провожаютъ*". „Въ самой первой разъ показался онъ мнѣ столько нѣженъ, что, въ угодность его, охотно-бы я бросила камердинера... А какъ подарилъ онъ мнѣ ту табакерку, то уже мнѣ и подло показалось имѣть сообщеніе съ холопомъ".

„Первое сіе свиданіе было у насъ торгомъ, и мы ни о чемъ больше не говорили, какъ заключали контрактъ,—онъ торговалъ мои прелести,

а я уступала ему оныя за приличную цѣну... И обязалися мы потомъ росписками, въ которыхъ была посредникомъ любовь, а содержательница моя свидѣтелемъ. А какъ такіе контракты не объявляются никогда въ полиціи, то остался онъ у насъ и безъ всякаго приказнаго порядка ненарушимымъ".

Мартона радовалась полученному подарку, но ея признанію, болѣе, чѣмъ „Венера данному ей яблоку". „Когда чрезвычайная сія радость позволила успокоить ей взбѣшеной отъ подарка разумъ и, утомленные отъ неумѣреннаго кривлянія, члены"—то она легла и уснула. Пришелъ камердинеръ... „Признаюсь, что такъ скоро отбоярить его совѣсть меня зазрѣла, а, не желая имѣть съ нимъ компаніи, притворилася и больною".

Оказалось, камердинеръ служилъ, какъ разъ, у того самого барина, который только что заключилъ „контрактъ" съ Мартоной.

Онъ увидѣлъ на столѣ табакерку своего барина, сейчасъ-же заподозрѣлъ Мартону въ измѣнѣ и устроилъ ей скандалъ. Но въ это время вернулся самъ баринъ, и скоро выпроводилъ его. Мартона, которая „часто читывала книжку „Бабьи увертки"*), выпуталась изъ скандала,—и баринъ такъ и не догадался, что она раньше жила съ его камердинеромъ.

Мартона хорошо зажила съ бариномъ. „*Доселева Макаръ гряды копалъ; а нынѣ Макаръ въ воеводы попалъ*"—говоритъ она, сама иронизируя надъ собой.

И вотъ, она сдѣлалась госпожей камердинера, своего бывшаго любовника.

Онъ проситъ ее ничего не говорить барину объ ихъ бывшей связи и обѣщаетъ помогать ей обокрадывать барина. „*Деньги—желѣзо, платье—тѣлѣнъ; но кожа всего намъ дороже*"—такъ философствовалъ въ разговорѣ съ нею этотъ мудрецъ-камердинеръ.

Своимъ новымъ положеніемъ Мартона была совершенно довольна. „Съ недѣлю времени наслаждалася я Венериномъ достоинствомъ и не промѣнила бы участи моей ни на какое сокровище въ свѣтѣ; но какъ всѣмъ извѣстно, что щастіе недолговѣчно, и нѣтъ ничего ево непостояннѣе, то фартуна моя поскользнулась"—безстрастно повѣствуетъ она далѣе.

Ея новый любовникъ, Свѣтонъ, былъ помѣщикомъ; онъ повезъ ее въ деревню, и лишь въ дорогѣ признался ей, что онъ женатъ.

Она ѣхала въ деревню съ тяжелыми предчувствіями: „я не гру-

---

*) Я не нашелъ такой книжки на русскомъ языкѣ; сходное названіе носитъ сборникъ повѣстей *1791 г.*: „Дѣвушкины прогулки и *молодкины увертки*, или лабиринтъ женскихъ кокарствъ, но, конечно, не объ этой книгѣ идетъ рѣчь у Чулкова. На французскомъ и нѣмецкомъ языкѣ есть рядъ сборниковъ, въ составъ которыхъ вошли разсказы о ловкихъ продѣлкахъ плутоватыхъ женщинъ (напр., „Les ruses d'amour", 1679; „Frauenzimmer-Belustigungen", 1780; „Le cabinet facétieux, morale des femmes", 1720; „Promenades de la Guinguette" и мн. др.)... Изъ названныхъ книгъ нѣкоторыя я имѣлъ въ рукахъ, но, кромѣ общаго тона и нѣкоторыхъ деталей, ничего сходнаго съ произведеніемъ Чулкова въ нихъ не нашелъ. Говоря о „бабьихъ увертхахъ", не имѣлъ ли нашъ авторъ въ виду разсказовъ о женщинахъ изъ сборниковъ фацецій?

стила о томъ, что лишуся моего любовника, но боялася я нѣчево, что гораздо пострашнѣе было любовной разлуки"—опасалась мести его жены. Свѣтонъ поселилъ Матрону въ сосѣдней деревнѣ и часто ѣзжалъ къ ней на свиданье. Жена его ихъ выслѣдила.

„*Шило въ мышкѣ не утаится*", „*Виденъ соколъ по полету*"—философствуетъ по этому поводу Мартона.

„Въ нѣкоторое время, когда сидѣли мы одни съ Свѣтономъ и, по слабости человѣческой, впустилися въ любовь, въ самое то время отворился шкафъ, который, на бѣду мою, стоялъ въ той комнатѣ; изъ онаго вышла женщина и сказала намъ: „часъ доброй, друзья мои!" Любовникъ мой спрыгнулъ; а я вскочила"... Мартонѣ сильно попало отъ разъяренной супруги—она „вытерпѣла ударовъ съ десятокъ ладонью по щекамъ". Потомъ ее выгнали, и она одна очутилась въ полѣ.

Переодѣвшись въ крестьянское платье, „обмундировалася и терпѣніемъ и пустилась въ путь". Добравшись до Москвы, опредѣлилась она въ поварихи къ секретарю.

„Иной веселой человѣкъ примолвилъ: „что *попалася, де, огонь къ сѣну*". Но это было бы невѣрно... „Секретарь былъ человѣкъ набожный,—онъ никогда не вставалъ и не ложился спать, не помолися Богу; передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ читалъ обыкновенныя молитвы вслухъ и умывалъ завсегда руки; не пропускалъ на одново воскресенья, и бывалъ всегда у обѣдни, а въ двунадесятые праздники ѣздилъ развозить поклоны, или принималъ оныя самъ отъ челобитчиковъ. Всякое утро стоялъ онъ по два часа на молитвѣ, а жена ево, во то время, въ передней горницѣ упражнялася во взяткахъ, или принимала всячиною... Когда же садилися они пить чай, то маленькой ихъ сынъ, подавая ему реэстръ, поминно называлъ всѣхъ людей, бывшихъ у него въ то утро, и кто что и сколько принесъ... Такимъ образомъ, смотря по величинѣ приноса, рѣшалъ онъ и дѣла въ приказѣ".

Мартона сдѣлалась повѣренною любовныхъ шашней жены этого секретаря: сама же сошлась съ „безграмотнымъ канцеляристомъ", жившимъ у секретаря.

Она потѣшалась надъ нимъ: „чуденъ онъ былъ въ должности канцеляриста, но въ должности любовника показался мнѣ еще чуднее".

„Прежде, чѣмъ сойтись съ нимъ, она желала прежде увидать его разумъ" и „задала ему три задачи, чтобы онъ мнѣ оныя рѣшилъ, а именно: „кто умнѣе всѣхъ въ городѣ", „кто учонѣе" и „кто добродѣтельнѣе всѣхъ"... Онъ рѣшилъ, что „умнѣе всѣхъ ихъ секретарь, который рѣшитъ всѣ дѣла безъ остановки и докладываетъ объ нихъ всегда по порядку; а ученѣе нѣтъ нѣкотораго стряпчаго, который читаетъ почти всѣ указы наизусть, и часто заставляетъ молчать судей"—„Ктожъ добродѣтельнѣе всѣхъ"—этого онъ сказать не могъ. „И многіе изъ канцелярскаго племени о томъ тебѣ не скажутъ; ибо рѣдко мы слышимъ о добродѣтели"—прибавилъ онъ.

Любовники барыни стали заглядываться на Мартону, и барыня ее прогнала... Но она недолго была безъ мѣста: явился къ ней сводникъ и привелъ ее къ отставному подполковнику, бывшему гусару, „имѣвшему долгіе вьющіеся усы и орлиной носъ". Онъ ее беретъ къ себѣ въ кате-

ствѣ экономки, обѣщаетъ ей все завѣщать, если она будетъ ему вѣрно служить, и, на первый случай, отдаетъ ей гардеробъ покойной жены.

„Жадность къ нарядамъ немного времени позволяла мнѣ медлѣть,— пошла я по сундукамъ, въ которыхъ нашла довольно изряднаго платья; но болѣе всего жемчуга, котораго я еще отъ роду не видывала и не имѣла на себѣ. Обрадовавшись тому слишкомъ и забывъ благопристойность, самой первой день начала ево перенизывать по своему, а господинъ гусарскій подполковникъ, надѣвши очки, помогалъ мнѣ въ моей работѣ и, выбирая крупный зерна, подавалъ мнѣ для низанія, и цѣловалъ мои руки".

Мартона была довольно счастлива и служила своему старику исправно. „Старость ево нѣсколько безпокоила; однако сносила я оное терпѣливо такъ, какъ великодушная и постоянная женщина". Старикъ-гусаръ былъ ревнивъ, подозрителенъ,—держалъ ее взаперти и отпускалъ только въ церковь.

Въ церкви у Николы „на курьихъ ножкахъ" приглянулся ей молодой человѣкъ, который, по ея словамъ „во всю обѣдню не спускалъ" съ нея глазъ, и „въ благопристойное время" дѣлалъ ей иногда такіе знаки, которые извѣстны только женщинамъ, „да еще ревнивымъ мужьямъ и любовникамъ".

Старикъ-подполковникъ замѣтилъ все это, и былъ сильно взволнованъ.

Молодчикъ оказался офицеромъ Ахалемъ. Желая проникнуть въ домъ къ Мартонѣ, онъ пришелъ наниматься къ ней въ качествѣ лакея и въ свои документы вложилъ любовное письмо.

„Я не знаю, можно ли кому-нибудь похвалиться, чтобы онъ во всякое время твердо наблюдалъ добродѣтель, и, угождая ея строгости отказался отъ лучшаго естественнаго удовольствія"—все въ природѣ мѣняется: и солнце затмѣвается, и времена года смѣняются одно другимъ, въ морѣ бываетъ приливъ и отливъ, птицы линяютъ, и философы перемѣняютъ свои системы,—то какъ уже женщинѣ, которая рождена къ перемѣнамъ, можно любить одного до кончины ея вѣка?"—такъ объясняетъ авторъ измѣну Мартоны.

„Я была изъ числа тѣхъ красавицъ, которые думаютъ о себѣ, что онѣ никому не обязаны на свѣтѣ и раздаютъ сами благодѣянія свои великодушно"—говоритъ она.

„*Такова овца къ соли, коза къ воли, а вѣтренная женщина къ новой любви*"—и Матрона съ Ахалемъ выдумали, какъ имъ сблизиться.

Ахаль выдалъ себя за сестру Мартоны, и явился къ ней въ женскомъ платьѣ. „Свиданіе наше было, хотя и некровное, но, однако, прямо любовное... И когда мы бросились другъ къ другу въ объятія, то на силу насъ и растащили. Пріятность за пріятностью и поцалуй за поцалуемъ слѣдовали: сестра моя прижимала меня къ сердцу и цѣловала весьма часто въ груди". За столомъ они такъ другъ другомъ были заняты, что „старикъ мой любовникъ признался передъ нами, что онъ почитаетъ насъ нѣкакимъ чудомъ; „ибо, говорилъ онъ, не видывалъ и никогда такой пылающей любови между сестрами". Старикъ уговорилъ мнимую сестру любовницы ночевать у нихъ и уступилъ ей свою кровать. „Такимъ образомъ препровождали мы ночь съ сестрою моею во всякомъ удовольствіи".

Долго продолжался этотъ обманъ, но Мартона имѣла неосторожность повѣрить Ахалю, что онъ женится на ней,—и съ нимъ бѣжала, обокравъ старика.

„По нещастію моему, безъ всякой думы наслѣдила я участь несчастной Филлиды,—Демофонтъ мой меня обманулъ и уѣхалъ". Она, хотя и знала, что старикъ ее проститъ, но долго не рѣшалась идти съ повинной къ нему,—„стыдъ признать себя не вѣрною, глупою и обманутою запрещалъ мнѣ совсѣмъ къ нему показаться". Наконецъ, она явилась къ нему.

Его застала она умирающимъ: ея изчезновеніемъ онъ былъ такъ потрясенъ, что, разыскивая ее повсюду въ домѣ, „бѣгалъ весьма неосторожно и въ великомъ отчаяніи, то есть безъ памяти и притомъ безъ очковъ, то полетѣлъ съ крыльца съ самой первой ступеньки лѣстницы весьма неосторожно и переломилъ себѣ крестецъ, и отъ сего то слабое ево здоровье, часъ отъ часу, начало приходить въ упадокъ".

Онъ съ радостью принялъ бѣглянку, повѣрилъ ея раскаянью; и она безъ труда вернула къ себѣ его расположеніе. Но здоровье его дѣлалось все хуже, и, наконецъ, онъ умираетъ... Тогда явились наслѣдники: сестра покойнаго и др., и Мартону садятъ въ тюрьму за расхищеніе...

Долго сидѣла она тамъ. „Пищу подавали мнѣ каждой день по два раза; а оная состояла изъ хлѣба и воды. И такъ принуждена я была держать весьма великой постъ, о которомъ прежде никогда мнѣ и въ голову не приходило. Воздержная сія жизнь выбила у „меня изъ головы всѣ любовныя мысли",—говоритъ она.

Вдругъ неожиданно явился къ ней Ахаль съ другимъ офицеромъ, и ее освобождаютъ; потомъ ее „отдали на руки нѣкоторой весьма неубогой старушкѣ". „Нещастіе скорѣе забывается, нежели благополучіе, а особливо въ тѣхъ людяхъ, которые держатся моего промысла. Въ три дня я совсѣмъ исправилась,—лице мое получило прежнюю красоту, а тѣло наполнилось прежнею бѣлизною и нѣжностью". Другой офицеръ, Свидаль, тоже влюбился въ Мартону. Ахаль поступалъ съ ней вольно, а Свидаль держался другой политики—„былъ чрезвычайно учтивъ и нѣженъ и боялся малымъ поступкомъ прогнѣвить меня".

„Наслѣдное имѣніе съ трудомъ раздѣляютъ двое, а любовницу безъ ссоры никогда раздѣлить имъ не можно"—немудрено, что скоро между обоими начались ссоры на почвѣ ревности. Однажды всѣ трое играли въ ломберъ. „По правиламъ ломберной игры не должно было никому заглядывать къ другому въ карты, но Ахаль на это не взиралъ,—онъ весьма часто портилъ правила треугольника и подвигался ко мнѣ очень близко". Между офицерами начался споръ, который окончился дуэлью. Ахаль убилъ Свидаля, и бѣжалъ, боясь наказанія.

Смерть Свидаля очень потрясла Мартону—она полюбила этого благороднаго юношу,—„въ семъ то случаѣ узнала я прямо, что то есть дѣйствительная страсть любовная. Услышавъ о погибели Свидалевой, кровь во мнѣ остыла, гортань мой изсохъ и губы запеклися... Отворилися ключи изъ глазъ моихъ, и катилися по лицу слезы безъ всякаго воздержанія. Представлялся онъ весьма живо предо мною"... Вдругъ явился Свидаль. Оказалось, чтобы спровадить Ахаля, онъ лишь притворился мертвымъ. „Такимъ образомъ, узнала я дѣйствительно, что онъ живъ

и любитъ меня столько же, сколько я ево, или, можетъ быть, и меньше, въ чемъ мы съ нимъ не рядились, а полюбили другъ друга безъ всякаго торгу". „Восхищенія нашего въ семъ случаѣ описывать и не буду, для того, что лишнее будетъ входить во всѣ подробности словъ дѣйствія и движенія, которые производятся въ любовномъ безпамятствѣ... И многіе уже различными опытами удостовѣрились, что, спустя нѣсколько времени, страсть восхищеннаго совсѣмъ пропадаетъ и совсѣмъ позабываетъ все, что любовникъ тогда говорилъ точно, какъ больной послѣ горячки, или сумасшедшей, опаметовшись".

Она счастлива съ нимъ. Стала жить спокойно и копить деньги.

Познакомилась съ купчихой, которая любила широкую общественную жизнь и занималась литературой. „Она была изъ тѣхъ женщинъ, которыя сочиняютъ романы и пишутъ предувѣдомленія къ онымъ стихами, чево ради собиралося къ ней множество остроумныхъ молодыхъ людей, кои, для хорошихъ ихъ наукъ и художествъ, посѣщали ее всегда въ отсутствіи ея мужа, и кто былъ поискуснѣе прочихъ, тотъ пріискивалъ для нея богатые риѳмы. Такимъ образомъ, занята она будучи риѳмотворною сею наукою, рѣдко и спала со своимъ мужемъ".

Описаніе ея общества: былъ тутъ старикъ, ухаживающій за тринадцатилѣтней дѣвушкой; былъ и юноша, женихъ старухи, который согласился жениться на ней, въ разсчетѣ на ея скорую смерть и полученіе наслѣдства... Свободнѣе всѣхъ держалъ себя „высокой и пузатой дѣтина"— „онъ былъ тутъ всѣхъ вольнѣе, по причинѣ той, что онъ въ случаѣ нужды служилъ въ великое удовольствіе хозяйкѣ; хохоталъ такъ громко, что заглушалъ басовую скрыпицу... Какой-то офицеръ ухаживалъ за одной судейской женой и училъ ее умноженію. Индѣ красавица приставала къ задумчивому щеголю и представляла ему себя къ услугамъ. По серединѣ сидѣлъ малорослой стихотворецъ и прокрикивалъ стихи изъ сочиненной имъ трагедіи; потъ валитъ съ нево, какъ градъ, а сожительница ево въ то время бѣлымъ платкомъ утирала напольного офицера... Однимъ словомъ, нашла я тутъ любовную школу, или домъ беззаконія. Впрочемъ, хозяйка имѣла передо всѣми преимущество, — съ кѣмъ бы какой кавалеръ ни началъ свою любовь, то съ хозяйкою непремѣнно оную окончаетъ".

Эта эманципированная купчиха захотѣла отравить мужа и подговорила для этого слугу Мартоны, про котораго шла молва, что онъ— колдунъ.

Она его подрядила за сто рублей. Онъ разсказалъ все Мартонѣ и заявилъ, что онъ составитъ такое зелье, отъ котораго купецъ не умретъ, а придетъ въ неистовство, и потомъ, черезъ нѣкоторое время, успокоится.

Такъ и случилось: купецъ сталъ бушевать, и его связали. Когда онъ пришелъ въ себя—то его все не развязывали, боясь повторенія его безчинствъ. Онъ то злился, то плакалъ, но былъ безпомощенъ...

Жена увѣряла всѣхъ, что онъ уже безнадеженъ, и для того хотѣла при всѣхъ освидѣтельствовать, сколь у него векселей и другихъ записокъ... И какъ стали вынимать у него для того ключи, то началъ онъ кричать: „караулъ, разбой!" и пр. Чего ради многіе присовѣтовали окурить его ладономъ и крестить поминутно, чтобы отогнать отъ него нечистую силу".

Жена отобрала всѣ ключи. Связанный мужъ взмолился о пощадѣ,— „всѣ слезамъ его соотвѣтствовали", однако развязать боялись.

Когда, по настоянію священника, его, наконецъ, развязали, онъ первымъ дѣломъ избилъ жену. Тогда его опять посадили въ оковы.. Отчаянье его было безгранично. „Весело было тогда смотрѣть, какъ онъ ходилъ по горницѣ, задумавшись, и всѣ боялися подступить къ нему и ходили около ево кругомъ". Изъ предосторожности за столомъ не подавали ножей и вилокъ Однажды явились гости и, предупрежденные хозяйкой, „стали у дверей и, говоря ему оттуда: „здравствуй, государь мой!", а подступить къ нему боялись и, сѣвши за столъ, глядѣли на него съ удивленіемъ такъ, какъ на сущаго дурака". „Лишь только спросилъ онъ: „почему вы сочли меня безумнымъ?",—то всѣ, было, бросились его вязать, ибо думали, что опять блажь на него нашла".

Свидаль зоветъ своего слугу-колдуна, и тотъ при всѣхъ разсказываетъ о преступныхъ желаніяхъ жены купца, и о томъ, какъ онъ на хозяина навелъ временное безумство.

Мартона пожалѣла его,—все ему простила и поѣхала къ нему вмѣстѣ со Свидалемъ.

„Когда я вошла въ комнату, то видъ оной представился мнѣ весьма страшнымъ: она убита была, какъ полъ, такъ стѣны и потолокъ и, словомъ, вся—черною фланелью. Кровать стояла съ такимъ же занавѣсомъ, на которомъ положена была бѣлая высѣчка; столъ покрытъ такъ же чернымъ, а другой стоялъ впереди; на ономъ видѣнъ былъ крестъ, подъ которымъ лежалъ черепъ человѣческой головы и двѣ кости, а передъ образомъ стояла лампада".

Ахаль былъ „въ черномъ шлафрокѣ и въ черномъ колпакѣ съ бѣлою обвивкою". Онъ страшно былъ угнетенъ мученіями совѣсти. Увиди Мартону (Свидаль не вошелъ сразу), онъ сталъ разсказывать ей, какъ онъ терзается раскаяньемъ, которое мучитъ особенно его за убійство друга. Онъ въ завѣщаніи оставилъ все имѣніе на имя Мартоны.

Когда вошелъ Свидаль, Ахаль пришелъ въ ужасъ,—онъ подумалъ, что это—привидѣніе убитаго имъ друга „И сколько силъ нашихъ было, мы ево держали, и прикрыли, наконецъ, одѣяломъ, чтобъ нѣсколько онъ собралъ расточеннаго своего разума". Ахаль считалъ, что злодѣйство его выше всякаго беззаконія на свѣтѣ...

Уже изъ пересказа этого неоконченнаго произведенія Чулкова видно, что передъ нами не повѣсть, а самый настоящій авантюрный романъ „плутовскаго" типа. Онъ представляетъ собою цѣпь приключеній, которыя нанизываются по прихоти „судьбы", всесильной надъ жизнью героини и лицъ ее окружающихъ—

„Щастье никому не даетъ отчоту въ своихъ дѣлахъ,—вольно ему пожаловать и Осла губернаторомъ, а Филина произвести въ воеводскіе товарищи" 1575.

„..какъ всѣмъ извѣстно, что щастіе недолговѣчно, и нѣтъ ничево ево непостояннѣе, то фартуна моя поскользнулась..." 1576.

„...я опредѣлила себя на всѣ суровости прогнѣванной мною судьбины“ [1577].

„...немилосердая судьба лишаетъ меня сего удовольствія...“ [1578].

„...предупреждая гнѣвъ судьбины...“ [1579].

„Плутовской“ характеръ романа выражается въ обрисовкѣ героевъ, особенно героини. Она сама неразъ рекомендуетъ себя „плутовкой“.

„...я была не промахъ“; „...добродѣтель мнѣ была и издали не знакома“ [1580]; „Меркурій былъ богъ плутовства,—и такъ, какъ будто бы ево помощію, опредѣлилася я въ поварихи къ секретарю. Иной веселой человѣкъ примолвитъ, что попался, де, огонь къ сѣну“ [1581]; „Имѣніе стариково мнѣ понравилось, и я тотчасъ предпріяла угождать ево деньгамъ“ [1582]; „...Я никогда столько не радовалась, какъ въ ето время, что могла столько удачливо обмануть моего неусыпнаго надзирателя“ [1583]; „совѣсть меня не зазирала ни мало,—ибо я думала, что есть на свѣтѣ люди гораздо меня отважнѣе, которые и въ одну минуту надѣлаютъ больше худова, нежели я въ три дни“ [1584].

Она можетъ съ спокойной совѣстью обокрасть своего наивнаго старика-покровителя; она способна и на хитрый обманъ,—при чемъ, въ ея глазахъ, этотъ „обманъ“, повидимому, привлекателенъ, какъ „спортъ“.

Таковъ же и одинъ изъ главныхъ героевъ романа, офицеръ Ахаль: онъ—большой дока и на любовныя дѣла, и на воровство, причемъ способенъ надуть даже свою сообщницу!..

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы образы чулковскихъ „плутовъ“ отличались выдержанностью,—даже плутовство героини кажется какимъ то „случайнымъ“, „благопріобрѣтеннымъ“... Исторія этого плутовства такова: мы знакомимся съ героиней, когда она, жалкая, безсильная женщина, растерявшись отъ злыхъ и лживыхъ толковъ, попадаетъ въ лапы старушки утѣшительницы... И вотъ—она слишкомъ скоро примиряется съ судьбой, и быстро дѣлается „плутовкой“,—что̀ совсѣмъ не вытекаетъ изъ грустнаго разсказа ея о кратковременномъ вдовствѣ...

Такъ же блѣднѣютъ „плутовскія“ черты ея образа въ концѣ романа, когда чистая любовь овладѣваетъ ею.

Совершенно непослѣдовательнымъ и психологически-необоснованнымъ является также раскаяньо Ахаля.

Такимъ образомъ, должно признаться, что выяснить развитіе характеровъ Чулкову не удалось,—онъ нарисовалъ лишь рядъ моментовъ изъ душевной жизни героевъ,—моментовъ, болѣе или менѣе, яркихъ, но, при томъ, разрозненныхъ и случайныхъ, психически не обоснованныхъ...

Съ произведеніями Лесажа этотъ романъ имѣетъ еще болѣе сходства, чѣмъ двѣ вышеразобранныя повѣсти Чулкова.

Прежде всего, сходство заключается въ тожествѣ „построенія“ романа и въ пріуроченіи его къ опредѣленной мѣстности. Кромѣ того, это произведеніе Чулкова отличается тѣмъ единствомъ содержанія, котораго почти не замѣчалось въ другихъ его повѣстяхъ,—здѣсь героиня всегда на первомъ мѣстѣ,—ея не заслоняютъ другія событія и другіе образы. Чулковъ обошелся въ своемъ романѣ даже безъ „вводныхъ эпизодовъ“.

Нѣкоторые „типы“, выведенные въ романѣ, обрисованы съ тою же яркостью и сочностью, какую мы наблюдаемъ у Лесажа: секретарь суда и его писарь, старый полковникъ, гости купчихи, „мнимый сумасшедшій“, ея мужъ,—все это образы живые и яркіе... Блѣднѣе обрисована сама героиня, офицеры Ахаль и Свидаль, помѣщикъ Свѣтонъ.

Подобно Лесажу, пользуется Чулковъ очень охотно образами, заимствованными изъ античной миѳологіи. Какъ Лесажъ, и нашъ Чулковъ вводитъ ихъ, исключительно, въ своихъ остротахъ. Напр.,—

„...я тотчасъ спряталася, и думала, что не Парисъ ли пріѣхалъ за Еленою по причинѣ той, что я была завидная женьщина въ томъ городѣ“ 1585. „Появилася къ новому моему Адониду“ 1586.

„...не столько радовалася Венера данному ей яблоку, сколько любовалася я подаренной мнѣ табакеркою“ 1587.

„...прибыла я въ Москву въ среду, а день сей означается у насъ древнимъ языческимъ богомъ Меркуріемъ. Меркурій же былъ богъ плутовства“ 1588.

„...вы — русская Елена, а что сказываютъ о Венерѣ, то такимъ бреднямъ я не вѣрю! Всѣ молокососы збираются быть Парисами, и прод(пр)аютъ глаза свои на васъ. Избавь меня судьба, чтобъ участь нещастнаго Менелая не воспослѣдовала со мною!“ 1589.

„...тѣмъ больше чувствовала я охоты измѣнить сѣдому моему Купидону“ 1590.

„...я тотчасъ догадалась, что ето—Меркурій отъ моево Юпитера“ 1591 и др.

Психологическій анализъ производится Чулковымъ по старому,—при помощи тѣхъ пріемовъ, которыхъ придерживались всѣ романисты разбираемой группы вообще, а Лесажъ—въ частности. Впрочемъ, такъ какъ содержаніе романа представляетъ собою сплошной разсказъ самой героини о своей жизни, то авторъ непосредственно не вмѣшивается въ ея душевную жизнь,—героиня, чаще всего, сама повѣствуетъ о своихъ чувствахъ, иногда присоединяя къ своему разсказу сентенціи, иногда психологическія наблюденія общаго характера. Напр.,—

„Чѣмъ больше имѣетъ убранства женщина, тѣмъ больше бываетъ въ ней охоты прохаживаться по городу, и отъ тово наши сестры многіе портятся, и попадаютъ подъ худыя слѣдствія“ 1592.

„...трусость ее перемѣнилась въ радость“ 1593.

„...оставилъ меня въ ужасномъ страхѣ... Мы не знали, что́ тогда дѣлать,—бѣжать намъ было нѣкуда и защитить насъ было нѣкому; ибо у такихъ людей; какова была я тогда, пріятелей не бываетъ,—причиною тому неумѣренная наша гордость“ 1594.

„Мнѣ надобно было совсѣмъ „переодѣться“, то есть перевернуться изъ страха въ несказанную радость, а какъ я часто читывала книжку *Бабьи увертки*, и прилѣжала, чтобъ научиться имъ, то превращеніе сіе казалось мнѣ не весьма мудренымъ“ 1595.

„...чемъ ближе подъѣзжала я къ деревнѣ, тѣмъ больше страхъ во мнѣ, часъ отъ часу, умножался: по пословицѣ: *знаетъ, де, кошка, чье мясо она съѣла*“ 1596.

„Прямая Филлида не досадовала на измѣну Демофонтову, но только о томъ сожалѣла, а я столько была зла, что согласилась разорвать ево пополамъ.“ 1597.

„Сомнѣніе, страхъ и отчаянье терзали меня неотступно“ 1598.

Иногда „психика“ героевъ раскрывается при помощи внѣшнихъ проявленій внутренней борьбы, —

„...видъ лица любовника моего поминутно перемѣнялся: иногда казался онъ блѣденъ такъ, какъ будто бы готовился къ сраженію,— иногда бросало его въ жаръ, и дѣлался онъ краснѣе кармазину, иногда лице его покрывалося холоднымъ потомъ,—и, словомъ, былъ онъ въ такомъ безпорядкѣ, какъ будто бы человѣкъ съумасшедшей“ 1598.

Характеры героевъ отмѣчены различнымъ ихъ поведеніемъ—

„...былъ чрезвычайно учтивъ и нѣженъ, и боялся малымъ поступкомъ прогнѣвить меня,—слѣдовательно, искалъ онъ нѣжностію мѣста въ моемъ сердцѣ“ 1599.

Рѣже выражается настроеніе при помощи монологовъ. Напр.,—

„...Я имѣю разумъ, силу и богатство; но что́ они мнѣ помогутъ, если ты, прекрасная, не будешь чувствовать ко мнѣ такой любви, какую я имѣю къ тобѣ!“... При семъ словѣ бросился онъ передо мною на колѣни, и облился слезами“ 1600.

„Пародію“ на патетическій монологъ представляетъ собою лукавый отвѣтъ героини:

„Дражайшій мой, возможно ли, чтобы я была тебѣ невѣрною и измѣнила въ самомъ началѣ горячей моей любви—одна смерть съ тобою разлучитъ!.. Но и во гробѣ буду я вспоминать твое ко мнѣ почтеніе! Въ твою угодность, отрицаюся я ото всего свѣта мущинъ—и ни одинъ прельстить меня не можетъ! Успокойся, мой дражайшій!.. Вѣрная и нелицемѣрная твоя любовница Мартона проситъ о томъ тебя со слезами!“ 1601.

Къ любопытному литературному пріему прибѣгаетъ Чулковъ, введя „бредъ спящаго“ для изображенія волненія его души:

„...въ полчаса разъ пять пробуждался и кричалъ иногда: *прости*, изо всей силы, иногда: *постой*,—а иногда: *пропалъ я*; ибо грѣзилося ему что меня похитили, или я ему измѣнила“ 1602.

Выражаются чувства и въ „письмахъ“, писать которыя, повидимому, былъ особеннымъ любителемъ плутоватый Ахаль,—только его письма и имѣются въ романѣ: тонъ ихъ патетическій, и оригинальностью содержанія они не отличаются.

Кромѣ сходства въ „пріемахъ“ творчества, можно указать рядъ отдѣльныхъ мѣстъ въ романѣ Чулкова, напоминающихъ соотвѣтствующія мѣста въ произведеніяхъ Лесажа и другихъ романистовъ этой же школы.

Прежде всего, самый сюжетъ—„исторія падшей женщины“, переходящей изъ рукъ въ руки—разрабатывался неоднократно въ разныхъ произведеніяхъ этого типа.

Такъ, напримѣръ, у Лесажа въ его романѣ: „Жилблазъ“ разсказана исторія „пригожей актрисы Лауры“, побывавшей горничной, потомъ содержанкой у разныхъ лицъ [1603]. Таковы же исторіи Каталины и Луцинды [1604]. Въ другомъ романѣ Лесажа: „Баккалавръ Саламанкскій“, разсказана исторія сестры героя: она сперва живетъ дома; за ней, десятилѣтней дѣвочкой, уже ухаживаютъ и молодые, и старые; потомъ она воспитывается въ монастырѣ; ее увозитъ племянникъ игуменьи; потомъ въ нее влюбляется какой-то мексиканецъ, увидѣвшій ее въ церкви; потомъ влюбляются еще двое и дерутся за нее на дуэли. Старушка-сводница помогаетъ ей устроиться на содержаніи; она сбѣгаетъ со своимъ молодымъ слугой; они женятся; онъ убѣждаетъ ее сдѣлаться актрисой и добывать деньги своимъ тѣломъ; въ нее влюбляется богатый графъ, потомъ другой знатный юноша; наконецъ, она живетъ, припѣваючи [1605].

Въ романѣ: „Новой Жилблазъ“ тоже введена исторія падшей женщины [1606]. Ее соблазнилъ офицеръ, который померъ, оставивъ ее беременной: ее на содержаніе беретъ какой-то чужестранецъ; его арестуютъ; она дѣлается проституткой; случайно, въ дорогѣ она сходится съ проѣзжимъ офицеромъ, потомъ съ его слугой... Въ этомъ же романѣ разсказана исторія крестьянской дѣвушки, которую герой соблазнилъ; она сдѣлалась горничной; потомъ она поступаетъ на содержаніе къ какому-то кавалеру; затѣмъ переходитъ изъ рукъ въ руки...

Въ романѣ: „1001 дурачество“ Пугарета есть „исторія пригожей торговки“ (сходство въ названіи съ произведеніемъ Чулкова!). Она была обольщена княземъ, который уѣхалъ на войну, оставивъ ее беременной: въ нее влюбляется старикъ, и на ней женится [1607] и т. д.

Въ романѣ Пугарета „Les dangers de la séduction et les faux-pas de la beauté, ou les aventures d'une Villageoise et de son Amant“ *) разска-

*) Романъ появился въ VII-ой годъ республики, но героиня его—Lucette, которая фигурируетъ въ романѣ того же автора, вышедшемъ въ свѣтъ еще въ 1765 г. („Lycette, ou les Progrès de libertinage“, Gen. 1765) Пугаретъ, по словамъ французскихъ библіографовъ, имѣлъ обыкновеніе новымъ изданіямъ своихъ старыхъ романовъ давать и новыя заглавія. Быть можетъ, и названный романъ представляетъ собою лишь новое изданіе вышеназваннаго стараго романа, котораго я не нашелъ въ Публичной библіотекѣ. Если это такъ, то, быть можетъ, въ этомъ романѣ можно видѣть ближайшій прототипъ разбираемаго чулковскаго произведенія.

зана длинная исторія героини, очень похожей на чулковскую „Пригожую поварихуˮ. Lucette—крестьянская дѣвушка. Ее обольщаетъ сельскій пастухъ; потомъ она поступаетъ въ услуженіе къ помѣщику и переходитъ изъ рукъ въ руки; затѣмъ ее увлекаетъ офицеръ, который и привозитъ ее изъ провинціи въ Парижъ. Тамъ онъ ее бросаетъ. Потомъ, послѣ ряда приключеній она сходится со старикомъ-Гарпагономъ, корчитъ изъ себя великую даму, въ особенности, когда попадаетъ потомъ на содержаніе къ другому, болѣе щедрому любовнику; но онъ оказывается женатымъ, и героинѣ приходится объясняться съ женой любовника; до драки, какъ въ русскомъ романѣ, дѣло не доходитъ, но любовника она теряетъ; потомъ она дѣлается актрисой, заболѣваетъ венерическою болѣзнью, тѣмъ не менѣе, выходитъ замужъ и, наконецъ, погибаетъ.

Припомнимъ еще приведенный у меня выше (стр. 83—4) разсказъ вольтеровской Накетты объ ея печальной участи.

Обиліе всѣхъ подобныхъ разсказовъ о приключеніяхъ плутоватой, „погибшей женщины�ᵐ ясно доказываютъ намъ, до какой степени эта тема была избита въ литературѣ XVIII-го вѣка. Сознательнѣе всѣхъ отнесся къ ней Вольтеръ: онъ сумѣлъ указать на глубокій трагизмъ безпомощной, слабой женщины, чувствующей свой позоръ, но не имѣющей мужества съ нимъ бороться. Судя по началу романа, Чулковъ стоялъ на такой-же дорогѣ,—и онъ повелъ, было, своего читателя по дорогѣ къ проповѣди гуманности къ людямъ „униженнымъ и оскорбленнымъ�ᵐ,—но потомъ вдругъ повернулъ круто въ сторону стараго безпринципнаго „плутовскаго“ романа *)...

Цинизмомъ общаго тона еще болѣе усугубляется тяжелый характеръ всего произведенія. Напр.:

„Совѣсть меня не зазирала ни мало; ибо я думала, что есть на свѣтѣ люди гораздо меня отважнѣе, которые и въ одну минуту надѣлаютъ больше худова, нежели я въ три дни. Стоитъ только отдать себя порокамъ, то оные завсегда будутъ казаться пріятнѣе и милѣе добродѣтели“ 1608.

„Я знала, что вѣрность любовная въ нынѣшнемъ вѣкѣ такой гость, которой, пришедши, говоритъ: „здравствуй“, и въ то же время вертится на языкѣ у него: „прощай“. Любовникъ бываетъ вѣренъ до тѣхъ только поръ, когда не видитъ еще никакой благосклонности отъ любимой имъ особы. Тогда онъ вздыхаетъ, ахаетъ, стоя передъ нею на колѣнахъ,

---

*) Съ испанскимъ романомъ „Picara Justina“, въ которомъ выведена героиня-плутовка (см. выше стр. 346) романъ Чулкова ничего общаго въ деталяхъ не имѣетъ. Съ испанскимъ романомъ ознакомился я въ нѣмецкомъ переводѣ: „Die Landstörtzerin Justina Dietzin Picara genande in deren wunderbarlichen Leben und Wandel alle List und Betrug so in jetzigen Zeit verübt und getrieben werden und wie denselbigen zu begegnen artig beschrieben durch Herrn Licentiat Franciscum di Vbeda, Frankf. a M. MDCXLVI.

притворно плачетъ и клянется вѣрностію такою, которая царствуетъ на однихъ только театрахъ... Но когда же получитъ отъ нее всіо, тогда, по слабости памяти человѣческой, позабудетъ всѣ клятвы [1609].

„...расталася съ нею безъ слезъ; ибо я не знала, что то есть на свѣтѣ благодарность, и о томъ ни отъ ково не слыхивала, а думала что безъ нее прожить на свѣтѣ возможно“ [1610].

„Я была не стоической школы, и совсѣмъ не держалася ихъ системы,—того ради требующему отъ меня снисхожденія отказать не хотѣла“ [1611].

Необходимо указать еще нѣкоторыя детали, которыя тоже сближаютъ произведеніе Чулкова съ „Жилблазомъ“ и другими подобными же произведеніями.

Такъ, комичный образъ старика, влюбленнаго въ молодую женщину, и, въ концѣ концовъ, обманутаго ею, встрѣчается въ „Жилблазѣ“ и въ „Баккалаврѣ“ [1612]; въ романѣ „Хромой бѣсъ“ есть разсказъ о томъ, какъ влюбленный старикъ, въ поискахъ своей сбѣжавшей возлюбленной, оступился, проломилъ голову и попалъ въ сумасшедшій домъ, а она, въ наказаніе за побѣгъ, посажена была въ монастырь; проникновеніе героя къ возлюбленной, живущей на содержаніи, подъ видомъ ея сестры, или брата,—встрѣчается въ „Жилблазѣ“ [1613] (подъ видомъ брата); въ „Хромомъ Бѣсѣ“ есть разсказъ о томъ, какъ юноша, увидавъ въ церкви красавицу, проникъ къ ней въ женскомъ платьѣ [1614]; у Лесажа нераз встрѣчаемъ мы карикатурные портреты современныхъ ему актеровъ и писателей,—то же вводитъ и Чулковъ, изображая „литературный салонъ“ и какого то малорослаго драматурга, выкрикивающаго свою трагедію [1615]... Наконецъ, при обрисовкѣ гостей этого „салона“, Чулковъ даетъ рядъ пестрыхъ образовъ, представляющихъ собою галлерею образовъ, хотя и карикатурныхъ, но яркихъ и выхваченныхъ изъ жизни,—пріемъ, которымъ пользовался Лесажъ въ своихъ романахъ (особенно, въ „Хромоногомъ бѣсѣ“ и „Баккалаврѣ Саламанкскомъ“), когда ему приходилось рисовать общество, или толпу [1616]...

Къ „шаблоннымъ“ образамъ, повторяющимся почти во всѣхъ романахъ „плутовскаго типа“, относится также типъ старушки-сводницы, лицемѣрки и ханжи, на видъ богобоязненной и строгой...

Отъ выше-разобранныхъ произведеній Чулкова этотъ неоконченный романъ отличается не только своимъ построеніемъ, но и сжатостью изложенія, а также объективизмомъ. Того балагурства и расплывчивости, которыя отмѣтилъ я, какъ характерныя черты разобранныхъ выше двухъ повѣстей Чулкова,—здѣсь, въ его романѣ, совершенно нѣтъ,—порою даже слишкомъ скомканнымъ и сухимъ кажется изложеніе романа...

Безучастно, иногда съ циническимъ спокойствіемъ, повѣствуетъ героиня исторію своей злосчастной жизни, и авторъ совсѣмъ не вмѣшивается въ ея разсказъ... Самыя сентенціи, которыя всѣ вложены въ уста самой героини, звучатъ эпически-безстрастно, порой, въ нихъ просвѣчиваетъ юморъ, чувствуется насмѣшка надъ собой...

Этому эпическому характеру разсказу особенно соотвѣтствуетъ широкое пользованіе русскими простонародными пословицами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда какой-нибудь эпизодъ изъ жизни разсказщицы подводилъ ее къ потребности заключить свое повѣствованіе сентенціей. Привожу, для примѣра, нѣкоторыя пословицы, встрѣчающіяся въ романѣ,—

„Шей, де, вдова широки рукава,—было бы куда класть небыльныя слова". „На красненькой цвѣточикъ и пчелка летитъ". „На что стова боли, когда дураку есть воли". „Били дубьемъ, а платили рублемъ". „Азъ не безъ глазъ,—про себя вижу". „По платью встрѣчаютъ, а по уму провожаютъ". „Кто новаго не видалъ, тотъ и поношенному радъ" 1617 и др.

Только зная гуманность чулковскаго міросозерцанія, ясно сказавшуюся въ его повѣстяхъ: „Горькая участь" и „Досадное пробужденіе" (объ этихъ произведеніяхъ см. ниже въ главѣ VIII-ой), рѣшаюсь, сквозь безстрастно-эпическій разсказъ героини, усмотрѣть гуманную основу повѣсти. „Увидитъ свѣтъ, увидѣвъ, разберетъ; а разобравъ и взвѣся мои дѣла, пускай именуетъ меня какою онъ изволитъ"—такъ начинаетъ свою исповѣдь героиня... „Отъ роду мнѣ было тогда девятнадцать лѣтъ, и для тово бѣдность моя казалася мнѣ еще несноснѣе; ибо не могла пріискать себѣ мѣста, и такъ сдѣлалась вольною по причинѣ той, что насъ ни въ какія должности не опредѣляютъ"—такъ объясняетъ она свое паденіе... Не оправдывая себя и не обвиняя другихъ, она повѣствуетъ далѣе, какъ объ ней люди стали дурно говорить, хотя она ничего дурного не сдѣлала: „шей, де, вдова широки рукава,—было бы куда класть небыльныя слова"; она была оскорблена этими незаслуженными „небыльными словами", „ударилася, было, въ слезы",—но явилась „честная старушка", которая „столько сожалѣла о ея нещастіи", что „на другой день поутру сыскала молодова статнаго человѣка" для ея увеселенія...

Мы ждали бы въ этомъ разсказѣ больше душевнаго движенія,—мы хотѣли бы, чтобы героиня сдѣлала только одинъ шагъ на встрѣчу нашему состраданію, но она этого не дѣлаетъ *), и

*) Разъ только, въ сдержанной формѣ, прорывается у нея просьба

съ безпощадной откровенностью, подчасъ даже цинизмомъ, развертываетъ она длинный свитокъ своихъ радостей и печалей... Кто виноватъ въ ея злоключеніяхъ?.. „Увидитъ свѣтъ, увидѣвъ, разберетъ, а разобравъ и взвѣся мои дѣла, пускай именуетъ меня, какою онъ изволитъ!“—говоритъ героиня... Она не скрываетъ своихъ преступленій, она ими иногда, какъ будто, тщеславится, но не скрываетъ и добрыхъ своихъ чувствъ: иногда совѣсть заговариваетъ въ ней, но она не рисуется своими добрыми чувствами,—она торопится ихъ скрыть,—

„Признаюсь, сколько я ни была безсовѣстна и сребролюбива, однако такое камердинерово усердіе къ своему господину показалось мнѣ негоднымъ“ 1619.

Наконецъ, она, послѣ ряда любовныхъ приключеній, узнаетъ настоящую любовь, но къ этому святому чувству она относится ревниво-бережно,—страницы отводя разсказамъ о своихъ плутовскихъ продѣлкахъ, она о своей настоящей любви говоритъ только слѣдующее:

„любитъ онъ меня столько же, сколько и я его,—или, можетъ быть, и меньше, въ чемъ мы съ нимъ не рядились, а полюбили другъ друга безъ всякаго торгу“ 1620 *).

„Въ семъ то случаѣ узнала я прямо, что то есть дѣйствительная страсть любовная“ 1621.

Эпическій складъ разсказа и отличіе его, въ изложеніи и пріемахъ письма, отъ стиля предшествующихъ разсказовъ Чулкова заставляетъ предполагать, не пересказалъ ли нашъ писатель дѣйствительную исповѣдь какой-нибудь падшей женщины изъ простонародья, бережно сохранивъ тонъ ея повѣствованія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, расширивъ и развивъ въ „плутовской романъ“ другія мѣста ея разсказа, усложнивъ его цѣлымъ рядомъ шаблонныхъ эпизодовъ и типичныхъ картинъ... Ниже, въ главѣ VIII-ой, мнѣ придется говорить объ автобіографіи Ваньки Каина,—сходство въ тонѣ обоихъ произведеній поразительное... Оба эти произведенія, словно, вышли изъ нѣдръ народа, и особнякомъ стоятъ въ ряду другихъ произведеній XVIII-го вѣка.

о сочувствіи: „хотя я была и не совсѣмъ изряднаго поведенія, но въ такомъ случаѣ не сомнѣваюсь, чтобы я многимъ добродѣтельнымъ людямъ показалася жалкою и достойною ихъ помощи“ 1618.

*) Ср. съ этими словами разсказъ героини о любовномъ „торгѣ“ ея съ Свѣтономъ: „первое сіе свиданіе было у насъ торгомъ, и мы ни о чемъ больше не говорили, какъ заключали контрактъ,—онъ торговалъ мои прелести, а я уступала ему оныя за приличную цѣну, и обезалися мы потомъ росписками, въ которыхъ была посредникомъ любовь“.

Только литературная обработка, внесенная въ разсказъ Чулковымъ и выразившаяся въ широкомъ и свободномъ пользованіи „общими мѣстами“ и шаблонными пріемами (напр., введеніе власти „судьбы“), характерными для авантюрнаго „плутовскаго“ романа, заставляетъ меня этотъ разсказъ отнести къ группѣ романовъ типа „Жилблазъ“.

Повѣсть И. Крылова: „*Ночь*“—очень сложна по своему литературному составу: такъ какъ она сохраняетъ нѣкоторыя характерныя черты „плутовскаго романа“ и опирается на большія заимствованія, взятыя оттуда, я отнесъ и это произведеніе къ группѣ „плутовскаго романа“.

Содержаніе этой неоконченной повѣсти слѣдующее:

Наступаетъ ночь, и автору приноситъ съ собою мысли о ничтожествѣ человѣка,—только ночью человѣкъ перестаетъ ломаться, кривляться, обманывать другихъ... Авторъ указываетъ на вельможу, который ночью спитъ и не корчитъ изъ себя гордаго сановника; указываетъ на красавицу, которая покоится, освободивъ себя отъ всѣхъ своихъ фальшивыхъ украшеній; указываетъ на франта-хвастуна, который лгалъ и ломался цѣлый день, а теперь отдыхаетъ, погрузившись въ сонъ...

Затѣмъ авторъ обращается съ патетическими возгласами къ ночи: „о, благотворная ночь! чѣмъ не обязанъ тебѣ человѣкъ, которой умѣетъ тобою пользоваться?.. Ты, прохлаждая свою природу, успокоиваешь и возрождаешь ее; ты, обнажая смертнаго, котораго гордость принуждаетъ почитать себя превыше человѣковъ, напоминаешь ему, что и онъ—такое же слабое твореніе, какихъ милліоны имъ презираемы, и что онъ отличенъ отъ другихъ людей единою своею гордостію. Ты, каждымъ своимъ пришествіемъ къ намъ, напоминаешь намъ вѣчность, бывъ сама изображеніе ея,—подобно, какъ сонъ, приносимый тобою, есть изображеніе смерти. Такъ, всякое возвращеніе твое къ смертнымъ есть наставленіе имъ, и отъ нихъ только зависитъ онымъ пользоваться... Гордый городской житель! если тебѣ случится быть ночью на великолѣпнѣйшей площади,—окинь взоромъ вокругъ себя, сравни, если ты можешь, между собой пышныя зданія твоихъ согражданъ, и покажи мнѣ, когда смѣешь, различіе между убогимъ шалашомъ и огромными чертогами гордости!... Гдѣ пышныя тѣ зданія, за нѣсколько передъ симъ часовъ удивлявшія мимохожихъ, и наружностію коихъ гордилось цѣлое государство?.. Наступила ночь—и сравняла ихъ съ шалашами убогихъ... „Смертный, вотъ — изображеніе того, какимъ образомъ вѣчность сравниваетъ честолюбивые твои подвиги съ ничтожествомъ!“...

Далѣе авторъ заносится со своими мыслями вглубь вѣковъ, говоритъ о паденіи міровыхъ монархій, объ исчезновеніи съ лица земли слѣдовъ былого блеска и величія...

Послѣ такого „серьезнаго“ и патетическаго приступа, авторъ совершенно неожиданно переходитъ къ карикатурѣ... „Вдругъ отво

рилось окно въ моей комнатѣ, и женщина лѣтъ подъ сотню, сидѣвшая на серебряной рогатой лунѣ, спустилась по воздуху ко мнѣ въ комнату... Я тотчасъ узналъ, что это—„Ночь", для того, что раза три видѣлъ ее на театрѣ въ „Амфитріонѣ", комедіи Мольера, гдѣ она точно такъ же спускается съ тою, при томъ, разницею, что тамъ ее съ небесъ спускаютъ на веревкахъ, которыя часто видны и заставляютъ нерѣдко меня трепетать, чтобъ госпожа богиня не раскроила себѣ черепъ и не убилась бы до смерти. Что до той ночи, которая посѣтила меня, то машинистъ ея, кажется, былъ исправнѣе театральнаго".

Отъ этого „чулковскаго" стиля авторъ въ дальнѣйшемъ изложеніи уже не отдѣлывается,—и балагурство, которымъ онъ наполнилъ дальнѣйшее содержаніе повѣсти, не вяжется съ торжественнымъ ея началомъ.

„Богиня ночи" разсказала автору о спорѣ олимпійцевъ касательно того, что важнѣе день, или ночь. Послѣ оживленнаго спора боги рѣшили, что Фебъ, богъ свѣта, и Ночь, богиня мрака, должны вести записки человѣческихъ дѣлъ въ теченіе года,—кому изъ нихъ придется записать меньше человѣческихъ „дурачествъ"—тотъ изъ нихъ, согласно условію, долженъ будетъ себя признать побѣжденнымъ...

И вотъ, богиня ночи явилась къ автору затѣмъ, чтобы приказать ему вести записки тѣмъ глупостямъ человѣческимъ, свидѣтелемъ которыхъ будетъ онъ ночью... Она перечисляетъ ему, для образца, тѣ случаи „дурачествъ", которыя должны быть включены въ его записки (одовисецъ, который сдираетъ за свои оды денежныя награды; красавица, вышедшая замужъ и заставляющая своего супруга, устарѣвшаго щеголя, играть при ней роль Тантала; бездарный романистъ (= намекъ на Львова), безталанный драматургъ (= намекъ на Лукина) и др.).

Послѣ этого обширнаго введенія слѣдуетъ разсказъ о приключеніяхъ, свидѣтелемъ и участникомъ которыхъ сдѣлался ночью авторъ.

Прежде всего, наткнулся онъ на двухъ молодыхъ людей, которые прилаживали лѣстницу къ веревкѣ, спущенной изъ окна верхняго жилья. Пройдя дальше, встрѣтилъ онъ двухъ женщинъ, которыя торопились домой; изъ ихъ разговора авторъ понялъ, что онѣ живутъ у француженки и при томъ, какъ разъ, въ той комнатѣ, къ окну которой прицѣплена была лѣстница,—что одна изъ бѣжавшихъ должна быть похищена въ эту ночь, и что похититель считаетъ ее честной дѣвицей, а она надуваетъ его...

Возвращаясь съ любовнаго похожденія, она должна была незамѣтно шмыгнуть въ домъ, чтобъ потомъ, подъ видомъ невинной, влюбленной дѣвушки, спуститься къ своему другу по веревочной лѣстницѣ. „Вотъ—странная прихоть!"—пронизируетъ авторъ „всходить въ третье жилье и лѣзть оттоль по веревочной лѣстницѣ къ своему любовнику тогда, какъ она сама стоитъ отъ его кареты въ десяти шагахъ. Надобно думать, что эта дѣвушка жалуетъ околичности"...

Воспользовавшись отсутствіемъ любовника, авторъ вступилъ въ разговоръ съ его кучеромъ, и, принятый имъ за барскаго лакея, отослалъ его за веревкой, давъ рубль на чай. Слѣдуя пословицѣ: „орлы дерутся, а молодцамъ перья"—авторъ рѣшился впутаться въ эту авантюру—онъ пронизируетъ, говоря, что захотѣлъ „сдѣлать доброе дѣло и спасти честь этой дѣвушки, зашедшей, что легко станется,

невинно въ сѣти, разставленныя ей плутовствомъ француженки и богатствомъ господчика, которой, съ помощью набитова кошелька, какъ Язонъ съ помощью Медеи, похищаетъ это новое руно". Затѣмъ авторъ разсказываетъ, какой оживленный діалогъ вели его сердце и разсудокъ, когда онъ колебался, что предпринять... По этому поводу авторъ дѣлаетъ отступленіе и балагуритъ опять по-чулковски, доказывая, что влюбиться можно и въ незнакомую женщину... „О! если вы не вѣрите, сударыни,—восклицаетъ онъ, то загляните только въ романы,—вы найдете тамъ тьму счастливыхъ любовниковъ, которые не видывали въ глаза другъ друга! загляните въ элегіи,—вы найдете, что поэты прежалко воспѣваютъ любовь свою къ красавицамъ, которыхъ случалось имъ видать, развѣ, во снѣ!.. Что до меня, то одинъ голосъ моей незнакомки разлилъ по моимъ жиламъ электрическій огонь, а воображеніе пріятности ночнова приключенія довершило дурачество мое сдѣлаться героемъ такова романа, въ которомъ долженъ бы я былъ играть эпизодическое лицо „мужа"... Правда, совѣсть мени упрекала, что срываю съ вилки у ближнева кусокъ, сонѣмъ мнѣ непринадлежащей; но кто въ семъ свѣтѣ работаетъ на себя?"... Далѣе авторъ перечисляетъ длинный рядъ такихъ труженниковъ „не для себя"... Затѣмъ авторъ сперва подслушиваетъ разговоръ барина со слугою, ожидающихъ изъ окна условнаго знака, а затѣмъ убѣждаетъ сторожа съѣсть, вмѣсто ушедшаго кучера, на козлы кареты, чтобы отвезти похищенную красавицу къ нему на квартиру, какъ только она сядетъ съ нимъ въ экипажъ... Чета любовниковъ, ничего не подозрѣвая, подошла къ каретѣ; не найдя своего кучера на козлахъ, похититель отправился искать его, авторъ-же нашелся со своимъ кучеромъ и, неузнанный красавицей, усѣлся къ ней въ карету и повезъ ее къ себѣ.

Авторъ завязываетъ въ каретѣ разговоръ съ похищенной, и узнаетъ въ ней не барышню, а давно извѣстную ему горничную Машу... Она разсказываетъ ему свои плутовскія похожденія: сперва она служила прислугой; потомъ, когда барышня сбѣжала съ офицеромъ, похитивъ у своихъ родителей много денегъ и драгоцѣнностей, она вошла въ соглашеніе съ француженкой-гувернанткой, подготовившей этотъ побѣгъ,—и, вмѣстѣ съ нею, обокрала барышню и офицера... „Мы оставили влюбленную эту чету безъ денегъ и безъ вещей, на попеченіе судьбы, питаться одной взаимною страстью, и уѣхали въ здѣшней городъ, гдѣ моя учительница завела французскую модную лавку на счетъ моей барышни; а какъ ей нельзя было отъ меня отвязаться, не опасаясь отъ меня мщенія, то я, по необходимости, сдѣлалась первою ея подругою, и мы съ ней торговали пополамъ очень удачно". Маша разсказывала автору много тайнъ французскихъ модныхъ лавокъ... Наконецъ, карета остановилась у дома, гдѣ жилъ авторъ; онъ выскочилъ, и хотѣлъ, было, уже извлечь изъ кареты свою Машу, какъ вдругъ кто-то крикнулъ кучеру новый адресъ,—и карета умчалась съ Машей, авторъ-же оказался въ рукахъ „мочнаго повѣсы", который его поджидалъ и повелъ его въ какой-то домъ... Его приводятъ въ комнату и предупреждаютъ, чтобы онъ не шумѣлъ, не кашлялъ, не говорилъ громко, чтобы не разбудить барина, спавшаго въ сосѣдней комнатѣ. Авторъ—въ полномъ недоумѣніи по поводу всего случившагося и начинаетъ думать, что онъ самъ

попалъ въ ловушку въ то время, какъ хотѣлъ подловить другого... „Если все это приключеніе“, прошепталъ я, вздохнувши, „кончится на моихъ бокахъ, то надобно отдать мнѣ справедливость, что я самымъ искуснымъ образомъ придрался къ случаю быть побитымъ“.

Явилась въ комнату какая-то дама, и стала автора называть именемъ того франта, который собирался похищать Машу и въ чьей каретѣ уѣхалъ съ Машей авторъ. Дама стала страстно объясниться ему въ любви... „Она своими мягкими и нѣжными руками сжимала крѣпко мои руки; и чувствовалъ, что слабое трепетаніе отнимало всѣ ея силы; она оперлась на меня и, конечно, не сдержала бы себя на ногахъ, еслибъ я не поддержалъ ее, обхватя тонкой и стройной станъ ея моими руками; сердце ея билось изо всей силы, и мое отвѣчало ему подобнымъ трепетаньемъ; пламенная грудь ея, то опускаяся, то воздымаясь до моихъ устъ, изображала смущенное состояніе ея души; мое воображеніе довершало начертывать совершенства сей женщины, коея прелестями восхищался я по одному осязанію. Я не знаю, какимъ образомъ то сдѣлалось, горящія уста наши сплелись, и, кажется, другъ у друга занимали дыханіе,—оно перерывалось безпорядочными вздохами“.

„Мы уже дышали другъ другомъ, но все еще, казалось, нѣчто насъ раздѣляло: сердца наши, отвѣчая другъ другу согласнымъ трепетаніемъ, составляли одно сердце, которое разливало по нашимъ жиламъ одинъ огонь и одинакія чувствованія... „Постой, что хочешь ты начать?“ —сказала мнѣ смущенная незнакомка. Никогда любопытство женщины не было болѣе не кстати, какъ въ сей разъ.—„Ахъ, сударыня!“— шепталъ я ей тихонько: „развѣ не знаете вы мою страстную любовь“... „Повѣса!“ отвѣчала она мнѣ: „ты все такъ же запрометчивъ и вѣтренъ; или позабылъ ты, что въ сосѣдней комнатѣ спитъ мой мужъ, которому можетъ легко показаться подозрительнымъ наше свиданіе“... и т. д. Она сказала, что сердится на него за его измѣну, и сказала, что увидятся съ нимъ въ слѣдующую ночь въ маскарадѣ, при чемъ указала ему, въ какомъ костюмѣ будетъ она сама, и въ какомъ долженъ быть онъ. О мужѣ своемъ она отозвалась съ пренебреженіемъ, какъ о человѣкѣ, который занятъ свѣтомъ и не имѣетъ времени „заниматься трудною должностью—присматривать за вѣрностью жены“. Автора выпроводили на улицу, и онъ отправился, уже на зарѣ, спать домой.

На слѣдующую ночь онъ былъ въ маскарадѣ въ условленномъ костюмѣ. Глядя на пеструю толпу замаскированныхъ, авторъ восклицаетъ: „какое поле для сатирика, которой прилѣпляется ко всякому случаю побранить людей!.. Горацій, Ювеналъ и ты, Боало! я бы желалъ воскресить васъ на два часа и дать вамъ билетъ въ нашъ маскарадъ!.. Тамъ бы увидѣли вы верченую щеголиху, привлекающую за собою толпу волокитъ; вы бы увидѣли, какъ выставляетъ она свою тоненькую ножку, подбѣленныя ручки; какъ возбуждаетъ во всѣхъ любопытство узнать ее,—и не смѣетъ снять свою маску для того, что она лучше ея лица... Въ другомъ мѣстѣ попался бы вамъ искусной плутъ, которой подъ пріятною личиною, надѣясь не быть узнанъ, несетъ карты,—сей „ножикъ разбойниковъ высокаго свѣта“—и хочетъ погубить бѣднова простачка, виноватова только тѣмъ, что онъ, по легковѣрію своему, почитаетъ ево честнымъ человѣкомъ“ и т. д.

Но авторъ признается, что на этотъ разъ онъ не обращалъ вниманія на „дурачества“ людей,—онъ искалъ своей незнакомки въ томъ офицерскомъ костюмѣ, который хотѣла она надѣть... Вдругъ автора остановила одна маска, одѣтая „дьяволомъ“; она назвала автора по имени, привязалась къ нему и никакъ не хотѣла отъ него отстать... Авторъ досадовалъ, выражалъ свое нетерпѣніе, но долго не могъ освободиться отъ этой надоѣдливой маски. Наконецъ, онъ освободился отъ „дьявола“, увидалъ свою незнакомку и бросился къ ней. Она была въ смущеніи, такъ какъ ее предупредили, что мужъ ея здѣсь на маскарадѣ, и слѣдитъ за ней. Авторъ пошелъ съ нею; „дьяволъ“ опять увязался за ними... Наконецъ, авторъ увелъ маску къ себѣ на квартиру. Но на квартирѣ ихъ ждалъ уже „дьяволъ“, на этотъ разъ безъ маски... Незнакомка была въ ужасѣ, когда увидала, что попала на квартиру не къ своему любовнику, а къ чужому, незнакомому человѣку, и притомъ въ обществе своего мужа... Тѣмъ не менѣе, она все не сдается, и рекомендуется „дьяволу“ его „зятемъ“,—братомъ его жены, пріѣхавшимъ изъ арміи... Тотъ дѣлаетъ видъ, что вѣритъ этой выдумкѣ, и выражаетъ притворное удивленіе, до какой степени можетъ быть братъ похожъ на сестру... „Чортъ возьми—говоритъ онъ—ты такъ похожъ на твою сестру, что я бы въ состояніи былъ надѣлать великихъ дурачествъ, если-бы, къ чести нашева и нашева дома, не зналъ, что это—вторая Лукреція“.—Послѣ тово они зачали крѣпко обниматься и строить другъ другу тысячи привѣтствій... „О, женщины!“ говорилъ я тихонько, „чье перо въ состояніи, хоти слабо, списывать всѣ тѣ обманы, которые пылкое воображеніе намъ изобрѣтаетъ въ минуту!“... Разговоръ между обманутымъ мужемъ и женой, одѣтой въ офицерскій мундиръ, продолжается долго. Мужъ сначала приглашаетъ „зятя“ къ себѣ на квартиру, потомъ выражаетъ желаніе пріѣхать къ нему. Жена всячески выворачивается, хитритъ, но, какъ ни пытается ускользнуть отъ мужа, оказывается принужденной въ его каретѣ ѣхать къ нему,—все, однако, подъ видомъ „брата“ его жены...

Авторъ остается одинъ; онъ—въ отчаяньи, что всѣ его ночныя предпріятія кончаются неудачей. И вотъ, съ горя, онъ рѣшается лишить себя жизни... Чтобы сдѣлать это спокойнѣе, онъ раздѣлся, надѣлъ колпакъ, легъ въ постелю, взялъ, вмѣсто ножа, одохватову оду и только что наставилъ ее на „глаза“, какъ зрѣніе его померкло, руки опустились, ноги протянулись—и онъ захрапѣлъ въ одну минуту...

Таково это шуточное произведеніе, которое къ „плутовскому“ роману примыкаетъ не своимъ построеніемъ, а міросозерцаніемъ автора,—жизнь человѣческая кажется ему сплошною цѣпью „дурачествъ“... Такъ смотрѣлъ на жизнь Лесажъ, когда „Хромой бѣсъ“ передъ героемъ романа раскрывалъ крыши домовъ,—и картины человѣческой пошлости, одна за другой, проносились передъ его глазами... На такой же точкѣ зрѣнія стоялъ и Нугаретъ, который въ цѣломъ рядѣ живыхъ, яркихъ очерковъ нарисовалъ картину „тысячи и одного дурачества“ человѣческаго...

Только ознакомившись со всѣмъ произведеніемъ Крылова, убѣждаемся мы, что торжественный приступъ къ повѣсти (восхва-

леніе ночи) былъ лишь мистификаціей читателя,—пародіей на тѣ „гимны ночи", что́ были воспѣты извѣстнымъ Юнгомъ... Ночь ничѣмъ не отличается отъ дня, — человѣкъ и ночью такъ же пошлъ и ничтоженъ, какъ днемъ, — къ такому выводу, кажется, хочетъ привести своего читателя Крыловъ.

Лесажевскій „Хромой бѣсъ" выбралъ для наблюденія человѣческой жизни именно „ночь", когда человѣкъ откровеннѣе и въ мысляхъ, и въ дѣлахъ. Крыловъ, въ этомъ отношеніи, слѣдуетъ ему...

Вообще, съ сочиненіями Лесажа (особенно съ его романомъ: „Хромой бѣсъ") въ произведеніи Крылова можно и въ деталяхъ найти немало общаго. Подобно французскому романисту, Крыловъ дважды рисуетъ „галлерею" типовъ,—живыхъ, яркихъ, хотя и, несомнѣнно, карикатурныхъ [1622]...

Образъ красавицы, которая ночью снимаетъ свои искусственныя красоты, нарисованъ Крыловымъ очень сходно съ такимъ же образомъ, изображеннымъ у Лесажа [1623]. Похищеніе дѣвицы, любовныя сцены около окна возлюбленной,—все это—общія мѣста всѣхъ подобныхъ романовъ,—самая „веревочная лѣстница" отзывается, конечно, больше испанскими нравами, чѣмъ петербургскими...

Критическое положеніе героя, пришедшаго на тайное свиданіе, когда въ сосѣдней комнатѣ спитъ мужъ—очень напоминаетъ аналогичную картину въ „Жилблазѣ" [1624].

Образъ похищенной дѣвицы, совершающей различныя мошенничества и продѣлки, принадлежитъ къ числу тѣхъ „плутовскихъ типовъ", съ которыми мы тоже хорошо знакомы по произведеніямъ Лесажа и другимъ подобнымъ, — одинаково-безграничная жизнерадостность, и безсовѣстность роднитъ всѣ эти сходные образы...

Постоянныя попытки захватить ѣдкимъ, рѣзкимъ словомъ какого-нибудь современника (у Крылова писателей)—тоже напоминаетъ этотъ излюбленный пріемъ Лесажа [1625].

Наконецъ, Крылова съ нимъ сближаетъ стремленіе травестировать античную миѳологію. Привожу, для примѣра, отрывокъ изъ разговоровъ, которые, по словамъ автора, происходили на Олимпѣ и которые послужили „завязкой" для всей его повѣсти:

„Мало ли у насъ есть боговъ-тунеядцевъ, которые не заслуживаютъ ни фунта телятины, а пользуются такими жертвами, что могутъ жить богатѣе всякаго, между тѣмъ, какъ они дѣлаютъ народу больше зла, нежели добра?.. Нашъ хозяинъ, самъ, хотя не иное что, какъ шутъ на Олимпѣ, но онъ за свое ремесло получаетъ больше доходу, нежели всѣ академіи имѣютъ! Скажи мнѣ, какую пользу приноситъ Бахусъ?—Весь Олимпъ думаетъ, что онъ не тратитъ времени, кото-

рос проходитъ только въ томъ, что онъ—или пьетъ, или сочиняетъ негодныя пѣсенки...“ [1626].

„Надобно отдать справедливость Ночи“—сказала съ презрительною улыбкою Юнона, что она—очень полезная богиня для невѣрныхъ мужей и непостоянныхъ женъ“... Тутъ Юпитеръ засвисталъ пѣсенку изъ новой оперы, а Венера, улыбаясь, поглядывала на Марса“ [1627].

По тону своему, произведеніе Крылова очень походитъ на повѣсти Чулкова,—Крыловъ, подобно ему, любитъ балагурить и острить *) (см. примѣры выше), часто вводитъ народныя пословицы (напр.,—„орлы дерутся, а молодцамъ перья“), вульгарные обороты рѣчи („собирать съ проѣзжихъ оброкъ“) [1628] и др.

Характерной особенностью этого произведенія надо признать также живость рѣчи, особенно разговорной,—что особенно сказалось въ діалогахъ. Напр.,—

„Иванъ! не ко мнѣ ли ты?—спрашивалъ онъ меня—„Къ тебѣ“—отвѣчалъ я. „Что дѣлаетъ баринъ?“—„Баринъ еще долженъ дрогнуть съ часъ на морозѣ.—лѣстница коротка, и онъ приказалъ тебѣ бѣжать домой, принести другую переночную лѣстницу и нѣсколько веревокъ, чѣмъ можно было привязать ее къ первой, а мнѣ велѣлъ посмотрѣть за каретой“.—„Чортъ возьми всѣ любовныя приключенія!“—ворчалъ кучеръ, слѣзая съ козелъ: „этова мало, что я съ часъ дрогъ для негодной француженки, которую бы промѣнялъ я теперь за полный стаканъ вина, надобно еще, чтобы я околесилъ версты три!“—„Ты правъ“, отвѣчалъ я, „но какъ же быть? Надобно дѣлать, что велятъ... А чтобы тебѣ не такъ скучно было, то возьми этотъ рубль,—ты можешь за пиво на дорогѣ отогрѣться,—мы еще успѣемъ...“ [1630].

„...Едва ударили по лошадямъ, какъ моя скромница зачала хохотать во все горло. Голосъ ея показался мнѣ знакомымъ. „Чему ты такъ хохочешь, душа моя?“—спрашивалъ я ее. „О! это ужесть смѣшно!“—кричала она, „когда я воображаю, какъ разсердится старая моя мадамъ Плутанивиль, не нашедъ меня въ моей комнатѣ!.. Скажи мнѣ, мой ангелъ, не щегольски ли мы ее провели?“—„Боже мой! это ты—Маша?“—вскричалъ я. „Ахъ! Міробродъ!.. Негодной!.. Какимъ страннымъ случаемъ?..“ [1631].

„...Въ ту минуту подошелъ къ нему одинъ человѣкъ. „Ну, Сидорычъ“, сказалъ онъ моему новому знакомцу, „долго ли намъ дрогнуть?.. Мои товарищи, восемь человѣкъ,—всѣ отъ морозу зубы повыколотили, и намъ бы теперь не худо руки погрѣть“... „Подите домой, братцы“,—отвѣчалъ дворникъ; „вы мнѣ болѣе не надобны“...—„Какъ не надобны?.. Развѣ не станутъ въ нынѣшнюю ночь...“ [1632].

„...Никакъ нельзя, прощай!“—„Прощай, любезной Міробродъ!.. Э,

---

*) Вслѣдъ за Чулковымъ, высмѣиваетъ Крыловъ и героическій авантюрный романъ: „Любовь къ незнакомой женщинѣ, которую никогда не видывалъ ты въ глаза?..“—„О! если вы вѣрите, сударыня, то загляните только въ романы,—вы найдете тамъ тьму страстныхъ любовниковъ, которые не видывали въ глаза другъ друга“ [1628].

постой! я позабылъ тебѣ сказать новость: вѣдь у меня нынѣ есть прекрасная аглинская карета"...—„О, что мнѣ нужды, безотвязчивой человѣкъ!..“ „Да знаешь ли, какъ я ее досталь?“—„За деньги...“—„Это правда, да деньги то почему?“—„Потому, что ты сдѣлань судьею“—„А судьею то я отчено?“—„Отъ таво, что ты—женился... Негодной человѣкъ! да отвяжешься ли ты?“—„Ха, ха, ха!.. такъ ты все знаешь; такъ простижъ“... И я, уже ни слова не отвѣчая, бросился отъ нево къ своей доминѣ (= домино), предавая проклятію всѣхъ досадчиковъ въ свѣтѣ“ [1633]...

Нельзя не признать, что такіе живые діалоги, введенные въ романъ,—большое художественное завоеваніе. Идя по стопамъ Чулкова, Крыловъ приблизился уже къ творчеству XIX-го вѣка, когда психика героевъ раскрывалась, главнымъ образомъ, изъ ихъ дѣяній и рѣчей; авторъ, прежде стоявшій на первомъ мѣстѣ съ его указкой, съ его нравоученіями, толкованіями и патетическими восклицаніями, все больше уходилъ теперь отъ читателя,—картина жизни, нарисованная въ произведеніи, говорила сама за себя *)...

Если произведеніе Крылова и не можетъ быть названо „романомъ“, тѣмъ не менѣе, оно приближается къ этому жанру своимъ авантюрнымъ построеніемъ,—цѣлый рядъ „qui pro quo“ является здѣсь слѣдствіемъ игры капризной судьбы-случая, — и герои, по прежнему, не властны еще надъ своей жизнью.

Вотъ почему „судьба“-„случай“ еще сохраняютъ въ этомъ произведеніи свое прежнее значеніе. Напр.,—

„...ты увидишь, захотѣла-ли судьба оправдать это радостное восклицаніе!“ [1634].

„...судьба нарочно для того подсунула мнѣ подъ носъ любопное приключеніе, чтобы послѣ надо мной подшутить“ [1635].

Изъ всего вышеуказаннаго видно, что это произведеніе Крылова, подобно повѣстямъ Чулкова, лишь отчасти примыкаетъ къ типу „плутовскаго“ романа,—оттуда взяты основное міросозерцаніе, типы героевъ, авантюры, нѣкоторые эпизоды; но разработано все это заимствованное „по своему“,—и Крыловъ, и Чулковъ вносятъ псевдо-автобіографическій характеръ въ изложеніе, дѣлаютъ себя героями разсказа; изложеніе они окрашиваютъ яркимъ субъективизмомъ, выразившимся у нихъ не въ видѣ „naïoca“, а въ видѣ балагурства и остротъ...

---

*) Гораздо рѣже пользуется Крыловъ старыми пріемами (монологомъ, разсужденіями вслухъ „въ самомъ себѣ“, разсказомъ самихъ героевъ о состояніи ихъ души).

4.

Выше (стр. 360—379) я отмѣтилъ характерную особенность романовъ Прево,—ихъ серединное положеніе между „героическимъ“ романомъ и „плутовскимъ“,—съ первымъ сближаетъ ихъ тожество построенія и идеализмъ настроенія,—со вторымъ наклонность къ реализму въ изображеніи дѣйствительной жизни. Формулы героическаго романа приложилъ Прево къ фабулѣ, эпизоды которой взяты имъ изъ жизни его времени, даже изъ его личной... Такимъ образомъ, точное опредѣленіе романическаго матеріала въ географическомъ, историческомъ и даже автобіографическомъ (романъ пріобрѣтаетъ типъ „мемуаровъ“) отношеніяхъ,—характерная черта романовъ Прево. Колоритъ меланхоліи и разочарованія, наброшенный Прево на повѣствованіе своихъ героевъ, утомленныхъ жизнью,—тоже характерная черта его произведеній...

Романъ О. Эмина: *„Непостоянная Фортуна, или похожденія Мирамонда“* [136] потому долженъ быть отнесенъ къ разряду псевдоклассическихъ романовъ типа Прево, что, построенный по старой схемѣ греческаго авантюрнаго романа, онъ, подобно „Приключеніямъ Маркиза Г**“, носитъ характеръ „записокъ“ (весь романъ—разсказъ Феридата), изображаетъ жизнь, современную автору, и, въ то же время, относится къ разряду произведеній нравоучительныхъ.

Содержаніе романа слѣдующее:

Часть I. Мирамонтъ, юноша примѣрный, хорошо-образованный, турокъ родомъ, ѣдетъ путешествовать заграницу, чтобы знаніемъ чужой жизни и чужого просвѣщенія обогатить свое сердце и разумъ. Корабль, на которомъ плылъ М., во время бури разбился, и герой на обломкѣ носится по морю; спасенный экипажемъ одного корабля, онъ попадаетъ въ рабство. Здѣсь онъ дружится съ невольникомъ Ферилатомъ и часто философствуетъ съ нимъ о жизни и смыслѣ ея. Англійскій купецъ, плѣненный его умомъ, выкупаетъ его изъ рабства и везетъ въ Англію. Марокскій корабль захватываетъ англійскій въ плѣнъ, и М. опять оказывается въ рабствѣ. Здѣсь онъ исполняетъ обязанности кофишенка, и, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, спасается бѣгствомъ.

„Какія гоненія онъ, проходя сею землею, претерпѣвалъ, того описать ни какое перо обстоятельно не можетъ!.. Не было такой деревни, въ которой бы его не били тѣ варвары!“ восклицаетъ разсказчикъ. Чтобы спасти себя отъ гибели и рабства, но дорогѣ ему пришлось даже выдать себя за внука одного магометанскаго святого!.. Послѣ долгихъ странствій онъ попадаетъ въ португальскую колонію; оттуда ѣдетъ въ Португалію, но бурею его заноситъ въ Испанію. На охотѣ здѣсь онъ

спасъ одну знатную дѣвицу изъ рукъ бандита, который хотѣлъ ее изнасиловать. Служанка этой спасенной дѣвицы хотѣла женить его на себѣ, но онъ хитростью спасся отъ нея на англійскомъ кораблѣ. Изъ Испаніи М. ѣдетъ въ Лондонъ, затѣмъ въ Александрію. Въ Египтѣ М. поступаетъ на службу къ султану и, служа ему, отличается доблестью въ сраженіяхъ.

„Мирамондова храбрость тогда всѣхъ чаяніе превосходила". „Непріятели сами болѣе его мужеству дивились, нежели сопротивлялись". Одержавъ въ одномъ сраженіи побѣду, М. былъ раненъ. Онъ, страдая отъ ранъ, лежитъ недалеко отъ комнаты Зюмбюли, дочери бея. Однажды она вошла къ нему во время его сна, желая посмотрѣть на спящаго героя. Увидѣвъ его, „сразу почувствовала она въ сердцѣ своемъ нѣкакое движеніе, которому, по внутреннему своему смущенію, и сама причины сыскать не могла".

„О, Небо!" возопила она, „есть-ли закрытые глаза такъ пріятнымъ мнѣ ево показываютъ, то что будетъ, какъ оныя отворятся?". Слѣдуетъ рядъ восклицаній по адресу къ устамъ и рукамъ Мирамонда. „О, любезныя руки"—(посмотря на одну руку Мирамондову, въ крови обагренную), возопила З. „Вамъ бы еще должно въ садахъ флоры расцвѣтающія срывать румяныя розы и невинныя лиліи, но какая жестокая судьба вамъ опредѣлила въ столь нѣжномъ, разцвѣтающемъ возрастѣ, столь великую оружія поднимать тягость!" и пр. М. просыпается, и въ удивленіи взираетъ на невѣдомую красавицу.

„Потомъ, нѣсколько опамятовавшись, вскричалъ: „О! ты, Нимфа, или Богиня, которая, проникнувъ божественною своею тонкостью твердость стены, глазамъ моимъ представляешся! удостой меня объявленіемъ твоего имяни, чтобъ я могъ узнать, кому столь много долженствую! Не ты ли та Минерва, которая молодому юношеству, къ геройству склонность имѣющему, предводителемъ и учителемъ бываешь?" И онъ хотѣлъ, было, передъ ней, какъ передъ богиней, „преклонить свое колено". Узнавъ, что предъ нимъ—дочь Султана, „онъ почтительно встаетъ, опираясь на трость, и говоритъ ей слѣдующее: „прибытіе ваше, которое чрезвычайную мнѣ, было, принесло радость, при невѣдѣніи моемъ, какъ я съ вами имѣлъ честь разговаривать, въ ужасной приводитъ сердце мое трепетъ, когда узнаваю, что дверь государя моего раба своего посѣщаетъ". Онъ убѣждаетъ ее уйти, такъ какъ имъ неприлично оставаться наединѣ.

Зюмбюли признается ему въ любви, и упрекаетъ его за жестокость его сердца.

Она говоритъ съ нимъ, взволнованная, „пополамъ со слезами растворенымъ голосомъ"... Онъ пытается убѣдить ее, что они не имѣютъ права любить другъ друга: „неравенство нашего состоянія, которое любви великою преполою бываетъ, и оказанные мнѣ родителемъ вашимъ, а моимъ государемъ, благодѣянія,—суть главными въ любви нашей преткновеніями. Сами пѣломудріемъ вашимъ разсудить изволите, что изъ нашей любви произойти можетъ, ежели не порочное, о чемъ мнѣ и подумать страшно, слѣдствіе!"

„Ахъ, государыня моя!" продолжалъ онъ, „умилосердитесь надо мною, имѣйте сожалѣніе и объ собственной вашей чести,—утушите

новое сіе пламя, которое нѣчто иное, какъ мое несчастіе и наша слабость, въ сердцѣ нашемъ распаляетъ"...

„Немилосердой!" возопила Зюмбюля, „смѣешь ли въ томъ моемъ состояніи любовь мою мнѣ въ слабость приписывать? развѣ я нерьвая на свѣтѣ любить начала?".. Затѣмъ, въ доказательство того, что любовь всесильна и бороться съ ней трудно, она приводитъ примѣры любви изъ греческой исторіи. Потомъ она ушла.

Эти рѣчи юной султанской дочери повергли Мирамонда въ раздумье,—онъ сталъ жалѣть, что обидѣлъ дѣвицу своимъ отказомъ. Потомъ, полный волненія, онъ сталъ „жаловаться" на судьбу и боговъ... „О, лютыя Небеса" возопилъ онъ, „ужли то вы меня отъ человѣческой отринули натуры, и несчастнымъ извергомъ на семъ свѣтѣ мнѣ быть опредѣлили?". Затѣмъ онъ самъ себѣ доказываетъ, примѣрами изъ міра животныхъ, что любовь всѣмъ свойственна.

Наконецъ, М. поправился. Между тѣмъ, Султанъ рѣшилъ отдать свою дочь замужъ. Узнавъ объ этомъ и рѣшивъ, что З. выходитъ замужъ по любви, М. только теперь почувствовалъ, что онъ самъ въ нее сильно влюбленъ; онъ впадаетъ въ отчаянье и „вопитъ" длиннѣйшій монологъ.—Конецъ этого монолога:

„...Люблю, воздыхаю, сѣтую,—и въ тяжкой утопаю горести, а боль моя мнѣ весьма пріятна, и, ежелибъ она уменьшилась, какимъ нибудь образомъ, то бы лѣкарство досаднѣе мнѣ было болѣзни!"

„О! несчастная любовь, коль непонятное твое свойство!.. Какія ты въ себѣ заключаешь противности!.. О, Небо! бывало-ли когда подобное моему мученіе?.. Когда любили меня, и того не зналъ, а какъ узналъ, то болѣе любить не стали,—и такъ я самъ несчастія моего причиною!"

Онъ приготовляется идти на бракосочетаніе возлюбленной и наряжается въ богатые уборы, „единственно для того, что сего политика требовала",—но „сердце его въ нищетское и въ мѣлкія части изодранное было одѣто платье".

По дорогѣ, отъ волненія и тряски экипажа, у него раскрылись раны, и онъ упалъ въ обморокъ. Его положили въ комнату опять около спальни Зюмбюли. Придя въ себя, онъ хочетъ заколоться и „вопитъ": „О, обожаемая Принцесса! гдѣ теперь находишься? ты къ торжественному браку въ сіе время охотно... О, Боже! воображеніе сего мысль мою тревожитъ!.. Твой слухъ и сердце, Аполлоною теперь услаждается лирою, а я, злосчастной, въ горчайшихъ утопаю жалостяхъ... „Ахъ! что же мнѣ по толь жестокой жизни?.. Смерть мнѣ нынѣ стократно пріятнѣе!.. О! ты, Богини моей присутствіемъ освященное, мѣсто!" посмотрѣвъ кругомъ на свою комнату, возопилъ Мирамондъ. „Вы, нѣмыя стѣны! Будьте свидѣтелями вѣчнаго моего несчастія; ты, бѣдною моею кровью обагренной полъ! есть-ли, когда-нибудь сюда придетъ Зюмбюля родителя своего посѣтить, скажи ей, что ты несчастнаго ея любителя кровью напоена!.. Прости, жизни и смерти моей обладательница!.. Падаю на колѣна предъ обожаемымъ мною твоимъ портретомъ, которой я въ мыслихъ и въ сердцѣ моемъ всегда изображенъ ношу" и т. д. Вдругъ внезапно является З. и вырываетъ у него изъ рукъ кинжалъ. Оказывается, свадьба была не ея, а сестры ея. Проис-

ходитъ объясненіе. Мир. у ногъ ея „обязался присягою, что во всю жизнь свою другой, кромѣ ея, любить не станетъ, и что любовь его единственно къ тому стремится, чтобы не нарушить своей должности и не повредить ее чести“.

З. проситъ у отца разрѣшенія выйти замужъ за Мирамонда, но тотъ отказываетъ. З. падаетъ въ обморокъ. Османъ упрекаетъ Мирамонда, который, возражая своему повелителю, между прочимъ, говоритъ:

„...Я въ рабскомъ моемъ тѣлѣ имѣю великую душу, и, ежели бы справедливость природами управляла, то лучшаго бы она были достойна произшествія!“... Чтобы устранить Мирамонда, Османъ посылаетъ его въ королевство Жирійское, съ порученіемъ убѣдить тамошнюю королеву Белилю выйти замужъ за его сына, обѣщавъ Мирамонду за удачно выполненное порученіе руку Зюмбюли. Мир.—въ восторгѣ... „Не токмо въ Жирійское королевство, но и въ подземельныя горизонты ради Зюмбюли ѣхать не отрекусь!“ — восклицаетъ онъ, окрыленный радужными надеждами...

Прощаясь другъ съ другомъ, любовники обмѣниваются восторженными, патетическими рѣчами и, наконецъ, падаютъ въ обморокъ... Стоя у борта корабля, уносящаго его отъ береговъ Египта. М., глядя на „обширныя Нептуновы поля“, волнуется. Прощаясь съ Египтомъ, онъ „пустилъ на волю сердечныя сѣтованія“ и „вопилъ“ къ вѣтрамъ: „о, вы, сильныя натуры дыханія!“ и пр., прося ихъ покровительства...

Послѣ долгихъ блужданій по морю, Мир. попалъ, наконецъ, въ Жирійскую страну. Въ одномъ городѣ онъ застаетъ приготовленія къ казни (слѣдуетъ вводный эпизодъ — реалистическая новелла объ одномъ „звѣздочетѣ“, который обманно завладѣлъ губернаторской дочкой: чтобы создать въ сердцѣ дѣвицы подходящее настроеніе, онъ подсунулъ ей любовный романъ и затѣмъ, отъ имени невѣдомаго короля, прислалъ ей любовное письмо, которое совсѣмъ растрогало дѣвицу, довело ее до слезъ... Она „почувствовала въ себѣ нѣкоторую слабость и уныніе“ и убѣжала съ невѣдомымъ „королемъ“). По пути къ столицу Мирамонда чуть не съѣли львы, — онъ спасся только тѣмъ, что влѣзъ въ сундукъ и тамъ заперся. Львы съѣли лошадей и извощика, но съ сундукомъ не справились...

Королева Белиля на бракъ съ сыномъ султана согласилась, но потребовала, чтобы Мир. командовалъ ея войсками въ той войнѣ, которую она вела. Это возбудило злобу къ Мирамонду со стороны прежняго ея главнокомандующаго,—онъ устроилъ бунтъ, но Мир. усмирилъ этотъ бунтъ и успокоилъ королеву. Она была больна и приняла его, лежа въ кроватн...

Описаніе ея. Мир. „увидѣлъ ее еще лежащую на постѣли, по грудь только покрываломъ покрытую, отъ которой даже до волосовъ, алебастру подобное, ея тѣло видно было. По недавномъ пробужденіи отъ сна потъ на гладкомъ ея лице еще не скрылся. Длинные черные волосы нѣжную тѣнь лицу ея дѣлали такъ, что живой венеры портретъ въ ней показывала натура“. Белиля хочетъ, чтобы М. сѣлъ, но онъ отказывается это сдѣлалъ изъ почтенія къ ней, королевѣ.

Белиля влюбилась въ Мирамонда, и предложила ему жениться на ней. М. смущенъ, и хочетъ уйти; ему представилась его Зюмбюля

Передъ уходомъ онъ почтительно поцѣловалъ руку Белили. „Но въ то самое время несчастная Белили жестокой любви почувствовала електризацію. Изъ Мирамондовыхъ устъ вышедшей любьви пламень такъ скоро пролетѣлъ къ ея сердцу, коему сообщила рука такъ сильный жаръ, которымъ Мирамондовы губы ее заразили, что вдругъ вздрогнула Белили“... Она упрекаетъ его за то, что онъ хочетъ уйти. Мир. открылъ ей, что сердце его несвободно. Белили внѣ себя отъ волненія,—ее мучитъ заразъ любовь, негодованіе на него и стыдъ за себя... Разгнѣванная за то, что онъ ей предпочитаетъ другую, З. пришла въ ярость „и такъ сожглась ея столь нѣжная любовь, изъ которой такъ жестокая осталась выжига (?)...“ „Застѣнала душа ея внутренными страстями, къ отомщенію за презрѣнную любовь привлекаемая“. Она стала всячески упрекать его: называя его, напр., такъ:—„О, лютаго сложенія человѣкъ!“... Потомъ она стала угрожать ему мстью, но Мир. оставался твердъ и неумолимъ: тогда Б. впала въ „лютость“.—Она рѣшилась наказать его, прикрывъ свою злобу „смѣхомъ и ухищренною веселостью“. Потомъ она оклеветала его передъ придворными въ желаніи ее убить за то сопротивленіе, которое она, яко-бы, оказала его страсти. М. былъ посаженъ въ тюрьму, а къ Осману послано было письмо, съ указаніемъ проницностей его посла. Между тѣмъ, Б. ходитъ въ тюрьму къ Мирамонду и умоляетъ у него любви, хотя бы не надолго. Но М. остается вѣренъ своей Зюмбюлѣ. „Не могъ Мир. на тѣ любовныя капитуляціи, постоянству своему вредительныя, согласиться“.

Онъ называетъ Белюю въ одномъ своемъ письмѣ „тиранскаго сложенія женщиной“, онъ выражаетъ сомнѣніе въ ея любви... „Вижу я, что ты такъ меня любишь, какъ мясникъ жирную овцу“—заявляетъ онъ и пр.

Онъ заявляетъ, что, ради Зюмбюли, терпѣть все можно,—„всѣ муки будутъ сносны и пріятны“. „Невинная моя смерть, милые ей, будетъ, нежели жизнь беззаконная!“—восклицаетъ онъ, и Белиля, внѣ себя, „ломала свои руки, рвала на себѣ платье, и проклинала свою злость и любовь“...

Однажды Белиля поручила писцу написать, отъ имени Мирамонда, на ея имя любовное письмо, при чемъ почеркъ его былъ искусно поддѣланъ. („Въ Жиріи писцы такъ подъ чужую руку умѣютъ потрафить“—замѣчаетъ авторъ). Она это письмо переслала въ Египетъ къ Осману, въ доказательство того, что М. домогался ея любви. Между тѣмъ, М., сидя въ тюрьмѣ, тосковалъ: „свѣтъ ему тогда быть казался мрачнымъ жилищемъ несчастныхъ“.

И вотъ, М., „лишившись своего благополучія, началъ умствовать, и благородными разсужденіями уменьшать свою горѣсть“.

Часть II. Письмо, присланное Белилею, въ Египтѣ произвело ужасное впечатлѣніе на Зюмбюлю. Османъ шлетъ новаго свата къ Белилѣ; этотъ сватъ оказывается Фердатомъ, прежнимъ товарищемъ Мирамонда по рабству.

Между тѣмъ, въ это время на государство Белили напали враги,—она освобождаетъ Мирамонда изъ темницы, и вручаетъ ему командованіе.

„Добродѣтель никогда втунѣ не остается“—умствуетъ разсказчикъ,—„для того добродѣтельнымъ людямъ въ утесненіяхъ отчаи-

ваться не должно, потому что они, какъ золото въ огнѣ, прочищаются и, наконецъ, знатнѣйшими, нежели какъ были прежде, становятся".

„Хотя бы весь свѣтъ на добродѣтельнаго человѣка возсталъ, и лишилъ его всего имѣнія, однако, добродѣтель его при немъ останется". „Всевышняя власть добродѣтели не позабываетъ".

Непріятели пытаются подкупить Мирамонда; они увѣряютъ его, что и войну они начали, чтобы отомстить за него: но М. заявляетъ, что онъ великодушно простилъ Белилю. М. побѣждаетъ, и благодарная Б. оправдываетъ его передъ народомъ, „всѣ свои проныства подробно разсказавъ". Затѣмъ она написала объяснительное письмо къ Осману и отпустила Мирамонда въ Египетъ. Новый посланникъ Османа Феридатъ по дорогѣ встрѣтилъ М. больнымъ. Видя своего друга, лежащимъ безъ сознанія, Феридатъ прослезился,—„ибо такое позорище безъ сердечнаго смущенія никому зрѣть нельзя",—и проѣхалъ дальше, оставивъ ему письмо Зюмбюли.

Мирамондъ долго лежалъ больной,—онъ не былъ въ состояніи узнавать людей „чрезъ великую ослабу, которая въ то время всѣхъ чувствій его лишила... Не могъ онъ ниже глазъ своихъ отворить, которыя текущая изъ оныхъ густая мокрота запечатала".

Потомъ онъ поправился; на досугѣ онъ размышляетъ о тлѣнности земнаго и о томъ, что не надо быть славолюбивымъ; и, въ результатѣ такихъ размышленій, онъ въ своемъ сердцѣ, которое все было „тщеславіемъ и любовью занято, далъ мѣсто повиновеніямъ Всевышней власти".

Прочитавъ оставленное ему Феридатомъ письмо Зюмбюли, наполненное упреками въ невѣрности, М. упалъ въ обморокъ, а затѣмъ произнесъ патетическій монологъ, взывая къ „непостоянной фортунѣ", „немилосердому року"...

Между тѣмъ, Ф. вернулся въ Египетъ и обрадовалъ Османа вѣстью, что Белиля готова идти замужъ за его сына; З. взволнована послѣднимъ письмомъ Белюли, въ которомъ раскрыта невинность Мирамонда. Она упрекаетъ себя за излишнюю суровость по отношенію къ такому вѣрному любовнику,—падаетъ въ обморокъ, потомъ „вопитъ"...

Между тѣмъ, М., окончательно поправившись, приближается къ Египту; по дорогѣ онъ встрѣчаетъ четырехъ человѣкъ, бьющихся на кулачкахъ. Слѣдуютъ разсказы этихъ четырехъ бойцовъ, которые всѣ несчастны благодаря своимъ женамъ, и дерутся послѣ горячаго спора о томъ, кто изъ нихъ несчастнѣе... Ихъ разсказы, жалобы на женъ, представляютъ собою новеллы реалистическаго характера о проныствѣ женщинъ. Всѣ четверо ругаютъ женщинъ, но М. съ ними не согласенъ: онъ заявляетъ имъ: „несчастіе ваше изъ одного вытекаетъ источника, потому что ни одинъ изъ васъ добродѣтельной жены не имѣлъ".

М. пріѣзжаетъ въ Египетъ, и боится показаться на глаза Зюмбюли; онъ шлетъ ей письмо, которое начинается словами: „судьбинѣ то свойственно, чтобъ несчастныхъ всегда гнать"... Конечнобъ никакими гоненіями, ни строжайшими томленіями не поколебала она моей терпѣливости"... Затѣмъ онъ спрашиваетъ, долженъ-ли онъ уѣхать, и вообще проявляетъ полное смиреніе; робко увѣряетъ ее въ своей невинности; включаетъ горестныя восклицанія: „Не прошу я васъ болѣе, о, жизни

моей обладательница!—чтобъ вы умершую любовь, которая давно уже въ злосчастномъ погребенія забвенія, воскресили, зная, что того, кого небо, воздухъ, земля, море и натура возненавидѣли,—вамъ любить нельзя!"

З., получивъ это письмо, обрадовалась. Слѣдуетъ описаніе ея волненія. Она пишетъ Мирамонду письмо. Османъ устраиваетъ ему торжественную встрѣчу.

М. „вопитъ въ восторгѣ: полно мнѣ болѣе на судьбину жаловаться!" Слѣдуетъ разсказъ Феридата объ его жизни.

Онъ—турокъ родомъ, чужестранецъ. Учитель рано пробудилъ къ намъ волненія любви, которая особенно овладѣла имъ подъ вліяніемъ романовъ. Однажды Ф., увидя въ окнѣ губернаторскую дочь Нарциссу, влюбился въ нее. Учитель его помогаетъ ему, переодѣвъ его въ женское платье, проникнуть въ сераль губернатора; по совѣту учителя, онъ крадетъ деньги у родителей и поселяется въ комнатахъ Нарциссы, въ качествѣ ея подруги-дѣвицы. Съ этого времени онъ сдѣлался „игралищемъ фортуны".

Онъ цѣлый годъ прожилъ въ обществѣ возлюбленной, не открывая ей своего пола; и все время наслаждался онъ лишь радостями чистой любви.

Однажды вдвоемъ они читали любовную книгу—„и какъ золото на камнѣ, такъ изъ чтенія подобныхъ исторій, любовь собственность свою показываетъ". Ф., подъ вліяніемъ книги, сталъ такъ волноваться, что рѣшилъ отравиться сулемой; онъ приготовилъ отраву и признался въ любви Нарциссѣ.

Признаніе его было робкое, почтительное... Н. сперва изумилась, потомъ „впала въ лютѣйшую ярость", и стала его ругать. Ф. умоляетъ ее о пощадѣ и прощеніи, потомъ въ отчаяніи выпиваетъ ядъ, и произноситъ прощальную рѣчь: „прощай, о, жизни моей обладательница! прощай, государыня моя!.. вина уже наказана! прости, о, богиня моя, ту сердца моего дерзость, что тебя жестокою назвать осмѣлился!.. О, солнце, сердце мое до сего времени осіявающее! нынѣ оному наступила вѣчная ночь,—но увидитъ она уже болѣе лучей твоихъ пріятностей!.. Свѣти тому, кто свѣта твоего достоинъ, и кому тебя опредѣлило Небо, когда меня завистной рокъ на вѣки съ тобой разлучаетъ!"

Видя скромность Феридата, Нарцисса смягчилась, вспомнивъ объ его поведеніи („и, цѣлый годъ съ ней проживъ, и на одной почти постѣлѣ спавъ, столь честно и скромно обходился съ нею, имѣя случай повредить ея честь"), она „стала почитать его за любви своей достойнаго".

Затѣмъ Ф., по совѣту Нарциссы, возвращается къ родителямъ, которые и просятъ для него ея руки.

Въ это время отецъ Феридата пожалованъ былъ чиномъ генерала. Губернаторъ согласился на свадьбу, но отложилъ ее. Феридата вызываютъ въ Костантинополь, и онъ, радостный, отправляется туда, не подозрѣвая, что тамъ ждетъ его горе,—что „судьбина на нѣжной хребетъ его тяжкую налагала цѣпь"... Въ Константинополѣ Феридата сдѣлали полковникомъ, и отправили на войну. Онъ попалъ въ плѣнъ, и былъ проданъ въ рабство въ Персію.

Изъ Персіи онъ бѣжалъ, попалъ въ руки къ „чернымъ Кюртамъ"; ими онъ былъ проданъ людоѣдамъ, у которыхъ былъ обычай кормить

человѣческимъ мясомъ безплодныхъ женщинъ. Ф. избѣгъ смерти, давъ совѣтъ женѣ своего стараго хозяина сойтись съ однимъ молодцомъ, и хозяйка скоро отъ безплодія излечилась. Въ Ферндата окончательно влюбилась здѣшняя княжна, и стала его требовать ночью въ свою спальню. Ф. увѣрилъ ее, что онъ—скопецъ, и довѣрчивая черная красавица потушила огонь въ своемъ сердцѣ.

Благодаря такимъ хитростямъ, Ф. освободился и, добравшись до моря, отправился въ Лондонъ; оттуда онъ поѣхалъ въ Константинополь. Между тѣмъ, здѣсь все перемѣнилось,—родители его были въ немилости, обѣднѣли и жили въ богадѣльнѣ. Нарцисса собиралась уже выходить замужъ за бывшаго учителя Ферндатова, который ее соблазнилъ, пробравшись къ ней въ женскомъ платьѣ; отъ него она забеременѣла. На упреки Ферндата въ невѣрности, Нарцисса отвѣтила ему такимъ разсужденіемъ о женщинахъ:

„Женщина есть удивительное созданіе на свѣтѣ, о которомъ вы, мужчины, мало понятія имѣете. Мы людей въ свѣтъ производимъ, а сами „людьми“ называться не можемъ! Если которая наша сестра сыщется добродѣтельна, это тому приписать должно, что она не имѣла способнаго случая добродѣтель свою опорочить!“

Послѣ всевозможныхъ упрековъ по ея адресу, Ферндатъ, доведя ее до „обморока“, убиваетъ ея соблазнителя, и уѣзжаетъ въ Тунисъ. По пути его корабль захваченъ былъ пирацкими галерами, и Ф. попадаетъ въ Римъ, въ качествѣ раба. Затѣмъ онъ ѣдетъ съ господиномъ своимъ во Флоренцію, Венецію,—вездѣ знакомится съ жизнью и нравами. По пути онъ ловитъ іезуита, который хотѣлъ, было, обокрасть его барина. (Слѣдуетъ вводный разсказъ, въ которомъ развитъ ходячій сюжетъ о „безутѣшной вдовѣ“, которая тронула одного гвардейца своимъ горемъ на могилѣ своего мужа и вышла замужъ за него). Государь, „увидя прозорливость его господина, пожаловалъ его адмираломъ, но онъ потерпѣлъ въ сраженіи неудачу, лишенъ былъ чина, и имѣлъ еще несчастье увидѣть, что его главный врагъ, интриганъ вице-адмиралъ, находится въ связи съ его женой; прогнанный вѣроломной женой, онъ, со злости, убилъ своего, ни въ чемъ неповиннаго, слугу, а потомъ и самого вице-адмирала...

Ф. попадаетъ изъ Италіи въ Вѣну, Варшаву, Краковъ, оттуда въ Дрезденъ, Парижъ и затѣмъ обратно въ Римъ. Затѣмъ онъ бѣжитъ изъ рабства, попадаетъ на островъ Мальту, гдѣ опять оказывается рабомъ; оттуда судьба заноситъ его опять въ Лондонъ: здѣсь мы застаемъ его въ роли „учителя“.

Въ Лондонѣ онъ влюбляется въ одну генеральшу, но побѣждаетъ свою любовь и удаляется отъ возлюбленной... Она, какъ истая англичанка, была чиста и добродѣтельна,—„наиприятнѣйшая ея была забава либо читать нравоучительныя книги, либо шить въ пяльцахъ“. Она весьма рѣдко смѣялась, и, хотя когда-нибудь, бывало, улыбнется, то лице ея показывало, что сія усмѣшка насильственна, и не происходила отъ сердечнаго удовольствія“. „Ф., любя сію госпожу, одними только добродѣтельными мыслями наслаждался“. Здѣсь, въ Лондонѣ, Ф. заболѣлъ и принялъ крещеніе; потомъ онъ поѣхалъ въ Палестину; попалъ опять въ рабство къ пиратамъ, и былъ проданъ ими въ Египетъ.

Часть III. Въ Египтѣ Мирамонду былъ устроенъ самый торжественный пріемъ. Зюмбюля радостно встрѣтила его,—она—„въ радостномъ восторгѣ выбѣжала изъ покоевъ, и на верхнемъ степени крыльца, схватила Мирамонда нѣжными своими руками, обнимая шею его, думая, что и счастіе ее на самомъ верьхнемъ степени своего желанія обрѣталося... Но ни онъ, ни она ни слова выговорить не могли; какъ безмолвные, одними только взорами и обращеніями печальныхъ ресницъ, прошедшее одинъ другому сказывали".

Уже начались, было, приготовленія къ свадьбѣ Мирамонда и Зюмбюли, какъ къ ней сталъ свататься одинъ изъ сильныхъ беевъ—Гуссейнъ, грозя, въ случаѣ отказа, войною. Гус. прибѣгъ даже къ помощи лжепророка Селима, который возстановилъ противъ Мирамонда не только Османа, но и саму Зюмбюлю. Она—„всю свою ярость, кою имѣла къ нему въ то время, какъ Белиля его письменно обвиняла, паки возобновила, и начала его ненавидѣть".

Тѣмъ не менѣе, она желала съ нимъ объясниться. Зюмбюля хотѣла его увидѣть, „чтобъ упрекнуть его". Между тѣмъ, Мирамондъ ничего не подозрѣвалъ. Однажды онъ поѣхалъ въ баню, а оттуда пріѣхалъ „угорѣвшій". Хитрый Селимъ ввелъ въ заблужденіе Мирамонда, и заставилъ его броситься съ саблей на сына Османа и убить его. Слѣдуетъ умствованіе разсказчика: „Вотъ тебѣ радость, Мирамондъ!.. никогда человѣку щастіемъ своимъ возноситься не должно!"

Османъ съ горя заболѣлъ. Зюмбюля и Феридатъ должны судить Мирамонда.

Происходитъ судъ. Мирамондъ произноситъ жалостную рѣчь. Онъ извиняется передъ Зюмбюлей, стараясь ее разжалобить: „О, суровая дочь такъ нѣжной матери!.. Когда то бывало, чтобы кроткая овца лютаго родила медвѣдя! но, вижу, что натура во всемъ потеряла право..." и пр. Зюмбюля волнуется, „колеблется"... „Опредѣленіе" суда было слѣдующее: „чтобы Мирамондъ жилъ и умиралъ". Его отправляютъ въ ссылку. На прощанье, Ф. велитъ ему уповать и оставаться вѣрнымъ и постояннымъ. Мирамондъ, слушая Феридата, удивляется его благородству и мудрости и, подъ вліяніемъ своего почтенія къ нему, принимаетъ православіе.

Мирамондъ живетъ въ уединеніи,—онъ возненавидѣлъ свѣтъ, поселился въ пещерѣ и повелъ здѣсь жизнь философа-отшельника. Между тѣмъ, Селимъ, умирая, раскрылъ всѣ свои козни противъ Мирамонда и призналъ его невинность. Зюмбюля шлетъ Феридата за Мирамондомъ, но тотъ его нигдѣ не находитъ. Зюмбюля въ отчаяньи падаетъ въ „обморокъ" и „вопитъ", наконецъ, обрекаетъ себя на уединеніе, рѣшившись не выходить изъ комнаты: теперь „все ее упражненіе состояло въ чтеніи трагическихъ книгъ, несчастію ея сходственныхъ".

Гуссейнъ сватается. Османъ отказываетъ ему. Г. объявляетъ войну, но въ его княжествѣ бунтуетъ народъ, и онъ откладываетъ походъ.

Между тѣмъ, Мирамондъ все живетъ въ пещерѣ. Описаніе природы: „шумъ кустарниковъ и пріятное журчаніе водъ, изъ источниковъ, протекающихъ при оной пещерѣ, смутное и печальное глазамъ его представляли зрѣлище". Мирамондъ ведетъ спокойную жизнь; рѣдко выходитъ одинъ „изъ берлоги своей"; онъ уже началъ, было, позабывать

о свѣтѣ, „котораго суеты водяному пузырю подобны". Мирамондъ философствуетъ о сладости уединенія, расхваливаетъ пустыню, но желаетъ жить среди людей. Люди, философствуетъ онъ, несчастны съ дѣтства. Вся жизнь—сплошное несчастье и пр.

Однажды Мирамондъ увидѣлъ старика, который вслухъ упрекалъ фортуну, его гонящую, и ругалъ уединеніе, которое не даетъ ему возможности работать для другихъ. Онъ говоритъ о несчастіи людей, живущихъ въ пустынѣ. Мирамондъ подошелъ къ нему. Старикъ оказался тоже пустынникомъ; у него въ пещерѣ живетъ какая то старая женщина и дѣвица.

(Слѣдуетъ разсказъ старика. Онъ бѣжалъ отъ людей потому, что одинъ изъ Мусырскихъ вельможъ хотѣлъ взять въ наложницы его дочь). Агата, дочь старика, производитъ большое впечатлѣніе на Мирамонда.

Въ обществѣ своихъ новыхъ знакомцевъ М. проводитъ время, играетъ съ ними „въ пикетъ" и пр. Между тѣмъ, Агата влюбилась въ Мирамонда. М. упрекаетъ „судьбу" за это новое знакомство. Чувствуя симпатію къ Агатѣ, онъ обвиняетъ себя въ невѣрности и, полный недоумѣнія,—„сердце свое допрашивалъ" о причинѣ того сочувствія, которое такъ неожиданно появилось у него къ Агатѣ.

М. „тогда сдѣлалъ убѣжище къ метафизикѣ, допрашивая ее, не знаетъ ли она,—нѣтъ ли въ человѣкѣ такой свойственной страсти, которой бы онъ, по разнымъ изслѣдованіямъ сердечныхъ и мысленныхъ обращеній, узнать не могъ?". Наконецъ, онъ приходитъ къ выводу, что его таинственное влеченіе „есть натуральное предчувствованіе будущаго".

Такимъ образомъ, М. тоже влюбился въ Агату, но онъ чувствовалъ, что „любовь его была необыкновенна и имѣла въ себѣ нѣчто непонятное". Между тѣмъ, Агата совсѣмъ увлеклась имъ, — она „вонитъ", жалуясь на злой рокъ. Однажды Агата и Мир. бесѣдовали вдвоемъ. Агата объявила свою любовь Мирамонду, — „хотя въ иныхъ мѣстахъ то за слабость почитаютъ, чтобъ, другъ друга полюбивши, въ скорости страсть свою объявить, однако сія политика къ Африканскимъ сердцамъ не касается"—оговаривается разсказчикъ. М. тоже признается ей въ своихъ чувствахъ. Агата упрашиваетъ его жениться на ней и забыть Зюмбюлю, но М. отвѣчаетъ, что любитъ ее, Агату, особенною, непонятною любовью, и отъ одной мысли о бракѣ съ нею—„кровь въ его жилахъ замерзать начинаетъ". Поэтому онъ отказывается отъ брака. Агата уходитъ. М. укоряетъ „жестокій рокъ". Агата хочетъ зарѣзаться. М. ее удерживаетъ и утѣшаетъ. Видя, что она хочетъ лишить себя жизни, М. обѣщаетъ удовлетворить ея желаніе. Потомъ онъ пошелъ въ свою пещеру, жалуясь на судьбу и упрекая себя въ невѣрности.

Слѣдуетъ рядъ его воззваній: „о, пещера, о, вы, горы и лѣса!" и пр. Онъ призываетъ ихъ въ свидѣтели своей невинности, взываетъ къ Зюмбюлѣ, наконецъ, рѣшается убить себя... Старикъ-пустынникъ заталъ его въ слезахъ, и М. открылъ ему и свое намѣреніе, и свою исторію, и свое имя...

Оказалось, старикъ — его дядя. Агата же — родная сестра Мирамонда. Старикъ разсказываетъ ему исторію любви его отца, разска-

зываетъ о томъ, какъ ихъ, Мирамонда, и Агату, еще въ дѣтствѣ разлучили, какъ пропалъ онъ, Мирамондъ...

Вдругъ явились люди, которые, оказывается, искали дядю и сестру Мирамонда. М. разлучается съ родственниками, потомъ находитъ ихъ, когда ихъ силою куда то ведутъ неизвѣстные люди. М. въ длинной рѣчи требуетъ ихъ освобожденія. Одинъ изъ тащившихъ узналъ въ немъ „славнаго Мусырскаго богатыря Мирамонда",—и дядя его съ сестрой были отпущены. М. поселился съ ними въ двухъ пещерахъ и по прежнему повелъ уединенную счастливую жизнь.

Однажды М. сидѣлъ въ лѣсу; къ нему подъѣхалъ знатный старикъ. М. упрекаетъ его, что онъ нарушаетъ его уединеніе. Старикъ, узнавъ, что его имя—Мирамондъ, заключаетъ его въ объятія и везетъ его съ собой.

Оказалось, старикъ слышалъ о подвигахъ Мирамонда, проникся къ нему уваженіемъ, и потому захотѣлъ сдѣлать его своимъ наслѣдникомъ. М. упрямится, зная „непостоянство фортуны"... Старикъ упоминаетъ о Зюмбюлѣ. М. узнаетъ, что его невинность доказана. Узнавъ о войнѣ Гуссейна и Османа, М. рѣшилъ ѣхать на помощь Осману. М. показалъ старику дядю и сестру. Они тоже ѣдутъ съ ними. М. дѣлается наслѣдникомъ старика. (Слѣдуетъ вводный разсказъ. Старикъ разсказываетъ ему свои приключенія. Между прочимъ, повѣствуетъ о томъ, какъ „въ юности онъ всѣ деньги въ скоромъ времени просвѣсталъ", но былъ прощенъ и получилъ въ наслѣдство цѣлое государство. Наставленій Мирамонду старецъ, однако, читать никакихъ не хочетъ, зная что Мирамонда „учить нечего, ибо его совершенство почти всей Азіи извѣстно"). М. идетъ съ войскомъ на помощь Осману; по дорогѣ встрѣчается онъ съ юнымъ пустынникомъ, который также оказывается жертвой „превратной фортуны". (Слѣдуетъ вводный разсказъ этого пустынника юноши, Комбайскаго Индѣйскаго принца, тоже большого философа).

Этотъ принцъ отшельникъ влюбляется въ Агату, и проситъ ея руки у Мирамонда въ такой рѣчи:

„Дозвольте мнѣ Камбайскій престолъ повергнуть подъ ея ноги, ежели еще она въ супружество не опредѣлена... А если уже вы обладательницу мою другому назначили, то осудите меня на вѣчное несчастіе, или лишите меня жизни несносной!" и пр. Принцъ не хочетъ невольнаго супружества и желаетъ заслужить любовь Агаты. М. разговариваетъ по этому поводу съ сестрой. Ее засталъ онъ задумчивой—и „съ усмѣшкой спрашивалъ, не влюбилась ли она"... Потомъ М. разсказалъ ей о принцѣ. Агата, „послѣ его разсказа подлинную склонность почувствовала". Съ ней принцъ Камбайскій объясняется такимъ образомъ: „Скажите мнѣ, государыня, отбросьте всю политику на сторону, ежели вамъ мое посѣщеніе причиняетъ уныніе, и если сердцу моему быть на вѣки несчастнымъ осуждено, то я пойду паки въ темные зароюсь норы,—буду оплакивать несчастіе мое и громогласнымъ голосомъ кричать не престану, что, нашедъ мое благополучіе, лишился онаго на вѣки!".

Агата согласилась на бракъ, и принцъ написалъ письмо своему отцу, съ просьбой о разрѣшеніи; но принцъ заболѣлъ оспой, которая

испортила ему все лицо. Принцъ моментально потерялъ всѣ надежды на счастье и сталъ готовиться къ смерти, жалуясь на непостоянство судьбы.

Его опасенія сбылись,—едва Агата увидѣла его обезображенное лицо—„ея вся прежняя любовь пришла въ замѣшательство". Философствованія принца не привели ни къ чему,—и Агата стала думать, какъ бы ей отдѣлаться отъ рябого принца.

Одну изъ своихъ приближенныхъ придворныхъ дамъ она проситъ опорочить ее передъ принцемъ, чтобы отъ него отказаться.

„Скажи ему, что у меня весьма изъ рота воняетъ, чего Индѣйцы болѣе моровой язвы опасаются!". Но принца и это не пронило,—онъ упорствуетъ въ своемъ желаніи жениться, и, видя неуспѣхъ, рѣшается на самоубійство.

Между тѣмъ, М. отличается на ратномъ полѣ; онъ побѣждаетъ Гуссейна, но Гуссейнъ, держа въ плѣну Османа, грозитъ, что убьетъ его, если не пришлютъ къ нему Зюмбюлю". Горе Зюмбюли; она рѣшилась остаться съ Мирамондомъ, но онъ уговариваетъ ее выйти замужъ за Гуссейна и спасти отца.

Зюмбюля согласилась, но стала мучиться.

„Тогда представлялся мыслямъ ея М., отчаянно страждущій, руки свои ломающій, по всему свѣту съ распущенными волосами скитающійся, „бѣда, бѣда!"—кричащій, несчастную свою долю проклинающій, въ отчаяніе приходящій и жизни своей собственною своею рукою страшную кончину приносящій"...

Она взяла съ собой кинжалъ отца и поѣхала къ Гуссейну. Когда она подъѣхала ко двору, Османъ, сидящій въ тюрьмѣ, увидя дочь, укоряетъ ее. Гуссейнъ является, тащитъ ее къ себѣ. М. былъ въ такомъ отчаяньи,—„что и на часахъ стоящіе Гуссейновы Мамелюки, объ немъ сожалѣя, испускали слезы изъ очей своихъ". Онъ въ отчаяньи просилъ всѣхъ, около себя стоящихъ, дабы его пронзили сердце, но никто на такое страшное дѣло не дерзнулъ".

Вдругъ его солдаты, узнавъ о случившемся, вбѣжали во дворецъ Гассейна, и всѣхъ тамъ перерубили. Зюмбюля собственноручно заколола Гуссейна. Между тѣмъ, ничего не зная о происходящемъ, М. выпилъ яду, произнесъ длинный монологъ и ожидалъ конца... Явилась Зюмбюля и Османъ. Зюмбюля въ отчаяньи. М. вылеченъ; онъ обращаетъ въ православіе Османа и его дочь. (Слѣдуетъ вводный разсказъ Османа о томъ, какъ въ юности онъ претерпѣлъ немало горя отъ одного іезуита, который помогъ ему украсть христіанку Парасковію, потомъ самъ ею завладѣлъ, а его бросилъ въ море; свидѣвшись потомъ съ Парасковіей, Османъ видѣлъ ея страданія... „Любезная моя Парасковія,—разсказывалъ Османъ,—со стыду ли, отъ того происходящаго, что принуждена была продерзкаго своего хищника повиноваться насилованьямъ, или отъ непривычки къ морскому воздуху, два дни только въ Александріи проживши, скончалась").

Происходитъ свадьба Мирамонда и Зюмбюли. Мирамондъ сдѣлался султаномъ и „показалъ вселенной, что постоянная терпѣливость побѣждаетъ всѣ сего свѣта гоненія и непостоянной фортунѣ вѣчное приноситъ порабощеніе"... Ферндатъ, „искренно любя Мирамонда, не могъ

не любить его сестры", а потому на ней женился, но она скоро умерла. Ф. поѣхалъ въ Іерусалимъ, оттуда въ Адріанополь и, „паки оставя отечество, по пространной пучинѣ подсолнечной странствовать пустился, препоручивъ жизнь свою вѣтрамъ, волнамъ и превратному счастію,—и у всѣхъ тѣхъ немилосердныхъ стихій кончины своей домогался. Но всѣми произшедшими и произойти имѣющими дѣйствіями управляющая власть привела его въ царство пріятностей и правовѣрія, гдѣ слава и добродѣтель въ одномъ храмѣ жительство имѣютъ".

Слѣдуютъ аллегорическое описаніе Россіи и восхваленія Екатерины, которая представлена Палладой.

Таково содержаніе этого романа. Уже изъ одного пересказа видно, что схема его совершенно совпадаетъ съ той, которая лежитъ въ основѣ греческаго и псевдоклассическаго авантюрнаго романа. „Общія мѣста" этого романа тоже повторяются у Эмина (бури, кораблекрушенія, морскіе разбойники, многократное рабство, переодѣванья женщинъ въ мужское платье, или мужчинъ—въ женское, подложныя письма, клевета, разлуки, узнаніе, скитанія изъ конца свѣта въ другой). Въ полной силѣ сохранилось въ романѣ и то неопредѣленное отношеніе къ „судьбѣ" и „небесамъ", которое знакомо намъ по романамъ псевдоклассическимъ. Любопытно, что нѣтъ другого русскаго произведенія, въ которомъ бы такъ часто, какъ здѣсь, упоминалась „судьба",—ни въ одномъ фатализмъ не былъ такимъ глубокимъ, какъ здѣсь: порою кажется, что у Эмина это—не только литературный пріемъ, а основа его міросозерцанія, быть можетъ, сложившагося, какъ результатъ его собственныхъ житейскихъ авантюръ:

„Фортуна весьма непостоянна, говоритъ одинъ изъ его героевъ,—никогда знатнымъ людямъ не надобно презирать бедныхъ,—ибо никто знать того не можетъ, что съ нимъ завтра случится, и что тотъ, на котораго мы съ негодованіемъ смотримъ, современемъ большимъ насъ человѣкомъ не будетъ, которому, если мы какую нибудь здѣлаемъ обиду, то и онъ взаимнымъ же намъ способомъ соотвѣтствовать будетъ. Мы что кому на семъ свѣтѣ ни дѣлаемъ, все то щитается въ долгъ, и хотя векселя и не получаемъ, однако, какія огорченія отъ насъ кто заимствуетъ, ежели ему допуститъ случай, онъ, конечно, такими же, да еще и съ процентомъ, долгъ свой заплатитъ".

„Нѣтъ столько силъ у завистной благополучію моему судьбины, которыми бы она постоянство мое поколебать могла" 1637.

„...въ томъ пути еще фортуна ему простила, не карая его никакими злоключеніями, свѣтозрителямъ приличными" 1638.

„Непостоянная фортуна на изломанной ѣздитъ колесницѣ,—и такъ угадать не можно, на которую сторону она опрокинется" 1639.

„Озлобленный рокъ съ нами замириться желаетъ" 1640.

„...другія, по многихъ гоненіяхъ фортуны и по претерпѣніи многочисленныхъ судьбины ударовъ, по среди своихъ желаній погибаютъ" 1641.

...по столь многихъ непостоянной фортуны гоненій прибылъ, наконецъ, Мирамондъ" 1642.

...пойду туда, куда поведетъ меня судьбина" 1643.

...опасаюсь, чтобъ злая судьбина изъ рукъ моихъ тебя не похитила" 1644.

„Небесамъ уже его гонить наскучило" 1645.

„О! лютыя Небеса!"—возопилъ онъ, ужли то вы меня отъ человѣческой отринули натуры и несчастнымъ извергомъ на семъ свѣтѣ мнѣ быть опредѣлили?" 1646

Въ концѣ повѣсти, авторъ, повидимому, сначала проводитъ точку зрѣнія чисто-фаталистическую, а затѣмъ жизнь человѣка связываетъ съ волей Бога и заканчиваетъ проповѣдью „свободы личности".

„Прошу и увѣщеваю тебя,—имѣй сожалѣніе о бѣдныхъ, ибо предвидѣть того не можешъ, что завтре съ тобой статься можетъ: мы всѣ перемѣнамъ подвержены, постоянности ни вчемъ нѣтъ... И если сегодня нашъ ближній утопаетъ въ бѣдствіи, то завтра и мы оному подлежать можемъ,—ни достоинство, ни богатство никого отъ злощастія искупить не можетъ,—всѣ мы у судьбины равны. И хотя и всякому желаю совершеннаго благополучія, однако, самъ разсуди, благосклонный читатель, могутъ-ли человѣческія благосклонныя желанія перемѣнить опредѣленія Всевышней Власти?.. И такъ самъ собою старайся заслужить себѣ благополучіе, а о томъ не забывай, что, коль трудно сухощавому быть толстымъ, толь легко толстому похудѣть" 1647.

Еще рѣшительнѣе идея свободы личности выражена въ слѣдующихъ словахъ:

„...показалъ вселенной, что постоянная терпѣливость побѣждаетъ всѣ сего свѣта гоненія и непостоянной фортунѣ вѣчно приноситъ порабощеніе" 1648.

Въ другихъ отношеніяхъ, романъ этотъ тоже близокъ къ шаблонамъ псевдоклассическаго романа. Авторъ, напримѣръ, какъ и его предшественники, ясно обнаруживаетъ свои психологическіе интересы, всегда дѣлая экскурсіи въ область наблюденій надъ жизнью человѣческой души. Пріемы, которыми онъ пользуется при этомъ, остаются тѣ же—

Чаще всего онъ самъ указываетъ на то, что происходитъ въ душѣ его героевъ. Напр.—

„...почувствовала она въ сердцѣ своемъ нѣкакое движеніе, которому, по внутреннему своему смущенію, и сама причины сыскать не могла" 1649.

„...безнадежная ея любовь въ жестокую ненависть перемѣнилась" 1650.

„...Произнесенныя Зюмбюлею послѣднія слова такое въ сердцѣ его возбудили смущеніе, что онъ не зналъ, какъ о минувшемъ подумать" 1651.

Нерѣдко герой самъ раскрываетъ свою душу въ длинныхъ

патетическихъ монологахъ, письмахъ, или такихъ же разсужденіяхъ вслухъ съ самимъ собою („самъ въ себѣ"). Напр.—

„О, немилосердые Небеса!" вскричалъ онъ томнымъ и трепещущимъ голосомъ, „для тоголь вы меня изъ моего вывели отечества, изъ дому дражайшихъ моихъ родителей, изъ плодоносной и здоровымъ воздухомъ одаренной земли, чтобъ меня въ быстрошумящихъ погрузить волнахъ?.. Рокъ меня на вѣки съ тобою разлучаетъ! смертельная бездна, чтобъ пожрать меня, алчный свой разверзаетъ зевъ" 1652...

„Ахъ, варваръ", томнымъ въ то время я закричала голосомъ: „ты ли дражайшаго моего супруга смерти причиною?.. О, небо! развѣ справедливость свою потеряло, что еще сего злодѣи жизнь на свѣтѣ сохраняешь!.. Ахъ, дражайшій мой мужъ!" 1653 и пр.

„...о, лютаго сложенія человѣкъ!" возопила она, „доколѣ я должна такъ жестокія удары претерпѣвать?" 1654 и пр.

„о! воздаяніе, заслуги мои превосходящее! за странствованіе въ Жирійскую землю, Зюмбюлю получишь въ награжденіе!.. О! щедрота, мѣру и справедливость превозвышающая!" и пр.

„О, страшной, немилосердной рокъ, чемъ тебя успокоить можно? Какое несчастіе человѣческое зложаждущій твой зевъ насытить можетъ, ежели ты злополучіями моими, коими вселенная наполнена, недоволенъ?" 1655..

„О, нещастливое человѣчества свойство! какимъ несноснымъ ты нынѣ подвержено правамъ! быть грѣшнымъ не надобно, а безгрѣшнымъ едва человѣку быть можно,—первое правамъ справедливости противно, а другое съ человѣческою натурою несогласно... „О, натура! натура! любимое человѣчества отечество! сколько въ тебѣ нынѣ измѣнниковъ, маетности твои разоряющихъ, находится! права твои совсѣмъ опровергнуты,—потеряла ты свое естество, потеряла и власть" 1656.

Привожу также начало письма:

„О, чудо натуры! о, удивленіе свѣта! о, пріятность, которая всѣ сего свѣта пріятности превосходишь!.. Прими сіе письмо, отъ несчастнаго Скамандра посланное, который слезными своими рѣками обмыть твои руки крайнее желаніе имѣетъ!" и т. д.

Онъ „вопитъ" обращаясь къ „вѣтрамъ", морю и землѣ, когда покидалъ берега Египта:

„О вы! сильныя натуры дыханія!" воззывалъ, „вы, порывистые вѣтры". и пр.

Иногда дѣйствующія лица просто разсказываютъ о состояніи своей души—

„...посмотрѣла я ему въ глаза, въ которыхъ человѣческую внутренность временемъ увидѣть можно; въ тѣхъ я усмотрѣла нѣчто, меня къ себѣ привлекающее,—и такъ сіе мнѣ болѣе досадно не стало" 1657...

„...Я лутше бы желала умереть, или сама себя убить, нежели отдаться въ объятіи того, который сдѣлался убійцей моего мужа" 1658.

Иногда повышенное состояніе души героевъ выражается „об-

мороками", „слезами", внезапной блѣдностью, попытками самоубійства [1659]...

Наконецъ, авторъ часто объясняетъ „психику" героевъ изъ общихъ разсужденій. Напр.—

„Человѣкъ тогда больше тужитъ, сѣтуетъ, вящше сокрушается и нещастіе свое горестнѣйшимъ почитаетъ, естьли увидитъ, что и тѣ, которыхъ оно не трогаетъ, страдаютъ".

„Всякое искуство, какое бы оно ни было, худое или доброе, дѣлаетъ удовольствіе упражняющемуся въ ономъ, и хорошее о себѣ подаетъ мнѣніе. Воръ, ежели искусно умѣетъ красть, чувствуетъ нѣкоторое въ сердцѣ своемъ довольство".

„Любовь такова есть свойства, что человѣка вдругъ перемѣнить можетъ. Нѣтъ такого въ ономъ чювства, которымъ бы сія страсть не овладѣла, ежели она глубоко въ чье сердце вкоренится" [1659].

Иногда разсуждаетъ авторъ о странностяхъ человѣческой природы.—

„Когда мы въ несчастіи, то добродѣтельными, умѣренными и мудрыми становимся, но, коль скоро оно минуетъ, возвращаемся къ прежнимъ суетнымъ удовольствіямъ" [1660].

„Въ горделивыхъ людяхъ нѣжность и свирѣпость, доброта и злость вмѣстѣ пребываютъ. Османъ милые свои прежніе взгляды—въ лютѣйшіе превратилъ и ядъ испускающіе взоры" [1661].

„Когда намъ кто другаго полу красоту превозноситъ, то сія похвала нѣкакое любопытство въ насъ возбуждаетъ, но, какъ скоро зрѣніемъ желаемое предмѣта насладимся, то сіе любопытство въ любовную страсть переменяется" [1662].

„Первая любовь такъ сильнаго бываетъ свойства, что совсемъ насъ ослѣпляетъ, и мы, влюбясь, ничего не видимъ, кромѣ пожирающей сердца наше страсти" [1663].

Въ „описаніяхъ" природы Эминъ тоже не далеко ушелъ отъ своихъ предшественниковъ: буря, напримѣръ, у него всегда налетаетъ внезапно и такъ же внезапно утихаетъ.—

„... Но не успѣлъ онъ рѣчь свою окончить, какъ небо мрачными покрылось облаками, и корабельныя снасти порывистымъ вѣтромъ перервало. Нептунъ ужаснымъ заревелъ гласомъ; словомъ, стала темная ночь, которая мракомъ своимъ весь свѣтъ покрыла" [1664].

Описаніе „утра" у него такъ же тускло и шаблонно:

„Солнце по нощномъ успокоеніи лучи свои по земли разпростирать начинало" [1665].

„Классицизмъ" его романа выразился въ обильномъ пользованьи миѳологическими образами: такъ, „нептуновы поля" у Эмина обозначаетъ „море" [1666]; упоминаетъ онъ имена Венеры, Марса, Вулкана, Нептуна, Прозерпины, Минервы, Федры, Ипполита, Аполлона, Аргуса [1667] и мн. др.

„Любовь“ налетаетъ на героевъ внезапно; отличается она преціозностью и галантностью[1668], выражается въ почтительныхъ рѣчахъ; влюбленный герой дѣлается, по старинному, esclave[1669] своей дамы.

Любопытной особенностью являются демократизмъ автора,—онъ принципіально встаетъ за равенство всѣхъ, особенно въ правахъ на любовь. Мирамондъ такъ говоритъ о себѣ государю, который упрекнулъ дочь свою за ея любовь къ „рабу“:

„Я въ рабскомъ моемъ тѣлѣ имѣю великую душу и, ежели бы справедливость природами управляла, то лучшаго бы она была достойна произшествія. Въ Египтѣ высокія достоинства храбростію руки, а не наслѣдствіемъ природы, пріобрѣтаются. Происходить изъ царской крови одному только случаю причитается, а быть мужественнымъ—собственной добродѣтели есть дѣло“ [1670].

Если мы сравнимъ образъ Мирамонда и особенно Зюмбюли съ дѣйствующими лицами романовъ Хераскова, мы принуждены будемъ признать, что герои Эмина значительно уступаютъ имъ въ художественномъ отношеніи: эминовскіе герои совершенно безличны; Мирамондъ, идеальный юноша, стоящій выше какихъ-бы то ни было упрековъ, совершенно лишенъ реальности и правдоподобія... И въ психологическомъ отношеніи герои Эмина изображены грубо, аляповато: переходы ихъ настроеній не подготовлены душевной борьбой; порой эти переходы совершенно неожиданны и внезапны... Мирамондъ—вѣрный любовникъ, esclave своей дамы, галантный кавалеръ, всегда говорящій съ нею вычурной, патетической рѣчью. Авторъ пытался придать ему черты „философа“, знающаго цѣну жизни и любящаго уединеніе, но „философія“ эта кажется какимъ то привѣскомъ къ его шаблонному облику, по существу, ему чуждымъ... Такимъ образомъ, этотъ герой (особенно героиня)—сплошное общее мѣсто безъ малѣйшихъ черточекъ индивидуализма, что всетаки замѣчается у героевъ Хераскова.

Отъ типичныхъ псевдоклассическихъ романовъ отличается произведеніе Эмина тѣмъ, что въ немъ дидактическій характеръ выдвигается на первое мѣсто. Въ этомъ отношеніи, нашъ романистъ сближается уже со взглядами Прево на цѣли его произведеній.

Правоучительность романа Эмина выражается, прежде всего, въ обильныхъ „сентенціяхъ“, которыя онъ разбросалъ по своему произведенію. Напр.—

„Никогда намъ, при нашихъ предпріятіяхъ, торжествовать не надобно, покамѣстъ благополучнаго окончанія недостигнемъ“ [1671].

„И на каторгѣ небезполезно имѣть пріятеля. Милѣе намъ другъ въ нещастіи, нежели отецъ въ благополучіи“ [1672].

„Нынѣ обращающемуся человѣку въ свѣтѣ весьма осторожному

быть должно, и никому дѣла своего не объявлять,—ниже самому искреннѣйшему нашему другу" 1673.

Всевозможныя философскія разсужденія и практическія житейскія соображенія, имѣющія цѣлью просвѣтлѣніе сердца и ума читателей, также разсѣяны здѣсь во изобиліи. Напр., —

Разсужденіе о печали и сочувствіи, о коммерціи, о загробной жизни, о смерти за родину, объ эгоизмѣ, о счастьи повелителя имѣть честнаго совѣтника, объ астрологахъ и предсказателяхъ, о непостижимости Бога и его воли, о пользѣ скрытности, о промыслѣ Божьемъ, о непрочности фаворитовъ при дворѣ, о женщинѣ, о политическомъ и натуральномъ правѣ, о придворной жизни, о добродѣтели, объ авторахъ, смѣшавшихъ законъ съ натурой, о добродѣтельныхъ женахъ и о томъ, какъ такую выбирать; о комедіи, трагедіи и оперѣ, о романѣ, о принятіи христіанства, о легковѣрности людской, о злыхъ духахъ, ихъ силѣ, о могуществѣ Бога, о суевѣрныхъ людяхъ, объ излишней откровенности, болтливости и неосторожности, о сущности любви, о любви родительской, о дѣтской любви, о государѣ, о наслѣдникѣ, о воспитаніи и образованіи молодыхъ принцевъ, о министрахъ, о судьяхъ, о казни, о генералахъ, объ училищахъ, о купечествѣ, о простомъ народѣ, о мудрости, о тлѣнности всѣхъ желаній, о загробной жизни, о земной жизни, какъ несчастьи, о матеріи и матеріалистической философіи, о человѣкѣ-животномъ, о тяжеломъ положеніи крестьянъ, о „рокѣ", о тяжести царской власти, о счастьѣ въ любви, о непостоянствѣ судьбы, о супружеской жизни, о зависимости женъ отъ мужей, о воспитаніи дѣтей, о надеждѣ, о самоубійствѣ изъ за отчаянья, объ обязанностяхъ дѣтей къ родителямъ и мн. др.

Кромѣ того, назидательность произведенія выразилась въ стремленіяхъ автора—1) внушить сочувствіе къ страдающему брату—цѣль его сочиненія—„единственно токмо, дабы подвигнуть нѣжныя сердца къ соболѣзнованію о нашихъ несчастіяхъ";—2) воспитать сердце читателя въ любви къ добродѣтели: „сплетенные приключенія, здѣсь изображенныя, того къ добродѣтели привѣтствуютъ, кто съ точнымъ разсужденіемъ околичности оныхъ разбирать станетъ" и, наконецъ,—3) дать читателю рядъ географическихъ и этнографическихъ знаній. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ авторъ опять приближается къ Прево. „Описанные здѣсь иноплѣменные нравы", по его мнѣнію, должны познакомить читателя съ жизнью чужихъ странъ.

Слѣдовалъ Эминъ за Прево и въ выборѣ содержанія для своего романа. Въ одномъ мѣстѣ авторъ прямо указываетъ, какіе романы ему по вкусу:

„Романы, изрядно сочиненные и разныя нравоученія и описаніе различныхъ земель съ ихъ нравами и политикою въ себѣ содержащіе, суть наиполезнѣйшія книги для молодаго юношества къ привлеченію ихъ къ наукамъ. Молодые люди изъ связносплѣтенныхъ романовъ

обстоятельнѣе познать могутъ состоянiе разныхъ земель, нежели изъ краткой географiи, изъ которой ничего они безъ толкователя понять не въ состоянiи... Не всякъ же имѣетъ достатокъ содержать учителя, а нравоученiе и старымъ людимъ не безполезно... Романъ всякаго чина и званiя людимъ долженъ какое либо принести удовольствiе".

„Мудрыя познаютъ изъ онаго политику отдаленныхъ государствъ, юношество почерпаетъ нравоученiе, женщины чувствуютъ удовольствiе, а низкаго состоянiя люди утѣшенiе имѣютъ". Вотъ почему „сочинителямъ романовъ наблюдать должно, чтобы изъ нихъ была польза обществу" 1674.

Все это сказано, какъ будто, о романѣ Прево и произведенiяхъ, ему подражающихъ. И вотъ, слѣдуя такому пониманiю „хорошаго" романа, Эминъ переполнилъ содержанiе своего романа описанiями городовъ, странъ, обычаевъ и нравовъ европейскихъ, азiатскихъ и африканскихъ народовъ, обильно введя въ изложенiе элементы исторiи, и географiи, и этнографiи...

I ч. Обычаи въ Турцiи. Описанiе Мальты. Обычаи при дворѣ Марокскаго султана. Историческiя событiя той эпохи въ Марокко. Жизнь въ Марокко. Обычаи Морабутовъ. Португальцы, ихъ характеръ и нравы. Факты изъ исторiи Мавровъ. Описанiе Лиссабона. Землетрясенiе въ Лиссабонѣ. Исторiя короля Жезенне и его убiйство. Iезуиты. Англичанъ авторъ превозноситъ, португальцевъ ругаетъ *). Рѣзко осуждаетъ жизнь монаховъ. Морскiе обычаи англичанъ. Разсужденiе объ евреяхъ, о причинахъ общей ненависти къ нимъ. Описанiе Лондона. Описанiе Каира. Жизнь въ Каирѣ (беи, ихъ обычаи, войско, рабы, мамелюки, ихъ организацiя). Описанiе Египта. Обычаи придворные. Исторiя Алжира; описанiе природы и обычаевъ жителей.

II ч. Обычаи „черныхъ Кюртовъ". Обычаи людоѣдовъ. Обычаи Аравитянъ. О воспитанiи дѣвушекъ въ европейскихъ монастыряхъ. Описанiе Туниса. Римъ. Разсужденiя о папѣ; развратъ папскаго двора; подкупы. Описанiе Рима. Флоренцiи. Продѣлки Iезуитовъ. Неаполитанское книжество. Венецiя. Савойя. Вѣна. Варшава, Краковъ. Саксонiя, Дрезденъ, Парижъ. Характеръ французовъ. Генуя. Лондонъ.

III ч. Албанiя и Черногорiя. Русская политика въ Турцiи. Описанiе индѣйскихъ и африканскихъ городовъ. Описанiе Мерлинской академiи и др.

Его герой, какъ и маркизъ I**, часто жалобится на свою судьбу, философствуетъ, ищетъ и находитъ успокоенiе вдали отъ суеты городской,—въ уединенiи. Правда, развязка эминовскаго романа счастливая **) (относительно главнаго героя Мирамонда) и, въ этомъ отношенiи, онъ отходитъ отъ Прево, но въ развитiи дѣйствiя онъ все

---

*) Слѣдуя за Прево, онъ увлекается Англiей,—такимъ образомъ, въ лицѣ Эмина, мы имѣемъ перваго русскаго англомана-литератора.

**) Разсказъ о жизни Ферндата, отъ имени котораго ведется повѣствованiе, оканчивается грустно (см. стр. 668).

время идетъ параллельно со своимъ учителемъ: и у него нѣтъ того аристократизма, который характеренъ для романа псевдоклассическаго; цѣли романистовъ одинаковы—„cultiver coeur", т. е. воспитаніе гуманности въ сердцѣ читателя.

Но, главное, что связываетъ Эмина съ Прево,—это наличность въ его романѣ автобіографическаго элемента. Въ сущности, весь романъ представляетъ собою романизацію жизни самого автора,—себя онъ вывелъ здѣсь подъ именемъ Феридата.

Объ этомъ онъ самъ говоритъ въ предисловіи,—заявляя, что выпустилъ въ свѣтъ свой романъ, —

„чтобъ несносные непостоянной фортуны удары, коими она безпрестанно Мирамонда томила, и которой многимъ злоключеніямъ *я былъ очевиднымъ свидѣтелемъ, будучи соучастникомъ въ его злополучіяхъ*, кои участь наша обѣимъ намъ претерпѣть опредѣлила, въ вѣчномъ погружены не были невѣденіи".

Далѣе онъ говоритъ, что описывалъ такія страны, „по которымъ чрезъ нѣсколько лѣтъ носилъ (его) рокъ" *). Разсказавъ о пріѣздѣ своемъ въ Россію, Феридатъ-Эминъ опять говоритъ объ автобіографическомъ характерѣ своего произведенія (Wahrheit) и о томъ Dichtung, которое имъ внесено въ повѣствованіе.

„Прости, доброжелательной читатель, и *не думай, чтобъ сія исторія о Мирамондѣ была вымышленная*. Нечего тебѣ дивится, что толь странные приключенія ему претерпѣть случилось,—свѣтъ тотъ же самой, которой и былъ прежде,—никогда онъ безъ злосчастныхъ явленій не оставался, да и впредь безъ оныхъ не будетъ; то—правда, что *многіе здѣсь сыщутся мыслями моими сплетенныя приключенія*, однако ни одно изъ нихъ безъ намѣренія не написано, и каждое изображаетъ въ себѣ нѣчто, или удовольствіе тебѣ приносящее, или совѣсти твоей полезное, а если *Ферадатовы злосчастія* какого либо соболѣзнованія достойны, то *онъ* (т. е. самъ Феридатъ?) *тебя униженно проситъ*, чтобъ ты разсуждать изволилъ съ сожалѣніемъ о его горестныхъ злоключеніяхъ".

---

*) „Скитальческая жизнь Эмина, исполненная странныхъ приключеній, безъ сомнѣнія, обогатила его разнообразными наблюденіями. Объѣхавъ полсвѣта въ лучшіе годы своей жизни, онъ былъ свидѣтелемъ расцвѣтающей цивилизаціи на берегахъ Темзы, циническаго разврата въ стѣнахъ Парижа и оцѣпенѣлаго состоянія народовъ на берегахъ Геллеспонта. Съ опытностію любознательнаго путешественника, онъ соединялъ отличное образованіе" 1684 (Благосвѣтловъ). По увѣренію Новикова, Эминъ зналъ четырнадцать языковъ, и „былъ человѣкъ остраго и проницательнаго разума; чтеніемъ наилучшихъ древнихъ и новыхъ авторовъ, на разныхъ языкахъ, пріобрѣлъ онъ великое просвѣщеніе; имѣлъ отъ природы критическій духъ и „веселый нравъ" 1687.

„Знай то, что *онъ* (т. е. Феридатъ) и нынѣ въ мысляхъ своихъ часто бываетъ несчастенъ,—стенаетъ и воздыхаетъ; воспоминая о минувшемъ, трепещетъ и ужасается, размышляя о неизвѣстности предбудущаго".

„Философія злосчастному и многими язвами сердце зараженное имѣющему не въ пользу бываетъ потому, что, чемъ наше сердце съ малолѣтства паноено, то не скоро изъ онаго истребить возможно" [164].

Эта близость къ жизни, къ дѣйствительности, позволяетъ автору живо реагировать на впечатлѣнія, имъ пережитыя. Отсюда и живой наосъ нѣкоторыхъ мѣстъ романа,—отсюда тотъ юморъ, который, какъ у Прево, часто пронизываетъ его романъ [165].

Вотъ почему, подобно Прево, и Эминъ не прочь ввести въ свой романъ веселый анекдотъ, иногда очень реалистическаго свойства.

Такимъ образомъ, если, во многихъ отношеніяхъ, романъ Эмина уступаетъ Прево (у Эмина внѣшніе интересы, „фабула", преобладаютъ надъ внутренними; реализмъ его романа не сливается такъ органически съ идеализмомъ, какъ у Прево, а лишь случайно, временами, врывается въ изложеніе и исчезаетъ; нѣтъ у него тѣхъ „ужасовъ", которые имѣются у Прево; любовь не вноситъ такого „désordre" въ жизнь героевъ, какъ въ романѣ Прево,— не ломаетъ ихъ жизни; они не отличаются слабостями. Картинъ смерти у Эмина нѣтъ, въ глубины жизни онъ не сумѣлъ заглянуть)— и приближается къ старому героическому, въ духѣ Кальпренеда и Скюдери, — то все же указанныя выше нѣкоторыя черты этого произведенія позволяютъ включить его въ романическую группу типа произведеній Прево.

Особенное значеніе произведенія Эмина заключается въ томъ, что онъ *первый* у насъ далъ опытъ художественнаго скрещенія Wahrheit и Dichtung въ видѣ идеально-реалистическаго произведенія.

Это оцѣнили и современники Эмина, и критика позднѣйшая: въ мемуарахъ XVIII-го вѣка встрѣчаемъ мы нѣсколько разъ упоминанія объ этомъ романѣ, а Благосвѣтловъ, поклонникъ Эмина, на мой взглядъ, даже черезъ чуръ превознесъ это произведеніе, поставивъ его выше романовъ Хераскова. Я говорилъ уже, что, въ психологической разработкѣ образа героя, Эминъ не обнаружилъ той тонкости и глубины, которую нельзя отрицать у Хераскова.

„Ѳ. Эминъ любитъ истину и презираетъ порокъ. Онъ первый(?) ввелъ сатирическое начало въ русскую повѣсть, и тѣмъ положилъ основаніе самому живому направленію, на сторонѣ котораго становились лучшіе наши таланты. Сатира Эмина отличается энергіей, свойственной свѣтлому уму; при всемъ томъ, не ограничиваясь строго-опредѣленной идеей и болѣе тѣснымъ кругомъ наблюденій, она черезъ то теряетъ свою силу и, бо́льшею частью, плаваетъ на воздухѣ. Отличительнымъ

характеромъ сатиры Эмина служитъ энергическій и мѣткій взглядъ на предметы. Онъ не любитъ закрывать истинной физіономіи „бѣлилами и румянами", и требовалъ отъ сатирика безпристрастнаго и искренняго суда".

„Вмѣстѣ съ сатирическимъ направленіемъ Эминъ развивалъ въ своихъ произведеніяхъ нравоучительный элементъ, какъ плодъ его практической философіи. Герои въ его романахъ не столько чувствуютъ, сколько мыслятъ: ни пылкая страсть, ни сокрушительныя удары бѣдъ не отнимаютъ у нихъ твердой воли и холоднаго разсудка. Послѣ неудачъ и разочарованій въ любви, авторъ, обыкновенно, отсылаетъ своихъ философовъ въ уединенныя пещеры, гдѣ они негодуютъ на превратность счастія и поютъ іеремїады: героини его—олицетворенные типы добродѣтели.

„Характеровъ въ повѣстяхъ Эмина нѣтъ и быть не могло: они, собственно говоря, обязаны своимъ первоначальнымъ образованіемъ въ русскомъ романѣ творческому генію Пушкина" [168].

„Современники высоко цѣнили заслуги нашего перваго романиста, умнаго, добросовѣстнаго и бойкаго сатирика, опредѣливъ его характеръ слѣдующими стихами надгробной надписи:

„Померкли тѣ глаза, что сердце проницали,
„Сомкнулись тѣ уста, что страсти порицали".

Изъ приведенной характеристики видно, что Благосвѣтловъ цѣнилъ Эмина за его умѣніе разобраться въ жизни (указаніе на сатирическія тенденціи у него),—и, въ этомъ отношеніи, онъ правъ; хотя въ разобранномъ романѣ собственно-сатирическаго элемента почти нѣтъ, тѣмъ не менѣе, умѣнье всматриваться въ жизнь у нашего романиста есть,—онъ удачно распутывается даже въ сложныхъ политическихъ дѣлахъ того времени, правильно отмѣчаетъ этнографическія и бытовыя черты тѣхъ народовъ, съ жизнью которыхъ сталкиваетъ его судьба.

Благосвѣтловъ, въ такой же мѣрѣ, правъ, указывая, что нравоучительный элементъ романа обличаетъ въ авторѣ человѣка, сознательно относящагося къ жизни,—онъ правъ, указывая, что характеровъ въ романѣ Эмина нѣтъ,—но онъ очень сильно заблуждается, рѣшительно отрицая наличность „характеровъ" во всемъ русскомъ романѣ до Пушкина. Ошибочность этого мнѣнія, думается, я доказалъ на предшествующихъ страницахъ...

Любопытно, что романъ Эмина оказалъ вліяніе на послѣдующій русскій романъ. Такъ, въ „Приключеніяхъ Клеандра" Захарьина замѣчаемъ мы эпизодъ, очень напоминающій одно мѣсто изъ романа Эмина: Антипатида влюбляется въ Клеандра и, не встрѣтивъ отвѣтнаго чувства, заключаетъ его въ тюрьму, оклеветавъ его передъ своими слугами,—то же дѣлаетъ и Белиля съ Мирамондомъ. Какъ военачальникъ Тиграны завидуетъ Клеандру,

болѣе удачливому на ратномъ полѣ,—такъ полководецъ Белиля изъ зависти интригуетъ противъ Мирамонда. Наконецъ, въ описаніи наружности героевъ оба писателя пользуются одной и тою же характерною деталью: рисуя спящаго, или пробуждающагося героя, они упоминаютъ, что на лицѣ его были *капли пота*[1629] (см. выше стр. 428). Я ни въ одномъ изъ западныхъ романовъ не встрѣчалъ этой курьезной детали въ описаніи наружности героевъ...

Къ разряду романовъ типа „Похожденій Маркиза Г.“ относится также „*Похожденіе нѣкотораго Россіянина, истинная повѣсть, имъ самимъ написанная*“[1630].

Подобно произведенію Прево, это—романизированныя записки о дѣйствительныхъ приключеніяхъ автора.

Передъ нами—служилый дворянинъ, фамиліи „хотя не знатной, но добродѣтельной и честной“; и отецъ разсказщика, и онъ самъ—вѣрные слуги отечества; пол-жизни они проводятъ въ походахъ то въ Пруссіи, то въ Турціи, то въ Польшѣ...

По словамъ автора, ихъ фамилія „за главный предмѣтъ всегда поставляла себѣ исполнять въ точности, безъ нарушенія, законы, предписанные природою для всякаго смертнаго“.

Просто, безхитростно повѣствуетъ авторъ о своемъ дѣтствѣ, которое все протекло въ разъѣздахъ за полкомъ, въ которомъ служилъ отецъ; разсказываетъ онъ о томъ воспитаніи, которое, по мѣрѣ силъ, давалъ ему отецъ. Послѣдовательностью и системой оно не отличалось, — училъ его то священникъ, то какая-то „благоразумная женщина“,— потомъ писарь—словомъ, онъ переходилъ изъ рукъ въ руки и, наконецъ, попалъ въ семинарію.

Затѣмъ онъ повѣствуетъ и о своей службѣ: въ качествѣ уже служащаго на военной службѣ, попалъ онъ заграницу во время Семилѣтней войны. Здѣсь начинаются его амурныя похожденія. Онъ остановился постоемъ на квартирѣ у одного фабриканта, который имѣлъ у себя трехъ дочерей, изъ коихъ большая называлась Б... средняя М..., а меньшая—*Элизою*. Сіи обожанія достойныя дѣвицы столь были прекрасны, что, казалось, будто бы природа истощила все свое искуство къ дополненію ихъ красоты; но, какъ бы то ни было, Элиза предъ своими сестрами имѣла отличныя дарованіи, которыя могли тронуть и самое нечувствительное сердце. Признаюсь передъ цѣлымъ свѣтомъ, что въ то время я былъ не тотъ твердый адамантъ, который противится всякому металлу,—но мягкій самый воскъ, изъ коего все то сдѣлать можно, что только заблагоразсудитъ рука художника. Вотъ, любезный читатель, первая сцена любовныхъ моихъ обращеній!“ „Элиза часто кидала на меня свои пріятные взоры, и оными изъявляла ко мнѣ чувствительность и нѣжность своего сердца“.

Онъ научился говорить по нѣмецки; „потомъ уже мы другъ друга

увѣряли во взаимной своей любви,—и я не имѣлъ ни какого затрудненія видѣться и говорить каждой день съ дражайшимъ въ жизни моей предмѣтомъ... Но, ахъ! жестокій рокъ едва, было, не лишилъ меня дражайшей Элизы, чтобы вручить ея сердце тому, о которомъ она и слышать не хотѣла... И, дѣйствительно бы, сіе исполнилось, когда бы Венера, покровительница любящихся, съ помощью своею не ускорила". Элиза понравилась одному сержанту, и онъ переселилъ автора въ другой домъ, а самъ устроился на его квартирѣ, но „за нахальное поведеніе" былъ этотъ сержантъ скоро выселенъ, и авторъ возвращенъ опять къ его Элизѣ.

И любви сержантъ отъ нея не добился: Элиза—„сія достойная обожанія особа, храня ко мнѣ искреннюю вѣрность и клятву, что до гроба оной мнѣ не измѣнитъ, презирала всѣ ласкательства Д... Къ тому же и то не мало ее отъ него отвращало, что онъ, кромѣ хитрыхъ выдумокъ, совсѣмъ въ своей красотѣ походилъ на Езопа".

И авторъ записокъ, и Элиза были въ восторгѣ, при извѣстіи о возвращеніи его на прежнюю квартиру—„столько сіе меня восхитило, что еще я, будучи удаленъ отъ дома Элизина отца, видѣлъ себя въ объятіяхъ моего дражайшайшаго предмѣта!.." Свиданіе оказалось трогательнымъ: „начало нашего свиданія съ Элизою сопровождаемо было плачемъ, а конецъ—радостію; и мы весь тотъ день, какъ бы находились въ глубочайшемъ снѣ, поелику не довѣряли глазамъ своимъ, что въ правду ли мы другъ друга видимъ, или прельщаемся во снѣ мечтою".

Во время разлуки они обмѣнялись двумя любовными письмами, написанными въ романическомъ стилѣ; онъ писалъ: „дражайшій предмѣтъ жизни моей! нѣтъ на свѣтѣ жесточаѣ той муки, какъ быть разлучену съ тѣмъ, кого кто искренно обожаетъ... Обожаемая мною Элиза! ты единая разгоняла мрачность моихъ мыслей; но я теперь, не видя васъ, сокрушаюсь, рвусь безпрестанно, не чувствуя ни малѣйшей отрады въ моемъ мученіи" и пр. Она отвѣчала: „любезный другъ! Я уже совсемъ, было, отчаялась въ вѣрности твоей ко мнѣ, естьли бы въ семъ не увѣрило меня присланное ваше письмо, которое я отъ великой радости читала болѣе тысячи разъ" (слѣдуютъ напоминанья о клятвѣ вѣрности) и пр.

„Какъ скоро птицы начали отъ пѣнія умолкать въ дремучихъ лѣсахъ и прохладныхъ долинахъ, и вся окружность Мемеля покрылась уже снѣгомъ",—въ это время полкъ, въ которомъ служилъ разсказщикъ, былъ переведенъ. „Въ сіе то самое время исчезла изъ моего сердца радость, которая доселѣ первое занимала въ ономъ мѣсто, когда я наслаждался зрѣніемъ моей прекрасной Элизы; тутъ то, на мѣсто оной, заступила величайшая печаль и скука, которая столь сильно снѣдала мою грудь, что я бы совершенно лишился жизни, есть ли бы только одинъ изъ моихъ пріятелей въ отчаяніи моемъ не вспомоществовалъ мнѣ дружескими своими совѣтами... Но чтожъ осталось мнѣ дѣлать, какъ только что великодушно сносить жесточайшіе сіи удары и повиноваться непостоянному счастью, которое, само по себѣ, подобно вертящемуся колесу!"—восклицаетъ авторъ.

Разлука была самая романическая—„мы много разъ прощались, но

не могли другъ друга выпустить изъ нѣжнѣйшихъ объятій. Наконецъ, время требовало того, что бы уже съ нею на вѣкъ разстаться; а я отъ сего приходилъ въ отчаяніе и упадалъ предъ ея ногами безчувственъ, что самое приключалось и съ нею... И такъ разстались мы съ изобильнѣйшимъ источникомъ слезъ, въ отчаяніи и грусти, провожая взорами другъ друга до тѣхъ поръ, пока скрылись изъ виду".

Затѣмъ авторъ даетъ описаніе Кенигсберга; дѣлаетъ даже эскизъ природы въ мѣстечкѣ Либ-Вальдъ, гдѣ зимовалъ полкъ. „О, прекрасныя мѣстоположенія, вы до самаго окончанія моей жизни не можете вытти изъ моей памяти!.. Да и возможно-ли изгладить изъ оной, когда вамъ нигдѣ не нахожу подобныхъ? Сколь добросердечны и честны онаго граждане! Они того постояльца, которой, хотя нѣсколько, соотвѣтствовалъ ихъ добрымъ качествамъ души, почитали себѣ за искренняго пріятеля, и, во время разлуки, не могли разстаться съ нимъ, не проливъ истоковъ слезъ, проистекающихъ не отъ лести, но отъ искренности и чистосердечія". Увлекающійся авторъ, забывъ свои недавнія клятвы, данныя Эльмѣ, влюбился въ хозяйскую дочь Элеонору. „Элеонора, такъ называлась сія дѣвица, вскорѣ овладѣла моимъ сердцемъ, и я уже въ сіе время, мало по малу, началъ изъ памяти своей выпускать Элизу, которая прежде была мнѣ милѣе всего на свѣтѣ". Патетическія строки посвящаетъ авторъ городу Торуну. „Вожделеннѣйшій для меня городъ! могу ли я тебя привести себѣ на память безъ восхищенія!.. Ты заключалъ въ своихъ предѣлахъ перьхъ моего блаженства! въ тебѣ обитала душа души моей! *) ты столь глубоко впечатлѣнъ въ моемъ сердцѣ, что до самаго окончанія дней моей жизни не могу тебя изгладить изъ моей памяти! но что я говорю?.. Восклицанія мои прерываютъ мое повѣствованіе..." „Но наступленіи пріятнаго весенняго времени, въ которое вся природа, какъ бы, снова оживляется", ему пришлось вернуться въ городъ Мемель.

Здѣсь произошла встрѣча его съ Элизой, которая уже оказалась замужемъ. Встрѣтились они и разстались довольно спокойно, по-дружески... Вернувшись съ полкомъ въ Торунъ, авторъ на отведенной ему квартирѣ увидѣлъ дѣвицу А. „Красота ея была столь плѣнительна, что, при первомъ моемъ на нее взглядѣ, великую сдѣлала перемѣну въ моей душѣ. Напослѣдокъ въ такое погруженъ я былъ замѣшательство, что не зналъ, начать ли то, для чего я пришелъ въ сей домъ, или повергнуться предъ нею на колѣна и вручить ей свое сердце?.. Словомъ сказать, я все то время находился въ очарованномъ лабиринтѣ". „Наступающую ночь провелъ я въ такихъ важныхъ размышленіяхъ, каковыми никогда голова моя не была наполнена. „Возможно ли, говорилъ я самъ себѣ, чтобъ нить жизни моей не могла прерваться, естьли хозяйская дочь (такъ я почиталъ дѣвицу А...) презритъ тотъ къ ней любовный пламень, которымъ сгораетъ мое сердце?"... „Чѣмъ болѣе я симъ размышленіемъ занимался, тѣмъ далѣе убѣгалъ отъ

*) Стиль этого романа мѣстами очень напоминаетъ записки Болотова. Напр.: „Прости, милый и любезный градъ и прости навѣки! Ты былъ мнѣ полезенъ въ моей жизни,—ты подарилъ мени сокровищами безцѣнными и т. д.

меня сонъ, которой услаждаетъ человѣка, и жесточайшія мученія приводитъ въ забвеніе". Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ появленія „багряной зари",—и. „лишь только солнце направило бѣгъ свой по небу",—онъ былъ уже на ногахъ. Слѣдуетъ подробное описаніе питья кофе въ компаніи съ квартирнымъ хозяиномъ, почтеннымъ нѣмцемъ Р. „Прошедъ прямо въ кабинетъ, засталъ его въ очкахъ, разсматривающаго нѣкоторыя письменныя дѣла, касающіяся до торговли: передъ нимъ на столикѣ стоялъ большой подносъ съ кофейникомъ и со всемъ принадлежащимъ къ тому приборомъ, и я замѣтилъ, что онъ, дожидаясь меня, не начиналъ пить кофе. Вошедъ въ кабинетъ, учтивымъ образомъ ему сдѣлалъ почтеніе, поздравя съ добрымъ утромъ и получилъ отъ него равное соотвѣтствіе. Потомъ онъ просилъ меня садиться подлѣ себя на софѣ. Я сперва, въ знакъ учтивости, отговаривался, а потомъ, не желая болѣе противиться, согласился исполнить его приказаніе".

„Спустя нѣсколько минутъ принесли намъ шпикованнаго жареного поросенка, начиненнаго перловою крупою, изюмомъ и разными кореньями, также и бѣлаго хлѣба. Мы поѣли сего съ довольнымъ аппетитомъ; послѣ чего добродѣтельной Рейнъ вынулъ изъ шкафа своего пузырекъ съ Гофмановыми каплями и нѣсколько капель влилъ на два кусочка сахару, изъ коихъ одинъ положилъ въ ротъ себѣ, а другой далъ мнѣ, говоря при томъ слѣдующія слова: „любезный мой постоялецъ! сіи капли великое имѣютъ дѣйствіе въ разслабленномъ желудкѣ, и къ тому они издаютъ пріятный запахъ изо рта!" Я, повѣря симъ словамъ, положилъ сахаръ съ каплями въ ротъ".

Затѣмъ авторъ обстоятельно разсказываетъ исторію своей любви: онъ говоритъ, какъ сперва холодность дѣвицы причиняла ему мученія, какъ, наконецъ, онъ прибѣгъ къ помощи камердинера, для разузнанія, любитъ-ли его А., или нѣтъ,—какъ, въ ожиданіи отвѣта, онъ долго мучился: „весь тотъ день и вся ночь были для меня несноснѣйшимъ бременемъ"... Отвѣтъ принесенъ былъ благополучный, и ему было назначено свиданіе. Камердинеръ самъ указалъ ему мѣсто, подходящее для свиданія, посовѣтовавъ прийти, — „ежели только имѣете довольно присутствія духа и смѣлости!"—„Я въ семъ и самъ себя увѣрить не могу!" отвѣчалъ я ему; „поелику я въ иныхъ случаяхъ имѣю великую смѣлость, а въ другихъ—безпримѣрную боязливость и робость". „Весь остатокъ того дня проводилъ я въ вытверживаніи рѣчей, каковыми мнѣ надлежало объясняться предъ А. Наконецъ, свиданіе состоялось. „Между тѣмъ, показалась А., и ея первый взоръ, съ жаромъ на меня брошенный, плѣнилъ вторично мое сердце: и отъ великаго своего восхищенія, такъ началъ я ей говорить: „Небо, лишенное солнечнаго свѣта, ожидаетъ скораго восхожденія луны; такъ подобно и я, дрожайшая А., упоенный къ вамъ любовію, ожидалъ васъ сюда!.. Взоръ вашъ при первомъ свиданіи столь сильно умѣлъ меня поразить, что я, лишась всей вольности, съ тѣхъ поръ сдѣлался вашимъ плѣнникомъ!.. Откройтесь мнѣ, обладательница души моей, хотите-ли вы мнѣ даровать свободу, или повелѣваете до самаго гроба носить сіи тяжкія оковы?" Въ отвѣтъ на это вытвержденную рѣчь, она отвѣчала ему, что готова идти за него замужъ, но до брака желаетъ сохранить невинную любовь. Онъ отвѣчалъ: „чувствованія

мои совершенно сходствуютъ съ вашими, и, естьли бы вы не предъускорили меня своимъ отвѣтомъ, то бы услышали тѣ же самыя слова; теперь остается намъ увѣрить другъ друга клитвами въ соблюденіи взаимной вѣрности".

Но для окончательнаго рѣшенія вопроса о женитьбѣ ему надо было получить еще разрѣшеніе отъ отца и начальника,—съ ними объясняться ему было, повидимому, не такъ легко, ибо онъ долго не отваживается идти къ нимъ со своей просьбой и, еще до объясненій, собирается уже лишить себя жизни. (Слѣдуетъ вставной анекдотъ о старомъ канонирѣ, который ловко обманулъ одну нѣмецкую дѣвицу и женился на ней). Наконецъ, послѣ долгихъ колебаній, авторъ рѣшился идти къ отцу: „На другой день, при восхожденіи багряной Авроры,—разсказываетъ онъ,—пошелъ я къ своему родителю".

Сперва отецъ не далъ согласія, и авторъ былъ внѣ себя отъ горя: „едва могъ войтить въ мою комнату, легъ я на свою кровать и, испуская тяжкіе вздохи, погрузился въ глубокую задумчивость".

Ночью онъ самъ съ собой разговаривалъ вслухъ:

„Сколь жестоко мучится мое сердце! и до колѣ будетъ терзаться отчаянная моя душа!.. А ты, любви достойная, А!.. помедли еще приготовляться къ брачнымъ узамъ. Видно, что судьба хочетъ продолжить еще на нѣсколько времени нашъ бракъ"...

Наконецъ, отецъ далъ разрѣшеніе на свадьбу, и „сіи слова, какъ бы снова, меня оживили и возвратили мнѣ всѣ потерянныя мои чувства! Тутъ я отъ радости не зналъ, что дѣлать. Однако съ поспѣшностію повергнулъ себя вторично къ стопамъ родители, орошалъ оныя слезами и лобызалъ.. Сіе самое восхитительное мое чувствіе принудило родителя подражать мнѣ въ пролитіи слезъ". Свадьба состоялась, и они были счастливы; потомъ начались тревоги походной жизни...

Вспоминая о всемъ пережитомъ, авторъ неразъ выражаетъ свои чувства въ подобныхъ патетическихъ восклицаніяхъ:

„О, жизнь! Коль многимъ ты подвержена опасностямъ!"

Одно изъ частыхъ своихъ прощаній съ женой онъ изображаетъ въ такихъ словахъ:

„Любезная супруга!—говорилъ тогда я ей, мнѣ должно съ тобой опять разлучиться!.. Причиною сему—любовь къ отечеству. Прощай! прощай! дрожайшая! будь совершенно въ томъ увѣрена, что пламень искренной моей къ тебѣ любви никогда и ничемъ погашенъ быть не можетъ до самыхъ тѣхъ поръ, пока пребудетъ во мнѣ дыханіе!" 1692..

Иногда и радость семейнаго счастія освѣщаетъ трудные дни жизни разскашика. И тогда онъ опять разражается патетическими восклицаніями.

„Но, ахъ! могуль я вспомнить безъ восхищенія двадцать осьмый день ноября, въ которой любезная моя супруга разрѣшилась отъ бремени дочерью!" 1693.

Радостны были его мимолетныя встрѣчи съ женой. —

„Она, при радостныхъ слезахъ, сказала мнѣ: „дрожайшій супругъ! прибытіе твое мнѣ невѣроятно; ибо и, лишена будучи надежды имѣть

съ тобою скорое свиданіе, думаю, что сія радость во снѣ мнѣ представляется!.. Но, нѣтъ, я обманываюсь,—не сонъ сіе вижу! въ самой сущности имѣю тебя предъ своими глазами,—тебя, дражайшаго моего супруга!.. Любезный другъ,—продолжала она, еще небо для насъ милосердо! не мучь меня, но объяви, какой нанесчастливѣйшій случай допустилъ тебя видѣть стѣсненную печалію твою супругу?"—„Любезная А., отвѣчалъ я, небо, помышляющее о всѣхъ, всему тому есть причиною! Оно, для утѣшенія меня, открыло неожидаемый путь, и наставила меня на оной" [1.95].

Насколько силенъ въ произведеніи паѳосъ, видно, хотя бы, изъ того, что онъ окрашиваетъ изложеніе даже тогда, когда, напримѣръ, авторъ повѣствуетъ о побѣгѣ своего деньщика. По этому поводу онъ восклицаетъ:

„О, вѣкъ! вѣкъ коловратный, коликія бываютъ въ тебѣ приключенія, коликія опасности и огорченія!" [1.97].

Встрѣча съ матерью изображается такъ:

„Я предстаю предъ нею,—схватываю ея руку, орошаю ее слезами, предаюсь нѣжнымъ движеніямъ, произведеннымъ во мнѣ самою природою! По сихъ дѣйствіяхъ, подвигшихъ ее сильнымъ образомъ, вскидываетъ она на меня свои взоры, и, познавая меня по чувствованію, собрала всѣ оставшіяся силы свои, чтобы простерть ко мнѣ свои руки, и сказать мнѣ: „о, сынъ мой! любезный сынъ! не о чемъ мнѣ болѣе теперь умолять небо,—ты возвратился!.. Я умираю спокойною и довольною" [1.96].

Извѣстіе о смерти мужа повергаетъ мать автора въ обморокъ, а потомъ вызываетъ у нея слѣдующую патетическую рѣчь:

„она, открывъ глаза, неоднократно, дрожащимъ голосомъ, произносила слѣдующія слова: „любезный мой супругъ! увижу ль я тебя? Ахъ, несчастная! сему сбыться невозможно... Но что-жъ и я живу на свѣтѣ?.. Когда жизнь любезнѣйшаго для меня предмѣта уже прекратилась, и я не могла оплакать оную. О, смерть! спѣши скорѣй прекратить своими челюстями сію мою безконечную печаль!".

Нельзя сомнѣваться, конечно, что въ основѣ этого произведенія лежитъ Wahrheit, но, несомнѣнно также, что сильно отразились на стилѣ его разсказа и литературныя вліянія...

Авторъ сентименталенъ; его паѳосъ чисто-книжнаго происхожденія. Описанія природы точно также, несомнѣнно, заимствованы изъ книгъ.

„Лишь багряная заря начала готовиться къ сраженію противъ ночной тьмы" [1.98].

„Лишь только багряная заря прогнала ночную тьму, и лучезарное солнце на огненныхъ коняхъ направило свой бѣгъ по лазурному небу" [1.99]...

Еще очевиднѣе вліяніе авантюрныхъ романовъ сказалось въ отношеніи автора къ „судьбѣ".

„Но сколь непостоянно счастіе человѣческое! оно вдругъ осыпаетъ тысячью удовольствіями и возводитъ на высочайшую степень всѣхъ увеселеній и забавъ; то вдругъ низвергаетъ потомъ въ бездну несчастія и бѣдствій!.. Я довольное время пользовался благодѣяніями онаго, но все сіе мнѣ показалось за мечту привидѣнія“ [1700].

„Сколь бы человѣкъ ни былъ остороженъ, смѣлъ и несомнителенъ, однако-жъ не можетъ избѣгнуть опредѣленнаго судьбою жребія“ [1701].

„О, судьба, управляющая дѣйствіями человѣческими! возможно-ли было мнѣ воображать, что жребій моего супружества находился въ столь отдаленной отъ моего отечества странѣ!“ [1702].

„Судьбы никто обойти не можетъ“ [1703] — говоритъ онъ; себя онъ называетъ „непольникомъ злосчастной судьбы“, жалуется на „суровый рокъ“, „злосчастный и немилосердо-гонящій рокъ“ [1704].

Сказалось вліяніе книгъ и въ попыткахъ дать „нравоученіе“, или высказывать „сентенціи“, въ духѣ тѣхъ, которыя были въ модѣ у романистовъ, въ родѣ Прево:

„Извѣстно всякому, что порочное дѣйствіе, рано или поздно, получаетъ свое наказаніе, а добродѣтель, напротивъ того, колико-бы ни была притѣсняема, преодолѣвъ всѣ бѣдствія, возсіяетъ, какъ солнце, и свѣтозарные ея лучи никакъ порокъ затмить, или блеска оныя умалить, не въ силахъ“ [1705].

Иногда беретъ онъ изреченія изъ Сенеки: „хотя порочные, повидимому, наслаждаются всякимъ благополучіемъ, а добродѣтель жестоко страждаетъ, однако, со временемъ, первые неизбѣжно подвергаются наказанію, а послѣдніе получаютъ справедливую свою награду и увѣнчиваются побѣдоноснымъ лавромъ“ [1706].

„Нѣтъ ничего на свѣтѣ прискорбнѣе и почтительнѣе (sic), есть-ли случатся въ такихъ обстоятельствахъ подобныя сему сержанту: онѣ препятствуютъ наслаждаться благополучіемъ, лишаютъ удовольствія и раздираютъ сердце; чувствительнѣе-жъ сіе оскорбленіе бываетъ, когда оно случится еще при самомъ своемъ началѣ. Зависть, проклятая зависть, всему главною причиною!.. Однако постоянствомъ и мужествомъ своимъ всѣ ея ухищренія въ ничто обратить тотъ себя можетъ“ [1707].

„Извѣстно всякому, что любовь часто преодолѣваетъ трудности и часто изыскиваетъ способы къ произведенію въ дѣйство своего намѣренія“ [1708].

Приведенный пересказъ и цитаты вполнѣ подтверждаютъ мои слова, что, подъ литературнымъ вліяніемъ, „записки“ этого П. Х. оказались сильно романизированными,—авторъ очутился въ полной зависимости отъ того стиля, которымъ надѣлили его прочтенные романы: сочиненныя имъ и выученныя наизусть любовныя признанія, патетическіе монологи, разговоры вслухъ съ самимъ собой, упорное стремленіе къ дидактизму, кудрявыя описанія утренней зари,—все это тѣ избитые пріемы и „общія мѣста“, съ которыми часто постоянно приходилось имѣть дѣло при анализѣ стиля героическихъ авантюрныхъ романовъ.

Близость къ жизни, сплетеніе Wahrheit и Dichtung заставляетъ разобранное произведеніе сближать съ „мемуарами“ Маркиза Г.,—И если эти безхитростныя и, несомнѣнно, правдивыя записки „русскаго дворянина“ полны чисто-романическихъ авантюръ (блужданія изъ Пруссіи въ Турцію, въ Польшу, разныя путевыя случайности, иногда грозившія разсказчику смертью, частыя разлуки и свиданія и полная власть надъ нимъ „судьбы-случая“), то я, исходя изъ этихъ записокъ, еще разъ могу повторить то, что неоднократно говорилъ выше: авантюрность всѣхъ этихъ романовъ не была однимъ échafaudage [709] (см. выше стр. 241),—она была, въ значительной степени, отраженіемъ тогдашней дѣйствительной жизни...

Во всѣхъ прочихъ, перечисленныхъ на стр. 392, повѣстяхъ мы встрѣчаемся опять съ такой-же „романизаціей“ жизни,—за литературностью романической формы чувствуется жизненная правда, пережитая, выстраданная... Именно эта особенность роднитъ всѣ эти повѣстушки съ романами Прево...

Напримѣръ, въ повѣсти: „*Побѣлица*“ (М. Веревкина), несомнѣнно, разсказанъ случай изъ жизни, представленный, однако, въ яркой романической окраскѣ.

Содержаніе повѣсти слѣдующее:

Слѣполюбъ и Прелѣста, герои повѣсти, жили въ одномъ селѣ. „Сосѣдство, ежедневныя свиданія, свычка влюбили ихъ другъ въ друга прежде, нежели они то въ себѣ примѣтили“. Слѣполюбу исполнилось пятнадцать лѣтъ. Прелестѣ—двѣнадцать. Онъ раньше ея понялъ свои чувства, и оттого уже „не находилъ онъ въ себѣ прежнія способности къ дѣтскимъ съ нею забавамъ“ и сталъ уклониться отъ игръ. Пр. на это сердится... Слѣполюбъ „смущается, молчитъ, не смѣетъ возводить на нее своихъ взоровъ. Застѣнчивость и почтеніе заступили мѣсто вольнаго обхожденія, задумчивость веселаго духа, размышленія шутокъ“. Наконецъ, Пр. совсѣмъ на него разсердилась и стала играть съ куклой... Слѣполюбъ продолжаетъ мучиться. „Столь несносная духа болѣзнь не замѣдлила произвести болѣзнь въ его тѣлѣ“. Слѣполюбъ почти умираетъ. Является къ нему Пр., и онъ сразу выздоравливаетъ. Чистосердъ, отецъ Слѣполюба, „испытавшій въ юности своей дѣйствіе любовныя страсти, позналъ болѣзнь своего сына“ и сталъ его сватать. Пр. сперва отказывается выйти замужъ, говоря, что чувствуетъ къ нему только дружбу: огорченный отецъ „вопитъ“ съ горя, предвидя близкую кончину сына. Пр. обидѣлась, разсердилась и говоритъ: „смерть твоего сына послужитъ къ моей славѣ!“ Узнавъ объ отказѣ, Слѣполюбъ—внѣ себя: онъ „раженъ ужасомъ и отчаяніемъ“,—„каменеетъ его сердце, стѣсняется духъ, меркнетъ въ глазахъ дневный свѣтъ, онъ падаетъ безгласенъ и безчувственъ предъ ногами бѣднаго старика“. На его крикъ сбѣгаются жители села, и, между ними, Прелеста... Слѣполюбъ

прощается съ нею, говоря, что умираетъ отъ любви къ ней... „Жестокая!"—сказалъ онъ, воздохнувъ,—„окажи при концѣ моемъ единую хотя только сію мнѣ милость, — превозмоги сама надъ собою и хотя только мнѣ польсти, что нѣкогда обо мнѣ пожалѣешь".

Пр. тронута патетической рѣчью Слѣполюба и соглашается выйти замужъ за него. „Живи",—сказала она Слѣполюбу, „ужасна для мени твоя смерть!" Окрыленный счастьемъ, „юноша забываетъ болѣзнь, бросается къ ея ногамъ, цѣлуетъ руки и омываетъ ихъ радостными слезами. Клятвы, увѣренія, знаки нечаяннаго удивленія и радости составляютъ трудное ко описанію зрѣлище"... Но счастья Слѣполюбъ не нашелъ въ бракѣ.

„Любовница, ставшая женою, извинняется незрѣлостью своихъ лѣтъ и убѣждаетъ Слѣполюба оставить при ней ея непорочность, доколѣ не достигнетъ она совершеннаго возраста.

Слѣполюбъ соглашается, —„любилъ онъ ея безпримѣрно, но начинаетъ потомъ обожать и предупреждать по ея взорамъ ея желанія. Любовь рождаетъ почтеніе, умираетъ страстный жаръ и онаго порѣваніе". Онъ питалъ къ ней чистую платоническую любовь. „Единый ея на него пріятный взглядъ бываетъ ему обильнымъ за оное возмездіе, и дѣлаетъ его щастливѣйшимъ изъ смертныхъ... Безпримѣрная нѣжность страстнаго сердца! не заслуживала-ли ты самаго жарчайшаго соотвѣтствованія?"—восклицаетъ авторъ.

Пр. оказалась притворной и злой. Она ловко представилась страстной. Увѣривъ Слѣполюба въ своей къ нему любви и желая его удалить, она говоритъ, что, хотя влюблена въ него, но ей было предсказаніе, грозившее ей бѣдой, если она съ нимъ не разлучится на три года... Слѣдуетъ разсказъ, какъ она получила это „предсказаніе". Слѣполюбъ повинуется желанію жены и уѣзжаетъ.

Поѣхалъ онъ къ о-ву Бездѣлицъ. (въ Парижъ?) Жители этого веселаго острова ласково принимали чужестранцевъ, а при томъ были самаго „вѣтренняго сложенія". „Въ почтеніи имѣли они ничтожныя мелочи, обожали прекрасный полъ: мудрые люди почиталися нелюдимцами между ними". За Слѣполюбомъ стали здѣсь ухаживать женщины. Но онъ оказался твердъ и устоялъ противъ всѣхъ соблазновъ. Между тѣмъ, Пр., въ его отсутствіе, широко стала жить—всѣ за нею волочились, и она ко всѣмъ ухаживателямъ была благосклонна...

Однажды два любовника Прелесты, встрѣтились, сойдись одновременно у нея въ квартирѣ; произошла ссора, разыгрался громкій скандалъ...

„Огорченный любовникъ не можетъ въ молчаніи сносить обиду,—поносныя налагаетъ имена своему совмѣстнику; угрожаетъ ему; раздираетъ честь Прелѣсты, разсѣваетъ въ обществѣ ругательныя обѣмъ сочиненія въ стихахъ и прозѣ... Чтобы отомстить обидчику, Прелеста съ другимъ любовникомъ рѣшили убить его.

Потомъ убиваетъ она отца Слѣполюба—Чистосерда. „Любезная чета, ненаказанно усладивъ злодѣйскія свои сердца, исполненіемъ своего желанія умножила свою сладость умерщвленіемъ Слѣполюбова отца за дерзновенные его отзывы о поведеніи своея снохи".

Возвращается Сл. Онъ вѣритъ словамъ коварной: „страсть легко-

вѣрнаго Слѣполюба простерлась даже почти до невозможныя между смертными степени совершенства". Невѣрная супруга и его попыталась, было, отравить. Но онъ выздоровѣлъ. Пр. требуетъ у своего любовника, чтобы онъ развелъ ее съ Слѣполюбомъ. На судѣ она „просила о разводѣ съ Слѣполюбомъ, „который, по ея словамъ, единымъ имянемъ принадлежалъ къ мужескому полу". Сл.—въ отчаяньи, такъ какъ онъ все еще любитъ Прелесту. Начало рѣчи ея передъ судомъ: „О! колико злополучна бываетъ женщина, когда ввергаетъ ее судьбина въ объятіе имѣющаго единое имя мужчины" и т. д. По ея словамъ, Сл. „лишенъ способности платить пріятнѣйшій долгъ природѣ и супружеству".

Судъ постановилъ, чтобы Сл. предсталъ и самымъ дѣйствіемъ доказалъ, что на него наведена клевета. Сл. не хочетъ такого конфуза,— онъ отказался публичнымъ „дѣйствіемъ" оправдывать себя... Между тѣмъ, въ судъ явилась подъ покрываломъ „нѣкоторая подкупленная непорочность", подъ видомъ Прелесты и въ ея одѣяніи. Она была освидѣтельствована, и Сл. признанъ былъ неспособнымъ къ сожительству. Сл. въ отчаяніи вызываетъ любовника жены Вѣтрогона, ранитъ его, но не убиваетъ, и отпускаетъ. Слѣполюба ссылаютъ за дуэль.

„Между толпами угрозами гонимая добродѣтель (кто можетъ повѣрить!) нашла еще себѣ поборника. Небеса, нерѣдко спящія при совершающихся на землѣ несправедливостяхъ, проснулися на сей разъ, противу своего обыкновенія, и постаралися вселить въ сердцѣ любовника Прелесты ревность. Онъ озлобился. Она его хочетъ убить. Онъ ее выдаетъ, и Пр. „получаетъ позорную казнь"... Между тѣмъ, Сл. сдѣлался въ „уединеніи мудрецомъ": „сокрылося отъ него предразсужденіе и пристрастіе; увидѣлъ различіе между „слыть" и „быть добрымъ человѣкомъ". Онъ „не замѣдлилъ восчувствовать въ себѣ небесное оное блаженство, столь мало извѣстное земнороднымъ, то-есть, покой духа, здоровье тѣла и одобреніе повѣденія своего отъ совѣсти". „Недоставало ему двухъ фениксовъ,—вѣрнаго друга, вѣрныя милыя жены, или любовницы".

Однажды, „безглазый и безмозглый случай" завелъ его на берегъ рѣки, и „показалъ ему купающуюся молодую дѣвушку", которая ему понравилась. Это была „простая поселянка". Она, выкупавшись, одѣлась и побѣжала въ лѣсъ. Сл. поспѣшно ее настигаетъ, сперва на нее „наводитъ страхъ, за страхомъ—успокоеніе, за успокоеніемъ—равнодушныя приласканія, а за ними... что за ними?.. Не должно все сказывать, кто что знаетъ... Словомъ, Сл. подъ шерстяною одеждою находитъ красоту, младость, непорочность, простодушіе и столько разума, сколь потребно въ женщинѣ къ учиненію того счастливымъ, съ кѣмъ она соединена будетъ на вѣки".

Сл. идетъ за нею въ ея домъ.—Его встрѣчаетъ старецъ. Гостепріимно принимаетъ онъ Слѣполюба, „сажаетъ его за столъ, омываетъ ноги, поставляютъ передъ нимъ простую пищу".

Сл. „называетъ себя человѣкомъ, гонимымъ отъ сильныхъ непріятностей, принудившихъ его искать спасенія своего бѣгствомъ изъ отечества" и проситъ себѣ пріюта.

Старецъ утѣшаетъ его, говоря: „Ты — несчастливъ; а сего уже довольно къ учиненію тебя намъ любезнымъ и почтеннымъ. Убогая хижина и все наше малое стяжаніе да будетъ къ твоимъ услугамъ". Пораженный

такой мудрой рѣчью, Сл. готовъ видѣть въ старцѣ „безсмертнаго". На высокопарную рѣчь старца, онъ отвѣчаетъ рѣчью въ такомъ же духѣ. „Отъ сего часа, отъ сего самаго мгновенія жертвую тебѣ дней моихъ остаткомъ и пр". Онъ женится на дѣвицѣ. „Она вступаетъ съ нимъ въ вѣчный союзъ, котораго основаніемъ была непорочность; существомъ—взаимное почтеніе, а пищею—райскіе сладости благословеннаго сожитія" .. Потомъ вступаетъ на престолъ другой государь, и добродѣтель Слѣполюба награждается: „онъ возводится на самую вышнюю степень знатности".

Изъ приведеннаго пересказа ясно видно, что относится къ Wahrheit, что къ Dichtung, и въ чемъ выразилась „романизація". Охарактеризую, хотя-бы, отношеніе автора къ „судьбѣ": оно самое „романическое"—

„О, рокъ! немилосердный рокъ! За что соединилъ ты меня съ такимъ навергомъ, для котораго послѣдняя степень оказанія любовнаго жара состоитъ въ поцѣлуяхъ?" [1711]. „Сами небеса, заступники нашего спокойствія, такъ изрѣкли мнѣ его устами" [1712].

„поразить обѣихъ васъ готова уже судьбина". „Безглазый безмозглый случай"...

„Небеса, нерѣдко спящія при совершающихся на земли несправедливостяхъ, проснулися на сей разъ противу своего обыкновенія".

Не прочь авторъ и морализовать:

„О, бѣдный Слѣполюбъ, есть-ли бы зналъ, колико омерзенія достойный ты обожаешь предметъ? [1713].

„Желающему искуснымъ здѣлать себя мудрецомъ, надлежитъ учится любомудрію у несчастія" [1714].

Не прочь онъ окрасить свое изложеніе субъективизмомъ, въ видѣ патетическихъ восклицаній.

„Психика" героевъ выясняется обычнымъ порядкомъ—или самъ авторъ непосредственно раскрываетъ душу героевъ,—или этому помогаютъ „внѣшнія проявленія" „внутренней борьбы" (слезы, обмороки)—или, наконецъ, герои сами въ патетическихъ монологахъ говорятъ о своихъ чувствахъ.

Къ авантюрнымъ романамъ типа Прево относится также произведеніе дѣвицы Н. Н.: *„Лейнардъ и Термилія, или злосчастная судьба двухъ любовниковъ"* [1716].

Содержаніе этой сентиментальной повѣсти очень несложно,—

Лейнардъ, идеальный юноша, былъ „нѣкогда въ большой компаніи"; до того онъ „наслаждался еще вольностію", но, увидя Термилію, онъ влюбился въ нее страстно, „съ перваго взгляда": „отличная красота ея, скромность и благопристойность поступковъ привлекли на нее его взоры". Разговорившись съ нею, онъ увидѣлъ, что „разумъ ея еще превосходнѣе красоты". Когда она уѣхала, онъ сразу заскучалъ,—жестокая мука и печаль" овладѣли имъ. Хозяинъ дома обѣщалъ ввести Лейнарда въ домъ матери Термиліи; спросивъ разрѣшеніе у ея матери, онъ при-

везъ Лейнарда къ нимъ въ домъ. Потомъ Л. сталъ бывать у нихъ часто. Однажды, „бросясь передъ нею на колѣни, началъ онъ изъяснять ей свою любовь съ такою чувствительностію, которая, конечно, тронула въ ту же минуту ея сердце". Т. сперва отмучивалась, но потомъ, подъ вліяніемъ упорныхъ ухаживаній Лейнарда, сама увлеклась имъ, хотя сначала старалась это скрыть отъ него. Разъ она сказала ему, что готова выйти за него замужъ. Онъ сдѣлалъ предложеніе; оно было принято. Всѣ довольны и счастливы, но „судьба все сіе перемѣнила, и удалила пріятнѣйшій для нихъ день тогда, когда они чаяли быть къ оному приближены".

Отецъ Лейнарда, желая испытать его любовь, отложилъ свадьбу, и рѣшилъ отправить его путешествовать въ чужіе края. Съ этимъ печальнымъ извѣстіемъ вошелъ Л. въ комнату Термиліи „трепещущими ногами". Узнавъ о необходимости временной разлуки, Т., увѣренная въ своей и его любви, успокаиваетъ его и уговариваетъ его ѣхать. Въ его отсутствіе, Термиліи стали сватать богатаго жениха. Мать ея предпочла богатство достоинствамъ, и стала убѣждать дочь отказаться отъ Лейнарда. Термилія въ горѣ дала „вольное теченіе слезамъ". Лейнардъ вернулся. Поѣхалъ онъ къ Термиліи и засталъ ея чувства неизмѣнными—но она его встрѣтила слезами... Удивленіе Лейнарда. Она разсказала ему, что ее принуждаютъ выйти за богача-Органа, но что она вѣрна ему: „любовь и должность борются въ моемъ сердцѣ: и не въ силахъ побѣдить любовь, но и должность преступить не могу".— „Читатель! вообрази себѣ, что почувствовалъ Лейнардъ, услышавъ сіи слова!"—восклицаетъ авторъ.

Л. захотѣлъ отомстить своему сопернику и поѣхалъ къ нему; онъ сталъ „безъ всякихъ околичностей" упрекать Органа за то, что тотъ хочетъ „купить руку такой дѣвицы, которой сердце уже занято", не спросивъ ея согласія. Потомъ онъ заявилъ Органу: „во мнѣ находите вы такого человѣка, который, либо потеряетъ свою жизнь, либо вашу у васъ отниметъ". Органъ отъ дуэли сталъ уклоняться. Л., видя его трусость, сказалъ ему, что, когда онъ „столько подлъ, что не хочетъ отвѣчать на вызовъ, то пусть пріѣдетъ на слѣдующій день къ матери Термиліи, и онъ, Лейнардъ, тоже пріѣдетъ,—пусть она изъ нихъ обоихъ сдѣлаетъ выборъ.

На слѣдующій день оба явились. Мать Термиліи была одна; Л. ее сталъ укорять; она сказала, что „всякая мать желаетъ дочери своей благополучія". Л. попросилъ, чтобы Т. сама сдѣлала выборъ, обѣщая покориться ея рѣшенію. Т. стала просить у матери разрѣшенія выйти за Лейнарда. „Милостивая Государыня! вы дѣлаете меня несчастной! вы сами дозволили любить Лейнарда! вы требовали отъ меня, чтобы я почитала его назначеннымъ соединить судьбу свою съ моею. Сердце мое тогда было еще свободно, но, повинуясь вамъ, я привыкла его любить. Теперь-же, когда сія любовь глубоко вкоренилась, вы приказываете мнѣ обратить ее на другой предметъ!.. Но знайте, Милостивая Государыня! что это невозможно,—страсть моя непобѣдима, и я скорѣе умру, нежели соглашусь отдать руку мою кому-нибудь иному, кромѣ Лейнарда. Такъ я чувствую, что не переживу разлуки съ нимъ,—и вы будете причиной смерти несчастной дочери вашей!"

Мать пришла въ нерѣшимость. Наконецъ, она рѣшила въ пользу Лейнарда. „Я думаю, что перо мое слабо будетъ описать радостный восторгъ сихъ любовниковъ"—восклицаетъ авторъ. Но настоящее рѣшеніе матери было въ пользу Оргона. Однажды она велѣла слугамъ никого не принимать, — только Оргонъ былъ принятъ. На дому произошло вѣнчаніе. Лейнарду отказали отъ дому. Ничего не зная о происшедшемъ, онъ пишетъ трогательное письмо Термиліи, съ просьбою выяснить ему причину. Она отвѣчаетъ ему такимъ же патетическимъ письмомъ, которое начинается со словъ: „Что можетъ сравниться съ нынѣшнимъ моимъ отчаяніемъ? Увы! и навсегда уже разлучена съ тобою! Въ послѣдній разъ пишу я къ тебѣ сіе письмо, ибо должность моя впредь того мнѣ не позволитъ; знай, что уже три дня тому назадъ, какъ я—супруга Оргонова!.. Ни мое отчаяніе, ни мои слезы не могли меня отъ того избавить. Едва дышущу привлекли меня къ олтарю". Съ горя Л. едва не сошелъ съ ума, — „онъ покушался нѣсколько разъ прекратить жизнь свою и произвелъ бы то въ дѣйство, естьлибъ, по щастію, не былъ удерживаемъ. Но время превратило сіе отчаяніе въ глубокую задумчивость. Онъ удалился въ уединеніе. Термилія черезъ шесть мѣсяцевъ умерла: „хладной гробъ вмѣстилъ въ себя изнуренное тѣло ея". „Послѣднее слово, ею произнесенное, было—„Лейнардъ". Л. тоже скоро умеръ.

Отъ этой маленькой исторіи вѣетъ жизненной правдой. Какъ въ приключеніяхъ маркиза Г., такъ и здѣсь чувствуются въ основѣ дѣйствительно-пережитыя страданія. Что касается до литературной формы, въ которой выразилась эта Wahrheit, то она, несомнѣнно, заимствована у Прево, или у однородныхъ писателей. Передъ нами—сюжетъ, излюбленный Прево: несчастная любовь двухъ прекраснодушныхъ героевъ. Неудача ведетъ ихъ къ „уединенію" и „смерти"... Самый стиль повѣсти, приподнятый, сентиментальный, съ примѣсью субъективнаго элемента и паѳоса „прекраснодушія", тоже сближаетъ произведеніе Н. Н. съ романомъ Прево. „Рокъ-судьба" также играетъ здѣсь нѣкоторую роль.

„Злой рокъ судилъ быть послѣднему" [1717].

„Судьба дозволила ему наслаждаться нѣсколько времени щастіемъ для того только, чтобъ послѣ тѣмъ сильнѣе его поразить" [1718].

Герой повѣсти—идеальный юноша:

„Лейнардъ—молодой и богатой человѣкъ, украшенной многими природными дарованіями природы и чувствительное имѣющій сердце" [1719].

Дѣйствующія лица обмѣниваются патетическими письмами, монологами, ведутъ оживленные діалоги. Напр.—

„...бросаясь предъ нею на колѣни и цѣлуя ея руки, началъ говорить: „Увы, любезная Термилія! намъ должно съ тобою разлучиться: отецъ мой сіе мнѣ приказываетъ" [1720].

„Прекрасная Термилія! выведите меня изъ сей неизвѣстности. Какое нещастіе поразило меня, постигнетъ и васъ! Что значатъ сіи вздохи

и сіи слезы?" Термилія отвѣчала ему слѣдующимъ образомъ: „Увы, любезный Лейнардъ! я надѣюсь, что ты увѣренъ въ моей къ тебѣ вѣрности и въ томъ, что ты столько же и нынѣ драгоцѣненъ моему сердцу, сколько былъ и прежде,—но, увы! я должна тебя лишиться" [1721].

Иногда со своими патетическими восклицаніями врывается въ изложеніе самъ авторъ—

„но, увы! скоро онъ испыталъ жестокость нещастнаго состоянія!" [1722].

„Читатель удобно представить себѣ можетъ жалкое состояніе бѣдной Термиліи!" [1723].

„Увы! что должно ей было предпріять и къ кому прибѣгнуть?" [1724].

—

Еще ближе къ роману Прево небольшое произведеніе; *„Повѣсть одного россійскаго дворянина, удалившагося отъ свѣта"* [1725].

Авторъ разсказываетъ, какъ послѣ долгихъ странствій по Европѣ, пріѣхалъ онъ въ Петербургъ, и здѣсь познакомился съ богатымъ бездѣтнымъ старикомъ Н. Н. Онъ завезъ автора послѣ прогулки къ одному „пустыннику, котораго онъ нѣсколько разъ просилъ, дабы тотъ согласился быть его наслѣдникомъ, но никоимъ образомъ на то склонить его не могъ". (Ср. на стр. 659 совершенно такое же положеніе).

Пустыннику оказалось всего 20 лѣтъ. „О разныхъ вещахъ разговаривалъ онъ съ чрезмѣрною и лѣта его превосходящею мудростію". Внѣшній видъ его, „складное сложеніе членовъ" — все говорило, что онъ созданъ былъ для иной жизни; цвѣтъ лица его ни мало съ столь мрачною жизнію не сходствовалъ, и въ темной хижинѣ сіяніе оной не угасало. „Я внятно на него смотрѣлъ и увидѣлъ въ глазахъ его съ уединеніемъ не сходственность, ибо уединенная жизнь человѣку, удалившемуся отъ всѣхъ суетъ сего свѣта и заботъ", приноситъ покой, а у этого пустынника авторъ замѣтилъ на лицѣ печаль. Онъ пришелъ къ заключенію, что юноша „препровождаетъ болѣе горькую жизнь, нежели уединенную"... Авторъ наводитъ о немъ справки у дворянъ, живущихъ въ домѣ Н. Н. Оказывается, что юноша-пустынникъ только два мѣсяца живетъ вдали отъ суетъ міра.

Н. Н. почти ежедневно ѣздитъ къ нему и упрашиваетъ сдѣлаться его наслѣдникомъ. Онъ рѣшительно отъ этого отказывается, сказавъ: „естьли вамъ то несносно, что я кусокъ сей земли занимаю моимъ бѣднымъ жилищемъ, скажите мнѣ, государь мой, то я пойду индѣ искать мѣсто, къ которому бы могъ бѣдную мою приклонить голову".

Авторъ утромъ рано отправился самъ къ пустыннику.

„Вошедши въ его хижину, мы долгое время одинъ на другого пристально смотрѣли, не говоря ни слова"; потомъ они разговорились. Авторъ „нашелъ сего молодаго пустынника, сверхъ своего чаянія, мудрымъ и во всемъ искусившимся человѣкомъ". Онъ высказываетъ далѣе подозрѣніе, что душа пустынника тоскуетъ отъ сильной страсти. Затѣмъ онъ спрашиваетъ юношу-пустынника о причинѣ его уединенія — думаетъ, что „потерянiе надежды"—главная тому причина; убѣждаетъ его открыть свою тайну, говоря, что опасаться ему нечего.

„Пустынникъ въ крайнее пришелъ удивленіе, услыша мои изреченія“—сперва онъ отказался разсказывать свою жизнь, сказавъ автору, что будетъ молчать, „чтобъ въ сердцѣ вашемъ не возобновить тѣхъ томлѣній, въ коихъ вы мнѣ признались“. „Я несчастливъ уже былъ, когда, оставивъ родителей своихъ, удалился отъ нихъ и бѣжалъ отъ самого себя, потому что нынѣ ни въ свѣтѣ, ни въ богатствѣ, ни въ самомъ себѣ, никакой отрады сыскать не могу“... Авторъ хотѣлъ уже уйти, но пустынникъ его удержалъ — онъ сказалъ, что чувствуетъ къ автору симпатію и довѣріе. „Я не знаю, государь мой, что за склонность сердце мое къ любленію васъ привлекаетъ, — и какъ скоро вы съ моего берлога встали, съ намѣреніемъ со мною рататься, то сердце мое затрепетало“. Потомъ онъ начинаетъ разсказывать свои приключенія.

Онъ—сынъ бѣднаго дворянина; хорошо воспитанъ, и съ малолѣтства полюбилъ путешествія. Побывалъ въ Варшавѣ, Вѣнѣ, Флоренціи, Римѣ, Ливорно. Письмомъ онъ былъ вызванъ домой.

„Не хочу уже васъ утруждать тщетнымъ повѣствованіемъ разныхъ приключній, мною претерпѣнныхъ въ дорогѣ, по той причинѣ, что онѣ уже всѣмъ почти путешествователямъ приличны, но одно только мое несчастіе вамъ открываю“. Поѣхалъ онъ изъ Петербурга по должности въ Константинополь, но въ Бухарестѣ захворалъ. „Лихорадка всѣ мои кости почти перетрясывать начала; жестокою изнеможенъ болѣзнію, принужденъ я былъ на посланной постелѣ бѣдное свое распростерть тѣло“. Отчаяніе его. „Смерть съ пожинающею всѣ жизни косою, глазамъ моимъ представала, и началъ я разсуждать о томъ состояніи, которому каждый умирающій предается“.

„Всѣ мои философическія разсужденія миновались, и тогда я узналъ, что и философамъ смерть страшна“. „Но въ книгѣ вѣчныхъ опредѣленій, еще мнѣ между живущими остаться назначено было.“ Поправившись, онъ сталъ развлекаться, ходить по игрищамъ и увеселеніямъ. Здѣсь его вниманіе было привлечено одной красавицей, всегда бывавшей на гуляніяхъ,—она „изъ моей поверхности догадалась, что и былъ человѣкъ иностранный“, и сама заговорила съ нимъ, выразила ему сожалѣніе, что „мѣстныя дамы, каждая изъ нихъ, совокупившись съ своимъ единымъ иноземцемъ, разными пріятными на семъ игрищѣ представленіями довольствуется“, оставя его „безъ компаніи“. „Я, лучше ихъ зная странопріимства должность, почла за долгъ съ вами пріятной довольствоваться бесѣдой, и, естьли вамъ присутствіе мое не будетъ скучно, то и за особенное почту счастье имѣть съ вами честное обхожденіе“. Отъ такого предложенія онъ счастливъ. „Она бросала на меня умильные взоры“, звала къ себѣ обѣдать. Хорошій обѣдъ, сладкіе напитки. Узналъ, что разсказчикъ скоро уѣзжаетъ изъ Бухареста, она „жестоко вздохнула“. „Вздохновеніе ея толь страннымъ мнѣ показалось, разсказываетъ онъ, что и не могъ изобрѣсти въ мысляхъ моихъ подлинной причины онаго; мнѣ показалось дѣломъ невозможнымъ, чтобы столь знатная женщина, какъ видно было по ея экипажу, могла такъ скоро влюбиться въ иностраннаго человѣка“. Потомъ подали кофе; „потомъ наступило благоуханное куреніе“.—Она, „повторивши вздохновеніе“, съ „пріятнымъ видомъ“ спросила его, нельзя ли ему остаться.

Онъ понялъ, что она влюблена, и сдѣлалъ видъ, что не понимаетъ ея, и отвѣтствовалъ: „Не знаю, чѣмъ и кому отъѣздъ мой вреденъ быть можетъ?“ etc. „Тогда сія дама, улыбнувшись, шутливую завела рѣчь“, говоря: „не тотъ человѣкъ глухъ, который не слышитъ, потому что не можетъ; но тотъ, кто слышитъ, а не хочетъ! вы, государь мой, продолжала она, изрядно разумѣете языкъ сердца моего, но умышленно словъ его понимать не хотите.“ Наконецъ, она сама признается ему въ любви. „Тогда я, ни слова не отвѣчая, смотрѣлъ на нее пристально,— она мнѣ казалась прекрасною; страсти мои между собою боролись, и я самъ не зналъ, какой конецъ съ моею будетъ добродѣтелью, коей я до тѣхъ поръ строгимъ былъ наблюдателемъ. Наконецъ, я почувствовалъ, что сердце мое никакое отвращеніе къ сей дамѣ возъимѣло“. Онъ сталъ такъ разсуждать: „разумна та женщина, которая любителя своего одною только политичною надеждою питаетъ, никогда ни словами, ни дѣйствіями не приближаясь къ любовнымъ слѣдствіямъ.— Любовь желаніемъ сильна, а естьли ей болѣе желать нечего, то она уменьшается и обращается въ ничто“. И вотъ, подкрѣпивъ себя такими разсужденіями, онъ отказываетъ въ любви этой дамѣ... „Тогда она спросила, нѣтъ ли у меня турецкихъ вещей къ продажѣ. Такимъ вопросомъ я весьма огорчился, и съ притворною смѣлостію ей отвѣтствовалъ, что она весьма ошиблась, сжели меня за торговца почла“. Разстались они холодно.—„Изъ чего я заключилъ, что безнадежная любовь ея не что иное есть, какъ точная ненависть“.

Потомъ явились къ нему два секретаря тамошняго Господаря. Они пригласили его на собраніе во дворецъ. На этомъ собраніи онъ убѣдился, что „господа Волохи и Молдаване,—нечиной выхвалялъ свое знаніе, одинъ другого порочилъ, и никто изъ нихъ о себѣ лучшаго сказать не могъ“. Онъ усмотрѣлъ полное невѣжество гостей—ничего они не знали, хотя и разсуждали обо всемъ свободно. Затѣмъ онъ поѣхалъ въ другой городъ, гдѣ „имѣлъ честь быть у наипречестнѣйшаго человѣка, командующаго онымъ, (т. е. городомъ)“. „Сей мужъ есть одинъ изъ наидобродѣтельнѣйшихъ; и не видывалъ во всѣ мои путешествія разумомъ, скромностью, гостепріимствомъ подобнаго ему“. Въ этомъ городѣ и стряслась бѣда съ разскащикомъ. „Всѣ мои философическія разсужденія въ семъ городѣ окончились,—и тогда я узналъ, что и философы волненіямъ своихъ страстей подвержены“. Онъ плѣнился здѣсь красавицей; „скромная поверьхность и добронравной видъ обворожили мои глаза“. Во время контерданса „заткнулся я объ ея ногу,—она, ни мало такимъ моимъ поступкомъ не огорчившись, какъ, обыкновенно, горделивыя красавицы дѣлаютъ, но себя почти за виноватую, просила меня, чтобы я простилъ ее въ неосторожности“. — Онъ влюбился въ нее, хотѣлъ выразить ей свою любовь, но не могъ; такъ она и уѣхала... Отецъ въ это время потребовалъ его домой.

Слѣдуютъ разсужденія о томъ, что философы не застрахованы отъ печали такъ, какъ доктора, лечащіе другихъ,—отъ болѣзни. Онъ ищетъ встрѣчи съ дѣвицею, чтобы съ ней объясниться и оправдаться, но все было тщетно.

И вотъ, юноша-философъ, чтобы не вредить никому своимъ пессимизмомъ, скрывается отъ людей въ уединеніе. Живя въ хижинѣ, онъ

уже началъ, было, успокаиваться, привлекъ уваженіе жителей, приходившихъ бесѣдовать съ нимъ. „Но ахъ! можно-ли предъ зрящимъ повсюду судьбы скрыться окомъ?.. Пріѣхала одна знакомая изъ того города, гдѣ жила богиня пустынника, и сказала ему, что та весела, счастлива и совсѣмъ не знаетъ, что здѣсь несчастнѣйшій страждетъ". Онъ—въ отчаяніи.—Повѣсть свою онъ разсказалъ, чтобы слушатель ее издалъ—„по крайней мѣрѣ,—говоритъ онъ,—узнаютъ чрезъ сіе нечувствительные любовницы о страждующихъ своихъ обожателяхъ".

Вся эта повѣсть представляетъ собою, словно, одну главу изъ романа Прево: тотъ же главный герой, прекраснодушный юноша, философъ-резонеръ, легко побѣждающій свои волненія въ одномъ случаѣ, но жестоко страдающій отъ нихъ—въ другомъ. Подобно Маркизу Г., и онъ чувствуетъ необходимость въ „пустынѣ" и „уединеніи".

Скромные размѣры произведенія не дали авантюрному элементу возможности въ немъ развернуться широко и свободно. Но рамки для такихъ авантюръ намѣчены (путешествія по всей Европѣ, „приключенія", приличныя героямъ романическимъ).

„Судьба" дѣйствуетъ здѣсь такъ же, какъ и во всѣхъ предыдущихъ романахъ и повѣстяхъ.

„Но, ахъ! можно-ли скрыться предъ зрящимъ повсюду окомъ судьбы?" 1726.

„Всѣ люди подвержены волѣ судьбины" 1727.

„Рокъ никакихъ разборовъ не знаетъ" 1728.

„Превратная фортуна похитила у него природныя дарованія и загнала въ пустыню" 1729.

Повѣсть, очевидно, преслѣдуетъ нравоучительныя цѣли: авторъ часто вмѣшивается въ свой разсказъ съ различными „разсужденіями" касательно разныхъ вопросовъ бытія.

„О, небо! кому смерть не страшна!.. Безразумныя животные оной боятся. Станетъ овечка, трепещетъ, наклоняя горло подъ острый ножъ мясника; ужасной испускаетъ ревъ волъ, увидя обухъ въ рукахъ хищника жизни своей,— и бѣдная мушка, ежели тронешь ее плетомъ, то печальной произноситъ звукъ и передъ смертію трепещетъ" 1730.

Авторъ очень интересуется психикой дѣйствующихъ лицъ,— герой его самъ, чаще всего, разсказываетъ о томъ, что происходитъ въ душѣ его, или въ душѣ другихъ дѣйствующихъ лицъ. Монологи, вообще, какъ водится, проникнуты „паѳосомъ".

„Здравыя разсужденія, благопристойность, надежда, всѣ вдругъ изъ моей головы печальное сіе извѣстіе исключило; но можетъ ли какой разумъ печали любви повиноваться?" 1731.

„Она изъ моей поверьхности догадалась, что я былъ человѣкъ иностранной, и, надѣясь во мнѣ сыскать страстнымъ своимъ и корыстолюбію удовольствіе, подошедъ, ко мнѣ говорила" 1732;

Иногда авторъ самъ говоритъ о психикѣ героевъ, или, высказываетъ психологическія сентенціи—

„Кто въ чемъ упражняется, тотъ легко уже упражняющагося познаваетъ; какъ то любовникъ любовника—по глазамъ, а несчастной несчастнаго—по бѣдѣ“ [1733].

„Потеряніе надежды толь сильно мысли наши ослѣпляетъ, что мы ничего не видимъ, кромѣ нашей горести и безпрестанныхъ сѣтованій“ [1734].

Въ повѣсти много „философскихъ размышленій“,—напр., о загробной жизни, о страхѣ смерти... Напр.—

„Сколь жизнь ни горестна, но всегда пріятнѣе смерти; и что въ нашей жизни ни находится, все страшно и все печально!“ [1735].

„Родимся изъ чужаго несчастія; начало наше—болѣзнь и отчаяніе; ибо колико кратно случается, что родительницы наши, даруя намъ жизнь, сами оной лишаются!“ [1736].

„Человѣкъ, во время своего несчастія, разные примѣры для предбудущей жизни изъ онаго обрѣтаетъ, но коль скоро оно прекратится, то, съ нимъ совмѣстно, всѣ наши благоразумныя предпріятія исчезаютъ“ [1737].

Разсказъ отличается обычнымъ паѳосомъ.

„О! коль счастливы тѣ люди, которые красивыхъ женъ имѣютъ, которые думаютъ, что жены ихъ многими любимы, ибо нѣтъ мучительнѣе въ свѣтѣ предмета, какъ имѣть какую драгоцѣнную вещь болѣе для другихъ, нежели для себя“ [1738].

Къ романамъ типа Прево относятся еще два произведенія, вошедшія въ составъ книги: *„Разныя повѣствованія, сочиненныя нѣкоторою Россіянкою“* [1739]: — *1) Супружеская вѣрность* и *2) Приключенія Честомысла.*

Оба произведенія, несомнѣнно, имѣютъ въ основѣ факты изъ жизни, но эти факты покрыты густымъ слоемъ романизаціи—въ обращеніяхъ къ „судьбѣ“, въ многочисленныхъ патетическихъ монологахъ, въ попыткахъ философствовать—и, наконецъ, въ сентиментальныхъ описаніяхъ природы нельзя не усмотрѣть яркихъ слѣдовъ сильнаго книжнаго вліянія.

Супружеская вѣрность. „Нещастіе вооружается часто и противу самой добродѣтели; часто несетъ оно свое оружіе въ предѣлы тишины и спокойствія, и тамъ поражаетъ отъ суетъ свѣта удалившихся людей. Нилонтъ съ Милорою показываютъ примѣръ, какимъ бѣдствіямъ добродѣтель подвержена быть можетъ“.

Это была нѣжная согласная пара: „во всемъ они соглашали мысли свои, чувства, правила и нравы.. Казалось, одна душа въ двухъ существахъ обитаетъ“.

„Черезъ три года они получили залогомъ своей вѣрности сына". Они богаты,—„но вредное тщеславіе и тщетная пышность не преподавали никогда имъ своихъ ядовидыхъ законовъ", — такъ какъ въ сердцахъ ихъ сооруженъ былъ храмъ добродѣтели, и они повседневно находили случай возсылать ей жертву".

У Нилонта былъ братъ Зломыслъ, который ненавидѣлъ эту счастливую чету; онъ велъ широкую жизнь, и нѣсколько разъ разорялся; Нилонтъ ему всегда оказывалъ матеріальную поддержку, но все было тщетно,— и, наконецъ, Зл. окончательно все растратилъ; тогда Нил. „выкупилъ его имѣніе и убѣждалъ переселиться изъ города въ сіе селеніе, но неблагодарный Зломыслъ сугубѣе еще ожесточился противу его за таковый совѣтъ — онъ уничтожилъ слова его и опять посвятилъ себя градской жизни".—

Счастливая чета соскучилась среди суетъ города. Здѣсь „часто видѣли они торжествующіе пороки и гонимую добродѣтель; видѣли тщетныя забавы, которыя въ себѣ градъ вмѣщаетъ; видѣли вражду, обитающую подъ видомъ дружества,—и обманъ, пріявшій на себя имя любви". „Почувствовали они отвращеніе къ таковой мятежной жизни, и, находя прямое свое утѣшеніе другъ въ другѣ, разсудили прибѣгнуть къ невинности, обитающей въ полихъ и рощахъ".

Въ деревнѣ пріобрѣли они душевное спокойствіе. Заботились о крестьянахъ: „добродѣтельное сердце, не будучи само причастно порокамъ и коварствамъ, страждетъ, когда видитъ въ другихъ ужасныя сіи свойства". И. помогалъ крестьянамъ въ ихъ работахъ; они считали его „отцемъ".

Ребенокъ Нилонта и Милоры выросъ милымъ мальчикомъ. Они были счастливы, — „казалось, сама судьба съ предѣловъ жилища своего къ нимъ взираетъ,—она проливала къ нимъ источники радости".

Однажды счастливая семья гуляла. „Въ единый день, когда солнце, совершя свое теченіе, сокрылось въ бездну водъ, и вечерняя заря тонкимъ своимъ свѣтомъ едва освѣщала поверхность земли", они размышляли о величествѣ Творца, оживотворившаго всю природу; казалось, души ихъ переселяются въ превышніе предѣлы, и тамъ воздаютъ благодарныя жертвы Создателю".

„Въ семъ пріятномъ восторгѣ сѣли они у брега прозрачныхъ водъ; скоротечное теченіе воды подало имъ изобильное размышленіе о скоротечности времени. „Сколь благополучны мы, говорила Милора супругу, что мы самую сію скоротечность можемъ проводить въ тишинѣ и невинности!.. Мы, удалены будучи отъ суетъ, удобнѣе чувствуемъ ничтожность свѣтской жизни!.. Мы постигаемъ, что добродѣтель есть единственный путь для достиженія вѣчнаго блаженства". „Они слышали вокругъ себя согласное пѣніе птицъ и видѣли гнѣзда, трудами ихъ совиваемыя,—восхищались понятіемъ, одушевляющимъ тварь.. Они разсматривали цвѣтки, между кустарниковъ распускающіеся; удивлялись порядку, въ природѣ находимемуся; наконецъ, шумящія близъ нихъ листнія древесъ тихимъ своимъ колебаніемъ склонили ихъ къ пріятному сну". Всѣ втроемъ заснули на лонѣ природы.

„О, случаи, нами управляющіе!"—восклицаетъ авторъ. Пока размышляли они о добродѣтели—„уже злоба стояла у другой стороны бе-

рега и уже отверзла свои челюсти для поглощенія сихъ невинныхъ супруговъ".

Просыпается Милора—супруга и сына около нея не оказалось.

Полная ужаса, она ищетъ ихъ. Два крестьянина сказали, что разбойники, проѣзжая, убили и бросили въ воду какого то человѣка съ младенцемъ. Услышавъ это, она падаетъ въ обморокъ, хочетъ утопиться. Всѣ крестьяне сочувствуютъ ей. Плачетъ вся деревня. „Какое терзаніе разрывало сердце Милоры!—„О, мой возлюбленный супругъ!" вскричала она, возари изъ бездны водъ въ жилище твоей отчаянной супруги; смотри, что смерть твоя здѣсь производитъ!" Она проситъ у всѣхъ убить ее.

Является Зломыслъ, опять все прокутившій. Узнавъ о смерти брата, онъ въ восторгѣ забираетъ деревню и прогоняетъ Милору. Милора хочетъ зарѣзаться на мѣстѣ разлуки съ мужемъ. Крестьяне, увидѣвъ ее, удержали ея руку, и повели ее къ себѣ домой. М., видя, что ей мѣшаютъ убить себя, рѣшила удалиться въ безвѣстныя мѣста". Она идетъ жить къ одному пустыннику.

„Сей добродѣтельный старецъ былъ благородно-рожденный"; жилъ онъ въ убогой хижинѣ и всѣмъ помогалъ. М. рѣшила, что „въ уединенной жизни найдетъ возможное счастье". Она восхваляетъ уединеніе. Крестьяне провожаютъ Милору и, на прощанье, „собираютъ ей денегъ. Происходитъ трогательное патетическое прощаніе.

„Убогое рубище покрывало тѣло Милоры". „Блѣдной видъ и унылый взоръ изображалъ терзаніе чувствъ ея; протекающія источникомъ слезы называли отчаянность души ея. Каждое мѣсто, каждая травка, каждая березка на дорогѣ, взору ея встрѣчающаяся, напоминала ей возлюбленнаго супруга: паче всего не могла она взирать безъ особливаго терзанія на текущія воды... „Увы!—говорила она, сія ужасная стихія скрываетъ въ себѣ все то, что утѣшеніе всей моей жизни составляло!"

„Пустынникъ проситъ Милору отойти отъ пещеры, такъ какъ вблизи ея живетъ ядовитая змѣя. „Увы! отвѣчала она пустыннику, пускай она жаломъ своимъ умертвитъ меня,—я ищу смерти!"—„Пустынникъ говоритъ, что этотъ укусъ змѣи не принесетъ ей смерти, но только болѣзнь!" „Я покажу тебѣ дѣйствіе яда змѣи сей,—тамъ увидишь страждущаго младенца, болящаго отъ ея жала; казнись, зря его мученіе, и не дерзай впередъ подходить къ ея норѣ".

М. въ больномъ младенцѣ узнаетъ своего сына, и тутъ же видитъ мужа.—М. „повергласъ въ его объятія; они, соединя руки и уста свои, трепещущи и чувствъ лишенные, упали къ лежащему своему сыну. „О, Боже!"—вскричалъ Нилонтъ „о, возлюбленная моя супруга!.. ты ли мнѣ возвращена стала! боюсь увѣрить себя въ томъ! промолви, покажи образъ свой! ты ли это, которую зрю въ моихъ объятіяхъ?"

„Неоцѣненный мой супругъ!" воскликнула Милора, „ты, котораго смерть привела меня въ сіе страждущее состояніе, теперь предстоишь предо мною? ты меня объемлешь!.. Постой! не отступай отъ меня! страшусь, нещастная, что бы сіяжъ минута опять насъ не разлучила! Какъ? когда? и гдѣ мы съ тобою встрѣтились? Смерть-ли, или жизнь насъ соединяетъ?" — „Опомнись, возлюбленная моя Милора!" со трепетомъ

сказалъ Нилонтъ, „опомнись, познай во мнѣ вѣрнѣйшаго супруга твоего, и въ семъ страждущемъ младенцѣ познай сына твоего!"

„Скорбящій младенецъ, казалось, почувствовалъ дѣйствіе природы,—онъ послѣ жестокихъ своихъ болѣзней, въ первый разъ явилъ пріятный видъ и, улыбнувшись, смотрѣлъ на Милору". Крестьянка, провожавшая Милору, тоже счастлива.

М. проситъ, чтобы мужъ разсказалъ ей свою исторію. Супруги благодарятъ пустынника за пріютъ, за излеченіе младенца и идутъ обратно домой. По дорогѣ Н. разсказываетъ женѣ свою исторію: разбойники связали его, завязали ему ротъ, положили съ сыномъ въ лодку и уѣхали; имени своего онъ имъ не сказалъ. Они привязали его въ лѣсу „съ симъ младенцемъ къ дереву, наложа оковы на ноги; сами пошли окровавлять руки свои; спустя нѣсколько часовъ времени, возвратились ко мнѣ и показали мнѣ мечи, кровію обагренные". Они хотѣли заставить и его сдѣлаться разбойникомъ. Но онъ отказался, предпочитая смерть. Нѣсколько дней онъ оставался въ лѣсу привязаннымъ. „Сердечное мое терзаніе, напоминаніе о возлюбленной супругѣ, гладъ и ужасъ привели меня въ изнеможеніе,—два дня былъ я въ семъ бѣдственномъ состояніи и уже испускалъ послѣдній духъ мой, произнеся слабымъ голосомъ имя Милоры".

„Но судьба, можетъ быть, твоею добродѣтелью, о, дражайшая Милора, тронута стала!". Его освободили. „Люди, собою испытавшіе несчастіе, удобнѣе входить могутъ въ несчастіе другаго и съ поспѣшностію помощь свою таковымъ подать стремятся".

Въ лѣсу Н. заблудился. (Живой разсказъ). Наконецъ, попалъ онъ къ пустыннику. Укусъ змѣей ребенка. Закончилъ онъ свой разсказъ обращеніемъ къ женѣ: „О, ты, обнопительница жизни моея! умѣла ты содѣлать конецъ моимъ злополучіямъ, оживила ты томностію умерщвленныя мои чувства! ты возвратила мнѣ твою любовь, твою вѣрность, — ту вѣрность, которая жизнь нашу съ тобою наполняла пріятностями". М. разсказала, что съ нею произошло,—только умолчала о томъ, что она выгнана была Зломысломъ. Крестьяне радостно встрѣчаютъ ихъ, „Они устремились къ благодѣтельному своему помѣщику,—иные несли къ нему собранные ими колосья,—иные, имѣя хлѣбъ въ рукахъ, приносили ему, какъ будто жертву какому ни есть божеству; изъявляли они рыданіемъ радость свою; бѣжали за нимъ и останавляли шаги его, лобызая стопы Нилонтовы".

Зломыслъ, полный раскаянія, трепещетъ и проситъ прощенія.—Нилонтъ все прощаетъ Зломыслу.—„Порочный Зломыслъ возмогъ почувствовать снисхожденіе брата своего и его супруги,—и возрыдалъ". Онъ исправился и возгорѣлъ любовію къ брату своему,—„природа явила надъ нимъ свое дѣйствіе: онъ началъ стыдиться порочныхъ своихъ склонностей"... Наконецъ, позналъ, что для блаженства жизни должно прибѣгать къ добродѣтели; что для услажденія жизни должно посвятить сердце свое дружеству".

И вотъ, они втроемъ ведутъ счастливую жизнь, и Зломыслъ сталъ жить съ ними, и „посвятилъ себя купно съ ними сельской жизни". Они устроили благосостояніе крестьянамъ своимъ"; „любили всѣхъ,—всѣмъ были признательны, „восхищались они взаимною вѣрностью

другъ къ другу, и въ таковомъ то блаженномъ состояніи текла жизнь сихъ щастливыхъ супруговъ".

Заключеніе. „О, вы, любящія добродѣтель сердца! восхищайтесь участію Нилонта и Милоры; и знайте, что, естьли когда-нибудь случай ввергнетъ васъ въ нещастіе,—вы изъ онаго извержены будете; ибо вы побѣждаете добродѣтелью своею нещастье; предъ вами трепещетъ порокъ и обезоруживается злоба!.. Торжествуйте, добродѣтельныя сердца! и принимайте жертвы, намъ приносимыя!"

Приключенія Честомысла. Ч. получилъ хорошее воспитаніе и образованіе. Родители „имѣли попеченіе объ его нравѣ и его сердцѣ". На восемнадцатомъ году лишился онъ матери; утѣшаетъ отца. У него другъ Зефиръ. Когда исполнилось Честомыслу двадцать лѣтъ, отецъ рѣшилъ его женить на Идолидѣ, знатной и богатой дѣвицѣ. Честомыслу она не нравится, но, не желая оказывать непослушаніе отцу, онъ отсрочилъ свадьбу поѣздкой въ деревню. Здѣсь онъ наслаждается „сельскимъ уединеніемъ". Съ нимъ живетъ его другъ Зефиръ. „Удовольствія его усугубилися, когда онъ позналъ прелести уединенія, — онъ восхищенъ былъ новымъ положеніемъ своей жизни, и, возымѣвъ отвращеніе къ городу, еще сильнѣе противился такому браку, которой бы обязывалъ его къ пышной жизни".

„Рѣдко великолѣпіе плѣняетъ сердца человѣческія,—уединеніе и тишина, обыкновенно, почти составляютъ благополучную участь непорченныхъ сердецъ и непорочныхъ нравовъ".

Отецъ его умираетъ, взявъ съ него передъ смертью обѣщаніе жениться на Идолидѣ. Ч. это обѣщалъ, и послѣ смерти поѣхалъ, полный унынія, въ городъ, „орошая слезами пріятныя мѣста своего селенія" и не разсчитывая „никогда возвратиться къ нимъ".

Слѣдуетъ разсужденіе о счастьѣ браковъ по любви и свободному выбору.

По дорогѣ онъ восторгается природою.

„Восхитился унылый духъ его прелестьми природы. „Остановимся здѣсь, сказалъ онъ Зефиру, на нѣсколько часовъ для нашего отдохновенія; разсмотримъ мѣста, плѣняющія взоръ мой,—они удобны усладить томность мыслей моихъ, и отогнать отъ меня на нѣсколько часовъ мою горесть!" Проходя всѣ мѣста, онъ подошелъ, наконецъ, къ берегу... „Увидѣлъ по другую сторону рѣки испещренныя цвѣтами поля; легкій вѣтеръ, пролетая межъ ими, приводилъ цвѣты въ движеніе, они, колеблясь, умножали свои прелести; на ономъ стереглись стада: пастухи отдохновеніемъ своимъ изъявляли душевное спокойствіе, забавляясь свирѣльми".

Ч. сталъ рисовать ландшафтъ. Вдругъ онъ замѣтилъ дѣвицу, которая сидѣла въ задумчивости у источника. Ч. подошелъ къ ней и назвался крѣпостнымъ живописцемъ, который для господина своего рисуетъ ландшафтъ. Она оказалась бѣдной дворянкой, сиротой, которая изъ милости живетъ у здѣшней помѣщицы. Она плачетъ и жалуется на свою жизнь. Ч. тронутъ ея рѣчами. Во время бесѣды она нечаянно уронила въ воду записную книжку и испортила свой портретъ. Ч. берется его исправить и вернуть, когда на возвратномъ пути зайдетъ въ эту мѣстность. Потомъ она ушла. Ч., „разставшись съ нею,

потерялъ, казалось, все свое удовольствіе: онъ воображалъ Умозору, твердилъ всѣ ея разговоры, удивлялся самъ дѣйствію чувствъ своихъ, изобрѣталъ средство возвратиться въ сію деревню и забывалъ, какая должность влечетъ его въ городъ".

Потомъ онъ встрѣтилъ старика,—это былъ прежній прикащикъ здѣшней помѣщицы, за старостью и болѣзнью прогнанный ею и кормящій семью и себя милостынью. Старикъ разсказалъ о скупости и жестокости здѣшней помѣщицы, о тяжеломъ положеніи Честомыслу Умозоры, которую держатъ, какъ служанку, и кормятъ впроголодь, „а сія добродѣтельная, кроткая, человѣколюбивая дѣвица угождаетъ, помогаетъ бѣднымъ". Ч. волнуется, видя, что добродѣтель подвергается здѣсь такимъ гоненіямъ, желаетъ помочь.. Зефиръ похвалялъ его великодушіе.

На слѣдующій день они опять встрѣтились.

Умозора похваляла его за то, что онъ помогъ старику. „Вы заставляете меня забывать низкость нашего состоянія", сказала она ему, „и чтить ваше человѣколюбіе!.. Конечно, добродѣтель не разбираетъ благороднаго рожденія,—она, поселясь въ сердца человѣческія, затмѣваютъ собою низкость рода; она рождаетъ благородныя мысли; она умягчаетъ жестокость чувствъ!" Ч. разговариваетъ съ ней о добродѣтели, о нравахъ честности, о свойствахъ человѣка... Умозора съ удивленіемъ открываетъ въ Честомыслѣ „душевныя качества и природный разумъ". Потомъ они разстались.

Послѣ всѣхъ этихъ разговоровъ Ч. „чувствуетъ пріятную слабость..." Долго онъ колебался, разсказать-ли другу все съ нимъ происшедшее... Наконецъ, онъ не выдержалъ,—повергся въ объятія къ Зефиру". „Ты видишь во мнѣ преступника дружбы!" сказалъ онъ ему; видишь нарушителя должности и новымъ слабостямъ подверженнаго человѣка!.. Я скрывалъ отъ тебя тайну, которую тебѣ единому мнѣ вѣрить было должно.... знай, я люблю!.. И кого же люблю? дѣвицу, содержащуюся у помѣщицы той деревни, гдѣ мы ночевали". Зефиръ напомнилъ Честомыслу его обѣщаніе, данное умирающему отцу. Онъ былъ пораженъ дерзкими мечтами влюбленнаго друга увезти дѣвицу. „Какъ!" сказалъ З. „подъ ложнымъ именемъ пріѣхать, похитить благородную дѣвицу, обвѣнчаться съ нею, и черезъ то преступить клятву, данную умирающему отцу?.. Гдѣ твои правила?.. Гдѣ совѣсть твоя? в гдѣ честь, доныне тобою во всѣхъ дѣлахъ сохраняемая?!" „Трепетъ объялъ сердце Честомыслово, когда З. укорялъ его". Тогда Ч. сталъ просить Зефира, чтобы, хотя, онъ женился бы на Умозорѣ... „Но внемли словамъ моимъ!" — говорилъ онъ, „Я жертвую моею страстію! А ты, любезный другъ, пожертвуй дружбѣ, со мной тебя связующей... — Навлеки изъ страшной бездны страждующую добродѣтель!" и пр. З удивленъ такой просьбѣ; ее исполнить онъ рѣшительно отказывается. „Вспомни, что тебя ослѣпила страсть, а меня просвѣщаетъ здравой разсудокъ"—говоритъ онъ. Пріятели ѣдутъ далѣе. Разыгрывается буря. Гроза въ лѣсу. Видятъ толпу людей. Оказывается, молнія ударила въ заряженное ружье и ранила юношу, державшаго это ружье въ рукахъ. Этотъ юноша, — братъ Идолиды, который, въ отсутствіе Честомысла, вышла замужъ.

Ч. счастливъ, что онъ не долженъ жениться на Идолидѣ. И съ согласія Зефира онъ возвращается къ Умозорѣ. Явившись къ ней, и не открывая своего дворянства, все подъ видомъ крѣпостного, онъ сталъ рисовать ея портретъ. Нагрянула суровая помѣщица и, желая досадить Умозорѣ, заявляетъ, что выдастъ ее замужъ за этого „подлаго" художника. Ч. упалъ въ объятія Умозоры и открылъ ей свое званіе и богатство.

Они счастливы. „Посвятили жизнь свою сельскому уединенію" и любви взаимной. Между тѣмъ, у помѣщицы сгорѣло все. Умозора помогаетъ ей. Та раскаялась, такъ какъ „добродѣтельное сердце умѣетъ приводить въ раскаяніе".

Заключеніе: „Конечно, добродѣтель, вооружаясь терпѣливостью, въ нещастіяхъ не ропщетъ на гоненія и ожидаетъ лучшей себѣ награды: ибо она, рано или поздно, имѣетъ свое воздаяніе такъ, какъ и порокъ имѣетъ свое воздаяніе!"

Власть „судьбы" тяготѣетъ надъ героями этихъ двухъ повѣстей:

„Несчастіе вооружается часто и противу самой добродѣтели" [1740].

„Судьба съ предѣловъ жилища своего къ намъ взираетъ." [1741].

„О, случай! нами управляющіе" [1742].

Описаніе природы (утра и вечера) шаблонно.

„Солнце совершило свое теченіе, сокрылось въ бездну водъ, и вечерняя заря тонкимъ своимъ свѣтомъ едва освѣщала поверхность земли" [1743].

„Уже солнце начало совершать свое теченіе" [1744].

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ описанія природы отличаются слащавымъ тономъ пастушеской идилліи.

Весь разсказъ, особенно рѣчи дѣйствующихъ лицъ, отличается вычурностью, приподнятостью [1745],—даже нищіе выражаютъ свои чувства въ патетическихъ монологахъ [1746]; дамы и кавалеры обмѣниваются вычурно-галантными рѣчами [1747]. Иногда выступаетъ самъ авторъ со своими разсужденіями, сентенціями, патетическими восклицаніями...[1748].

Обѣ повѣсти представляютъ собой гимнъ сельскому уединенію, созерцательной поэтической жизни на лонѣ природы, вдали отъ города [1749]. Введенъ въ повѣсть разсказъ о попыткѣ самоубійства, введены трогательные діалоги [1750]. Герои обоихъ повѣстей—идеальные люди, сильные духомъ, хотя и мягкіе сердцемъ...

„Психика" раскрывается при помощи монологовъ, рѣже разсужденій „въ себѣ" [1751], діалоговъ, или опредѣляется непосредственно объясненіями самого автора [1752].

Послѣднее произведеніе этого типа: «*Гонимая невинность, или обманутый надеждою любомудръ*" [1753], представляетъ собою, соб-

ственно говоря, не повѣсть, а большой патетическій монологъ героя-неудачника, вродѣ маркиза Г*, послѣ злоключеній несчастной жизни удалившагося въ уединеніе и тамъ философствующаго о тщетѣ и суетѣ жизни, о неудачахъ своей жизни, о несправедливости „судьбы", которая преслѣдовала его въ теченіе его жизни, несмотря на всю его мудрость и добродѣтель...

О фактахъ своей жизни авторъ не говоритъ ничего опредѣленнаго,—между строчками можно прочесть, что юность его прошла нерадостно, что въ любви не встрѣтилъ онъ счастья, что съ людьми онъ не ужился... Такимъ образомъ, въ этомъ произведеніи нѣтъ фактовъ,—нѣтъ, въ сущности, и „повѣсти"—есть лишь „настроенія" — тѣ самыя, съ которыми встрѣчались мы неразъ во всѣхъ выше разобранныхъ произведеніяхъ типа романовъ Прево, героемъ которыхъ, обыкновенно, является герой, разочаровавшійся въ жизни.

„Настроенія" эти въ названномъ произведеніи раскрываются при помощи тѣхъ же самыхъ пріемовъ, съ которыми мы выше встрѣчались неразъ.

Такъ, напримѣръ, жалуется авторъ на гоненіе „судьбы".

„О! злобной рокъ, сколь ты немилосердъ!.. Ничто тебя въ свѣтѣ семъ избѣгнуть не можетъ. Ты не сожалѣешь о кипящей младости, не трогаешься разцвѣтающей юностью, не счадишъ (sic) согбенной старости, ниже уважаешъ почтеннѣйшую добродѣтель!.. Таковое твое жестокосердіе тѣмъ справедливѣе доказано быть можетъ, что и самъ неоднократно тобою былъ притѣсняемъ и гонимъ!.. Не много мнѣ еще отъ рожденія минуло лѣтъ, какъ уже мрачной туманъ печали упалъ на мое нѣжное сердце и препятствовалъ возсіять солнцу спокойствія, благополучія и веселія!" 1754.

Какъ образецъ патетическаго стиля, приведу отрывокъ изъ диѳирамба въ честь добродѣтели. Къ восхваленію ея авторъ обращается нѣсколько разъ.

„Превосходная добродѣтель! Ты одна уготовляешъ изъ насъ достойныхъ обитателей сея земли! Ты одна возвышаешъ неоцѣненную драгость нашего безсмертія. Ты сильно питаетъ душу нашу священнымъ огнемъ твоимъ, чтобы съ горячностію почитали Творца на пути вѣчности... Порфира есть великолѣпнѣе, — и достоинства почтеннѣе!.. Что́ есть безъ тебя увеселеніе?.. Ни что болѣе, какъ смрадный источникъ, изъ коего изтекаетъ не чистая вода!.. О! какъ велико твое вдохновеніе во всѣ человѣческія состоянія!.. Тобою снискивается истинное дружество! ты, отвергая собственную пользу, утверждаешъ между нами человѣколюбіе!.." 1755 и т. д.

Такимъ паѳосомъ пронизано все произведеніе съ начала до конца.

Вотъ, какъ, напримѣръ, авторъ говоритъ о своей неудачѣ въ какомъ-то учебномъ заведеніи:

„По вступленіи моемъ въ сей храмъ, издающій разныя благононіи и ароматы учености и знанія, счастіе милосердственнымъ мнѣ быть казалось и обѣщало нѣчто высокое и непонятное, но я, по моей безразсудной младости, ослѣпись непостоянною превратностію счастія..“ 1756 и т. д.

Всѣ разсужденія автора (о трудности жить въ свѣтѣ съ людьми, объ извращеніи добродѣтели людьми, о суетной жизни среди людей, о призрачности всего („Всякая вещь,—говоритъ Платонъ,—есть воображеніе“ и т. д.), о добродѣтели и здравомъ разсужденіи—вождяхъ человѣка, о воспитаніи дѣтей, о наукахъ и образованіи, о роскоши и пышности, о тщеславіи и мудромъ равнодушіи къ жизни, къ ея суетамъ, о любви и страстяхъ, объ отношеніи къ людямъ, о добродѣтельномъ человѣкѣ и спокойствіи его души, о зависти, о злобѣ невѣждъ, о злословіи, объ умѣніи сносить несчастія, о пользѣ всматриваться въ свою собственную душу и разговаривать съ самимъ собою о томъ, въ чемъ истинное и ложное благополучіе,—проникнуты такимъ же паѳосомъ: мудрость свою почерпаетъ онъ не изъ Евангелія, а изъ Сенеки, Сократа, Марка Аврелія и Платона...

О себѣ авторъ говоритъ туманно и уклончиво, — нѣсколько напоминая этимъ гоголевскаго Чичикова.

„Я былъ ненавидимъ, гонимъ, притѣсняемъ и, наконецъ, доведенъ до такой крайности, что, желая спокойствія, принужденъ былъ оставить то спасительное мѣсто, которое страждущихъ грубостію, невѣжествомъ и маловаразуміемъ, врачевало лѣкарствомъ нетлѣннымъ“ 1757.

„Сколь несправедливо приписывали мнѣ разныя свойства безпокойнаго и свѣту гнуснаго человѣка! Я въ то время терпѣливо бы попустилъ себя лишить жизни; ибо мнѣ уже жизнь такъ сдѣлалась противною, что съ великимъ негодованіемъ сносилъ ея бремя“ 1758.

„О, несчастнѣйшій я человѣкъ подъ солнцемъ!.. Боже мой! сколь сомнительно наше благополучіе, коего мы толь опредѣлительно надѣемся. Есть ли бы я могъ предузнать мою горесть и предвидѣть день моего злополучія, то бы зарылся въ подземные пропасти и бѣгалъ бы всѣхъ живущихъ во вселенной! родился я несчастнымъ, опредѣлено мнѣ жить злополучно!.. О! Боже, благоволи мнѣ по крайней мѣрѣ умереть счастливо“ 1759.

Повторяю, это произведеніе не представляетъ интереса, какъ *повѣсть*, но оно любопытно въ отношеніи стиля, манеры письма: какъ всѣ выше-разобранныя произведенія (разсмотрѣнныя мною послѣ „Мирамонда“), такъ и этотъ анонимный „монологъ-повѣствованіе“ представляетъ собою сплошное „общее мѣсто“ — „романизацію“

дѣйствительной жизни. Нужно было сильно проникнуться настроеніемъ и стилемъ авантюрнаго романа, чтобы мыслить готовыми мыслями и образами, говорить и писать готовыми рѣчами... И невольно припоминается мнѣ тотъ же Чичиковъ, который всегда впадалъ въ тонъ такихъ патетическихъ монологовъ, взятыхъ изъ романовъ, когда свою жизнь сравнивалъ съ бурею, а себя съ „ладьей", носимой по волѣ „злой судьбы" въ волнахъ житейскаго моря *)...

* * *

Въ заключеніе, считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ о произведеніяхъ, которыя я, по разнымъ причинамъ, не включилъ въ эту главу, или совсѣмъ исключилъ изъ своего изслѣдованія...

„*Перепска двухъ адскихъ вельможъ*"... 1760 (№ 1365), по содержанію своему и типичнымъ особенностямъ, относится къ группѣ романовъ, въ духѣ Лесажа (особенно „Хромой бѣсъ"). Сопиковъ (№ 8105) указываетъ, что это произведеніе сочинено А. Писаревымъ. Между тѣмъ, судя по содержанію, очень трудно отнести это произведеніе къ оригинальнымъ: рядомъ съ чертами, дѣйствительно, какъ будто, русскаго быта, фигурируютъ здѣсь иностранныя монетныя наименованія („ливры"), полицейскіе чины носятъ названіе „комиссаровъ" и „алгвазиловъ". Аполлонъ Бельведерскій именуется: „Аполлонъ *де* Бельведеръ"; это характерное *де* обличаетъ, по моему, французское происхожденіе романа. Рядомъ съ фамиліями: князь Промотайловъ, Залыгалкинъ, Злословъ, Говорухинъ, Живописцевъ, Пересужаловъ, Вѣтрогонъ — дѣйствуютъ французскія вымышленныя фамиліи: Атупретъ, Форфе, аббе Фету, дюшесса Саннюдеръ; г-жа Претъ-Ассерандръ, графъ Руль-Шарту и пр.

Въ предисловіи къ этому загадочному произведенію прямо говорится о томъ, что оно „переводное", и даже пересказывается предисловіе автора, выясняющее значеніе этого сочиненія.

Не будучи увѣреннымъ въ оригинальности этого произведенія, я не рѣшился включить его въ число самостоятельныхъ русскихъ романовъ.

Другое произведеніе: „*Странныя приключенія Дмитрія Магушкина*" 1764 (№ 1811) точно по такимъ же соображеніямъ не включено мною въ мою работу. Правда, по типу своему, оно принадлежитъ

*) Ср. также стиль любовныхъ объясненій Хлестакова („удалиться подъ сѣнь струй" и пр.).

къ группѣ романовъ въ духѣ произведеній Прево, но вопросъ объ его „оригинальности“ для меня является очень спорнымъ. На обложкѣ этого произведенія сказано, что оно написано „на испанскомъ языкѣ, переведено на нѣмецкій, и съ нѣмецкаго на русскій“. Теперь вопросъ,—разсказалъ ли *самъ* Могушкинъ о *своихъ* дѣйствительныхъ приключеніяхъ, подкрасивъ ихъ романизаціей, или онъ является вымышленнымъ лицомъ — и произведеніе это представляетъ собою сплошную фикцію?.. Обращаясь къ нѣмецкому оригиналу этой повѣсти: „Der Russische Avanturier, oder sonderbare Begebenheiten eines edlen Russen, Demetrius Magonskyn genannt“, aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Frankfurt u. Leipzig 1753,—я убѣждаюсь, изъ путаницы географическихъ названій и русскихъ именъ собственныхъ, что сочиненіе это написано нерусскимъ человѣкомъ.

„Die von dem ausströmenden Fluss ihren Nahmen führende Stadt Woronis *oder Worodin* (въ русскомъ переводѣ удержано только нѣрное: „Воронежъ“), ist das Vaterland meiner Eltern. Der Vater hiess Basileius *Nikowitz* (въ русскомъ переводѣ: „Никоновичъ“)... Die Mutter *Kyrilowna* Jakurysky (въ русскомъ переводѣ: *Анна* Кириловна Якурская). Русскій казакъ, дѣйствующій въ романѣ, носитъ странное имя: „Іосафъ *Нораклиъ*“, слуга его именуется „*Кавосъ*“.

Содержаніе романа совершенно безразлично въ этнографическомъ отношеніи (за исключеніемъ развѣ указанія на распространенность пьянства въ Россіи). Всѣ эти обстоятельства, подрывающія вѣру въ оригинальность этого романа, заставили меня исключить это произведеніе изъ круга моихъ изысканій *).

„*Несчастный Никаноръ, или приключенія Россійскаго Дворянина* Г.“ [176.] (№ 317)—одно изъ любопытнѣйшихъ произведеній XVIII-го вѣка, съ полнымъ правомъ, могло бы занять мѣсто

*) Русскіе люди, въ качествѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ западноевропейскомъ романѣ появляются въ XVIII-омъ столѣтіи довольно часто: изъ такихъ произведеній на русскій языкъ переведены были два произведенія: „*Прекрасная Россіянка*“, истор. пов. съ нѣм. Спб. 1784 (№ 726)—2-ое изд.—1790; 3-ье изд. 1796. „*Занда, прекрасная Россіянка, или низверженіе съ трона Магомета IV*“, истор. отрывокъ г. Коцебу, пер. съ нѣм Влад. 1800 (№ 2008); двухъ изд. 1801 г. Совершенно того-же типа, что и „Странныя приключенія Д. Магушкина“— еще слѣд. переводныя произведенія: „Генріетта, или гусарское похищеніе“ (№ 583) М. 1782, „Превратность щастія, или удивит. приключенія графа Турвиля“ (№ 1488) М. 1793; „Записки барона фонъ-Трепка“ (№ 1682) М. 1795; „Щастливый несчастливецъ, или достопамятныя приключенія одного Австрійскаго офицера“ М. 1797.

въ группѣ романовъ типа произведеній Прево, но характерныя особенности этого произведенія (обиліе бытовыхъ чертъ, личность героя, общій тонъ разсказа) заставили меня отнести это произведеніе къ группѣ романовъ „бытовыхъ“ (VIII-ая глава).

„Несчастныя приключенія Василія Баранщикова“ [1763] (№ 870) представляютъ собой дѣйствительныя записки одного русскаго мѣщанина, котораго судьба бросала изъ края въ край міра; онъ рабомъ побывалъ въ Америкѣ и въ Азіи, два раза принималъ мусульманство... Послѣ великихъ трудовъ и испытаній онъ возвращается, наконецъ, на родину, и здѣсь его сейчасъ-же, за неимѣніе паспорта и недоимки, сажаютъ въ кутузку *)...

Хотя содержаніе этихъ записокъ вполнѣ подходитъ къ авантюрному роману, но литературностью изложеніе ихъ не отличается: передъ нами—типъ стараго „хожденія“ (въ родѣ Афанасія Никитина и др.), и потому этотъ „эмбріонъ русскаго авантюрнаго романа“—„романомъ“ еще быть названъ не можетъ.

---

*) Скептически отнесся къ этому скитальцу и его произведенію, Н. С. Лѣсковъ, посвятившій ему нѣсколько страницъ въ статьѣ: „Вдохновенные бродяги“ (удалецкія сказки) [1764].

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ V-ой главѣ.

1. См. выше стр. 238; 2. См. выше стр. 241—2, 244; 3. См. выше, стр. 239. 4. H. Koerting, „Geschichte des französischen Romans im XVII Jahrhundert", Oppeln u Leipzig, 1891: I B. *Der Idealroman*; II B. *Der realistische Roman*. 5. Le Breton, „Le roman au XVII-e siècle", Paris, 1890. „Les rares critiques, qui se sont occupés des romanciers du XVII-e siècle, soit en France, soit en Allemagne, ont cru devoir les diviser en deux catégories: l'une comprendrait les oeuvres de Scarron, de Sorel, de Furetière, et de quelques oubliés, qui seuls auraient rompu, avec la tradition de l'idéalisme; l'autre, beaucoup plus nombreuse, les récits mérovingiens, mexicains, assyriens, romains, égyptiens, de l'Urfé, de Gomberville, de La Calprenède, de Mlle de Scudéri. Peut-être cette classification repose-t-elle sur un malentendu" (Préface). 6. F. Brunetière, „Etudes critiques sur l'histoire de la littérature française", IV-me serie, Paris, 1891 („Le roman français au XVII-e siècle"), 18; 7. E. Faguet, „Dix-huitieme siècle", Paris, 60—1, 63; еще о реализмѣ: 67—8; 8. Morillot, статья о романѣ въ книгѣ Pétit de Julleville, „Histoire de la langue et de la Littérature franç..." IV, 107—8; 9. Ibid., 108; 10. Пользовался я для этой главы слѣдующими монографіями и статьями: Huet, „De l'origine des romans"; * Lenglet-Dufresnoy, „De l'usage des romans", Amst. 1735; * Faucan ou Ch. Sorel, „Le tombeau des Romans", I—„contre les romans", II, „Pour les Romans", P. 1626; Boileau-Despréaux N., „Dialogue sur les héros de roman"; John Dunlop's, „Geschichte der Prosa-dichtungen oder Geschichte der Romane, Novellen, Märchen, v. F. Liebrecht", Berl., 1851; Koerting, H. „Geschichte des französischen Romans im XVII Jahrhundert", 2 B. Oppeln u. Leipzig, 1891; Morillot, P., „Le roman"; „Petit de Julleville, „Histoire de la Langue et de la Littérature française des origines" à 1900, tt. IV, V, VI); Brunetière, F., „Manuel de l'Histoire de la Littérature franç...", P., 1898; Bobertag, F., „Geschichte des Romans", 3 B., Berl., 1881; Lotheisen, „Geschichte der französischen Litteratur im XVII Jahrh.", Wien, 1883; Faguet, E. „XVIII-e siècle, études littéraires": Brunetière, F., „Etudes critiques", t. III, t. IV; Le Breton, „Roman au XVII-e siècle", P. 1890; Morillot, P., „Le Roman en France depuis 1610", P., 1876; Der Roman von H. Keiter und T. Kellen, Essen-Ruhr, 1898, Victor Cousin, „La Société au 17 siècle d'après le grand Cyrus de Mlle de Scudéry", P. 1873; * d'Haussonville, „M. Madame de la Fayette", P. 1890; * E. Schener Frau v. La Fayette, B. 1898, * Fr. Meyer, Die Gräfin v. La Fayette, L. 1906; Loliée, F., „Histoire des littératures comparées; Demogeot, S., „Histoire des littératures étrangères, considérées dans leurs rapports avec le developpement de la litterature franç...", 2 t., Paris; Sayous, „Histoire de la litterature franç. à l'étranger depuis le commencement du XVII-me s.": заимствовал я сомнѣнія, извѣстныя мнѣ по изложенію, или цитатамъ); 11. P. Morillot, „C'est déjà un véritable roman. Elle est plus qu'un roman, elle est la source vive et féconde de presque tous les romans du siècle", 414, 415; L. Petit de Julleville, („Histoire de la langue et de la littérature française des origines", à 1900, t. IV); F. Brunetière, „Etudes critiques sur l'histoire de la littérature française", serie IV, 32—5; 12. Brunetière, op. cit., 33; Koerting, „Geschichte des französischen Romans im XVII-e Jahrhundert", B. I, 2—3; „Nachdem d'Urfé einmal die *Form* des Romans überhaupt geschaffen, welche den kulturellen Verhältnissen und dem daraus entwickelten Zeitgeschmack so gut entsprach erfüllte man sie mit einem neue vielfach modifizierten Inhalte"; 13. Morillot, op. cit., 419; Brunetière, op. cit., 35; 14. Brunetière, op. cit., 35, 36; Morillot, op. cit., 416, 417—8: „Ce roman n'est pas seulement la fidèle image du siècle qui s'ouvre, ce roman de moeurs est un roman idéaliste"; Brunetière, „Manuel", 102, „le code de la société poli"; 15. Morillot.

op. cit., 417; 16. Morillot, op. cit., 415; 17. Morillot, op. cit., 420 („Hylas ouvre la porte, par laquelle passeront tous les romans comiques du siècle"); 18. Brunetière. op. cit., 36, 54; 19. Koerting. op. cit., 77—78; Brunetière, „Manuel". 146, 140, 148, „il faut chercher les raisons de ce succès dans l'accord de tout ce romanesque avec l'esprit du temps".

20. Brunetière, op. cit., 41, 42; Koerting, op. cit., 4; „So wird er, und nicht der realistische Roman der eigentliche Träger der Ideen seiner Zeit, der vollkommenere Ausdruck des vorherrschenden geistigen Lebens"; 21. Brunetière, op. cit., 36: „...pour se sentir transporté dans un monde où la fiction recouvre plus la réalité, n'enveloppe et ne vêt que la fantaisie du romancier, il ne faut que passer de Urfé à Gomberville, et de l'*Astrée*, à la *Caritée*, au *Polexandre* ou à la *Cytherée*. Il semble qu'ici les *Amadis* renaissent; et, si j'osais essayer de parler le langage du temps, on y nage dans l'océan de l'invraisemblance, d'où l'on ne se sauve qu'en s'échouant sur l'écueil du ridicule"; 22. Koerting, op. cit., 217; Morillot, op. cit., 130; 23. Ibid., 216—7; 24. Ibid., 227; 25. См. въ наложеніи ихъ у Koerting'a cit., op. 212—210; 26. Ibid., 225; 27. Ibid., 228; 28. Morillot, op. cit., 108; 29. Ibid., 226; 30. Brunetière, op. cit., 51; 31. Brunetière, op. cit., 36: „La seule chose qui explique le succès du *Polexandre* (car il fut prodigieux),—et qui est en même temps une indication du goût des contemporains,—c'est ce qu'il contient, non pas même de descriptions, mais de renseignements géographiques. Des Canaries à la cour de France, de la cour de France au Sénégal, au Maroc, au Pérou, au Mexique, on y parcourt l'univers habité"; „Poléxandre a obtenu en 1637 un succès de même aloi que telle turquerie ou telle japonerie à la mode de 1890. Ce roman de voyages est aussi un roman maritime, et par là il mérite encore une mention spéciale dans l'histoire du genre: ces combats de corsaires, ces courses sur mer, ces descriptions de tempêtes ou de bonaces, ne valent pas les récits de Fénimore Cooper ou de Mayn-Reid, mais tout cela est nouveau, et constitue un élément précieux qui en enrichit le fond romanesque" (Morillot, op. cit., 432); 32. Самое названіе одного изъ его романовъ указываетъ ясно его историческія тенденціи: „*La Caritée contenant sous des tems, des provinces et des noms supposez plusieurs rares et véritables histoires de nostre tems*"; Сопоставленія Morillot и Brunetière'a (Brunetière, op. cit., 36) едва-ли справедливы: если г'омбервиль и варумиль романтическія формы, созданныя д'Юрфе, то своими географическими и историческими тенденціями онъ толкнулъ французскій романъ на путь постепеннаго приближенія къ жизни, къ дѣйствительности. (Еще Koerting, op. cit., 221; 33. „Hervorgehoben muss endlich werden, dass die einseitig und philiströs moralisierende Tendenz, die im „*Polexandre*" erst gegen Ende hin bemerklich wird, in der *Cytherée* zu einem oft recht widerlichen Bigotismus ausartet. Alle guten charaktere des Romans reden—zum Trotz der Ddocheuzeit—in einem salbadernden predigtton, es sind sämtlich fromme Monotheisten, oder besser: orthodoxe Altkatholiken, obschon ihre Geschicke sich genau im Anschluss an das programm der Orakel einer Venus Urania und eines Apollo abspielen" (Koerting, op. cit., 239); 34. Ibid., 174 ff, eme: Morillot, op. cit., 121; 35. Morillot, op. cit., 435: „avec La Calprenède, le roman historique, issu de la pastorale romanesque, va enfin trouver sa forme la plus littéraire et la plus achevée". Koerting, op. cit., 362: „Durch ihn kommt die Romandichtung zuerst gleichsam völlig zum Selbstbewusstsein; es tritt eine wohlthätige Ernüchterung ein, eine Herrschaft des Verstandes, unter der manches heranreift, was die Theorie des Romans seitdem als zum Erforderniss gewordene Errungenschaft betrachtets"; 36. Koerting приводитъ любопытное, въ этомъ отношеніи, мѣсто изъ послѣсловія къ „Кассандрѣ", 37; 37. Morillot, op. cit., 112—3. Въ предисловіи къ роману „Faramond" онъ говоритъ: „Je dirai pour, l'honneur de mes précédents ouvrages qu'on ne leur a pas rendu justice dans le nom qu'on leur a donné... et qu'aulieu de les appeller des *Romans*, comme les *Amadis* et autres semblables, dans lesquels il n'y a ni vérité, ni vraisemblance, ni charte, ni chronologie, on les pourrait regarder comme des *Histoires* embellis de quelques inventions, et qui par ces ornements ne perdent rien peut-être de leur beauté"; 38. Koerting, op. cit., 363; 39. Brunetière. op. cit., IV, 11.

40. Morillot, op. cit., 410; 41. Ibid., 436; 42. См. выше примѣчаніе 36; 43. Morillot, op. cit., 437; 44. Morillot, op. cit., 115; eme 437: „Les lois de la tragédie, les fameuses lois, que l'on croyait avoir inventées ou du moins exhumées et autour desquelles on se battait avec tant d'ardeur, trouvaient leur application dans le roman aussi bien qu'au théâtre. Les événements de *Cassandre* se passent dans un lieu fort restreint, „sur les bords de l'Euph-rate", de même ceux de *Cléopâtre*—en Egypte

près de la mer autour d'une maison nette...*; 45. Koerting, op. cit., 364—6; 46. Въ изложеніи Koerting'a, Cass., I, I, 1, стр. 248; I, I, 3—250; 47. Cass., II, I, 6—252; IX, V, 1—276; IV, II, 6—261; Faram., II, 4—338; 48. Cass., V, III, 2—263; 49. Cass., VIII, IV, 5—274; 50. Cass., VI, III, 4—265; 51. Cass., II, I, 5—252; V, III, 1—262; Cleop., I, I, 2-3—291-2; 52. Cass., V, III, 3—265; IV, II, 4—265; III, II, 3—255; 53. Cleop., I, II, 1—295; III, V, 3—308; I, II, 2—296; 54. Cass., III, II, 3—255; 55. Cass., II, I, 5—251; IV, II, 6—261; 56. Cass., IV, II, 61—261; 57. Cass., II, I, 6—253; V, III, 2—264; Cleop., I, I, 1—291. Faram., I, 3—335; 58. Cass., I, I, 2—249; Cleop., VI, XI, 3—325; 59. Cleop., VI, XII, 2—327.

60. Faram., IV, 3—342; 61. Cleop., V, IX, 1—319; Faram., XII, 2—359; 62. Faram., II, 2—3; 63 Cass., VIII, IV, 1—273; VII, IV, 3—272; 64. Cass., I, I, 2—249; 65. Cass., I, I, 2—249; 66 Faram., V, 1—343; XI, 1—359; 67. Cleop., I, II, 1—295; 68. Cleop., V, X, 1—322; 69. Cleop., IV, VIII, 1—313; 70. Cass., VI, III, 4—266; 71. Faram., V, 1: 72. Cass., I, I, 2—249. 73. Faram., II, 2, 3—337; 74. Cass., IX, V, 2—278; Cleop., IV, VIII, 3—315; 75. Faram., III, 1—343; XII, 1—360; 76. Cleop., IV, VIII, 2—314; 77. Cass., III, II, 3—255; IV, II, 1—258; 78. Cass., I, I, 1—249; II, I, 6—253; 79. Faram., II, 2—3—337.

80. Faram., IV, 4—343; 81. Koerting, op. cit., 366; 82. Cass., IV, II, 6—261; 83. Faram., XI, 1—356; Cass., II, I, 6—253; 84. Faram., VII, 3—348; 85. Faram., X, 1—355; 86. Нагр., Cass., III, II, 3—256; 87. Cass., VIII, IV, 5—274; Cleop., II, IV, 3—303; 88. Нагр., Cass., II, I, 6—253; 89. Cleop., VI, XII, 1—326; Faram., X, 1—353; 90. Cass., I, I, 1—248; IV, II, 6—261; VI, III, 6—268; II, I, 6—253; Faram., I, 3—335; 91. Cass., I, I, 1—249; III, II, 2—251; Faram., VII, 2—347; Cleop., I, I, 1—291; I, II, 1—297; 92. Cass., IX, V, 2—278; IV, II, 6—260; IV, II, 1—258; Cleop., I, I, 4—291; III, V, 2—306; III, VI, 3—310; 93. Cass., IV, II, 1—278; Faram., I, 3—335; 94. Cass., VIII, IV, 6—275; IX, V, 2—278; Cleop., I, I, 2-3—292; 95. Cleop., III, V, 2—306; 96. Faram., III, 2—339; VIII, 1—351; 97. Faram., IX, 1—352; 98. Cass., I, I, 3—250; 99. Cleop., III, V, 1—308.

100. Cleop., I, II, 2—295; 101. Cass., VII, IV, 1—269; X, V, 5—279; Cleop., I, I, 2-3—291; 102 Cass., I, I, 2—249; VI, III, 5—267; VI, III, 6—268; IX, V, 1—276; IX, V, 2—278; Cleop., I, I, 4—291; 103. Cass., V, III, 1—262; I, I, 2—249; V, III, 1—262; Cleop., VI, XII, 1—329; 104. Cass., VIII, IV, 6—275; VIII, IV, 5—274; VII, IV, 1—270; Cleop., VI, XII, 1—229. Faram., X, 3—355; 105. Cass., I, I, 1—248; III, II, 3—256; IV, II, 5—260; V, III, 1—262; VI, III, 4—265; VII, IV, 2—270; VIII, IV, 6—275; 106. Cleop., I, I, 1-3—291-2; II, III, 1—298; III, V, 3—305; III, VI, 4—310; IV, VIII, 1—313; V, IX, 2—319; V, X, 1—321; VI, XI, 1—324; 107. Faram., I, 1—334; II, 1—335; III, 3—340; IV, 1—343; V, 3—344; VII, 1—347; VIII, 1—348; IX, 3—351; X, 1—353; XI, 2—357; 108. Cass., IV, II, 5—259; 109. Faram., XI, 3, 358; 110. Cass., III, II, 3, 255; V, III, 3—265; 111. Cass., IV, II, 5—259; 112. Cass., VI, III, 6; 113. Cass., II, I, 5—252; 114. Cleop., VI, XI, 2—324; 115. Faram., IX, 1—352; 116. Cleop., III, V, 4—308. 117. Cass., X, V, 6—280; 118 Faram., II, I, 338; 119. Koerting, op. cit., 370—1.

120. „Cassandre", à Paris. MDCLX, I t.; 121. op. cit., I, 369; 122. Ibid., 419; 123. Ibid., 185; 124—188; 125—199-200; 126—34; 127—295; 128—283. 129—308; 130—411; 131—368; 132—368; 133—374 134—205; 135—205; 136—205; 137—23; 138—31; 139—290.

140—112; 141—394; 142—181; 143—17; 144—19; 145—275; 146—277; 147—116; 148—293-4; 149—61; 150—60; 151—51; 152—52. 153—52; 154—98, 132, 368, 254; 155—200; 156—217; 157—15; 158—7; 159—85.

160—93; 161 131; 162—137; 163—252. 164—143; 165—69-72; 166—72; 167—215; 168—270; 169—271; 170—272; 171—127; 172—128; 173—63; 174—63; 175—67; 176—290; 177—55; 178—183; 179—115.

180—2-3; 181—11-12; 182—258; 183—402; 184—226; 185. Koerting, op. cit., 369. Вывела себя въ рохашъ „Grand Cyrus", подъ именемъ Сафо, она такъ характеризуетъ себя: „Elle sçait si bien faire l'anatomie d'vn coeur amoureux, s'il est permis de parler ainsi, qu'elll en sçait décrire exactement toutes les jalousies, toutes les inquietudes, toutes les impatiences, toutes les joyes, tous les dégoûts, tous les murmures, tous les désespoirs, toutes les désesperances, toutes les reuoltes, et tous ces sentimens tumultueux, qui ne sont iamais bien connus que de ceux, qui les sentent ou qui les ont sentis". 186. Ея герои тоже любятъ разсуждать о психикѣ человѣка. „Qui aime le mieux, de celui qui s'enflamme subitement pour un objet, ou celui qui

transforme lentement en tendresse passionée une ancienne amitié? -Et commençant d'aimer, cesse-t-on d'adorer?—La tendresse du coeur est-elle préférable à l'ambition de l'esprit" etc.—Morillot такъ характеризуетъ (op. cit., 441—5) психологическіе интересы героевъ и героинь Скюдери: „Cela du moins,—продолжаетъ онъ,—est un essai de psychologie, tenumaniéré, bien inferieur, cela va sans dire, a une tragédie de Corneille". „Carte de Tendre", приложенная Скюдери къ ея роману „Clelié", тоже представляетъ собою, въ сущности, психологическій этюдъ любви. (Содержаніе см. у Koerting'a, op. cit.). 187. Koerting, op. cit., 158: „...in einem der wichtigsten Punkte, in der Erkenntnis des Seelenlebens und der hohen Kunst, aus ihm heraus sich die äusseren Vorgänge gestalten zu lassen, scheint uns die Verfasserin des „Grand Cyrus", im allgemeinen la Calprenéde nicht überlegen zu sein. Ihre Caractere, soweit sie nicht „Portraits" sind, sondern thätig in das Getriebe des Romans eingreifen sollen, sind blutlose Schemen". 188. M-me Genlis въ своемъ сочиненіи: „De l'Influence des femmes sur la littérature française" (Paris, 1881, cit. Koerting'a op. cit., 109—110) свидѣтельствуетъ о знаменитости романовъ Скюдери: „ces éternelles conversations, qui, dans les ouvrages de mademoiselle de Scudéry, suspendant la marche du roman, nous paraissent in soutenables, étaient loin de déplaire. On avait alors le goût des entretiens engénieux et solides, non seulement à l'Hotel de Rambouillet, mais à la cour, chez Madame, chez M-lle de Monpensier, chez la duchesse de Longueville" etc. За Скюдери, еще въ ея время, установилась слава: „die bessere Lehrmeisterin und Darstellerin der Sitten ihrer Zeit" (Koerting, op. cit., 158). 189. „Ein nicht zu entschuldigender Fehler der „Clie" aber ist die Verkleidung aktueller Verhältnisse und Persönlichkeiten in das Gewand der Antike, die Verlegung eines raffinirten über sentimentalen Zeitalters in eine Epoche, die der geschichtlichen Ueberlieferung und der längst allgemein aufgenommenen Verstellung, nach einen gerade entgegensetzten Charakter trug. Diese unerträgliche Disharmonie herrscht im „Grand Cyrus" und in den Romanen la Calprenéde's nicht" (Koerting, op. cit., 412). 190. Koerting, op. cit., 421, 438. 191. Ibid., 142. Еще: Morillot (op. cit., 142—3). „La Calprenéde avait médiocrement (съ нашей современной точки зрѣнія) respecté la vraisemblance des caractères et des moeurs: ses Orondates et ses Tiridates, ne révélaient pas d'une façon bien nette l'âme scythe on l'âme parthe que les lecteurs d'aujourd'hui seraient avides d'y découvrir. Ce n'est pourtant qu'à moitié la faute de l'auteur, s'il y a échoué. Avec la meilleure foi du monde il a prêté à ses Parthes, à ses Macédoniens, à ses Égyptiens et à ses Ostrogoths les idées et les sentiments des Français de 1645. S'il les a peint tels qu'il les a rêvés, non tels qu'ils étaient, du moins ne les a-t-il pas siemment travestis, par pur jeu d'esprit, pour amuser la galerie. Au contraire, chez M-lle de Scudéry, toutes ces histoires perses ou romaines, qu'elle déroule à nos yeux et où s'agitent les personnages les plus célèbres de l'antiquité, ne sont qu'un immense paravent derriere lequel il nous faut savoir reconnaitre des événements et des personnages du temps de la Regence" etc. 192. Koerting, op. cit., 120. 193. Переводъ романовъ см. у Koerting'a, стр. 406-411; 194. Morillot, op. cit., 141: 195. Ibid., 142; 196. Ibid., 141; 197. Koerting, 433; 198. „Artamne ou le grand Cyrus", par M-lle de Scudery, Paris, MDCXLIX; 199. Op. cit., I, 159.

200—132; 201—167-7; 202—169; 203—196; 204—206; 205—212; 206—255; 207—83; 208. Ibid., 209—116; 210—132; 211—40; 212—18; 213—49; 214—31; 215—65; 216—101; 217—115; 218—91; 219—29.

220—81; 221—17; 222—151; 223—95; 224—90; 225—6-7; 226—117; 227—11; 228—14-15, 229—58-9; 230—60; 231—9; 232—43-4; 233—83-4; 234—96; 235. Morillot, op. cit., 145; 236. Koerting, op. cit., 137: ср. наше слова Буало; 237. Содерж. см. у Koerting'a, op. cit., стр. 141-161; 238. Ibid., 445-6; 239—Ibid., 151.

240. Morillot, op. cit., V, 570—7. „De 1665 environ jusque vers le milieu du XVIII-e siècle, c'est à dire jusqu'à la constitution définitive du roman moderne la litterature fut absolument encombrée *d'histoires*, du *nouvelles*, *d'annales*, *d'anecdots*, de *mémoires*, invariablement qualifiés de *secrets*, de *galants* et surtout de *véritables*. Tous les auteurs, à les en croire, rivalisent alors d'exactitude et de fidélité historiques; ils ont tous la pretention d'être à la fois savants et galants, érudits et enjoués" (op. cit., 572). Il nous est resté de nombreux volumes *d'anecdotes* ou *d'histoires* secrets de la cour de presque tous les rois de France, depuis Philippe Auguste, jusqu'a celui que les pamphlétaires appelaient le Grand Alcandre (Louis XIV), en passant par Henri II, dont le temps a été l'âge d'or de la galanterie. A côté de ces rapsodies historicoromanesques il faut signaler une prodigieuse quantité de monographies galantes

sur tel ou tel personnage marquant de la cour des Capétiens, des Valois ou des Bourbons, notamment sur le *Comte de Dunois*, *Marie de Bourgogne*, *Marguerite de Valois*, Mlle *de Tournon*, Mlle *d'Alençon*, la *Duchesse de Nemours*, la *Duchesse de Bar*, la *Comtesse de Chateaubriand*, le *Brave Crillon*, le *Prince de Condé* etc. Иностранцы дворы точно также дали основаніе для такихъ сборниковъ. 241. Marie d'Angleterre, Comte de Warwick, Gustav Wasa, Nouvelles africaines, Crementine, histoire indienne, Anecdotes persanes, Memoires de la Cour d'Espagne, Anecdotes de la Cour ottomane, les Memoires du serail, Ines de Cordoue, les Galanteries grenadines и пр.— вотъ, наиболѣе извѣстныя произведенія этого типа. О значеніи этихъ псевдо-историческихъ романовъ и романическихъ „мемуаровъ" см. также Brunetière, op. cit., III, 69; 242. Morillot, op. cit., V, 557 „Il faut trouver, говоритъ героиня романа: „Nouvelles françoises", des aventures extrêment naturelles, tendres et surprenantes et nous les aimerons autant passées dans la guerre de Paris, que dans la destruction de Troie". Эта же героиня жаловалась: „je m'étonne que tant de gens d'esprit qui nous ont imaginé de si honnêtes Scythes et des Parthes si généreux, n'ont pris le même plaisir d'imaginer des Chevaliers ou des Princes français aussi accomplis, dont les aventures n'eussent pas été moins plaisantes" (op. cit., 557); 243. „Der empfindsame Roman in Frankreich" von Max Freiherr v. Waldberg, I Th. Strassb. u. Berl., 1903; 244. Ibid., 4—5. 245. Ibid., 6—9; 246. Ibid., 7; 247. Ibid., 18; 248. Ibid., 15—16, 19—20, 25—6; 249. Ibid., 45—51. cmp: Morillot, op. cit.; 250. Waldberg, 23—4, 49—50; „Sie (герои старого романа) handeln und fühlen, sie lieben und hassen nach einem festen den Konventionellen gesellschaftlichen Formen und Anschauungen entsprechenden Schema oder nach einer bewussten oder unbewussten Analogie an vorangegangene Vorbilder was ja bei den mit platonischer Weisheit gesättigten Figuren nicht auffallend ist. Jede gesättigten Figuren nicht auffallend ist. Jede ursprüngliche Regung ist ihnen fremd. Ihre Leidenschaft ist selbst in den heftigsten Ausbrüchen stilisiert, die verworrensten Empfindungen abstrakt nach dem Muster antiker Rethoren Kunststucke behandelt. Jede Abweichung von diesen Schematen wird als niedrig Komisch empfinden" (op. cit., 50); 251. Ibid., 53, 60; 252. Ibid., 61, 70; 253. Ibid., 74, 75—6, 81; 254. Ibid., 92—3; 255. Ibid., 101; 256. Ibid., 113, 123; 257. Ibid., 148 ff. cmp o неѣ: Koerting, op. cit., 165 ff.; 258. Oeuvres de Mme De La Fayette, t. IV—V, à Amsterdam, M. DCC. LXXXVI. 37; 259. Op. cit., IV, 57.

260—V, 36—7; 261—V, 112; 262—IV, 173; 263—V, 234; 264—IV, 1; 265—IV, 7; 266—IV, 9; 267—IV, 11; 268—V, 159; 269—V, 161; 270—IV, 57, 185, 239, 251; V, 20; 271—IV, 71; 272—IV, 218; 273—V, 8; 274—V, 135—6; 275—V, 221; 276—V, 226; 277—V, 232; 278—V, 235; 279—V, 99.

280—V, 103; 281—V, 113; 282—V, 137; 283—V, 210; 284—V, 212; 285—V, 218; 286—V, 226; 287—V, 62; 288—IV, 31; 289—IV, 26; 290—V, 151; 291—IV, 215; 292. Это прекрасно выяснено въ цитованной книгѣ Waldberg'a, напр. стр. 100 и др.; 293. Op. cit., 161; 294. Ibid., 92—3, 103—5, 198, 200, 276, 295—7; 295. Ibid., 101—2, 133, 191 и др.; 296. Ibid., 195; 297. Ibid., 121; „Le mariage est un oeuvre de la raison toute seule; le coeur n'a guère eu de part en cette invention. C'est pourquoy on a veu cesser tout à coup cette ardeur qu'on avoit pour les Romans" („De la Délicatesse" Paris, MDCLXXI, cit. Waldberg'a). 298. Waldberg, 130; 299. Ibid., 132.

300. Ibid., 139; 301. Ibid., 146; 302. Ibid., 213; 303. Ibid., 211—3; 304. Ibid., 217—20, 231—2, 237; 305. Ibid., 263; 306. Ibid., 374—6, 312, 317; 307—268; 308—200, 211, 311—5, 139; 309—384; 310—319, 383, 384, 391—5; 311—384; 312—222 и др.; 313—386; 314—138; 315—318; 316—311, 392; 317—136, 334; 318—290-1, 335-6; 319—271.

320—151-5; 321—237-8; 322—16, 53; 323—21, 29, 58, 56, 245, 216, 398-400, 369 и др.; 324—229; 325—189, 304; 326—77, 127, 206, 213, 323, 178-9, 309, 196-7; 327—256, 390-1; 328—113, 199, 257, 298-9, 304, 307, 302-3, 370; 329—110; 330—247; 331—254-5; 332—356, 361, 372; 333—238, 241, 245, 216, 101, 189-90, 134-5, 111, 276, 194; 334—179, 152-3, 369-371, 261; 335—219, 232; 336—397; 337. Huet, „Traité de l'origine des romans", 7-me éd. à Paris, MDCXCIII; 338. Op. cit., 7; 339—Ibid..

340—Ibid.; 341—8; 342—Ibid.; 343—9; 344—9-10; 345—10; 346—13; 347—11-12; 348—14; 349. Charles Sorel, „Francion" (Morillot, op. cit., 425); его же: „Le Berger extravagant" où parmy des fantaisies amoureuses, on voit les impertinences des romans et de la poesie", Tristan, „Le page disgracié, où l'on voit de vifs caracté-

res d'hommes de tous tempéramens et de toutes professions (ibid., 446). Scarron, „Roman comique“ (ibid., 450). Furetière, „Roman bourgeois“ (ibid., 457). Molier, „Précieuses ridicules“. Cyrano de Bergerac, „Lettre contre un Liseur de Romans“ (Waldberg. 21). 350 Oeuvres de Boileau Des preaux, t III, à Paris, MDCC. LXXII par M. de Saint Marc.; 351. См. выше; 352. Koerting, op. cit., 16; 353. Ibid., 17; 354. Ibid., подстр. прим., 17 стр.; 355. Ibid., 29 и слѣд.; 356. Ibid., 31; 357. Ibid., 31; 358. Ibid., 32; 359. Ibid., 34.

360. Ibid., 35; 361—18, 362—33; 363—33; 364—32; 365—36; 366—37; 367—26; 368—33; 369. Morillot, IV, 431; 370. Waldberg, op. cit., 11. Перечень видныхъ писателей этой школы см. у Koerting'a и у Morillot, op. cit., 430, 433, 440; 371. Fénélon, „Les aventures de Télémaque, par M. Fr. Salignac de la Mothe Fénélon, à Leyde, MDCCLXXXVII; о немъ: P. Morillot, op. cit., V, 589—91; P. Morillot'a, „Le Roman en France dépuis, 1610, jusqu'à nos jours; P. Janet, „Fénélon“, Paris. 1892; E. Faguet. „Dix-septième siècle“, Paris, 1890; Le Breton, „Le roman du dix septième siècle“, Paris, 1890; Brunetière, „Manuel de l'Histoire de la Littérature française“, Paris. 1898; 372. Le Breton, op. cit., 248; 373. Ibid., 249; 374. Ibid., 250—1; 375. E. Faguet, op. cit., 335; Le Breton, op. cit., 263; P. Janet, op. cit., 122, 128—9; 376. E. Faguet, op. cit., 371; Le Breton, op. cit., 250—1; P. Janet, op. cit., 132; Morillot'a, op. cit., 148—9. Повиднимому, объ этомъ же трактуется въ двухъ работахъ: Bulvé La „De l'hellenisme chez Fénélon“ These, Paris, 1898; Reyssié F., „De l'hellenisme chez Fénélon“, „Journ. des Débats“, 21 Mai 1898; 377. Le Breton, op. cit., 261; P. Janet, op. cit., 129, 130; E. Faguet, op. cit., 315, 373; 378. Le Breton, op. cit., 255—7; 379. О заимствованіяхъ Фенелона см. у P. Janet, op. cit., 122—126, 130; Le Breton, op. cit., 255; E. Faguet, op. cit., 371.

380. Русскій переводъ: II, 87, I, 107, 163, 191, II, 316; франц. оригиналъ: стр. 273, 59, 90, 106, 405; 381. Русск. пер. I, 100, оригин.: 54; 382—I, 10, 47, 279—21, 25, 156; 383—II, 86; 384—II, 230—356; 385—I, 280—157; 386—II, 95—277; 387—I, 70, II, 257, I, 277—37, 371, 155; 388—II, 57, I, 209—255, 115; 389—I, 69; 390—II, 161—315; 391—I, 312—192; 392—I, 12—5; 393—I, 209; 394—I, 125—68; 395—I, 35—18, 396—I, 275—153; 397—I, 214—118; 398—I, 31—16; 399—I, 100—54.

400—I, 70—37; 401—II, 294—393; 402—I, 290—162; 403—II, 308—401; 404—I, 288—161; 405—II, 118—290; 406—II, 317—106; 407—I, 289; 408—I, 270—150; 409—II, 233; 410—II, 98; 411—II, 309—402; 412—II, 147—308; 413—I, 102—56; 414—I, 183—100; 415—II, 101, 127; 416—I, 33; 417—II, 116—7, 289; 418—I, 103—56; 419—I, 108—59.

420—I, 109, 421—I, 129—30; 422—I, 244; 423—II, 160—315; 424—I, 118; 425—I, 121; 426—I, 13; 427—I, 55—6; 428—II, 225; 429—II, 90, I, 49; 430—II, 123; 431—II, 231; 432—I, 112; 433—II, 221; 434—I, 9; 435—I, 196; 436—I, 200; 437—I, 210—133; 438. Напр., I, 202—3, I, 207—8, I, 118; 439. Dunlop-Liebrecht, „Geschichte der Prosadichtungen“, B., 1851, Koerting, op. cit., ч. II; Тикноръ, „Исторія испанской литературы“, 3 т., 1883-91; Leo Claretie, „Lesage-romancier d'après de nouveaux documents“, P., 1890; E. Lintilhac, „Lesage“, P., 1893; F. Brunetière, „Etudes critiques“, series III и IV, 1894; E. Faguet, „Dix-huitième siècle“, Paris; A le Breton, „Le Roman au dix-huitième siècle“, P., 1898; H. Стороженко, „Изъ области литературы“, 1902; P. Morillot, „Le Roman“ (Pétit de Julleville— „Histoire de la Langue et de la Littérature française“, IV, V и VI); P. Morillot'a, „Le Roman en France depuis 1610 jusqu'à nos jours“, Paris; A. Morel-Fatio, „Etudes sur l'Espagne“, I, III ser., P., 1895.

440. Claretie, op. cit., 104; 441. Morillot, op. cit., IV, 453; 442. Ibid.; 443. Ibid., 454; 444. Ibid.; 445. Claretie, op. cit., 120; 446. Ibid., 120, 121; 447. Ibid. 121—2; 448. Ibid., 122; 449. Brunetière, op. cit., III, 68; 450. Ibid., 68—9; 451. Claretie, op. cit., 124—5; Brunetière, op. cit., IV, 43—4; 452. Brunetiere, op. cit., 70—3; 453. Claretie, op. cit., 135; 454. Ibid., 129, 133, 134; „Les Désordres de l'Amour“; 455. Morillot, op. cit., V, 596; „Amusemens sérieux et comiques“; 456. Claretie, op. cit., 137; „Mémoires du chevalier de Grammont“; 457. Тикноръ, „Исторія испанской литературы“, М., 1891, т. III, 86—7; 458. Н. Стороженко, „Изъ области литературы“, М., 1902, 58 стр.; 459. Лезинъ, „Вопросы теоріи и психологіи творчества“, Харьк., 1907, 394.

460. Н. Стороженко, op. cit., 58 и дальше; 461. Ibid., 69 и дальше; 462. Claretie, op. cit., на стр. 178, напр., такъ характеризуетъ героя романа, Гусмана изъ

Анцѣ́радо: „C'est brutal, trivial, grossier comme Lazarille... Guzman ne vaut pas la corde pour le pendre. Il se juge lui-même à sa valeur: „J'ai laissé en chemin la honte, comme une charge trop pesante pour un homme à pied"; ou encore: „Je n'étais plus capable d'avoir honte de commettre une mauvaise action; je ne me sentais honteux que d'être pris sur le fait". Le nombre de ses larcins ne se chiffre plus; les patrons, les passants, savetiers, cuisiniers ou cardinaux, quand il s'agit de voler, il ne fait de même aucune différence, et sa propre famille n'est pas sa moindre victime. Par représailles, sa seconde femme le dévalise avant de s'enfuir avec un amant. Quant à lui, il finit sur les galères" etc. Реализмъ этихъ романовъ, по его опредѣленію, — „cru et sale", op. cit., 180—1; 463. Claretie, op. cit., 148—261; Lintilhac, op. cit., 85; Le Breton, op. cit., 55; Faguet, op. cit., 148, 153; „...le roman picaresque... ne peut guère être considéré comme une lecture divertissante que par les coupeurs de bourses dans leurs bouges et la canaille dans ses présides: c'est de la littérature de bagne. L'épouvantable population, qui s'y démène y est en général d'une brutalité de corruption qui n'a d'égale que sa franchise d'immoralité. Ce n'est pas l'immoralité joyeuse du bon compagnon raillard de nos contes gaulois, dont Panurge est demeuré le type impérissable, c'est l'impudeur insultante, et cynique du coquin tonné cruel, recuit et bronzé par le crime" (Brunetière, op. cit., III, 88). „Le goût de terroir en est trop fort" (Ibid., 89). 464. Claretie, op. cit., 182; 465. Brunetière, op. cit., 89; 466. Ibid., 90; 467. Ibid.; 468. Н. Стороженко, op. cit., 57; 469. Morillot, op. cit., V, 398; 470. См. выше, стр. 282; 471. Faguet, XVIII-ème siècle, 76; 472. Lintilhac, op. cit., 106; 473. Faguet, op. cit., 71; 474. Claretie, op. cit., 332—3; 475. Morillot, op. cit., VI, 154; 476. Brunetière, op. cit., 63—4; 477. Lintilhac, op. cit., 86—7; Le Breton, 39; 478. Morillot, op. cit., VI, 154; 479. Claretie (312—4) приводитъ длинный перечень современниковъ Лесажа, жизнь которыхъ полна была авантюръ. Этотъ перечень можно увеличить показаніями Брюнетьера op. cit., III, 91—5).

480. Claretie, 364; Lintilhac, 129; Le Breton, 11; 481. Brunetière, III, 91; 482. Claretie, 298; 483. Claretie, 295—6, 303; Lintilhac, 161; 484. Claretie, 284; Brunetière, 90, 91; Morillot, VI, 151—2; 485. Claretie, 284; 486. Morillot, VI, 157; 487. Claretie, 302; 488. Le Breton, 56—7; 489. Claretie, 306, 490. Ibid., 306—8; 491. Faguet, 67; 492. Lintilhac, 165; 493. Claretie, 314; 494. Lintilhac, 178; 495. Ibid., 178; 496. Ibid., 179: „C'était la philosophie de son temps, c'était alors celle de la race prende le temps, comme il vient, les occasions—comme elles s'offrent" (Brunetière, op. cit., III, 103); 497. Morillot, VI, 155; 498. Brunetière, III, 110; Faguet, 76—7; Le Breton, 52; 499. Faguet, 77; Brunetière, 97; 500. Claretie, 318; Lintilhac, 97; Faguet, 78.

501. Claretie, 321, 327—9; Brunetière, III, 102, IV, 15; Lintilhac, 92; 502. Lintilhac, 189; 503. Brunetière, IV, 14; 504. Ibid., 15; 505. Claretie, 275; Lintilhac, 147; Brunetière, III, 103; Faguet, 56; Morillot, VI, 153; 506. Claretie, 276—7; нацр., сестра: „Le stoïcien Epictète n'a pas tort de te comparer a une fille de condition qui s'abandonne à des valets"—обращается онъ къ судьбѣ ibid., 277); 507. Lintilhac, 163—4, 165; Brunetière, III, 114, 117; Faguet, 76—7; Morillot, VI, 157—8; 508. Claretie, 302, 352—5; Le Breton, 41, 45 и др.; 509. Lintilhac, 164—5; 510. Claretie, 290, 291; Lintilhac, 140—1, 141; 511. „Похожденія Жиль Блаза де-Сантиллана", описанныя г. Лесажемъ, а переведенныя Василіемъ Тепляковымъ, 4 ч., Спб., 1768, I, 102; 512. „Histoire de Gil-Blas de Santillane", par M. Le Sage, Nouv. édition, 4 t., Paris, 1797, I, 76; 513. Русск. перев., I, 123; 514. Франц. оригиналъ, I, 93; 515—I, 150; 516—I, 114; 517—I, 151; 518—I, 115; 519—I, 156; 520—I, 118-9.

521—I, 281; 522—I, 217; 523—II, 14; 524—II, 12; 525—II, 53; 526—II, 42; 527—II, 196; 528—II, 157; 529—II, 197; 530—II, 158; 531—II, 199; 532—II, 160; 533—III, 16; 534—III, 12; 535—III, 325; 536—III, 266; 537—III, 122; 538—III, 347. Еще о судьбѣ упоминается: I, 37, 51, 61, 91, 99, 171, 239, 276; II, 7, 14, 51, 53, 69, 81, 87, 157, 175, 191, 196, 197, 199, 272, 287; III, 16, 19—20, 118, 185, 325, 122, 127; 539—III, 27; 540—I, 235, 438, 17, 26, 38, 197, 238, 310, 374, 126, 151; II, 22, 217; III, 8—9, 154, 275, 291, 112, 132; IV, 9.

541—I, 17; 542—I, 25-6; 543—I, 38; 544—I, 157; 545—I, 238; 546—III, 89; 547—I, 413; 548—нацр.: I, 18, 30, 52, 117, 126, 170, 171, 171, 183, 191, 249, 308, 353; II, 291, 295; III, 13, 109, 161; IV, 133; 549—I, 279; 550—I, 293; 551—I, 296; 552—III, 95; 553—III, 156; 554—III, 227; 555—I, 187; 556—IV, 121; 557—I, 2, 32; 558—I, 359; 559—I, 359, 25, 49, 297; II, 26, 98, 117, 358-72, 301; III, 9-10, 560—I, 371.

561—I, 38; 562—III, 176-9; 563—I, 176, 153; IV, 313; 564—I, 178, 275-6, 213, 293-5; III, 167; 565—I, 2-3; 566—I, 6; 567—I, 13; 568—I, 28, 31-5; 569—I, 40; II. 8; III, 125; 570—I, 41-3, 48; 571—I, 66-7; 572—I, 160, 331-2; 573—I, 360; 574—I, 161, 354-5, 454; 575—I, 183, 186, 198; 576—I, 283; 577—I. 300; 578—I, 139; 579—II, 127, 128, 130; 580—III, 35.

581—III, 115, 156-9, 281; 582—I, 45; IV, 147; 583—I, 24-5; 584—I, 382; II, 132; 585—II. 219; 586—I, 93, 282, 287, 385, 441, 283; II, 7; 587—I, 292-5; II, 261; III, 63, 117; 588—I, 93, 210, 387; 589—I, 139, 277, 282, 286, 389, 410; II, 8, 12; 590—I, 89, 414-5; II, 325-6; IV, 187; 591—II, 7; III, 4, 200; II, 127; 592—I, 269; II. 25, 163, 198, 337, 358-72; 593. Наир: I, 96; II, 295; III, 61, 112, 264; IV, 96, 7 и др.; 594—I, 59; 595—I, 96; 596—I, 186, 189; 597—I, 316-7; 598—II, 307, 309; 599—IV, 82; 600—III, 14-15.

601—III, 199; 602—III, 259; 603—II, 447-8; III, 263, 271; 604—II, 238-9; 605—I. 76; 606—IV, 339; 607—I, 21-2; 608—II, 10; 609—III, 243; 610—I, 2-3; 611—II, 322; III. 300; 612—I, 59, 80, 221, 327; 613—I, 197, 204, 211-2; 614—I. 132; 615—I, 16-7. 130; 616—I, 148; 617—III, 318; 618—I, 134; 619—I. 27, 71-3, 77, 242. 288, 336; 620—I, 79.

621—IV, 297; 622—II, 347; 623—III, 1-2; IV, 337, 340; 624—IV, 170; 625—I. 21, 51. 156, 200; II, 130, 186, 275; III, 109, 210, 225-6; 626—I, 21; 627—II, 130; 628—I, 243, 367; 629—IV, 310; 630—I, 52; II, 287; 631—IV, 215; 632—I, 46, 88, 122. 158, 248, 337, 409; II. 32, 166, 202, 277 и др.; 633—II, 262—3; 634—III, 143; II, 175; 635—IV, 39—40; 636—I, 129; 637—II, 63; 638—II, 353; 639—II, 354; 640—II, 247-8.

641—III, 355; 642—I, 46; 643—II, 287; 644—I, 443; 645—о Прево: V. Schroeder. „L'abbé Prevost", P., 1898; A. Le Breton. „Le roman au dix-huitième siècle", P., 1898; I. Texte „Jean-Jacques Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire". P., 1895; Morillot. op. cit., VI t. (Récit de Julleville, „Histoire de la langue et de la Littérature française"); F. Brunetière, „Etudes critiques", 3-me serie; S. Lenel, „Un homme de lettres au XVIII siècle—Marmontel", P., 1902; 646. Schroeder, op. cit., 287; 647. Le Breton, op. cit, 104, 135; Schroeder, op. cit., 207, 219; Morillot, op. cit., 471; 648. Schroeder, 207; Le Breton, 107; 649. Schroeder, 217, см. у меня на стр. 373 подстрочное примѣчаніе; 650. Schroeder, 194, 199, 241; Brunetière, 216, 217, 253; Le Breton, 141, 144; 651. Schroeder, 149, 156; Le Breton, 104—5, 127; 652. Le Breton, 115—6; 653. Ibid., 108, 109; 654. Le Breton, 129; 655. Schroeder, 242; Brunetière, 205; Le Breton, 108; 656. Le Breton, 106—7, 128; 657. Le Breton, 103; 658. Le Breton, 105; Schroeder, 161; 659. Le Breton, 104; 660. Schroeder, 242.

661. Le Breton, 104; 662. Schroeder, 149, 281; 663. Brunetière, 218, 214; Schroeder, 314; 664 Morillot, 471; 665. Schroeder, 146; Brunetière, 218; 666. Morillot, 471; 667. Schroeder, 284; 668. Morillot, 472; 669. Schroeder, 193. 230, 219; Morillot, 471; 670. Morillot, 472; 671. Schroeder, 172; 672. Schroeder, 171; Brunetière, 215; 673. Schroeder, 176—80; 674. Ibid., 142, 194; 675. Ibid., 145, 194; 676. Ibid., 141; 677. Ibid., 194; 678. Ibid, 151, 229, 302; 679. Ibid., 216—7.

680. Ibid., 216; 681. Ibid, 151; 682. Ibid., 304, 226—9; Le Breton, 137—9; 683. Ibid., 311; 684. Morillot, 473; 685. Schroeder, 305—9; 686. Ibid., 310; 689. Brunetière, 195; Morillot, 467; Schroeder, 131; Le Breton, 91, 92, 114—5. Schroeder, 134; 690. Schroeder, 131; 691. Le Breton, 135, 136; Schroeder, 136—7. Въ этомъ отношеніи, его романы, въ такой же мѣрѣ, опирались на тогдашнюю дѣйствительность, богатую авантюрами (Brunetière, III. 95); 692. Le Breton, 136; 693. Schroeder, 184; 694. Ibid., 132; 695. Ibid., 183, 252; 696. Le Breton, 179; 697. Brunetière; 218; 698. Le Breton, 175; 699. Le Breton, 176; 700. Ibid., 117; 701. Ibid., 126, 128.

702. Ibid., 103; 703. Ibid., 130; 704. Ibid., 130—2; 705. Le Breton, 134; 706. Ibid., 134; 707. Le Breton, 142—4; 708. Schroeder, 243; Morillot, 473; Brunetière, 211; 709. Le Breton, 102; Morillot, 474; 710. „Приключенія Маркиза Г*, или жизнь благороднаго человѣка, оставившаго свѣтъ", ч. I—VI, Спб., 1780; 711. См. у меня, В. Сиповскій, „Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти", 179—180; 712—IV, 101; 713—IV, 64; 714—IV, 101; 715—IV, 64; 716—IV, 101; 717—IV, 64; 718—IV, 102; 719—IV, 65; 720—II, 119; 721—II, 145.

722—II, 119; 723—II, 145; 724—II, 4; 725—II, 2; 726—II, 6; 727—II, 4; 728—IV, 71; 729—IV, 27; 730—V, 3; 731—V, 40; 732—I, 99; 733—I, 135;

734—IV, 139; 735—IV, 109; 736—IV, 92; 737—IV, 53; 738—V, 28; 739—V, 36; 740—I, 58; 741—I, 79.

742—I, 60; 743—I, 59; 744—I, 65; 745—I, 88-9; 746—I, 117; 747—I, 159; 748—IV, 145; 749—IV, 116; 750—I, 86; 751—I, 118; 752—I, 90; 753—I, 124; 754—I, 95; 755—I, 131; 756—II, 9; 757—II, 7; 758—I, 163; 759—I, 221; 760—III, 47; 761—III, 59.

762—I, 5; 763—I, 5; 764—I, 26; 765—I, 33—4; 766—I, 106. 767—I, 145; 768—II, 110; 769—II, 133; 770—I, 17; 771—I, 22; 772—IV, 35; 773—III, 27; 774—II, 119; 775—II, 145; 776—III, 4; 777—III, 7; 778—II, 69; 779—II, 71; 780—I, 78; 781—I, 78.

782—III, 3; 783—V, 209; 784—V, 254; 785—II, 125; 786—II, 153-4; 787—II, 124; 788—II, 125; 789—IV, 85; 790—IV, 86-7; 791—IV, 110-1; 792—IV, 35; 793—I, 56; 794—II, 125; 795—I, 128; 796—V, 35; 797—V, 36; 798—V, 79; 799—V, 220; 800—V, 224; 801—VI, 135.

802—Ibid.; 803—VI, 73; 804—I, 29; 805—IV, 69-70; 806—II, 98-9; 807—IV, 40; 808—IV, 18; 809—V, 80; 810—V, 101-2; 811—I, 129; 812—I, 147; 813—IV, 122-3; 814—I, 37; 815—IV, 120-1; 816—III, 22-3; 817—III, 51-2; 818—II, 34; 819—II, 33, 820—IV, 58; 821—IV, 65.

823—II, 3; 824—I, 92; 836—I, 56, 58; 836—I, 77; V, 70—1; 837—III, 147; 838—IV, 72, 77; 839—II, 20-1; 840—II, 34-53; 841—II, 99; 842—I, 94; 843—IV, 18; 844—I, 82; 844—I, 46; 845—III, 189; VI, 102; 846—II, 134; 847—I, 102-6; 848—II, 5—14; 849—I, 100; 850—II, 156—8; 851. В. Сиповскій, „Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти", Спб., 1903.

852. А. Пыпинъ, „Для любителей книжной старины", М., 1891 (испр. и доп. изд. въ „Сборникѣ общества Любит. Росс. Словесности на 1891 годъ"); 853. *Милюковъ*, „Очерки по исторіи русской культуры", ч. II, 175—8; ч. III, вып. 2, 229—31; 854. В. Сиповскій, „Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти", стр. 162; 855. Ѳ. Лубанскій, „Воспоминанія", 273; 856. Г. Добрынинъ, „Нравственное повѣствованіе", 134; 857. Адр. Грибовскій, „Записки о Императрицѣ Екатеринѣ", 43; 858. Винскій, „Записки", Р. Арх., 1877, I, 98; 859. Гавр. Герасковъ, „Путевыя записки", II, 1828, 112; 860. Ibid., II, 16, 213; 861. В. Сиповскій, op. cit., 160—1, № 4; 862. Напр., стр. 181, № 650; 184—5, № 874; 863. Ibid., 164, № 115; 864—190, № 1012; 865—208, № 1853; 222, № 503; 866—222, № 503; 867—187, № 952; 868—209, № 1944; 869—189, № 492; 870—162, № 65; 871—240.

872—234—5, 238; 873—238; 874—107—8, 181, 225; 875—235; 876—237; 877—241; 878—239; 879—241; 880—248; 881—259; 882—259-60; 883—251; 884—251; 885—252; 886—24; 887—252—3; 888—244; 889—258; 890—251, 252; 891—261.

892. *„Награжденная постоянность или приключенія Лизарка и Сарманды"*, сочиненіе Ѳедора Эмина. Второе изданіе, Спб., 1788; 893—6, 7, 7—8, 9, 22, 29, 38, 51, 52, 54, 55, 67, 69, 72, 76, 81, 83, 88, 89, 91, 97, 110, 128, 143, 151, 160, 165, 188, 193, 194, 195, 196, 199, 222, 221, 220, 231, 235, 236, 299, 250—1, 257, 282, 292, 297, 298, 302, 342, 345; 894—Ibid., 280; 895—298; 896—7—9; 897—83; 898—128; 899—165; 900—89; 901—110; 902—194; 903—291—2; 904—35; 905—199; 906—221; 907—240; еще: 35, 41—2, 46, 63, 199, 221, 240, 253, 214, 269, 300, 346; 908—46—7, 64, 95, 104, 130; 909—100, 101, 65—6, 70; 910—100, 20, 30, 32, 70; 911—13, 25, 26, 27.

912—27; 913—100—2; 914—103—4; 915—105—6; 916—194; 917—3; 918—311—3; 919—203—5; 920—90, 91, 107, 125, 161, 183; 921—7, 15—18, 22, 23, 34—7, 38, 41, 47—9, 61, 71, 81—2, 83, 107—8, 117, 124—7, 145, 154—5, 164, 184—6, 221, 228; 922—77—8; 923—94; 924—113; еще: 6, 14, 15, 18, 21, 34, 37—8, 39, 40, 41, 43, 46, 61, 65, 70, 77—8, 89, 94, 113—4, 116, 117, 121, 122, 158, 143—4, 189, 197—8, 243, 306, 301—1; 925—125; 926—164—5; 927—81; 928—218; 929—242; 930—243; 931—248—9.

933—64—5, 93, 175; 934—106; 935—26; 936—4; 937—7; 938—13; 939—4; 940—5; 941—14; 942—16, 29; 943—27, 351; 944—13, 14, 41; 945—263, 275; 946—17, 107, 108—9; 947—205, 210, 948—38, 68, 31, 44, 84, 101, 106, 156—7; 949—22, 23, 43, 85; 950—23; 951. *„Валерія, или дѣйствіе души великой и благородной"*, сочиненная Михайломъ Нарыкинымъ, М., 1773; 939. Ibid., 12.

953—511, 526; 954. Предисл.: 955—1-2; 956—18; 957—20; 958—21-2; 959—25; 960—23-4; 961—26; 962—39-40; 963—50-1; 964—51; 965—69-70;

966—75-6; 967—90; 968—8; 969—27; 970. Предисл.; 971. Ibid.; 972. *„Приключенія Александра храбраго царевича Лакедемонскаго и Піотилды, королевы Ѳракійской“*, Россійское сочиненіе. Николаевъ. Второе изданіе. 1793 г. 2 ч. (№ 1489). (1-ое изд. 1788—№ 983). 3-ье изд. 1798 г. (№ 1920) авторомъ назвавъ П. Захарьинъ. (Соб. 8978).

972—I, 3; 973—I, 13-14; 974—I, 26; 975—I, 27; 976—I, 27; 977—I, 28; 978—I, 30; 979—I, 51; 980—I, 82; 981—I, 118; 982—I, 130; 983—II, 1; 984—II, 9; 985—II, 21—3; 986—II, 24; 987—II, 28; 988—II, 32-3; 989—II, 35; 990—II, 39; 991—II, 50

992—II, 50. 993—II, 50; 994—II, 57-8; 995—II, 60; 996—II, 75; 997—II, 82; 998—II, 104; 999—II, 111; 1000—II, 117; 1001—II, 174; 1002—I, 3-5, 16-18; II, 58; 1003—*Судьба*—I, 25, 43, 47, 52, 62, 69, 80; II, 18, 91, 149, 155; 1004—I, 25-6; 1005—I, 43; 1006—I, 52; 1007—I, 52; 1008—I, 62; 1009—I, 63; 1010—I, 18; 1011—I, 91.

1012—I, 149; 1013—I, 37; 1014—I, 65; 1015—I, 80; 1016—I, 113; 1017—II, 3; 1018—II, 77; 1019—II, 98; 1020—II, 27; 1021—II, 50; 1022—I, 12, 97-8, 99; 127-8; 1023—II, 60; 1024—II, 9, 17; 1025—I, 67, 81; 1026—II, 99; 1027—I, 13; 14, 67, 97; II, 52, 53—4; 1028—I, 109, 110, 45; 1029—II, 50; I, 24-5, 25-6, 49; 1030—II, 49; 1031—II, 32.

1032—I, 26, 38, 62, 79, 82, 83, 111, 129; II, 35, 179; 1033—I, 103 и др.; 1034—I, 34; 1035—I, 121; 1036—I, 39; 1037—I, 90; 1038—II, 58; 1039—II, 74-5; 1040—I, 51; 1041—I, 54; 1042—II, 32-3; еще: I, 9, 48, 54, 63, 80, 82, 88, 109; II, 14, 28, 32, 43, 48, 56, 111, 174; 1043—I, 43; 1044—I, 118, 127, 1045—II, 175; 1046—I, 57; 1047—I, 131; 1048—II, 21; 1049—II, 18—19; 1050—II, 98; 1051—I, 9.

1052—I, 9-10; 1053—I, 9; 1054—I, 110, 1055—I, 41-2; 1056—I, 80; 1057—I, 11; 1058—I, 12; 1059—II, 22; 1060—I, 48; 1061—I, 25; 1062—II, 7; 1063—II, 94; 1064—II, 11; 1065—II, 93, 132, 138; 1066—II, 94; 1067—II, 64; 1068—II, 18; 1069—II, 145; 1070—I, 73; 1071—II, 133, 135.

1072—II, 71, 75; 1073—I, 19; 1074—I, 84; II, 126; 1075—II, 40; 1076—II, 102; 1077—II, 116; 1078—II, 103-6; 1079—II, 86, 103; 1080—II, 96; 1081—I, 67-8; II, 41; 1070—I, 74-5; 1071—II, 37, 39, 40; 1072—II, 37; 1086. Des weitberühmten Welschen Dichters Marini Prinz Kalloandro, zu mehrer Ausübung und Ausschmückung unserer hochteutschen Sprache in selliger aus dem Italiänischen übersetzt... Nürnberg, 1667; 1075. „Вѣрный Калоандръ“, сочиненіе графа Канлуса, переведъ съ французскаго Алексѣй Свищовъ. 4 ч. въ М., 1789. 1088. О немъ: Adolfo Albertazzi. „Romanzieri e Romanzi del cinquecento e del seicento“, Bologna, 1891, стр. 251. 1089. Koerting, op. cit., 314; 1090—Я пользовался спискомъ съ рукописи, принадлежавшей покойному акад. Л. Н. Майкову; *„История о греческомъ цесаревичѣ Александрѣ и о трояновской цесаревнѣ Неотилдѣ переведена съ греческаго на славенскій языкъ“*. Еще списки указаны въ библіографическомъ указателѣ акад. А. Н. Пыпина; „Для любителей русской старины“. 1091. См. В. Сиповскій. „Русскія повѣсти XVII—XVIII-го столѣтія“.

1092. Op. cit., 3-4; 1093—5-6; 1094—16-17; 1096. *„Повѣсть о непреборимой любви Адамантѣ къ Ларисѣ“*, соч. Р. Черневскаго. 2 ч. Спб., 1793. (№ 1477); 1097—op. cit., 19; 1098—21; 1099—22; 1100—24; 1101—28; 1102—33-4; 1103—34; 1104—35; 1105—36; 1106—37; 1107—38; 1108—39; 1109—40; 1110—44; 1111—46.

1112—51-2; 1113—57; 1114—58; 1115—80; 1116—100; 1117—105; 1118—108; 1119—21; 1120—24; 1121—26; 1122—41; 1123—51, 69, 85, 64—6, 69, 77; 1124—56; 1125—58; 1126—95; 1127—I, 6, 13, 27, 81, 98; II, 9, 22, 11; „Небо“: I, 23, 53, 63, 67, 88; 1128—5, 12, 61, 81—3; 1129—4, 23, 42; 1130—5; 1131—1, 2, 65-6, 78, 35.

1132—2, 11, 15, 49, 17-18, 42; 1133—49; 1134—18; 1135—47; 1136—11, 13; 1137—1, 36, 55; II, 3—5, 9, 32; 1138. Dunlop-Liebrecht—op. cit., VI cap.; 1139. Rohde, op. cit., главы I, III. Еще Chassang, op. cit., гл. III; 1140. *„Похожденіе Ахилесово, тоесть именемъ Пирры до осады Троянскія“*, соч. Михайла Чулкова, Спб., 1763 (№ 2341). 2-ое изд., М., 1788 (нигдѣ далѣе ко *второму* изданію). 1129. Op. cit., 10; 1130—21; 1131—48; 1132—49; 1133—27; 1134—41; 1135—50; еще: 13, 23, 42; 1136—25; 1137—10; 1138—13: еще: 49, 56; 1139—30, 36, 53,

1140—36; 1141—34; еще: 30; 1142—33; 1143—38; 1144—9; 1145—10-11; 1146—12; 1147—5-6; 1148—27; 1649—50, 42; 1150—35, 52; 1151—40; 1152—27;

1153—Rohde, op. cit., 34, 40, 44—5, 109—110; 1166. „*Анакреонъ, или могущество любви*", греческая повѣсть, соч. Россійское, М., 1790; 2-ое изд. 1796 г.; 1167—3; 1168—6-7; 1169—18-19; 1170—14-15; 1171—16.

1172—36, 40, 41; 1173—28; 1174—28-9; 1175—41; 1176—Стихотворенія Анакреона Тійскаго, на русскомъ и греческомъ языкахъ, перев. *** (Н. Львова) 1794, XCIV (Жизнь Анакреона; Анакреоновы переводчики) + 287 стр. 1177. „Любовь Сафои и Фаона", переведенная съ французскаго языка Ив. Ра... Спб., 1780; 1178. Morillot, op. cit., V, 573; 1179. Waldberg, op. cit., 163—4; 1180. Ibid., 167; 1181—348. „Sapho ou l'heureuse Inconstance avec le jeune Alcee ou la Vertu triomphante", 1706; 1182—349. „Amours de Catulle et Tibulle". Jean de la Chapelle", 1699; 1183—Rohde, op. cit., 61 стр. прим. 2; Chassang, op. cit., 99—117; 197-234; 1184. По указателю Lemonnyer, „Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Amour, aux femmes". 1185. Hermesianax (о немъ у Rohde: „Griechische Roman"). Изъ ссылки у *Аѳинея* (Deipnosoph. XIII, 599, § 72), гдѣ приводится поэтическая „переписка" между Анакреонтомъ и Сафо (Ἀν.: ἀγαθὴ δεῦτε με... Ἐπιστολὴ ὦ Λεσβιάδων Μοῦσα—) видно, что существовало нѣчто въ родѣ *романа* на эту тему. Тема была, вѣроятно, использована *Гермезіанаксомъ* изъ Колофона, (IV и до Р. Хр.), однимъ изъ вліятелъ романистовъ эпохи, писавшихъ въ формѣ *элегіи*, въ родѣ *Amores* Овидія. (*Cloist*, Gesch. d. Griech. Litt., 503; *Conat*, la poésie Alex., 35—57). У Аѳинея (XIII 597) приводится отрывокъ изъ *Гермезіанакса*, гдѣ упоминается о романическихъ отношеніяхъ между Анакреонтомъ и Сафо. 1186. Op. cit., 10-11; 1187—14-15; 1188—15; 1189—22; 1190—27; 1191—59.

1180—32-2; 1181. „Любовь Сафои и Фаона", стр. 7; 1182—op. cit., 8—9; 1183—11; 1196. „*Торжествующая добродѣтель, или жизнь и приключенія знаменитой фортунной Селимы*" истинная повѣсть, соч. Д. Зиновьева, М., 1789, 2-ое изд. 1791; 1197. Op. cit., 10; 1198—28-9; 1199—37; 1200—40, 49, 68; 1201—16; 1202—3-4; 1203—15; 1204—33; 1205—15, 49, 59, 64; 1206—32; 1207—35; 1208—64—7; 1209—20, 4, 11, 39; 1210—34; 1211—35, 63.

1212—55; 1213—13; 1214—15; 1215—46-7; 1216—48; 1217—3; 1218—18; 1219. „Тысяча и одна ночь, сказки Арабскія", пер. съ арабскаго на франц. г. Галландомъ, а съ сего на россійскій языкъ Алексѣемъ Филатовымъ—12 ч., М. 1763—71. Томъ I: „*Исторія о трехъ Календерахъ царевичахъ и о 5 женщинахъ баядоскихъ*"—192; т. II: Исторія перваго Календера—42; Исторія другого Календера—63; „Исторія третьяго Календера, сына царскаго—136; 1220. „*Гонаша*", „Что-нибудь", 1780, 11—16; 1221. „*Повѣсть о Гѣродѣ*", „Что-нибудь", 1780, 21—27; 1222. „*Добродѣтельная Розина*", соч. В. Лаваревича, 1782; 1223. „*Громобой*", „Муза", 1796, II, 34, соч. А-ра Нимальова; 1224. „*Гонзольдо*", „Пр. и пол. предп. ер.", 1798, XX, 353, соч. В. Парѣжнаго; 1225. „Добродѣтельная Розина", 37; 1226. Op. cit., 70; 1227—4-9; 1228—39; 1229—58; 1230—37; 1231—37.

1232—36; 1233—42, 42; 1234—11; 1235—12; 1236—9; 1237—47; 1238—49-50; 1239—57; 1240. „Повѣсть о Гѣродѣ", 8; 1241—op. cit., 6; 1242—4; 1243—5; 1244. „Громобой", 41; 1245. L. Maigron, „Le Roman historique à l'époque romantique", Paris, 1895; 1246—op. cit., 4, подстр. примѣч.; 1247—op. cit., 15-15; 1248. „*Четыре года жизни княгини К*", *или образецъ супружеской вѣрности*", справедливая исторія, посвященная чувствительнымъ сердцамъ", М., 1795, второе изд. М., 1802. Питую по второму изданію. Предисловіе подписано буквой „*К*"; 1249. Въ указателѣ С. Пономарева („Матеріалы для библіографіи литературы о Н. М. Карамзинѣ") годъ сочиненія повѣсти Н. Карамзина „*Юлія*" показанъ *1794-ой* годъ; напечатана она впервые въ *1796-омъ*. М., 120 (Соч., 5072); 1250. „Анекдоты любопытные о любви супружеской", М., 1790; 1251—op. cit.

1252. „Четыре года...", 58; 1253. „Анекдоты", 111; 1254. „Четыре года...", 110; 1255—72; 1256—29; 1257—74-5; 1258—34-5; 1259—62; 1260—49; 1261—43; 1262—46-7; 1263—3; 1264—50; 1265—43; 1266—58; 1267—49; 1268—51; 1269—60; 1270—58; 1271—62

1272—46; 1273—52; 1274—51; 1275—57; 1278—68; 1279—51; 1280—56-7; 1281—47; 1282—52; 1283—54, 62; 1284—54; 1285—ibid.; 1286. Lenel, „Un homme de lettres au XVIII siècle", P., 1902; 1287—ibid., 259; 1288—ibid. Характеристика Lenel'a, 259; 1289. „Счастливыя разводъ", 1769, стр. 42—4; 1290. Спб., 1763 (№ 117); 2-ое изд. М., 1781; 1291. А. Неусгроевъ, „Указатель къ русскимъ повѣ. изданіямъ и сборникамъ", Спб., 1898; 1292. Эмпиц, op. cit., 77—9; 1293—ibid., 77.

1294—ibid., 91; 1295—ib., 215; 1296—ib., 23; 1297—ib., 103; 1298—ib., 111; 1299—ib., 129; 1300—ib., 132; 1301—ib., 324—5; 1302—ib., 325—6; 1303 А. Лященко, „Къ Исторіи Русскаго Романа. Публицистическій элементъ въ романахъ Ѳ. А. Эмина". „Jahresbericht der Reformierten Kirchenschule", 1897—98; 1304. *Херасковъ*, *„Пума или прополъ̀тающій Римъ"*, М., 1768; 2-ое изд.—1793; 3-ье изд.—1800; 1305. Предисловіе; 1306—ibid., 284; 1307—ibid., 290; 1308—ibid., 291; 1309. Г. Благосвѣтловъ, „Историческій очеркъ русскаго прозаическаго романа", „Сынъ отечества", 1856, № 28, 31 и 38; 1310. Херасковъ, op. cit., 151—2; 1311—ibid., 20; 1312—ibid., 97; 1313—ibid., 47.

1314—ibid., 31; 1315—ibid., 73; 1316—ibid., 5; 1317—ibid., 11; 1318—ibid.; 1319. *Херасковъ*, *„Кадмъ и Гармонія"*, 2 ч. М., 1786; 2-ое изд. 1789; 3-ье изд.—1793; 4-ое изд.—1801; 5-ое изд.—1807; 1320—ibid., VIII; 1321. Fr. Lubeker, „Real Lexikon des class. Alterthums", Leip., 1867; 1322. Благосвѣтловъ, 95; 1323—ibid., 96; 1324. Херасковъ, op. cit., I, 130; 1325—ibid., I, 197; 1326—ibid., I, 199; 1327—II, 1; 1328—II, 2—3; 1329—II, 110; 1330—II, 175—6; 1331—II, 190; 1332—Пред. IV; 1333—II, 242.

1334—I, 119; 1335—II, 264; 1336—I, 8; 1337—I, 201; 1338—I, 15; 1339—I, 25; 1340—II, 32—3; 1341—I, 43; 1342—I, 18; 1343—I, 44—5; 1344—I, 307; 1345—I, 170; 1346—I, 44; 1347—I, 150; 1348—I, 110; 1349—I, 112; 1350—I, 36; 1351—II, 135; 1352—II, 37; 1353—I, 41.

1354—II, 90—6; 1355. Lubeker, op. cit., Pauly; 1356. О Херасковѣ, см. В. Сиповскій, биографическій очеркъ Херасковa, помѣщенный въ „Біогр. Слов. Имп. Истор. О-ва"; еще см. „Воспоминанія Анны Евдок. Лабзиной" (Спб, 1903); въ этомъ произведеніи лучше всего выразилась наклонность Херасковa къ „мистерству",—въ его рѣчахъ узнаемъ мы и фонвизинскаго Стародума; Лабзина 30-го іюня 1774 года принесена была въ Петербургъ и помѣщена у М. М. Херасковa, который, съ женою, заняли ея воспитаніемъ. Вотъ, что говорила она объ этомъ воспитаніи: ее пріучали они рано вставать, молиться Богу, по утрамъ „заниматься хорошей книгой, которыя мнѣ давали, а не самя выбирала. Къ счастью, я еще не имѣла случая читать романовъ, да и не слышивала имени сего.. Для меня сіе воспитаніе было совсѣмъ новое: говорили, что не все надо говорить, что думаешь; не вѣрить слишкомъ тѣмъ, которые ласкаютъ много; не служить тѣхъ мужчинъ, которые будутъ хвалить, и ни съ какимъ мужчиной не быть въ тѣсной дружбѣ; не выбирать лишкомства по своему вкусу; любить больше тѣхъ, которые будутъ открывать твои пороки, и благодарить". „И это-то прямые твои друзья"—говорилъ М. М. Херасковъ, придерживаясь тона Ментора, поучающаго Телемака. „Ты теперь здѣсь, кромѣ насъ, никого не имѣешь—и мы твои друзья! И я, вида тебя, что ты воспитана въ благочиніи—вдвиз твой, кажется, кроткій и мягкій,—то я увѣренъ, что ты меня будешь любить и открывать мысли свои, намѣренія и даже самыя малѣйшія движенія сердца твоего, разговоры твои съ кѣмъ бы то ни было, особливо съ мужчинами. Не страшись моей строгости,—ты найдешь во мнѣ нѣжнаго отца и друга, который что и будетъ тебѣ дѣлать непріятное, то это все для твоего же блага и будущаго счастья. О учтивости и ласкѣ ко всѣмъ я тебѣ не говорю, потому что въ тебѣ это есть". Спросилъ у меня, какъ я воспитана и какія даны мнѣ правила, чѣмъ я занималась и какъ мое время было распредѣлено. Потомъ онъ обнялъ меня и сказалъ: „Благодари твоихъ добрыхъ и почтенныхъ наставницъ и молись за нихъ, и не забывай никогда ихъ наставленіевъ; старайся непремѣнно всякое утро молиться, испрашивая Его милосердія; и вечеромъ принеси благодарность за проведенный день; начиная всякое дѣло, испроси у Создателя своего помощи. Твое шествіе въ мірѣ теперь только начинается, и путь, по которому ты пойдешь, очень скользокъ,—безъ путеводителя упадешь, мой другъ. Теперь—я твой путеводитель, данный тебѣ Богомъ. Счастливъ тотъ человѣкъ, который въ молодости не самъ идетъ, а есть проводникъ!. Избираешь ли ты меня въ свои друзья и вѣришь ли этому, что я тебѣ буду нѣжнымъ отцомъ?" Я заплакала и взяла его руку, которую прижала крѣпко къ сердцу моему. „Пока оно будетъ биться, не перестанетъ васъ любить и называть милымъ отцомъ и наставникомъ юности моей!"... Онъ часто меня стыдилъ при всѣхъ, разсказывая мои глупости, но черезъ семь, или восемь мѣсяцевъ я начинала чувствовать къ нему любовь,—и, день ото дня, возрастала моя признательность и чистосердечіе. Наконецъ, я ужъ и говорить стала, что мнѣ хотѣлось бы выйти туда, гдѣ гости,—онъ съ кротостью мнѣ говорилъ: „Для чего ты, мой другъ, этого хочешь? Ежели бы это было для тебя полезно,—я самъ бы тебѣ предложилъ. Будетъ время, въ которое дадутся тебѣ всѣ удовольствія, которыя ужъ тебя не развлекутъ, и ты

будешь ими наслаждаться. Кто рано начинаетъ жить въ вихрѣ,—тотъ скоро закружится. Не препятствуй мнѣ дѣлать то, что я лучше знаю и далѣе тебя вижу!" И съ удовольствіемъ ужъ соглашалась на все и безъ огорченія, и, наконецъ, такъ привыкла, что меня ужъ и не прельщало то, что я видѣла". „Благополучіе мое приходило къ концу; благодѣтели мои начали собираться въ Москву, но у меня ужало сердце и куда веселость моя пропала! Тоска и замираніе сердца мучили меня, и я вспомнить не могла, какъ остаусь и что со мною будетъ... Наконецъ ихъ отъѣзда я спать не могла, и благодѣтель мой далъ мнѣ послѣднее наставленіе, какъ мнѣ жить. Знакомство мое ограничилъ тѣми, съ которыми ужъ я была знакома... Мужу моему сказалъ, чтобъ не заводить новаго знакомства, особливо неизвѣстнаго, а мнѣ сказалъ: „Ты, мой другъ, столько благоразумна, что, не спросясь и не посовѣтовавшись съ твоею матерью, ничего не будешь дѣлать! Она—добрая, умная и тебя любитъ". Потомъ онъ выслалъ всѣхъ вонъ, оставилъ меня одну: „Я съ горестью разстаюсь, дочь моя, съ тобой; успокойся и послушай меня. Ты теперь только начинаешь жить съ мужемъ, и я вижу, что неизвѣстенъ тебѣ его нравъ и склонности,—то я тебѣ скажу.— Онъ любитъ большія и шумныя общества; карты—его страсть и другой порокъ—не лучше картъ,—то безъ нихъ его некому удерживать: онъ тотчасъ найдетъ компанію, которая по его склонностямъ, и ты его отвести отъ сего не можешь, но, какъ наивозможно, удаляйся въ свой уголокъ и занимайся работой, или чтеніемъ. Говори ему дружески и съ кротостью, чтобъ онъ оставилъ пороки. Но ежели ты примѣтишь, что ему непріятно—оставь и проси Бога, чтобъ Онъ его спасъ. Нельзя тебѣ и этого не сказать, хотя я и огорчу твое кроткое и невинное сердце: что онъ, можетъ быть, будетъ имѣть любовницу, и тебѣ будутъ сказывать его-же сообщники нарочно, чтобъ разсорить тебя съ нимъ, — не вѣрь, а ежели и увѣришься, то имъ не показывай и мужу никакъ не говори объ этомъ порокѣ, хотя тебѣ и горько будетъ. Оставляй его въ тѣхъ мысляхъ, что, будто, ты и не подозрѣваешь его. Онъ самъ не будетъ смѣть обнаружить и будетъ казаться отъ тебя и почитать тебя будетъ. Это только и можетъ одно избавить насъ обоихъ отъ явныхъ ссоръ; но какъ скоро ты дашь ему чувствовать, что ты знаешь, то сами поможешь ему снять маску, и онъ будетъ развязанъ и дома имѣть не постыдится эту для тебя непріятность: но тебя прошу, моя неоцѣненная дочь, будь добродѣтельна и веди себя такъ, чтобъ онъ тебѣ ничѣмъ укорить не могъ и чтобъ ты могла составить его славу и честь. Онъ тебѣ не сдѣлаетъ своимъ поведеніемъ стыдъ и не отниметъ твоей чести, а возвыситъ твою добродѣтель и сдѣлаетъ тебя у всѣхъ почтенной и любезной... Но ежели ты спотыкнешься и войдешь въ порокъ, то обезчестишь его и себя—и у всѣхъ будешь въ презрѣніи. Не жалуйся на него никому: помочь тебѣ никто не можетъ. Запищай его всегда, ежели при тебѣ кто объ немъ будетъ дурно говорить; послѣ сего никто не будетъ смѣть ничего тебѣ говорить... Скользокъ путь очень для твоей добродѣтели, а въ путеводителя тутъ я никого тебѣ не могу представить, кромѣ Бога и твоего благоразумія: не теряй, моя милая другъ, данныхъ тебѣ правилъ,—отъ твоего поведенія зависитъ вся твоя будущая жизнь—старайся заслужить себѣ уваженіе и отъ высокихъ особъ. Не будь горда, но и не унижай себя; не слушай отъ мужчинъ того, что благопристойность запрещаетъ, и не давай ни малѣйшаго повода, чтобъ они смѣли безъ почтенія и уваженія съ тобой обходиться. Не прельщайся ни величествомъ, ни богатствомъ, ни подарками, а будь довольна тѣмъ, что тебѣ Господь далъ и впредь дастъ. Ежели бы у тебя и отнялось бы временное твое богатство, то останется у тебя самое драгоцѣнное—твоя добродѣтель, и не будешь ты оставлена Спасителемъ нашимъ безъ награжденія! Онъ тебѣ дастъ силу и крѣпость, только ты Его не оставляй и всегда проси Его помощи... Вотъ тебѣ даетъ послѣднее наставленіе твой другъ и отецъ, и ты, конечно, его исполнишь! Мнѣ будутъ о тебѣ писать мои родные, и я знаю, что, кромѣ радости сердечной, я ничего не буду чувствовать, слыша о тебѣ и о твоемъ поведеніи!" Я обливала руки его слезами: „буду все исполнять и помнить твои наставленія. Молитесь за меня, отецъ мой, чтобъ Богъ меня спасъ!" Онъ самъ обнималъ меня и плакалъ" (op. cit., 57—62). 1357. О ней, см. В. Сиповскій, біографическій очеркъ, тамъ же; 1358. Хераскова, op. cit., I, 4; 1359. Op. cit., I, 43—4, 204, 286; II, 57, 118, 167, 179, 179—80; III, 45, 186, 201; 1360. Op. cit., II, 182; III, 349; 1361—III, 4, 280; 1362—I, 6, 37, 40, 49, 87, 126, 142; 1363. Навр., I, 125, 136; 1364—I, 107, 108—9, 110, 122; 1365—I, 93, 97, 99, 106, 112, 119, 125, 126—7; III, 201; I, 118, 129, 130, 220; II, 20, 24; I, 38, 153, 156, 174, 47, 86, 151; 1366—I, 9, 12, 31—2, 32, 33, 39, 40, 98, 107, 127—8, 142—3, 157, 201, 236—7, 138; III, 328, 395, 389; 1367. Навр.,—I, 43, 241; 1368—I, 207; 1369—I, 150;

1370—I, 141; 1371. Напр.,—I, 28—9; III, 82; 1372. Напр.,—II, 260; 1373—I, 292—3; II, 6.

1374—I, 293—4; III, 295; 1375. Напр.,—II, 197; 1376. Напр.,—III, 83; 1377—III, 50; 1378—III, 139—40; 1379—I, 34; 1380—I, 47—8; 1381—II, 36, 272; III, 161; II, 189, 257; III, 34, 54—5; 1382—III, 65; 1383—III, 80; 1384—III, 149; 1385. Напр.,—I, 89, 93; 1386—I, 104, 188, 201, 210, 279; III, 123; 1387—II, 220 и др.; 1388—I, 193—4, 197; II, 231; 1389—II, 311—2; III, 75 и др.; 1390—I, 133, 189, 202, 296; 1391—I, 246; II, 226, 245; 1392—I, 206; 1393—I, 228. 1394—II, 40 I, 239.

1394—II, 40; I, 239; 1395—I, 87, 93; III, 344; II, 63, 213; I, 92; I, 290, 292; II, 108, 294; 1396—61—2, 72, 103, 194, 299, 302; II, 22—3; I, 205; II, 98; 1397—III, 340—1, 346, 225; I, 66; II, 186, 305, 308—9; III, 277; I, 78, 234; II, 289; I, 237; I, 249; II, 178; III, 268—71; 1398—III, 263—4; 35; 1399—I, 13.

1400—III, 212; 1401—II, 184, 192, 276, 282—4; II, 5; III, 312—5; III, 341; III, 285; I, 252; III, 230—1, 236—8; 1402—I, 126; 1403—I, 136; 1404—I, 196; 1405—I, 203; еще: 71, 154, 207, 216, 235, 307; II, 202, 207, 235; 1406—I, 185—6; 1407—III, 39—40; 1408—I, 1—2; 1409—III, 236; 1410—I, 6, 7, 18, 38, 95, 158, 223; II, 84, 88, 201, 214; III, 6, 31, 38, 54, 58, 102, 158, 178, 272, 328; 1411—II, 5—6; 1412—III, 233; 1413—III, 377, 376; I, 163—9, 165; 1414—II, 301—2; 1415—III, 194; 1416—I, 176—8, 253, 254—8, 274—8, 267, 309; II, 25—6, 109, 120—2; I, 266; II, 97; I, 279, 287, 281—4; II, 30, 31—3; 1417—I, 20, 23, 53, 65, 74, 84, 87, 132; II, 259; 1418—II, 35, 129—136, 139; 1419—I, 24.

1420. *П. Львовъ*, „*Храмъ истины, или видѣніе Сесостриса, царя Египетскаго*", Спб., 1790 (№ 1184); 1421. Op. cit., I; 1422—1—2; 1423—3; 1424—ibid.; 1425—5; 1426—5-6; 1427—7; 1428—8-9; 1429—37-9; 1430—II; 1431—39-40; 1432. Фенелонъ, op. cit.; 1433. „Mélanges de poésie anglaise" M.DCCLXIV; 1434. Op. cit., 57—8; 1435—80-1; 1436—97; 1437—107; 1438—99—100; 1439. *П. Захарьинъ*, „*Арфаксадъ, Халдейская вымышленная повѣсть, содержащая въ себѣ образъ жизни и нравовъ древнихъ восточныхъ народовъ*", 6 ч., (№ 1400), М., 1793—6.

1440. Op. cit., III, 293; 1441—II, 100-1; 1442—81, 102, 115; 1443—82; 1444—73, 79, 111; 1445—84; 1446. Ibid.; 1447—72, 76, 79, 84, 86, 88; 1448—72, 82, 108, 109; 1449—106, 109, 82; 1450—V, 27, 32; 1451—I, 88; 1452—V, 175; 1453—II, 150; 1454—IV, 128; 1455—IV, 147; 1456—I, 134; 1457—II, 172; 1458—I, 74, 159—I, 58.

1460—IV, 82; 1461—I, 66; 1462—II, 163; 1463—I, 36; 1464—V, 128; 1465—V, 133; 1466—VI, 39; 1467—IV, 166; 1468—VI, 328; 1469—I, 79; 1470—III, 180; 1471—III, 192; 1472—III, 219; 1473—III, 205; 1474—III, 206; 1475—I, 223; 1476—II, 126; 1477—II, 150; 1478—II, 223; 1479—III, 53.

1480—III, 297; 1481—IV, 277; 1482—I, 114-6; 1483—I, 136—140; 1484—I, 118—120; 1485—I, 146; 1486—I, 174; 1487—I, 212, 236; 1488—I, 47; 1489—I, 61; 1490—I, 55; 1491—I, 35; 1492—VI, 276; 1493—VI, 302-3; 1494—ib., 304; 1495—V, 73—86; 1496—IV, 292; 1497. *М. Чулковъ*, „*Пересмѣшникъ*", сказки славенскія, 5 ч., М., 1789, 3-ье изд. (№ 1081)—1-ое изд.—4 ч., 1766—8; 2-ое изд. 1783—5; 1498. Ib., 169, 170, 174; 1499. Ib., 174-5, 205.

1500—I, 2; 1501—I, 29; 1502—III, 178; 1503—III, 167; 1504—III, 179; 1505—III, 197; 1506—III, 198; 1507—III 196; 1508—V, 173; 1509—IV, 230; 1510—III, 181-2; 1511—III, 198; 1512—III, 206; 1513—III, 200-1; 1514—I, 28; 1515—I, 54; 1516—III, 200; 1517—I, 38; 1518—III, 209; 1519—I, 29.

1520—I, 37; 1521—I, 52; 1522—I, 69; 1523—III, 160-1; 1524—I, 70; 1525—I, 162; 1526—III, 177, 223; 1527—I, 32, 33, 47; 1528—I, 81; 1529—IV, 232; 1530—III, 151; 1531—III, 197; 1532—III, 201; 1533—IV, 216; 1534—IV, 237; 1535—IV, 230; 1536—I, 31; 1537—III, 190; 1538—III, 234-5; 1539—I, 6.

1540—III, 171; 1541—III, 196; 1542—I, 77; 1543—V, 160; 1544—„Жилблазъ": 1545—I, 14—15, 24, 74; III, 156, 162, 191; 1546. „Жилблазъ, I, 38; II, 372—5; III, 285 и др.; 1547. „Жилблазъ", I, 8; 1548. „Баккалавръ", I, 33, 121, 115 (у богатыхъ вдовъ); 13; II, 1—4; 1549. „Жилблазъ", I, 89, 414, 434; II, 332; III, 371; 1750. „Жилблазъ", III, 149, 156—60; IV, 54—8; 1751. „Жилблазъ", I, 28—32; 1552—I, 183, 187, 191—3; 1553—I, 1; 1554—II, 133; 1555. „Баккалавръ Саламанкскій", I, 2; 1556. Заключительныя слова романа; 1557. „Жилблазъ", I, 45; „Хромой бѣсъ", I, 173—4; II, 157—8; 1558. „Хромой бѣсъ", I, 20—39, 154; II, 112—121, 215—30; 1559. *Чулковъ*, op. cit., 10, 49-50.

1560—I, 57—8, 73, 3; III, 159—160, 162, 180-1, 163; I, 61, 74, 80, 56, 41-2, 33-4, 38, 24: I, 21; III, 189, 207-8, 212—4, 222—4. Вообще о свободѣ русскихъ нравовъ говоритъ кн. Щербатовъ въ его сочиненіи: „О поврежденіи нравовъ въ Россіи" (Русск. Ст., 1870, III, 16): о развратѣ Петербурга въ XVIII омъ вѣкѣ—см. Записки Энгельгардта (26), Грибоѣдова (13),—о развращенности дворянства—въ Запискахъ Грибоѣдовскаго (13, 16, 20), Энгельгардта (114), Рунича (Р. Ст., 1870, т. II, прилож. 370),—офицерства, особенно гвардейскаго—въ Запискахъ Винскаго (Р. Арх., 1877, т. I, 95); Державина (Соч. 447, 460 стр.): о распутствѣ помѣщиковъ—въ Зап. Добрынина (Р. Стар., 1871, III, 564, 585),—о легкомъ поведеніи русскихъ свѣтскихъ дамъ говорятъ нераз. сатирическіе журналы, а затѣмъ и записки XVIII-го в. (напр., Винскаго, 88, 103, 105, 191); Державинъ—439. Особенно любопытны слѣдующія строки изъ записокъ Лукина („Жизнь стариннаго русскаго дворянина", Р. Арх., 1865, 471). „Важность немалая, говоритъ Лукинъ молодому человѣку, будучи въ комнатѣ, гдѣ также могутъ быть барышни и дѣвицы, которыя тогда имѣютъ привычку надъ молодымъ человѣкомъ производить пескусныя штуки, коихъ однакоже надлежитъ остерегаться и благоразумнымъ образомъ безъ стыдливости отклонять и себя не довести въ какой порокъ". Героини Чулкова съ ихъ любовными „штуками" живьемъ вставали передъ нами при чтеніи этихъ строкъ. 1561—I, 85—9; 1562—I, 47; 1563—III, 220; 1564 „Хромой бѣсъ", I, 128-9, 130—3; 1565 „1001 дурачество", III, 32; 1566. Ibid., II, 197—201; 1567. „Парижская дура", 16; 1568. „1001 дурачество", IV, 51—4, 82—3; „Баккалавръ Саламанкскій", I, 199; II, 89, 93, 116-7; 1569 „Жилблазъ", I, 28—32; „Новой Жилблазъ", 83, 131.

1570. Напр., Сборн., Имп. Н. Б., XV, № 97, гл. 79 и др.; 1571. Op. cit., III, 229-40 1572. „1001 дурачество", II, 12; „Жилблазъ", I, 275 (изъ горшка); 1573. Op. cit. IV, 43; V, 9; 1574. „Житіе господина N", Спб., 1779; 1575. Op. cit., 13 1576—15-16; 1577—60; 1578—73, 79, 80; 1579—106.

1580—15; 1581—23. 1582—31; 1583—47; 1584—52; 1585—5; 1586—ibid.; 1587—8; 1588—25; 1589—36; 1590—42; 1591—45; 1592—5; 1593—6; 1594—10; 1595—12; 1596—19; 1597—58; 1598—58-9; 1598—35-6; 1599—67.

1600—37; 1601—37; 1602—38; 1603. „Жилблазъ", III, 69; 1604—ibid., II, 272-3; III, 313; 1605—op. cit., 91—158; 1606—op. cit., 157—228; 1607—op. cit., 98—113; 1608. „*Приходя повариго*", 52; 1609—ibid., 53; 1610—17; 1611—41; 1612. „Жилблазъ", II, 132—5, 139-40; 1613. „Хромой бѣсъ", 182—90; „Жилблазъ", III, 63; 1614. Хромой бѣсъ", 182—7; 1615. „Жилблазъ", III, 149, 156—60; IV, 54—8= Чулковъ, 85; 1616. Напр., „Хромой бѣсъ", 20—39, 154, 112—21 и др.: Чулковъ, 83—6; 1617—2, 3, 4, 6, 7, 8; 1618—72, 1619—15.

1620—76; 1621—74; 1622 *Ив. Крыловъ*, „*Почта*", соч., т. III, стр. 208—211, 246—8, изд. „Просвѣщеніе", подъ ред. В. В. Каллаша: 1623—ibid., 209; „Хромой бѣсъ", 21; 1624. „Почта", 241—2; „Жилблазъ", I, 293, 295—6; 1625. „Почта", 226—7, 232, 247; 1626—ib., 216; 1627—219; 1628—231; 1629—221; 1630—229; 1631—238; 1632—235; 1633—249; 1634—255; 1635—251; 1636. *Ѳ. Эмсъ*, „*Непостоянная Фортуна, или похожденія Мирамонда*". Спб., 3 ч., 1763 (№ 106). *2-ое изд.*, М., 1781; *3-ье изд.*, Спб., 1792; 1637—I, 196-7; 1638—I, 99; 1639—I, 249.

1640—III, 338-9; 1641—I, 246; 1642—I, 239; 1643—I, 192; 1644—I, 219; (еще: I, 8, 10, 11, 99, 119, 130, 161, 172, 180, 201, 187, 192, 234, 238, 245, 249 и др.); 1645—I, 194; 1646—I, 151; 1647—III, 356; 1648—III, 346; 1649—I, 137; 1650—I, 74; 1651—I, 142 (I, 19, 111, 145, 174, 266); 1652—I, 11; 1653—I, 92; 1654—I, 273; 1655—I, 192; 1656—I, 192; (еще: I, 20, 92, 124, 131, 138, 149, 151—3, 156-7, 183, 277); 1657—I, 83; 1658—I, 93, 1659. Напр., I, 12, 162, 18, 191, 155, 164.

1660—I, 23; 1661—33-4; 1662—напр.,—I, 19, 22, 33, 150 и др.; 1663—I, 9; 1664—I, 78; 1665—I, 199; 1666—I, 9, 122, 181-2, 183, 197, 140, 160; 1667—I, 142, 143; 1668—I, 165; 1669—I, 180; 1670—I, 9; 1671—I, 18; 1672—I, 232; 1673—I, 232; (еще: I, 19, 78, 120, 127, 306); 1674—II, 291; 1675—II, 32—4; 1676—II, 33-4; 1677—I, 226-7; 1678—I, 200; 1679—I, 150.

1680—II, 25; 1681—I, 144; 1682—I, 137-8; 1683—I, 141; 1684—III, 355-6; 1685—напр.,—I, 72, 77, 69—70; II, 229, 224, 235, 238, 287 и др. 1686. Благосвѣтловъ, op. cit.: 1687. Н. Новиковъ, „Опытъ истор. словаря", 255; 1688. Благосвѣтловъ, 33. О чтеніи „Мирамонда" говоритъ Карамзинъ (соч., изд. Смирдина, т. III, 253—4; Въ „Запискахъ генерала Отрошенко" (Русск. Б., 1877, № 9, 127); чтенію „Мирамонда" въ юности авторъ Записокъ приписываетъ огромное воспитательное

значеніе. 1689—I, 264; 1690. *П. Х.* „*Похожденіе нѣкотораго Россіянина, истинная повѣсть, имъ самимъ написанная, содержащая въ себѣ исторію его службы и походовъ съ приключеніями и слышанными имъ повѣстями*", М., 1790; 1691—I, 144; 1692—I, 160; 1693—I, 160; 1694—I, 173; 1695—II, 148; 1696—II, 262-3; 1697—ib., 265; 1698—I, 146; 1699—I, 152.

1700—I, 30; 1701—I, 119; 1702—I, 64; 1703—I, 150; 1704—I, 199, 200; 1705—I, 204; 1706—I, 205; 1707—I, 22; 1708—I, 19; 1709. См. выше, стр. ; 1710. *М. Верекиной*) „Небылица" въ Спб., 1778; 1711—42; 1712—21; 1713—27; 1714—53; 1716. *Н. П.* „*Лейнаръ и Термилія, или злощастныя судьбы двухъ любовниковъ*", М., 1787; 1717—26; 1718—11; 1719—1.

1720—10; 1721—15; 1722—11; 1723—12; 1724—13; 1725. „*Повѣсть одного россійскаго дворянина, удалившагося отъ свѣта*", Спб., 1792; 1726—35; 1727—25; 1728—30; 1729—4; 1730—14; 1731—31; 1732—16; 1733—7; 1734—9; 1735—14; 1736—15; 1737—ib.; 1738—28; 1739. „*Разныя повѣствованія, сочиненныя нѣкоторою Россіянкою*", М., 1779.

1740—1; 1741—5; 1742—7; 1743—6; 1744—67; 1745—78, 80; 1746—70; 1747—69; 1748—75, 25, 69, 63, 87, 19 и др.; 1749—60; 1750—14-15, 10; 1751—12; 1752—8, 11, 20; 1753. „*Гонимая невинность или обманутый надежою Любомуръ*": 1754—8; 1755—5-6; 1756—30; 1757—43; 1758—48; 1759—34.

1760. „*Переписки двухъ нѣкихъ вельможъ Амбека и Амамека, находящихся по различнымъ должностямъ въ старомъ и новомъ свѣтѣ, содержащая въ себѣ сатирическія, критическія и забавныя происшествія*" и пр., пер. съ Арапо-Еврейскаго языка въ 1790000 году, 3 ч., М., 1792 (№ 1365); 1761. „*Странныя приключенія Димитрія Мауникина, Россійскаго дворянина*" и пр., пер. съ нѣм., 2 ч., М., 1796—8 (№ 1811), № 317; 1762. „*Несчастный Пиканоръ, или приключенія Россійскаго дворянина Г.*", ч. I, М., 1775 (соч. М. Камаровъ). 1763. „*Несчастныя приключенія Василія Баранщикова, мѣщанина Нижняго Новгорода, въ трехъ частяхъ свѣта, въ Америкѣ, Азіи и Европѣ съ 1780 по 1787 годъ*". Спб., 1787; 2-ое изд.—1788; 3-ье изд. 1793. 1764. Н. Лѣсковъ, „Собраніе сочиненій", изд. Маркса, 1897 г., т. XII, 239.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТР.

Предисловіе . . . . . V—X

Глава I . . . . . 1—48

Значеніе романа XVIII-го вѣка—1) по мемуарамъ—3-13; 2) по текстамъ самихъ романовъ—13-21; 3) по отзывамъ критики—21-31; 4) по статистическимъ даннымъ—32-39.

Приложеніе I—40-41; *Приложеніе II*—42-43; *Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ I-ой главѣ*—44-48.

Глава II . . . . . 49—163

Сущность романа по предисловіямъ—50-72; „философскія теченія" въ русскомъ романѣ XVIII-го вѣка—72-114; „политическія теченія" въ русскомъ романѣ XVIII-го вѣка—114-147.

Примѣчанія и ссылки, относящіяся ко II-ой главѣ—148-163.

Глава III 164-235

Романъ XVIII-го вѣка, какъ показатель бытовой стороны этой жизни—164-220.

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ III-ьей главѣ—220-235.

Глава IV 236-280

Греческій романъ, его характерныя особенности—236-277.

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ IV-ой главѣ—278-280.

Глава V 281-715

Псевдоклассическій романъ—284-698; 1) *псевдоклассическій романъ героическаго типа* („придворно-галантный")—284-333; отношеніе къ этому роману русской публики и критики—379-380; библіографія русскаго псевдоклассическаго романа—390-392; Ѳ. Эминъ, „Награжденная

постоянность" — 393-406; М. Пракудинъ, „Валерія" — 406-413; И. Захарьинъ, „Приключенія Клеандра" — 413-441; „Повѣсть о непреоборимой любви Адаманта къ Дафнисѣ" — 441-447; М. Чулковъ, „Похожденіе Ахиллесово" — 449-453; „Анакреонтъ" — 453-461; „Торжествующая добродѣтель" — 461-464; „Гонима" и „Добродѣтельная Розана" — 464-468; „Повѣсть о Гвродѣ" — 468-470; „Громобой" — 470-475; „Четыре года жизни княгини К" — 475-481; Н. Карамзинъ, „Юлія" — 482-497.

2) *Псевдоклассическій романъ типа „Телемакъ"* — 337-341; Ѳ. Эминъ, „Приключенія Ѳемистокла" — 497-508; М. Херасковъ, „Нума" — 508-514; „Кадмъ и Гармонія" — 515-534; „Полидоръ" — 535-563; И. Львовъ, „Храмъ истины" — 563-570; И. Захарьинъ, „Арфаксадъ" — 570-587.

3) *Псевдоклассическій романъ типа „Жиблазъ"* — 341-359; М. Чулковъ, „Пересмѣшникъ" — 568-625; *его же*, „Пригожая Повариха" — 635-641; И. Крыловъ, „Почта" — 641-648.

4) *Псевдоклассическій романъ типа произведеній Прево* — 359-379; Ѳ. Эминъ, „Непостоянная Фортуна" — 649-670; „Похожденіе нѣкотораго Россіянина" — 670-667; М. Верескинъ, „Небылица" — 677-681; Н. Н., „Лейнардъ и Термилія" — 681-683; „Повѣсть одного россійскаго дворянина — 683-687; „Разныя повѣствованія, сочиненныя нѣкоторою Россіянкою" — 687-693; „Гонимая невинность" — 694-696.

Добавленіе. „Переписка двухъ адскихъ вельможъ" — 696; „Странныя приключенія Димитрія Магушкина" — 696; „Несчастный Никаноръ" — 697; „Несчастныя приключенія Василія Баранщикова" — 697.

Примѣчанія и ссылки, относящіяся къ 1-ой главѣ — 699-714.

ТОГО ЖЕ АВТОРА.

„Къ вопросу о высшемъ женскомъ образованіи въ Германіи“ „Женское Образ.“, 1890 г.

Новый взглядъ на исторію литературы“ (Брюнетьеръ). **„Образованіе“**, 1894 г.

„Исторія развитія французской критики“ (Брюнетьеръ),—тамъ же.

„Вырожденіе“ (М. Нордау),—тамъ же.

„Искусство и природа“ (Шербюлье)—тамъ же.

„Загадочный писатель“ (П. А. Крыловъ) **„Образованіе“, 1895 г.**

Breitinger, „Les trois unités d'Aristote avant le Cid de Corneille“, **„Ж. М. Н. Пр.“**, 1895 г.

Сильвестръ Медвѣдевъ. „Очеркъ изъ исторіи русск. просвѣщ. и обществен. жизни въ концѣ XVII в.“ Ив. Козловскаго. **„Ж. М. Н. Пр.“, 1896 г.**

Ин. Ивановъ. „Политическая роль французскаго театра“,—тамъ же.

„О предкахъ Карамзина“. „Р. Стар.“ 1898 г.

„Изъ прошлаго русской цензуры“. „Р. Стар.“, 1899 г.

* **„Пушкинъ. Байронъ и Шатобріанъ“**. 1889 г., ц. 50 к.

* **„Онѣгинъ. Татьяна и Ленскій“**, 1899 г., ц. 50 к.

Н. М. Карамзинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника“, съ приложеніемъ—1) статьи: **„Новиковъ, Шварцъ и московское масонство“** и—2) **„Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Карамзина“**. 1899. 642 стр. Ц. 3 р. 50 к.

М. М. Херасковъ (біогр. очеркъ въ „Біогр. Словарѣ“ Имп. Ист. О-ва).

Итальянскій театръ въ С.-Петербургѣ при Аннѣ Іоанновнѣ (1733—1735 г.г.). „Р. Стар.“. 1900 г.

„Жизнь и поэзія И. М. Языкова“, критико-біограф. изслѣд. В. Я. Смирнова („Изв. Отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ“. 1900, т. V, кн. 3).

† **Изъ исторіи русской литературы XVIII в.** ** (Опытъ статистическихъ наблюденій). 1901 г. Ц. 50 к.

† **Изъ исторіи русскаго романа XVIII в.** („Ванька Каинъ“). 1902 г. („Изв. Отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Н.“, т. VII, кн. 2).

А. С. Пушкинъ по его письмамъ 1902 г. („Сборникъ памяти Л. Н. Майкова“).

Пушкинская юбилейная литература (критико-библіографическій обзоръ). Изд. 2-е. 1902 г. Ц. 2 р. 25 к.

Значеніе Петра Великаго въ исторіи русской литературы. 1903 г. Ц. 50 к.

Изъ исторіи русскаго романа и повѣсти (Матеріалы по библіографіи, исторіи и теоріи романа). 1903 г. Ц. 2 р.

Шляпкинъ. „Изъ неизд. бумагъ А. С. Пушкина“. „Ж. М. Н. Пр.“, 1904 г. № 6.

† **Изъ статистическихъ наблюденій надъ исторіей русскаго романа XVIII в.** „Литер. Вѣстн.“ 1904 г., т. VII, кн. 3.

---

*) Работы, отмѣченныя звѣздочкой (*), вошли въ сочиненіе: „Пушкинъ, жизнь и творчество“.

**) Работы, отмѣченныя крестикомъ (†) вошли въ составъ изслѣдованья „Очерки изъ исторіи русскаго романа“, т. I, вып. 1—2.

Іеромонахъ-романистъ. Статьи изъ сборника въ честь проф. А. И. Соболевскаго. 1904 г.

Русскія повѣсти XVII—XVIII ст. 1905 г. Ц. 2 р. 50 к.

* **Пушкинъ и Рылѣевъ.** 1905 г. Ц. 50 к.

† **Политическія идеи въ русскомъ романѣ XVIII ст.** 1905 г. Ц. 50 к. (Оттискъ изъ „Изв. 2-го Отд. Им. Ак. Н.". 1905 г.).

† **Философскія настроенія въ русскомъ романѣ XVIII ст.** 1905 г. Ц. 50 к. (Оттискъ изъ „Ж. М. Н. Пр.", 1905 г.).

† **Вліяніе „Вертора" на русскій романъ XVIII ст.** 1906 г. Ц. 50 к. (Оттискъ изъ „Ж. М. Н. Пр.", 1905 г.

* **„Лѣтопись села Горохина"** (литер. исторія повѣсти). 1906 г. Ц. 25 к.

* **„Русланъ и Людмила"** (литер. исторія поэмы). 1906 г. Ц. 50 к.

Историческая хрестоматія по исторіи русской словесности. въ 3-хъ томахъ.

Исторія русской словесности. въ 3-хъ частяхъ.

Исторія литературы, какъ наука. 1906. Ц. 30 к.

† **Русская жизнь XVIII-го вѣка по романамъ и повѣстямъ** „Русская Старина" 1906 № 5—6).

† **Греческій романъ въ русскихъ переводахъ XVIII-го вѣка** 1906 г. Ц. 50 к.

Пушкинъ, жизнь и творчество. 1907. Ц. 3 р. 50 к.

Очерки изъ исторіи русскаго романа XVIII вѣка (Изслѣдованіе). Томъ I, вып. 1 ый. 1909.

Часть XXIV. Св. Дмитрій Ростовскій и его время. И. Шляпкина. 1891.
» XXV. Къ исторіи исправленія книгъ въ Болгаріи въ XIV в. И. Сырку. 1891.
» XXVI. Порфиріевскіе отрывки изъ аттической комедіи. Палеографическіе и филологическіе этюды. В. Ернштедта. 1891.
» XXVII. Сочиненіе Джильса Флетчера «On the Russe Common Wealth», какъ историческій источникъ. С. Середонина. 1891.
» XXVIII. Прокопія Кесарійскаго. Исторія войнъ Римлянъ съ Персами, Вандалами и Готами. Переводъ съ греческаго Спиридона Дестуниса, комментарій Гавріила Дестуниса. Прокопія Кесарійскаго. Исторія войнъ Римлянъ съ Вандалами. Книга первая. 1891.
» XXIX. Житіе иже во святыхъ отца нашего Ѳеодора, архіепископа Едесскаго. Издалъ И. Помяловскій. 1892.
» XXX. Переходъ отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени. Н. Карѣева. 1892.
» XXXI. Вып. I. Акты и письма къ исторіи Балтійскаго вопроса въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Г. Форстена. Выпускъ 2-й. Царственная книга, ея составъ и происхожденіе. А. Прѣснякова. 1893.
» XXXII. Церковно-славянскіе элементы въ современномъ литературномъ и народномъ русскомъ языкѣ. Часть I. С. Булича. 1893.
» XXXIII. Балтійскій вопросъ въ XVI и XVII столѣтіяхъ. 1544—1648. Томъ I. Борьба изъ-за Ливоніи. Изслѣдованіе Г. Форстена. 1893.
» XXXIV. Балтійскій вопросъ въ XVI и XVII столѣтіяхъ. 1544—1648. Томъ II. Борьба Швеціи съ Польшей и съ Габсбургскимъ домомъ. 30-лѣтняя война. Изслѣдованіе Г. Форстена. 1894.
» XXXV. Житіе Св. Аѳанасія Аѳонскаго. Изд. И. Помяловскій. 1895.—Житіе Св. Григорія Синаита. Изд. И. Помяловскій. 1894.
» XXXVI. Ѳеодорита, епископа Кирскаго, отвѣты на вопросы. Изд. А. Пападопуло-Керамевсъ. 1895.
» XXXVII. Августалы и сакральное магистерство. М. Крашенинникова. 1895.
» XXXVIII. Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus. Ediderunt W. Wassiliewski et V. Jernstedt. 1896.
» XXXIX. Психологія Джемса. Пер. И. И. Лапшина. 1896.
» XL. Внѣшняя политика Россіи въ началѣ царствованія Екатерины II (1762—1774). Изслѣдованіе Н. Д. Чечулина. 1896.
» XLI. Святѣйшаго патріарха Фотія, архіепископа константинопольскаго, XLV неизданныхъ писемъ. Изд. Пападопуло-Керамевсъ. 1896.
» XLII. Проекты реформъ по запискамъ современниковъ Петра Великаго. Н. Павлова-Сильванскаго. 1897.
» XLIII. Служилое землевладѣніе въ Московскомъ государствѣ въ XVI в. С. Рождественскаго. 1897.
» XLIV. Сборникъ источниковъ по Трапезундской имперіи. Собралъ Пападопуло-Керамевсъ. Часть I. 1897.
» XLV. Введеніе въ изученіе соціологіи. Н. Карѣева. 1897.
» XLVI. Богъ Тотъ. Опытъ изслѣдованія въ области исторіи древне-египетской культуры. Б. Тураева. 1898.
» XLVII. Протопопъ Аввакумъ. А. К. Бороздина. 1898.
» XLVIII. Изъ исторіи Аѳинъ. 229—31 годы до Р. Хр. С. Жебелева. 1899.
» XLIX. Н. М. Карамзинъ, авторъ «Писемъ Русскаго Путешественника». В. В. Сиповскаго. 1899.
» L. Выпускъ 1-й. Житіе иже во святыхъ отца нашего Арсенія Великаго. Издалъ Г. Ф. Церетели. 1899. Вып. 2-й Житіе преподобнаго Паисія Великаго и Тимоѳея патріарха Александрійскаго повѣствованія о чудесахъ св. Великомуч. Мины. Издалъ И. Помяловскій. 1900.
» LI. Исторія государственнаго откупа въ Римской имперіи. М. И. Ростовцева. 1899.
» LII. Очерки по исторіи смуты въ Московскомъ государствѣ XVI—XVII вв. С. Ѳ. Платонова. 1899.

Часть LIII. И. М. Гревсъ. Очерки изъ исторіи римскаго землевладѣнія. Т. I. 1899.
» LIV. Вып. I. В. Н. Перетцъ. Матеріалы къ исторіи апокрифа. 1899.
Вып. II. В. Н. Перетцъ. Историко-литературныя изслѣдованія. Т. I. 1900.
» LV. Э. Д. Гриммъ. Изслѣдованія по исторіи развитія римской императорской власти. Т. I. 1900.
» LVI. А. А. Васильевъ. Политическія отношенія Византіи и арабовъ за время Аморійской династіи. 1900.
» LVII. Памяти А. С. Пушкина. Сборникъ статей преподавателей и слушателей историко-филологическаго факультета. 1900.
» LVIII. А. И. Нечаевъ. Современная экспериментальная психологія въ ея отношеніи къ вопросамъ школьнаго обученія. 1901.
» LIX. Б. М. Меліоранскій. Георгій Кипріяновъ и Іоаннъ Іерусалимляновъ. 1901.
» LX. Очерки бытового театра Лопе-де-Вега. Д. К. Петрова. 1901.
» LXI. И. И. Лаппо. Великое княжество Литовское (1569—1586). 1901.
» LXII. И. Л. Лось. Сложныя слова въ польскомъ языкѣ. 1901.
» LXIII. Э. Гриммъ. Изслѣдованія по исторіи развитія римской императорской власти. Т. II. 1901.
» LXIV. В. Н. Перетцъ. Историко-литературныя изслѣдованія. Т. III. 1902.
» LXV. Б. Тураевъ. Изслѣдованія въ области агіологическихъ источниковъ исторіи Эѳіопіи. Вып. 1, 2, 3 и 4. 1902.
» LXVI. А. А. Васильевъ. Политическія отношенія Византіи и арабовъ за время Македонской династіи. 1902.
» LXVII. М. Ростовцевъ. Римскія свинцовыя тессеры. 1903.
» LXVIII. Н. Лосскій. Основныя ученія психологіи съ точки зрѣнія волюнтаризма. 1903.
» LXIX. Б. Варнеке. Очерки изъ исторіи древнеримскаго театра. 1903.
» LXX. Н. К. Козьминъ. Очерки изъ исторіи русскаго романтизма. 1903.
» LXXI. С. Жебелевъ. Ахаіка. Въ области древностей провинціи Ахаи. 1904.
» LXXII. В. Новодворскій. Борьба за Ливонію между Москвою и Рѣчью Посполитою. (1570—1582). 1904.
» LXXIII. Ил. Гр. Васенко. «Книга Степенная царскаго родословія» и ея значеніе въ древнерусской исторической письменности. Часть I. 1904.
» LXXIV. И. Холодняк. Carmina sepulcralia latina epigraphica. 1904.
» LXXV. С. Буличъ. Очеркъ исторіи языкознанія въ Россіи Т. I. Спб. 1904.
» LXXVI. Житія двухъ вселенскихъ патріарховъ XIV в. Изд. Пападопуло-Керамевсъ. 1905.
» LXXVII. А. Малеинъ. Рукописное преданіе Загадокъ Альдгейма. 1905.
» LXXVIII. Н. Лосскій. Обоснованіе интуитивизма. 1906.
» LXXIX. К. Тіандеръ. Поѣздки скандинавовъ въ Бѣлое Море. 1906.
» LXXX. И. Лапшинъ. Законы мышленія и формы познанія. 1906.
» LXXXI. А. Петровъ. Генриха Итальянка Сборники формъ. 1906.
» LXXXII. Д. Петровъ. Замѣтки по исторіи старо-испанской комедіи. 1907.
» LXXXIII. И. Митрофановъ. Политическая дѣятельность Іосифа II. 1907.
» LXXXIV. Сборникъ статей въ честь В. И. Ламанскаго.
» LXXXV. М. Полиевктовъ. Балтійскій вопросъ въ русской политикѣ послѣ ништадскаго мира. (1721—1725). 1907.
» LXXXVI. Е. В. Тарле. Рабочіе національныхъ мануфактуръ во Франціи въ эпоху революціи. 1907.
» LXXXVII. И. Замотинъ. Романтическій идеализмъ въ русскомъ обществѣ 20—30-хъ гг. 1907.
» LXXXVIII. А. Оту. Выборы 1789 г. во Франціи и наказы 3-го сословія. 1908.
» LXXXIX. И. Ястребовъ. Этюды о Новѣ Хельчицкомъ. 1908.
» XC. А. Прѣсняковъ. Княжое право. 1909.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PG
3095
S55
1909a
t.1
vyp.1

Sipovskii, Vasilii Vasil'evich
Ocherki iz istorii russkago
romana